

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



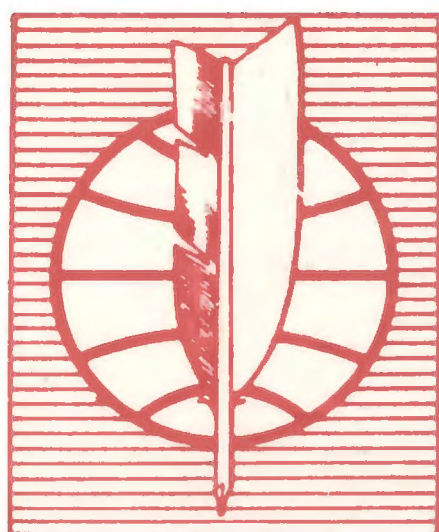
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ
ПИСАТЕЛЕЙ-
КЛАССИКОВ
НАРОДОВ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
ПИСАТЕЛЕЙ-КЛАССИКОВ
НАРОДОВ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ







БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
ПИСАТЕЛЕЙ-
КЛАССИКОВ
НАРОДОВ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ
/ XIX—НАЧАЛО XX В. /

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1984



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.

Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсайд
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.

Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

Составление, предисловие и комментарии
В. П. АЛЕКСАНДРОВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и иллюстрации
А. Г. ТАМБОВКИНА

П 4803010200—484 Подп. изд.
М101(03)84

© Состав. Оформление. Иллюстрации. Предисловие. Комментарии.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1984 г.

ЛИТЕРАТУРА — ПАМЯТЬ НАРОДА

I

В пору становления советского книгоиздания Владимир Ильич Ленин отмечал: «Одно из самых больших зол и бедствий, которые остались нам от старого капиталистического общества, это полный разрыв книги с практикой жизни...»¹ Этот разрыв в царской России, стране, населенной людьми до ста двадцати наций и народностей, был в полном смысле слова трагичен.

В. И. Ленин разоблачил реакционное учение об извечном разделении человечества на «низшие» и «высшие» расы и нации, об обреченности «низших» наций на эксплуатацию «избранными» нациями. Он научно доказал, что отсталость некоторых народов является следствием исторических и социально-экономических условий их развития, а не природных и физиологических особенностей.

Великая Октябрьская социалистическая революция одним ударом разрубила три узла сложившихся веками исторических противоречий: социального неравенства, национального угнетения и культурной отсталости. Но преодоление их многообразных пережитков требовало еще огромных всенародных усилий и долгих лет, в частности, и в вопросах создания социалистической детской литературы.

В конце 1933 года, в период подготовки I Всесоюзного съезда писателей, Максим Горький предложил задать детям вопрос: «Какие книги вам нужны?» Горький получил тысячи писем, откровенных, открытых, серьезных. Все эти письма проанализировал С. Я. Маршак и, рассказывая о них делегатам съезда, отметил, что для создания большой и богатой детской литературы у нас есть одно важнейшее условие: «Мы живем в стране, где все

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 302.

трудятся, и это — лучшая гарантия того, что наша литература не будет пустоцветом...»¹ Детские письма убеждали в главном: счастливая особенность взаимоотношений советских писателей с детьми в том, что основные идеи, руководящие всей жизнью Советской страны, находят среди ребят быстрый и верный отклик.

С той поры прошло пятьдесят лет. Современная советская детская литература — самая богатая и развитая в мире (это вынуждены признавать даже наши идеологические противники). И ее опыт сегодня, в период бурного развития национально-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки, везде, где идет борьба за социальную справедливость, привлекает все большее внимание прогрессивных деятелей многих национальных культур.

В наши дни вопрос «Какие книги нужны детям?» задают юному поколению многих стран и друг другу писатели, учителя, библиотекари, родители на всех континентах. В 1977 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провозгласила специальное заявление, которое так и называется: «Какие книги нужны детям?»

«Книги, способствующие развитию дружбы, мира и взаимопонимания; книги, которые бы знакомили с людьми, ведущими иной образ жизни, с людьми разных этнических групп и культур...

Книги, которые рассказали бы детям об их собственном этническом наследии: истории, мифах, легендах, фольклоре...

Книги, которые, признавая естественность культурных различий, подчеркивали бы то, что объединяет все человечество...

Книги, которые вызывали бы озабоченность за землю, нашу маленькую планету, на которой мы все живем...»²

Настоящий том составлен из повестей и рассказов писателей-классиков народов нашей страны, работавших в XIX — первой половине XX века, то есть из прозы, созданной в досоветский период для детей и о детях или вошедшей в круг детского и юношеского чтения из литературы взрослой. Такое издание предпринимается впервые.

Сегодня мы хорошо понимаем, что черты облика каждого из нас не случайны, они накрепко связаны с понятием Родина. Вот почему ни один человек не может отказаться от своего прошлого, от природы, где он родился и рос, от своей жизненной среды, от своего фольклора и классического искусства. В этом и кроется секрет богатства и многогранности советской литературы. Вот почему ответ на вопрос — «Что представляет собою многонациональная детская и юношеская литература СССР?» — лучше всего начать с того, чтобы возможно полнее уяснить, какой она

¹ Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. Гослитиздат, Москва, 1934.

² «Детская литература», 1979 г., № 1.

была в досоветский период. При этом очень важно помнить, что на рубеже XIX—XX веков, в канун Великой Октябрьской социалистической революции, народы царской России стояли на самых разных уровнях социально-экономического развития. Если у большинства народов в европейской части России к этому времени уже полностью развился капитализм, то в Казахстане, Средней Азии, на Северном Кавказе еще не был изжит феодализм, у народов Крайнего Севера и Дальнего Востока сохранялся патриархально-родовой строй, а на территории Северо-Востока, у эскимосов, эвенков, чукчей, юкагиров и некоторых других,— первобытнообщинный...

В книгу не вошли произведения киргизских, туркменских, узбекских писателей, а также писателей наций и народностей, объединившихся ныне в автономные республики, расположенные на территории РСФСР (кроме татарской). Дело в том, что проза в современном ее виде, особенно детская и юношеская, не была в традициях этих литератур, и должно было пройти время, пока эта традиция сложилась. К моменту Великой Октябрьской социалистической революции литературное развитие одних народов находилось на стадии фольклора; литературу других составляла в основном поэзия. Проза для детей и юношества возникла здесь и стала развиваться лишь в советское время.

Среднее и молодое поколение нашей страны уже давно не удивляет то, что земля, ее недра, леса, степи, вода — всенародная собственность. Не удивляет потому, что всё это получено в наследство. Но старшее поколение знает, а кто-то еще и помнит, с какими радостными лицами крестьяне метили межи участков, полученных от Советской власти на бывших помещичьих и кулацких полях, с каким энтузиазмом рабочие стали управлять национализированными фабриками и заводами.

Все это вошло в опыт советской литературы.

II

В нашей стране созданы прекрасные условия для широкого взаимного обмена всех наций и народностей своими культурными ценностями. Вряд ли есть в современной советской многонациональной литературе хоть одно значительное произведение для детей, написанное не на русском языке, которое не было бы переведено на русский; и вряд ли есть такое известное произведение русской литературы, которое не было бы переведено на многие языки народов СССР.

Но так было не всегда.

До Великой Октябрьской социалистической революции книги даже выдающихся писателей нерусской национальности, проживавших на территории царской России, переводились очень

редко, потому что издавать их на русском языке было нелегко. Колониальная политика царизма строилась и на том, чтобы замалчивать достижения угнетаемых национальностей, ведь когда держишь народ в темноте и невежестве, его легче эксплуатировать.

Это хорошо понимала русская и национальная интеллигенция и делала все для того, чтобы доказать право каждого народа на свой язык, на свою национальную культуру, то есть на своих писателей и учителей, художников и музыкантов. Можно вспомнить хотя бы участие русских, украинских писателей и художников в судьбе великого Тараса Шевченко (1814—1861), участие русской, литовской и польской интеллигенции в судьбе выдающегося литовского композитора и художника Чюрлениса (1875—1911) и другие примеры.

Пестрота национального состава и многоукладность хозяйства придавали особую значимость национальному вопросу в дореволюционной России. Вот почему в многогранной деятельности В. И. Ленина национальный вопрос занимал такое видное место. Капитализм породил и ужесточил, доведя до крайности, национальную проблему, сделал одни нации объектом эксплуатации и угнетения другими, привел к уродливым антагонистическим отношениям между людьми. Но Владимир Ильич доказал неизбежность формирования прогрессивной идеологии, начал социалистической культуры даже в тех невыносимых условиях. В 1913 году в статье «Критические заметки по национальному вопросу» он писал: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую...»¹

Таким образом речь идет не только о национальных различиях, а еще и о борьбе в каждой нации и народности демократических и социалистических элементов культуры, накопленных народом, с одной стороны, с культурой феодалов и буржуазии — с другой.

Все мы хорошо знаем, что культурное развитие человека начинается в самом раннем детстве. Вот почему многие писатели XIX — начала XX века тоже задавали себе и друг другу вопрос: «Какие книги нужны детям?» Они считали своим святым долгом дать ребенку в то сложное для развития национальных культур время полноценную художественную литературу на родном языке.

В книге, которую вы держите в руках, помещены повести и рассказы двадцати шести писателей. Одиннадцать из них были по профессии учителями и долгие годы преподавали родной

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, с. 119—120.

язык — это армянин Хачатúr Абовя́н, казах Ибра́й Алтынса́рин, азербайджанцы Сулейман Сани́ Аху́ндов, Джали́л Мамедкулизаде́, латыши Эрнст Би́рзние́к-Упит, Эджус Су́драбу, украинцы Степан Васильченко и Борис Гринченко, татарин Галимджа́н Ибраги́мов, белорус Якуб Колас, молдаванин Ио́н Кря́нгэ.

Грузин Илья Чавчава́дзе, украинцы Иван Франко и Борис Гринченко, Джалил Мамедкулизаде занимались издательской деятельностью. Армянин Оване́с Туманя́н, татарин Фати́х Ами́рха́н издавали специальные журналы для детей, а белорусская писательница Тетка — журнал для молодежи. Ибра́й Алтынса́рин, таджик Ахма́д До́ниш, Ион Кря́нгэ, Ованес Туманя́н, Галимджан Ибрагимов создавали учебники и хрестоматии для национальных начальных школ.

Одних авторов этой книги — Хачатура Абовяна, Ахмада До́ниша, Иона Кря́нгэ — можно назвать основоположниками оригинальной прозы для детей и юношества, других — одними из основных ее создателей.

Жизнь и творчество писателей, произведения которых составили данный том, подтверждает, что все они были убежденными сторонниками дружбы своих народов с русским народом, почти все они пропагандировали демократическую русскую литературу, использовали опыт русских писателей. А те из них, кто был педагогом, широко использовали и опыт русских писателей-просветителей, особенно К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого.

Многие авторы тома занимались переводами на свои родные языки русской художественной литературы — прозы, поэзии, драматургии. Наибольшей известностью пользовались переводы русской классики, сделанные Ибраем Алтынсариным, Марко́ Вовчко́м, Авети́ком Исаакя́ном, Якубом Коласом, Эджусом Судрабу, Пятрасом Цви́ркой.

Более половины авторов настоящего тома участвовали в революционно-демократическом движении, стойко переносили неизбежные при этом лишения, смело глядели в глаза опасности; арестам подвергались Степан Васильченко, Аветик Исаакян, Якуб Колас, Ованес Туманян, Иван Франко; в эмиграции долгое время скитались Эдуард Ви́льде и Жема́йте; по многу лет вынуждены были жить вдали от родины Йо́нас Билю́нас, Оскар Лутс, Эджус Судрабу, Тетка; от рук наемных убийц погибли Хачатур Абовян и Илья Чавчавадзе...

Но ничто не могло помешать литераторам писать для детей и о детях, а следовательно, предвидеть счастливое будущее своих народов, работать во имя этого будущего.

Несколько подробнее об отдельных фактах жизни и творчества писателей — авторов настоящего тома — можно узнать в Комментариях.

Повести и рассказы, составившие том, дают возможность юному читателю извлечь из опыта другой культуры любопытные

представления о быте, о чистоте народной этики, о любви к родному слову, простейшие и мудрые понятия людей разных национальностей о добре и справедливости. Читатель-подросток имеет возможность узнать о непростой жизни своих сверстников в условиях эксплуатации человека человеком, в атмосфере национальной разобщенности и борьбы за лучшую долю; сможет углубиться в осмысление исторического народного и национального опыта и самостоятельно уловить важные, интересные особенности сегодняшнего существования тех или иных народов в братской семье республик Советского Союза.

Таким образом, опыт литературы, адресовавшейся юному поколению в XIX — начале XX века, становится и опытом литературы современной. Об этом хорошо сказал выдающийся советский литературовед и историк литературы академик Д. С. Лихачев: «...каждое обращение к старому в новых условиях было всегда *новым*. Обращение к старому... его сохранение — это не отказ от нового, это новое понимание старого, своих корней, это ощущение себя в истории. Задержку в развитии создает не приверженность к истокам, а отказ двигаться вперед»¹.

III

Время прекрасно видит себя в литературе. Каждый народ всегда учил свою литературу бесстрашию. Народные судьбы закаляли судьбы писательские.

Произведения, включенные в эту книгу, отражая дореволюционный период в жизни разных народов царской России, имеют много общего в воссоздании образов детей и взрослых, особенно если говорить о литературе народов Прибалтики, о литературе народов Средней Азии и Казахстана; очевидна и во многом общая идейная направленность большинства произведений, их социальный гуманизм. По-другому и быть не могло, ведь в них рассказано о всевластии помещиков, баев, духовенства, царских чиновников, вызывающем гнев и возмущение простых людей, об их стремлении освободиться от подневольной кабалы, защитить свое достоинство людей труда.

Тяжесть крестьянской доли — основная тема творчества, например, Эмитрёка Бядули, Жемайте, Антона Таммсааре. Именно труженик предстает во многих повестях и рассказах как человек щедрой души, кровно связанный с родной землей, готовый помочь ближнему.

Замечательно, что почти все писатели показывают картины из жизни своих народов через судьбы простых людей.

¹ Д. С. Л и х а ч е в. Искусство памяти и память искусства. «Литературная газета», 1982, 15 декабря.

Существенную часть книги составляют рассказы о том, как дети, молодежь, взрослые защищали свое право на культуру, на образование. Вот почему главные герои ряда произведений — учителя, студенты, воспитатели. Мы помним, что и многие авторы были педагогами, а Хачатур Абовян, Ибрай Алтынсарин, Степан Васильченко, Борис Гринченко, Ион Крянгэ сами создавали школы. «На нашу долю,— писал, в частности, Алтынсарин,— теперь выпало самое тяжелое, ответственное время, когда все надо еще создавать, вводить эти нововведения в темную среду и освещать ее, насколько хватит у нас сил и умения... Вот и таскаюсь я по степям, выпрашиваю деньги у обществ и разных общественных, уездных... властей».

Только по инициативе одного Алтынсарина было открыто семь начальных школ, четыре двухклассных училища для детей-казахов, в том числе первые школы для девочек. Но и в такие начальные учебные заведения еще нужно было попасть, пробиться.

Перу Ахмада Дониша и Иона Крянгэ принадлежат произведения явно выраженного сатирического направления; яркая сатира и один из рассказов Джалила Мамедкулизаде. Прозу этого писателя отличает внешне бесстрастный характер повествования, строгий отбор деталей, что было в то время необычным художественным приемом в литературах Востока. В 1906 году Мамедкулизаде получил разрешение на издание сатирического журнала «Молла Насреддин». Сатирический характер журнала, как и почти все творчество его редактора, был связан с тем, что многие явления мусульманской действительности — отсталость народа, свирепость властей, цепкость феодальных пережитков, реакционность духовенства — требовали беспощадного и прямого разоблачения. Журнал и рассказы Мамедкулизаде читал весь мусульманский Восток, во всех городах и областях России, где жили мусульмане, — в Азербайджане, на территории нынешнего Казахстана, республик Средней Азии, на Северном Кавказе, в Татарии и Башкирии. В этих же местах, где в большей, где в меньшей степени, было известно и творчество для детей и юношества Ибрая Алтынсарина, Фатиха Амирхана, Сулеймана Сани Ахундова, Галимджана Ибрагимова.

Писатели в XIX — начале XX века, подвижнически делившие свой талант между юным и взрослым читателем, сознавали, что формирование взглядов ребенка любой национальности происходит в общем процессе борьбы за свою свободу, свою культуру. Книга на родном языке была одним из самых коротких, верных и надежных путей для овладения сознанием детства и юности.

Открывая для себя мир книги, дети разных народов узнавали, что есть другая жизнь, с непохожими традициями и обычаями, иным уровнем развития культуры. Направляемое писателями-патриотами, педагогами-патриотами юное поколение постепенно

понимало, сколько же окружающих его людей, как и оно само, влачит жалкое духовное существование, тогда как в некоторых литературах, например в русской, уже много и талантливо написано о жизни бедных и богатых, о жизни тех, кто борется за лучшее будущее для своего народа. И все же каждому читателю всегда требовалось обязательно свое: своя природа, привычные имена, названия, все именно «про себя». Нужно было непрерывное узнавание, а не только сравнение своей жизни с жизнью детей и взрослых другой национальности.

Каждый из авторов настоящего тома много сердца и сил отдал тому, чтобы дети на родном языке узнавали правду обо всем, что их окружает, и верили в братскую солидарность людей труда любой национальности.

Каждое из произведений, вошедших в книгу, так или иначе отразило и национальную и интернациональную культуру того времени, которое воспитало автора повести или рассказа. Время, борьба народов за социальную справедливость показали, что все настоящие писатели — сыновья и дочери своих народов — были интернационалистами.

Не было, нет и не может быть ни одного крупного писателя, который был бы только национален. Человечество, вся прогрессивная культура, развивались и продолжают развиваться в направлении растущего интернационализма. И многонациональный Советский Союз — самое яркое тому подтверждение.

Живой интерес к русской литературе, к лучшим книгам, созданным в разное время в литературах других народов СССР и зарубежных стран, — это сегодня культурная традиция каждой нации и народности, населяющей нашу страну.

Старая истина утверждает: каждый народ должен брать у прошлого пламя, а не пепел. Пламя — это то, что продолжает жить, что способствует чуду продолжения народов во времени. Литература, вообще культура, принадлежит именно к таким чудесам, превращая прошлое народа — его память — в существенную часть его сегодняшнего дня, его будущего.

Пламя истории, искусства, литературы любого народа не принадлежит лишь этому народу. Значит, сегодня, как и вчера, нужно видеть каждую из литератур нашего многонационального братства в движении всей советской литературы.

Владимир Александров

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
ПИСАТЕЛЕЙ-
КЛАССИКОВ
НАРОДОВ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ
/ XIX—НАЧАЛО XX в. /



Фатих Амирхан

МОЯ АВТОБИОГРАФИЯ

1

Я родился в январе 188... года на рассвете. Если почтенные читатели обратят внимание на то, что я родился в начале нового года и на заре, думаю, они поверят в то, что я человек не пустой. Как и всякое дело у татар, рождение мое для меня не было делом заранее обдуманном. Еще за полчаса до появления на свет я ничего не успел подумать об этом. Как и каждый татарин, после рождения я не стал голову ломать над тем, для какой цели я родился, а решил, что мне следует поступать так же, как поступали мои предки,— я заревел во весь голос; плакал я, плакал, сколько минут проплакал, не знаю — ведь тогда я еще не умел узнавать время по часам. Когда мое тельце завернули в старую отцовскую рубаху и дали грудь, я умолк. Я ведь истинный сын татарина: раз сыт, одет, зачем же еще плакать, чего мне еще недостает? Собравшиеся вокруг меня женщины от радости разинули рты до ушей, словно они попали в рай:

— Мальчик! Мальчик!..

«А, вон оно что! — подумал я.— Стало быть, у этих людей быть мальчиком почетно. Это надо будет учесть».

Не скрою от читателей: когда подрос, я стал находить все больше и больше выгоды от такого мнения о мальчиках. При виде девочки или женщины нет-нет да окину их свысока уничтожающим взглядом: «Эх ты, тряпичная голова, скажу я тебе, знаешь, каким почетом пользуются мужчины, и не смогла родиться мужчиной, бедняжка!»

Родившись, люди растут. Решив, что они, наверно, знают, что делают, я тоже стал расти. Расту да расту, просто страсть как быстро расту, прямо остановиться не могу: и зубы прорезались, и ходить начал, и говорить начал, словом, все было как положено.

Однако такой быстрый рост для меня самого оказался не особенно выгодным. На мою голову посыпалось множество бед: то острекаю ноги крапивой, то в погоне за стрекозой упаду и ушибу руку, то мама нашлепает за то, что дразнил мальчишку,— все это пришлось испытать мне, бедняге. Но самая страшная из бед, от которой я просто изнемогал, случалась весной: гуси, бродившие со своими гусятами на лужайке возле нашего кладбища, почему-то невзлюбили меня с первой же встречи. Взяли себе в привычку: где ни завидят, с устрашающим шипением гонятся за мной. Гусыня с выводком считала своим гусиным долгом, вытянув шею, гнаться за мной. Даже мой отчаянный крик: «Мама, гуси!» — не пугал этих тиранов. Так из-за этих врагов светлые и веселые весенние дни становились для меня мрачными и страшными.

К тому времени окончательно выяснилось, что я буду служителем искусства. Читатели, конечно, могут подумать, что я хвастаю, но что поделаешь, не могу умолчать, излагая свою автобиографию, о тех своих достоинствах, которые бросались в глаза: к пяти-шести годам я стал коллекционером черепков фарфоровой посуды. После долгих стараний я сумел собрать замечательную коллекцию черепков. Чтобы показать, насколько была совершенной моя коллекция, будет уместно привести мнение одного из крупнейших коллекционеров того времени эфенди*¹ Габдельбари. Эфенди Габдельбари, семилетний энергичный и самоотверженный собиратель черепков, всегда говорил мне:

— Таких хороших черепков, как у тебя, ни у кого нет.

Читатели, понятно, подумают, что я снова хвастаюсь. Что ж поделаешь: не могу не упомянуть о том, что я с малых лет очень полюбил мечеть, стал ходить на моления с пяти лет. Правда, в то время я не важничал, совершая обряд омовения, даже случалось, что во время вечерней дополнительной молитвы в период поста я нечаянно засыпал на подоконнике и падал, как мяч, на спины

¹ Здесь и далее см. Комментарии в конце тома.

взрослых дядей, которые в это время как раз склонились в земном поклоне. А когда мы в промежутке между земными поклонами стояли, я успевал потолковать о глиняных хлебцах, слепленных мною перед самым уходом в мечеть, со стоящими рядом мальчиками. Но поскольку мои молитвы были усердны и совершались с самыми чистыми намерениями, мой намаз* не нарушался из-за пустяков и считался действительным. Как-то раз старик Вали, не ведавший о подобной чистоте моего намаза, заметил мне: «Махдум*, во время намаза разговаривать нельзя!» Но я посоветовал ему самому совершать моление, переговариваясь со стоящим с ним рядом стариком Сагитом, сказав, что от этого правила совершения намаза не нарушаются, — и он замолчал.

В эти годы удары небес заставили меня прибегать ко всяческим хитростям. Против каждого удара злой судьбы я стал придумывать средство защиты: если, бывало, вытянув шею, на меня нападает гусыня, я науськиваю на нее свою беленькую красивую собачонку, и, пока они дерутся, я удираю; если начинает задираться мальчишка сильнее меня, я сперва с вызывающим, бесстрашным видом кричу: «А ну, иди! Подойди сюда, я тебе кишки выпущу!», а когда он начинает приближаться, делаю вид, что пустился наутек, с тем чтобы в самый неожиданный момент вдруг повернуться к нему лицом и двинуть его по роже, он остается реветь, а я удираю домой; а когда, бывало, мать захочет за какую-нибудь провинность отлупить, я живо залезаю на крышу и, дождавшись там часа намаза, потихоньку спускаюсь и отправляюсь в мечеть. А возвращаюсь оттуда домой, смиренно идя рядом с отцом. У кого хватит совести бить ангелоподобного дитя, которое с таким кротким видом возвращается из мечети!

2

На седьмом году меня отдали в школу. Наш учитель был толстым, ленивым человеком. Он показал мне нарисованные на бумаге знаки, похожие на фарфоровые черепки, и сказал, что один из них — прописная буква «Б», а другой — простое «б». Спорить с ним я не стал, хотя прекрасно знал, что это было изображение черепков, и сделал вид, будто верю, что одно из них — простое «т», другое — еще что-то и всякая прочая ерунда. Со временем учитель показал мне изображения сковородников и велел называть их — то, которое поменьше, «хамзой»*, а которое побольше — «гаеном»*. Ничего не поделаешь, раз заставляют — стал называть сковородники «хамзой» и «гаеном». Наконец, последним обманом со стороны учителя было его лживое утверждение, будто изображение щипцов для сахара — это «лэм-алиф»*. С того дня, как я поверил в этот обман, меня стали называть грамотным ребенком. Будучи сыном муллы, я с малых лет отлич-

но усвоил, что звание муллы — самое почетное и высокое после пророка и его сподвижников. Понемногу я стал готовиться к этому званию, вырабатывая нужные манеры и поведение. Из старого отцовского казакина из полушелковой бухарской ткани мне сшили халат, из отцовской же старой чалмы соорудили мне маленькую чалму, а из маминого зонтика я выдернул ручку и превратил ее в палку, с которой стал посещать мечеть. В таком обличье я ходил в мечеть на намаз, а наши приходские бородатые младенцы, вместо того чтобы называть меня маленьким клоуном, звали маленьким муллою...

Уже в эти годы я познакомился с его преосвященством покойным Фатхуллой. Мне приходилось встречаться с ним очень часто, в разное время, и он представал передо мной в разных видах: и молодым, и старым, и толстым, и тонким, и черноглазым, и голубоглазым, и рослым, и низеньким.

Народ в это время был весьма предан «ученому» духовенству и относился с большой любовью и почтением к его преосвященству Фатхулле.

Я тоже стал постепенно готовиться к тому, чтобы подняться до положения преосвященного Фатхуллы...

Уже на второй год учебы в школе я получил от учителей очень ценные сведения о постыдных вещах. Пусть господь даст моему первому учителю рай на земле и богатство на том свете. Он, бедняга, всегда поучал меня: «Нужным вещам ты научишься и тогда, когда станешь взрослым, а пока маленький, старайся выучиться тому, чего знать не надо!..» Помню, как сегодня, однажды преосвященный Фатхулла пришел к нам в образе белобородого старца. Мне захотелось рассказать ему свой урок. Он спросил у меня:

— Соблюдение каких условий делает действительным омовение?

И когда я ответил без единой запинки, он воскликнул:

— Слава великому аллаху, слава великому аллаху, сынок! Вижу, прилежно учишься, если так будешь учиться, станешь таким же, как я, ученым муллою.

Да и как было не сказать этого: когда семилетний ребенок бойко отчеканивает такие вещи, о которых даже взрослые стесняются говорить, на такого ребенка не трудно возлагать надежды, что он со временем станет не только таким, как его преосвященство Фатхулла, но и постоянным редактором журнала «Религия и жизнь».

В другой раз преосвященный Фатхулла пришел к нам в арабском летнем халате, в образе чернобородого паломника, которого нанял какой-нибудь богач, дабы тот совершил за него паломничество в Мекку. Он спросил у меня:

— Из каких обязательных действий состоит омовение?

Я принялся что-то болтать и в заключении ответил:

— ...и трижды высморкаться...

Преосвященный Фатхулла, желая показать, что он весьма доволен моими знаниями, дал мне в виде поощрения десять копеек серебром.

Через год-другой меня отдали в одну из известных в Казани медресе*. В этом медресе был учитель по имени Петушитдин, который обучал меня арабскому синтаксису. Это был рослый, широкоплечий, чернобровый, с темными веснушками татарин. Хотя он среди учителей не выделялся знаниями, но славился своей способностью к политике и воспитанию. Его политика и способ воспитания были очень просты: стоило одному из шакирдов* надеть тюбетейку чуть набок, как наш Петушитдин вызывал его к себе.

— Ты, парень! Почему надел тюбетейку набекрень?

— Да я, хальфа*, нечаянно, просто не заметил.

— А, ты еще разговариваешь, мальчишка! Ложись сейчас же!

Бедный шакирд ложится, вытянувшись, и Петушитдин принимается нещадно сечь его.

Господин учитель и меня учил хорошим манерам: если я не успевал подать ему кумган* и галоши, когда он выходил для омовения, он целый день ходил, посвистывая носом, и откашливался, издавая очень страшный и неприятный звук, а при обращении ко мне гнусаво и коротко бросал:

— Мальчик!

Из-за подобного обращения он казался мне страшнее гусыни с выводком.

Как-то раз я поведал о таком обращении со мной его преосвященству седобородому Фатхулле. Однако последний не только нашел правильным поведение учителя Петушитдина, но и счел его очень мудрым и сказал, что в ученом мире знатоков ислама каждому подобному действию есть одобрительное название. Умение расхаживать с устрашающим детей видом и говорить в нос, оказывается, называется достоинством, а умение высечь не угодившего учителю шакирда — воспитанием.

После этого я принялся за книгу под названием «Исагужи». Я слышал, что преосвященный Фатхулла весьма усердно изучал эту книгу, поэтому я тоже постарался, в результате моего старания через месяц я узнал, что я есть говорящая скотина.

Итак, теперь я — говорящая скотина! Учитель Петушитдин тоже говорящая скотина! Его преосвященство Фатхулла тоже говорящая скотина!

Самой большой пользой от изучения «Исагужи» было то, что у меня сменился учитель: вместо Петушитдина книгу проходил со мной другой учитель, человек мягкого нрава, кроткий, с характером дервиша, прямодушный и симпатичный. Теперь мой бывший учитель — мулла в одной из деревень Хвалынского уезда, и всегда я поминаю его только добром.

В эти годы я приучился ругаться с первым попавшим мне на

глаза шакирдом, и об этой своей новой привычке я рассказал преосвященному Фатхулле и, чтобы доказать это, обругал и его. Неожиданно для меня он весьма обрадовался моему умению ругаться и, одобрительно потрепав по спине, наградил меня высоким званием спорщика. В те же годы я подружился и с господином Сагдй (теперь он в редакции газеты «Вакыт»). Он был поклонником арабской литературы и одним из первых шакирдов, выступивших против схоластики в медресе. Он и на меня оказал большое влияние в этом духе и таким образом взял на себя главную вину в том, что из меня не вышел преосвященный Фатхулла.

Тогда же я стал увлекаться арабской и турецкой литературой и стал прочитывать все вновь выходящие татарские книги. А такие книги, как «Гакайд» и «Тэхэйп», которые были моими учебниками в медресе, я прочитал лишь для того, чтобы уметь ругаться при встречах с его преосвященством Фатхуллой. Вскоре началось брожение среди шакирдов, и я был одним из первых, кто примкнул к их движению.

Однажды мы потребовали у муддариса*, чтобы в медресе были введены новые науки и философия религии. Господин муддарис явился к нам с таким видом, будто внял нашим требованиям, и огласил новые правила. Важнейшими из них были:

1. Все пять намазов шакирд совершает в мечети.
2. Одежду, волосы и усы шакирд носит согласно установлениям ислама: усы не отращивать, бороду не брить и носить одежду, подобающую ученым богословам.
3. Не хохотать, громко не разговаривать.

Прочитав этот свод правил, господин муддарис произнес очень длинную речь и объявил, что если правила будут соблюдаться — считать, что в медресе произведена реформа, что дело не в сумме знаний, а в их плодотворности. После этого многие шакирды махнули рукой на занятия в медресе, заявив, что если главное — плодотворность, то знаний можно и не иметь.

К весне смута усилилась, шакирды предъявили господину муддарису те же требования. Муддарис, не желая, чтобы смута разрасталась, обещал с будущей осени ввести новые науки, а с текущего года обещал читать курс философии религии.

Занятия по философии религии проходили очень интересно. Господин муддарис прежде всего разделил разум на две части: разум здоровый и разум, к которому примешано рассуждение, — нездоровый. Разум, который верит всему, что написано в книгах толкования установлений ислама, есть разум здоровый, а разум, который сомневается, не верит, есть разум нездоровый. И муддарис стал толковать философию всех суждений, исходя из подобного здорового разума.

— Мудрость тэяммима* безгранична. Здоровый разум не будет этого отрицать. Правда, европейские атеисты не верят суждениям. Но как было уже сказано, умы сегодняшней Европы,

поскольку их суждения не отмерены мерой шарииата*, испорчены рассуждениями и не заслуживают доверия.

Смысл и философия сәтрэ* безграничны. Ни один обладатель здорового разума не согласится показывать красивое и привлекательное лицо своей жены постороннему мужчине, на это решится только испорченный человек.

Услышав подобные суждения, я тоже захотел стать обладателем здорового разума и для этого решил придерживаться мнения, что женщин надо скрывать от мужских взоров. Я и до сих пор, если желаю знать, обладает ли человек здоровым разумом или у него разум нездоровый, смотрю, как он относится к тэям-миму или к сәтрэ. Например, таким способом я узнал, что доносчик Ишми обладает здоровым разумом, а у Толстого разум испорченный.

В этот период жизни я уже перестал стремиться быть таким, как преосвященный Фатхулла, и завидовать тому, каким уважением он пользовался у окружающих. И при встречах мы стали вздорить с ним из-за пустяков. Прежде мы спорили только о том, извечен или преходящ сей мир или насколько доказательна книга «Хэкаеки эшья»*. А теперь предметом наших споров стала учебная программа медресе, религиозные взгляды реформаторов Египта и тому подобное. И кто бы ни побеждал в этих спорах — я или преосвященный Фатхулла, — в обоих случаях ссора кончалась для меня плохо. Потому что в конце разговора он объявлял, что я потерял право попасть в рай.

Его преосвященство Фатхулла, приняв разные обличья, не раз пытался образумить меня, наставить на путь истинный, пробовал запугивать адом или говорил, что, если я не сумею стать муллой, могу умереть с голоду. Но ничего не помогло. С той поры он стал считать меня погибшим. При встречах я поддразнивал его. Если почтенным читателям приходилось поддразнивать такого человека, как его преосвященство Фатхулла, они поймут, какое это веселое занятие!

Наконец я прошел программу медресе. Иначе говоря, я изучил «Муллау Джалиля», «Тэузіх» и другие книги, которые засоряли мозги многим и многим татарским юношам, и окончил курс обучения в медресе.

Если бы я пожелал получить звание имана и хатиба-муддариса, то есть муллы — проповедника прихода с правом заведования медресе, у меня достало бы для этого полученных в медресе знаний, но мне хотелось остаться обыкновенным человеком, поэтому я взялся за учебу заново.

Я принялся изучать русский язык. Вот ведь какое дело! Если не хочешь стать муддарисом и муллой, заново становись учеником. Если бы я знал себе цену, я давно бы стал муддарисом и воспитал бы немало таких, как его преосвященство Фатхулла. Или же, если бы я поверил в то, что весь мир погряз в пороках

и только я один остался чист, я стал бы одним из жеребчиков журнала «Религия и жизнь», пребывающим в сознании несокрушимого своего превосходства, которое присуще лишь круглым невеждам.

Что касается истории того, как я стал писателем, то это дело давнее. Уже с трех лет я начал писать на полях отцовских книг похожие на морские волны строчки, которые были понятны только мне одному. Родителям, видимо, не очень понравилось, что я так рано стал писателем, они начали ставить книги повыше, чтоб я не мог достать. Впрочем, я не растерялся: решив, что помимо книжных полей для меня найдется на чем писать, я, окунув в чернила палец, начертил такие же волнообразные линии на лице младшего брата. Однако маме не понравился этот вид моей писательской деятельности. Она стала тереть щеки брата, стараясь отмыть водой с мылом мои записи, в которые я вложил столько творческих усилий. Потом уже, когда я начал учиться в школе и когда мне в руки попали перо и бумага, став теперь моей собственностью и подчинившись моей воле, выяснилось, что писательский талант был у меня в крови. Я девяносто девять раз переписал статью из школьного учебника, в которой говорилось следующее: «Воспитанный ребенок не должен разговаривать при взрослых, смеяться при взрослых, кашлять при взрослых, вращать белками при взрослых, крутить большим пальцем при взрослых...» А в четырнадцать лет я начал писать философские, сугубо философские статьи для запрещенных рукописных журналов, издававшихся в медресе. Когда же начали выходить татарские газеты и журналы, я сначала был корреспондентом одного из журналов, потом — главным редактором одной газеты и так далее, и так далее...

Мою автобиографию, пожалуй, на этом и можно прервать. Потому что дальнейшие события — это события новейшие. События же интересно описывать только после того, как они немного устареют. Может быть, некоторые юноши и девушки, читающие эту книгу, будут говорить обо мне с осуждением: «Ба, да господин Ташмухаммед* никогда не любил! Если бы ему приходилось любить, он непременно написал бы об этом!» Но, как говорится, питать сомнение — грех. Не шпионьте друг за другом, не осуждайте друг друга, господа. О таких вещах можно говорить только как о тайне, друг другу на ушко.

ТАТАРКА

Посвящается девушкам мусульманского Востока, не желающим быть погребенными заживо.

Фатих

I

Родилась девочка...

Она была такой же, как и все человеческие существа: в ее воле было шевелить руками, ногами, вертеть головкой, смотреть, куда ей захочется, и никто на это не мог наложить запрета.

Правда, иногда ее пеленали и принуждали не двигаться. Но она могла протестовать: плакать, кричать. И свою решимость никому не позволять отнимать у нее свободу она могла выразить тем, что прямо смотрела в глаза своим притеснителям.

Когда она родилась, она была человеческим существом: могла улыбаться, показать, что она радуется неожиданно открывшейся перед ней жизни; вольна была упрямиться и тем самым дать понять, что она может желать чего-то или не желать и что сама природа дала ей силы для сопротивления чему-то.

Родилась девочка... Ее положили, как и других детей, в колыбель; мать и отец в сердцах своих дали ей место рядом с сыновьями. Девочка жила в той же комнате, где обитали мальчики, ее носили и водили по тем же улицам, по которым ходили мальчики, ее грело то же солнце, которое согревало и мальчиков, она мерзла от той же стужи, что и мальчики; как и мальчики, она могла свободно думать о том, что ей приходило в голову, она наравне с ними могла воодушевляться и переживать то, что занимало ее мысли, ее разум, трогало ее сердце.

Щедрое солнце озаряло ее золотыми лучами, теплый ветер приносил и ей нежные запахи весны, юные цветы ласкали ее взор — словом, природа подносила ей те же дары, что и другим существам.

II

Родилась девочка...

Вначале она была живым существом. Но только до шести лет. Потом какая-то темная сила на своем тайном судилище приговорила ее за совершение никому не ведомого греха к смерти и принялась медленно душить ее, душить в тисках какой-то безжалостной машины до тех пор, пока не будет выжата последняя капля жизни; она приказала заживо зарыть татарку в могилу, прежде чем перестанет биться ее сердце и остынет тело.

Девочке исполнилось шесть лет.

Братья иногда обижали ее: ударят, дернут за косичку. Как и

всякое живое существо, она могла противиться насилию: ударят — ответит тем же, за косичку дернут — укусит обидчику палец, расцарапает лицо. Но темная сила, осудившая татарку на смерть, не могла допустить, чтобы жертва ее обладала подобной свободой, и заставила живую куклу, именуемую матерью, передать татарке свое повеление:

— Девочке драться с мальчиками неприлично!

С этого дня девочке было велено защищаться от притеснения братьев, лишь прибегая к покровительству других.

Неопытную девочку обманули. Она не знала, что была приговорена к смерти и что с этого запрета началось исполнение вынесенного ей смертного приговора.

Девочке исполнилось семь лет...

Прежде она могла бегать по улицам вместе с мальчиками, с такими же детьми, как и она сама. Но темная сила не желала, чтобы ее жертва пользовалась такой свободой. Живая кукла (мать девочки) повторила, как попугай, повеление темной силы:

— Девочке играть с мальчиками неприлично!

Девочка не могла поверить запрету, противному человеческой природе, жизни, свободе, гуманности. Тогда темная сила заставила отца татарки повторить приказ:

— Девочке играть с мальчиками неприлично!

Недоверие татарки было поколеблено. Окружавшие ее люди повторили то же самое:

— Девочке играть с мальчиками неприлично!

Теперь татарка поверила, ибо думала, что люди желают ей добра. Но жизнь решила защищаться. Ей казалось, что она победит врагов, если вызовет их на суд разума.

— Почему? Почему неприлично? — спросила жизнь.

Татарка молчала. Вместо нее ответила темная сила:

— Так повелели отец, мать, дед и бабка!

Жизнь поразилась. Она не думала услышать столь бессмысленный, бесчеловечный ответ.

Темная сила торжествовала, словно в праздник: она победила. Своей жертве, татарке, она вручила маленьких мертвых кукол.

Разлученная с другими детьми, лишенная вольного воздуха, свободы, девочка брала в руки проклятые подарки темной силы и разглядывала их с недоумением. Она не знала, зачем они ей.

Темная сила подослала к ней живых кукол, именуемых «сестра», «мать», «бабушка», «тетка», и заставила их обучить девочку игре с куклами неживыми. Живые куклы были искренне убеждены, что играть надо, подражая их жизни: ходить в гости, играть свадьбы, выдавать невест замуж, принимать молодницу, делать подарки сватам... Истинного смысла всех этих действий татарка еще не понимала. Но девочке, для которой считалось неприличным играть с мальчиками, не оставалось других игр, и она принялась играть со зловещим подарком темной силы.

— Эта кукла — мальчик, а это — девочка. Кукла-мальчик берет в жены куклу-девочку; свадьба, приехал жених, прибыла невеста, пришли гости...

Татарка все играет, играет да играет...

Темная сила, притаившись в углу, наблюдала за татаркой с усмешкой:

— Это ты готовишься к будущему: такова твоя будущая жизнь.

III

Татарку отдали учиться к абыстай — жене муллы. У девочки возник вопрос: «Почему мальчиков Галй, Валй и Биктемира отдали учиться в школу, а меня повели к абыстай?» Но темная сила пришла в ярость:

— Девочкам учиться с мальчиками нельзя!

Живые куклы дружно закивали:

— Да, да, нельзя!

Жизнь пыталась защищаться:

— Почему? Почему нельзя?

Живые куклы завопили:

— Потому что стыдно! Неприлично! Неприлично!

Отец с его «мужским разумом» подтвердил:

— Да, да, стыдно!

Жизнь, собрав все свои силы, снова повторила вопрос:

— Но почему?

Отец угрожающе взъерошил короткие усы, живые куклы нахмурились, так сморщились, что люди в страхе разбежались бы, если бы не знали, что перед ними только куклы.

— Как почему?! Да потому что стыдно, неприлично!

Теперь темной силе добиться своей конечной цели было легко: самое трудное она поручила другой живой кукле, учительнице, называемой абыстай, своей давнишней преданной служительнице. Наставница хорошо знала свои обязанности — превратить татарку в такую же живую куклу, какой была она сама. Воодушевленная темной силой, вооруженная сорокалетним опытом, она знала короткий и очень легкий путь для превращения татарки в живую куклу; три года разными способами она внушала девочке одну «истину»: женщины — существа совершенно иные, чем мужчины. Девочке эта «наука» уже не показалась странной: ведь она так много слышала об этом от живых кукол дома. Учительница добивалась и большего: все три года она твердила девочке, что женщины — соблазн, грех.

Жизнь гневно запротестовала:

— Неправда! Я не соблазн, я человек! Да, человек!

Вдохновленная темной силой, учительница выложила перед

татаркой кучу книг, рукописных и печатных. В книгах было написано, что вся женская половина рода человеческого есть соблазн.

— Почему?

— Так сказано в книгах! — ответила учительница.

Темная сила погрозила девочке кулаком:

— Попробуй не верить старшим! Я тебе!

IV

Татарке исполнилось тринадцать лет...

Ей дали бесформенный полосатый мешок, который прячет живых кукол от людских глаз, от солнца, луны и воздуха.

Живая кукла, мать девочки, сказала ей:

— Дочь моя, тебе исполнилось тринадцать лет. С этого дня и до самой могилы ты должна накрываться этим с головы до ног!

Рыжебородый отец с короткими торчащими усами подтвердил:

— Закрывайся этим до самой могилы!

Татарка ничего не могла понять.

— Почему? — спросила она в отчаянии.

Живые куклы прямо не ответили на вопрос и лишь добавили:

— Если встретишь существо с бритой головой и в малахае, называемое мужчиной, закрой лицо краем этого покрывала!

— Но почему? — горестно спросила жизнь.

Ответила учительница:

— Лицо твое, волосы, вся фигура — соблазн, а соблазн должно скрывать. Мужчины глядят на тебя с вожделением, и потому ты должна прятаться от них.

Жизнь плакала горючими слезами, она, горемычная, еще никогда не слышала ничего более унижительного.

А учительница еще два года стрекотала над ухом татарки:

— Да, мужчины глядят на тебя с вожделением!

Обессилевшая, угасшая жизнь не осмелилась еще раз спросить «почему»; темная сила, оскалив зубы, грозила ей кулаком.

— Тебе пятнадцать лет. Теперь тебе стыдно ходить на уроки и показываться мужчинам! — заявили девочке живые куклы.

Жизнь была тяжело больна — она не возразила.

Темная сила между тем повторила свои наставления:

— Ты теперь знаешь, что ты существо, не равное мужчине, ты соблазн, тебе стыдно показываться людям на глаза. Ты узнала все, что тебе полагалось. А знать больше стыдно. Да, неприлично!

Живые куклы и толстопузый отец дали татарке строгий наказ:

— Вот тебе четыре стены, стереги их, они же будут стеречь тебя до тех пор, пока не найдется для тебя животное, именуемое мужем, которому ты будешь служить игрушкой.

Темная сила пояснила:

— Окно в шесть переплетов — твое солнце, пять комнат дома заменят тебе пять частей света: Европу, Азию, Африку, Америку и Австралию; хилые цветы на подоконнике — для тебя сады, поля и леса; затхлая вода в кумгане и в тазу сойдет за реки, озера, и моря; спертый воздух, отравленный запахами угля, бараньего сала и благовонного масла, заменит тебе вольный воздух всей земли; крики, плач и перебранка, которые ты будешь ежедневно слушать дома, заменят тебе музыку; семь или восемь живых кукол и отец заменят тебе полуторамиллиардное население земного шара; науку и философию — плод тысячелетних усилий человечества — заменит тебе «священное» твое невежество.

Жизнь лишь вздохнула. Последним усилием она подвела татарку к окну.

Была пятница — священный день. Мимо окна шел кривоногий лавочник. Татарка взглянула на него, а для живых кукол это означало, что она «влюбилась» в него. Лавочник приосанился, сверкнул глазками, «любовно» спросил:

— Почему сидишь одна, красавица?

В субботу девушке уже запретили сидеть у окна, и она только прохаживалась около него. Мимо прошел шакирд, сгорбившийся, точно коромысло. Татарка и в него тоже «влюбилась». Шакирд воскликнул: «Чернобровая гурия моя!» — и решил сегодня же написать ей любовное письмо на разрисованной цветочками бумаге.

В воскресенье татарка получила приказ: не сметь подходить к окну. Она подошла украдкой. Мимо шел сын муллы в куцей чалме на свежевыбритой голове. Татарка «влюбилась» и в него. Сынок муллы поправил чалму, чтобы она выглядела щеголеватей, и, прищурившись, прикинул в уме выгоды женитьбы на дочери бая; он решил сегодня же передать девушке через старуху «любовное» послание.

В понедельник девушка опасливо подкралась к окну. На сытой лошади проехал толстобрюхий бай с сынком. У сына масляные глазки, шапка набекрень. Девушка «влюбилась» в сынка. Байский сынок подмигнул ей и подумал, что эту девушку, пожалуй, можно сделать своей пятой любовницей. Старый же бай смекнул, что со временем мог бы жениться на ней, сделав ее второй женой.

VI

Но и случайные взгляды в окно, эти предсмертные судороги жизни, вызвали недовольство темной силы.

Живые куклы сообщили татарке:

— Ты сосватана за Биктемира и стать его рабой — твой долг.

«Мудрый» отец повелительно изрек ей свое наставление:

— Воля Биктемира — божья воля!

Темная сила с самодовольной усмешкой объявила:

— Отныне ты избавляешься от мятежницы, называемой жизнью, и становишься живой куклой. Я даю тебе Биктемира, чтобы он играл с тобой. До самой могилы ты будешь служить ему. Вот моя цель.

Отцы — один, продававший живую куклу, другой, покупавший ее для сына, — стали торговаться.

— Ну, уважаемый Зайнетдин, мехер* — пятьсот рублей.

— Нет, дорого. Так и быть, на тебе четыреста!

— Э, нет, уважаемый Зайнетдин, прибавь пятьдесят!

— Ну, бог с тобой, так и быть, в придачу дам платье, шитое позументом.

Вначале позвали в дом много живых кукол и накормили их. Татарке они нанесли много тряпок, безделушек.

Затем позвали толпу глупцов, игрушками которых были живые куклы. Их тоже накормили. Среди них был один человек в чалме; он прочитал молитву, подул на присутствующих. С этой минуты толпа глупцов стала верить, что отныне татарка стала игрушкой Биктемира.

— Ты (имярек) согласен отдать свою дочь за Биктемира, сына Зайнетдина, за четыреста рублей и платье с позументами?

— Отдаю, отдаю!

— А ты, Зайнетдин, берешь татарку сыну своему Биктемиру в жены за четыреста рублей и платье с позументами?

— Беру, беру!

После этого татарку и Биктемира, как полагалось, четверо суток держали взаперти. Настало время везти татарку в дом мужа.

Живая кукла дала ей последнее наставление:

— Дочь моя, слушайся мужа, будь прахом под его ногами!

«Премудрый» отец твердил:

— Воля Биктемира — божья воля!

Убедившись, что жизнь теперь умолкла, темная сила, глядя на татарку, громко объявила:

— Теперь ты станешь настоящей куклой!

VII

Биктемир запер живую куклу в четырех стенах.

— Вот тебе стены, ты должна стеречь их до самой могилы. А я, когда захочу, приду поиграть с тобой!

Темная сила стояла в углу и поучала:

— Твоя святая обязанность — быть игрушкой мужа и рожать детей, чтобы продолжать на земле род таких же, как вы, глупцов!

Выполняя приказ Биктемира, который звучал во взгляде его, татарка склонилась перед темной силой:

— Да, я знаю, хорошо знаю, что рождена на свет только ради этих целей.

Темная сила, заметив, что и теперь не слышно зова жизни, расхохоталась:

— Наконец-то татарка превратилась в живую куклу!

С торжествующим хохотом темная сила вышла из угла на свет.

— Татарка погребена заживо!

А в это время ученики медресе «Жамигыль-Азхар» в Египте, чтецы Корана в стамбульской мечети Айя-София, находящейся бок о бок с парламентом для защиты национальных прав, мусульмане Индии, в Серендибе, присевшие под коричневым деревом, отшельники-аскеты, ютящиеся по углам медресе в Кúрсе, мусульмане-паломники среди развалин города Булгары и паломники всего земного шара, собравшиеся в Мекке, повторяли стих из Корана:

— День, когда заживо погребенную девушку спросят, за совершение какого греха она умерщвлена, — есть день Страшного суда...



Галимджан Ибрагимов

СТАРЫЙ БАТРАК

I

В тот год к одной беде добавилась другая. Хлебá уродились на славу, но, будто назло, осень пришла рано. И как ни старались люди успеть по погоде перевезти хлеб на гумно, это не удалось.

Приближался конец сентября. В другие годы к этому времени все гумно бывает уже уставлено огромными стогами. Радуюсь этому, ты с хорошим настроением начинаешь готовиться к встрече холодной зимы: запасаясь дровами, старательно чинишь крышу, подмазываешь стены, утепляешь окна и двери. Чтобы лучше держалось тепло, засыпаешь завалинки, чинишь клетки и сарай.

После обмолота проса и гречихи, которые созревают последними, наполняешь зерном закрома и сусеки в клетки. Кроме всего прочего, для выручки денег на всякие домашние расходы и хозяйственные нужды воза два зерна свезешь в город.

Работаешь день и ночь, а душа не нарадуется, и не знаешь, что такое усталость.

Но этот год... Про этот год и говорить нечего... ложись и умирай. Все поле густо усеяно большими копнами будто нарочно хорошо уродившегося хлеба. Беспрестанный дождь, который идет вот уже целый месяц, промочил копны до самой земли. Сверху колосья проросли, а снизу сгнили. Мало этого — не дает покоя, топчет и портит хлеба скот...

Неподалеку от развилки были две полосы пшеницы. Уродилась она так хорошо, что диву даешься. Думали мы, что в этом году обойдемся без ржаного, будем есть только пшеничный хлеб, а не вышло — и туда скотина добралась.

Несколько раз ловили вредных коров, да толку от этого никакого...

Бессовестные люди, слишком легко они хотят отделаться и получить назад своих коров. Приходят и начинают жаловаться, упрашивать: дескать, вот ты задержал и увел моих коров и оставил детей без молока. Отпусти...

Как бы не так! Слишком умным хочешь быть. Пшеница была как янтарь, всю ее потоптали и смяли, а я без всякого выкупа должен отпустить коров! Дети без молока сидят! Если нужно молоко, не пускай свою корову в чужой хлеб, смотри за ней.

Приходит мужик за своей коровой раз, приходит два и, когда видит, что корову все равно не отдают, нещадно ругает тебя на чем свет стоит.

— Всю жизнь не продержишь! — говорит он.

Ждешь день, ждешь два, у коровы вваливаются бока. И смотрит она на тебя жалостливыми глазами, будто просит:

«Выпусти меня!»

Окончательно убедившись, что коров не выкупят, проникаешься жалостью к бедным животным, начинаешь рассуждать: «В чем их вина? Какая польза в том, что коровы голодают?» — и отпускаешь.

Мало того, что от этого покоя нет, а тут еще новые огорчения.

Солнце толком и не показывается. Небо покрыто густыми серыми облаками, которые, будто задевая вершины гор, плывут и плывут. В надежде на то, что небо прояснится, запрягаешь лошадь, но не успеваешь выехать, как начинает моросить мелкий и частый дождь.

В таких случаях, махнув рукой на дождь и непогоду, не обращая внимания на то, что мучается лошадь, ломается телега, рвется сбруя, начинаешь по грязи перевозить снопы: пусть лучше гниют на гумне, но только не остаются в поле.

Хорошо еще, что лошади крепкие: они всегда сыты и перед ними не переводится овес. Едем ли мы в поле или возвращаемся обратно, грузим или выгружаем телеги — лошади не отнимают своих морд от снопов, они все время жуют сочные колосья.

В другое время при такой ненастной погоде сидишь дома, кормишь лошадь и чинишь сбрую, а в этом году не можешь даже передышку для лошадей устроить. Скачешь беспрестанно туда и обратно прямо по грязи.

Если в хорошую погоду с полей, что за гумном, оборачивались по четыре-пять раз, то теперь успеваем по шесть-семь раз обернуться.

Несмотря на это, наш старый отец недоволен.

Возвращаемся с поля все мокрые, измученные. Но вместо того чтобы расспросить о самочувствии и помочь нам, отец выходит навстречу сердитый и, нахмурив свои мохнатые брови, ворчит:

— Только лошадь изводите! Надо было нагрузить как следует. Или у вас руки вареные? Спите вы там, что ли? Пока вы один раз привозите, сыновья Джамали оборачиваются по два раза.

Не люблю я пререкаться со взрослыми: напрасная трата слов. Не обращая внимания на ворчание отца, я в один миг взбираюсь на стог, а брат подает снопы. За короткое время мы успеваем выгрузить пять-шесть возов, хватаем по горбушке хлеба, по несколько вареных картофелин и опять уезжаем. Только бедная мама жалеет и ждет нас. Вскипятив самовар, она хочет напоить продрогших сыновей своим горячим чаем и хоть немного обогреть их. Но, видя сердитое лицо и нахмуренные брови отца, она молчит и боится пригласить нас домой пить чай. Нам тоже не до чая. Надо во что бы то ни стало скорее перевезти все с поля. Если удастся, мы на ходу, обжигаясь, выпиваем пару чашек чая, а если нет, то обходимся хлебом и картошкой.

От беспрерывной беготни, бессонницы и ненастья мы потеряли человеческий облик. Одежда стала грязной, лица от холода посинели.

Дороги ужасные, об этом и говорить нечего: грязно, скользко, мосты на пути разрушены. Каждый раз рвется то гуж, то тяж, ломается телега, и это доводит до иступления. Особенно тяжело перевозить хлеб с холмистого поля. Дорога там неровная, вся в ямах. Стоит телеге чуть накрениться, как она тут же, будто сани, начинает съезжать под гору. А мы, ни с чем не считаясь, продолжаем гонять лошадей.

II

Работы так много, что забываешь даже есть и пить и не знаешь, как поспеть всюду. Именно в такую пору свалился с высокого воза мой младший брат и расшиб руку. Не похоже, чтоб был перелом, но рука распухла и посинела.

Несмотря на это, брат хотел опять ехать со мной в поле, но

я отговорил. Всего на свете все равно не переделаешь, а по неосторожности можно остаться и без руки. Пусть дома посидит, пока рука не заживет, а я буду работать один.

И вот к вечеру на четырех лошадях я собрался ехать за снопами. В овес у бабьего поля часто забираются чужие коровы и вытаптывают посев. Поэтому, не откладывая, оттуда сегодня же надо все вывезти.

Собирался дождь. Если в другое время отец ворчит, что мы мало грузим, много тратим времени, то сегодня он что-то смягчился и говорит:

— Лошади у тебя продрогли, лучше бы сегодня ехать на ближнее поле за овсом.

Я не внял этим словам, забрался на телегу и, став во весь рост, умчался как на пожар.

Лошади у нас неплохие. На поводу и без повода шагают сами.

Когда брат, открыв ворота, выпустил нас на улицу, я крикнул:

— Поехали, скотинушки!

По этому возгласу лошади разом тронулись. За моей телегой, будто по ниточке, неслось еще три.

До нашего поля будет около шести верст. Когда я выехал, отец собирался на вечерний молебен. Видимо, я очень сильно гнал своих лошадей. Не успело зайти солнце, как я уже доехал до поля. Если бы возили на старых телегах, дело бы затянулось. Пока один человек уложит снопы и перевяжет воз, проходит очень много времени. Зато грузить теперешние большие телеги-сноповозки одно удовольствие. Не успел приехать и, как говорят, в один миг погрузил четыре телеги и повернул обратно. Пожалев лошадей, я даже хотел заночевать на поле, но напугали черные тучи, надвигавшиеся с запада. Если пойдет дождь, то так намочит снопы, что они уже никуда не будут годны. А если дома и не успеешь сразу разгрузить телеги, то их можно поставить под навес.

Возвращаться домой дело привычное. Но в пути мне надо перебраться через гору под названием Ямантау. Взобраться на эту гору и в хорошую погоду не так просто, а в ненастье, как теперь, это почти подвиг.

III

Сегодня после обеда дождя не было. Поэтому я успокаивал себя мыслью, что дорога уже немного просохла и лошади не спеша должны вывезти. Но получилось не так, как предполагал я.

Когда я подъехал к горе, там уже стояла целая толпа измученных людей. Каждый пытался втащить свои возы на гору. Сын муэдзина* Садыка, Великэй, застрял с тремя лошадьми.

А это такой человек, который во всей деревне славился своими замечательными конями. Что же сказать об остальных?

Общими усилиями одну за другой мы поднимаем на гору передних лошадей. Дошла очередь до Великея. Я был уверен, что его лошади одолеют подъем без особых усилий. Но, видимо, бедные животные, возившие с утра до вечера снопы, надорвались. Сначала мы пытались их подгонять, однако, увидев, что из этого ничего не получается, начали помогать с боков. Опять ничего не получилось.

Среди нас был работник богача Ахмй — старый батрак Шагй. Видя, как лошади стараются тащить телегу вперед, а она скользит и катится назад, старик спросил:

— Где же твоя вороная, Великей? Она бы вытащила.

Показав рукой на третью телегу, парень сказал:

— К сожалению, она стоит позади.

Старик опять за свое:

— Поди отпряги вороную с той телеги и запряги в первую. Она вывезет.

Чтобы телеги не скатывались, мы подложили под колеса колья и запрягли вороную в переднюю телегу.

Ну и сила же была у этой вороной! Не успели запрячь и крикнуть «но-о-о», как вороная легко и быстро повезла телегу на гору.

Старик Шаги с какой-то гордостью сказал:

— Что, говорил я вам? Одна хватка ее стоит тысячи рублей! Ведь она потомок прекрасных кобыл старика Гирёя!

Пока мы запрягали вороную в другие телеги и она вытаскивала их, дед Шаги занимал нас рассказом о знаменитых белоногих кобылах старого Гирея.

Когда вывезли на гору все три телеги Великея, он запряг своих лошадей и уехал.

Хотя перед отъездом он и предлагал помочь своими лошадьми, чтобы вывезти другие возы, дед решительно отказался:

— Знаю я твоего муэдзина! Не муэдзин он, а жадный дракон! И так будет изводить тебя за опоздание — душу вымотает. Иди, не задерживайся, мы тут и сами как-нибудь управимся!

Я тоже поддержал деда. Вороная, конечно, лошадь очень сильная. Но ведь нехорошо, пользуясь этим, вывозить на ней снопы всей деревни.

У старого Шаги два воза, у меня — четыре. Взваливать все это на одну лошадь не годится.

У меня есть рослая гнедая лошадь по кличке Ахун. Она, я думаю, не уступит вороной Великея. А если и уступит, то ведь ночевка в поле для нас тоже не в диковинку.

После отъезда Великея мы начали подгонять своих лошадей. Впереди идут лошади деда Шаги. Они измучены до крайности.

Да как же может быть иначе? Ведь не очень-то сладко живется лошади, которая находится под присмотром батрака. Хозяин, бай Ахми, человек очень жадный. Такой человек поднимает шум из-за каждого снопа овса, отданного лошадям. Я не представлял, как лошади смогут вывезти. Но все же, памятуя, что под лежащий камень вода не течет, мы начали подгонять их. Спустили чересседельники и стали подталкивать с боков. Но если не везет, так уж не везет! Под крики и понукание шагнут лошади вперед, но скользят и падают на колени. Дед не особенно надеется на успех и не рвется вперед. После моих уговоров он хоть и начинает шевелиться, но весь его вид говорит о том, что он все равно не верит в успех и не стоит зря мучить животных.

— Ведь завтрашний день тоже наш! — говорит он.

А мне не хотелось так скоро сдаваться. Не считаясь с возражениями, я привел своего Ахуна и стал запрягать его в переднюю телегу деда. Получилось не хуже, чем у Великея. Не успел я управиться, как лошадь смело повела воз.

Фу-ты, будь он проклят! Разве у жадного бая бывает приличная сбруя!

Лошадь почти дотащила телегу наверх, но вдруг оборвался левый тяж, а затем соскочило основание оглобли, кое-как привязанное какими-то веревками. Со всеми снопами телега увлекла бы за собой и лошадь.

В сердцах я стал ругаться:

— Чтоб ты пропал, провалился в преисподнюю!

А старик, ни на что не обращая внимания, будто ничего особенного не случилось, начал длинно выговаривать мне:

— Я же говорил — зря тратишь силы... Все это по молодости лет!..

Что было делать? Не стоило тратить время на пререкания со стариком.

— Ладно, дедушка, все вышло, как ты говорил, — ответил я, отвел лошадей в сторону и начал распрягать.

Наступила ночь. Не станешь же в такую темень вытаскивать скатившиеся в яму телеги! Пришлось на этом месте заночевать.

Зато трава отличная. Пусть лошади пасутся в свое удовольствие. Черная кобыла очень беспокойная. Как ее ни спутаешь, как бы она ни была голодна, никогда не щиплет траву под ногами, а уходит куда-то далеко. За нею уходят и другие.

Я не собирался ночевать на поле, поэтому с собою у меня нет ни пут, ни веревки... Но если дело только в этом, выход можно найти: я снял с недоуздка повод — и получились путы.

Когда, сделав все дела, я вернулся к телегам, дед Шаги все еще возился возле своих лошадей, никак не мог распрячь их.

— Как дела, дедушка? Ты чего так долго?

С обидой на кого-то и на что-то старый батрак проворчал:

— Уж и не говори, сынок Сафёр! Как говорят, старость не

радость, все из рук валится. Да тут еще у рыжей кобылы спуталась супонь... Оказывается, из пакли была свита и набухла под дождем...— пожаловался он.

Вдруг почему-то мне стало жаль старика. Если Ахмибай не боится бога, то постыдился бы хоть людей. Разве можно в такую ненастную погоду на ночь глядя посылать дряхлого старика за снопами? Были бы еще лошадь и телега как у людей.

Я не стал спрашивать, подошел к нему и схватил хомут:

— Ну-ка давай сюда, посмотрю!

Удивленный дед даже попятился. Я рассердился: его так называемая супонь была узловатой веревкой, перевязанной тонкими бечевками. Не только в дождливую ночь, но и днем не найдешь концов.

— Дедушка, обрежу я все это.

Он удивился:

— А как утром обойдемся?

Не обращая внимания на слова деда, я взял и обрезал. Вскоре распрягли и вторую лошадь.

Старики бывают запасливы; в его телеге лежало двое пут. Дедушка достал их, свободно спутал ноги лошадей и сказал:

— Мои лошади никуда не уйдут. Когда трава хорошая, их не оторвешь.

Чтобы заметить, в какую сторону пошли лошади, мы постояли немного, а потом вернулись к своим телегам.

Ночь становилась все темнее, сгущались тучи, тихо, но беспрестанно моросил мелкий осенний дождь.

Мои выпачканные в грязи лапти и чулки от воды набухли и хлюпают. На мне, кроме камзола, ничего нет, и он тоже промок до последней нитки.

Когда мы улеглись спать, меня начало знобить, как в лихорадке. Будь у нас спички, мы смогли бы жечь сухие снопы, чтобы согреться немного. Другого способа погреться у нас нет. Со дна телеги я вытащил несколько сухих снопов и укрыл ими дрожащего старика. Потом и сам обложился снопами.

Мокрый камзол и чулки под соломой начали согреваться. Я пытался заснуть. Дедушке почему-то тоже не спалось. Сначала он спросил о чем-то, а потом повернулся лицом ко мне.

Хоть я знал старика очень давно, с тех пор как помню себя, но мне не приходилось сталкиваться с ним так близко и подолгу разговаривать. Ближе меня познакомила со стариком гора Яман-тау.

IV

Деревня Улькён на всю округу славилась своими богатыми, шумными базарами, которые собирались каждый понедельник. Известные богачи этой деревни торговали хлебом, скотом, лесом и

благодаря этому привлекали к себе население окрестных деревень.

В страхе перед богатством, которое давило и угнетало все и всех своими высокими домами, откормленными, резвыми конями, будто обиженная и выброшенная этой силой на окраину деревни, у моста притулилась ветхая глиняная лачуга. В бедной лачуге коротали однообразные и тихие дни старый лапотник Шамси и его жена — пряха, бабка Гайни.

Свою лачугу, которой было столько же лет, сколько и им самим, старики каждую осень старательно обмазывали. С лета запасались они хворостом, ходили за ним в ближайший лес и приносили на себе. Вместе жали они свою полоску проса у околицы, а потом в ясные зимние дни молотили по снопу, расстелив для этого какую-либо старую одежду. Дostatка у них не было, но об этом они особенно и не помышляли, не пытались нажить что-нибудь, а довольствовались тем, что имели.

Зимой старик плел лапти, вил веревки, вожжи, летом, взяв длинное удилище, ходил рыбачить и тем добывал деньги на чай и сахар. Старушка пряла богачам шерсть, готовила основу для ковров ручной работы — паласов. Иногда она оставалась сторожить дома богачей, если хозяева куда-либо уезжали, а за это брала мучицы, молока, и этим старики были сыты.

Судьба послала им четверых детей, но трое из них умерли, выжила и выросла только самая младшая — девочка Минлегуль.

После замужества Минлегуль прожила всего два года и умерла, оставив сына по имени Шагибек. Муж дочери был человеком слабохарактерным, безответным и ленивым. Похоронив жену, он бросил хозяйство, полоску посеянного проса, ушел и пропал. Найти его не смогли. Никто ничего о нем не слышал и не знал. Утонул ли он, умер, скрылся где — никто не мог сказать.

После печальных событий старики взяли внука к себе.

Они его лелеяли, как могли, ласкали и вырастили, отказывая себе в последнем куске. Когда Шагибеку исполнилось восемь лет, старый Шамси умер. Для старушки началась трудная жизнь. Она была известна всей деревне своей безупречной честностью, поэтому богачи предложили ей пойти к ним в работницы. Ей обещали сытую, безбедную жизнь за то, что она будет прясть им, смотреть за птицей, работать по хозяйству. Но бабушка Гайни не согласилась на это. Бросить глиняную лачугу, где она прожила жизнь со своим стариком и детьми, ей казалось оскорблением памяти дорогих людей.

Она взяла к себе такую же, как сама, одинокую старушку и осталась в своей лачуге.

Тихо протекали дни и ночи, похожие друг на друга. Она успевала управиться с домашними делами и помолиться, а потом шла со своим внуком Шагибеком на могилу старика и, вдоволь наплакавшись, возвращалась домой.

От старика осталась кляча, только жалкое подобие лошади,

но старухе пришлось продать ее, чтобы было на что похоронить мужа.

В наследство старик оставил еще большую козу, которая была вожакom стада, и ленивую старую кошку, не слезавшую с печки.

Все они — внук Шагибек, старая кошка, большая коза, старушка жиличка и сама бабушка — жили мирно и дружно. Долгих разговоров не заводили, а если они возникали, то чаще о доброте покойного старика, прочности сплетенных им лаптей, пропавшем зяте и о том, что он тоже хоть и не был умен, но был добр. Благодаря тому, что у старухи были здоровы глаза и руки, особой нужды она не испытывала.

На второй год после смерти старика был обвинен в убийстве и осужден один из деревенских богачей, Гадельгирей. И вот этот богачей поклялся, что если он благополучно вернется, то каждый год для старушки Гайни будет засеивать полоску проса. К счастью старушки, богач вернулся и действительно каждый год засеивал для нее полоску проса.

Зиму она по-прежнему проводила у прялки с веретеном, а летом возилась со своим просом. Почти каждую неделю она ходила в поле и смотрела, как растет ее просо, не топчет ли полоску скот, а потом усаживалась у края поля и просила аллаха послать дождя и хорошего урожая.

Летом, как только просо немного подрастало, она ходила полоть.

Чтобы пугать уток и гусей, она ставила на полоске чучела, наряженные в мальчишескую одежду.

Но занималась она не только житейскими делами — вспоминала и о смерти, готовилась к ней.

Уже давно припасла она саван и на случай смерти объявила свою последнюю волю: козу и черную курицу отдать за погребение и упокой души, белую курицу — тому, кто будет ее обмывать, а белое праздничное платье — тому, кто будет заворачивать ее в саван.

С большим трудом скопленные на похороны два рубля серебром и медяки она спрятала так, чтобы нельзя было найти их даже в черный день.

Так она коротала свои дни и готовилась к смерти.

V

После смерти деда два года Шагибек жил с бабушкой. Ему исполнилось десять лет.

И вот летом один из деревенских богачей, Баймурза, взял Шагибека бороновать пашню. Благодаря тому, что мальчик был кротким и сообразительным, его не отпустили, а наняли на год работником. Целых пятнадцать лет жил Шагибек у Баймурзы.

Когда ему исполнилось двадцать пять лет, у хозяина дела пошли на убыль, держать работника он уже не мог, и Шагибек нанялся к отцу теперешнего своего хозяина, Ахми.

В течение многих лет и зимой и летом батрачил он у бая. Старый бай был человеком не злым, он любил Шагибека и часто брал его с собой в поездку.

Правда, бай иногда без меры горячился и бил Шагибека чем попало. Но такие случаи бывали редко. Потом бай жалел о случившемся и пытался как-то загладить свою вину перед работником — становился приветливым, расспрашивал о житье-бытье, шутил.

По отношению к Шагибеку он даже выказывал щедрость. Каждый год после сбора урожая бай преподносил батраку большой воз хлеба и дарил старую одежду со своего плеча. Ежегодно после уразы* он отдавал ему долю приношения по религиозному обряду за двух своих детей.

При жизни старого бая Шагибек был одним из самых близких ему работников. Видя, что Шагибек уже в летах, бай намеревался освободить его от бесчисленных дел по хозяйству и послать сторожить пасеку.

Но, к несчастью Шагибека, дни старого бая были сочтены, и он умер. Все его богатство, дом, хозяйство, скот, а вместе с ними и Шагибек достались единственному сыну бая — Ахми.

С того дня в жизни Шагибека произошли очень большие перемены и началось тяжкое время.

Покойный бай считался с его возрастом и поручал дела, которые были ему под силу. А если он знал, что работа трудная, то говорил:

— Ну как, сверстник, справишься с таким делом? Если не осилишь, поручу кому-нибудь другому.

А когда он так, по-человечески, разговаривал, то и трудная работа казалась посильной.

Зато молодой бай Ахми совсем не похож на своего отца. Старика он не отличает от других, для него Шагибек такой же работник, как и все. Не подумав, под силу это для него или нет, старику поручают любую работу. О том, чтобы поздороваться или спросить о самочувствии, и говорить не приходится. Ахми не постеснялся послать старика за снопами в такую скверную и дождливую погоду, к тому же на плохих лошадях и развалившихся телегах. При старом хозяине Шагибек остался бы дома и отдыхал в свое удовольствие. А этот сопливый мальчишка, безбожник, такого старого человека, сверстника своего отца, погоняет наравне с молодыми работниками...

Старый батрак, с которым мы из-за размокшей и скользкой дороги не могли вывезти свои телеги на Ямантау и в темную ночь остались ночевать на поле, и был тот самый работник Ахми — Шагибек.

VI

Этого кроткого, немногословного старика среднего роста, с темными глазами и мягкой светлой бородой, с рябым лицом, выражавшим прямодушие и покорность судьбе, с медленной и тяжелой походкой, я знал с детства. Несколько раз мы вместе искали лошадей. Оттого что я никогда с ним так долго не разговаривал, в моем отношении к нему не было ни теплоты, ни сочувствия, хотя он казался мне одним из несчастнейших людей среди тех, кто всю свою жизнь провел в батраках.

Я не мог о нем думать так же, как о других людях. Не мог представить, что и он когда-то был ребенком, играл, резвился, потом стал джигитом, а теперь состарился. Казалось, он всю жизнь был таким же, даже на свет появился в своем рваном белом зипуне, женских лаптях, с кнутом за поясом, в мусульманской шапке на голове... и так проживет весь свой век и умрет. Таким же он будет и на том свете и скажет аллаху: «Твой раб Шагибек — это я! Как хочешь, так и поступай со мной, мне все равно».

В деревне о каждом человеке что-то говорят — или о его поступках, или каких-либо особенностях: о злости, доброте, смелости, хитрости.

О старике Шагибеке ничего не говорили. Если он не попадался на глаза, никто о нем и не вспоминал...

Помню, очень давно сидели мы, кажется, в гостях и кто-то с жалостью сказал:

— Бедняга, он не знает даже самой простой и короткой молитвы! Кроме как в два-три больших праздника, его ноги в мечети не бывает...

О Шагибеке говорили как о человеке очень темном и отсталом.

И верно бедняга: если он где-нибудь свалится и умрет, никто и не вспомнит о нем. Даже не спросят, куда мог деваться дед Шагибек, и искать не будут.

Был один из лунных теплых летних вечеров. Я ходил за лошадьми и возвращался домой. Кругом было тихо. Навстречу мне медленно тащилась телега. Лошадь еле волокла ноги, а в телеге полулежал человек. В такт ленивой походке лошади он задушевым голосом пел какую-то грустную песню. Эта песня глубоко тронула меня, но язык не повернулся спросить у певца, кто он такой. Не в силах сдвинуться с места, я остановился.

В песне говорилось о теплом ветре, который расчесывает гриву рыжего коня, и о том, что если нет своего счастья, то его не добыть

службой у богача. Эта песня покорила меня своей грустью и глубиной. А человек, кажется, забыл обо всем на свете и проехал, не заметив меня. Оказывается, это был старый работник — дед Шагибек.

После той встречи во мне пробудилось к нему доброе чувство, и каждый раз, когда я видел старика, мне вспоминался тот вечер. Мне хотелось что-то сказать и утешить его. Но что скажешь? Чем порадуешь? Сердце ведь не камень: начнешь разговор невпопад — и только разбередишь раненую душу.

Если говорить правду, когда я вижу его рядом, то мне кажется, что у него вообще нет сердца. А если увижу издали, мне вдруг вспоминается тот вечер, та грустная песня, и во мне пробуждается чувство жалости, и кажется, что сердце старика и вправду изранено. Наверное, у него есть сердце, но оно разбито жизнью. Оттого что никогда никто не интересовался им и не хотел разделить его горе, он, видимо, и сам забыл о своем сердце, забыл о ранах в нем, ничего не знает и не понимает.

О аллах! Думая об этом старике, возможно, я и сам начинал бредить...

VII

Как ни говори, жизнь есть жизнь. Она подавляет тебя, и ее неотложные дела, ее заботы заставляют забыть многое из того хорошего, что хранится в душе.

Раньше при встречах старик пробуждал во мне какую-то гнетущую жалость. Но сегодня у меня не было к старому батраку той жалости, которая появлялась обычно. Этому мешало и то, что утром брат ушиб руку, что отец встречал нас неприветливо, нахмутив свои густые брови, и то, что в ненастье лошади не могли поднять возы, и мы измучились на этой горе Ямантау. Старик сегодня был более живой и действовал расторопнее. А когда его слова о вороной лошади Великея оправдались, он будто загордился и даже казался чуточку хвастливым.

После того как порвались тяжи, сломались оглобли и телега старика полетела со снопами под гору, я распряг своих четырех лошадей, спутал, стреножил их. Сделав все это, я подошел к старику, а он за это время не успел распрячь ни одной лошади и мучился, пытаясь развязать запутанную супонь. Едва я это увидел, как во мне опять поднялась к нему жалость, особенно когда он каким-то жалким, сдавленным голосом сказал:

— Постарел уж, потому ничего и не получается...

Как только я услышал эти слова, он опять для меня превратился в того старика, который в ту лунную ночь с глубокой грустью пел скорбную песню. После этого, когда я укрыл его сухими снопами, он показался мне особенно несчастным.

Моросил дождь, ночь была очень темная... Мокрая одежда, холод не давали спать. Старик молчал, и тогда я спросил:

— Ну как, дедушка, не очень строг к тебе молодой бай?

Очевидно, я разбередил его рану. Не ответив на мой вопрос, он лег лицом ко мне и неожиданно заговорил — это было не похоже на него. Будто от неосторожного прикосновения из его раны побежала кровь.

Уж таков человек. Каким бы он ни казался пропащим, как бы жизнь ни давила и ни маяла душу его, ни ложилась тяжестью на его сердце, прикоснись — и оживает, начинает стучать угасшее сердце. С дедушкой, кажется, случилось то же самое.

Я заговорил с ним от нечего делать: как, мол, твой бай, то да се, а это вдруг всколыхнуло его давно забытые думы, оживило его.

— И не говори, браток Сафар... Прежних стариков сейчас уж нет... Старый бай называл меня сверстником и обращался ласково. А этот очень заносчивый... Легко сказать, ведь он родился на моих руках... Однажды покойный бай позвал меня и говорит: «Иди-ка, говорит, сверстник, позови старушку Фатхи, — кажется, моя жена собирается рожать». Ноги мои еле касались земли, не прошло и минуты, как я привел старушку Фатхи. Целый день не знал устали, бегал то туда, то сюда... От многих получил подарки за эту хорошую весть...

Как только он немного подрос, сделал я ему разные игрушки. Катал его, носил на руках, вил кнуты. Впрочем, он с малых лет был злым. Бывало, просит, чтобы я взял его на руки, а сам заберется верхом на мою шею и начинает кусать мне уши и при этом спрашивает, больно или нет...

О старом бае ничего плохого не могу сказать. Когда я нанялся к нему, он был не слишком богат. Очень много трудился я для него. Покойный до самой смерти говорил, что на эти дома, лошадей и телеги есть право у Шагибека, он вложил в них очень много сил. Когда умирал, то сказал, чтоб они меня не обижали, не заставляли делать трудную работу. На мою беду, жизнь у бедняги оказалась не очень длинной. А этот... подбоченится, пыжится, как индюк, задирает нос, будто жизнь эта дана ему навечно!! Где там считаться со стариком — даже хорошего слова не услышишь. Был бы жив старый бай, разве он в такой ненастный день послал бы меня за снопами?..

Старый работник долго жаловался на молодого бая. Я не знал, что и сказать. Лишь изредка вставлял одно-два слова о жестокости Ахми, но дедушка не обращал внимания на мои слова. Он рассказывал о своей горькой жизни одну историю за другой.

Сегодняшняя жестокость молодого бая Ахми особенно обидела старика... Он рассказал, что во сне видел свою покойную старуху, лицо у нее было темное, сердитое. Она как будто что-то говорила, укоряла Шаги... Проснулся он с печалью и тревогой на сердце и

решил сходить на могилу старухи помолиться... А молодой бай не отпустил его и набросился с бранью:

«Ты, бестолковый старик, не начал ли сходить с ума! В такую горячую пору, когда один человек готов разорваться на сорок частей, разве можно расхаживать по кладбищам? Вот кончится работа, тогда, если захочешь, хоть живи на могиле, не ходи домой, ничего не скажу».

Старик возразил:

«Я вернусь очень скоро. Даже самовар не успеет вскипеть, как я буду уже дома».

Но бай не разрешил... Шагибек, который никогда в жизни никому слова поперек не сказал, попытался воспротивиться баю и спорить с ним. Но заносчивый молодой бай топнул ногой и закричал:

«Замолчи, старая собака! Если будешь много разговаривать, получишь по заслугам...»

Как услышал он эти слова — из головы вылетели и старуха, и ее могила. Весь он поник.

Нет уж, сынок, были бы мы счастливыми, не жили бы, во всем подчиняясь воле других. Теперь уж старость одолела, старую собаку со двора начали гнать. Если бы имел хоть какой-нибудь теплый уголок, плел бы лапти и кормился этим...

В отношении работы отец наш был человеком суровым, но к старикам и сиротам он относился милостиво. Зная, что отец не будет возражать, я сказал:

Дедушка Шаги, переселился бы ты к нам. Наш отец человек мягкосердечный. Летом немного работал бы, а зимой жил бы спокойно. Трудную работу мы не стали бы тебе поручать.

Старик не мог ответить определенно:

Уж не знаю, как это получится. Отец твой хороший человек...

Разговор прервался. Старик повернулся на другой бок. Но в эту ночь мне не суждено было заснуть. Только начал я засыпать, как не то наяву, не то во сне услышал какой-то голос, похожий на тихий плач. Стал я внимательно слушать и понял, что не было это сном. Сердце похолодело: оказывается, это плакал мой спутник — старый батрак дедушка Шагибек.

Из-за горы начала подниматься заря. Я потерял надежду заснуть. Тихонько встал, сходил посмотреть, не ушли ли далеко лошади. Пусть старик полежит, быть может, удастся ему задремать. В крайнем случае пусть немного отдохнет! Взял я с задней телеги вилы, пошел к той телеге, которая полетела под гору.

Тучи рассеялись, небо прояснилось. Пока старик встанет, выгружу телегу, свяжу тяжи и оглоблю и, загрузив снова, подниму ее наверх, решил я.

Особых трудностей не предвиделось, и, хотя телега, как мне вчера показалось, отлетела очень далеко, кроме тяжей и

оглобли, другие части целы. Можно выбраться и обходным путем, по дну оврага. Я взял свою веревку и исправил тяжи и оглобли в телеге старика.

Когда я передвинул телегу в такое место, откуда можно было подняться на гору, и укладывал последние снопы, старик подошел ко мне.

— А-ай, Сафар,— сказал он,— ты, оказывается, дельный парень! Но ты же совсем не спал?

— Замерз, не мог заснуть,— ответил я.

Запрягли лошадей и тронулись. Лошади отдохнули, за ночь и дорога немного подсохла, поэтому подниматься было нетрудно.

Как только поднялись на гору, я построил всех своих четырех лошадей одну за другой, прыгнул в переднюю телегу. Старик не стал гнаться за мной, он не сел на телегу, а пошел рядом с ней. Он не любил ездить быстро: куда, дескать, спешить?

— Дедушка, поехали! — крикнул я, ударил лошадей и по-скакал.

Старик кивнул головой, как бы говоря: скачи, мол, а я поеду шагом.

VIII

Каждая из этих лошадей стоит не меньше тысячи рублей! Когда я, проскакав шесть километров с возом, который был загружен так, что над ним возвышалось три ряда снопов, подъехал к деревне, муэдзин только что поднялся на минарет*, чтобы позвать на утреннюю молитву.

Молодухи идут за коровами. Умные старые коровы возвращаются сами и лежат у канавы, ожидая, когда хозяйка откроет ворота. Откуда-то доносится тихий голос гармон.

Отец, засучив рукава, умывается к утренней молитве. Выражение лица у него не сердитое и брови не нахмурены, как вчера.

Не окончив умываться, он взял лошадей под уздцы и помог мне ввести их во двор, спрашивая:

— Ну как, лошади и телеги целы? Я уже думал, что у тебя что-нибудь поломалось и ты застрял в дороге. Замерз, наверное. Распрягай лошадей да иди чай пить. Снопы будем выгружать, когда я приду с молитвы.

Пока я отвел лошадей на гумно, распряг их у незаконченного стога овса и вернулся домой, уже взошло солнце.

День прояснялся; все живое, неживое, измученное, продрогшее под дождем, который шел недели, со счастливой улыбкой встретило яркое, лучистое восходящее солнце.

Как хорошо, когда днями можешь без усталости работать во всю силу и ночь провести без сна... Если дни будут такими ясны-

ми, солнце таким лучистым, я готов еще недели непрерывно работать днем и ночью.

Наша мама удивительный человек! Когда это она успела заметить мое возвращение, подоить корову и погнать в стадо? За какое время успела сварить для меня картошку, вскипятить самовар?

Когда я вошел в дом, самовар уже шумел, стояла полная чаша с крупной, как гусиные яйца, картошкой, и над ней клубился пар. Не успел я выпить чашку чаю, как с улицы послышался скрип телег. Посмотрел вверх и вижу: одна за другой поднимаются две арбы, нагруженные снопами. Рядом с передней белой кобылой медленно идет мой спутник, дедушка Шаги. Низко свесив голову, он держит обеими руками кнутовище, перекинутое через плечо. Мне показалось, что он идет и о чем-то думает...

Перед моими глазами снова встала прошлая ночь. Слова старика, его тихий плач, скрытый от меня, опять разбредили мою душу.

Мне показалось, что он снова повторяет: «Были бы счастливыми, не жили бы, во всем подчиняясь воле других».

Вдруг я перестал видеть сияние солнца, свет дня. Картошка, над которой поднимался горячий пар, потеряла всякий вкус. Кое-как поев, с тяжелыми мыслями вышел я во двор и снова отправился на ток выгружать снопы.



Шолом Алейхем

СКРИПКА

— Сегодня, дети, я вам сыграю на скрипке. Мне кажется, нет ничего прекрасней, ничего благородней, чем игра на скрипке. Не правда ли, дети? Не знаю, как вы, но я, сколько себя помню, был всегда без ума от скрипки, а музыкантов любил до самозабвения. Бывало, как только свадьба в местечке, я первый лечу встречать музыкантов. Подберусь сзади к контрабасу, рвану толстую струну: бум! — и бежать, бум! — и бежать. За этот «бум» мне однажды здорово влетело от Берл-баса. Берл-бас, человек сердитый, с приплюснутым носом, с острым взглядом, притворился, будто не видит, как я крадусь к контрабасу, когда же я протянул руку к струне, он хватил меня за ухо и торжественно проводил до самой двери:

— Ну-ка, озорник, марш отсюда!

Однако это меня ничуть не обескуражило. Я не отступал от музыкантов ни на шаг. Я страстно любил их всех: от скрипача Шайки, человека с красивой черной бородой и тонкими белыми

пальцами, до барабанщика Гёци, обладателя порядочного горба и плечи до самых ушей. Не раз леживал я под скамьей и слушал этих музыкантов — меня ведь гнали вон. Оттуда, из-под скамьи, я следил за тонкими пальцами Шайки, как они пляшут по струнам, внимал сладостным звукам, которые он так искусно извлекал из своей скрипки.

После этого я, бывало, несколько дней подряд хожу как зачарованный, а перед глазами все Шайка со своей скрипкой. Ночью я его видел во сне, днем наяву. Из головы не выходил у меня этот Шайка. Мне казалось, будто я и сам скрипач. Изогну, бывало, левую руку и перебираю пальцами, а правой вдруг проведу, как смычком, при этом запрокидываю голову, зажмуриваю глаза — ну совсем Шайка, две капли воды.

Приметил наш учитель Нёте-Лейб — было это как раз на уроке, — что я двигаю как-то странно руками, запрокидываю голову, закатываю глаза, и как влепит мне оплеуху.

Ах ты бездельник! Его азбуке обучают, а он корчит рожи, мух ловит!

И я дал себе слово: чего бы это мне ни стоило, что бы ни случилось, я должен иметь скрипку. Но из чего же мне сделать эту скрипку? Конечно, из кедрового дерева. Легко, однако, сказать, кедровое дерево! Попробуй-ка достань его, если растет оно, как говорят, только в Палестине. И вот всевышний внушил мне вдруг такую мысль. Был у нас старый диван, доставшийся по наследству от бабушки реб* Аншла. Из-за этого дивана в свое время поссорились между собой два моих дяди и покойный отец. Дядя Беня твердил, что он старший сын и поэтому диван должен, конечно, достаться ему; дядя Сендер утверждал, что, именно как самому младшему, диван должен принадлежать ему; а покойный отец заявлял, что он, правда, только зять и никаких прав на диван не имеет, но поскольку его жена, то есть моя мать, была единственной дочерью у бабушки, то диван должна наследовать она. Это во-первых. А во-вторых, диван стоит у нас в доме, значит, это вообще наш диван. Тут вмешались обе тетки, тетя Ита и тетя Злата, и затеяли такую склоку, что держись! Диван, дивана, диваном... В городе только и было разговору, что о нашем диване. Короче говоря, диван остался у нас.

Это был простой деревянный диван, облицованный тонкой фанеркой, которая местами отстала и вздулась, как яйцо. Вот этот-то верхний, вздувшийся слой и был настоящим «кедром», который идет на скрипки. Так говорили все ребята в школе. Один лишь недостаток имел наш диван, но этот недостаток обернулся для меня достоинством: сядешь, бывало, на него и уж никак не встанешь, потому что сиденье у него с одной стороны вздулось бугром, а в середине провалилось. Вот это-то и было его

достоинством — никто не хотел на него садиться. Диван задвинули в угол и дали ему чистую отставку.

На этот диван я и обратил теперь свои взоры. Смычок я изготовил уже давно. У меня был товарищ Шимеле, сын извозчика Юды, он дал мне пучок волос из хвоста их лошади. Канифоль для смычка я сам достал. На чудеса я никогда не полагался и выменял канифоль у другого приятеля, Мееера-Липы, дал ему стальную пластинку от маминого кринолина, который валялся у нас на чердаке. Эту пластинку Меер-Липа хорошенько отточил с обеих сторон и смастерил себе ножичек. Меня даже взяла охота снова обменяться с ним, но он ни за что не соглашался.

— Вишь какой умник нашелся! Весь в папашу! — раскричался он. — Я три ночи тружусь — точу, точу, все пальцы себе порезал, а он, видите ли, является — давай обратно меняться!

— Гляди-ка! — говорю я. — Ну и не надо! Какая невидаль — стальная пластинка! Мало валяется их у нас на чердаке? Внукам и правнукам хватит!

Итак, у меня есть все, что нужно. Теперь осталось только одно: содрать с дивана «кедровое дерево». Выбрал я для этого самое подходящее время: мать была в лавке, а отец после обеда прилег вздремнуть. Я взял гвоздь, забрался в угол и углубился в работу. Однако отец спросонья услышал какую-то возню и, думая, видимо, что это мыши, крикнул: «Кш-кш!..» Я обмер от страха. Но отец тут же повернулся на другой бок. Услышав его храп, я снова спокойно принялся за работу. И вдруг гляжу отец подле меня и смотрит какими-то странными глазами. По-видимому, он сразу никак не мог сообразить, что же, собственно, я делаю. Потом уже, заметив изувеченный диван, он вытащил меня за ухо из угла и так жестоко избил, что меня пришлось отливать холодной водой.

— Господь с тобой! Что ты с ребенком сделал? — кричала мать, плача.

— Наследничек твой! Он живьем в могилу меня вгонит! — отвечал побледневший отец и, хватаясь за грудь, зашелся жестоким кашлем.

— Зачем же тебе так огорчаться? — говорила ему после мать. — Ты и без того хворый! Глянь на себя! Ведь на тебе лица нет! Врагам бы нашим так выглядеть!

Страсть к скрипке росла вместе со мной. Чем старше я становился, тем сильнее становилась эта страсть. А тут еще, как назло, каждый день мне поневоле приходилось слушать музыку. Как раз на полпути между школой и нашим домом стояла небольшая хибарка, крытая соломой; оттуда постоянно неслись звуки всяких инструментов, чаще всего звуки скрипки. Там жил музыкант Нафтоле Безбородько, ходивший в укороченном кафта

не, с заложенными за уши пейсами*, и в крахмальном воротничке. У него был изрядный нос, который выглядел будто приклеенный, губы толстые, зубы гнилые, лицо рябое и без всяких признаков бороды — потому-то его и прозвали Безбородько. Жена его была дородная, крупная и звали ее «праматерь Ева». А ребят у них было дюжины полторы, если не больше. Оборванные, полуголые, босые, ребята эти, все от мала до велика, играли кто на скрипке, кто на альте, кто на контрабасе, кто на трубе, на флейте, на фаготе, на арфе, на цимбалах, на балалайке, а кто на барабане и на тарелках. Были среди них и такие, что умели исполнять самую сложную мелодию на губах, на гребенках, на зубах, на стаканчиках или горшочках, на куске дерева, даже на щеках. Дьяволы, черти, да и только!

С этой семейкой я познакомился совершенно случайно. Стою однажды у них под окном и слушаю, как они играют. Выходит один из старших ребят — флейтист Пíня, парень лет пятнадцати, босой, — и спрашивает, понравилась ли мне игра.

— Хотел бы я, — отвечаю, — лет через десять так играть!

— Можешь этого добиться раньше, — говорит он и намекает, что за два целковых в месяц папаша его обучит меня играть, а если угодно, так и он сам обучит меня.

— На каком инструменте ты бы хотел играть? — спрашивает он. — На скрипке?

На скрипке.

— На скрипке? — повторяет он. — А сможешь платить два с полтиной в месяц? Или ты такой же голодранец, как я?

— Платить-то я смогу, — отвечаю ему, — да только... об этом не должны знать ни отец, ни мать, ни учитель.

— Боже упаси! — говорит он. — Зачем болтать! Нет ли у тебя табачку или папироски? Не куришь? Тогда одолжи пятачок, я куплю папирос... Но смотри никому ни слова, отец не должен знать, что я курю. А мать, как пронюхает, что у меня деньги, сразу отнимет и купит баранок на завтрак. Пойдем в дом, чего тут стоять!

Оробевший, с бьющимся сердцем и дрожащими коленями, переступил я порог этого маленького рая.

Мой новый приятель Пиня представил меня своему отцу:

— Шóлом Нóхума Вéвикова... сынок богача, хочет учиться играть на скрипке.

Нафтоле Безбородько убрал пейсы за уши, поправил воротничок, застегнул кафтан и завел со мной долгий разговор о музыке вообще и о скрипке в частности. Он объяснил мне, что самый лучший, самый замечательный инструмент — это скрипка, что выше и благородней скрипки нет ничего на свете. Даром, что ли, в оркестре всегда дирижирует скрипка, а не труба или флейта! Ведь скрипка — мать всех инструментов.

Вот так Нафтоле Безбородько прочел мне целую лекцию о музыке, при этом, как обычно, размахивал руками, шмыгал носом. Я же стоял и глядел ему в рот на почерневшие зубы и жадно глотал каждое его слово.

— Скрипка, понимаешь ли,— говорил Нафтоле Безбородько, очевидно довольный своей лекцией,— понимаешь ли, скрипка — самый древний инструмент. Первым скрипачом в мире был то ли Тувал-Каин, то ли Мафусаил*, точно не помню, тебе лучше знать, ты ведь в школе учишься. Второй скрипач был царь Давид*. Был еще один, третий скрипач, Паганини его звали, тоже еврей*. Все лучшие скрипачи в мире евреи — вот, например, Стемпеню, Педоцур. Себя я не стану хвалить. Говорят, я играю на скрипке недурно. Но куда мне до Паганини! Паганини, говорят, продал душу дьяволу за скрипку. Паганини терпеть не мог играть пред великими мира сего, пред королями да папами, хоть те готовы были озолотить его. Зато он охотно играл для бедняков в кабачках по деревушкам или даже в лесу — для зверей и птиц. Вот какой скрипач был Паганини!.. А ну-ка, нахлебнички, за инструменты!

Это Нафтоле Безбородько внезапно отдал приказ своей команде, и ребята немедленно собрались вокруг него со своими инструментами. Сам Нафтоле встал посредине, ударил смычком по столу, строго глянул на каждого в отдельности, затем на всех разом, и они рванули на своих инструментах с такой силой, что я чуть было не свалился. Все они старались друг перед другом, но сильнее других оглушил меня один совсем маленький, худенький, мокроносый мальчонка, с босыми опухшими ножками. Хемеле играл на каком-то чудном инструменте; это было что-то вроде мешка, который, если его надуть, испускает дикий звук, будто кошка взвизгивает, когда ей наступают на хвост. Отбивая босой ногой такт, Хемеле все время поглядывал на меня своими маленькими плутоватыми глазенками и подмигивал, точно хотел сказать: «Не правда ли, здорово дую?» Но неистовей всех работал сам Нафтоле Безбородько: он и играл и дирижировал, действуя руками, ногами, носом, глазами, всем телом, а если случилось, что кто-нибудь ошибался, он еще и зубами скрежетал, сердито покрикивая:

— Форто, прохвост! Форто, фортиссимо!.. Такт, бездельник! Такт! Раз, два, три! Раз, два, три!

Договорились с Нафтоле Безбородько: за три раза в неделю по полтора часа — два рубля в месяц. И я его снова и снова умоляю держать все в строгой тайне, иначе я погиб. Он дает мне честное слово, что даже пташка в небе ничего не узнает.

— Уж такие мы человеки,— заявляет он гордо и поправляет воротничок,— из тех, что денег не имеют, но совести и чести у

нас побольше, чем у иных богачей!.. Не найдется ли у тебя несколько копеек?

Я вынимаю рубль и подаю ему. Нафтоле берет его двумя пальцами, как профессор, подзывает «праматерь Еву» и говорит, глядя в сторону:

— На, купи чего-нибудь на завтрак!

«Праматерь Ева», однако, хватает рубль обеими руками, да всей пятерней, обследует его со всех сторон и спрашивает мужа, что же ей купить.

— Чего хочешь, — отвечает он как бы совсем безразлично. — Купи несколько булок, две-три селедки и колбасы, не забудь головку луку, уксусу, масла, ну и «мерзавчика», конечно, прихвати.

Когда все эти прелести появились на столе, орава накинулась на еду с такой жадностью, точно она разговлялась после долгого поста. Даже у меня слюнки потекли. И когда меня пригласили к столу, я не мог отказаться. Не помню, чтобы я когда-либо получал такое удовольствие, как тогда за этой трапезой.

После завтрака Безбородько мигнул своей команде. Все взялись за инструменты и меня угостили новым опусом «собственной композиции» Нафтоле Безбородько. Эту «композицию» они сыграли с таким грохотом, что у меня заложило уши, закружилась голова, и я ушел оттуда как пьяный. Целый день потом в школе у меня вертелись в глазах учитель, ученики, книги, а в ушах не переставала грохотать «композиция». Ночью мне явился во сне Паганини верхом на дьяволе и огрел меня скрипкой по голове. Я проснулся с криком — у меня болела голова — и начал молотить всякий вздор. Что я говорил, не знаю. Но моя старшая сестра Песя потом рассказывала, что я в бреду выкрикивал какие-то бессвязные, дикие слова, вроде: «Паганини, композиция». И еще об одном рассказала мне сестра: когда я болел, к нам раза два приходил от Нафтоле Безбородько какой-то босой мальчишка и справлялся, как я себя чувствую. Но его прогнали и наказали, чтобы он не смел больше являться к нам.

— Зачем приходил к тебе сынок музыканта? — допытывалась сестра.

Я твердил одно:

— Не знаю. Жизнью своей клянусь, не знаю! Откуда мне знать?

— Ну на что это похоже? — говорила мне мать. — Ты уже, не взглянуть бы, взрослый парень. Тебе уже невесту присматривают, а ты возишься с босыми музыкантами. Хороши у тебя приятели! Ну, что общего у тебя с этими музыкантами? Какие у тебя дела с сыном Нафтоле?

— Какого Нафтоле? — спрашивал я, прикидываясь дурачком. — Какие там музыканты?

— Поглядите-ка на этого полоумного! — вставлял слово

отец.— Не знает, что и сказать! Бедняжечка! Агнец невинный! Я в твои годы уже давно женихом был, а он все с мальчишками возится! Одевайся — и марш в школу! Если тебя увидит Гершл бал-таксе и спросит, чем ты болел, отвечай — лихорадкой. Слышишь, что тебе говорят? Лихорадкой!

Ничего не понимаю. При чем тут Гершл бал-таксе? И почему я должен ему рассказывать о лихорадке?

Через несколько недель я получил ответ на все мои недоуменные вопросы.

Гершл бал-таксе (так звали его потому, что и он, и отец его, и дедушка от века владели мясной таксой, или, иначе, держали на откупе коробочный сбор*; это уже была его вотчина) был человек с круглым брюшком, рыжей бородкой, влажными глазами и широким белым лбом — признак светлого ума. И он действительно слыл в местечке человеком просвещенным, образованным, знатоком Библии и хорошим писцом. То есть почерк у него был замечательный; его письмо, говорят, составляло когда-то предмет гордости города. Ко всему прочему у него были деньги и единственная дочь, девочка с рыжими волосенками и влажными глазками,— две капли воды Гершл бал-таксе. Имя ее было Эстер, а ласкательно ее звали Флестер. Было это существо хрупкое, нежное, и нас, мальчишек из школы, она боялась пуще смерти, потому что мы надоедали ей, вечно дразнили ее, пели при встрече:

Эстер!
Флестер!
Девочка-девчонка,
Где твоя сестренка?

Казалось, что обидного в этих словах? Правда ведь, ничего? Но Флестер, как только услышит эту песенку, заткнет уши и убежит с плачем в дом, а там заберется в какой-нибудь закуток и потом несколько дней подряд не выходит на улицу.

Но это было давно, когда она была ребенком. Теперь она стала взрослой девицей, заплетает свои рыжие волосы в косичку и одевается, как невеста, по последней моде. Моей матери она всегда нравилась, мать не могла нахвалиться этой «тихой голубицей». Эстер иногда в субботу заходила к моей сестре Песе, но, увидев меня, становилась еще красней, чем обычно, и опускала глаза. А сестра Песя нарочно, бывало, подзовет меня, спросит что-либо, а сама смотрит на нас обоих.

И был день, и стряслось оное событие. Является к нам в школу мой отец вместе с Гершлом бал-таксе, а за ними плетется сват Шолом-Ша́хне, превеликий бедолага, человек с шестью пальцами на руке и курчавой черной бородой. Завидев таких гостей,

учитель реб Зорах второпях натягивает на себя кафтан и шапку, но от волнения у него одна пейса заезжает за ухо, шапка сползает, из-под нее торчит пол-ермолки, а одна щека ярко пылает. Можно было сразу догадаться, что тут что-то кроется, тем более что сват Шолом-Шахне в последнее время слишком уж зачастил к нам в школу; всякий раз вызывал учителя в сени, и там они подолгу простаивали вдвоем, перешептывались, пожимали плечами, размахивали руками. Заканчивалось все это вздохом:

— Ну что ж, пускай будет так! Раз суждено, значит, сбудется. Разве можно все знать наперед?

Когда вошли гости, реб Зорах не знал, что ему делать, куда их посадить. Он схватил кухонную скамейку, на которой его старуха солила мясо*, повертелся с ней по комнате, наконец поставил ее и сам же уселся на ней. Но тотчас вскочил как ошпаренный и, смутившись, ухватился за задний карман кафтана, точно потерял сокровище какое-то.

— Вот скамейка, садитесь! — предложил он гостям.

— Ничего, ничего, сидите! — ответил отец. — Мы зашли к вам, реб Зорах, только на минуту: они хотят послушать моего мальчика... что-нибудь из Библии.

И отец показывает на Гершла бал-таксе.

— Ох, пожалуйста, с удовольствием! Отчего бы нет! — говорит учитель Зорах, хватает Библию и подает ее Гершлу так, точно говорит при этом: «На тебе, и делай что хочешь».

Гершл бал-таксе берет в руки книгу, как человек, знающий толк в этом деле, склоняет голову набок, замуривает один глаз, листает, листает и, наконец, указывает мне на первый стих из «Песни песней»*.

— Гм, «Песнь песней»? — говорит учитель с усмешкой, которая должна означать: «Эх ты! Трудней ничего не мог найти?»

— «Песнь песней», — отвечает ему Гершл бал-таксе, — это вовсе не такое пустое дело, как вы думаете. «Песнь песней» — это надо понимать!

— Безусловно, — вставляет с улыбочкой Шолом-Шахне.

Учитель кивает мне. Я подхожу к столу и, раскачиваясь, начинаю громко напевать:

— «Песнь песней, то есть всем песням песнь. Все песни сложил пророк, а эту — пророк пророков; все песни сложил мудрец, а эту — мудрец из мудрецов; все песни пел царь, а эту — царь царей».

Пою, а сам поглядываю на моих экзаменаторов и на каждом лице вижу другое выражение. У отца на лице гордость и удовлетворение; на лице учителя — боязнь и опасение, как бы я не запнулся и не наделал ошибок. Его губы шепчут вслед за мной каждое слово. Гершл бал-таксе сидит, склонив голову несколько набок, — кончик рыжей бороды во рту, один глаз закрыт, другой уставился в потолок, — и слушает, как великий знаток. Сват

Шолом-Шахне глаз с него не сводит. Он сидит, согнувшись над столом, покачивается вместе со мной и, не в силах сдержаться, поминутно перебивает меня каким-нибудь возгласом, одобрительным смешком, покашливанием или взмахом своего раздвоенного пальца.

— Раз говорят, что он знает,— значит, знает!

Через несколько дней у нас состоялось торжество — били тарелки, и я оказался женихом единственной дочери Гершла балтаксе, маленькой Флестер.

Бывает, что человек в один день вырастает так, как другой не вырастет в десять лет. Став женихом, я сразу же почувствовал себя взрослым; как будто тот же, что и раньше, и все же не тот. От приятеля-мальчишки и до самого реб Зораха все стали вдруг глядеть на меня с почтением — как-никак жених. И при часах! Даже отец перестал на меня кричать. А о порке и разговору не могло быть. Как это можно вдруг выпороть жениха с золотыми часами в кармане? Позор перед людьми и срам для себя! Правда, в школе у нас однажды высекли жениха, Элю, за то, что он катался на льду вместе со всеми мальчишками. Об этой истории болтал потом весь город. Невеста, проведав о случившемся, рыдала так долго, пока жениху не отослали обратно акт обручения. А жених Эля с горя и со стыда хотел было утопиться, да река к тому времени замерзла.

Почти такая же беда случилась со мной. Но причиной были не розги и не катанье на льду, а скрипка.

Дело было так.

Частым гостем в нашей винной лавочке был капельмейстер Чечек, которого мы звали «пан полковник». Это был здоровенный дядька, с большой окладистой бородой, со страшными бровями. Говорил он на каком-то странном диалекте — смеси нескольких языков. Во время разговора водил бровями вверх и вниз. Когда он опускал брови, лицо его становилось мрачным, как ночь, когда поднимал, лицо делалось светлым, как день, потому что под его густыми бровями были голубые, добрые, улыбчивые глаза. Носил он мундир с золотыми пуговицами, поэтому-то мы его и прозвали полковником. У нас в лавчонке он был частым гостем не потому, что пил горькую, а только из-за того, что отец искусно готовил из изюма «лучшее добротное венгерское вино». Чечек был в восторге, не мог нахвалиться этим вином. Бывало, положит свою здоровенную ручищу отцу на плечо и говорит на своем странном наречии:

— Герр келермейстер! У тебя nejlepší унгервейн. Нема таки винэ ин Будапешт!* Перед богом!

Ко мне Чечек был особенно расположен, хвалил за то, что я учусь в школе, часто проверял мои знания, спрашивал, кто был Адам, кто Иzaak, а кто Джозеф.

— Иосиф,— говорю я,— Иосиф-прекрасный?

— Джозеф,— отвечает он.

— Иосиф,— поправляю я его снова.

— У нас Джозеф, у вас Иоджеф,— говорит он, потрепав меня по щеке.— Джозеф-Иоджеф-Джозеф — вшистка едно, ганц эгаль*.

— Хи-хи-хи...

Я прячу лицо в кулак и смеюсь.

Но с тех пор как я сделался женихом, Чечек больше не обращался со мной как с мальчишкой, стал разговаривать как с равным, рассказывал полковые истории, небылицы о музыкантах (пан полковник мог наговорить с три короба, да некому было его слушать).

Однажды он разговаривал со мной о музыке. И я его спросил:

— На каком инструменте играет пан полковник?

— А на вшистских инструментах,— отвечает он, поднимая брови.

— И на скрипке? — спрашиваю я, и он мне уже начинает представляться ангелом небесным.

— Заходи как-нибудь,— говорит он,— я тебе сыграю.

— Когда же я могу к вам прийти, пан полковник? Разве лишь в субботу. Но с условием: чтобы никто не знал. Обещаете?

— Перед богом! — говорит Чечек и вскидывает свои брови.

Чечек жил далеко-далеко за городом, в маленькой белой хатке с малюсенькими оконцами и крашеными ставнями, с зеленым палисадником возле дома, откуда важно выглядывали высокие желтые подсолнухи. Наклоняя набок головки, они покачивались и будто звали меня: «Сюда, к нам, паренек! Здесь свет божий приволен, свеж и душист. Здесь чудесно!..» И после душных, пыльных городских улиц, после шума, толчеи и гама в школе тебя так и тянет сюда, потому что здесь действительно чудесно; свет божий здесь приволен, свеж и душист! Хочется бегать, прыгать, кричать, петь или броситься наземь, уткнуться лицом в пахучую зеленую траву. Увы, все это не для вас, еврейские дети! Желтые подсолнухи, веселые кочаны капусты, свежий воздух, душистая земля, ясное небо — нет, извините, этому на вашем мусоре не расти!..

Встретил меня большой черный кудлатый пес с огненно-красными глазами. Он набросился на меня с такой яростью, что я чуть на месте не помер. К счастью, он был на цепи. На мой крик Чечек без мундира выскочил из дому и стал ласково унимать собаку, и она вскоре угомонилась. Тогда Чечек взял меня за руку и подвел к черному псу, уверяя, что мне нечего его бояться, он не тронет. В доказательство миролюбия пса хозяин предложил мне самому

погладить его. И тут же, не раздумывая, схватил мою руку и давай ею водить по спине этого зверя, называя его при этом странными кличками, хотя и очень ласково. Черная бестия опустила хвост, нагнула свою собачью голову, облизнулась и кинула на меня искоса такой взгляд, который мог означать только одно: «Счастье твое, что пан здесь, не то ушел бы ты отсюда без руки...»

Оправившись от испуга, я наконец вошел с паном полковником в дом и остолбенел: все стены сверху донизу увешаны оружием, а на полу лежит шкура с головой льва или леопарда, с оскаленными острыми зубами. Впрочем, лев еще полбеда, все же мертвый лев. Но ружья, ружья!.. Мне было не до свежих слив и прекрасных яблок из собственного сада, которыми потчевал меня хозяин. Глаза мои не переставали перебегать со стены на стену. Лишь потом, когда Чечек вынул из красного футляра маленькую, кругленькую, пузатенькую скрипку, поднес ее к своей большой бороде, провел по ней несколько раз смычком и полились мелодии, я забыл про черного пса, и про страшного льва, и про ружья на стенах. Я видел лишь большую, рассыпавшуюся по деке бороду Чечека, его густые насупленные брови, круглую, пузатенькую скрипку и пальцы, плясавшие по струнам с такой быстротой, что трудно было постигнуть: откуда у человека столько пальцев?

А потом исчез Чечек, исчезла рассыпавшаяся борода его, густые брови и чудесные пальцы, и я уже не вижу перед собой ничего. Слышу лишь пение, стоны, плач, какое-то всхлипывание, шепот, воркование — чудесные звуки, каких никогда в своей жизни не слышал. Звуки сладостные, как мед, чистые, как елей, лились, лились мне прямо в сердце, и душа моя унеслась далеко-далеко отсюда, в иной мир, мир чистых звуков и песнопений.

— Гербаты хцешь? — спросил вдруг Чечек, отложил скрипку и хлопнул меня по плечу.

Я точно с неба свалился.

С той поры я стал ходить каждую субботу после обеда к Чечеку слушать его игру на скрипке. Ходил уже смело, никого не боясь, и даже с черным псом подружился так, что он, завидев меня издали, вилял хвостом и порывался лизнуть мою руку. Но я ему этого никогда не разрешал. Будем лучше добрыми друзьями на расстоянии!

Дома ни одна душа не знала, где я провожу субботний день, — жених все-таки! Да и не узнали бы никогда, не случись со мною новое несчастье, которое и будет описано далее.

Казалось бы, кому какое дело, что паренек отправляется в субботу после обеда погулять несколько дальше обычного, за город например? Неужели больше делать нечего, как следить за

другими? Однако что толковать? Такова уж человеческая натура: приглядываться к своему ближнему, выискивать у него недостатки и давать советы! У нас могут, например, подойти к совершенно незнакомому человеку в синагоге, когда он молится, и поправить у него на лбу филактерии; или остановить его, когда он спешит по делу, чтобы сказать, что у него, кажется, подвернулась штанина; или указать на кого-нибудь пальцем так, что тот даже не поймет, что же ты, собственно, имеешь в виду: нос, бороду или шут его знает что еще; или, когда человек пытается открыть какую-нибудь банку, коробку, выхватить у него из рук и сказать: «Да вы не умеете! Дайте-ка мне»; или остановиться возле постройки и ляпнуть хозяину, что потолок, кажется, слишком высок, комнаты чересчур просторны, а окна несоразмерно широки. Хоть ломай постройку и начинай все заново! Так уж у нас, понимаете ли, водится издавна, с сотворения мира. А мы уж с вами мир не перестроим, да и не обязаны это делать.

После такого вступления вы поймете, почему Эфроим Клоц, совершенно чужой мне человек, десятая вода на киселе, принялся следить за мной, разнюхивать, куда я хожу, и подставил-таки мне ножку. Он клялся, что сам видел, как я ем трэфное* у полковника и курю в субботу*. Чтоб ему, говорит, счастье так видеть в своем доме! Чтоб ему, говорит, не дойти туда, куда он идет! А если он врет хоть на столечко, пусть ему самому, говорит, скривит рот, пусть у него глаза вылезут!

— Аминь, дай-то бог! — говорю я и получаю от отца затрепину, чтобы не дерзил.

Но я, кажется, опережаю события — поставил на стол бульон раньше рыбы. А ведь я забыл вам рассказать, кто такой Эфроим Клоц, что, собственно, он собою представляет и как дело было.

На краю города, за мостом, жил некий Эфроим Клоц. Почему его прозвали Эфроим Клоц? Торговал он когда-то лесом, теперь уже не торгует. С ним вышла история: нашли у него на складе бревно с чужим клеймом. Завязалось дело, пошло следствие, судебная волокита, еле-еле от тюрьмы ушел. С тех пор он вовсе бросил торговать, занялся общественными делами и всюду совал свой нос: в дела общины, таксы, цехов, синагоги. Поначалу у него все это шло не очень гладко, натерпелся сраму. Однако дальше — больше, человек втирался в доверие, болтал, что знает все ходы и выходы. И глядь, наш Эфроим стал нужным человеком, без которого никак не обойтись. Так заберется в яблоко червяк, устроит себе просторное и мягкое ложе и чувствует себя здесь как дома, настоящим хозяином.

Эфроим этот был низенький, на коротких ножках, крошечные ручки, красные щечки, а ходил быстро-быстро, вприпрыжку, подергивая головенкой, говорил торопливо, пискливым голоском, смеялся мелко — ровно горошек сыпал. Терпеть я его не мог, не знаю почему.

Всякий раз, когда я ходил к Чечеку или возвращался от него, я видел, как он прогуливается на мосту в своем длинном залатанном субботнем кафтане, накинутом на плечи. Заложив руки за спину, он пискливо что-то напевал, а длинный балахон бил его по пятам.

— Добрый день,— говорю я ему.

— Добрый день,— отвечает он.— Куда это паренек идет?

— Просто так, гулять.

— Гулять? Один-одинешенек? — спрашивает он и смотрит мне в глаза с такой усмешкой, по которой трудно сразу понять: умно ли это, глупо ли, или, может быть, смело, что я иду гулять один-одинешенек.

Однажды, идя к Чечеку, я заметил, что Эфроим Клоц слишком пристально смотрит мне вслед. Я остановился на мосту и стал глядеть на воду. Тогда и Эфроим остановился и стал глядеть в воду. Я повернулся обратно — и он за мной. Пошел я опять к Чечеку — и он туда же. Наконец он куда-то исчез. Позже, когда я сидел у Чечека и пил чай, мы услышали, что собака яростно лает на кого-то и рвется с цепи. Выглянул в окно, и мне показалось, будто что-то маленькое, черненькое, на коротеньких ножках семенит, семенит и исчезает. Я бы поклялся, что это Эфроим Клоц.

Так и есть. Прихожу в канун субботы домой, красный от волнения, и застаю Эфроима у нас. Сидит за столом, что-то оживленно рассказывает и меленько смеется. Увидев меня, он замолкает и начинает барабанить своими коротышками по столу. Против него сидит отец, бледный как смерть, мнет бороду, выдерживает по волоску: верный признак, что он сердит.

— Ты это откуда? — спрашивает меня отец и глядит на Эфроима.

— Откуда же мне быть? — отвечаю я.

— А я разве знаю откуда? — говорит отец.— Скажи ты, тебе лучше знать.

— Из синагоги иду,— отвечаю я.

— А где ты был целый день? — спрашивает отец.

— А где мне быть? — отвечаю я.

— Почему я знаю,— говорит отец,— тебе лучше знать.

— В синагоге,— отвечаю.

— Что же ты там делал, в синагоге?

— Что мне там делать?

— А я знаю, что тебе там делать?

— Я изучал...

— Что же ты изучал?

— Что мне изучать?

— Откуда я знаю, что тебе изучать?

- Я изучал талмуд*.
- Какой трактат ты изучил?
- Какой же мне изучать?
- Откуда я знаю какой?
- Трактат «Суббота» я изучал.

Тут Эфроим Клоц сыпанул своим маленьким смешком, и отец больше не выдержал: он вскочил с места и отвесил мне такие две звонкие, горячие пощечины, что у меня искры из глаз посыпались.

Мать это услышала из соседней комнаты и вбежала с криком:

— Нохум! Господь с тобой! Что ты делаешь? Жениха?! Перед свадьбой! Подумай, что же это будет, если сват узнает?!

Мать была права. Гершл бал-таксе проведаль обо всем. Да сам Эфроим Клоц и рассказал, радуясь, что может досадить ему: они издавна были на ножах.

Уже на следующий день утром мне отослали обратно акт обручения и все мои подарки. Конечно, я больше не жених. Отца это так огорчило, что он слег в постель, долго болел, не пускал меня к себе на глаза. Сколько мать ни упрашивала, как ни защищала меня, ничто не помогло.

— Но этот срам! Но этот позор! Не снести мне,— сказал он,— такого позора!

— Да пусть оно яропадом пропадет! — изливала душу мать.— Бог пошлет ему другую невесту. Что ж поделаешь? С жизнью покончить? Видно, она ему не сужена...

Вместе с другими пришел проводить отца и капельмейстер Чечек.

Отец, увидев его, снял с головы ермолку, приподнялся на постели, протянул ему свою тонкую, исхудавшую руку и, посмотрев в глаза, сказал:

— Ой, пан полковник, пан полковник!..

Больше он не мог вымолвить ни слова: его душили кашель и слезы.

Первый раз в жизни я видел отца плачущим. Это меня так потрясло, так больно сжалось мое сердце! Я стоял у окна и глотал слезы. В эту минуту я искренне каялся во всем, что натворил. Я колотил себя в грудь, как истый грешник, и дал себе слово — никогда больше не огорчать отца, никогда-никогда больше не причинять ему неприятностей. Конец скрипке!



Марко Вовчок

ИНСТИТУТКА

Посвящается Т Г Шевченко

I

Люди видят, что я весела, и думают, что я горя не знала; а я только родилась такою. Бывало, меня бьют (не дай бог об этом и вспомнить!) — не выдержу сердца, заплачу, а потом подумаю немного и засмеюсь. Бывает горе, что плачет, а бывает и такое, что скачет. Вот такое-то и мое горе. Если б мне над каждой моей бедой было плакать, я давно бы себе глаза выплакала.

Отца и матери я не помню, выросла сиротою, между чужих людей. Хоть и не было мне битья да упреку и работы не было тяжелой, зато и забывали обо мне — голодна ли я, холодна ли, жива ли...

На десятом году взяли меня на барский двор. У старой пани жить было можно: смирна была, может быть, оттого, что уж очень была слаба, едва ноги волочила; а заговорит — только шамкает,

сразу и не разберешь; так где уж тут драться — не то на уме. Целый день сидит на крылечке, а придет ночь — начнет охать да стонать. А в молодые годы, говорят, и за ней всякая всячинка водилась... да надо уж когда-нибудь и перестать.

В мое время нам на господском дворе жилось недурно; одно только было горе, что нам со двора ступить не позволяли, разве только в великий праздник в церковь отпросимся, а в простое воскресенье и не думай: барыня рассердится. «Нечего таскаться, — скажет, — не пущу; не такие еще ваши года, чтоб вам о боге заботиться, еще успеете; не завтра вам умирать!»

Сидим, бывало, день за день да и работаем; а кругом все тихо, словно все зачаровано, разве только барыня заохает либо кто из девушек на ухо что шепнет, а которая вздохнет со скуки. Томит, бывало, нас та работа, ажно жжет, а что сделаешь? Спасибо хоть на том, что не бьют десять раз на день, как, слышно, у других господ.

А иногда развеселимся мы вдруг, сами не знаем отчего; весело нам станет, так что сердце прыгает. Кажется, кабы воля, запели бы мы так, что по всему селу отозвалось бы... да не смеем: взглянем друг на друга, так смех нас и берет. Одна моргнет бровью, другая ответит ей тем же; которую привяжут к стулу косою, а иная вскочит и начнет скакать на цыпочках, чтоб барыня не услышала, кружится, вертится, только рукава раздуваются! Чего, бывало, мы тогда не выделявали!

У старой барыни не было ни роду ни племени — никого, кроме одной только внучки. Обучалась она в Киеве, в каком-то... там... как бы это выговорить?... ин-сти-ту-те. Она частенько, бывало, присылала письма к старухе, а старуха те письма каждый день перечитывала. И поплачет она над ними, и посмеется. Вот и пишет раз внучка, чтоб приезжали за ней, домой бы ее взяли. Пора, мол, пришла. Матерь божия! весь дом всполошился; ну белить, мыть, прибирать! Панночку* ждем, панночка будет!

Старая барыня словно ожила: костыляет из комнаты в комнату, из каждого окошка на дорогу посматривает и нас гоняет за село смотреть, не едет ли панночка. А нам только того и нужно. Мы за ту неделю, когда ее ожидали, можно сказать, пожили. Пошлют нас — мы не бежим, летим! Весело нам глядеть на степь, на поля на красные. Зеленая степь словно убегает перед глазами далеко куда-то, далеко... Любо вздохнуть на воле!

Цветов, бывало, нарвем, венков наделаем. Наденем мы те венки, словно невесты, и до самого двора в них величаемся, а вступая на двор, снимем их с себя да и бросим... А как было нам жаль эти венки бросать! Как жалко!

Дождались мы панночки: приехала она. И уж как хороша она собой была! В кого она уродилась такая? Кажется, и намалевать такой красавицы нельзя. Старуха как обняла ее, так уж из рук и не выпустила: целует ее, милует да любит, по комнатам ее водит, все показывает, все рассказывает; а панночка только знай поворачивается да на все любопытными глазами посматривает.

Посадила ее старуха за стол. И плачет-то она и радуется, расспрашивает и потчует:

— Может, ты того бы съела, того бы выпила?

Кушаньев всяких и напитков на стол наставила. Сама села возле нее и не насмотрится; а панночка все подбирает скоренько да чистенько, словно воробышек. Мы из-за дверей глядим на них и ждем, что будет говорить панночка: хочется нам дознаться, какие мысли у нее, какой нрав, какой обычай.

— Каково-то жилось тебе, *серденько*? — спрашивает старуха. — Ты мне не говоришь ничего.

— Ай, бабушка, чего еще там говорить? Скука была такая!

— Небось учили много? Чему ж тебя выучили, моя крошка?

— Вот что захотели знать! Вам было хорошо жить здесь, на воле, а что я вытерпела за тем ученьем... И не напоминайте мне о том!

— Голубушка моя! Известное дело: чужие люди сильно тебя обижали. Зачем же сейчас ты об этом не написала?

— Что это вы, бабушка, как можно! Сейчас бы дознались.

— Бедняжка моя! Скажи же мне, по крайней мере, как тебя обижали эти неверные души?

— Ох, бабушка, и морили они нас, и мучили, да всё глупостями: и то учи, и другое, и пятое, и десятое, зубри да зубри. А на что мне знать, как по небу звезды ходят, или как люди за морями живут, да хорошо ли у них там, нехорошо ли у них там. Лишь бы я знала, чем перед людьми себя показать.

— Да учатся же на что-нибудь люди, мое золото. Вон и наши панночки уж на что шушера, а и те трещат по-французски.

— Э, бабушка! — зашебетала панночка. — Французским-то языком и музыкой я сама охотно занималась, и танцами тоже. Что надо, то надо: на это каждый внимание обращает, каждый похвалит за это; а все прочее только тоску наводит. Учись, учись да и забудь! И тем, что учат, томно, и тем, что учатся, тошно. Много времени даром пропало.

— Да как же так? Стало быть, вас дурно учат?

— Да я ж вам говорю, что и скучно, и дурно, и все понапрасну. Они только о том и думают, как бы с нас деньги все получить, а мы о том думаем, как бы нас скорее на волю выпустили... О чем же вы задумались, бабушка?

— Да о том, серденько, что за тебя брали деньги хорошие, а учили дурно. Ну как ты теперь все перезабудешь?

— Как же это возможно, бабушка? Бог с вами! Как это можно, с гостями или в гостях позабыть музыку, или танцы, или хоть французский язык? А что до той заморской чепухи, я ее в одно ухо впускала, а в другое выпускала. Да я ее и совсем-таки не знаю — ну ее!

— А если каким часом кто-нибудь спросит, как там звезды по небу ходят или что другое, а ты не будешь знать? Люди и осудят тотчас: вот, скажут, училась, а не смыслит ничего.

— Да что это вы, бабушка? Это я только вам призналась, что не знаю, а чужие во веки веков не доберутся, пускай хоть целый день меня расспрашивают! Я изо всего вывернусь, еще и их озадачу — вот как, бабушка! Хотите, я вам спою что-нибудь? Слушайте.

И запела, затянула; а голос у ней такой, словно серебро пересыпается.

Старуха ну целовать ее.

— Серденько мое,— говорит,— утеха моя!

А панночка к ней ластится да просит:

— Купите мне, бабушка, нарядов хороших.

— Ты об этом не беспокойся, дитятко: будет у тебя всего довольно. Ты у меня будешь царица над панночками.

А мы, девушки, переглядываемся да и думаем: чему там научили нашу панночку? А всего больше, кажется, людей морочить.

III

— Пойдем-ка, голубка,— говорит ей старая пани,— я хочу, чтоб ты себе в услужение девушку выбрала.

И повела ее к нам. А мы от дверей да в угол, да кучкой там и столпились.

— Это ваша панночка,— говорит нам пани.— Целуйте ее в ручку.

Панночка не то посмотрела на нас, не то нет и протянула нам два пальчика. Старуха всех нас показывает:

— Вот это Анна, это Марья, это Домаха.

— Боже мой! — даже вскрикнула панночка и встрепенулась вся, руками всплеснула.— Да сумеет ли какая из вас меня причесать, зашнуровать?

Сказала — да и стоит, и руки скрестила, и смотрит на нас.

— А что,— говорит старуха,— сумеют, мое сердце; а не то — выучим.

— Как тебя зовут? — спрашивает вдруг меня панночка и, не дождавшись моего ответа, говорит пани: — Эта будет моя.

— Ну что ж! И ладно. Какую пожелаешь, мое сердце, пусть

будет и эта. Смотри же, Устина, — говорит она мне, — служи хорошо; панночка тебя жаловать будет.

— Ну, пойдете, бабушка, довольно! — перебила ее панночка, а сама и поморщилась, и набок перегнулась, и глаза отчего-то зажмурила, и с места порывается, ну точно кот, когда ему пыхнут в усы из трубки.

— Да ведь надо же, голубка, их уму-разуму научать; у них ведь глупые головы. Я скажу ей что-нибудь одно, а ты другое — вот и выйдет из нее человек.

— Жаль, бабушка, что прежде их не учили, а теперь возись с ними! Напрасно вы какую-нибудь в город не отдали.

Так и разговаривают про нас! Словно нас и в комнате нет.

— Ой! Устечка, Устечка, — горюют девушки, — каково-то тебе будет? Вишь, она какая неласковая!

— А что, — говорю я девушкам, — гореваньем поле не перейдешь*, да и от доли своей не уйдешь. Посмотрим, каково-то будет.

Я это сказала, а сама задумалась.

IV

Под вечер зовут меня:

— Иди к панночке, раздевать ее.

Я вошла к ней, а панночка стоит перед зеркалом и уже все с себя долой срывает.

— Где это ты шлялась? Раздевай меня скорее, скорее; я спать хочу.

Я ее раздеваю, а она все покрикивает на меня:

— Да скорее же, скорее!

Бросилась на кровать.

— Разувай! — говорит. — А умеешь ли ты волосы завивать? — спрашивает она меня.

— Нет, не умею.

— Боже мой, какое мое несчастье! Какая же она дура! Ну, пошла!

А девушки уже поджидают меня.

— Ну что, Устя, что, сестрица? Какова она голубка?

А я думаю, что́ им сказать.

— Дура я, — говорю девушкам, — не умею волос завивать.

V

На другой день ранехонько проснулась наша панночка, умылась, убралась, обежала весь двор, весь дом и в саду побывала.

— Дома я, — говорит, — дома! Нет мне теперь никакого запрету.

Целует старую пани да то и дело спрашивает:

— А скоро ли мы в гости поедem, бабушка? А когда же гости к нам приедут?

— Да дай же мне сперва тобой налюбоваться, моя рыбка, дай на тебя наглядеться!

— Да когда же я этого дождусь, бабушка? У меня только и было на уме, что вот я приеду домой, весело будет, людно, пиры да танцы... Бабушка, милая, голубушка!..

— Ну хорошо, хорошо, моя пташка; дай мне только немножко поприготовиться, а там уж я тотчас гостей просить буду.

Начались эти приготовления. Старуха сундуки выкатывает из амбара, бархаты, кисеи тонкие вынимает, кроит да примеривает на панночке. Панночка даже подпрыгивает, даже краснеет от радости. То к одному зеркалу подбежит, то в другое заглянет. Стакан воды возьмет, так и в воде собой любуется, какая она красивая. То заплетет косу, то расплетет, то лентами ее перевьет, то цветами уберется.

— Ах, бабушка! — вскрикнет, бывало. — Когда же я в атласное платье наряжусь?

— А когда обручишься, моя голубушка, — отвечает старуха. — Выдам я тебя за князя или за графа, за вельможного пана, за первого в свете богача.

А панночка и голову закинет, словно уже она самая велико-родная княгиня.

Только у них и разговору было, что про князей да про вельмож. Послушать их — так уж и к свадьбе все готово, и палаты каменные уже выстроены, и кони вороные запряжены. Чудеса, да и только! Толкуют они, толкуют, панночка вздохнет наконец:

— Что, бабушка, это только на словах, а до сих пор никто у нас не был!

— Да ты обожди немного: наедет их столько, что и не протолчешься.

VI

И взаправду нахлынули к нам гости, как на пожар. Одни со двора — другие на двор. Нет нам ни сна ни отдыха; бегаем, обслуживаем с утра до вечера. Иной раз такая их гурьба навалит, что дивишься, бывало, каких между ними господ нет. И все это хохочет, танцует, ест, пьет. Народ все праздный, откормленный. Иная добродийка* в дверь-то едва пролезет. А панычей-то* сколько у нас перебывало! Так роем вокруг нашей панночки и вьются, словно шмели жужжат. Обворожила она их всех — кого словами, а кого бровями. Одного спрашивает о здоровье, да так ласково, а другому говорит, что ей без него скучно; третьего посадит возле себя, словно своего семьянина. А они, бедняки, так и тают все, одурели вовсе, с лица даже все спали. Каждый день наезжают к нам, друг

друга опередить стараются, злобными глазами друг на друга посматривают. Она ли им всем по душе пришлась, не над чем ли другим им душу было отвести, только так муравейником они и кишат, так и лезут. Да и чем им себя в свете развеселить? Чем свой молодой век скрасить? Сладко поесть, напиться допьяна, одеться богато — чего им еще?

VII

Понемножку да понемножку панночка на свой лад все перевернула — и жизнь и хозяйство.

— Полно вам, — говорит, — полно, бабушка, вязать! Разве у нас некому работать? Кто ни приедет, а вы всё за чулком торчите, словно служанка какая.

— Да скучно без работы, дитя мое, — ответит старуха.

— Возьмите книжку да почитайте.

— Что я буду читать? Да я уже плохо вижу.

— Ну так посидите, только, пожалуйста, не вяжите. Вы мне лучше глаз спицею выколите.

— Ну хорошо, хорошо, успокойся.

Перестанет старуха вязать и скучает. Нарядила ее панночка в чепчик с пестренькими ленточками и посадила на кресло посреди комнаты. Приедут гости, а она уж наготове, принимает их.

Старухе уже жизнь в тягость становится, а панночка утешается:

— Как хорошо, бабушка, у нас, как славно! Как все роскошно да пышно!

VIII

Нас, девушек, всех вышивать засадила. Сама нас учит да то и дело наведывается, шьем ли мы. Мы обедать пойдем, так и тут хмурится да дуется, что мы не работаем; а потом с каждым днем все больше серчать стала. Уж и браниться начала, а иной раз щипнет или толкнет слегка, да и покраснеет сама — стыдно ей станет. Но стыдилась она, только пока привыкла; а как привыкла да обжилась, так узнали мы, где на свете горе живет.

Приду, бывало, одевать ее — и уж какого-какого натерплюсь поруганья! Заплету ей косу — не так! Опять расплету — опять не так! Целое утро мы в этом и проводим. Она меня и щиплет, и тычет, и гребнем меня царапает, и булавкой меня колет, и водой обливает... Чего-чего она не выделяет над моей бедной головкой!

Однажды у нас полковых из города ожидали. Двор подмели с вечера, дом убрали, словно для светлого праздника. Села панночка чесать волосы. Ах я бесталанная! Лучше бы мне горячих

угольев набрать в руки, чем возиться с ее русой косой! И такая-то я и этакая, и прочь поди, и опять ступай сюда... И толкает она меня, и насккивает на меня! Обмерла я со страха, а она кричит, бранится, топает ногами, а потом как заплачет вдруг... Я в дверь, а она за мною, в сад.

— Я тебя на куски разорву! Задушу тебя, змею!

Оглянулась я, а она такая страшная сделалась, что у меня и ноги подкосились. Как схватит она меня за шею обеими руками, а руки такие холодные, как змеи. Хочу вскрикнуть — дух мне захватило; так я и упала под яблоню; от холодной воды только очнулась. Смотрю, девушки около меня столпились, все белые-белые, как мел. Панночка на стуле раскинулась, плачет, а старуха над моей головой стоит и так меня бранит, такая лютая сама сделалась, что даже во рту у ней почернело.

— Что это ты наделала, дрянь ты этакая? Как ты смела панночку прогневить? Я тебя! — А панночку уговаривает: — Не плачь, не плачь, мой ангелочек; она не стоит слез твоих. Еще заболеешь, сохрани бог. Вот и ручки у тебя совсем холодные. Полно же, полно! Зачем тебе самой их наказывать? Жалуйся мне, когда тебе в чем-нибудь не угодят. А тебе, негодная, — опять напустилась она на меня, — будет ужо, погоди!

Я уж и не знаю, как я еще от другой беды избавилась, что меня не били. Должно быть, оттого, что уж очень я слаба была.

Пани только пинка мне дала, да тотчас и велела девушкам перенести меня в хату.

Девушки подняли меня и понесли, а в хате все так и начали около меня убиваться:

— Устинка, серденько! горькая участь твоя!.. Матерь божия! За что это над нами такое несчастье?

IX

Всю весну меня теплым молоком поили, пока я немножко оправилась.

Лежу, бывало, одна; все на панщине*, лежу да все думаю: «Такая молоденькая — и такая немилосердная; господи!..»

В хате холодок и тишина. Стены белые, немые. Я одна с своей душой. Ветерок зашелестит и приклонит мне в окно пахучую сирень. В полдень солнечный луч горячий перебросит через хату ясную полосу — точно жаром меня обсыплет. Душно мне, томит меня дремота, а сна нет. И этак я все одна-однихонька со своими мыслями, как жить на свете. Радуюсь, бывало, боже! Как радуюсь, когда зашумит садик, померкнет свет и застучит об землю дождь!.. Вдруг, слышу, топот за дверьми... хохот и говор... в хату ко мне целый рой детей так и всыплется, веселые все, румяные; ласкают меня, отряхивают на меня дождевые капли с себя; взбира-

ются на окно в нетерпении, когда-то дождь утихнет; поют, вскрикивают:

Зійди, зійди, сонечко,
На попове полечко,
На бабине зіллячко,
На наше подвір'ячко!

Солнышко только что выглянет из-за тучи — они так и прыснут вон из хаты; а мне еще долго-долго чудится то в одном углу хохот, то в другом, точно кто в серебряные колокольчики позванивает.

Вечеру, уже в сумерки, возвращаются с панщины усталые люди. Все измучены и солнечным зноем и тяжелым трудом; все молчат, разве иной тяжело вздохнет или запоем потихоньку, да так печально!

Иногда которая-нибудь из девушек забежит ко мне из дому.

— Устино, голубко!

— А что там у вас делается, сестрица? — спрошу я ее.

— Хоть и не спрашивай, Устино, беда! Ой, матушки, как бы еще там меня не хватились! Ох, Устя, бедные наши головки!

— А обо мне ничего не слышно?

— Как бы не так!.. Зачем, говорят, к своему делу не идет? Чего она нежится, словно пани с Басáни, — вот что говорят, коли хочешь знать... Ой, замешкалась я! Будь здорова, Устинка!

Х

Однажды утром лежу я да думаю; вдруг в хату вбежала Катря:

— Иди, иди, поскорее иди, Устя!

— Куда идти?

— К панночке, к пани; да поскорее же, Устя! Послали за тобой, чтоб ты тотчас шла. Панночка нажаловалась на тебя старухе, что ты уж совсем выздоровела, да не хочешь работать, служить. Иди же, иди!

— Как же я пойду, Катря? Я и переступить-то не в силах.

— Я тебя доведу, голубка! Приневоль себя, чтоб еще хуже не было. Пойдем же, пойдем!

С трудом доплелась я до дому. На пороге встретила меня панночка.

— Что это ты нежишься? Почему не идешь служить, дрянь ты этакая? погоди, я тебе наказание выдумаю!

И кричит она, господи! Даже запыхалась, толкает меня, за косы дергает... Ох, тяжелая моя доля! Как она озверилась! Личико ее хорошенькое какое страшное стало!

На крик ее и пани не замедлила приползти, да и ну меня бра-

нить; еще и колотить грозилась, а мы, слава богу, этого еще от нее не видали, пока не поселилась у нас панночка.

Начались тогда у нас наказания каждый день. Засмеется ли кто — не часто мы смеялись, — панночка бежит к старухе: «Бабуня, меня не уважают!» Заплачет ли: «Бабуня, дела не делают, да еще и плачут!» И этак на всех нас доносит и доносит наша ябедница; а старуха злится, нас наказывает — видно, молодость вспомнила!

XI

Мы только и отдохнем, бывало, когда наедут гости-панычи да позабудет о нас панночка. Выйдет к ним такая приветливая, ласковая, милая, щебечет по-птичьи — не узнаешь ее; а уж как те панычи около нее увиваются! Один рядом с нею семенит, а тот из-за угла с нее очей не сводит, этот за ней следом толчется, другой сбоку к ней глаза запускает, а она между ними словно перепелка вьется.

«Который-то из них попадется, — говорим, бывало, мы, девушки, — узнает, бедняк, *почем ковш лиха!*»

Сперва старая пани очень радовалась гостям, а потом, как поднялись между ними ссоры, начала она думать да гадать; уж и не рада им она, да отвязаться нельзя. Наедет их тьма-тьмушая, и каждый добивается от панночки себе ласки. Один под другого подкапывается, ссорятся, грызутся. Старая пани начала уж их (за глаза) собаками величать. Вдруг, этак под осень, выпала панночке ее доля — и все рассыпались прочь от нее, сами себя стыдясь.

XII

Познакомился с панночкой полковой лекарь и начал каждый день ездить. Такой он был тихий, учтивый, с каждым ласковый и на паныча не походил. А как он с ней познакомился? Уже давно приезжие панночки толковали, что как, мол, хорош собою полковой лекарь: и брови у него черные, и губы румяные, и роста он высокого — ну, словом, такая красота, что и сказать нельзя. Только одно: очень он горд и ни на одну из них не взглянет, ни с одной не заговорит, с какой стороны ни заходи.

Слыша все это, панночка, бывало, частенько говорит старухе:

— Как бы вы, бабушка, пригласили к нам того лекаря; я бы посмотрела на него, каков он?

А старуха говорит:

— Велика важность полковой лекарь! Эта голь, нищета. Зачем тебе с такими людьми связываться?

— Да я бы хоть посмотрела на него, бабушка, *взаправду* ли он таков, каким его славят.

— Бог с ним, еще привяжется. И то уж много около тебя уви-
вается, а ни один не сватается: мешают друг другу да спорят...
Чтоб они пропали!

Но как старуха ни отговаривалась, а внучка стала на одном:
подай ей лекаря, да и полно! И вот в первый раз, как только на-
ехало к нам полковое начальство, старуха вынуждена была по-
вестить им, что просит к себе в гости и лекаря. Те тотчас согла-
сились.

— Привезем, — говорят, — привезем.

— А когда же вы нас навестите? — спрашивает их панночка,
оборачиваясь туда и сюда и заглядывая им всем в глаза, точно
лисенок. — Скоро ли?

— Если вам угодно, то мы послезавтра будем, — говорят го-
сти, чуть не подпрыгивая от удовольствия.

И поехали все, словно своей же глупости радуясь.

XIII

Уж как хорошо оделась в тот день панночка! А старуха на-
хмурится да все ворчит:

— На что это нам голь негодная понадобилась?

Панночка как будто тех слов и не слышит, а старуха на нас
злобу свою вымещает.

Приехали полковые, а лекаря с ними нет.

— Благодарит, говорят, за внимание, да не имеет свободного
времени ни минуты: больных у него много; он их лечит.

— И не принуждайте его, — говорит старуха, — пускай себе
их лечит с богом!

Панночка только покраснела и губы закусил.

Досталось нам, когда гостей проводили! За все нам пришлось
тогда вытерпеть.

В ту же самую неделю заболела панночка. Охает, стонет, кри-
чит. Старуха испугалась, плачет, шлет за лекарем. Полковой
лекарь, говорят, знаток своего дела, да и живет ближе других.
Послали за ним.

А тем временем панночка оделась понаряднее, легла в постель
и лежит как писаная, дожидается.

Приехал лекарь, посмотрел, расспросил, а она-то, она... и го-
ловку клонит, и говорит нараспев. Побыл с час лекарь, да и уехал.

— Завтра, — говорит, — навещу.

Старуха стала спрашивать внучку, а внучка задумалась и
только головою кивает на вопросы.

А когда старуха ее спросила: «Что, каков лекарь? Как тебе он
показался?», она вся встрепенулась: «Гордый, говорит, такой,
словно пан высокородный. И что он о себе воображает?»

Лечил, лечил ее, бедняжка лекарь, да и влюбился в нее. Полю-

била его и панночка. Скоро почуяли панычи, в какую сторону ветер потянул, сразу поняли, что это все значит, да и отшатнулись прочь. Старая пани только что головою об стену не бьется, да уж ничего сделать не может.

— Если вы, бабушка, мне препятствовать станете, то я умру. Не говорите мне ничего, не отговаривайте меня; сжальтесь надо мною!

Старуха оставит ее в покое, а сама все стонет.

XIV

Опустело панское подворье: не топчут лошади, не стучат коляски, и панночка тише стала: не бранит нас, не бьет, не ябедничает, все сидит да думает.

Бывало, только солнышко встанет, лекарь и катит на своих двух лошадах. Панночка уже поджидает его у окна. Хороша, разряжена! Увидит его и покраснеет, как маков цвет. Он скорее-хонько вбежит. Подвернется какая-нибудь из нас: «Здорово, говорит, девушка; а что панночка?»

Целый день, бывало, прогостит — все сидит около панночки, не отходит ни на шаг. А старая пани то из одних дверей глядь, то из других глядь, а все прислушивается, что они между собою говорят вдвоем. И уж такая грызет ее досада, что они всё вместе, а разлучить их она не может: боялась она внучки. Стал он свататься за нашу панночку. Плачет старуха и жалуется горько:

— Я надеялась тебя за князя отдать, за богача, за вельможу.

— Ох, боже мой,— вскрикнула панночка сквозь слезы,— кабы он богатый был да вельможный, мне бы и думать нечего было, давно была бы за ним! Да коли такое мое уж несчастье, такая мне доля горькая выпала!

— Будто уж нет лучше его женихов? — говорит старуха, уже не смея ее отговаривать, а так, словно спрашивая.

— Для меня нет на свете лучшего, нет и не будет.

Затосковала панночка, похудела даже, побледнела. Старуха совсем с ума сошла, просто не знает, на какую ногу ступить. Намекнет на то, чтоб отказать ему, а у внучки тотчас гнев и плач великий. Вздумает утешать, скажет:

— Выйдешь за него замуж.

А внучка свою долю проклиняет.

— Это мне господь горе наслад,— говорит она.— И как этому горю помочь — не знаю.

Лекарь начал примечать, беспокоиться.

— Что такое? Отчего ты грустна?

— Я не грустна.

— Скажи мне всю правду, скажи! — умоляет он ее, руку целует.

— Женимся мы с тобою,— говорит она вдруг,— а как будем мы жить с тобою в бедности?

— Вот что тебя печалит, мое серденько! На что нам богатство, когда наша жизнь будет веселая, доля наша счастливая?

— Видишь ты, видишь, ты обо мне и не думаешь! — упрекает она его.— А приятно разве тебе будет, когда кто к нам приедет и над нами глумиться станет? «Вот, скажет, живут, бедствуют».— И она заплачет.

— Серденько мое! Что ж мне, бедному, на свете сделать? Где взять? Я отроду не хотел богатства, а теперь хочу всяких благ для тебя, тебе на утеху... Что ж я сделаю? Рад бы к себе небо наклонить, да не клонится.

И начнут оба горевать промеж себя.

XV

Любила она его, да как-то чудно, не по-людски. Бывало, завернет к нам в дом кто из панночек-соседок и начнет расспрашивать:

— Что, правда ли, что такой гордец в тебя влюбился? Свадается? Ревнует? Какие он тебе подарки дарит? Ты ли его слушаешься или он тебя?

— А вот, замечайте сами,— отвечает им панночка с усмешкой. И начнет она перед панночками ломаться над ним.

— Послушайте,— скажет она ему,— поезжайте в город да купите мне то-то и то-то, да поскорей, поторопитесь!

Он тотчас поедет, купит, что было приказано, и привезет.

— Боже мой, что это вы накупили! Я этого не хочу. Поезжайте, променяйте это; мне этого не надо. Вот редкость нашли!

Он опять едет, меняет.

Или он, например, хочет воды напиться, а она ему:

— Не пейте, не пейте.

— Почему?

— Я не хочу. Не пейте.

— Но я пить хочу.

— А я не хочу,— слышите? Не хочу!

И уж так она взглянет или усмехнется, что он ее послушает. В иной раз она рассердится, отвернется, не говорит с ним, а он извиняется и упрашивает ее, только что не плачет.

Приезжие панночки удивляются:

— Вот чудо! И кто ожидал от него такой любви! И как ты это сделала? Как бога упросила?

Наша панночка только ухмыляется.

Спрашивают они ее, чем он ее подарил. А она перед ними бархаты, атласы расстилает, что от старухи получила, да и хвалится:

— Это он мне подарил.

Чудная панская любовь!

А его против тех соседок так зло и разбирает.

— Дай бог,— говорит,— чтоб и след их пропал!

Старуха между тем расспрашивает о нем, какое за ним есть добро. Узнала она наконец, что у него есть хутор.

— Дитяtko мое, у него хутор есть.

— В самом деле? — вскрикнула панночка и с места даже вскочила.— Где? Кто говорил?

— Не очень далеко, за городом. Недавно, слышно, от какой-то тетки по наследству достался. Тетка была бездетная, он и вырос на ее руках.

— Ах, боже мой милостивый! Что ж это он мне ничего не сказал? Видно, хутор-то небольшой, нече и хвалиться; а все же хутор, все же имение.

Встретила она его веселая, приветливая. Он радуется. Он не знает, что приветствуют не его — хуторок приветствуют.

XVI

Об рождестве их обручили. Что гостей наехало! Панночка такая веселая, разговорчивая; глаза блестят, смеется, разгуливает с ним рука об руку, а он и глаз не спускает с нее, даже спотыкается на ходу. Пир продолжался до самого утра.

Но только лишь жених и гости со двора съехали, панночка наша в плач ударилась. Плачет она да на свою судьбу жалуется:

— Что это я сделала! Что я сделала! Какое будет мое житье убогое! На что меня мать на свет родила! Беда мне: доля моя сиротская!

Старуха уж и обручению не рада. Утешает свою внучку.

— Чего плакать, мое дитяtko,— уговаривает она ее.— Полно же, полно!

— Зачем господь богатства ему не дал? — вскрикнет панночка, да так и обольется слезами, и по комнате бегают, руки ломает.

— Дитя мое, сердце мое, не плачь! Не будешь ты богаче всех, да и бедней не будешь. Все, что я имею,— твое.

Панночка как бросится к старухе и ну ее обнимать, целовать.

— Бабусечка, бабусечка моя, матушка моя! Благодарю вас от души, от сердца. Теперь передо мною свет открылся. Я теперь словно переродилась. Вы теперь родной матушкой мне стали.

— Ну, так полно же, полно! А то я сама голосить стану. Ну, вот видишь! — говорит старуха, а сама и плачет и смеется.

— Бабушка, голубушка, так вы с нами будете жить?

— Уж чего было б лучше, да не приходится. Я вот как рас-

суждаю: я эдесь останусь, в Дубцах, буду за вашим хозяйством присматривать, а ты хозяйствуй у себя в хуторе; а то либо там, либо эдесь придется хозяйство бросить: оно изведется, и покол душе не будет. *От панского глаза и скотина добрест*, недаром сказано.

— Хорошо, бабушка, хорошо, пускай будет по-вашему... Ах, бабуся! Говорю вам, я словно другой раз на свет родилась.

— Так будь же ты у меня веселенькая, не плачь.

— Не буду плакать, бабуся, не буду.

Жених только что на порог — панночка говорит ему:

— Бабушка нам Дубцы дает, бабушка нам Дубцы дает!

А он отвечает ей, да так спокойно, с тихой усмешкой:

— Ты радуешься, и я рад. Я сам очень люблю Дубцы: мы тут спознались, слюбились. Помнишь, тогда какой был сад зеленый, цветущий, как мы в нем гуляли да разговаривали?

А она ему:

— Сад зеленый, сад цветущий! Ты вспомни лучше: Дубцы какой доход дают!

Жених даже вздрогнул и смотрит на нее, будто его что-то удивило, в сердце ужалило.

— Что с тобой? — спрашивает его панночка. — Что ты так на меня смотришь? Разве я что-нибудь нехорошее сказала? Разве не хочешь ты со мною хозяйничать?

Взяла его за руку, а сама улыбается ласково. И он улыбнулся и говорит:

— Ты моя хозяйюшка милая!

XVII

Повеселела панночка. Хлопочет над своим приданым; приказывает, распоряжается и сама во все входит. Навезли из города башмачников, портных, швей, купцов, торговков. Сама суется, жениха гоняет. Весь дом как в котле кипит. Настало тогда для нас времечко тяжелое! Наше ведь дело известное: хорошо ли, худо ли панам, а нам одно верно, по пословице: *людям свадьба, а курице смерть*.

Наехало на свадьбу панов, пани. Так все хоромы и гудят, точно улей; панночки с любопытством приданое рассматривают, удивляются:

— Ах, как это хорошо! Ах, как это чудесно! Вот это ~~это~~ каково? А это, верно, очень дорого стоит!

Иная как увидит что-нибудь — платок ли, платье ли, так даже глаза зажмурит, словно ей что за сердце ущипнет. Льнут они ко всему этому, как мухи к меду. Насилу мы уж их спровадили.

XVIII

За теми хлопотами да за суматохой я и минутки свободной улучшить не успела, чтоб со своими проститься. Уже лошади стояли заложенные — тогда только я побежала к своим; не могла я и словечка вымолвить, только обнимаю и старых и малых.

Молодой приехал за панночкой на четверне; кони у него были вороные, лихие; правил ими кучер плечистый, усатый, в высокой шапке; он из наших был людей, но по вельможному вкусу вышколен. Паны прощаются, гуторят, плачут, а кучер сидит, как из железа выкован, не обернется, не взглянет.

Сели паны в возок. Меня прицепили сзади на какую-то высокую будочку.

— С богом, Назар! — вскрикнул весело пан.

В тихое и ясное утро выехали мы из села; а мороз был трескучий; иней запушил вербы; ветки белели и сияли против солнца. Девушки высыпали на улицу, кланяются мне. Шибко-шибко бежали кони; так в очах все разом и промелькнуло: уж нет села... Дорога, дорога, безлюдная дороженька передо мною...

XIX

Скоро приехали мы в город. Точно в муравейник попали: идут, едут, продают, покупают. Люди, паны, москали, торговки; а долгополые жида, куда ни взглянешь, словно жуки копошатся.

Пан велел остановить лошадей возле почтового двора и повел свою молодую пани в покой. Кучеру дал денег на обед, а обо мне забыл.

Сижу я да смотрю кругом: все чужое, все не наше. Вдруг кто-то как вскрикнет, как гаркнет: «Эй, хорошая, пригожая!» — я даже вздрогнула. Это наш кучер гаркнул. Всмотрелась я в него: какой он черноволосый, господи! Как есть ворон. Засмеялся... Зубов у него не перечесть, и все белые-белые, как сметана.

— А кого вам надо? — спрашиваю я его.

— Э-ге! Кого! Как, бишь, тебя зовут? Устиной, что ли? Пойдем со мной, с Назаром, пообедать.

Сильно я промерзла и проголодалась, а думаю: «Как пойти? Ну неравно пани спросит!»

— Спасибо вам, — говорю я ему, — я не хочу есть.

Кучер усмехнулся:

— Как себе знаешь, девушка! — да и пошел.

XX

Немалое время я просидела, пока вышли господа. Пан тогда глядь на меня.

— А что ты сидишь здесь, Устинька? — спросил он. — Обедала ты? Эй! — крикнул он бородачу-хозяину, который тут же, на крыльце, деньги на ладони считал да побрякивал ими. — Дайте девке пообедать.

Хозяин сунул деньги в карман да и побежал.

— Что это? Что это? — всполохнулась пани. — Мы дожидаться станем?

— Да как же, душа моя? — отвечал пан. — Ведь она голодна, да и назяблась вволю.

— Так что же? Они ко всему этому привычны. А мы опоздаем, я бояться буду.

— Беги, девушка, да поскорее! — говорит мне пан. — Не замешкайся, чтоб не дожидаться тебя.

Пани покраснела по самые волосы:

— Пора ехать!..

— Да ведь она голодна, сердце мое. Посмотри на нее, как она озябла.

— Я озябла, я озябла, я, я! — И уж как она на это я напирала! — Садись! — загремела она на меня и сама вскочила в возок.

Пан изумился, не знает, что думать, что сказать, стоит да глазами хлопает.

— Что ж, — спрашивает пани, — скоро?

Он сел возле нее, сердечный! А бородач-хозяин:

— Девке обедать не прикажете?

Долгонько говорили промеж собою господа, а еще дольше молчали.

XXI

В сумерки доплелись мы до хутора. В хуторских хатах кое-где огонек виднелся. Проехали мы улицей, остановились возле дома. На крыльце стоят кучкой люди со свечами, с хлебом святым, кланяются, приветствуют молодых.

— Спасибо, спасибо вам, — говорит пан и принимает хлеб на свои руки. — Привез я вам пани молодую: понравится ли она вам?

А сам смеется, радуется: кому бы такая королева не понравилась?

А пани как глянет на него, так даже искры из глаз у нес посыпались, в лице изменилась. Люди к ней, чтоб по-своему ее приветствовать, а она выхватила у одного из рук свечку, да и шмыг в двери. Люди так от нее и прыснули во все стороны, ничего пану не ответили.

Пан, встревоженный, печальный, склонив голову, пошел за нею. Вошла в дом и я, стала смотреть, разглядывать: светелки небольшие, но хорошенькие, чистенькие; стульчики, столики все новенькие, даже лоснятся. Слышу: разговаривают господа; вслушиваюсь: пани моя всхлипывает, а пан ее упрашивает, уж как он ее упрашивает:

— Не плачь, не плачь, жизнь моя, сердце мое! Если б я подумать мог, что этим тебя оскорблю, никогда и ни за что я бы этого не сказал.

— Ты, верно, всех своих мужиков так приучил, что они с тобой запанибрата. Хорошее это дело! Рассматривают меня, посмеиваются; чуть-чуть не бросились обнимать меня... Ах я несчастная! Да как они смеют! — вскрикнула она наконец.

— Сердце мое, люди они добрые, простые.

— Я ничего знать не хочу, слышишь? Видеть ничего не хочу! — задрбезжала пани. — Ты меня со свету согнать хочешь, что ли? — закричала она, рыдая.

— Полно, полно, душенька, еще заболеешь. Ох, не плачь же, не плачь! Все буду делать так, как ты сама пожелаешь, прости меня только на этот раз.

— Ты меня не любишь, не жалеешь — бог с тобой!

— Грех тебе так говорить! Сама ты знаешь, сколько в твоих словах правды.

Слышу — поцеловались.

— Смотри же, — говорит пани, — если ты не будешь по-моему делать, так я умру!

— Буду, серденько, буду!

XXII

Прошлась я по всем комнатам: нет нигде ни души. «Это уж не от нас ли все разбежались?» — думаю я про себя. Вышла я на крылечко, а ночь была лунная, звездная. Стою да посматриваю; вдруг слышу:

— Здорово, дивчинонько, — словно на струне прозвенело возле меня.

Встрепенулась я, смотрю: высокий, статный парубок посматривает на меня да усмехается. И застыдилась я и испугалась, стою как окаменелая, онемела, только смотрю ему в глаза.

— Что ты тут стоишь? — опять отозвался парубок. — Видно, не знаешь, куда идти?

— Кабы не знала, у вас бы спросила, — отвечала я ему, немного спохватившись. — Будьте здоровы.

И поскорей за дверь.

— Прощай, серденько, — сказал он мне вслед.

XXIII

А господа всё по покоям ходят. Молодая хозяйка во всякий угол заглядывает: что и как?

— Это что такое?

— Это старуха угол цветами убрала.

— Что? Так она у тебя тут распоряжается? Выбрось этот бурьян, мое сердце. Это совсем по-мужицки.

— Хорошо, душенька.

Она его поцеловала:

— Голубь ты мой!

Нагулялись, наговорились господа.

— Что это значит,— начал пан,— что никого нет? Куда это старуха девалась?

— А видишь, видишь,— защебетала пани,— какие они у тебя избалованные: захотела — и ушла.

— Да куда она может деваться? Вот я ее позову.

И пустился он кричать: «Баба, баба!», точно мальчишка неразумный.

— Тотчас, душенька, старуха придет,— успокаивает он пани.

— Да где она была?

— Верно, каким-нибудь делом занята была, душа моя. У меня только всего и прислуги.

— А где же моя Устина? И она научилась бегать без спроса! Устина, Устина!

Я стала перед ней.

— Где ты была?

— Вот в этой комнате.

Стала я опять за дверь; опять смотрю и слушаю.

XXIV

Вошла старушка, старенькая-старенькая, вся сгорбленная и сморщенная, только одни черные глаза ее еще живут и блестят. Вошла, тихонько выступая, поклонилась пани да и спрашивает:

— А что вам нужно, пан?

Пани едва на месте устояла — такая ей показалась старуха смелая.

— Где это ты была, баба? — говорит пан.

— Возле печки была, *паночку*. Гáнне пособляла, чтоб ужин был ваш повкуснее.

Пан видит, что жену уже гнев разбирает, а все не решается старушку побранить. Хлопает глазами да кашляет, ходит взад да вперед и сам не знает, что ему делать. Пани от него отворачивается.

— Что ж, готов ужин? — спрашивает пан и нахмурился.

— Готов, паночку,— тихо и не торопясь отвечает старуха.
— Сердце мое,— говорит он пани,— может, мы и поужинали бы?
— Я не хочу ужинать.
Пани выбежала и хлопнула дверью.
— Так и я не буду ужинать,— говорит пан уже печально.
— Так я пойду себе. Покойной ночи, паночку.
— Иди, да смотри, старая, чтоб я не бегал за тобою сам! — закричал было пан, но старушка учтиво отвечала: «Хорошо, паночку», и он тотчас утихнул.
Она поклонилась и пошла.

XXV

Ходил-ходил пан по комнате, слышно ему, что пани за стеною плачет. «Боже мой! — проговорил он про себя.— Чего она плачет?» И так он проговорил те слова тихо да уныло.

Не утерпел, пошел к ней. Стал ее целовать, уговаривать. Не малое время он ее упрашивал, пока она перестала плакать.

— А ужинать я не хочу,— говорит пани,— я на твоих слуг даже смотреть не могу: так они с тобою обходятся, как с равным — родственники, да и полно!

XXVI

Сижу я одна в девичьей. Скучно мне, томно — такая кругом тишь! «Вот житье-то мое какое будет, красное житье! Теперь-то,— думаю я себе,— наживутся наши девушки вволю без моей пани. Весело да любо им вместе, а мне чужая сторонка, и души нет живой возле меня!»

Вдруг кто-то в окошечко стук!

Я так и сомлела вся. Сама уж и не знаю, каким образом, а тотчас догадалась, кто это стучит. Сижу, будто не слышу.

Обождали немножко; опять стучат. Я вскочила да все двери попритворила, чтоб господа не услышали.

— А кто это тут? — спрашиваю.

— Я, дивчино горличко.

— Верно,— говорю,— ошиблись, не в то окошко проситесь?

— Как бы не так! На что же после того и глаза во лбу, коли не на то, чтоб увидеть, кого нужно?

— Уж нужно! Вот вздумали разговаривать сквозь двойное стекло! Ступайте себе: еще господа услышат.

Я отошла.

А он все свое:

— Дивчино, дивчино!..

— Что это ты под окном словно в землю врос, Прокоп? заговорил вдруг кто-то тихим голосом.— Ужин уж готов давно, а вас никого нет.

XXVII

Слышу, вошел кто-то в сени. Я отворила дверь, а это старушка.

— Здорово, девушка,— промолвила она.— Просим мы тебя ужинать, моя кукушечка.

— Спасибо, бабушка.

— Так ты пойдешь?

— Вот я у пани спрошусь.

— Чего спрашиваться? Ведь это ужин.

— Позволят ли мне пойти...

Старушка помолчала маленько да и говорит мне:

— Ну, так иди, мое дитятко; я тебя здесь обожду.

Пошла я к господам, а они сидят рядышком, таки веселенькие, о чем-то меж собою разговаривают. Я вошла, а пани:

— Чего суешься?

— Позвольте,— говорю,— пани, мне поужинать.

— Ступай себе, ужинай.

XXVIII

Пошла я за старушкой, через двор, в хату.

— Вот, привела вам девушку — говорит старуха, войдя в хату.

А в хате за столом сидит между другими Назар черноволосый и молодица хорошенькая, его жена, тут же. В печи пышет полымя, как в горниле; весело отсвечиваются белые стены, и божничок* светится, завешенный шитым полотенцем, сухими цветами и травами разубранный. На полках мисы, миски и мисочки, зеленые, красные и желтые, словно драгоценные камни красуются. И все в этой хате было весело, опрятно, все так и лоснилось: и связка мягкого льну на жерди, и черный кожух* Надеревянном колку, и плетеная люлька с ребенком

— Просим до гурту*, — говорят мне с приветом и поклонами.

— А может быть, со мною рядом такая королева сядет, а? — промолвил Назар.

— А разве вы самый красивый, дядя? — спрашиваю я его.

Глянула я кругом, а тот парубок уж тут — смотрит на меня из угла... даже жарко мне сделалось.

— А то небось нет? — промолвил Назар.— Всмотрись ты в меня хорошенько: уж на что я хорош, на что пригож!

— Разве в потемках! — весело возразила молодница.

Славная была та бабенка, звали ее Катрей: белокурая, немножко курносая, глазки голубые, светленькие, а сама кругленькая, свеженькая, как яблочко, в красном очипке*. Смешливая она была, на словах бойкая, а уж какая проворная: и говорит, и работает, и ребенка качает, и все разом; то у стола ее шитые рукава мелькают, то возле печки ее перстни поблескивают.

— Ну, ну! — говорит Назар. — Когда бы не галушки, я бы тебе отпел.

А тут как раз Катря поставила на стол миску с галушками. Назар мигнул мне:

— Не грех тому хорошо поужинать, кто не обедал!

XXIX

Стали мы ужинать. Катря и говорит и шутит, а все сдается мне, как будто ее что-то беспокоит, как будто она грустит. Старушка сидит за столом тихонько, величаво, думу какую-то думает, только Назар шалит, да балагурит, да хохочет, зубами перед таганцом так и сверкает, а зубы у него, я уже сказала, как сметана. На того парубка я уже больше не смотрела.

— А что, моя пташечка, — спрашивает у меня старуха, — давно ты у молодой пани служишь?

— Как она собой хороша! — ввернула слово молодичка.

— Что в том толку, что хороша, — гаркнул Назар, — коли смотрит так, что даже молоко от ее взгляда киснет!

Старуха тяжело вздохнула:

— Полно тебе, Назар, полно.

— А наш пан такой приветливый, — заговорила опять молодница.

— Дай ему господи и жену под пару! — сказала старушка.

— Каково-то теперь нам будет? — промолвила молодичка, вздохнула и задумалась. — Каково-то будет? — повторила она тихо и поглядела на меня, словно глазами спрашивая.

А я молчу.

— Будет как господь даст, голубка, — говорит старуха.

— Ну, что будет, то будет, мы всё переживем, «перебудем», — вскрикнул Назар, — а теперь за галушки! Ты что, Прокоп, не идешь? Пани тебе в глаза бросилась, что ли? Или, может быть, эта королева?

И он кивнул на меня головой.

— Пускай та пани и во сне мне не привидится, — сказал он, садясь против меня. — Где родилась она, такая неприветная?

Тогда молодница ко мне обратилась:

— Девушка милая, скажи нам всю сущую правду по душе... Она умолкла.

Все на меня смотрят пристально, и парубок с меня глаз не сводит. Когда бы не тот парубок, мне бы все ничего, а при нем и стыдно мне и краснею я, едва не плачу.

— Девушка, зла наша молодая пани? — спросила Катря.

— Недобрая, — говорю я ей.

— Господи милосердый! — вскрикнула она. — Чуяло мое сердце, чуяло... дитятко мое!

Бросилась она к люльке, наклонилась над ребенком:

— Того ль я надеялась, идучи вольная за господского? Она уже одним своим взглядом мое дитятко поедом поела.

И плачет она, плачет; слеза так и бежит за слезой.

— Не так черт страшен, каким его малюют, — отозвался Назар. — Чего пугаться? Осмотреться сперва надо.

А она тужит, а она рыдает, как будто уж и взаправду пани своим взглядом ребенка поела.

— Полно, голубушка, — уговаривает Катрю старушка. — Зачем нам так сильно тревожиться? Разве над нами нет господи милосердого?

Парубок хоть бы словечко вымолвил. Только куда я ни взгляну, всюду глазами с его глазами повстречаюсь.

XXX

Отужинавши, помолившись, бегу назад в дом, а сама следом за собою слышу:

— Доброй ночи, дивчино!

— И вам доброй ночи, — ответила я и вскочила в сени.

Вошла я в девичью — сердце мое бьется, бьется; думаю я, думаю, как это он впился в меня глазами; и пани моя тоже мне на ум приходит. Едва в хутор вступила, а уж всех опечалить успела! И зачем этот парубок ко мне ластится? Господи боже мой, какой он хороший!

Полный месяц стоит прямо передо мною:..

Ой, місяцю-місяченьку,
Не світи нікому!..

Песня так меня и подмывает... Сама не знаю, чего моей душе хочется: того ли чтоб он опять отозвался под окошком, того ли чтоб не приходил.

XXXI

Проходит день, неделя, проходят месяцы, и полгода минуло. Кажется, в хуторе все и тихо и мирно; цветет хутор и зеленеет; а когда бы кто посмотрел, что в нем делалось! Люди и просыпа-

лись и спать ложились со слезами да с проклятиями. Все пригнула по-своему молодая пани, всем работу тяжкую, всем горе горькое придумала. Калеки несчастные, малые дети без дела не ходили: дети сад подметали, индеек пасли; калеки в огороде сидели, воробьев и других птиц пугали; и всю ту работу умела как-то пани приправлять укором да упреком, так что всякая работа казалась каторгою. Точно стоглазая она была: все видела, повсюду, как ящерица, по хутору шмыгала, и бог ее знает, что такое в ней сидело: только взглянет, бывало, точно рукою тебе сердце сожмет.

А соседние господа хвалят нашу пани, величают ее: «Вот хозяйка-то, вот умница! Нужды нет, что молоденькая, а нам бы всем у ней поучиться не худо».

Сперва люди на пана надеялись, да скоро и эту надежду бросили. Он был добрый и милостивый пан, да совсем плох, тряпка-человек! Пробовал он жену уговаривать — да где! Потом уж он и намекнуть ни на что не смел, словно он и не видит ничего и не слышит; не было у него ни духу, ни силы. Сказано: добрый пан; *не біє, не лає, та нічим і не дбає**. Как начнет пани падать в обморок, да стонать, да кричмя кричать, так он у ней и руки и ноги перецелует, и плачет, и сам людей бранит: «А, чтоб вас! Вот уморят мне моего друга!»

— Не будет из него пути,— говорит, бывало, Назар.— Я тотчас увидел, что он настоящий помазок, вот которым колеса подмазывают, еще тогда, как он Устину обедом накормил. Кабы мне такую жену, я бы в муравейник ее усадил: пускай бы там фыркала!

Скажет да и захохочет во всю хату. Такой уж человек был этот Назар: всё ему шутки. Кажется, на огне его жги, а он все-таки будет шутить.

А уж сколько слез Катря пролила! Где они только брались у нее? Схватит на руки ребенка, плачет, плачет, а потом и заголосит.

И Прокоп тосковать стал. Все о чем-то раздумывает и со мной не разговаривает.

— Что это вы так печальны? — говорю я ему — это было раз ввечеру, в сумерки.— Что вы так печальны?

Он схватил меня за руки, прижал к себе и поцеловал. Пока я опомнилась, он уже скрылся.

XXXII

Все наши люди похудели, словно завяли; только старушка по-прежнему величава, как и была. Как ни бранит ее, как ни кричит на нее пани, старушка не пугается, не теряется, выступает тихо, говорит спокойно, смотрит ясно своими ясными глазами. Сама не

заметишь, бывало, как прижмешься к ней, вот как ребенок к родной матери прижимается, да и заплачешь.

— Не плачь, мое дитяtko, не плачь,— скажет старушка потихоньку, ласковым голосом.— Пускай недобрые люди плачут, а ты пережди, вытерпи горечко. Неужто и вытерпеть нельзя?

Господи боже! Какое наше грустное и томное было житье! Не слышать смеху, не слышать голоса человеческого; ни одна живая душа к нам на двор не завернет, разве по делу; и так всякий боязно оглядывается, так спешит, словно из лесу от лютого зверя уходит.

Запоздала я как-то раз после ужина и бегу поскорей через двор. «Что это Прокоп ужинать не пришел?» — думаю я... Вдруг, смотрю, он передо мною, перерезал мне дорогу и не дает уйти.

— Устино, скажи мне всю правду: любишь ли ты меня?

Ушла бы я от него, но ноги меня не несут. Стою, горю; а он меня за руку, прижимает, обнимает к себе и все спрашивает: «Любишь?» — такой странный! Сели мы, поговорили, слюбились — и все беды наши забыли. Весела душа моя, и свет мил, и так все на свете хорошо мне, так прекрасно! Уж, стало быть, хорошо мне было, когда сама пани заметила.

— Что с тобой? — спрашивает она меня.— Отчего ты так покраснелась, словно кто тебя поколотил? Или, может быть, украла ты что-нибудь?

XXXIII

Боже мой милостивый, как, бывало, я вечера темного, тихого дожidaюсь! Прикажет мне пани идти ужинать, а Прокоп уже ждет меня. Встретит меня; мы постоим вдвоем, погорюем вместе; днем мы хотя и встретимся — так только переглянемся, словечка друг другу не промолвим, разойдемся.

— На горе вы слюбились! — говорит нам, бывало, Катря.

— Ну, разумна же ты, душа моя, хотя бы бесу под стать! — подтрунивает над нею Назар.— Если бы теперь тебе пришлось в другой раз меня полюбить, ты бы себе все пальчики облизала.

— Любовь у меня теперь на уме, как же! — ответит она.— Мне они оба теперь сердце сушат, как подумаю да рассужу.

— Что это вы девушку смущаете да пугаете! — заметит старушка.— Коли уж полюбила, пускай любит! Верно уж ей такая судьба выпала!

XXXIV

А пани наша что дальше, все злее становится, все лютее. Опоздаю ли я, замешкаюсь ли немного, «Где ты была?» — кричит она, и встречает меня лихая беда на панском пороге. Сперва я

очень тужила, а потом мне все это не в диковинку стало, всякое руганье нипочем. Недаром сказано: «Встань, беда, да и не ложись». Бывало, пока она меня бранит, не под силу мне терпеть, слезы у меня польются ручьем, а наплачусь, оботру слезы — и опять я весела, и опять я играть и шутить готова, и коса у меня заплетена мелко, и сорочка на мне чистая. Никому про свое горе и слова не шепну. Какая мне в том польза! Только обиду свою тяжкую припоминать. Зато Прокоп ходит как темная ночь, и уж тогда ни еда, ни питье, ничто ему на ум нейдет.

Господи милосердый, и свое горе, и чужое горе!.. Не знаешь, что делать, с чего начать! У Катри ребенок заболел, а тут обед господам сготовь, ужин свари, огород вскопай, засеи; а пани еще кричит:

— Не работаешь, дрянная! Вот я научу тебя работать!

По целым ночам Катря не спит, сидит над ребенком. Настанет день — она за работу; днем старуха за ребенком ухаживает, утешает Катрю: то ребенка к ней вынесет, то сама к ней выйдет, расскажет: утихла малютка или спит малютка. И так она, словно благодать божия, пособляет, неутомимая, неусыпная.

— Что это вы так, Катря, трудитесь без отдыха? — говорю я ей.

— Буду работать, работать, пока сил хватит (а впалые глаза у ней так и горят), — может, угожу, может, умилю!

Но не угодила и не умилила: работала она днем и ночи не спала, пока не забывалась мертвым сном возле люльки. Очнулась... к ребенку... а ребенок уже на божьей дороге. Только взглянула на него бедная мать, только схватила его к сердцу, а он уже преставился...

Убивалась Катря, и мучилась, и радовалась.

— Пускай же, мое дитя, мое милое, дорогое, будет ангелочком Божиим: горя не будет знать, мое родненькое!.. — А потом вдруг заголосит: — А кто ж ко мне рученьки протянет, кто меня обрадует на сем свете? Дитя мое! Покинула ты меня, моя доченька...

Назар как будто и ничего, утешает свою Катрю, молодой ее век ей напоминает, а у самого уже зычный голос гораздо тише сделался, и горюет он ото всех тайком.

С той печали совсем ослабела, извелась Катря. Не то что работать — и ходить она не в силах; а пани все свое:

— Что ты не работаешь? Я тебе то, я тебе это!

— Теперь я уж не боюсь вас! — ответила Катря. — Хоть живьем съешьте меня теперь!

Ну и задала же ей пани!..

— Прокоп, — говорю я ему, — что же с нами-то будет?

— Устино, сердце мое, связала ты мне руки!

XXXV

Прогнала пани Катрю со двора на панщину: не уважила она ее мужа-кучера.

Пан тайком от пани хотел ей деньги дать, да не взяла их Катря. Он положил ей целковый на плечо, а она его с себя сбросила, словно лягушку; и как упал тот целковый в траву, так и залег там, даже почернел — никто до него не дотронулся. Уж сама пани, расхаживая по двору, увидела тот целковый и подняла.

— Это, верно, ты, ты деньги сеешь! — сказала она пану. — О боже мой, боже мой!

Пан не отвечал ничего, только покраснел весь.

А Катря не захотела жить на свете. Что-то приключилось с нею после того, как над ней надругались. Бегала она по лесам да по болотам: все своего ребенка искала, а потом и утонула как-то, бедняжечка!

Пан крепко опечалился, а пани говорит ему:

— Чего тебе смущаться бог знает чем? Разве ты не заметил, что она издавна была помешанная? И глаза у ней какие-то были странные; и что она ни скажет, все невпопад.

Пан ухватился за это слово.

— И впрямь, — промолвил он, — не в полном уме она была.

Помешанная да помешанная, чего еще? Потолковали меж собой и успокоились оба.

XXXVI

Наняли себе господу какого-то москаля-солдата из города в повара. То-то был странный человек! Сготовит он господам обед, сам пообедает, да и ляжет на лавку, и все свищет, все свищет да свищет — да вдруг как запоеет, звонко так и тонко, точно петух. Мало ему нуждушки было до нашего горя. Только спросит, бывало:

— Что, сегодня били? — И прибавит: — Иначе нельзя: на то служба.

И Назар уж не тот стал, и он уж словно опустился; а все подшучивает:

— Когда бы хотя один день кто мне послужил, я бы этого до самой смерти не забыл!

Пани нового повара очень хвалит, что «какой он человек хороший и как меня он уважает, как почитает меня»; а он, бывало, как станет перед ней, то, как стрела, выпрямится, руки опустит, глазами в нее уставится.

— Ловил я рябого поросенка, ушел рябой поросенок в бурьян, тогда я за черного поросенка; поймал я черного поросенка, ошпарил я черного поросенка, зажарил я черного поросенка, — так это

он чисто отбарабанит и ждет, что ему пани скажет, а сам только хлоп-хлоп глазами.

А пани ему то и дело:

— Хорошо, хорошо, все это хорошо. Только ты смотри у меня, не избалуйся с моими волчьими душами.

— Никогда я того не посмею, ваше высокоблагородие.

Поклонится ей низко, потом направо, налево, ногами шарк — да и опять на лавку, и опять свищет.

— Эх! Чтоб вас! — говорю я ему однажды. — Когда это вы свистеть перестанете? Тут горе, тут напасть, муки кровные, а вы...

— Не горюй, не горюй, девка! На то она служба прозывается! Вот видишь, сколько у меня зубов осталось? На службе потерял. Был у нас капитан... Ух!.. — И он только ухнул. — А ты что думала? Как жить на свете, как служить, как выслуживаться? Тебя бьют, тебя рвут, морочат тебя, порочат, а ты знай стой, не моргни. Упаси бог!

Сказал и опять принялся свистеть. А Прокоп с сердцов даже трубку об землю хватил.

— Волы в ярме и те ревут; а чтоб христианская душа всякий укор да неправду терпела и словом не отозвалась! — грянул он на солдата, так что даже тот свистеть перестал. Дивится на него, как козел на новые ворота. — Не такой у меня нрав, — продолжал Прокоп, — по-моему, или освободись, или пропадай!

— А у меня так вот какой нрав: убеги! — захохотал Назар. — *Мандрівочка — рідна тіточка**.

— Поймают! — вскрикнул солдат и на ноги вскочил. — Поймают — пропал!

Что у кого ни было на сердце, а все засмеялись.

— Не всякий капитан такой проворный уродится, — промолвил Назар. — А ты вот лучше скажи: куда уйти, чтобы не было того, как в пословице говорится: «От какой беды ушел, такую и встретил», из лохмотьев — да в рубище. *Та все пани, та все дукки**, — запел он вдруг, точно в колокол ударил.

XXXVII

Год спустя померла старая пани. Больно не хотелось ей умирать. Всё молитвы, священное писание читала, по церквам молебны заказывала; свечи перед образами неугасимые пылали. Как-то случилось, что девчонка зазевалась и свечка погасла, — велела старуха девку высечь. «Ты, говорит, грешница: моему спасенью вредишь!»

XXXVIII

Наша пани крепко горевала о своей бабушке.

— Одна уж я теперь осталась на свете: обдерут теперь меня, как липку! Мой глаз за всем не усмотрит. А на тебя,— говорит она пану,— какая надежда?.. Ты ничего не припасешь, а разве последнее растратишь. Ты и не думаешь о том, что нам господь скоро ребенка даст. Ради его, если не ради меня, опомнись, мой друг, хозяйничай, присматривай за всем.

— Что это ты, душенька, бог с тобой! Вот опять ты от всего тревожишься! Я все сделаю, что ты только захочешь, все.

Так-то, бывало, уговаривает ее пан.

Однажды захотелось ему развеселить ее, и говорит он ей:

— Полно тебе, голубка, беспокоиться; ты послушай-ка лучше, что я тебе скажу: я уже кума пригласил.

— Кого это? — подхватила пани.

— Товарища; какой славный человек, добрый!

— Боже мой! Я тотчас догадалась: пригласил какого-то бедняка. Я и знать этого не хочу; не будет этого, не будет!

И принялась она плакать навзрыд.

— Сердце мое, не плачь,— просит ее пан.— Душа моя, заболеешь. Не будет того кума. Я извинюсь перед ним — и полно. Скажи только, кого ты хочешь, того я и приглашу.

— Полковника надо просить — вот кого!

— Полковника так полковника; завтра же поеду к нему. Ну, извини меня, душенька, что я чуть-чуть не огорчил тебя.

— То-то и есть, что ты совсем меня не жалеешь, все меня огорчаешь.

— Голубка моя,— промолвил пан потихоньку,— пощади ты меня... Ты все сердишься, кричишь, гневаешься, а я надеялся...

Да как зарыдает вдруг... Пани к нему:

— Что с тобой? Что ты?

Хочет она взять его за руки, а он закрылся обеими руками да рыдает, рыдает. Насилу она его уговорила, она и целовала его и обнимала; насилу он успокоился.

— Да скажи ты мне, отчего ты так заплакал? Ну скажи! — начала она его умолять да просить.

— И сам не знаю, душа моя,— ответил пан, как будто улыбаясь,— так, нашло что-то. Мне немного нездоровится. Ты об этом не думай, а лучше посмейся надо мной, что я расплакался, как ребенок.

— Ты, может быть, думаешь, что я не люблю тебя? — говорит ему пани.

— Нет, любишь.

— Люблю, да еще как! А вдвоем невозможно беспрестанно сидеть: надобно хозяйничать, сердце мое!

И она его поцеловала.

Рано поутру поехал пан к полковнику и пригласил его в кумовья.

XXXIX

Родился сын у пани. Сколько гостей наехало на крестины! Обед устроили на славу. Кум-полковник прикатил на двор на серых лошадях с колокольчиками да с бубенчиками. Из себя он был дородный, круглолицый, красный. Правой рукой все ус покручивал, а левой саблю придерживал да плечи поднимал кверху.

Я обрадовалась случаю, что мне немножко вольнее стало, и выбежала к Прокопу. Стою, разговариваю с ним около крыльца. Откуда ни возьмись, пан, веселый такой, какой он был в то время, как ухаживал за пани.

— Что вы тут стоите оба? О чем вы разговариваете? — спрашивает нас, а сам смеется.

А Прокоп ему:

— Пане, отдайте за меня эту девушку.

— Хорошо, бери, Прокопе, я не препятствую. Перевенчайтесь да живите себе ладненько.

— А пани? — спросил Прокоп.

Пан вздохнул, задумался да и говорит:

— Идите за мной; возьми ее за руку, Прокопе.

Сам пошел в покои, а Прокоп ведет меня за ним да руку мою сжимает.

— Душенька, — сказал пан, — я вот тебе молодых привел. Понравятся ли они тебе?

А тут в комнате панов, пани! И полковник между ними, словно индюк переяславский, похаживает да все пыхтит понемножку. Наша сидит в кресле, взглянула на нас и отвернулась. Веселая усмешка пропала у ней с лица. Гневно посмотрела она на пана и спрашивает:

— Что это такое?

Прокоп кланяется, просит.

— Я уже позволил, — говорит пан. — Не препятствуй и ты, моя милая. Дал господь нам счастья, пусть и они будут счастливы.

Пани все молчит да губы кусает, а полковник выдвинулся вперед, да и загудел, как на трубе:

— Парочка хорошая, бесовы дети, парочка хорошая, оба хороши! Надобно их перевенчать, кума моя любезная. Хочешь замуж, девка? — спрашивает он меня.

А сам хочет мне мигнуть и глаз один зажмурил, но никак мигнуть не может: выпил сильно.

Все господа за ним так и подхватили:

— Жените их! Жените! Слышите ли, что кум ваш, полковник, говорит: что парочка хорошая.

Наконец пани проговорила:

— Ну, пускай себе!

Мы и не опомнились, как через порог перескочили. Тотчас же, ничего не приготовив, наскоро мы перевенчались, чтоб еще нас пани не разлучила.

Крепко она гневалась на пана.

— Как это ты подвел меня? — упрекала она пана. — Я этого не могу тебе простить: как это ты меня подвел? А тебе, — грозит-ся она на меня, — тебе достанется, будет тебе ужо!

Будет что будет, а все же мы перевенчаны.

Какое мое утешение, что я уже могу с ним быть при людях, глядеть на него, что он уже мой!

XL

Я осталась при пани, как и была. Еще больше ломается она надо мной, еще больше привередничает и все приговаривает:

— А что, каково тебе замужем, лучше или нет?

Как не поговорит со мной муж, как не приголубит меня, так иной раз так тяжело, что, кажется, рада бы сквозь землю провалиться; а сойдуся я с ним — весело мне, любо, все горе забуду. Только муж мой что далее, все пасмурнее становится; даже сердце мое болит, на него глядя.

— Ты меня уже не любишь, Прокоп? — спрошу я его.

Он прижмет меня к груди и так любовно в глаза мне посмотрит, что, кажется, крылья у меня вырастают.

— Отчего же ты все такой печальный, Прокоп? Ведь уж мы теперь навеки соединены.

— О, мое серденько, тяжело было мне без тебя, а с тобою еще тяжеле!.. Каково-то ожидать каждую минуточку укору тебе, а защищать нет сил... Тяжело, Устя!

— Мы как-нибудь с тобой переживем беду, Прокоп. По мне, вдвоем все-таки легче.

— А ты, может быть, и права, моя рыбочка.

И усмехнется он, и приголубит меня. А уж как я рада, что развлекла его, развеселила!

XLI

Жили мы таким образом с нуждою да с горем до самой осени. Тут над нами и стряслась беда.

В один осенний день мы в саду собирали яблоки в корзины. Муж мой взлезет на яблоню, встряхнет ее и все на меня посматривает то из-за одной ветки, то из-за другой. Старушка немножко устала, села отдохнуть.

— Вот уж и лето красное минуло,— промолвила она.— Солнышко еще светит, а уж не греет.

Сказав это, она огляделась кругом.

— Устинья, голубушкá, это, кажется, дети из-за плетня выглядывают.

Я взглянула. В самом деле около тына собралась кучка ребятишек.

— Ну, что скажете, детки? — спрашивает их старушка.

Малютки молчат и только глазами косятся на корзины с яблоками.

— Подойдите-ка поближе, хлопчενята; я вам по яблочку дам,— говорит им старушка.

Дети так и высыпали в сад. Окружили они старуху, как воробьи рябину, и старуха начала им раздавать яблоки. Поднялся гул, говор вокруг нас: известное дело — дети. Как вдруг, откуда ни возьмись, пани.

— Это что такое? — загремела она.

Переполошились дети: кто заплакал, а кто побежал, только топот раздался, а у меня сердце забилося.

— Это я по яблочку деткам дала,— ответила спокойно старушка.

— Ты дала? Ты смела! — закричала пани, а сама даже затряслась.— Ты, мужичка поганая, мое добро крадешь, воровка!

— Я воровка? — промолвила старушка и побледнела, как платок, а глаза у ней засверкали и слезы потекли.

— Больше ты уж не будешь красть,— кричит пани,— я тебя давно уж караю, а ты вот когда попалась! Господские яблоки раздавать!..

— Не крала я отроду,— отвечает старуха по-прежнему спокойно, только голос ее звенит.— Сам пан никогда этого не запрещал, всегда детей одаривал! Посмотрите, неужто этого мало для вашей души?

— Молчи! — взвизгнула пани, наскакивая на нее.

Затрещали ветки, и из-за зеленых листьев выглянул мой муж, да так страшно глядит! Я только глазами его упрашиваю.

— Воровка, воровка! — твердит пани, вкогтившись старухе в плечо, и дергает ее, и толкает.

— Понапрасну меня обижаете: я не воровка, пани. Я весь век свой прожила честно, пани.

— Ты еще спорить со мной!

Да с размаху, как топором, старуху по лицу!

Зашаталась старуха. Я бросилась к ней, пани ко мне, мой муж — к пани...

— Спасибо, мое дитятко,— говорит мне старуха.— Не беспокойся, не гневи пани.

А пани уже вцепилась в мои косы.

— Полно, пани, полно! — крикнул мой муж, ухватив ее за обе руки. — Этого уже не будет, полно!

Пани от гнева и от удивления великого сперва только вскрикивала: «Что? как? а?», да, опомнившись немного, бросилась было на Прокопа, а он опять свое: «Нет, полно!»

Тогда она принялась кричать. Сбежались люди, смотрят на нас. Пан примчался что было духу:

— Что это?

Мой муж выпустил тогда пани из рук.

— Вот твои добрые души, — едва проговорила пани. — Благодарю тебя. Да что ж ты молчишь? — закричала она вдруг во весь голос. — Мне чуть руки не выломали, а ты молчишь!

— Что такое сделалось? — спрашивает пан на все стороны в великой тревоге.

Пани и начала: и обокрала-то ее старуха, и все-то хотели ее смерти. Уж натолковала она ему, а сама и всхлипывает, и кричит, и бранится, так что и пан наконец разозлился. Как кинется к моему мужу!

— Разбойник!

— Не подходите, пане, не подходите! — отозвался муж мрачно.

— Эге! Вижу! — воскликнул пан. — Тебе здесь места мало!.. погоди же: погуляешь в солдатах сколько угодно! — Пан прямо визжит: — В солдаты его, в солдаты! Теперь присутствие в городе. Сейчас и везти его! Возьмите его! — крикнул он на людей. — Свяжите ему руки!

Прокоп не сопротивлялся, сам руки протянул, еще и усмехнулся.

А Назар говорит мне под шумок:

— Чего ты испугалась? Чего плачешь? Хуже не будет; вот будет ли лучше — не знаю!

XLII

Заперли Прокопа в хату. Караул стоит у дверей. На дворе снаряжают повозку. Назар лошадей под пана закладывает.

Долго сидел в раздумье мой муж.

— Устино, — промолвил он наконец, — сядь возле меня.

— Что ты сделал, мой голубь! Что ты сделал! — говорю я ему.

— А что я сделал? Будешь на воле, вот что! Будешь вольная, Устина!

— Воля, — говорю, — да без тебя!

Так мне горько стало!..

— Воля! — как крикнет он. — Воля!.. Но на воле и горе и

напасть не страшны. На воле я горы потоплю. А крепаку* как ни повезет, все равно добро на лихо обернется.

На дворе застучала тележка. Повели Прокопа; посадили. Я, в чем была, вскочила к нему. Старуха нас обоих благославляет.

— Помогите вам мать божия! — говорит она нам, а слезы тихие так и льются из ласковых глаз.

Помчали нас. Как еще пани меня не хватилась, наставляя на дорогу пана! Не пустила бы она меня.

Едем молча, взявшись за руки. Я не плачу, не тоскую, только сердце бьется да трепещет.

Подъезжаем мы к городу. Вдруг нас пыль обдала — это пан нас обгонял. Въехали мы в город. Скоро прогремели мы по улицам и остановились у высокого дома.

Выпустил Прокоп мою руку.

— Устя, — говорит, — не горюй.

Повели его на прием. Я села на крыльце, как на кладбище.

— Не тоскуй, — говорит мне Назар. — *Біс біду перебуде: одна мине, десять буде**.

А сам Назар уже начал седым волосом, как снежком, пересыпаться. Утешает меня, а на самом на нем видно, что уж ничто его не утешит.

Вот наконец выводят моего мужа. Боже мой милостивый! Сердце у меня замерло, а он весел, как в светлый праздник.

XLIII

Осталась я с мужем в городе. Пролетело то времечко так быстро — вот как искра мелькает. Но до самой смерти я его не забуду.

Тотчас же моего мужа поручили дядьке, настоящему солдату, учиться войсковой науке; а дядька этот был высокого роста, глаза имел черные; волосы и усы торчали у него, как щетина; ходил прямо, говорил громко, держал себя гордо.

Вот мы ему кланяемся, а он ничего, только нахмурился и осматривает Прокопа. Дает ему Прокоп деньги.

— Извините, — говорит, — дядько, что мало. Крепак не много себе нагорюет.

Дядька кашлянул, плюнул:

— Пойдем!

— Пойдем на базар, душа, погуляем, — говорит мне Прокоп.

Мы и пошли. Ходим мы улицами и переулками, гуляем себе, а он меня спрашивает:

— Ну что, Устино, чувствуешь ли ты, что уже ты вольная душа?

А сам смеется и заглядывает мне в глаза. Хоть и было у меня на душе беспокойно, хоть и тужило мое сердечко, а все-таки я усмехнулась и как будто порадовалась.

Нашла я хатку такую, что внаем отдавалась, а денег у нас нет, да и добыть их откуда? Продать нечего: я, как поехала из дому, ничего с собой не взяла; да и не велики сокровища были у меня там. Несколько сорочек, да две исподницы, да какая-нибудь юбочка, да кожушаночка. Не до того мне было тогда, чтобы забирать с собой все это, а после пани не отдала. Вот я и подумала: «Пойду-ка я в поденщину». Посоветовалась с Прокопом, да и пошли мы к хозяйке, что хату внаем отдавала. Рассказали ей о своей беде, да и спрашиваем у нее: будет ли она согласна, чтоб мы ей за хату поденно платили?

— Хорошо,— говорит,— будут у вас деньги, платите мне поденно; а не будут, так я и подожду.

Мы и перебрались к ней в хату.

XLIV

Хозяйка наша была вдовушка старенькая, приветливая, ласковая и уж какая говорливая! Рассказывает да рассказывает, и все про свое горе, что весь их род извелся, что одна она осталась на белом свете, словно былинка в поле. Вздыхает беспрестанно, а то и всплакнет; и об нас довольно она слез пролила. Бывало, мы сидим с мужем, толкуем, а она начнет плакать да причитывать, что вот, мол, какие мы молоденькие, какие — как бы не сглазить — хорошенькие, жить бы нам жить да людей веселить. Причитывает да плачет. Мы ее уговариваем, останавливаем — нет, не берет! Разве тогда она только утихнет, когда дядька войдет да крикнет на нее:

— Опять баба киснет!

А она его сильно боялась: ни заговорить с ним, ни спросить его ни о чем не смела.

— Что это за человек на свет родился! — говорит, бывало, старуха.— Какой же он грозный да неласковый — оборони бог! Или у него роду-племени никогда не бывало, или что... Господь его знает!

Ранехонько вскочу, бывало, и бегу на поденщину, возвращаюсь поздно. В руке у меня заработанные деньги — весело поспешать домой! Еще на дороге муж меня встретит и спросит потихоньку:

— Чай, наморилась, Устя?

Вот однажды вечером сидим мы в хате. Солдат на лавке с трубкой, хозяйка у окошечка, а мы с Прокопом поодаль. Сидим мы все молча — вдруг кто-то постучался к нам, и...

— Здравствуйте! — загремело за дверью.

— Да это Назар?

И точно он. Вошел и стоит перед нами, чуть головой потолок не подпирает, трубка в зубах, а седина словно попряталась в густые кудри.

— Бог помочь хозяйке и всем!

— Спасибо, милости просим, — приветствует его старуха.

— Откуда ты взялся, Назар? — спрашивает его Прокоп. — Ни дать ни взять из земли вырос!

— Я, — говорит, — оттуда, откуда добрые люди выглядывают, мандрівочки поджидают.

Дядька зашевелился, посмотрел на дверь.

— Чего ты вертишься, пан солдат? Ты нас не дичись: мы одной с тобой веры.

Дядька все смотрит на окна да на дверь.

— Эка, какой ты быстрый! Чего смотришь? Не ветер ли в поле поймать хочешь? Ты сам, я вижу, степняк, так и не пытайся — не поймаешь, а лучше дай мне трубку закурить. Ну, каково вам тут живется? Почему у вас в городе молодичи хорошие да пригожие (тут он подмигнул мне)?

— А у вас там каково? — спрашиваю я у него.

— У нас-то? У нас на выбор дают, на людскую волю: хочешь — плачь, хочешь — голоси!

— Ох, горе, горе! Несчастливая моя головушка! — начала жаловаться хозяйка.

Солдат только ус покрутил.

— А старуха? — спрашиваю я.

— Живет; старуха все перетерпит. Вам кланяется.

Я спрашиваю о себе: что пани обо мне говорит?

— Эге! Досталось за вас обоих пану на орехи. «Чрез твое, говорит, баловство мы двух работников потеряли. Кто ж в дураках остался?» Это пани говорила. А я скажу: дурак не дурак, а стоя перед ней, наш пан на разумного нисколько не походил.

Хозяйка между тем ужинать нас просит. Назар достал из-за пазухи фляжку горилки и поставил на стол.

— Выпьем, — говорит, — по полной: наш век недолгий. Будьте здоровы, у кого черные брови!

— Что это за водка? — говорит дядька. — Лучше воды напиться, чем такой сивухи.

— Кто захочет, так и воды напьется, — отозвался на это Назар.

— Горилочка, сдается, добрая, — заметила хозяйка.

— Чтоб тому шинкарю такое же житье доброе! — гаркнул дядька ей в ответ.

А сам взял да выпил. Выпьет, плюнет, выругает водку и опять выпьет.

Старуха дивится на него да головой качает, а наконец и не вытерпела:

— Что ж вы так ее хулите?

— Не твое дело, баба! — грянул дядька. — Мы для приятелей всякую водку пьем.

— Ну и на здоровье!

— Знайте нашу московскую доброту! — добавил Назар.

Мы ужинаем, разговариваем, а дядька все пьет да пьет. Побледнел весь и голову повесил. Смотрит он на нас с мужем, да и заговорил вдруг:

— Эх вы, молодежь, молодежь! Не долго вам пожить вдвоем — только вы не горюйте. Пожили, пороскошничали — и будет с вас. Ведь бывает и такое житье, что с самых пеленок ни ласки, ни добра не знаешь. Вот этак-то живи: без роду, без племени, без привету, со всеми удовольствиями.

Старуха обратилась к нему:

— А где же ваш род? Откуда вы сами?

— Из кантонистов*, — отвечал солдат сурово, — из тех, коли что слыхали, в холеру много поубавилось. Роду у меня нет, не знал и не знаю.

— А матушка ваша?

— Сказал: не знаю; что без толку-то расспрашивать?

— Вот и я теперь безродная! — промолвила хозяйка, всхлипывая.

— И она туда же в люди суется! — загремел солдат. — Что твое горе — плюнуть! Вот горе-то, что некого вспомнить, никто и про тебя не вспомнит. Некуда пойти и негде остаться. Все тебе чужие, и все чужое: и хата, и люди, и одежда. *Степняк!* — обратился он к Назару. — Так, брат, меня со степей взяли; ну и хороши, чай, те степи были. Дай, баба, водки! Выпьем до дна: на дне молодые дни.

Сказал, а у самого слезы так и катятся, и смеется он и горилку тянет — все разом, потом упал на лавку и тут же заснул.

— *Ну, по сей речи, до первой встречи,* — сказал Назар. — Прощай, брат Прокоп. Да вот, погоди, чуть было не забыл: принес я тебе деньжонок малую толику — пять целковых. Возьми да живи на здоровье.

— Спасибо, брат. Не знаю, когда и отдать смогу.

— Гай, гай! были бы мы только живы! Это не панские деньги, а братские: от них не запечалишься. А я себе заработаю. Теперь я вольный, хоть на полгода, пока с собаками не поймали.

Сказал, распростился со всеми да и пошел. Только его и видели.

XLVI

Господи милостивый! Какое было тогда наше житье! Хоть и с нуждою пополам жили, а так мирно, благодатно, легко дышать, весело на свет божий глядеть, когда ты знаешь, что все, что ни заработаешь, все это на себя. Сижу ли я, говорю ли я — никого не боюсь; работаю ли я или нет — никто меня не приневолит, никто не тронет. Чувствую я и душой и телом, что живу...

Весною начали слухи ходить, что солдатам скоро в поход выступать.

«Это неправда», — говорю я самой себе, а сердце мое тотчас же почуяло, что правда; а тут и приказ: в поход, в поход собираться.

Прокоп меня утешает, говорит, что беда эта временная.

— Ворочусь, — говорит, — будем мы тогда вольные.

— Так, так, — говорю, — так, мой голубь!

А сердце у меня болит, а слезы у меня текут...

Вот уже назначен день похода. Пошли мы в хутор попрощаться; панов не было, одну только старушку застали. Старушка моя милая! Я ее издали узнала на подворье, а узнавши ее, заплакала. Одной только душой она еще жива была... Подбежала я к ней, обняла ее, как родную мать.

— Что ты плачешь, моя голубка? — спрашивает она меня потихоньку.

— Вы тут остаетесь, в этом аду?

— Конечно, тут, моя пташка. Тут я родилась, тут я крестилась, тут осиротела — тут и умру.

— Да вы до смерти будете мучиться?

— И буду мучиться, моя пташечка.

Благословила она нас, как родных детей, наделила чем могла. Попрощались мы, пошли. Не раз и не два обóрачивались мы, смотрели. На пороге стоит старушка, кругом тихо, везде светло. С поля ветерок дует, от леса холодком тянет, где-то вода шумит, а высоко надо всем играет-сияет ясное солнышко.

XLVII

Проводила я своего мужа до самого Киева. В Киеве я осталась служить, а он ушел с полком куда-то далеко, в Литву.

— Не суши себя слезами, мое сердце! — говорил мне мой муж на прощание. — Я надеюсь, что вернусь; надейся и ты, дожди-дайся меня.

Вот я и дожидаюсь его. Уж как долга эта солдатская служба! Вот уже семь лет прошло, как он пошел. Увижу ли я его когда? В своем селе я и не была. Слыхала от людей, что все живы, все

там идет по-прежнему. Старушка живет, все переносит, а про Назара ни слуху ни духу.

Служу я, нанимаюсь, зарабатываю. Что наша копейка! Кровью она обкипела; зато мне иногда так легко, что даже весело станет, как только подумаю, что стоит мне захотеть — и тотчас же могу я бросить эту службу. Подумаю я этак и доживу до конца года. Утешает меня, помогает эта думка, что не связаны у меня руки. «Эта беда временная, не вечная», — думаю я тогда.

Как же мне хоть на минутку забыть моего мужа! Да меня и бог тогда забудет! Он мой муж, он мой и благодетель — подкрепи его мать божия, а я вольная, и хожу я, и говорю, и смотрю на все весело, и нуждушки мне мало, есть ли еще горе на свете.



Иван Франко

МАЛЕНЬКИЙ МИРОН

I

Маленький Мирон — удивительный ребенок. Отец не нарадуется, глядя на него, и говорит, что он удивительно умное дитя, но, известное дело, отец не судья своим детям. Да и к тому же отец Мирона уже в летах, едва дождался ребенка, и, конечно, каков бы ребенок ни был, для него-то он и золотой, и умный, и красивый. Соседи говорили между собою, что Мирон «какой-то не такой, как все дети»: идет — руками размахивает, говорит о чем-то сам с собою, возьмет прутик, со свистом разрезает им воздух или срубает головки у репейника и ласточкиной травы. Среди других детей он несмел и непроворен, а если когда и заговорит о чем-нибудь, то говорит такое, что старшие, услышав, только плечами пожимают.

— Василь! — говорит маленький Мирон маленькому Василю. — Ты до скольких умеешь считать?

- Я? До скольких умею? Пять, семь, парканадцать!
— Парканадцать! Ха-ха-ха! А сколько это — парканадцать?
— Ну сколько же может быть? Я не знаю!
— Да нисколько. Садись-ка, будем считать!

Василь садится, а Мирон начинает считать, ударяя за каждым разом палкой по земле: один, два, три, четыре...

Василь слушал, слушал, а потом вскочил и убежал. Мирон и не заметил: сидит себе, отстукивает и считает все дальше и дальше. Подошел старик Рябина, покашливая, кряхтя и охая, — Мирон не слышит, продолжает свое. Старик остановился возле него, слушает, слушает... Мирон досчитал уже до четырехсот.

— Ах ты непутевый! — сказал старик своим обычным, немного гнусавым голосом. — Ты что делаешь?

Маленький Мирон так и съежился и посмотрел испуганно на старика Рябину.

— Да ты землю святую бьешь, а? Ты не знаешь, что земля — наша мать? Дай сюда палку!

Мирон отдал, почти не понимая, чего хочет от него старик. Рябина швырнул палку в крапиву. Мирон чуть не заплакал — не из-за палки, а, скорее, оттого, что старик прервал его счет.

— Ступай домой, да «Отче наш» говори, а не бей землю! — сказал сурово старик и заковылял дальше.

Мирон долго глядел ему вслед, все еще не понимая, за что это старик прогневался и чего он хочет.

II

Маленький Мирон больше всего любит один бегать по зеленым, цветистым лугам, среди широколистных лопухов и пахучей ромашки, любит упиваться сладким запахом росистого клевера и украшать себя цепкими головками репейника, которые он насаживал на себя с ног до головы. А еще речка, которую нужно перейти, чтобы попасть на выгон, небольшая спокойная подгорянская речонка, с высокими, крутыми, обрывистыми берегами, с глинистым дном, с журчащими бродами, дно которых покрыто мелкой галькой, обросшей мягкими, зелеными водорослями, длинными, словно зеленые шелковые пряди, — эта речка подлинная радость и могучая приманка для Мирона. Там он по целым часам любит сидеть, забравшись в высокую зеленую осоку или между густых широких листьев белокопытника. Сидит и глядит на играющую воду, на дрожащую под напором волны траву, на пескарей, которые время от времени вылезают из своих нор или выплывают из глубины, то шаря по дну и ловя водяных червей, то выставляя свою тупую, усатую мордочку из воды: вдохнут раз-другой воздух и вновь поскорей удирают в свои норки, словно отведали невесть какого лакомства. А между тем

солнце палит с безоблачного темно-голубого неба, припекает Мирону плечи и все тело, но не сжигает его, укрытого широкими листьями. Любо ему. Его маленькие серые глазки живо бегают, детский лобик хмурится,— мысль начинает работать.

«Вот солнышко — почему оно такое маленькое, а отец говорил, что оно большое? Это, наверно, в небе такая небольшая дырка прорезана, что его немного только и видно!»

Но сейчас же в его голове закопошилась и другая мысль:

«Ой, да как же так? Восходит — там маленькая дырка; заходит — и там дырка. Разве дырка вместе с солнцем по небу ходит?»

Это не может вместиться в его голове, и он обещает себе, придя домой, сразу же расспросить отца, какая это в небе для солнца дырка прорезана?

— Мирон! Мирон! — слышен издалека крик. Это зовет мать.

Мирон услышал и вскочил, сбежал с берега к броду, чтобы перейти речку, да и остановился. Много раз уже переходил он через речку — и ничего, а теперь вдруг увидел нечто новое. Он стоял прямо против солнца и, поглядев в воду, увидел вместо мелкого, каменистого дна и мягких зеленых прядей водорослей одну бездонную, глубокую синеву. Он не знал еще, что это небо улыбается ему из воды, и остановился. Как же тут идти в такую глубь? И откуда она взялась так неожиданно? Он остановился и начал внимательно всматриваться в глубину. Все по-прежнему. Он присел. То же самое — только у самого берега видны знакомые камешки и слышно обычное приятное журчание воды у брода. Он обернулся в другую сторону, от солнца: глубина исчезла, брод мелкий, как и раньше. Это открытие и обрадовало и удивило его. Он начал поворачиваться во все стороны, пробуя, что выйдет, и радуясь дивному явлению. А про зов матери совсем забыл!

Долго так стоял маленький Мирон, то наклоняясь, то отворачиваясь от брода, но войти в воду все же боялся. Все казалось ему, что вот-вот среди мелкого каменистого брода земля расступится и разверзнется бездонная синяя глубь под рекой, между высокими берегами, и полетит он в эту глубь далеко-далеко, исчезнет в ней, словно щепочка, брошенная в глубокий, темный колодезь. И кто знает, как долго стоял бы он у брода, если бы не подошел сосед Мартын, который с вилами и граблями спешил на покос.

— Ты чего тут стоишь? Вон там тебя мать кличет. Почему не идешь домой?

— Я хочу идти, да боюсь.

— Чего?

— Да вот, смотрите! — И он показал на бездонную синеву в воде.

Мартын не понял.

— Ну и чего ж тут бояться? Здесь мелко.

— Мелко? — спросил недоверчиво Мирон. — А вон как глубоко!

— Глубоко? Смотри, совсем не глубоко, — сказал Мартын и как был в лаптях, так и перешел брод, почти не замочив их. Переход Мартына придал и Мирону смелости, и он перешел через речку и побежал огородами домой.

— Какой глупый мальчишка! Пять лет ему, а еще броду боится, — пробормотал сосед и пошел своей дорогой.

III

А когда летом все старшие уходят в поле, Мирон остается один, но не в хате. В хате он боится. Боится «дедов в углах», то есть теней, боится пузатого дымохода, черного внутри от сажи, боится толстого деревянного колка, вбитого в оконце под потолком для вытяжки дыма от лучины, освещающей зимой хату. Мирон остается во дворе. Там он может гулять, рвать травинки и разрывать их на мелкие кусочки, строить домики из прутиков и щепок, которые наберет возле дровяного сарая, или просто лежать на завалинке и греться на солнце, слушая чириканье воробьев на яблонях и глядя в синее небо. Любо ему, и на детский лобик снова набегают облачко — появляется мысль.

«А чем это человек все видит? И небо, и землю, и отца с мамой? — возникает у него ни с того ни с сего такой вопрос. — Или чем слышит? Вон коршун кричит, куры кудахчут... Отчего это я все слышу?»

Ему кажется, что все это человек делает ртом — и видит и слышит. Открывает рот: так и есть, видно все, слышно все.

«А может быть, нет? Может, глазами?»

Закрывает глаза. О, ничего не видно. Открывает — видно и слышно. Закрывает снова — не видно, но слышно.

«А-а, так вот оно как! Глазами видно, а чем же слышно?» Снова открывает и закрывает рот — слышно! Потом глаза — все слышно. Но вот пришла в голову мысль — заткнуть пальцами уши. Шу-шу-шу... Что это такое? Слышен шум, но не слышно ни кудахтанья кур, ни крика коршуна... Отнимает пальцы — кудахтанье слышно, а шума нет. Еще раз — то же самое.

«Что это значит? — рассуждает Мирон. — Ага, теперь знаю. Ушами слышу кудахтанье, а пальцами — шум! Ну да, ну да».

Попробует еще раз-другой — так, совершенно верно!

А когда жнецы сходятся на обед, он вприпрыжку бежит к отцу.

— Татуня, татуня! Я что-то знаю!

— Что такое, сынок?

— Я знаю, что человек глазами видит.

По лицу отца пробежала улыбка.

— А ушами слышит кудахтанье, а пальцами шум.

— Как, как?

— Да так, ежели не заткнешь уши пальцами, то слышно, как курицы кудахчут, а как заткнешь, то слышишь только шум.

Отец захохотал, а мать, сердито глянув на Мирона, сказала, замахиваясь на него ложкой:

— Иди, бродяга, иди! Такой большой парень, женить пора, а такие глупости говорит! Отчего ты никогда не подумаешь, прежде чем сказать, а все так и ляпнешь, словно на лопате вывез?.. Человек все слышит ушами — и шум и кудахтанье.

— А почему же не слышно все вместе? Если не заткнешь уши, так слышно кудахтанье, а если заткнешь, то слышен только шум? — спросил малыш. — Вот попробуйте сами! — И он для большей убедительности заткнул себе уши пальцами.

Мать что-то проворчала, но ответа на этот вопрос не нашла.

IV

А уже самая большая беда для Мирона — это «думанье»! Не умел думать, и все! Что, бывало, ни скажет, все как-то не так, как нужно, всегда мать или кто-нибудь другой говорит ему:

— Да отчего ты, дурак непроходимый, не подумаешь наперед, что хочешь сказать, а болтаешь, как рыбак веслом!

И как ни мучился бедный Мирон, чтобы придумать, а потом сказать что-то разумное, — нет, не может, да и только. Бедный Мирон пришел к убеждению, что он не умеет думать!

Как-то раз сидит вся семья за обедом вокруг большого стола посреди хаты. Мать подает капустняк. Капустняк хороший, с салом, еще и крупы добавлено. Все едят молча. Мирон глотнул раза два, а потом и задумался над тем, почему это так тихо стало в хате, никто и слова не скажет. Ни с того ни с сего запала ему в голову мысль, что именно теперь ему необходимо что-нибудь сказать. Но что бы такое? Нужно раньше обдумать, а то все будут смеяться, а мать и побранит. Что бы это сказать? И маленький Мирон начинает размышлять. Ложка, как нес он ее ото рта к миске, так и застыла в воздухе вместе с рукою. Глаза неподвижно уставились в пустое пространство, а затем невольно остановились на иконе божьей матери, висевшей на стене; губы только шевелятся, словно что-то шепчут.

Работники, заметив это, переглянулись между собой, толкнули друг друга локтем, а девушка-батрачка шепнула даже старому Ивану:

— Ну, сейчас какую-нибудь глупость выпалит.

— Вот я не знаю, — медленно начал Мирон, — почему это божья мать смотрит-смотрит, а капусты не ест?..

Бедный Мирон, как он ни мучился, не мог ничего лучшего

придумать, может быть, потому, что его насильно заставляли думать «так, как все».

Смех, хохот, обычный нагоняй матери, опять: «Дурень непроходимый», — бедный Мирон заплакал.

— Что же мне делать, если я не умею думать так, как все, — сказал он, утирая слезы.

V

Что из него выйдет? Какой цветок разовьется из этой почки? Это предсказать нетрудно. Встречаются в наших селах довольно часто такие удивительные явления. Все у них сизмальства не так, как у людей: и походка, и лицо, и волосы, и слова, и поступки, и если придется такому ребенку весь свой век прожить под убогой сельской крышей, без более широкого опыта, без более ясных познаний, если с малых лет нечуткие родители начнут гнуть его природу и мысли так, чтобы они были «как у всех людей», то им наверняка удастся задушить врожденную склонность к своеобразию; все не нашедшие себе применения и приглушенные способности ребенка застынут и зачахнут в зародыше, и из маленького Мирона выйдет плохой хозяин, или, еще хуже, подавленная, но не уничтоженная живость и быстрота характера толкнут его на злое, не будучи в состоянии развиться в доброе, — станет он забиякой, затем знахарем, верящим в собственные видения, и с чистым сердцем будет дурманить людей.

Но если у такого ребенка окажется любящий и, главное, не очень бедный отец, который захочет и сможет, поднатужась из последнего, отворить своему ребенку двери в мир, то тогда — что же тогда? Вы думаете, доля ребенка будет лучше в том смысле, как обычно понимают люди «лучшую долю»? Как бы не так! В школе набросится ребенок на науку, будет упиваться ею, как больной свежим воздухом, и кончит тем, что, проникшись истинами науки, захочет перенести их в жизнь. И станет маленький Мирон горячим проповедником этих истин, понесет их темным и обездоленным, под родные сельские крыши... Ну и незавидна же будет его доля! Узнает он и стены тюремные, и всякие другие норы, муки и насилие людей над людьми, а кончит тем, что либо пропадет где-нибудь в нищете и одиночестве на каком-нибудь глухом чердаке, либо вынесет из тюремных стен зародыш смертельного недуга, который раньше времени сведет его в могилу, либо, утратив веру в святую, высокую правду, начнет водкой заливать тоску до полного забвения. Бедный маленький Мирон!..



Борис Гринченко

ОТЕЦ И ДОЧЬ

I

Маленькая Маруся осталась дома одна. Отец ее пошел на работу в шахту. У нее не было ни братьев, ни сестер, а мать давно умерла. И поэтому, когда отец уходил на работу, она всегда оставалась дома одна.

До переезда на шахту они жили в селе. Маруся часто вспоминает то время, когда она жила в селе вместе с матерью. Только это было давно, очень давно! Она смутно помнит молодое, красивое лицо матери с большими темными глазами. Хорошо помнит, какая беспредельная нежность светилась на этом лице, когда оно склонялось над ней, а заботливые материнские руки укрывали ее потеплее. И мать тихим голосом говорила:

— Спи, моя голубка! Спи, мое солнышко!

С тех пор многое забылось, ведь, когда умерла мать, ей было всего четыре годика, но чудесный образ матери навсегда остался в сердце бедной девочки-сиротки.

Отца ее звали Максимом. Он был безземельным крестьянином, потому что дед Маруси еще во время крепостного права служил дворовым у помещика, хлебопашеством не занимался, и поэтому земли ему не дали. Когда Максим женился, матери его уже не было на свете, да и отец вскоре после этого умер. Остался Максим вдвоем с женой.

У них была небольшая хатка и маленький клочок земли возле дома. Хлеб сеять было негде, приходилось арендовать землю. Пока мать Маруси была жива, они еще кое-как перебивались, а когда она умерла (только пять лет и прожила после замужества), тогда без хозяйки хозяйство совсем пришло в упадок. Максим не захотел жениться во второй раз. Он оставил Марусю у своей сестры, а сам забил окна и двери в отцовской хате да и отправился на заработки на шахты. У своей тетки Маруся прожила четыре года. Не сладко ей там жилось.

Она всегда чувствовала себя здесь чужой, приемышем. В этой семье было четверо детей и двое взрослых, а Маруся была седьмым ртом. Всех нужно было накормить, всех надо было как-то одеть. Чтобы прокормить семью, тетка с дядей работали не покладая рук с утра до вечера, поэтому и нет ничего удивительного, что иногда они намекали Марусе, что она «не своя». Правда, Максим давал сестре определенную сумму денег на содержание дочери. Тетка и дядя знали, что этих денег было вполне достаточно, чтобы прокормить девочку. А все-таки порой им казалось, что Маруся — лишняя обуза на их плечах; а все потому, что тяжелый труд и нищета вынуждали их дрожать над каждой крошкой.

Маруся не знала ласки в этой семье. Да и своих детей тетка не особенно ласкала, но все-таки это были свои дети, родные; хотя иногда и накажет их, но потом и пожалеет. А Маруся была «не своя», хотя и родственница. Поэтому ей большей частью приходилось выслушивать упреки, ворчание и покрикивание со стороны тетки, и очень-очень редко она видела ласку.

Да, она не испытала ласки, той нежной материнской ласки, которую ощущаем даже тогда, когда мать только взглянет, когда она погладит ребенка по головке. В этом и было самое большое горе для бедной, впечатлительной девочки. Поэтому и образ матери, которая, наклонившись над Марусей, ласкала ее, сохранился в ее детской душе таким привлекательным, чарующим.

Самой большой радостью для Маруси было свидание с отцом, когда иногда в воскресенье он ее навещал.

Он очень любил Марусю, всегда приносил ей какой-нибудь гостинец. Когда она была маленькой, сажал ее к себе на колени, а когда подросла, рассказывал ей много интересного. Только наедине с отцом была она откровенна, только с одним отцом делилась она своими радостями и печалью.

И вот однажды, когда они вдвоем с отцом сидели в саду, ее тоска по родной ласке прорвалась наружу.

— Заберите меня отсюда, заберите меня к себе, папочка! Я не хочу здесь больше жить! — рыдая, умоляла девочка, склонив свою маленькую чернявую головку отцу на колени.

— Родная моя, куда же я тебя возьму? Ведь я живу в казарме, а тебе там нельзя жить, — уговаривал ее отец.

— Я буду там жить, я буду помогать вам, только возьмите меня!

— Глупенькая! Ты не знаешь, что такое казарма. Там тесно и грязно, там живут одни взрослые мужчины, а детям там нельзя жить. Некуда мне тебя, доченька, взять.

И действительно, отец не мог взять Марусю. Казарма, в которой жили шахтеры, — это длинное, тесное и грязное помещение. В ней жили рабочие, и спали все вповалку на нарах, которые тянулись через всю казарму. Помещение было очень узенькое, поэтому между нарами и стеной с трудом можно было протиснуться, чтобы лечь на нары. Здесь нельзя было жить с семьей. Вот почему отец Маруси не мог взять ее с собой.

Но слезы дочери терзали сердце отца, и он стал думать над тем, как бы лучше устроить свою дочь. Он перебирал в памяти всех своих родственников, стараясь вспомнить, кто из них был ласков с Марусей, — тому он и отдал бы ее, забрав у сестры. Но так ничего и не придумал. Таких родственников у него не было; были среди них и хорошие люди, но кто его знает, как они будут относиться к Марусе. Ведь и сестра его тоже хороший человек, а Марусе тяжело у нее жить. Да к тому же сестра обидится, если забрать дочь у нее и отдать кому-нибудь другому.

И сразу ему в голову пришла мысль: а что, если и в самом деле внять просьбе Маруси да и взять ее к себе? Только не в казарму, а в землянку. На шахтах рабочие жили кто в казармах, а кто в низеньких, плохоньких, покрытых землей домиках, которые назывались землянками. Такие землянки предоставлялись тем шахтерам, у которых были семьи. А что, если попросить для себя землянку?

Конечно, ему, наверное, не дадут землянку, но все же... «Дадут не дадут, а за спрос денег не берут. Да и есть сейчас одна пустующая землянка. Правда, такая, что хуже уже не придумаешь, да что поделаешь? А между тем такую негодную, может, быстрее и дадут. Это уже как управляющий шахтами скажет. Если попадешь под настроение, так, может, и даст.

Как бы хорошо было жить вдвоем с Марусей! Плохо одному жить, тяжело! А если бы вдвоем с Марусей — вот было бы хорошо!

Максим даже мысленно представил себе эту счастливую жизнь с дочерью...

Максим пошел к управляющему. Наверное, он попал под настроение.

— Зачем тебе землянка? — допытывался управляющий.

— Да у меня дочь маленькая, так ведь нельзя ей в казарме жить,— говорил Максим.

— А почему же она с матерью не живет?

— Потому что у нее нет матери, а у людей тяжело ей живется. Поэтому и приходится мне брать ее к себе. А разве в казарме можно девочке? Разрешите перейти в землянку, век буду благодарить. Все равно она без присмотра скоро совсем развалится, а мы ее поддерживать будем.

«Да и в самом деле развалится»,— подумал управляющий и согласился:

— Ну хорошо, можешь переходить туда.

Низко поклонившись, Максим вышел от управляющего и пошел прямо к землянке. Она действительно была плохая: штукатурка обвалилась, крыша из хвороста (потолка в землянках не бывает) прогнулась внутрь под тяжестью насыпанной сверху земли; в ней было одно окошко, да и то без стекол, а дверь висела косо на одной петле.

Не дожидаясь, пока управляющий прикажет отремонтировать землянку, Максим сам стал приводить ее в порядок. Он исправил дверь, застеклил окно и собирался было побелить стены землянки, да не было времени.

«Пускай Маруся сама побелит»,— подумал Максим и в первое же воскресенье взял Марусю от сестры и перевез в свой новый дом.

Маруся несказанно радовалась. Девочка не обращала внимания на то, что комната была такая ободранная, она казалась ей необыкновенно уютной, потому что в ней Маруся хозяйничала как хотела. Своими маленькими ручонками она, как сумела, побелила землянку, а печь разрисовала красными и синенькими цветами, похожими на каракули, и печь после этого не только ей, но даже и Максиму показалась чудесной. Максим смастерил стол и скамейку — вот уже и стала комната уютной.

Маруся не могла нарадоваться, а еще больше — Максим! Как он был доволен, что взял Марусю к себе! Теперь ежедневно он приходил с работы не в грязную, вонючую и тесную казарму, а в чистенький беленький уголок, где его встречала дочь и он мог отдохнуть и порадоваться, глядя, как она хлопочет, точно настоящая хозяйка.

С той поры жизнь Максима и Маруси потекла ровно и спокойно. Каждый день рано утром Максим уходил на работу, а Маруся оставалась дома, занималась домашним хозяйством.

Когда Маруся жила у тетки, она была самой старшей девочкой в их семье. Поэтому ей приходилось выполнять работу, которую делают обычно взрослые девочки. Тогда ей тяжело было, а теперь она была довольна, что так случилось, потому что она многому научилась и умела делать то, что делают настоящие хозяйки, а это пригодилось ей теперь. Маруся сама готовила обед — кое-что она

знала, иногда и у отца спрашивала. Не всегда ей удавалось, и труднее всего было варить этот борщ — никак не получается у нее вкусным! Ну да это еще невелика беда, потому что отец и дочь не привыкли к изысканной пище, а после ежедневной тяжелой работы в шахте Максиму вечером всегда здорово хотелось есть.

Говорю — вечером, потому что только вечером приходил он с работы домой. Отец добывал уголь, тот, которым топят, а он очень глубоко в земле лежит. Чтобы добраться к нему, выкапывают глубокие колодцы, да и роют во все стороны под землей норы и пещеры. Вот и Максим как залезет в такую нору, глубоко-глубоко под землей, так и не уходит оттуда весь день, там и обедает, что из дому возьмет. А Маруся дома обедает одна — она не очень часто варит, чаще всего вчерашнее доедает. А уже вечером они ели как следует.

Когда Маруся управится с делами, она обычно садится за шитье. Шила она плохо, но все же починить какую-нибудь одежду могла, и этого было достаточно. А шить новое она училась у соседки Горпины. Муж Горпины тоже работал в шахте, а она в свободное время обучала девочек шитью. Маруся запрет свою землянку да и бежит к ней учиться шить. А иногда к Марусе приходили подруги, и они шили вместе, чтобы веселее было. Прибегут, наговорят всякой всячины и развеселят Марусю.

Вечером приходил Максим, а в праздник он весь день был дома. Вот тогда Маруся радовалась. Ждет, бывало, не дождется, когда загудит машина вечером, — это сигнал, чтобы шахтеры кончали работать. Только загудит — она тут же бросится накрывать на стол. Вот уже шаги раздаются, открывается дверь, и знакомая черная фигура появляется на пороге.

— Ой, какие же вы черные, папочка! — почти каждый раз восклицает Маруся, увидев отца.

И в самом деле, у Максима не только одежда вся черная от угля, но и лицо черное, как у негра, — только зубы и глаза сверкают.

— А тебе не нравится? — смеется Максим. — Ну, так давай умываться!

Маруся убегает на печь, забивается в уголок, а Максим тем временем умывается и переодевается.

— Вот и готово! — говорит он.

Маруся выбирается из своего убежища, быстренько убирает что нужно, и вскоре они вдвоем сидят уже за столом, на котором дымится в миске горячий борщ.

Пожинав, они начинают беседовать.

В прежнее время, живя в казарме, Максим, придя с работы, обычно старался поскорее лечь спать. И не только потому, что он уставал, а и потому, что совсем беспросветной была жизнь в казарме — с грязью, с пьянством и прочим. Он старался поскорее уснуть, чтобы не видеть этой грязи и мерзости, среди

которой ему приходилось жить. А теперь ему не хотелось спать, и они с дочерью каждый вечер долго беседовали. Порой допоздна Маруся с интересом слушала рассказы отца про шахты, о том, как там работают. Она содрогалась от страха, представляя себе, как ее отец лежит в забое глубоко под землей — а этот забой вот-вот обвалится и засыплет его навеки, — лежит и долбает кайлом уголь... Часто вспоминали они покойную Марусину мать, и это были такие грустные и такие упоительные беседы!

Но чаще всего они мечтали о своем будущем. Этой мечтой они жили, она скрашивала их тяжелую, мрачную жизнь.

У Максима была одна заветная мечта: он был безземельным, и ему казалось, что нет большего счастья, как иметь клочок собственного поля. На шахту он ушел, потому что ему негде было хозяйничать, а если бы можно было заняться хлебопашеством, он с радостью оставил бы шахту.

И вот однажды во время такой вечерней беседы с дочерью он поделился с ней своей мечтой:

— Знаешь, Маруся, о чем я думаю?

— О чем, папочка?

— Хорошо было бы уехать отсюда и не работать в шахте, а жить дома, в собственной хате, и хозяйничать так, как следует.

— Ах, боже, как было бы хорошо! — воскликнула Маруся, и ее глазенки заблестели.

— Да, хорошо... — говорит Максим. — Если бы удалось собрать хоть немножко денег да купить земельки...

— Ой, купите, папа, купите!

— Не так-то легко ее купить! На это нужны деньги. Да, кроме этого, разве с одной землей что-нибудь сделаешь? Нужно еще и инвентаря сколько, пару волов или хотя бы лошаденку...

Черноволосая головка Маруси опечаленно опускается вниз, но тут же надежда снова озаряет глаза девочки.

— Ну и что же? Мы накопим денег на инвентарь, на волов и на всё.

— Не так-то легко накопить их, доченька! А впрочем, бог поможет. Я уже немножко накопил — только ты об этом никому не рассказывай. Здесь можно заработать неплохо, а расходует мы с тобой немного, так, может быть, и насобираем хоть на небольшое хозяйство. Только еще придется много поработать.

— А долго?

— Да порядочно, доченька, — года два или три.

Маруся совсем загрустила.

— Ну и долго же! — говорит она, снова повесив голову. — Как долго!

— Долго? Нет, это еще не долго! Да и раньше нельзя. Нужно, чтобы ты подросла, настоящей хозяйкой стала. А то кто же у меня хозяйничать будет? Сейчас тебе десять лет, а через три года будет тринадцать. И тогда еще маленькой будешь — не спра-

вишься. Ну да это ничего! Возьмем к себе бабушку Оксану, она и будет следить за порядком в доме.

Бабушка Оксана была уже в летах, но еще крепкая женщина, она была бездетная и бездомная; когда-то она тоже была хозяйкой, но после смерти мужа пошла служить к людям, и так уже лет десять прошло. Максим знал, что она с удовольствием пошла бы к нему, потому что в его доме была бы не прислугой, а хозяйкой.

— Да зачем же ее брать? — возражает Маруся. — Будто я одна не справлюсь! Да я днем и ночью буду работать, если надо.

— Ну да, оно немного тяжеловато работать без отдыха и днем и ночью, — смеется Максим, — а бабушка Оксана тебе вреда не сделает и порядок наведет, потому что ты одна не сумеешь.

— Да пускай уж приходит! — соглашается, наконец, Маруся. — Она незлая.

Вот такое задумали отец с дочерью и решили во что бы то ни стало добиться своего.

Они остались на шахте и прожили еще два года. Все это время они только и думали о том, как когда-то они будут жить, и почти каждый вечер беседовали об этом, рисовали в своем воображении чудесные картины будущей жизни. Такие мечты и беседы скрашивали жизнь Максима и Маруси, а иначе она была бы совсем безрадостной, ибо отцу, да и дочери, приходилось много и тяжело работать. Если бы у них не было надежды, что, работая, они добьются осуществления желанной мечты, их жизнь была бы сплошным мучением. А теперь Максим из последних сил гнался за заработком и часто перегружал себя. Маруся занималась не только домашним хозяйством — а для такой маленькой девочки и это было тяжело, — но еще и прилежно училась шить, чтобы, когда будет жить в своем доме, уметь обшивать себя и отца.

Поработав так еще два года, Максим накопил столько денег, что мог уже приобрести клочок земли, а к нему лошадь и еще кое-что. Землю он купил (ему продал в их деревне один крестьянин), но больше ничего не покупал, потому что ждал весенней ярмарки, которая обычно бывала в ближайшей деревне. Когда наступила весна, купил Максим зерна, нанял человека, чтобы он вспахал и засеял его ниву. А сам пока остался на шахте, потому что подвернулась выгодная работа — можно было очень хорошо заработать. И Максим решил остаться на шахте до троицы, а тогда уже отправиться в село, к себе домой.

И отец и дочь с нетерпением ждали наступления этого праздника. Маруся считала бы не только дни, но и часы, которые остались до троицы, но, к сожалению, она не умела считать по часам. Ну и длинными же показались ей эти месяцы, длиннее, чем все три года, которые они прожили здесь. Все-таки, как ни долго тянулось время, но всему приходит конец. Сегодня утром

Маруся подсчитала, что им остается жить на шахте всего шесть дней, и сказала об этом отцу, когда он шел на работу.

— Верно, верно, доченька, — ответил Максим, — в субботу выплатят за неделю деньги, а тогда и айда!

— Ох, господи, как же еще долго ждать до субботы! — вздохнула Маруся.

— Да уж как-нибудь доживем! — утешал ее отец. — Ну, до свидания, моя зорька!

II

Отец ушел. Маруся осталась одна. Она быстро убрала в землянке и выглянула в окошко. Солнышко уже взошло. На дворе было хорошо и радостно. Марусе захотелось выйти на улицу. Но она была занята: сегодня она должна закончить сорочку отцу, да еще какую, которую она сама пошила от начала до конца, а это Маруся делала впервые. Эта работа ей так нравилась, что она скоренько отвернулась от окошка, чтобы не было соблазна, и принялась шить.

Когда шьешь, то можно и думать.

И Маруся думала о том, как они будут переезжать отсюда, сколько тогда будет забот. Но ничего, как-нибудь справимся, а когда устроимся — вот тогда хорошо будет! В своей хате! Своя хата намного больше этой землянки и такая светлая! А возле хаты Маруся посадит много цветов — как было у ее матери, — это так говорят, потому что она этого не помнит. А отец говорит, что он еще будет сажать деревья в том саду, который у них уже есть. Вот хорошо — свой сад! Войдешь в сад — солнышко светит, птички щебечут, вишенки краснеют. Вот уж хорошо-то!

Маруся радостно улыбнулась и тут же... спохватилась. Она так увлеклась своими мыслями, что даже не заметила, как выронила иглу из рук и перестала шить. Она немного смутилась и быстренько снова взялась за работу. И так усердно она шила до самого обеда.

В полдень слышит — гудит машина; созывает на обед шахтеров. Маруся оставила шитье и тоже немного перекусила из того, что осталось со вчерашнего вечера, варить для одной себя ей не хотелось — спешила закончить сорочку. Поев, снова принялась за шитье. Слышит — машина продолжает гудеть. Теперь уже отец должен был пообедать и снова взяться за работу.

Маруся пошила еще с часок. Вдруг слышит — опять машина загудела. Девочка удивилась. Чего это она? В такое время она никогда не гудит, а теперь зачем? Впрочем, она недолго думала над этим, вскоре забыла о гудке, занятая своей работой. Вдруг немного погодя слышит какой-то крик на улице. Кто-то будто бежит.

«Что бы это могло быть?» — подумала Маруся и выглянула в окошко.

Смотрит — бегут люди и что-то кричат. Это встревожило Марусю. Она выбежала из землянки. Люди уже были далеко, и она не могла узнать у них, что случилось. Но вскоре увидела, как мимо нее пробежала знакомая девочка в ту сторону, куда бежали все.

— Галя! — крикнула она ей. — Галя!

Галя остановилась и увидела Марусю.

— Ой, Марусечка, сестричка!.. Беда какая — шахту залило! — с трудом произнесла девочка, потому что от быстрого бега ей тяжело было дышать.

Вначале Маруся не поняла и спросила:

Какую шахту? Где?

Да новую шахту. Так, говорят, водой ее и залило!

А кто тебе сказал? — спросила Маруся.

— Да люди бежали и кричали о том, что залило. Пойдем туда! — сказала Галя, порываясь бежать.

Маруся молчала. Она никак не могла понять, откуда взялась вода в шахте, если кругом было сухо. Но она недолго думала об этом. Другая мысль мелькнула у нее в голове: в той шахте работал ее отец. Так это и его затопило? Эта мысль поразила ее, как стрела, и она чуть было не упала.

— Ой, Маруся, какая ты бледная-бледная стала! — воскликнула Галя, подбегая к ней. — Слава богу, что мой отец работает не в новой шахте, а то горе было бы! А твой, Маруся, в какой?

— В новой...

— Ах, бедная ты!.. — пожалела ее Галя. — Пойдем же скорей!

— Пойдем, пойдем! — тотчас опомнилась Маруся, схватила Галю за руку и потащила ее за собой.

— Да не беги так быстро, сестричка! — вырвалась та. — А то я не успеваю за тобой.

От землянки, где жила Маруся, до новой шахты было не очень далеко, и девочки быстро добежали туда.

Чем ближе они приближались к шахте, тем больше встречали по дороге людей, которые бежали туда же. Возле шахты собралась уже большая толпа. Здесь находился управляющий шахтами, штейгер*, шахтеры, которые не вышли сегодня на работу, несколько женщин с детьми. Некоторые женщины плакали, даже голосили.

Держась за руки, девочки пробирались между людьми и с трудом протиснулись в середину толпы. Там они увидели мужчину, который сидел на камне, облокотившись на угольную вагонетку. Маруся сразу узнала его: это был Семен — шахтер, который работал в шахте вместе с ее отцом. Сейчас он был весь мокрый, и видно было, что с ним что-то случилось: то ли он заболел,

то ли его в шахте прибило. Возле него стоял управляющий, высокий чернявый мужчина, и приказывал штейгеру:

— Поднимите из шахты двадцать человек! Доставить сюда немедленно водяные насосы с локомобильчиком!

Штейгер побежал. Управляющий обратился к Семену:

— Ну, так как же это случилось?

— Так! — ответил Семен, сидя на камне и время от времени морщась, наверное, от боли. — Мы вместе с Иваном рубили уголь. И вдруг как зашумит, мы посмотрели, а вода так и хлынула! Бросились бежать — да разве убежишь? Как подхватило нас, как понесло!.. Тут я и потерял Ивана — наверное, утонул, бедняга. Я уже стараюсь, чтобы подальше от стен и крепления держаться. А оно меня как закрутит да об столб головой — трах! Потемнело у меня в глазах, ну, думаю, конец! А оно, слава богу, и ничего — наверное, не сильно ударило. Потом еще несколько раз ударило, но уже не головой. Если бы была вертикальная шахта, пропал бы! Ну, а из такой вынесло на белый свет.

— А верно, — сказал какой-то шахтер, — в вертикальной конец был бы тебе! А из наклонной может и вынести. Твое счастье!

— Но откуда взялась вода? — допытывался второй шахтер.

Кто-то ответил:

— Да из старой шахты. Уже, наверное, год, как она затоплена — залило водой ее. Они, должно быть, подошли к ней или под нее, да и пробили туда дыру — вот и затопило.

— А ты разве знаешь?

— Конечно, знаю, что в старой шахте было полно воды, а теперь она пошла вглубь.

— Беда, да и только!

— А сколько людей в шахте? — спросил управляющий у десятника.

— Да, слава богу, немного: было десять человек, одного вынесло, а девять там остались, — ответил тот.

Маруся протиснулась к шахте. Это была не вертикальная шахта, не такая, как колодец, а наклонная, как пещера, пошла в глубь земли, и шахтеры не спускались в нее, как в вертикальную, а просто входили туда... Теперь она доверху была заполнена грязной, какой-то рыжей водой. Она дошла до нужного ей уровня и теперь стояла спокойно. Шахта казалась совсем мертвой. И действительно, она была могилой для тех несчастных, которые в ней работали. И ее, Марусин, отец в этой могиле!

Маруся, обессиленная, села на вагонетку, стоявшую рядом. Галя дергала ее за руку, говорила, что нужно отойти от шахты, но Маруся словно не слышала — она сидела неподвижно, устремив взгляд в яму с мутной водой, поглотившей ее отца. Галя подождала немного, а потом, увидев, что Маруся не хочет уходить, отошла от нее.

К этому времени сбежалось еще больше людей. Прибежали



шахтеры с соседней шахты. Привезли насосы, небольшой локомобиль и стали устанавливать их.

— А чего девочка здесь сидит? — удивился штейгер, увидев Марусю. — Уходи отсюда, здесь будем машину устанавливать. Маруся не двигалась.

Он взял ее за руку:

— Слышишь, уходи отсюда!

Он хотел стащить ее с вагонетки.

— Не трогайте меня! — закричала она. — Там мой папа!..

Штейгер невольно отпустил Марусину руку.

— Что там такое? — спросил управляющий, подходя к ним.

— Да вот, — указал штейгер, — девочка. Отец у нее там.

— Уведите ее отсюда! — велел управляющий.

Штейгер снова подошел к девочке.

— Я не хочу! Я не пойду! — вырываясь, умоляла Маруся. — Разрешите мне сидеть здесь — я ничего не сделаю, а только буду ждать!

Услышав спор, женщины пробились вперед.

— Ох, господи, чья же это? — восклицали они.

— Максима.

— Вот несчастная сирота! Матери нет, а теперь и без отца осталась.

— Уберите отсюда женщин и детей! — снова приказал управляющий.

Женщин оттеснили в сторону. Но с Марусей труднее было справиться. Она вырывалась, кричала и не хотела уходить.

— Что, я вам мешаю?! Я буду сидеть тут, я только буду смотреть, только буду ждать. Там мой папа!.. Ой, там же мой папочка!..

Управляющему стало жаль девочку. Он подошел к ней.

— Девочка, уходи отсюда — здесь будут устанавливать машину. Машины откачивают воду из шахты. Разве ты не хочешь, чтобы твоего папу вытащили из шахты?

Услышав это, Маруся тотчас встала и отошла в сторону. Она села на тот камень, где только что сидел Семен, которого вода выбросила из шахты (его уже куда-то увели). Отсюда хорошо было видно все, что делалось возле шахты.

Насосы устанавливали недолго. Вскоре заработал двигатель. Маруся вздрогнула и поднялась.

На противоположной стороне шахты уже лилась из шланга вода и стекала вниз, в овраг. Маруся долго смотрела на эту грязную воду и, наконец, взглянула на шахту. Она думала, что вода в шахте сразу уменьшится, но ошиблась. В широкой яме сколько было воды, столько и осталось. Маруся снова села на камень и стала ждать, когда же выкачают воду. Она не замечала ничего, что творилось вокруг нее, все ее внимание было поглощено одним — водой.

Однако вода не уменьшалась. По крайней мере, Марусе

так казалось. Для такой глубокой ямы недостаточно двух насосов.

Прошло полчаса, час и больше. Люди разошлись. Две женщины, мужья которых были в шахте, долго стояли и плакали, но наконец и они ушли. Остались только те, кто работал у насосов, и Маруся.

Она продолжала сидеть на камне. Несколько раз ее хотели прогнать, но из жалости оставляли. Только через два часа работы насосов девочка увидела, что уровень воды в шахте уменьшился. Тогда она стала смотреть еще пристальнее. Но вода откачивалась так медленно, что на глаз трудно было заметить ее убыль. Безнадежная тоска начала овладевать Марусей. Она долго не осмеливалась спросить, но потом все-таки встала и подошла к одному из рабочих.

— Дядя, — робко спросила она, — скоро?

— Что скоро? — немного сердитым голосом спросил рабочий.

— Скоро воду откачаете?

— Эх, девочка, еще долго тебе придется ждать! Дней пять еще будем откачивать. А ты уходи-ка лучше отсюда, не мешай нам!

Маруся отошла. Эти слова совершенно убили ее. Она надеялась, что воду откачают сегодня. Она была уверена, что ее отец еще жив. Он, наверное, спасся в каком-нибудь закоулке — таком, что и вода туда не доходит. Там он сидит и дожидается, пока откачают воду. Но воду откачают только через пять дней. Неужели это правда? Ведь у папы нечего есть — он умрет с голоду, если пять дней просидит в шахте без еды.

Ах, боже мой! Что ей сделать, чтобы помочь, чтобы поскорее спасти папочку, не дать ему умереть с голоду! Несчастная Маруся терзала свою душу, но она была бессильна что-либо сделать: если бы даже она отдала свою жизнь, так и тогда бы ничего не изменилось.

С такими тягостными думами просидела она до вечера. Она хотела было остаться здесь и на ночь, но ее взяли за руку и увели от шахты. Маруся постояла немного в сторонке и пошла домой, не отдавая себе отчета в том, что она делает.

Она вошла в свою темную землянку, села на скамью, оперлась руками о стол да так и застыла. И даже не заметила, как страшная усталость, отнявшая у нее все силы, бросила ее в сон, и, свалившись на скамью, она уснула как мертвая.

Проснувшись она неожиданно глубокой ночью.

Вокруг было темно. Девочка не могла понять, что с ней происходит. Какую-то минуту она думала, напрягая свою память, и сразу вспомнила, все вспомнила. Она закричала не своим голосом, вскочила со скамьи и стала посреди землянки.

Ее папа в шахте, его затопила вода, он умирает с голоду... Невыразимая, безнадежная, страшная скорбь охватила девочку.

Она зарыдала, но это было не рыдание, а, скорее, безумный крик.

Вокруг стояла темень — черная, тяжелая и мрачная темень, и в этой непроглядной темноте на полу землянки сидела никому не нужная и всеми забытая маленькая сиротка и, обхватив руками худые колени, билась о них головой и рыдала, кричала от нестерпимой боли. Она теряла все, что было у нее в жизни: защиту, любовь, все свое счастье, — так разве могла она не рыдать, не терзаться, не желать, чтобы ее воспаленная головка разбилась о худые колени?

И она рыдала.

Долго ли так продолжалось, она не знала. Но чем дальше, тем плач становился все тише и тише, а голос все более хриплым. Рыдания еще душили ее, разрывали грудь, но эта грудь уже не в силах была выдерживать их, а голос совсем ослабел от невыразимой печали. Рыдания постепенно утихли. Девочка прижала голову к коленям да так и окаменела, и, если бы время от времени не вздрагивала, ее можно было бы принять за мертвую.

А тем временем ночь подходила к концу, и пасмурный, невеселый день уже заглядывал в окошко. Маруся не замечала этого, не замечала, как постепенно светлели стены, печь, как вырисовывались из темноты стол и иконы в углу. Но когда совсем рассвело, она увидела, что уже день. Поднялась с пола и, пошатываясь, вышла из землянки.

Спотыкаясь, она пошла к шахте. Там продолжали откачивать воду. Маруся посмотрела на уровень воды и закричала от ужаса: за все время она убыла всего на каких-нибудь пол-аршина. Обессиленная, она опустилась на тот же камень, на котором сидела вчера. Но она старалась не поддаваться усталости, ей хотелось быть здесь, ждать и дожидаться.

И она сидела. Рабочие работали, разговаривали, суетились, плескала вода, грохотала паровая машина, но Маруся не обращала на них внимания. С немой тоской она смотрела на заполненную водой шахту, не отрывая от нее глаз, и ждала. А чего она ждала?

Так прошел день, а фигурка Маруси все время маячила на камне. Рабочие уже не трогали ее. Им было тяжело смотреть на эту девочку, такую бесконечно грустную, что, казалось, живая скорбь в человеческом образе пришла и села вот здесь, на камне, напоминая людям о том несчастье, о том горе, которое скрывалось вон там, глубоко под землей, спрятанное, запечатанное под этой мутной водой. Они предлагали ей поесть, но она отказывалась. К ней прибегала Галя, приходила Горпина — женщина, которая учила ее шить, — она с трудом перебралась с ними несколькими словами. Горпина хотела взять девочку с собой, но та не пошла. Но Горпина все же заставила ее съесть пирожок, который принесла из дому.

Так просидела Маруся еще один день до вечера, а потом вернулась в свою землянку и, едва прикоснувшись к постели, уснула.

Но спала недолго, проснулась среди ночи, встала и сидела, дожидаясь рассвета.

Едва забрезжил рассвет, она выбежала из землянки. Возле шахты ничего не изменилось: суетились рабочие, грохотала машина, хлюпали насосы. Только тогда, подойдя ближе, Маруся увидела, что воды в шахте уже не было видно — она была где-то там, глубоко, но ее продолжали откачивать насосами.

Маруся села на старое место.

Она пришла сюда с надеждой, и надежда некоторое время теплилась у нее в груди. Но постепенно она исчезла, и безнадежная немая скорбь все больше охватывала девочку. В ее маленькой головке, сменяя одна другую, рождались черные, страшные мысли. Нет, никогда не выкачают воду из этой проклятой пропасти! Ведь вода затопила все закоулки. Сумеют ли ее всю выбрать оттуда? А если и выберут, то когда? Тогда, когда папочка умрет с голоду? Умрет... Может, он уже умер, может, его уже давно залила вода? А если он и не утонул, то сегодня уже третий день, а завтра еще будут работать, а потом еще... И папочка будет сидеть в шахте не евши...

Она попыталась представить себе страшную, голодную смерть. Там, глубоко под землей, забравшись в самую далекую нору, сидит он, согнувшись, и голод мучит его, мучит... Дальше она не могла думать об этом, потому что от одной только мысли ее душа леденела.

А если она не увидит своего папочку, если она останется одна-одинешенька на свете, что тогда ей делать? Кто ее так пожалеет, так защитит, как отец? Никто! И наверное, лучше было бы, если бы и она не жила на свете, если бы и ее поглотила шахта. Если он умер, если лежит в шахте неживой, так зачем тогда и ей жить?

Она просидела неподвижно весь день, точно немая. К ней снова приходила Горпина, принесла поесть, но она ни к чему не прикоснулась.

И ночевать не пошла она домой — надеялась, что ночью, может быть, откачают воду. Она легла на землю возле камня, свернувшись в клубочек. Какой-то сердобольный шахтер накрыл бедняжку своим пиджаком. Но она не спала. Она то лежала, дрожа от холода, то поднималась и смотрела на людей, работающих возле шахты; их фигуры, освещенные красным светом от машинных ламп, казались причудливыми. Они продолжали работать без перерыва: когда уставали одни, сменяли другие; конца работе не было видно — вода все еще была в шахте. Маруся напрасно ждала всю ночь.

Утром она снова села на свой камень. Только села и тотчас почувствовала себя плохо. Она встала с камня. Поднялась с большим трудом — ей показалось, что люди, вагонетки, шахтное строение находятся где-то далеко, — все это сразу как-то зашаталось, задвигалось и поплыло перед ее глазами. Она силилась

понять, в чем дело, и в то же мгновение, потеряв сознание, упала на землю.

Очнулась Маруся в хате Горпины. Вначале не понимала, где она и что с ней. Но тут же увидела, что возле окна сидит Горпина и шьет. Как же это она, Маруся, оказалась здесь?

Горпина оглянулась и увидела, что девочка смотрит на нее.

— Уже проснулась? — произнесла она и подошла к Марусе. — Ну, как ты себя чувствуешь?

— Да ничего, — ответила Маруся. — А почему я, тетя, тут, у вас?

— А потому, что ты вчера утром упала в обморок возле шахты, а мой Петр там работал и принес тебя к нам.

— Вчера утром? А какой сегодня день? — спросила Маруся.

— Сегодня четверг.

— Четверг? — воскликнула Маруся. — А папочка?

— Папочка? Да вот подожди, скоро и о нем узнаем. Вот-вот уже всю воду выкачают.

— А разве до сих пор не выкачали?

— Нет.

— Четвертый день?

— Да.

— А как же я?

— Да ты, слава богу, вчера весь день и ночь спала и сегодня все время спишь. А как сейчас ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Я пойду туда.

— Нет, доченька, не ходи. Хорошо, что твоя болезнь во сне прошла. Теперь тебе нужно поесть.

— Ой, тетенька, я не хочу есть. Пить сильно хочу!

— Ну на, напейся, только не воды, я тебе молока дам.

Маруся с жадностью выпила молоко.

— Ну ложись, доченька, и лежи, — сказала Горпина. — Отдохни. А мне нужно выйти из дому на минутку. Я сейчас — только к Мотре сбегаяю.

Горпина покрыла голову платком и ушла. Маруся осталась одна. Но она не могла лежать. Ей казалось, что там уже всё сделали, что уже вытаскивают людей из шахты. Она должна немедленно побежать туда. Может быть, она увидит своего отца.

Она вскочила, быстро обулась и выбежала из землянки. Через минуту она уже была возле шахты. Сейчас людей там было больше, чем обычно. Подходя, Маруся услышала возгласы:

— На вагонетке надо спуститься, на вагонетке!

— Так не пройдете туда — грязь, скользко, а на вагонетке можно.

У Маруси перехватило дыхание. Уже, уже! Она протиснулась между людьми и подошла к самой шахте.

Там уже приготовили вагонетку, в которой возят уголь. От вагонетки оторвали верхнюю доску, и один шахтер сел в нес.

— Ты смотри,— приказывал ему штейгер,— что не так, сразу кричи, чтобы назад тащили. Да присматривайся хорошенько, можно ли добраться куда нужно.

— Ну, час добрый!

— Двигай!

Шахтер тревожно посмотрел на людей. Медленно стала опускаться вглубь вагонетка, привязанная к канату, который постепенно разматывался с барабана. Но это длилось недолго.

— Стой! Стой! — донеслось из шахты.

Люди остановили лошадь, которая крутила барабан.

— Назад!

Барабан стал крутиться в обратную сторону, канат укорачивался, и через несколько минут вагонетка с шахтером возвратилась из шахты.

— Нет хода, братцы! Всю дорогу поломало!

— Какую дорогу?

— Из досок, по которой вагонетки ходят. Дальше не поедешь.

— Что же делать? — беспокоился штейгер.— Бегите к управляющему.

Один рабочий побежал к нему. Управляющий тотчас пришел и велел попытаться пробиться туда через старую шахту — с той, где была вода. Шахта эта была вертикальная, и в нее можно было опуститься просто в бадью.

Все бросились к старой шахте, таща за собой канат и барабан. Маруся тоже бежала следом, стараясь не отстать.

— Давай бадью! Слышишь, поживее! — кричал штейгер.

Торопясь, установили барабан, привязали бадью. Штейгер сам стал в нее:

— Опускай!

Барабан завертелся — бадья качнулась и провалилась в шахту. Долго вертели шахтеры барабан, и канат все раскручивался.

Наконец бадья остановилась, и спасающие стали ждать. Зазвонил звонок — барабан снова стал вращаться, но теперь в обратную сторону.

Пока штейгера подняли из шахты, Марусе казалось, что прошла целая вечность.

— Ну что, как? — слышались вопросы.

— Можно! Вода пробила большой проход. Через него можно свободно пробраться в новую шахту. Нужно, чтобы вместе со мной опустились еще хотя бы два человека.

Двое шахтеров вместе со штейгером стали в бадью. Они взяли несколько бутылок с молоком и хлеб — для подкрепления тех, которые остались живы.

— Опускай!

Бадья с людьми исчезла в шахте.

Маруся протиснулась к самому входу в шахту.

— А что ты здесь делаешь, девочка? — закричал управляющий, заметив Марусю. Но сразу же узнал ее и не сказал больше ни слова.

Маруся стояла возле шахты.

Стояла и ждала. Думала, что скоро, вот сию минуту, они вернутся и привезут с собой ее отца. Но никто не возвращался и не подавал никаких сигналов. Глубокая шахта поглотила людей и не возвращала их.

— Долго ищут, — сказал кто-то.

— Лишь бы они были живы!

И снова все умолкли, ожидая...

Прошел уже, наверное, час. Бесконечно долгим показался он всем, а больше всего Марусе. Известий из шахты не было никаких.

Наконец веревка, привязанная к звонку, задергалась, раздался звон. Все вздрогнули.

— Тащи!

Барабан сначала пошел медленно, а потом все быстрее и быстрее. Маруся едва дышала. Минута... две... три — и вот, вот бадья!

В бадье стояли трое — штейгер и один из шахтеров поддерживали спасенного человека.

Но это был не Марусин отец.

Спасенного осторожно вытащили из бадьи.

— Сколько живых? — спросил управляющий.

— Всего трое, — ответил штейгер. — Одного вытащили, а двое еще там. Они забились в дальний забой — туда вода не достала.

— А остальные?

— Двоих видел — утонули, а больше не обнаружили. Да, наверное, не миновала их горькая участь.

Бадья снова опустилась, а фельдшер оказывал помощь спасенному.

Прошло еще около получаса — снова раздался звонок, и завертелся барабан. Маруся снова выпрямилась, готовая в эту минуту на жизнь и на смерть.

Вот и снова бадья — и в ней был не ее папа.

Штейгер сказал, что живых трое. Третьим должен быть ее папа. Ведь ее нельзя так обидеть, нельзя отобрать у нее единственного отца! Ведь он добрый!

— Верните мне папочку!.. — умоляла она.

А тем временем бадья уже опустилась в шахту. И, когда раздалось «Поднимай!», Маруся изо всех сил прижала свои худые ручонки к груди и, широко раскрыв глаза, смотрела в глубокое черное отверстие шахты.

Медленно поднималась бадья.

Двое шахтеров поддерживали третьего спасенного. И это был Максим!

Не успел он ступить на землю, как в то же мгновение Маруся обхватила его своими ручонками. Прижимаясь к нему, она воскликнула:

— Папочка! Любимый! Живой!..

И измученная девочка, потеряв сознание, упала у ног отца. Максим пролежал несколько дней в больнице, а потом уехал из шахты. Вдвоем с Марусей они вернулись в свое село.

Теперь они счастливо живут в собственной хате и занимаются земледелием.



Степан Васильченко

СВЕКОР

Своими серыми большими глазами, сурово смотревшими на каждого из-под высокого лба, своей величавой походкой Василько всегда вызывал улыбку у взрослых. А если бы кто-нибудь услышал, как он летней порой прикрикнет, отгоняя от гречихи корову, то, не видя его, решил бы, что это старый бородатый Микита-пастух, а не маленький Василько, которому только этой весной сшили штаны.

Дома Василько иногда как начнет вести себя по-стариковски, все только диву даются!

Стоит только кому-нибудь накрошить хлебом на столе или пролить борщ из ложки — Василько так и прикрикнет на него, будь это свой или чужой: «Это к чему же так крошить да пачкать!» Или забудет кто-нибудь шапку в хате снять, он сразу вскочит на лавку, подкрадется, шапку скинет, пальцем на образа покажет и промолвит сурово: «Смотри, что там такое!»

Не понравится ему что-нибудь — сейчас же на печь, укроется

рядном и начнет оттуда отчитывать и все неполадки в хозяйстве перебирать: и то у нас плохо, и то не так, как у людей.

Отец, бывало, слушает, слушает, а потом скажет:

— Ты, Василь, старшиной когда-нибудь будешь, неспроста ты такой сердитый!

Вот какой Василько. Недаром в семье прозвали его свекром.

Свекор-то свекор, а все же каждое утро он любил лазать под печь, где у него в уголке было спрятано целое богатство из нескольких игрушек. Иногда с утра до самого обеда сидит там, игрушками забавляется, что-то бормочет себе под нос.

— Ты бы, Василько, взял лучше букварь да азбуке поучился,— говорит ему как-то мать,— тебя вон женить пора, а ты только и знаешь, что возиться под печкой.

— Ну, так жените, коли пора! — отзывается из-под печки Василько.

— Ишь какой,— смеется, удивляясь, мать.— А в школу ходить уже и не хочешь?

— Что мне эта школа — хлеба даст? — по-стариковски возражает из своего уголка Василько, перебирая пуговицы и стеклышки.

Вечером в хате собралась вся семья: отец, мать, два старших брата, сестра-невеста. После ужина отец подсел к столу, оперся на руку, посмотрел на мать, на детей, да и говорит:

— Пропади все пропадом! Не хочу больше работать, вот и ноги одеревенели, спину ломит, руки болят — стар уже становлюсь! Надо, как видно, женить кого-нибудь из хлопцев да и передать ему хозяйство. Пусть молодые хозяйствуют, а нам со старухой уже и отдохнуть можно!

Василько сидит на лавке у окна, делает вид, будто смотрит на месяц, как тот свои серебряные рожки вытянул над вербами, а сам уши наострил, слушает, что отец говорит.

— Только кого же из трех женить? — рассуждает отец.— Миколу осенью в солдаты идти, Петро еще учиться не кончил... Вот разве Василя? Ему же как раз жениться охота, а не учиться.

Василько исподлобья взглянул на отца и опять смотрит в окно, словно не о нем речь...

— Ну, как ты скажешь, Василь? — обращается отец уже к нему.— Тебя будем женить или подождем, пока Петро школу окончит?

— Гы! — засмеялся Василько, стыдливо закрываясь руками. Слова отца ему нравятся, однако он опасается, не шутит ли тот.

— Ну, чего тут смеяться! — серьезно говорит отец.— Говори: если женить — женим, если нет — подождем.

— Говори, Василько, может, еще сегодня засватаем где-нибудь дивчину,— вмешалась и мать.

Василько осмотрел всех — никто не смеется.

«Почему бы мне и в самом деле не жениться?» — подумал

он. Было бы хорошо, если б у него была жена: обед бы ему варила, рубашки стирала, а он лежал бы себе на печке и покрикивал: «Старуха, подай огня, я трубку закурю!»

— Ну, так как же,— спрашивает мать,— хочешь венчаться?

Василько вытер нос рукавом, покраснел слегка и ответил, закрывая рот рукою:

— Хо-чу!..

— Ну, вот и хорошо,— говорит отец.— Теперь только невесту надо ему выбрать. Или, может, у тебя уже есть на примете?

А у Василька и в самом деле есть уже одна дивчина на примете. Давно уже понравилась ему чернобровая Ганна — еще с тех пор, как вытащила его из лужи, в которой он было завяз, возвращаясь из церкви; Ганна тогда вытащила сперва его самого, потом его сапоги, голенища которых торчали из грязи; вытерла ему нос, заплаканное лицо, да еще поцеловала впридачу.

— Ганну хочу,— произнес Василько, осмелев.

— Ганну так Ганну,— соглашается отец,— тебе виднее. Впрочем, если правду сказать, и девка она славная: из хорошей семьи, и лицом красивая, и здоровая, да, может, и приданого сот пять дадут! Помогай тебе бог, Василь!

Василько знает, что теперь следовало бы поблагодарить отца, но почему-то стыдится и только шмыгает носом.

— Ну, так не будем зря время терять,— продолжает отец,— давайте сейчас же одеваться, да и пойдем сватать! Подай-ка ему Петрову свитку! — крикнул он матери.

Мать сняла с вешалки свитку, красный пояс, зовет Василька одеваться. Василько слез с лавки, засунул палец в рот, боком пробирается на середину хаты. Ему немножко стыдно — ну что ж, дело ведь непривычное, так что неудивительно. Одеда его мать в свитку, подпоясала, в карман положила отцову трубку, пачку табаку за пояс засунула. Отец взял со стола хлеб, кладет ему под мышку. Взял Василько хлеб, обеими руками вцепился в него, насилиу держит.

— Ну, сынок, помолимся богу да пойдем, пока еще не совсем стемнело,— говорит ему отец.— Только нужно тебе кое-что сказать перед тем, как идти. Будешь ли ты за меня на сходы ходить, налоги платить?

На сходы Василько стал бы ходить с удовольствием, а вот налоги платить — это ему уже не по душе...

— А где же я денег возьму? — спросил он.

— Как это где денег возьмешь? — удивляется отец.— Ты же станешь зарабатывать! Будешь пахать, сеять, косить... Ты же тогда хозяином будешь у нас. Мы все тебя станем слушаться.

— Э-э!..— протянул Василько неуверенно.

— Будешь все сам делать — себя и жену кормить, одевать, сестру замуж отдашь, а обо мне с матерью до смерти заботиться должен. Будешь заботиться? — переспросил отец.

Василько в жар бросило, а уши разгорелись. Он уже и сам не рад, что затеял такое дело!

— Я не хо... — произнес он и всхлипнул. Глаза сразу налились слезами.

— Ну а как же, сынок? — ласково и тихо говорил отец. — Кто же нас с матерью станет кормить и заботиться о нас? Пока мы могли — работали, вас всех кормили, уму-разуму учили, а когда состарились, неужели ты выгонишь нас из хаты, чтобы мы с сумою пошли под окошками хлеба просить?

Васильку стало отчего-то страшно — и, боже, как жаль отца с матерью!..

Хлеб выпал у него из рук, и он на всю хату так и заголосил:

— Я еще маленький!..

Все, кто был в хате, больше не могли уже вытерпеть и весело захохотали.

Василько оглянулся вокруг и понял, что это была шутка. От радости он и сам засмеялся. Потом застыдился, закрылся руками и, сбросив Петрову свитку, одним прыжком метнулся на печь.

Часто после этого его спрашивали:

— Ну что, Василько, скоро собираешься жениться?

Василько, бывало, помолчит немного, а потом с важностью отвечает:

— Не так-то это просто — жениться! Такая с этим делом морока, провались оно совсем!



Тетка

НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО

Был морозный вечер, мела метель.

Настуля, подоив корову, прилегла на печи и принялась думать о своем сыне Михалюке, которого уже год как сдали в солдаты и загнали аж в Рязанскую губернию.

С самой весны не было никаких вестей от него. В деревне ходили слухи, что Михась на маневрах упал с лошади и убился. Но родители никак не верили этому, хоть и часто горько плакали, особенно мать. Наконец решили послать немного денег к Новому году и написать о своем житье.

Юзúль, отец Михася, пошел в деревню за отставным артиллеристом, грамотеем на всю округу, а Настуля осталась приглядывать за скотиной. Устала, замерзла и теперь грелась, думая о своем Михасе.

— Сынок ты мой родненький, на край света заброшенный! — причитала вполголоса, прижимая руки к высохшей груди.

— Жена, зажги лучину! — окликнул Юзуль еще за дверью. — Привел пана писаря.

Через какое-то время все трое сидели за столом. Унтер писал. Настуля светила ему, а Юзуль диктовал:

— «Кланяемся тебе мы, твои родители, Юзуль Концевой, отец твой, и Настуля Концевая, мать твоя, и сестра еще, Агата Концевая, по мужу Коротконогая, из деревни Бульбёнишки, и все твои знакомые и незнакомые кланяются.

Живем хорошо, чего и тебе желаем. Зима у нас крепкая. Полместечка сгорело на троицу. Урожай был не очень большой. Хлеб у нас кончился перед колядами*. Красулька отелилась: телок статный, слава богу, пестрый. В местечке стражники избили людей; все вышло из-за креста, что поставили без дозволения начальства. Одну женщину даже застрелили. Матей с Юрком подрались из-за дров. Мы купили себе поросеночка на сало. Тетка Каруся просила тебя поздравить; у нее ветер осенью совсем крышу содрал с хаты. Лебедиха приняла зятя в дом. Из Америки бегут люди, потому что и там плохо. Не знаем, как уплатить налоги,— нечем. А Скрабы и до сей поры не справили поминок по отцу. Столяровым овчинки всем выделал — лучше некуда. В сочельник нам было скучно без тебя. Кисель удался. Мать просвиркой поперхнулась,— наверно, ты вспомянул. А учитель все сидит в остроге. В местечке еще две монопольки* открыли. Бабы уже вымочили лен, начинают мять. Народ не успокоился. Летом по дворам стояли казаки. Корма для скотины хватит, только соломы докупим воза два. У земского кто-то выкрал варенье. Куры в этом году хорошо несутся. Сивку подковали в субботу. У Кастули Копейчихи снова дочка родилась — не рады они, потому что хотели сына. Больше ничего не было без тебя. Да! В третью думу выбрали депутатов, потому как вторую распустили: говорят, мужиков там немало было, очень земли добивались и никого слушать не хотели. От новой думы ничего еще не дождались. Говорят, выбрали от нас депутата, что когда-то Россию немцам продал.

Кланяемся тебе мы, родители твои, Юзуль Концевой, твой отец, и Настуля Концевая, твоя мать, и посылаем тебе восемь золотых на сапоги или на что другое.

Писал унтер артиллерии Бодрычевский».

МИХАСЬКА

Михась весьма неохотно на этот свет пришел. Три дня рождался.

Люди рукой махнули.

— Толку не будет ни из матери, ни из ребенка,— говорили они.

И только на четвертый день «Уа, уа!» — заголосил на всю хату новорожденный мальчик.

— Господи, какой же неказистый! Хоть бы счастливый был,— зашептала бедная женщина, хотела поцеловать ребеночка, но не стало сил... Затихла... Затихла так, как песня иногда затихает на самом печальном своем слове...

У мальчика носик с добрую картофелинку; чубик шляпкой закручен, через всю левую щечку красное родимое пятно. Один глазик смотрит в правую сторону, другой — в левую.

— Во имя отца и сына! Вот где божья кара! — еле смогла пробормотать бабуся, купавшая в первый раз дитя.

Михася-сироту запихнули в запечье; так он там и рос, предоставленный самому себе, как былинка под обвалившимся плетнем.

Как-то раз зимой поросята, резвясь, откинули кочергу, помело и разный другой хозяйкин инструмент. Запечье разинуло черный рот, а в нем, как белый зуб, показалась светло-русая головка Михася. Солнышко в то время, забравшись в окно, бродило по хате и, увидев Михася, подумало: «Бедный мальчик!» Взорвалось на припечек и давай забавляться с Михасем, скользя по детской головенке тонкими лучами. Мальчик даже хватается за кудерьки от удивления. А солнышко скользит, скользит лучами, щекочет все больше. Михась принялся ловить солнышко за косы, а оно прыг — да за двери. Михалюк в одной рубашонке вдогонку, на двор, вдоль изгороди бежит, забавляется, смеется.

Да вдруг, откуда ни возьмись,— оспа; идет-бредет, под нос бормочет; встретив Михася, даже захохотала от радости, поганка.

— Ах, такой ты мой, ах, сякой ты мой,— кинулась к Михасю целовать, обнимать...

— Отвяжись, пучеглазая! — чуть не ударил ее Михась и лататы в хату.

Жаром обжигает мальчика, мурашки по телу бегают, подошвы горят.

— Беда! — кричит мачеха.— Это у Михася оспа, он и моих детишек заразит.

Что тут делать? Посердилась да еще подальше Михася в запечье засунула.

Долго ли болел Михась, об этом разве что одно время знает да еще тараканы, что с мальчиком вместе грелись в запечье. Только после оспы, как появился Михась в хате, даже куры закудахтали с перепугу. Петух куда как смел, однако свернул и он в трубку хвост. «Ря-бой, ря-бю-сень-кий!» — закукарекал и спрятался в подпечье, хитрый. Потому что на лице Михася хоть хрен три — столько зазубрин на коже оспа понаделала.

Стал Михась в поле скотину гонять. Чуждался всех, ходил насупившись, не верил никому. Если кто на него глянет, Михасю тотчас кажется, что тот о нем думает: «У-у, какой рябой, страшный парень». Пастухи в эту пору наделили его кличками: Рябой, Терка, Косой... На воловьей шкуре всех этих кличек не напишешь! Михась молчал, стиснув зубы, а втайне всех ненавидел. Каждому

мстил, как мог: то птичку, иным пастухом выслеженную, утащит из гнезда, то сумку с хлебом в болото закинет или с чужой скотиной что-нибудь худое натворит. Животные тоже не знали у Михася ласки: ременным кнутом сек в кровь каждую шкуру; бычку Матея рог сломал; подтелке Концевого Лукаша повредил ногу. Даже стыдно рассказывать о всех его проделках.

— Зачем ты моему Рябчику хвост оторвал, косоглазый ты змей, смола! — ругается на чем свет стоит старая Алена.

А Михась нет-нет да снова где-нибудь нашкодит. А если и не к чему прицепиться, то просто мух ловит и крылья им обрывает.

«Овражный черт», — думали о Михасе люди. Пастухи невзлюбили его, не допускали в свою компанию, сторонились, как чумы, и Михась отдельно пас свою скотину. Сказать по правде, и всыпали мальчишке не раз по первое число, но Михась словно замкнулся в себе, так что не пискнет, не ойкнет, хоть ты его за секи до смерти.

— Господи, что за ребенок! Просто руки опускаются, пропадает охота бить, — жалуются люди, которым Михась какой-нибудь вред причинит.

Ни в сказке сказать, ни пером описать, какой, вероятно, вырос бы из Михася фрукт, если бы не один случай.

Была уже поздняя осень, холодная, туманная, и мелкий дождик сыпал, как из сита, и почернелые поле и луг лежали в каком-то томительно-мертвом сне...

Пастухи разложили костер. Шумело большое пламя, а в золе пеклась картошка. Яська, по кличке Долговязый, дул изо всей силы в трубу: тру-тру-у-у-у... Разносилось эхо по опустелым полям, и еще более печальной выглядела осень. Михась сидел одиноко у мокрой дороги, вдали от пастухов. Голова у него болела, горели щеки. Свернулся в клубок, словно серый холмик, насыпанный кротом. Глаза у него были невеселые, полные слез, как осенние тучки, не выплаканные дождем. Иногда принимался он рассуждать о своем несчастье.

— Пусть, — говорил он, — плохой я мальчишка, всем делаю каверзы, ну а кто для меня хороший? Все как на бешеную собаку кричат: «А-ту... а-та-та!»

Горькие слова катились с ребячьих губ, будто тяжелые камни на крестьянскую ниву. Поблизости ходил черный бычок. Михась, уставившись раскосыми глазками на него, еще горше предавался жалобам:

— Этот черный выродок, бычок, и тот меня не слушает! Небось других пастухов боится: только крикнут — сразу отвернет морду, притихнет. А меня... не слушает... шкуру б с тебя долой!

Не стерпел, вскочил и со всего маху стеганул кнутом по хребту черного бычка. Бычок подпрыгнул, отбежал, оглянулся. «Удавись!» — казалось, подумал он своим бычьим умом и пошел к стаду.

— А-а-а! Иди пожалуйста! — крикнул вдогонку бычку Михась и вдруг заплакал: — Ай-ай-ай!..

Не выдержало ребячье сердце в этот мрачный осенний день, не могло не заплакать над своей сиротской долей. Михасю стало завидно, что даже у бычка и то есть друзья в стаде...

— Держи! Хватай!.. Янук! Игнат!.. Лови, а-та-та-та! — возбужденно кричала ватага ребят.

Бежали, гнались поперек луга за подстреленным журавлем. Птица летела, падала, поднималась, бежала, с левого крыла у нее капала кровь. Нога была перебита. Ребята почти уже схватили за перья искалеченную птицу, а она не давалась, убегала, выбиваясь из последних сил. Увидев Михася, наверное, подумала, что это куст или что-нибудь другое... поймешь ли птицу?! Наскочила на подростка, ударилась всем телом об его грудь.

«Крр-крр!» — жалобно запищала.

Михасю почудилось, будто птица просит: «Помоги!.. Помоги!..»

Р-раз — Михась накрыл журавля полами рваной свитки и растопырил руки.

— Отдавай, рябой! — закричали ребята.

— Не отдам!

— Отдавай!

— Не отдам!

— Отдавай! — кричали пастухи, обступив тесным кругом, трясли Михася, как высохшую ветку.

— Отойдите... Ой... не трясите... — застонал Михась. — Под сердцем жмет... Пустите! — Мальчик схватился за грудь. — Ой... ой... что же это... — не успел он договорить, побледнел, как полотно, и опустился на межу.

Пастухи перепугались.

— Воды! — скомандовал самый старший.

— Михась, Михаська, братец, мы тебе журавля отдадим, — принялись его уговаривать, поднимать, качать.

Мальчик лежал, как надломленная соломинка. Запыхавшись, прилетел Янук с полной шапкой воды. Разжали рогаткой зубы, влили несколько капель воды.

— Михась, братец, слышишь ли?

Через полминуты Михась вздохнул, губы стали розоветь.

— Перенесем его, — предложил кто-то из пастухов.

Осторожно подняли Михася на руки и перенесли к костру. Михась, как открыл глаза, смотрит — костер горит, пастухи снуют, кожушок под голову подложили, сучья в огонь подкидывают, чтоб теплей было; журавлю крылья подвязывают, хлеб крошат.

— На, — говорят птице, — ешь, после Михась тебя накормит ячменем.

Сиротское сердце Михася сразу доброту ребят поняло. Михась

хочет с ними заговорить, поблагодарить, но голова тяжелая, веки слипаются, а что-то внутри шепчет: «После, после...»

Потом пастухи отвели Михася домой. Журавля он взял с собой.

— А это что? — накинулась мачеха и, схватив журавля за крылья, выкинула в сени.— Ты опять болеешь? Думаешь, буду с тобой нянчиться, дармоед?

Михась затаился в углу за кочергами, стоит, словно осиновый пенек. «Спать, спать!» — бьется мысль.

— Кыш... кыш! — вылетела мачеха отгонять гусей от корыта.

Михась сонно поглядел, зачерпнул горсть просыпанного гороха, вытащил из сеней журавля и полез с ним в запечье.

Запечный мрак скрыл две бессильные обиды...

Пастухи уговорились пасти скотину Михася. Иногда кто-нибудь из ребят забежал посмотреть птицу.

Птица поправлялась быстрее, чем Михась; но не раз сидели они вместе в запечье совсем голодные, потому что мачеха их обоих ненавидела. Когда выходил журавль, то тотчас же гналась с ухватом за ним.

— Бедненький мой, голодненький! — причитает Михась над журавлем.

«Крр!» — как бы отвечает птица.

— Скучно тебе, сирота ты мой: семья улетела далеко, покинула тебя одного. Не плачь! Ведь и я тоже один, как колышек в изгороди; маменька в песочке лежит, не придет сыночка хворенького проведать... Как выздоровеешь, поднимемся на крыльях и полетим далеко-далеко... под самое солнышко ясное... Правда?

«Крр!»

— Эх ты, журавушка, братишка ты мой родненький! — целует птицу в перья больной Михась.

Журавль Михася слушает, но и своего ума не теряет. Быстро пригляделся и свыкся с домашними порядками. Хозяйке под ноги не лезет. Поросят, если чересчур пристают к ребенку, тотчас клювом наказывает. Над курами стал справедливым воеводой: за порядком наблюдает, и ни одна из них не отважится взлететь на скамью.

— Чтоб тебе сдохнуть, какая умная птица! — начинает восторгаться мачеха и подсовывает иногда журавлю теста.

Уже были крепкие заморозки, когда Михась стал ходить по хате. Белый, как снежинка, ничего не болит, только порой закашляет. Сделался послушный, спокойный, задумчивый. Картошку мачехе чистит и ребенка кормит, хату подметает. А журавль — хвостом за подростком так и ходит, не отстаёт.

Из одной миски едят, вместе спят. Михась, кажется, свою рубашку надел бы на журавля, если б это понадобилось.

— Журавушка, поцелуй! — Михась подставляет щеки.

Птица водит клювом по лицу, а сироте чудится, что его и вправду целуют. Радует не наладует парнишка.

— Обожди, голубчик, придет весна, погоним коровку в поле, сделаем дудку, будем на ней играть! — мечтают не намечтаются двое хворых.

Время для них быстро идет, словно вода течет. Вечерами, бывает, придут деревенские ребята поглядеть на журавля, сказки иногда рассказывают...

Михась к весне как-то стал ленивее: все ему хочется больше полежать, с ребятами отпала охота компанию водить. Работа, порученная мачехой, обычно лежит непочатой, и за это мачеха часто наделяет мальчика тумаками. Михась с журавлем создали себе какое-то особенное житье-бытье, без слов понимают один другого, не расстаются.

Быстро пролетела зима; повеял теплый ветер, начал снег сходить, и мухи забарабанили по стеклам. Но Михась уже не радовался весне, не выбегал на улицу. Лежал, как просвирка сухая, таял, как свечка восковая. Все знали, что дни Михася сочтены.

Мачеха шептала про себя:

— Скорей бы кончался...

Журавль не ходил, как когда-то, по хате, а стоял в уголке, опустив крылья, и думал какую-то — людям непонятную — птичью думу. Некому было птицу накормить, некому было с птицей помечтать.

В четверг утром солнце всей головой вкатилось в хату.

Куры закудахтали в великой куриной радости. Кот Матей, прыгнув с печи, принялся умываться. Гудели и бились о стекла мухи.

Рябенский поросенок, развалившись у порога, хрюканьем славил пришедшую весну.

Мачеха стучала набильницами — та-та-та-та! — так что эхо с улицы отзывалось, — ткала посконь.

— Мама! — окликнул ее изменившимся голосом Михась.

У мачехи сдавило горло от страха. «Смерть!» — вихрем пронеслось в голове женщины, потому что Михась никогда ее не звал мамой: как-то без этого обходился в разговоре.

— Мама... мамочка! — звал он слабеющим голосом.

— Бегу, бегу, Михаська! Чего хочешь?

— Дай мне журавля.

— Михаська, а может, ты хочешь молочка?

— Нет, ничего не хочу, дай мне только журавля!

Мачеха поднесла журавля, поставила его на кровать, а сама бегом на деревню скликать баб.

Покуда сошлись женщины, Михась уже лежал мертвый. Журавль взмахивал крыльями, тыкался из угла в угол...

«Крр-крр!» — жалобно пищал.

Куры кудахтали: «Куда-куда! Куд-куда!»

«А-у-у-у!» — не выдержал под столом Лыска и жалобно завыл, и только рябенький подсвинок лежал у порога и радостным «хрю-хрю» восхвалял весну.

На похороны собрался народ. Даже старая Аленка, Рябчику которой Михась когда-то хвост оторвал, стояла около мачехи и вычитывала поминанье по покойнику Михасю.

— Бедная ты, соседushка, экое горе; этакий парень дельный был. Шутка ли? Чтобы он у кого хоть грушу стащил или огурчик сорвал...

Журавль, забившись в угол за кочережки, зажмурил глаза. Кто его знает, спал ли он, или ему было тошно слушать Аленины слова... а может быть, просто хотел запомнить мелодию похоронной песни.

— Вечный покой его душеньке! — загудела вся хата.

Прикрыли крышкой гроб и стали выносить на кладбище. Журавль встрепенулся, огляделся по сторонам и тоже вышел за гробом. Люди диву дались и уступили дорогу птице. Печальный, сосредоточенный, как заплаканная мать, журавль первым пошел за Михасем.

— А-у-у-у! — завyli бабы, пораженные мудростью птицы.

Пастухи тесной ватажкой держались всю дорогу близ журавля.

Пришли на кладбище и опустили гроб с Михасем в вырытую могилу. Начали засыпать.

— Ве-е-ечны-й по-о-кой... — застонала песня над свежей могилой; журавль задрожал, несколько раз присел и — мах, мах... взмахнул серыми крыльями и поднялся ввысь.

Постепенно, тяжело птица поднималась к облакам, как бы унося с собой огромную боль к ясным зорькам, белым тучкам...

«Крр-крр!..» — жаловалась птица жаркому солнцу. «Крр-крр!..» — рассказывала встречным братьям журавлям...

Теперь кладбище уже поросло дерном, и там зелено кругом. Как закроешь глаза — густой лес шумит. Поблизости, у могилки Михася, родничок блестит, и зовется он «Журавлиные слезы».

Осенний ветер гудит, грустную сказку рассказывает.

Желтый лист стелется по земле и тихо-тихо, задушевно в темную ночь шепчется с родниковой водой. Я подслушала разговор этой пожелтелой листвы с родниковой чистой водой и теперь веду рассказ о том, как когда-то жил Михась в запечье одной из наших хат — маленький белорус, братец.



Якуб Колас

БУНТ

1

Что-то тревожное и таинственное происходило в деревне. Крестьяне собирались кучками, спорили между собой, о чем-то толковали. Как только появлялся старшина, они замолкали или начинали говорить о другом.

По вечерам мужики сходились в крайней хате деда Юрки. Дед Юрка был самым старым человеком в деревне, ее живой летописью. Никому не боялся сказать правду в глаза; всем, даже земскому начальнику, говорил он «ты».

Однажды на суде в волостном правлении, когда дед начал резать правду, земский закричал на него:

— Это тебя не касается, старая крыса!

Гневом сверкнули глаза деда:

— Что, брат, не так болит, как смердит? — Немного помолчав, он глянул на усы земского и грозно добавил: — Эх, падаль, корыто поганое! — и, плюнув, вышел из канцелярии.

Собравшись в хате деда Юрки, мужики закуривали трубки и рассаживались вокруг стола, над которым слабо светила лампа. Дед сидел на лавке возле печи. В печурке лежал его кисет с табаком и огниво. Вокруг деда вертелись внуки. Некоторое время в хате стояла тишина, только дым от трубок стлался под потолком. Временами хрипел чей-то чубук, иногда кто-нибудь стучал трубкой о ноготь, выбивая из нее пепел.

Говорили о земле, о притеснении крестьян.

Степка Левшун в этих делах считался лучшим знатоком во всем селе. Горой стоял он за общество и на сходах был первым врагом начальства. Не любили его ни писарь, ни старшина. Даже сам земский часто наводил справки у старшины о Степке Левшуне. Одним словом, это был человек «подозрительный», и поп не раз говорил: «Левшун — вредный человек. Да и народ по его милости стал не таким, как прежде. Недоброе что-то замышляет Левшун; смотрит волком и разговаривать не желает. Надо поглядывать за ним».

— А у меня есть свежий листок,— говорил Степка собравшимся мужикам и доставал из-за пазухи прокламацию.

Мужики тесным кружком садились возле Степана. Лампу снимали и ставили на стол в горшок. Листок читали долго. Много было в нем непонятого для крестьян. Были такие слова, которых они никогда и не слышали.

— А правда! — говорили мужики, когда листок дочитывался до конца.— В нашей, к примеру, волости шесть обществ, а если перемерить нашу землю, то у нас ее, пожалуй, меньше, чем у пана.

— «Меньше»! — смеялся Степан— У нас всего три тысячи моргов*; а у пана двадцать семь тысяч! Это я хорошо знаю.

— Вот и ищи правды.

— Ищи — найдешь!

Говорили мужики и о том, как теперь трудно стало им жить, что помещичье поле подковой охватило их убогие полоски и невозможно шагу ступить, чтобы не попасть в панские лапы.

— Эге,— кивал седой головой старый Юрка,— я еще сам, когда был молодым хлопцем, пас скотину под Дубами. А в заводях, что теперь арендуют у помещика старшина и церковный староста, вся деревня ловила рыбу. А рыбы там было, рыбы!..

И дед не раз вспоминал о земле под Дубами, о лугах возле речки, что когда-то принадлежали мужикам.

Крестьяне слушали, и гневом и ненавистью горели их глаза.

2

— Вот сюда мы ездили в ночное,— говорил дед Юрка, идя как-то в праздник с мужиками по полю,— коней пасли. Под этими старыми дубами костры жгли.

Дед разглядывал землю, словно искал давнишнее пепелище в подтверждение своих слов. Но никаких следов костра не было; пятьдесят урожаев собрал уже пан на этом поле.

— Смех, песни хлопцев и девчат когда-то по ночам тревожили покой этих полей. Весь кусок аж до самых Средних Дорог засевали наши мужики! — заканчивал свой рассказ дед.

Мужики с хмурыми лицами мерили широкими шагами поле, принадлежавшее теперь помещику. Они останавливались, советовались, искали способ вернуть назад свою землю.

— А вы еще походили бы по полю, — смеялся над ними дед, — может, что и выходили бы.

— А что же, по-твоему, надо делать? — спрашивали мужики.

— Мне земля не нужна. Мне, брат, скоро в путь; довольно топтали мои ноги сырую землю. Вон она где, моя земля!

Старик показал рукой на окруженное невысоким песчаным валом кладбище с подгнившими крестами, сиротливо стоявшими в поле.

Однажды, уже глубокой осенью, всей деревней собрались мужики возле школы. Степана выбрали депутатом и послали к учителю.

— Господин учитель, — начал Степан, — просьба у нас к вам. Никогда вы нам ничего плохого не делали и всегда говорили только правду. Напишите прошение к пану. Сами мы малограмотные, а просить, кроме вас, некого: поп начнет пугать пеклом, писарь — казаками.

И Степка рассказал, в чем их просьба.

— Вот, если не верите, что правду говорим, поглядите сами на план.

Степан вынул из-под кожуха жестяную коробку, в которой был план и разные бумаги.

— В самом деле, по плану выходит — земля ваша, — проговорил учитель, — только, брат, не знаю, поможет ли вам прошение. Это получится вроде как стрельба вареным горохом в каменную стену. А вы с паном не говорили об этом?

— Как не говорили! Три раза были у пана. В первый раз нам ответили, что пана нет дома, во второй раз пан велел в другое время являться, а в третий раз пришли — казаков у пана полон двор, пан осмелел, покричал на нас, пошумел, показал свою панскую спину да и ушел в комнаты. Вот и весь наш разговор с ним.

— Ну ладно, напишу я вам прошение; приходите вечером — подпишитесь.

— Спасибо, господин учитель!

Вечером, словно пчелиный рой, гудели мужики в школе. Они явились всей деревней послушать, что написал учитель, и подписать прошение. Вот вкратце его содержание:

«Вам (пану) должно быть известно, что происходит сейчас

в России. Льется кровь, горят панские поместья... Людям некуда деваться, нечего есть, и они пошли отбирать у панов то, что паны отобрали у них. Мы не хотим грабить и жечь, чтобы чужой кровью и слезами купить себе счастье; мы не хотим брать чужого, а требуем от вас того, что вы с помощью разных канцелярских крючкотворов отняли у нас: 1) вернуть землю в урочище Дубы, которая, как значится по плану, принадлежит нам; 2) вернуть нам право пользоваться рекой: ловить рыбу, собирать камыш и прочее. Ожидаем скорого и определенного ответа».

— Ловко написано! — хвалили мужики.

И мозолистые руки с большим трудом выводили фамилии. Кривые подписи мужиков заняли целый лист бумаги.

— Разрешит пан ловить рыбу, так и тебе будет ухи сколько захочешь! — говорили мужики учителю.

3

Прочитав прошение, пан не дремал. На тройке лошадей помчался он в уездный город П., прямо к предводителю дворянства. Все начальство поднял на ноги. Позвали полицмейстера, земского начальника, исправника, пристава, казачьего офицера. На этом военном совете решили, что мужики бунтуют. Казачий офицер явил справки, сколько в деревне мужиков. Прикинув, что «один казак в пять минут может зарубить двадцать пять мужиков», он заявил, что для «усмирения» мужиков достаточно будет двадцати казаков. Исправник послал в деревню выведать, кто писал прошение.

Мужики ничего об этом не знали и ожидали от пана ответа, а так как ответа все не было, то они, считая, что полностью соблюли закон, собрались снова и постановили: ловить рыбу в тех заводях, которые по плану принадлежат им. Взвалив на сани невод, человек двенадцать мужиков под командой Левшуна поехали на рыбную ловлю. Как на грех, лов был счастливый. Попадались большей частью лини да щуки.

За высоким сухим камышом ничего не заметили рыбаки. Только вытащили они невод в последний раз, видят — летят на них казаки в высоких мохнатых шапках. У бедных «бунтовщиков» и трубки выпали изо рта.

— Клади невод в сани! — крикнул один казак.

Мужики покорно исполнили приказание; тощая кобылка тянула мокрый невод и ушат с рыбой, а мужики, опустив головы, шли за санями, подгоняемые казацкими нагайками.

Мужиков вели вдоль села. Дети ревели на всю улицу, бабы причитали, как по покойникам. На других санях, по обе стороны которых ехали конные казаки, сидел учитель. На нем было легкое пальтишко и летняя шапка.

— Вот и рыбы наловили и на санях, как губернаторы, под охраной едем,— пытался шутить учитель, чтобы как-нибудь развеселить мужиков, а сам бледный, гневом и возмущением горят глаза, и горе заполнило каждую его жилку.

ВАСИЛЬ ЧУРИЛА

1

Лес шумел как-то очень тоскливо. Лес редко когда молчит. Привычное ухо улавливает в шуме леса различные голоса и оттенки, но никто еще не проник в тайну его языка; только сердце смутно угадывает в нем тоску и тревогу.

Косматые вершины елей бились и метались, как в безумном танце. Ветви то поднимались, то опускались, словно ловили невидимого врага, который не давал им покоя и заставлял дрожать деревья.

Лес шумел. Печально шумел старый лес.

На краю леса стояла хатка лесника Василя Чурилы. Маленькое оконце хатки печально смотрело в поле. Издали оно казалось волчьим глазом. Над самым оконцем свесила ветви голая ива и глухо шумела, словно стонала.

Маленькая лампочка тускло светила в хатке. Огонек боязливо дрожал, и еле заметно прыгали и скользили тени по стене. Возле стола сидела жена Василя, Алеся. Ей ничего не хотелось делать, работа валилась у нее из рук. Дети давно уже спали.

— Где же это Василь? — вздохнув, спрашивала Алеся.

Василь не впервые приходил домой в такой поздний час. Знала Алеся собачью службу лесника, знала пана лесничего, что это был за человек. Но почему же так тоскливо и страшно за Василя сегодня? Алеся и сама этого не понимала, только какая-то глухая тревога запала в грудь и, как червяк, точила сердце.

Долго ждала Алеся Василя. Перебрала в уме все беды и несчастья, которые могли приключиться с Василем в эту беспокойную ночь.

А лес все шумел. Тоскливо шумел старый лес...

2

Куда же девался Василь?

Начинало уже смеркаться, когда послал его лесничий с письмом к соседнему помещику.

Глубокой ночью пришел он в имение к пану. Пан велел Василю обождать, пока он напишет ответ лесничему.

Никто не спросил Василя, ел ли он, никто не накормил голодного. И ушел Василь от пана с горькой обидой в сердце.

Бедность заставила Василя бросить отцовскую хату и идти в лесники. Немало пришлось ему обивать панские пороги, не раз вынужден был он стоять навтыжку перед паном лесничим, целовать ему руки, гнуть спину. А все это любит пан. Лесничество, в котором служил Василь, глухой уголок Белоруссии, сохранило в себе еще старые порядки того мрачного времени, когда можно было променять человека на собаку, того времени, которое называлось панщиной. Жизнь шла дальше своей дорогой, шла, ширилась, а этот уголок оставался глухим, окаменелым, и свет новой жизни отскакивал от него, как отскакивает луч солнца от ледяной глади.

Шел Василь одинокий, скучный. Снег быстро заметал дорогу, ветер сбивал Василя с ног, а горькие думы, как пчелы, кружились в его голове. Все его стремления, все его мысли были направлены к тому, чтобы поскорей избавиться от собачьей службы. Достать бы кусок земли, построить хату и жить, никому не кланяясь.

А теперь что?

И вся жизнь встала перед ним, словно единый законченный образ унижения и обиды.

3

Ветер все крепчал. Василь поднял воротник колушка, глубже надвинул на уши круглую шапку, опустил ружье дулом вниз, чтобы не намело снега. Лес кончился. Василь вышел на открытое место. Он все думал о своей жизни, о службе лесника.

И то сказать, служить бы еще можно, кабы приходилось выполнять только служебные дела, но вся беда в том, что лесничий совал лесника всюду, как дарового коня. При одной только мысли о встрече с лесничим мороз пробежал по коже у Василя. Василь не раз говорил, что лучше ему повстречаться со змеей либо с волком, чем попасться на глаза пану лесничему. Не раз стоял перед ним Василь, как полотно белый от обиды и несправедливости, выслушивая его брань. Руки сами сжимались в кулаки, и какая-то сила толкала Василя броситься на лесничего, разбить ему лицо, кинуть на землю, топтать ногами, бить, бить без жалости, без милосердия.

Тогда, кажется, утолил бы он свою злость, отомстил бы за все издевательства. Но вспоминал Василь, что у него жена, маленькие дети, и руки сами опускались, и стоял он окаменелый, молчал — ни слова. Что же, броситься на пана? А дальше что? Дальше — тюрьма, нищенская сума. Дальше этих пределов не знает пути забитая, приниженная душа простого человека.

Ругался пан лесничий, как настоящий мастер этого дела. Ругань его лилась долго, плавно, без запинки. Каждое слово было взвешено и падало на сердце тяжелым обухом. По какой-то

ошибке, думал Василь, пришел на свет этот человек и вместо острога или сумасшедшего дома попал в лесничество. А впрочем, черт его поймет, кто живет здесь не по ошибке. На этом спотыкались и останавливались мысли Василя. Много непонятных порядков вокруг, легко можно запутаться и попасть в тюрьму либо к черту на сковороду.

4

В тон мыслям Василя пел ветер в поле никому не нужные песни. Василь так углубился в свои мысли, что забыл, где он, куда идет. Вот он остановился, чтобы осмотреться. Ноги его до колен утопали в снегу. Но что разглядишь в такую ночь? Небо смешалось с землей. Широкий простор поля стал узким, как темная бочка, и ничего не могли разглядеть глаза одинокого Василя. Словно выбросил кто-то его, ненужного, бедного, в раскрытую пасть страшной ночи, принеся в жертву сердитой буре, чтобы ценой его жизни купить себе покой.

«Где же я?» — тревожно спросил себя Василь.

И вдруг охватил его страх, самый большой страх человека — страх за свою жизнь. Руки опустились, ему захотелось присесть. Но не сел Василь, а начал перебирать ногами в глубоком снегу, как спутанная лошадь.

Мысли, бестолковые, дикие мысли замелькали в его голове быстро-быстро, как снег, который со всех сторон так безжалостно сыпался на Василя. То думалось Василю, что он сам ищет своей могилы, то казалось, что перед ним стены, камни, готовые каждую минуту обрушиться на него всей своей тяжестью. Ему казалось, что он ушел куда-то далеко-далеко... Вот уже споткнулся Василь, ветер сбил его с ног. Ему вспомнились небольшие глубокие тони в высоких берегах, занесенные снегом, которые никогда не замерзали. Снег все глубже и глубже, а силы слабеют. Вот он совсем выбился из сил, залез по пояс в сугроб и не может уже месить снег одеревенелыми ногами.

5

— А-у-у-у!

Василь и не думал кричать, как не думал он и плакать. Дикий крик вырвался у него против воли, и сами потекли слезы.

Ветер подхватил глухой крик, помчался с ним и тотчас же потерял его, растер, как мыльный пузырь.

«Кто я? Василь?»

«Василь, кто же я».

«Что же ты здесь делаешь?»

«Сижу в снегу».

«Ну, Василь, давай домой!»

Все смешалось в голове, и сами собой возникли эти бестолковые слова.

В глазах у него как бы прояснилось, но везде, куда Василь ни обращал свой взгляд, виднелись морды лесничего, его оскаленные зубы. Этих морд набралось много-много; они сталкивались, прыгали, двигались, как по команде, дрожали, будто листья осины перед грозой.

А вон там худое, измученное, заплаканное лицо Алеси... Вон его дети...

Лесничие скачут, насмехаются над Василем, подают ему руки и быстро отдергивают их, как только Василь пытается ухватиться за них.

Бросился Василь со злостью на лесничих.

И почувствовал Василь легкость во всем теле, будто повис он над землей. Затем тихо опустился, начал легко, свободно погружаться во что-то мягкое и холодное. Вот словно бы зацепился за что-то... Чувствовал он еще, как лопнул ремень на ружье... Больше ничего.

Ветер пел ему теперь «вечный покой».

ДАР НЕМАНА

1

Вся каша заварилась после того, как сюда приехал старый казенный землемер со своими инструментами. Было это весной, вскоре после пасхи.

Я хорошо помню, как этот пан землемер шел через все село. Ребятишки гурьбой бежали за ним следом, потому что такая важная фигура появилась здесь в первый раз. Это был старый пан, каких теперь редко где встретишь. Длинные седые усы с низко опущенными концами придавали строгое выражение его полному лицу. Круглый живот так далеко выдавался вперед, что пан, наверно, не видел за ним своих коротеньких ножек. Всякому, кто смотрел на пана, казалось, что он не идет, а словно бы катится, как бочка на колесах. И то еще было интересно, что этого пана никто здесь не ждал и никто не заметил, как он приехал в село и остановился у лесника. Правда, и заметить трудно было, потому как лесная застава, где жил лесник, стояла несколько на отшибе, там, где улица села расходится на три дороги. Вот почему появление этого незнакомого пана в зеленой шляпе с пером удивило все село. Даже старая тетка Магда, которую, казалось, ничто на свете не могло заинтересовать, и та вышла на улицу, прислонилась к столбу у ворот и, заложив руки под фартук, долго разглядывала пана. Молодицы с ведрами на коромыслах, проходя

мимо пана землемера, тоже старались получше разглядеть его. Если бы пан оглянулся, он увидел бы крестьян, которые стояли кучками то здесь, то там и о чем-то говорили, указывая на его особу.

— Кто это? Землемер, что ли? — спрашивал Казимир Жибуль, подходя к группе пожилых мужчин.

— Землемер, — отвечали те.

— А что ему тут делать?

Но на этот вопрос никто не мог толком ответить.

— Видать, будет мерить тут где-нибудь поблизости, — сказал Матвей Дворный.

— Почему поблизости? — спросил один из крестьян.

— Кабы далеко, так он бы на подводе ехал, а не пешком шел.

— И то правда, — согласились крестьяне.

Тем временем пан землемер, миновав монопольку, свернул на улицу, что вела к Неману.

Двое рабочих, тащивших инструменты землемера, и лесник, следовавший за ним на расстоянии шага, исчезли за поворотом. Туда же потянулась и вереница сельской детворы, а следом за ними двинулись и крестьяне.

Так жирный паук тянет за собой всю паутину, когда он, нацелившись на свою запутавшуюся жертву, не спеша забирает ее в свои цепкие лапы.

Тревога крестьян, смешанная с любопытством, росла по мере того, как землемер подходил к Неману. Всем хотелось, чтоб землемер сел в лодку и переехал на ту сторону, но никто в это не верил; каждый знал, что пан непременно свернет налево, туда, где в последние годы Неман, как бы сжалившись над крестьянами и их безземельем, повернул от села и отрезал им большую луку. Правда, здесь был сыпучий песок, но теперь песок стал быстро покрываться корочкой, как молодое тесто в печи, и зеленеть сочной травой.

2

Большой своевольник этот Неман. Каждый год что-нибудь да сотворит: то выкатит на чью-нибудь полосу старый, веками мокнувший в воде ствол дерева, то отхватит целую луку у одних и притакает ее другим, то подрежет грунт, на котором долгие века стоял богатырь дуб в самой доброй дружбе с соседом Неманом. Не знает удержу он, не ведает, куда девать свои могучие силы. Но никто не жаловался на его своеволие, а в нашем селе его очень любили, потому что он для села был словно родной отец: и кормил, и поил, и на своих плечах каждого вынашивал, и каждого за лето раза три в Ковно и Гродно возил, да еще и денег давал на дорогу. Правда, плыть по Неману на плотках не очень легкое дело, но что легко дается на свете простому человеку?

Неман был нервом села. Он наполнял его жизнью и заставлял чутко прислушиваться к тому, что делалось вокруг. Все важнейшие события были так или иначе связаны с Неманом. Здесь, на берегу реки, которая так близко подходила к селу, собирались крестьяне и обсуждали свои дела. Каждое движение Немана, каждый спад и каждая прибывь воды в нем не проходили незамеченными, а в последние годы Неман придумал новую затею: в том месте, где берег его касался края села, он начал поворачивать, прокладывая новую дорогу и отрезал селу широкую луку. Описав возле села дугу, он снова вплотную подходил уже к другому его краю и дальше бежал старой дорогой.

— Вот бы кого послать в думу депутатом! — шутили крестьяне, радуясь тому, что Неман прирезает им широкую полосу земли. — Этот депутат всегда стоит за нас!

Новая лука быстро покрывалась зеленой травой, и кони с большой охотой щипали ее, а крестьяне радовались, что теперь был хоть небольшой выпас для скотины. И неудивительно, что сейчас с такой тревогой следили они, куда повернет пан землемер. Подойдя к самому Неману, этот важный пан повернул налево, как раз к луке. Пройдя еще немного, он остановился. Рабочие осторожно и неторопливо положили на песок инструменты, а пан землемер достал лист бумаги, нацепил очки и стал вглядываться в него. Взглянет на бумагу, потом на луку, снова уткнется носом в бумагу и снова посмотрит перед собой. Для всех теперь было ясно, что на их луку казна хочет наложить свою лапу. Крестьяне слились в большую толпу и медленно двинулись к землемеру. Масса людей шла спокойно, как отдаленная туча, но в этом спокойствии таились молнии и громы сдерживаемого гнева. Крестьяне остановились и окружили землемера плотной стеной живых тел.

— Что это за игрушки привез сюда пан? — спросил землемера Андрей Зазуляк, кивнув головой на землемеровы инструменты.

— А такие игрушки, которыми ты не умеешь играть, — спокойно ответил землемер.

«Гляди, как режет!» — думали крестьяне и ждали, что скажет на это Андрей.

— А ты, пан, умеешь? — снова спросил Андрей.

— Я умею, всю жизнь с ними играю.

— Хорошая, видно, игра, если пан нагулял такой живот.

Землемер взглянул на Андрея, и усы его зашевелились. Видимо, он хотел что-то ответить, но не нашел что и еще раз из-под седых нависших бровей бросил на Андрея сердитый взгляд.

— Отойдите, мужики, вы мешаете мне, — приказал он.

— Что это пан думает делать? — спросил кто-то из толпы.

— Буду проводить границу и ставить копцы*, чтоб вы знали, где казенное, а где ваше.

— Что?! И казна хочет сюда затесаться?

— Что ж она молчала до сих пор? Когда же это здесь земля была казенной? — посыпались вопросы.

Известный в деревне шутник старый Ахрим, повернувшись к толпе, сказал:

— Пускай бы лучше пан землемер пришел в мою хату с этим дедом, — тут Ахрим указал на принесенный рабочими треножник, — и провел бы границу на печи, а то мы никак не можем разделиться с моей Аршúлей и все ругаемся. Я займу печь от стены и скажу ей, что эта половина принадлежит казне, а она пусть себе на середине печи жарится.

— Ай да старик! Если скажет что, прямо в точку попадет!

— А что, разве не правда? — продолжал дед. — Казна хочет залезть к нам на печь... Тыфу! — плюнул Ахрим. — Стыда у них нет! — И глаза старика сердито сверкнули.

— Ты себе плюй или не плюй — мне все равно: не моя это вотчина и не себе меряю. Послали меня сюда, и я должен подчиняться, а вы поступайте, как знаете. Мне от этого никакой пользы нет. Прогоните, не дадите мне дело сделать — вас тут много, а я один, — драться с вами не стану.

— Мы против пана ничего не имеем, — слышались голоса из толпы.

Мужики отошли.

— Ставь себе, пан, столбы, проводи границу. Пусть тут хоть тысяча столбов стоит, а этот берег как был наш вечно, так нашим и останется.

Теперь толпа разбилась на отдельные группы. Каждая группа имела своего оратора. Одни говорили одно, другие — другое. Мнения разделились. Меньшая часть крестьян — молодые мужчины стояли за то, чтоб не позволить землемеру поставить межевые знаки. Другие, солидные люди, утверждали, что так делать нельзя: вмешается полиция и им же самим хуже будет. Против этого довода никто не мог возразить: все хорошо помнили, как года три назад произошел спор с соседним помещиком и как в этот спор вмешалась полиция. Еще и не все крестьяне, которых тогда арестовали за сопротивление начальству, вернулись из острога.

А землемер под говор крестьян делал свое дело. Как посмотрели они на границу, так на мгновение и замерли: вся лука была отрезана казне. Граница шла возле самых заборов, где кончались огороды и где тянулся высокий вал голого песка. На одном конце границы уже был глубоко вкопан столб, да так прочно, как будто навечно; с другого конца ставили другой столб. Окончив работу, землемер пошел обратно, за ним рабочие понесли инструменты, а мужики, как оглушенные громом, все еще стояли на берегу Немана.

Хитрый подлюга этот лесник с лесной заставы, хоть и молодой. Как только землемер собрал инструменты и ушел с берега, лесник пошел за ним, не подавая и виду, что ему заранее известны дальнейшие планы крестьян. Он скрылся с глаз толпы, как бы замечая следы, а сам зашел из-за гумен, притаился в кустах недалеко от луки и наблюдал, что будут делать крестьяне, чтоб потом доложить об этом в лесничество.

— Ну разве это не надругательство? — опомнившись, сказал Андрей Зазуляк. — Залезть к нам в хату и распоряжаться, как у себя дома! Есть же на свете справедливость!

— Ха! — махнул рукой старый Ахрим. — Справедливость! Где она, эта твоя справедливость? Справедливо посадили в острог наших хлопцев? Справедливо оштрафовал земский, как судились за выпас? Выдумали справедливость, а спроси, зачем ее выдумали, то и не скажут!

Тут дед начал перечислять все случаи, когда с крестьянами обошлись несправедливо.

— Всю начисто луку выкроил!

— И не диво! Недаром эта лука не дает им покоя. Через два года тут будет добрый луг, отчего ж не захватить его?

Каждый крестьянин чувствовал себя глубоко задетым. А поставленные землемером столбы стояли, как часовые, охраняя интересы казны, и одним своим видом вызывали гнев крестьян: это были теперь не просто столбы, а их заклятые враги.

Долго стояли так крестьяне со своей обидой, одинокие, покинутые. И ни в чем не видели они надежды на поддержку и подмогу против этой вопиющей несправедливости. Долго шумели крестьяне под открытым небом, как встревоженный улей, размахивали руками, точно лес ветвями в грозную бурю. А когда вспышка их гнева немного улеглась, Андрей Зазуляк вышел на середину, снял шапку и стал махать ею. Крестьяне смолкли и подошли ближе к Андрею.

— Вот что, хлопцы, скажу я вам. Жаловаться нам некуда, и никто нас не поддержит, хоть правда и на нашей стороне. Спросите у стариков, пускай скажет старый Ахрим и всякий, кто помнит, пусть скажет: этот берег был нашим, нашим он и должен оставаться.

— Должен быть и будет! Правду говоришь, братец Андрей! — зашумели кругом крестьяне.

— Пускай хоть сотня землемеров приезжает сюда, — продолжал Андрей, — пускай ставят хоть тысячу копцов, а этот берег мы не отдадим, это дар Немана, дорогой дар, и мы должны беречь его. Посмотрите вокруг — нет такого местечка, где бы не ступала наша нога; каждая песчинка здесь примята нашим лаптем; в этом желтом песке каждый из нас играл в детстве. Отдать этот берег —



все равно что позволить отсечь себе руку или ногу. Пускай они ставят копцы, это их дело, а мы будем вырывать эти копцы — это наш святой долг.

Сказав так, Андрей смело и решительно подошел к столбу. За Андреем повалила вся толпа. Свежевкопанный столб стоял еще непрочен, и земля вокруг него не успела осесть. Андрей крепко обхватил столб, уперся ногами в землю и расшатал его. Подскочили мужики, вырвали столб и потащили к Неману. Двое взялись за концы столба, раскачали его и швырнули далеко в воду.

— Дар за дар! — сказал Гришка Остапчук.

Послышался плеск воды, поднялся целый сноп брызг, и столб, перевернувшись раз, другой, спокойно поплыл по воде.

— Дешево ты, брат, ценишь дар Немана, — ответил Гришке Микита Кожан.

— Погоди, может, он еще что получше возьмет! — откликнулся старый Ахрим.

Так же поступили и с другим столбом, и берег снова выглядел так, будто сюда никогда и не приходил пан землемер.

А лесник стоял в кустах и все это видел и слышал.

«Ну, Ганна, теперь ты у меня будешь немного покладистей и не станешь так высоко задирать нос, если тебе хоть немного жаль своего отца» — так думал молодой лесник.

Довольный и веселый, пробрался он огородами мимо гумен и вышел в поле с другого конца села.

4

Весенняя теплая ночь только что окутала землю и раскрыла свои тайные чары, полные немного печальной красоты. Первые звезды мерцали то здесь, то там в бездонном небе, а из-за леса, словно залитого пожаром, поднималась круглая блестящая луна. Маленькие белые тучки выстилали ей дорогу легкой, прозрачной тканью и расступались перед ней, как бы омыв в ее блеске свои тонкорунные кудри. Пахла земля, щедро окропленная росой.

В селе слышались говор и песни. Веселые молодые голоса смело врезались в тишину ночи и бойко неслись к реке. Здесь они ударялись о высокий берег, отскакивали и бежали вдоль него по дуге луки, замирая за песчаной отмелью. В ложбине возле Немана дружно и звонко кричали лягушки. Было что-то смутное и печальное в простой и монотонной их песне, которая трогала душу тихой грустью и так полно сливалась с молодой задумчивостью весенней ночи. Село затихало. Изредка по улице брела одинокая фигура запоздавшего крестьянина. Только девчата еще не спали и пели песни, сидя на завалинках.

Накинув на плечи платок, Ганна, дочка Андрея Зазуляка,

сидела одна на своей завалинке. Время от времени она вглядывалась в даль и вздыхала. Вскоре возле колодца показалась фигура человека, который важно шествовал посреди улицы. В этой фигуре нетрудно было узнать молодого лесника. И хват же этот лесник! Надо было видеть, как, надев свою куртку с костяными пуговицами и закрутив усы, шел он по улице, преважно выбрасывая вперед ноги, обутые в сапоги с блестящими голенищами. И ему, видно, казалось, что он подпирает головой небо и что на него дивится все село.

— Добрый вечер, Ганна! — проговорил лесник, подходя к дивчине и протягивая ей руку.

Ганна неохотно подала ему свою и тихо ответила:

— Добрый вечер.

— Что ж ты не приглашаешь меня посидеть? — снова сказал лесник, стоя перед дивчиной.

— Или ты очень утомился? Лежал небось, как вол, весь день.

— Разве только тех, кто утомился, приглашают присесть? — спросил лесник, покручивая ус. — Да и ты что, видела, как я лежал?

— Подумаешь, интерес какой — смотреть, как ты лежишь! — ответила Ганна и отвернулась.

Ну и девка! Уродилась же такая красавица... Теперь, когда свет луны упал ей на лицо, лесник с минуту стоял и не спускал с Ганны глаз.

— Может, ты, Ганна, ждала кого-нибудь?

— Известно, ждала.

— Кого ж ты ждала? Может, меня?

— Ой, голубе! Нужен ты мне, как мосту дыра!

Оскорбленный лесник притворился, будто не слышал ее слов, и, важно надув щеки — так делал писарь в лесничестве, — не спеша прошелся вдоль завалинки.

— А я хотел тебе что-то сказать, Ганна, да ты такая гордая паненка, что к тебе и не подступишься.

— Что же умного собираешься ты мне сказать? — со смехом спросила Ганна.

— Знаешь ли, что ты теперь у меня в руках? — неожиданно спросил лесник.

— Я в твоих руках? — Ганна удивленно взглянула на лесника.

В голосе его, в тоне, которым он произнес последние слова, послышалась угроза. Девушка слегка заволновалась. В предчувствии чего-то недоброго сердце ее заныло. Но, скрывая свою тревогу, она ответила:

— Что ты хвастун и высоко нос задираешь, известно всем. Да только я не крепостная твоя и нисколечко тебя не боюсь. Пристанет же человек, как смола, нигде не сыщешь от него покоя!

— Я не хвастун и носа не задираю. А если кто и задирает нос,

так это ты. Только я пришел не ссориться с тобой, и тебе ссориться со мной никак нельзя. Ты знаешь, кто сегодня приезжал сюда?

— Землемер, кто ж еще.

— А знаешь ты, что сделали мужики с копцами, которые по его приказу были поставлены на границе?

— Вышвырнули вон, потому что им там не место.

— Ага, и ты такая же! А знаешь, по чьему наущению делали это мужики? Знаешь, кто первый притронулся к межевым знакам?

— А зачем мне все это знать? Да если бы и знала, тебе не сказала бы.

— Мне говорить не надо, я сам все видел и слышал. Меня-то они не заметили, не такой я дурень, как они. Так вот знай же: это работа твоего отца. Он уговаривал неразумных мужиков. И подумай теперь: за уничтожение межевых знаков сажают на целые годы в острог. Вот ты это и знай! Может, нос свой не будешь так высоко задирать.

Лесник говорил со злою насмешкой и тем временем все ближе подступал к дивчине. Он видел, что на сердце у нее беспокойно и что слова его били по самым ее чувствительным струнам. Несколько минут он молчал. Были мгновения, когда он еле сдерживался, чтобы не броситься к дивчине и не обнять ее крепко-крепко.

— Все, Ганна, зависит от тебя! Скажи мне хоть одно ласковое слово, взгляни на меня приветливо, и я от всего отступлюсь.— Говоря это, лесник наклонился к девушке и хотел обнять ее.

— Прочь! — крикнула девушка, высвобождаясь из цепких рук лесника.— Гад! — помолчав, добавила она.

Лесник отступил на шаг.

— Ну хорошо же! — сказал он.

5

С другого конца улицы тихо, словно тень, приближался высокий человек. Лесник узнал в нем Василя Подберезного, молодого красивого парня, и собрался было уходить, но передумал. «Этот журавль еще подумает, что я, лесник, испугался его». Теперь леснику очень хотелось, чтобы и Василь оказался замешанным в историю с межевыми знаками. О, тогда бы он сухим из воды не вышел! Не ходил бы таким козырем по улице, не шептался бы с Ганной целые ночи по темным уголкам, да и она не льнула б к нему, как лисица к земле в чистом поле, как гибкая трава-березка к стебельку ржи. Василь тоже не очень уважал лесника. Давно пролегла между ними тень неприязни, и не раз уже сталкивались они, но пока что дело не шло дальше колких слов.

— Добрый вечер, Ганна! — сказал Василь, приблизившись.

— Добрый вечер! Садись, Василь,— отозвалась Ганна и подвинулась, освобождая ему место возле себя.

Василь сел. Оскорбленный и злой лесник сидел поодаль.

— А, добрый вечер! — обернулся к нему Василь, делая вид, что только теперь заметил его.

— С каких это пор, Василь, глаза твои стали плохо видеть?

— А с тех самых пор, как ты начал носить сюртук с костяными пуговицами и сапоги с блестящими голенищами, — ответил Василь.

— А ты чересчур умен стал с тех пор, как снял лапти и надел отцовские сапоги. Видать, тебе мои костяные пуговицы глаза колют?

— Колют, брат. Я давно заметил: у кого ума нет, тот на себя спесь напускает.

Лесник поднялся. Пропустив мимо ушей слова Василя, он проговорил:

— Доброй ночи, Ганна!

— Будьте здоровеньки.

— Чем тут с Василем сидеть, пошла бы лучше батьке суму на дорогу сшила, — сказал лесник, отойдя шагов на пять, и засвистал какую-то польку.

— Свищи, свищи! — откликнулся Василь. — Пойди погляди, целы ли копцы, а то даром хлебом тебя кормят.

— Тебя поставить вместо копца, не так бы скоро вытащили — длинный, как шнур, — ответил лесник уже издали.

— Лучше сам стань там, пока место свободное! — крикнул вслед ему Василь и громко засмеялся.

Ганна и Василь несколько минут сидели молча.

— Что ты, Ганна, сегодня какая-то невеселая? — спросил Василь дивчину, положив ей руку на плечо.

— Это тебе так показалось, — ответила Ганна, опустив голову.

— Ой нет! Ну, взгляни-ка мне в глаза, — не отступался Василь и наклонил голову к Ганне.

Дивчина еще больше пригнулась и потупилась.

— Может, «костяная пуговица» обидел тебя? А может, ты не рада, что я пришел и не дал тебе поговорить с ним? Может, сердись на меня, что я будто горячей золой сыпал ему в глаза?

И с каждым вопросом голос Василя менялся: то в нем звучал молодой задор, то слышалась боязнь потерять любимую девушку.

— Говоришь сам не знаешь что! Или ты меня сегодня только узнал? — Она подняла влажные глаза и так глянула на Василя, что взгляд ее глубоко запал ему в душу.

Василю стало легко и хорошо на сердце, он почувствовал в себе прилив новой силы и счастья.

— А все же, Ганночка, ты что-то невеселая. Я ведь вижу, что у тебя какая-то забота на сердце. Скажи мне, не таись. Мне так радостно, и я хочу, чтоб и у тебя было легко на сердце.

Ганна немного помолчала.

— Знаешь, Василь, что он сказал мне?

— Ну, что?

— Он стоял в кустах и подглядывал, как вытаскивали из земли копцы, и видел, что отец первым приступился к ним. И еще он говорит, что отец подговаривал людей уничтожать межевые знаки. Он зол на меня за то, что я всегда прогоняю его, и теперь хочет донести на отца в лесничество. А знаешь, на что он намекал, когда советовал шить отцу суму на дорогу? Это значит, чтоб я готовила отца в острог.

— Неужели он сделает это? Ах, иуда-предатель! Нет! Он не посмеет этого сделать! Я поймаю и задушю его, если он не поклянется мне молчать.

Василь поднялся с завалинки и собрался идти.

— Стой, Василь! Куда ты пойдешь? Ничего из этого не выйдет,— взяв хлопца за руку, останавливала его Ганна.— Он еще не раз придет и будет стараться запугать меня, не так-то скоро он отступится от меня, а тем временем можно что-нибудь придумать. Надо поговорить с отцом, что он скажет, а пороть горячку еще рано.

— Ждать у моря погоды! — стоял на своем Василь.

— Боюсь, Василек, что ты pomoжешь тут, как больному кашель. Не надо было говорить тебе этого, Василь. Какой же ты горячий!

— Как тут не быть горячим? Этот гад, иуда будет выдавать нас, а ему никто и слова сказать не смей? Ну, погоди! — потряс Василь здоровенным кулаком в ту сторону, куда ушел лесник.— Счастье твое, что все хлопцы плоты погнали, а не то плохо бы тебе пришлось в эту ночь.

А лесник, пройдя улицу, свернул к Неману и направился к луке.

Теперь трудно было найти даже то место, где стояли столбы. Долго ходил лесник по берегу. Из головы его ни на минуту не выходил образ молодой, красивой девушки, и чем решительней она отворачивалась от него, тем милей была ему и тем сильнее притягивала к себе.

Обида и злость охватили лесника. Они его так унизили, оплевали, а теперь сидят, верно, на завалинке и, может, смеются над ним. Ну нет, он не позволит насмехаться над собой! Он такое подстроит, что сам черт запляшет от радости. Он еще покажет, кто он такой! Попомнят они его!

6

На другой день снова появились неизвестно кем и когда поставленные столбы, а среди крестьян пошли неясные толки, в которых чувствовались тревога и страх.

Все ждали чего-то недоброго.

В селе всякие слухи и разговоры, которые ведутся втайне, без свидетелей, скоро делаются общим достоянием, будто сам ветер разносит их.

Был как раз юрьев день. Село еще не успело пробудиться от сна, а все уже знали, что леснику известно, кто выбрасывал копцы, кто что говорил и даже думал, — одним словом, известно все, что делалось вчера на берегу Немана. Почти каждый крестьянин чувствовал за собой долю вины и немного побаивался. Теперь крестьяне начали разбираться в том, что делали и что слышали они вчера, охваченные гневом.

«Что ж, — думали некоторые, — если приезжал землемер, да еще с документами, значит, он не просто так проводил границу, а имел на то право».

Зная, что Андрею, если лесник исполнит свою угрозу, может быть, придется несладко, и остальные крестьяне притаились, стараясь не быть на виду.

Правда, не все так думали, были и такие, хоть их было и меньше, которые не боялись доноса лесника, а смело стояли за луку и были убеждены в том, что эта лука принадлежит им и новые копцы надо выбросить вон, как и первые. А об Андрее говорили, что из доноса на него ничего не выйдет. Надо только дружно, всем обществом, если начнется какое-нибудь дело, сказать, что лесник доносит на него из мести, за Ганну.

Такие разговоры поднимали дух у боязливых.

— Вы боитесь этой «костяной пуговицы», — говорил Василь Подберезный, — боитесь, что лесник может донести в лесничество? Пускай доносит. Копцы снова стоят. Что ж! Пускай он нацепит пуговицы еще сзади; может, здесь, среди вас, есть его приятель, пусть пойдет к нему и скажет, что я, Василь Подберезный, все равно вышвырну эти копцы к чертовой матери. Это работа лесника, и я знаю, куда он метил, когда ставил их ночью. Только пусть знает, что, если посмеет разинуть рот, чтоб донести на меня, я его вместе с копцами утоплю в Немане. Пусть он это знает и помнит.

Последние слова Василь произнес уже со злостью, и кулаки его крепко сжались, а сам он шел по улице грозный, как буря. Крестьяне невольно любовались, глядя на Василя, — такой он молодец: высокий, плечистый и такой смелый.

7

Солнце уже садилось.

За селом в поле у костра целая вереница девчат справляла «росу»*. Недалеко от костра на камне стояла пустая сковородка, и в ней лежало несколько деревянных вилок. Рядом виднелся не-

большой глиняный графинчик, теперь пустой и по горлышко закопанный в землю: девчата спрятали его, чтоб любопытный глаз какого-нибудь гуляки не открыл их тайной пирушки. Здесь же валялась яичная скорлупа — признак того, что жарили яичницу. Девчата весело пели и прыгали через рожь, чтоб она лучше уродилась и росла.

— Мне сегодня так весело, девчатки, так весело, что и сказать трудно! Должно быть, к слезам, — говорила Ганна.

— Если б у нас был такой Василь, мы бы не знали, на какую ногу и ступить, — шутили девчата, — и не диво, что тебе весело.

— Вот, Ганночка, какая ты счастливая: и Василь тебя любит, и лесник, и все. Ты бы мне лесника, что ли, отдала, — смеясь, щебетала Катерина. — Он хоть и не очень хороший, зато один сюртук его чего стоит!

И девчата покатывались со смеху, перебивая косточки хлопцам.

— А ну их, хлопцев, давайте, девчата, лучше песни петь. Ганна, запевай.

— И правда, давайте петь! — откликнулась Ганна.

Девчата стали в кружок, взялись за руки, а Ганна ходила в хороводе с венком на голове, сплетенным из первых цветов. И сама она была как цветок, даже девчата любовались ее красивым лицом, длинными темными косами и стройным станом.

Но песня сразу же оборвалась.

— Тише! Тише! — закричала одна дивчина таким пронзительным голосом, что все испуганно замолчали.

Из-за Немана неся тревожный крик мужчин и истошный, душераздирающий плач женщин.

Перепуганные девчата, не двигаясь с места, смотрели друг на друга. Ганна не могла вымолвить слова. Сердце ее билось сильно-сильно. Она побледнела и присела на землю.

— Ой, голубчики, убили кого-то! — заголосили девчата и бросились сломя голову туда, откуда доносился крик.

8

Взяв ружье, лесник еще днем пошел сторожить копцы, которые он же сам и поставил. А поставил он их в надежде подзадорить Василя и замешать его в дело с копцами, зная горячую натуру хлопца. Василь же, заметив утром копцы, сразу догадался, чья это работа и на что она рассчитана. Оба хлопца видели друг друга насквозь. Не было никакого сомнения в том, что оба они стремились встретиться и схватиться друг с другом, ведь им давно хотелось свести счеты. Никому не говорил Василь об этом. Боясь, что ему помешают, он действовал осторожно. На закате, как только в селе все стихло, Василь вышел тихонько из хаты, прошел

через огороды, затем перелез через изгородь, миновал гумна и вышел с другого конца села на берег Немана, туда, где стояли копцы. Лесник расхаживал неподалеку. Увидев Василя, он остановился.

— Что ты тут снуешь? — спросил Василь лесника.

— А вот стерегу копцы, чтоб какой-нибудь негодник снова не повыдергал их, — вызывающе ответил лесник.

— А скажи ты мне, братец, кто их поставил?

Говоря это, хлопцы сходились все ближе и ближе.

— Умные говорят, что землемер, а дурень, может, еще что скажет, не знаю, — снова ответил лесник.

— А в селе не так толкуют — говорят: днем копцы ставят землемеры, а ночью — паршивцы.

С этими словами Василь со страшной силой рванул столб и повернул его к себе. Столб подался, комлем прорезал желтый песок и вывернулся из земли.

Тут произошло то, чего лесник и сам не ожидал: его словно толкнули и бросили на Василя. Одним прыжком он оказался возле противника и изо всей силы ударил его по голове. Василь закачался, но устоял на ногах; вся кровь прилила у него к лицу.

— А я думал, что ты такая собака, которая кусает исподтишка, — сказал Василь, залепив в ответ такую оплеуху, от которой у лесника посыпались искры из глаз, а из ушей хлынула кровь.

Лесник покачнулся и упал на землю. Однако он тотчас же поднялся, схватил ружье, намереваясь взвести курок, но Василь не дал ему этого сделать. Как зверь, наскочил он на лесника, вырвал из рук его ружье и швырнул в Неман. Начался смертный бой. Каждый напряг все силы и не поддавался. Василь был гораздо сильнее лесника, а лесник был ловок, как черт, так что противников можно было считать равными. От напряжения жилы у них вздувались и трещали кости. Долго боролись они, уйдя чуть ли не до колен в песок. Руки их сплелись. Были минуты, когда казалось, будто они ничего не делают и только отдыхают, но это были моменты наибольшего напряжения их сил, моменты, которые решали исход борьбы.

Лесник слабел все больше и больше и чувствовал, что силы его покидают. Толкая друг друга, они все ближе подступали к берегу, а берег в этом месте был высокий, обрывистый; внизу под ним пенился глубокий водоворот. Наконец Василь крепко сжал лесника и приподнял его. Теперь он мог делать с лесником все, что хотел.

— Поклянись мне, что не будешь заниматься доносами!

Но лесник изловчился, выскользнул из рук Василя и уперся ногами в землю. Тут он, найдя точку опоры, толкнул Василя. Они переступили границу берега, где уже нельзя было удержаться, и, упав, покатались друг через друга в водоворот. Скатываясь, Василь разбил голову об острый камень. Оба упали в воду.

Еще минута, и такого несчастья не случилось бы к берегу

бежали мужики. Но прибежали они тогда, когда обоих уже со страшной силой кружил водоворот.

Через несколько минут их вытащили баграми.

Василь был мертв, а лесника удалось откачать.

СИРОТА ЮРКА

1

Весной, когда начинал оживать мир, вылезла из земли тоненькая красноватая травинка. Это доброе, ясное солнце вызвало ее к жизни. Бедное зернышко, из которого выросла травинка, потеряло уже всякую надежду увидеть когда-нибудь белый свет: так было темно ему в земле под снегом, так холодно и тоскливо. И все же увидело. И занятная выросла из него травинка. Тоненькая ножка, а на ней, вверху, на два пальца от земли, сплелась из еще более тоненьких зеленых ниточек-травинки красивая коробочка; на самой верхушке этой коробочки сидела темная шапочка. И ни одна мать не могла так красиво убрать свое дитя, как убрало солнышко эту травинку.

Молодое растение стояло возле леса в поле. Старый лес закрывал его от северных ветров и давал ему тепло и затишье. Оно было такое маленькое, такое незаметное, что никто даже не смотрел на него и не радовался ему, несмотря на то что это маленькое создание представляло собой особую частицу жизни, разумно и искусно устроенную. По самой земле, правда, ползали еще более мелкие муравьи, но они были слишком заняты своей работой, и им некогда было думать, размышлять, отыскивать концы и начала. Они суетились, бегали, как перекупщики-торговцы на ярмарке, шевеля своими усиками, и брали от жизни все, что могли. Кроме того, они и по натуре своей были муравьи-практики. Итак, повторяю, никто не замечал молодой травинки. Правду сказать, с первого взгляда трудно было догадаться, что это за штука, и только привычный глаз мог разобрать, что это растение станет со временем деревом, тем всегда зеленым деревом, которое зовется сосной.

Как оно сюда попало? На этот вопрос может ответить один только ветер. Но ветер всем известный непоседа, и у него так много работы, что ему трудно удержать в памяти такую вещь, как занесенное по дороге и брошенное на опушке леса маленькое зернышко.

А весна тем временем делала свое дело. Сосенка не знала, на что смотреть, кого слушать, чем любоваться, а ей хотелось послушать и о чем шумел лес, и о чем говорила между собой трава, и почему так радостно трещали на все лады полевые кузнечики. В этом всеобщем гимне весне и жизни один голос сильнее всего

тронул сердце молодой сосенки. Какая красивая песня лилась в небе:

Дилинь! Дилинь! Дилинь!
Люблю, люблю, люблю!
Весна! Весна! Весна!
Иди малый! Иди старый!
Встречай весну! Встречай весну!

Все эти звуки шли из глубины искренней души, и столько в них было ласки, мольбы, радости и какой-то тайной грусти, что каждый невольно заслушивался ими, слушал только их. Вторая часть песни была спокойней, но самый мотив еще сильнее хватал за сердце. О чем пел жаворонок, взлетая высоко над лесом? Молодая сосенка была вся захвачена этой песней. Ей хотелось увидеть самого певца. Она задирала свою головку так, что шапочка ее слетела, и зеленые иголки разошлись, начали раскрываться, будто смеялись, услышав такую красивую песню. Прилетевший из-за пригорка тихий весенний ветерок не мог удержаться, чтобы не поцеловать молодую сосенку. Она от радости задрожала вся...

И что на свете милее тебя, пора молодой жизни, когда душа еще невинная и чистая, как утренняя майская роса!

Так входила в жизнь молодая сосенка, так встречала она каждое новое ее проявление. А каждый день, каждое мгновение незаметно отдаляли ее головку от земли и открывали ей новые и новые явления и картины окружающего мира.

2

Молодая сосенка имела уже добрых лет двенадцать и была довольно высоким деревом с пышной верхушкой, когда родился на свет Юрка.

Юрка хорошо помнит себя с того времени, как похоронили его маму, а до этого он еще мало что понимал. Он помнит, как она лежала с закрытыми глазами, как плакали в хате его тетки и бабка и как понесли ее в церковь. А куда она девалась потом, Юрка не знал. После он часто спрашивал у тетки Тарэсы, куда девалась мама, почему ее нет. Вначале его успокаивали, говорили, что мама пошла далеко-далеко, что она скоро вернется с гостинцем и что ей будет очень тяжело, если Юрка будет плакать.

Юрка слушал внимательно, заглядывал тетке в глаза — правду она говорит или обманывает — и расспрашивал о далеком крае, куда пошла мама, и какой она может принести гостинец. У Юрки, таким образом, сложилось в голове представление о том, где его мама: она была далеко — за тем пригорком, где начинался лес и где скрещивались дороги. Но дни шли, а мамы все

не было. Юрка несколько раз собирался идти на пригорок встречать маму, но всегда ему что-нибудь да мешало. Так и не знал Юрка наверное, куда пошла мама.

Временами ночью Юрка просыпался — холодно было ему. Старая дерюжка, под которой он спал, съезжала. Плачет бедное дитя сдавленным плачем, и страшно ему.

— Чего ты воешь там? — сердито спрашивал разбуженный отец.

Юрка затихал, но задержанные слезы капали ему на сердце, оседали на дне души, и образ мамы вставал тогда перед ним. Вспоминались ее слова:

«Не дурачься, Юрочка, будь хорошим мальчиком. Ведь я умру, и тебе будет горько-горько, сынок».

«А как ты умрешь, мама?»

«А вот лягу, вздохну раза два, закрою глаза и умру. Ведь ты любишь маму?»

«Люблю», — говорил Юрка и клал свою головку ей на грудь.

«Милое ты мое дитяtko, мой хороший мальчик!» И мама тяжело вздыхала, глаза ее туманились слезами, сухой кашель разрывал ей грудь.

Но Юрка ничего тогда не понимал. Ласка матери успокаивала его, и ему было хорошо.

...Этот день Юрка помнит ясно. Пошел он к тетке Тарэсе. Она любила своего племянника.

— Иди, детка, сюда, — позвала его тетка в каморку.

Юрка важно пошел за теткой, твердо ступая по холодной глинистой земле босыми черными ножками.

— На, выпей молочка, котик!

Юрка сел на пороге, снял шапку, взял в одну руку кружку с молоком, в другую ломоть хлеба и начал есть. Тетка стояла не вдалеке и смотрела на него. Выпив кружку молока и отложив недоеденный кусок хлеба, Юрка надвинул на голову шапку и собрался идти на улицу.

— А у тебя, Юрочка, опять будет мама.

Юрка повернул к тетке голову:

— Нет у меня мамы.

— Ну так будет, глупенький ты!

Юрка вопросительно глянул тетке в глаза.

— Та самая? — спросил он.

Такого вопроса тетка не ожидала и не знала, что ответить мальчику.

— Не надо мне другой мамы, — говорил тем временем Юрка, спускаясь с крыльца.

Тетка тихо покачала головой, потом склонила ее и поднесла фартук к глазам: жалко ей было мальчика.

...Юрка слышал, что отец его женится, но он не задумывался над этим; он никак не мог понять, что это за штука «женитьба».

В день свадьбы, когда молодые сидели за столом, отец подозвал мальчика, налил ему чарку горилки:

— На, выпей, Юрка.

Юрка взял чарку, попробовал и начал смаковать, поглядывая то на одного, то на другого. Гости смеялись.

— Горькая и вонючая,— сказал наконец Юрка и поставил чарку.

— Ну,— продолжал отец,— покажи, где твоя мама.

— Нету мамы,— сказал, не долго раздумывая, Юрка.

— Вот твоя мама,— показал отец на невесту.

— Это Параска Дятел, а не мама,— ответил Юрка, назвав мачеху по прозвищу.

Мачеха от стыда покраснела, а отец дернул Юрку за ухо:

— Надо мамой звать, а не Параской!

За что наказал его отец, Юрка так и не знал, он только почувствовал, что его обидели.

3

Познакомились они весной. Юрка целый день, как вор, скрывался в зарослях за селом, в густом лозняке на берегу речки, но везде донимал его страх, не давал нигде ему покоя. Если бы он знал это заранее, ни за что не сделал бы так. Лучше бы залез в огород к Симонихе и нащипал там луку, а не возился бы дома в кладовке, где искал еду и нечаянно опрокинул жбан молока. Такого страха не испытал Юрка ни разу за всю свою жизнь, как в то мгновение, когда опрокинул этот жбан. Все будто нарочно так приключилось. Кажется, и не прикоснулся к жбану, а он сам упал с полки и разбился на мелкие черепки. Юрка так перепугался, что не мог пошевелинуться, словно окаменел, и лишь потом, придя в себя, бросился удирать из дому куда глаза глядят. Не дай боже, чтоб застала его мачеха!.. А может быть, так оно было бы и лучше? Отдубасила бы сразу, и конец. Разве мало учила его уму-разуму мачеха? Не его ли это плач оглашал двор почти каждый день? Не он ли, униженный и оскорбленный, стиснув зубы, лежал на жесткой постельке, уткнувшись лицом в соломенную подушку, чтобы сдержать крик боли и слезы? Не его ли грудь сжигал огонь жалости к самому себе и невысказанной печали? А что будет теперь? Как вывернешься из этой беды?..

Чем больше раздумывал Юрка, тем все больше убеждался, что не следовало убегать из дому. И кто видел, что это он опрокинул жбан? Почему бы не мог опрокинуть его кот, серый их кот, лакомка? Свалить бы вину на кота, и делу конец. А теперь поздно. Домой возвращаться, как ни крути, нельзя.

Долго слонялся Юрка по полям, переходя из одного кустарника в другой, пока не вышел на пригорок, где росла молодая сосенка. И надо сказать правду: хорошее здесь местечко! Это и есть тот

пригорок, за который пошла его мама... Ах, как здесь красиво! А как ласково и приветливо греет солнышко! Весь пригорок желтел чистеньким песочком, нагретым солнцем. Не так далеко отсюда стоит их село. Церковь весело выглядывает из зеленого венка стройных липок и пышных березок своими высокими куполами. А самое главное — отсюда можно видеть все, что делается вокруг. Вон там кто-то пашет, медленно шагая за сохой; там пасутся овечки, и слышно, как кличут собак пастухи. Самого же Юрки не видно. Чтобы лучше рассмотреть всю околицу, Юрка влез на сосну. Ох, какая высота! Если бы еще залезть на столько, то, может быть, и эти тучки цеплялись бы за его голову. А как далеко все видно! Село совсем близко, даже можно пересчитать все колодцы. Юрка примостился на сосенке, усевшись на том месте, где главный ствол ее разделялся вверху на три ровных сука. От этих суков шли более тонкие сучья, от сучьев — веточки, и так они красиво разрастались, в таком шли порядке, такую славную сплетали верхушку, что, если бы и хотел придумать такую, не придумал бы.

Юрка залюбовался картинами, которые открывались перед ним. Понемногу он успокоился: страх и тревога затихали в детском сердце. Он смотрел на зеленые пригорки, на молодые всходы яровых. Над ним расстилалось синее небо. По небу плыли такие славные тучки... Откуда они взялись? Куда идут? Есть ли где у них пристанище на свете? Ветер прекратился. В воздухе сделалось тихо и душно. А из-за края земли, где небо как бы опускалось на землю, выплывали всё новые и новые тучки. Юрка смотрел на них и сам себе улыбался. Нет, что ни говори, а здесь хорошо!

И как это он не знал такой славной сосенки и этого милого пригорка? На что ни взгляни, все занимает и радует душу Юрки. Вот пролетел беленький мотылек, как чистая снежинка, блестя на солнце своими крылышками; а вот снуют малюсенькие мотылечки, красненькие, синенькие, желтенькие, будто собираются на бал — как красиво все убраны! Трещали полевые кузнечики; они мелькали в воздухе, высоко подскакивая и краснея своими крылышками. А в лесу, выбрав высокую старую сосну, сидел где-то неподалеку дрозд и пел. Но этот молодчик позволял себе лишнее — Юрке казалось, что дрозд насмехался над его бедой, высвистывая:

Откуда, мальчик? Из села?
Что натворил? Жбанок разбил!
Ага! Ага! Всыплют! Всыплют!
Воришка-а-а-а!

Юрка даже взглянул в ту сторону, где сидел дрозд. Так ясно выкладывал, шельма, всю Юркину провинность! Юрка тяжело вздохнул и глубоко задумался. Немного затихшее горе снова пробудилось в нем.

В поле начинало темнеть. Пастухи давно уже погнали стада домой, и последний хозяин покинул свою полосу. Птицы умолкли, даже дрозд перестал потешаться над Юркой. И страшно стало ему одному. А тут еще сильно есть захотелось. Что теперь делать? Неужто ночевать в лесу? Однако чем больше раздумывал Юрка, тем чаще посматривал на село. И наконец его осенила мысль — пойти к тетке Тарэсе и у нее заночевать. До села было не так далеко, и Юрка живо зашагал туда. Только уже на самой улице он остановился и пошел по загуменьям.

— Ну, Юрка, ты ужинал? — спросила тетка.

— Нет, — ответил Юрка и глянул на стол.

— Почему же ты не ужинал?

Юрка стоял и молчал, опустив глаза.

— А обедал ли хоть ты? — допытывалась тетка. — Может быть, и не обедал?

— Нет.

— И не обедал?!

Тут тетка уставилась на Юрку и некоторое время не спускала с него взгляда.

— Почему?

— Я не был дома.

— А где же ты был?

Юрка не отвечал.

— Может быть, били тебя?

— Нет, но, должно быть, будут бить.

Юрка удивлял тетку все больше и больше. Под конец она не выдержала и засмеялась:

— Не отколол ли ты какую-нибудь штуку?

Юрка начал смотреть в другую сторону, а затем сказал:

— Тетенька, как ты думаешь, можно ли за один раз съесть буханку хлеба?

Этим вопросом Юрка прервал теткино следствие; она тотчас же достала из печи чугунок.

Крапива со щавелем, первая весенняя еда, была очень вкусной, и Юрка уплетал ее с охотой, громко причмокивая и шмыгая носом. Во время еды Юрка сказал, что он домой не пойдет.

— Нет, Юрочка, так нельзя. Дома не знают, где ты, и будут тревожиться.

— А меня бить будут.

— Ну, не бойся: я пойду с тобой. Посиди немного, пока я управлюсь.

Тетка наводила порядок в хате, заканчивая свой трудовой женский день, и изредка перебрасывалась словечком с мальчиком.

Съев полмиски крапивы, Юрка совсем повеселел. Эта еда

словно опьянила его и развязала ему язык, который и без того не очень крепко был привязан.

— Ну, теперь признавайся, что ты сделал? — спросила тетка.

— Жбан опрокинул с молоком.

— Зачем же было проказничать?

— Я искал хлеба — есть хотелось.

Но все это теперь уже мало занимало Юрку, и мысли его шли совсем в другом направлении, поэтому он и сказал:

— Вот когда я буду хозяином, обязательно поставлю хату на том пригорке, где растет сосенка, а ты, тетка, придешь ко мне в гости... и мама, может быть, придет, — переменяя тон и глядя куда-то вдаль, говорил, как бы сам с собой, Юрка. — Тетя! Мама ведь умерла?

— Что, детка? — недослышала тетка.

— Мама умерла?

— Умерла, котик, — вздохнула она. И, помолчав, сказала: — Ну, теперь идем домой.

5

Сердце Юрки больно сжалось, как только тетка сказала ему про дом.

Уже смеркалось, когда они вошли во двор. Юрка крепко уцепился рукой за теткину юбку и переступил порог отцовской хаты.

— Добрый вечер! — сказала тетка.

— Добрый вечер!

— Ты где таскаешься, негодник? — спросил отец Юрку.

— Не кричи на него, Семка, он и так дрожит весь, как осина.

— Дрожит! — подхватила мачеха. — Небось знает, когда дрожать... Или тебе есть нечего, что ты везде лазишь? — обратилась мачеха к Юрке — Ну скажи, не даю тебе есть? Хлеба жалею? Чего молчишь?

— А что он тебе будет говорить? — снова заступилась тетка. Известно, дитя. Захочется есть, ну и пойдет шнырять. Но он больше не будет делать этого. Не будешь, Юрка, лазить, где не нужно? — спросила тетка.

Юрка сразу почувствовал, что самое страшное уже миновало, и настолько осмелел, что выпустил теткину юбку и твердо проговорил:

Не буду.

— Ну, вот видите: парень сам говорит, что будет послушным.

Одним ловом, тетка делала все, что от нее зависело, чтобы примирить родителей с Юркой, и домой пошла только тогда, когда вполне убедилась, что главная их злость прошла. Правда, мачеха еще долго бубнила и грозила Юрке, что пусть только он попадется ей в руки — она надолго отобьет у него охоту переворачивать

жбаны; говорила о том, какой плохой парень Юрка, не умеет ценить свою мачеху, а она смотрит за ним даже больше, чем за своей собственной маленькой Доротой: и обмывает его, и обшивает, и кормит, и чего только не делает для него. Если бы не она, Юрку давно бы съели вши.

Юрка молчал и только удивлялся, слушая, как крепко заботится о нем мачеха, и ушам своим не верил. Неужто он такой плохой? Ох ты, ох! Его так любят, так за ним ухаживают, а он жбаны опрокидывает. Но если его любят, то с какой же радости трещит его чуб? Почему же по его голове, как по бубну, лупит рука мачехи? А что сказать про... Э, да что там говорить, лучше не вспоминать об этом! Юрка только почесался и поплелся в свой уголок. Поправив постель, он свернулся калачиком, прижал голову к коленкам и скоро уснул.

Намучившись и нагоровавшись за день, Юрка спал крепко, но это не помешало ему увидеть во сне такие чудеса, что, если описать их, получилась бы целая книжка. И чего только ему не снилось! Видел он свой милый пригорок и сосенку на этом пригорке. Там он стоял, а вокруг было так хорошо, так славно, что ничего не хотелось, ни о чем не думалось, только душа радовалась и в сердце что-то пело.

6

Детские годы Юрки были безрадостными и бесприютными: их не согревала ласка матери. И в кругу других детей, своих сверстников, не мог найти он радости и общих интересов.

Не раз, бывало, в воскресенье вечером, когда родители возвращались с базара, накупив своим детям и обновок и разных гостинцев, с завистью поглядывал Юрка на радость товарищей, стоя в стороне от них, так как и дети делятся гостинцами только с теми, от кого сами могут получить их. По этой причине Юрка перестал водить компанию со своими товарищами и вынужден был играть сам с собой. Но и поиграть бедному мальчику было некогда: надо было нянчить маленькую Дороту, и каждую забаву, игру приходилось покупать ценой толчков и подзатыльников.

Юрка рос заброшенным мальчиком, а если ему и выпадали светлые минуты в жизни, за них он должен был сказать спасибо своей тетке Тарэсе. Правда, тетка была бедная, ей самой не хватало хлеба, но все же она делала все, что могла, чтобы хоть как-нибудь облегчить судьбу своего племянника. Из-за него она поссорилась с мачехой Юрки и со своим братом, его отцом, и перестала заходить к ним в хату. В праздничные дни тетка иногда брала Юрку с собой в лес собирать разные целебные травы — она была немного лекаркой. Эти прогулки в лес были для Юрки настоящим праздником. Пока дойдут до леса, наговорятся вдоволь. А Юрку

многое интересовало. Тетка объясняла, как могла, разные явления окружающего мира и не раз говорила Юрке:

— Вырастешь, бог даст, будешь обязательно ученым, самое меньшее — учителем будешь.

В лесу тетка рассказывала ему, какое зелье для какой надобности служит, от какой болезни или раны помогает та или другая трава, и познакомила Юрку с разными цветами: язвенником, горлянкой, румянкой, чебрецом, лесной мятой, с корнями диких растений, которыми прежде питались люди, с дудником и со многими другими растениями. А заболят ноги, усядутся они отдохнуть и немного поесть.

Тетка Тарэса была для Юрки защитой, опорой. Кроме того, у Юрки был свой, особый мир, который находился в нем самом. То был мир образов, чувств и разных мыслей, где он был полным хозяином. Любил также Юрка размышлять наедине с самим собой, забравшись куда-нибудь, где его никто не мог потревожить. Таким местом был теперь пригорок, а сосенка стала его лучшим другом. Словно вор, пробирался Юрка из дома, прячась от мачехи и от людей, тихонько брел межами среди овсов или ячменей на полянку, а оттуда к своему любимому пригорку и другу — сосенке. Залезет порой на сосенку и сидит целыми часами, размышляет. Сосенка, казалось ему, шумела веселей: это она, наверное, говорила ему что-то на своем языке.

Юрка начинал прислушиваться к ее шуму. В эту непонятную людям речь вкладывал Юрка свои мысли, свое сердце и душу и принимал их от сосенки не как творения собственной фантазии, а как подлинные слова деревца и удивлялся. Потом сам начинал рассказывать разные истории, а чтобы еще больше порадовать сосенку, Юрка показывал ей, как блеют овечки, как поет петух, — одним словом, знакомил сосенку с языком разных животных.

7

— Нет, тетенька, я не выздоровею.

— Да что ты, котик! Полежишь и, даст бог, встанешь. Покажи свою головку.

Юрка повернулся на спину, а тетка положила руку на его лоб.

— Есть жар, но ничего, огурчик ты мой бедненький, выздоровеешь.

Тетка Тарэса присела возле больного и с материнской лаской старалась развлечь его, прогнать недобрые мысли. Но Юрка был спокоен: он знал, что уже не выздоровеет. Тетка, слушая слова маленького племянника и видя его покорность смерти, изнывала от жалости. А может быть, ему и лучше умереть, чем такая сиротская доля?

— Неужто ты, соколик, не хочешь жить, если говоришь, что не выздоровеешь? — спросила тетка.

Она наклонилась над Юркой и начала целовать его, а слезы, как град, полились на лицо мальчика.

— Тетя! Ты плачешь? Ты меня жалеешь?

— Не говори ты, золотце мое, о смерти, не думай о ней: не минет она никого из нас. Тебе еще жить надо, глупенький ты! Вот я тебе целебной травки напарила, той самой, которую мы с тобой, помнишь, собирали в березовом лесу.

Глазки у Юрки повеселели, на губах заблуждала улыбка: ему приятно было вспомнить, как ходили они с теткой собирать травы.

Юрка охотно взял из рук тетки горшочек и напился.

— Вот посмотришь, здоровенький будешь, — любовно сказала тетка.

Юрка от природы был хилый мальчик, а недавно он простудился и заболел. Ухода за ним не было никакого, если не считать того, что время от времени забежит к нему тетка и полечит своими травами. День за днем угасал Юрка, как маленькая керосиновая лампа, которой недостает керосина. В первые дни болезни ему было тяжело. Пока были силы подниматься на ноги, он слонялся хоть по двору. Очень скучал мальчик вначале и без своей сосенки. Если бы имел крылья, кажется, полетел бы туда дышать тем свежим и здоровым воздухом, которого так не хватало здесь. Бывало, когда имел он еще немного сил, поднимется, подойдет к окну. Видит, на улице играют дети, здоровые, веселые, только он, Юрка, как пасынок, выглядывает из душной и тесной хаты. Что чувствовал тогда этот заброшенный ребенок?

— Знаешь, тетка, кого мне еще жалко?

— Кого, рыбка?

— Мне жалко сосенку... Я умру, она будет стоять там одна, и кто-нибудь другой будет слушать ее говор-рассказ...

— Срубили, котик, ту сосенку. Вот уже неделя, как срубили! — горестно проговорила тетка.

— Срубили, срубили? — взволнованно спросил Юрка.

Мальчик замолчал. Потом взял он теткину руку и долго-долго держал ее, приложив к губам, и горячие слезы полились на нее. Через несколько минут Юрка начал бредить, метаться в горячке, в бреду. Вспоминал он и маму, и тетку, и сосенку; даже про жбан сказал что-то мальчик. Немного погодя успокоился и больше не приходил в себя.

За селом на пригорке прибавилась еще могилка. Это похоронили маленького Юрку. Над его могилой стоит крест. Его поставила тетка Тарэса.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

1

Ивась никому не завидовал, может быть, потому, что был он еще совсем маленький и мало знал жизнь. Как бы там ни было, но нынешнюю свою долю не променял бы Ивась на долю панского сына, хотя сам он был только сыном будочника.

Будка их одиноко стояла в поле, возле самого леса, через который ровно и размашисто пролегала железная дорога. Небольшой дворик их был огорожен красивым частоколом. Под оконцем, выходящим в сторону железной дороги, красовались пышные маки, а на небольшой грядке топорщил свои длинные перья зеленый лук.

Во дворе, возле самой будки, стоял высокий, гладкий дубовый пенек с ровно обрезанным верхом. В праздничные дни, в хорошую погоду семья будочника пила здесь чай. Высокий, развесистый дуб простирали свои толстые ветви над двориком будочника, скрывая зеленую мураву от горячего солнца.

Ивась рос один. Кроме кур, петуха и собаки Жучки, у него не было друзей. Зато никто другой не знал так хорошо красоту летнего утра в поле, как Ивась. Кому, кроме него, известен был тихий шепот старого леса на закате солнца? Кто лучше понимал птичий говор? А разве это маленькое удовольствие — послушать, как квакают лягушки в зеленом болоте? Сам Ивась признавался в душе, что такого красивого уголка не найдешь нигде на свете... А железная дорога?

Нет, чтобы почувствовать всю эту красоту, ощутить все чары железной дороги, которая проходит здесь, нужно видеть ее своими глазами, нужно полюбоваться ею в ясный весенний либо летний денек. Ровная, как струна, длинная — глазом не окинуть, — рассекла она, разделила лес на две половины, и кто ее знает, куда она девается, выскочив из лесу! Ивасю очень хотелось пуститься в путешествие, посмотреть, что скрывается там, за лесом, над которым всегда висит синеватая дымка, только это ему никак не удавалось. Признаться, он немного побаивался далеко отходить от дома.

Была еще одна причина его любви к железной дороге. Ивась никогда не упускал случая встретить пассажирский поезд: сколько раз добрые люди бросали Ивасю из окон вагона то кусочки сахара, то конфетки, то пустые коробочки, что очень радовало маленького Ивася и делало его прямо-таки счастливым.

Ивась не имел еще своего дела в жизни и был свободным, как ветер полей, среди которых он вырос. Часто бегал он на чугунку посмотреть, как его отец подметает, чистит полотно железной дороги, как пробует, крепко ли сидят гайки. Все это занимало Ивася, и он так углублялся в отцовскую работу, что забывал даже про свой нос.

— А зачем ты подкручиваешь эти гайки? — спрашивал Ивась отца.

— Чтобы рельсы крепче держались, — отвечал отец. — Будут плохо завернуты — поезд может сойти с рельсов, случится несчастье — люди погибнут.

Ивась сразу же начинал думать о том, что было бы, если бы поезд сошел с рельсов. Кожа его холодела, мурашки пробегали по телу от этих мыслей, и он еще внимательнее следил за тем, все ли гайки проверены, а если видел, что отец пропустил какую-нибудь, сейчас же показывал ему.

— Ишь ты, мастер дорожный! — говорил отец и, чтобы сделать приятное сыну, пробовал гайку. — Если бы не ты, было бы крушение, — шутил отец.

А Ивась думал, что это правда, и от радости земли под собой не чуял.

2

Новую жизнь, новые мысли принесла с собой война. Ивась никак не мог представить себе, что это за вещь такая война. Только потом, по мере того как он прислушивался к разговорам старших, в нем начал складываться страшный образ войны. Война, в мыслях Ивася, — нечто существующее отдельно, независимо от воли людской. Это была страшная женщина, которая скитается по свету, и где ступит ее нога, там возникают пожары, рушатся дома. Вокруг нее гибнут люди и рекою течет человеческая кровь. Эту лютую бабу-войну выпустили на свет немцы; за это наши солдаты и идут на немцев. Сначала им нужно победить своих врагов, а потом уже поймать страшную женщину и запереть ее в такой глубокий колодец, откуда она не вылезет. Тогда и наступит на свете покой.

Ивась каждый день видел, как катили один за другим поезда с солдатами. Откуда только брались солдаты? Загорелые, здоровенные, казалось, никогда не знали они горя и беды: в каждом поезде гремела гармошка, веселые, дружные песни заглушали шум вагонных колес; крепкие солдатские ноги неохотно стояли на месте — то здесь, то там готовы они были пуститься в залихватский пляс, и только недостаток места сдерживал их порывы. Все это сильно захватывало Ивася. Поезд с солдатами отдалялся, уменьшался и наконец совсем пропадал вдали, в том лесу, куда убегала и сама железная дорога. А Ивась стоял, мысли-образы вереницей проносились в его маленькой головке и волновали сердце еще неведомыми желаниями. Ему хотелось самому стать солдатом и ехать в эту красивую, неведомую даль, которая так сильно влекла к себе сердце Ивася. Ивась видел, как на длинных платформах везли пушки на огромных колесах. Глядя на все это, Ивась не так боялся войны, и она казалась ему даже веселой.

— И куда они едут? — спрашивал Ивась у отца.

— На войну, — коротко отвечал отец и вздыхал.

— А почему их так много?

— Много? И врагов много, сынок.

— Ну а что они начнут делать, когда сойдутся все?

— Воевать будут.

— А как будут воевать?

— Как воевать будут? — переспрашивал отец и разгибал спину — он чистил и подметал полотно железной дороги. — А вот как: немцы и австрияки будут нажимать на наших, наши — на них. Начнут жарить из пушек друг в друга, из винтовок и пулеметов и будут все сходитьсь, а когда сойдутся, начнут колотиться штыками — вот так!

Тут отец нацелился метлой в Ивася, словно собирался пронзить его. Ивась слушал, раскрыв рот.

— А им больно? — спросил Ивась.

— Кому?

— Тем, что вот так бьются.

— Всякое, сынок, бывает: кого ранят, тому больно, а насмерть убьют — ничего и не почувствуешь.

— А я не бился бы.

— Как так — не бился бы? Ежели ты солдат, то должен воевать, сынок.

И новые мысли начинали шевелиться в голове Ивася. Теперь ему становилось немного ясней, почему среди солдат попадались и такие, на чьих лицах отражались печаль и горе. Должно быть, есть от чего запечалиться, загрустить человеку! И еще: видел Ивась, как с другой стороны, из-за неведомого леса, шли другие поезда с вагонами, на которых были большие красные кресты. Тихо было в этих поездах, неподвижно лежали там раненые солдаты. А мать каждый раз, глядя на эти вагоны, тяжело-тяжело вздыхала, приговаривая:

— О боже, боже! Сколько гибнет людей! Сколько калек!

3

Время от времени маленький Ивась делал обход своих любимых уголков, а было их здесь немало. Выйдет утречком из будки во двор, примостится где-нибудь в уголке на солнышке, притихнет, задумается, прислушивается к тем радостным звукам и шуму, какими живет этот вольный белый свет, или просто радуется красоте летнего дня, и какое-то неясное желание потянет его со двора на тот простор, где природа создает чудеса жизни.

За небольшим полем высился лес. Он начинался чередой высоких и ровных дубов; немного поодаль от железной дороги дубы смешивались с толстыми, старыми елями. Казалось, какой-

то лесной царь нарочно выбрал их из всего леса — такие они были высокие, стройные, гладкие, а макушки их прямо загляденье: одна к одной словно пышные шапки. Дальше, вдоль поля, тянулся густой невысокий ельник, среди которого кое-где покачивали свои красивые верхушки старые ели. В этом ельнике было много глубоких, заросших травой ям.

Ученые люди, приходившие сюда из города погулять — город был не так далеко, — говорили, что эти ямы — следы глубокой древности. Это старинные окопы. Простые люди говорили про эти ямы другое. Селяне утверждали, что тут не так давно был винокуренный завод и в эти ямы закапывали картошку. Ивася не так интересовал этот спор ученых с неучеными, как сами ямы, которые давно уже покрылись дерном; там росли кустики красивого бледно-зеленого сивца, маленькие голубые цветочки и так много было кузнечиков и разных жучков! А самое главное — возле ям, под развесистыми елочками, росло много хороших грибов, о которых знал только один Ивась. И часто маленький Ивась, взяв с собой кузовок и ломоть хлеба, прибегал сюда погулять, посмотреть на башни церквей и костелов — они были отсюда хорошо видны, — на старый монастырь, самый высокий во всем городе, на трубы фабрик и заводов. Сюда подходили ровненькие и узкие полоски ржи и ячменя; здесь же на разные лады разливались птичьи песни, звенели мушки и блестящие жучки. Ивась так углублялся во все это, так сливался с жизнью поля, леса и всего этого белого света, что, вероятно, был ближе к познанию тайны его бытия, чем какой-нибудь ученый.

Возле ям высился крутой холм, с которого было далеко-далеко видно.

Ивась часто взбегал сюда, чтобы посмотреть, что творится вокруг.

Было это под осень. Ивась стоял на холмике. Он прислушивался к тишине, словно она должна была что-то открыть ему. Вдруг до его чуткого слуха донесся какой-то далекий гул, похожий на раскаты грома. Но небо было чистое, ясное, лишь кое-где его синева скрывалась за тонкими завесами светлых тучек.

В поле и в лесу было тихо, только вверху жалобно посвистывал коршун. Среди этой тишины свист его казался особенно печальным. А гром все продолжал звучать, но раскаты его были такими глухими и далекими, что их едва было слышно.

Ивась не знал, что такое гром, но ему стало не по себе, и какая-то неясная тревога всколыхнула его душу.

Но что это? Откуда этот странный гул? Ничего подобного никогда не слышал Ивась. Гул был густой, могучий и все нарастал, но трудно было понять, откуда он исходил. Ивась озирался по сторонам, а гул не прекращался и назойливо лез в уши. Вскинув голову, увидел Ивась, как высоко над ним летела неведомая птица. Но разве есть на земле такие птицы? Нет, это, наверное, змей.

Ивася охватил страх. Змей сделал в воздухе круг, немного спустился ниже. Визззз! — загудело вверху, и сразу же недалеко от железной дороги послышался сильный взрыв, словно ударил гром. Земля содрогнулась, эхо раскатами полетело по лесу, словно это хохотал змей своим страшным хохотом.

Бедный Ивась так перепугался, что прижался к елочке и весь задрожал.

Снова засвистело что-то в воздухе. Ивась невольно закрыл лицо руками. Новый взрыв был еще громче, сильнее, и черный, густой дым повалил со стороны будки.

С плачем бросился Ивась домой. Будка была охвачена пламенем. Огненные языки лизали ее крышу, вырывались из окон и, словно ужи, извиваясь, ползли по стенам.

А где же отец? Почему не видно матери? Где они? Почему не спасают добро?

— Мама, мамочка! Тата! — заголосил Ивась, заломив ручонки.

Но ни мать, ни отец не вышли на его жалобный зов.

— Ой, мамочка! Ой, таточка! — голосил несчастный мальчик.

В великом горе упал он на землю, бился о нее и царапал пальцами серый песок. И никто не откликнулся на его горе, только развесистый дуб с обгоревшим стволом и почерневшими листьями глядел так угрюмо и печально, словно ему было близко несчастье бедного сиротки.



Змитрок Бядуля НА РОЖДЕСТВО К СЫНУ

Тучи неслись над лесом.

Разные по цвету и очертаниям, они то и дело охватывали небо и рисовали чудесные картинки к таинственным сказкам столетнего леса.

Днем были светло-алыми, а по ночам их серебрил месяц.

Чего-чего только в них тогда не виделось!

Города с чудесными замками, горы, острова, озера, огненные звери, процессии святых в белых одеждах, неисчислимые легионы воинов на конях...

А внизу лес вел извечные беседы... Порой шептал тихо-тихо, и только какой-то звук, словно отголосок далекого колокольного звона, доносился из черных лесных глубин. Порой он бывал немым, таким мертво немым и спокойным, будто прислушивался к тайным подземным голосам. На тучи и лес любила смотреть старая Тэкля, вдова покойного Ципрукá, лесника у пана Щубальского.

Жила Тэкля одиноко в старой хатке, на пригорке у леса, ходила на поденщину, боком-скоком, туда-сюда, но кое-как кормилась. Пан не выгнал ее из полуразвалившейся хаты, хотя после смерти Ципрука наняли другого лесника, — для него выстроили новый дом.

Тэкля частенько заходила к соседям — уж очень разговорчивая бабка была, но любила и одна посидеть на завалинке, свою думу подумать.

Она долго-долго смотрела на дремучий лес, на седые тучи, и старые глаза заволакивала грусть: давние воспоминания, как тени, падали на душу, пролетевшие годы рисовались ясно, живо, будто все и сейчас стоит перед глазами... Очень-то жалеть прошлое время не за что: помнит она еще и теперь побои и ругань пьяницы Ципрука.

Зато есть одна утеха, которая заживляет раны, одна надежда — Лавручóк, сын единственный. Вот кто пригрет на ее груди, как воробей в теплом гнезде...

Любила она посидеть на завалинке да поглядеть старыми глазами на темный лес, на бесконечные тучи.

Всю жизнь была она забитой и загнанной, и, если даже выпадали редкие минуты радости, глаза не оставляло выражение вечной печали.

Думала о сыне, который живет в большом городе, думала и утешалась...

Живет он себе там, как люди говорят, барином...

Лавручок еще мальчонкой лет десяти приглянулся пану Щубальскому за пригожее лицо и острый ум. Бездетный пан забрал его к себе, одел по-барски и, подучив, отдал в городскую гимназию.

В письмах к пану вспоминал Лавручок порой и родителей. От гордости и радости они просто не знали, что и делать.

Шутка ли — этаким удалой сын! Когда он впервые на рождество приехал из города к пану, Ципрук и Тэкля тотчас примчались в панскую усадьбу и долго-долго простояли на кухне, пока сынок не соблаговолил выйти к ним. Счастью их конца не было, как увидели его в черной суконной одежде с блестящими пуговицами, — заседатель, да и только! Правда, когда мать бросилась обнимать и целовать сыночка, он немного застыдился и отвернулся.

Опанел, — с гордостью сказала потом мать, — вежливый стал и говорит по-барски!

Эх! вздохнул отец. — Радуетесь, что и он паном будет. Смотри, уж он посмеивается над нашим разговором, да и над нами. Не очень-то мне это все нравится...

Но мать не обращала на это никакого внимания. Слепо радовалась, хвасталась перед соседями. Вскоре пан совсем уехал отсюда. С того времени родители не видели больше Лавручка...

Тем временем Лаврук учился да учился, а как кончил гимназию, барин отправил его в университет.

Родителям он никогда не писал ни строчки, но барин, хоть и сдал имение в аренду, все-таки ежегодно наезжал сюда и рассказывал, что Лаврук учится на адвоката.

Утешалась мать:

— Вот будет подмога к старости!

Ципрук на это частенько говорил:

— Эх, глупая ты овца: его подмогу сорока хвостом заметет. Жди от него под старость утешения, как от рябой сучки яичек!

— Замолчи уж! Старый — как малый!

— А ты, брат баба, вовсе глупая овца! Иль не видишь, что твой Лавручок совсем чужим для нас стал с того часа, как попал под барскую опеку. Нет! Что-то не радует он меня...

Помер Ципрук.

Старая Тэкля осталась одна, и еще больше потянуло ее к сыну. Ведь он был ее единственным сокровищем. Материнское сердце открыло все тайники своей безграничной любви.

Оставаясь одна, она всегда думала о сыне. Соседкам говорила, что сынок такой и этакий, расхваливала его на все лады.

И лакомой казалась ей сухая корочка, да и без хлеба тоже было не худо.

«Эх,— думала она,— чего уж там... только бы захотела, так у Лавручка своего вон как зажила бы!.. Только б захотеть!»

— Эх, Тэкля, Тэкля,— говорили часто соседки,— поехала бы к сыну в город! Или тебе этак и век свой доживать? Ты ж одна, как пенек на вырубке.

— Не беда,— отвечала она,— только бы захотеть! Мой Лавручок такой богатый, люди говорят, богаче самого пана Щубальского! Только бы захотеть!

Прошло еще два года. Стала Тэкля сухой, низенькой, сгорбленной старушонкой, морщинистой, как перестоявший гриб.

— Вот дурная! — говорили люди.— Такой у нее богатый сын, а сама перебивается невеста как и где!

Подошло рождество. Снег укрыл все вокруг... Деревни занесло сугробами, словно сказочные замки. А лес стоял седой, важный.

— Последнее рождество справляю: совсем уж плоха стала...

Не хотелось Тэкле одной оставаться на лесной опушке и под волчий вой сочельник справлять.

И, будто горячие угли, прикрытые пеплом, разжигала она в сердце тайные мечты, глубокую веру в дорогого сыночка...

«Дай,— думала,— отправлюсь к сыну... ведь еле-еле до весны дотяну... Много докучать ему не буду, где уж ему там хлопотать обо мне, да и жаль его...»

— Пойду к сыну! — растрезвонила она по всей округе и столько намолола языком, что соседей прямо зависть разобрала: шутка ли, этакий сын! Он там в судах важный заседатель, бумаги

пишет и весь свет прямо-таки вверх ногами переворачивает.

Вскинула Тэкля котомочку на плечи, пару лаптей про запас взяла, распрощалась с бабами и пустилась в дорогу.

До города было верст тридцать.

Выбралась спозаранку на снежное поле.

«Сказывали, он там женился на богатой барышне, наверно, уж и внуки-пострелята есть».

На морщинистом лице сияла счастливая улыбка.

Она сдвинула съехавший на глаза толстый платок, чтобы разглядеть, много ли прошла.

«Ага! И не думала, не гадала. Ноги сами тащат меня, как будто тридцать лет назад, и мороза-то не боюсь!»

И еще стремительнее несли старые ноги к родному сыну на рождество...

И росло счастье... Вот когда сбудутся мечты! Вот когда заживет она, как сыр в масле будет кататься!

«Глупости покойный Ципрук молот... Как это он меня не примет? Я ж — его мать!.. Я ж его выхаживала-кормила... Он ведь — вся утеха моя».

Кончился день. Тэкля заночевала в незнакомой деревне. Добрые люди накормили и обогрели. Она всем рассказывала, что идет на рождество к сыну, и таким тоном, с такой счастливой уверенностью, что крестьяне с особым уважением посматривали на нее да упрашивали, чтоб она там у сына заступы просила в судах...

Ранехонько снова двинулась в дорогу. Скрипел снег под ногами. Белые просторы полей дремали в немой тишине...

Редко-редко где-нибудь на сосне закаркает ворона да, взлетая, стряхнет с ветвей большие комья снега...

Редко-редко фурманка* покажется из лесу. Возница в сермяге понукает кобылку на все лады, упрется в оглоблю, понатужится — и ни с места. Тяжел воз с дровами!

Редко-редко когда колокольчик зазвенит и барские санки вихрем пронесутся по немому белому большаку...

Тэкля идет да идет...

Уморились старые ноги... Стоптанные лапти как колоды стали, тяжелые и твердые. Ничего, город близко.

Издаലെка видать колокольни костелов и церквей, отливающие в небе золотом куполов... Вот и дома разных фасонов... Вот и шум города доходит до ее ушей... Скоро сбудется ее последнее желание... В старых глазах блеснул радостный огонек...

«Ничего, у сыночка отдохну. Старые кости расправлю!..»

Вот потянулись темные улицы шумного города. Тут Тэкля совсем сбилась с толку. Не знала, куда повернуть, у кого допроситься. Люди спешат, толкаются. Извозчик чуть не наехал на нее. Страшно...

Отважилась она спросить одного, другого, где здесь сын живет. Он тут «аблакато́м»... Лавруком зовут...

Кто пошутил да поглядел на нее, как на придурковатую... Кто отвернулся да пошел своей дорогой, а кто с жалостью сунул в руку копеечку... Наконец довели ее до городского. Тот расспросил старушонку и, не добившись толку, отвел в участок. Там она и переночевала, голодная, замерзшая. На завтра, дознавшись, кто ее сын, отвели к нему.

Стучала, стучала она в дверь, пока кто-то открыл, высунулся наполовину, посмотрел на нее и крикнул:

— Уходи, уходи! Конца нету побирушкам этим!

— Пустите... Я к сыну своему иду, к Лавруку!

— К Лавруку?! К сыну? К Лаврентию Куприяновичу?!

— Ага! Ага! Мать я его.

Тот оглядел ее с ног до головы — а она все рассказывала, что пришла из деревни на рождество к Лавруку, — и с усмешкой пустил в кухню.

Собрались слуги и принялись шушукаться да расспрашивать. Открылись двери с другой стороны, и вошел молодой пан в черном сюртуке...

— Лавручок мой! Сынок! — точно сумасшедшая бросилась к нему Тэкля. — Роднень...

Он вдруг покраснел, взглянул на слуг и хрипло крикнул:

— Зачем пускаете в дом всяких шальных побирушек? Иди! Иди! — обратился он к матери глухо, отрывисто. — Уходи, старушка! Я тебя... не знаю...

— А-а, сынок мой, а-а, Лавручок ты мой! Матушки своей не признаешь?! Это ж...

Он хлопнул дверью и ушел в комнаты...

Тот же лакей выпроводил ее за дверь...

Как сошла с крашеных ступеней, как очутилась на шумном тротуаре у ворот, Тэкля не помнила, пришла в себя, только когда тот же самый лакей снова вышел к ней и ткнул в скрюченные от холода пальцы какие-то бумажки...

— От пана!..

Она даже не почувствовала, как из окоченевших пальцев выпал подарок родного, долгожданного сына. Несколько трехрублевых прилипло к мокрому тротуару...

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА

Хозяин ты мой, хозяин ты мой! — упрекала Микитиха восьмилетнего сына Степанку. — У тебя в голове одни игрушки: лошадки, человечки, собачки, деревца да другие пустяки. Кроме этих глупостей, ничего и знать не хочешь. Неведомо, как твой батя горемычный там на войне, жив ли, здоров ли, а ты в хате всякой

чепухой забавляешься. Лучше трушанки* для Подласки натряс бы или соломы в хлеву подостлал, а то коровка, бедная, стоит в навозе, ровно в пруду. Хозяин ты мой, хозяин ты мой,— жалобно причитала Микитиха. Но, увидев, что это все равно не помогает и Степан не перестает пачкаться угольками, тяжело вздохнула и снова взялась за работу.

Семья Микиты — самая бедная в деревеньке Запушники. Хата его была, правда, новенькая, потому что Микита недавно ее построил, но хозяин ушел на войну и оставил ее незаконченной: без пола и половины крыши. Зимой Микитиха натерпелась холода, но ее единственного сына Степанку это нисколько не заботило. Он все время занимался и занимается пачкотней, из-за которой уже немало претерпел за свою коротенькую жизнь.

В горемычной крестьянской хатке проза жизни не уживается с поэзией. Между ними постоянно происходят болезненные столкновения. Две эти противоположные стороны человеческой натуры редко уступают друг другу, и человек, родившийся под созвездием муз, немало терпит от того, что его окружает. Все его высмеивают, считают недоумком.

Мальчик из-за того, что все пачкал угольками, был известен в Запушниках под кличкой Степанка Пачкун. Тяга к рисованию появилась у него с четырех лет. Чуть ли не все стены и заборы в деревне разукрашены его рукой. Тут и лошадки, и люди, и собачки, и хатки, и леса, и крестики, и всякие другие штучки. И когда кто-нибудь из хозяев ловил его за этим занятием, нещадно драл за уши.

Степанка был истинным страстотерпцем искусства. Если бы люди захотели составить новый календарь великомучеников, Степанка попал бы туда, наверное, одним из первых. Но чем больше отучали его от этой страсти, тем больше она им овладевала. Он отыскивал камешки и травы, которыми можно было красить, а если не находил, что изрисовать, то раскрашивал свои ладони.

Все в деревеньке считали Степанку дурачком. И Микита с женой жаловались на него.

Соседи утешали:

Еще неизвестно, что из него выйдет. Может, подрастет и возьмется за ум.

Когда мальчику минуло семь лет, его послали в школу. Сначала он пережил там безгранично счастливые минуты.

Безмерна была радость Степанки: учитель выдал книжку с людьми, зверями и разными другими увлекательными картинками, а отец купил в местечке бумаги, чернил и ручку. Теперь перед мальчиком открылся неисчерпаемый клад рисунков и красок...

Вернулся Степанка домой из школы и в один вечер успел изрисовать всю бумагу и книжку, израсходовав на это все чернила до последней капельки.

Назавтра это обнаружил учитель и основательно выдрал Сте-

панку за нос, уши и чуб, да вдобавок поставил голыми коленками на колючий зернистый песок.

После такого сурового наказания учитель дал новую книжку и бумагу, уверенный, что теперь уж мальчик никаких фокусов не выкинет.

Через несколько дней, однако, все повторилось. На этот раз Степанка Пачкун получил свое и от учителя и от родителей. После такого ада мальчик несколько недель проболел. Учиться он перестал, и к весне его отдали в пастухи. И здесь он умудрился бог знает что натворить! Погнал раз стадо на выгон, уселся на осыпи и давай карандашом рисовать, а скотина тем временем зашла в рожь и потравила ее. Хозяин отменно попотчевал за это Степанку кнутом и выгнал.

Все лето бродил Степанка Пачкун вольный, как птица. День-деньской таскался он по лесам-полям один-одинешенек, охваченный своими мечтами-думами. А мечтами и думами его были краски, без которых он не мог жить. Краски оставались для него непостижимой тайной, хотя он видел их везде — в дремлющем лесе, в тучах на лазурном небе, в звездах, в цветах, в ставке* и в синих глубоких глазах, которые глядели на него из воды, куда он порой смотрел, как в зеркало.

Конца-краю нет краскам на свете. Они околдовали его, и, зачарованный, ходил он от восхода до захода солнца. Любовался он ими на ниве с золотистыми колосьями, когда лучи солнца переливались под ветерком на волнах хлеба, увлекали его пожелтевшая гречка на пригорке, овес в лощине, сенокос, и далекие хатки, и осенний лес, и мгlistая даль. Краски сказывали ему свои сказы, пели свои песни...

Мальчик жмурил глаза и сквозь тоненькие пальцы всматривался в простор. Ему казалось, что он держит в руке огромную картину, нарисованную им самим. Ему казалось, что весь мир — это сочетание красок: все состоит из них — небо, земля, живые существа, вода и воздух. Нужно только передать эти краски на бумаге.

А сколько неуловимых красок на лице человека! Как увлекали они мальчика! Он, бывало, нарочно злил мать, чтобы поглядеть, как блещут гневные глаза, как морщится лицо, как переливаются в светотенях складки ее одежды, когда она, разъярившись, пускается за ним вдогонку, чтобы всыпать как следует.

Ночью, укладываясь спать, он тоже думал о красках. И все окружающее, до последней мелочи, как живое проходило в его голове. Все ярко запечатлевалось в памяти, и, кажется, было бы только чем — сразу бы все и нарисовал...

Частенько ходил он к тетке Тэкле посмотреть на «святые» образа, украшавшие черные стены хатки. Ведь в родительском доме был только один образ, давно почерневший от дыма и копти, так что на нем ничего и не разглядишь.

Тетка Тэкля очень набожная. Каждый раз, побывав на ярмарке в местечке, она накупала икон — разных: больших и маленьких. На стенах ее хаты красовались святые с беленькими овечками. Георгий Победоносец на белом коне поражал змея. Было несколько «маток божьих» с маленьким Иисусиком, окруженных ангелочками. Были цари со всего света, лубочные картинки, зарисовки китайской войны и разные другие.

У Степанки Пачкуна глаза разбегались, когда он смотрел на все это богатство. Тетка Тэкля всегда выгоняла его из хаты, побаиваясь, чтобы он чего-нибудь не стянул. Она примечала, что Степанка поглядывает на образа, как волк на овец. Ведь у мальчика никогда не было ни одной такой картинки.

Заехал однажды к ним в гости дядька-солдат. Он подарил Степанке блестящую баночку из-под ваксы для сапог. На баночке красовался маленький черненький человечек со щеткой в руках, а около человечка — огромный, втрое больше его самого, сапог.

Степанка покосился было на такое чудо искусства, но эта штучка, став его собственностью, ослепила глаза, затуманила ум, и ему показалось, что на свете нет ничего прекраснее.

«Вот когда я могу научиться хорошо нарисовать человека и сапог», — думал он.

Человек-бесенок и сапог-великан бесконечно радовали его. Человечек мог бы весь спрятаться в сапог, так что даже и шапки его не увидишь.

Побежал счастливый Степанка на ток со своей баночкой, от которой глаз оторвать не мог. Особенно радовало его, что уж это сокровище никто не отберет.

Уселся мальчик на старой телеге и давай любоваться маленьким человечком с огромным сапожищем. Так пристально смотрел, словно заморозить хотел человечка, но человечек сам завораживал его. Человечек на баночке был для Степанки светлым гостем из неведомого мира, который явился, чтобы поведать ему все тайны красок; он принес Степанке то истинное счастье, которое не покупается ни за какие богатства на свете.

Он произвел такое впечатление на мальчика, что Степанка даже исповедоваться перед ним стал; вспомнил все грехи свои: как родителей огорчал, как угольком все пачкал, — все, все маленькие грешки, коловшие, будто острой булавкой сердце Степанки... «Я новым человеком становлюсь, — думал он. — Но ведь придется и разлучиться когда-нибудь с этим человечком, — размышлял он при этом, — помереть придется на старости лет». И такая жалость наполнила душу Степанки из-за того, что он не вечен, не бессмертен, даже слезы градом посыпались из глаз. Но тут какой-то туман охватил его, голова закружилась, и человек на баночке вырос в настоящего великана, сапог стал огромным, как хата, а баночка в самое небо уперлась. Страх охватил мальчика.

«Не пугайся! — сказал человек с баночки Степанке Пачку-

ну.— Я уже давно хотел прийти к тебе, потому что очень тебя жалею и люблю. Ступай в сапог — это мой дворец. Там я тебе расскажу о многом».

И человек повел Степанку в свой дворец.

Чего-чего только Степанка там не увидел! Какие убранные покои, ровно у богатой барыни из ближнего фольварка* возле Запушников. Какие лампы, зеркала, столики, кресла, игрушки, статуи, образа, золото, серебро, дорогие многоцветные ткани. Мальчик глядел и наглядеться не мог.

А человек водит его по всем комнатам, показывает свои неисчислимые богатства и объясняет. Щетка в руках человека — уже не щетка, а шкатулка с разными красками: и золотыми, и серебряными, и синими, и зелеными, и голубыми, и красными, даже такими, что Степанка не знает, как их назвать. Рисовать ими можно все на свете! Человек дал ему кисточку и стал учить писать картины. Радостно разрисовывал Степанка стены величественных покоев и любовался своей работой. Птицы, деревья и люди выходили у него как живые. Глаза у людей были синие, губы красные, одежды всех цветов с золотыми пуговицами, словно у дядьки-солдата. А небо, а месяц, а озеро, а деревья, а цветы! Всего и не перечислишь!

Похвалил его человек и сказал:

«Не огорчайся, дитяtko, что все тебя обижают и смеются над твоей «пачкотней». Я всегда буду с тобой! Пусть все дурачком тебя зовут, ты умнее их всех. У тебя есть ларчик с красками, и знай: это твое величайшее счастье в жизни, знай, это...

Человек не успел договорить. Дворец рухнул. Грянул гром, и мальчик очнулся от криков матери:

Ах ты поганец! Снова за игрушки! Ни для бога, ни для людей ты у меня.

Отняли у мальчика баночку, оборвали такой чудесный сон. Слов не хватает. Величайшие раны человеческой души заживают, затягиваются и забываются, но этой боли Степанка, может, до смерти своей не забудет.

Однако раз в году бывали у Степанки светлые минуты — на пасху, когда ему позволяли раскрашивать яйца. Для этого покупали в местечке красок на целый пятак. И он разрисовывал яйца церковками, колокольнями, ангелочками и крестиками, да так, что люди только диву давались.

Но на этот раз мать сказала, что ни одной копейки Пачкуну на краски не даст. Сердце мальчика истомила неизбывная боль.

/ Матушка! Родная! Смилуйся! Дай хоть одну копеечку на краски.

Как скала, как железо, было на этот раз материнское сердце.

| Хворобу тебе, а не краски, хозяин ты мой! Вон весна идет, отец твой, может, и не живой уже, а в твоей голове только игруш-

ки. Ты бы лучше подумал, кто теперь у нас пахать будет, кто надел засеет. Эх ты, хозяин!

Степанка помалкивал да грустно поглядывал в окно на мутные тучи.

Перед пасхой из волости пришло письмо, сообщавшее, что Микита, отец Степанки, убит.

Микитиха плакала-голосила на всю деревню о муже своем, проклиная горькую вдовью долю.

Утешали ее соседи тем, что не одна она такая несчастная, тысячи таких теперь.

Обещали люди помочь в хозяйстве, но и это не уменьшало ее горя.

— Коли бы еще сын, как у людей, был, подрос бы и хозяйевал вместо покойника, а то с каждым годом только забавы растут в его голове.

Горько было Степанке, что отец погиб на войне, однако ребенок не мог понять до конца это горе, и у него еще больше болела душа из-за того, что красок на пасху нет и яйца нечем красить...

Наступила пасха. Пошел Степанка с другими мальчуганами в волочобники* на всю ночь. Несколько яичек досталось и на его долю.

Мальчику удалось стянуть из сундука отцовскую фотографию, которую Микита прислал с фронта. Украдкой убежал он с нею на ток.

Через несколько часов Степанка вернулся в хату с разрисованными яичками. Как только мать увидела их, так всплеснула руками, словно от чуда: на всех яичках был нарисован покойный Микита, и выглядел он точно живой. Нарисовал его Степанка какой-то ярко-красной краской.

— Где ж ты, хозяин мой, красную краску достал? — спросила Микитиха у сына, который все время прятал руки за спину. — Покажи, покажи, хозяин ты мой, что там в руках держишь?

Микитиха схватила сына за руку и увидела, что пальцы Степанки завернуты в тряпку.

Она быстро сорвала ее и чуть не обомлела от неожиданности — пальцы были залиты кровью.

— Что ты наделал, сорванец?! Что ты наделал? — кричала она не своим голосом.

— Мне краска нужна была, — оправдывался Степанка. — А пальцы мои — я над ними хозяин!

— Горе горькое послал бог на мою головушку бедную! — заломила руки Микитиха.

Весть о чудесно разрисованных Степанкой Пачкуном пасхальных яйцах мигом разнеслась по всей деревне. Люди приходили смотреть, узнавали покойного Микиту и диву давались.

По всей округе пошла гулять сказка о той краске, которой Степанка рисовал, сказка выросла в чудо.

Дошел слух о чудесных пасхальных яйцах и до двух братьев-студентов из ближней деревни.

Заинтересовались студенты и тоже пришли поглядеть.

Долго разглядывали они стены, разрисованные углем, и шептались друг с другом. Рисунки на стенах им понравились даже больше, чем портрет на яичках.

Микитиха жалобно рассказывала им, как Степанка замучил ее своими рисунками и какой же он никчемный парнишка.

Степанка Пачкун стоял виноватый, с опущенной головой.

Студенты взяли мальчика с собой и подарили ему красивую шкатулку с разными красками. Они обещали его учить и отвезти в город, сказали, что из него может выйти большой человек.

Бесконечно радостный вернулся Степанка домой. Все время он думал, какая может быть польза от «большого человека». И вспомнил мальчик, что в их деревеньке жил когда-то очень большой человек, всех в деревне выше ростом, — рыбак Михась. Но тот, однако, был величайшим пьяницей и задирой, и никто его не любил.

Не понравилось Степанке быть «большим человеком» — доля Михася-рыбака его нисколько не увлекала.

«Лучше уж останусь маленьким, — думал он, — только бы поехать в город учиться».

Вернулся мальчик домой, и мать у него спросила, что студенты ему говорили.

Степанка сначала смущался, а потом сказал:

— Я буду когда-нибудь большим человеком!

— Эх, эх! — засмеялась Микитиха. — Новость сказали, умники конопляные! А я тебе вот что скажу: если будешь заниматься игрушками, так и не дорастешь до большого человека и не станешь хозяином — с голоду помрешь! А пока что иди есть, мой «большой человек», а то уж второй день я не видела, ел ли ты хоть что-нибудь...

Станет ли Степанка большим человеком, загорится ли над ним светлая звездочка — не знаем. Это зависит от того, как сложится его судьба.

ЛЕТОПИСЦЫ

Душная темная ночь.

Все семейство Мирона спит в пуне* на свежем сене. Не спится только двоим — старому деду Мирону и его восьмилетнему внуку Андрейке. Дед прикидывает, как бы потише выбраться из сарая, чтоб невестка не услышала, да написать письмо сыну в Америку. Андрейка держит в руках свисток, который днем смастерил ему из лозы дед, и тихонько посвистывает. Остальные сладко спят после работы на сенокосе, точно после яр-

марки. Дед озирается по сторонам и осторожно приподымается с места.

— Андрейка! — шепчет он нетерпеливо.

Андрейка знает: дед позовет в хату писать письмо. Мальчик проворно пробирается к старику. Дед берет его за руку и с таинственным видом прижимает палец к губам. Андрейка отлично понимает: это означает «ни гугу» — нужно молчать, будто воды в рот набрал.

Таким образом добираются они до ворот пуни. Дед открыл их так ловко, что ворота и не скрипнули. Оба заговорщика вышли во двор.

Но тут опять заколотилось сердце у деда: все помехи разные, пропади они пропадом! То Жучка, чтоб ее хвороба одолела, заворчит — услышат в пуне, шум поднимут. То этому плутишке Андрейке не терпится свистнуть, да так, чтоб эхо отдалось со всех сторон, чтоб лихо на метле прилетело.

Дед отобрал у внука свисток и сунул за пазуху.

Воровато оглядываясь, вошли они в хату.

— Дедка, отдай свисток!

— Только, Андрейка, потише, а то всех чертей разбудишь, — просит дед и отдает свисток.

Андрейка в потемках запрыгал и засвистал.

Дед зажег лучину и вынул из-за образов лист бумаги, который днем выменял в местечке на веники.

— Ну, теперь, коток ты мой, — сказал дед Андрейке, — отдай свисток, покуда письмо не напишешь, а потом я его верну. Начинай, как говорится, с богом.

Андрейка не отозвался, только с особенным смаком свистнул в последний раз громко и протяжно, старательно вытер свисток о штанишки, отдал деду и достал с полочки чернила и ручку с пером. Пристраивался, примащивался Андрейка на топчане у стола и никак не мог усесться так, чтобы удобно было писать. На беду, топчан был низок, а стол высок, и, усевшись, Андрейка, едва доставал до стола носом.

— Хоть носом пиши! — пошутил Андрейка.

Дед промолчал, воткнул лучину в закопченную щель у окна, вышел, озабоченный, в сенцы, притащил корыто и положил на топчан, чтоб Андрейка пристроился повыше. И все-таки было низко. Андрейка доставал до стола только подбородком.

— Хоть бородой пиши! — снова пошутил Андрейка.

Дед и на этот раз не сказал ни слова. Еще более озабоченный, подошел он к шестку, вынул из устья печи закопченную заслонку и положил на корыто. Писец уселся на заслонку.

— Вот теперь, дедка, в самый раз! — сказал он, придвигая заслонку руками и пачкая их сажей.

Он поболтал под столом загорелыми ногами и уперся в него коленками.

Теперь во всех движениях мальчугана чувствовалась таинственность настоящего заговорщика. Видно было, что в этом Андрейка находил особое удовольствие. Он взял перо, и на лице отразилось горделивое сознание собственной учености. Вспомнилось, как много раз он расписывался за неграмотных на повестках, которые десятник приносил из волости. Он крутил-выводил рукой и так и этак, и выходило: «Андрей Адамов Вáйда».

Андрейка сунул перо в чернила, позабыл стряхнуть и перво-наперво посадил черную кляксу величиной с медный пятак. В школе это называется «булка». Старый учитель за такие «булки» так сильно крутит ухо, словно веревку вьет, а школьник на все лады кричит: «А-а-а-ай! А-а-ай!..»

Дед подумал, что этакий черный кругляк на бумаге делается для фасона. Он перенес лучину поближе к Андрейке. Внук поднял белую головенку и пожаловался:

— Дым в глаза лезет. Писать не могу.

Дед отодвинул лучину.

— Ну? — спросил Андрейка.

Это означало: «Говори, дедка, что писать-то?» Но тут мальчик вспомнил, что солдат Мáтей, который всем письма пишет, да еще так ловко, никогда не допытывается, с чего начинать. Солдат Матей всегда сам начинает: «За дубовым столом пишу золотым пером милостивому государю с низким поклоном, желая успеха в делах ваших...»

Андрейка выпучил глаза, высунул язык, засопел и принялся старательно выводить буквы. Он хотел написать их на диво красивыми, а выходили они совсем неказистыми. Выпачканная сажей рука оставляла следы на бумаге — ручейки да дорожки. Перо ползло по листу, словно тяжелый воз по старой гати.

И вот он кончил зачин, весьма довольный собой. Это будет приятной неожиданностью для деда.

— Нос! Нос! — закричал вдруг дед так тревожно, будто хата загорелась. — Бумагу испортишь!

Андрейка едва-едва уберег чистый лист.

— Прочитай, что ты там наката, писарь ты мой, — не вытерпел дед. — Поглядим, какого ты поля ягодка, какого гнезда пташка.

Андрейка начал читать по складам: «За ду-бо-вым сто-лом пи-шу зо-ло-тым пе-ром» — и так далее. Деду это показалось замечательно. Он сам был охотник до умного разговора и любил подчас загнуть, отхватить ядреное словечко, да такое, чтобы у соседа глаза на лоб полезли, словно он хрену нанюхался. Деда по всей округе считали превеликим умником. Андрейка очень обрадовался, что деду понравилось, и попросил свисток.

— Нет, нет, не дам сейчас. Не приставай, смола!

— Да-а-ай! — кланчил Андрейка.

— Нет! Не дам!

— Хоть разок свистну!

И они посмотрели друг другу в глаза.

— Дай!

— Не дам!

— Писать не буду.

Дед встревожился.

— Один только раз, говоришь? Ой, гляди, чтоб тот раз не испортил весь сказ!

— Ей-богу, разок только!

Андрейка заерзал на месте и умильно посмотрел на деда. Дед протянул ему свисток. Мальчик так и впился в него жадными губами. Свистнул раз, не выдержал — и свистнул снова. На дворе залаяла Жучка.

Дед испугался.

Андрейка вернул свисток.

— Ах ты, воробей! — упрекнул дед. — Я ж сказал, что нельзя сейчас! Еще поспеешь с козой на базар!

Дед спрятал свисток, поправил лучину, приготовил другую и задумался.

Андрейка тем временем засмотрелся на тени, мелькавшие на закопченных стенах. Дед стал большим-пребольшим — едва полхаты не затенил. А голова Андрейки на стене походила на бадейку. Это его очень забавляло. И вот мальчишка принялся одной рукой делать козу. Тень от руки на стене выглядела совсем как козлиная голова.

— Коза, коза, дай молока! М-м-э-э-э! — замэкал по-козлиному Андрейка.

Дед погрузился в свои мысли.

Он припомнил разные обиды, которые нанесла невестка за все время, а главное — за последние три года, с тех пор как сын Адам живет в Америке. Гонит лютая невестка из хаты, как собаку. Есть не дает... Толканет порой...

— Пиши, колосок ты мой, пиши! — говорит он Андрейке. — Так пиши: «Сынок ты мой родненький! Разве я тебе не батька? Разве не я строил эту хату? Разве не я хозяевал тут? Вон еще какие мозоли на руках моих...»

Дед поднимает руки и теням на стене показывает мозоли. Голос его дрожит, слабеет. Андрейка пригнулся к столу и тяжело сопит, выводя крупные, нескладные буквы.

Дед поправляет лучину и продолжает, глядя на стену:

— «Адам, сынок ты мой! Скажи, за что такая старость поганая мне? За что такое наказание? Как это говорят: бьют и плакать не дают. А почему?»

Сознание незаслуженной обиды переполняет деда гневом. Глаза устремлены в невидимую даль. Дед ждет ответа на свое «почему?» и снова диктует:

— «Вчера Авдотья, женка твоя, гадина, стала, как говорят...»

— Погоди! — кричит Андрейка. — Я еще там не кончил писать-то!

Дед осадил, как взнузданный конь, которого потянули за вожжи.

— А что ты там, колосок ты мой, написал? — допытывается он. — Давай-ка послушаем да затылок почушаем.

— «Разве я тебе не батька», — читает медленно Андрейка. — Как дальше, дедка, ты сказал?

Но дед уже забыл, что диктовал раньше. Сейчас хочется выговориться, излить все, что накопилось на душе. Он чувствует: нужно это сделать хоть перед кем-нибудь. Тогда, может, полегчает.

— Ага! Ага! — пытается он вспомнить. — Вот хоть бы кто за язык потянул. Дери лыко, пока дерется. «А вчера невестка так пихнула меня от стола, аж старые косточки мои чуть не рассыпались... «Лентяй!» — кричит... Как это говорят: был конь, да изъездился... А топчан этот разве не я смастерил? А стол этот кто сделал, коли не я?.. Куды ни кинь — всюду мой клин».

Дед закашлялся и долго держался за грудь.

— «Что ж мне делать? Хоть с торбой по людям побираться иди. Не по Сеньке шапка, как говорится... Да и торбы нет... Ой, жизнь ты моя горькая, будто полынь! Вот не хочешь, а живешь... Ты на гору, а черт за ногу... Чего ж ты, боженька, смерти-избавительницы не шлешь? Такое житье мне, что тяжкий жернов на спине. Коли на дно покатишься, так и за бритву схватишься, как говорят...» — Дед снова раскашлялся. — Какой себе доли человек хочет? А? Это ж баламутство — просить на свою голову гибель. А я вот прошу, право слово, прошу.

Из мутных глаз потекли слезы...

Дед почувствовал их на иссохшем лице, и ему стало жаль себя. Он заплакал тихо, глухо, стыдясь своих слез, и зашамкал беззубым ртом, будто хлебнул кипятку...

Прошло несколько минут. Полегчало деду. словно то твердое и колючее, что комом стояло в горле, прошло внутрь. Он закурил трубку, поправил лучину и присел на топчан.

Андрейка совсем сбился с панталыку. И спать хотелось, и не мог он толком от деда добиться, что писать.

— Так скажи, дедка, что писать-то?

— Пиши, коток, пиши! — строго сказал дед и продолжал: — «Говорят люди — спроси у людей, а свой разум имей. А хозяйство она, ведьма, так ведет, что упаси ты, боже! Как это говорится: для собаки сена косить. — Дед пересчитывал на пальцах: — Буланка околела. Корова еле ноги волочит. Сено погнило. Коли я ей что скажу, она только огрызается. Хоть ты перед ней маком рассыпся — не помогает!.. А я табачку не могу достать... И увидимся ли мы еще с тобой? С глаз долой — из сердца вон, как говорится... А я все слабею, сынок ты мой... Земля-матушка к себе тянет... А кто мне глаза прикроет? А кто похороны по-людски

справит? А кто свечку поставит за душу мою грешную? Как ни крути — от смерти не открутишься...»

Дед умолк. Тряслась лысая голова. Ночной мотылек кружился над горящей лучиной. Андрейка засмотрелся на него. Отложил ручку и давай ловить.

Он поймал мотылька, но тот ловко выскользнул, оставив на пальцах липкую пыльцу. Мальчик больше не гонялся за бабочкой, и мотылек снова заметался над огнем. Андрейка смотрел на него долго-долго, покуда глаза не затуманились. Разноцветные круги над дедом рябили в глазах. Мальчик зажмурился. Дед сделался совсем махоньким. Все слилось, расплылось, и... писец заснул, посадив новую черную «булку» на бумагу, да еще побольше первой.

Долго размышлял дед. Но если спросить у него, о чем он думает, не знал бы, что и ответить. Мысли его смешались, будто кто железными вилами перевернул все вверх тормашками... В старой груди что-то болело, что-то щемило...

— «Заяц мне дорогу перебег,— сказал дед и закивал головой.— Сдается, никому я на свете ничего плохого не сделал. Не коптил неба, не портил хлеба, как говорится». Пиши, Андрейка, пиши!

Андрейка еще сильнее засопел. Кошка прыгнула с шестка. Осторожно и беззвучно подошла к столу, вскочила на топчан и, сверкнув глазами, прижалась к Андрейке.

— «И чего же ты про меня забыл, сынок? — с обидой размахивал дед левой рукой.— Никогда копейки какой не пришлешь, а она мне до зарезу нужна нынче». Пиши, Андрейка, пиши, колосок! — Не видит дед, что внучонок давно уже спит.— «Разве ты мне не сын? Разве я не батька тебе? Сдается, не совсем-то чужие».

Но туго натянутая тоскливая струнка вдруг лопнула. Он вспомнил: сын просил писать обо всем, что делается в деревне. Дед вошел в обычный строй жизни, где грустное причудливо перемешано со смешным.

— «Эх, глупости! — махнул он рукой.— Что с того, коли старый Артем лучше живет? Не говори «гоп», покуда не перескочишь. А Микитенок вчера коня купил в Долгинове, да хромой, пададь, и Микитенок, можно сказать, задаром сунул сорок рублей цыгану, черту лысому. Ободрали как сидорову козу. Тодóра леть померла. Семке Халимона Бурого на вечерке голову пробили, и через три дня поехал он на тот свет к Абраму за пивом, как говорится, и батька его такой же рисковый был: каков черт Хомка — такая у него и женка... А я уже и вкус-то водочки забыл: не пробовал, почитай, три года... Никто мне не поднесет: дите не плачет, мать не понимает... как говорят». Пиши, Андрейка, пиши! «Никто старого не пожалеет; сдается, хлебнул бы чарочку, как росу свежую, и отогрелся бы косточки мои старые, кровь потеплела бы... И летом в кожухе мыкаюсь: холодно мне, мороз из

костей идет. А кожух уже сгнил на моем горбу. Как это говорят: не купил батька шапку — пускай уши мерзнут».

Новости сыпались из уст деда, как бусы с порванной нитки.

— «А наша Жучка уж не брешет, как бывало, только похрипывает. Прошли те века, когда паны брались за бока». Пиши, Андрейка, пиши! «Голландский петух долго хворал, а все-таки выжил, всем на радость. Как это говорят, коли повезет, так и Филимон в пляс идет».

От мудрости своей дед повеселел и настроился на обычный лад.

— «А Настя выдала Марылю за Максима-замарашку. Может, помнишь того хлопца, который завсегда раззявой ходил, как собака, что мух ловит?» Пиши, Андрейка, пиши. «Пускай и моя четвертинка будет, как говорят... И Матвеева женка, та жаба сухая, летом за...» Но дед вдруг замолчал: лучина погасла.— Андрей! Андрей! Куда спички положил?

— А? — всполошился Андрейка.— Баранок купишь на копейку?

— Куплю, куплю, колосочек мой, взялся за гуж, не говори, что не дюж...

Но Андрейка снова заснул. Ему снилось, что дед принес баранок из корчмы. Андрейка нацепил их на веревочку и бежит по деревне, подпрыгивая, с песенкой:

Гоп-гоп! И-га-га!
На Буланке едет Янка,
Полтора ста рублей санки,
Пятьдесят рублей дуга,
А кобыла — полрубля!
Гоп-гоп! И-га-га!

Дед вышел в темные сенцы искать, где лежат яйца, чтобы утречком поплестись на базар в местечко. Долго искал он спички и страшно ругался, обнаружив их у себя за пазухой.

Потом дед разбудил Андрейку, и они отправились спать на сеновал. Старик шел и бормотал:

— Что ж! Выше головы не прыгнешь... Завтра допишем письмо...



Ибрай Алтынсарин

СЫН БАЯ И СЫН БЕДНЯКА

Асан был сыном бая, а Усен — сыном бедняка. Оба были ровесниками. Однажды аул снялся с кочевья, а про детей, игравших за холмом, забыли; и они оба остались на месте старого кочевья. Через некоторое время дети решили идти в аул. Смотрят — нет аула, только видно место его стоянки. Асан начал громко плакать, а Усен постоял в раздумье и сказал:

Оттого, что ты плачешь, ничего не изменится. Лучше будем искать откочевавший аул.

— Где мы найдем наш аул, мы же не видели, в какую сторону он откочевал? — ответил Асан.

Усен ничего не ответил и, ведя за собой Асана, пришел на стоянку аула. На стоянке он нашел старую иголку со сломанным ушком и подобрал ее, нашел еще поломанный нож и горсть конских волос — и все это тоже взял. Затем быстро начал осматривать стоянку и, обнаружив следы перекочевавшего аула, пошел по ним.

Когда Усен с Асаном немного отошли, следы разделились на двое. Увидев это, Асан начал плакать, говоря:

— По каким же из них пойдём?

Усен, осмотревши оба следа, пошел по одному из них, объясняя Асану:

— Видишь, здесь кочевье сегодня проследовало, так как в этом направлении сохранились остатки свежего скотского помета.

Когда они прошли еще немного, Асан снова начал плакать, говоря, что хочет есть. Усен же продолжал идти молча. Вдруг перед ними поднялась утка и, отлетев недалеко, села. Усен, обшарив то место, откуда она вылетела, нашел шесть яиц. Обрадованный Асан хотел было взять яйца, но Усен запретил ему.

— Если мы потеряем следы и долго будем плутать, то нам понадобится пища. Надо будет и утку поймать,— сказал Усен.

— А как же мы сможем ее поймать? — спросил Асан.

— Я видел, как отец ловил уток,— ответил Усен.

Он стал плести силки из тех самых конских волос, которые он перед этим нашел на старой стоянке аула; а затем расставил силки в гнезде.

После этого он подозвал к себе Асана, и они залегли за холмом в густой траве.

Прошло немного времени. Утка прилетела обратно и, не заметив присутствия людей, села в гнездо.

Немного подождав, Усен побежал к гнезду.

Утка не могла улететь и лишь махала крыльями. Смотрит Усен — она бьется в силках, запуталась в них.

Асан говорит Усену:

— Понесем ее живую и будем играть с ней.

— Нет, отец говорил, что утки, гуси — чистые птицы; в нужде их можно ловить людям и употреблять в пищу. Однако грех держать их на привязи и мучить. Не будем мучить утку, а лучше зарежем ее,— сказал Усен и обломком ножа, который он нашел на стоянке аула, зарезал утку и взял ее с собой.

После этого они продолжали свой путь. Когда солнце перешло зенит, Асан и Усен дошли до речки. Здесь, напившись воды, они утолили жажду.

— Теперь надо будет нам сварить пищу,— сказал Усен.

— Огня ведь нет, как же мы сварим себе пищу? — спросил Асан.

Усен промолчал, прошелся по берегу и нашел кусочек твердого камня. Затем он вытащил из маленькой дырки в своем чапане* немного ваты, положил ее на камешек, прижал крепко пальцем и стал с силой ударять по камню тупой стороной обломка ножа. Стали вылетать искры, и вата загорелась. Потом он накрошил вокруг ваты немного кизяку и начал дуть, чтобы разгорелся огонь, а Асана послал собирать хворост. После того как хворост

был принесен, развели огонь. Сперва сварили яйца. Затем ошипали утку, выпотрошили ее и, насадив на конец палочки, стали жарить. Когда утка изжарилась, наелись досыта.

Асан, наевшись, забыл о своем горе, побежал по берегу речки и вдруг закричал:

— Усен! Усен! Смотри, на мелководье здесь плавают рыбы.

Усен, не оборачиваясь на возгласы Асана, положил в огонь иголку, которую нашел на стоянке аула. Когда через некоторое время игла, накалившись, стала красной, Усен вытащил ее из огня, начал осторожно гнуть и сделал из нее крючок. Затем, позвав Асана, сказал ему:

— Ты налови кузнечиков.

Сам же он ссучил из волоса леску и смастерил удилище. Когда удочка была готова, Усен насадил на крючок одного из пойманных Асаном кузнечиков и забросил удочку в воду. Вода была чистая, как зеркало, и видно было, как в ней плавали и играли рыбки. Сначала подходили маленькие чебачки. То одна, то другая рыбка, понюхав насадку, отплывала, а затем они вновь подплывали. Вдруг чебачки бросились врассыпную. Это приближалась щука. Щука, не обращая внимания на насадку, медленно проплыла мимо, шевеля хвостом. После того как она удалилась, чебачки вновь стали быстро собираться и играть вокруг насадки, гоняясь друг за дружкой, то задевая насадку, то крутясь около нее. Вдруг чебачки опять рассыпались во все стороны и исчезли. Это появилась стая окуней. Один из них, раньше всех заметивший насадку, подплыл прямо к ней и, сразу схватив ее, проглотил. Усен дернул удочку и выбросил окуня на берег. Таким способом Усен поймал много окуней. Мальчики, увлекшись рыбной ловлей, не заметили, что день клонился к вечеру. Усен посмотрел на солнце и сказал:

— Ого, уже солнце близится к закату. Надо будет за-светло найти брод и переправиться.

Сказав это, он собрал пойманную рыбу и завернул ее в чапан. Удочку с удилищем, кремень и нож тоже взял с собой, ничего не оставил. Затем мальчики стали искать брод.

Усен направился прямо к тому месту, где следы, по которым они шли, подходили к воде. И в этом месте мальчики переправились на другой берег.

Когда они прошли некоторое расстояние, солнце закатилось, стало темнеть, и следов не стало видно. С наступлением вечера оба мальчика начали испытывать страх. Все же Усен сказал, что надо будет заночевать, чтобы не потерять следов. Он остановился и, собрав кизяка, развел огонь. Немного погодя Асан, набегавшийся и уставший за день, уснул. Усену пришли на память слова отца: «Где народ, там воры; где степи, там волки». Поэтому он решил не спать и стал печь на огне рыбу, которую наловил днем. Так, занимаясь делом, было легче бодрствовать.

В это время он увидел, как пробежало стадо сайгаков, боязливо озираясь на огонь, а затем, внезапно испугавшись чего-то, исчезло. Через некоторое время подошел табун куланов с жеребятами-стригунами. Впереди табуна шел жеребец, фыркая, подняв голову и хвост, а остальные жеребята смотрели с любопытством. Вдруг все кинулись бежать в сторону. Вслед за тем близко завыл волк, а вдали где-то закричала выпь.

Усен, похолодев от страха, продолжал молча сидеть, испуганно озираясь и крепко сжимал в руках удилище. Так он увидел много животных, а также насекомых, бабочек, жуков, слетевшихся на огонь, и думал: почему эти мухи и бабочки слетаются на огонь, если они находят здесь смерть? Так раздумывая, он не спал до зари. Когда же на востоке занялась заря, распространяясь по небу, из красного цвета переходя в бледный, Усен начал будить Асана.

— Пора уже идти,— тормошил он его.

Асан, забыв, что он находится в поле, продолжал лежать, как будто он был дома, и, долго не просыпаясь, что-то мычал сквозь сон. Усен не оставил его в покое, пока не разбудил, и они продолжали путь.

Когда солнце было близко к полудню, следы исчезли, став незаметными на твердой каменистой почве. Мальчики остановились, в нерешительности озираясь по сторонам, не зная, куда идти.

Вдруг на высокой горе они увидели большую могилу. Тут Усену пришли на память слова отца: «Если случится тебе в степи заблудиться, то помни, что где бывают могилы, там должна быть вода, а где есть вода, там живут люди».

Следуя таким поучениям отца, Усен, ведя Асана, направился в сторону могилы. Когда они подошли ближе к могиле, то слышали, как гогочут гуси. Усен теперь уже знал, что поблизости находится озеро, так как где нет воды, там не обитают гуси. Они оба поднялись на гору, где находилась могила, и увидели под самой горой большое озеро, а в озере и вокруг него много скота. По берегу озера, на зеленом лугу, покрытом высокой травой, паслись стада лошадей и баранов. Часть лошадей, войдя в воду, срывала молодой зеленый камыш, а с другой стороны озера, на солончаках, лежали верблюды. Увидев все это, дети побежали вниз по склону и, добежав, увидели, что это пасется скот их аула. Пастухи, увидя Асана и Усена, обрадовались, и некоторые из них поскакали, чтобы обрадовать родителей и взять с них суюнши*. А другие, посадив детей на коней, повезли их в аул. Дорогой пастухи рассказали детям, что как только стало известно, что они остались на старой стоянке аула, то поехали искать их.

Солнце только что приблизилось к полудню, когда дети благополучно доехали домой и увидели своих родителей.

ПИСЬМА УЧЕНИКОВ К РОДНЫМ

А

Заботливые и покровительствующие мне папа и мама, шлю вам от всей души свой привет. Благодаря вашим молитвам, я пребываю в полном благополучии и здравии. Письмо ваше и немного денег, которые вы послали мне с прошлой почтой, я получил. Спасибо, что вы не забываете вашего недостойного сына. От всей души молю бога, чтобы он дал мне возможность отплатить тем же за труды и заботы ваши обо мне.

Относительно учебы в настоящее время могу сообщить, что учитель очень доволен мною. Меня он отнес к числу отлично успевающих учеников и записал в свою книгу.

Папа, Вы всегда мне советовали: «Сын мой, не отвлекаясь посторонними вещами, выполняй то, что говорит учитель; заданные уроки полностью готовь, старайся выучить их и усвоить» Я не забываю эти Ваши слова.

Вы, отец, писали, что Хасэн болел оспой. Я очень рад тому, что он выздоровел. Нам учитель говорил, что если ребенку прививалась оспа, то он оспой не болеет, а если заболит, то легко переносит. Если представится возможность, то, памятуя эти слова, хорошо было бы повести к ближайшему лекарю моих братишек и привить им оспу.

До свидания, в надежде на ваши добрые пожелания *Н.*

Б

Брату нашему Ибраю большой привет! От тебя давно нет вестей и писем. Желаю лишь одного, чтобы ты был здоров, и полагаю, что, занятый работами по хозяйству, ты не имеешь времени писать. Все же, улучив время, сообщи о своем здоровье. Я здоров и на хорошем счету у своих учителей. Через один-два месяца надеюсь перейти в следующий класс.

С подательницей сего письма посылаю Хадишэ около двух фунтов конфет, а ты передай их ей.

Большого извинения прошу у отца. От меня попроси его, чтобы он не ругал меня за то, что попусту трачу деньги, которые он мне дал, так как я подумал — пусть порадуетса Хадиша, ведь она еще ребенок и будет говорить, что вот брат прислал ей конфеты.

До свидания, брат, будь здоров. Не забудь мою просьбу — писать письма.

С молитвой к богу о твоём благополучии, пишуший эти строки твой младший брат *Н.*

В

Дорогой мой Муратбай, ведь я уже перешел в следующий класс и теперь через одну-две недели собираюсь ехать в аул. Надеюсь в непродолжительном времени увидеть всех вас. Уже сейчас перед моими глазами встает картина, как аул расположился на зеленом лугу и кругом колышется высокая трава, в которой бродят многочисленные стада. Много писать не имею времени. Привет друзьям и сверстникам. Передай брату, чтобы на моей рыжей кобыле никому не позволял ездить; пусть сохранит ее в упитанном виде. Как приеду, сам ее вымуштрую и буду ездить летом.

Твой друг Н

Г

Привет брату Ибраю!

Ты напрасно беспокоишься от того, что я немного приболел. Увидев тебя в таком состоянии, мама будет расстроена. А заболел я оттого, что зимою ездил в гости к товарищу, аул которого находится невдалеке... Они жили не в деревянных домах, и я, легко одетый, сидел и спал в юрте и простудился. Потом, когда я вернулся, у меня так сильно болела голова, что я обратился к врачу. Врач дал лекарство, и теперь я начал выздоравливать.

Слушай, брат, ты убеди отца построить теплый деревянный дом. Насколько хороша летом кошменная юрта, настолько она плоха зимой. Зимою в холодной юрте сидишь, дрожа. Передняя часть тела у огня согревается, между тем как спина мерзнет, и нет возможности хорошо мыться и есть в чистоте пищу.

Здесь хорошие доктора говорят, что казахи больше всего болеют оттого, что простуживаются и живут нечистоплотно. Чесотка, всякие нарывы случаются от нечистоты, а тиф, кашель, колики — от простуды.

От нечего делать пишу тебе то, что мне пришло в голову. Не ругай меня за болтливость и, кроме того, желая приехать сюда из-за меня, не обременяй себя поездкой. Ведь отец старый человек, поэтому ты можешь запустить свои хозяйственные работы.

Твой брат Н.

ПАРШИВЫЙ МАЛЬЧИК*

Жили-были когда-то старик со старухой. У них было трое сыновей, и они имели пять коз. Однажды старший сын решил идти на заработки на чужую сторону. Зарезал козу, которую

подарили ему его родители, и, не оставив ни кусочка мяса старику и старухе, взвалил тушу на спину и ушел.

По пути он зашел к одному искусному в ремеслах мастеру-баю и нанялся к нему, чтобы выучиться ремеслу. Этот мастер-бай был человеком очень злым и жестоким и нанявшегося к нему парня запер в сундук и уморил голодом. Оставшийся дома средний брат, тоже желая научиться ремеслу, пошел на заработки и нанялся к тому же мастеру-баю. Тот его так же, как и старшего брата, запер в сундук и уморил голодом. Третий сын, которого звали Паршивый, как и старшие братья, зарезал свою козу, отдал половину мяса родителям, попросил у них разрешения уйти на чужую сторону и, взвалив остатки козы себе на спину, ушел.

По дороге он встретил отару овец и узнал у пастуха, что овцы принадлежат мастеру-баю. Пастух спросил у Паршивого:

— Сын мой, куда идешь?

— Иду учиться ремеслам.

Тогда старик пастух и говорит ему:

— Сынок, о том, что я тебе посоветую, никому не говори. Мой совет: никогда не говори неправду, а чужому человеку никогда не говори, о чем ты думаешь.

Подумав, Паршивый согласился со стариком и запомнил его совет. Он дошел до дома мастера-бая и заночевал у него. Наутро собрался было идти, а мастер-бай говорит ему:

— Счастливого пути, сынок. Куда собрался?

— Я ищу человека такого, как ты, у которого нет сына, и хочу быть усыновленным.

Тогда мастер-бай сказал:

— Оставайся у нас и будь моим сыном. Зарежь одного нашего белого двухлетнего барана, сделай той, мясо с берцовой кости* поешь один, а я должен отправиться в дорогу.

И с этими словами он направился к выходу.

— До свидания, отец, счастливого пути,— сказал ему Паршивый.

У мастера была единственная дочь. Она говорит Паршивому:

— Брат, ты не кушай мясо с берцовой кости, а повесь ее на решетку юрты. Прибежит белая гончая собака и бросится на кость, ты же кинь в нее топор и убей ее.

Паршивый зарезал белого двухгодовалого барана, пригласил соседей, а берцовую кость с мясом, как советовала ему девушка, повесил на решетку юрты. Вскоре прибежала белая гончая собака и накинулась на кость с мясом; он же запустил в нее топором, но не попал, и собака убежала.

Мастер-бай, вернувшись домой и узнав о том, что сделал Паршивый, сильно рассердился и, решив уморить его голодом, запер его в сундук. Дочь мастера-бая в отсутствие отца пробила дыру в дне сундука и кормила Паршивого, просовывая ему пищу.

По прошествии некоторого времени отец Паршивого поехал

искать своих сыновей и, заехав к мастеру-баю, спрашивает его:
— У меня был сын, которого звали Паршивый. Не видели ли вы его?

Мастер-бай ответил ему, что не видел.

Этот разговор слышал Паршивый, находясь в сундуке.

— Отец, я здесь! — крикнул он из сундука.

Узнав голос сына, старик вытащил его из сундука и отправился вместе с ним домой.

Дорогой Паршивый говорит отцу:

— Отец, я оборочусь в черного двухлетнего барана. Ты привяжи на шею мне веревочку, поведи на базар и продай за хорошую цену. Но веревочку не оставляй, а забери с собой.

И, говоря это, сын тут же обратился в черного барана, а отец, привязав ему на шею веревочку, повел на базар, продал и с вырученными деньгами вернулся домой.

На следующий день сын принял свой обычный вид, приходит к отцу и говорит:

— Отец, я превращусь в вороного коня-иноходца. Ты меня поведи на базар, продай, возьми деньги, но чумбур* не отдавай.

Сын как сказал, так и сделал: преобразился в коня. Отец продал его и вернулся домой с чумбуром.

Назавтра Паршивый вновь принял свой обычный вид, вернулся домой и говорит отцу:

— Отец, я превращусь в одногорбого молодого верблюда с медным поводком, а ты меня отведи на базар и продай, но поводок оставь у себя и вернись домой.

Как говорил Паршивый, так и сделал. Преобразился в молодого верблюжонка, а старик повел его на базар, намереваясь продать, но по пути встретился ему тот самый мастер-бай и говорит:

— Продай верблюжонка!

Отец Паршивого отвечает:

— Верблюжонок стоит сто рублей.

Тогда мастер-бай, который знал про эту хитрость, со злым намерением купил за сто рублей верблюжонка, привел его домой, позвал свою дочь и попросил подержать, а сам побежал принести нож, чтобы зарезать верблюжонка. Дочь, зная о злом намерении отца, заранее вышла из дому с ножом, и, когда отец ушел, отрезала повод, и отпустила верблюжонка.

Когда мастер-бай вышел из дому и увидел убегающего верблюжонка, он пустился за ним в погоню. Тогда Паршивый превратился в лисицу и начал убегать, а мастер-бай, превратившись в гончую собаку, стал нагонять лисицу. Но Паршивый обернулся уткой и полетел, а мастер-бай преобразился в сокола и стал настигать утку. Тогда Паршивый обернулся воробьем и стал улетать, а мастер-бай, превратившись в коршуна, погнался за ним.

Когда Паршивый в виде воробышка опустился на шынрак* и мастер-коршун стал приближаться к нему, Паршивый испугался, превратился в тряпичный лоскут и упал на землю. Мастер-бай принял человеческий вид и только было нагнулся, чтобы взять тряпку, как Паршивый тотчас же превратился в рассыпанные просяные зерна, а мастер, преобразившись в курицу, хотел было склевать зерна. Но Паршивый, обернувшись кошкой, задушил мастера-бая.

Потом он женился на дочери мастера-бая и стал жить да поживать. Все его другие желания также исполнялись. И прожил он свою жизнь очень богатым человеком.

ЖИРЕНШЕ ШЕШЕН

Жиренше Шешен*, будучи однажды в дороге и близко подъехав к одному аулу, остановился, так как между ним и аулом протекала речка. Когда он, не зная броду, стоял в недоумении, со стороны аула к речке подошла какая-то девушка за водой.

Жиренше, напрягая голос, спросил ее:

— Где находится брод через эту речку?

Девушка ответила:

— Там, в той стороне, находится брод. Хотя до него и далеко, но он самый близкий. Другой брод, хотя он и самый близкий, но до него далеко.

Не поняв значения этих слов, Жиренше поехал к тому броду, который находился ближе к нему, и стал переправляться через речку, но только доехал до середины речки, как лошадь его увязла в грязи, упала, вся одежда его выпачкалась в грязи и он еле-еле выбрался обратно. После этого он поехал к дальнему броду, о котором девушка говорила, что до него хотя и далеко, но он самый близкий. Здесь он легко переправился на другую сторону и приехал в юрту той девушки.

После того как Жиренше уселся в юрте, он посмотрел на девушку и говорит:

— Милая, еду издалека, есть хочется. Дай мне поесть, что у тебя имеется из еды повкуснее.

Девушка ответила:

— Есть одна еда горькая, хотя она и горькая, но вкусная. Есть другая — пресная, хотя пресная, но горькая.

Жиренше говорит:

— Неси ту еду, которая хотя и горькая, но вкусная.

Девушка вышла, принесла из шанаша* в маленькой чашке соль и поставила перед Жиренше. Жиренше посмотрел и спросил:

— Милая, как же я могу есть одну только соль?

Тогда девушка молча принесла и поставила перед ним чашку коже*, ничем не заправленную, даже не посоленную.

Тогда Жиренше задумался. А так как он был догадливым, умным человеком, то понял все, что говорила ему девушка. Ему стало стыдно, что он, не дожидаясь угощения со стороны хозяйки дома, стал просить дать ему, что у ней есть повкуснее. Из всего, что девушка говорила и делала, Жиренше понял, что она девушка умная, серьезная. И Жиренше, говорят, посватался и женился на ней.

Девушку звали Карашаш Прекрасная. Так как она считалась самой красивой и умной женщиной, хан, который правил в то время, возненавидел Жиренше.

Однажды хану захотелось гусятины, и его повара подали ему жареного гуся. Жиренше сидел рядом с ханом, и хан ему приказал:

Ты подели этого гуся между мной, женой, двумя детьми и собой так, чтобы никому из нас не досталось ни больше ни меньше. Если одному из нас достанется на один золотник больше или меньше, то я тебя крепко накажу.

Жиренше взял нож, отрезал сперва у гуся голову, подал ее хану и сказал:

Господин, вы нам всем голова, поэтому вот вам голова. Во-вторых, хан без ханым* не бывает, ханым же без хана не бывает, а птица без шеи не бывает; вы — шея хану, поэтому шея ваша, — продолжал он и, отрезав, положил шею гуся перед ханым. — Эти двое ребят — ваши дети, ваши крылья. Вот им крылья. — И, отрезав два крылышка, Жиренше положил их перед детьми хана. — Я сам, господин, ни голова, ни нога, так себе — средний человек, поэтому вся средняя часть тела этой птицы подходит мне, — сказал напоследок Жиренше и всю остальную часть гуся положил перед собой.

Через некоторое время хан, находясь на охоте и увидев катящееся перекати-поле, приказал Жиренше:

— Поезжай и спроси у перекати-поля, где оно думает остановиться и когда вновь думает кочевать и снова остановиться. Если его ответ не сообщишь мне правильно, то прикажу страже бить тебя.

Жиренше ударил коня, пустил его вскачь и, проткнув пикой перекати-поле, остановил его. Немного постоял, вернулся к хану и говорит:

— Господин, по вашему приказанию я спросил у перекати-поля, и оно мне ответило: «Не знаю, кто из вас глупец, то ли хан, который послал тебя спросить, то ли ты, который приехал спросить. Начало моей кочевки знает ветер, место моей стоянки знает овраг».

Так, продолжая мучить Жиренше и не в состоянии поймать его в расставленные сети, хан все больше сердился на

него и искал подходящего повода, чтобы убить его, а жену взять себе. Жиренше же, догадываясь о коварных мыслях хана, запечалился. Однажды Карашаш Прекрасная спросила мужа:

— О чем ты горюешь?

Жиренше рассказал ей все. Тогда Карашаш говорит:

— Друг мой, не горюй, что-нибудь придумаем. Через два дня пригласи хана и биев* в гости.

Жиренше хотя и заслужил прозвище непревзойденного оратора в мире, но был, говорят, очень беден. Относительно его бедности до сего времени существует такое предание: он, после того как находился целый день в прекрасном дворце хана и сидел на мягкой постели, вечером возвращался в свою темную, тесную лачугу и, расположившись на жесткой шкуре, имел обыкновение говорить: «Ох, хорошо в моем доме, в просторном моем дворце — белой юрте».

Услышав же теперь слова жены, Жиренше сказал ей:

— Хотим пригласить хана и его свиту, а куда мы их посадим и чем будем угощать?

На это Карашаш ответила ему:

— Предоставь это дело мне.

Через два дня Жиренше пригласил в гости хана и его свиту.

Как хан, так и его стража ехали и гадали: чем же будет угощать их Жиренше? Когда гости, сколько их могло поместиться, вошли и расселись в лачуге, а те, кому не хватило места, расположились на дворе, под открытым небом, на кошме*, Карашаш Прекрасная, поднявшись с места, принесла в чашке немного молока и сметаны и поставила перед ханом.

Хан взял сметану на кончик мизинца и попробовал языком. Сметана показалась ему такой вкусной, будто он в своей жизни не ел такого вкусного кушанья. И когда с кончика мизинца он лизнул еще один-два раза, то даже почувствовал сытость. Остатки сметаны он передал своим людям. И все находившиеся в лачуге, интересуясь, что же это за кушанье, понемногу попробовали его на вкус.

Собираясь уезжать, хан спросил Карашаш Прекрасную:

— Красавица, что за кушанье вы подали нам? Мы не ели до сих пор такой вкусной пищи. Научите нас, чтобы и мы приказали своим поварам готовить часто такое кушанье.

Тогда Карашаш ответила:

— Господин, вы знаете, что мы бедны, и когда мой муж решил пригласить вас в гости с вашими почетными людьми, то я задумалась, каким кушаньем мне следовало бы угостить гостей. Наконец я пришла к мысли, что самое питательное в мире должно быть человеческое молоко, ибо ребенок до пяти-шести лет может жить материнским молоком. Поэтому я, сцедив свое молоко, сделала эту сметану.

Хан, воскликнув «ох!», быстро поднялся и вышел.

Известно, что как в давние времена, так и в настоящее время, если кто питался молоком женщины, то эта женщина становилась как бы его матерью и на ней ему нельзя было жениться.

Через несколько дней хан пригласил Жиренше к себе, попросил прощения за несправедливое отношение и подарил ему много скота.

МУДРЕЦ ЛУКБАН*

Некий монах, воображавший себя праведником, сказал на одном собрании мудрецу Лукбану:

— Грех, что вы лечите больных. Бог посылает смерть, несчастья, вы же ищете средства избавления от них, что, по моему разумению, есть сопротивление воле божьей.

Лукбан ответил:

— Если это верно, то принесите книгу, в которой написано так. И если это будет такая книга, словам которой можно верить, то я покаюсь и прекращу лечение.

Монах не читал тех слов, которые он говорил, ни в одной книге, а потому не двинулся с места, чтобы принести книгу.

Собравшийся народ поднял шум:

— Мудрец Лукбан утешил многих несчастных людей, он помогал сиротам, вдовам. Если ты считаешь его дела греховными, то докажи это по книге, а если не можешь доказать, то поведем тебя к судье.

Лукбан, видя, что дело принимает дурной оборот, попросил отпустить монаха. Вывел его на улицу и, оставшись с ним наедине, сказал ему:

— Монах, благодарим вас за то, что вы, желая спасти нас от грешных дел, по вашему разумению дали мне совет. Однако я тоже хочу вам дать один совет: когда бы то ни было, прежде чем приступить к какому-либо делу, сначала заставляйте работать ваш ум. Когда же ваш ум придет к определенному выводу, тогда заставляйте работать глаза; и только после того, как ваш ум решит, а затем глаза, увидев возможность исполнения этого дела, подтвердят,— лишь тогда давайте волю языку и рукам — это во-первых.

Во-вторых, из ваших слов видно, что вы недостаточно сведущий человек, ибо бог дал человеку разные части тела: дал руки для того, чтобы работать; глаза — чтобы видеть; ноги — чтобы ходить; уши — чтобы слышать. Дал разум, чтобы отличать хорошее от дурного. Если все это вы не будете употреблять по своему назначению, то выходит, что вы идете против воли божьей. И поэтому, не идя, не стоя, не сидя, не видя, не слыша, нельзя молиться богу. Также и все неодушевленные предметы сотворены не без

надобности. Одна трава сотворена ядом, другая — противоядием. И если вы не познаете и не изучите их, то это тоже будет грех; а если вы будете употреблять их в дело и на пользу, то в этом греха не должно быть.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

У одного царя заболела жена. Много врачей было приглашено. Все они лечили, но не могли вылечить больную. После этого царь собрал знахарей и гадалщиков и объявил им свою волю:

— Знахари и гадалщики, найдите такое лекарство, чтобы вылечить царицу. Если не найдете, то всех вас велю предать смерти — повесить.

И пока все знахари и гадалщики стояли напуганные и растерянные, один из них сказал, что он знает лекарство от болезни царицы. Вслед за этим его привели к царю. Гадалщик и говорит ему:

— Надо найти самого счастливого человека в мире, и если его рубашкой побить больную, то она выздоровеет.

Царь разослал по всему царству своих гонцов. Но сколько они ни искали, не могли найти счастливого человека. Если один богат и удачлив, то нет у него детей, а если есть богатство и дети, то или они не любят его, или же кто-нибудь ему причиняет неприятности, или же жена его или дети больны. И наконец, если все у человека имеется, то нет удовлетворения своим богатством, так как ему хочется иметь еще больше, и оттого, что он не удовлетворен, это причиняет ему много огорчений.

Потеряли надежду гонцы и прекратили было поиски, решив, что не найти счастливого человека. Но однажды царевич ехал по дороге и слышит, как один бедный человек подошел к развалившейся землянке и говорит:

— Сегодня я окончил работу, наелся и сыт. Теперь нет у меня никакого горя. Дай лягу и сосну.

Сказал, лег на кучу соломы возле землянки и тут же заснул.

Царевич все это слышал и дал знать царю, что он нашел счастливого человека. Обрадованный царь послал своих людей, чтобы того счастливого человека привести к нему. Когда же привели этого человека и дали ему золота и серебра и попросили его, чтобы он уступил свою рубашку, то оказалось, что на этом счастливом человеке и рубашки-то не было.

МУДРЫЙ СУДЬЯ

Царь Алжира Бауакас слышал, что в одном из городов его царства есть один справедливый судья, которого никто не может обмануть своими ложными показаниями, так как он всегда знает, кто из тяжущихся прав, а кто неправ.

Чтобы узнать, правду ли ему говорили, Бауакас, одевшись купцом, поехал к этому судье. При въезде в город хромой нищий попросил у него милостыню. Бауакас подал ему милостыню и хотел было ехать дальше, но нищий уцепился за полу его одежды и не отпускал от себя.

— Разве я тебе не дал милостыню? Что тебе еще нужно от меня? — спросил Бауакас.

— Милостыню ты подал, правда, но сделай еще одно доброе дело: посади меня на лошадь сзади себя и довези до площади, а то я боюсь, как бы меня на базаре не задавил конь или верблюд, — сказал нищий.

Бауакас посадил нищего на лошадь, довез его до середины города, остановился там и попросил нищего слезть. Нищий не слезал. Тогда Бауакас обернулся к нему и, повышая голос, сказал:

— Что же ты сидишь? Слезай, мы приехали на площадь!

— Зачем мне слезать? Лошадь моя, а если ты моего коня считаешь своим, то поедem к казы!* — закричал нищий.

Собрался народ и слушал, как они спорили.

Все сказали:

— Поезжайте к казы, он рассудит, кто из вас прав и кто неправ.

Бауакас и нищий приехали к казы... Смотрят — до них уже пришли к казы и другие тяжущиеся. Казы по очереди вызывал их и опрашивал. Вот вызвал он ученого и крестьянина. Они судились из-за жены. Ученый говорит, что это его жена, а крестьянин — что его жена. Казы выслушал их и сказал:

— Женщину оставьте здесь, а сами приходите завтра.

После них очередь дошла до мясника и маслоторговца. У мясника вся одежда была в крови, а у маслоторговца — в масле. Мясник держал в руке деньги, а маслоторговец крепко держал руку мясника, в которой были деньги. На вопрос казы мясник ответил:

— Я у этого маслоторговца купил масла и вынул деньги, чтобы расплатиться, а он, намереваясь отобрать все деньги, схватил меня за руку, и после того как не смог отобрать деньги силой, то как держал держал мою руку, так и привел меня к вам. «Неправдой, говорит, а возьму у тебя деньги».

Маслоторговец в ответ на это сказал:

— Это неправда, казы. Мясник пришел ко мне купить масла,

и я налил ему один ковш. Тогда он говорит мне: «Разменяй золотой». Я, чтобы разменять ему золотой, вынул мешочек с деньгами и только успел положить его на прилавок, как мясник схватил мешочек и хотел было бежать. Я поймал его за руку, задержал и привел к вам.

Казы выслушал их обоих и говорит:

— Деньги оставьте здесь, а сами приходите завтра.

Теперь очередь дошла до Бауакаса и нищего. Бауакас рассказал все дело с начала до конца. Нищий же кричал:

— Он врет! Я верхом на лошади въезжал в город. Этот купец сидел на земле и попросил подвезти его в город. Я посадил его на своего коня, доставил в город и говорю ему: «Слезай!» А он не слезает с лошади, говорит, что лошадь его,— и доставил мне хлопот.

Казы немного подумал и сказал:

— Коня оставьте здесь, а сами приходите завтра.

На следующий день много народу собралось выслушать приговоры казы. Первыми подошли ученый и крестьянин.

Казы сказал им:

— Жена — ученого, крестьянину дайте пятьдесят розог!

Тут же сделали, как было приказано: женщину отдали ученому, а крестьянину дали пятьдесят розог.

Вторыми подошли мясник и маслоторговец.

— Деньги твои, мясник,— сказал казы,— а маслоторговцу дайте пятьдесят розог!

Третьими подошли Бауакас и нищий.

Казы спросил у Бауакаса:

— Среди двадцати лошадей ты свою лошадь признал бы?

— Признал бы,— ответил Бауакас.

— А ты признал бы? — спросил казы у нищего.

— Признал бы,— ответил тоже нищий.

После этого казы приказал им обоим идти с ним и привел их в конюшню.

В конюшню казы впустил сначала Бауакаса. Тот среди многих лошадей прямо подошел к своему коню и ухватился за него. Затем впустили нищего, и он тоже подошел к той же лошади.

После этого казы, заняв свое место, произнес такой приговор:

— Лошадь, купец, твоя, а нищему дайте пятьдесят розог!

После вынесения приговоров казы отправился домой. Бауакас пошел следом за ним.

— Ты зачем за мной идешь? — спросил казы.— Или недоволен моим решением?

— Нет,— ответил Бауакас,— решением я доволен. Однако мне хочется знать, как вы узнали, что женщина была женой ученого, деньги принадлежали мяснику, а лошадь была моя?

Казы ответил:

— Что женщина была женой ученого, я узнал так. Рано

утром я вызвал ее к себе и приказал: «Налей в мою чернильницу чернил». Женщина быстро вымыла чернильницу, налила чернил — и делала все это так проворно, что стало ясно, что она имела дело с чернилами и чернильницей. Была бы она женой крестьянина, она в этом деле не имела бы такой сноровки. Так мне стало известно, что ученый говорил правду.

Про деньги я узнал вот так. Вчера я положил их в чашку с водой, а сегодня рано утром посмотрел, не плавает ли на воде масло. Масло не плавало. Из этого стало ясно, что маслоторговец говорил неправду, а мясник был прав. Если спросите, почему, так я объясню: если бы деньги были маслоторговца, он, обращаясь с ними, вымазал бы их маслом и с денег масло всплыло бы наверх. Про лошадь узнать было труднее — лошадь, которую вы признали, признал и нищий. Да я и не для того приводил вас обоих в конюшню, чтобы видеть, узнаете ли вы лошадь, а для того, чтобы видеть — кого лошадь из вас двоих узнает.

Когда вы подошли к лошади, она заржала и повернула голову к вам, а когда подошел нищий, она прижала уши, начала поднимать ногу. Из этого стало ясно, что лошадь была вашей, — закончил казы.

Тогда Бауакас сказал ему:

— Я не купец, а царь Бауакас. Я приехал удостовериться, правду ли говорили о той славе, которая идет про тебя. Теперь проси у меня, чего хочешь.

— Мне не надо награды. Такая похвала для меня достаточная награда, — ответил казы.

УПОТРЕБЛЕНИЕ БОГАТСТВА НА ПОЛЬЗУ

Один плотник, сколько бы он ни зарабатывал, довольствовался малым и делал мало расходов. Сосед однажды спросил его:

— Ты зарабатываешь много, но куда же ты деваешь свое богатство? У тебя ничего особенного не видно.

— Одною частью моих заработков я расплачиваюсь с долгами, а другую часть даю в долг под проценты, — ответил мастер.

— Не может быть, батýр, чтобы у тебя были долги; я не слышал, чтобы ты давал кому-нибудь в долг, — возразил сосед.

— Если я даю деньги отцу и матери, то считаю, что я расплачиваюсь с долгами. А те деньги, которые я расходую на обучение и содержание своих родных детей, считаю, что отдаю их в долг под проценты. Когда дети выйдут в люди, а мы состаримся и если они будут заботиться о нас, то разве это не есть возврат ими долга? — сказал в ответ мастер.

ОТЕЦ И СЫН

Отец, возвращаясь с десятилетним сыном с поля, увидел на дороге старую подкову и сказал сыну:

— Подними эту подкову.

— Зачем мне нужна старая, сломанная подкова? — ответил сын.

Отец ничего ему на это не сказал и, подняв подкову, пошел дальше.

Когда они дошли до окраины города, где работали кузнецы, отец продал эту подкову за три копейки.

Пройдя еще немного, они увидели торговцев, которые продавали вишни. Отец на те три копейки, что он выручил за подкову, купил у них много вишен, завернул их в платок, а затем, не оглядываясь на сына, продолжал свой путь, изредка съедая по одной вишенке. Сын шел позади и смотрел с жадностью на вишни. Когда они прошли немного, из рук отца выпала одна вишня. Сын быстро нагнулся, поднял ее и съел.

Спустя некоторое время отец уронил еще одну вишню, а затем другую и стал так ронять по одной вишне, продолжая свой путь.

Сын не менее десяти раз нагибался, поднимал и ел оброненные вишни. Наконец отец остановился и, отдавая сыну платок с вишнями, сказал:

— Вот видишь, ты поленился один раз нагнуться, чтобы поднять старую подкову, а после ты нагибался десять раз, чтобы поднимать те самые вишни, которые были куплены за эту подкову. Впредь помни и не забывай: если будешь считать легкий труд тяжелым, то встретишься с более тяжелой работой; если не будешь доволен малым, то лишишься большого.

ЧИСТЫЙ РОДНИК

Три путника встретились у одного родника.

Родник вытекал из каменистого места. Вокруг него рос густой лес, ветви и листья которого затеняли родник. Вода в роднике была чистая, холодная, как лед, и блестела, как стекло. На то место, откуда вытекала вода, кто-то положил камень с котел величиной, просверлил его и обтесал и в том месте, где стекала вода, высек надпись: «Эй, путник, будь чистым, как этот родник». Когда три путешественника, напившись вдоволь воды, прочитали надпись, то один из них, по-видимому купец, сказал:

— Умные слова здесь высечены. Ручеек от родника бежит днем и ночью, не переставая, и протекает в дальние земли; и чем дальше течет, тем все больше вливается в него других ручейков.

Так, протекая, превращается он в большую реку. Из этого следует такой вывод: ты, человек, тоже, не переставая, работай, никогда не останавливайся и не предавайся лени; если будешь поступать так, то в конце концов будешь великим и достигнешь цели. Вот о чем говорит эта надпись, как я понимаю.

Второй путник был бедным муллой; он, качая головой, сказал:

— Нет, я думаю не так. Смысл этой надписи куда более значительный, чем вы предполагаете. Этот родник готов для всякого: кто изнывает от жары, тому он дает прохладу и душе усладу; кто хочет пить, тому утоляет жажду,— и за все это он ни от кого не ждет награды. А если так, то смысл этой надписи таков: если делаешь кому добро, то не возлагай на него обязанность ответить тем же. Вот о чем говорит эта надпись.

Третий путник, очень стройный, красивый юноша, стоял молча. Товарищи спросили его, как он думает.

Юноша ответил:

— Я думаю иначе. Если бы вода в этом роднике стояла спокойно на одном месте, то травы и мусор, попадая в нее, замутили бы и загрязнили ее: тогда люди и животные не так любили бы родник. Но так как родник течет беспрестанно днем и ночью, то он очищается, и за это его все любят. Если так, то смысл надписи такой: душу и тело храни в чистоте, как этот родник; ибо когда смотришь в него, то видишь, как в нем отражаются блеск солнца и отсветы травы, если они глядятся в него; поэтому душу, как этот родник, держи открытой для всех, пусть в ней видно будет все. Вот о чем, по-моему, говорит надпись.



Илья Чавчавадзе

РАССКАЗ НИЩЕГО

Что делать хорошему игроку в нарды,*
Если вовремя шаши* не выпадет?

I

Я, что называется, страстный любитель охоты. Люблю, засев под деревом, в глухой, дремучей чаще с замиранием сердца поджидать выслеженного мною зверя. Есть нечто бесконечно увлекательное в этом занятии, оно никогда не приедается. Если угодно, могу даже согласиться с тем, что охота — развлечение греховное: всякая тварь есть создание божье, у всех равные права на жизнь в этой необъятной Вселенной. Но что поделаешь? Недаром Священное писание учит, что первой кровью, пролитой на безгрешной земле, была человеческая кровь, и она была пролита человеком. Люди кровожадны, а я ведь человек!

Не раз приходилось мне видеть затравленного гончими оленя. Смотрел я на него, и всякий раз его вольная красота покоряла мое сознание. Закинув ветвистые рога, стремительно несется он, кра-

сивый, гордый, а за ним заливается лаем преследующая его собака. Спасается бедняга от собаки и натывается на человека, в этом случае еще более безжалостного и коварного, чем любой пес. Насторожившийся охотник издали слышит бег оленя, и его кровожадное сердце горит, разгорается от нарастающего нетерпения. Но вот олень приблизился к нему на расстояние ружейного выстрела, сквозь кустарник и листву деревьев уже виднеется печальная, встревоженная морда оленя. Собака настигает его. Олень, выкинув вперед ногу, стрелою перелетает через кусты. И думается: вот повернет он в сторону и обретет в любимом лесу свою полную опасностей свободу. Но нет,— я свищу. Взгляните, как тревожно он замер, каким непередаваемо изящным движением закинул он голову, сколько ужаса и обреченности в растерянном блуждающем взгляде его печальных глаз, как насторожены уши, как жадно втягивает он расширенными ноздрями воздух, пытаюсь учуять запах противника. Он такой красивый, такой нежный и стройный, в нем столько чарующей гордости, что, кажется, даже притаившемуся где-то врагу не устоять перед обаянием, которым так щедро одарила его природа. Однако человек не настолько мягкосердечен, чтобы поддаться на это. Втянув воздух и почуяв человеческий дух, олень устремляется вперед, но грянул выстрел, и полный жизни, свободный, величавый олень падает на лугу, на том самом лугу, на лоне которого он впервые открыл глаза, чтобы приветствовать мир, и в последний раз смежил их, чтобы проститься с ним навеки. Луг был его колыбелью и в конце концов стал его смертным ложем.

Надо видеть, как кротко, как безропотно умирает этот гордый, вольный зверь. В глазах его, полных слез, я всегда читал: «Ты — мой убийца! Мир божий так велик и обширен. Что тебе тот клочок земли, который нужен был мне, невинному и кроткому, в этом необъятном мире?»

Пока земля впитывает в себя пролитую кровь, у меня щемит сердце от этой мысли, но вот кровь впиталась, и я вспоминаю о том, что и мы, владыки жизни, венцы творения, мы сами тоже не хотим уступить друг другу ни клочка земли. Стоит мне только подумать о том, что каждая пядь земли, по которой ступал человек, впитала в себя хотя бы горсть человеческой крови,— сердце мое успокаивается, и я говорю, чувствуя себя справедливым:

— И то благо, бессловесная моя тварь, что ты погибаешь там же, где родилась! Мы, люди, часто лишены и этого утешения.

II

Пройдите верст пятнадцать от нашей деревни, чуть пониже ее, и вам попадутся подходящие для охоты уголья. Да и не только там. Повсюду в нашей благодатной стране, над которою, как гово-

рят крестьяне, «Иисус Христос отряхнул щедрую свою ризу», — повсюду есть прекрасные места. Какой только зверь не водится здесь: и стройный олень, и степенный дикий кабан, и сметливый медведь. А птиц и не перечесть! Но особенно я любил места, о которых только что упомянул, — пониже нашей деревни. Я хорошо знал их, исходил вдоль и поперек, выследил, где водится дичь. Бывало, уходил туда на два, на три дня; только в сумерки возвращался я в деревушку, где жил мой кум, почтенный крестьянин; проведя у него ночь, я наутро, чуть сизо-голубым подернется рас-светное небо, снова спускался в долину охотиться.

Два месяца не бывал я в тех местах, и меня снова туда потянуло.

И вот в одно прекрасное летнее утро взял я свою двустволку, кликнул борзую и тронулся в путь.

У околицы той деревни, в которой жил мой кум, там, где у самого края проезжей дороги начинаются изгороди, стоял хлев, а к хлеву был пристроен саманник *, выступавший в виде навеса над самой дверью. Вокруг саманника не было видно следов человеческого жилья. Он принадлежал, очевидно, какой-то семье, не то вымершей, не то выселившейся из тех мест. Саманник, брошенный на произвол судьбы и позабытый так же, как забыт его хозяин, стоял у самой дороги, и мне часто случалось проходить мимо него. Но когда бы я ни проходил, в гору или под гору, я не видел там ни души, разве только исхудалая крестьянская лошадь с облезлой спиной, не имея сил уйти куда-нибудь подальше, пощипывала выжженную засухой траву возле самого саманника. Однако на этот раз, поднимаясь в деревню, я с изумлением увидел там какого-то человека. Он лежал у входа в хлев. Мало того, утром, спускаясь в долину, я снова увидел незнакомца на том же месте. И вечером, возвращаясь домой, в час, когда сумерки еще борются со светом, я опять увидел незнакомца — он лежал в том же положении. Я удивился тем более, что поблизости не было ни души, и решил обязательно в тот же вечер расспросить кума, кто этот пришелец и откуда он взялся.

— Как вам сказать, шени чириме? * — ответил мне кум. — Никто у нас не знает ни кто он, ни откуда пришел. Нищий какой-то, убогий, бездомный. Забрел и приютился тут, вот уже второй месяц. Хворый он.

— Совсем-совсем одинокий человек?

— Не знаю, шени чириме. Здесь он один, нет никого, кто бы о нем заботился.

— Кто же его кормит?

— Мир кормит. Много народу проходит по этой дороге. Кто сверху, кто снизу идет, всегда найдется добрый человек, сунет ему ломоть-другой хлеба. Большого он и не просит, одним хлебом обходится.

— Видно, не здешний?

— Что вы, конечно, не здешний! Был бы здешний, не пропадал бы один, не отринул бы его господь!

— Тебе случалось с ним разговаривать?

— Как же! Случалось...

— И он ничего о себе не рассказал?

— Нет. А складно говорит, бедняга!

— Может быть, ты просто ни о чем не спрашивал?

— Как не спрашивал! А он мне вот что однажды сказал: «На что тебе знать, кто я и откуда? Потерянный я человек, позабытый. Взгляни на меня, брат. Что видишь, то и есть». Больше ничего не сказал, да и я с тех пор не спрашивал. Скрывается, верно.

Все это показалось мне очень странным. Человек я по природе любопытный, и вам нетрудно себе представить, как взбудоражили меня не очень вразумительные речи моего кума; очень мне захотелось узнать, что это за человек и какова его судьба. Почему он скрывается, что у него на душе? Я решил во что бы то ни стало выпытать у самого нищего, кто он и откуда.

Однажды я возвращался домой после неудачной охоты, утомленный бесплодным шатанием. Солнце стояло еще высоко, был час, когда гонят с тока волов, и я снова увидел несчастного страдальца — он лежал на обычном своем месте. Я не выдержал и решил: будь что будет — подойду, авось заставлю его рассказать что-нибудь о себе. Кстати, я немного устал, до кумова дома было еще порядочно, — хоть ноги отойдут. Я подошел и поздоровался:

— Здравствуйте!

— Да продлит господь твои дни! — ответил он слабым, надтреснутым голосом и почтительно приподнялся. Очевидно, принял меня за князя.

Я заметил, что это усилие далось бедняге нелегко. Казалось, все тело его пронизала боль, — так страдальчески сдвинулись брови, так исказилось лицо. Незнакомец был до крайности истощен болезнями. Желтое лицо с красновато-коричневыми пятнами отекло, как бывает у больных водянкой. Волосы на голове и отросшая борода сбились комьями от грязи, как будто их никогда не касались ни вода, ни гребенка. Подстилкой нищему служил кусок лезгинской бурки, а прикрыт он был изодранной солдатской шинелью; рядом стоял кувшин с отбитым горлышком, валялись торба из грубой рогожи и довольно длинный посох — верный и надежный спутник всякого нищего.

Видимо, жизнь беспощадно обошлась с этим человеком, но было в нем нечто указывающее на то, что житейские бури все же не сломили мощи его духа. Умные, усталые глаза смотрели на мир печально и хмуро, однако во взгляде чувствовались сила и стойкость. По глазам можно было угадать, что их обладатель прошел через огненные испытания, что не раз его застигало ненастье, но ни огню, ни бурям не удалось убить в нем всего, что они могли

убить. Он представлял собою зрелище отталкивающее и — добавил бы я — жалкое, но не решаюсь: этому противоречило гордое выражение глаз. Его огромные, страшно распухшие ноги торчали из-под шинели, из открытых ран стекал гной. При виде всего этого я, прости господи, отвернулся, до того мне стало тошно.

Что, противен я тебе, добрый человек? — печально и глухо спросил меня нищий, но в его голосе мне почудился укор.

Я взглянул снова: по лицу скользнула не то горестная, не то ненавидящая и осуждающая меня улыбка. Мне стало стыдно, я опустил голову, не выдержав сурового выражения его глаз. Я чувствовал, что лицо мое пылает от стыда за то малодушие, с каким я принял смелый, открытый вопрос этого человека. Я не ответил ни слова, да и что мог я сказать?

Да, ты прав, — продолжал бедняга таким тоном, точно ему стало меня жалко и он хотел меня же успокоить. — Ты прав. Заживо точат меня черви. Я и сам себе противен. Что уж говорить о тебе!..

Мое малодушное сердце все еще не могло успокоиться, хотя, казалось, он сам готов был оправдать мою грубость. Но какое же это было оправдание? Я еще больше смутился, в эту минуту я поистине ненавидел себя. Да что объяснять! Передо мною лежал человек — полуживой, покинутый всем миром, лишенный надежды и утешения. Ему так нужны были сердечная забота и ласковое слово, а я безжалостно, с презрением от него отвернулся. Тут не могло быть оправдания! Мне следовало встать и, попросив прощения, искупить свое скотское поведение. Вот единственное, что могло бы оправдать меня, но не хватило душевных сил совершить этот честный поступок! Слаб человек, ах, как слаб...

Вот уже четыре месяца я в таком виде, — начал он снова. — Скрутила меня болезнь, вот до чего довела! Пропадаю без крова, без близких! Во всем мире нет никого, ни единой души, кто бы меня оплакал. Смерть позабыла обо мне, как позабыли и люди. Жду, а не приходит! Видно, такая же добрая, как они: прячется, когда ты в нужде!.. Что ж, пусть не идет... Господь сохранил мне еще довольно сил, я снесу судьбу мою до конца, до могильной двери... Все это так, но... куда меня занесло, где я умираю...

Мир! Зачем играешь нами и кого куда забросишь?

Как и я, рыдает каждый, кто доверился тебе.

Пропастью подстерегая, смертного нежданно скосишь.

Но господь не забывает в жертву отданных судьбе¹.

Правильно сказано, шени чириме! Мир отверг меня и лишил угла. Но широк покров господень!

¹ Отрывки из поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» даны в переводе Г. Цагарели.

Нищий поднял глаза к небу.

А я... Легко представить себе, до чего я был поражен этими словами Руставели в устах едва прикрытого лохмотьями нищего! Слава гению человека, чьи слова даруют утешение вплоть до гробовой доски даже таким, потерявшим последнюю надежду! Мир великому духу твоему, бессмертный Руставели!

«Что же это? — сказал я про себя. — В прошлом этот человек был, очевидно, совсем иным, чем представляется сейчас?»

Любопытство мое перешло все пределы, да и сам нищий не обрывал беседы, и у меня появилась надежда заставить его рассказать о себе. Я хотел задать ему вопрос, но удержался: вихрь воспоминаний явно пробудил в нем былую скорбь. Я предпочел обождать, дать развеяться этим скорбным тучам и лишь потом спросить, кто он и откуда.

Немного спустя нищий снова обернулся ко мне и долго пристально глядел на меня своими черными глазами. Выражение его лица как будто изменилось. Теперь можно было вступить с ним в беседу, но я придумывал, с чего бы начать, и ничего не мог придумать. Так всегда бывает, будь оно неладно! Теряешь всякую находчивость, когда она особенно необходима! Наконец я решился: начну! Будь что будет, пускай даже выйдет какая-нибудь неловкость!

— Ты, братец, — участливо сказал я, — верно, не здешний, иначе не бросили бы тебя близкие без призору...

— Верно изволили заметить, — ответил он. — Я не здешний, родина моя далеко отсюда, но и на родине мне тоже пришлось бы умирать бесприютным, потому что там, как и здесь, у меня никого не осталось.

— Давно ты в этих краях?

— Довольно давно, батоно *. Нынешней осенью, если дотяну, исполнится пять лет. Да, уже пять лет прошло с того дня, как меня заставили навсегда распрощаться с родной землей. Пусть я прощу, бог все же взыщет с того, кто оказал мне эту услугу.

— Как навсегда распрощился? Разве тебя изгнали?

— Ответить на это — все равно что рассказать всю свою жизнь.

— И расскажи. Что же тут дурного?

— Нет, я не говорю, что дурно, но все же мне не хотелось бы никому рассказывать о своей жизни, — сказал нищий таким тоном, что у меня появилась твердая надежда добиться признания, хотя бы ценою некоторой настойчивости.

— Почему не хотелось бы? Боишься чего-нибудь?

— Чего мне бояться? — усмехнулся нищий.

— За чем же дело стало? Расскажи, ради бога! — ~~взмолился~~ я, теряя надежду на успех. — С первой же встречи, бог тому свидетель, я почувствовал к тебе расположение, хотя...

— Хотя что?



— Ничего... Я хотел сказать, хотя мне показалось, что ты человек, обойденный судьбою,— закончил я иначе, чем думал.— Расскажи, кто ты, исполни мое сердечное желание!

— Кто я? — сказал он и запнулся, как будто ему все же не хотелось говорить...

III

— Сказать по правде,— начал снова нищий,— я бы ни за что не открылся тебе, если б не чувствовал, что близок конец. Я знаю, что дни мои сочтены. Хотя и трудно мне говорить, но что поделаешь? В сердце вновь ожило минувшее — стоит ли его теперь скрывать? Кроме того, мне нечего уже бояться, даже если ты выдашь меня. Но в ту пору, когда я решил скрываться, жизнь и для меня еще не лишена была сладости. Жила надежда так или иначе — трудом и потом — добыть кусок хлеба и кое-как скоротать посланные судьбою дни. Но теперь, когда жизнь стала горькой, как желчь, когда с течением времени я утратил даже эту последнюю сиротливую, как сам я, надежду, мне уже не о чем беспокоиться! Я расскажу тебе обо всем, что было со мной, пусть рассказ мой зачтется богом, как исповедь. Если в чем грешен и не успел покаяться — да простит он меня! Был я когда-то разбойником... За мою голову обещали Георгиевский крест, но, как видишь, предательская пуля до сих пор не настигла... Что говорить, был я в свое время ловким, стройным молодцем, на все хватало сил, но господу ведомо — какой же я разбойник? Разбойнику нужно такое сердце: зарежет ребенка у матери на коленях — и не дрогнет рука. Я не такой: у меня с самого детства мягкое, жалостливое сердце, а в юности меня озарил свет, какого не знали другие; поинному, чем у других, согрел он мою душу; но судьба предала, не пощадили и люди... И вот пришлось стать разбойником...

Я не кахетинец,— продолжал он после недолгого раздумья.— Я, кажется, тебе сказал, что мой край далеко отсюда, и — горе! — мне уже не придется до конца жизни увидеть родную землю и утолить жажду ее водою. Годы юности, с семи лет до двадцати, провел я в доме нашего помещика. Только бог на небе да я на земле знаем, как усердно нес я свое ярмо. Но кто это видел! Меня сразу же приставили к барчуку, ровеснику моему — Дати́ко. Как хорош был Датико в детстве, дай бог всякому! Никто в господском доме не смел меня обижать. Датико очень ко мне привязался, и его все остерегались. Сами знать изволите, как бывает с единственными сыновьями. Датико был капризным, балованным ребенком. Он подымал целую бурю из-за малейшей причиненной мне обиды. Сказать правду, я тоже привязался к своему маленькому господину, так что в конце концов привязанность моя обратилась в любовь. Подружился и он со мною. Отроческое сердце, шени чириме, похоже на ранний цветок: взглянет на него солнце — оно и рас-

пустится, не ведая того, что настоящая весна еще не скоро, того и гляди, налетит зимняя стужа и убьет его. Откуда мне было все это знать?

Впервые в доме господина согрелось мое сердце, но это же самое тепло и губило меня. Да, впрочем, домой меня совсем не тянуло. Там, у отца, хозяйничала такая злая, жестокая мачеха, что при одном воспоминании о ней начинало трясти, точно в припадке августовской лихорадки. А в господском доме меня баловали, как барчонка. Датико любил меня, я любил его. Разве я мог, глупый, знать в ту пору, что любовь между людьми высшего и низшегословия — несбыточный сон? Разве мог знать, что между помещиком и рабом нельзя перекинуть мост любви? Так уж устроен мир, что неравным никогда не идти в паре! О, если бы я это подозревал, клянусь богом и святынями дедов своих, я бы пропитал желчью свое сердце и погасил в нем любовь к Датико! Но разве мог я тогда знать?

Когда нам, и господину и слуге, исполнилось по четырнадцать лет, старый господин решил отправить Датико в город* учиться. Само собою разумеется, с ним должен был ехать и я. Узнав об этом, мой отец явился к господину с просьбой оставить меня дома. Сам знаешь, четырнадцатилетний мальчик в крестьянском хозяйстве — клад для семьи. В этом возрасте сколько-нибудь расторопный мальчик снимает с крестьянской семьи чуть не половину забот. Да к тому же я был у отца единственным ребенком от первой жены. Думается, отцу было трудно и жалко отпускать меня так далеко. Старый господин — дай бог ему царствия небесного — был человек мягкий, сердечный. Он и Датико не хотел разлучать со мной и отца жалел.

— Габрушки*, — ласково сказал он мне, — если не хочешь ехать с Датико, оставайся дома с отцом, я тебя не неволю. Знаю, Датико огорчится, но что поделаешь: сын принадлежит отцу.

Вот какой добрый был этот человек! Ведь сын раба принадлежит не отцу, а господину, но такое уж было у него сердце.

Я вспыхнул, мне показалось, что господин готов поддержать отца. А что, если, на беду, меня оставят дома? Они оба не подозревали, что я предпочел бы умереть с Датико, чем век жить с мачехой. У меня сжалось сердце, на глаза навернулись слезы. Я подумал: «Прогневался на меня бог! Попаду снова в когти этой ведьме!» Но Датико сам избавил меня от беды, да спасет его бог! Сызмала был он властным и своевольным ребенком; вздумается ему, бывало, что-нибудь, так скорее умрет, а сделает по-своему. Видя, что я молчу, он обернулся к старому господину и смело сказал:

— Если Габрушки не поедет со мною в город, я тоже не поеду.

Затвердил свое парень и, как ни просили его, как ни умоляли, стоял на своем. Что было делать старому господину? Не хотелось

ему обижать моего отца, но он хорошо знал нрав своего сына. Увидав в конце концов, что иного выхода нет, он предпочел огорчить отца и сказал со свойственной ему мягкостью:

— Видишь, мой Датó, Датико так привязался к твоему сыну, что ему трудно с ним расстаться. Пусть едут вместе! Хорошо, когда господин и слуга с ранних лет привязаны друг к другу: для слуги господин, с которым он рос,— надежная опора. Не мешай же им, ради бога, пусть любят друг друга.

Отцу, видимо, не очень понравился ответ господина, он угрюмо покачал головой и ушел до того раздосадованный и обиженный, что даже не простился со мною, когда я уезжал в город. Признаюсь тебе в своем жестокосердии — я тогда почти ничего не почувствовал, но зато впоследствии мне пришлось сильно каяться. Отца мне так и не довелось больше увидеть: в том же году дни его пресеклись. И остался я один-одинешенек, круглым сиротою, без близких родственников, без отцовского благословения. В этом необъятном мире не было у меня никого, кроме Датико. На него я перенес всю любовь одинокого сердца.

Приехали в город. Нас поселили у бедной пожилой вдовы, кумы старого господина. Был у нее когда-то сын, но и этот единственный сын показался судьбе слишком щедрым даром, она отняла его у несчастной вдовы. Ее домик о двух комнатах стоял на берегу Куры. Присмотревшись как следует, я подумал: «Вряд ли мы здесь будем сыты».

Когда я сказал об этом Датико, он засмеялся и ответил, что вдове будут платить в год двенадцать туманов* и впридачу сколько понадобится вина и хлеба. Зачем же ей держать нас впроголодь? И нужно сказать правду, благословенная старуха — господи, упокой ее душу — заботилась о нас, точно о родных детях.

Датико по утрам отправлялся в школу, приходил обедать, после обеда уходил еще раз и домой возвращался, когда уже звонили к вечерне. Беднягу нарядили в русскую одежду. Вначале она показалась ему до того противной, что он даже как-то расплакался при мне. Но вы знаете, человек ко всему легко привыкает. Привык в конце концов и Датико.

Дела у меня было немного. Выпроводив Датико в школу, я подметал комнату и потом уже весь день сидел сложа руки. Лишь изредка, бывало, старуха пошлет меня на базар за зеленью. Все остальное она покупала сама. Покончив с делами, я выходил на улицу, садился на камень и подолгу глазел на прохожих, как это делают все праздные люди. Нашу улицу пересекал переулок. Тут же стояла небольшая церковь; пониже ее, ближе к нам, на самом перекрестке возвышался огромный дом с большими воротами, принадлежавший какому-то армянину. Мне часто попадался там на глаза подросток-имеретин. Он выходил обычно по вечерам, усаживался в воротах и усердно читал какую-то рукописную книгу. Я все удивлялся: слуга, а читает! Был я в ту пору глуп и думал,

что чтение — только княжеское дело, а между тем, оказывается, книги к лицу даже таким несчастным людям, как мы!

Однажды в воскресный день Датико куда-то ушел и до вечера не заглянул домой. Не прошло и двух-трех месяцев после нашего приезда, как Датико стал часто отлучаться из дому, иной раз он не возвращался до самых петухов. Видимо, учение в ту пору уже успело ему надоесть.

Как я вам доложил, было воскресенье. Делать дома нечего, я вышел на улицу. В нашей церкви обедня еще не кончилась. Юноша-имеретин сидел с книгою на обычном своем месте. Я приостановился на камне на противоположной стороне улицы и стал наблюдать. Мальчик читал не отрываясь: то вдруг засмеется, то вновь с серьезным лицом уставится в раскрытую на коленях книгу. Не утерпел я, подошел к нему, поздоровался. Он мне, конечно, ответил.

— Как тебя звать, братец? — спросил он.

— Габриел. А тебя?

— Глахука.

— Ты откуда?

— Рачинец * я... А ты?

Назвал и я родные места.

— Ты рачинец? Верно, в слугах у кого-нибудь? — добавил я.

— Да, служу у армянина. А ты?

— Я? А я у сына моего господина.

— Тот молодой, что мимо нас ходит? Ты при нем?

— Да.

— Давно в городе?

— Порядочно. А ты?

— Около двух лет.

— И я уже с год. Почему же я раньше тебя не видел?

— Я был в отлучке. Мой ага * ездил в Кахетию и взял меня с собою. Только недавно приехали, двух месяцев не будет.

— Верно, поэтому... Что это у тебя? — спросил я, указывая на книгу.

— Сказки, братец. Когда нет работы, я этим развлекаюсь.

— А ну почитай, послушаю, — попросил я.

Добрый человек исполнил мою просьбу, стал читать, да так, что, прости господи, зависть взяла. Но не в этом дело: прислушался я, и вдруг то, что он читал, показалось мне знакомым, словно я уже где-то раньше все это слышал. Он перевернул страницу и стал читать о другом. Конечно, я это слышал в своей деревне! Не знаю почему, сердце мое забилося от радости.

— Вот проклятье! — воскликнул я. — Как попала сюда наша крестьянская сказка?

Да, это была наша простая деревенская сказка!

Мальчик-имеретин в ответ на мое восклицание тихо засмеялся.

— И в самом деле, мой Габриел,— сказал Глахука,— знаешь, что такое книга? Книга может любую весть из вашей деревни в город перенести или в деревне про город рассказать... Вот она какая! Люди бог знает как далеко друг от друга, а с ее помощью переведаться могут...

— Все это правда,— ответил я.— Но... наша деревенская сказка! Вот наваждение! В книгу записана! Ну-ка прочти еще раз!

И добрый мальчик снова прочитал сказку. Что долго рассказывать? Я полюбил эту книгу. Меня охватило горячее желание выучиться читать. Никогда и ни о чем не мечтал я так страстно. Завидовал — не скрою от тебя убожества своей души,— завидовал, что тот так бойко читает, тогда как я нескладно шатаюсь без дела. Наконец, не имея сил подавить свое желание, я стал умолять Глахуку:

— Ради бога, сделай доброе дело, научи меня грамоте! Я сирота, нечем мне отплатить, но бог велик и всемогущ!

Подумайте, ведь я дни напролет проводил в праздности! Если бы я знал грамоту, если бы я в ту пору мог прочесть эти сказки, тогда бы собака на судьбу мою не залаяла! *

— Ты правда хочешь учиться? По-настоящему хочешь? — просил Глахука.

— Еще спрашиваешь! По-настоящему? Будь только милостив... Хоть умру, да выучусь! — ответил я исступленно.

— Если так, остановка за малым.

— Ты, видно, славный мальчик, дай бог царствия небесного отцу твоему! — вскричал я радостно.

— Учить тебя буду не я, ты не думай! Я бы, конечно, не поленился, но, сам знаешь, нет у меня свободного времени. Я найду тебе хорошего учителя.

Услыхав это, я побледнел. Так бывает с павлином: он радостен и горд собою до тех пор, пока, опустив глаза, не увидит собственные свои черные лапки, и тогда печально понижают его крылья. Мое окрыленное сердце разом утратило весь свой пыл.

— Эх, братец,— сказал я с горечью.— Ошибся я в тебе! Учителю нужны корма хорошие, а у меня нет и ломаного гроша. Вижу, напрасно я так разгорелся...

Он рассмеялся и сказал:

— Какой скорый! Вспыхнул, словно порох! И сам я, милый, знаю, что у таких, как мы с тобою, не водится денег для учителей. Я найду учителя, который тебя даром обучит.

— Утешаешь меня, что ли? — недоверчиво возразил я.

— Можешь поверить, правду говорю!

— Правду?

— Ну да. Добуду тебе такого человека. Поможет, как брат родной.

— Ого! Да это, видно, святой,— сказал я.

— Ты не ошибся, он в самом деле служитель божий. Он и меня грамоте выучил, да воздаст ему бог!

— Нет, погоди, как так служитель божий? Он что — священник?

— Ну да. Ты говоришь — деньги! Не то что за деньги — он со свечою ищет таких, как ты, жадных до ученья ребят. А если кто не хочет, он до тех пор уговаривает, до тех долбит, пока у того волей-неволей не явится охота. Меня он тоже как-то увидел на улице — да будет благословен тот день, он был для меня счастливым днем... Стал расспрашивать: откуда-де, чем занимаешься? Я обо всем рассказал. Да что долго говорить — он так приворожил мое сердце ласковыми словами, так привязал к себе, что и я, наконец, стал учиться грамоте. Да не я один! С десяток мальчиков нашего околотка ходят к нему учиться! А денег он не берет ни гроша — с тебя тоже не возьмет. Однажды, получив жалованье, я надумал отдать ему два рубля, так он хоть и не рассердился на меня, но очень огорчился.

«У тебя есть отец?» — спросил он.

«Нет, шени чириме».

«А мать?»

«Есть».

«Кто ее кормит?»

«Я, шени чириме. Кроме меня, у нее никого нет».

«Вот и сохрани эти деньги для матери, — приказал он со свойственной ему сердечностью. — Разве лишние у тебя, что мне отдаешь?»

«Матери я послал, что ей следует, а эти для вас оставил, чтоб помянули меня в своих молитвах».

«Молитва не покупается за деньги и не продается».

«Вы сердитесь на меня, шени чириме?»

«Нет. Говорю тебе правду».

«Так научите же, что мне с ними делать?»

«Спрячь их для себя, а если тебе не нужны, отдай тому, кто беднее меня и тебя. Там, в конце вашей улицы, живет бедная семья. Этим людям не на что купить хлеба, а мы с тобой каждый день сыты».

Он сказал — и поверишь ли, я сейчас же разыскал ту семью и отдал отложенные два рубля. Чудесный он человек! Хотя бы у самого что-нибудь было, а то ведь ничего за душою, едва со дня на день перебивается. Рассказать тебе про жизнь этого священника, ты и не поверишь! Ни одно доброе дело в нашем околотке не делается без участия его благодатной руки. Если я стал человеком, так только по его милости. Да вот и он, — добавил Глахука, указывая на церковь.

Обедня кончилась. Женщины в белых чадрах заполнили улицу, мужчины — вы знаете наши обычаи — кучками толпились возле паперти и, как всегда, шумно беседовали.

В толпе показался высокий молодой священник.

— Это он? — спросил я Глахуку, не отводя глаз от священника.

— Ну да, он. Пойдем, брат, попросим благословения.

IV

Он поднялся, не дожидаясь моего ответа, и направился к церкви. Я последовал за ним. Священник стоял среди толпы. Люди, словно мухи, роились вокруг него. С иными он разговаривал, и те ему приветливо отвечали. Иные задевали его шуткой, и он тотчас же шутливо отзывался, и надо было слышать, каким сердечно-дружным хохотом разражался тогда народ. А были и такие, что молча восторженно глядели на него; казалось, они верят, что из уст его вот-вот польется золото, и боятся, как бы оно не пролилось мимо рук. Много добра должен был посеять тот, вокруг кого с такой любовью теснится народ. Это и есть настоящий человек, шени чириме, он с достоинством носит шапку на голове. Хороший человек вроде медом помазан — и стар и млад вьется вокруг него. Не много таких людей земля носит.

Как истомленный жаждой мечтает о воде, так я жаждал услышать его. Я вытягивал шею, чтобы разглядеть священника и разобрать, что он говорит. Перед ним, понурившись, стоял какой-то мальчик.

— Все это хорошо, но почему же ты перестал ходить ко мне? — спросил священник. — Надоело грамоте учиться, проказник ты этакий?

— Да нет, — ответил мальчик. — Отец не пускает.

Священника как будто перевернуло — до того огорчил его ответ мальчика.

— Отчего не пускает?

— Говорит, достаточно и того, чему научился.

— Отец твой здесь?

— Вон сидит.

— Позови его.

Мальчик волчком сорвался с места и побежал за отцом.

— Вот он какой, этот Пётрэ... — проговорил священник как бы про себя и задумался.

— Такой уж есть. Злая собака и сама не ест и другим не дает, — крикнул кто-то.

Все засмеялись. Улыбнулся и священник, но тотчас же сдержался.

— Ни отец, ни дед не учились. Станет он разве своего сына учить? — отозвался в толпе чей-то голос. — Человек он упрямый, такому привычное горе милее непривычной радости.

— Насчет таких людей и сказано: умный почитает наставника, глупца мутит от него, — воскликнул кто-то.

И долго бы еще они перебрасывались репликами, если бы в эту минуту не подошел сам Петрэ.

— Скажи, кацо*, правда ли, что ты запретил сыну учиться? — промолвил священник.

— Правда. Не его это дело! Не взлететь перепелу на дерево, шени чириме. Не судила судьба этой чести, — смело возразил Петрэ.

— То есть как — не судила судьба?

— Да так, шени чириме. Наше дело крестьянское. День и ночь в поту да на работе из-за хлеба насущного. Так уж повелел господь: «В поте лица добывайте хлеб свой». Божье веление легло тяжестью только на наши крестьянские плечи, вот мы и тянем. Разве книга наше дело? Не насытит она голодных животов. Наша книга — земля, будь она благословенна! Когда земля, точно ковер, зазеленеет всходами, вот по этим всходам мы и читаем свою судьбу. Наше перо — плуг, не знающий устали, а вместо чернил — пот, что струится из нашего нутра. Омочив плуг в этом поту, раскрываем мы щедрое сердце земли и кидаем в нее семена. А настанет время, приходим к ней снова, и благословенная земля никогда не устает, не оскудевает силами, она неизменно хотя бы вдвойне возвращает нам отданное ей на сохранение. Недаром матерью зовут землю, она поит нас своими сосцами, мы радуемся ей денно и нощно, она нам и горе и радость, шени квнесаме!* Книга — дело прекрасное... Кто этого не понимает! И немало еще на свете прекрасных вещей, но нам до них не дотянуться. Осмеюсь сказать, шени чириме, первая наша забота — чтобы животы не были пустыми. Вот наша главная боль и забота.

— Правильно говорит, клянусь богом! — зашумели в толпе те самые люди, которые за несколько мгновений до этого зло смеялись над Петрэ.

— А как же иначе? — приободрился Петрэ, почувствовав, что народ его поддерживает. — Весь свой век гнем спины, головы не можем поднять, все в землю глядим, словно скотина, как будто счастье наше схоронено там и мы его ищем. Где уж тут думать о книге!

— Я понимаю, Петрэ, что у тебя на сердце. Ты человек разумный, — печально сказал священник. — И горе твое мне близко. Ты предпочитаешь книге плуг, потому что сегодня плуг тебя кормит.

— Правильно говорить изволите, шени чириме, — ответил Петрэ.

— Но скажи, если бы ты не знал, что железо становится мягче от огня, как бы ты выковал лемех для плуга или топор, которым рубишь дерево для того же плуга? Если бы ты не знал, как смастерить плуг, чем пахал бы ты землю? Если бы ты не знал, какую землю и как надо пахать, глубоко ли опускать лемех или полегче, что случилось бы с тобой?

— Врагу твоему не пожелаю!

— Откуда же ты все это знаешь?

— Как откуда? От дедов, шени чириме. Были глаза — я видел, были уши — слышал, была охота — догадывался, была память — оставалось в голове.

— Все, что ты видел, слышал, о чем догадывался, и то, что оставалось в сознании, — как бы ты назвал все это, вместе взятое?

Петрэ задумался, не знал, что ответить, потом нерешительно сказал:

— Почему мне знать, шени чириме, как это называется?

— А все-таки?

— Все это — опыт мой, пережитое, знание мое, шени чириме.

— И это знание кормит тебя?

— Ясное дело, шени квнесаме! Сам хорошо знаешь: не будь этого знания — хоть в воду!

— Скажи мне еще одно: сколько на свете людей, у которых знаний больше, чем у тебя?

— Помилуй, откуда мне знать! Полагаю, их больше, чем у меня волос на голове... Лучше лучшего никогда не переводится.

— Разве не было бы лучше, если бы опыт и знания этих знающих людей приложить к твоим? Разве тебе не было бы легче живот свой насытить, разве не меньше ты бы поту пролил и жатва твоя не стала бы богаче?

— Дай бог тебе столько милости, как бы хорошо это было, да ведь беда в том, что мне до них ни глазом не дотянуться, ни ухом. Недаром ведь говорится: откуда да куда, святой Саба*. Где их искать на необъятной нашей земле, чтобы расспросить о том, что мне нужно?

— А что ты скажешь, если я покажу нечто такое, что по твоему желанию передаст в твои руки опыт и знания умных людей, то, чего достигли лучшие мастера мира, одним словом, если сделаю так, чтоб ты издали мог поговорить с умным человеком, — что ты тогда скажешь?

— А то, что сказал бы весь мир: это колдовство.

— Такой колдун и есть книга.

Когда эти слова дошли до моего сознания, сказать правду, сам не знаю почему, дрожь прошла у меня по телу. И не только со мною это случилось, но и со всеми: лица у людей просияли, словно их озарило солнцем. Попавший впросак Петрэ стоял не шевелясь. Глаза его были широко раскрыты. Казалось, у него кружится голова. Долго стоял бы он в таком оцепенении, но его пробудил голос священника:

— Ну, как по-твоему: может книга тебе в чем-нибудь помочь или не может?

— Разреши мне поцеловать твои колени, — сказал растроганный Петрэ. — Не раз приходилось мне прикладываться к

чужим коленям, но ни разу — к коленям такого человека, как ты.

Священник остановил Петрэ. Тогда Петрэ открыто и ясно взглянул на него и, радостно просветлев, воскликнул:

— Благословенны золотые твои уста! Я был слеп, когда давеча говорил с тобой. Чуть было не согрешил перед сыном, а теперь от благой твоей вести прозрел. Отец, который мешает сыну учиться, да еще у такого праведного человека, как ты, — враг своему ребенку. Пусть перепелу не дано взлететь на дерево, но сын мой должен знать грамоту, шени чириме. Дай мне руку, шени квнесаме! Дай поцеловать ее!

Петрэ хотел припасть к руке священника; тот благословил его, но руки не протянул.

— Так благослови хоть единственного моего сына, — сказал Петрэ и подтолкнул вперед мальчика.

Священник благословил мальчика и, улыбаясь, поцеловал его в голову.

— Запомни этот день, сын мой, — сказал Петрэ. — Для нас с тобою это солнечный день.

Священник был взволнован. Мне показалось, будто в его глазах блеснули слезы. Он отвернулся от растроганного Петрэ и от его сына, стоявшего перед ним с опущенной головой, как бы не желая, чтобы видели, какой доброты исполнено его сердце. Взгляд священника упал на какого-то старика.

— Зака́рия, постыдился бы, кацо, — сказал он. — С братом не можешь ужиться, с родным братом... Что подумают люди, когда узнают? Какой стыд, какой стыд! У тебя на голове ни единого черного волоска, а ты вот как поступаешь!

— Как же быть, шени чириме? — ответил старик, немного смутившись. — Нехорошо, конечно, да уж очень он упрямый и вздорный. Не моя вина, бог тому свидетель!

— Не лги, старик, грешно! Стыдно! Ты же старый, бездетный человек. Если перед людьми не совестно, бог-то ведь все видит... Что ему скажешь?

— Извел меня брат!.. Да не постигнет меня гнев твой, до того извел, просто житья нет. Не говоря уже о том, что я ведь старший...

— Знать ничего не хочу! Оба вы виновны перед богом и людьми. Братья, а враждуете... Говорю вам перед всем народом, и тебе, и твоему брату: если не станете жить во взаимном согласии и уважении, не велю пускать в церковь!

Сказав это, священник благословил народ и собрался уходить. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как наткнулся на Глахуку.

— А, Глахука! Здравствуй, милый! — улыбнулся священник. — Что поделываешь, как живешь?

— Твоими молитвами, шени чириме, твоими благословениями! — ответил Глахука.

Священник положил руку ему на плечо, обнял и увел с собою. Много неожиданного видел я в тот день, но это поразило меня больше всего. Ну что такое был Глахука? Простой слуга, и только, а священник не побрезговал и обнял его. Как ни был я еще юн, но такое смирение, такая скромность покорили мое сердце. Я пошел следом за ними.

— Где пропадаешь, почему тебя не видно? — спросил священник Глахуку.

— Я приехал только месяца полтора назад, — ответил Глахука. — Мы с агой были в Кахетии.

— Что же ты, бичо*, ни разу не навестил меня? Мы с тобою дружили когда-то, хлеб-соль водили, одним воздухом дышали...

— Клянусь вашей милостью, у меня нет ни минуты свободной, мне одному приходится смотреть за этим огромным домом, за всем добром, все мне поручено. Кроме меня, у аги никого не осталось, всех рассчитал. А то разве я не пришел бы к вам? Кто для меня дороже и лучше вас?

— Это, конечно, важнее, чем меня навещать, Глаха! Будь и впредь усерден в трудах, будь прилежным и верным, чтобы заслужить благоволение бога и людей. Мы должны исполнять то, за что беремся. Хлеб только тогда сладок, когда добыт по-хорошему, по-человечески. А со мною разговаривать, братец, не так уж важно: на свете не найдется человека, который дал бы тебе столько радости, сколько дает исполнение долга.

Беседуя так, они миновали переулочек и свернули за угол. Оттого ли, что он слышал мои шаги, или от чего-нибудь другого — не знаю, но он взглянул на меня и, увидев, что иду следом, спросил:

— Ты, братец, не ко мне ли?

— Нет, шени чириме, я иду за Глахукой.

— А я подумал, что у тебя ко мне дело, — сказал он и пошел дальше, все так же держа Глахуку за плечи.

Я отстал. Глахука начал ему что-то рассказывать. Я был уже на таком расстоянии, что ничего не мог разобрать. Во время рассказа Глахуки священник остановился и раза два ласково взглянул на меня. Я тотчас же понял, что разговор идет обо мне, и, сказать правду, сердце забилося так, как будто от этого разговора зависела вся моя судьба. Священник поманил меня рукой. Я сорвал шапку и с непокрытой головой вытянулся перед ним. Он отобрал у меня шапку и надел ее мне на голову. В эту минуту я заглянул ему в лицо. Как вам передать, что я увидел? Благодатью, бесконечною благодатью светились его задумчивые глаза! Какого милосердия должно быть исполнено человеческое сердце, чтобы оно так отражалось в глазах! Лицо этого человека показалось мне подобным лику иконы — верно, оттого, что я заранее так настроился, не знаю... Но оно и до сих пор запечатлено в моем сердце точь-в-точь таким, каким я его впервые увидел. Священник

был высок и строен, его худошавое лицо, чуть-чуть тронутое печалью, отличающей людей, обремененных заботами и болеющих за своих ближних, казалось несколько бледным. Он выглядел совсем молодым, черная короткая бородка не успела еще отрасти. Лицо и весь его облик были таковы, что сердце с первого же взгляда тянулось к нему, как подсолнечник тянется к солнцу.

— Учиться, брат, хочешь? — обратился он ко мне. — Если так, отчего сразу не сказал, когда я тебя окликнул? Почему утаил от меня желание своего сердца? Ты, видно, скрытный! Сказал же тебе Глахука, что я учу грамоте таких хороших ребят, как ты.

Он улыбнулся, положил мне руку на плечо и ласково покачал головою. Я потупился от смущения и не находил слов для ответа.

— Отчего опустил голову? Только животные глядят в землю, человеку надлежит смотреть в небо. Ты словно меня стесняешься... Ну-ка, взгляни, я ведь такой же человек, как и ты. Он взял меня за подбородок, приподнял голову и добавил: — Без шуток, если хочешь учиться грамоте, отныне я — твой учитель, ты — мой ученик. Что скажешь?

— Что говорить, шени чириме? Могу только поблагодарить вас, — робко сказал я.

— Поблагодарить успеешь. Как тебя зовут?

— Габриел.

— Так вот, Габриел, когда справишься с домашними делами, скажи Глахуке, он проводит тебя ко мне. Но смотри, как бы не пострадали твои дела, надо, чтобы ученье не мешало работе.

— Домашняя работа! Пускай даже недоделаю чего, не ради дурного же!

— Я этого, брат, не говорю. Но все же лучше, чтобы и шашлык не сгорел, и вертел был цел. Нехорошо, если из-за одного дела страдает другое. Ты ведь крепостной?

— Да, крепостной.

Священник хмуро покачал головою, словно огорчился чем-то.

— Пусть так, все равно мы с тобою — люди, дети одного отца, — произнес он немного спустя. — Приходи, я живу тут поблизости. Учись усердно, ни о книгах, ни о чем другом не заботься, все у тебя будет. Ты такой молодчина на вид — пожалуй, месяца через два-три обгонишь и Глахуку.

Я рассмеялся.

— Чему смеешься? Не верится? Человек, если захочет, гору сдвинет, слышал?

— Разве такие люди, как я, двигают горами, шени чириме?

— Почему ты знаешь, что ты не такой? Искра божья, брат, во всех нас живет!

— Дай бог! Я и сам этого хочу.

— Вот тебе майдан, вот и мяч*, попробуем, недаром говорится: попытка — половина удачи.

— Я не отказываюсь, попробую, пускай хоть задавит меня эта гора!

Священник взглянул мне прямо в глаза; казалось, его тронули мои слова. Лицо его прояснилось, и он сказал:

— Ты так думаешь? Нет, такого крепкого, сильного человека, как ты, ничто не задавит, а придавит — все равно встанешь на ноги. Я же сразу сказал, ты хороший мальчик. Такой ученик, как ты, радость для учителя. Вижу, Габриел, станем друзьями!

Вы не поверите, мне точно согнуло колени от этих слов, захотелось припасть к его ногам.

Но едва я опустился на одно колено, как святой человек быстро взял меня за плечи, с силою приподнял и поставил прямо перед собой.

Затем сказал не без досады:

— Грех какой! Никогда этого не делай.— Помолчав, он добавил: — Горячее у тебя сердце, мальчик!

Глупец, разве мог я тогда в должной мере оценить этого человека! Когда мой господин кидал мне за обедом дынную корку, меня тотчас толкали в спину, и я спешил приложиться к его коленям, а этот человек готов стать другом сироты, безродного и бездомного, он не брезгует дружбой с рабом, которого господин может в любую минуту обменять на дворовую собаку! Как не упасть перед ним на колени? Помню, старому моему господину — а считался ведь хорошим человеком — было все же приятно, когда я целовал ему колени. Я думал, что и священнику это будет приятно, но он огорчился, хотя тут же простил мне мою глупость.

В ту пору такие поступки священника меня поражали, теперь я его понимаю. Оказывается, хорошего человека вознаграждает за добро его же собственное сердце. Откуда мне было знать!

О, горе, судьба все-таки задавила меня, гордого мальчика, в сердце которого он разбудил надежду. И вот не стало сил подняться. Не то — почему знать? — может быть, из меня тоже вышел бы настоящий человек.

Сердце мое вспыхнуло, точно порох, голова горела, я почувствовал странный прилив сил и восторженно вскрикнул:

— Ты служишь богу, а я буду служить тебе! Иначе как я тебе отплачу?

— Он воздаст,— священник указал на небо,— он глядит на нас обоих...

— И записывает в сердце своем твои добрые дела,— перебил я его.

И снова мои слова, видимо, поразили его. Он с удивлением взглянул на Глахуку, а Глахука, раскрыв рот, таращился на нас.

— У тебя огненное сердце,— помолчав, сказал священник.— Послушай, сегодня я нужен тебе, а завтра или послезавтра ты понадобишься мне. Так создан мир. Придет время, и мы с тобой

сочтемся; слышал: гора с горою не сходятся, а человек с человеком сойдется. Так ведь, Глахука?

— Да, правда,— сказал Глахука.

Я усмехнулся:

— Понимаю. Ты, батоно, утешаешь меня. Разве может такой человек, как я, помочь такому, как ты? Что могло бы с тобою случиться?

— Не бывает, думаешь? Что такое чека? Палочка, только и всего, ее даже не видно в огромной арбе, а без нее арбу и не запряжешь. Так и во всем, брат: малые мы или великие, все не сегодня завтра можем понадобится друг другу. Ничего, говоришь, не могу? Не можешь быть хорошим человеком? Куда же ты после этого годишься! Поверь, было бы только желание, случай всегда найдется. Скажем, ты выучился грамоте — я уверен, что выучишься скоро,— найди такого же хорошего мальчика, выучи его. Вот и погасишь свой долг. Ничего, говоришь, не могу? Господь дал тебе разум, сердце. Упражняй их, пока теплится жизнь. Разум осветит твой путь, сердце согреет его, господь всемогущ... Кто бы ни был человек — господин или крепостной, я ли, ты ли,— в сердце каждого из нас горит зажженный богом огонь. Благодаря этому огню и ты, и я, и другие способны иной раз совершить дела, которым будет дивиться мир. Важно ли то, что сегодня мы с тобою маленькие люди? Быть может, завтра по-иному повернется судьба — почем знать, кто будет впереди, кто позади? Мы должны совершить все, что в наших силах, этого требуют от нас и бог и люди...

Он долго еще говорил со мною, он многое мне сказал, но всего не припомнишь, ослабела память.

Одно знаю: его слова заставили меня сильно призадуматься, с тех пор, явись передо мною хоть сам ангел смерти, я не опустил бы глаз и перед ним. А раньше я стеснялся даже людей.

— Сколько раз я бывал у него,— сказал Глахука, когда священник ушел,— он никогда со мною так не разговаривал.

— Всё от судьбы, брат,— ответил я.

— Нет, брат, дело не в судьбе.

— В чем же?

— Это бог сделал, это он создал тебя таким...

Не пойму, почему он мне так сказал. Сказав же, повернулся и ушел.

Пошел и я к дому, раздумывая о том, что случилось.

V

Само собою разумеется, не успел я наутро покончить с делами, как меня неудержимо потянуло к священнику. Я расспросил Глахуку, где он живет, и отправился к нему один. Я открыл ни-

зенькую, выходявшую на улицу дверь. В галерее на деревянной тахте расположились шесть или семь мальчиков. Наш священник сидел среди них с непокрытой головой. Одних он учил читать, другие писали. Тут же рядом, у маленького камина, возилась с горшками какая-то старушка. Увидев меня, священник улыбнулся.

— А, Габриел, здравствуй! — тотчас же сказал он.

Я поклонился и подошел под благословение.

— Ты, брат, держишь слово, — добавил он.

— По милости твоей, по наставлениям твоим, шени чириме, — ответил я.

— Будто?

— Не знаю почему, но я уже не тот, каким был, пока не знал тебя.

— Ты льстишь мне?

— Умереть мне лучше, чем оттолкнуть твое сердце лестью.

— Скажи, ради бога, сколько тебе лет? — спросил он, меняя почему-то разговор.

— Кажется, четырнадцать, пятнадцатый...

— Четырнадцать, пятнадцатый... — протянул он, точно усомнившись, и внимательно взглянул мне в глаза.

— Почему ты спросил меня об этом, шени чириме?

— Да так... Сказать правду, подумал, что ты старше... — ответил он так неуверенно, словно чего-то недоговаривая. — Вот, мать, — священник живо обернулся к старухе, — я рассказывал тебе вчера о Габриеле. — Это он и есть; ему, оказывается, четырнадцать... не то пятнадцать...

Старуха взглянула на меня и сказала:

— Дай бог вырасти на гордость родителям.

Я не стану рассказывать о том, как учился грамоте: и без того моя история затянулась, боюсь вам наскучить. Скажу только одно: отец родной не обращается так со своими детьми, как он обращался с нами.

Он быстро обучил меня грамоте. Три или четыре месяца спустя я не только умел читать, но заучил наизусть молитвы и помню их до сего дня. Я и поныне, в одиночестве, беседую с богом словами этих молитв.

Прошло еще несколько месяцев, и он отделил меня от остальных учеников и сказал:

— Ты оказался соколом, мой Габриел! Придется нам с тобою учиться отдельно. Твои товарищи, как младенцы, едва ножками перебирают, а ты бежишь вперед... С нынешнего дня приходи ко мне по вечерам. Сядем за книгу и будем подгонять друг друга.

Священнику я очень нравился. Он хвалил меня за внимание и сметку.

— Я уверен,— приговаривал он обычно,— ты не загордишься, ты умный мальчик, потому и говорю все в глаза.

Время шло, я уже хорошо читал и нехудо справлялся с письмом.

Однажды, когда я прочитал свой урок и написал настолько хорошо, что заслужил похвалу, он усадил меня рядом и завел обычную свою беседу. Он и раньше часто беседовал со мною, убедившись предварительно в том, что мои домашние дела от этого не страдают. Я задавал ему вопросы, рассказывал о своем — сами знаете, как бывает с человеком, когда он осмелеет,— и может быть, потому, что ему нравились мои вопросы и ответы, он сказал:

— Мой Габриел, я подарю тебе одну прекрасную книгу.

Встал, открыл маленький стенной шкаф и вынул книгу.

— Книга эта, брат,— сокровищница грузинского народа. На нашем родном языке не существует ничего выше этой книги. Ты, конечно, слыхал о царице Тамар?*

— Как не слыхать! Благочестивая, говорят, была...

— Благочестивая? Полно! Если родина наша расправила свои плечи, то случилось это в ее царствование. Если солнце когда-нибудь озаряло и согревало Грузию, так это было в ее время. Если рука грузина когда-нибудь доказала свою твердость, сердце — верность и стойкость, слово — свою силу, то все это случилось в ту пору, когда матерью Грузии была благословенная царица Тамар! Она — мать, мы — ее дети... То было, брат, время, когда мы гордились тем, что мы грузины. Недаром сказано в этой книге:

Льву величьем равен львенок, будь то самка иль самец.

Женщина была она, да славится ее имя! И стала столпом нашей отчизны!*

— Она написала эту книгу?

— Нет, был у царицы придворный — Шота Руставели. Он написал.

— Все, что здесь есть?

— Все. От начала до конца... стихами. Книгу нелегко понять, но мы друг другу поможем и поймем. И не раз слова этой книги принесут тебе утешение в нужде, облегчат горе, дадут силу твоему разуму и твоему сердцу и поведут тебя к добру.

— Это что, божественное?

— Все, брат, божественно, что согрето человеческим сердцем и что сгорает, как говорится в сказке, словно свеча, давая свет другим. Настоящий человек плоды своего ума и благость своего сердца перекидывает, словно мост, чтобы, если не ему са-

мому, хотя бы другим с миром пройти по этому мосту. Знаешь, почему я говорю тебе об этом? Здесь в одном месте написано:

Надо другу ради друга быть готовым к испытаниям,
Сердцем быть созвучным сердцу и мостить любовью путь.

Так, кажется, если память мне не изменяет. Разве это не божественно?

Я с удивлением глядел на священника. Лицо его преобразилось, глаза сверкали, сердце билось, высоко вздымалась грудь. Я почувствовал, что ему хочется еще что-то сказать, но он умолк, стал ходить из угла в угол, как бы желая унять свое волнение.

— Тот, кто стремится возвеличить и прославить бога, — немного погодя сказал священник как бы про себя, — тот должен завоевать себе двойное имя. Одно его имя останется здесь, на земле, другое уйдет вместе с ним туда.

Он задумался. Произнеся эти слова, снова заходил по комнате, как бы забыв обо мне, затем взглянул на меня и сказал:

— Давай почитаем.

Сел рядом, перелистал книгу и протянул ее мне, указывая на заголовок одной из страниц. Я взглянул — там было написано: «Сказ первый о Ростеване, царе арабском».

Я спросил:

— Почему ты не хочешь, чтобы я читал с начала?

— Не спеши, всему свое время. По-моему, начало труднее и для тебя и для меня. Кроме того, самая повесть начинается с этого места. Позже, когда мы с тобою пойдем все как следует, успеем прочесть и начало.

Я послушался. С этого дня мы начали читать Шота Руставели. Мне было тогда уже лет семнадцать-восемнадцать. То были самые безоблачные дни в моей жизни. Они ушли, ушли безвозвратно... Что поделаешь! Сердце все еще сохраняет их тепло, а это ведь тоже утешительно...

Он часто останавливал меня и спрашивал. Если я отвечал, что понимаю, мы шли дальше; если же я не понимал, он пускался в объяснение, и то, что он говорил, было не хуже, чем написанное в этой книге. Когда я дошел до места, где сказано: «Отдал дар — твое богатство, скрыл — потеряно навек», священник надолго остановил меня. Он любил останавливаться на таких местах и беседовать о них. Ах эти речи, да и не они только! Я до сих пор помню все, что он говорил, помню, как помнят сон.

— Ты понял? — спросил он. — В Евангелии есть притча, ее поведал нам Христос. Если тебе не скучно, я расскажу эту притчу. Жил некогда богатый человек, были у него, как водится, слуги. Однажды, собравшись в дорогу, он созвал слуг и дал им деньги. Одному дал много, другому поменьше, а третьему еще меньше и сказал: «Пользуйтесь ими так, чтобы, когда возвра-

щусь, была от них прибыль». А сам уехал. Двое из слуг поступили разумно, исполнили приказ господина и приобрели вдвое против того, что им было доверено. Третий был человек никчемный, неспособный и ленивый; он сказал себе: «Где уж думать о прибыли, не потерять бы и того, что есть!» Взял и схоронил деньги в землю. Возвратился господин, похвалил тех двух слуг за разумное поведение, на третьего же разгневался. Отнял у него деньги и отдал тем, кто употребил их с пользой. И остался третий слуга ни с чем. Страшась потерять, бедняга зарыл деньги в землю и все-таки в конце концов потерял. Если бы он роздал эти деньги, то не лишился бы их. Господин — это бог, слуги — мы. Бог дал всем нам ум, сердце, возможность делать добро. Правда, одним он отпустил больше, другим меньше, но кому много дано, с того многое и спросится, кому мало — с того малое. Он дал нам все это не для того, чтобы мы прятали его дары в ларь или в землю, подобно нерадивому рабу, а для того, чтобы отдали их страждущим, которых так много на свете. В противном случае все мы окажемся ни с чем, когда господь призовет нас к ответу. Вот почему так правдивы эти слова:

Отдал дар — твое богатство, скрыл — потеряно навек.

Разве потеряна для нас благодать, которою бог изначально одарил каждого человека, если мы сделаем так, чтобы добро от нее умножилось?

Дверь комнатки, в которой мы сидели, отворилась, и вошла какая-то бедная женщина в старой, заплатанной чадре. Священник, полулежавший на мутаке*, тотчас же приподнялся.

— Здравствуй, Мари́ам, здравствуй! — громко поздоровался с нею священник. — Как здоровье твоего мужа?

— Да плохо, шени чириме! — горестно ответила старуха. — Дай бог врагу твоему заболеть так, как он болен! В тот день, когда ваша мать изволила дать лекарство, ему стало немного легче, но сегодня с утра опять разыгрались боли. Не придумаю, что делать! Как взгляну на него, так сердце и упадет! Не жилец он уже на этом свете, шени чириме. Что будет со мною, если, не дай боже...

Слезы помешали ей договорить.

Я взглянул на священника. Тень печали упала на его лицо, он поник, брови сдвинулись, казалось, сердце сжалось от боли. Удивительно, господь про то знает, как могло одно человеческое сердце вместить страдания стольких людей...

Священник встал, заходил по комнате, но не сказал ни слова; казалось, он хотел дать ей время прийти в себя. Однако, видя, что женщина плачет не умолкая, он взглянул на нее и сказал тем сердечным, благостным голосом, который мне не раз приходилось слышать и которого я не забуду, пока во мне теплится жизнь:

— Не плачь, мать!.. Малодушие противно богу. Бог милостив,

велика сила утешения господня. Он — наше прибежище и спасение, что бы ни случилось с тобою, бог не оставит тебя без утешения. Не плачь, не надо! Уповай на бога и на милосердие человеческое. Не плачь!

— Что поделаешь, шени чириме? Слезы — дети горя... Сами собой текут, когда сердце сжимается, — рыдая, говорила старуха.

— Ты права, мать, они — дети горя, они смягчают печаль. Но нехорошо, если слезы омрачают очи разума. Слезы притупляют зрение, лучше видеть все, как оно есть. Да и разве мужу твоему так плохо, чтобы плакать? Помогло же лекарство, что дала моя мать, — возьми еще, милая!

— Спасибо за ласку. За этим я и пришла, — сказала женщина, все еще всхлипывая, и добавила прерывающимся голосом: — У меня еще просьба к вам...

— Приказывай, — поспешно отозвался священник.

— Сами знаете, нет, кроме вас, заступника у таких, как я, безутешных. Стыдно мне: точно нищая, смотрю вам в руки и беспокою, но...

— Полно, мать, понимаю, — священник не дал ей договорить. — Мама! — окликнул он старушку, которая хлопотала в соседней комнате. — У Мариам дело к тебе. Иди, — сказал он женщине, — мать знает.

— Дай бог тебе долгой жизни на радость и утешение вдовам и бесприютным! Да вознаградит тебя господь за то, что подаешь бедным, да...

— Полно, полно, — стараясь избежать изъявлений благодарности, перебил ее священник и густо покраснел. — Дай бог тебе бодрости. Иди, мать, скорее, присмотри за мужем и не плачь. Слезы ему не помощь, а беспокойство. Скажи, что утром наведаюсь к нему...

Старуха ушла, а священник все не мог успокоиться и с тревогою думал о ней.

— Как не пожалеть ее, бедняжку? — сказал он немного погодя. — Муж — единственный ее кормилец. Смерть отняла у нее сына и брата, вот и останется, несчастная, без всякой поддержки. Муж у нее хороший человек. Правда, он в поте лица зарабатывал хлеб свой, но ведь это и подобает настоящему человеку: жил своим трудом и жену кормил. Что же будет с нею теперь? Благословен буди, господи, праведный твой суд.

— О, да будет благословенна его справедливость! — повторил я, восхищенный отзывчивостью священника. — По его милости не переводятся на земле люди, подобно тебе несущие утешение вдовам, сиротам и всем обездоленным. Твои слова осушили слезы несчастной.

Священник не отозвался, он не слушал меня. Добрый человек поистине достоин удивления. Он не любит видеть свое

отражение в зеркале, он избегает глядеть на себя, брезгует этим. Обращайся с ним как хочешь, но не напоминай о его добродетели. Ну что же! Господь видит и записывает на ладони своей... Небо — зеркало земли, оно отражает деяния этого бренного мира.

VI

Если у вас есть сердце, вы поймете, чем были для той женщины утешительные речи этого милосердного человека. Конечно, простые слова священника — не живая вода. Ими не вернуть к жизни умирающего. Но все же великое дело такая божественная отзывчивость. «Велика сила утешения господня», — сказал священник. То, что я видел, показало мне, что сила его не меньше, когда она исходит от человека.

Если вас когда-нибудь постигало горе, вы знаете, какой целебной силой обладает простое слово, как оно утишает боль того, кто впал в печаль и безнадежность, особенно если это слово идет от сердца и внушено справедливостью. С груди твоей спадает тяжесть, начинает казаться, будто эти слова унесли с собою половину горечи. Слово — как будто звук пустой, оно ведь ничего не стоит говорящему. Но сколько людей на свете скупы даже на слово. Правда, иной не поскупится, но его слова не доходят до исполненного горечью сердца, не проникают в его глубину. Такие люди не в силах придать человеку бодрость, утешить его. Цветы не расцветают под лучами зимнего солнца.

Не таков был этот священник. Если бы вы взглянули на него, когда женщина начала плакать! Вся его доброта отразилась в глазах, глаза говорили: «Что поделаешь, мать! Если бы можно было исцелить твоего мужа моей кровью, я бы вскрыл жилы и напоил его». Половину горя снимают слова такого человека, они осушают слезы на глазах, точно нежнейший шелковый платок.

Я передал, как умел, то, что священник сказал этой женщине. В его словах не было ничего особенного, но, поверьте, силою этих слов горе ее осталось здесь, в комнате. Она ушла успокоенная. Разве даст солнце погибающему от холода цветку столько, сколько дает теплое слово удрученному горем сердцу? Тепло? О-о! Оно многого стоит. Благодаря теплу расцветает земля; тепло — источник, начало жизни. Но что слова! Этот священник не ограничивался одними словами. Впоследствии я узнал, что он, сам неимущий, в течение полутора лет содержал прикованного к постели мужа и его жену.

Вот он, промысел божий! Священник только что рассказал мне о богатствах человеческого сердца, а мгновение спустя я на деле убедился в истинности того, что узнал на словах. Поистине то было как чудо. Разве женщина не вошла как раз в ту минуту, чтобы сказанное подтвердилось на деле перед моими глазами?

Хочешь — верь, хочешь — не верь, но я говорю тебе правду. А во второй раз такое же чудо произошло, когда мы дошли до места, где написано:

Смерти задержать не могут кручи троп и кряжей пики.
Слабого она сравнивает с сильным, потушив обоим взор,
Даст загробное свиданье под конец рабу с владыкой,
Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор.

Вдруг с улицы донеслись до нас шум и тревожные крики. Я уже говорил вам, что мы жили недалеко от Куры и что дом священника стоял поблизости. Священник побледнел и, в чем был, кинулся из дому. Вышел за ним и я. Был вечер. И стар и млад бежали к Куре по крутой аробной дороге.

— Что там, братья? Что случилось? — крикнул священник.

— Что, шени чириме? Человек тонет! — ответил кто-то.

Услыхав это, священник кинулся к реке. Не бежал — летел, с непокрытой головой, с развевающимися волосами. Я старался не отставать. Прибежали к реке.

На высоком берегу Куры толпился народ, в толпе было много женщин. Шум стоял оглушительный. На женщин жалко было смотреть, так горестно они вопили. При виде священника слышались радостные восклицания:

— Священник!

— Священник идет! Не утонет христианская душа!

Ясно было, шени чириме, что им и раньше приходилось видеть, на что этот священник способен, если они так крепко на него надеялись.

Он ничего не сказал и даже ни на кого не взглянул. Не отрываясь следил он взглядом за течением Куры. Казалось, там погибает все, что у него есть ценного в жизни. И вдруг скинул с себя одежду и швырнул ее на землю недалеко от меня. Даже в тот короткий промежуток времени, который понадобился ему, чтобы скинуть одежду, он ни на мгновение не отрывал глаз от Куры. Я посмотрел на него. Печальный, бледный, он успел сказать только одно:

— Тонет человек, такой же человек, как мы, неужели никто его не спасет?

Он перекрестился и, помянув имя божье, бросился в воду. И тогда вслед за ним бултыхнулись, один за другим, еще семеро, все молодые, — видимо, их заразил пример священника.

На время я потерял его из виду. Стало страшно.

— Что делать? Уж не утонул ли? — воскликнул я.

— Хм, ты, видно, плохо его знаешь! — сказал кто-то стоявший рядом, пристально вглядываясь в течение. — Недаром его называют святым, ему и огонь и вода нипочем. Не веришь, смотри, вон где вынырнул!

Он протянул руку, радостно указывая на мелькавшего вдали пловца.

Я взглянул. Священник быстро продвигался вперед, рассекая воду, подобно челноку. Невдалеке от него барахтался выбившийся из сил несчастный рабочий, как потом оказалось — водонос. Он то погружался в воду, то вновь всплывал на поверхность.

— Не бойся! — кричали люди. — Продержись немножко! Не сдавайся, спаситель твой близко!

Плывет, борется с течением священник, а народ с берега пытается криками придать ему бодрости.

— Ай, слава твоему создателю! Благослови, господь, силу твоих рук! Э... тай, тай, та... Плывет, словно челн! Да, сынок, вот кому материнское молоко впрок пошло! — выкрикивал кто-то из собравшихся.

— Материнское молоко всякому впрок, но благодатная должна быть грудь, чтоб вырастить такого сына, — отозвался второй.

Однако священник не нуждался в людских поощрениях и похвалах. Он черпал силу и уверенность в том огне, который, как сам он говорил, горит в душе каждого из нас. Стремление к добру било через край в груди этого человека, и разве нужны ему были поощрения со стороны? Он сам искал добрых дел. Выпал случай, и он страстно ухватился за него. Когда утопавшего вытащили на берег, он был без сознания, и священник долго возился с ним, как с братом родным. Наконец беднягу удалось привести в чувство. Но священник и сам нуждался в помощи. На него жалко было смотреть. Все это произошло осенью, священник весь посинел, его трясло, зуб на зуб не попадал от холода.

— Глаха! — обратился он к кому-то. — Ради бога, возьми беднягу к себе на ночь.

— Как прикажешь. Дело нетрудное, шени чириме! — ответил тот. — Ты чуть было не погиб ради него, так неужели я не дам ему крова! Ну-ка, ребята, помогите!

Подоспели люди, подхватили рабочего на руки и осторожно понесли. Священник пошел за ними.

— Тебе бы лучше домой, шени чириме! — сказал я. — Устал ты, весь дрожишь.

— Он еще нуждается в помощи, — ответил священник и оставался возле спасенного рабочего до тех пор, пока не убедился, что жизнь его вне опасности.

Рабочего-то священник спас, но сам чуть не отдал господу душу. Он тяжело заболел, был почти при смерти. Всякий на его месте, ей-богу, пожалел бы и сказал: «Стоило губить себя ради другого? Добро бы я был один! Кто помог бы моей матери, если б со мною случилось несчастье, на кого я рассчитывал?»

Мать жалостно упрекала его:

— Сын, зачем ты шел на гибель? Правда, он тонул. Но что сказал бы ты матери, встретясь с нею на том свете?

— Я бы встретился с нею с чистым сердцем, потому что ее грудь дала мне силу совершить доброе дело,— ответил священник.

— Ты бы меня спросил! Ты — единственная моя радость. Нет у меня никого на свете, кроме тебя. А ты не пожалел, чуть не погиб ради другого, чуть было...

— Но ведь со мной же ничего не случилось!

— Как не случилось? Три дня — горе твоей матери — три дня пролежал ты, как мертвый, я плакала над тобой. Что было бы со мною, если бы бог меня не услышал?

— Много в мире людей, мама! Любой хороший человек заменил бы тебе сына.

— Уй! Уй! — мать священника даже перекрестилась. — Не дожить мне до этого дня! Хочу, сынок, чтоб ты схоронил меня своими руками.

Однажды, когда он был еще болен, я тоже, прости господи, сказал ему:

— К чему такая самоотверженность! Хоть бы мать пожалел, если себя не жалко. Разве не большой грех бросить старуху мать без всякой опоры в этом огромном мире?

— Не в этом грех, брат. Грех, если материнские заботы и труды пропадут зря, не принеся плодов в душе сына,— ответил мне больной слабым голосом. — Сядь ко мне поближе. В тот день я ничего не мог сказать матери: старенькая она, подумала бы, что мало к ней привязан. Материнское сердце — это море любви. Вот у матери при смерти дитя, скажи ей, что дитя протянет лишних два дня, если она навеки продаст душу дьяволу,— мать пойдет на это. А если сын решится на такое ради матери, она опечалится. Я же не безумец, если бы не надеялся на свои силы и на бога, не бросился бы в бушующую реку. Но если б я даже погиб, то разве не ради благого дела? Умирать все равно придется — не сегодня, так завтра,— не лучше ли пожертвовать жизнью во имя бога и... еще вот что скажу — во имя человека. (Тут румянец залил лицо священника.) От добра, сотворенного тобой, на земле останется славная память... Милый мой: «Лучше имя возвеличить, чем копить добро в ларях». Что ни говори, слава — блаженство души. Мать моя этого не понимает, поэтому я не решился ей сказать.

— Вы правы, это верно, но...

— Что «но»?

— А то, шени чириме...

— Я понимаю, что ты хочешь сказать,— перебил он меня. — Получается так, что совершающий добрые дела совершает их ради славы? Нет, доброе имя приходит само собой в сочетании с добрым делом. Правда, бывают люди, которые творят добро только ради славы. Выходит, что добрые дела они продают за славу. Это дурно, конечно, но что нам до того? Пусть продают!

Был бы только хорош товар, было бы славно самое дело, за тайные же помыслы пускай их судит господь бог. Возьми, к примеру, человека, который изобрел плуг. Кто знает, может, он думал не столько о других, сколько о себе, может быть, он заботился не столько об общем благе, сколько о славе,— не все ли равно? Дай бог ему блаженства! Возможно, что он умер нищим, но огромному множеству людей, населяющих мир, он обеспечил кусок хлеба. Имя забылось на земле, а дело, более высокое, чем любая слава, осталось на века; дело столь огромное, что оно одно может уравновесить грехи всего мира. Теперь ведь никто не спросит: чего хотел, чего жаждал тот несчастный, когда напрягал свой разум и зрение, чтобы свершить это славное дело? Он ушел вместе с хорошими или дурными влечениями сердца, а плоды этих влечений остались нам.

— У меня и в мыслях не было указывать на это, я хотел только...

— Ну так что же? — снова перебил он меня.— Разве то, что я сказал, ни к чему тебе?

— Кто говорит, что ни к чему? — перебил и я его.— Разве я сам мог бы додуматься до этого? Я говорю только, что не стал бы губить родную мать ради спасения другого: пожалел бы ее, не взял бы на душу такого греха... Твоя жизнь для нее не просто жизнь — в ней ее единственная надежда и утешение.

— Наша жизнь, брат, не принадлежит ни матерям, ни отцам, она принадлежит всему миру в целом. Прежде всего мир и только потом мать и отец. Звезды меркнут, когда восходит солнце. Помнишь, Автандил писал Ростевану:

Мне принять за ближних гибель — все равно что песню спеть.

Хорошие это слова, если человек за ближнего почитает весь мир. Вот это еще хорошо — помнишь:

Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор.

— Помню и понимаю, почему ты об этом говоришь. Но как бы я хотел жить той «позорной» жизнью, какою ты живешь!

Священник покраснел, точно ребенок. Он не выносил, когда его хвалили в лицо.

— Ты меня лучше не трогай,— смущенно улыбаясь, сказал он,— ты ведь даже не знаешь, что я за человек!

— Бог с тобою! — торопливо сказал я.— Может быть, у меня недостает разума, чтобы понять, но я, слава богу, не слепой, я же вижу... Позорная жизнь!..

— Если еще не позорная, милый, то могла бы стать такою. Тонет человек, но ты глядишь на него, скрестив руки на груди. Разве это не позор? И какой же ответ дашь ты богу? Что скажете ему вы — ты или твоя мать? И не ответит ли он: для чего вы

умертвили в себе сердце, которое я дал вам на то, чтобы любить ближнего? Зачем утаили силы и возможности, которые я даровал вам, дабы вы помогли страждущему? Иисус учит: «В день же судный я скажу вам: я жаждал — и вы не напоили меня; я алкал — и вы не накормили меня; я был наг — вы не одели меня; я был слаб — вы не приютили меня. Когда мне скажут: «О, господи, где же мы видели тебя и не помогли тебе?» — я отвечу: «Каждый нуждающийся и обремененный, которому вы не подали милостыню, был я». Так-то, брат! Один за всех, все за одного — вот путь жизни, вот мост к блаженству, вот ключи от рая.

Так открыл он мне путь, но судьба предала меня и не позволила идти этим путем. Скала обрушилась и погребла меня под собой, и, видишь, я гасну, как огонь без воздуха.

Однажды, прочитав историю Автандила и слуги его Шермадина*, я, восхищаясь их дружбой, невольно воскликнул:

— Честь и слава тому, кто это написал! Вот какими должны быть отношения между господами и крепостными.

— Понравилось? — спросил священник.

— Как могло не понравиться?

— Ты прав, — ответил он печально. — Это лучшее из худого.

Увлеченный какой-то мыслью, он отвернулся, взгляд его скользнул куда-то ввысь. Он долго молчал, а потом еще печальнее и как бы нехотя сказал про себя:

— Но разве это сравнится с вольной жизнью, когда шапкою тебе небо, а земля тебе — каламани*.

Тогда я не понял, что он хотел сказать. Он вдруг пристально взглянул на меня, подумал и спросил:

— Скажи, какой сокол лучше: ручной ли, выросший в неволе, или тот, которого никогда не касалась человеческая рука?

— Конечно, тот, кого не коснулась человеческая рука.

— Почему? Ведь первый вырос в чести и холе?

— Какая же это честь? То крыло подвяжут — не улетел бы, то хвост, чтоб не распускал зря, а глаза так непременно завяжут, чтоб не видел.

— И так со всеми?

— Конечно. Говорят, иначе сокола к охоте не приучишь. Еще веревку с бубенцами к лапкам привязывают: вздумается улететь — веревка его и удержит.

— Зачем веревка — понимаю, а бубенцы к чему?

— Верно, чтоб веселее было: метнется, взлетит — и отзовутся бубенцы.

— Пожалуй. Но все-таки, думаю, шорох собственных крыльев, когда сокол, расправляя их, подымается ввысь, ему приятнее; этот шелест придает больше бодрости, чем звон бубенцов.

— Что и говорить! Конечно, приятнее!

— Я то же думаю, милый Габриел. Теперь скажи, для чего же, собственно, нужен сокол?

— Помилуй! Спрашиваешь, будто не знаешь. Сокол бьет перепелов, охотники развлекаются этим зрелищем.

— А затем?

— Что затем? Кладут перепелов в сумку и возвращаются домой.

— А как же сокол?

— Соколу отдают то, что не годится человеку.

— Вот бедняга! Недаром говорят: хозяину козы и козьего хвоста не досталось. Что же, сокол доволен?

— Вряд ли! К тому же иные охотники никогда не кормят сокола досыта: не станет-де бить птицу как следует; иные же морят голодом лишь время от времени.

— Так-то вот и живет он до конца своих дней, пока не околеет?

— Нет, если сокол выдержит, не погибнет до осени, его обычно отпускают на волю.

— Значит, всему свое время?

— Как же иначе! Пока водятся перепела, сокола заставляют их бить; не станет их, тогда и для него наступает пасха.

— Выходит, пока не переведутся перепела, сокол в неволе у охотника?

— Да,— повторил я и рассмеялся,— пока не переведутся перепела.

— Думается мне, перепела улетают, когда уже негде прятаться в полях, когда снимут кукурузу, сожнут пшеницу и просо, одним словом, когда созревает все, что посеяно честными человеческими руками.

— Да, осенью конец перепелам, и охотник отпускает сокола на волю.

— Благословенна блаженная осенняя пора! Потрудились, посеяли все, одаренные благодатной силой и доброй волей, и посеянное созрело, люди собирают жатву. Милостью божьей дом, двор, хозяйство полны даров земных. И свадьбы справляют об эту пору, каждый тогда устраивает свою жизнь, и сокол тоже — даже сокол... Чудесная пора! Всего в досталь: хлеба, вина, радости. В это время все, от мала до велика, сыты и веселы. Чудесная пора! А через несколько месяцев вновь придет весна, прекрасная, ликующая, теплая весна. О боже! Близится время жатвы, помоги каждому труженику собрать ее с чистым сердцем!

VII

Мой рассказ о священнике очень затянулся, батоно. Не сочти за пустую болтовню. С ним связаны немногие светлые дни моей жизни. Худо ли, хорошо ли, благодаря ему я прозрел умом и сердцем. Он был единственной звездой на темном пути моей

жизни, и этому лживому миру больше нечем меня попрекнуть. Оттого-то я люблю говорить об этом священнике. Когда вспоминаю о нем, душа моя вновь оживает. Мне снова верится, что земля полна божьей благодати, что с этим миром еще можно поладить и что нити, связующие меня с ним, не порвались окончательно. Да благословит бог лучшего из людей! Многое рассказал я об этом человеке, но не передал и сотой доли. Его сердце и события его жизни — точно море. А я, несчастный, попытался вычерпать его ложкой! Так не подумай же, что это пустая болтовня, шени чириме! Если я тебе наскучил, прости, не осуди!

Пять лет миновало с тех пор, как мы приехали в город. На шестом году пришло известие о смерти старого господина. Датико было уже лет девятнадцать-двадцать. Вначале он очень горевал по отцу, кажется, даже заплакал. Он осиротел, как и я, и так же, как я, скоро позабыл о своем горе. Не раздумывая долго, Датико приказал прислать лошадей и собрался в деревню навсегда. В ожидании лошадей он сменил русскую одежду на грузинскую и сразу похорошел. Это был очень привлекательный, красивый молодой человек.

Дней пять или шесть спустя наши лошади прибыли. Отъезд был назначен на утро. Я пошел повидаться со священником.

— Здравствуй, Габриел! — приветствовал он, едва я приоткрыл дверь и вошел в его маленькую комнатку. — Что у тебя нового, мой Габриел?

— Старый господин приказал долго жить, — сообщил я. — Датико послал за лошадьми. Они уже прибыли, завтра мы собираемся ехать домой.

— Как? Датико бросает ученье?

— Да, бросает.

Это известие очень огорчило священника, он поднялся с тахты и заходил по комнате. Немного спустя сказал:

Если жажда мучит злая, кто же здоровый, пить желая,
Брызнет воду, проливая...

Как странно, что мне так и не удалось залучить к себе этого юношу! Он сейчас дома?

— Да, дома.

Священник поспешно накинул рясу и отправился к Датико. Я последовал за ним. К Датико он вошел один, меня за собой не позвал.

Беседа их затянулась. Когда он, наконец, вышел, я остановил его.

— Ничего не удалось, — с грустью сказал священник. — Человек он, видно, упорный. Стоит на своем. Дай бог ему сил на доброе!

Утром, перед самым отъездом, когда лошади были уже поданы

и все уложено, я побежал к священнику попросить благословения на дорогу.

— Значит, едешь, Габриел? — с грустью сказал он.

— Еду! Что же мне делать? — спросил я так, что если бы он сказал «не уезжай», я бы, может, и остался.

— Надо ехать! Ничего не поделаешь. Ты человек подневольный.

Я промолчал. Он перекрестил меня и сказал:

— Прощай, мой Габриел! Будь всегда правдив, блюди справедливость, тогда путь твой будет истинно человеческим путем. Помни: кто не стремится к добру, сам себе враг. Прощай!

Он обнял меня, как родного сына. Мы поцеловались и расстались. Эх, батоно, трудно, оказывается, сладить с жизнью!

Два дня спустя мы подъезжали к нашей деревне. Солнце еще не совсем закатилось, оно пылало костром на вершине горы. Я не очень радовался возвращению в деревню. У меня там никого уже не осталось. Но когда потянуло родным ветерком, сердце мое забилося. Я увидел этот лес, эти горы и долины, эти луга, пашни, и отрадное чувство переполнило мою душу. То, что владело в ту минуту моим сердцем, не походило ни на радость, ни на печаль. Как бы некая солнечная тень упала на сердце; казалось, печаль растворяется в радости, радость — в печали. Оно билось тихо и сладостно. Я весь ушел в слух, все вокруг рассказывало о чем-то прекрасном, но давным-давно позабытом. Если бы кто-нибудь заговорил со мною в ту минуту, то причинил бы мне боль.

Я был здесь как бы чужой, без крова и родни, в памяти моей не сохранилось ничего доброго, что бы дал мне этот край; и все же, оказывается, отчизна — великое дело! Тот, кому не приходилось покидать свой край, не знает этого чувства. Вот ведь уже разрушен мост, связующий меня с миром, сегодня или завтра я навсегда прощусь с ним, но я почел бы за великую милость, если бы мне дано было умереть на груди моей родной земли. О горе, откуда и куда занесло меня, где я умираю!

На следующий же день после приезда Датико призвал меня к себе и сказал:

— Мой Габриел! У меня нет никого на свете ближе тебя. Этот дом, двор, стада и все свое имение я поручаю тебе. Милостью божьей у нас всего вдоволь. Помогай мне и живи сам.

Он подарил мне хорошее новое платье. В этом платье никто бы не отличил меня от княжеского сына.

Я принял имение, крепко взял его в руки и повел дело так, что в доме не пропадало ни волоска. Правда, среди крепостных и слуг многие были недовольны, а иные просто невзлюбили меня за преданность князю. Но я не был несправедлив, бог свидетель, я никому не делал зла.

За два года мне удалось добиться того, что Датико стал одним

из наиболее зажиточных помещиков среди окрестных князей. Должен признать, что и Датико не оставался передо мною в долгу. Он понимал, что всем этим благосостоянием обязан мне, и обращался со мною, как с другом и товарищем.

Он был во всех отношениях превосходный молодой человек: хорош собою, щедр, безрассудно смел и благороден. Немногие из сверстников могли состязаться с ним в стрельбе и в умении владеть шашкой. Когда он вскакивал на своего карабахского коня, стройный, как тополь, с гордо закинутой головой, от него невозможно было оторваться. Всем он был хорош, во всем удачлив, но он страдал одним тяжелым пороком, и порок этот повредил не столько ему, сколько мне. Это была жадная страсть к женщинам. В таких делах он забывал и честь и совесть. Стоило Датико увлечься какой-нибудь девушкой, и он ради осуществления своего желания ничем не брезговал, ничего и никого не щадил, все и вся вероломно превращал в мост к своей цели. Я думаю, Датико не пощадил бы и близкую по крови — до того он был разнуздан. Он обесчестил много крестьянских девушек, не избежали позора и дочери родовитых семей. Во всем прочем — дай вам бог столько блага, сколько хорошего было в нем.

О, если бы я его не любил, я уничтожил бы этого ловкого, стройного юношу за то постыдное зло, которое он сеял в родном краю! Быть может, тогда и моя судьба повернулась бы иначе. Но что было делать? Я очень любил этого благородного юношу — да, благородного во всем, кроме одной этой страсти. Я не мог пожертвовать им, а не то мне следовало бы уничтожить его собственной рукою еще до того, как произошли все события. Он осквернил наш край, я до сих пор дивлюсь, как не нашлось никого, кто бы решился одной-единственной пулей уничтожить его, сровнять с землею этого поистине низкого человека! «А что же ты делал сам?» — подумаете вы, быть может. Что я делал? Вы вправе задать мне этот вопрос и осудить меня. Я возмущался, но то ли нерешительность, то ли любовь обезоруживали мое сердце до тех пор, пока мы не столкнулись с ним на одной дороге. Он не посторонился, не уступил и я.

На краю нашей деревни проживал крепостной нашего помещика по имени Пёпия. Он происходил из крепкой, зажиточной семьи. Это был добрый, почтенный пожилой человек, пользовавшийся большим уважением среди односельчан.

Была у него, шени чириме, дочь, мне на беду, девушка удивительной прелести, стройная, как джейран. Пепия души в ней не чаял. Кроме нее, у недавно овдовевшего Пепии не было ни единой близкой души. Многие зажиточные хозяева сватали у него дочь. Но он никому ее не отдавал. Казалось, ему было жаль расстаться с единственной своей жемчужиной. Девушка была так хороша, шени чириме, что взглянешь — и не оторвешься: белая, румяная, чернобровая, черноглазая, высокая,

стройная. Немало знатных девушек могло бы позавидовать ее гордо изогнутой, как у джейрана, шее, красоте агатовых глаз, агатовых волос, ее гибкому, как тростник, стану. Очень была она, на мою беду, хороша

И вот прогневался на меня господь — дочь Пепии попалась мне где-то на глаза. Увидел и загорелся огнем любви. Я вспыхнул, точно порох от искры.

Да что долго рассказывать! Оказалось, и девушка не осталась равнодушной ко мне.

Куда я теперь гожусь, шени чириме? А тогда у меня было мужество, была смелость, было мне двадцать лет, я был человек. Не ради хвастовства говорю: был я не последним среди моих сверстников, да и недурен собою.

Я увидел ее на току, она стояла на молотильной доске. Я прошел мимо, она тихонечко улыбнулась. Сердце во мне раскрылось, как почка на дереве от солнечного луча. Взошло для меня солнце, озарился мир! Мое одинокое сердце забилося, забилося так, что вот сколько лет прошло, а с тех пор оно уже никогда так не билось. Эх, жизнь угрюмая, быстротечная, ты лишила меня и этого!

Был полдень, я возвращался с виноградника. Войдя в проулок, я заприметил в другом его конце меж изгородей мое солнце: она шла на ток, несла обед отцу. Сердце на мгновение перестало биться, голова закружилась, в глазах потемнело. Я, взрослый, сильный мужчина, зашатался и припал к изгороди. Пусть враг твой умрет так быстро, как быстро я собрался с силами и пришел в себя! Все это продолжалось с минуту, не больше... Она тоже увидела меня; вздрогнула, как лань при виде охотника, и поспешно повернула обратно. Я погнался за ней. Она шла бесшумно, быстро, словно спасалась от врага. Я нагнал ее на лугу под орехами и крикнул:

— Девушка! Зачем так бежишь? Я же не волк, человек! Парень, и только...

Она не отозвалась, даже не обернулась. Юноша я был гордый, самолюбивый, кровь ударила в голову. Я рванулся вперед и в два прыжка очутился перед ней.

— Не беги, шени квнесаме, — сказал я и склонил перед нею голову. — Жизнь отдаю в твои руки, делай с ней что хочешь!

Она нахмурила брови и взглянула на меня так сурово, так гневно, что я отвел глаза... Я дрогнул. Смелый, крепкий человек почувствовал вдруг страх перед беззащитной, хрупкой девушкой! Какая сила в человеке, даже не обладающем силой!

— Пропусти! — сказала она повелительно и гордо. — У меня отец и честь моя.

— Да сохранит их господь, — ответил я чистосердечно, но сердце у меня упало. — Я пришел к тебе, бог тому свидетель, не думая ни о чем дурном. Сердце мое и желания так чисты, что им хоть свечой гореть перед иконою. Я хотел бы одного: постлать

тебе под ноги дорожкой мою сиротскую жизнь. Не хочешь? Так дай тебе бог всякого блага, прекрасная девушка, а на меня пусть падут все твои беды! Ты говоришь — пропустить? Уступаю дорожку! Путь добрый! Пусть бог пошлет тебе одни радости, а мне — невзгоды и горе.

Сказал и отошел. Она не шевельнулась, но еще раз взглянула на меня. В озерах ее глаз уже не было гнева. Радостно стало у меня на сердце. Судьба обратила ко мне свое лицо. Я вновь обрел надежду и мужество и сказал:

— Девушка, зачем ты хочешь сбить меня с пути? Чего боишься и дрожишь, словно лист на осине? Пусть в ярости обрушится небо, пусть разверзнется подо мною земля, если у Габриела есть какая-нибудь дурная мысль.

— Оставь меня! — сказала она с таким выражением, какого не бывает у того, кто в самом деле хочет, чтобы его оставили.

— Не оставляю, пока не узнаешь, как жаждет тебя мое сердце! Не бойся же, как неразумный голубь! Любовь к тебе запала мне в душу. Будь моей женою, жемчужина моя. Только ответь! И пусть сгинет сиротская моя голова, если Габриел чем-нибудь тебя обидит!..

Она молчала, я продолжал свое:

— Пускай умру, Тамро, пускай умру, если подумаю о другой жене, кроме тебя. Отзовись же, шени квнесаме! Вот я, сирота, весь, каков есть, перед тобою. Не допусти, чтобы я проклял день своего зачатия, не губи, прими мою жизнь. Будь моей женою! Скажи мне что-нибудь, шени чириме, не то душа вот-вот умрет в ожидании.

Она не отвечала.

— Тамро, взгляни, как я иссох от одной только минуты ожидания! Дай мне услышать твой чудесный голос! Я слушаю тебя, жду, затаив дыхание, ответа. Ответь же! Скажи, ради создателя, хочешь ли ты меня? Если не хочешь, говори прямо, не стесняйся... Не жалею! Я бедный сирота, но стерплю все, что бы ты ни сказала, пусть поразит меня божий гнев, не то что немилость злосчастной судьбы. Не дай мне исчахнуть в ожидании, скажи мне, скажи!

Я схватил ее за руку. Когда я коснулся ее, точно молния скользнула от мозга к сердцу, дрожь прошла по жилам. Девушка вздрогнула, и все же ей не захотелось вырвать руку, она не только не рассердилась, но улыбнулась мне. Стройный ряд жемчужных зубов между алых губ был как радуга. Сердце мое переполнилось радостью. О горе, какой это был день и какой темный конец судила ему судьба!

— Пусти! Чего привязался? Нехорошо, народ кругом, стыдно.

— Стыдно тому, у кого на душе дурное. Не отпущу, а уйдешь,

душа отлетит вслед за тобою. Ответь на мои мольбы, а там — хоть жизнь мою возьми.

— Что же тебе сказать?

— Скажи «да» или раньше убей, а потом скажи «нет»!

— Напрасно ты так отчаиваешься! Чем желать тебе смерти, лучше скажу «да»! — громко крикнула она и воскресила меня из мертвых.

Сказала, вырвала руку и скрылась, точно дыхание ветра. Улетела моя голубка, но оставила в руках моих зеленую ветвь*. Улетела, а я прирос взглядом к плетню, за которым она скрылась.

Дай бог ей всякого блага! Жизнь стала бы раем, если бы человеку часто приходилось испытывать такие минуты. Но потому жизнь и зовут мимолетной, что все в ней преходяще, все, кроме страдания. Вот и вся доля радости, которую мне удалось вырвать у судьбы. Исчезла, как сновидение, исчезла, и вместо нее мне было ниспослано то, что видишь перед собой... Воспоминание об этой радости праздно покоится в глубине моего сердца. По милости судьбы я припал губами к источнику бессмертия, но вода его обратилась для меня в яд. Недаром сказано:

Кто поверил в мир неверный, жизнь свою закончит сиры
Даже храбрый не избегнет вероломства бытия.

Эх, и наскучил же я тебе этими жалобами, шени чириме, но что поделаешь! Поделиться бедой, говорят, отрада.

VIII

Однажды в воскресенье Датико пошел в церковь: после обедни он был зван к кому-то на обед. Не сиделось и мне, я решил пройтись мимо усадьбы Пепии. Заглянул за плетень и увидел Тамро. Она лежала на зеленой лужайке, в тени орехового дерева. Одним прыжком перескочил я через плетень. Тамро чуть вздрогнула, но, увидев меня, успокоилась. Мы давно с нею тайно встречались, но я ни разу, бог тому свидетель, не решился даже поцеловать ее.

— Это ты? — сказала она.

Я подошел и прилег рядом.

— Я, шени квнесаме! Отчего ты такая грустная, моя радость? — спросил я, заметив, что она чем-то озабочена.

— Сегодня у меня нехороший день.

— Почему? Горе тому, кто посмеет причинить тебе худо! Чем ты так встревожена?

— Есть причина.

— А все-таки?

— Отец сегодня сам не свой воротился из церкви.



— Ты была в церкви?

Я вскочил и так резко задал свой вопрос, что Тамро удивилась.

— Была,— ответила она.— Почему ты так вспыхнул?

— Господин был там?

— Да, он стоял у выхода, я прошла мимо.

— Прошла мимо? — протянул я и заскрежетал зубами.

Я стоял перед нею мертвенно-бледный, словно насмерть раненный пулей. Долго-долго глядел я в глубокие провалы ее черных глаз. А она удивленно смотрела на меня. Я не сказал ни слова больше. Мне было больно, но могло показаться, что я рассердился. Я перескочил через плетень и пошел домой — узнать хоть что-нибудь.

Я тотчас же догадался, чем озабочен Пепия. Оказывается, в то воскресенье Датико, увидав Тамро в церкви, спросил старика:

— Чья это девушка?

Пепия побледнел и дрожащим голосом ответил, что его дочь.

— Вкусная девка, недурно бы поцеловать! — сказал этот порочный юноша.

Несчастный Пепия так и обмер, понял, что его дочь приглянулась господину. Он хорошо знал, что значит понравиться господину...

Услышав все это, я поклялся, что скорее умру, чем позволю кому-нибудь ее опозорить.

Вы, пожалуй, не поверите, но пусть душа моя погибнет в аду, если в ту воскресную ночь мне не явился во сне мой священник. Печально стоял он передо мною и, о чем бы я его ни спросил, повторял лишь одно:

Надо другу ради друга быть готовым к испытаниям,
Сердцем быть созвучным сердцу и мостить любовью путь.

Я обнял его колени и, горько рыдая, стал жаловаться на постигшую меня беду:

«Научи, что мне делать, как быть?»

Он не ответил. Только, уходя, оглянулся и сказал:

Отдал дар — твое богатство, скрыл — потеряно навек.

Верьте или не верьте — ваша воля, но хочу, чтоб верили, потому что все это правда. Рассказываю вам, как на духу, не оскверню себя ложью.

Пришло утро. Лучше бы для меня и вовсе не забрезжил его свет! Я был в подавленном и раздраженном состоянии, не знал, что предпринять. Я никому не рассказал о том, что случилось, весь сжался перед лицом судьбы, но настороженно глядел в оба. «Буду следить,— сказал я себе.— Не из всякой тучи гром».

Порою жестокая боль сжимала мне грудь. Что, если Тамро?.. Но нет, я тотчас же отгонял эту мысль... нет, нет!

Так я страдал, но время текло, не принося пока никаких бед.

Однажды, когда я сидел среди слуг, вдруг слышался голос господина: он звал к себе Гито. Была уже ночь, люди собирались ложиться спать. Гито был доверенным Датико, неизменным пособником в развратных его похождениях.

Гито вышел, я потихоньку следом за ним прокрался в темную комнату, смежную с комнатой Датико. У Датико горела свеча. Затаив дыхание, стал я у двери и прильнул ухом, словно меня приколотили гвоздем. Гито стоял спиной ко мне. Датико ходил взад и вперед по комнате. Поравнявшись с Гито, он остановился и спросил:

— Дом Пепии знаешь?

— Прикажете, найдем, — ответил Гито.

— Дочку видел?

— Еще бы не видеть, шени чириме! Ну и девочка! Другой такой не сыскать на свете.

— Значит, знаешь, что делать, — ты малый не промах.

— Будь спокоен! Раз взялся — отвечаю. Девчонка к тому же на выданье.

— Устроишь дело — будет тебе новая чоха*. Нет — повешу, как кошку, на заборе.

— Воля твоя, дело нетрудное. Одно нехорошо: у девушки есть возлюбленный, они уже сговорились пожениться. Впрочем, неважно, девке платье с вышивкой — и готово!

— Честь-то она еще не потеряла?

— Невинна, как голубка.

— Кто ее возлюбленный?

— Наш Габро.

— Габро? — протянул Датико и замолчал.

Я весь ушел в слух, я надеялся, что Датико сейчас же или немного поразмыслив скажет: «Я не трону эту девушку, оставь ее в покое, Гито!» Но напрасны были мои надежды! Благородства Датико не хватило на это. Он обернулся к Гито и сказал так спокойно, как будто предпринимал какое-то доброе дело:

— Да, неприятно, но пускай... Делай, как приказано, с Габро мы поладим...

Я был до глубины души потрясен тем, что услышал, и тотчас же ушел от этих детей греха и зла. Не знаю, о чем они еще сговаривались, знаю только, рухнул мост между мною и Датико и в этот час что-то оборвалось в моем сердце. «Поладим»! Горе тебе, Габриел, плохо же он тебя знает!

Вот оно, пришло! Было необходимо немедленно что-то придумать. Иначе несчастная девушка попадется в ловушку. Я решил сообщить обо всем Пепии. Когда я подходил к его дому, давно уже отошла пора крестьянского ужина. Сияла полная луна, озаряя

этот грешный мир. Пронизанный ее лучами, он, казалось, и сам светится невинностью и чистотой. Пепию я застал в дерепании*. Он молился, стоя на коленях. Я бесшумно подкрался и спрятался за столб. Долго что-то бормотал про себя и бил себя в грудь несчастный отец, затем, словно забывшись, горько зарыдал и вслух взмолился создателю:

— Тебе, господи, поручаю невинную мою Тамро! Не дай ей ступить на путь несправедный, господи, ты — прибежище правых, не допусти, чтобы я увидел позор и гибель моей дочери!..

Поднялся бедняга с колен, провел рукою по глазам, словно отирая слезу, еще раз ударил себя в грудь и направился к двери. Тогда я крикнул:

— Здравствуй, Пепия!

— Кто это? Чего тебе нужно тут среди ночи, если ты не злой дух? — сердито отозвался Пепия.

— Не со злом пришел я к тебе, не бойся! Мне нужно поговорить с тобой, — напрямик сказал я ему.

— Кто же ты? Кто?

— Твой доброжелатель, Габриел...

Пепию охватил ужас: он вообразил, должно быть, что я подослан господином сговориться о девушке. Вот почему он так негодующе-гневно отозвался на мои слова:

— Не о чем мне с тобою разговаривать! Пришел бы по добру, не прятался бы от солнца. Сейчас пес и тот спит.

Он собрался уходить, но я удержал его за руку.

— Не слышишь, злосчастный? Важное, говорю, дело, — ответил я.

— Какое может быть дело у слуги такого господина? Только грех и гибель! Чего вы от меня хотите? Не жалко вам слабого, беззащитного старика? Бога, что ли, позабыли?

— И бога не позабыл, и помню о том, что он велит нам делать добро.

— Хорошо, — оборвал он меня, — ладно! Знаю я, какое добро в вашем сердце сокрыто!

— Пускай умрет это сердце, если в нем таится измена тебе, — твердо и решительно прервал я его.

— Оставь меня в покое! Немало перевидал я таких ехидн в жизни: вползет в сердце и тогда только выпустит яд. Уйди от меня, ради создателя, не вводи в грех. Видишь, немоощен я. Силою взять меня легко, зато обмануть трудно. Оставь, не соблазняй сладкими речами! Ты хочешь, чтобы я помог тебе в том, что мне ж грозит бедою? К чему обманывать? Для чего лукавить? Что я против вас, когда за вами вся сила? Подойдите открыто и пронзите мне сердце отравленной стрелой, к чему все эти ваши хитрости? Делайте что хотите! Я доверил богу желания моего сердца, ему вы и дадите ответ.

Бедняга не выдержал и горько заплакал. Больно было мне и жалко старика.

— Несчастный ты человек, отчаялся и никому уже не веришь! — сказал я с теплым сочувствием. — А я, видит бог, готов положить за тебя свою голову. Почему ты принимаешь меня за злодея? Почему не веришь? Я никогда не делал тебе худа. Ты, видно, не знаешь Габриела! Не клевети на меня без причины. Пусть в пепел и прах обратится тут же моя сиротская голова, если мысль об измене хоть когда-нибудь мелькала в моем сердце. За что позоришь мою юность? Что я сделал тебе дурного? Не губи навеки свою душу клеветой! Доверься мне ради бога, которому ты сейчас молился, и увидишь, какой я человек. Клянусь перед этим богом, я пришел ради твоего же блага. Поверишь — хорошо, а нет — я все равно ради тебя не пожалею своей головы.

Мои слова тронули старика. Он крепко меня обнял и, припав к плечу, зарыдал.

— Прости меня, прости! — жалостно плакал Пепия. — Бог свидетель, я никогда не видел от тебя худа, но что же мне делать? Что делать мне, несчастному? Дитя мое погибает, родное дитя. Моя плоть, моя кровь! Единственную мою дочь хотят похоронить заживо. Слышишь, мой Габриел? Дочь гибнет, дочь! Попробуй не будь недоверчив! Прости, ради бога, прости, если обидел тебя злополучный отец, старик обезумевший. Что мне делать? Родная дочь, Габриел, моя плоть и кровь! Кому мне довериться среди людей, полных греха? В этом деле я не доверюсь и брату, родному брату, но тебе, лукавишь ты или нет, я готов довериться. Я в твоей власти, поступай как знаешь. Хочешь — растопчи, как змею; хочешь — спаси от гибели мою душу. Делай, что подскажет тебе молодое, мужественное сердце. Сам видишь, я уже ничего не могу. Пожалей, не дай увидеть бесчестия моей Тамро! Лучше сам, своею рукою ударь ножом и избавь отца и дитя его от греха. Заживо положи меня в могилу, землею засыпь, но не дай увидеть, как мою Тамро... Горе мне, дитя мое!..

Несчастный зарыдал, захлебнулся в слезах, речь его внезапно оборвалась. Господи, потоками льются такие слезы на сотворенной тобой земле, но они все еще не смыли человеческую злобу.

Скорбь и боль Пепии передались и мне. Если бы не было стыдно, я бы тоже заплакал. Я стоял перед ним пришибленный, опустошенный. Не было сил сказать хоть слово утешения или надежды. Я не владел ни мыслью своею, ни словом. Наконец, видя, что скорбь одолела старика и он никак не справится с собою, я сказал:

— Успокойся, подумай, ты же мужчина! Не надо бояться, не из всякой ведь тучи гром. Бог милостив, все уладится.

— О, шени чириме Габриел! — ответил он. — Так, так, милый... Воля твоя, делай как хочешь, сын дорогой. И вправду, бог милостив. Не надо терять последний разум, ведь ничего

еще не случилось. Разве я в чем провинился, что господь отвернулся от нас? Вот, дорогой, утру слезы и успокоюсь, а ты уж помоги, шени квнесаме, шени!

Я промолчал, по-прежнему не зная, что сказать.

Пепия заговорил снова:

— Знаешь, мой Габриел, я пойду к господину, кинусь в ноги, припаду к коленям, авось сжалятся надо мною, да может мне бог! Человек он все-таки, авось смягчится, когда увидит, как я несчастен.

— Плохо знаешь ты господина.

— Что же мне делать? — горестно завопил он, теряя последнюю надежду.

— Доверь все это мне. Помоги только в одном: будь настороже и особенно берегись Гито. Гито — собачья душа, подкрадется, как скорпион, и ужалит. Все остальное предоставь мне.

— Так, шени чириме, так! Да вознаградит тебя господь!

Мы замолчали. Пепия опустил голову и задумался. И у меня была своя тревога, полонила она всю мою душу. Молчали мы долго. Время от времени то он кидал на меня взгляд, то я на него, но слов не было. Было ясно, что он хочет мне что-то сообщить, но не знает, как приступить. Я также хотел что-то сказать, но не решался, боясь, как бы не понял он по-худому. Пепия еще ничего не знал о нашем сговоре с Тамро.

— Габриел, — произнес, наконец, Пепия. — Судьба оставила мне единственную дочь, кроме нее, у меня нет никого в этом огромном мире. Пускай она станет твоей женой, ты ее мужем, я отцом вашим. Что ты на это скажешь?

Я не верил своим ушам, не верил, что так легко сбылась моя мечта и ушла из сердца тревога. Мной овладела такая радость, что я, глупец, не нашелся что ответить и только смотрел, не отводя глаз.

— Ты что молчишь? — снова сказал Пепия, не дождавшись ответа. — Не хочешь — откажись, я не обижусь. Жениться ведь можно только по доброй воле.

— Не хочу? Как мог ты подумать? Это же заветное мое желание! О, как я благодарен своей судьбе! Вот и сбылась моя мечта! Эх, проклятие, не умею я выразить... Прямо скажу: мы уже сговорились пожениться. Теперь, когда и твоя на то воля, и собака на судьбу мою не залает. Да благословит бог тебя и весь мир за то, что под этим небом мечты не остаются пустыми мечтами!

Когда Пепия услышал, что мы уже сговорились, он побледнел, какое-то беспокойство отразилось у него на лице. Он ничего не сказал, но я заметил, что дурные мысли снова завладели этим недоверчивым человеком, и потому тотчас же добавил:

— Мы сговорились пожениться, но мы ни в чем не повинны ни перед тобою, ни перед богом. Любовь наша чиста, как про-

зрачный горный родник. Если солнечный луч может замутишь родник, тогда и любовь наша замутила наши сердца. Пусть гневом поразит меня небо и отвергнет земля, если в наши сердца закралось хоть что-нибудь греховное. Не тревожься, мы чисты и перед богом и перед тобой, бог тому порукою, бог!

Он поверил в мою искренность. Доверчивость и мнительность легко сменялись в душе этого прямого, честного человека.

— Убей меня, уничтожь на месте, мой Габриел,— сказал он, раскаиваясь.— Сровняй с землей! Проклятье! Дурное у меня сердце. Недоверчив я, ах как недоверчив! И уж очень люблю несчастную свою дочь. Убей меня, уничтожь! Сердце дурное у меня, грешное, дурное! Будь мне сыном, я буду тебе отцом. Чего мне еще желать, глупцу этакому!

Дай вам бог столько радости, сколько было ее во мне, когда я возвращался в ту ночь домой! Чего мне еще было желать? Жила во мне одна-единственная мечта, и вот она сбылась неожиданно-негаданно. Я шел домой, и мне казалось, что судьбе моей завидуют и сияющая луна, и мерцающие звезды. На небе, как и в моем сердце, не было ни облачка. Хороша была эта благодатная ночь! И что общего между мною и злодейством? Почему же оно опутало и погубило меня, меня, который так стремился к добру? Как знать! Возможно, я был бы теперь честным тружеником и жил в окружении жены и детей. И было бы кому оплакать меня после смерти. Родная рука схоронила бы меня, близкие пролили бы надо мною слезы, не стал бы я, как сейчас, добычею псов и хищных зверей... Пусть падет моя гибель на голову злодея! Я не жилец на этом свете, стою одною ногою в могиле, не сегодня завтра придет за мной смерть,— и все же сердце мое обливается кровью, когда я вспоминаю о пережитом! Священник часто поучал меня, что надо прощать и врагу. И я готов повторить его слова, но повторяют только уста, а сердце говорит совсем другое, оно полно горечи. Все это ложь! Человек никогда не полюбит своего врага.

IX

В ту счастливую ночь сон бежал от моих глаз. Радость и горе, оказывается, одинаково не дают уснуть.

Едва рассвело, я вскочил на ноги. Сердце мое все еще было полно счастья минувшей ночи. Я радовался утренней заре, синему небу, умытой росой земле, мне казалось, что и земля и небо радуются, глядя на меня. Если бы в этот час на земле не было никого, кроме нас троих — меня, Тамро и Пепии,— мечта о рае перестала бы быть мечтой. Но, кроме нас, на свете жило еще много людей, и среди этих многих был и наш господин Датико, тот самый, что сказал Гито: «Мы с Габриелом поладим». Мне вспомнились эти слова, и рай мгновенно превратился для меня

в ад: дрожь пробежала по телу, суставы заныли от боли, зубы непроизвольно заскрежетали, руки сами собою сжались в кулаки, как бы для того, чтобы задушить всякого, кто станет на пути. Если б я в это мгновение увидел Датико — будь он мне даже братом, родным братом, — я убил бы его на месте. Не подумай, что это от злобы, но если сердце ожесточится, оно уже не знает пощады! Я вышел за ограду усадьбы, дрожа от гнева и уж не помню как очутился перед садом Пепии. Едва увидел я этот сад, плетень, окружавший родное гнездо моей Тамро, я словно проснулся и пришел в себя. Заглянул через плетень: Тамро, присев у ручья, протекавшего через сад, стирала в корыте белье. О горе, как хороша была в то прекрасное утро эта чудесная девушка! Не знаю, утро ли красило ее, или она утро. Неподалеку от Тамро стоял Пепия, опершись на заступ, и что-то говорил. Я стал прислушиваться.

— Эй ты, эй, плутовка! Что ты натворила, а? Смотри у меня! — говорил Пепия, грозя ей пальцем.

— Не пойму, о чем ты, отец? — ответила Тамро и уставилась на него своими глазами-ежевиками. — Что же я натворила?

— Хм, что натворила? Тихоня! Будто сама не знает и мне знать нечего! А вот птичка весть принесла...

— О чем ты, о чем?

— Ах ты проказница! Ни за что не прощу! Скрываешь от отца? Нехорошо!

— Умереть мне, клянусь отцом, не пойму, о чем говоришь!

— погоди, плутовка, погоди, — улыбаясь, твердил Пепия. — Отдам замуж, да такого мужа найду, что дни свои проклянешь, погоди!

— Ты во сне или наяву? Что ты говоришь?

— Да про сон рассказываю! Отдам за дурака — сон и сбывается. погоди.

— Бог ты мой! Вот пристал! — рассердилась Тамро и принялась с силою тереть белье, словно на нем хотела выместить досаду.

— Тогда по-другому засвищешь! — сказал Пепия.

— Засвищу? Соловей я, что ли? — поджимая губки, проворчала красивая девушка.

— Поживем — увидим! — не отставал Пепия. — Я-то свое прокукарекал и...

— Что прокукарекал? — сказала дочь, в упор глядя на отца.

— То, что отдам тебя замуж за дурака.

— Опять за старое! Пусть сгниет он раньше!

— Что? Не нравится?

— Ради бога, отец, отстань! Ты сегодня, видно, не в себе...

— А вот не отстану, плутовка!

— Говорю, не дразни!

— Я нашел тебе мужа.

— Не выйду, не старайся!
— Не выйдешь?
— Нет!
— Почему?
— Потому!
— Ну, скажи!
— Потому!..
— Ни за кого не выйдешь? Ни за кого?
— Будь он хоть двух царей сын — не выйду! Доволен теперь?
Отстанешь?

— Ты, вижу, и за Габриела не пойдешь?

Пепия с испытующей улыбкой уставился на дочь.

Взглянул и я на Тамро. Она застыдилась, вспыхнула, опустила голову и не нашла, что ответить. Снова принялась за стирку — правда, без особого усердия. И ясно, суть была не в стирке, а в том, чтоб скрыть замешательство.

— И за него не выйдешь? — продолжал Пепия. — Как хочешь, неволить не буду...

Тамро покосилась на отца и, улыбаясь, опустила красивую свою головку.

— Уж не в монашки ли собралась, мать моя? — шутил Пепия. — И на то твоя воля, спорить не буду. Отзовись! Куда провалился вдруг твой проворный язычок? Тебе говорю, не слышишь?

Пепия наклонился и потянул Тамро к себе. Она покорно встала.

— Может, уже дала кому-нибудь слово? Поймала кого-нибудь в сети? — смеялся Пепия.

— Не изводи! Что пристал...

— Нет, признавайся! Признавайся, говорю, кого поймала?

— Ох, что тебе от меня нужно? — ворчала Тамро.

— Будь же честной, скажи как есть...

— Да ну, боже мой! Не отстанешь, нет?!

Тамро вырвалась из рук отца и побежала.

— Иди сюда, дочка, пошутили мы с тобой, и довольно, — уже серьезно заговорил Пепия. — Если стыдишься, иди сюда, моя надежда, — за тебя скажу. Только тот отца стыдится, у кого совесть не чиста. Ты же не такая, моя радость? Иди, дочка, иди.

Тамро остановилась. Пепия подошел к ней, обнял за шею и сердечно, тепло сказал:

— Габриел мне все рассказал, хорошая моя. Я знаю все, и дай вам бог прожить до старости так же сладко, как сладок леденец. Сама знаешь, кроме тебя, у меня никого нет на свете, шени квнесаме, шени! Будь только ты счастлива — тогда меня и смерть не возьмет. Габриел хороший, честный парень, руки у него крепкие, силы достаточно, крестьянину больше ничего не нужно.

Он будет беречь тебя как зеницу ока. Ты моя единственная надежда на свете. Хорошего хозяина выбрал для тебя господь, слава ему! Умри я сейчас у твоих колен — и то мне не о чем особенно горевать. Какая у меня еще может быть забота? Если господь позволит дожить до того, что и детей твоих увижу, так уж на судьбу мою и собака не залает!.. А не доживу — на то его воля. Габриел, правда, парень не богатый, но для крестьянина бедность не порок. Земля щедрая, стоит только руку приложить, всех прокормит. На худой конец, и у меня, милостью божьей, нет ни в чем недостатка. А что мне? Хлеб, вино, земля — все ваше. Пусть вам, дитя, на пользу пойдет, да благословит вас господь, покровитель сирот. Пока жив, я еще поковыряюсь, вам на благо. А умру — почтите, дети, покойника, как сами знаете, как сердце доброе подскажет...

Я не выдержал и ушел. Их нежная любовь друг к другу и умилила меня и взволновала до слез. Как хорош бывает иной раз этот неладный, преходящий мир! И добра и зла, шени чириме,— всего в мире много.

Горечь моего сердца развеялась, когда я услышал беседу отца с дочерью, во мне вновь зародились надежды, я повеселел. В душе уже не было места вражде и злобе. Подумал: «Я им помешаю сейчас, если попадусь на глаза» — да и пошел домой. Не знаю, чем кончилась их беседа. Знаю только, что в ту минуту они тоже были счастливы.

Проходили дни, проходили ночи. Я зорко следил за Дати́ко и Гито. Чувствовал, что чем дальше, тем хуже относится ко мне Дати́ко. Как два врага, выжидали мы оба: кто первый кинется в схватку? Однако, пока бы дело дошло до схватки, я задумал поговорить с Дати́ко насчет дочери Пепии, убедить его отказаться от Тамро, и тогда вновь восстановятся между нами мир и любовь. Я рассчитывал на благородство, жившее в нем наряду со злом, но тщетны были мои надежды.

Что тут долго рассказывать? Гито никак не удавалось добиться своего. Мы с Пепией устроили так, что у него не было случая даже поговорить с Тамро. Это еще более распаляло упорное, нечистое желание Дати́ко. Ясное дело, причиною неудачи они считали меня. Поэтому Дати́ко подстроил мне ловушку, и я попался. Как мог я себе представить, что такой рыцарь, как он, проявит в борьбе со мной подобную трусость?

Однажды утром Дати́ко послал за мною, но меня не оказалось дома. Когда я возвратился, он кликнул меня снова и повел к себе в комнату.

— Где изволил пропадать, мой Шермадин? — спросил он насмешливо.

— Нигде... Просто бродил.

— Так рано?

— То, что рано для тебя, для нас совсем не рано.

- Почему ты говоришь все намеками?
- Таким уж бог создал.
- Послушай, ты чем-то озабочен и скрываешь от меня?
- Возможно.
- Нет, в самом деле?
- Ты прав.
- Скажи, что тебя беспокоит?
- Сказать нетрудно, воля твоя, сказал бы, но тебе-то к чему?
- Сам знаю, к чему!
- Почему бы не знать и мне?
- Узнаешь и ты.

Я обрадовался, что все так обернулось, и ответил напрямик:

— Хорошо, скажу: я люблю дочь Пепии и хочу на ней жениться.

— Что же тебе мешает?

— Пепия в трауре по жене, не прошло и полугода, как ее схоронили, — вот что мешает.

— И глупец же ты!

— Почему?

— Потому что женишься.

— А то как же?

— А так... Женщина хороша только до тех пор, пока утоляет наши желания... Зачем взваливать ее себе на спину? Но женись, я не мешаю. Приданое пусть будет за мною... Поселю вас, устрою...

— Ты тут при чем, что собираешься справлять нам приданое? — спросил я смело.

Я чувствовал, что мы подходим к развязке.

— Девушка — моя, — бесстыдно сказал он. — Оттого и даю приданое, что сначала она будет моей.

— Что ты сказал? — крикнул я, весь дрожа.

— То, что ты слышал, — спокойно ответил он.

— Датико! Я крепостной, ты господин, — заговорил я горячо, с мольбою в голосе. — Молю, не становись на моем пути. Возьми мою сиротскую голову, но не вырывай из моего сердца любовь к тебе и верность! Датико, если веришь в бога, выкинь из головы мысль об этой девушке. Не отталкивай меня, я вырос вместе с тобою! Шени чириме, Датико, не вводи меня в грех! Ты такой благородный, такой мужественный человек, разве мыслимо, чтоб не мог совладать со своим сердцем! Будь милостив, убей в себе эту страсть: я готов отдать тебе все, только не честь этой девушки. Она — моя.

— Говорю, будет раньше моею, — перебил он меня, — потом уж твоей или чьей угодно...

— Датико! Шени чириме, не навлекай на нас беду, не вводи меня в грех. Отдай мне эту девушку, пусть вознаградит тебя господь!

— Когда возьму свое, отдам тебе с богом!

— Ты решил? Ты не шутишь? — спросил я, и сердце подкатилось к горлу.

— Не ровня я тебе, чтоб шутить!

— Да не покроет Габриел шапкой голову, если ты добьешься своего!

— Да, как бы ты не стал мне поперек дороги! — ответил он с презрением и насмешкой.

— И стану, и хуже будет!

— Это угроза?

— Была бы власть грозить, как говорит Фридон*.

— Стыд и позор тому, кто отступит перед таким, как ты!

Сердце мое колотилось, как бы рвалось из груди. В мозгу молнией сверкнула мысль убить Датико, но я сдержался и победил дьявольское искушение.

— Датико! На что ты меня толкаешь? Не обрекай меня на гибель! Пожалей твоего Габриела.

— Хоть в воду...

— Девушка любит меня, меня одного, Датико! Мы перед богом дали друг другу слово.

— Да посрамит бог и тебя и ваше слово!

— Датико, ты во власти злой судьбы!..

— Убирайся отсюда!

— Датико! Неужели тебе не жалко хоть старика отца? Она одна у него, единственная. Не позорь его, проклянет!

— Сказано, убирайся вон! — закричал он.

— Датико, тебе не жаль этого божьего создания, этой невинной девушки? Не отнимай у нее чести! Подари ее мне!

— Потом подарю.

— Потом, не сейчас? Бессовестный, подлый ты человек! — вскрикнул я и, потеряв последнюю надежду, в ярости схватился за кинжал. Но не успел я сделать и шагу, как из соседней комнаты выскочили трое спрятанных там слуг, накинулись на меня сзади и схватили. Я выронил кинжал. Оказывается, все это Датико заранее придумал и подготовил, чтобы предать меня суду и избавиться таким образом от меня раз навсегда. Откуда мне было знать!

Я встряхнул их разок что было мочи, рассчитывая вырваться, но молодцы держали меня крепко, точно в железных тисках.

— Вот оно, твое мужество! Позор твоей княжеской доблести! — крикнул я Датико, чувствуя свое бессилие. — Но я еще доберусь до тебя. Зарежу бесчестного, как курицу.

Датико не ответил. По его приказу слуги отвели меня к дианбеги*.

Дианбеги учинил мне допрос, и я рассказал ему все, как было, ничего не тая. Когда я кончил свою повесть, он вдруг спросил:

— Значит, ты и Пепия сговорились сегодня утром убить вашего господина?

Этот вопрос меня поразил. Я понял, что в это дело хотят запутать и злополучного отца и таким способом покончить и с ним. Я побледнел, но как мог я его спасти?

— Не бери греха на душу, дианбеги,— сказал я.— Пепия в этом деле чист и безгрешен, как бог.

— Вздор городишь! — разгневался дианбеги.— Что же ты делал в ту ночь, когда был у Пепии?

— В какую ночь?

— А вот когда сговаривались в дерепани?

— Клянусь богом, верой клянусь, ни тогда, ни после у нас не было в мыслях убить господина!

— Так я и поверил! Зачем же ты ходил к нему, если не сговариваться?

Я чистосердечно рассказал, о чем мы в ту ночь говорили с Пепией.

— Так ты меня и провел! Дай боже царствия небесного твоему родителю! — издевался надо мною судья неправедный.

Он записал все, что я ему рассказал, и велел подписаться. Написано было по-грузински, я прочел. Мой разговор с дианбеги был передан точно от слова до слова. Я смело подписался. Дианбеги отдал приказ, на меня надели кандалы и бросили в тюрьму.

Один-одинешенек валялся я в этой мерзкой темнице. Как передать, что мне пришлось пережить, через какую муку пришлось пройти за тот единственный день, за ту единственную ночь? Боль терзала мне сердце, кровь застывала в жилах, мозг горел. Тяжело, шени чириме! Все вынесет тот, на ком есть вина, как бы его ни мучили. Но горе невинному! Тогда... О, тогда... Избави, боже, всякого христианина и всякого смертного!.. Точно бешеная собака, сам себя грызет безвинно осужденный на муки! Кто не пережил такого дня, тот и представить себе не может, до чего нестерпима эта боль... Не дай, господи, никому ее испытать!

Мысль о собственной судьбе убивала меня, но еще более жгучей была тревога о Пепии и его дочери. Сказать по правде, о себе я не очень тревожился: я был одинокий безродный юноша. Раз уж так обернулась судьба, я бы не очень горевал, если бы меня даже казнили. Не было у меня родителей, чтобы оплакать, не было ни братьев, ни сестер, чтобы горевать обо мне. Жил на свете одинокий человек, не стало его, обратился он в прах. Пронесется порыв ветра, развеет по лицу земли и этот прах. О них горевал я, о них. Я, я один во всем этом беспредельном, безжалостном мире болел за них душою! И горе мне, как я глупо попался... Не попадись я так опрометчиво, они бы увидели, какой я верный им друг. Но, увы, мне не довелось показать себя. Судьба и тут обманула меня и предала. О горе, я сам своей опрометчивостью расчистил путь врагу!

Месяца через три или четыре, когда допрос свидетелей был закончен, меня перевели в большую тюрьму в близлежащем городке, где пребывали начальник и суд.

В этой тюрьме мне пришлось проваляться еще два года.

Эти два года я провел в полном одиночестве, в грязной темной камере. Кто сочтет, сколько мыслей пронеслось у меня в голове? Я хорошо знал, что на мне нет вины. Но знал и то, что ежели захотят, то загонят меня и подальше Сибири.

В первое время при мысли о том, что они меня, невинного, обрекли на такие страдания, я кидался на пол и в бессильной ярости впивался зубами в собственное тело, до крови кусал пальцы. А бывало и так, что, исходя ядом отравленного сердца, мечтал перелить этот яд каплю за каплей в погубителя своего, если бы только он мне попался. Но увы! Где он? О боже великий! Не дай ни одному христианину, ни одному смертному пережить то, что в иные дни переживал я в этой тюрьме. Твой ад по сравнению с этим — рай!

Спустя два года мне прочли приговор. Мне присудили каторжные работы в рудниках, а бедному Пепии ссылку в Сибирь! Господи, чего же ты медлишь, отчего не нашлешь потоп на эту исполненную греха землю?

Х

Прошло еще семь или восемь месяцев, и мне, наконец, объявили: «Пришел срок, сегодня тебя отправляют». До этого часа я, глупец, все чего-то ждал: казалось, подымет свой голос божественная справедливость, я, невинный, буду оправдан. Но обманулся и в этом.

С меня сняли старые кандалы, надели другие, понадежнее, и вывели в тюремный двор. Была уже весна. Человек пятнадцать по-походному снаряженных солдат построились во дворе. Стали выводить заключенных, сидевших в других камерах. Я весь ушел в себя и бесчувственно смотрел на арестантов, поодиночке выходивших во двор. Под конец вывели двух татар. За ними следом, гремя кандалами, шел сгорбленный старик арестант с длинной белой бородой. Он шел, опустив голову, не глядя на солнце, как будто и солнце и мир уже не существовали для него. Я пригляделся и — не дай бог никому пережить! — узнал в этом старике Пепию. До этой минуты я и не подозревал, что он в этой же тюрьме. Да, это был Пепия, но его нельзя было узнать, до того он исчах и изменился!

— Пепия, ты ли это? — крикнул я несчастному, пораженный до глубины души.

Он поднял голову и взглянул на меня.

— Габриел, сынок! — застонал он жалобно. — И ты здесь?

Умереть бы тебе, злосчастный Пепия! Раз так, значит, заживо похоронили мою Тамро! Горе мне, дитя мое! Теперь конец всем надеждам на твое спасение!

Он ударил себя руками по голове, колени подкосились, он упал на землю и громко зарыдал. Меня обожгла жалость.

— За что же тебя, мой Габриел? Тебя-то за что? — причитал измученный человек. — Пускай уж меня, я ведь несчастный отец несчастной дочери! Но тебя-то за что, бедняга?

— А за то, мой Пепия, — ответил я горько, — что я хотел тебе добра. Теперь нас уж ничто не спасет. Мы бессильны, все трое. Мир, оказывается, за него. Не плачь! Какая в этом мире цена слезам? Не проливай их понапрасну! Нас предали люди, но бог воздаст.

— Эх, мой Габриел, видно, и бог не за нас! Горе мне, Тамро, дитя мое! Сам господь бог не возвратит мне твоей чести! Все кончено. В этом мире у меня уже ничего не осталось...

Может быть, бедняга и сказал бы мне еще что-нибудь, но подошел солдат, ударил старика прикладом и увел. Пришлось замолчать и мне.

По приказанию начальника солдаты окружили нас кольцом, и шесть арестантов, звеня кандалами, двинулись в путь. Несчастный Пепия и еще один больной арестант едва плелись. Когда мы вышли за тюремную ограду, Пепию и больного посадили на арбу. Я так привык видеть одно лишь зло, что добрый поступок русских солдат удивил меня.

Семь дней спустя мы подходили к Казбеку. Наступил вечер, а селения, в котором нам предстояла ночевка, все еще не было видно. Стемнело. Аробщик крикнул, что у него сломалась ось. Нам приказали остановиться. Солдаты уселись вокруг; кто курил трубку, кто принялся за еду, кто прилег. Сели и мы. Арестанты говорили о том, что завтра мы минуем границу Грузии. Услыхал я об этом, и оборвалось сердце, завладела мною печаль. Казалось бы, все страны мира равны для человека без роду без племени. Но, видно, Грузия для грузина — великое дело. Как бы там ни было, шени чириме, наша колыбель — Грузия, могилы наших предков — Грузия, Грузия страна, где говорят на нашем родном языке. Только ей и внятна наша речь, только здесь сияет наше солнце и светит наша луна. Если есть у тебя сердце, то и сердце твое здесь! Если есть в тебе любовь, то и любовь должна быть здесь, где же ей еще быть!

«Откуда, куда нас несет? — говорил я себе с горечью и болью. — Никогда уже не придется мне увидеть эту страну, никогда не согреет меня это солнце, не озарит своим сиянием луна этой страны. Уж не будет никого, кому понятна моя речь, не утолят мою жажду воды этой страны, не молиться мне больше ее святыням! И Тамро останется здесь беззащитной...»

Пронеслись во мне эти мысли, горько было мне, как вдруг

послышался конский топот. Не прошло и минуты, к нам вплотную подъехали пять или шесть всадников. С криком налетели они на солдат, а нам приказали:

— Спасайся, кто в силах!

Пусть так скоро умрет твой враг, как поспешно разбежались перепуганные солдаты! Однако они вскоре опомнились, сбились в кучку и подняли стрельбу. Мы с Пепией воспользовались суматохой, перебежали через дорогу и кинулись вниз с откоса. Старик мчался, точно двадцатилетний юноша. Я удивился, но тут же понял: на что только не способен человек в нужде! Какой-то всадник поскакал вслед за нами. Поравнявшись, он сунул мне напильник и пожелал счастливого пути.

— Скажи, кто ты? Не вижу в темноте! Назови хоть имя, чтоб благословить тебя! — просил я.

— На что тебе мое имя? — ответил он. — ~~Кто~~ есть, тот есть. Благословляйте, если угодно: свеча да ладан найдут дорогу.

Сказал, стегнул коня плетью и скрылся в темноте.

Мы долго шли наугад. Пепия едва волочил ноги. Я взвалил беднягу на плечи и понес, хотя он и сопротивлялся. Тащить его пришлось недолго. Мы вскоре спустились в глухое ущелье и решили здесь заночевать. Я тотчас же принялся за кандалы, однако лишь к рассвету удалось их распилить. Лег и уснул.

Когда проснулся, солнце стояло уже высоко. Теперь только я вспомнил, что у нас нет ни крошки хлеба. Дай бог врагу твоему пережить то, что пережил я тогда, не зная, как помочь беде. Куда пойдешь в арестантской шинели? Схватят немедленно. Пепия, правда, не жаловался, но по всему было видно, что бедняга жестоко страдает от голода. Весь день и следующую ночь мы как-то перемогались, терпели, но помощи не было видно ниоткуда.

Наступило следующее утро, но и оно не принесло ничего утешительного. Пепия исхудал, на него жалко было смотреть, глаза ввалились, лицо осунулось, скулы выступили, он весь словно развинтился. Нелегки были и мои страдания — и оттого, что я видел, каково ему, и оттого, что сам впал в безнадежность. Пепия почувствовал это и сказал:

— Сынок Габриел! Не обижайся, я не в силах идти дальше. Тебе я только обуза. Брось меня, я не жилец на этом свете, да и кому нужен! Иди же, не губи себя попусту еще раз... Довольно и того, что с тобой случилось.

Его слова огорчили меня и обидели.

— Как ты мог это сказать, несчастный? — почти сердито ответил я. — Уйти? На кого же я тебя брошу? И какой ответ дам богу?

— Господь давно уже покинул меня! На роду, видно, написано стать добычей волков и воронья! Пускай останусь им на поживу. А ты ступай и живи в мире, да благословит тебя бог!

— Уйти и опозориться перед всем миром? Горе тебе, Габриел!

Не дай мне, господи, дожить до такого стыда. Оставайся здесь, ни на шаг не отходи. Я скоро возвращусь...

Недолго раздумывая, я поспешно ушел. Взобрался на какую-то вершину и огляделся. У подножия горы бурлила и пенилась река, вдоль реки, по сую сторону, извивалась проезжая дорога. По дороге ехал какой-то всадник. Я убежал вниз по склону и бесстрашно кинулся к всаднику. Увидев, что это торговец-армянин, я почувствовал себя увереннее.

— Слезай с коня! — гаркнул я ему.

Он принял это за шутку.

— Ва, зачем слезать? Что я, раб твой покорный?! Разве не видишь, человек при оружии едет?

Не давая опомниться, я сорвал с него винтовку и заорал, решительно наступая:

— Сказано, слезай! Смотри, костей не соберешь!

Пусть враг твой сгинет так быстро, как внезапно побледнело его лицо! Увидев, что я не шучу, он сошел с коня и сказал испуганно:

— Ва! Зачем мне тебя обижать?.. Вдобавок из-за коня! Бери, пожалуйста, вместе с седлом. Одно седло стоит двадцать пять рублей! Конь такой, его вместе со снаряжением на всю жизнь тебе хватит! Оставайся с миром! А я пойду и слова не скажу.

— Не проведешь, снимай и шашку!

— Как прикажешь — вот тебе шашка.

— И пояс с кинжалом!

— И насчет кинжала спорить не стану. Ты парень молодой, тебе к лицу.

— Сними пистолет с пояса!

— Пускай так, этот тебе в пешкеш*.

— И платье.

— Ва! А я в чем останусь?

— Много не разговаривай, — угрожающе крикнул я.

— погоди, у меня в кармане счета и расписки. Ничего особенного, обыкновенные письма, тебе от них никакого проку, я возьму эти письма.

— Бери, но тумана два ты должен мне дать.

— Воля твоя, даже векселя не возьму.

— Нет ли у тебя в хурджине хлеба и вина?

— Сколько угодно!

— Ты их мне тоже уступишь.

— Пусть и это в пешкеш! Чего еще? Знаешь что? Теперь я пойду своей дорогой, а ты ступай своей.

— Воля твоя.

Одним словом, он отдал все, что я потребовал. Когда он доставал из кармана деньги — их было много, — я сделал вид, будто не замечаю. Он был счастлив, что я не обобрал его дочиста.

Я вскочил на коня и поспешил к Пепии. Это было первое мое

злодеяние. Но кто скажет, было ли оно действительно злодеянием? «Отымаешь у богатого, отдаешь бедняку — господь вряд ли осудит тебя»*, — говорит наш народ.

День мы провели в том же ущелье. Досыта наелись после двухдневной голодовки, и к нам снова возвратились силы.

Когда стемнело, я усадил Пепию на коня, а сам пошел впереди. На третий день мы приблизились к Маглан-Дорéти. Несчастный Пепия тяжело расхворался в дороге, перестал есть, пить и все молчал. Я почувствовал, что настал его конец.

Поднялись мы на какую-то вершину; Пепия, едва дыша, попросил:

— Остановись, сынок! Не могу уже ни ехать, ни идти, ангел смерти стоит над моей головою.

Я остановил коня, снял Пепию, подостлал шинель, пристроил подушку от седла, уложил его. Близился вечер, солнце садилось. Бедняга едва дышал. Я сел у изголовья. Мы были одни-одинешеньки на гребне огромной горы. Солнце, склонившись к самой ее вершине, пламенело красно-желтым сиянием. Мир, разбуженный весною и оживший с нею, казался невинно-безмятежным, точно младенец в колыбели. Все, кроме нас, дышало счастьем. Только мы с Пепией были несчастны. Он умирал, я растерянно, с разбитым сердцем, глядел на умирающего.

— Габриел! — сказал мне, наконец, Пепия. — Ноги у меня стынут. Умираю, сын мой! О горе, умираю без причастия. Сын, прости мою кровь убийце, как я прощаю! Но... если узнаешь, что лишил чести Тамро, — поклянись, что солнце померкнет для ее погубителя! Поклянись, что убьешь его и он умрет без покаяния и причастия, как я умираю. Поклянись... Если это грех, беру его на себя.

Я поклялся.

— Клятва твоя да будет нерушимой! — продолжал несчастный. — Мы встретимся с тобою там, на том свете. Горе мне, дитя мое Тамро!.. Габриел, если он не обесчестил Тамро, прости ему, ради создателя нашего, все, что он сделал с нами, как прощаю и я. Поклянись!

Слова его пробудили во мне какую-то надежду, я дал и эту клятву.

— Ах, увидеть бы сейчас мою Тамро! — заговорил снова Пепия. — Еще бы разок увидеть ее, тогда я с миром испустил бы дух. Милая дочка, единственная моя Тамро! Где ты теперь? Почему не закроешь глаза несчастному отцу? Почему не сложишь ему руки на груди? Почему не оплачешь, дитя? И как мне умереть не оплаканным тобою? Чем я прогневил тебя, господи? Да благословит тебя бог, моя Тамро! Ты последнее убежище моей души, ты последний свет моих глаз! И над тобою да будет милость господня, мой Габриел! Благословляю землю, если моя Тамро ходит по ней без греха... Если же нет — да погибнет это обреченное на поги-

бель подлое обиталище низких, подлых людей. Прощай, мой Габриел! Пришел мой час, душа отлетает. Умираю не оплаканный дочерью своей! Ухожу из этого мира без причастия и покаяния. И все же, если твой господин сберег честь моей дочери, скажи: «Пепия, умирая, благословлял тебя». О господи, прими мою грешную душу, тебе, всевышний, поручаю я дочь свою. О дочь моя!.. Тамро!..

Так с именем Тамро на устах окончил старик свою праведную жизнь. Имя Тамро было его последним стоном, вместе с этим стоном отлетела его исстрадавшаяся, истерзанная, чистая душа. Так покинул он этот жестокий, тленный, греховный мир. Имя Тамро осталось запечатленным на его застывших устах. О, хоть бы я тогда же последовал за ним! Господи, пошли мир и отраду его душе, хоть там не лишай безвинного страдальца своего милосердия!

С огромным трудом удалось мне с помощью шашки и кинжала вырыть могилу несчастному Пепии. Наутро, когда взошло солнце, я предал его земле. И вместо святой восковой свечи стояло над ним солнце, вместо ладана курились испарения утренних рос.

ХІ

Ожесточенный, с омертвелым, испепеленным сердцем сел я на коня и, не разбирая пути, стал спускаться с горы.

Я ехал, а перед глазами у меня стоял несчастный Пепия. Вспоминались его полные всепрощения речи, его праведная смерть. Печаль угнетала меня, но дорога понемногу смягчила грусть, очистила мое возмущенное сердце, прояснила рассудок. И вот, наконец, я совсем успокоился и притих. Я, может быть, еще долго ехал бы таким вот спокойным, освобожденным от печали, если бы вдруг снова не вспомнил о данной Пепии клятве. Я поклялся убить человека? Дрожь прошла по телу, я побледнел. «Вот к чему привела судьба,— думал я,— она обрекла меня на убийство. На меня, Габриела, должен пасть грех человекоубийства... Мне суждено обагрить руки в человеческой крови...»

По натуре я был таков, что в гневе, в запальчивости, в неистовстве мог невольно убить; но если бы мне хоть на две минуты удалось сохранить власть над сердцем и рассудком, вряд ли бы решился отнять у человека жизнь. И вот пришел для меня тяжкий день: у меня было много времени впереди для того, чтобы обо всем поразмыслить. И чем больше я думал о своей клятве, тем тяжелее становилось у меня в душе. Мне предстояло одно из двух: либо нарушить клятву, либо убить человека. Я и поныне не знаю, какой грех страшнее!

«Господи,— твердил я про себя,— дай мне найти Тамро невинной, чтобы я мог, как Пепия, простить того, кто загубил мою жизнь! Избавь меня от этого греха, не дай мне пасть».

Как бы ни было, убийство все-таки грех, шени чириме! Я знал это, и эта мысль сжигала меня; я сгорал на этом огне. Но когда вспомнил, что осужденный мною на смерть загубил три человеческих жизни только ради того, чтобы удовлетворить минутную прихоть, что меня, полного сил, он оторвал от жизни, убил отца, не дав ему даже причаститься, и, быть может, обесчестил его дочь, — я подумал с гневом и злобою: «Разве убить такого человека — такой уж тяжкий грех? Разве не должна быть восстановлена божья справедливость? Разве не об этом говорил мне священник: все за одного, один за всех?»

Я решил: ни за что не отступлю! Позорно нарушать клятву! «Что меня ожидает? — спрашивал я, и мозг мой горел. — Вечные муки и ад? Но если бы в награду за это мне был уготован рай, какое же это было бы самопожертвование! Пусть же случится то, что должно случиться! Пусть это приложится к моим бедствиям и скорбям во избавление других. Не за себя же расплачиваюсь с моим врагом; все свое я уступил врагу, все простил, все забыл». Смерть Пепии и его полные милосердия слова унесли с собой мое ожесточение.

Я даже поклялся в этом. Господь увидит — увидит, пожалеет меня, а нет, пусть совершится то, что предопределено мне роком.

Казалось, я пришел к решению, и все же как бы невольно простер руки к богу, взмолился к нему с открытым сердцем, со страстной тоскою: «Господи, избави меня от человекоубийства, дай мне увидеть Тамро невинной!»

Тяжко, шени чириме, носить в душе мысль об убийстве! Очень тяжело! Я постарел за один день. Если хочешь поднять ад в человеческой душе, внуши ей мысль об убийстве. Этого достаточно, чтобы причинить бесконечные муки!..

Я спустился с горы и двинулся дальше по долине, и вдруг меня потянуло к священнику. Пусть благословит, а там будь что будет. Я доверился призыву своего сердца и направился в город.

На другой день к вечеру я подъехал к Дигомскому ущелью и сошел с коня возле одного духана*, так как не решался остановиться в городе. Поставил коня в стойло, что было возле духана, прибрал, задал ему корму. Потом вошел в духан поесть. Духанщик подал мне ужин. Я сел на стойку и принялся за еду. Я уже кончал ужинать, когда к крыльцу подкатили дрожки. В дрожках сидела женщина, с нею какой-то парень, с виду горожанин.

— Медукне!* — крикнул парень. — Отдельная комната найдется?

— Сколько угодно! — ответил трактирщик.

Женщина и молодой человек вошли в духан. Когда я ее увидел, меня словно громом поразило, я не поверил собственным глазам.

Женщина подошла ближе, я разглядел ее, и кровь ударила мне в голову. Как безумный соскочил я со стойки и стал перед нею.

— Тамро! — крикнул я, весь дрожа.

— Габриел! — воскликнула она и, побледнев, упала мне на грудь.— Отец, где отец? — вырвалось у нее горестно.

— Он ушел из этого мира! Но скажи, зачем ты здесь?

— Не спрашивай, не надо! Не спрашивай,— рыдала бедняжка.— Твоя Тамро погибла, давно уже! Умерла твоя Тамро!

— А ты кто? — в ужасе вскричал я.

— Нет, я не прежняя Тамро! Я бесстыжая авлабарская* девка, пожалей и оплачь меня, злосчастную!

— Бесстыжая девка?

Я безжалостно оттолкнул несчастную, оторвал ее от себя, словно змею, точно обуянный безумием, кинулся во двор, вскочил на коня и, проклиная всё и вся, направился к нашей деревне.

Пришло время исполнить клятву. В этот день отпали все мои сомнения и колебания. Сердце ожесточилось. Казалось, если бы мне дана была власть, я бы уничтожил весь мир, я разорвал бы его в клочья, впился зубами...

Три, может быть, и четыре месяца кружил я, выслеживая Датико, но мне все не удавалось встретиться с ним лицом к лицу.

Много раз представлялась мне возможность убить его из-за угла, но какая же в этом доблесть? Он ведь и сам был человек мужественный. Хотелось стать с ним лицом к лицу и убить его либо самому быть убитым.

Эти три или четыре месяца я, точно зверь, скрывался в лесу, и все же пришлось ограбить двух купцов-армян и пятерых князей. Но видит бог, я не взял у них больше того, что мне было необходимо! Всем им я назвал свое имя, чтобы слух обо мне дошел до Датико и чтобы он, получив предупреждение, был начеку.

Так создалась у меня слава разбойника, и меня начали преследовать. Кто-то грабил и разбойничал по всей округе, прикрываясь моим именем. Случилось три убийства, я был неповинен в них. Все приписывалось мне, а подлинные разбойники выходили сухими из воды. Однако то же обстоятельство мешало напасть на мой след. Сегодня говорили: «Вон там-то Габро ограбил человека» — и оцепляли это место. И в тот же вечер разносился слух, будто Габро ограбил кого-то на расстоянии трех дней пути,— это сбивало с толку преследователей. Никому и в голову не приходило, что Габро тут ни при чем, что другие разбойничают, прикрываясь его именем. Наконец, когда все попытки поймать Габро оказались тщетными, был обещан Георгиевский крест тому, кто возьмет меня живьем или доставит мой труп.

Я скрывался главным образом там, где Датико обычно охотился. Датико очень любил охоту. Но за эти три или четыре месяца он ни разу, на свое счастье, не побывал в тех местах.

И вот настал роковой для него день. Мы встретились.

Солнце склонялось к закату. Он ехал верхом по полю, следом за ним бежала борзая. Я сидел в лесу на дереве. Спустился, вскочил на коня и с бьющимся сердцем стал поджидать его.

Датико выехал на дорогу, пролегавшую вдоль опушки, и направился в мою сторону. Я услышал — он что-то напевает; взглянул — он был вооружен с головы до ног. «Видно, помнит обо мне, — мелькнуло, — раз так снарядился».

Едва он поравнялся со мною, я рванул коня.

— Если ты не трус, держись! — крикнул я.

Сначала он меня не узнал.

— Кто ты? Впрочем, кто бы ни был, меня не заставишь побледнеть! — ответил он решительно и смело.

Не прошло и секунды, он живо вскинул висевшую за плечом двустволку и выпустил в меня оба заряда. Я успел ударить рукой по стволу, и оба заряда, жужжа, пронеслись над моей головой.

— Это я, Габро, пришел по твою душу! — крикнул я и, прежде чем он успел схватиться за другое оружие, выстрелил ему прямо в грудь.

Бедняга покачнулся в седле, сполз набок, казалось, вот-вот упадет, но удержался, успел выхватить шашку, занес ее надо мною. Удар и на этот раз миновал меня, он пришелся по голове коня, конь рухнул, увлекая меня за собой. Когда я поднялся, Датико уже лежал на земле.

Я подошел к нему. Красивый, молодой, гордый князь едва дышал у ног своего крепостного. Но не скрою от вас нищеты своего сердца — жалости к нему во мне не было!

— Заплатил ты мне все-таки жизнью за свое бесстыдство! — злорадно сказал я.

Он усмехнулся спокойно, как будто лежал в собственной постели:

— Вот каким ты оказался Шермадином!

— Я такой же Шермадин, каким ты был для меня Автандилом!

— Уходи, брат! Убил — и довольно с тебя славы! Не везло мне сегодня: что ни выстрел — все мимо... Горе, какая нехорошая смерть. Позор мне! И царапины тебе не оставил на память!

— О чем ты? О чем? Нашел время! Прощаясь с жизнью, помняни хоть имя господне, ты, исполненный греха!

— Брось поучать! Пускай моя кровь принесет тебе счастье. Ты оказался храбрым, молодец! Я и вправду совершил много зла. Ничего, пусть жалкая моя гибель будет выкупом за все. Ай, мать моя! Разве так я должен был тебя встретить? Пришлось все-таки умереть от твоей руки! Помнишь, я тогда сказал: свеча и ладан найдут дорогу. Вот и нашли.

— Неужели это ты освободил нас у Казбека? — спросил я, пораженный.

— Я ли, другой ли, не все ли равно?

— Зачем ты нас спас?

— Разве не видишь? Ради этого часа... Что Пепия?

— Умер.

— Без причастия и покаяния, как я?

— Да, как ты.

— Значит, поквитались... Прощай, Габриел! Мира тебе и удачи, победитель! Жаль, что дал себя убить так бесславно! Победы и...

Датико хотел еще что-то сказать, но не смог. Потянулся разок, приподнялся, упал и умер, бедняга. На губах застыла улыбка, словно он над чем-то смеялся. Да, рожденный в слезах, умер с улыбкой.

Я поймал его коня, сел и поехал. Ничего, кроме коня, я у Датико не взял.

После убийства Датико меня стали преследовать еще упорнее. Скрываться в тех местах было уже трудно. Да мне и нечего было там делать. И сказать правду, опостылела разбойничья жизнь: не мое это дело! Грабил я поневоле, страдал при этом и сам же себя осуждал. Много злодейств совершил я, но сердце не мирилось, не привыкало никак! В конце концов решил перекинуться куда-нибудь подальше — худо ли, хорошо ли, я мог добыть себе кусок хлеба трудом своих рук, мог кое-как просуществовать, пока не придет конец. Это все, чего я еще добивался от жизни, да больше мне и не причиталось: в этом мире уже не было у меня своей доли.

Ушел я оттуда и приютился в Кахетии. Переходя Алазань, соскочил на середине реки с коня Датико, убил его выстрелом в голову и пустил по течению. Кинул в воду и оружие, чтобы никто не узнал меня по оружию и по коню. В Кахетии я стал батрачить. Живу здесь, как я уже говорил вам, пятый год. Первый год прошел благополучно, но на втором воздух Кахетии мне повредил — я схватил лихорадку. Порой она оставляла меня на два, а то на три месяца. Но стоило немного оправиться, как возвращалась снова. Я не сдавался, работал, сколько позволяли силы. Так протянул три года. В нынешнем году я заболел водянкой. Стало трудно ходить, распухли ноги, я уже не годился для работы. Болезнь доконала, и я свалился. Приютился я у одного крестьянина и жил у него пока были кое-какие гроши. Когда же деньгам пришел конец, этот благословенный человек выгнал меня пинком в спину. Случилось это четыре месяца тому назад. Я уже не мог оставаться в той деревне — пришлось бы жить подаянием, а этого я стыдился. Взял да ушел. По пути сюда обменял всю, какая была, одежду на эту солдатскую шинель да получил один туман в придачу. Два с половиною месяца жил я на этот туман. Кое-как добрался до этих мест: но дальше уже не мог идти: распухшие от водянки ноги потрескались и загноились. А под конец, видите, заживо точат меня черви. Доплелся я кое-как до этого саманника и под его навесом слег. Саманник у края дороги. Здесь вечно проходят люди; всегда найдется добрый человек, подаст кусок хлеба или принесет воды. Так и живу. Может быть, я и достоин того, что выпало мне на долю. Уж не расплата ли это за совершенные мной

злодеяния? Кто знает! Кто проникнет в промысл божий! Чувствую, водянка скоро доконает меня, вода подошла почти к самому сердцу. Благодарение богу, пришел мой конец! Если я в чем виноват перед миром, да простит он мне, остальное — в руке божией. Я не был злым, был только несчастен! Думается, я уже здесь искупил большую долю своих грехов. Ошибаюсь ли я в уповании своем, знает только бог в непреложной своей справедливости. Я же расстаюсь с этим миром без сожаления, потому что ничего ему не должен, ничем ему не обязан. В этом мире я не удостоился даже причастия!..

XII

Так окончил свою повесть нищий. Было уже за полночь. Я простился с этим несчастным человеком и, расстроенный тем, что услышал, отправился к куму.

На другой день я спросил, где мне сыскать священника, считая, что хорошо бы причастить этого одинокого, покинутого всеми человека, исполнив таким образом последнее его желание.

Кроме того, я надеялся, что мне удастся уговорить его и перевезти к моему куму. Кум сказал, что, по его соображениям, священник вряд ли согласится прийти, — вчера из города прибыл новый благочинный, он сейчас у священника, и тому недосуг.

К моему изумлению, так оно и случилось. Священник прислал сказать, что ему некогда. Я был удивлен и возмущен таким ответом, обратился прямо к благочинному, рассказал, что меня привело, и сообщил об ответе священника. Благочинный жестоко осудил его за бессердечие. Он взял дароносицу и тотчас же, в сопровождении священника и дьякона, пошел со мною.

Было еще раннее утро, когда мы спустились к нищему. Бедняга сильно изменился за истекшую ночь. Он был так слаб, так бледен, что, казалось, жизнь его висит на волоске.

Когда нищий увидел благочинного, он вдруг словно ожил, глаза загорелись огнем. Он был чем-то поражен; пристально вглядывался в лицо благочинного, как будто хотел что-то вспомнить. Казалось, верил и не верил тому, что видит. Раза два-три протер глаза, как будто что-то застилало ему зрение. Сосредоточенный, притихший, глядел он на благочинного. Затем, как бы спасаясь от наваждения, стал креститься, все упорнее и упорнее впиваясь в него взглядом.

Я удивился: что с ним?

— Да благословит тебя господь, брат мой! — сказал благочинный. — Я священник, пришел дать святое причастие тебе, христианину. Чему ты удивляешься, отчего так пристально смотришь на меня?

— Так ты не видение? — воскликнул нищий.

— Нет.

— Отец! — горестно воскликнул нищий. — Не жалко тебе твоего Габриела?

Благочинный содрогнулся, словно пораженный ужасом. Я поспешно протянул руку и поддержал его.

— Слава тебе, господи, слава! — продолжал нищий уже тихим и радостным голосом. — Вот кого ждала моя душа, и ты пришел и принес мне утешение! Теперь умру с надеждой. Причасти меня твоей благословенной рукой, шени чириме. Пусть зажженная тобою свеча погаснет в твоих же руках. Мне недолго осталось жить, причасти меня!

— Габриел!

— Да, это я, я! — прервал он благочинного. — А ты — тот, кого ждала моя душа! Слава милосердию твоему! Причасти, шени чириме, пришел мой конец!

— Что случилось с тобою, что довело тебя до такого дня? — скорбно спросил благочинный.

— Тот огонь... что горит в душе каждого, как ты сказал мне однажды. Так думаю я, а про других не знаю. Причасти же меня, шени чириме.

На благочинного жалко было смотреть: он побледнел, лицо подернулось пеплом. Казалось, что он и есть виновник всех бедствий нищего. Благочинный не сказал несчастному ни слова — ни слова! Растерянный, готовился он причастить умирающего.

— Смерть не оставила мне времени исповедаться, — сказал нищий. — Каюсь во всем, прости и разреши мне грехи мои без исповеди и удостой причастия!

— Отпускаю!..

— Я ограбил восемь человек!

— Отпускаю!..

— Одного убил!

— Отпускаю тебе здесь, а там — да исполнится воля господня! Я буду молиться за тебя, несчастный Габриел.

— Раз ты отпустил, — воскликнул нищий радостно, — отпустит и господь, он всегда говорил твоими устами! Если я теперь достоин — причасти меня!..

— Сия есть плоть моя, еже за вы и за многие преломляемая, сия есть кровь моя, еже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. Прими и яди! — торжественно произнес благочинный.

— Слава Христу! — произнес нищий благоговейно. — Удостой причастия, отец!

Благочинный стал читать молитву, взял из дарохранительницы частицу причастия, опустился на колени перед нищим, подал ему причастие на ложечке.

— Помяни меня, господи, и спаси! — взмолился нищий, а потом сказал благочинному: — Нет, шени чириме, не хочу я принимать причастия лежа!

Он приподнялся. Мы кинулись к нему и помогли встать на колени, как ему того хотелось. Он перекрестился, с мольбою взглянул на небо, простер руки и скорбно произнес:

— Помяни мя, господи, егда приидеши во царствие свое!

Потом, упав ниц, заплакал. Долго лежал он так, и только глухие рыдания слышались время от времени. Наконец рыдания стихли. Благочинный склонился, чтобы приподнять его, но нищий умер, как был, у его ног. Так и не удалось несчастному принять причастие, на это не дано ему было времени.



Джалил Мамедкулизаде

КУРБАНАЛИ-БЕК

Да благословит аллах твою память, Гоголь!

По селу прошел слух, что едет уездный начальник, затем выяснилось, что сегодня именины жены пристава.

Крестьян охватило волнение. Никто не вышел на полевые работы. Одни высыпали на окрестные холмы и стали смотреть на дорогу, не едет ли это важное лицо, другие толпились у дома пристава. Сюда же, услышав о приезде начальника, собирались крестьяне из других деревень.

Двор пристава был так набит народом, что, кроме старост, писарей и стражников, туда больше никого не пускали.

На дворе происходило настоящее столпотворение; от крика и шума звенело в ушах: блеяли барашки, кудахтали связанные за ноги куры, ржали лошади старост.

Вислоухие собаки пристава с оглушительным лаем кидались то на какого-нибудь старосту — хаф, то на главу — хаф! На бал-

коне то и дело появлялась жена пристава, визгливо кричала: «Тише!» — и снова уходила в комнаты.

Повара в белых фартуках выбегали из кухни, заказывали старостам то одно, то другое:

— Поскорее доставь полфунта шафрана!

— Повинуюсь! — следовал почтительный ответ.

И староста, которому давалось поручение, на минуту задумывался, потом, обращаясь к своему писарю, приказывал:

— Мирза-Гасан, гони сейчас же человека в город, пусть раздобудет полфунта шафрана!

Спустя некоторое время выскакивал другой повар, держа нож для рубки котлет; подозвав одного из старост, говорил:

— А ну-ка доставь сотни четыре-пять яиц, да поживее!

— Да что четыреста, аллах с тобой! Тут больше тысячи будет! — радостно кричал тот, тыча пальцем в корзины с яйцами, стоявшие в углу двора.

Вдруг началась беготня: передали, что едет начальник. Старосты кинулись к воротам, собаки бросились за бежавшими, ханум вышла на балкон. Через некоторое время все стихло, словно в озеро с лягушками кинули камень: оказалось, приехал не начальник, а пристав соседнего участка.

Он спешил к воротам, поднялся на балкон, сказал что-то по-русски ханум, рассмеялся сам, рассмешил и ханум, и оба вошли в комнаты.

И снова стук ножей, топот ног, ржание лошадей, кудахтанье кур, крики старост, тьяканье собак слились в оглушительный шум.

Здесь только что приехавшие старосты слезают с коней, снимают и кладут на землю хурджины, полные всякой снеди; там крестьяне тащат посуду, котлы, ковры и паласы*, в глубине двора режут и свежуют ягнят, ощипывают кур и цыплят.

Снова началась беготня: опять сообщили, что едет начальник. Старосты бросились к воротам, собаки помчались за людьми, ханум с гостем показалась на балконе, но прошло некоторое время — и снова кинули камень в озеро с лягушками. Подъехавший был не начальник, а казачий офицер.

Он соскочил с лошади, взбежал на балкон и, целуя ручку хозяйке, справился о ее здоровье; затем все вошли в комнаты.

Спустя некоторое время повторилась та же история. Началась беготня, сказали, едет начальник, но и на этот раз тревога оказалась ложной. Когда расступились люди и гость вошел во двор, все увидели Курбанали-бека*, известного помещика из селения Капазлы*.

Войдя во двор, он остановился, посмотрел по сторонам. К нему подскочил пес и, виляя хвостом, стал лизать его сапог. Курбаналибек нагнулся и погладил собаку, сказав:

— Маладес, сабак! — Затем, подняв голову и увидев на бал-

коне ханум, он крикнул: — Издрасти! — И, подняв высоко над головой папаху, закричал: — Ур-р-ра!..

Вступив на балкон, бек склонился перед ханум в глубоком поклоне. Хозяйка протянула руку. Пожимая ее, бек восторженно воскликнул:

— Ханум, пока я жив, я твой слуга!

Ханум рассмеялась:

— Спасибо!

Бек вздохнул, и они ушли в дом.

Спустя некоторое время приехали ветеринарный врач, судебный пристав, два учителя, еще один офицер и врач, оба с женами.

Прошло еще некоторое время, снова началась суматоха: начальник едет!..

С околицы прискакал один из старост, быстро спешился и, пробежав двор, бросился к хозяйке.

— Ханум, начарник идот! — кричал он.

Ханум кинулась в комнату, потом снова появилась на балконе, гости вышли из комнаты и, спустившись во двор, поспешили к воротам.

Топот, стук, возгласы, крики: «Стой!», «Не лезь!», «Осади!», «Станьте сюда!»

Наконец во двор вошел тучный мужчина в погонах. Он подошел к ханум и, приподняв левой рукой фуражку, поцеловал ей руку. Поздоровавшись с гостями и пожав каждому в отдельности руку, начальник поднялся на балкон и вошел в дом.

После начальника приехало еще несколько гостей, из них некоторые с женами.

Все собрались в зале. Тут на столах были разложены печенье, пирожные, сдобные сухари, конфеты, лимоны, апельсины, сушеные фрукты и прочие яства. В стороне, на отдельном столике, кипел огромный самовар, прислуга обносила гостей чаем.

Начальник сидел на мягком диване рядом с ханум и беседовал с ней, помешивая ложкой в стакане. Вокруг них толпились гости.

С улицы через открытое окно донеслось конское ржание, в ответ громко заржала другая лошадь. Некоторые из гостей подошли к окну. Ржание усилилось.

Курбанали-бек, высунувшись из окна, закричал:

— Эй, Кербелай-Касум*, собачий сын, уведи коня подальше, а то еще вырвется...

Через некоторое время слышалось еще более неистовое ржание. Курбанали-бек стал орать на слугу, заглушая лошадиное ржание. Гости бросились к окнам.

На улице, недалеко от конюшни, стражник водил на поводу белую лошадь уездного начальника.

Поодаль слуга Курбанали-бека прогуливал рыжего бекского коня. Несколько крестьян вываживали в стороне других лошадей. Толпа крестьян перед домом пристава глазела на окна.

Лошадь начальника громко ржала, била копытом землю и, косясь на коня Курбанали-бека, гневно кусала удила. А конь Курбанали-бека с заливистым ржанием становился на дыбы, чуть не подымая с земли крепко державшего его под уздцы Кербелай-Касума, который покрикивал:

— Но-о-о... Но-о-о... Смотри у меня!..

Догадавшись, что рыжий конь принадлежит Курбанали-беку, начальник спросил о возрасте коня. Курбанали-бек, закуривая папиросу, ответил, что коню недавно пошел четвертый год.

Начальник подошел к окну и стал любоваться конем Курбанали-бека.

— Красивая лошадка! — похвалил он.

Конь Курбанали-бека действительно был красив.

Приложив обе руки к груди и поклонившись, Курбанали-бек ответил:

— Примите в дар!.. *

Начальник поблагодарил и, продолжая любоваться конем, спросил:

— А как на скаку?

— Господин начальник! — ответил Курбанали-бек. — Если в уезде найдется лошадь, которая его обгонит, я сбрею свои усы! *

Через полчаса гостей пригласили в столовую, где стоял длинный стол, уставленный всевозможными блюдами и напитками.

Именинница села за столом на почетном месте. Справа от нее сел начальник. Остальные гости также заняли места за столом.

Начальник взял бутылку и налил по рюмке водки себе, соседке, потом другим дамам и остальным гостям. Встав, чокнулся с приставшей и поздравил:

— С днем ангела, мадам!

После начальника поднялись с мест дамы и господа и произнесли те же слова поздравления. Мужчины залпом опорожнили рюмки и сели.

Именинница подняла рюмку и, поблагодарив гостей, хотела выпить, но вдруг заметила, что рюмка Курбанали-бека не тронута.

— Почему вы не пьете? — спросила она с упреком.

Курбанали-бек улыбнулся и, притворяясь смущенным, молча опустил голову.

Начальник взглянул на него и, расхохотавшись, сказал:

— Неужели вы такой же фанатик, как и все мусульмане?

Некоторые из гостей засмеялись и стали уговаривать Курбанали-бека выпить.

Тогда Курбанали-бек поднял рюмку и сказал:

— На что это похоже, господа? По-моему, это наперсток, который женщины надевают на палец, когда шьют. Из такой штуки у нас не пьют...

Послышался смех.

— Да, да! Верно! — воскликнула жена пристава. — Это моя вина. Ведь Курбанали-бек не пьет водки из рюмки!

Она взяла чайный стакан и, наполнив, поставила перед Курбанали-беком.

— Ну, вот это другое дело, — сказал бек, подымая стакан. — А то поставили наперсток, как будто...

Гости опять рассмеялись, и Курбанали-бек одним духом опорожнил стакан, поставил его на стол и, взяв кусок хлеба, поднес его к носу.

Гости стали закусывать. На улице заиграла зурна*.

Через два часа гости встали из-за стола и, собравшись у окон, стали смотреть.

Весна была в разгаре. Благоухали цветы и травы.

Журчали родники. Щебетали птички. Пронзительно звенела зурна, заглушая все остальные звуки. Когда умолкала зурна, поднимались голоса людей.

На лужайке у речки были разостланы ковры. Кипели три больших самовара, и была расставлена посуда со всякой снедью: до тридцати — сорока стаканов и блюдец, тарелки, сахарницы, вазы с вареньями, пирожные, лимоны и апельсины, конфеты, печенье и всякие другие съедобные с чаем и без чая вещи, масло, сливки, каймак*, сушеные фрукты.

На коврах лежали подушки.

Старосты плетками сгоняли крестьян, чтобы они повели хоровод.

Когда гости после обеда показались в окнах, крестьяне, прокричав «ура», стали кидать вверх шапки, потом, взявшись за руки, повели хоровод. Жена пристава предложила гостям выйти на лужайку пить чай.

Дамы и господа сошли вниз, к речке, а крестьяне снова закричали «ура», а потом начали вести хоровод.

Кербелай-Касум, слуга Курбанали-бека, стоял в стороне и, заложив руки в карманы, издали смотрел на господ. Встретившись взглядом с Курбанали-беком, он низко поклонился ему. Достав папиросу, бек пальцем поманил слугу. Кербелай-Касум подбежал и, достав спички из кармана, дал беку закурить.

— А ты, дурацкий сын, чего не танцуешь? — спросил Курбанали-бек.

— Я уже стар, ага, — ответил Кербелай-Касум, низко кланяясь. — Не пристало мне танцевать.

Курбанали-бек пустил вверх табачный дым, взял Кербелай-Касума за плечо и, потащив к танцевавшим крестьянам, приказал:

— Валяй, собачий сын! Не то, клянусь аллахом, умрешь под плетью.

Кербелай-Касум нехотя вошел в круг. Курбанали-бек также присоединился к ним в качестве заводилы и принялся подпрыгивать.

Жена пристава стала хлопать Курбанали-беку. За ней, посмеиваясь, захопал в ладоши и начальник. Его примеру последовали остальные гости.

А Курбанали-бек, задрав голову и смеясь во всю глотку, орал:
— Госпожа! Я хочу выпить за ваше здоровье! Прикажите подать мне вина! Ур-р-ра! Ур-р-ра!

Слуги кинулись за вином.

Выпив, Курбанали-бек опять пустился в пляс. Потом снова потребовал вина.

— За здоровье ханум! — крикнул он, выпил и продолжал кружиться.

Наконец, запыхавшись, отошел в сторону и, наполнив стакан вином, подозвал Кербелай-Касума.

— Пей! — приказал он.

— Ты же знаешь, ага, что я не пью! — взмолился Кербелай-Касум. — Не заставляй пить, умоляю! Пожалей мою старость ради детей твоих!

Бек хотел настоять на своем, но, видя, что слугу не переупрямить, вылил часть вина на него, остальное же выпил сам.

Гости сели за чай. Курбанали-бек подсел к ним и, обращаясь к начальнику, сказал:

— У этого моего слуги, Кербелай-Касума, нет никакого разумения. Никак не могу заставить его выпить хоть каплю вина. «Дурак ты, дурак, — говорю ему, — ведь виноград-то ты ешь? А почему вина не пьешь? Это же виноградный сок!..» Но сколько ни бьюсь, он все же не пьет.

Начальник ответил, что Кербелай-Касум невежествен и потому не соображает... Но Курбанали-бек со смехом возразил:

— Как не соображает? Прекрасно соображает! Разве он не знает, что вино делают из винограда? Знает. А не пьет потому, что он круглый дурак!

С полчасы гости пили чай и беседовали. Крестьяне продолжали вести хоровод. Одна из дам часто затыкала уши и шепотом жаловалась мужу:

— От этой зурны оглохнуть можно.

Пристав, заметив это, велел музыкантам прекратить игру.

Но едва те замолчали, Курбанали-бек повернулся к ним и крикнул:

— Играйте, бездельники!

Пристав объяснил беку, что музыка беспокоит дам. Но Курбанали-бек пристал:

— Очень вас прошу! Пусть играют, я танцевать хочу!..

И, не дождавшись ответа хозяина, приказал музыкантам:

— Играйте! Сыграйте узундара!*

Музыканты хотели было играть, но начальник встал и, надевая фуражку, сказал:

— Потом потанцуешь, бек! А сейчас пошли за конем, хочу осмотреть его.

— Начальник,— произнес Курбанали-бек, приложив правую руку к глазу,— пожалуйста, я всегда к вашим услугам.

И, подозвав слугу, приказал:

— Кербелай-Касум, выведи коня, начальник желает смотреть его.

Кербелай-Касум побежал в конюшню, вывел коня. Начальник, пристав, Курбанали-бек и некоторые из гостей прошли к коню.

Подойдя к коню, Курбанали-бек стал гладить его. Начальник посмотрел на коня сзади, потом подошел к нему спереди, чтобы посмотреть его зубы, но конь задрал голову и отступил.

— Стой, дурак! — крикнул Курбанали-бек.

Начальник отошел в сторону. Курбанали-бек схватил лошадь за губу и, обнажив зубы коня, обратился к начальнику:

— Пожалуйста, посмотрите! В этом году ему пошел четвертый год. Если не верите, посчитайте сами!

Когда начальник подошел, чтобы взглянуть, конь опять отдернул голову. Взбешенный Курбанали-бек замахнулся на коня кулаком. Конь встал на дыбы и чуть не вырвался из рук Кербелай-Касума, который повис на поводу и крикнул:

— Сто-ой! Смотри у меня!..

Начальник приказал Кербелай-Касуму поводить коня. Тот повел коня в сторону. Следуя за слугой, конь терся лбом о его спину и тихонько ржал, озираясь по сторонам.

Затем начальник осведомился о резвости коня. Курбанали-бек посмотрел на начальника и, ничего не ответив, подозвал слугу, вскочил на коня и дал шпоры. Лошадь прыгнула, рванулась и поскакала по дороге. За полминуты она скрылась с глаз. Через несколько минут Курбанали-бек примчался обратно и, влетев на лужайку, чуть не наехал на гостей. Дамы с криком повскакивали с мест и разбежались. Осадив коня, Курбанали-бек соскочил на землю и стал перед начальником.

— Молодец! — похвалил начальник.

— Господин начальник,— произнес Курбанали-бек,— это еще что! Вы не видели другого моего коня. Этот ничто по сравнению с тем!

Кербелай-Касум увел коня.

* * *

Когда зажгли свет, гости сели играть в карты.

К одиннадцати часам гостей пригласили к ужину.

Съев несколько кусочков жареного цыпленка, начальник взял

бутылку с вином, налил себе и соседям. Потом встал и протянул бокал, чтобы чокнуться с женой пристава.

— Виновницей сегодняшнего торжества являетесь вы! — сказал он.— По сему случаю поднимаю бокал и пью за ваше здоровье!

Он чокнулся с ней и, осушив бокал, сел. Со всех сторон к ханум потянулись бокалы.

Курбанали-бек, подойдя к ней и чокнувшись, сказал:

— Я счастлив, что нахожусь в этом обществе! Пусть продлит аллах дни вашего мужа Михаила Павловича, чтобы он всегда служил в нашем участке! Пока здесь не было Михаила Павловича, и крестьяне наши были несчастны, и я был несчастен... Не знаю, почему-то к прежним приставам я был расположен меньше, чем к Михаилу Павловичу. Правда, несколько лет тому назад был у нас один пристав — хороший парень, можно сказать, рубаха-парень... Он даже собаку мне подарил... Да продлит аллах его дни, и ваши дни, и наши дни! Пью за ваше здоровье, ханум! Ур-ра!

Он выпил и перевернул стакан вверх дном, показывая, что в стакане не осталось ни капли. После этого он сел на свое место.

Когда бокалы были снова полны, жена пристава сказала, обращаясь к начальнику:

— Я считаю приятным долгом поблагодарить вас за внимание, оказанное нам, и извиниться за беспокойство, которое вы причинили себе, проехав такой дальний путь.— И она поднесла бокал к губам.

Гости встали и чокнулись с начальником. Курбанали-бек, подняв стакан, подошел к нему.

— Господин начальник,— сказал он,— пью этот стакан за ваше здоровье! Аллах свидетель, что хотя в нашем уезде и перебывало много начальников, но никого из них я не любил так, как вас. Господин начальник, ты — господин наших жизней. Все население уезда готово положить за тебя свои головы. Я сам по твоему приказанию пойду в огонь, и, пока жив, я — твой слуга, твой раб. Пью за здоровье начальника! Ур-р-ра!..

Курбанали-бек выпил, снова опрокинул стакан и вернулся на свое место. Гости продолжали есть.

Через несколько минут поднялся хозяин дома, налил вина в свой бокал, затем наполнил бокалы гостей.

— Милостивые государыни и милостивые государи! — начал он.— Всем известно, что в случае нападения врага нас защитит наша доблестная армия. Поэтому позвольте поднять сей бокал за здоровье офицера нашей армии Николая Васильевича и его супруги Анны Ивановны.

Сказав это, пристав протянул свой бокал к одному из офицеров и к даме, которая сидела рядом с ним. Остальные также чокнулись и выпили. Тогда встал Курбанали-бек и протянул полный стакан офицеру и его супруге.

— Господин офицер! Ханум! — сказал Курбанали-бек. — Пью за ваше здоровье! Да сохранит аллах навеки вашу тень над нами! Пусть будет вечно остра ваша сабля против врага. Не думайте, что я боюсь врага. Нет, какой враг посмеет выступить против меня? Вот этим кинжалом я проткну его! Врагов я не боюсь! Пока вы стоите на защите нас, не страшны никакие враги... Пока я жив, я — раб твоей ханум! Да здравствует Анна-ханум! У-р-р-ра!..

Бек выпил свой стакан до дна.

Затем пили по очереди за здоровье всех присутствующих господ и дам. И каждый раз Курбанали-бек говорил речь и выпивал стакан до дна.

Под конец Курбанали-бек изрядно напился.

После всех подняли бокалы и за его здоровье. Чокаясь с дамами, он был на седьмом небе от счастья. Растроганный, подняв стакан высоко над головой, он воскликнул:

— Господа, раз вы выпили за мое здоровье, я готов отдать за вас жизнь. Пока я жив, никогда не забуду этого дня. Господа! Я имею к вам просьбу, умоляю не отказать мне в ней. Прошу вас всех пожаловать завтра ко мне. Клянусь аллахом, клянусь прахом отца, я не знаю, как отблагодарить вас за внимание ко мне! Я готов провалиться сквозь землю от смущения, что за мое здоровье пили такие прекрасные ханум... Кто я, чтобы они пили за меня?.. Я не достоин быть прахом на башмаках этих ханум. Клянусь аллахом, клянусь прахом отца, если завтра вы не приедете ко мне в гости, я покончу с собой! Я хочу лично прислуживать вам, быть вашим слугой. Если завтра вы не будете у меня, я вот этим кинжалом проткну себе живот. Господин начальник, очень прошу тебя! Ханум, прошу тебя также! Я прошу и господина офицера, и Анну Ивановну! Я готов жизнь за тебя отдать, ханум! Господа, я всех вас прошу. Кто не приедет — тот не мужчина. Умоляю вас! А то убью себя! Да здравствуют все ханум! У-р-р-ра! У-р-р-ра!

И, выпив залпом, бек опрокинул стакан.

Закуривая сигару и обращаясь к жене пристава, начальник сказал:

— А что, если мы в самом деле завтра всей компанией поедem к Курбанали-беку?

Ханум переглянулась с мужем.

— Я поеду с большим удовольствием. Будет очень интересно. Кстати познакомлюсь с женой бека, посмотрю ее туалеты, — сказала она.

Офицер спросил у своей жены, поедет ли она. Та ответила, что поедет. Кто-то из гостей шутя заметил:

— Что же, можно поехать, если бек обещает угостить нас хорошим пловом.

Услышав о плове, Курбанали-бек вскочил.

— Плов? Вы хотите плов? — закричал он. — Клянусь прахом

отца, я угощу вас таким пловом, что пальчики оближете! Кто может потягаться в этом деле с моим поваром? Если не верите, спросите Кербелай-Касума. Где Кербелай-Касум? — И, повернувшись к дверям, Курбанали-бек стал громко звать, будто Кербелай-Касум стоял в ожидании его зова: — Кербелай-Касум! Кербелай-Касум!

Один из слуг пристава вошел и доложил, что Кербелай-Касума нет в доме. Курбанали-бек рассердился и приказал немедленно позвать «этого сына дурака». Слуга вышел. Курбанали-бек порывался сам пойти на поиски, но жена пристава удержала его, говоря, что не стоит беспокоиться и что слуга сам разыщет Кербелай-Касума.

Бек опять начал хвастаться:

— Держу пари, если кто скажет, что когда-нибудь ел такой плов, какой будет у меня, пусть плюнет мне в лицо!

Гости посмеялись.

— Бек, конечно, покажет нам и свою хваленую лошадь! — заметил начальник.

Курбанали-бек подошел к нему и, приложив в знак почтения руки к глазам, произнес:

— Слушаюсь и повинуюсь, господин начальник! Какая больше понравится — пешкеш тебе! Говорю прямо, без всякой лести и угодничества, честно говорю: какую облюбует, клянусь прахом отца, подарю тебе.

Слуга вернулся и доложил, что Кербелай-Касум спит. Бек вначале молча уставился на слугу, потом вдруг схватился за рукоятку кинжала и заорал:

— Поди скажи этому злодею, злодееву сыну, что, если он сейчас же не явится сюда, я проткну ему живот вот этим кинжалом!

Слуга ушел.

— Зачем будить беднягу? — заметила жена пристава. — На что он вам?

— Как на что, уважаемая ханум? — ответил бек. — Как он смеет засыпать так рано? Пусть придет и подтвердит, что никто не может соперничать с моим поваром в приготовлении плова.

Гости опять стали смеяться. Тараща распухшие от сна глаза, явился Кербелай-Касум.

— Кербелай-Касум, я зарезу тебя! — сказал ему бек, схватившись за рукоятку кинжала.

Гости рассмеялись, а Кербелай-Касум, сложив руки на груди, тихо спросил:

— За что, ага?

— Еще спрашиваешь, за что? — ответил сердито бек. — А ну послушай, что говорят эти господа! Я им сказал, что никто не может сварить плов лучше, чем наш Али, а они не верят.

Кербелай-Касум по-прежнему тихо ответил:

— Да, ага! Али хорошо готовит плов!

— Ну что, слышали? — торжествующе воскликнул Курбана-нали-бек, обращаясь к гостям. — Что скажете на это?

Гости закивали головами:

— Верно, верно. Верим!..

Кербелай-Касум ушел.

Через полчаса гости начали разъезжаться.

Отправился домой и Курбана-нали-бек в сопровождении Кербелай-Касума, который трусцой ехал за ним на кляче. Опустив голову, бек дремал в седле.

Порой он просыпался, придерживал коня и, обращаясь к Кербелай-Касуму, грозил:

— Я проткну тебе живот кинжалом!

А Кербелай-Касум больше отмалчивался и только изредка коротко отзывался:

— За что, ага?

Бек ничего не отвечал, а порой вскрикивал:

— Кто сумеет сготовить плов так, как Али?

Наконец, после двух часов пути, подъехали к селению бека. Несколько собак с лаем кинулись на Курбана-нали-бека. Конь бека метнулся в сторону, чуть не сбросив седока. У бека свалилась папаха, и Кербелай-Касум, спешившись, поднял ее и подал хозяину.

Курбана-нали-бек, выхватив кинжал, направил коня на собак, и те разбежались.

У ворот бекского дома всадники остановились. Кербелай-Касум поднял камень и стал стучать в ворота. На стук выбежал мужчина в большой мохнатой папахе и взял под уздцы коня Курбана-нали-бека. Бек замахнулся на него кинжалом, грозя:

— Али, я проткну тебе живот!

— Все в твоей власти, ага! — покорно отвечал тот.

Бек грузно слез с лошади, пересек двор и поднялся по лестнице.

Его встретила старая служанка.

— Почему так поздно, ага? Ханум очень беспокоилась!..

— Гюльпарі, я проткну тебе живот! — отвечал бек, показывая ей клинок.

Старуха молча посторонилась. Бек прошел в спальню. Жена спала одетая, уткнувшись головой в подушку. Подойдя к ней и подняв кинжал, бек пригрозил:

— Проткну тебя кинжалом!

Но та не проснулась. Тогда он швырнул кинжал в один угол, папаху — в другой и стал раздеваться, разбрасывая одежду и сапоги по комнате. Выпив воды, он лег в постель и скоро захрапел.

Встав рано утром и видя, что муж спит, жена Курбанали-бека бесшумно оделась и на цыпочках вышла из комнаты. Старуха служанка подметала двор. Кербелай-Касум перед конюшней просеивал ячмень для лошадей. Повар Али около кухни возился с самоваром. В углу двора копошились куры: вокруг них прыгали воробьи, хватая зерна, и при малейшем шуме срывались стаями и рассаживались на ветках тутового дерева.

Увидев хозяйку, служанка, держа веник, подошла и поклонилась.

Протирая глаза, хозяйка спросила, когда вернулся бек. Старуха ответила, что он вернулся очень поздно.

Хозяйка позвала Кербелай-Касума. Тот подбежал к ней и поклонился. Хозяйка спросила, почему они вернулись так поздно.

— Ужин затянулся,— ответил слуга,— потому и запоздали.

— А много было гостей у пристава?

— Да, госпожа, много!

— А кто именно?

— Откуда мне знать, ханум? Много было знатных гостей, много было и ханум. И начальник был. Много было гостей.

— Кербелай-Касум,— продолжала свои расспросы хозяйка,— женщины сидели вместе с мужчинами или отдельно?

— Вместе, госпожа, вместе сидели...

Услышав это, старуха в ужасе пробормотала:

— Спаси нас аллах!..

Усевшись на ступеньку лестницы, жена бека стала допытываться у Кербелай-Касума о подробностях вечеринки:

— Расскажи, пожалуйста, чем угощали гостей, что делал твой господин, с кем беседовал, о чем говорил? Пожалуйста, Кербелай-Касум, все расскажи подробно...

Кербелай-Касум вытер рот и нос полостью чухи и, услышав сердитое ржание из конюшни, обернулся и по привычке крикнул:

— Но!.. Н-о-о-о... Смотри у меня!..

— Да говори же, Кербелай-Касум,— торопила хозяйка.

— Что мне рассказывать, ханум? Много было гостей, и сам начальник был.

— А о чем разговаривали женщины с мужчинами? — не отставала хозяйка.

— Ханум,— отвечал Кербелай-Касум,— откуда мне знать, о чем они говорили? Я по-ихнему ведь не понимаю.

— Скажи правду, Кербелай-Касум, твой господин тоже разговаривал с русскими женщинами? — выпытывала жена бека.

Кербелай-Касум снова повернулся к конюшне и прикрикнул на лошадей, потом ответил ханум:

— Господин с женщинами говорил мало. Он больше с начальником разговаривал.

Повар Али принес самовар и поставил на верхнюю ступеньку лестницы. Служанка приставила веник к стене и, взяв самовар, внесла его в комнату.

— Ханум, что приготовить сегодня на обед? — спросил повар Али, подходя к хозяйке.

Хозяйка подозвала служанку:

— Курбанали-бек вчера ничего не заказывал на обед?

— Бек вернулся ночью такой сердитый, что хотел зарезать меня! — ответила подошедшая с чайником в руке старуха.

— Ну что ты болтаешь! — удивилась хозяйка. — С ума ты сошла, что ли?

— Клянусь аллахом, ханум, едва он вошел в комнату, как вынул кинжал и закричал: «Сейчас зарежу тебя!»

Ханум немного помолчала, потом обратилась к Кербелай-Касуму:

— Кербелай-Касум, почему господин был сердит?

— Он не был сердит, — ответил слуга, — просто в деревне на нас набросились собаки и испугали лошадей.

Жена бека встала:

— Кербелай-Касум, он опять был пьян?

— Нет, ханум, он не был пьян!

Жена бека тихо вошла в комнату и, убедившись, что Курбанали-бек спит крепко, вернулась на балкон и, передавая повару шестнадцать копеек, сказала:

— Купи два фунта мяса и свари бозбаш!*

— Повинуюсь! — сказал Али, взял деньги и с Кербелай-Касумом пошел на кухню.

Солнце поднялось высоко.

Был полдень. Расположившись на дворе под тутовым деревом, Кербелай-Касум кидал камни в птиц, клевавших тут, и, подбирая упавшие спелые ягоды, отправлял их в рот. К нему присоединилась и служанка.

Вскоре подошла хозяйка и, поглядев на ветки, полные спелых ягод, велела Кербелай-Касуму влезть на дерево, натрясти ягод. Служанка принесла из дому большое полотнище. Повар Али, давно закончив приготовление незамысловатого обеда, приблизился к ним.

— Держите полотнище на весу, а я влезу на дерево, — предложил он.

Жена бека, служанка и Кербелай-Касум развернули полотнище, Али взобрался на дерево, и тотчас градом посыпались крупные, спелые ягоды.

Покончив с нижней веткой, Али полез выше. С верхушки дерева местность была видна как на ладони. С одной стороны подымались Сапычские горы с селением Сапыч, которое было

ясно видно. Под селом белело озеро Ахмéd-хана. У озера виднелись мельница и лес Гаджй-Гейдара. Между селением Капазлы и мельницей полосками пестрели пашни, луга. Кое-где еще пахали.

Окинув взглядом окрестность, Али вдруг увидел возле мельницы Гаджи-Гейдара группу всадников, ехавших к селению. Не обращая на них внимания, он стал трясти ногой ветку, но, вглядевшись, заметил, что ехавшие не похожи на крестьян. Тогда, наклонившись, он крикнул:

— Кербелай-Касум, к нам в село едет множество всадников, но это не крестьяне.

Кербелай-Касум, хозяйка и служанка в недоумении переглянулись.

Кербелай-Касум, — сказала хозяйка, — поднимись на крышу кухни, посмотри, кто это едет.

Тот влез на низенькую стену, окружавшую двор, оттуда на крышу кухни и, затенив рукой глаза, стал внимательно смотреть на дорогу.

Два всадника рысью скакали к селу. Кроме них, никого не было видно. Но вскоре из-за ивняка показалась группа всадников. Пестрели шляпы дам, ярко сверкали на солнце пуговицы на кителях начальника и приставов.

Соскочив с крыши, Кербелай-Касум подбежал к хозяйке и взволнованно сказал:

Ханум, кажется, это вчерашние гости.

— Что им здесь надо? — спросила ханум, опустив конец полотнища на землю.

— Не знаю, ханум! — ответил, недоумевая, слуга.

В эту минуту на улице поднялся шум, слышались лай собак, беготня, конский топот. В ворота постучали.

Жена бека побежала в комнаты и, выглянув в окно, увидела, что улица перед домом запружена всадниками и все они русские чиновники да русские дамы.

Подойдя к воротам, Кербелай-Касум узнал вчерашних гостей пристава.

Жена бека быстро спустилась во двор, позвала Али и велела сказать приехавшим, что бека нет дома.

Али кинулся к воротам, а хозяйка побежала будить Курбанали-бека. Промывав что-то, бек повернулся на другой бок.

— Эй, муж, вчерашние гости приехали!

Курбанали-бек опять замычал. Потом, открыв глаза, послал жену к черту и снова закрыл глаза.

Но жена бека настойчиво продолжала будить мужа.

Наконец Курбанали-бек проснулся и, сев на постели, спросил:

— Ну, что случилось?

Жена сообщила, что приехали вчерашние гости пристава. Бек вскочил, подумал и заметался по комнате, крича:

— Пусть скажут, что меня нет дома!

Жена бека вышла, а бек, завернувшись с головой в простыню, побежал в конюшню и залез в кормушку.

Когда слуга доложил гостям, что хозяина дома нет, начальник очень удивился. Гости тоже стояли в недоумении. Крестьяне стали прогуливать лошадей.

— А куда же он уехал? — спросил начальник, закуривая папиросу.

— Не знаем! — отвечали слуги.

— Раз он должен был уехать, зачем было приглашать гостей? — воскликнул в досаде начальник, помолчав немного.

— Не знаем! — повторяли слуги.

Одна из дам попросила пить. Кербелай-Касум быстро сбегал в дом и принес в большой чаше воды.

Гости стояли в нерешительности, поглядывая друг на друга.

— Чего мы ждем? Едем обратно! — предложил кто-то.

И собирались было ехать, но начальник, вспомнив о лошадях, спросил слугу:

— А лошади бека в конюшне?

Кербелай-Касум ответил утвердительно. В это время одна из лошадей заржала из конюшни.

— Ну что ж, раз мы проделали такой путь, давайте хоть лошадей посмотрим! — предложил начальник.

Все согласились.

— Можно ли пройти в конюшню? — спросил начальник Кербелай-Касума.

— Пожалуйста! — пригласил слуга.

Начальник, оба пристава, ветеринарный врач, казачий офицер и еще две дамы вошли во двор и направились к конюшне.

При виде их жена Курбанали-бека бросилась в комнату, а гости вошли в конюшню.

Увидав ближайшую лошадь, начальник сказал:

— Ну, это вчерашний конь бека.

Пройдя в глубь конюшни, гости остановились перед рыжей лошадью.

— Вот эта и есть хваленая лошадь бека? — спросил начальник Кербелай-Касума.

— Так точно! — ответил слуга.

Гости стали разглядывать ее со всех сторон. Начальник подошел спереди, чтобы посмотреть ей зубы. Оказавшись у кормушки, он вздрогнул.

— Ах, черт возьми! — вскрикнул он и отскочил в сторону.

Странная фигура, завернутая в простыню, как в саван, белела в кормушке.

Схватив за руку пристава, начальник с опаской приблизился к кормушке и, внимательно всмотревшись, узнал Курбанали-бека.

Он засмеялся и, захлопав в ладоши, воскликнул:

— А-а, приятель, вот ты где!

Подойдя ближе, гости стали с любопытством разглядывать бека. Потом они отошли и остановились в стороне.

Курбана́ли-бек так и застыл на месте.

Гости вышли на улицу, сели на лошадей и уехали.

Л Е Д

Мне было лет четырнадцать или немного больше; захворала моя тетка. К ней пригласили врача Гаджи́-Мирза́-Сатта́ра. Я решил, что тетка больна не очень тяжело. И сделал я такой вывод вот почему.

В те времена, то есть лет сорок тому назад, в нашем городе практиковали два мусульманских врача: Гаджи-Мирза-Саттар и Мешади́-Нурмамед. Слыли они мусульманскими врачами не потому, что были мусульмане. Их называли так потому, что медицинское образование они получили в мусульманских странах: Гаджи-Мирза-Саттар получил образование в Тебри́зе, а Мешади-Нурмамед изучил медицину, не выезжая из нашего города. Он прочитал пару-другую старых лечебников и набил руку на практике.

Все врачевание их заключалось в том, что они щупали у больного пульс и назначали хину или слабительные пилюли, которые тут же извлекали из кармана.

Кроме них, в городе было еще два русских врача. Называли их русскими врачами потому, что они получили образование в России или в каком-нибудь европейском городе.

Обыватели были убеждены, что в медицинских науках русские врачи сильнее, чем мусульманские, и лучше умеют распознавать и лечить болезни. И потому их обычно приглашали к тяжело больным. Этой возможности, конечно, были лишены бедняки, которые не могли позволить себе роскошь платить сорок копеек за извозчика, рубль — врачу да еще полтинник за лекарство в аптеке. И как бы тяжело ни был болен неимущий человек, он обращался к Гаджи-Мирза-Саттару или Мешади-Нурмамеду, визит которых, считая и лекарства, обходился не дороже двадцати пяти — тридцати копеек.

Выходило так: если состоятельные люди приглашали к больному мусульманского врача, значит, болезнь не опасна. Если же вызывался русский, значит, больной в очень тяжелом состоянии.

Спустя полчаса после того, как Гаджи-Мирза-Саттар, осмотрев больную, ушел, к дому подъехал старый фаэтон, в котором сидели муж тетки Мешади́-Зюльфи́га́р и какой-то русский в шляпе. Это был доктор. Тогда я понял, что дела тетки плохи.

Стоя в сторонке, я наблюдал, как врач осматривал больную. Кончив свой осмотр, он что-то сказал дяде и пошел к поджидавшему его фаэтону. Дядя подозвал меня и, дав копейку, сказал:

— Беги живо на базар, купи льда и принеси матери! Только не задерживайся, милый, лед нужен сейчас же... Беги как можно быстрее!

Потом, что-то шепнув моей матери и взяв два пустых пузырька, сел в фаэтон против врача. Уже отъехав, он высунулся из фаэтона и крикнул нам:

— Смотрите не забудьте насчет льда!..

Фаэтон скрылся, мать скинула чадру и напустилась на меня:

— Ну чего ты стал? Сказано тебе, беги за льдом.

Оказалось, что русский врач велел положить больной на сердце лед и держать его до тех пор, пока она не почувствует облегчения.

Я отправился на базар.

— Эй, Муса! — крикнула вдогонку мать. — Ради аллаха, поторапливайся и нигде не задерживайся! Скорее принеси лед.

Говоря по совести, я не очень спешил, хотя и помнил, как тетка, взглянув на меня запавшими глазами, с усилием прошептала:

— Мой милый мальчик, сердце готово разорваться, поскорее принеси лед!..

Я зашагал по улице к базару.

Когда я проходил мимо ворот дома Гаджй-Байрама, во дворе залаяла собака. Вооружившись двумя увесистыми камнями, я благополучно миновал ворота. Собака не выскочила на улицу и продолжала лениво лаять во дворе; не показывался и Ширали. Перестав обращать внимание на собачий лай и вспомнив молящие глаза тетки, я почувствовал к ней жалость и ускорил шаги.

Придя на базар, я протянул продавцу льда Кербелай-Фараджу свою копейку.

Тот вытащил из накрытой листьями и соломой ямы большой кусок грязного льда, взвесил его на руке и, разломив на два куска, бросил один обратно в яму, а другой, завернув в капустный лист, протянул мне.

Кусок был фунтов в пять. Взяв его, я вышел из прохлады крытого бакалейного ряда на солнцепек. Был разгар лета. Стояла невыносимая жара. Если бы полуденное солнце чудом сорвалось с неба, оно упало бы как раз мне на голову. Я изнывал от зноя. С лица крупными каплями струился пот, лед в руках таял. Подняв чистый камень, я стал откалывать кусочки льда и глотать.

Снова подошел к воротам дома Гаджи-Байрама. Собака уже

не лаяла. Ширали по-прежнему не было видно. У ворот я остановился, зачем — и сам не знаю. Улица была пуста. По-видимому, все спасались от невыносимой жары в тени.

Привычка — упорная вещь. Всегда случалось так, что у этих ворот мне попадался пес или я встречал Ширали. Я кидал камни в собаку или ругался, а то и дрался с Ширали. А на этот раз я не знал, как быть. Недолго думая я поднял два тяжелых камня и, отойдя на несколько шагов от ворот поближе к своему дому, чтобы успеть в случае чего удрать, кинул камень в ворота дома Гаджи-Байрама и отбежал. Собака залаяла и нехотя вылезла из ворот, продолжая лаять лениво, точно по обязанности.

Я запустил в собаку второй камень.

Он пролетел над ней и с треском ударился в ворота. Пес как будто обозлился, кинулся к камню, потом повернулся, побежал за мной. Я пустился наутек. Обернувшись, я увидел Ширали, который бежал за собакой.

Не подумайте, что я хоть чуточку боялся их. Ничуть не бывало!.. Я знал, что собака стара и беззуба, а что касается Ширали, я мог без труда с ним справиться.

Положив на землю уже порядком растаявший лед и набрав камней, я стал швырять их в Ширали, который отвечал мне тем же. Собака бестолково бегала вокруг, бросаясь за камнями, которые кидал я, и не оказывала никакой помощи своему хозяину. Швыряясь камнями, мы громко переругивались, вспоминая и мать, и сестру, и всю родню.

Наконец я выругал Ширали такими обидными словами, что он расплакался и вне себя от злости повторил ругательство. В это время в воротах показался его отец, Гаджи-Байрам, услышавший его брань. Он подозвал Ширали, взял за ухо, отвел домой, потом, вернувшись, крикнул мне:

Ты чего, подлец, не идешь своей дорогой?

Ничего не отвечая, я присел на землю у стены. У меня так пересохло горло, что я готов был схватить лед и сунуть его в рот. А лед все продолжал таять. Наконец я не выдержал: отколол от него большой кусок, начал жадно сосать его.

Остался кусок не больше яблока. Я хотел опять положить его на землю, но тут вспомнил больную тетку, вскочил, чтобы бежать домой и донести хотя бы остаток льда. В это время из ворот вышел Ширали и стал смотреть на меня. Я отвернулся и зашагал домой. Но Ширали кинул мне вслед такое оскорбление, что я не стерпел и остановился, чтобы ответить ему. Он крикнул:

Ага, трусил, собака!..

Велик аллах! Какие обидные слова! Я не отозвался бы ни на какое другое обидное слово и донес бы злополучный кусок льда моей бедной тетке: все же я несколько побаивался мужа тетки, немного боялся матери и в известной степени жалел тетку... Но как было мне поступить? Ведь слова Ширали были слишком

оскорбительны! Он не должен был произносить их. Я обернулся и крикнул:

— Ах ты сукин сын! Не тебя ли бояться?

— Сам ты сукин сын и собачий сын!

Мы двинулись друг на друга. Я собирался положить лед на землю, но, разжав пальцы, обнаружил, что вместо льда у меня на ладони лишь несколько капель холодной воды. Стало быть, льда уже не было. Я и Ширали сближались, обмениваясь самыми замысловатыми ругательствами. Сойдясь вплотную, мы схватились врукопашную.

Стали царапать и тузить друг друга и вошли в такой азарт, что не заметили, как вокруг нас собралась толпа. Я очутился в объятиях какого-то старика. Женщина в чадре и двое парней тащили Ширали к воротам. Я силился вырваться из рук старика, чтобы снова вцепиться в противника, как вдруг сильный удар в спину заставил меня остановиться. Я оглянулся: то был мой дядя Мешади-Эюльфигар. Он занес кулак, чтобы вторично опустить его на мою спину, но я увернулся и бросился бежать домой. Мешади-Эюльфигар не стал меня догонять. Видимо, он отправился на базар. Позже я узнал, что он пошел за льдом.

Я не смел со стыда показаться на глаза тетке. Мать напустилась на меня, крича еще издали:

— Чтоб тебе сожгло нутро, как жжет у бедной больной!

Тетка очень любила меня и, оказывается, даже упрекала мать за эти резкие слова:

— Шахрабану, заклинаю тебя Хазрат-Аббасом, не проклинай мальчика, жалко его!

Через несколько дней тетка скончалась. Как и все племянники, у которых умирают тетки, в тот день я не очень плакал и не слишком горевал.

Но об одном я не мог забыть и, вероятно, никогда не забуду... о льде.

В знойное лето, когда при нашем климате жажда мучает не только больных, но и самых здоровых людей, я всегда вспоминаю про лед.

Когда я в томительную жару вижу, как везут на повозках прозрачные, холодные глыбы льда, мне вспоминается моя бедная тетка, и я говорю про себя:

«Каким счастливым достанется этот лед? Мороженое, холодный лимонад, замороженное шампанское,— кто-то будет ими наслаждаться? А моя бедная тетка за два дня до смерти, изнемогая от сжигающей ее лихорадки, не могла дожидаться даже маленького кусочка льда, чтобы облегчить страдания.

А по чьей вине? Увы, по моей! Или, может быть, виноват не я, а кто-то другой? Но кто он, этот другой?..

...Я не ищу ответа на эти вопросы и не выдвигаю никаких проблем детского воспитания...

Этих целей я не преследую.

Но в жаркие летние дни, видя нагруженные льдом повозки, я думаю о тех счастливых людях, жажду которых щедро утолит этот лед.

И вспоминаю то далекое время, когда я, четырнадцатилетний драчун, оставил без куска льда умирающую тетку.

Пока был мал, я не понимал этого.

А теперь эта история со льдом стала для меня самым горестным воспоминанием.



Сулейман Сани Ахундов

ЧЕРНУШКА

Жил на Кавказе в одном городе шорник по имени уста Зейна́л со своей женой Шарафни́сой. Когда-то они жили в Иране, но нищета и голод заставили их покинуть родину. А здесь мастер своим ремеслом кое-как кормил семью.

Была у уста Зейнала единственная дочка — шестилетняя Туту́, смуглая и некрасивая девочка. Когда она была совсем маленькая, мать, лаская, как-то назвала ее Чернушкой. Это прозвище так пристало к ней, что настоящее ее имя было забыто.

Чернушка была большая шалунья. Она не любила играть с подругами, предпочитая им мальчишек. Дети побаивались ее, и не даром: она была очень смелая и решительная и никто не мог устоять перед ее кулаками.

Часто мать жаловалась соседям на проказы дочки, но потом всегда с гордостью говорила:

— Моя Чернушка в воде не утонет и в огне не сгорит.

Чернушка была очень доброй девочкой и всегда защищала

маленьких и слабых. Она славилась своей щедростью — всем, что было у нее, делилась с товарищами.

В городе, где жил уста Зейнал, часто бывали землетрясения. Как-то зимою случилось такое сильное землетрясение, что разрушился почти весь город. Произошло оно в полночь, когда все спокойно спали, и потому многие остались погребенными под развалинами домов.

Наутро со всех окрестных сел пришли в город люди, чтобы помочь пострадавшим. С лопатами, кирками и ломами в руках откапывали они засыпанных. Отец искал сына, сын — мать, брат — сестру. Над городом стояли стоны, плач, жалобы.

Первым из-под развалин дома, где жила семья шорника, был извлечен труп Шарафнисы, а следом и самого уста Зейнала. Продолжая копать, люди добрались до какой-то щели, из которой вылезла маленькая девочка. Это была Чернушка.

Увидев мертвых отца и мать, она начала громко плакать, но люди были заняты поисками своих родных и близких, и никто не обращал на нее внимания.

Случилось так, что за два дня до этого близ города расположился цыганский табор. Одна из цыганок пожалела Чернушку и увела с собой. Она одела и накормила ее. Узнав, что Чернушка сирота и никаких родных в городе у нее нет, цыгане решили оставить ее у себя.

Женщина, которая привела Чернушку в табор, была молодая и красивая. Ей было не больше двадцати лет. Звали ее Ясемён. Все любили ее за добрый и веселый нрав. Зато ее мужа, Юсифа, неуживчивого, жестокого и злого цыгана, никто терпеть не мог.

Ясемен играла на бубне, пела и плясала по дворам, за что ее всегда щедро вознаграждали. Юсиф водил по деревням медведя, выделявавшего всевозможные забавные штуки, и тоже неплохо зарабатывал.

Когда Ясемен привела Чернушку в табор, Юсифа не было. С несколькими цыганами он еще на рассвете ушел вперед. Остальные тоже собирались в путь.

Ясемен очень боялась мужа и потому тревожилась, не зная, как он примет Чернушку.

Вскоре табор снялся с места.

Беспокойство Ясемен было не напрасно. Как только Юсиф услышал о Чернушке, он пришел в страшную ярость и заявил, что в первой же деревне, которая встретится им, оставит девочку.

Ясемен умоляла мужа пожалеть ребенка, но он и слушать ничего не хотел.

Чернушка была рада намерению Юсифа. С первого же взгляда она невзлюбила его. Да и что удивительного! Свирипое лицо, злые черные глаза навывкате наводили ужас даже на взрослых, что уж говорить о маленькой девочке?

Однако Ясемен, хорошо зная жадность своего мужа, стала

уговаривать его, что в будущем Чернушка может стать для них источником дохода.

— Знаешь, Юсиф,— вкрадчиво повторяла она,— я научу ее петь и плясать, наряжу ее в пестрое платье, и она будет выступать в городах и селах. Увидишь, будем иметь богатый барыш.

Эта мысль понравилась Юсифу, и он согласился оставить девочку в таборе.

Новая жизнь пришлась Чернушке по вкусу. Ей нравилось бродить по дорогам из села в село, из города в город, разбивать шатры на берегу быстрой речки или на опушке густого леса. Ей понравились вольные песни и сказки цыган.

Вначале она боялась медведя, но потом привыкла и даже подружилась с ним.

Ясемен научила Чернушку бить в бубен, петь и плясать. И когда, закончив свои номера, девочка обходила зрителей с бубном в худенькой ручке, он вмиг наполнялся медными и серебряными монетами.

Ясемен всем сердцем привязалась к сиротке. А Юсиф хотя и был доволен хорошим заработком, который приносили Чернушка и жена, но таков уж был у него характер, что он постоянно искал повод, чтобы обругать или поколотить их.

Но сколько ни бил Юсиф Чернушку, никак не мог сломить ее характер. Только Ясемен, всегда ласковую и добрую, она слушалась беспрекословно. Часто Юсиф жаловался жене:

— Даже этот громадный медведь боится моей палки, делает все, что я захочу, а с этой крошечной девчонкой я никак не могу сладить, она ни в грош меня не ставит.

— Это потому,— отвечала Ясемен,— что медведь животное, а она — человек. Животное можно приручить дубинкой, а к человеку нужен ласковый подход и доброе слово.

— Нет! — сердито обрывал ее Юсиф.— Не в том дело. Не будь тебя, я бы в два дня сделал ее шелковой.

После таких разговоров Юсиф жестоко избивал бедную девочку. Несколько раз она пыталась бежать от этого злого человека, но ей не удавалось.

Прошло два года. Чернушка славилась своим пением и пляской на всю округу. Теперь, когда Юсиф начинал мучить ее, Ясемен, желая припугнуть его, говорила:

— Зачем ты издеваешься над бедняжкой? Ведь она может сбежать от нас, и тогда мы лишимся тех денег, которые она приносит.

Эти слова всегда действовали на Юсифа отрезвляюще, и на некоторое время он оставлял девочку в покое.

Стояли жаркие июльские дни. Солнце палило нещадно. Люди, звери и птицы спасались от зноя в тени деревьев и прохладной

воде рек. Цыгане разбили свои шатры на берегу небольшой горной речки.

Был полдень. Юсиф, взяв медведя, ушел в ближайшую деревню. Ясемен развела на прибрежном песке костер и занялась стиркой. Чернушка купалась. Река с шумом катилась по крутому склону горы, но она была мелкая, и потому Чернушка была в безопасности.

Постирав, Ясемен развесила белье на ветках кустов и, собираясь мыть голову, начала расплетать свои длинные черные волосы, рассыпавшиеся густой волной по плечам. Она кликнула Чернушку, чтобы та помогла ей. Но девочка, стоя под водопадом, падавшим с высокой скалы, не слышала Ясемен. Подождав несколько минут, цыганка крикнула громче, но Чернушка опять не ответила. Тогда Ясемен, отбросив волосы на спину, стала искать ее глазами. До слуха ее донесся гул горной лавины, и она бросилась к реке.

Чернушка продолжала спокойно стоять под водопадом, а с горы с оглушительным ревом неся на нее бурный поток, таща с собой огромные валуны, вырванные с корнем кусты и песок.

— Беги, Чернушка! Скорей! Наводнение! — закричала Ясемен.

Услышав, наконец, крик Ясемен, Чернушка спокойно вышла из водопада, но не успела сделать и трех шагов, как громадная лавина настигла ее, сбила с ног и понесла. В тот же миг Ясемен бросилась в воду и поплыла к девочке. Та, подхваченная мутным потоком, на несколько мгновений скрылась под водой. Однако вскоре голова ее вновь показалась на поверхности. Ясемен отчаянно гребла, стараясь поскорее догнать ее. Наконец ей удалось это, и, схватив Чернушку за косы, она поплыла с ней к берегу.

На крики к реке сбежались цыгане. Вода все прибывала и прибывала, унося с собой Ясемен и Чернушку. Вдруг поток ударил их о камень, выступавший над бурными волнами, и вырвал Чернушку из рук Ясемен. Девочка каким-то чудом зацепилась за камень и повисла на нем, а Ясемен, вновь подхваченную потоком, понесло дальше.

Несколько цыган бросились в беснующуюся воду и вытащили Чернушку и Ясемен на берег. Обе были без сознания и распростерты, бледные, как смерть, лежали на земле. После долгих усилий удалось привести их в чувство. Голова Ясемен была разбита. Придя в сознание, добрая женщина слабым, еле слышным голосом, преодолевая ужасную боль, первым делом спросила о судьбе Чернушки.

Один цыган взял девочку на руки и поднес к ней.

— Смотри, Ясемен! — сказал он. — Вот Чернушка! Она жива, будь спокойна! Опасность не грозит ей, у нее лишь небольшие синяки и царапины.

— Слава богу, — проговорила Ясемен, ласково поглядела на

свою любимицу, потом глаза ее снова закрылись, и она впала в беспамятство.

Перевязав раны Ясемен, цыгане перенесли ее и Чернушку в шатер и уложили в постель.

К вечеру вернулся в табор Юсиф. Услышав о том, что случилось, он пришел в неистовую ярость.

— Так я и знал,— кричал он,— что эта девчонка принесет нам несчастье!

Цыгане старались успокоить его:

— Да ты не отчаивайся! Лучше выйдем отсюда, чтоб не шуметь. Им обоим необходим покой.

Ухаживать за больными осталась лишь Усния, задушевная подруга Ясемен.

Всю ночь Чернушка стонала от боли, только к утру она успокоилась и заснула. Ясемен билась в лихорадке. У нее был сильный жар. Верная Усния всю ночь просидела у ее постели, не смыкая глаз.

К утру жар у Ясемен сделался сильнее, она металась, точно птица, попавшая в силки. Глаза ее все время были закрыты.

Ночью прошел дождь. Утро выдалось прохладное и ясное. Вода в реке, накануне причинившая людям столько горя, вернулась в свои берега. Водопадик, в котором купалась вчера Чернушка, переливался под лучами восходящего солнца всеми цветами радуги.

Наконец Ясемен открыла глаза. Всегда румяные, ее щеки были теперь мертвенно бледны. Узнав Уснию, она прошептала сухими, запекшимися губами:

— Где Юсиф?

— Он тут, сестричка! Позвать его?

— Да, позови!.. Всех позови!.. Я умираю.

— Не бойся, сестричка, ты не умрешь! Сегодня во что бы то ни стало я приведу к тебе врача...

С этими словами она вышла из шатра. Через минуту Юсиф и другие цыгане окружили Ясемен. Они старались, как могли, подбодрить и утешить ее.

— Не надо, дорогие! — остановила их Ясемен. — Я умираю... Дай мне руку, Юсиф! Слушай мое последнее слово, мой завет... Обещай, что исполнишь его... — Она на минуту остановилась, потом продолжала: — Вот уже четыре года, как я твоя жена. За все это время я ничего не видела от тебя, кроме брани и побоев... Я сгубила свою молодость... Ты был моим мучителем, но я все прощаю тебе. Только обещай мне никогда не обижать Чернушку и обходиться с ней ласково...

Ясемен умолкла. В шатре воцарилась глубокая тишина.

— Я обещаю тебе это при всех наших товарищах! — хриплым голосом пробормотал Юсиф.

Лицо Ясемен просветлело.

— Сестра моя! — обратилась она к Уснии. — Я поручаю Чернушку тебе. Заботься о ней!.. Следи за ней... Ах, в глазах темнеет!.. Меня душит! Юсиф!.. Усния!.. Чернушка!..

Ясемен начала бредить. Вскоре она скончалась.

После смерти Ясемен Юсиф некоторое время сдерживал свое обещание, но скоро дурной характер взял верх. Усния, насколько это было в ее силах, защищала Чернушку. Но что могла она сделать, если Юсиф ежедневно уходил вместе с девочкой на заработки и возвращался только поздним вечером. По выражению лица и грустным глазам несчастной сиротки Усния догадывалась, что довелось ей вынести за день.

Вдобавок в последнее время Юсиф начал пить. Весь свой заработок он оставлял в трактире и возвращался в табор пьяным. Жизнь Чернушки стала невыносимой.

Однажды, когда Юсиф и Чернушка шли по дороге, навстречу им попала группа молодых всадников, ехавших в город на свадьбу. Увидев цыган, они попросили их показать свое искусство. Юсиф согласился. Чернушка начала петь и плясать. Это так понравилось всадникам, что, стараясь перещеголять друг друга в щедрости, они стали осыпать ее деньгами.

— Молодец, Чернушка! Да ниспошлет бог тебе долгую жизнь! — похвалили они девочку и поехали дальше.

Юсиф был очень доволен этой неожиданной встречей и, отобрав у Чернушки деньги, сказал ей:

— Ты посиди с медведем вон под тем кустом, отдохни немного. Я схожу в деревню за хлебом, а тебе принесу орешки и кишмиш.

Девочка хорошо знала, что он идет в деревню вовсе не за хлебом, а в трактир и вернется пьяным, но не посмела возразить.

Они сошли с дороги, Юсиф привязал медведя к ветке большого куста и ласково сказал Чернушке:

— Садись здесь, моя умница, я скоро вернусь.

Он ушел. Чернушка прилегла в тени и через некоторое время крепко уснула. Медведь сначала спокойно лежал возле нее. Потом ему надоело, он встал и начал дергать цепь. Слабая ветка не выдержала и сломалась. Почувствовав себя на свободе, медведь некоторое время побродил меж кустов, а потом медленно направился в лес.

Прошло часа два. Юсифа все не было. Чернушка не просыпалась.

Наконец явился Юсиф, пьяный, едва волоча ноги. Увидев, что девочка спит, а медведя нет, он с силой пнул ее ногой в бок.

— Где медведь, проклятая? — заревел он.

От страха у Чернушки отнялся язык, и она слова не могла вымолвить.

— Подожди, дай только найти медведя, тогда увидишь, что я с тобой сделаю.

Осмотрев кусты, Юсиф заметил, что ветка, к которой он привязал зверя, сломана. Тогда он понял, что медведь не украден, а сам ушел в лес.

— Ступай вперед! — крикнул он Чернушке. — Живей, живей! Пойдем в лес искать его.

Дрожа всем телом, Чернушка встала и пошла к лесу. Юсиф ковылял за ней, осыпая ее бранью.

Они обошли почти весь лес, не найдя никаких следов медведя, как вдруг Чернушка услышала рев.

— Дядя, дядя! Это медведь ревет!

— Врешь! Ничего не слышу!

— Да ты послушай, вот опять...

На этот раз Юсиф тоже услышал рев.

— Правда! Это медведь!..

Оба направились в ту сторону, откуда слышался рев.

Наконец они нашли медведя. Зацепившись ошейником за сухую ветку, он метался из стороны в сторону и отчаянно ревел. Цепь обмоталась вокруг дерева, и он никак не мог освободиться.

Пьяный Юсиф бросился к медведю и со злости стал избивать его палкой. Зверь метался во все стороны и ревел как безумный. Вдруг неожиданным рывком ему удалось освободиться от ошейника, он бросился на Юсифа и, подмяв его под себя, мгновенно растерзал в клочья.

Увидев это, Чернушка бросилась бежать сломя голову. Обезумев от страха, она не разбирала дороги и вдруг очутилась в самой чаще леса.

Расправившись с хозяином, разъяренный зверь бросился за девочкой. Расстояние, разделявшее их, все сокращалось. Вдруг перед Чернушкой возник глубокий овраг; в страхе она начала спускаться вниз. В этот момент медведь настиг ее, но, не сумев удержаться на крутом спуске, кубарем покатился на дно.

Оглядевшись, Чернушка заметила черневший в отвесном склоне оврага вход в пещеру. Он был достаточно широк, чтобы девочка могла влезть в него. Не раздумывая ни секунды, она юркнула туда.

Докатившись до самого дна, медведь вскочил на все четыре лапы и быстро полез вверх по склону.

Известно, что у медведей задние лапы короче передних, поэтому им трудно спускаться с горы и гораздо легче подниматься вверх.

Добравшись до пещеры, он сунулся в нее. Однако ход ее делался все уже, и косматый никак не мог протиснуться вперед. Ворча и облизываясь, он уселся у входа и стал выжидать.

Чернушка заползла в самую глубь пещеры и, охваченная ужасом, лежала без движения. Но страх ее был напрасен. Гнев медведя уже остыл, и теперь он был бы даже рад ей.

Более двух часов пролежала Чернушка, сжавшись в комок. Бедная девочка от страха забилась в такую узкую щель, что даже шевельнуться не могла. От недостатка свежего воздуха и смертельного ужаса перед медведем у нее стучало в висках, ей казалось, что вот-вот она потеряет сознание.

А медведь спал, громко сопя. Вдруг он проснулся и стал ворчать, сначала тихо, а потом все громче и громче. До слуха Чернушки донесся лай собак.

Вскоре целая свора сгрудилась у входа в пещеру. Через несколько минут подскакали охотники. Услышав рычание медведя, они приготовили ружья и стали науськивать собак.

Несколько псов, набравшись храбрости, сунулись было к медведю, но через минуту с визгом отскочили. Некоторые из них обливались кровью.

Охотники продолжали науськивать их. Осмелев, собаки опять кинулись к пещере. Наконец вышел медведь.

В это время раздались один за другим три выстрела, и бедный зверь, точно дуб, сломанный бурей, повалился наземь.

— Это моя пуля его уложила! — воскликнул один охотник.

— Ошибаетесь, Гусейнкули-ага. Это я его прикончил, — возразил другой.

— Прошу прощения, Салим-бек! Я целился ему прямо в голову, и, конечно, он погиб от моей пули, — вмешался третий.

— Погодите одну минутку, — сказал Гусейнкули-ага. — Сейчас мы все узнаем!

Он слез с коня и с помощью слуг стал оглядывать медвежью тушу.

— Не спорьте, друзья! Все мы попали в цель! — сказал он и приказал слугам: — Снимите шкуру... Разве я не говорил тебе, Рагим-бек, — продолжал он, обращаясь к третьему охотнику, — что с этой охоты я не вернусь без медведя? А ты еще хвастался своим лесом и говорил, что у меня в лесу даже зайцы не водятся! Ну, как? Что теперь скажешь?

— Я остаюсь при своем мнении, — лукаво улыбаясь, ответил Рагим-бек, внимательно оглядев медведя. — Этот зверь не из твоего леса, он ручной.

— Быть этого не может! С чего ты взял?

— Сам погляди! Вот след ошейника. Видишь, шерсть потерялась. Прав я, Салим-бек? — обратился он за подтверждением ко второму охотнику.

Салим-бек, осмотрев шею медведя, согласился с Рагим-беком, и они стали громко смеяться. Гусейнкули-ага с большой неохотой вынужден был признать их правоту.

В это время черный дворовый пес, увязавшийся от самого дома Гусейнкули-ага за охотничьими собаками, полез в пещеру. За ним устремились и другие собаки. Изнутри донесся их громкий лай.

— Стойте! — закричал Гусейнкули-ага. — В пещере спрятался еще один медведь!

Беки вскинули ружья и в ожидании стали полукольцом у входа. Из пещеры показался черный пес, волочивший Чернушку, ухватив ее зубами за платье. У самого выхода он бросил ее и, ворча, отошел в сторону. Девочка лежала без движения. Охотники склонились над ней. Чернушка медленно открыла глаза.

— Кто ты? — спросил ее Гусейнкули-ага. — Что ты делала в этой пещере?

Чернушка не отвечала.

— Разве ты не видишь, что девчонка еще не очнулась? — сказал Рагим-бек. — И чего ты спрашиваешь ее? По лицу и одежде и так видно, что это цыганка. И медведь, убитый нами, — ручной цыганский медведь. Для меня неясно только одно: где его хозяин?

— Да ведь я знаю эту девочку! — воскликнул вдруг Салим-бек. — Это знаменитая плясунья Чернушка. Она бродит по селам с цыганом Юсифом. Месяца три тому назад я предложил ему много денег, чтобы он уступил ее мне, но он не согласился. Очень кстати она попала мне в руки. Клянусь жизнью, теперь я каждый день буду устраивать вечеринки, и вы будете наслаждаться ее пением и пляской.

— По-твоему, я не могу устраивать гуляния и доставлять вам удовольствие? — горячо возразил Гусейнкули-ага. — Ведь по праву девочка принадлежит мне, ее нашел и вытащил из пещеры мой пес.

Разгорелся спор, кому должна достаться Чернушка.

— К чему спорить, Гусейнкули-ага? — уговаривал своего друга Салим-бек. — Ты же хорошо знаешь, что твоя жена Периджахан-ханум не впустит в свой дом цыганку.

— Что значит не впустит? Кто хозяин в моем доме: я или она? В конце концов, я могу поручить девочку садовнику Пирі.

На этом и порешили. Гусейнкули-ага отдал Чернушку своим слугам, и охота продолжалась. Целых четыре часа беки рыскали по лесу в поисках дичи, но подстрелили лишь одну лису и трех зайцев.

Придя в себя, Чернушка рассказала охотникам о своих злоключениях. Узнав о том, что у нее нет ни отца ни матери, Гусейнкули-ага с удовлетворением воскликнул:

— Вот и хорошо! Значит, никто не посмеет отнять ее у меня.

К вечеру Гусейнкули-ага со своими друзьями вернулся с охоты домой. Лай собак, ржание коней, крики слуг и конюхов, голоса охотников — все слилось в радостный гул.

На шум во двор без разрешения гувернантки выбежала дочка Гусейнкули-ага Агджа-ханум, маленькая белокурая и белолицая

девочка. Заметив стоявшую в стороне Чернушку, она подошла к ней. Несколько минут они молча разглядывали друг друга.

Как не похожи были они! У одной родители богатые дворяне, другая — сирота. Одна — беспомощная неженка, другая — сильная и здоровая, крепкая, как сталь. Много перевидала она на своем коротком веку и, несмотря ни на что, сохранила гордый и независимый характер.

Агджа-ханум протянула Чернушке свою тоненькую ручку с хрупкими пальчиками, и та крепко сжала ее огрубевшей и сильной ладонью. От этого пожатия Агджа-ханум слегка вскрикнула, но тут же рассмеялась.

Через минуту между девочками завязался оживленный разговор.

В это время Гусейнкули-ага, забыв о существовании Чернушки, развлекал своих гостей.

Периджахан-ханум, увидев, что дочь ее оживленно болтает с какой-то незнакомой черномазой девчонкой, позвала гувернантку и сердито накинулась на нее:

— Вы забываете о своих обязанностях, сударыня! Посмотрите, с кем беседует ваша воспитанница! Немедленно уведите ее в детскую и оставьте без ужина.

Гувернантка взяла плачущую Агджу-ханум за руку и увела в дом, а Периджахан-ханум подозвала Чернушку.

Иди за мной, цыганка! — сказала она и повела ее прямо к Гусейнкули-ага.

Где ты нашел эту принцессу? — насмешливо обратилась она к мужу. — Твоя дочь уже успела с ней подружиться, и я застала их за приятной беседой.

Гусейнкули-ага рассказал жене, как они нашли Чернушку, и добавил:

Пожалей нашу дочку, Периджахан. Ведь она изнывает в одиночестве, без подруг. Пусть играет с этой девочкой. Может, она хоть немного окрепнет и поздоровеет. Это не цыганка, да если бы даже было так, что в этом дурного? Ведь гувернантка всегда будет при них. Если она заметит что-нибудь нехорошее, тут же скажет нам.

Но слова эти нисколько не подействовали на Периджахан-ханум.

Мы с тобой уже договорились, что ты не будешь вмешиваться в воспитание дочери. Почему же теперь ты нарушаешь свое слово? Пусть эта девчонка сейчас же убирается отсюда. Больше ничего и слушать не желаю.

— Нет! — вскипел Гусейнкули-ага. — Она останется здесь.

А я говорю, чтобы сию же минуту ее здесь не было. Или я, или она.

Периджахан-ханум была в страшном гневе.

Тогда отдайте ее мне! — вмешался в разговор Салим-бек,

желая воспользоваться ссорой между супругами и заполучить Чернушку.

— Нет! — твердо ответил Гусейнкули-ага. — Как я сказал, так и будет. Чернушка будет жить у старого садовника Пири.

— Это пожалуйста, — сказала Периджахан-ханум примирительно. — Но только с условием, чтобы она не встречалась с Агджой...

В этот же вечер Чернушка была отдана на попечение дедушки Пири.

Дедушка Пири жил в хижине, построенной в огромном плодовом саду. Ему было семьдесят лет. Родных у него не было. Он работал садовником еще у отца Гусейнкули-ага. Все свое время он проводил в саду и на барском дворе бывал очень редко.

Все слуги боялись своего господина, только дедушка Пири держался независимо и часто заступался за других слуг и защищал их от барского гнева. Поэтому все дворовые искренне любили и уважали старика.

Садовник очень обрадовался девочке. Он постелил ей в углу своей бедной хижины, накормил, напоил и уложил спать, но она долго не могла уснуть.

— Дедушка, — сказала она, приподняв голову с подушки, — почему барыня не разрешает своей дочке играть со мной?

— Они беки, детка, а мы простые люди, — сказал дедушка Пири. — Они господа, а мы слуги. Мы не можем дружить с ними. Ты забудь об Агдже-ханум, дитя мое. Она тебе не подруга.

Объяснения старика не успокоили Чернушку. «Что плохого сделала я Агдже-ханум? За что рассердилась на меня ее мать? — думала она. — И ее без ужина оставили. Теперь бедняжка голодна. Я помню, мама иногда не давала обеда, если я была виновата в чем-нибудь. А ведь эта девочка ни в чем не провинилась, не шалила...»

С этими мыслями Чернушка заснула.

Такие же думы тревожили и Агджу-ханум. Она не понимала, за что рассердилась мать.

«Ну почему, почему нельзя мне разговаривать с этой девочкой? — в сотый раз спрашивала она себя. — Что с того, что я дочь бека? За что оставили меня без ужина? А как интересно рассказывала Чернушка! Она говорила, что научит меня играть на бубне и танцевать. Ах, зачем мама не дала мне подольше побыть с ней?..»

Агджа-ханум натянула одеяло на голову и тихо заплакала. Так, всхлипывая, она и заснула.

С детства дедушка Пири привык вставать еще до восхода солнца.

И сегодня он проснулся на рассвете, разжег огонь в очаге, по-

ставил на него такой же старый, как и он сам, почерневший от дыма чайник и вышел в сад.

Старый садовник очень любил этот сад. Большинство деревьев было посажено его руками.

Сад Гусейнкули-ага прославился на всю округу, и помещик очень гордился им.

Для охраны сада у дедушки Пири был один верный помощник, тот самый черный пес, который вытащил Чернушку из пещеры. Воры хорошо знали его тонкий нюх и острые зубы и потому не решались даже близко подходить к садовой ограде.

У этого дворового пса была удивительная особенность: он безошибочно распознавал врагов дедушки Пири и ни на шаг не подпускал их к своему хозяину. Если, знакомясь с человеком, дедушка Пири замечал, что черный пес добродушно виляет хвостом, он знал, что найдет в новом знакомом верного друга; если же пес скалил зубы и ворчал, это значило: не жди добра от этого человека.

Дедушка Пири никогда не привязывал пса, и тот днем и ночью бегал на свободе, но никогда не уходил за ограду сада. Только в те дни, когда Гусейнкули-ага выезжал на охоту, он присоединялся к охотничьим собакам, и тогда никакими силами нельзя было заставить его вернуться домой.

Выйдя из избушки, дедушка Пири оставил дверь открытой. Пес вошел в комнату и сразу почуял присутствие чужого человека. Навострив уши и грозно оскалясь, он кинулся в угол, но, узнав Чернушку, дружелюбно завилял хвостом и стал лизать ей руку. Девочка открыла глаза и, спросонья не узнав пса, испуганно вскрикнула.

На ее возглас прибежал дедушка Пири:

Что с тобой, детка? Чего ты испугалась?

Здесь медведь!

— Нет, родная, это наш черный пес! Откуда тут взяться медведю! — сказал дедушка Пири, прогоняя пса. — Спи, дорогая, еще рано...

— Нет, дедушка, я не хочу больше спать. Я всегда встаю на рассвете.

— Это очень хорошо, для здоровья полезно.

Чернушка быстро оделась и спросила дедушку Пири, где можно умыться.

— Вон там, у ручейка, — сказал старик.

Чернушка пошла умываться, а дедушка Пири постелил на пол цветную скатерть, расставил на ней тарелки с сыром и хлебом, чашечку с маслом. Когда девочка вошла с мокрыми после умывания лицом и руками, старик дал ей полотенце и стал разливать чай. Чернушка под села к скатерти, и они стали мирно завтракать.

После чая дедушка Пири сказал Чернушке:

Теперь пойдем в сад, пока не жарко, соберем фрукты для господ.

Он взял большую корзину, дал Чернушке корзинку поменьше, и они в сопровождении черного пса вышли.

Собака весело бежала рядом с девочкой, бойко махая хвостом.

Чернушка, ласково погладив пса по голове, повесила ему на шею свою корзинку. В тот же момент пес сбросил ее, Чернушка подняла корзинку и снова повесила ему на шею, но он опять сбросил.

— Не трудись зря, детка! — сказал дедушка Пири. — Он привык к вольной жизни, и невозможно заставить его носить что-нибудь.

— Нет, дедушка, ты увидишь, как я научу его!

С этими словами она опустилась на корточки, провела рукой по голове пса и, глядя ему прямо в глаза, сказала ласково и внушительно:

— Черный мой песик, умный песик, понеси корзинку.

И она снова повесила корзинку ему на шею. На этот раз он покорно нес и шел рядом со своей маленькой приятельницей, умильно поглядывая на нее.

— Bravo, пес! — радостно воскликнула девочка, повернувшись к старику. — Видел, дедушка?

— Да, детка, и очень удивлен. До сих пор он никого не слушался, кроме меня. А теперь даже корзинку несет.

— Это еще что! — весело заговорила Чернушка. — Посмотришь, каким еще фокусам я научу его! Когда я жила среди цыган, я видела, как они обучают медведей, обезьян и других зверей. Только надо быть с ними ласковыми, дедушка. Вот дядя Юсиф побил медведя, и тот разорвал его.

Дедушка Пири немного знал о Чернушке. Но сейчас он попросил ее подробно рассказать о своей жизни. Грустная повесть бедной сиротки растрогала старика, и он еще больше любил ее.

Утренний воздух, напоенный ароматом цветов и созревших фруктов, пение птиц бодрили старика. Никто не поверил бы, что он живет на свете восьмой десяток лет.

Садовник и его маленькая питомица подошли к яблоням. При виде душистых, румяных плодов у Чернушки засверкали глаза.

— Какие они красивые, дедушка!

— Да, детка! У нас в саду много прекрасных фруктов. Я разрешаю тебе есть сколько угодно. Только натошак никогда не надо есть, не то заболеешь. А теперь полезай на дерево, срывай спелые яблоки, а я буду укладывать их в корзину.

Чернушка быстро вскарабкалась вверх и стала рвать яблоки. Она ловко кидала их вниз, но и себя не забывала.

Ну, довольно! — сказал дедушка Пири. — Пойдем за грушами, виноградом и персиками.

Девочка спустилась с дерева. Уложив яблоки в корзинку, она опять повесила ее на шею псу.

Вдруг черный пес, скинув корзинку, бросился в сторону. Чернушка посмотрела ему вслед и увидела маленького котенка, за которым погналась собака. Чернушка побежала за псом и стала звать его. Но он не слушался. Напрасны были и крики дедушки Пири. Пес почти настиг котенка, когда тот быстро вскарабкался на грушу.

Чернушка, довольная, рассмеялась и стала хлопать в ладоши.

— Ну что, черный пес? Не поймал? — весело кричала она.

А черный пес не отходил от дерева и громко лаял, словно желал нагнать этим страх на котенка и заставить его спуститься вниз.

Котенок забрался так высоко, что его никак нельзя было достать. Он не спускал глаз со своего свирепого врага и дрожал всем телом.

Чернушка полезла на дерево. Заметив ее, котенок поднялся еще выше, но девочка все-таки добралась до него. Это был красивый котенок, серый, в темных пятнышках.

Старик Пири, собрав рассыпавшиеся яблоки в корзину, подошел к грушевому дереву. Пес немного успокоился, но все еще, виляя хвостом, свирепо поглядывал на верхушку.

— Какой красивый котенок, дедушка! — закричала Чернушка. — Прямо прелесть! Я возьму его домой. Можно?

— Ладно, родная, бери. А теперь нарви груш и пойдем дальше.

Чернушка сбросила вниз несколько десятков груш, спустилась с дерева и, крепко прижимая котенка к груди, пошла дальше.

Пес сначала ворчал, но потом успокоился и даже подружился с котенком.

Наполнив корзины фруктами, дедушка Пири сказал Чернушке:

— Теперь надо отнести это господам. Ты поможешь мне донести до калитки, а дальше я понесу сам.

— Почему дедушка? Разве мне нельзя ходить на господский двор?

— Нет, дорогая, нельзя. Зачем сердить Периджахан-ханум? Она подумает, что мы не подчиняемся ее приказанию.

Проводив дедушку Пири до калитки, Чернушка взяла котенка на руки и стала разгуливать по саду. Идя вдоль забора, она вдруг заметила сквозь щель Агджу-ханум, которая, сидя с гувернанткой на скамье, читала какую-то книгу. Видно было, что ей совсем не хочется читать и книжка не интересует ее.

В это время на спинку скамьи села красивая пестренькая бабочка. Агджа-ханум хотела тайком от гувернантки поймать ее,

но та улетела. Заметив это, гувернантка сильно рассердилась на свою воспитанницу и, раздраженно схватив ее за руку, увела домой.

Чернушка все это видела и решила немного подождать, не вернется ли Агджа-ханум снова в сад. Но через некоторое время воспитательница вернулась одна, села на ту же скамью и углубилась в книжку.

Чернушка поняла, что Агджу-ханум наказали и заперли. Добрая девочка от души пожалела свою маленькую подружку и почувствовала неприязнь к злой гувернантке.

Господа жили в большом двухэтажном доме, к которому примыкал старинный флигелек, сооруженный еще во времена деда Гусейнкули-ага. Он состоял из трех небольших комнат. Маленькие окна с крошечными разноцветными стеклами выходили в сад. Здесь никто не жил. В двух из них хранилось имущество, оставшееся от родителей бека. Они были всегда на замке. В третьей комнате, которую все называли комнатой деда, Гусейнкули-ага обычно отдыхал после обеда. Здесь было чисто, на стенах висели старинные доспехи и оружие. В комнате было всего одно небольшое оконце, рама которого, в отличие от обыкновенных окон, поднималась вверх. Маленькие разноцветные стекла почти не пропускали света, и здесь всегда был полумрак. Сюда и запирали Агджу-ханум за ее провинности.

Идя вдоль забора, Чернушка почти вплотную подошла к господскому дому. Необычайное по форме окно с разноцветными — синими, зелеными, красными и желтыми — стеклами привлекло ее внимание. Но ограда была слишком высока, и Чернушка видела только верхнюю часть этого странного окна. Чтобы лучше разглядеть его, она взобралась на дерево.

Запертая в комнате маленькая барышня заметила Чернушку. Она постучала пальчиком по стеклу, но оно, расшатавшись от времени, вдруг вылетело из старой полусгнившей рамы и со звоном разбилось о камень.

Обе девочки не на шутку испугались. Чернушка спряталась в густых ветвях, а Агджа-ханум отбежала в глубь комнаты. Подождав несколько минут и оправившись от страха, она снова подошла к окну и шепотом позвала Чернушку. Та выглянула из своего укрытия и тихонько спросила:

— Агджа-ханум, это твоя учительница наказала тебя?

— Да, а ты откуда знаешь?

— Я смотрела из-за забора и видела, как ты читала книжку, а потом хотела поймать бабочку, но учительница рассердилась и увела тебя.

— Да, да... Когда меня наказывают, мать и моя гувернантка Марья Ивановна запирают меня здесь. Ах, какая ты счастливая!..

За тобой никто не следит, и ты свободно гуляешь, где тебе хочется, а не сидишь взаперти.

Но ведь с тобой это не часто случается? Ты тоже иногда гуляешь, как я.

Нет! Мне ни с кем не разрешают играть, и во время прогулок Марья Ивановна всегда сопровождает меня. А я совсем не люблю гулять с ней.

Да! со вздохом сказала Чернушка.— Тебе не разрешают играть со мной.

— А что это у тебя? — вдруг спросила Агджа-ханум.

Чернушка показала ей котенка.

— Я его поймала утром в саду! — весело сказала она, поднимая его высоко над головой.

— Ай, какой красивый! — обрадовалась маленькая барышня и тут же грустно вздохнула.

— Хочешь, я подарю его тебе?

— Очень хочу! Дай мне его вот через эту дырку!

— Мне не достать до нее, а в калитку меня не пустят.

— Тогда, может быть, ты перелезешь через забор?

— Ладно, попробую!

С этими словами Чернушка ловко спустилась с дерева и стала искать удобное место, чтобы перебраться на другую сторону. Вдруг она заметила высохшую канавку под самой изгородью. С трудом пролезла она в узкое отверстие и вышла на задний двор бекского дома. Пригибаясь к земле, чтобы ее не увидели, она пробежала по пустому дворику и остановилась у окошка, где ее с нетерпением ожидала маленькая барышня.

— Как ты пролезла? — с горящими от любопытства глазами спросила Агджа-ханум.

— Через канавку под забором, — ответила Чернушка и протянула ей котенка: — Погляди только, какой чудесный!

Агджа-ханум осторожно взяла котенка и прижала к груди. Чернушка приподнялась на цыпочки и заглянула в комнату.

— Как тут красиво! — воскликнула она восторженно. — И сколько оружия!..

— А я не люблю эту комнату и боюсь ее. Если бы я могла открыть окно, ты влезла бы сюда, и мы бы тут поболтали немного. Только я никак не могу его открыть: оно поднимается вверх, а у меня сил не хватает. Ну-ка, погоди! — вдруг остановилась она и добавила, сверкнув глазами: — Я посмотрю, заперто ли здесь.

С этими словами Агджа-ханум подбежала к двери и дернула ее за ручку. Дверь легко отворилась.

— Вот хорошо! — воскликнула она. — Иди скорее сюда.

Озираясь по сторонам, Чернушка быстро юркнула в комнату. Девочки радостно обнялись, сели на диван и начали весело болтать.

...Книга, которую читала гувернантка, была очень интересной. Зачитавшись, Марья Ивановна забыла, что наказанная ею барышня вместо часа сидит взаперти уже более двух часов.

Агджа-ханум была очень рада этому. Она часто подходила к двери и выглядывала во двор, чтобы кто-нибудь не застал ее врасплох.

И вот, выглянув опять за дверь, она вдруг увидела перед собой мать. Проходя мимо и заметив, что дверь в комнату деда открыта, Периджахан-ханум подумала, что там отдыхает Гусейн-кули-ага, и решила войти. Бедная девочка растерялась и не знала, как быть, что сказать. Плача, она забормотала:

— Мама, не входи сюда! Не входи!

Периджахан-ханум ничего не могла понять. В этот момент подошла Марья Ивановна и рассказала, за что была наказана Агджа-ханум.

Все трое вошли в комнату.

— Не из-за этого ли ты так испугалась? — спросила Периджахан-ханум, увидев котенка. — Ай, какой красивый! Я разрешаю тебе оставить его...

Не видя Чернушки, Агджа-ханум успокоилась. Взяв котенка на руки, она вышла из комнаты. Мать и гувернантка последовали за ней. Заперев дверь снаружи на крючок, они пошли обедать.

Чернушка осталась одна. Когда шаги отдалились, она вылезла из-под дивана, куда забралась, услышав голоса, и хотела поскорее уйти. Увидев, что дверь заперта, девочка приуныла. Она попыталась открыть окно, но это ей никак не удавалось: оно было укреплено с боков двумя задвижками, которых девочка не заметила.

В отчаянии опустила она на диван. Если раскроется их тайна, Периджахан-ханум совсем прогонит ее отсюда и сильно накажет Агджу-ханум! А этого больше всего боялась Чернушка.

Отдохнув немного, она снова попробовала приподнять окошко и вдруг увидела задвижки. Обрадованная, она отодвинула их и, напрягая все свои силенки, стала поднимать окно вверх. Оно было тяжелое, но Чернушка, привыкшая к труду, справилась с ним. Она укрепила задвижки и вылезла во двор. Потом открыла дверь, вошла в комнату, опустила окно и снова вышла, заперев снаружи дверь на крючок. В сад она пробралась тем же путем, как пришла сюда, и побежала к дедушке Пири.

Агджа-ханум очень беспокоилась о Чернушке. Она не могла есть и даже нарочно пролила на скатерть суп, чтобы ее наказали и отослали в комнату деда, но эта хитрость ее, как назло, не достигла цели. Заметив необычайную бледность дочери, обеспокоенная Периджахан-ханум стала утешать ее:

— Ничего, деточка! Ты же не нарочно пролила! Может, тебе нездоровится? — И она приложила руку ко лбу девочки. —

Да у тебя и в самом деле жар! Съешь суп и ложись в постель, ты сегодня никуда не выйдешь.

Эти слова совсем расстроили Агджу-ханум.

— Да нет, мамочка! — умоляюще сказала она. — У меня ничего не болит! Не хочу я лежать!

В разговор вмешался Гусейнкули-ага.

— Теперь ты совершенно здорового ребенка объявишь больным! — недовольным тоном сказал он жене.

— Я тебя не раз просила не вмешиваться в воспитание дочери.

— Почему? Разве я не отец?

— Ты отец, но ничего не понимаешь в воспитании. От тебя девочка не научится ничему хорошему.

Слова эти, сказанные при дочери и гувернантке, взбесили Гусейнкули-ага. Он вскочил и с такой силой ударил кулаком по столу, что задребезжала посуда.

— Молчать! — заорал он. — Я покажу тебе, кто хозяин в этом доме!

Отшвырнув стоявшую перед ним тарелку, он в сильном гневе вышел из столовой.

— Ну и убирайся вон, пьяный солдат! — крикнула ему вслед Периджахан-ханум.

Перепуганная девочка громко заплакала.

— Отведите ребенка в спальню, — приказала хозяйка гувернантке, — и уложите в постель. Потом одевайтесь, поедem в город за покупками.

Когда коляска укатила со двора, Агджа-ханум выглянула в окно, откуда видна была железнодорожная станция, находившаяся в имении Гусейнкули-ага. Иногда девочка вместе с гувернанткой ходила туда гулять.

«Мама, наверное, вернется только к вечеру, — подумала Агджа-ханум. — Надо освободить Чернушку».

Она быстро оделась и побежала в комнату деда. К ее удивлению, дверь не была заперта. Осторожно толкнув ее, она увидела отца, который, лежа на диване, курил сигару. Больше в комнате никого не было. Агджа-ханум не знала, радоваться ей или нет.

Отец заметил ее.

— Что, дочка, бежала из-под ареста? Молодец, хорошо сделала! Не слушай свою сумасшедшую мать! Подойди ко мне, поболтаем...

Агджа-ханум бросилась в объятия отца. Потом она незаметно заглянула под диван. Не найдя Чернушки и там, девочка совсем растерялась.

— Что ты так рассеянна? — спросил Гусейнкули-ага. — Расскажи-ка что-нибудь!

— Папа, а ты давно здесь?

— После обеда, дочка.

— А дверь была открыта, когда ты пришел?

— Нет, на крючке.

— А кто был здесь?

— Вот этот котенок! — И Гусейнкули-ага указал на пушистого зверька, который лежал, свернувшись клубочком, в уголке дивана. — Ты о нем спрашивала?

— Нет, папочка, не о нем, — ответила Агджа-ханум, беря котенка на руки.

— О ком же?

Девочка не ответила.

— О чем ты задумалась, детка? Ты что-то скрываешь от папы?

Агджа-ханум хорошо знала, что назло матери отец разрешит ей играть с Чернушкой, и поэтому решила открыть ему свою тайну.

— А ты маме не расскажешь, папочка? — проговорила она, обнимая его.

— Нет, не скажу, говори.

Рассказав все отцу, Агджа-ханум спросила:

— Но как же Чернушка могла выбраться отсюда, папа?

— Не знаю. Как раз у меня дело к дедушке Пири. Пойдем со мной, и мы все узнаем.

Они отправились к избушке садовника. Дедушка Пири сидел на пороге и плел корзину, а Чернушка мыла посуду.

При виде Гусейнкули-ага бедняжка не на шутку перепугалась. Она вынесла для него подушку и положила ее на мягкую зеленую траву. Усевшись, он сказал:

— Идите, девочки, поиграйте в саду.

Чернушка захватила с собой бубен и убежала со своей новой подружкой. По дороге она объяснила, как ей удалось выбраться из комнаты деда, и они условились, что теперь будут всегда встречаться там.

Чернушка учила Агджу-ханум играть на бубне и танцевать. Маленькая барышня была счастлива, но лицо ее омрачалось и сердце тоскливо сжималось, когда она вспоминала, что скоро вернется мать и лишит ее этого удовольствия.

Через некоторое время Гусейнкули-ага и дедушка Пири позвали девочек на пасеку. Подружки с интересом разглядывали пчел.

Указав на один из ульев, дедушка Пири предупредил:

— Эти пчелы очень злые, детки! Остерегайтесь их!

Подойдя к другому улью, отверстие которого облепили пчелы, старик обрадованно продолжал:

— Как кстати вы пришли! Сейчас отсюда вылетит молодой рой. — Потом он повернулся к Чернушке: — Сбегай, дочка, домой и принеси белый мешочек, который я сегодня показывал тебе.

Чернушка убежала. Вскоре пчелы группами начали вылетать

из улья. Наконец все они уселись на ветку черешни, тесно прижавшись друг к другу, и она стала похожа на большую виноградную кисть.

— В каждом улье есть одна старшая пчела,— объяснял дедушка Пири Агдже-ханум.— Называют ее царицей. Когда подрастает вторая царица, между ними начинается борьба, и младшая улетает на поиски нового гнездышка. За ней устремляются вновь родившиеся пчелы-воины. Вот погляди на ветку. Видишь, как пчелы окружили свою царицу? Теперь мы должны поймать ее и посадить в новый улей, тогда и они последуют за ней. Теперь, Чернушка, поднимись на дерево и накрой ветку с пчелами вот этим мешочком.

— А пчелы не ужалят ее? — озабоченно спросила Агджа-ханум у старика.

— Нет, барышня,— ответил он.— Если не обижать и не бояться их, они никогда не тронут.

Чернушка с ловкостью кошки взобралась на дерево и накрыла пчел мешочком.

— Теперь потряси ветку,— сказал старый садовник,— чтобы пчелы остались в мешочке. Или просто обломай ее и дай мне.

Когда Чернушка спустилась вниз, дедушка Пири взял у нее мешочек и высыпал пчел в новый улей.

— Пусть это будет твой улей, Агджа-ханум,— сказал он.— И мед, который будет здесь собираться, будет принадлежать одной тебе. Когда захочешь полакомиться, поженуешь сюда, и я тебя угощу из твоего улья.

Агджа-ханум была счастлива.

— Вот тебе и собственный улей! — ласково сказал Гусейн-кули-ага.— А теперь пойдем. Скоро приедет мама.

К вечеру вернулись из города Периджахан-ханум и Марья Ивановна. Увидев дочь оживленной, с румяными щечками, мать удовлетворенно проговорила:

— Вот видишь, доченька! Ты послушалась меня, полежала и совсем поправилась. Погляди-ка, какие я привезла тебе подарки.

Агджа-ханум была очень рада кукле, игрушкам, конфетам и сладостям. Ей хотелось тут же немедленно показать все эти богатства Чернушке. Она была очень доброй и послушной девочкой. Но желание видаться с Чернушкой было настолько сильно, что она нарочно старалась проказничать, чтобы как можно чаще попадать в комнату деда.

Периджахан-ханум замечала, что девочка с каждым днем поправляется, и радовалась этому, но ее очень огорчало то, что Агджа-ханум совершенно перестала слушаться гувернантку. Как-то она пожаловалась мужу, но он насмешливо ответил:

— Две взрослые женщины не могут справиться с маленькой девочкой! Я вам советую почаще запирайте ее.

Иногда он и сам делал вид, что сердится на дочку и отсылал ее в комнату деда, о чем тотчас же тайком извещал Чернушку.

Старый Пири отнюдь не радовался крепнувшей дружбе Чернушки с маленькой барышней. Он прекрасно понимал, что Гусейнкули-ага никого, кроме беков, не считает настоящими людьми и допускает нищую сиротку к своей дочери только назло жене. Если Периджахан-ханум узнает об этих тайных встречах, она немедленно прогонит Чернушку.

Еще больше огорчало старика то, что Гусейнкули-ага купил Чернушке нарядное цыганское платье, в котором она должна была плясать и петь перед его гостями. Старик был глубоко возмущен этим, но не смел возразить своему господину.

Однажды у Гусейнкули-ага собралось много гостей. В разгар пира он послал своего слугу к дедушке Пири за Чернушкой. Девочка была больна и лежала в кровати. Старик не пустил ее.

Узнав об этом, захмелевший бек сильно разгневался и вторично послал слуг с приказанием немедленно вытащить Чернушку из постели и привести к гостям. Дедушка Пири ничего не мог поделать. Чернушка надела свое нарядное платье, взяла бубен и пошла.

Она очень любила танцевать и даже в этот вечер, больная, плясала так искусно, с таким увлечением, что все в молчаливом восхищении любовались ею. Она забыла обо всем, никого не видела, ничего не замечала. Перед глазами ее стоял образ ее учительницы Ясемен.

Закончив танец, Чернушка закружилась с такой быстротой, что стала похожа на маленький яркий шар. Зрители восторженно хлопали ей. А она опустилась на одно колено и, подняв правую руку с бубном над головой, левую приложила к бедру.

Гости просили Чернушку повторить танец, но она отказалась. Даже Гусейнкули-ага не мог заставить ее.

В этот момент в круг неожиданно вышла Агджа-ханум и приказала музыкантам играть. Все с удивлением смотрели на нее. Грянула музыка, и девочка начала плясать. Движения ее были такие же стремительные и красивые, как у Чернушки. Покружившись немного, она пригласила вступить в танец Чернушку. Та тотчас же подскочила к барышне, и они стали танцевать вдвоем.

Весть об этом облетела весь дом и донеслась до Периджахан-ханум. Она вихрем влетела в зал и, увидев, что дочь танцует вместе с нищей цыганкой, не знала, что делать от гнева.

Девочки кончили. Все громко аплодировали и наперебой хвалили их. Счастливый Гусейнкули-ага заключил дочь в объятия.

Через минуту явилась служанка и вызвала Агджу-ханум к госпоже.

Гусейнкули-ага тотчас догадался, что девочка будет наказана. Так и случилось. Не прошло и минуты, как из соседней комнаты донесся раздраженный крик Периджахан-ханум.

Гусейнкули-ага, извинившись перед гостями, пошел к жене. Когда он появился в дверях, Агджа-ханум горько плакала, а мать неистово кричала:

— Сейчас же скажи, кто тебя выучил этим танцам?

— Я тебе отвечу,— выступил вперед Гусейнкули-ага.— Ее научила Чернушка. Что еще хочешь?

— Как же Чернушка могла научить ее? Я же запретила им видеться.

— Ты запретила, а я разрешил. Кто, в конце концов, хозяин в этом доме, я или ты? Кто смеет перечить мне?

Периджахан-ханум никогда еще не приходилось видеть своего мужа в таком гневе.

— Раз так,— сказала она,— мне нечего больше делать в этом доме.

— Твоя воля. Хочешь — оставайся, не хочешь — скатертью дорога. Заруби у себя на носу, что с этих пор будет так, как я скажу.

Он говорил настолько громко, что было слышно в гостиной. Рагим-бек и Салим-бек пытались успокоить поссорившихся супругов. Чтобы прекратить семейный скандал, они увели Гусейнкули-ага с собой.

Расстроенные гости стали постепенно расходиться. Остались только Рагим-бек и Салим-бек. Наконец им удалось помирить хозяев.

— Почему ты против того, чтобы Агджа танцевала? — примиренно спросил Гусейнкули-ага, когда гнев его немного остыл.— Что в этом плохого?

— Уверяю вас, Периджахан-ханум,— вмешался Салим-бек,— если бы моя дочь умела танцевать так, как Агджа-ханум, я бы считал себя самым счастливым человеком. Но что поделаешь, если она такая же неспособная, как и отец, который даже и ходить-то как следует не умеет.

— Дети рождены для того, чтобы петь, танцевать, веселиться,— вставил свое слово Рагим-бек.— Что толку от такой угрюмой неповоротливой девочки, как у меня!

— Я вовсе не против того, чтобы моя дочь умела танцевать,— прервала его Периджахан-ханум,— но я считаю, что внучке Мехти-ага не пристало дружить с какой-то цыганкой. После того, что случилось, я не могу оставить Агджу здесь. Я опять переселюсь в город и отдам ее в закрытый пансион. Пусть Гусейнкули-ага живет здесь, он ведь не любит город.

Гусейнкули-ага согласился.

На следующий день Агджа-ханум с матерью уехала, не успев даже проститься со своей подружкой.

Отъезд ее тяжело подействовал на Чернушку. Она очень тосковала в разлуке с маленькой барышней.

Ее утешало только то, что после отъезда жены и дочери Гусейнкули-ага проводил почти все время у своих друзей — Салим-бека и Рагим-бека, редко бывал дома и не заставлял Чернушку плясать для гостей.

Как ни странно, бедная девочка совсем перестала танцевать. Все время она проводила в саду, и единственным товарищем ее игр был черный пес. Она научила его разным фокусам, и он всегда безропотно выполнял любые ее поручения.

— Нашли друг друга две чернушки, — шутливо говорил дедушка Пири, постоянно видя их вместе.

Однажды Чернушка, взяв корзину, пошла в лес за ягодами. Черный пес, конечно, бежал за ней. Лес был расположен в имении Гусейнкули-ага, и Чернушка не боялась заблудиться. Звери тоже не пугали ее, потому что верный пес был при ней, всегда готовый защитить ее.

Набрав полную корзину ягод, Чернушка возвращалась домой. Переходя через полотно железной дороги, она споткнулась и упала, корзина выскользнула из рук, и ягоды рассыпались по шпалам.

Девочка принялась собирать их, не замечая приближающегося поезда.

Черный пес, услышав шум паровоза, бросился к ней, сбил с ног, и оба кубарем покатались по насыпи в овраг. Чернушка сильно поцарапала ногу. Рассердившись, она стала кричать, но, подняв голову, увидела стремительно пронесшийся мимо поезд. Гнев ее тотчас же прошел, и она крепко поцеловала своего спасителя.

Слух об этом дошел и до города. Агджа-ханум вложила в письмо к отцу кружок из золотой бумажки.

«Это я дарю черному псу», — писала она.

Стояли последние дни лета. Вскоре должны были начаться занятия в пансионе. Агджа-ханум упросила мать провести оставшееся время в деревне. Периджахан-ханум согласилась.

— Хорошо, дочка! Я тоже поеду с тобой, и мы отдохнем там. Я так устала от городского шума и частых гостей! Только с условием: ты не должна встречаться с этой цыганкой. Ты дочь бека, и тебе не подобает дружить с простой девчонкой. Когда папа был последний раз в городе, он сам признался, что разрешал тебе встречаться с ней, только чтобы позлить меня. Он обещал прогнать и дедушку Пири и Чернушку, как только окончится сбор фруктов.

Это известие сильно огорчило Агджу-ханум. Теперь ей совсем расхотелось ехать в деревню. Вот почему на другое утро, когда мать разбудила ее, она сказала:

— Я не хочу ехать, мама!

— Как не хочешь? Ты же сама вчера просила меня! Вставай, вставай, не ленись!

Агджа-ханум нехотя встала и оделась.

Периджахан-ханум сообщила мужу о выезде, и, когда поезд остановился на станции, девочка увидела отца на перроне и позвала его.

Выйдя из вагона, она стала оглядываться по сторонам и вдруг с радостью заметила Чернушку, стоявшую далеко в стороне. Периджахан-ханум была занята багажом, который слуги укладывали в коляску. Воспользовавшись этим, Агджа-ханум улучила момент, чтобы подбежать к Чернушке.

— Уходи скорее,— встревоженно сказала та,— не то барыня увидит нас вместе и опять рассердится.

— Правда! Потом увидимся! — согласилась Агджа-ханум и побежала к родителям.

Они сели в коляску и поехали домой.

Во дворе госпожу встречали выстроившиеся в ряд слуги. Среди них был и старик Пири. Не видя Чернушки, Периджахан-ханум насмешливо сказала дочери:

— Вот верность твоей подружки! Не потрудились даже встретить тебя!

Агджа-ханум в ответ только улыбнулась матери.

На другой день приехала и Марья Ивановна.

Девочка совсем не была рада приезду в деревню. Она стремилась сюда только затем, чтобы видиться с Чернушкой, а это было невозможно.

Солнце давно уже поднялось, а Чернушка все еще лежала в постели с открытыми глазами и о чем-то напряженно думала.

— Ты сегодня заспалась, дочка! — сказал ей дедушка Пири.— Ты никогда не вставала так поздно. Уж не заболела ли?

— Нет, дедушка. Я здорова. Просто не хочется вставать. Дедушка Пири отворил настежь дверь.

— Посмотри, какой чудесный день! В такое время одни лентяи лежат в постели.

Чернушка начала медленно одеваться.

Солнце светило особенно ярко. Прогуливаясь по саду, Чернушка набрела на муравейник. Вдруг она заметила крылатых муравьев. Они поднимались в воздух и летали.

— На что ты засмотрелась? — спросил ее садовник.

— На муравьев, дедушка,— ответила Чернушка.— Почему у некоторых из них есть крылья?

— Это не надолго,— объяснил старик.— Они скоро отпадут. Сегодня у муравьев день свадьбы. После свадьбы эти крылья отсохнут.

Услышав о свадьбе муравьев, Чернушка весело захлопала в ладоши и громко расхохоталась.

— Да, дочка, муравьиная свадьба, сказал он, смеясь.— Сбегай за бубном, поиграй им. Они будут довольны.

Чернушке понравилось предложение дедушки, и она быстро побежала в хижину. Вернувшись, она стала бить в бубен, петь и плясать вокруг муравейника. Дедушка Пири смотрел на нее и радовался.

В это время Агджа-ханум гуляла со своей гувернанткой в цветнике. Марья Ивановна читала, а маленькая барышня строила из песка домик. Потом она набрала цветов и стала украшать его.

Вдруг до нее донесся голос Чернушки. Она застыла на месте, прислушиваясь к песне. Внезапно ядовитая змея, гревшаяся на солнце, ужалила Агджу-ханум в голую руку чуть выше кисти. Девочка с криком бросилась к гувернантке.

Растерявшись, Марья Ивановна побежала к дому за водой и оставила Агджу-ханум одну. Та с криком бежала за гувернанткой.

— Пстой, дочка! — остановил дедушка Пири Чернушку.— Послушай-ка, что это за крики на господском дворе.

— Дедушка, это голос Периджахан-ханум! — И Чернушка бросилась туда.

Когда она вбежала во двор, Агджа-ханум стояла бледная и из руки ее сочилась кровь.

Периджахан-ханум иступленно кричала, умоляя слуг:

— Милые, спасите, помогите! Спасите мою дочку! Отсосите кровь из ранки!..

Но ни один из слуг не решался на это рискованное дело — отсасывать змеиный яд из ранки.

Услышав слова Периджахан-ханум, Чернушка тотчас же побежала к Агдже-ханум и, крепко прижавшись губами к ранке, стала изо всех сил сосать ее; она отсасывала и выплевывала кровь.

Все вокруг застыли от страха и удивления. Периджахан-ханум покрывала поцелуями голову Чернушки, не переставая бормотать дрожащим голосом:

— Чернушка! Милая! Не дай умереть моей девочке! Спаси ее!

Чернушка не слышала взволнованной мольбы Периджахан-ханум, она напрягала все свои силы, чтобы спасти любимую подружку.

Она сосала до тех пор, пока из раны перестала показываться кровь. Агджа-ханум уже не чувствовала боли в ранке.

— Развяжите руку! — просила она, жалуясь только на боль от жгута, которым была перетянута рука выше ранки.

— Нельзя, доченька! Если развязать, яд проникнет дальше. Потерпи немного. Сейчас пошлю телеграмму в город, чтобы папа привез врача...

Когда перевязывали ранку на руке у барышни бинтом, подошел дедушка Пири.

— Видел, дед, какая беда стряслась над нами? — сказала все еще не пришедшая в себя от страха Периджахан-ханум.

— Видел! — глухо отозвался старик. — Видел, как ты спасла своего ребенка ценой жизни этой бедной сиротки!

И он окинул барыню гневным взглядом.

— Что ты говоришь, дед? С Чернушкой ничего не случится.

— Погляди хорошенько, барыня!

В этот момент раздался жалобный голос Чернушки:

— Дедушка, все нутро горит! Дай мне воды!

— Пойдем, дочка, пойдем отсюда! Удастся ли еще спасти тебя, дитя мое? — Потом он повернулся к одному из слуг: — Сбегай, голубчик, принеси банку кислого молока!

— Сию минуту! — с готовностью ответил слуга и бросился бежать.

— Прошу тебя, дед, не уводи Чернушку! — остановила его Периджахан-ханум. — Я послала телеграмму в город: господин привезет врача.

— Уйди с дороги! — грозно сказал не владевший уже собой дедушка Пири. — До сей поры ты близко не подпускала эту бедняжку к своему дому, боялась, что она испортит твою барышню. А теперь я не хочу оставлять ее здесь, в этом гнезде зла!

С этими словами старик взял Чернушку за руку и поспешил к своей хижине.

Старик раздел Чернушку и уложил в постель. То и дело он поил ее кислым молоком, разбавленным водой.

У Чернушки оказалась царапинка на десне, и, когда она отсасывала ранку Агджи-ханум, яд проник в кровь и отравил девочку. Жизнь маленькой сиротки угасала. Но дедушка Пири все же надеялся спасти ее.

— Дедушка! — как в бреду, говорила Чернушка. — Если я умру, похорони меня на холмике возле нашего сада... Я очень люблю это место... Оттуда видно все вокруг... Там так много цветов!

— Не бойся, деточка! Приедет врач и вылечит тебя. Ты поправишься и будешь жить долго-долго... На этом холме ты похоронишь меня, старого деда.

Наконец приехал Гусейнкули-ага из города и привез врача.

— Жизнь Агджи-ханум вне опасности,— заявил доктор, осмотрев ее.— Яд отсосали вовремя, и он не успел проникнуть в кровь! У нее небольшой жар, но я выпишу лекарство, и все пройдет.

Мать и отец радостно вздохнули и вместе с врачом направились к избушке садовника.

Опухшие, налитые кровью глаза Чернушки были закрыты.

— Положение весьма тяжелое! — сказал врач после осмотра.— Яд попал в кровь, и надежды на спасение мало...

— Доктор,— сдерживая гнев, сказал старик,— как бы вы называли женщину, которая ради спасения своей дочки губит другого ребенка?

— Молчать, собака! — взревел Гусейнкули-ага.— Ты ставишь мою дочь рядом с какой-то безродной цыганкой?

Врач успокоил бека и дал Чернушке выпить привезенное из города лекарство. Он оставил склянку у дедушки Пири, велел почаще поить из нее больную.

— Не отчаивайся, дед,— сказал он.— Девочка крепкая, и я думаю, что она поправится.

С этими словами он вместе с господами ушел.

Дедушка Пири отворил дверь и сел у изголовья Чернушки. Одиноким старик всем сердцем привязался к маленькой сиротке, озарившей его жизнь новым светом. Теперь этот свет угасал. И опять виноваты в этом были господа, гнет которых он терпел с юных лет.

Чернушка с трудом подняла красные веки, увидела яркие солнечные пятна на стенах, улыбнулась и навсегда закрыла глаза.

— Улетел соловей из моей избушки!..— простонал старик Пири и залился слезами.



Жемайте

ЛЕНТЯЙКА

Буро́кене — женщина еще не старая, на вид здоровая, глаза у нее черные, щеки красные, руки, ноги крупные, в кости она широкая, с виду как будто сильная, но только очень уж худа — кажется, и ходит-то она, опираясь на собственные кости.

«Бурокене лентяйка», «Бурокене лень постирать», «Бурокене лень за детьми присмотреть», «Бурокене лень поросенка откормить» — такие разговоры каждый день доходят до ушей Бурокене. Не только бабы, часто и мужики между собой так говорили, а иногда ее мужу и даже ей самой прямо в глаза бросали: «Если бы не ленилась, все было бы по-иному».

Услышав иной раз случайно, а то и нарочно пущенное ей вдогонку слово «лентяйка», Бурокене тяжело вздохнет или, проглотив подступающие слезы, бросится ничком на кровать, и, как волна, всплывает вопрос: «Может, я и вправду ленюсь? А куда больше работать?»

Каждое утро ей надо ранехонько подняться, до зари сварить завтрак и, бросив спящих детей, отправляться вместе с мужем.

в имение на скотный двор. Пока они накормят всю скотину, глядь — солнышко уже высоко. Едва успеет забежать домой перекусить, пора и скотину поить, потом опять кормить, потом с гумна корму привезти, опять поить и опять кормить. Пока накормит в последний раз, на дворе темным-темно. Пришла домой, а дома сущее светопреставление. Дети, оставшись одни, перевернули все вверх дном: постели разворочены, на полу налитое, посуда опрокинута, одежда и тряпье разбросаны, в избе ужасный беспорядок. Оно и понятно: собираются сюда ребята со всей улицы, и большие и малые, ну и поднимается столпотворение: дерутся, дразнят друг друга, пищат сколько влезет, некому остановить их. Детей у Бурокене, что бобов: старшему девятый годок, а остальные четверо — того меньше. Если бы девчонка была старшая, лучше было бы, но девочка-то самая младшенькая, двух лет от роду, еще и ходить как следует не умеет. А мальчишкам что — разве у них в голове дело? Шалят и шалят весь день, особенно когда одни в избе останутся. Хорошо, если догадается кто дать малышам ложку похлебки, а если нет — сидят голодные, пока мать не придет. Вот Бурокене возвратилась домой и не знает, за что хвататься: дети благим матом орут, плачут, увидев мать, кричат: «Маменька! Маменька!» Один до самых колен измарался, другой по пояс мокрый, третьему на голову и в глаза насыпали золы, у того нос разбит, весь в крови, а у этого палец порезан до самой кости. Все плачут, матери нужно всех осмотреть, всем помочь, поскорее накормить: все голодные.

Бурокене кидается к печке — ужин готовить; ведь муж тоже говорит, что голодный, ворчит:

— Почему ужин не готов?

А что варить — об этом тоже нужно подумать. Корова отдоялась, прошлогоднее сало кончилось, а поросенка еще не зарезали, картошка мелкая, скоро ее не очистишь, да одна сухая картошка и в рот не лезет, с одной солью дети не едят; вся еда — с утра каша, вечером похлебка, а к ней еще хлеб заплесневелый. На такой пище после тяжелого рабочего дня к вечеру так ослабнет сердце, что иной раз похлебку эту и не захочется в рот взять.

С первого же дня замужества начались у Бурокене беды. С каждым новым годом, со дня на день, она ждала, что дела поправятся, но выходило наоборот: с каждым годом приходила новая беда, что ни год, появлялись на свет дети. Прибавлялось едоков, а что еще хуже — одеть-обуть их надо было.

Выходила замуж Бурокене без приданого: мать ее была бедная, нечего было за дочерью дать. Одежонку, которая была у Бурокене с молодых лет, она вместе с детьми износила. Последние годы лен родился плохо, а если она что и натреплет — нет времени спрясть. Вот Бурокене вместе с детьми и ходила чуть прикрытая. Пока мать ее была здорова, Бурокене с малых лет работала в людях, но мать заболела, пришлось работу бросить и ухаживать

за нею. После смерти матери остались скотина и кое-какое имущество. Все досталось Бурокене, потому что она была единственной дочерью. Одна она не могла прокормить корову, не знала, куда деваться со своим скарбом. Вскоре подвернулся Бурóкас, и пошла она за него, хотя была совсем молоденькая. С малых лет привыкла горе мыкать, тяжелой работы не испугалась.

Но из года в год ее семья становилась все больше, здоровье все хуже и жизнь все тяжелее и тяжелее. Не хватало времени, а иной раз и сил не было даже тряпье свое постирать да починить. Дети ходили оборванные, нечесанные, грязные.

Бурокене часто, лежа на кровати, плакала, глядя на своих детей, так не похожи они были на других ребят. Никогда не слышала она от мужа ласкового слова. Бурокас был уже человек немолодой; женился он на ней ради ее скарба и коровы, да и от нее самой ждал, что молодая и здоровая жена будет хорошей работницей. Оттого теперь все кривился, когда видел, что она возится с детьми или хоть на минуту приляжет отдохнуть. Его дело — работать и работать, а потом сесть за стол и опорожнить миску до дна, а ее дело — налить миску доверху.

Семья большая, еды надо много, простой ординарии* не хватает, поэтому Бурокене уговорила мужа поступить в пастухи:

Получим полуторную ординарию, может, хлебушка не придется докупать; работа будет тяжелее, но зато и доходу будет больше.

Как-то зимним утром Бурокене почувствовала недомогание, а днем еще вьюга поднялась, да такая, что не дай господи! Собаке на пне не усидеть в такую погоду. Муж собирается на скотный двор, пора и ей идти: нужно не только покормить скотину, но и десять коров подоить. Взглянула она в окно, в щели которого ветер уже снегу в избу намел, и задрожала... Теплой одежды нет. Надела коротенький кожушок; юбка едва до колен, чулки рваные, на ногах клумпы*, а на голове драный платок. Побрела она по сугробам на скотный двор. В клумпы набивался снег, иногда они с ног спадали, пока их найдешь, ноги-руки отморозишь. Вся продрогшая, поехала на гумно за кормом, наложила полный воз соломы, но на обратном пути в сугробе воз перевернулся. Бурокене увязала в снегу, а муж в сердцах вилами огрел ее по спине. Холод, испуг, досада так измучили Бурокене, что вечером, придя домой, она тут же повалилась на кровать. Ночью расхворалась, разметалась, утром пришли бабы ее навестить и видят, что на ней лица нет, совсем помирать собирается. Бабы поскорее погнажи ее мужа в имение, просить лошадей, чтобы привезти ксендза. Господа были милосердные: узнав, что пастухова жена больна, приказали за врачом послать, — доить-то коров некому, некому за скотиной присмотреть.

К вечеру, когда приехал доктор, помещица вздумала навестить больную. Перешагнула она порог и ужаснулась: в избе сыро,

темно, холодно, пол грязный, мокрый; дети облепили печку, одни глазенки блестят да животы торчат — все замурзанные, немытые, нечесанные, барыне даже глядеть страшно на них. Больная на ворохе соломы лежит, не разберешь, где подушка, где простыня и что у нее вместо рубахи — овчина или сермяга? В избе такой дурной запах, что барыня платка от носа не отнимает. Однако никого ей так не жалко, как этого славного доктора. Такой красивый, такой симпатичный и мучается с этой грязной бабой: выслушивает, выстукивает ее грудь, ощупывает ей руки и голову, при этом еще так ласково с нею разговаривает.

А барыни он будто и не замечает, даже не обернется в ее сторону. Неужели не заметил этого великодушного шага?

Барыня больше стоять здесь не могла, боялась, как бы от такого смрада в обморок не упасть. Вернувшись домой, она послала за доктором, чтобы тот, осмотрев больную, пришел к ней на чай.

Не успела барыня отдать распоряжение экономке, какую закуску приготовить, как служанка вернулась с ответом, что доктор не послушался ее и поехал прямо к другому больному.

Барыня удивленно вытаращила на девушку глаза, потом еле процедила сквозь зубы:

— Хамский поступок...

После этого она очень разволновалась, уселась в кресло и стала плакать. Когда прислуга принесла ей чай, она велела позвать барина.

Увидев, что жена в слезах, барин бросился к ней и спросил:

— Вáндзя, Вандзю́та, душенька, что с тобой?

— Если бы ты, Ясю́та, знал,— всхлипывая, жаловалась барыня,— если б ты только знал, как эта неряха, лентяйка Бурокене расстроила мне нервы... Брр! Какая у нее грязь! Как там скверно, вонь какая... Еще минутку — и я упала бы в обморок.

— Вандзюта, дорогая! Ты такая болезненная, такая нервная, как ты решилась туда войти! Могла еще какой-нибудь болезнью заразиться...

— Воды! Одеколону! — кричит барыня.— Я все еще чувствую этот скверный запах!.. У меня уже мигрень начинается...

— Ануся! Ануся! — звал барин, держа руками голову барыни.— Подай воды с одеколоном!..

Прислуга прибежала с флаконом, а барин, смачивая барыне виски, журил ее:

— Сколько раз я тебе говорил: подальше от всего, что расстраивает нервы. Здоровому человеку трудно дышать в избе у Бурокене, а для тебя это просто гибель...

— Ах ты боже мой! Ах ты боже мой! — стонала барыня.— Да разве можно мое нездоровье сравнивать с ее болезнью... Разве она так переживает все, как я? Она сразу заболела, и сразу же выздоровеет, а я, несчастная, так всегда страдаю!..

— Не лучше ли тебе, душа моя, прилечь? — заметил барин.

— Не лягу я, пока не успокоюсь,— печальным голосом сказала барыня.— Не могу тебе описать, какая грязь у этой бабы: шум, дети полуголые, немытые! Постель... брр! Я бы умерла, если бы меня в нее положили... Стыда у нее нет, ни вымыться, ни прибраться не может!.. Можно быть и в бедности опрятной...

— Да разве эти хамы понимают что-нибудь в гигиене? — заметил барин.— У них только о брюхе забота...

— И пища, должно быть, у них преотвратительная. Тьфу! — плевалась барыня.— Я и в рот не могла бы взять что-нибудь из ее посуды, тьфу!.. Как подумаешь, злость берет!..

— И что за надобность, душа моя, ходить туда? Заболеть захотелось?

— Заболеть — что, но доктор, вот так доктор! Никогда бы не поверила, что он такая деревенщина... Помнишь, у графини на именинах все дамы не могли им нахвалиться: интеллигентный, интересный! А он, оказывается, совсем невоспитанный... Ради того, собственно, чтобы с ним познакомиться, я и пошла в эту вонючую избу, хотя раньше боялась туда заглянуть, а он и не заметил моей жертвы... Чего стоит его красота, если он так себя ведет... Даже к чаю не зашел, жаль. Теперь может простудиться в дороге... Как мне жалко его!

— Теперь доктора тоже почти все из мужиков...— серьезно сказал барин.

— Ну что ж, ведь и мужики тоже люди... Сейчас модно говорить, что все равны...

— Равны, а вот вести себя так, как мы, благородно не умеют...— прервал ее барин.

Вбежала служанка и сказала:

— Барыня! Пришла за деньгами баба, что вчера масло приносила, ждет в людской...

— Ах, не могу! Не могу! Сегодня вечером я не могу! — закричала барыня.— Езус-Мария! Я такая измученная, усталая... Пусть придет завтра или в другой день... Ясюта! Позови Анусю!..

Барин позвонил. Вбежала служанка. Барыня сказала:

— Принеси домашние туфли... Разве ты не знаешь, что в ботинках у меня ноги перегреваются?!

Служанка побежала, а барыня сидела, обхватив голову руками; когда девушка вернулась, барыня положила ноги на стоявшее рядом кресло и велела ей переобуть себя, а сама то и дело на нее покрикивала:

— Да не дергай ты так ногу!.. Не жми! Руки у тебя, как грабли!.. Разиня!.. Да поторапливайся!

Барин просматривал газеты. Когда служанка вышла, барыня вздохнула и принялась разливать чай.

— Обещала я послать чаю этой бабе,— сказала она,— но доктор уже уехал... Что за дурища! — вдруг крикнула она.—

Иисусе! Все меня из терпения выводят. Ясюта, позови эту соню!

Барин сердито дернул звонок, и сейчас же в дверях показалась служанка.

— Уснула ты, что ли, ворона! — закричала барыня, не трогаясь с места. — Разве это моя чайная чашка? Подай мою, да поскорее!

— Вандзюта! Успокойся! — упрашивал ее барин.

Служанка кинулась к шкафу достать посуду; торопливо ставя ее на стол, она толкнула стаканчик так, что ложечки зазвенели.

— Езус-Мария! Да тут с ума сойти можно! — завопила барыня.

— Чтоб тебя черти взяли! — орал барин. — Не руки, а грабли...

— Видно, они хотят меня в гроб вогнать, — стонала барыня, — с такой прислугой и у нас будет порядок, как у лентяйки Бурокене... Все они такие.

НЕСЧАСТНЫЕ ДЕТИ

Тятя уехал в Америку. Матушку оставил у бабушки в ее маленькой избушке. Оставил Юо́зукаса, Оняле малышами, я был самый старший. Не было у нас ни мяса, ни молока. Буренку тятя перед отъездом свел к торговцу, чтобы выручить деньги на дорогу. Пришлось нам кормиться небеленой похлебкой, только иногда матушка приносила хлеба.

В бабушкиной избе было холодно, не было хвороста печку истопить. Так и просидели мы всю зиму, съезжившись у холодной печки.

Весною послали меня к Ба́брасу свиной пасти. Сижую я, бывало, около этих свиней, озябший, окоченевший, и все плачу, плачу по батюшке.

Как-то вернулась матушка из костела и говорит, что тятя прислал письмо. Пишет, что жив-здоров, справляется, как мы живем-можем, обещает в скором времени денег выслать.

Поговорила со мной матушка и ушла домой. А мне так хорошо, так весело стало! Я и пел и плясал вокруг свиней, чуть не целовать их готов был.

Вечерком я пригнал свиней и сбегал к матушке. Она показала мне тятенькино письмо: такое оно было красивое, с цветочком, а лепесточки красные и зеленые. От радости я даже заплакал. Только долго радоваться мне не пришлось: нужно было бежать к хозяевам. В скором времени тятя прислал деньги — пятьдесят рублей. Матушка заказала обедню, купила нам ситного, ржицы на хлеб, остальные деньги держала в сундуке.

Вот однажды, в праздник, прибежал я под вечер к матушке,

а там гости сидят: докторский кучер и Антáнас, сторож при почте, оба принаряженные, в калошах, папиросы курят. Принесли они водки, ситного, угощают матушку, и бабушку приглашают, и все уговаривают матушку денег им взаймы дать. Просят, молят, обнимают, обещают большие проценты платить, а деньги, мол, они вернут, как только матушка потребует.

Матушка упирается, не хочет давать. Но они стали ей руки целовать, уговаривать и наконец уговорили. Пообещала она им дать деньги, но только на самый короткий срок.

Панычи написали расписку, оба подписались, отдали ее матушке, а она дала им деньги.

После этого матушка послала отцу одно письмо, потом другое, но ответа так и не получила.

Пришла зима. Я от Бабраса вернулся домой. Матушка, бывало, все плачет и плачет, и мы ревом с голоду, а от тятеньки писем нет как нет. Прикончили мы хлеб. Денег нет. О панычах ни слуху ни духу, оба уехали в Ригу и матушке оттуда ни ответа ни привета.

Бабушка, не знаю уж от кого, узнала, что кузнец, сосед наш, написал отцу письмо и пожаловался ему, будто матушка тут с парнями ночи напролет пьет и деньги им отдает. А тятя, должно быть, поверил кузнецу, рассердился на нас и решил нам не писать.

Матушка, узнав про это, все, бывало, плачет, плачет и дни и ночи, а мы тоже ревом, есть просим. Потом матушка где-то купила полпуры* ржи и понесла смолоть на мельницу. Черпая муку, она задела подолом юбки за вал, ее валом и закрутило. Пока остановили мельницу, пока ее вытащили, уж чуть жива была. Пожила еще несколько дней и умерла. Бабушка плачет, руки ломает: куда теперь она денется с малыми ребятами?

Зиму мы кое-как прокормились. А весной нас разобрали люди: меня взял Дírгилас свинопасом, Юóзукаса — Гельж́инис гусей пасти, а Оняле, хоть и маленькая она, тетенька Якш́ене увезла ребенка нянчить.

Бабушка, оставшись одна, без хлеба, взяла суму и пошла побираться.

Весна пришла холодная, ветреная, дождливая, часто и снег шел. Пиджачок у меня рваный, ноги босые, стынут. Свиньи визжат и все домой норовят убежать, в хлев забраться. Хочется и мне забежать в избу, погреться, но хозяйка кричит, велит гнать свиней назад. Привязался ко мне кашель, кашляю без конца! Кашляю, кашляю, потом повалюсь на землю и корчусь в судорогах. Ночью никак заснуть не могу, кашляю — ух-ух-ух! — будто деревья рублю. Лицо у меня распухло, глаза покраснели, еле ноги волочу.

— Должно быть, корь, — определили взрослые.

Хозяева испугались, как бы я не заразил их детей, погнали меня к бабушке. Шел я, шел, отдыхал чуть не каждую минуту

и еле доплелся к вечеру. Бабушка, вернувшись, нашла меня на пороге. Сняла с меня пиджачок, уложила в постель и накрыла овчиной.

Сварила она мне настой трав, я напился горячего и заснул. Утром проснулся, гляжу — руки у меня в пятнах и в сыпи, шершавые, будто колючками усеяны. Бабуся обрадовалась, что я начал говорить.

— Всю неделю лежал, как бревно,— рассказала она,— не думала я уж, дитяtko, что ты поправишься!

Как стал я выздоравливать, сильно мне есть хотелось. А бабушка плачет: нет у нее ничего. Наварит мне незаправленной похлебки или тюри даст, и я хлебаю, только бы бабушка не плакала.

Скоро начал я уж садиться в постели. Бабушка пошла побираться. Вдруг как-то утром подъезжает кто-то и останавливается у нашего порога. Гляжу — а это Гельжинис вносит в избу нашего Юозукаса. Положил его поперек кровати, мне на ноги. Юозукас весь бледный, посиневший, окостенел, как палка, и глаз не открывает. У меня горло сдавило, в глазах потемнело. Слышу только слова Гельжиниса:

— Все вы такие, гаденыши! Заболел корью, забился в каморку за клеть и ничего не говорит! Пополз ночью к пруду, напился, конечно, воды, сколько в него влезло, а назад уж и не вернулся. Утром нашли его у пруда чуть живого. Одно горе с этими гаденышами!

Спрашивал меня Гельжинис о чем-то, но я не мог ни слова вымолвить. Тогда Гельжинис сказал еще раз, что все мы гаденыши, и уехал.

Хотел я Юозукаса положить рядом с собой, но сил у меня не было. Будил я его, кричал: «Придвинься ко мне!», да так ничего и не добился. Втащил кое-как его ноги на кровать, прикрыл овчиной, улегся рядом с ним, обнял и стал согревать своим дыханием. Через некоторое время он зашевелился и еле внятно захрипел: «Пить». Достал я жестянку — она пустая; слез, подошел к ведру за водой и упал на пол; полежал-полежал, потом зачерпнул воды и дал ему напиться. Губы у Юозукаса пересохли, язык белый, жесткий, головы повернуть не может. Взял я ложку, налил ему в рот воды, он проглотил. Опять лег с ним рядом, грел и поил его.

Вечером пришла бабушка. Как увидела она полуокоченевшего Юозукаса, стала над ним плакать.

— Не плачь, бабуся,— говорю ей,— я его отогрею.

Бабушка принесла с собой немного молочка, сварила молочной похлебки. Я поел, стали мы и Юозялису давать, но у него только заклокотало в горле, а глотать он уже не может. Проснулся я утром, гляжу, а его уже одели в белую рубашонку и уложили на лавку; около него свеча горит. Стало мне его жалко, и я крикнул:

— Бабуся, ведь Юозялису там холодно! Положи его рядом со мной, погрею...

— Ничего ему больше уж не надо, внучек! — сказала бабушка. — Ты только лежи спокойно. Я побегу к куму, может, он сделает гроб и отвезет на кладбище... Матушке вашей жалко стало горемычного, и она взяла его к себе...

Дала мне бабушка поест и ушла. А я лежу на кровати и плачу, плачу, все вспоминаю, как в прошлом году матушка наша лежала на том же месте, на лавке, как мы ее будили, трясли и все никак не могли разбудить... Как потом недобрые люди заколотили ее в гроб и увезли, а мы с Юозукасом вопили во весь голос... Теперь он лежит и спит там. Вспомнил я рассказ Гельжиниса о Юозукасе... как ему, больному, было холодно в камерке, как хотелось ему пить, как он у пруда лежал и как мне со свиньями было худо, болела голова, мучил кашель... Все, все припомнил: и как разряженные панычи выманивали у матушки деньги, и как матушка плакала... Как потом ее с мельницы принесли, всю в крови... Как ее доктор осматривал, а матушка кричала, а мы плакали... А тятенька ничего этого не видит, проглотила его эта Америка! Америка, должно быть, страшный зверь, который глотает живых людей! Какие же у него должны быть зубы? Какая пасть? Как колодец, наверное, в котором тонут люди!

Я заплакал, страшно стало мне этой Америки, которая тятеньку проглотила и столько горя маменьке принесла. Закрылся с головой и долго-долго плакал...

Летом потеплело, я начал уж понемножку по двору ходить. Пришла Диргилене и опять увела меня свиней пасти. Хоть ноги у меня еще очень болели, но бабушка велела идти, сказала, что дома есть нечего.

Летом пасти неплохо. Солнышко печет, свиньи в болото улягутся, и я полеживаю на травке; в кармане у меня краюшка хлеба — как проголодаюсь, пожую немножко; слушаю, как в лесу пичужки на разные лады распевают, посвистывают, щебечут, чирикают; мушки и жучки шумят, жужжат; на земле травушка зеленеет, цветы распускаются, некоторые уже цветут. Хорошо здесь лежать! А матушка и Юозукас в земле, забиты досками, ничего не видят... А тятенька? Как вспомню я эту Америку и ничего не вижу вокруг, так тошно становится.

Иногда ко мне заходит бабушка, расчесет мне голову, поплачет, поплачет и опять уйдет, оставив меня одного.

Пришла осень, опять холодно, дожди. Свиньи разбегаются, лезут в огороды, в картошку. Заберутся, куда не следует, а хозяйка меня подзатыльниками угощает или за вихор дергает. А однажды, когда свиньи картошку разрыли, хозяин меня так больно отстегал ремнем, что я потом долго бегать не мог.

Как-то в солнечное теплое утро выгнал я свиней, и так за-

хотелось мне забежать к бабушке... А тут выгнала свиней и соседская пастушка; стал я ее просить приглядеть за моими свиньями.

— Иди,— говорит,— если уж тебе так хочется,— только не опаздывай!

Обрадовался я, всю дорогу бегом бежал. Влетаю в бабушкину избу и гляжу — на кровати лежит Оняле. Подошел я, обнял ее, спрашиваю:

— Ты что, больна?

— Нет,— говорит Оняле и начала плакать. Откашлялась, а изо рта у нее кровь идет.

— Что с тобой, Оняле? Что с тобой случилось? — допытываюсь я.

Отдышалась она и стала рассказывать:

— Йонúкас, которого я нянчила, стал такой тяжелый, не могу его поднять; как вцепится он мне в волосы или ущипнет за щеку, так больно-больно... Намедни он разбаловался и стал царапать мне лицо, я закричала и шлепнула его по руке. А он стал орать... Слышал бы ты, как он выл и ревел... Тетенька вбежала с розгой и стала меня стегать, таскать по полу: «Зачем раздражила ребенка? Вот тебе за это!» — У Оняле осекся голос, она заплакала и шепотом стала рассказывать дальше: — Так больно, так больно меня отстегала... Я потом за печкой плакала-плакала и все придумывала, как бы мне убежать к бабушке. Пришел дядя обедать, сел за стол. А я в это время через огород, под горку — и давай бежать к бабушке... Вдруг сзади кто-то хлоп меня по спине! Упала я носом в землю. А дядя меня за волосы ухватил. Сначала всю розгу об меня обломал, а потом ремень снял. Драл он меня, драл... И ногами пинал, и кулаками — по голове, по бокам, куда попало бил. Я уж ни плакать, ни встать не могла. Притащил он меня и толкнул в избу. Упала я на скамью, ничего не помню... Пришла в себя, гляжу — под головой у меня платок весь в крови. А тетенька тогда говорит: «Зачем же ты бежала как сумасшедшая! Если хочешь, можешь уходить к бабушке, мне ты не нужна. Ребенок уже ходить начал». Ушла я оттуда и добралась сюда потихоньку. Но теперь мне так больно в этом месте... — и Оняле показала на грудь.

Стали мы оба плакать.

— И меня драли ремнем,— жаловался я,— и по горбу я получал, и за вихор меня таскали: свиньи как бешеные всюду лезут!

Так делились мы своими бедами, пока не пришла бабушка. Я стал жаловаться, что меня избили... А бабушка погладила меня и говорит:

— Ты-то хоть здоров, а вот погляди, что с Оняле сделали...

И откинула овчину... Страшно было посмотреть на Оняле! Тело у нее все в пятнах, местами черное, местами синее, желтое, в крови; руки, ноги, спина, бока сплошь в синяках... Избита она, как яблоко, а на губах у нее кровь выступает! У меня сердечко только тук-тук-тук! В глазах темно, руки дрожат...

— Я этого Якшаса убью! — закричал я. — Убью, когда вырасту!

— Что ты, пчелка моя горемычная! — печально улыбнулась бабушка. — На, поешь картошки да беги на работу, а глупостей не говори! Убить!.. Не то что говорить так, но и думать грех. Мстить грешно, надо всем прощать и не сердиться.

Так уговаривала меня бабушка, но я не мог простить Якшасу за сестренку и дал слово, что, как только повстречаю его, все глаза ему выцарапаю.

Вечером вернулся я к своим свиньям.

В скором времени пришли холода. Одних свиней стали откармливать, других пустили на картофельное поле. Теперь работа у меня легкая, в тепле: то полы мету, то картошку чищу.

Однажды утром хозяйка говорит мне:

— Антанюк! Если хочешь, можешь идти к бабушке. Дядя поедет на мельницу, вот он и подвезет тебя немножко, а дальше добежишь пешком.

— Я на мельницу не хочу, — закричал я, — там мою матушку убило!

— Да не на мельницу, к бабушке поедешь... — говорят, там у вас какое-то угощение устраивают...

Вскочил я, оделся, сел к дяде на телегу, доехал с ним до мельницы, а оттуда побежал к бабушке.

Отворил я двери, а Оняле, беленькая, лежит там, где лежала матушка и Юозялис! Крикнул я и повалился возле печки... Плакал я, плакал и все думал об этом страшном звере, об Америке, которая нашего тятеньку проглотила...

Слышал я, как и бабушка говорила:

— Если бы не эта проклятая Америка, все бы по-другому было...

ИЗ-ЗА ПОКУПОК

Семья Кибурисов из деревни Калпокай сегодня поднялась рано: родители собрались ехать на ярмарку продавать жеребенка и бычка.

Сама Кибурене, крепкая еще, высокая, синеглазая баба, встала до зари и, подоткнув юбку, засучив рукава, засуетилась, захлопотала у печки и возле скотины. Каждый раз, пробегая мимо клетки, она будила дочерей:

— Марце! Барбе! Вставайте! Солнце уж высоко, подымайтесь!

Побежала к свиньям — по пути покричала у клетки, возвращаясь оттуда, снова покричала, даже кулаком в дверь побарабанила. Минутку спустя, пробегая мимо клетки с подойником, она опять

зовет дочерей, опять стучится в дверь, но никто не отзывается. Сама подоила коров; идя обратно с молоком, опять стала стучаться:

— Ведь опухнете от сна, лентяйки. Отец скоро лошадей приведет, ехать уж пора, а вы дрыхнете...

Побежала она в сени, в клеть, заглянула в хлев, натаскала из колодца воды, принесла охапку дров. Минуту спустя опять появилась у клетки с блюдом в руках и тут уж не на шутку стала стучать в дверь, чтобы отворили. Достучавшись и отворив дверь, она с порога перекрестила девушек и стала бранить их:

— Не слушаетесь, не хотите — ладно, не вставайте! Только смотрите, ничего вам с ярмарки не привезу! Я и по дому хлопочи, я и завтрак вари, а они валяются, как свиньи.

Поворчав так, она отрезала сала, взяла муки и опять убежала.

Сонная Марце принялась одеваться. Барбе потягивалась в постели, зевала.

— Нечего валяться, — сказала Марце, — мама готовится к отъезду, надо вареников на дорогу. Видишь, сала отрезала.

Еле выбрались девушки из клетки. Лохматые, с заспанными лицами, начали они возиться у печки. Одна сало крошит, другая тесто месит, вареники лепит: торопились они не на шутку, старались побольше сготовить, чтобы и родителям было чем на ярмарке пообедать, и дома чтобы осталось на завтрак.

Кибурис, хлопоча возле телеги, жаловался:

— Жеребенок еще побежит за лошадьми, а с бычком прямо и не знаю, как быть! Если привязать к телеге, он будет упираться, не пойдет, нужно его погонять. Слышишь, мать? — Он заглянул в клеть, где хлопотала жена. — Пусть кто-нибудь из девчонок соберется бычка погонять. Все равно ведь шагом придется ехать.

— Вспомнил когда! — отозвалась жена. — А что ты вчера думал? Надо было вчера позаботиться о погонщике! Соня! Можно было пастушка взять с пастбища. Разве прилично девицам тащиться за бычьим хвостом. Нет уж, не бывать этому!

— Так пусть кто-нибудь из них пойдет к стаду, заменит пастушка, если уж погонять ленятся.

— Еще что выдумал! — отрезала жена. — Все у тебя девочки на языке. В такой день на ветру, на солнце загорит, как цыганка. Выдумал тоже — за пастуха! Да ее засмеют, еще пастушкой станут дразнить.

— А ну тебя в болото! — махнул рукой Кибурис.

В это время девушки влетели в клеть. Марце стала заказывать матери:

— Только, мама, не забудь про шелковистую пряжу, смотри, чтобы на все хватило. Купи фунта три. В станок входит около фунта, а если побольше останется, тогда еще на черкас* пустим.

— Мама, маменька! — молила Барбе. — А мне набери сарпинки* на кофточку. Такой красивой, как у Куодике, что в городе

живет, розовой, пять аршин. Я хочу с широкими рукавами, как у Куодике.

— Мне еще кружавчиков пошире или прошивок на новый платочек.

— А мне подкладки, да подол подбить у шерстяного платья надо. И ниток две катушки...

— Тесьмы на подол получше, не простой...

— А мне гребенок головных пару... нет, лучше три.

— А мне бус, только покрасивее, мама, выбери, которые самые модные, нынче они будут.

— Булавок, колечек, если будут красивые...

— На фартуки купи, да чтобы всем хватило, ведь и у тебя нет.

— Онíке платочек... А то она мой носит. Больше я ей не дам.

Так, перебивая друг друга, обе заказывали покупки. В это время прибежала, запыхавшись, третья девчонка, которая по возрасту уже годилась в пастушки. Она еще издали закричала:

— Мама, маменька! Отвези мою синюю юбку выкрасить. Ты ведь давно обещала. А то она совсем на солнце выгорела. Только поторопи там, чтобы поскорее выкрасили. Тогда можно будет с кофтой носить. Мама, не забудешь?

— Ну и наговорили, чего только не заказали! — качая головой, сказала мать. — Без конца, без края... Не знаю, хватит ли денег на все. Если скоро продадим скотину, может, и обойдемся, а нет, поздно приедем, да мало давать будут — и вернемся, ничего не продав, тогда плакали ваши покупки.

— А вы не запрашивайте — и продадите.

— А нам что же, голыми ходить?

— Разве так уж дорого выкрасить юбку?

— Найдите мне какой-нибудь платок для узла, — сказала мать, — сбегайте на чердак, там белый полотняный платок висит на жерди.

— Барбе, а ну-ка сбегай!

— А ты что — барыня? Онике вон без дела сидит!

— Ишь меня будет гонять, а сама без дела сидит!

Пока девушки препирались, мать слезала уже с лестницы с платком в руках.

— Марце! Барбе! — звал отец с крыльца. — Принесите-ка мне черкасовый балахон. И кто это мой нож складной из-под балки вытащил?

— Это ты сало резала батюшкиным ножом!

— А ты потом схватила и бросила на стол!

— Ступай найди, вытри и отдай отцу!

— Собаку пошли. Распоряжается тут.

Ругаясь из-за ножа, девушки забыли и балахон отцу подать. Тот, не дождавшись, должен был в одной нижней рубахе идти за ним в клеть. Шагая через порог, он ворчал:

— Ждешь, ждешь, а они тут собрались и как сороки трещат...

— Надо было пораньше прийти, одеться, а не ждать их!

ответила жена.

— Ну, я без ножа на телегу не сяду,— рассердился отец. Сколько раз говорил — не смейте прикасаться к моему ножу! А шапку мою новую куда повесили? Вот здесь была, на гвозде.

Пока он искал шапку и рылся в одежде, девушки выскользнули за дверь, а мать сбегала, принесла складной нож и сунула отцу в карман балахона.

— На, бери свой нож, сделай милость! Можно подумать, святыня какая, а не нож!

Лошади запряжены, жеребенок привязан рядом с лошадьми, а бычок — к задку телеги. Мать, взобравшись на телегу, укладывала узел, корзину с яйцами и сама устраивалась. Отец, усаживаясь на телегу, говорил девушкам:

А ну подгоните кто-нибудь бычка хоть до конца усадьбы, потом по дороге он уж сам пойдет, а не то придется самому слезать.

Девушки стали опять подталкивать друг друга:

— Иди, иди ты!

— А ты что за барыня!

Вышло по пословице: собака собаку погоняет, а сама ни^с места. Так и тут: бычок упирался, отец, взяв вожжи, ждал, когда дочери станут подгонять его, и никто не двигался с места.

— Оне, подгони ты маленько,— сказала мать младшей, а потом пойдешь к гусям... сестры ведь еще ничего не ели.

— Я тоже еще без завтрака,— спорила Онике, подгоняя бычка.— Меня чуть свет разбудили гусей пасти, а они все спали. Мне, выходит, и завтракать не надо!

— Ну, ступай, иди себе, привыкнет бычок и сам пойдет,— сказала мать,— а если будет упираться, отец слезет и подхлестнет.

Кибурис — человек смирный, медлительный и еще не очень старый, но сутулый, с кривыми ногами. В хозяйстве, на поле у него порядок. Он раньше всех встает и позже всех ложится. Землю обрабатывает сам и всегда все делает вовремя, сам утварь разную справляет, надворные постройки тоже сам чинит — так потихоньку и копается по хозяйству. Ни с кем он не бранится, не ссорится, не в свое дело не суется, скорее другим идет на уступки,— словом, человек смирный. Ну а жена у него совсем не такая: баба она бойкая, шустрая. Чуть кто в деревне шепнет слово, случится ли что-нибудь, она первая обо всем узнает, от себя кое-что прибавит и перескажет всем бабам. Над другими посмеяться, посудачить о ком-нибудь, особенно о том, кто побогаче, она первая мастерица. Из-за этого часто приходилось ей и с соседями ссориться. Даже по-хорошему разговаривала она всегда во все горло, а уж стоит ей поругаться — всех перекричит; ее голос все издали узнавали.

Детей у Кибурисов было много, но почти все они умерли маленькими: родится и помрет, родится и помрет; выжили и выросли только три дочери. Вот мать и не знает, как их баловать — не то на руках носить, не то в зыбке качать. Не знает, как их наряжать, как лелеять, как их прихоти исполнять.

Земли у Кибурисов немного, не из чего было особенно наряжать, но мать как-то изворачивалась; то с руганью выпрашивала у мужа, а частенько и тайком от него покупала дочкам наряды, чтобы не отставать от богатых соседей.

Девушки, проводив родителей, сели завтракать.

— Ох, дура я, не взялась погонять бычка, — жалела Барбе, — а то бы на ярмарке выбрала все, что понравится.

— Как будто мама и так тебе не купит! — возражала Марце. — Лучше садись ткать, а я кончу навоз раскидывать.

— Беги, беги к своему навозу, — смеялась Онике, — как раз и Повилюкас пошел пахать. Скорее!

— Дура! — обрезала ее Марце. — Ты, что ли, справишься с навозом? А завтра надо картошку сажать!

— Будто я не знаю, что ты к Повилюкасу бегаешь! — кричала Онике. — Рассказывай! Про навоз бы ты не подумала...

— Ох, как лень ткать! С навозом возиться тоже не хочется! Пойду-ка я лучше посплю, — сказала Барбе и повалилась на кровать, — а ты, Онике, прополи в садике руту, она вся травой заросла, а уж зацветает.

— Да, ты будешь дрыхнуть, а я полоть! А как же мои гуси?

— Скажите, как она заботится о гусях! Мама сама больше за ними ходит. А то все ты!

— Не валяйся, ступай ткать, — гнала Марце, убирая перед зеркалом волосы. — Римшайте уже выткали, в воскресенье в новых выйдут... А мы?

— Римшайте вчера купили и фабричного, — вмешалась Онике. — Лейба привез какого-то новомодного, мне ихняя пастушка говорила, обеим купили.

— Уж купили! Вот видите! — так и подскочила Барбе. — Теперь у них по одиннадцати юбок будет!

— Откуда по одиннадцати? Только по девяти.

— Нет, не по девяти! — спорила Барбе. — Я лучше знаю: сами выткали они по две, купили по третьей, да по восьми раньше было. Ну, сколько это будет?

— Вот потому и торопись ткать, — сказала Марце, — когда будет и у нас по девяти, может, и по десятой выткем.

— Только ткать да ткать, — передразнила Барбе, — словно не могли в лавке купить. Не буду ткать — и все! Что ты мне делаешь?

— Ишь барыня какая! Хочешь на готовое, что я вытку.

— Потому и сидишь всю весну за кроснами, что я за тебя работаю!

— Прямо уж ты! А не я? — перебила ее Онике. — Только пригоню гусей, а мама меня уж зовет. А вы?

— Ну, довольно болтать! Садись ткать или ступай навоз...

— Да ну тебя! Пойду садик полоть, а ты тут стой перед зеркалом до полудня!

Так девушки весь день провели в спорах да в ругани, лежа на кровати, околачиваясь по дому. А у родителей на ярмарке немало хлопот. Отец бьется со скотиной, торгуется из-за каждого рубля, из-за полтинника; гривенника и то не уступает, стараясь как можно дороже продать. Ему сейчас каждый грош дорог. То весенние подати подходят, хлеба не хватает — неизвестно еще, протянешь ли до нового урожая. А там железо, колесная мазь, мельница, кузница, да и проценты евреям надо платить. Сколько на все надо! Даже голова кругом идет, а денег нет, разве только скотину продать.

Кибурене беда с мужем: заупрямился, дешевле не отдает, потому так долго не может продать. А деньги ей нужны позарез. Скоро уж ярмарка кончится. Потом опоздают, не успеют покупки сделать. Что дочери скажут, если она им ничего не привезет? Могут и покупатели отступить, если отец ничего не уступит, — придется скотину назад гнать. Где тогда денег взять? А девчонки вон сколько всего заказали! И шепчет она отцу, и на ногу ему наступает, чтобы тот цену сбавил.

— Бычок как бычок, — бормочет она, — а двадцать пять рублей разве не деньги?

Наконец сговорились. Покупатель заплатил деньги жене и погнал бычка. Отец повел жеребенка на конный базар. Мать, дорвавшись до денег, пустилась по лавкам, по ларькам. Долго разглядывала товары, раздумывала, купить или нет: и денег ей было жалко, и купить нужно. Наконец решилась:

— Эх, будь что будет, куплю! Иначе загрызут меня девчонки!

На следующее утро после ярмарки дочери Кибурисов разложили на столе покупки. Там было все, что девушки заказали, еще, пожалуй, с лишком.

— Мама! Почему так много кружев накупила?

— Мама, можно, я сама выберу себе платочек?

— Мама, ты шелковистых ниток не таких купила, гораздо светлее, — какая же это будет юбка из разных полотнищ?

— Мама, эта материя совсем не как у Куодайте, а как у Римшайте, — здесь по две зеленых полосы, а у Куодайте по три. Я тебя просила в три полосочки, эта некрасивая.

— Мама, мама! Отрежь мне на фартук!

— Ну вот, накупила на кофточки цыганского ситцу! У цыганок, что тут недавно околачивались, в точности такой ситец!

— Ну, уж если мама одна, без нас, выбирает — мало радости!

— Кружев тебе слишком много будет, придется половину мне уступить.

— Получишь, как же, жди! Кто просил, тому и куплено, а тебе вот бусы... будешь ходить, как корова, с бубенцами!

— А ты нанизала кольца на руку и зазнаешься! Сунь нашему пестрому борову поцеловать!

Девушки препирались, бранились, не давая матери и рта раскрыть. Наконец выведенная из терпения Кибурене стала на них кричать:

— Ничего больше не буду вам покупать. Не нравятся мои покупки — больше не получите, не за что! Вчера целый день не ткали, веретен не трогали, навоз тоже не раскидан, отец утром уж сердился на меня. И одного гусенка недосчитываюсь! — кричала мать.

— Навоз Каупёне раскидает, — прервала ее Марце, — пока отец поедет за картошкой, с навозом будет покончено. Не плачьте!

— И что это за покупки! — вскипела Барбе. — Тряпки одни! Вот Римшайте вчера на шерстяные юбки набрали... Уж шьют, их пастушка дала Онике лоскуток.

— Не говори пустое, — отрезала мать. — Купили! Как же вчера оба они — Римшас с женой — были на ярмарке и ничего не покупали. Я следила. Сама весь день просидела на возу, в лавку ни ногой.

— Позавчера, позавчера купили у Лейбы! — кричала Онике. — А вчера Зосике привезла портного — с машиной. Вот лоскуток.

— Ну, беги, Онике, к гусям, — протягивая руку за лоскутком, говорила мать. — И что это случилось с Лейбой, что он к нам не завернул, может, и мы купили бы. Или я выменяла бы ему на что-нибудь.

— Это все Римшайте, они, как кошки, наверно, вцепились, уговорили Лейбу нам не показывать. Завидуют, гадюки! — кричали девушки.

— Покажите-ка лоскуток.

Поданный лоскуток мать ощупала, повертела и с досады расщипала по ниточкам. Стали смотреть и девушки.

— Ишь, чистая шерсть, — сказала Марце, — а переливается, как голубиный зоб.

— Разве нам купят что хорошее! — ворчала Барбе. — Носи одни тряпки. Против Римшайте мы прямо как пастушки будем.

— Пастушка говорила, что Римшене вчера привезла своим девкам по шелковому платку, — вмешалась опять Онике, — такие красивые, говорит, пятирублевые.

— Вот тебе и уследила мама за Римшене, — пилила Марце, — не заметила даже, как Римшене всего накупила!..

— У них теперь будет по пяти шелковых платков. А у нас только по три, да и те... не платки, а тряпки, будто нам их Христа ради подали, — уж сквозь слезы выговаривала Барбе.

— Что вы гудите? Что вы меня грызете? — закричала вдруг мать.— Как я куплю, откуда возьму денег? Римшене...

Когда она произносила последнее слово, губы и руки у нее задрожали от злости, и только она собралась дать волю языку, обругать как следует Римшене, как вошедший в это время отец точно топором отрубил:

— Мать, где деньги за бычка? Давай-ка положу их на место.

— Загорелось ему! — отрезала жена.— Не все равно, у меня или у тебя они будут!

В это время девушки торопливо убрали со стола покупки.

— Наверное, на эти тряпки пошел бычок? — сказал отец, показывая на покупки.— Ой, мать, пустишь ты нас всех по миру из-за этих девок. Как придется побираться, и тряпок не нужно будет, никто за них кусочка хлеба не даст.

— Побираться? — оборвала его жена.— Вот о чем он беспокоится! А как выдать дочерей замуж, про то он не думает! Тряпку купить и то жалко.

— А ты много заботишься? — перебил ее муж.— В приданое нужны будут деньги, а не эти тряпки. Денег неоткуда брать, а на приданое и сами могут наготовить тряпок, сколько надо. Льна у нас много. Вам бы только цацки да разные тряпки всю весну ткать. Порядочного тканья у вас и не увидишь.

Тут уже все втроем с криком накинулись на него, точно он осиное гнездо разворотил.

— Вон он уж и ткать не дает, хочет, чтобы мы совсем ободранками ходили! — кричала мать.— Птицу по перьям узнают. На обтрепанную девку никто и не взглянет! Где у тебя разум? Посмотри кругом, как люди дочерей наряжают, а ты? Понимаешь, как свинья в перце.

Девушки тоже раскричались:

— А мы что, голые ходить будем? Где наше жалованье? Если бы у чужих служили, хоть оделись бы, а здесь только одно тряпье видишь. Разве мы не работаем?

Кричали все разом. Отец не мог уже разобрать, кто чего хочет, схватился за голову и, отступая назад, повторял:

— Подите вы все в болото!

В это время, запыхавшись, вбежала Онике:

— Свинья Римши в нашем огороде. Вон Зосе гонит ее домой.

После этих слов кончилась ссора. Мать вся затряслась, кинулась к двери. Подскочив к плетню, она обрушилась на Римшайте: ты и такая, и сякая, и лентяйка, и разиня, и соня... Что на язык ей подвертывалось, то и валила на Римшайте и на ее родителей. Дочери ее тоже не отставали: выскочив во двор вслед за мамашей, вторили ей, ругали — уж не за свинью, — срывали злость за шерстяные юбки, за шелковые платки.

— Бочка, бочка раздутая! — кричала Марце.— Ножки —

как соломинки. А еще Пучкюкаса соблазнить собирается. Не надейся, он и не взглянет на такую.

— Длинноносая ты, лупоглазая! — кричала, задрав голову, Барбе.— Шапку бы тебе на нос нацепить!

Римшайте, выгоняя свинью, тоже не молчала, метала слова, точно стрелы, во двор Кибуриса. Сейчас же отозвалась басом и сама Римшене. И вот выстроились — с одной стороны трое и с другой трое: пришла на подмогу и вторая Римшайте; врагов разделял только забор.

Поднялся шум, галдеж, а утро гулкое: голос Кибурене звенит, эхо его далеко разносит — вся деревня встревожилась; слушая со стороны, можно было подумать, что где-то загорелось или какое несчастье случилось.

А пастухи на улице еще подзуживают:

— Улю-лю! Улю-лю! Вали по горбу, улю-лю!..

Какая-то проходившая мимо бабенка остановилась, послушала, потом плюнула и пошла дальше. Другая, выглядывая с соседнего крыльца, слушала и смеялась, а две, еще более любопытные, подбежали к самому забору, стараясь не пропустить ни слова. А те разъярились, ругаются — с захлебом, с задыхом. Девки от мамаш не отстают, не сдаются. Все, что когда-нибудь случилось в деревне, все, что кем-то когда-то было сказано, все давно забытые слова, все дела вспомнили теперь соседки и повторяли, одна другой глаза кололи, и все это быстро, торопливо, не дожидаясь ответа,— только трещали и трещали.

Бабы за забором смеются:

— Ну и язык у Кибурене! Но и Римшене зубастая... Ишь все объяснили, у кого и когда корка от хлеба отстала, где и когда каша пригорела. Послушаем, тут еще много чего узнаешь!

Девки понемногу стали успокаиваться, но у матерей языки не устали молоть. Был слышен басистый голос Римшене:

— Ах вы голытьба! Ах нищенки! Моим дочерям брички заготовлены кованые, на железном ходу, в банке для них сотни положены, а у тебя что?

С другой стороны ей в ответ визжали:

— Надувайся, надувайся, когда-нибудь лопнешь, как лягушка! Но в тряпках я все равно тебе никогда не уступлю!

Кибурис, надвинув на уши шапку, уходя подальше от ссоры, побрел по дорожке на сеновал и все только повторял:

— А ну вас в болото! А ну вас в болото!



Пятрас Цвирка

САХАРНЫЕ БАРАШКИ

Я опять сижу за книгой и, чтобы лучше запомнить каждое слово, читаю вслух. С добрый час я декламирую о войнах Римской империи, но мысли мои ускользают из-под власти цезарей и гуляют по саду, среди лепестков, которые, как пена, падают с деревьев.

В открытое окно влетает мохнатая дикая пчела. Она долго гудит; этот металлический звук напоминает далекий колокол приходского костела. Потом пчела садится на книгу и, шевеля усиками, принимается разглядывать буквы. Нет, пчела не умеет читать, и навряд ли она обрадовалась бы, узнав историю Прекрасной Елены. Поползав немного, она расправляет крылышки и, оставляя на странице книги золотую цветочную пыльцу, поднимается и вылетает в сад. Короткое мгновение я вижу ее над вишней, а потом она, как тяжелая капля дождя, падает в цветок.

Я не могу уже заставить себя читать; мне кажется, кто-то шепотом зовет меня из-за окна: «Идем!» Оглядываюсь — никого

нет. Только небо еще больше прояснилось, и в нем совершенно неподвижно стоят лиловые облака.

Пчела указала мне дорогу, и я закрываю книгу. Хватит! День такой чудесный!

Выкатив из-под навеса велосипед, я счищаю с него ржавчину, грязь, смазываю маслом спицы. Куда ехать? Конечно, по старой, хорошо знакомой дороге на запад.

Воспоминания зовут меня в тот край, где реки полны рыбы, где птицы тучами застилают солнце. Рыбу там ловят руками, а в излучинах от нее даже шум стоит.

Мы несемся вместе с моим попутчиком — ветром. Море клевера колышется по обеим сторонам дороги, впереди выступают леса, холмы. Как легко ходит педаль! От цветущей земли подымается запах, теплый, как дыхание матери.

Подъехав к холмику, я спрыгиваю с велосипеда и веду его в гору. Тело становится влажным, и я чувствую себя еще свободнее и легче. Это не липкий, густой пот усталости — нет, этот пот струится по лбу, как сок молодой березы. Я взбираюсь на холм, меня снова обдаёт ветерком. Я опять сажусь на велосипед и, не держась руками за руль, стремительно несусь вниз.

Вот перед моими глазами блеснула небольшая река. Ее журчание похоже на шум приближающегося дождя. Река опять исчезает, потом я вижу ее узкую серебряную излучину. Там, ниже, освободившись от плена камней и обломков деревьев, она лежит спокойная, гладкая, как лед. Река отдыхает, как девушка, упавшая в траву.

Проехав еще несколько километров, я прислоняю велосипед к цветущему кусту и валюсь навзничь на землю.

Долго смотрю я на небо, в голове нет ни одной отчетливой мысли. Потом я закрываю глаза. Из-за холма долетает тоскливый звук пастушьей свирели.

О милые, дорогие дни детства! Я вижу на западе голые, скучные и одинокие холмы, светлыми кораблями проплывающие под солнцем. Только на одном, самом высоком холме стоит хутор, вниз сбегает тропинка, у овражка — старый колодец. Над дорогой шелестит молодая тонкая береза, и кажется, что она, выбежав из леса, поджидает кого-то. Это мы с Симу́касом Андрио́насом выкопали ее как-то весной в лесу и пересадили в рыхлую почву у дороги.

Много лет уже не бывал я в родных краях, но слышал, что береза эта выросла в отличное дерево, и молодежь на маевках пляшет вокруг нее.

Уезжая учиться в город, я со слезами на глазах простился с Симукасом и березой.

Теперь я лежу в траве и вспоминаю прошлое. Сердце начинает биться сильнее: я представляю себе, что через несколько часов увижу друзей детства и лучшего из них — Симукаса.

Ах, дети, дети! Ведь и наша юность была такой же радостной, и с нами случилось много странных происшествий, и мы плакали горячими слезами из-за каждой неудачи и обиды. А когда нам удавалось вспугнуть птицу или найти первую созревшую ягоду, леса и луга звенели от нашего смеха.

Я отчетливо вижу веснушчатое, словно осыпанное льняным семенем лицо моего друга. Я слышу его голос, который звучал, бывало, тоненько, как свирель, когда Симукas, взобравшись на верхушку ели, распевал:

Вышел отец в лес, в лес!

И дети вышли в лес!

Если со своей высоты Симукas замечал направлявшуюся в огород Предводительницу, он сердито окликал ее по-польски: «Предводительница! Стой!»

Предводительницей Симукas прозвал корову за то, что она всегда первая стремилась в запрещенные места, а за ней увязывалось и все стадо. Симукas думал, что скотина лучше понимает, если говоришь с ней по-польски. Так ведь поступал и дядя Каспáрас, когда разговаривал с лошадей. От него Симукas и перенял несколько польских слов.

Предводительница останавливается на минутку, прислушивается к голосу своего пастушка, но тотчас же вытягивает шею и опять гордо шагает по направлению к огороду. За ней тянутся телята, овцы, гуси. Последним ковыляет хромым барашек. Симукas, видя, что Предводительница и не думает его слушаться, выкрикивает ей вслед весь свой запас бранных слов. Корова и сама понимает, что поступает нехорошо. Она приостанавливается, видимо размышляя, идти дальше или не идти, она знает, что за непослушание ей попадет от Симукаса, но овцы с телятами уже в огороде, и Предводительница, оглянувшись, кидается в густую зеленую ботву.

Симукасу нужно в один миг слететь с дерева. Он соорудил себе здесь гнездо из листьев и все свободное время просиживает в нем, словно аист, свесив вниз красные, истрескавшиеся ноги. Быстро, как юркая белка, он спускается вниз и, выломав тонкий прут, бежит за стадом.

Спокойное время для Симукаса наступает только тогда, когда Предводительница наедается досыта. Поэтому он не жалеет труда, чтобы наполнить ее большое, отвисшее брюхо. Он пропалывает для нее огородные грядки, носит с ярового поля огромные охапки сурепки. Предводительница пожирает все, но ей мало этого.

— Как в тебя столько влезают! — в сердцах говорит Симукas корове, которая, облизываясь, ходит за ним по пятам.

Но она только и смотрит, как бы снова пробраться в огород. Симукas решает отомстить ей. Он гонит стадо не в обход, а напрямик, кратчайшим путем. Кажется, теперь Предводительнице

не удастся попастьись, но она и тут находит выход: она еле ступает, делая самые мелкие шажки.

Наконец Предводительница насытилась и укладывается на траву. Телята, овцы, даже гуси следуют ее примеру и все устраиваются вокруг нее.

Симукас теперь свободен, он опять карабкается на верхушку ели. Там он стругает из дерева мельницы, немцев или, перескакивая с ветки на ветку, издали приветствует проезжающих и прохожих, мужчин и женщин.

Увидит дядю Каспараса и тут же складывает про него песню:

Дядя Каспарас, ради смеху
Не принес ли ты орехов?

— Ну, ну! — отзывается Каспарас, останавливается и, задрав голову, старается определить, с какого дерева доносится голос. — Вывалишься еще, как вороненок из гнезда, тогда не до орехов будет...

— А чего мне падать! Я крыльями хлоп-хлоп — и улечу!

Подражая птице, Симукас раскрывает полы куртки, но, поскользнувшись, еле удерживается на дереве.

— Вот будет тебе хлоп-хлоп! — смеется дядя Каспарас и, поговорив еще о чем-нибудь, пожурив пастушка, продолжает свой путь.

На лугу появляются девушки с граблями. Симукас мог бы сложить песню и про них, но сейчас ему приходит на ум другое. Когда девушки подходят ближе, на них падают одна за другой шишки, и тонкий голосок разливается по полю:

Она, Она прекрасная жена,
Слушает своего господина она!

Девушки хохочут и дразнят Симукаса:

— Вот еще тоже певец нашелся! Проходу не дает. А сам штаны застегнуть не умеет!

Симукас задумывается, что бы им ответить, и не успевают они отойти на несколько шагов, как их догоняет новая песня:

В Ламбурге, Магдебурге толпы крестоносцев,
Готовятся они наш край разорить...

Эй-эй! — кричит он вдруг, прерывая пение.

Каждой скотине Симукас придумал кличку. Маленького теленка он называет Попрыгунчиком. Это молодой и глупый теленок. Он боится оводов; и Симукасу даже в самый холодный день достаточно зажужжать, подражая оводу, осе или пчеле, как Попрыгунчик, задрав хвост, уже мчится по полю. Самого маленького барашка, с белой звездочкой на лбу, Симукас прозвал Горе-

мыкой. Барашек как-то покалечил себе передние ноги и мог пастись, только стоя на коленях. Симукас его любит больше всех и делится с ним хлебом. Если Горемыка отстаёт от овечьего стада, Симукас берет барашка на руки и несет его, приговаривая:

— Ох ты мой Горемыка! Ох ты сиротинка моя!..

Иногда Симукас плетет венок из куриной слепоты или из васильков и надевает его барашку на рожки. Горемыка, не понимая, что с ним делают, стоит терпеливо, глядя на Симукаса добрыми глазами. Однако со временем Горемыка изловчился сбрасывать свой венок и тут же съедать это украшение.

Когда Симукас ложится где-нибудь на лугу, чтобы вздремнуть, Горемыка подходит к нему и пытается облизать его лицо.

Прохожие, слышав пение Симукаса, останавливаются и спрашивают:

— Чей это скот? Как эта деревня называется, паренек?

Я Симас Андриан,

Всех коров капитан!.. Тра-ля-ля-ля!

И Симукас убегает, продолжая петь. Его голос уже звенит далеко-далеко, у самого леса:

— Ау, Юргис, Юргис, дай табачку!

И кто-то отзывается из чащи. Может быть, это спокойный большой вечер или сам лес, а может, другой такой же Симукас:

«Юргис, Юргис, дай табачку!»

Вначале Симукасу кажется, что это кто-нибудь из барских пастухов вздумал посмеяться над ним. Он кричит еще громче:

— Я не с тобой говорю. Замолчи!

«Я не с тобой... Молчи!» — долетает ответ.

Симукас понимает, что это эхо повторяет его слова, но ему все-таки неясно, каким образом может вернуться к нему его голос. Нет, эхо, должно быть, и есть тот насмешливый, большой, обросший мхом, корявый, как вывороченное с корнями дерево, старик.

— Ку-ка-реку! — кричит Симукас.

«Ку-ка-реку!» — отвечает эхо.

Симукас почти сердится на эхо и кричит, надрывая голос. Но он не может обуздать этого болтуна — тот все свое. Лучше уж самому замолчать.

...Симукас был такой живой, веселый. Встречаясь с ним на меже, мы разговаривали обо всем. Он был старше меня на полгода. Состязаться с ним в быстроте и ловкости было трудно. Когда в полдень коровы ложились в тень, мы с Симукасом поднимались на холм собирать землянику. Симукас любил говорить обо всем и обо всем расспрашивать. Услышит он, бывало, где-нибудь за лесом шум, припадет к земле, приложит ухо и говорит:

— Ероплан летит.

Тогда мы взбираемся на верхушку какого-нибудь дерева и ждем. Долго ждать не приходится: действительно, далеко, у



горизонта, на небе появляются черные точки, сперва одна, потом две, три...

— Много. Десять. Нет, сто! Будет война! — говорит Симукас и лезет еще выше.

Мы думаем, что, взобравшись на верхушку самого высокого дерева, сможем рукой достать самолет. И вдруг мы слышим — наши «еропланы»: «Карр-карр!..»

— Вороны! — говорю я Симукасу.

Оба мы, удрученные, слезаем с дерева. Симукас, почесывая ногу, говорит:

— Вот было бы у нас железо и корыто, можно бы сделать ероплан. Ты бы куда полетел?

Я не знаю, куда лучше лететь. А Симукас, взяв с собой топор, полетел бы на Луну или на какую-нибудь звезду и привез бы много меди. Он говорит, что Луна медная.

Набрав ягод, на обратном пути мы встречаем дядю Каспараса. Симукас расспрашивает его о самолете: из чего он сделан, может ли он опуститься на дерево и какой он величины.

Каспарас объясняет, что самолеты живые и они, как и другие птицы, кладут яйца. Мы с Симукасом понимаем, что дядя над нами подшутил, и больше ни о чем его не расспрашиваем.

Коровы все еще лежат, и мы принимаемся кувыркаться в траве. Когда мы устаем кувыркаться, Симукас ломает голову над тем, что бы такое еще выкинуть.

— Во-о,— кричит он,— какой большой комар!

Действительно, на ноге у него сидит комар и пьет кровь, брюшко его заметно вздувается. Симукас хлопает ладонью по ноге и убивает его:

— Получай по шапке! Вот тебе! Чтобы не пил нашей крови... Эх ты, буржуй!

Надвигается туча, и с неба падают большие капли дождя. Куда деваться? Мы снимаем пиджачки, выворачиваем их и, стараясь перекричать друг друга, бежим к реке посмотреть, как капли дождя падают в воду.

— Солнце и дождь, солнце и дождь, король без хлеба остался! — кричим мы в один голос.

Дождь скоро проходит, вода в канавах поет и пенится. Мы решаем соорудить запруды и задержать воду; она несется между грядами, и ее жадно впитывает потрескавшаяся земля.

За лесом на небе появляется радуга, и мы бежим туда разглядеть ее вблизи.

— Из чего она сделана? — спрашиваю я Симукаса.

Вот уже и край леса, отсюда должна подниматься радуга, но теперь она отодвигается еще дальше. Запыхавшись, мы пускаемся по полю и так ясно ее видим, что даже замечаем кочку, откуда, как нам кажется, она выходит. Подбегаем к кочке и, нагнувшись, разглядываем землю. Гудит. И как будто шипит что-то...

— Это она в землю ушла,— говорю я Симукасу.

— Дурак! Она же не крот! Во, во! Она из дождевых капель!..

Симукас показывает пальцем: радуга, как будто дразня нас, опять встает на расстоянии каких-нибудь ста шагов от нас. Убедившись, что нам ее не догнать, мы любуемся удивительной дугой из зеленых, розовых и лиловых полос, опоясывающей всю деревню.

— Она теперь пьет воду. Слышишь, как шумит? Потом она ее выпрыснет,— догадываюсь я.

— Разве у нее есть рот? Говорю тебе — она из капель.

— А почему она бежит от нас?..

Радуга уходит все дальше и дальше. Одно мгновение она горит такими яркими цветами, что даже в глазах рябит, а потом угасает.

Наше внимание отвлекает стайка пролетевших над головами птиц. Они летят так низко, что даже касаются крыльями наших лиц.

— Скворцы! — кричит Симукас.— Ну-ка, отгадай, сколько их!.. Один, два, три, четыре... десять... четырнадцать, пятнадцать... двадцать... сто десять, сто одиннадцать!..

— Отгадай ты! — говорю я.— Какое тут сто одиннадцать! Их будет тысяча, не меньше.

Стайка птиц постепенно сливается в одно неясное пятно, которое вдруг стремительно взмывает вверх, потом чуть спускается и, словно шапка, повисев немного в небе, опять падает вниз где-то за лесом.

— Я еще вижу их!.. Нет, не вижу... Нет, вижу!..— Симукас, прищурив глаза, глядит вдаль.— Они уже за Каунасом!

Симукас все знает, и лучше не пытайся его переспорить. Он мне объясняет, что этих птиц называют скворцами* потому, что они разговаривают между собой.

— А другие птицы разговаривать не умеют,— добавляю я.

— Умеют! И аисты разговаривают. Знаешь, они так клювом: кап, кап, кап... А собаки умеют читать, и наша кошка читает, и ваша, и Кудóкасов Жеюрис тоже читает...

По словам Симукаса выходит, что собаки и даже овцы умнее нас.

Уже поздний вечер. Тени, падающие от коров и домов, растягиваются по всей деревне, и мы с Симукасом решаем разжечь на следующий день костер, а чтобы было больше дыма, уже с вечера запасаемся сырым мхом.

И сегодня у меня перед глазами стоит этот вечер. Симукас бежит по клеверу, потом останавливается и кричит мне:

— Смотри! Я еду на велосипеде. Трю-трю!

Симукас бежит и прыгает то на одной, то на другой ноге — так он изображает езду на велосипеде. Некоторое время я вижу его, потом голова его теряется в темных волнах клевера. На небе,

в том месте, куда спускается солнце, долго еще стоят тянущиеся ввысь длинные красные пальцы. Я смотрю на запад, прислушиваюсь к плывущим, поглощающим все вокруг звукам, вижу, как в облаках поднимается огромный охотник, а за ним собака. Мне делается страшно. Я бросаюсь к матери, которая доит корову, и испуганно шепчу:

— Мама, мама...

— Что, деточка, что?.. Вот за день набаловался, наплясался, а теперь... Сейчас я пригоню коров, ступай домой,— говорит она, и теплое пахучее молоко тонкими белыми струйками грустно поет в подойнике.

Огромный охотник идет по облакам, взбирается на самое небо. Густая темнота заволакивает мне глаза. Я хочу показать матери охотника; прижимаясь к ней, обхватываю обеими руками ее голову и говорю дрожащим голосом:

— Мама, смотри, какая собака на небе... Она разорвет Симукаса...

— Деточка, да ты уже спишь... Ступай домой, ступай, я сейчас вернусь.

Но я боюсь даже двинуться с места. Мать поворачивается к западу, на ее лице вспыхивает последний луч заката. Охотник идет прямо на нас. Я начинаю дрожать. И когда мать, подоив, распутывает корову, я бегу рядом с ней, вцепившись в ее юбку и спрятав голову в ее подол. Я не хочу смотреть на этот страшный и грустный вечер.

Прошел год. Мы с Симукасом подросли и зимой стали ходить в школу, которую открыли в нашей деревне. Следующей осенью мы думали закончить первое отделение и поговаривали о книгах, которые нам придется прочесть. Раньше мы горевали, что солнце спускается в колодезь кубренского имения, но по дороге в школу убедились, что за имением опять тянутся луга и леса и что мир стал больше, чем был в прошлом году.

Давно уже нас манила к себе ветряная мельница, которая вертела крыльями за долиной, на западе. Мы никогда не были и в городе, о котором так много мечтали. Симукас был уверен, что в городе можно купить все, что только захочешь, чего только душа пожелает. В городе, как казалось Симукасу, от одного дома к другому протянуты веревки, а на них болтаются калачи, бублики и косы. Торговцы сидят на крышах, а внизу ходят покупатели и торгуются.

Мне город казался немного иным. Я его представлял себе обольстительно пахучим. Когда мать или отец возвращались из города и разворачивали покупки, в комнате так вкусно пахло, что я не раз брал коробочки из-под перца, сахара, дрожжей или квасцов и прятал под кровать. Потом я жадно принюхивался к ним, закрывая глаза, и представлял себе город.

Дядя Каспарас, который бывал в Вильнюсе, рассказывал, что видел в городе стеклянные дома. Эти стеклянные дома часто мерещились мне. Я даже несколько раз видел их во сне.

Но вот мы с Симукасом настолько выросли, что уже не боялись заблудиться в кустах, не боялись отходить от дома до такого места, откуда виднеются только крыши наших изб, и решили самостоятельно совершить путешествие.

Однажды, никому ничего не сказав, только попросив дядю Каспараса попасть вместо нас скотину, мы, босые и без шапок, двинулись в сторону города.

К полудню небо прояснилось. В воздухе летает белая нежная паутина, в которой кружатся крохотные паучки. Вскоре метлицу, репейник и можжевельник опутывает тонкая, колышущаяся от легкого ветерка сетка. Кажется, в этот день пауки справляют свою свадьбу. На наших босых ногах появляется шелковая обувь, а маленькие паучки снуют от стебелька к стебельку, от травинки к травинке, протягивая свои нити. Они так бойко работают, что все вокруг покрывается серебряной тканью, нити ее путаются у нас в волосах, на ресницах и обвиваются вокруг шеи.

Но это нас не интересует! В кармане Симукаса, в маленькой коробочке из-под мази, звенят три монетки. Эти деньги ведут нас в неизвестный город. Чего только не мечтаем мы на них купить! Нам кажется, что за такие деньги можно приобрести по гармошке, по велосипеду, даже по самолету. В городе должно быть все. Но прежде всего мы решаем купить сахарных барашков.

— Если бы ты был королем, что бы ты сделал? — спрашивает Симукас.

— Я... я купил бы велосипед и сто голубей, и мне не надо было бы пасти коров, пусть бы им осталось все молоко...

— И я бы купил велосипед.

Немного постояв в раздумье на перекрестке, мы пускаемся дальше по накатанной дороге. Оглянувшись, мы видим вдали поля нашей деревни. Далеко-далеко стоят наши избы. Я даже различаю на холмике своих коров, а Симукас, взобравшись на пригорок и вглядевшись, замечает свою Предводительницу, которая как будто плывет по пастбищу. Она крохотная-крохотная, как паук, и рога у нее блестят на солнце. Чтобы лучше видеть, мы прикрываем глаза ладонями.

Теперь, что ни шаг, перед нами открываются невиданные картины. Там, вдали, краснеет большой дом усадьбы, потом мы видим огромный пруд, на нем много гусей. По дороге мы встречаем незнакомых людей. Одним мы кланяемся еще издали, от других прячемся в траву.

Из одной избы, стоящей у дороги, выбегает небольшая черная собачка и как бешеная кидается на нас. На минуту мы замираем от страха — может быть, нам вернуться обратно? Но из избы выбегает баба и успокаивает:

— Не бойтесь, дети. Она не кусается. Идите себе, идите!

И правда, собачка, немного полаяв, виляет хвостом и так к нам ластится, что даже дает себя погладить.

— Сабáлюк, Сабáлюк, идем в город! — говорит ей Симукас, и собака следует за нами.

Должно быть, ее и на самом деле зовут Сабалюк, потому что она довольно долго бежит за нами. Потом, повалявшись в дорожной пыли, отстаёт.

— Во, гляди! Мельница! — кричим мы оба в один голос, увидев выступившие из-за кустов крылья мельницы и кровлю, похожую на шапку.

К мельнице мы бежим стремглав. Земля вокруг нее истоптана копытами лошадей, изъезжена колесами телег, а трава вся белая от мучной пыли.

Мы собираемся уже подняться по лестнице, посмотреть, как устроены жернова и шестерня, но на дороге показывается человек, который шагает прямо к мельнице.

— Немец! — кричит Симукас, и мы стремительно бежим прочь.

Мы знаем, что здесь где-то живет немец-мельник.

Как только мы добираемся до дороги, человек тоже сворачивает за нами, а когда мы, испугавшись, пытаемся вернуться к мельнице, человек, словно нарочно, тоже направляется к ней.

Теперь нам понятно: это действительно тот самый немец и он решил нас поймать. Только в чем же наша вина перед ним? Однако решать этот вопрос нет времени, мы бросаемся в рожь. Приложив ухо к земле, слушаем.

— Прошел уже?

— Громко не разговаривай! — толкает меня локтем Симукас.

Так, почти не дыша, высижив с добрый час, мы наконец на четвереньках выползаем на дорогу. Поднимаем головы, и — о ужас! Человек стоит в нескольких шагах от нас и ждет. На нем длинный черный пиджак и мешок за плечами.

Мы оба теряемся, не знаем, что делать.

— Ну, Антанук, отец дома? Теленка все еще не продали? — спрашивает человек, оборачиваясь к Симукасу.

Нас очень удивляет то, что он одного из нас называет Антанукасом. Но, как видно, это совсем не мельник, и Симукас отвечает:

— Мы не топтали рожь... Мой отец Андрионас, и он не из этой деревни.

— А у нас есть теленок на продажу, — осмелев, говорю я. — Идите прямо-прямо по дороге, и вы найдете маму...

Больше он ни о чем нас не спрашивает, только, вынув маленькую коробочку, нюхает табак и, отходя от нас, чихает так громко, что даже мешок соскальзывает у него с плеч.

— Это купец, — решает Симукас. — Раз чихает от табака, значит, купец.

— А для чего ему нюхать табак? — спрашиваем мы друг друга и смотрим на удаляющегося незнакомца.

Вскоре страх проходит, и мы опять смело выходим на дорогу. Наших изб уже не видно, их давно заслонили холмы и луга чужих деревень. Сердце у меня сжимается, словно я навеки лишился родного края. Я так долго думаю об этом, что чувствую, как тяжелеют мои ноги. Мне хочется домой, но Симукас смело шагает вперед, он даже поет:

Вышел отец в лес, в лес!..

Я опять оборачиваюсь в ту сторону, где должны быть наши избы, и, отстав от Симукаса, говорю:

— Лучше вернемся домой...

Симукас останавливается, потом нагибается, выковыривает что-то из земли и говорит:

— Ступай! Я один пойду! — И встряхивает жестяную коробочку с деньгами. — Куплю сахарных барашков и сам все съем... А на другие две монетки куплю гармошку...

Я стою и полными слез глазами смотрю то на Симукаса, то в сторону дома.

— А ты мне и не нужен! — говорит он, снимает пиджачок, перебрасывает его через плечо и бежит под гору.

Я сижу и глотаю слезы. Симукас исчезает из виду, потом, снова поднявшись на новый холм, кричит мне, махая пиджачком:

— Город! Беги сюда скорей! Вот так красота!

И я тороплюсь к Симукасу, думаю, что это чудо, появляющееся только на один миг, как молния, летней ночью прорезывающая небо. Вдали, за верхушками деревьев, я вижу белую башню. А богатства какие в городе! Как ты обрадовал нас, город, и какой от тебя исходил приятный запах!

Но ненадолго!

В нашей жизни было много чудес, много странных снов, обманчивых видений, их трудно было постичь детскому уму. На каждом шагу нас ждала опасность. Каждое дерево, каждый пенек, даже поросший мхом камень, мог стать препятствием на нашей дороге, мог обернуться в злого, живого врага.

Кто бы мог подумать, что через несколько лет из спокойных цветущих вод Немана, которые так манят к себе в жаркие летние дни, выступит красный остров, к которому поплывет один из наших друзей и уйдет на дно реки...

Кто бы мог тогда сказать нам, что не все ягоды съедобны, что в лесных кустарниках зреет волчья ягода, от которой в горле становится сухо, маленьких детей рвет и они заболевают, что в лесу часто вырастает под ногами злой гриб мухомор.

А мы с такой жадностью хватали все, торопясь все достать, схватить руками, попробовать на вкус.

На этот раз город нас обманул — он растаял и словно провалился сквозь землю. Мы остались стоять, одинокие, как два пальца.

...Солнце давно уже клонится к западу, мы боимся наступающей ночи.

Симукас хмурится.

— А может, это был совсем и не город, — поглядывая на друга, говорю я. — Пойдем домой... Не надо мне никаких сахарных барашков.

Симукас не возражает. Волоча ушибленную ногу, он послушно поворачивает назад.

Когда мы подходим к мельнице, солнце становится красным и большим — в полнеба. Запад весь горит, заревом затянуло весь тот край, где нам только что почудился город.

Когда мы, потные, запыленные, со сбитыми до крови ногами, различаем наконец в сумерках свои родные крыши, то начинаем приплясывать от радости. Нам кажется, что мы расстались с ними много лет назад.

— Вот наше гумно! А это клеть... Я все вижу! Во, дымит, должно быть, ужин варят! — кричит Симукас, вытирая слезы.

— А это — наша крыша!.. Нет, наша деревня красивее, чем город. И лучше, чем Каунас... А по-твоему?

— И по-моему тоже, — отвечает Симукас.



Ионас Билюнас

БЕГЛЕЦ

Невдалеке за холмом загудел паровоз. Шел первый день праздника всех святых, время обедни, поэтому людей на станции было немного. На перроне топтались только начальник станции в красной фуражке да важный жандарм с большим и таким же красным, как фуражка начальника, носом. Нос этот, словно кочка, торчал на его рябой физиономии; в сторонке, у стены, скорчившись на земле, сидела еврейка-торговка с баранками и булочками, около нее вертелись трое ее малышей... Еще ближе гудок паровоза — все замолчали и вытянули шеи. Тут же из-за деревьев клубами повалил дым, и поезд, грохоча и фыркая, с лязгом остановился. Из вагонов вылезло несколько евреев, пузатый барин с барыней и сыном-подростком, две женщины; последним сошел на перрон молодой человек в форме студента-технолога. Он огляделся по сторонам, будто искал кого-то, потом свернул от станции на большак и, неся в руке узелок, направился в местечко.

— Не знаешь ли, кто таков? — спросил жандарм у начальника станции.

— Да вроде Гайгалас,— ответил тот и посмотрел на дорогу, по которой шагал студент.

— А чего он сюда приехал? — снова спросил жандарм, вспомнив узелок студента.

— Наверно, к своим, они тут неподалеку живут. Да он и сам родом отсюда.

— М-м,— промычал жандарм и подозрительно посмотрел на дорогу.

Студент тем временем уже шел по улицам местечка и клял грязь, которую приходилось месить. Это и в самом деле был Гайгалас, «инженер», как его называли в округе. Учился он в Петербурге. Окончил три курса. Но в прошлом году во время волнений в канун пасхи вместе с другими его отчислили из института. Гайгалас не растерялся: вернулся в Литву, поселился в одном городе, получил несколько уроков, кое-как перебивался и ждал, когда разрешат продолжать учебу.

Устроившись поблизости от родных мест, среди своих, он сначала изредка, а потом все чаще стал бывать там, познакомился и близко сошелся с несколькими тамошними парнями и пристрастился к встречам и разговорам с ними. Прежде, еще учась в гимназии, он почти не сталкивался с окрестной молодежью. Сначала, пока хотел еще быть ксендзом, не задумывался о необходимости такого общения, потом, уже решив получить высшее образование, первым делом вгрызся в книги, стремясь к собственному духовному развитию, решив как можно продуктивнее использовать годы учения. Правда, он уже и тогда понимал, что нужно быть ближе к людям, главным образом к молодым, способствовать распространению среди них света и знаний, но все как-то не получалось — то случая не было, то времени. В последний гимназический год и учась уже в Петербурге, во время каникул ездил с лекциями на практику — родные места навещал очень редко и коротко. Только когда его выгнали из института и он возвратился в Литву, смог наконец сойтись с молодежью и начать с ней работу.

Поселившись в Литве и подружившись с несколькими юношами, Гайгалас с удивлением обнаружил: парни, на которых он прежде совершенно не обращал внимания, были не такими уж темными, как он полагал,— они читали газеты и распространяли книжки. Еще больше удивился он, узнав, что организовали это нынешние гимназисты. Ему стало и стыдно, и радостно. Стыдно за себя и других своих товарищей-студентов, которые умели только красиво разглагольствовать о новом поколении учащихся: эти подростки, хотя они, может, и не умели краснó говорить, пытались делать дело. Парни рассказали Гайгаласу, что главным заводилой был у них гимназист четвертого класса Антанас Бальчюнас. Он трижды в год приезжал домой на каникулы и всегда привозил связку книг, которые распространял среди молодежи.

Узнав об этом, Гайгалас только пожал плечами.

— Ведь он мой племянник, сын покойной сестры, — смущенно улыбался он, — а я почти не обращал на него внимания, относился как к ребенку...

Но Гайгалас не забыл, что сам уговорил шурина отправить Антанаса на учебу, сам подготовил его и помог устроить в гимназию. Когда он уезжал в Петербург, Антанас был во втором классе. Потом виделся с ним лишь в каникулы — во время своих коротких приездов; правда, при встречах давал ему читать кое-какие литовские книжки и газеты, говорил, что надо их передать другим, но сойтись ближе было некогда, поэтому он и не ведал, какие семена заронили эти сочинения в чуткой душе Антанаса. Лишь в прошлом году, встретившись с парнями из своей деревни, узнал он о делах Антанаса, понял, что племянник оставил его далеко позади, — он только мечтал о работе среди молодежи деревни и мсстечка, а Антанас уже занимался этим. Пример подростка подтолкнул к живому делу и его самого. Ему захотелось непременно встретиться с Антанасом, поговорить с ним, но все как-то не удавалось: то он не мог приехать к родным, когда Антанас был дома, то, приезжая, не заставал его. А этой осенью шурин рассказал, что Антанас уехал в Каунас, собирается в ксендзы. Сначала Гайгалас не захотел верить, напал на шурина, почему, дескать, не разрешил сыну закончить гимназию? Но когда тот, хоть Бальчюнасы и были зажиточными хозяевами, сказал, что не на что учить, — махнул рукой. Очень жаль было Антанаса, тянувшегося к знанию, книгам, но помочь ему Гайгалас ничем не мог: был гол как сокол.

«В конце концов, он же сам согласился стать ксендзом, — рассуждал он, успокаивая себя, — может, и правда у него призвание к духовной деятельности?»

Но соседские парни рассказали, что Антанас лишь по настоянию отца уехал в семинарию, тот, мол, даже бил его. Так что никакого «призвания» у молодого Бальчюнаса и в помине не было. Гайгалас не знал, что делать. Понимал: с шурином все равно не сговоришься. Наконец послал в Каунас письмо, просил, чтобы племянник дал о себе знать, рассказал, как все было. Однако ответа не дождался.

«Может, пообвыкся в семинарии, потому и не желает писать?» — подумал Гайгалас.

Но ему все-таки очень хотелось знать, как дела у Антанаса. И теперь, шагая по грязище от станции, он думал о нем. Рассчитывал увидеться с кем-нибудь из парней, поговорить о делах, об Антанасе расспросить...

Пройдя две улицы, Гайгалас очутился возле красного кирпичного дома. Здесь помещалась лавка еврея Берелиса. К этому Берелису Гайгалас, когда приезжал, всегда заглядывал. Здесь можно

было встретиться с родственниками, знакомыми, оставить на время свои вещи...

Гайгалас вошел в лавку, поздоровался с хозяйкой и через другую дверь прошел в комнату. Тут, в углу, сидело двое парней: один деревенский, лет двадцати пяти, высокий, светловолосый, с веселыми голубыми глазами, — его звали Юргис; а второй еще совсем молодой, лет семнадцати, гимназист. Сидели они рядышком и тихо, но горячо о чем-то беседовали. Услыхав скрип открываемой двери, умолкли.

— Антанас! — удивленно воскликнул Гайгалас, присмотревшись к гимназисту. — Каким ветром тебя занесло! Я-то думал, — продолжал он, пожимая руку племяннику и его товарищу, — что ты в Каунасской семинарии закон божий долбишь, в ксендзовской сутане щеголяешь. Отец твой сказал, что ты в Каунасе, что согласился быть ксендзом.

Антанас, грустно улыбаясь, молчал.

— Он, видите ли, сбежал из семинарии, — засмеялся Юргис.

— Сбежал?! — Гайгалас вскочил со стула. — Ну, дружище, чего же ты молчишь? Такой решительный шаг сделал, а теперь нос повесил! Ну-ка рассказывай все по порядку: из-за чего сбежал-то?

— Не понравилось... — неохотно ответил Антанас и вздохнул.

— Это я понимаю, что не понравилось, но почему? — не отставал Гайгалас.

— Разве может нравиться такое дело? — подняв на него глаза, убежденно проговорил Антанас. — Приехал в Каунас и попал будто в какую-то тюрьму: ни друзей, ни знакомых, ни литовских книг, ни газет, — ничего, к чему привык: заперли в четырех стенах, во всем ограничивают, стерегут; да и среди самих клириков шпионы есть, ходят за тобой следом, словно жандармы, за каждым шагом следят... Я там и месяца не выдержал — плюнул и ушел.

— Что же ты, братец, — с притворной укоризной покачал головой Гайгалас, — надо было бы хоть первый курс кончить, тебя бы там кое-чему научили; через год-другой смотрел бы на нас сверху вниз, как на безбожников или заблудших, считал бы себя умнее всех...

— Никогда! — чуть не со слезами возразил Антанас.

— Приходилось такие речи слышать и от других, а через год, глядишь, уже суют богомолкам руку для поцелуя...

— Может, и есть такие, только не я! — твердо заявил Антанас. — Поехал в Каунас по требованию отца, но учиться в семинарии не собирался. Так и сказал ректору, когда приехал...

Ну и что же ректор? — заинтересовался Гайгалас.

А что ему! «Нехорошо, говорит, родительской воли не слушаться, куда ты, дескать, теперь денешься? Побудь немного, может, понравится, привыкнешь».

— И ты согласился?

— Согласился, потому что действительно хотел собраться с мыслями, решить, как дальше действовать, куда податься, но в семинарии все равно оставаться и не думал. Да только она так мне сразу опостылела, что пришлось бежать раньше, чем предполагал.

— Ну, ладно. И что же ты думаешь теперь делать?

— Не знаю,— печально ответил Антанас,— может, вы посоветуете? Ведь вы мне дядя...

— Ну что ж, надо что-нибудь сообразить,— сказал Гайгалас,— потому что ксендз из тебя, как я вижу, еще хуже, чем из меня... Только прежде вот что,— обернулся он к светловолосому парню,— возьми-ка, Юргис, этот узелок и снеси его нашим знакомым, привез вам новые газеты и книжки...

— Можно посмотреть? — загорелся Юргис.

— Успеешь, успеешь! — удержал его Гайгалас.— Тут, у Берелиса, несподручно. Снеси и сейчас же назад. Скажи ребятам, пусть тоже приходят — поговорим. Найдете нас на чердаке — знаешь? Уж там-то никому не будем глаза мозолить.

— Знаю, знаю,— кивнул Юргис, выходя с узелком.

Гайгалас попросил у хозяйки ключ, и они с Антанасом, взобравшись наверх, заперлись в чердачной светелке. Долго ходил Гайгалас от стены к стене, раздумывая, что делать, какой совет дать Антанасу. Но предложить какой-то выход было нелегко. Наконец он спросил:

— Скажи-ка мне вот что, Антанас, а не согласится ли отец снова отправить тебя в гимназию? Не просил ли ты его об этом?

— Просить-то просил, только — какое там! — махнул рукой Антанас.— И слушать не желает.

— Что же говорит?

— А что он может сказать? «Я, говорит, выбью у тебя из головы эту дурь — попомнишь ты меня! Будешь сидеть дома! Запрягу в работу, сам в семинарию запросишься; а не станешь слушаться, говорит, палку возьму! Так выдеру, что пар пойдет!»

— Неужели и теперь дерется?

— Еще как! Если б вы только знали... Ведь я от работы не бегаю,— жаловался Антанас,— с удовольствием бы и самую трудную выполнял. Но отцу все мало. Малейшую промашку подмечает, ругает, бьет. И при своих, и при чужих людях — глаза от стыда прятать некуда. А уж эти его насмешки да поучения — каждый день меня грызет! — так они еще хуже, чем побои. Долго я терпел. Ладно, думаю, как-нибудь перетерплю! Мечтал даже, что, находясь среди своих, успешнее смогу литовские книги и газеты распространять, хоть такую пользу приносить родине. Да где там! Вижу, ничего не выйдет: так скверно, что хоть беги куда глаза глядят...

— И мачеха тебя не жалеет?

— Жалеет, заступается; даже уговаривает отца пустить в гимназию. Но что с ним сделаешь?.. Да и не мать она мне...

— И какой черт вбил шурина в башку эту дурацкую идею! — в сердцах воскликнул Гайгалас. — Сам-то, как шляхтич какой, и к обедне, слышать, опаздывает, а вот сына ему непременно надо ксендзом сделать! Когда же у нас наконец исчезнут эти пред-
рассудки?

Студент расхаживал по комнате и дрожащей рукой пытался пригладить взлохмаченную голову. Лицо покраснелось, глаза сверкали, словно угли; кровь так и кипела, а мысли ураганом проносились в голове. Один план сменялся другим, но все они не годились, были невыполнимы. Невозможно описать, как жаль ему было Антанаса, хотелось хоть как-то помочь ему. Раньше, может, он не так близко к сердцу принял бы его неудачи... Но теперь... Теперь Антанас уже не казался ему мальчиком, как думал о нем Гайгалас прежде, он вырос и окреп, стал серьезным человеком. Ему непременно надо окончить гимназию, университет; от таких, как он, да еще получивших высшее образование, смело можно ждать пользы, считал Гайгалас. Он видел, что Антанас привязан к своим землякам, с большим желанием встречается с ними, ведет среди них работу, пробуждает сознательность. А такой фундамент, в самую хорошую пору заложенный, не скоро рухнет: взгляды и убеждения, рано приобретенные, не позволят человеку превратиться в ничто, побудят его и дальше развиваться и совершенствоваться; скверно получается лишь тогда, когда у человека отсутствуют твердые убеждения. Это Гайгалас хорошо знал, насмотревшись на своих коллег-студентов. Если и можно чего-то хорошего ожидать, так лишь от тех, кто уже из гимназии вынес кое-что.

Но как помочь Антанасу, Гайгалас придумать не мог...

— Отец твой сегодня дома? — наконец спросил он у Антанаса.

— Да.

— Ну, так я с ним поговорю...

— Он на вас сердит, — нерешительно сообщил Антанас.

— За что? — вытаращил глаза Гайгалас.

— Считает, что я бросил семинарию под вашим влиянием, мол, вы уговорили.

— Да у него что, в голове помутилось? — рассердился Гайгалас. — Я ведь с тобой в последние годы почти не виделся, да и раньше у нас об этом никогда разговоров не было, маленьким ты еще был. Ладно. Ежели он так, то черт с ним! Не стану говорить: еще хуже может получиться. Поймет, что ты мне обо всем рассказал, еще, чего доброго, опять поколотит. Вот ведь паршивая история, будь она неладна! — выругался он, свирепо покусывая ус. — Затравит тебя отец, в ничтожество обратит. А какая ему

польза? Ни жалости, ни совести у человека!.. И зачем ты только, бросив семинарию, домой вернулся! Надо было в какую-нибудь аптеку или другое подобное заведение устроиться — все было бы лучше!

— Я так и сделал...

— Как это? А почему же ты здесь? — удивился Гайгалас.

— Да вы послушайте, — просительным голосом сказал Антанас, — я ж еще не все рассказал. Значит, поступил я, как уже сказал, в семинарию, но оставаться там не собирался. Сразу же написал в Москву одному знакомому, он там в аптске служит; просил подыскать мне место. Через две недели получил весточку, что место есть. А тут как раз ваше письмо пришло. Оно меня очень подбодрило. Не стал я больше ничего ждать, взял у ректора свои бумаги и укатил в Москву... Устроившись на работу, написал отцу письмо — все ему сообщил, просил не сердиться и простить. Получил ответ; читаю — волосы на голове дыбом встают: ругается, клянет на чем свет стоит! Приказал немедленно возвращаться домой, мол, если не вернусь, через полицию затребует. Испугался я — вдруг по этапу пригонят? — и приехал... А вам не написал — стыдно было.

— Ну и дурачок же ты! Испугался, что по этапу пригонят! У тебя паспорт есть?

— Есть...

— Так чего же тебе еще-то надо было?

— Я слышал, — покраснев, чуть не шепотом отвечал Антанас, — что отец всегда и отовсюду имеет право вытребовать к себе сына, даже по этапу, говорят, есть такой закон.

— Закон-то есть, да только на бумаге! — нетерпеливо отмахнулся Гайгалас. — Слава богу, прошли те времена, когда отец и убить своего сына имел право... Пригнать по этапу, чтобы потом бить и всячески помыкать?! И все только потому, что сын не хотел ксендзом быть! Взбесился он, что ли?! Скажи-ка лучше, ты твердо решил бросить семинарию?

— Конечно, твердо.

— Не вернешься, значит, даже если отец будет силой гнать и родные слезно упрашивать?

— Нет и нет!

— Но ведь тебе дома невоготу? Замучает отец.

— Ох, невоготу... — вздохнул Антанас, и слеза, большая, как горошина, скатилась у него по щеке.

— Так что же долго раздумывать? Езжай обратно в Москву.

— Отец не пустит...

— Не пустит?! — Гайгалас снова вскочил со стула. — По-езжай без спроса! Черт знает до чего может дойти человеческая глупость!

— У меня и денег-то нет на дорогу.

— Я дам!.. Вот что, — уже спокойно продолжал Гайгалас. —

Покинуть родительский дом, не сказавши никому ни слова, конечно, не очень красиво; но терпеть ругань и побои куда хуже! Поэтому уж лучше уйти, пусть и тайком, чем так жить. Я сам поговорю с твоим отцом, только в другой раз — теперь в сердцах могу все дело испортить... А сделаем мы так: сейчас я отправлюсь к брату, но послезавтра вернусь к себе. Обдумай до тех пор хорошенько, как и что, и, если надумаешь, приезжай прямо ко мне; тогда и решим, куда тебе деваться. Из дома ничего не бери: все, что нужно, я тебе дам. Конечно, плохо, что приходится уезжать: здесь ты очень полезен, но ничего не поделаешь, будем надеяться, что все образуется, вернешься и сможешь жить тут. А пока успокойся. Все будет хорошо. На свете по-разному бывает, нельзя сразу падать духом, есть люди, которым еще хуже, и то живут...

Пока они так беседовали, отворилась дверь светелки, появился Юргис и с ним еще трое парней. Двое еще совсем молодые: один — деревенский батрак, другой — приказчик из местечковой лавки, третий, постарше их, — портной, он шил людям, переходя из дома в дом. Все они были старыми товарищами Антанаса, его друзьями. Знал он их с детства, не порвал этой дружбы и поступив в гимназию. Когда Антанас начал получать запрещенные литовские издания — сначала от Гайгаласа, а потом и от других, — то, возвращаясь на каникулы домой, прежде всего делился этим богатством с ними. С третьего класса не было таких вакансий, чтобы Антанас не привез своим друзьям стопочку книг. Товарищи не могли нарадоваться его деятельности, а Антанас был ими доволен — число читателей литовской печати в их приходе быстро росло. В прошлом году, когда Гайгалас познакомился с этими людьми, они были уже довольно развитыми, даже подумывали о том, чтобы устроить литовскую библиотеку, приобрести гектограф; в местечке и его окрестностях было уже более пятидесяти постоянных читателей, среди них и несколько девушек; каждый месяц вносили они в кассу общества деньги на приобретение книг. Гайгалас, увидев, какому замечательному делу положил начало Антанас, как зреет эта нива, готов был в ладоши хлопать от радости. Не мог простить себе, что до сих пор дремал и оставался в стороне от такого важного дела: сейчас он улыбнулся, вспомнив, что сошелся с этими людьми лишь после того, как выперли его из института. «Не лучше ли было бы, чтобы царские власти побольше подобных мне господ гнали из институтов? — посмеивался он и над собой, и над другими студентами. — Посидев подольше в родных краях, не взялись ли бы они наконец за ум, вместо того чтобы таскаться во время каникул по России и мечтать о тепленьких местечках? Сколько можно было бы сделать полезных дел, если бы все это поняли!»

Гайгалас действительно был теперь доволен, что его выставили, — ведь иначе и его замыслы, возможно, не пошли бы дальше красивых слов и мечтаний. Он оживился, так приятно было ему

видеть этих молодых горячих парней, в глазах которых сияли отвага, любовь к людям, убежденность: это был источник, из которого он и сам черпал живительную силу духа. Глубоко запали в сердце Гайгаласа слова, которые однажды дрожащим от волнения голосом, наслушавшись его рассказов и чтения, произнес молодой деревенский батрак, который и сейчас был с ними:

— Я твердо верю, что наше дело святое, вижу, что тут написана правда, и поэтому мы будем работать изо всех сил! Пусть нас пока немного, но ряды наши растут, и верх все равно будет наш! Мы обязательно добьемся свободы и счастливого будущего...

Услышав такое из уст простого парня, Гайгалас понял, что для того это не пустая болтовня, как иногда случается в среде интеллигентов, а серьезное убеждение, горячая вера, и подумал, что долг каждого образованного человека — заботиться об укреплении этой веры и тоже работать изо всех сил, чтобы не обмануть чувства и разума пробужденных им людей...

И нынче эти парни пришли сюда — смелые, радостные, глаза их смеялись, щеки пылали. Увидев это, и Гайгалас с Антанасом повеселели. Посыпались новости, рассказы, шутки. Между прочим приказчик Пятрас Шлижюкас, до глубины души ненавидевший ханжей, сообщил им, что вчера его и еще одного парня из местечка зазвал к себе настоятель и стал расспрашивать, какие такие литовские книги они читают.

— Есть тут у нас одна христова невеста — Марцеля, — рассказывал он, — ухватила она где-то «Смерть» Матулайтиса и бегом к настоятелю! «Уж поверьте, святой отец, — кричит, — что это дело рук Шлижюкаса, он и сам читает, и другим сует!» Вот настоятель и потребовал нас к себе. Зачем, дескать, такие-сякие, безбожные книги читаете? «Неправда, — твердим, — безбожных мы и в глаза не видели! А коли Марцеля такое говорит, так, может, сама их читает?» Никакого толку он от нас не добился, хотя все время грозил: я-де вам покажу, распутники вы этакие, негодники!.. Теперь полгородка об этом скандале шепчется.

— А что, ежели вдруг испугаются люди и перестанут читать? — встревожился Гайгалас.

— Ну что вы такое говорите! — возразил Пятрас. — К запретному-то плоду человек всегда сильнее тянется. Со мной уже сегодня два наших местных парня заговорили, прежде-то они о чтении и думать не думали, а тут: не можешь ли, дескать, Пятрас, показать нам эту «Смерть»? Даже Она Блажите и та попросила! Теперь читателей еще больше станет!..

— А знаете, что настоятель сегодня в проповеди сказал? — вступил в разговор портной.

— Что?

— А то, что не были бы вы безбожниками, слушали бы проповеди, сами бы и знали! А теперь вот рассказывай вам...

— Ну, не тяни, говори! — подгоняли приятели.

— Взобрался, значит, наш настоятель на амвон и заявляет: полиция, мол, велела ему предупредить верующих, чтобы не смели читать воззваний, распространяемых нечестивцами в приходе, потому что, дескать, если поймают таких чтецов, то им крепко попадет!

— Не может быть!

— Точно! — подтвердил портной. — Так и сказал, что полиция, дескать, ему велела!

— Ай да ксендз-настоятель! Спасибо, хоть честно признался, кому служит, — засмеялся Гайгалас. — А что это за воззвания?

— Да ходят тут у нас листки, в которых вильнюсский епископ призывает, чтобы литовцы не пускали детей в православные школы.

— Как это он еще самого епископа не обругал, — хмыкнул Юргис, — вот смеху-то было бы...

— А знаете, еще чуть-чуть — и обругал бы! — весело отозвался Антанас. — Позавчера ходил я к отцу-настоятелю (меня туда родитель посылает, чтобы я ума-разума набирался), так ксендз нарочно завел разговор: молодежь, мол, распустилась, развратилась, всякий, мол, пастух разные там книжечки почитывает, безбожные воззвания распространяет! «И это, говорит, у нас в приходе! В проповеди, говорит, прокляну и сочинения такие, и их сочинителей, чтобы ни один человек не посмел читать!» А я ему: «Воззвания эти вовсе не безбожные, там говорится только об указании вильнюсского епископа». — «А ты, — спрашивает, — откуда знаешь?» — «Нашел, отвечаю, у дороги и прочитал». Ну и пересказал ему, что там написано. «Все равно, говорит, нехорошо идти против властей, людей будоражить...» Но, видно, обругать епископа не осмелился, потому только от имени полиции запретил людям читать.

— Одно удовольствие нынче проповеди слушать! — рассмеялся портной. — Раньше, бывало, дремлешь где-нибудь на скамье подальше от алтаря, а теперь как начнут страх нагонять, про всяких там безбожников да социалистов рассказывать, адом за чтение литовских книжек людей стращать — сразу просыпаешься, услаждаешь душу святыми словами наших пастырей...

Долго еще беседовали друзья. Гайгалас с Антанасом рассказали, где что делается, а Юргис сообщил немало сведений про волостное управление, где царили неописуемый беспорядок и всяческие несправедливости, про все это Юргис, будучи в волости сотским (отец у него довольно крепкий хозяин), знал очень хорошо. Гайгаласу пришла мысль: не выпустить ли им листовку, в которой указывалось бы и как необходимы и полезны людям литовские книги, и зачем они издаются, и почему ксендзы так их кланут и начинают действовать заодно с царской полицией, и отчего такие подлые порядки в их волости, и так далее?.. Все при-

няли его идею с величайшей радостью. Это будет их первый опыт. Гектограф и краску Гайгалас доставил еще в прошлый приезд, он же научил Юргиса со Шлижюкасом, как ими пользоваться. Прокламацию, короткую, но всем понятную и пламенную, сочинили они тут же на месте. Антанас взялся сегодня же переписать ее дома, а завтра вместе с Юргисом, который знал, как это делать, отпечатать штук пятьсот листовок. Решено было распространить их в среду, в базарный день, когда по всем дорогам съезжается в местечко множество окрестного народа.

Наконец друзья разошлись, и Гайгалас, еще раз напомнив Антанасу, чтобы тот не забыл, о чем они договорились, отправился к брату.

Было раннее осеннее утро, когда молодой человек, покинув родной хутор, вышел на дорогу, ведущую в местечко. Это был наш знакомец Антанас. Одетый лишь в легкий весенний костюмчик, он быстро зашагал по дороге, неся в руке маленький узелок.

Утро было холодным и туманным; тишина и покой вокруг, только над недалёким березняком каркали вороны. Казалось, и человеку должно передаваться это спокойствие природы. Но Антанас покоя не ощущал. В глубине его души кипела тревога, шла борьба между чувствами и рассудком. Хотя шагал он быстро, но эта тревога порой охватывала все его тело, даже ноги немели, и трудно было их передвигать. Против своей воли он останавливался, оглядывался на хутор, который только что покинул, и тяжело вздыхал.

«Вот до чего дошло, — лихорадочно думал он, — бегу тайком из родительского дома, где вырос, где детство свое провел. Правда, в последнее время видел я тут только унижения и ненависть. А как обидно, что приходится покидать товарищей, с которыми было мне так хорошо, оставлять дело, к которому был я так привязан... Все приходится бросать и бежать... от родного отца. И что ждет впереди? Ворочусь ли когда-нибудь назад?!»

Он вспомнил, как еще на днях встретился с друзьями, как разговаривали они и шутили, как вдвоем с Юргисом печатали на гектографе листовки, как потом всю ночь разбрасывали и расклеивали их на всех дорогах, и какой это вызвало шум среди людей и в полиции. Приятно все это вспоминать и невозможно забыть... На прощанье он признался друзьям, что решил тайком уйти из отцовского дома и снова уехать в Москву, в аптеку, так как другого пути у него нет. Товарищи жалели его, хотя видели, что оставаться у отца ему невозможно. Они даже сами советовали скорее уезжать, только просили, чтобы через пару лет обязательно возвратился на родину. Вернешься, мол, устроишься в какой-нибудь аптеке и будешь опять среди своих трудиться. Растроганный их просьбами, Антанас клятвенно пообещал вернуться...

— Ничего, не пропаду,— произнес он вслух, вспомнив этот последний разговор.— И в Литву непременно вернусь!

Словно луч надежды осветил его лицо, глаза засияли отвагой, он распрямился и уже более твердыми шагами уверенно зашагал вперед. И чем дальше уходил от хутора, тем спокойнее становилось на душе. Конечно, жалко было оставлять родной дом и близких, не совсем красиво поступил он с ними, но Антанас понимал, что не виноват; наладить с отцом прежние хорошие отношения можно было бы лишь в том случае, если бы он согласился вернуться в семинарию, а делать этого он не желал. Поэтому твердым шагом дошел он до станции и уехал первым же поездом, хотя и с печалью в сердце, но уже куда спокойнее, чем в те минуты, когда выходил из дома. Только где-то глубоко-глубоко в душе, словно заноза, засела в нем невидимая тревога.

В тот же день, ближе к полудню, Антанас был у Гайгаласа, который уже вторые сутки поджидал его и волновался, опасаясь, что племянник не решится уйти из дому и не приедет. Хотя он и ждал Антанаса, но, увидев его, ощутил в глубине души тревогу, словно сам в чем-то был виноват. Успокаивал юношу, но был озабочен; его пугало неопределенное будущее Антанаса. Только когда племянник бодрым голосом рассказал ему, как они печатали и распространяли листовки, как расставался он с товарищами и как уходил из отцовского дома, Гайгалас успокоился и решил: видно, что такой парень не пропадет, не собьется с пути.

— Самое замечательное было бы, если бы ты мог снова поступить в гимназию и окончить ее! — сказал Гайгалас.— Но это трудно! Я помочь не смогу, сам из дому ничего не получаю, из института уволен и едва концы с концами свожу, а тут еще долги, знакомых нет; а в одиночку ты гимназии не вытянешь — силенок не хватит.

— Так и нечего об этом говорить,— ответил Антанас,— вернусь в свою аптеку. Это уже решено. Поступлю туда же, где работал в свой первый приезд из Каунаса; думаю, что место мое еще не занято.

— Конечно, с аптекой меньше забот,— согласился Гайгалас,— сразу же получишь работу, и денег за учение платить не нужно. Я только одного опасаюсь: как бы не застрял ты в этой аптеке, вдали от родного края. Здесь ты так нужен был! Книжки и газеты распространял, с молодежью встречался, беседы проводил, все тебя любили. Таких, как ты, у нас мало! А там, среди чужих, незнакомых людей, которым плевать на наши дела и заботы, как бы не позабыл ты про все и всех...

— Никогда! — воскликнул Антанас, вскочив со стула с пылающим лицом,— я обещаю вам, что обязательно через два-три года вернусь в Литву, буду жить и работать среди своих, буду делать все то, что и до сих пор делал.

— Ладно, ладно,— грустно улыбнулся Гайгалас,— к чему

эти клятвы! Лучше пиши почаще о себе, и я тоже буду тебе писать: все какая-никакая ниточка, крепче и дольше продержишься, не так скоро нас забудешь. А теперь сразу же напиши письмо отцу, я тоже напишу. Не бойся, не станет отец через полицию тебя требовать, а если и попытается, ничего у него не выйдет. На всякий случай, если что не так, сразу же сообщи мне; на рождество снова буду у брата, сам с твоим отцом поговорю...

На следующее утро Гайгалас дал Антанасу несколько рубашек, штаны, одел его в свое поношенное пальто, одолжил денег на дорогу и проводил до вокзала. Когда поезд, лязгая и пыхтя, отошел, Гайгаласу стало так больно и горько, что он поспешил скорее выйти на улицу, где, сам того не заметив, смахнул со щек слезы. Его охватили тревога и страх.

«Что ждет этого парня? — думал он, возвращаясь домой. — Может, с нынешнего дня он уже навсегда потерян для родного края, не вернется? Или скоро забудет обо всем, ничего больше знать не захочет? Неужели не придет наконец такое время, когда сыновья, не желающие учиться в духовной семинарии, не будут терять место в сердцах своих отцов, и приют в их домах, и близость с единомышленниками? А то какая от них польза людям?» Гайгалас испытывал двойственное отношение к Антанасу: то ему казалось, что он поступил нехорошо, уехав в чужие края, то видел, что другого выхода у парня не было.

— Что же всему этому причиной? — произнес он вслух, остановившись посреди улицы.

Но ему никто не ответил; только мысли еще яростнее зароелись в голове, стремясь отыскать причину всех этих горестных событий и отношений...

Узнав обо всем, отец Антанаса сначала проклинал сына, грозил, что не простит ему, но вскоре утих, успокоился, особенно когда узнал, что Антанас прилично устроился. Потом стал даже хвастать, дескать, сам отпустил сына в Москву, Антанас там неплохо зарабатывает, а когда станет помощником, а потом и провизором, то вон сколько денег загребать будет! А теперь, переубежденный Гайгаласом, он даже другого своего сына хочет послать учиться.

— Этот-то уж точно будет ксендзом! — говорит он о младшем и знакомом, и самому Гайгаласу.

Антанас уже второй год живет в Москве, работы в аптеке у него много, однако он продолжает писать Гайгаласу, правда, чем дальше, тем реже. Но все равно, как только станет помощником провизора, намерен обязательно вернуться и работать в Литве.

К О Н Е Ц Б Р И С Ю С А

У ворот скотного двора, на куче кострики*, лежит старый Брисюс — седой, почти слепой пес. Видеть-то он еще видит, но словно сквозь дым, и часто не узнает даже своих... Уже и слышит плохо. Тяжела старость и ему: всеми забыт и брошен. Он и сам чувствует, что стал не нужен. Но сколько есть сил, старается еще быть полезным. Отяжелевшие веки опускаются на слезящиеся глаза, но он гонит от себя дремоту и вслушивается. Вот где-то вблизи шорох, словно кто чужой идет... Тяжело поднимается Брисюс со своего места и лает хрипло, сонно.

— Ну, ты! Ослеп? Перестань!.. Своих не узнаешь! — слышит он знакомый голос.

Пристыженный, скалит Брисюс беззубую пасть, жалобно повизгивает, словно извиняясь, и, поджав хвост, опять укладывается на своем ложе...

Уже не раз обманывался Брисюс. Часто, растянувшись посреди избы, видит он во сне вора или волка, за которыми не раз гонялся в молодости, и ему чудится, что и теперь эти враги где-то рядом; подымает он тогда свою старую голову и, словно испугавшись чего-то, внезапно лает: «Гау! гау!»

Но неожиданно слышит со всех сторон недовольные голоса: — Ах уж этот седой! Совсем одурел.

Не зная, куда деваться от стыда, подымается он со своего места и, поджав хвост, тащится под скамью.

— Куда лезешь? Поди вон! — кричат на него.

И Брисюс печально бредет к двери.

Теперь он боится даже заходить в избу. Лучше уж на кострике лежать: все меньше будешь путаться под ногами. Правда, под столом в избе очень хорошо, тепло. Но костей грызть он все равно уже не может, а от мух и там нет спасения.

Сюда, сжалившись над его старостью, приносят ему в корытце полакать крупяной похлебки, а если не принесут, проголодавшись, он и сам идет поискать чего-нибудь съестного, на что раньше и глядеть бы не стал. Так и доживает Брисюс свой век...

А ведь и он был когда-то молод и силен, и им когда-то дорожили. Тогда отбоя от друзей не было. Дети играли с ним; впрягут, бывало, его в коляску и катаются; Брисюс на них не сердился, даже если кто иной раз больно его ударит — понимал, что ребенок мал и немного еще смыслит. И в избе его каждый подзывал к себе, совал хлебца, ходили с ним и на охоту. Старший пастух даже творогу ему не жалел, лишь бы он домой не бегал и помогал скотину стеречь. А как он веселил пастухов! Накинут они, бывало, Брисюсу на голову армячишко и держат, а один из них тем временем прячется; потом пускают Брисюса искать. Он всегда находил, хотя бы тот, кто прятался, и за полверсты убежал, и на верхушку ели залез. Выследит, обнюхает деревья и, наконец, подняв морду

вверх, начнет лаять. Так и не отойдет, пока тот не слезет. Увидев, что слезает, Брисюс приходил в неистовый восторг, с визгом прыгал вокруг и, вернувшись к пастухам, умильно посматривал то на них, то на сумки: знал, что перепадет ему кусочек мяса либо корочка хлеба. Но теперь и пастухи о нем забыли...

Лежит старый Брисюс на кострике и видит сон. Видит он уток, которых стреляет его хозяин, а он будто носит их из воды.

И так много этих уток, такие они жирные! Щурится Брисюс и сладко зевает, вспоминая их... Но как же он удивляется, увидев, что и в самом деле хозяин стоит перед ним с ружьем на плече. Он не хочет верить глазам: должно быть, это только сон...

Но нет, ясно слышно, как его зовут:

— На, Брисюс, на!

Это, должно быть, над ним, старым, шутят? Но зачем?

— На, Брисюс, на! — зовет хозяин.

Брисюс скалит зубы, словно хочет улыбнуться, и как-то жалобно повизгивает...

— На, Брисюс, на!

Нехотя подымается пес с кострики и следует за хозяином, не так, как прежде, когда был молод и бодр, а поджав хвост, понуро, словно виноватый.

Хозяин направляется за гумно в поле и, оборачиваясь, все зовет:

— На, Брисюс, на!

На опушке леса хозяин останавливается. Брисюс смотрит на человека, словно спрашивая, зачем его сюда привели, и видит, как тот снимает с плеча ружье, отходит на несколько шагов и начинает в него целиться...

Не может быть! Брисюс не верит. Это только пошутить хотят. Но зачем так страшно шутить над старым? Зачем?

Ведь он не виноват... Брисюс хочет приласкаться, вильнуть хвостом, но от страха только приседает на задние лапы, а из глаз его катятся горькие слезы.

Вдруг огонь, страшный треск — и Брисюс падает, пронзенный болью. Приоткрыв глаза, он только успевает увидеть, как человек убегает от него, держа в руках ружье.

Может, Брисюс и понял, почему этот человек убил его; он не мог только понять, зачем он убежал, — ведь, умирая, пес всего лишь хотел в последний раз лизнуть ему ноги.



Ион Крянгэ

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

(Главы из повести)

I

Иной раз вспоминаются мне бывшие времена, наше прежнее житье-бытьё, люди, что жили в наших местах, когда я только-только начал подрастать в родительском доме в селе Хумулэшты, что напротив города по ту сторону реки Нямц. Село это, большое и многолюдное, образовалось из трех: Вáтра-Сáтулуй, Делéны и Бежéны. Да, Хумулешты и в ту пору были не какой-нибудь там захудалой деревушкой, а исконным рэзешским зажиточным селом: хозяйства — одно к одному, парни — молодцы, девушки — красавицы, и хороводы водить, и петь, и плясать, и ткать мастерицы. День-деньской стук стоял над Хумулештами от ткацких станков.

И церковь у нас красивая была, да и попы и псаломщики под

стать прихожанам — все как на подбор. Было чем гордиться нашему селу. Взять хотя бы отца Иона, что жил под горой, — большой души был человек! Какие деревья мы по его совету посадили на кладбище, обнесенном тесовым забором с дранковым навесом, какой прочный дом для школы построили у церковных ворот! Посмотрели бы вы на батюшку, когда он без усталости сновал по селу из дома в дом, вместе с псаломщиком, дядей Василе, сыном Ильиной — здоровым, статным красавцем парнем, — как уговаривал он крестьян посылать детей учиться!

Собралось в школе множество ребятишек — мальчиков и девочек. Был среди них и я, мальчонка ничем не примечательный и до того робкий, что, как говорится, собственной тени пугался.

Заводилой у нас в школе стала Смарандица — дочка отца Иона. Вот уж была озорная! А до чего шустрая да смышленная — всех нас, мальчишек, перещеголяла не только в ученье, но и в проказах. Отец ее чуть не ежедневно наведывался в школу — посмотреть, что у нас творится...

В один прекрасный день является батюшка к нам в школу с длиннющей новехонькой скамьей. Расспросил псаломщика, кто как себя ведет, пораздумал немного, дал скамье кличку «Белая лошадка» и оставил ее в школе.

Назавтра батюшка опять приходит, уже вместе с шорником дедом Фотей, и тот преподносит в подарок новой школе красивый, сплетенный из ремешков кнутик. Кнутик этот батюшка окрестил «Николой-угодником», в честь покровителя нашего храма в Хумулештах. Мало того, он попросил деда Фотю, если у того найдутся подходящие ремешки, смастерить для нас еще кнутиков, да как можно потолще. Дядя Василе усмехнулся, а мы так и замерли, только глаза друг на дружку таращим.

И положил батюшка за правило, чтобы каждую субботу псаломщик спрашивал у мальчиков и девочек все, что выучено за неделю, а ошибки наши велел отмечать где-нибудь угольком и потом потчевать школяров за каждую ошибку «Николой-угодником».

Услышав такое, батюшкина дочка, девчонка бойкая и смешливая, не утерпела да как фыркнет... на свою же голову, бедняжка!

— А ну-ка, барышня, пожалуй-ка сюда, — сказал батюшка, насупив брови, — садись-ка верхом на «лошадку», с тебя-то и будет почин «Николы-угоднику».

И как ни заступались за нее дядюшка Василе и дед Фотя, получила Смарандица хорошую взбучку. Сидела она потом, закрыв лицо руками, и плакала, как невеста перед венцом, рубашонка так ходуном и ходила у нее на плечах.

Увидев такую расправу, мы все остолбенели. Но батюшка, глядишь, принесет из церкви то пятачок, то калачик, оделит нас всех, ублажит. И пошло у нас учение на лад — без сучка без за-

доринки. Каждый день проходили мы что-нибудь новое, а по субботам была проверка.

Ну, понятно, не обходилось и без шалостей. От выведенных дядей Василе букв — листочек этот, украшенный крестом, вешивался на шесте — мы перешли к букварю, а там и за Часослов* засели. Вот тут-то и началось! Когда в школе не было ни батюшки, ни псаломщика, мы удирали на кладбище. Там мы раскрывали Часослов, и мухи да шмели так и липли к его порядком замусоленным страницам. Тогда мы захлопывали книгу и убивали зараз по десять — двадцать мух. Настоящее «избиение» устраивали!

Однажды батюшке бог весть почему взбрело на ум просмотреть наши часословы. Как увидел он замаранные кровью страницы — за голову схватился. Узнав, в чем дело, стал он всех нас по очереди приглашать на «лошадку» и угощать «Николой-угодником» за то, что мы мух и шмелей безвинно мучили и души их погубили.

Немного спустя, в мае месяце, в канун родительской субботы, дядю Василе от большого ума грех попутал (иначе и не скажешь!): заставил он одного нашего школьника, Нику Костаке, проверять мои знания. Ника — рослый парнишка, куда старше меня, но не бог весть какой грамотный, был тогда в ссоре со мной из-за Смарандицы. Как-то раз, когда она мешала ловить мух, мне волей-неволей пришлось надавать ей тумаков. И вот стал Ника меня проверять. Слушает, слушает, слушает да как примется отмечать мои ошибки на дощечке: одну, две, десять... и так до двадцати девяти. «Ну, дело дрянь, — думаю. — Не успел начать, а вон уже сколько ошибок насчитал. Сколько же он их еще до конца отметит?»

У меня даже в глазах потемнело и поджилки затряслись.

«Вот оно как! Что же теперь тебе делать, Ионика?» — спрашиваю я себя. Поглядываю украдкой на спасительницу-дверь, а сам так и сучу ногами от нетерпения, жду не дождусь, когда вернется со двора попросившийся выйти лентяй. Двоим сразу выходить у нас не разрешалось. А того, как назло, все нет и нет. Ох, не миновать мне прогулки верхом на «лошадке» и благословения «Николы-угодника»! Со страху у меня зуб на зуб не попадал.

Но, как видно, истинный-то Никола-угодник услышал мои мольбы: дверь отворилась и вошел, наконец, проклятый этот мальчишка. Не спросивши позволения, опрометью кинулся я к дверям, выбежал из школы и со всех ног помчался домой. На бегу оглянулся и вижу: двое верзил-школьников пустились за мной вдогонку. Понесся я во весь дух — только пятки засверкали; пролетаю мимо нашего двора, сворачиваю влево, во двор к соседу, оттуда в загон для скота, а затем на огород, в только что окученную кукурузу. А мальчишки за мной, вот-вот схватят. Тут я со страху, сам уж не знаю как, зарылся в рыхлую землю под кукурузой. Мой враг Ника Костаке и Теодор Катинкэ, другой дылда,

не заметили меня и пронеслись мимо. Я слышал, как они досадовали: «Куда ж это он запропастился?» Видно, господь бог отвел им глаза, чтобы они меня не сцапали. Переждал я малость, а когда все затихло, вскочил, встрепанный, и — как был весь в земле — кинулся домой к матушке и, горько плача, заявил ей, что в школу больше не пойду, пусть меня хоть убьют.

На другой день к нам пожаловал батюшка: потолковал он с отцом, уговорили они меня по-хорошему и опять повели в школу.

— Грешно, понимаешь ли, оставаться темным неучем, — вразумлял меня отец Ион, — ты ведь прошел уже азы, умеешь складывать слова, выучил Часослов, глядишь, не сегодня-завтра и до Псалтыря доберешься, а Псалтырь — это ключ ко всем наукам. Кто знает, может, ты со временем станешь попом здесь, в церкви святителя Николая. Ведь для кого же я и стараюсь, как не для вас? Дочка-то у меня одна-единственная, посмотрю еще, кого в зятя себе выберу.

Ого! Как услышал я про поповский сан да про Смарандицу, даже мух оставил в покое. Совсем иными стали у меня мысли и заботы: учиться я стал усердно, а в церкви подавал кадило и, как самый заправский певчий, заливался на клиросе. Тут, гляжу, и батюшка стал меня привечать, и Смарандица на меня украдкой поглядывает, и дядя Василе теперь уже мне, а не кому другому поручает проверять учеников. Словом, совсем другая мука пошла молотиться на мельнице. И у злющего урода Ники Костаке не стало теперь надо мной никакой власти.

Но человек предполагает, а бог располагает. Однажды, точнее сказать, в день святого Фоки, выгонял староста людей на повинность — чинить дорогу. Прошел слух, что по этой дороге мимо нас проедет в монастырь сам господарь.

И дядя Василе — не было у него другой заботы — возьми да и предложи нам:

— Давайте-ка и мы, ребята, поможем чинить дорогу, чтобы не сказал, проезжая, господарь, что у нас народ ленивее, чем в других селах.

Тут мы, ученики, высыпали из школы и скопом отправились на дорогу. Одни работали киркою, другие землю возили в тачках да в повозках, третьи корытами ее подтаскивали — одним словом, работали на совесть.

А староста Ника, сын Пётри, со стражниками, сторожем и сборщиками податей — самыми никудышными людишками — так и снуют в толпе то туда, то сюда... И вдруг видим: народ сбился в кучу на дороге и в этой куче кто-то вопит не своим голосом.

— Что там стряслось? — спрашивают люди друг друга, сбегаюсь со всех сторон.

Оказывается, нашего дядю Василе поймали арканом и, связав

веревками, тут же заковывают в кандалы, чтобы отправить в Пятру в новобранцы... Так вот для чего староста сгонял народ на дорогу. Таким вот манером в те времена забирали молодых людей в солдаты!

Страшно было смотреть! Все парни пустились врассыпную, кто куда, а мы, ребяташки, с ревом разбежались по домам.

— Староста, проклятый пес! — заливаясь горячими слезами, причитали на селе женщины. — Пусть святой Фока дотла сожжет сердце ему и его приспешникам, как из-за них нынче сгорело сердце бедной матери!

А мать дяди Василе, провожая сына в Пятру, голосила над ним, как над покойником.

— Не плачь, матушка, — ласково успокаивал ее дядя Василе. — Не только свету, что в окошке... Старательный человек и в солдатах не пропадет. Ведь и святой Георгий, и святой Димитрий, и другие святые мученики, что пострадали за Христа-спасителя, тоже воины были, сподобил бы господь и нас походить на них хоть немного.

Вот и лишились мы своего дяди Василе, отправился он, куда на роду ему было написано. А отец Ион — космы по ветру, так и мечется по селу в поисках псаломщика. Да где уж было найти второго такого, как дядя Василе, умного, смиренного, старательного и стыдливого, как красная девица? Жил, правда, у нас на селе псаломщик Иордаке, что гнусавил на правом клиросе, да на что он был годен! Церковные песнопения, ничего не скажешь, знал назубок, но весь уже трясся от старости, да и к рюмочке прикладываться умел.

Опустела на время наша школа. И все же тем ребятам, которые держались батюшки, было еще так-сяк: церковь-то — она прокормит человека.

По воскресеньям мы подтягивали псалмы на клиросе, а то иной раз воровали калачи, а в рождественский сочельник и на крещение, собравшись гурьбой по тридцать — сорок ребяташек, протапывали батюшке в снегу дорогу от хаты к хате. На рождество славили с ним Христа по домам и ржали, как добрые жеребята, а на крещение так орали «господи, помилуй», что все село гудело. Только появится батюшка — мы выстраиваемся в две шеренги, давая ему дорогу, а он, поглаживая бороду, бывало, с гордостью поясняет хозяину дома:

— А это, сын мой, все мои сосунки... Такого великого дня, как нынче, они целый год ждут не дождутся. Наготовили вы для них кутьи да голубцов, напекли сладких пряников да пирогов с капустой?

— Как не наготовить! Наготовили. Пожалуйте, батюшка, благословите наш дом и нашу трапезу, откушайте, сделайте милость, посидите с нами, чтобы и сваты у нас засиживались.

А мы, бывало, как заслушим об угощении, ломимся к столу, рты наготове, как говорится:

Всякий рот плачнте* рад,
А ватрушке — рад стократ.

Что поделаешь, только ведь дважды в году выпадают такие большие сочельники. Помнится, как-то в одной хате мы всей гурьбой так навалились на стол, что опрокинули его вместе с угощением посреди комнаты; батюшку от стыда даже в краску бросило, но он все повернул по-хорошему:

— Где нечему литься — там не разольется, но все-таки, чада мои, не мешает вам быть осторожнее.

На храмовой праздник угощались мы, бывало, целую неделю; только и заботы — готовь брюхо да набивай его кутьей и всякой снедью сколько влезет. На престол в Хумулешты съезжались и псаломщики, и священники, и благочинные, даже архиереи к нам жаловали. А простого народу собиралось с разных сторон видимо-невидимо, и все оставались довольны.

Хозяева вдоволь угощали пришлый люд, и матушка моя (царство ей небесное) страх как бывала рада, когда у нас в доме случались гости, которых она могла накормить.

— Помянут меня за упокой души сыночки или нет — не знаю, лучше уж я теперь, своей рукой, раздам милостыню, — твердила она. — Ведь что ни говори, к своему рту ложку ближе нести, это всякий знает.

Пока я учился в школе, матушка дома училась вместе со мной и читала Часослов, Псалтырь и Александрию* лучше меня. И как она радовалась, видя, что я тянусь к книге!

Отец в наши дела не вмешивался и только подшучивал над грамотеями:

Логофет, логофет*,
Твой обед — не в обед.
Брынзу прицепил на гвоздь,
А карман-то пуст небось!

По его мнению, лучше мне было бы оставаться тем, кем я был: Никой, сыном Штефана Пятри, честного и исправного хозяина из Хумулешт.

Сложили же люди поговорку: «Лучше быть первым в селе, чем последним в городе».

Но матушка готова была день и ночь сидеть за прялкой, только бы я продолжал учиться; она все подбивала отца отдать меня еще куда-нибудь в школу, особенно с тех пор, как в праздник сорока мучеников услышала в церкви, что грамота — это то же богатство и что неученый у ученого век в слугах будет.

Вдобавок все бабы, что ворожат на сите и на сорок одном бобе, все звездочеты, все знахари, которые гадали на меня, все богомолки нашего села забивали матушке голову предсказаниями одно чудеснее другого: что, мол, стану я большим человеком, — и голосок-то у меня ангельский, и родился я под счастливой звездой, и еще много всякой всячины. И матушка, по своей материнской слабости, верила, что из сыночка ее выйдет второй Кукузел* — украшение христианской церкви, который пением своим исторгал слезы у самых черствых людей, вводил верующих в глушь лесов и всю сущую тварь услаждал славословиями.

— Эх, жена, сколько тебе еще мозгов не хватает! — говаривал отец, видя, как матушка ради меня распинается. — Кабы все люди выходили, как тебе хочется, в ученье, кто бы с нас сапоги стягивал? Не слыхала ты разве, как один человек уехал учиться в Париж (кто его знает, в какой это земле) быком, а вернулся коровою? И разве Григóre, сын Петри Луки, ходил в школу? А гляди, как он складно шутки да прибаутки на свадьбах шутит! Коли нет у человека царя в голове — не будет и до самой смерти.

— Так оно или не так, а я, как ты ни ерепенься, выучу нашего мальчика на попа! — упорствовала матушка.

— Уж так и на попа! Слыхали вы такое?! — говорил отец. — Мальчишка лентяй и бездельник, каких мало; утром, пока его будишься, душа из тебя вон. А как встал — подавай ему есть. Пока маленький — мух ловит Часословом да целыми днями в речке полощется; нет того, чтобы ягнят попасти да отцу в хозяйстве подсобить. Зимой только и знает по льду бегаёт да на санках катаётся! Распустила ты его вконец со своей школой. А станет постарше — начнет под юбки заглядывать. Таким манером я от него помощи вовек не дождусь.

Частенько, доложу я вам, спорили из-за меня отец с матушкой. Продолжалось это до тех пор, пока не пожаловала к нам знаменитая холера 48-го года и не принялась косить народ в Хумулештах направо и налево, так что село стоном стонало. А тут еще я, неугомонный, когда мимо наших ворот проносили покойников, бегал к плетню и, чтобы отвести от себя болезнь, провожал их сказкой:

Дрозд, ты скрылся где? Что в твоём гнезде?..
Под бузинный кров он ведет птенцов.

Иволга крикливая жила на опушке,
Плакалась шиповнику, кланялась кукушке;

Нет, не для меня, нет, не для тебя —
Для буки в огороде просила при народе
Корову да телят —
У буки страшный взгляд.

А то увязывался за гробом до самой церкви, а потом возвращался с поминок домой с полной пазухой баранок, незрелых яблок, золоченых орехов, сладких рожков и винной ягоды с поминального деревца. Мать с отцом только крестились, глядя на эти гостинцы.

Желая уберечь свое детище от заразы, они отвезли меня в лес у монастыря святой Агапии, где в овчарне около моста Кэрэжнца содержались и наши овцы; там меня оставили, пока не утихнет болезнь. Но как раз в эту ночь и напала на меня холера, изломала всего и скрутила в бараний рог. Нутро у меня горело от жажды, а пастуху и подпаскам невдомек — храпят себе да переворачиваются с боку на бок от моих стонов. Из последних сил дотащился я до колодца за овчарней и провел возле него всю ночь, не сомкнув глаз и выпивая в час чуть ли не по целому подойнику воды. Уже на рассвете сжалился надо мной наш пастух Василе Бордеяну и пешком отправился в Хумулешты (туда всего два часа ходьбы) сообщить отцу с матерью, что я заболел. Отец приехал с подводой и повез меня домой. Я и тут, на возу, то и дело просил пить, и отцу приходилось от колодца до колодца заговаривать мне зубы, пока господь не помог нам добраться до Хумулешт.

А дома уже тут как тут оба наши сельских лекаря, дед Василе Царандурэ и другой — не упомяну уже, как его звали, — варят в чугуне вошину с говяжьим жиром. И вот, как сейчас помню, сперва растерли меня настоем из любистока, потом смазали холстину горячим воском и запеленали меня в эту холстину, как грудного младенца. Долго ли, коротко ли это тянулось, но уснул я как мертвый и проснулся только на следующий день после обеда здоровехонький. Упокой, господи, душу деда Василе и его помощника!

Недаром говорится: «Сорная трава не пропадает», — до вечера я уже обегал все село и даже завернул на реку искупаться со своим дружкой Кирийком Гояном, таким же озорником и сорванцом, как и я. Однако на этот раз отец не сказал мне ни слова и на время оставил меня в покое.

С началом зимы матушка опять стала донимать отца, чтобы он отдал меня в школу. Отец отговаривался, что, мол, нет у него денег на мое ученье.

— Псаломщику Василе, сыну Василисы, мы платили только один сорковец* в месяц. А этот жулик псаломщик Симон Фоса из Цуцуен только за то, что больно речист да табачище день-деньской нюхает, требует в три раза больше! Слыханное ли дело! Да этот мальчишка со всеми своими потрохами не стоит того, что истрачено на его ученье.

Мать как услышала такие слова, вся так и вспыхнула.

— Темный ты человек! Как же тебе, неучу, меня понять? Когда ты эти самые сорковцы пропускаешь в свою глотку, ты небось их так не оплакиваешь! Шинкарь, Пётря, сын Тодосики,

вытряс у тебя девятьсот лей, да Василе Ройбу из Бэжен не меньше того; для Рүшты Вилікиной и Мариўки Онофреевой и всяких других у тебя находится небось что давать?! Знаю я все твои проделки, не думай, что спит Смаранда, тебе бы так спать в могиле, как я сплю! А вот для мальчика тебе взять неоткуда?! Эх, беспутный ты человек, попадешь на самое дно пекла, некому будет тебя вызволить оттуда, если не выучишь сына на попа. Ты и от проповеди-то бежишь, как черт от ладана... В церкви не бываешь от пасхи до пасхи... Вот как ты о своей душе печешься!

— Да замолчи ты, наконец, баба! Церковь — у человека в душе. Помру — меня все равно в церковь снесут! — отвечал отец. — Не болтай попусту, как тот лицемерный фарисей, а лучше прикуси язык да скажи, как мытарь: «Боже милостивый, буди мне грешной за то, что я ругаю во всю глотку своего муженька!»

В конце концов, как ни ссорились отец с матерью, верх все-таки остался за ней. Как раз в воскресенье на масленой приехал к нам матушкин отец, мой дедушка, Давид Крянга из Пипирига.

Услышав, какая ссора разгорается из-за меня между родителями, он заявил:

— Бросьте-ка, Штефан и Смарандука, будет вам спорить да расстраиваться. Сегодня вот воскресенье, завтра понедельник — базарный день, а во вторник, если будем здоровы, заберу я внука с собой и вместе с моим Думитру отвезу в Броштены, к учителю Николаю Нану из школы Балоша. Вот посмотрите, что он сделает из мальчугана; своими старшими, Василе и Георге, я остался очень доволен, выучил он их как нельзя лучше. Уж больше двадцати лет, как я старостой в Пипириге, а все мучаюсь с этими «зарубками». Что толку с того, что я любую священную книгу тебе прочту, если считать ни на грош не умею. А вот вернулись мои ребята из школы, и у меня теперь каждой копейке счет ведется, катаюсь, как сыр в масле. Вот почему я и твержу: теперь хоть до смерти сидеть мне без забот в старостах; ей-богу, большое дело сделал Алёку Балош со своей школой! Кто знает в этом толк — сразу поймет. А какого опытного да разумного учителя он раздобыл! И так-то приветливо и ласково он всех принимает, что к нему и зайти приятно. Счастливые люди его родители — доброй души он человек, что и говорить, особенно для нас, горцев, это сущее благодеяние. Когда лет шестьдесят тому назад приехал я сюда, в Пипириг, из Трансильвании с отцом и братьями Пётрей, Алёку и Никой, в Молдавии и в помине не было таких школ, как у Балоша. Разве что в Яссах или монастыре Нямцу во времена митрополита Якоба, который приходился нам какой-то там родней по Чубуку, деду твоей матери, Смаранда; он был в том же монастыре звонарем, а имя его и поныне можно прочесть на колоколе пипиригской церкви.

Чубук, как и я, еще в Трансильвании знал немного грамоту. Как и я, долго скитался — уж больно донимали его паписты —

и под конец перевалил сюда со всеми своими стадами, вместе со старым Дедю из села Вынэтор и с другими пастухами. Скота, крупного и мелкого, у него была тьма-тьмушая. Паслись его стада на холмах Хэлэука, Пятра луй Епуре, Бэрнаул, Кетнерэул, Боампеле, до самого холма Пэтру Вода. По рассказам людей, поистине широкой души человек был этот Чубук, любого гостя, кто бы ни зашел к нему в дом, принимал с открытой душой и кормил досыта. Молва о богатстве его и о доброте ходила по всей округе. Остановился, говорят, у него как-то сам господарь и спрашивает: «Кто тебе помогает справляться с таким множеством скота?» — «Те, кто нищ умом, но богат сердцем, великий господарь», — ответил будто бы Чубук. Удивился господарь и говорит: «Вот это настоящий человек. Побольше бы таких, как он, в моих владениях, и меньше напастей терпела бы наша родина. — Похлопал господарь Чубука по плечу и добавил: — Знай, дед, отныне ты мне свой человек и моя дверь для тебя всегда открыта».

С тех пор и осталось за Чубуком прозвище «господарев человек». И по сей день один холм по ту сторону Плотуна, где нередко сиживал Чубук, так и называется: холм Человека.

На этом самом холме, Смаранда, я с твоей матерью, тобой и твоим братом Ионом прятался от турок во время заверы*. Они после сражения с нашими добровольцами у монастыря Сэкул шли как раз через Пипириг и по дороге грабили все, что попадалось под руку. А сестренку твою, Мариуку, мы впопыхах забыли дома, так она и осталась на завалинке в колыбельке.

Мать твоя спохватилась, что девочки нет с нами, стала рвать на себе волосы да причитать: «Горюшко мне, горе, закололи турки мою доченьку!»

Взобрался я на верхушку ели и вижу: турки сворачивают уже к Плотуну. Сам не свой, я вскочил на коня и во весь опор поскакал домой. Девочка оказалась цела-целехонька, но свиньи перевернули колыбельку и хрюкали над ребенком. Не приди я вовремя, они наверняка сожрали бы бедняжку. В колыбельке я нашел несколько рупий — должно быть, турки их туда положили. Не помня себя от радости, я схватил дочку и прискакал к твоей матери на холм Человека. И только потом, как пришел в себя, я сказал то же, что многие говаривали и до меня: «Те, у кого нет детей, и знать не знают, что такое настоящее горе. Мудро поступает человек, который не женится».

Вот одним из таких мудрых людей и был Чубук: не имея ни жены, ни детей, он, по набожности или по другим каким причинам, отдал все свое достояние монастырю Нямцу, а сам, почти со всеми своими пастухами, принял пострижение и до конца своей жизни творил много добра. Он и погребен за монастырской оградой, царство ему небесное, прости ему, господи, все его прегрешения! Ведь и мы не сегодня-завтра там будем. А вы и не знали бы всего этого, не расскажи я вам, — добавил дедушка, вздыхая. — Вот



почему неплохо, Штефан, чтобы мальчик был немного учен грамоте. Не обязательно ему быть попом, как метит Смаранда, попу иной раз тоже нелегко приходится. Если Ион не будет стараться изо всех сил, лучше ему и не думать о поповском сане. Но книга приносит утешение. Не знай я грамоты, я давно бы уже свихнулся от всех бед, что свалились на мою голову. А вот откроешь «Жития святых» — чего-чего только там нет. Читаешь и думаешь: «Господи, какое терпение ты дал своим избранникам». Как сравнишь, что написано в книгах, с тем, что сам пережил, и горе твое тебе пустым покажется. Еще скажу: хорошо ли быть безмозглым волом? Из книг человек набирается ума-разума, чтобы не быть, по правде говоря, дойной коровой для других. Вижу я, что у мальчонки неплохая память. Как ни мало он учился, но поет псалмы и читает как нельзя лучше.

Обо всем этом и еще о многом другом толковал дедушка Давид с матерью и отцом чуть ли не две ночи — с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник. Он ведь останавливался у нас, когда приезжал из Пипирига на базар закупать себе все необходимое.

А во вторник, на заре, он уложил понадежнее поклажу в переметные сумы, навьючил лошадей, привязал, как это делают горцы, недоуздом вторую лошадь к хвосту первой, а четвертую — к хвосту третьей и сказал:

— Ну, Штефан и Смарандука, оставайтесь здоровы, а я отправляюсь. Эй, внучек, ты готов?

— Готов, дедушка, едем, — ответил я, с трудом управляясь с копчеными свиными ребрышками и жареными колбасками, которые поставила передо мной матушка.

Попрощавшись с родителями, я отправился с дедом в Пипириг. Морозище в это утро стоял такой, что камни трещали. Выше Вынэтор, переходя через мостик, дедушка повел в поводу лошадей, а я шагал впереди. И вдруг я поскользнулся на бревнах и бултых в Озáну. Счастье еще, что дедушка был тут же.

— Никудышная эта ваша обувь! — закричал он, мигом вытаскивая меня из воды.

Я вымок и продрог до костей. Он быстро стащил с меня совсем обледеневшие сапоги.

— Эх, были бы сейчас голубчики постолы! И ногам в них ловко, и мороза не боишься! — Приговаривая так, дед живо закутал меня в мохнатую шерстяную бурку, засунул в переметную суму, и мы тронулись дальше.

Когда бабушка увидела меня, увязанного в мешок и скрюченного, как чертенка, она чуть не изошла слезами. В жизни не видывал я такой слезливой женщины. Уж больно она была жалостлива: говядины по этой причине сроду в рот не брала, а по праздникам в церкви оплакивала всех покойников — будь то свой или чужой. Дедушка, как умный человек, знал свое и давал бабушке

волю: пусть, мол, поступает, как заблагорассудится ее бабьей голове.

— Ох, боже мой, Давид, никак ты не образумишься! Да можно ли было брать ребенка в такую непогоду!

— А это чтобы ты немного поохала, Настасия! — молвил дедушка, вытащил из кладовой шкуру дикого кабана и давай выкраивать для меня и Думитру по паре постолов. Потом, аккуратно проколов по краям дырочки, он продел в них нитки из крученого конского волоса и собрал кожу в складки. На третий день после моего приезда мы с Думитру, младшим братом матушки, получили чистое белье, по две пары холщовых портянок, обули постолы, поцеловали на прощанье бабушке руку и отправились с дедом в путь.

Поднявшись по долине Хэлэуки, мы наконец добрались до Фэркаша и заночевали там вместе с попом Думитру из Тыргул Кыржей, у которого зоб на шее был размером с добрую флягу, и хрипело у него в этом зобе совсем как в волынке, так что нам почти всю ночь и глаз не удалось сомкнуть. Но, понятно, бедный поп не был виноват, и, как он сам говорил: «Хуже тем, у кого зоб в голове, а не на шее».

На следующий день мы через Бórку отправились из Фэркаша к Тыргул Кыржей и Котыргаш, пока не добрались до Броштен.

Дедушка устроил нас на квартиру к одной женщине, которую звали Иринúкой. Потом ходил с нами к учителям и в церковь, где мы помолились перед образами, затем распростился с нами подобру-поздорову и отправился, пообещав присылать нам время от времени, что потребуется.

Село Броштены, как и все здешние села, широко раскинулось в горах: этот дом у одного оврага, тот у другого, уже на том берегу Бистрицы; люди, видите ли, селились, как кому вздумается. Волки и медведи не стеснялись появляться здесь среди бела дня. Бревенчатая, старая, крытая тесом избушка Иринуки, с оконцами в ладонь, огороженная сосновым забором, прилепилась к самой горе близ моста на левом берегу Бистрицы.

Иринука, женщина не молодая, но еще и не старая, жила с мужем и дочерью. Девушка с бельмом на глазу была до того уродлива и тупа, что с ней даже страшновато было оставаться ночью в доме. На наше счастье, с утра понедельника до вечера субботы мы ее и не видели. Она со своим отцом уходила в горы, на лесопилку, и за сущую безделицу трудилась там всю неделю, как добрый мужик. И эти два человека с парой волов в зимнюю пору едва могли заработать себе на мамалыгу*. Случалось, люди возвращались в субботу ночью сами искалеченные или с искалеченными волами, — это был их добавочный заработок.

Избушка на левом берегу Бистрицы, муж, дочка, пара волов в лесу, козел да две полудохлые шелудивые козы в сених — вот и

все достояние Иринуки. Но и это можно назвать богатством, был бы человек здоров.

Ну да что мне до всего этого? Вернусь-ка я лучше к своему рассказу. На следующий день после дедушкиного отъезда мы отправились в школу. Учитель, увидев, какие длинные отросли у нас волосы, тут же велел одному из учеников нас обрить. Услыхав такое, мы ударились в слезы в десять ручьев и господом богом заклинали учителя не уродовать нас. Куда там! Он не отходил ни на шаг, пока нас, голубчиков, не обкорнали наголо.

Затем новичков усадили рядом с другими учениками и задали каждому урок по его силам. Здесь мы и «Ангел вопиюще...» наизусть выучили.

Время пролетело быстро, мы и не заметили, как подошел великий пост.

Но вот однажды утром просыпаемся мы все в волдырях — от коз Иринуки на нас перекинулась козья чесотка.

Вот тебе раз! Что же нам теперь делать? Учитель не пускал нас в школу. Иринука нас вылечить не могла. Известить дедушку было некому, запасы подходили к концу. Никудышные были наши дела, беда, да и только!

Случилось в тот год, что накануне Благовещенья наступила вдруг сильная жара, снег растаял, потекли ручьи. Бистрица вздулась, вышла из берегов — вот-вот снесет домик Иринуки. В такую-то жару мы, разведя в воде золу, обмазывались с головы до ног щелоком и сидели нагишом на солнце, пока не обсыхали. Затем бежали к Бистрице и прыгали в воду: одна бабка сказала нам, что таким манером можно избавиться от чесотки. Вы себе представляете, что значит купаться в Бистрице, в Броштенах, по два раза на день, да еще в великий пост? И вот поди ж ты! Ни тебе колотья, ни горячки, ни какой другой хвори... Правда, и от чесотки мы тоже не избавились. Недаром же говорят: «Привязался, как чесотка, к человеку».

Как-то раз Иринука отправилась в село, где она имела обыкновение подолгу засиживаться с приятельницами, а мы тем временем нашли себе вот какое занятие: с палками в руках взобрались на гору повыше избы; там с гор неслись быстрые ручьи. Один такой ручей бурлил совсем как кипящее молоко. Тут нас, верно, нечистый попутал: раскачали мы и своротили подмытый водой обломок скалы. Как загрохочет он вниз, да как перемахнет через забор во двор, через сени Иринуки — к козам, да как рухнет прямо в Бистрицу, только вода в том месте закипела. Случилось это в полдень в лазареву субботу. Вот тебе и раз! Что теперь делать? Шутка ли сказать — забор и хата нашей хозяйки начисто снесены, а одну козу задавило насмерть. Тут мы и о чесотке, и обо всем на свете с перепугу забыли.

— Соберем поживей, пока баба не вернулась, свои вещи, какие остались, и давай удерем на плоту к своему брату Василе

в Борку,— предложил Думитру (по рекам уже начинали спускать плоты).

Завязали мы в узелок то немногое, что у нас уцелело, и бегом к плоту. Плотовщики, недолго думая, приняли нас, и мы поплыли.

Что сказала Иринука, вернувшись домой, чего не говорила — я не знаю, но натерпелись мы страху, пока добрались до Борки. Там мы заночевали и на другой день, в вербное воскресенье, ранним утром, с двумя горцами, что ехали верхами, двинулись в путь. Горцы направлялись в Пипириг через Плаюл Бэтрын.

Погода в это воскресенье стояла прекрасная, совсем весенняя, и горцы божились, что такой ранней весны они сроду не упомнят.

Мы с Думитру всю дорогу распевали и собирали фиалки и подснежники, весело прыгали и резвились, будто это не мы были чесоточные из Броштен, «осчастливившие» дом Иринуки.

Но к полудню погода резко изменилась: разразилась буря, да такая свирепая, точно решила повалить наземь все елки. Потом зачастил мелкий дождик, который скоро превратился в снежные хлопья; сильно похолодало, навалило пропасть снегу, и не успели мы оглянуться, как дорогу так занесло, что мы не знали, куда идти. От неба до земли ни зги не видать, белый снег кружит, человека не разглядишь рядом с собой.

— Видать, сглазил кто-то погоду,— вздохнул один из горцев.— То-то я дивился, что это волки так рано зиму съели. От самых Инцёркэтор мы уже сбились с дороги, идем теперь наобум, выйдем, где бог даст.

— Слышь, петухи поют? — отозвался другой.— А ну-ка подадимся в ту сторону, может, набредем на какое жильё.

И вот пошли мы под гору, спускаемся с великим трудом по крутым обрывам, блуждаем в молодом сосняке. Лошади скользят и падают, а мы с Думитру бредем, съезжившись в три погибели, дрожим мелкой дрожью и утираем слезы кулаками. А горцы только губы покусывают от холода да с досады. Снег кое-где уже доходит нам до пояса. Начало темнеть, когда мы добрались до впадины, где звенел ручеек, который, как и мы, стремился с горы, спотыкаясь о камни и проваливаясь в лощины. Разница была только та, что он бежал дальше, а мы сделали здесь привал и остались мерзнуть до утра.

— Ну-ка, ребята, давайте малость всхрапнем,— предложил один из горцев, поджигая целую елку вместо костра.— От судьбы не уйдешь, чему быть, того не миновать.

— Милости просим откусать со мной,— отозвался другой, вытаскивая из мешка промерзшую сухую мамалыгу. Разогрев ее на углях, он и нам отломил по куску. И кусок этот, как маслом смазанный, мигом проскочил мне в глотку.

Перекусив с грехом пополам, мы свернулись калачиком и улеглись вокруг костра. Сверху снег, снизу слякоть, один бок замерзает, другой подгорает. Ну и погодка, ну и отдых нам выдался!

Вдобавок подстерегала нас еще худшая беда: елка, перегорев, чуть было не рухнула на нас, и, не проснись один из горцев, она кого-нибудь задавила бы насмерть. Видно, догнало все-таки нас проклятие Иринуки.

Наконец рассвело. Умывшись снегом и помолившись по христианскому обычаю, мы с горцами начали карабкаться на ту самую гору, с которой накануне спустились.

Снег перестал идти. С немалым трудом разыскали мы дорогу и давай, давай, давай вперед во весь дух. К вечеру дотащились к дедушке Давиду в Пипириг. Бабушка Настасия как увидела нас, так и зарыдала от радости.

— Мой Давид, я вижу, своими выдумками сведет меня в могилу! — причитала она. — Бедные мальчики, какие на них болячки! Как разъела их короста у чужих-то людей! Бедняжки!

Пожалев нас и поплавав над нами, по своему обычаю, бабушка предложила нам все, что имелось вкусного в доме, а накормив нас до отвала, кинулась в кладовую и принесла оттуда жбан березового дегтя. Она растерла нас дегтем с головы до пяток и уложила на теплую печь.

И этак растирала она нас по два-три раза на день. Наконец, в страстную пятницу, мы проснулись совершенно здоровыми. Еще до этого пришло из Броштен известие о беде, которую мы там натворили. Дедушка без лишних разговоров расплатился с Иринукой четырьмя золотыми, а в страстную субботу отослал меня к родителям в Хумулешты. На пасху я уже пел в церкви «Ангел вопиюще...», да так, что люди только рты разевали от удивления. Матушка не могла на меня наглядеться. Отец Ион усадил меня рядом с собой за стол, а Смарандица разбила немало крашенных яиц, христосуясь со мной. Словом, счастье так и валилось мне на голову.

Однако на фомино воскресенье дела мои пошатнулись. Все девочки нашего села собрались в церковь. Нашлись между ними такие бойкие, что, завидев меня, не могли удержаться от хохота и кричали мне след:

Стриженое — бритое,
Стриженое — бритое,
Чучело собачье!

II

Не знаю, как другие, а я, когда вспоминаю родные места: отцовский дом в Хумулештах, дымоходную трубу, за которую матушка часто привязывала веревку с моточками шерсти — играя с ними, котята доходили до неистовства, — выбеленный шесток, за который я цеплялся, когда только-только начинал топать нож-

ками; печь, за которой прятался, когда мы, мальчишки, затевали «слепую бабу» и другие веселые детские игры,— как вспомню все это, сердце мое и теперь еще бьется от радости.

Боже мой, как хорошо мне тогда жилось на свете! Родители наши, и братья, и сестры были здоровы, дом — полная чаша, соседские ребятишки все дни напролет играли с нами, все шло ладно и складно, и весь мир как будто принадлежал мне.

Сам я был весел, как погожий денек, и резв, как неугомонный весенний ветер.

К тому же и матушка моя, которая слыла у нас на селе вещуньей, иной раз, когда после затяжных дождей начинало пробиваться солнышко, говаривала, бывало, мне с улыбкой:

— Выходи, мое русое дитяtko, посмейся солнышку — авось и распогодится.

И небо и впрямь прояснялось, точно в ответ на мой смех.

Солнышко, видно, знало, с кем имеет дело, я ведь был сын своей матери, а уж она-то умела творить чудеса: отгоняла черные тучи от села, отводила град от полей, всадив топор в землю у порога. Умела она и воду замораживать, положив в нее две коровьи ноги,— люди только крестились, глядя на все это. Когда мне случалось ушибить голову, руку или ногу, матушка немедля колотила землю, стенку или бревно, о которое я ударился, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе!» — и боль у меня как рукой снимало. Если завывало в трубе, что, по приметам, предвещает ветер и ненастье, или шипела в печи непрогоревшая головня — знак того, что кто-то говорит о тебе плохо,— матушка бранила головню через дверку и тут же разбивала ее щипцами, чтобы унять клеветника. Мало того, если матушке моей, бывало, почудится, что я спал с лица, она тут же, посплюнув палец, брала грязь с подошвы или сажу из печки и, приговаривая: «Как не сглазить подошву и вьюшку печную, так не сглазить и детку мою родную», ставила пальцем знак у меня на лбу, чтобы не потерять свое сокровище. И еще многое другое умела она делать...

Вот какой волшебницей была моя матушка! Такою она и запомнилась мне сизмальства, да и как не запомниться — ведь это ее руки убаюкивали меня, пока я сосал ее сладкое молоко и нежил-ся у ее груди, агукая и с любовью заглядывая ей в глаза. Кровь от ее крови, плоть от ее плоти, я и говорить у нее выучился... А вот уж разум человеку дается от бога, когда приходит время разбираться, что такое добро, а что — зло.

Дни летели за днями с их лукавыми соблазнами, я незаметно подрастал, все новые и новые мысли слетались ко мне в голову, я познавал новые утехы, но и не думал умнеть, а становился все неугомоннее, и желания мои уже не знали удержу: ведь думы наши и мечты так непостоянны и обманчивы, уносят они нас невесть куда на своих легких крыльях и не дают нам покоя до самой могилы!

Но горе тому, кто чересчур много размышляет! Оглянуться не успеешь, как водоворот мыслей подхватит тебя и неприметно затянет в глубину, и вдруг, после самого шумного веселья, ты ударишься в мрачное отчаяние...

Давайте же поговорим о детстве, потому что только оно одно радостно и невинно.

Что ребенку до того, какие заботы одолевают его отца и мать, думают ли они с тревогой о завтрашнем дне или над чем другим ломают голову! Ребенок оседлает палку, и верится ему, что сидит он на резвом коне и скачет во всю прыть, погоняя рысака кнутом и сдерживая уздой. Он кричит на него во всю глотку — оглохнуть можно от такого крика. А если свалится наземь — воображает, что это конь его сбросил, и палкой вымещает на нем свой гнев.

Таков был и я в те счастливые годы, и что бы там ни говорили, думается мне, что такими же бывают все дети с тех пор, как существует белый свет.

Когда матушка наша, наработавшись до упаду, ложилась, бывало, днем отдохнуть, мы, мальчишки, именно в это время и поднимали возню и переворачивали всю хату вверх дном. А когда отец возвращался из лесу, из Думесни́ку, окоченелый и запорошенный снегом, мы пугали его, прыгая в потемках ему на спину, как в игре «в слепую бабу». Но отец, как бы он ни устал, шаря в темноте, ловил нас, подбрасывал до потолка, приговаривая: «Расти большой», и перецеловывал, бывало, нас всех.

А потом, когда зажигали плошку и отец садился к столу, мы вытаскивали из-под печки или из загнетка котят, тормошили, тискали и возились с ними у него на глазах, так что пыль столбом стояла в хате, и не было спасения беднягам, пока они не исцарапают и не искусают нас как следует.

— Ну что ты смотришь на них, челове́че! — возмущалась тогда матушка. — Что ты им волю такую даешь! Смотрите-ка! Ага, досталось вам от котят, негодники вы этакие! Ни одна божья тварь не уживется в этом доме из-за вашего озорства! Видать, тошно вам, что я еще не отлупила вас сегодня как следует: вот вы и принялись за котят и кидаетесь на человека, как собака на палку. Ну, погодите! Совсем от рук отбились. Вот возьмусь-ка я, кажется, за ремень — только клочья от вас полетят!

— Да оставь ты их, жена, пускай порадуются моему приходу, — говорил тогда отец, подкидывая нас на коленях. — Тужить им прикажешь, что ли? Дрова для печки есть, сала и муки на чердаке запасено вдоволь, брынза в кадке, капуста в бочке, слава богу! Было бы только здоровье, наедаться бы им досыта да резвиться, пока еще несмышленыши. Вырастут — забудут про шалости, тогда уж, того и гляди, пойдут настоящие заботы. Не бойся, этого им не миновать! Недаром поговорку сложили: «Ребенку — резвиться, коню — бежать, попу — читать...»

— Тебе бы только языком молоть! — ворчала матушка. — Побыл бы ты с ними, как я, день-деньской, у тебя бы от них волосы поседели, провались они в преисподнюю, прости меня, господи! Скорее бы лето приходило, чтоб они на двор убрались играть. Надоели хуже горькой редьки! Какая бы чертовщина ни взбрела им в голову, обязательно сделают, что надумали. Только зазвонят в церкви — твой тихоня Зáhей уже вылетает на двор и давай бить палкой по ткацкому станку — стены дрожат, того гляди, стекла вылетят. А твой пострел Ион хватает кочергу, щипцы да коровий колокольчик — и чего только не творит!.. Такой грохот да переполох подымает — оглохнуть можно. Да еще натянут дерюжку на спину, напялят на голову бумажный колпак и орут: «Аллилуя! Господи помилуй — баба деда била». И так каждый божий день, по два, по три раза. Иногда кажется — прибила бы их до смерти.

— Так ты ж известная богомолка, жена, — отшучивался отец, — вот мальчуганы и превращают дом в церковь, чтобы далеко не ходить... Вы, ребята, устраивайте себе всенощные, сколько влезет, только глядите, пускай мать вам коврижки медовые, как на «сорок мучеников», да кутью с орехами припасет...

— Да ты в своем ли уме, человече! А я-то думаю: в кого это у нас такие послушные деточки? Это ты всему виной. Больно вожжи распустил, потакаешь им во всем. Гляди-ка, выстроились в ряд и таращат глаза, точно портрет с нас рисовать собираются. А небось за каким-нибудь делом их пошлешь — поглядел бы ты, как они упираются да отнекиваются, — говорила матушка. — А ну-ка ступайте спать, час поздний. Вам все нипочем, еду-то вам готовую под самый нос ставят!

Наконец все укладывались, но мы, ребята, как нам и положено, затевали возню и долго еще не могли уснуть, хихикая и толкаясь, пока бедная матушка не награждала нас подзатыльниками и шлепками. Отцу под конец тоже надоедал этот гам, и он ворчал:

— Ну тише, тише, хватит, жеребята! — А сам тихо матушке: — Что они у нас, бабы, что ли? Как им не порезвиться?

Тут матушка отпускала нам еще по одному добавочному шлепку, покрепче, приговаривая:

— Вот вам еще на мелкие расходы, черти вы этакие! И ночью нет от вас покоя.

И только тогда успокаивалась наша бедная матушка, упокой, господи, ее душу. И думаете, на этом кончалось? Как бы не так! На следующий же день, раным-рано, все начиналось сызнова. Опять матушка бралась за ремень, опять стегала нас, да все попусту, мы и в ус не дули. Верно говорит пословица: «Горбатого могила исправит».

Что только не приходило нам в голову! Чего только мы не вытворяли! Беда, да и только! И как ясно все вспоминается, точно происходит у меня на глазах...

Вот попробуй-ка вспомни то, что было недавно, проверь-ка, работает ли еще твоя голова, дядюшка Ион...

На рождество, когда отец колол кабана, опаливал его на костре, ошпаривал щетину, а потом быстренько укутывал тушу соломой, чтобы щетина лучше сходила, я непременно усаживался на кабана верхом и устраивал пир на весь мир: мне полагался свиной хвостик, который можно было поджарить, и свиной пузырь. В пузырь я бросал подсолнушки, надувал его и сушил. А как начну, бывало, им греметь, ох и доставалось же бедным матушкиным ушам, пока она, выйдя из себя, не разбивала этот пузырь о мою голову.

Да вот еще, чтобы не забыть: как-то в васильев день сговорились мы, несколько ребят-односельчан, пойти поколядовать с плугом* — к тому времени, надо вам знать, я, как на грех, подрос уже достаточно. Накануне я весь день не отставал от отца, просил, чтобы он мне сделал «быка»* или хотя бы арапник.

— Ох и дам я тебе арапник! — отвечал отец. — Что тебе, дома есть нечего? Хочешь, чтобы эти верзилы тебя в снегу вывалили? Сниму-ка я, кажется, с тебя обувку...

Видя, что дело принимает плохой оборот, я прихватил с собой свиной пузырь и выскользнул потихоньку за дверь, пока отец, на посмеище всем моим товарищам, не отобрал у меня сапог. Не знаю, как это получилось, но ни у кого из ребят не оказалось с собой колокольчика, а мой остался дома. Не возвращаться же было за ним!

В конце концов мы устроились, как могли: здесь раздобыли сломанную косу, там — ржавый крюк от ярма, кочергу с кольцом, да вдобавок мой свиной пузырь, и, как только отзвонили в церкви, мы давай по хатам с колядой! Начали с края села на горе, с попа Ошлобáну, решив обойти потом всех хозяев. Поп в это время как раз рубил дрова на чурбаке у себя во дворе. Как увидел он, что мы выстраиваемся в ряд перед окном, собираясь колядовать, так и принялся нас честить, да какими словами!

— Куры на насест еще не собираются, а вы уж тут как тут! Погодите, проклятые, вот я вас проучу!

Мы наутек. А он как швырнет нам вслед поленом! Ох и нелюдямый же и злой был этот поп Ошлобану! Со страху мы мигом очутились чуть не на середине села, даже не успели пожелать ему, как всем хозяевам, что не принимают коляду:

Дырки вам в пол,
Шашни вам в стол,
Коз вам бодатых,
Детей вам пузатых!

— Ну и чертов хитрюга этот поп! — бранились мы, снова собираясь вместе, озябшие и испуганные. — Чуть не искалечил нас своим проклятым поленом. Дай нам бог повстречать его в гробу

на носилках под крепостной стеной у церкви святого Думитру, где он служит. И дернул же его черт перебраться сюда и выстроить себе этакое домище в нашем селе! Упаси господи, чтобы наши батюшки на него походили, тогда бы нам вовек ничем в церкви не поживиться!

Пока мы так ругали да проклинали попа, на дворе уже порядком стемнело.

— С кого бы начать? Давайте-ка зайдем вон в этот двор, — предложил Захария Гытлан. — Что же время-то попусту терять посреди дороги!

Подходим мы к избе Василе Аницей и, как положено, выстраиваемся под окном. И тут словно бес нас попутал: у одного коса на морозе не звенит, у другого руки от крючка заоченели. Двоюродный брат мой, Ион Могороджа, тот и вовсе заупрямился — отошел с кочергой под мышкой и нипочем не хочет колядовать... Просто сердце с досады разрывается.

— Мы с тобой, Захария, будем на манер быка гудеть, — говорю я Гытлану. — А остальные пускай подтягивают: «Гей, гей!»

Вот мы и начали... И что же вдруг видим? Откуда ни возьмись, эта ведьма, жена Василе Аницей, прямо на нас с раскаленной кочергой. Она как раз в это время жар в печи разгребала, чтобы сажать калачи.

— Горюшко мое! Чтоб вы все сгорели дотла! — кричит она в сердцах. — Это что еще такое? Кто вас подучил?

Пустились мы от нее наутек еще проворнее, чем от попа Ошлобану.

— Ничего себе, хороший почин! — толковали мы, снова собираясь на перекрестке посреди села у церкви. — Еще одна-две такие историйки, и выпроводят нас из села, как бродячих цыган. Давайте-ка лучше по домам, спать!

Уговорившись, что на будущий год снова все вместе отправимся колядовать, мы, окоченевшие, голодные как волки, разбрелись по домам. Там небось нас примут получше!

Так вот и прошла наша коляда в тот год.

А со сметаной что творилось у нас в доме! Когда, бывало, матушка разливала молоко по кувшинам и ставила его прокисать, тут уж я — пост не пост — на второй же день принимался слизывать сливки. И до того усердно, что добирался до простокваши. Соберется матушка сметану снимать — снимай, Смаранда, снимай, если осталось что снимать...

— Может, это ведьма отняла у нашей коровы жир, мамочка? — говорю я, сидя на корточках подле горшков и облизываясь, точно и впрямь дожидаясь сметанки.

— Ох и поймаю же я когда-нибудь эту ведьму у горшков! — отвечает матушка, пристально глядя мне в глаза. — Вот тогда уж будет работа тетушке с гвоздя — никакие ведьмы, никакие кол-

дуны не вырвут вора из моих рук... Да ведь колдуна, что слизал сметану, нетрудно узнать по языку... Скажу тебе прямо, милый мой, терпеть не могу я хитрецов и обжор. Знай, сынок, бог никогда не помогает тому, кто нечист на руку, что бы он ни воровал — вещи ли или что-либо съестное...

«Эге-ге! Вон куда матушка клонит», — думал я про себя. Не настолько уж я был глуп, чтобы не понимать таких простых вещей.

А с сапожником, дедом Киорпéком, соседом нашим, какая была у меня беда! Или, вернее, какая у него была беда со мною. Я то и дело забегал к нему и морочил ему голову, выпрашивая ремешки для кнута. Заставал я старика большей частью за обычным его делом: он смазывал чоботы самым лучшим дегтем, от которого кожа становится мягкой, точно шелк.

Терпит, бывало, дед Киорпек, терпит, потом видит, что от меня не избавишься по-хорошему, схватит меня одной рукой за подбородок, а другой обмакнет помазок в миску с дегтем да так разукрасит меня, что все его подмастерья со смеху покатываются. Едва отпустит меня — я лечу домой к матушке, плачу, отплевываясь направо и налево:

— Вот, мама, что со мной этот старый черт Киорпек натворил!

— Господи! Точно я сама его подучила! — говорила обрадованная матушка. — Ей-богу, встречу Киорпека — обязательно ему угощение выставлю. Поделом тебе, ты ведь, если куда попадешь, пристанешь к человеку, как репей, душу всю из него вымотаешь озорством своим, бездельник ты этакий!

Слушая подобные утешения, я хорошенько отмывал лицо и, как ни в чем не бывало, опять за свое... Но как только проходила у меня злость на Киорпека, я снова появлялся у старика и снова выклянчивал ремешки!

— Ага, добро пожаловать, внучек-поросенок! — весело говорил старик, заведя меня у дверей.

А потом опять расписывал меня, людям на смех, и опять я бежал домой, плача, отплевываясь и проклиная его на чем свет стоит. Сущая му́ка была матушке из-за всех этих моих похождения...

— Ох, скорей бы уж зима пришла, чтоб отправить тебя куда-нибудь в школу, — говаривала она не раз. — Отдам тебя псаломщику и попрошу, чтоб вернул мне только кожу да кости...

Как-то раз летом, в канун родительской субботы, улизнул я из дому и отправился среди бела дня к дяде Василе, самому старшему из братьев моего отца, наворовать у него черешен. Ведь только у него да еще у двух хозяев в нашем селе было по дереву ранней черешни, что поспевает дочерна к троицыну дню. Иду это я и обдумываю, как бы устроить, чтобы не попасться. Захожу сперва в дом — будто за Ионом, позвать его купаться.

— Иона нет дома, — отвечает тетя Мари́ора, — пошел за

сукном с твоим дядей Василе в Кондрёны, в валяльню, что под крепостью.

Надо вам сказать, что в Хумулештах ткут и прядут и девушки и парни, и женщины и мужчины. Сукна изготовляют здесь великое множество, и светлого и темного, и тонкого и грубого, а торгуют здесь и сукном и готовым платьем, за которым съезжаются купцы-армяне из других городов — Фókшан, Бакéу, Роман, Тýргу-Фрúмос; продают его также и на ярмарках и всюду, где только можно. Этим-то и живут по большей части хумулештцы — безземельные потомки рэзешей. Промышляют они еще крупным рогатым скотом, лошадьми, свиньями, овцами, брынзой, сыром, шерстью, подсолнечным маслом, солью, кукурузной мукой, сермягами, армяками и куртками, ицарами*, шароварами, длинными рубашками и цветастыми коврами; выносят полотенца из шелка-сырца и другие шелковые ткани, которые обычно распродают по понедельникам на базаре или по четвергам в женском монастыре, так как монашкам ходить на базар не с руки.

— Ну, раз так, оставайтесь здоровы, тетя Мариора! — продолжаю я хитрить. — Как жаль, что я не застал братца Иона. Уж очень хотелось мне с ним искупаться.

А про себя думаю: «Вот здорово получилось, что их дома нет, пусть подольше не возвращаются».

Не теряя даром времени, целую тетке руку и, распрощавшись, как порядочный парень, выхожу из дому, будто и впрямь собираюсь идти купаться, а вместо этого сворачиваю в нужном месте, проскальзываю в сад, и вот я уже на черешне. Набиваю за пазуху ягоды — зеленые, спелые, какие попадают под руку. Но как я ни стараюсь поскорее справиться с работой, тетка Мариора уже тут как тут — под деревом с жердью в руке.

— Ах ты дьяволенок этакий! Так-то ты купаешься! — кричит она, вытаращив на меня глаза. — А ну-ка слезай, ворюга, вот я тебя проучу!

Но как тут слезешь — внизу-то мне погибель! А она поглядела, поглядела, что я и не думаю спускаться, и давай швырять в меня комьями земли раз, другой — не попала. Тогда она стала карабкаться вверх, приговаривая:

— Подожди же ты, поросенок, Мариора сейчас тебе покажет.

Тут я мигом спустился веткой пониже и прыг в конопляник, что начинался у самой черешни. Конопля молоденькая, высокая, по пояс человеку. А эта сумасшедшая тетка Мариора кидается за мной. Я скачу по конопле, как заяц, а она за мной в глубь сада, до самого плетня. Перепрыгнуть через плетень я не успеваю и снова юрк в коноплю, и снова — по-заячьи, а она за мной до забора у овечьего загона, но через него мне тоже не под силу перемахнуть. Вот я опять у плетня, а чертова тетка никак не отстаёт, хоть голову с нее снимай! И чуть-чуть было меня не поймала. Я бегом, и она бегом, я бегом, и она бегом, пока не истоптали всю коноплю. Было

там, чтобы не соврать, примерно десять — двенадцать прэжин* буйной, густой, как щетка, конопли, от которой теперь и следа не осталось. Обделав это дельце, не знаю уж, как это вышло — запуталась ли тетка в конопле или споткнулась обо что, — только свалилась она наземь, а я сиганул в сторону и в два добрых прыжка оказался за забором, даже ногой его не задев. А там и след мой простыл.

Вернулся я домой и весь день был тише воды, ниже травы.

Но вот приходит вечер, и дядя Василе со старостой и сторожем тут как тут: подзывают отца к калитке, рассказывают ему все, как было, и зовут ответчиком — сейчас, мол, будут определять убытки дяди Василе от оборванной черешни и потоптанной конопли.

По правде сказать, дядя Василе тоже был скупердй и сквалыга не хуже тети Мариоры. Как говорится, два сапога — пара. Но что тут болтать зря! Спорить было не о чем, убыток налицо, виновный должен платить. Недаром говорится, платит не богатый, а виноватый.

Пришлось отцу краснеть да рассчитываться за мои делишки, тем все и кончилось. Расплатившись, он вернулся домой сердитый и пристыженный, как следует вздул меня, приговаривая:

— На! Получай черешни! Подавись! И знай: нет тебе больше веры! Кончилась твоя воля, висельник! Сколько мне еще отдуваться за твои проделки?

Вот так-то обернулось дело с этими черешнями; скорехонько и без задержки сбылись слова моей бедной матушки: «Бог не помогает тому, кто нечист на руку».

Но к чему покаяния после смерти? Куда мне было деваться теперь от стыда? Попробуй-ка покажись тете Мариоре или дяде Василе или двоюродному брату Иону, да и любому мальчишке или девочке из нашего села! Особенно в воскресенье у церкви или на плясках, где девушки так красиво водят хороводы, или у Чиёрул-Кукулуй, у пруда, где всегда встречались парни и девушки, соскучившиеся друг по дружке за целую неделю работы!

Что говорить, молва о моей проделке разошлась далеко по округе, стыдно было на глаза людям показаться! Особенно теперь, когда в нашем селе подросли кое-кто из хорошеньких девушек, у меня так и щемило сердце. Есть такая присказка: «Эй, Ион, любишь девушек?» — «Люблю». — «А они тебя?» — «И я их».

Но ничего тут не поделаешь... Все проходит — пройдет и это... Не надо принимать так близко к сердцу — брось об этом думать. Минует и эта беда, как миновали другие напасти, что сваливались на меня не раз и не два, а много лет подряд, одна за другой.

Но как ни старался я, как ни остерегался, чтобы ничего не натворить снова, меня будто сам нечистый толкал на шалости, и я затевал все новые проделки.

И надо же — после тех злополучных черешен со мной опять стряслась беда!

Как-то рано утром матушка, с большим трудом добудившись меня, говорит:

— Подымайся, соня, до зари, а не то тебя армянская кукушка сглазит, и тогда тебе весь день не будет удачи.

Это она пугала меня удодам, который уже много лет вил гнездо в старой дуплистой липе на холме, на участке дяди Андрея, младшего брата моего отца. Каждое утро, раным-рано, только и слышно было: «удуду-удуду! Удуду-ду!» — так что просто гул в селе стоял.

Не успел я встать, как матушка послала меня в поле в Вáле-Сáкэ, что у Тополíу, — отнести полдник цыганам, которые нанялись к нам на прополку. Несу я узелок с едой и вдруг слышу: «уду-ду, уду-ду, уду-ду».

Ну как тут было пройти мимо! Свернул я к липе — поймать постылую птицу: уж больно я был на нее зол. И не потому, что она может сглазить меня, как грозилась матушка, а, главное, за то, что по ее милости меня каждый день подымали ни свет ни заря.

Подхожу я к липе — узелок свой оставил на тропинке на верхушке холма — и потихоньку взбираюсь на дерево. Липа пышно цвела, и, пока я карабкался, меня одурманивал ее сладкий запах. Сунул я руку в дупло и — вот так чудо! — накрыл удода на яйцах.

— Ага, голубчик, попался! — говорю я, в восторге от своей удачи. — Теперь ты у меня поудудукаешь!

И совсем уже было вытащил удода наружу, как вдруг, испугавшись сдуру чего-то, должно быть его пестрого хохолка, разжал руки, и птица порхнула обратно в дупло. Ведь до сих пор мне не доводилось видеть удода. А от людей я слышал, что в дуплах иной раз водятся и змеи. Стою и раздумываю: змей-то с перьями как будто не бывает? Наконец, расхрабрившись, опять запускаю руку в дупло, чтобы схватить удода во что бы то ни стало... Но бедняга, от страху видно, забился куда-то в самую дальнюю щель. Сколько я ни шарил, он точно сквозь землю провалился.

— Черт, что за чудеса! — говорю я с досадой и тут же срываю с себя шапку и затыкаю ею дупло.

Затем, спустившись с дерева, разыскиваю подходящий камень, снова взбираюсь на липу, вытаскиваю шапку из дупла и на ее место прилаживаю камень. Пусть попробует выбраться удода из своего убежища, пока я вернусь с поля!

Я живехонько слезаю с дерева, прихватываю свой узелок и поскорее к цыганам.

Однако, как я ни торопился, но пока я мешкал там и тут, пока трудился и нашаривал удода в дупле, прошло немало времени, и у наших цыган, конечно, животы подвело от голода. Но говорят же в народе: барин с голоду разгуливает, руки за спину, мужик трубкой попыхивает, молчит да злость копит, а цыган песни распевает. Так и наши цыгане — стоят, черт их поberi, и поют во все

горло, опершись о цапки*, а у самих в глазах от голода мутится; поют да поглядывают — не подоспеет ли откуда полдник. Время уже к обеду, а я с полдником только-только плетусь из-за холма. Иду не иду, слушаю песни, что они орут.

Как накинудись на меня цыгане, что твои лютые звери, чуть не разорвали на клочки. Да спасибо, вступилась за меня одна девка-цыганка:

— Хаулейо-мо! Будет вам! Не связывайтесь с мальчонкой! Что его ругать! С отца спрашивайте, а его оставьте в покое!

Тут цыгане и впрямь оставили меня в покое и молча принялись за еду. А я, выскочив сухим из воды, захватил свою торбу с посудой — и назад в село. Заворачиваю опять к липе, взбираюсь на нее и, приложив ухо к дуплу, слышу, как внутри что-то копошится. Тихонько отваливаю камень, запускаю руку в дупло и вытаскиваю удода — птица, натерпевшись неволи, и вовсе приуныла.

Думал я захватить и яйца, но они превратились уже в яичницу.

Вернувшись домой, я тайком привязал удода за лапку на чердаке и битых два дня прятал его от матушки среди разохшихся кадок. И беспрестанно шасть туда, шасть сюда — к удоду; домашние только диву давались: что мне там нужно, на чердаке?

На третий день прибегают тетя Мариука, жена дяди Андрея, и давай браниться с нашей матушкой:

— Да слыханное ли это дело, золовка,— кричит она в сердцах,— твой Ион украл удода, который вот уже столько лет по утрам подымал все село на работу!

И до того она, бедняжка, разволновалась, что чуть слезами не захлебнулась, выкладывая все это. Теперь-то я понимаю, что тетя была права: удода у нас в селе и впрямь заменял часы. Но бедная матушка ведь ничегошеньки не знала про мои подвиги с удодом.

— Что ты, золовка! Да знай я, что Ион поймал птицу и мучает ее, избил бы его до полусмерти! Спасибо, что ты сказала. Будь спокойна, я из него все вытрясу.

— Ты и не сомневайся, сестрица Смаранда, это не кто, как он,— говорит тетка.— Твой сорванец ничего не упустит! Чего уж больше, мне люди так и сказали: птицу, мол, украл Ион. Голову даю на отсечение!

Я сидел, притаившись, в кладовой, а как услышал это — махнул на чердак: пошарив, схватил удода, выпрыгнул из слухового окна на улицу — и живо на базар, продавать птицу. Был как раз понедельник — базарный день. С удодом в руках я стал важно прохаживаться в толпе туда и сюда; не шутите — ведь я как-никак сын купца! Какой-то непутевый старик с телкой на веревке — и что ему взбрело на ум! — вдруг спрашивает:

— Эй, мальчуган, продаешь свою курочку?

— Продаю, дедушка.

— Сколько просишь?

— А по-вашему, какая ей цена?

Не успел я протянуть ему удода, как чертов дед тут же принялся щупать птицу, не несется ли она, а сам потихоньку развязал ей лапки, подбросил кверху да как закричит:

— Батюшки! Упустил птицу!

Удод — фф-р-р! — уселся на крышу лавки, передохнул малость и полетел назад в Хумулешты. Раскрыв рот, со слезами на глазах, я смотрел ему вслед. А потом хватить деда за свитку и требую, чтобы он уплатил мне за удода...

— Ты что же это, дед? Шутки шутить с моим товаром вздумал? Не хотел покупать, нечего было выпускать птицу! Плати сейчас же, а не то и телкой своей не откупишься, понял? Это тебе не пустяки!

Я так насканивал на старика и поднял такой переполох, что вокруг, как на представлении, начал собираться народ. На то ведь и ярмарка!

Дед дал мне накричаться, потом говорит со смехом:

— Да ты отчаянный, как я погляжу. О чем это ты толкуешь? Чего тебе надобно? Чего так горячишься, внучек? Вон оно что, ты, оказывается, хочешь мою телку получить взамен своей армянской кукушки? Спина у тебя, видать, чешется, так давай я тебе почешу. Да еще уши надеру, так что хвалу господу запоешь, когда вырвешься из моих рук.

— Оставь мальчонку, дед, — отозвался кто-то из наших, хумулештских. — Это сын Штефана Петри, из нашего села. Наживешь ты себе хлопот из-за него...

— Постой, постой, милый человек, я, думаешь, не знаю Штефана Петрю, дай бог ему здоровья?! — ответил дед. — Да я его только сейчас видел: с аршином под мышкой ходил, сукно приторговывал. Он и сейчас, должно быть, неподалеку, а не то в лавке, магарыч выпивает... Хорошо, что я знаю, чей ты, мальчонка. Вот постой-ка, сведу я тебя к отцу... Проверю-ка, посылал ли он тебя продавать удода, паскудить нашу ярмарку.

Мне и так тошно было, а тут, как услышал я про отца, у меня и вовсе руки опустились. Выбрался я потихоньку из толпы и пустился наутек — обратно в Хумулешты. Да на бегу все оглядывался — не догоняет ли меня дед, потому что, по правде сказать, теперь уже я хотел от него избавиться. Как в той присказке: «Эй, пусти-ка его!» — «Я бы пустил, да он меня не пускает!» Так и со мной получилось. Я уже рад был, что так дешево отделался. «Дай бог, чтоб и с матушкой и с тетей Мариукой тоже все обошлось!» — думал я, а у самого сердце от страха да и от усталости колотилось, как у зайца.

Вернулся я домой и узнал, что отец с матерью и впрямь уехали на базар. А братья с испугом рассказали мне, что тетка Мариука заварила кашу: все село на ноги подняла из-за удода,

клянется, что это мы его утащили, матушку прямо до слез довела. А уж всем известно: тетка Мариука такая, что и хмель может из человека выбить, не то что добрячка тетя Ангелица, жена дяди Кирияка!

Выкладывают все это мне братья, а тем временем с липы доносится: «уду-ду, уду-ду».

— Слышишь, братец! Господи боже мой! Есть же на свете люди, которым ничего не стоит оговорить человека! — удивилась сестра Катрина.

— Твоя правда, сестрица, — поддакиваю я, а про себя думаю: «Ох, знали б вы, сколько натерпелся этот удод из-за меня, а я — из-за него, вы бы над нами обоими заплакали от жалости!»

Пока мы обо всем этом толковали, брат Захей, глядь, уже отправился на базар поделиться с матушкой радостной вестью, что удод нашелся.

На другой день, во вторник, как раз в заговенье перед петровками, матушка наготовила полную печь пирогов, коржиков, ватрушек, нажарила цыплят в масле, пригласила тетку Мариуку и говорит ей радушно:

— Господи боже мой! Милая моя сестрица, ведь вот так, понапрасну, из-за злых языков, люди могут стать врагами. Прошу к столу, сестрица, угощайся чем бог послал, да выпьем по стакану вина за наших мужей...

Все лихое ты отбрось,
Чтоб хорошее сбылось,
Чтоб прошла вражда и скука,
Как с полей исчезнет куколь.

Ежели из-за всякого пустяка себе кровь портить, то и впрямь с ума можно сойти.

— Да, так оно и есть, золовка дорогая, — удивленно пожала плечами тетя Мариука, присаживаясь к столу. — Поди ж ты! Вон и верь после этого людским рассказам.

Тут мы принялись за еду. Не знаю, как другие, а я так навалился, что мне на целый день хватило! Как встал из-за стола — бегом купаться, только пятки засверкали. Разбежался и с высокого обрыва бултых в омут, да так неловко — шлепнулся животом в воду, даже искры из глаз посыпались от боли; думал, живот у меня лопнул, не иначе. С трудом выбрался я из воды и сижу, держась руками за сердце. А ребята окружили и давай хоронить меня в песке и отпевать по всем правилам. Через час я едва-едва пришел в себя. А потом как ни в чем не бывало полез в воду и купался чуть ли не до захода солнца, норовя вернуться домой вместе со стадом. Матушке я сказал, что пастух растерял наших коров и мне пришлось самому пасти их с полудня, потому, мол, я так и задержался.

И матушка моя, христианская душа, приняла все это за чистую монету, поверила каждому моему слову, как святому писанию, похвалила меня за усердие и ужином накормила. Как волк набросился я на еду, а сам, прикидываясь тихоней, посмеивался про себя: здорово же это вранье у меня получилось! Я даже сам в него почти поверил.

Так подчас человек, не привыкший шевелить мозгами, невольно сам себя обманывает, даже и не помышляя об этом.

А я все-таки придерживаюсь мнения, что бывалому человеку ума не занимать стать.

Перед ильиным днем на матушку, как всегда, свалилось множество дел: одно сукно нужно снять со станка, для другого натянуть основу, а там только знай работай челноком! Огромной грудой, до потолка, лежат скроенные сермяги и дожидаются своей очереди — их надобно сшить.

Некому держать матушке гребень, пока она расчесет шерсть; прялка стоит посреди комнаты, а очесов что-то не видать. Есть же поговорка: «Не сиди, чтобы твое счастье не сидело». Дел уйма: приладить цевки к станку, присмотреть за нашим грудным, что лежит в колыбельке, да еще шестеро других ртов дожидаются, чтобы их накормили. Словом, забот полон рот, и приходилось торопиться — ярмарка в Фэлтиченах уже на носу, а на нее-то вся надежда.

Вот будит меня как-то матушка раньше обычного и просит от всей души:

— Ника, сынок! Видишь сам, отец ушел косить, овес ведь осыпается; да и у меня от хлопот голова идет кругом. Брось-ка ты шататься, посиди с мамой, наладь цевки да покачай маленького. Зато потом я куплю тебе в Фэлтиченах шляпу с лентой и пояс настоящий кожаный, широкий, с карманами: знаешь, уж мама для тебя постарается.

— Ладно, мама,— говорю.

А что у меня на уме — один я знаю. Я-то на все руки мастер — сшить и вышить свиту для меня нипочем, а особенно спрясть. В этом я со взрослыми девушками могу поспорить — недаром насмешница Мариука, дочка Саввы, которая, по совести говоря, была мне не совсем безразлична, не раз дразнила меня «Ион-пряха». Так у нас в селе прозвали одного цыгана из Вынэтор.

И все же, несмотря на это, Мариука была мне мила, и мы с ней не раз пряли в тени ореха и напрядали целые груды шерсти; матушка даже целовала меня по вечерам, когда я показывал ей свою работу.

Часто мы, подростки и девочки, чтобы было веселей, собирались со своей работой друг у друга. Это у нас в селе называлось «посиделки», устраивались они чаще всего по ночам, и каждый пряд свое. Любо было смотреть, как я работал наперегонки с Мариукой и как пело мое веретено. Точь-в-точь так же пело и мэе

сердце от любви к девушке. Господь мне свидетель! Помнится, как-то ночью, когда мы чистили кукурузу, мне посчастливилось вытащить у Мариуки из-за пазухи мышонка. Если бы мне не повезло, он перепугал бы бедную девушку до смерти.

А летом в праздники, когда на полях, холмах, а в особенности в веселых зеленых рощицах собирают иван-чай и лозу для желтой и красной краски или душицу, которой на лето пересыпают одежду, кто ходил с девушками? Об этом и в песне поется:

Дал бы, боже, мне валец
Да к девчонкам уволок.

Короче говоря, где три девушки, там и я — четвертым.

Так-то оно так, но как услышал я, что нужно нянчить ребенка, просто не знаю, что со мной случилось. И за какие грехи выпало мне быть старшим из братьев?!

Но разве откажешься, если просит матушка! А тут, как назло, именно в этот день небо было такое синее, до того хорошо и тепло было на дворе, что меня зависть разбирала, когда я смотрел на кур, купавшихся в пыли. И вот, любуясь ярким солнышком и досадуя на матушку — хоть и грех было на нее сердиться, ведь у нее забот хоть отбавляй, — удрал я потихоньку к пруду. Сделанного ведь не воротишь, что было, то было, бог мне свидетель, что говорю я истинную правду.

Некоторое время спустя матушка, думая, что я в саду, выходит на двор и принимается кричать изо всех сил:

— Ион! Ион!

А Иона и след простыл.

Не дождавшись ответа, матушка бросает все свои дела и отправляется за мной на пруд, зная, где скорее всего можно меня найти. И что же она видит? Я нагишом лежу, вытянувшись на песке. Потом я поднимаюсь, и, приложив к ушам нагретые на солнце серебристые голыши, прыгаю то на одной, то на другой ноге, и, наклоня голову то вправо, то влево, напеваю:

Золотце при молодце...
Вылей воду из ушей,
Я монету дам, ей-ей,
Стану мыть я ведра рано,
Стану бить я в барабаны...

Потом я принимаюсь один за другим пускать камни по поверхности пруда, где только что выкупался, один — богу, другой — черту, каждому поровну. Потом еще несколько камней, чтобы спровадить черта на самое дно пруда, — вон какие пузыри он пускает! А затем и сам шлеп в пруд, на дно, ловить черта за ногу. У мальчишек так уж заведено во время купания — еще от праотца

Адама. Потом я ныряю еще три́ раза — во имя отца, сына и святого духа и еще один раз — аминь.

Затем тихонько отплываю на боку и, притаившись под берегом, люблюсь, как плещутся в воде стройные ножки девушек, белящих у пруда холсты. Лучшего занятия, думается мне, нет в целом свете.

И на все это смотрит из-за груды гальки моя бедная матушка. В гневе она так и застыла на месте — руки в бока. А я ее и не заметил — не до того мне! Прошло уж два-три часа с тех пор, как я удрал из дому. Солнце собиралось перевалить за полдень, а у меня даже еще под ложечкой не сосало; я был так счастлив, что позабыл обо всем на свете.

Наконец матушкино терпение лопнуло. Подкравшись на цыпочках как раз в ту минуту, когда я любовался девушками, она схватила в охапку мою одежду и, оставив меня нагишом в воде, закричала со злостью:

— Уж голод пригонит тебя, бродяга, домой, тогда я с тобой потолкую! — И с этими словами ушла.

Ай-ай, что же теперь делать, Ион?!

Как увидели это девушки, белившие холсты, давай толкать друг друга да смеяться, так что весь берег зазвенел от хохота. А мне впору сквозь землю провалиться или утопиться с досады. Минуту назад девушки были мне страх как милы, а теперь я готов был всех их передушить. «Но кто в силах остановить ветер, воду или человеческий язычок?» — говорит пословица.

Что с ними поделаешь? Пусть себе смеются до упаду! Улучив минуту, когда они нагнулись полоскать холсты, я выскочил из воды — и давай бог ноги! Я мчался по берегу с такой быстротой, что выворачивал гальку, и она подскакивала выше моей головы. И так — бегом, бегом, без оглядки — добрался я улочками до большака, что вел к нашему дому. Чтобы кого-нибудь не встретить, я свернул с дороги, перемахнул через плетень в огород Костáке, пробрался кукурузой, потом переулком, юркнул в сад Трэ́сни и опять в кукурузу. Но тут, как на грех, собаки Трэ́сни учуяли чужого и набросились на меня — вот-вот разорвут. Что тут делать? Слышал я от людей: если хочешь, чтобы собаки тебя не тронули, ложись ничком на землю и не шевелись, пускай себе лают сколько влезет. Полают, полают да и отстанут.

Вот уж истинная правда, именно так избавился я от псов Трэ́сни, когда, как на грех, нарвался на них, а они на меня. Счастье еще, что не наткнулся на меня сам Трэ́сни, злодей и разбойник, у которого был против меня зуб с тех пор, как он накрыл меня в саду с ворованными яблоками и грушами-скоро-спелками, — уж он бы сейчас избил меня на месте! Для полного удовольствия мне только этого не хватало!

Наконец, когда собаки Трэ́сни, как я уже сказал, оставили

меня в покое, я выскочил на перекресток и оттуда шмыгнул в наш сад. Тут уж я мог себя чувствовать как у Христа за пазухой. Шагаю себе беззаботно кукурузой, подхожу к нашему двору и вижу через тын, как матушка все еще хлопочет по хозяйству, — будто ветром носит ее то из дому, то в дом; и так мне стало ее жалко, так жалко, но своего отощавшего после купания желудка еще того жалче. Недаром говорится: «Своя рубашка ближе к телу».

Не в силах побороть голод, я жалобно завопил из-за забора:

— Мамуся, я пришел!

Потом, перепрыгнув через забор, предстал перед ней во всей своей красе, схватил ее руку и стал целовать и молить:

— Бей меня, убивай меня, повесь меня, делай со мной что хочешь, только покорми — умираю от голода! (Как говорится: «Голый в кустах хоронится, а голодный напрямик ломится».)

Мать остается матерью: она ласково посмотрела на меня и проговорила со вздохом:

— Ну пристало ли тебе, верзиле этакому, шататься по дорогам в чем мать родила? И как у тебя духу хватило в такое горячее время оставить меня одну без всякой помощи? Садись за стол, но только знай, что отныне нет тебе места у меня в сердце! Разве что ты с этого дня начнешь вести себя хорошо — тогда и я, может быть, снова стану такой же, какой была. Но не ручаюсь, ей-богу!

Короче говоря, я видел, что матушка на меня прогневалась, и тут же поклялся никогда больше не выкидывать таких штук. И действительно, стал вести себя по-хорошему, ни в чем матушке не перечил ни делом, ни словом. Как говорится, добрая беседа лучше обеда. Я хлопотал по дому, из кожи вон лез, убирал и подметал, как девка на выданье. Теперь матушка, уходя куда-нибудь, спокойно могла оставить на меня дом. Вот однажды, расцеловав меня от всей души, она ласково сказала:

— Да хранит тебя господь, Ионика родной, да наградит он тебя всякими благами, если ты и дальше будешь вести себя так, как теперь.

Слыша такие слова, я разревелся от радости. Но совесть мучила меня, как никогда. Отдубась меня матушка палкой или выгони из дому, как чужого, я бы не так сгорал от стыда, как сейчас от ее ласки.

Не думайте, пожалуйста, что я не сдержал своего слова, — как же, сдержал, после дождика в четверг! Уж таким я стал терпеливым да старательным! Не хочу себя хвалить, мои дела сами себя хвалят: когда спал — есть не просил, когда вставал — не дожидался, чтобы кто-то меня покормил; если дома была работа — старался из дому улизнуть. Были у меня и другие достоинства: строгостью от меня ничего нельзя было добиться, а

лаской — еще того меньше; когда мне давали волю, я мог таких дел натворить, что и святая Анастасия-целительница в них не разобралась бы при всей ее мудрости. Как в той пословице: «Один дурень бросит камень в воду, а семерым умникам его не вытащить!»

Но стоит ли тратить попусту столько слов? Да, жил на свете человек — одушевленный комок хумулештской глины, и красивым не стал он к двадцати годам, и умным к тридцати, и богатым к сорока...

III

Как медведю неохота покидать свою берлогу, горцу — переселяться на равнину, младенцу — отрываться от материнской груди, так и мне не хотелось уезжать из Хумулешт осенью 1855 года в Соко́лу. Когда подошло время отъезда, начал я упрашивать матушку, чтобы оставили меня дома. Почему же мне так не хотелось уезжать из Хумулешт, сколько ни уговаривала меня матушка, уверяя, что это делается для моей же пользы? А потому не хотелось, что я, как на грех, был уже на возрасте — хоть сейчас жениться! И Яссы, которых я и в глаза не видал, были не так близко от Нямцу, как Фэлтичены, откуда позднее осенью, а особенно зимой, когда ночи подлиннее, мог я иной раз, как отзвонят к вечерне, удрать к себе в Хумулешты. Ночью при луне носились мы с товарищами, что твои рысаки, с посиделок на посиделки, а после, наигравшись и наплясавшись, украв по поцелую у озорных девчонок, до рассвета выходили из села... и поспевали к обеду в Фэлтичены; у Баи приходилось пересекать вброд Молдову, замерзшую у берегов, и когда перебирались мы сначала туда, а потом обратно — кости ломило от холода! Но зато сердца у нас были горячие, и что, бывало, задумаем — то и сделаем. От Нямцу до Фэлтичен и от Фэлтичен до Нямцу для нас тогда было рукой подать.

А тут, понятно, совсем другое дело: разве сравнишь короткий путь в два перегона от Фэлтичен до Нямцу с длинной и трудной дорогой в шесть перегонов от Ясс до Нямцу? Я и не думаю шутить: от Нямцу до Ясс столько же, сколько от Ясс до Нямцу, не больше и не меньше. «Лучше б тебе оставаться на месте, Ион,— размышлял я своей глупой башкой,— чем день и ночь хныкать и таять на глазах от тоски... уж я-то знаю, по ком».

Но, как говорится, не по своей охоте медведь пляшет. Живой или мертвый, я должен был плясать под дудку матери и против своей воли уехать, оставляя все, что было мне так мило! А мило мне было наше село с привольно бегущей Озаной, прозрачной, как хрусталь, в которой уже столько веков отражается суровая крепость Нямцу. Милы мне были отец и мать, братья и сестры и

сельские парнишки, товарищи детства, с которыми в морозные зимние деньки носился я по льду и катался на санках; а летом, под веселые праздники, бывало, мы со свистом, с песнями успевали исколесить тенистые рощи и веселые луга; мил мне был и пруд с его омутами, пажити и пашни, поля в цветах и горделивые холмы, из-за которых в пору моей озорной юности улыбалась мне заря. Так же милы были и вечеринки, и посиделки, и хороводы, и сельские праздники, в которых я с таким усердием принимал участие. Да будь ты хоть каменным, но как не вострепнуться от радости, когда, бывало, глубокой ночью заслышишь Михая-скрипача из Хумулешт, что шатается по селу с ватагой парней и распевает:

Лист зеленый абрикоса!
Меж ветвей, в прохладных росах
Пел всю ночь соловей
Голосом любви моей.
Пел он голосом печали
Так, что листья опадали,
Пел он песню сладкой муки
О безрадостной разлуке.
Охал, щелкал, горевал,
Мое сердце разрывал.

И чего-чего только не пел Михай-музыкант, чего только не наигрывал он на своей певучей скрипке!

А мало ли веселых вечеринок бывало у нас! Весь год был сплошным праздником! Как говорила одна старуха: «Дай боже, чтобы весь год был праздником, чтобы выпал в нем один будень, да и на тот чтобы пришлись поминки либо свадьба».

И вот покидай, парень, родное село со всеми его радостями и красотами и отправляйся, если хватит духа, в чужие места, да еще в такую даль! Вот и старался я всю уговорить матушку, стращал ее, что непременно заболею с тоски по ней и умру на чужбине. Ведь вот двоюродный брат мой, Ион Могорódжя, и Георге Трэсня, и Нíка Ошлобáну, и другие бросили же ученье — и ничего, живут себе спокойно на хлебах у родителей.

Напрасный труд! Матушка от своего не отступала. Заботливо собирала она меня в дальний путь, а спустя некоторое время сказала строго:

— Ион, не срами ты меня зря, не заводи со мной ссору. Ты поедешь, куда я велю, и Захария Гытлан поедет вместе с тобой; повезет вас Лука Мошнýгу, наш сосед, на подводе; пара лошадей у него, как змеи. А ну-ка сбегай к нему, погляди, готов ли он к отъезду? Потому что завтра, с божьей помощью, ранехонько утром вы тронетесь в путь.

— Не поеду я, мама, в Соколу, хоть убей меня, не поеду,—

твердил я, плача в три ручья.— Зачем мне попом становиться, живут люди и так.

— Будет тебе хныкать, Ион,— твердо сказала матушка.— Ничего этим не добьешься... А меня ты, кажется, хорошо знаешь... Не выводи меня из терпения, а то как возьмусь за скалку да как проучу тебя, не погляжу, что ты такой здоровенный!..— Тут она позвала отца и заявила ему: — Скажи-ка ты парню что полагается, пусть выбросит дурь из головы и собирается в путь.

— Чего уж тут толковать? — нахмурившись, отозвался отец.— Он должен делать так, как мы решили, а не так, как ему вздумается, ведь покамест еще не своим умом живет. У меня и других забот хватает. Бьешься, бьешься, только бы заработать на жизнь, деньги-то на деревьях не растут! А этим шестерым, что дома остаются, разве ничего не надобно? Он самый старший, значит, его счастье: его будем в люди выводить. Кто знает, что человека ждет. Может, и он когда-нибудь младшим поможет.

Увидал я, что родителей не переспоришь, и стал готовиться к отъезду, с грустью думая про себя: «Вот еще несчастье на мою голову! Наши-то деревенские попы не маялись по всяким Соколам, а вот бог им все-таки помогает. Пояс не сходится — такие пузатые! Или взять монахов: собрались дармоеды со всего света, сидят себе в монастыре, как в теплом гнезде, чего им еще надо? А я вон в скольких школах уже перебивал: и в Хумулештах, и в Броштенах, на горах, и в Нямцу, и в Фэлтиченах, и вот еще теперь в Соколу еду, и все ради того, чтобы стать каким-то там несчастным попом с попадьей и ребятишками... Уж больно много с меня требуют...»

Чуть было не сказал я матушке, что пойду в монахи, в Нямцу или в Секул. Грамоте я с грехом пополам научился и через несколько лет смогу стать экономом в каком-нибудь захолустном монастырьке. Накоплю себе деньжонок, как батюшка Кири́лаш из Вына́тору-Нямцу́луй, что здорово нажился на дровах. А тогда уж привесь, святой Ила́рие, флягу водки на бок, свежей икорки да другого соленья в карман, пистолет под рясу за пояс, кlobук набекрень, в руку меч духовный*, космы по ветру — и ступай себе бродить через Пичорул Рэу* и Кэра́ря Афуриситэ* между Секу и Верхней Агапией, где все лето слышится ангельский голосок, напевающий:

Ой, бежит в долине речка...
Здесь я, божия овечка!

А другой отзывается басом:

Гоп, и я в долине вашей,
Божьей милости барашек!

Дело в том, что я ненароком узнал кое-какие монашеские тайны, когда ходил в эти места с ребятами... по грибы; вот почему и разобрала меня охота идти в монахи...

До чего только доводит человека благочестие!..

Да, кстати, чтобы не забыть: ночь перед отъездом я промаялся до самого рассвета, все придумывал, как бы уговорить матушку отдать меня в монастырь; и вот, как раз когда я, наконец, решился ей об этом сказать, взошло солнце, предвещая погожий денек.

Дед Лука, которого молодая жена поторопилась разбудить и спроводить в дорогу (он недавно женился второй раз), крикнул со двора:

— Готово? Поехали! Я жду, лошади запряжены.

Тут матушка стала меня торопить, и я так и не успел поговорить с ней про монастырь.

Собрались все родичи мои и Захарии во двор к деду Луке. Поцеловали мы руки родителям, попрощались, а у самих глаза полны слез.

Грустные и заплаканные — горе наше горькое! — уселись мы в телегу Луки Мошнягу. Возница наш стегнул кнутом лошадей и сказал своей жене, что закрывала за нами ворота:

— Олимпиада, приглядывай за той дырой...

А сказал он так, наверное, потому, что свиньи, разломав в одном месте забор, повадились лазить к нему в огород, в кукурузу.

Было утро праздника усекновения главы Иоанна Крестителя, когда мы выезжали из Хумулешт.

Девушки и парни, веселые, по-праздничному разряженные, сновали туда-сюда по селу. Только мы с Захарией, съездившись в телеге деда Луки, уезжали, как изгнанники, куда-то к черту на рога! Не знаю даже, как и сказать иначе.

— Прошу тебя, дед Лука, поезжай скорей, чтобы не глазело на нас все село, как на медведей, — сказал я с тоской.

Но Лука Мошнягу ехал, как мог. Одры его, отощавшие и костлявые, были в точности дохлые кошки, а не змеи, как говорила матушка, которая не знала, как бы поскорее выпроводить меня из дому.

— Будь проклят тот, кому вздумалось упразднить духовное училище, на нашу беду! — вздохнул Захария Гытлан, когда мы выбрались на большак. — Только и время погулять в наши молодые годы, а тут берись за ученье; будто у человека десять жизней! Так вот прошатаешься черт знает зачем из школы в школу, оглянешься на себя, а ты уж дряхлый, немощный старикан, только и годишься что в попы, каких выпускают из Соколы. А ты что скажешь, дед Лука?

— А что мне говорить, бурсак Захария, разве я знаю, какие у вас порядки? Я подрядился доставить вас, куда велено, а там

дело ваше. Гей-гей, лошадки, шевелитесь! Поскорее бы нам домой вернуться!

Как слышали мы, с какой любовью вспоминает дед Лука о своем доме, как увидели, что село и родные места уже позади, а на смену им появляются новые, незнакомые, так нас и одолела тоска. Каждый колодец, речушку, долину, рощу провожали мы глубоким горестным вздохом.

И будь наша воля, мы бы тут же повернули обратно, если б не были отданы во власть деду Луке, если б не стыдились его и своих родителей.

После короткой остановки у моста в Тимишештах, на Молдове, мы отправились дальше, к Мѳцка, медленно-медленно поднимаясь в гору, проезжая через дремучий бор Пашканы. Отсюда, с вершины, мы, грешные, в последний раз с тоской оглянулись на горы Нямцу, вершины которых прятались в тучках. Там рождались быстрые ручьи, что уносят в своих струях кто знает сколько человеческих слез и страстей, чтобы утопить их в могучем Дунае.

— Ну вот, Захария,— сказал я, когда мы спустились в долину Пашканы,— не видно уже наших гор. Попали мы с тобой на чужбину, и бог знает на какой срок.

— А уж это как нам на роду написано,— еле выговорил Захария.

Тут он опять задумался и всю дорогу до Блэжешт (на том берегу Сѳрета), где мы остановились на ночлег, угрюмо молчал.

Горе это было, а не ночлег! Лежа на завалинке у одного колесника, мы чуть было не ослепли. С вечера и чуть ли не до рассвета, как в карантине, окуривали нас дымом горящего навоза, а комары все-таки искушали нас до волдырей.

— Такая уж здесь жизнь, на равнине,— промолвил дед Лука.— Вода в Серете негодящая, и дров-то в обрез. Летом задыхаешься от жары и комары тебя терзают без жалости, места себе не найдешь, вертишься, как грешник на сковородке. Боже меня упаси поселиться на равнине! То ли дело у нас: вода сладкая, прозрачная, как хрусталь, холодная, как лед; дров сколько хочешь, летом всюду тень да прохлада. Народ здоровый, сильный, храбрый и бодрый, не то что здесь, в долине, бледные заморыши, сморщенные, точно всю жизнь одними жареными сморчками кормятся.

— Смотри-ка, дед Лука,— сказал немного погодя Захария.— Воз уже заходит, а Утренняя звезда скоро взойдет. Давай-ка отправимся в путь.

— Что верно, то верно, бурсак Захария, твоими устами глаголет истина. Чем вертеться тут на завалинке, двинемся лучше в путь. Быстрее обернемся. Бог милостив, сохранит нас от беды.

Попрощались мы с хозяином, который тоже спал на завалинке, и тронулись в путь. Только выехали на большак, как повстречали, на наше счастье, попутные подводы с дранкой,

которые тоже направлялись в Яссы. Мы примкнули к ним, опасаясь бродивших тут грабителей из Ружинóаса, и покатали дальше — трюх-трюх. До рассвета' добрались в Тыргу-Фрумос. Там разрезали несколько спелых арбузов и на время утолили жажду и голод.

Когда лошади отдохнули, мы отправились дальше, к Пóдул-Илóей, а оттуда прямо в Яссы — больше пешком, чем в телеге, потому что «змеи» деда Луки совсем выбились из сил.

Встречные мужики, любители пошутить, то и дело задевали нас мимоходом, один — так, другой — этак, нас прямо стыд брал за деда Луку.

К заходу солнца при въезде в Яссы у рогатки Пэкурарь какой-то чертов озорник совсем поднял нас на смех:

— Дедушка, гляди попридержи своих рысаков, не дай бог, понесут вскачь, а Яссы велики, как бы, упаси бог, беды не натворили!

Только этого не хватало деду Луке! Но тут он не ударил лицом в грязь — проклятия и ругательства так и посыпались на голову обидчика:

— Скажи пожалуйста! Да если б этот негодяй, чучело ходячее, знал, какой дальний путь мы проделали в эту ночь, небось прикусил бы язык, не глумился б над моими лошадками! Впервой я разве в Яссах, что меня этакие прощелыги берутся учить, какого порядка держаться! Сто чертей его матери! Жаль, не остановился он, уж я бы ему показал, как издеваться над проезжими.

Видя, что нас высмеивают и что дед Лука совсем разошелся, мы сидели в телеге не шевелясь, накрывшись с головой попоной.

— Дедушка Лука,— шепнули мы ему,— как спросят тебя, почему, мол, лошади еле тянут, ты скажи, что везешь соль из Окны, увидишь, все тебе поверят.

— Вот как, и вы туда же?! Ох, знал бы я, что вы такие...— взорвался дед Лука, шагая рядом с лошадьми.— Не выводите лучше меня из терпения, а то как огрею вас палкой, проймет вас и через попону — света белого невзвидите!

Услыхав, что нас ожидает, мы притихли и давай подталкивать друг дружку да хихикать, а деду Луке ни слова.

Немало насмешек довелось выслушать деду Луке, поглумились над ним вдосталь чертовы прохожие! Наконец, поздно ночью, шажком, с ухаба на ухаб, добрались мы по ясским улицам до выгона Соколы.

Остановились под большим тополем, где собралось уже множество бурсаков, съехавшихся из духовных училищ всех уездов Молдавии. Попадались среди них и молодые, но большинство было с длинными, как веники, бородами. Сидели они на траве вместе с родичами — духовные и светские попеременно — и судачили о своих делах и горестях.



Эджус Судрабу

ИНГА

Примерно в двухстах шагах от берега небольшой речки тянулась опушка большого помещичьего леса. Если спуститься вниз по течению, то можно было увидеть, что лес вдруг круто сворачивал в сторону, открывая вид на помещичий фруктовый сад и парк, среди зеленых кущ которого мелькали красные черепичные крыши. Если же подняться несколько вверх по течению, то вашему взору открывались широкие просторы полей, среди которых красовались строения хутора Визбули. Вдоль берега, отделяя речку от бора, тянулась широкая песчаная полоса, сплошь заросшая можжевельником. Весь кустарник был одинакового роста, и если смотреть издали, то казался аккуратно подстриженным. Ближе к речке кое-где попадались кусты орешника, буйные заросли которого у самого берега совсем вытеснили можжевельник. Здесь можно было увидеть и маленький кудрявый дубок, более похожий на куст, чем на дерево.

Самый край берега был опоясан узорным поясом из лютиков,

полевого горошка, болотного курослепа, медуницы, мятлика и других весенних цветов. Они соткали и на лугу и в излучине речки яркий ковер, богатством своих красок соперничающий с самой радугой.

Там и сям между кустами можжевельника мелькали рыжие и пестрые спины коров. То и дело поднималась то рыжая, то пестрая морда, с шумом выпускала из ноздрей воздух и опять исчезала. Вдруг из самой гущи можжевельника вынырнула широкая, украшенная парой роскошных рогов голова, и красивые добродушно-глупые глаза, как бы оценивая всю прелесть пышного расцвета весны, уставились на луг. Но вот рыжая Мулитэ весьма решительно стала продираться к орешнику. Услышав подозрительный шорох, ее приятельница Пеструха с тревогой осмотрелась и опрометью бросилась за подругой. Недолго думая, вслед за ними двинулись и остальные коровы, и через несколько минут все стадо спустилось к самой речке. Лишь время от времени раздавалось одинокое жалобное блеяние потерявшего мать ягненка. Потом, очевидно найдя мать, умолк и ягненок.

С веселым щебетом пронеслись над речкой ласточки, а с обрыва то и дело доносился то веселый, то грустный писк стрижей. Воздух был насыщен запахом смолы, смешанным с тонким ароматом полевых цветов, а из чащи леса при малейшем дуновении ветерка доносился дурманивший запах багульника.

Вдоль берега речки шагал высокий босой человек в жилетке и широкополой шляпе. Он шел взглянуть на травы пойменного луга, а также проверить, хорошо ли пастух пасет стадо. Внимательно всматривался он в заросли можжевельника и, ничего не разглядев, остановился.

— Может быть, они в лесу? — подумал он вслух.

Но, взглянув в образовавшийся между кустами орешника просвет, через который открывался широкий вид на излучину речки, он увидел, как у самой границы с помещичьим лугом, равномерно помахивая хвостом, мирно пасется Мулитэ.

«Бездельник! — У хозяина на лбу вздулась толстая жила. — Ну как такого не пороть?»

Поспешно вытащив из кармана жилетки складной нож, он срезал длинный прут и кинулся выгонять корову.

«Хорошо еще, что на собственном участке! Перешла бы на помещичий луг — плати рубль».

Выбравшись из кустарника, он увидел всех коров.

— Перебрались бы в мои владения — пришлось бы тебе раскошелиться! — со смехом сказал стоящий на берегу речки лесничий; за плечами у него висело ружье.

— Горе с этим мальчишкой! — жаловался хозяин, высоко поднимая ноги, чтобы не мять траву.

— Будет тебе ходить, как на ходулях, нарезал бы лучше

хороших розог да поучил бы его как следует, — набивая трубку, заметил лесничий. — Давеча, выходя из лесу, я видел твоего пастуха на опушке. Он был чем-то очень занят.

Визбулис собрал коров, направил их в можжевельник, и те, очевидно поняв, что своевольничать сегодня больше не придется, покорно поплелись к лесу, пощипывая на ходу короткую траву.

— Здесь-то им чем плохо? — продолжал лесничий. — Травы — лучше не надо! Могли бы набить животы, что твои барабаны, так нет же... Но со скотины какой спрос! Пастух — другое дело. Отстегал бы ты его раз за все разы, да так, чтобы на всю жизнь запомнил...

Выйдя на поляну, они увидели у опушки леса мальчика. Одет он был в коротенькие штанишки и старую курточку, из которой уже изрядно вырос. На голове красовалась старая соломенная панама. Панама, очевидно, была для него слишком велика и, чтобы не опускалась на глаза, сдвинута на затылок. Широкие ее поля целиком закрывали шею и плечи. Загорелые босые ноги сплошь в ссадинах и царапинах. Мальчик был чем-то очень увлечен.

Рядом с ним, приподняв лапу и готовый к прыжку, стоял его друг, пес Крэнцис. Казалось, он был поглощен тем же, чем и его хозяин.

— Диких пчел нашли, что ли? — проворчал хозяин, подкрадываясь с прутом в руке к мальчику.

— Для пчел еще рано, — заметил лесничий. — Сейчас если где и найдешь гнездо, так меда там нет. Дикий мед бывает не раньше сенокоса.

Мальчик был так занят своим делом, что не слышал ни шагов хозяина, ни слов лесничего.

Раз, раз! — просвистела розга. Раз, раз, раз!

Мальчик вскочил как ужаленный, обеими руками схватился за ноги, сразу же покрывшиеся ярко-красными полосами, и с испугом посмотрел на хозяина.

— Чего уставился? — прикрикнул хозяин. — Это только закусочка, а настоящий ужин велю приготовить матери. Если случится, что мать пожалеет для тебя розог, уж так и быть — подбавлю от себя.

— Ха-ха-ха! — смеялся лесничий. — Хи-хи-хи!.. Но чем ты тут так занят? — Он подошел и нагнулся. — Что, ужи?

— А ты думал, миноги? — ворчал Визбулис. — В воде такие звери не водятся. Смотри, один из них живой — жалом поводит и глазами моргает.

— Да ведь это змеи! — удивился лесничий. — И кто тебя научил их ловить? Укусит — будешь тогда знать.

— Где это видано! — сказал хозяин. — И в самом деле ужалит. А помрет такой паршивец — с кого спросят? С хозяина.

Мать примчится и вцепится в глаза... Из-за такого сморчка потом еще неприятности терпи!..

Прут снова засвистел по голым ногам мальчика.

— Ой, хозяин, не бейте! — плача просил мальчик. — Ведь они же не могут ужалить!

— «Не могут»! — передразнил его лесничий. — Рассказывай сказки... Я родился и вырос в лесу и нрав их во всех тонкостях изучил, а он — «не могут ужалить»! — Лесничий ткнул живой змее в нос соломинку. — Видишь, какое жало? Вот ты жив, а вот тебя и нет. И зачем только понадобилось их прищипливать к земле?

— Да одним жалом они ничего сделать не могут, — настаивал мальчик.

Мужчины переглянулись.

— Слышишь, какой умник!.. Ох, хозяин, видно, мало ты его порол!

Пастушонок подсунул змее палец прямо к носу. Гадюка тут же выпустила жало, и глазки ее загорелись, как свечки.

— Умрет, ей-богу, умрет! Ах ты шалопай!

— Ничего не умру!

— Ну, значит, эта не из ядовитых, — заметил лесничий и принялся за длинный рассказ о ядовитых и неядовитых змеях.

— Неядовитая? А это что? — спросил мальчик, поднимаядохлую мышь, которая тут же, никем не замеченная, валялась в траве.

— Мышь! Ты что, решил нам голову морочить? И где только, хозяин, ты такого сорванца откопал?

— Да это Инга — сын моей сводной сестры, той, что живет на краю волости. Инга у меня с юрьева дня, но до сих пор я и не подозревал, что он такой бездельник и болтун!

— А мышь? Верно, собака задушила?

— Нет, змея, — веско ответил Инга.

— А ты видал?

— Да я сам ей велел!

Лесничий и хозяин опять переглянулись.

— Чудеса в решете, да и только! И откуда ты четырех змей достал?

— Да этого добра здесь сколько угодно, на каждой кочке найдете по паре, — сказал Инга, — даже коров страшно в лес пускать. В наших местах их тоже много. В прошлом году покусили корову Стакúпов, у той вся голова раздулась. Но здесь у вас их куда больше!

— Так ты подсунул мышь, чтобы ее ужалили? Разве можно так животных мучить? Ох и задал бы я тебе перцу!

Мальчик искоса взглянул на лесничего:

— А вы капканов никогда не ставите?

— Ох, порку, порку! Видно, что он прошел хорошую школу.

— В школу начну ходить только с осени. Я и в пастухи нанялся, чтобы на хлеб и учебники заработать.

— Разве такого переспоришь!.. Однако интересно знать, как это он проделывает все свои штуки с мышами и змеями...

Инга взглянул на стадо и кликнул пса. Оба умчались, чтобы собрать коров.

— Так это сын твоей сестры? — спросил лесничий.

— Сводной сестры.

— Парень хоть куда! И вправду, змей в этом лесу пропасть. Тихо, солнцепек — как им тут не жить? Что касается меня, то я против них ничего не имею. Мне же легче, а то, когда ягоды поспеют, пришлось бы мне за бабами гоняться, а так, из-за змей, даже если упрашивать, и то ни одна баба не сунется в лес за черникой.

— Вот именно поэтому вам и следовало бы отвести мне под пастбище другое место, хотя бы тот же Сухой лог.

— Там батраки пасут своих коров.

Визбулис только рукой махнул:

— Бог с вами! Но дров в будущую зиму вы от меня тоже не ждите.

— Это дело твое, твое и барина... Что, собрал скотину? Ну, уж если ты такой мастер, то ступай принеси змею и мышь и покажи нам, как это ты с ними свои штуки устраиваешь.

— Кранци, пошли! — Инга кликнул пса, который все время выжидающе смотрел на пастушонка.

Услышав слово «пошли», пес с радостным визгом бросился к мальчику, пытаясь лизнуть его в губы.

— Мыши, мыши, ищи! — подзадоривал его Инга, и оба пустились во весь дух.

— Смотри не потопчи хлебá!.. — крикнул им вслед лесничий. — Где уж им мышь поймать!

— И зачем только поощрять эти шалости? — недовольно проворчал хозяин.

Он вытащил из кармана жилетки фарфоровую трубочку, отвинтил ее головку, изображающую искаженный портрет какой-то знаменитости, и выколотил золу.

— Забыл кисет в кармане пиджака, — заметил он, когда трубочка была уже полностью подготовлена к куреву.

— Возьми мой. Самосад, но хороший.

Проверив, нет ли змей, мужчины уселись на кочки. Беседа шла о самосаде и его преимуществах.

— Трава в этом году хорошая — сена будет вдоволь, — начал лесничий, когда, по его мнению, о табаке было уже все сказано.

— В излучине — да... Пеструха, ты куда? Я тебя!

— Будет и в других местах. В Сухом логе, на том участке, что под луг оставили, уже сейчас трава по колено...

— Опять пошли к излучине!.. Придется самому пасти, мальчишка как в воду канул... Пеструха, чертовка, я тебя! — грозил хозяин, встав на кочку.— И дернуло тебя мальчишку на шалости натравить — где его теперь найдешь?

Лесничий, улыбаясь, попыхивал своей трубочкой.

— Что, уже выкурил? — спросил он хозяина.— На, набей еще, табак не покупной.

— А у меня покупной. Спасибо, накурился.... Когда придешь с разрешением насчет Сухого лога, покурим мой.

— Поговори с барином.

Визбулис опять махнул рукой:

— Чего там, не буду я для имения дрова возить, вот и все!

— Другие повезут. Смотри, коровы опять направляются куда не следует.

— Му-лэ, Му-лэ! — громко крикнул хозяин.— Право же, придется самому идти.

Он было уже поднялся, но тут из-за кустов залаяла собака.

Стадо повернуло назад и, недовольно взмахивая головами, направилось к лесу, срывая по пути пучок-другой травы.

Вскоре из-за кустов появилась сперва широкополая шляпа, а потом уже и сам Инга. Двумя пальцами держал он полевую мышь, которая то изо всех сил извивалась, то вдруг замирала, как бы показывая этим покорность судьбе.

— Мышь нашли. Ну а где же змея?

Солнце тем временем поднялось уже высоко и припекало всю. Дурманяще благоухали смола и багульник.

— Мышь нашли,— повторил лесничий.— Где же змея?

— На, поддержи, сейчас будет и змея,— сказал мальчик, протягивая лесничему мышь.

— Мне не удержать — слишком толстые пальцы,— отказывался лесничий.— Ну ладно, давай сюда. Но как же ее держать?

Он протянул руку, но тут же отдернул.

— Боюсь, как бы не укусила. Жди потом, пока заживет. Бросай, нечего пустяками заниматься!..

— Давай сюда,— прервал его хозяин.— Интересно, где это он возьмет сейчас живую змею. Эта, кажется, уже подохла.

Инга отвернулся от лесничего и, объяснив хозяину, как держать мышь, подбежал к своей торбе, которая лежала в тени можжевельника, достал жестянку, раскрыл ее и выпустил крупную рыжеватую змею, вдоль спины которой тянулись яркие полосы. Змея извивалась, но мальчик схватил несколько палочек и зажал ими голову змеи так, что она могла ею только чуть-чуть шевелить. Таким же образом прикрепил он к земле и все тело змеи.

— Чудеса! — смеялся лесничий. — У парня хватка. Ну а как ты теперь покончишь с мышью?

Мальчик опустилсЯ возле змеи на корточки, протянул палец и дал змее коснуться его кончиком жала. Язык змеи засновал, как добрый челнок на ткацком станке. Инга гордо поглядывал на обоих мужчин.

— Ну?.. — протянул он и спустя немного добавил: — Что, умер?

— Ах ты звереныш! Я бы не мог. Чтобы так, за здорово живешь, дать ужалить собственный палец! Неужели не больно?

Инга покачал головой.

— Ну, в таком случае это не ядовитая змея.

— Смотрите!

Мальчик освободил голову змеи, схватил мышь и подсунул ее к пасти гадюки. Мышь только пискнула и мгновенно была мертва.

— Вот это да! Готова! Ну, сосед, у тебя не пастух, а фокусник какой-то. И откуда только такой взялся?.. Кончай скорее со своими гадами и помни, что, если я хоть раз замечу потраву, твоей шкуре несдобровать. Уж я ее так обработаю, что придется потом клочья собирать. Ну, да бог с вами, можете продолжать забавляться, а мне некогда. Прощайте!

Как только серая фуражка с зеленым околышем исчезла за кустами, Визбулис сгреб огромной своей пятерней мальчика за вихры и потряс его изо всех сил.

— Так-то ты выполняешь свои обязанности! Дам знать матери, пусть придет. Она тобой займется — такую порцию приготовит, что ой-ой-ой! Чего доброго, ты уже и маленького Кáрлита совратил? Так помни: как только узнаю, что ты ему своих гадюк показываешь, шкуру спущу!

Хозяин ушел, а Инга поплелся в глубь можжевельника. Там он разыскал небольшую полянку, посреди которой торчали две жердочки.

— Тени еще не сошлись, — сообщил он псу, потом растянулся на траве, положил руки под голову и уставился в небо, в синеве которого не видно было ни облачка.

Положив морду на передние лапы, лег рядышком и Кранцис. Вдруг пес поднял голову и заворчал.

Мальчик вскочил. Коровы паслись по-прежнему мирно. Мальчик хотел было опять сесть, как вдруг заметил, что меж кустов можжевельника мелькнула серая фуражка с зеленым околышем.

— Послушай, паренек, не видал ли ты, часом, где-нибудь здесь барсучьи норы? — спросил лесничий, подойдя к Инге.

Инга отрицательно покачал головой.

— Ты бродишь тут целыми днями по лесу, глаза у тебя зоркие. Может, все-таки видал?

— Да нет же, я за барсуками не гоняюсь.

Лесничий засмеялся:

— Я и не говорю, что ты охотишься за ними... А это что у тебя здесь за палочки? Тоже для змей?

— Для змей? Да нет, по этим палочкам я время узнаю: пора или нет гнать домой скотину.

— Время? Как же ты узнаешь?

— Как только тени сольются, значит, полдень.

— А как же они сливаются?

— Подожди еще немного — и увидишь... Ну ладно, расскажу. Смотри: когда тень от этой палочки прикоснется к той палочке, смело можно гнать скотину домой, потому что наверняка уже полдень.

— Молодец парень! Но в полдень в имении всегда бьют в колокол.

Мальчик кивнул головой:

— В колокол бьют — это да... Эй, Буренушка!.. Кранци, беги, песик, верни!

— Так зачем же тебе эти часы?

— А ты думаешь, колокол всегда слышен? Ничего подобного. Только когда ветер с той стороны.

— Смотри, смотри, сходятся! — сказал лесничий. — Жаль, что со мной нет часов, — интересно бы проверить.

Но тут ударил колокол.

— Ах ты, черт тебя возьми! Да ты и в самом деле затейник, каких мало, — удивлялся лесничий. — Ну а как ты все-таки определил время?

Инга строгал с таким азартом палочку, что стружки летели во все стороны, как брызги.

— Время? — спросил он, пробуя о голую пятку, достаточно ли остер конец палки. — Да это очень просто.

— Прямо-таки часовых дел мастер! Ну а все-таки?

— Да по звону колокола... Митáля, назад! Кранци!

— Никакой необходимости в твоих часах у тебя нет. Одни только шалости. Пока ты здесь со своей чепухой возишься, коровы делают что хотят.

Вырезая на палке причудливый узор, мальчуган вытягивал губы и морщил лицо в зависимости от того, сколько силы и тонкого расчета требовал каждый надрез.

— Часы — вовсе не шалость, мне без них было бы очень плохо. Я же тебе говорил, что ветер вовсе не всегда доносит сюда звон колокола. А теперь пора, а то опоздаешь со скотиной — хозяйка такой крик подымет! Она еще злее хозяина.

— Ха-ха-ха! Значит, попадает!.. И ты все время бегаешь сюда, чтобы посмотреть на свои часы?

— Да такие часы у меня устроены в нескольких местах.

Инга погнал стадо. Лесничий шел за ним.

— Ну а если солнца нет, тогда как? Тогда твои часы ни к черту не годятся.

Инга взглянул на небо и вздохнул.

С подойниками в руках хозяйка и батрачки уже ждали стадо. Они были повязаны косынками до самых бровей и, задрав юбки до колен, шлепали босыми ногами по навозной жиже.

— Хлеб и путра* на столе, поешь и ложишься, а то, знаю я тебя, будешь дремать на пастбище! — крикнула Инге хозяйка.

Инга вошел в дом. Наскоро похлебав путру и поев черствого хлеба, он вышел из дому и направился к риге.

— Неужто в риге лучше? — спросил Визбулис.

— Прохладнее и не так светло.

В риге действительно было прохладно. Над крышей щебетали ласточки, а в темных углах лениво трещали сверчки.

В одном углу лежало несколько охапок соломы, но Инга не лег. Он направился к печке, открыл заслонку, пошарил и достал несколько спичечных коробок. Присел на корточки, открыл две коробки и быстро прикрыл их треснувшим стаканом. Вскоре из одной показалась пара рогов, а затем и сам сверчок. Подняв голову и выпятив грудь, важно шагал он по крышке коробочки и был похож на петуха, готового к бою. Выскочил сверчок и из другой коробки. С быстротой молнии обежал он всю площадь внутри стакана и опять спрятался. Зато первый, уже окончательно осмелев, скакал с места на место и так задавался, что смех разбирал смотреть. Наконец оба пленника уставились друг на друга и, казалось, вполне дружелюбно застрекотали. Но тут один сверчок перепрыгнул через другого. Инга приподнял стакан, и сверчки, очутившись на свободе, начали драку. Это был бой не на жизнь, а на смерть. Чтобы лучше их разглядеть, Инга зажег лучину, огородил локтями поле боя и так низко склонился, что, когда драчуны особенно высоко подпрыгивали, они задевали Ингин нос.

За дверью слышались шаги.

— Инга, а Инга!

Дверь открылась, и в ригу вбежал мальчик одного с Ингой роста, но только гораздо толще и румянее.

— А, Карлит! — обрадовался пастушонок. — А я вот тут натравил друг на друга «петухов».

— Давай попробуем еще раз, — предложил хозяйский сын. — Отец пошел к выгону.

— У меня еще про запас имеется пять штук, но хозяйка приказала ложиться, хотя спать совсем не хочется.

Оба мальчика присели, сдвинув вместе головы. Инга внимательно и серьезно наблюдал за боем. Карлит же хохотал до упаду.

На поле боя пал сперва один сверчок, потом другой, а побе-

дители исчезли в темноте, продолжая бойко стрекотать, как бы предупреждая остальных.

— Придется наловить новых,— заметил Инга.— Захвати коробочки! — приказал он товарищу, достал лучину, засветил и полез в печку.— Давай коробочки или лучше полезай сюда сам. Сверчков уйма.

Карлит полез.

— Боже мой, да их тут больше, чем тараканов!

Встревоженные светом лучины, сверчки прыгали со всех сторон; некоторые запутались в волосах Карлита.

— Брр! Мороз по спине пробирает. Инга, я сейчас удеру! — Лучина вывалилась из рук Карлита.

— Не бойся, сверчок ничего тебе не сделает, только щекотно. Я могу их насыпать себе хоть за пазуху — я щекотки не боюсь.

Пока Инга ловил сверчков, разыскивая покрупнее и с темно-коричневыми спинками, слывших за самых драчливых, Карлит уселся на печь и спустил ноги.

— Бррр! Я больше не полезу. Еще в ухо заберется.

— Вечно ты со своими страхами!

Инга сел на край печки и держал лучину так, чтобы она лучше горела.

Вдруг в риге стало совсем светло. Скрипнула дверь. Карлит вскочил и шмыгнул в угол.

— Тебе хозяйка что велела? Так ты вот как спишь? Ах, разбойник, разбойник! Так ты у меня, чего доброго, и ригу спалишь! Ах ты бродяга! — Визбулис не мог даже подыскать слов, соответствующих ужасному преступлению.— Вот тебе огонь, вот тебе! — шипел он, схватив мальчика за волосы.— Ах ты поганец этакий! Значит, ты уже и за Карлита взялся! Нет, придется вызвать мать. Разве это ребенок? Ребенок — так тот, по крайней мере, слушается, а у этого на уме одни лишь шалости. Карлит, сбегай за розгами!.. Я тебе покажу! Если бы твоя мать не приходилась мне сродни, я бы тебя сию же минуту прогнал!..

На другой день Инга, как всегда, пас коров в зарослях можжевельника. Сидя на краю обрыва, он наблюдал, как важно шагали два аиста по лугу, высоко поднимая ноги и наклоняя голову то на один бок, то на другой.

«Аисты — точь-в-точь как куры: так же наклоняют голову набок, когда смотрят вверх. И вороны — те тоже так делают... А может быть, и все птицы?..»

Искать змей Инга сегодня не пошел. Нет, ему вовсе не хочется, чтобы про него говорили, что он, сын сводной сестры, бездельник и озорник.

«Аисты на лугу, наверно, охотятся за лягушатами. Пусть охотятся... Лягушки только для аистов и существуют, они глупые, их ничему и не научишь. Приручить их тоже нельзя. Вот жаба — та совсем другое дело! Она человека не боится, смотрит

на тебя смышленным взором, и, глядишь, у нее уже какая-нибудь муха или букашка во рту. А если накапать на лист лопуха немного молока, то жаба подползет к нему близко-близко, усядется, высунет свой длинный язык и сидит, как барыня, ждет, чтобы мух побольше на молоко насело,— все равно, мол, всех слопаю... Умная!»

Инга вспомнил о жабе, которую приручил прошлым летом. Ему вдруг очень захотелось домой. Вспомнил он баньку, в которой родился и жил, плетень около пруда. Ранней весной пруд кишмя кишел головастиками. Летом, когда он высыхал, в нем цвел болотный курослеп. А вокруг было много щавеля, мать всегда его там рвала.

Инга вздохнул. Кто знает, что сейчас там делает жаба: все еще вылезает утром, в полдень и вечером из-под бани или забыла? Сейчас, наверно, мать в предбаннике варит путру, а на крыше бани, на самом солнцепеке, лежит и греется старый кот. Он всегда там любил лежать.

В прошлом году батраки как-то нашли жабу и хотели было ее убить. Инга схватил ее и спрятался за банькой... Батраки смеялись и отплевывались, хозяйка ругалась, а мать сулила порку. Все они говорили, будто жабы у коров молоко сосут и поэтому их обязательно надо убивать. Ерунда! Жаба молоко не пьет. Он ведь столько раз наблюдал! Конечно, в тот раз, когда он, спасая жабочку, держал ее в ладонях, руки потом были как будто молоком обрызганы, но это не коровье молоко — наверно, такого цвета жидкость у самой жабы. Так и про одуванчик можно наговорить бог знает что! Когда сломаешь стебель одуванчика, ведь тоже показывается белая капля...

Коровы паслись спокойно. Пес лежал рядом с торбой Инги и, лязгая зубами, ловил мух. Высоко в небе реял сокол, над бором щебетали ласточки, в траве трещали кузнечики. Две большие голубые бабочки сели каждая на свой цветок, передохнули, опять закружились в воздухе и потом исчезли над сияющей в лучах солнца речкой.

Вдруг Кранцис наострил уши, помчался к обрыву и принялся звонко лаять. Что он там нашел? Инга побежал за собакой. Еж! Кранцис действительно нашел ежа и крутился вокруг него, то припадая на живот, то замахиваясь на ежа лапой. Однако тронуть боялся.

— Кранци, марш! Тебе его все равно не победить.— Инга нагнулся, бережно взял обеими руками зверька и поднял его в воздух.— Какие крохотные лапки!.. Да отвяжись ты! — прикрикнул он на собаку, которая с визгом подпрыгивала, как бы намереваясь вырвать ежа из рук мальчика.— Спокойно! Бежим вернем Буренушку!

Инга положил ежа в траву и помчался к стаду. Потом, приказав псу сторожить торбу, вернулся еще раз взглянуть на

зверька. Ежик уже не был похож на колючий комок: все иглы его были приглажены и, вытянув темную смешную мордочку, он кружился на одном месте. Мальчик затаил дыхание и с удивлением, как бы спрашивая несуществующих свидетелей, осмотрелся вокруг — видели ли, мол, и они такое чудо?

Ежик вдруг быстро повернул к краю крутого берега. Инга на цыпочках поспешил за ним. Зверек остановился, опять повертелся на одном месте, потом скатился с обрыва и исчез в траве. Не видать ежа! Нет, шевелится. Вот он, внизу! Наверное, ушибся, бедняга! Инга тоже спустился. Не замечая, что за ним наблюдают, ежик торопливо пробирался по траве, изредка останавливаясь и тычась мордочкой в разные стороны. Наконец он остановился. Тюх-тюх-тюх! — слышалось Инге. Улегшись в ряд, как поросята, три крохотных ежика сосали мать.

Инга воткнул кнутовище в землю, чтобы заметить место, и побежал к стаду. Взобравшись на обрыв, он столкнулся с лесничим.

— Что ты там искал на лугу? Ужей? А сколько времени показывают теперь твои часы? Ха-ха-ха! Вот посмотри на мои. Что, лучше твоих?

Лесничий вытащил из кармана большие серебряные часы.

— Десять. До обеда времени хоть отбавляй... Послушай, пригонишь вечером скотину, скажи хозяину, что если он хочет, то с завтрашнего дня может пасти в Сухом логе. Понял? Только не по всему логу, а в той части, что прилегает к вашим полям. Ясно?.. Так ты ему и передай. Еще скажи, что это твоему хозяину обойдется в полштофа водки. Понял? Полштофа. А сам помни, что рядом с Сухим логом молодой господский лес. Если скотина туда заберется, заплатишь шкурой. Ну вот, передай!

Лесничий подтянул ремень ружья и пошел по направлению к хутору.

Инга вытащил ножик, уселся около своей торбы и принялся строгать палочку для нового кнута.

Солнце пекло вовсю. Пес лежал, уткнув морду в лапы. Подрагивая то правым, то левым ухом, отгонял он назойливых мух. Ингу клонило ко сну. «Будет дождь», — подумал он и почесал кнутовищем за ухом. Вот так обычно почесывала спицей за ухом его мать. Потом он зевнул долго и протяжно, точь-в-точь как дедушка Вáриеб. Инга с удовольствием вспомнил сейчас их привычки, они как бы приближали его к дорогим сердцу людям.

— Обязательно будет дождь, — повторил он, разглядывая небо.

По ту сторону речки, за далекой полосой леса, подымались черные тучи, и Инге несколько раз казалось, что земля слегка дрожит у него под ногами. «Наверно, где-то гремит гром».

Темная грозовая туча все расширялась и расширялась и наконец из черной превратилась в сизую, цвета голубинового крыла.

Загремел гром, и земля как бы вздрогнула. Собака вскочила, наострив уши, бестолково залаяла, сделала большой круг и остановилась.

— Дуреха! — смеялся Инга.

Небо пересекла яркая полоса молнии. Пес опрометью кинулся к можжевельнику, но сейчас же выскочил оттуда и помчался к дому. Дождь полил как из ведра. Скотина продолжала спокойно пастись, а Инга присел под орешник и смотрел, как дождь белыми струями падал в речку, — казалось, что речка закипела. С жалобным блеянием сбились в кучу овцы.

«Каково-то теперь ежике с ежатами? Надо бы пойти проведать».

Инга встал и, почувствовав, что он уже и без того так вымок, что, если даже стать сейчас под ливень, мокрее не будешь, побежал к речке.

Ежи устроились очень уютно; казалось, что дождь их только развлекал. Время от времени высывали они свои смешные мордочки и забавно фыркали.

— Какие хорошенькие! — радовался Инга.

Ежиха лежала, свернувшись клубочком, и только сердито сопела: «тюх-тюх-тюх».

«Одного возьму себе», — решил мальчуган.

Прояснилось. Дождь стихал. Тучи на небе переместились. Теперь они нависли над бором помещика, и казалось, что там они стали еще грознее. Мрачная синева нависала над бором даже тогда, когда полнеба было уже залито ярким солнцем.

Инга побежал взглянуть на свои часы. Тень показывала полдень. Переливая на солнце всеми цветами радуги, свисали с листьев орешника капли дождя. словно покрытые инеем, белели иголки можжевельника. Под тяжестью дождевых капель клонились тоненькие былиночки. При каждом дуновении ветерка клевер стряхивал дождевики. Повеял ветерок с бора, и запахло елью и багульником.

— Кранци! — позвал мальчик.

Пес клубком подкатился к его ногам и, ползая на животе, вымаливал прощение.

— Ай-ай-ай! Как не стыдно! Бросить меня одного!

Кранцис взвизгнул. Бедный пес вилял хвостом и ластился, а мальчик, подумав о том, что и он не без греха, потрепал его по голове и простил. Вот и его, Ингу, хозяин ругает каждый день, а он все никак не может исправиться... Инга вздохнул.

На этот раз дома скотину встретили одни батрачки. Инга быстро загнал коров на скотный двор, закрыл ворота и поспешил в дом. Запах растопленного масла был слышен еще во дворе: в батрацкой хозяйка пекла блины.

— Иди похлебай путру, пока не остыла, а потом ложись — сегодня рано встал, — сказала хозяйка.

Инга ничего не ответил — день за днем одно и то же! Повесил свою панаму на гвоздь, сел за стол и стал хлебать, заедая хлебом.

С хозяйской половины прибежал Карлит.

— Возьми из мисочки, — сказала ему мать, указывая ножом на горку дымящихся блинов.

Карлита не пришлось просить дважды: он схватил стопку блинов и напихал полный рот.

— Давай выпустим опять сверчков, — шепнул он Инге. — Отец лег спать.

Инга отрицательно покачал головой.

— Дурак! Я же тебе говорю, что отец заснул!

Инга дохлебал свою путру и полез на койку за печкой. Блины дымились, масло шипело и так вкусно пахло...

— Возьми, сынок, еще, — ворковала хозяйка. — Знаю, что ты их любишь. — Потом, сунув голову за печку, сказала совсем другим голосом: — Инга, а ты все еще не спишь?

На пастбище, уже к вечеру, Инга вспомнил про наказ лесничего, но, пригнав домой скотину, снова забыл. Проснувшись ночью, вдруг опять вспомнил и привстал на койке.

Рядом с Ингой храпел на своей кровати старший батрак — тот, что получал в год девяносто рублей.

«Это большие деньги, — рассуждал Инга, повторяя слова хозяина. — Вырасту — буду тоже столько же зарабатывать и куплю маме новую баньку, а по воскресеньям мы с ней будем есть блины. А для ежика выстрою закуток...

Батрак храпел так, что заснуть было невозможно. Другой батрак, спавший в углу у дверей, храпел тоненько, с легким присвистом — «цссс». Он получал вдвое меньше, и его наняли ненадолго. Может быть, поэтому и храп его был такой робкий?

Тут опять вспомнился лесничий и его наказ насчет полуштофа.

«Надо сказать, а то хозяин рассердится. Но ведь теперь ночь. Оставить до утра? Забуду. Нет, надо сейчас сказать!»

Инга слез с койки и ощупью добрался до хозяйской комнаты.

«Постучать или не надо? Нет, не буду. Такую привычку только долговязый портной имеет. Пойду так».

Открыл дверь. Хозяева спали.

— Кто это? — промычал Визбулис сквозь сон.

— Я... Инга.

— Что случилось? — проснулась хозяйка. — Это ты, Карлит?

— Лесничий велел передать... — заикался Инга.

— Что, пастух? — хозяйка даже привскочила. — Да он, ни-

как, спятил! Бродит по ночам, как лунатик. Вконец обнаглел. Воображает, что если он родственник...

— Что тебе надо? — спросил хозяин.

— Лесничий сказал, что пасти можно в Сухом логе.

Хозяин тоже привскочил:

— В Сухом логе? Когда он сказал?

— Сегодня утром.

— Утром! — передразнил Визбулис. — А где у тебя язык днем был, а? Драть бы такого!.. Ступай спать сейчас же! — приказал хозяин. — Мог бы и завтра утром сказать.

— Боялся, что забуду.

— Шкуру с тебя спустить! Вот подожди, пойдешь в школу, там тебе покажут. Ну чего еще стоишь?

— Ему что? Будет завтра дрыхнуть на пастбище, вместо того чтобы за скотиной смотреть. Ох, беда с таким родственником! Седьмая вода на киселе, а воображает бог знает что!

— Еще лесничий велел передать, — проговорил мальчик нерешительно, — что это вам будет стоить полштофа водки.

— Пьяница проклятый! — цедила хозяйка сквозь зубы. — Лакает где только может, чисто пес!..

— Ну, это не твоего ума дело... — проворчал хозяин. — Марш спать! — гаркнул он. — Тоже мне племянничек...

Вот уже больше недели Инга пасет скотину в Сухом логе. Вместе с ним пасет и пастушок из поместья, Янелис. Было теперь Инге с кем в камешки играть.

Пастбище далеко от поместья, и Янелису не слышно, когда его зовут домой. То раньше времени пригонит, то запоздает.

— Надо, чтобы ваши устроили колотушку, — сказал Инга.

— А что в ней толку? Все равно ни у кого нет часов.

— Нет часов... — протянул Инга. — Ни в одном доме?

— Ни у кого. А у вас?

— И у хозяина, и у старшего батрака, — важно ответил Инга.

— Почему тогда они для тебя не устроят колотушку?

— Слишком далеко. На старом пастбище я себе солнечные часы устроил и в солнечные дни всегда точно узнавал время. Придется и здесь смастерить.

— Солнечные часы? А что это такое?

— Это, видишь ли, надо следить за тенью.

— Как за тенью?

— Да очень просто.

Янелис от удивления только рот разинул.

— Не понимаешь? Смотри, вот березка. Если бы она была жердью, а та — другой, то, когда тень от этой березки подойдет к корням той, обе тени сольются и будут указывать в одну сторону, — значит, полдень... Подожди, вот сейчас все поймешь.

Давай скорее обстругаем по палочке. У канавы растет ольха, из нее выйдут хорошие палочки.

Мальчики приступили к делу.

— А когда звонят в имении к обеду, здесь слышно? — спросил Инга.

— Нет.

— Даже в тихую погоду не слышать?

— Никогда.

— Плохо. Тогда мне придется бежать в можжевельник... Так, теперь мы можем воткнуть одну палочку.

— А почему не обе?

— Какой ты чудак! Ну ладно, воткнем обе. Глянь сюда, я эту могу воткнуть так, что сразу обе тени сольются. Но разве от этого сейчас уже полдень? Вот хорошо бы! Можно было бы скотину домой гнать! Нет, брат, тени должны сойтись лишь тогда, когда солнце над головой: в полдень, в двенадцать часов. Конечно, часы бывают разные, можно обойтись всякими. Лишь бы не такие часы, как у хозяина Вáриебов, — те здорово врут.

Инга взглянул на солнце.

— Тебе придется и за моим стадом присмотреть, а я тебя за это научу змей убивать.

— Ты говорил, что у тебя есть ежики. Вот если дашь ежика, то я, так и быть, присмотрю.

— Ладно, получишь ежика. Только смотри, чтобы скотина не забралась в молодой лес. Тогда мне голову свернут, понял?

Когда Инга вернулся, первым делом он быстро выдернул палочки и переставил их так, чтобы тени падали точь-в-точь как на часах в можжевельнике, потом стал искать Янелиса, но ни его, ни его стада нигде не было видно. Стадо же Инги паслось спокойно, но — о ужас! — на пенке сидел хозяин. Ингу мороз подрал по спине.

— Прямо как будто сердце чуяло, — начал хозяин. — Ах ты нечестивец! — цедил он сквозь зубы. — Ах ты нечестивец! — Потом некоторое время молчал. — Скажи, пожалуйста, ты от роду такой или это тебя дьявол искушает?

— Наверно, дьявол! — вздохнул мальчик.

Хозяин вытаращил глаза, и лицо его перекошилось.

— Да, за словом ты в карман не полезешь! Испорченный вконец. — Хозяин вздохнул. — Эх, сам виноват! Так всегда получается, когда связываешься с полуродственниками. Говорил сводной сестре, когда она просила тебя нанять: мол, кто его знает, твоего мальчишку, может быть, с ним беды не оберешься. И вот полюбуйтесь, так-то тебе платят за твое добро!.. Но теперь кончено, пусть мать тебя забирает. Самому пасти мне некогда, а следить за тобой без сна и отдыха тоже не намерен. Нет, хватит! — Хозяин встал. — Чтобы так оставить стадо!..

Инга плохо слушал слова хозяина.

«Надо исправиться,— вертелось у него в голове.— Надо исправиться».

— Ис-пор-ченнѣй! — кричал хозяин. У Визбулиса все внутри кипело. Никогда ни к одному пастуху он не чувствовал такой злобы.— Гони домой!

Инга молча повиновался.

Дома опять хозяйка пекла блины. Карлит опять напихал рот до отказа и так работал челюстями, что глаза налились кровью.

— Опять бросил стадо! — сказал хозяин, войдя в комнату.— Пришлось мне самому пасти, пока этот поганец не соблаговолил явиться... ну разве это не горе?

— Прогнать такого паршивца на все четыре стороны! Пусть подвяжет брюхо ремешком и идет побираться,— сказала хозяйка, повернувшись к Инге.— Но если ты, прощелыга, будешь приставать со своими глупостями к нашему Карлиту, то я не посмотрю, что ты сын сводной сестры,— что мне под руку подвернется, тем в тебя и запущу. Такая хорошая трава, а из-за этого стервеца опять придется морить скотину голодом в можжевельнике!

За столом сидели батрачки и батраки. Старший батрак и батрачка переглянулись.

— Марш на койку! — шипела хозяйка.

Инга полез в свой уголок и лег.

— Чем ему плохо? — никак не могла успокоиться хозяйка.— Ест, спит сколько влезет, а того не понимает, сколько приходится хозяину над всем голову ломать...

— Да разве бесплатно хозяин голову свою ломает? — спросил старший батрак.— А кто ему добро наживает?

Хозяйка промолчала, бросила сковородку в большой котел, схватила миску с блинами и в сердцах ушла на хозяйскую половину.

Батрак отодвинул миску, встал, потянулся, потом закурил трубку и подошел к Инге:

— Не спится?

— Не спится,— прошептал мальчик.

— Ну, на тебе три копейки, купи себе сон.

Батрачки засмеялись. Батрак тоже лег на свою койку и долго дымил.

После обеда хозяин велел снова пасти в можжевельнике.

В субботу хозяйка опять пекла блины, но почему-то она не стала гнать пастуха спать. Может быть, постыдилась батраков, а может, еще почему-то.

Инга вышел в сад. Солнце пекло, и жужжали пчелы. Мальчуган прислушивался. Меж деревьев летало множество пчел. Через мгновение мальчик был во дворе и через батрацкую пронесся в комнату хозяина.

— Хозяин, хозяин, пчелы роятся!

— Сам знаю. А смотреть за ними приставил не тебя, а Кар-

лита. Делай свое дело и не путайся в то, что тебя не касается. Или решил подлизнуться?

Все же Визбулис поспешил в сад.

— Где же Карлит? Карлит, Карлит, пчелы роятся!

Накинув на плечи большую шаль, прибежала хозяйка, за ней батраки и батрачки. Карлита не было.

— А ты чего не ложишься? — накинулся хозяин на Ингу, раздосадованный тем, что Карлита нет.

— Ты что, так и не купил себе сна? — смеялся старший батрак. — Выходит, зря я тебе тогда три копейки давал!

— Бегите за сеткой, — командовал хозяин. — Не подходи близко — ужалит! — крикнул он Карлиту, когда тот наконец появился и в испуге остановился у калитки.

Одна пчела начала кружиться вокруг головы Карлита, и тот забегал, замахал руками и завертел головой.

— Карлит, сынок! — Хозяйка помчалась на выручку любимца. — Не бойся, мальчик, не бойся! — ласково успокаивала она Карлита.

— Разве тут найдешь матку? — Хозяин засучил рукава. — Придется послать за старой Паукштене.

— Смотрите, смотрите! — воскликнул Инга, снимая с рукава своей куртки пчелку.

— Вот какой пчелиный мастер! — засмеялся старший батрак. — Это, кажется, и есть пчела-матка.

Мальчик, подняв руку, разглядывал пчелку; лицо его сияло от радости.

— Она самая, — подтвердила батрачка.

— Осторожнее, не раздави, давай ее сюда, — приказал хозяин. — Была бы только жива!.. Ишь знаток какой! — ворчал он. — Покажи. — Хозяин протянул руку, но снова отдернул. — Решето, мать, неси скорее решето!

— А я почем знаю, где оно!

Мать была занята волосами сына.

— Вот бестолковщина! Решето в амбаре, на полке.

Хозяин сам помчался за решетом.

Теперь пчелы роем вились вокруг головы Инги, более десятка насело на руку, а он продолжал держать матку двумя пальцами и с удивлением смотрел на старшего батрака.

— Ничего, не робей, они тебя не тронут! Только стой — не двигайся.

Инга стоял с вытянутой рукой, недвижимо, как в церкви, а пчелы его облепили со всех сторон, ползали по руке и, цепляясь друг за друга, свисали с его пальцев, как кисти смородины.

— У мальчишки счастье, — смеялись батрачки. — Будет пасечником.

— Счастье? Что за счастье! — сказал старший батрак. — Храбрый парень, вот и все, к тому же и не дурак.

— Подумаешь, храбрец! — отозвалась хозяйка. — А что же ему делать, как не стоять столбом? Тоже, расхвалили...

— Не кусают! — удивлялся Инга.

— Другой бы стал трясти головой, махать руками, удирать, и его бы действительно всего искусили. Дураков и трусов пчелы терпеть не могут, а смелых и умных не трогают. Ничего тебе не сделают, стой только, будь молодцом!

— А щекотно-то!

— Чего рты разинули? — воскликнул старший батрак. — Давайте решето, надо барыне дать квартиру.

Матку положили в решето, потом Инга потрянул рукою, и весь рой свалился вслед за маткой. Решето накрыли простыней.

Мальчуган облегченно вздохнул и улыбнулся старшему батраку.

— Теперь от хозяина в базарный день тебе полагается крендель, ты его заработал.

Хозяин только проворчал что-то невнятное.

— Вот подлиза! — сердился он, войдя в комнату. — И хвастун, сразу видно. Ис-пор-ченный и избалованный вконец, воображает, что все кругом дураки и ничего не понимают. Нет, я его сразу раскусил, не то что старший батрак — тот, ясно, на его стороне.

— Ну, это из зависти к нам, хозяевам, — вставила хозяйка. — А чего от такого мальчишки можно ожидать? Рос без присмотра, как батрацкая скотинка. Где же ему быть хорошо воспитанным! Разве можно его сравнить с Карлитом? Ни послушания, ни уважения к старшим. Разве Карлит станет так нахально лезть! Воспитанный ребенок — сразу видно, что родители не проходимцы какие-нибудь, которые каждый юрьев день хозяев меняют... Смотри, сынок, — обратилась она к своему сыну, — смотри не водись ты с пастушонком! Собьет с дороги, того и гляди. Разве таких случаев не было?

Визбулис сидел и покуривал сигару. Все ему было не по душе, хотя он и сам не разбирал, что именно. Нет, не нравится ему пастушонок!

В воскресенье, с раннего утра, Визбулис стал собираться в церковь. Дрожки, пара упитанных коней, батрак за кучера всем давали понять, что это едет зажиточный хозяин. Еще больше об этом говорила сигара, которую он всю дорогу держал во рту. «Надо попробовать перевоспитать, — думал он, сидя на дрожках. — Все-таки родственник... хотя сын только сводной сестры и мать его живет в баньке... Все равно — это мой долг. Хе-хе-хе-хи! Надо проучить избалованного!...»

Под вечер, когда солнце уже заходило, вернулся из церкви старый Вариеб, дед Инги. Мать с хозяйкой сидели на крылечке.

— Добрый вечер! — приветствовал их старик.

— А где же крендели? — спросила хозяйка, идя ему навстречу.

— Привез и кренделей и вестей. Тебе, хозяйка, кренделей, а тебе, Мардиета, вести.

— От сына?

— О сыне, от Визбулиса.

Мардиета встала:

— Здоров ли?

— Как редька. Только вот хозяин вызывает тебя к себе, говорит, что мальчишка его не слушается.

Мать только руками развела:

— Когда же он успел так измениться?

— Я тоже удивился, — ответил Вариеб. — Все уши мне прожужжал: и стадо, мол, бросает, и помещичьи луга потравил, и в хлеба пускает, — прямо страсть! Уж очень любит важничать твой сводный брат! Думается мне, ты к ним мальчугана отдала — все равно как в муравейник толкнула.

— Разве я им его навязывала? Сами набивались, просили, говорили, что Инге у них хорошо будет.

— А мне ваш Визбулис что-то сильно не понравился, — заметил Вариеб. — Сидел с какими-то господами в трактире, пил пиво и все похваливал своего сына. Но тебе строго-настрого наказал, чтобы пришла... На крендель! Будет реветь-то, никакой беды пока что еще не случилось. Пойди и навести, по прямой ведь недалеко. Никаких спешных дел завтра нету, а путру хозяйка и сама сварит.

— В такую даль да с больными ногами! О, горе, горе! Что же он там натворил?

— Ну что ты, что он мог натворить! Неужели мы Ингу не знаем? — вмешалась хозяйка.

Мардиета поплелась к своей бане, уселась на крылечко и, подперев голову руками, задумалась.

— Если мальчику там плохо — забирай, как-нибудь проживем, — сказал Вариеб.

— Боже мой, да ведь тогда все заработанное останется у хозяина: и хлеб, и одежда, и деньги! Если хоть как-нибудь можно потерпеть, пусть потерпит. Куда мне, вдове, с ним деваться!

До рассвета еще далеко, а мать уже шагает по дороге. Этот путь она проделала лишь раз, когда вместе с мужем шла на свадьбу сводного брата. Через год у Визбулиса родился сынок, и с тех пор она там ни разу не была. Вот только нынешней весной пришли от сводного брата и попросили, чтобы она отдала им на лето в пастухи Ингу. Она согласилась. Как-никак родня, но, видно, лучше было бы отдать мальчика к чужим людям.

Дорога шла через нивы, луга, сосновый бор и под конец через

лиственный лес. Местами попадались хутора, потом опять нивы, луга, рощи и широкая, обросшая ивняком речка. Так как Мардиета шла по прямой, то пришлось речку перейти вброд несколько раз. Наконец она решила отдохнуть, вытащила из кармана кусок хлеба и села завтракать. Невдалеке женщины ворошили навоз.

— Издалека? — спросила одна, зачерпывая из речки воды.

— Из соседней волости, — ответила мать Инги. — Я пройду так к Визбулисам? Он мой сводный брат, и там мой парнишка пастухом.

— О-ох, мать, знаем мы Визбулиса! Хоть он вам и сводный брат, но я прямо скажу: в здешних местах ему пастуха не найти. Мучитель! Так по пятам за пастухом и ходит, что твоя нечистая сила, и как чужого ребенка увидит, так не то от злобы, не то от зависти прямо из себя выходит. В прошлом году пол-лета у него мой племянник прослужил в пастухах, и, не приведи господи, так мальчика оговорил, что, казалось, он уже и впрямь никуда не годится. Пришлось тут же забрать. Бывают же такие люди, что детей ненавидят! А хозяйка — так та еще хуже. Со своим носится, как с писаной торбой — мол, и добр и умен, — но уж не дай бог, если пастух окажется в чем лучше их сынка, ну, тогда конец, жизни ему не будет!

К Визбулисам Мардиета пришла в самый полдень.

— Что же ты, сынок, натворил, что мне из-за тебя в такую даль идти пришлось? — спросила мать.

В дверях показалась хозяйка, но, увидев гостью, тут же исчезла. Из амбара вышел сам хозяин.

— Добрый день! — приветствовала его Мардиета. — Вот я и пришла. Что же мой сын такое натворил?

Визбулис закашлялся, потом долго отплевывался и, наконец, сойдя с крыльца, протянул сестре руку.

— Чего натворил? А вот пускай лучше сам расскажет.

Мальчик стоял, опустив голову. Мать тяжело вздыхала.

— Пришлось мне из-за него штрафы помещику платить, — врал Визбулис. — Не веришь, так спроси лесничего. Инга, сколько раз лесничий выгонял твое стадо с помещичьих лугов?

Инга от неожиданности только руками всплеснул.

Мать взглянула на сына:

— Правда?

— Я что, по-твоему, врун? — обозлился хозяин. — Спроси его, может ли он сосчитать, сколько раз у него коровы паслись на лугу? На уме одно лишь озорство, да и только. Чуть было у меня ригу не спалил. За такие дела на каторгу ссылают. Еще и Карлита на озорство подбивает.

— Спалить ригу!.. Нет, таким я Ингу не знала.

— Заступайся, мать, заступайся! Еще по головке погладь!

— Ох, сынок, сынок! — охала мать.

Инга в изумлении смотрел на хозяина.

— Кто теперь мне штрафы эти вернет? — спросил сводный брат.

— Жалованье его ведь у тебя, — сказала Мардиета. — А Ингу я заберу. Раз он такой, пусть будет под моим присмотром, может быть, еще и исправится.

Этого Визбулис не ожидал. В пастухи никто к нему не шел, он и весной никого не мог найти. А теперь!..

— Я тоже так думаю, поэтому велел тебе прийти. Давно бы его сам прогнал, да вот только не знал, где найти ему заместителя, а теперь есть у меня на примете паренек, и твой Инга может убираться ко всем чертям. Но ошибаешься, если думаешь, что на все эти штрафы хватит его жалованья. Мне-то что, я свое судом требую, но придется тебе еще и судебные издержки платить. А поджог риги? Этого я тоже так не оставлю. И без него поджигателей и убийц хватает!

Мардиета заплакала, а глядя на нее, и Инга.

— О господи, что же мне делать?

— Жаль мне тебя! — сказал сводный брат. — Вот что: накажи-ка ты его сама, своей рукой, хорошенько, а я, так и быть, додержу озорника до конца осени. Какая мне радость от вашего позора и ваших грошей!..

— Сынок, сынок, значит, ты виноват?

Мальчик плакал и тянул мать за рукав:

— Один раз хозяин выгнал корову с луга, только со своего...

— А с помещичьего? Скажешь, один раз? А из молодого леса, пока ты шлялся неизвестно где?..

Инга повесил голову и молчал. Хозяин от злобы покраснел как рак. Пожалуй, ему бы больше понравилось, если бы пастух стал все отрицать или сказал бы, что хозяин врет.

— Ну, тогда, сынок, принеси розги, — сказала мать, вытирая рукавом слезы.

Уплетая блины, Карлит наблюдал из окошка, как Инга ложится, и как Мардиета долго разговаривает с его отцом, и как тот, наконец, берет в руки розги и порет пастуха. Карлит раскрыл набитый блинами рот и захохотал.

— Мама, почему он не орет? — спросил он мать, которая тоже с удовлетворением глядела на то, как хозяин трудится.

— Да потому, деточка, что у него черствое сердце.

— Может быть, отец его только в шутку порет?

— Ничего себе — в шутку!

— Я бы орал.

— У тебя, сынок, нежное сердце, ты иначе воспитан.

— Ис-пор-ченный! — неслось со двора.

— Съешь, сынок, все, чтобы завтра погода была хорошая, — уговаривала мать, придвигая тарелку. — Надо пойти попотчевать гостью, а то раззвонит, что отпустили, не покормив.

Со слезами прощалась Мардиета с сыном. Инга хотя и ста-

рался сдержаться, но тоже плакал. Повис у матери на шее, целовал ее в обе щеки и плакал.

— Одна рука порет, а другая ласкает! Какой из него вырастет человек? — морщился хозяин.

Все опять шло своим чередом: пастух выгонял скотину на Сухой лог, хозяйка пекла блины, а старший батрак, хлебая путру, переглядывался с батрачкой. До самой осени хозяину так и не удалось поймать Ингу ни на каком озорстве.

Наступила осень. Приехал в хутор портной, снял мерку и с пастуха. И вот, наконец, пошла утроем выгонять скотину батрачка, а хозяин отвез Ингу и Карлита в школу. Ехать надо было верст восемь. У Карлита был шкафчик с висячим замочком, пастуху же мать заказала простой сундучок. Хозяин купил сыну складной нож, и тот всю дорогу держал его в руке и болтал без умолку. Молча на своем сундучке сидел пастушок.

Привязав лошадь, Визбулис приказал мальчишкам нести вещи, а сам, захватив большой сверток, направился к учителю на дом. Сверток и бутыл, в которой сверкала и булькала какая-то золотистая жидкость, он поместил на столе в передней и там же оставил фуражку.

— Добрый день, уважаемый господин учитель! — приветствовал он учителя, кланяясь. — Вот и я приехал учиться! Что, примете?

Учитель вышел навстречу гостю и, окинув глазами переднюю, любезно поздоровался.

— А, господин Визбулис, привезли сына? Садитесь, пожалуйста.

— На этот раз привез вам двух: и сына и пастуха.

— Так, так, — сказал учитель, поглядывая на бутыл. — А читать умеет?

— Не знаю, — ответил хозяин. — Прошу проверить. Это сын моей сводной сестры.

Дальше хозяин стал говорить что-то шепотом, Инга не мог разобрать, слышал только время от времени: «Ис-пор-чен-ный, ис-пор-ченный! Чего от батраков ожидать!»

Учитель внимательно взглянул на пастуха. Инга опустил глаза.

— К тому же и упрямец, хлопот с ним не оберетесь, — заговорил уже полным голосом Визбулис.

Учитель прикусил губу и еще раз внимательно посмотрел на Ингу.

В школе Инге понравилось. Особенно заинтересовал его большой стеклянный шкаф. Мальчик простаивал около него все перемены. Чего только там не было! Даже змея в бутылке.

— Это угорь,— объяснил ему кто-то.

— Думаешь, я глупее тебя? Таких угрей я за лето знаешь сколько перебил? А ты умеешь змей убивать?

— А как их надо бить?

— С размаху нельзя,— объяснял Инга.— Так она может на голову прыгнуть.

— Молодец парень! — хвалили старшие мальчики.

Инга увидел в шкафу также чучела вороны, кошки, трясогузки, потом еще окуня, щуки и разные рыбьи кости. Были там и ракушки, различные камешки, череп лошади, челюсть овцы и много такого, что мальчик видел впервые.

Когда старший учитель развесил в классе картинки с изображением разных зверей, визбульский пастушок забыл даже, что пора обедать. На одной картинке была изображена огромная змея, обвившаяся вокруг козули.

— Какая громадина! Наверно, с версту будет,— изумлялся Инга.— А я и не знал, что такие бывают.

Через неделю Карлита Визбулиса перевели в группу отстающих. «Это по настоянию младшего учителя»,— объяснил учитель старому Визбулису.

Так как ребят, учившихся второй год в первом классе, было довольно много, то класс делился на две группы, и Инга, кроме того, что самому нужно было учить, слышал и все то, что разъяснял учитель старшим ребятам.

Прошло несколько недель. Земля уже покрылась снегом, но Инга еще ни разу не был у Визбулисов. У него было какое-то чувство вины перед ними, потому что он учился намного лучше, чем Карлит.

— И там подлизнулся! — говорил хозяин.— Ну чисто волк в овечьей шкуре.

— Да, а его в школе все молодцом называют! — жаловался сынок.

— Молодец-то молодец, да на какие дела? Пусть только сунется на хутор — всех собак спущу!

Но Инга и не думал соваться. Как-то в понедельник Инга принес в класс скелет змеи. Младший учитель просил детей принести кто что найдет: скелеты животных, ракушки, окаменелости... Инга побежал в заросли можжевельника, где летом пас стадо, и откопал зарытую еще летом убитую им змею. Учитель остался очень доволен — скелет был в хорошем состоянии, даже голова сохранилась. Подарок Инги был помещен в шкаф.

— У, подлиза! — шипел Карлит, уплетая лепешки.— Лепешечку хочешь?.. На лепешку, на, на, на! — поддразнивал он Ингу, кидая в него кусочками лепешки.

— Эх ты, завистник! — вступились за Ингу старшие мальчики.— Не срамился бы лучше!

Карлит отошел, но ненависть и зависть так и разбирали его.

Вечером побежал он к учителю жаловаться, что из-за Инги никак невозможно готовить уроки.

Учитель вошел в класс. Там действительно стоял сплошной хохот, и Инга был в центре внимания. Ребята обступили его со всех сторон.

— Что тут происходит?

— Сверчки дерутся.

Учитель нагнулся. На полу, окруженный ребятами, сидел на корточках Инга, а перед ним, как два разъяренных петуха, дрались сверчки. Подошел и другой учитель. Он что-то сказал первому и тоже засмеялся. Учителя ушли, наказав детям поменьше заниматься сверчками и получше готовить уроки.

Карлит разозлился — он надеялся, что Ингу примерно накажут.

В следующий понедельник, когда все ученики были уже за партами, батрак привез Карлита. Тот разделся, положил привезенные харчи в свой шкафчик и подошел погреть руки у печки. Кругом было тихо. Карлит осмотрелся, подбежал к чужому шкафчику, отпер его своим ключом, пошарил, вытащил оттуда кулечек с сахаром, быстро запер шкафчик, подбежал к белому сундучку Инги и спрятал туда сахар. Потом аккуратно сложил книги на грифельную доску и вошел в класс.

В обеденный перерыв он стоял у своего шкафчика и с аппетитом уплетал лепешки, заедая их сахаром.

— Ой, а где же мой сахар? — воскликнул один из мальчиков. — Еще в субботу был, а теперь нет!

— Что? — спросил Карлит. — Ты что, Витоль, сахару хочешь? Ешь свой, у меня только для себя, для других нет.

— У меня украли сахар! Еще в субботу было с полфунта.

— А ты поищи, — сказал Карлит. — Кто же его возьмет? В субботу все домой ушли.

— Надо проверить сундучки, — предложил кто-то. — Может, найдется.

— Ребята, давайте обыщем друг друга! — кричал Карлит. — Кто будет обыскивать?

Начался обыск.

— Ну, Инга, а ты чего свой сундучок не проверяешь? — шутили мальчуганы.

— В моем сахара нет, можете обыскать.

— Ах, нет? А может быть, это твой сахар? — воскликнул мальчик, подняв над головой кулечек с сахаром.

— Нет, это не мой. У меня не было, — сказал Инга. — Кто-то мне его туда положил.

Карлит радостно захихикал:

— Инга — вор! Инга — вор!

Инга обмер, но истинный смысл этих слов все еще не дошел до его сознания.

— Витоль, да ступай ты к учителю! — подговаривал пострадавшего Карлит.

— Что ты все лезешь не в свое дело? Подумаешь, какой командир нашелся! — воскликнул кто-то из ребят.— Можно подумать, что ты это неспроста так хлопчешь!

Ингу повели к учителю. Он пробыл там почти полчаса и вышел красный как рак, но был спокоен, только разговаривать ни с кем не стал. Видно, чувствовал себя глубоко оскорбленным.

Ученики шепотом делились впечатлениями и наблюдениями и почему-то все время поглядывали на Карлита.

Вечером Ингу опять вызвали на суд. Учитель подробно расспрашивал многих учеников, но все-таки в конце концов решил, что виноват тот, кто в воскресный день остался в школе. А это был Инга. Вспомнил тут учитель и все сказанное хозяином об Инге, а также и то, что хозяин-родственник был вынужден даже мать вызывать. Ну, а раз Инга вор, то должен он завтра же отправиться домой и получить порку.

— Ночь переспи, а утром отправляйся.

Учитель даже не считал нужным узнать, где живет его мать. На рассвете Инга ушел.

Утром, как только учитель вошел в класс, его встретили дружным криком:

— Инга не виноват! Инга не виноват!

— А кто же тогда виноват? Ты?

— Виноват Визбулис,— раздался чей-то голос.

Карлит вскочил. Казалось, он был готов живьем проглотить обидчика.

— А ты что, видел? Видел?

— Тише!

— Он первый начал говорить о сахаре,— заметили другие.— Прямо тыкал всем в глаза этот сахар. Вошел в класс последним и во время урока все время ехидно поглядывал на Ингу. Карлит на Ингу давно злится. Надо проверить его ключики!

Учитель ушел из класса.

— Надо подождать, пока мальчишка вернется,— говорил он сам с собой, шагая по комнате.— Наверно, к обеду будет обратно.

— Двадцать верст туда да двадцать обратно — до обеда не пройдешь,— заметил младший учитель.

— Что? Двадцать верст?

— Да, я сам только сейчас узнал.

Через несколько минут младший учитель сидел уже в санях и, не жалея кнута, гнал лошадь.

Дорога шла лесом. Ели были слегка запорошены. Синички пели тоненькими-тоненькими голосами. Но Ингу ничто не радовало. Тяжелым грузом легло на плечи сознание того, что все считают его вором.

На краю дороги торчал покрытый снегом пенёк. Инга присел на него. А может быть, и не идти дальше? Зачем еще раз огорчать мать? Лес стоял как зачарованный; только изредка качнется веточка под тяжестью падающего с верхних веток снега. Лес казался теперь частым-частым, гораздо гуще, чем летом. Залезть туда, спрятаться от людей! А все-таки так жалко всех: и маму, и дедушку Вариюба, и старшего батрака, и батрачек Визбулиса...

Голова мальчика склонялась все ниже и ниже. Падали легкие снежинки. В озябшей, без варежки, руке был зажат коробок со сверчком.

Всю ночь Инга не мог заснуть, и теперь его охватила такая сладкая дрема, что противиться ей было невозможно. Как во сне, мелькали перед глазами матушка, дедушка Вариюб...

Вдруг откуда-то издалека донесся звон не то колокольчика, не то бубенчиков.

Инга, сидя на пенёчке, спал, а на повороте дороги показался вороной и сани. В санях сидел учитель...



Э. Бирзник-Упит

СКАЙДРИТЕ И ДЕДУШКА

Дедушка Скайдрите на работу уже не ходил, помогал, чем мог, матери по хозяйству, а Скайдрите, в свою очередь, помогала дедушке.

Отец и мать поднимались в пять часов утра. Отец должен был успеть к гудку на фабрику, а мать вставала разогреть ему кофе. После ухода отца мать не ложилась и вскоре тоже уходила, заперев наружную дверь на ключ. Она стирала у господ белье. А Скайдрите и дедушка, до тех пор пока сквозь чердачное окно их комнатки не пробивался свет, все еще лежали в своих постелях.

Дедушка не спит. Он просыпается раньше отца, но не встает: день долог, а дел мало. К тому же в постели, под старым ватным пальто, куда теплее, чем в комнате. Для Скайдрите утренний сон слаще меда, и дедушка старается его не потревожить. Самодельная кровать дедушки скрипит, поэтому он никогда не одевается в постели. Потихоньку слезает на пол, берет свою одежду, на цы-

почках проходит в кухню и там уже одевается. Потом достает корзину со щепками, раздувает огонь, разогревает еще тепловатый кофе и только тогда идет будить Скайдрите.

Девочка спит. Щечки ее покраснелись, ротик полуоткрыт, и дедушке жалко ее будить, но делать нечего — пора отправляться на набережную за углем.

Дедушка вытаскивает из сенника травинку и проводит ею по румяной щечке. Девочка, не открывая глаз, прикрывает щечку ладошкой. Но вот травинка щекочет нос, пухлые полураскрытые губки. Скайдрите громко чихает, трет нос и открывает глаза. Дедушка проворно прячется за спинку кровати. Но внучка отлично знает, что виноват во всем дедушка, садится и ищет его глазами. Вот она уже перегнулась через край кровати, увидела притаившегося там деда и звонко хохочет.

Со смехом вылезает из своего убежища дедушка и торопит внуку — надо скорее ехать на берег Даугавы за углем.

— На салазках поедem, дедушка?

— Ну конечно, на салазках. Скайдрите сядет в салазки, а дедушка повезет.

Скайдрите хлопает в ладоши и быстро натягивает платье и туфельки. Оба идут умываться. Дед тоже еще не умывался — ждал, пока внучка встанет.

Скайдрите ставит под кран глиняный таз с глиняным же ушком для мыла. Дедушка моется в старой, облупленной эмалированной миске.

Скайдрите окунает руки и кричит:

— Холодно! Холодно!

А дед зачерпывает полные пригоршни, плещет воду на свою белую бороду, мочит голову и обливает шею, приговаривая:

— Полезно, полезно! Мойся, внучка, хорошенько, вырастешь большая — сама белая, щечки розовые.

Скайдрите собирается с духом, подносит пригоршню воды к лицу и осторожно смачивает нос. Потом, расхрабрившись, сразу погружает лицо в воду.

— Холодно! Холодно!

А дед уже вытирается и знай себе похваливает:

— Полезно, полезно!

* * *

На завтрак им оставили фунт белого хлеба. Скайдрите очень любит горбушку, но каждый раз делает вид, будто только ради дедушки соглашается съесть ее.

— Дед, а дед, сколько у тебя зубов? — спрашивает Скайдрите.

— Четыре, внученька. Только четыре: два верхних и два нижних.

— Значит, тебе с корочками никак не справиться?

Дедушка отлично понимает, к чему внучка клонит, и идет ей навстречу:

— Хорошо бы, конечно, если бы ты согласилась взять себе горбушку, а мне оставила мякиш.

Скайдрите лукаво улыбается:

— Ну уж ладно, пусть будет по-твоему.

Кофе можно пить сколько угодно. Сахар тоже не ограничен. Скайдрите кладет в стакан две полные ложки, а третью высыпает прямо перед собой на стол и макает в сахарный песок хлеб. Девочка очень любит сладкое.

Дедушка за столом не говорит ни слова. Отламывает от своего ломтя по кусочку, мочит в кофе и старательно размалывает хлеб языком и оставшимися передними зубами.

После завтрака у каждого свои обязанности. Дедушка бережно моет оба стакана, из которых сначала пили отец с матерью, а потом дед с внучкой. Скайдрите заботливо переодевает куклу. У куклы вместо разбитой фаянсовой головы пришита обернутая в тряпочку пробка с неуклюже нарисованными глазами и носом, но Скайдрите ее все равно очень любит. Весь день таскает ее с собой, а на ночь укладывает в свою постель.

Затем дед и внучка собираются за углем. Дед сбрасывает туфли и натягивает валенки, кутается в старое, потертое пальтишко, нахлобучивает ушанку. Скайдрите надевает отороченную кроличьим мехом шубку и плотно закрывающий уши и горло синий башлык.

Теперь оба готовы. Дедушка привязывает к санкам старую, без крышки, дорожную корзину для угля, но сейчас забирается туда Скайдрите вместе со своей пробкоголовой куклой. Дедушка выезжает на дорогу. Обитые железом полозья тяжело скрипят по усыпанному песком тротуару и совсем не скользят, но зато по утоптанному снегу мостовой салазки катятся легко.

Скайдрите крепко прижимает к груди свою куклу и с интересом смотрит на яркие витрины магазинов и вечно куда-то спешащих прохожих. По улицам то и дело проносятся машины. На перекрестках они издают громкий рев, а те, что нагоняют их, начинают гудеть — и гудят все время, пока не промчатся мимо, хотя дедушка везет свои санки около самого тротуара.

Вот опять какая-то машина с ревом пронеслась мимо них.

— Почему все они начинают так противно гудеть, как только нас увидят? — спрашивает Скайдрите.

Дедушка втаскивает салазки на тротуар и останавливается.

— Затем, внучка, чтобы маленькие людишки убирались с дороги, когда большие едут.

За оградой угольного склада высятся целые горы угля, но черные люди снова и снова подвозят его на своих тачках, и горы эти становятся еще выше.

Дедушка подъезжает к будке сторожа, но сейчас там никого нет. Он оставляет салазки и хочет идти на поиски сторожа, но Скайдрите ужасно боится черных угольщиков и ни за что не соглашается остаться одна.

— Это, внучка, такие же люди, как мы, — успокаивает ее дедушка, — они только в угле измазались, и бояться их нечего.

Скайдрите еще раз взглянула на их черные лица, сверкающие зубы и белки глаз и изо всех сил вцепилась в руку деда. Она готова вот-вот разрыдаться.

— Ну, раз так, пошли вместе, глупышка.

Дедушка взял Скайдрите за руку, и оба пошли по дорожке, огибая кучи угля. Но сторожа так и не нашли. Они увидели только нескольких чернорабочих, которые подбрасывали вилами осыпавшийся сверху уголь.

— Может статься, сторожа запорошило углем и он стал такой черный, что его не узнаешь, — пошутил дедушка и направился со Скайдрите к пароходу.

У берега Даугавы стоял длинный-предлинный пароход с толстыми трубами и высокими мачтами. Все кругом шипело и скрежетало, по бокам парохода стлался белый пар. В воздух поднимались громадные корзины, и уголь, вздымая черную пыль, с грохотом сыпался на палубу. Черные люди швыряли лопатами уголь в тачки, другие подхватывали их и рысью неслись вверх по мосткам. Мостки шли над головами дедушки и Скайдрите и вели прямо на угольный склад.

Сторожа дедушка нашел у самого парохода. Тот был весь черный от угольной пыли, только зубы да белки глаз сверкали. Дедушка сказал, что приехал за углем.

— Некогда мне сейчас с тобой возиться! — отрезал сторож.

Дедушка промолчал, но уйти не ушел. И сторож немного погодя спросил:

— А деньги у тебя есть?

— Есть, на шестнадцать килограммов. — И дедушка протянул деньги.

Сторож направился к будке и отвесил пуд угля. Дедушка высыпал уголь в привязанную к салазкам корзину, усадил поверх угля Скайдрите с куклой и повернул к дому.

На обед дедушка купил в лавке фунт белого хлеба, отрезал для внучки горбушку и разогрел кофе.

После обеда, когда оба стакана были вымыты, Скайдрите пригласила дедушку поиграть.

Дедушка согласился, но только с условием, чтобы была такая игра, где не надо бегать.

Сначала играли в прятки, но прятаться можно было только за кроватью и в углу, за шкафом, и игра быстро надоедала. Дедушка всегда прятался за кроватью, и Скайдрите его сразу находила. Скайдрите же пряталась за шкафом, но дедушка искал ее и под столом, и под подушкой, раскрывал дверцы шкафа, пока Скайдрите, не в силах дольше спокойно усидеть на месте, не начинала громко смеяться.

Потом оба усаживались на кровати и принимались играть в «носики». Скайдрите становилась на коленки, брала дедушку за нос и спрашивала:

— Где носик?

— В озере, — отвечал дедушка.

— Что он там делает?

— Яйца несет.

— Сколько снес?

— Десять.

— Каких?

— Всяких: зеленых, синих, белых, красных, а одно тухлое.

— Какое мне дашь? — спрашивала Скайдрите и тянула уже вторую руку, чтобы крепче ухватить дедушку за нос.

Дедушка секунду молчал, потом выпаливал:

— Тухлое! — и старался вырваться из рук Скайдрите.

Но девочка его не выпускала, и дедушке волей-неволей приходилось отдать другое, хорошее яйцо.

Игра начинается снова, только теперь спрашивает дедушка, а отвечает внучка. Среди яиц и на этот раз попадаетесь тухлое. Внучка быстро отдает его дедушке, сама ловко вырывается у него из рук, и оба долго и весело смеются.

* * *

Вечером первой возвращается мать. Она приходит с распаренными, стертыми руками, в мокром платье. Приносит из лавки картофель и селедку и начинает готовить ужин. Она целый день стирала, очень устала и предпочитает не пускаться в разговоры.

Весь вечер Скайдрите ходит за матерью и щебечет обо всем, что видела за день. Но мать не принимает никакого участия в разговоре, и Скайдрите уходит на кровать к дедушке. Там они оба сидят, дожидаясь ужина.

Отец приходит усталый, голодный, весь покрытый фабричной копотью. Но после ужина он тут же отправляется на чердак и роется там в старом железном ломе, а потом принимается чинить соседям замки и дверные петли.

Железный лом дедушка и его два сына собрали после войны,

но пользовался им только младший сын. Старший не раз упрекал за это младшего:

— Это наше общее имущество. Его нужно или разделить на три части, или продать старьевщику. Деньги делить куда легче.

И вот как-то в воскресенье младший брат позвал старьевщиков и пригласил старшего брата.

Старьевщики постарались всячески охаять их добро. Старое, мол, никуда не годное, изъеденное ржавчиной барахло. Красная цена ему — пять, много — шесть дубов*.

И ушли.

Младший брат достал из кармана четыре лата* и протянул старшему брату:

— Вот тебе третья часть. Бери свою долю.

Старший брат разозлился и ушел, не остался даже пообедать, а к вечеру приехал на своей старой хромой лошаденке, запряженной в сани, и тоже предложил четыре лата младшему брату. Дедушка уже направился было помочь снести железо по лестнице, но младший брат денег не взял, железо не отдал, а невестка принялась бранить дедушку:

— Старый дурень! Живет у нас, а добро наше готов кому хочешь отдать.

Оба брата не на шутку поссорились из-за старого железа. Старший уехал домой с пустыми санями и к младшему с тех пор ни ногой.

Через несколько дней старик надел свое потрепанное пальтецо, запер Скайдрите в комнате на ключ и мелкими шажками отправился к старшему сыну.

* * *

Скайдрите осталась в чердачной комнате одна. Сначала она принялась одевать и нянчить куклу, но это ей довольно скоро наскучило. Тогда она уложила куклу спать, сама подошла к окну и стала смотреть на улицу. В окно она увидела узкую черную дорожку на снегу, ведущую к помойке, две яблони и несколько ворон. Вороны то и дело, с опаской поглядывая по сторонам, подкрадывались к мусорному ящику, выхватывали оттуда кость или еще что-нибудь, отлетали в сторону и принимались расклевывать добычу.

Раньше Скайдрите никогда не оставалась так долго одна, не сидела столько времени у окошка. Сегодня она в первый раз увидела так много ворон. Что они там клюют? Вот старая, лохматая ворона отняла у другой какой-то черный комок и принялась усердно клевать. Другие вороны не стали отнимать у нее добычу — наверно, боялись даже близко к ней подойти.

Но вот появился большой рыжий кот. Неслышно подкрался

он к лохматой вороне, залег в снегу и, готовясь к прыжку, подтянул задние лапы. Лохматая ворона не обратила на него ни малейшего внимания, хотя все остальные с громким карканьем взлетели на яблони. В самый последний момент, однако, поднялась в воздух и лохматая. Небрежной походкой, вразвалочку ушел кот не солоно хлебавши.

Вышла соседка с бельем и веревкой, и вороны разлетелись. Соседка натянула веревку между яблонями и принялась развешивать белье.

Но вот задребезжали стекла, и Скайдрите бросилась ко второму окну — взглянуть на автомобиль, но он уже умчался. Мимо окон медленно проплыл воз с дровами. Скайдрите стало холодно, она подошла к плите, но на кухне было еще холоднее. Тогда девочка забралась в кровать, взяла мамино ватное одеяло, закуталась, согрелась и уснула.

Когда Скайдрите проснулась, стояли густые сумерки. Она позвала дедушку, но тот не откликнулся — наверно, еще не пришел. С улицы в комнату проникала полоса электрического света.

Девочка вспомнила, что она одна в комнате, и ей стало очень страшно. Она замерла, боясь пошевелиться, прислушиваясь, не идет ли дедушка. Но дверь внизу никто не отпирал, и шагов на лестнице не было слышно. Вдруг кто-то завозился у плиты — сперва несмело, казалось, волочили кость, потом раздался звук, похожий на визг пилы.

Скайдрите подумала: может быть, она не заметила, как дедушка вернулся? А теперь, навалившись грудью на пилу, он пилит на кухне дрова? Девочка позвала дедушку, но никто не откликнулся. Тогда Скайдрите забралась с головой под одеяло и заплакала.

Оказывается, это две мыши вылезли из-под плиты, принялись грызть уже и без того обгрызенную кость, а потом потащили к норе обрывок толстой промасленной бумаги.

Мать нашла Скайдрите крепко спящей. Девочка была вся потная, а глаза ее покраснели от слез. Мать принялась ворчать на дедушку:

— Если не хочет даже присмотреть за девочкой, пока мы с отцом на работе, пусть лучше совсем уходит к своему хорошему, любимому сынку!

Все давно поужинали, и Скайдрите легла уже спать, когда в комнату тихо вошел дедушка. Взглянул на пустой стол и тут же улегся в постель. Отец промолчал, сделав вид, что не заметил его появления, а мать сказала:

— Мог бы уж там и оставаться.

И больше ни слова.

Скайдрите долго не могла заснуть, и дедушка тоже все ворочался, скрипел кроватью и тяжело вздыхал.

На другой день Скайдрите проснулась, когда в окно вовсю

светило солнце. Дедушка уже подогрел кофе, разделил хлеб; оба поели и поспешили на дровяной склад.

Раз в неделю дедушка ходил убирать склад. Сгребал мусор и щепки, подметал дорожки. За это он имел право набрать полную корзину щепок. Ведь, если топить углем, без щепок не растопишь.

Скайдрите сидела в корзине, привязанной к салазкам. Дедушка втащил салазки под навес, где пилили дрова для вязанок. Перед навесом стояли козлы. Оба пильщика брали из ближайшей поленницы по полену, укладывали его на козлы и отпиливали то длинные, то короткие чурбачки. Когда таких чурбачков накапливалось изрядное количество, оба принимались раскалывать их: короткие — на тонкие полена, а длинные — на толстые и складывали в перехваченные железным обручем вязанки.

Обручи были разной величины: одни доходили Скайдрите до подбородка, другие до груди, третьи только до колен. Пока дедушка убирал и подметал склад, Скайдрите вела беседу с продавцом и помогала ему заполнять тоненькими поленцами маленькие обручи. Когда обруч был битком набит, продавец брал деревянный валеk и несколькими ударами загонял последнее полено.

— Кто будет топить этими вязанками? — спросила Скайдрите продавца.

— Большими вязанками — большие покупатели, маленькими — маленькие.

— А такие, как я, — маленькими вязанками?

— На рынке люди оцениваются не по росту, — объяснял продавец, — а по карману. Богатые покупатели покупают дрова саженьями, победнее — вязанками, а твой дедушка не может купить даже самой маленькой вязанки, и ему приходится собирать кору и щепки.

А дедушка за это время уже собрал в разных местах двора кучки щепок и коры. Теперь он подвозил салазки к каждой кучке и складывал их в корзину. Потом усадил поверх щепок Скайдрите, но не смог сдвинуть санки с места. Скайдрите прыгнула и принялась помогать дедушке. Общими усилиями они сдвинули санки. И хотя санки уже покатали легко и свободно, Скайдрите все еще не выпускала веревку из рук.

Через некоторое время дедушка снова решил навестить старшего сына. Но Скайдрите никак не соглашалась оставаться дома одна и собралась вместе с дедушкой. Дедушка усадил внуку в санки и повез ее далеко-далеко, на самую окраину города. Ехали, пока не перестали встречаться большие дома и магазины и не пошли маленькие домики с огородами. Здесь у домика с кузней дедушка остановился.

Напротив дома стояли сани, к ним был прислонен хомут, а лошадь была привязана к коновязи у кузницы — ее подковывали.

Из домика выбежали мальчик и девочка и повели дедушку и Скайдрите в комнату.

Скайдрите была здесь впервые, зато дедушка чувствовал себя как дома. Мальчик потащил деда смотреть его новую тележку и хвастался, что тележка на улице тарыхтит так, словно это не тележка, а настоящая двуколка.

— Только если быстро ехать! — добавил он и с грохотом покатил тележку по глиняному полу.

Девочка принесла показать деду куклу в игрушечной кроватке и вместе со Скайдрите стала ее раздевать и одевать. Невестка разогрела чай, поставила на стол солонку, миску с вареным картофелем и позвала всех к столу.

— Не взыщите, дорогие гости, чем богаты, тем и рады, — сказала она. — Хорошо еще, что картошка своя, а то совсем нечего было бы на стол подать. Лошадей мимо кузни проезжает мало, редко когда приходится подковывать, а сделать что-нибудь на продажу — железа не хватает.

Пришел из кузни сын, и оба они с дедушкой долго сидели за столом, ели картошку, пили чай и беседовали.

Скайдрите успела уже крепко подружиться с ребятами. Она катала по глиняному полу тележку Янциса или сидела на табуретке и, улыбаясь, баюкала куклу Анныни.

Когда пришло время уходить, Скайдрите совсем не хотелось ехать домой. Янцис и Анныня пошли немного проводить гостей.

На другой день вчерашние друзья с самого утра приехали в гости к Скайдрите.

Янцис взял с собой свою тележку и с грохотом катал ее по полу. Здесь, на верхнем этаже, его тележка гремела еще сильнее, и Янцис был очень доволен. Анныня и Скайдрите поменялись куклами, пеленали, одевали и нянчили их, а дедушка со старшим сыном таскали вниз по лестнице старое железо и складывали в повозку.

Отвезли воз, отвезли второй, приехали в третий раз, но теперь полной повозки не получилось — третью часть железа надо было оставить младшему сыну.

В повозку уселись Янцис и Анныня со своими игрушками, а Скайдрите с дедушкой остались опять одни.

* * *

Как только вернулась с работы мать, Скайдрите тут же принялась рассказывать о том, что за гости были сегодня:

— Пока дед и дядя таскали с чердака железо, мы с Янцисом и Анныней катали тележку и баюкали куклу. У Анныни кукла красивее, чем у меня. Ты мне подаришь такую?

Мать выбежала из комнаты, распахнула двери на чердак и подняла крик.

— Да тут всё разграбили! — причитала она. — Надо бежать за полицией... А ты, старик, уходи! Сию же минуту убирайся вон отсюда!

Скайдрите громко заплакала и стала просить мать:

— Милая мамочка, не гони дедушку! Как же я одна останусь? Я боюсь!

Но дедушка не сказал ни слова, тихо улегся на свою постель и стал дожидаться возвращения сына.

Пришел отец с фабрики, и мать еще больше расшумелась. Завидя мужа, она еще издали стала кричать что-то о разбойниках и грабителях. Когда отец наконец понял, в чем дело, он зажег лампочку, пошел на чердак и пробыл там довольно долго.

Он был совсем спокоен, когда вернулся.

— Нам надо поговорить с тобой, отец, — сказал он.

Дедушка повернулся в постели, но не поднялся.

— Ты что, сам решил отдать ему свою долю?

— Да... У него жизнь тяжелее, больше детей, — ответил дедушка.

Отец отошел от кровати деда, сел к столу и не сказал больше ни слова. Но мать все никак не могла успокоиться:

— Пока старик с нами, мы ни минуты не будем спокойны. Завтра же можем оказаться в пустом доме.

Кровать деда скрипнула: он встал, натянул на себя свое старое, рваное пальто и направился к двери.

— Ты бы сперва поужинал, — предложил отец.

Только теперь Скайдрите поняла, что дед уходит насовсем. Громко вскрикнув, бросилась она к нему и схватила его за руку:

— Дедушка, не уходи! Мне одной страшно... Дедушка, возьми и меня с собой!

Громко рыдая, Скайдрите повисла у деда на шее. Дедушка обнял внучку, наклонился и поцеловал ее.

Но тут подбежала мать, оторвала девочку от деда и уложила в кровать.

— Садись хоть поужинай! — сказал отец.

— Спасибо, обойдусь и так, — ответил дедушка и затворил за собой дверь...

Скайдрите еще долго всхлипывала в своей кроватке, пока наконец не заснула.



Ахмат Дониш

Из книги

«РЕДКОСТНЫЕ СОБЫТИЯ»

РАССКАЗ О ПУТЕШЕСТВИИ АБУЛЬКАСИМ-БИЯ В РОССИЮ

Однажды довелось мне поехать в составе посольства в Россию вместе с Абдульфаттахом тура* и Абдулькасим-бием. Там существует обычай — чтобы продемонстрировать могущество и величие государства, послов водят по собраниям и большим обществам, показывают им все, чем гордятся: театры и примечательные здания, музеи и хранилища.

В каждом городе есть увеселительные дома, где по вечерам до полуночи устраиваются всевозможные танцы, музыка, пение. Общество украшают красивые женщины и кудрявые сладкоречивцы, которые показывают разные представления и забавы. Всяк, кто хочет, присутствует там, и каждому в этом собрании

приготовлено место сообразно его положению. При выходе оттуда вносят плату за пребывание.

Там устроены также хранилища разного рода вещей: зверей, умерших и живых, хищников и птиц, зародыши различных животных и даже образцы человеческого плода, рожденного преждевременно или выкинутого, которые заключены в стеклянные сосуды со спиртом, чтобы не разлагались*.

Как-то вечером от министерства пришел переводчик и пригласил нас в общество, называемое «Собрание»*. Мы вчетвером отправились на это увеселение. Это оказалось место, где присутствовали знатные дамы и видные русские вельможи, там было много красивых женщин, девушек с походкою павы, солнцеликих юношей со станом кипариса. Мы вошли в высокое, большое здание, отделанное позолотой, с многочисленными залами и комнатами, с зеркальными дверями, на которых висели шелковые занавеси, они были уставлены позолоченными креслами и диванами, золотыми, серебряными вазами и сосудами, обитыми бархатом стульями и столами. Во всех комнатах висели золотые, серебряные и хрустальные люстры, а у каждой стены стояли высокие канделябры и огромные, в рост человека, зеркала. Все стены, потолки и пол были расписаны чудесными рисунками и картинами. Там горело более тысячи восковых и стеариновых свечей, а в золоченых курильницах дымились приятные курения; от обилия огней ночь уподобилась дню.

В этом собрании мы видели, как нежные красавицы, стройные и солнцеподобные, прогуливались по залу, выступая плавно и грациозно, как пава или томная газель. Все они были одеты в шелковые одежды, такие тонкие, что сквозь них просвечивало тело. Фигуры их были так стройны и изящны, что, казалось, одна не могла заслонить другую. На некоторых были тонкие черные платья и легкие цветные накидки из кружев и шелка, настолько прозрачные и красивые, что трудно описать и представить. Благодаря тонкости стана и прозрачности одежд стрела взгляда пронзала их насквозь от спины первой и до груди сотой, нигде не задерживаясь, будто всевышний сотворил их тела из чистой воды и прозрачного стекла.

Все красавицы одеты в черное, а ликом подобны луне,
Словно бог поместил в черноту воду жизни.
Все искусные стрелки, в охоте за сердцами
Всюду пускающие стрелы из засады луноликой красы.

Я остолебенел от изумления, разинув рот и широко раскрыв глаза: где я и что со мною? Ведь когда мы шли сюда, была ночь, сырая и темная, как же случилось, что сейчас день и светит солнце? От обилия огней мы не могли отличить ночь ото дня, то и дело протирая глаза — происходит это наяву или эти чудеса и оби-

тель фей созданы воображением? А дивноликие удивлялись: как попали эти демоны в общество ангелов, как очутились дивы* рядом с пери*? Они с любопытством разглядывали наши лица и смеялись над нашей странной одеждой и видом. Мы же, потрясенные и оробевшие, шли вперед, не зная, куда ступить и где сесть, ибо переводчик наш отстал, занятый беседой с одной из красавиц. В этот миг моей груди коснулась хрустальная ручка, отстраняя прочь. «Эй вы, чудовища в облике людей, вы, дикари, идите осторожнее, ведь я выступаю, как горделивая пава, не затопчите и не запачкайте своими неуклюжими ногами мой тонкий подол, что волочится по полу, как павлиний хвост».

Дрожа и кланяясь, я отступил назад. Но тут в спину мне ткнулся кулачок другой красавицы, мол, эй, невежи, стойте, осторожней, ведь моя серебряная грудь нежна, как лепесток розы, смотрите не пораньте ее шипами своей неуклюжести. Я оглянулся растерянno, испуганно переступил, шагнул вперед и стал кланяться, как обезьяна, показывая знаками: «Мы немые, мы коровы, приехали из степи и не знакомы с обычаями вашего города, извините нас».

Бейт:*

Приехали мы из Туркестанской степи* и далеки от этикета.
Если совершили неловкость, простите нас, о жители города.

Они шарахнулись от такого изъяснения раскаяния и стали смеяться над нашими бородами, пока не подоспел переводчик и не избавил нас от растерянности и смущения. Проводя нас к почетному месту собрания, он жестом указал на кресла, приглашая сесть. Мы молча уселись, избавленные, наконец, от тычков в грудь и спину.

В передней части этой залы было возвышение, поднимавшееся над полом на полтора газа. Его прикрывал расписной шелковый занавес, а в глубине висела большая хрустальная люстра, в которой горело более ста свечей. Там расположилась группа луноликих красавиц, разряженных удивительнейшим образом. Они садились и вставали, поглядывали из-за занавеса на зрителей, в ожидании, когда все соберутся, чтобы начать представление. Над этим возвышением был полукруглый помост, поднимавшийся над полом на два ваджаба*, на котором стоял большой стол с самтуром*. По обе стороны его горели большие свечи в золоченых подсвечниках и лежали листы с записанными на них ритмами русских и европейских мелодий. Каждая из присутствовавших на собрании красавиц, умевшая играть, петь или знавшая какой-нибудь рассказ или забавную историю, поднималась на помост и, грациозно поклонившись собравшимся, садилась на обитый бархатом стул, стоявший перед самтуром, и наигрывала пальчиками музыкальный отрывок или пела песню.

Если же она знала какую-нибудь историю, то рассказывала ее стоя, стихами или прозой, в очаровательной манере, на своем языке. Когда присутствующие слышали чудесную песню или занимательный рассказ, свой восторг и восхищение они выражали тем, что троекратно били в ладоши: дескать, эта мелодия или рассказ понравились нам, повтори снова или сыграй другую. А солнцеликая красавица, обрадованная, но выказывая смущение, с кокетливыми улыбками и ужимками раскланивалась направо и налево так, что сердца присутствующих трепетали от восторга. Тогда она исполняла другую потеху, а затем, если по окончании второй вещи снова раздавались рукоплескания, начинала третью забаву. В четвертый же раз, под звуки непрерывных рукоплесканий, она кокетливо кланялась, спускалась с помоста и садилась на свое место, а вместо нее поднималась другая красавица, пением песен и рассказыванием историй рассыпая на том помосте новое веселье.

Что касается одежды женщин той страны, то она до талии узка, а от талии до подола настолько широка, что если женщина входит в комнату, то подол остается еще в коридоре. Под поясом из шелковой ленты у них другой пояс, скрепленный из согнутых полумесяцем тонких и эластичных костяных пластинок, которые не ломаются, когда женщина садится или встает*. Этот пояс они затягивают очень туго, поэтому пластинки приподнимаются вокруг талии и поддерживают шелковую ткань платья. Со стороны женщина похожа на золотую, украшенную жемчугом башенку, поставленную на вершину удлиненного круглого купола. А сверху, на голову, плечи и талию, они накидывают черные, красные и голубые кружева, а у висков прикрепляют букетики искусственных цветов, которые будто только что сорваны с цветника. Росой им служат духи и розовая вода. К ушам они подвешивают длинные сверкающие серьги из алмазов, хрусталя, жемчуга и золота, величиной с финиковое зерно. Ночью в пламени свечей они сияют, словно удлиненные огненные капли или ясный месяц, а кожа за ухом до того чиста и прозрачна, что видно, как под нею пульсирует кровь. И сверкание серьги в сочетании с прозрачностью ушной мочки напоминает поставленную против зеркала свечу. От такой красоты и великолепия рассудок покидает голову, когда они встают, и сердце замирает в груди, когда они садятся.

Пока артистки наряжаются за занавесом и готовят все для представления, собрание не начинается. Затем раздается звонок, как бы извещающий: «Отсутствующие, явитесь, разошедшиеся, соберайтесь. Внимайте, мы покажем представление». Занавес поднимается, перед взором открывается необъятное небо, в вышине — светлый месяц на восточном или западном склоне, звезды, широкое зеленое поле, высокие деревья, горы, большие здания. А луноликие девы, принявшие облик ангелов, одни раскинули крылья и подняли головы вверх, будто взлетают в небо, другие,

с опущенными крыльями, склонили головы так, словно нисходят на землю. Некоторые стоят на одной ноге, другую оттянув назад, как хвост. Их крылья подняты и раскинуты над полом, одна рука изогнута над головой, а другая направлена вниз, к земле. Было похоже, что это красавец павлин, устремившийся куда-то.

И все молча глядят друг на друга и на публику. На них тонкие легкие ткани, которые не скрывают сокровенных частей тела; шею, лицо и грудь они убрали различными украшениями, а край ворота вокруг спины, плеч и над сосками груди оторочен кружевами и искусственными цветами. Воображение не в силах описать подобной красоты — что подумать об этом изяществе и грации? Принадлежат ли они человеческому существу или фее, ангелу, духу? Через некоторое время, ненадолго опустив занавес, они снова переодеваются, и на сцене открывается другая картина — снег и град, гром и молния, ветер и дождь, гроза и землетрясение, сотрясающее здание, бушующее море, плывущие корабли, тонущие суда, уходящие под воду люди, их стоны и крики, от которых на глазах зрителей навертывались слезы и сердце охватывало сострадание. И снова занавес опускается, а через некоторое время, переодевшись, они появляются снова и развлекают публику танцами, музыкой и забавами, которых не в силах представить никакая фантазия. Они кружатся по сцене на одной ноге, потом, сплетя ноги, прыжком на два газа разводят их в стороны, подобно маятнику часов, только гораздо быстрее, и так же, сплетенными, опускают в такт музыке. Лучшие их танцы, на наш взгляд, те, которые в ритме «буму-бакку-бакку-бум» или «бакку-бумму, бакку-бумм».

Иногда в этом собрании устраивают иллюминацию и фейерверк, иногда надевают маски страшных зверей, дивов, драконов и морских чудовищ.

Ковер этого празднества свертывается в двенадцать часов ночи...

В определенный час все выходят из собрания и отправляются по домам. При выходе платят от пяти русских танга*, равных двадцати пяти нашим танга, до двадцати пяти танга, не считая платы за съеденное и выпитое. Это делается для того, чтобы устроитель собрания покрыл свои расходы и постоянно обеспечивал посетителей всем необходимым. Значительная сумма отчисляется в царскую казну. Мы вышли и тоже отправились к себе на квартиру.

О ПОСОЛЬСТВЕ АБДУЛЬКАДЫРА И ОПИСАНИЕ ДИКОВИНОК РУССКОГО ПРАЗДНЕСТВА

Однажды довелось мне по поручению правительства Бухары сопровождать Абдулькадыра додхо* в составе посольства, направленного в столицу России по случаю свадьбы дочери русского

императора с соответствующими подарками и подношениями. Нас разместили прилично нашему положению и оказали подобающие почести. Переводчик, кавказец Казимбёк, был человек умный и красиво писал по-арабски. По близости натур он питал симпатию к автору этих строк. Однажды он обратился ко мне:

— Приезжал сюда посол из Кашгара. Он написал в восхваление Петербурга несколько бейтов. Я перевел их и представил царю, и тот был очень доволен. Если и ты сочинишь несколько бейтов,— сказал он мне,— и вставишь в них акrostих с именами дочери царя и ее жениха, а также хронограмму, а я переведу их и подам царю, это принесет большую пользу вашей миссии. Потому что царь скоро устраивает свадьбу, и это ему очень понравится, и, кроме того, прелесть стиха сгладит вашу узбекскую неуклюжесть.

Переводчик сказал так потому, что бухарские эмиры назначают послами людей тупых и необразованных в расчете, что они не раскроют наших государственных тайн. Они говорят: «Послу не нужно уметь отвечать, когда его спрашивают, а если он и может, то лучше пусть спрашивает сам, но только не отвечает — ни письменно, ни устно, а то, не дай бог, противник заметит слабость нашего государства». Но ведь, если следовать таким путем, это как раз и обнаружит слабость и отсутствие порядка в государстве.

Чувствуя усталость с дороги и вследствие перемены места я в течение двух-трех дней откладывал это дело. Каждый раз при встрече переводчик говорил мне:

— Ну, если ты уже сочинил стихотворение, дай посмотрю, что у тебя получилось.

Я подумал про себя: «Может, он хочет испытать меня да вдруг обнаружит мою неспособность!» В конце концов я спросил, как зовут жениха и невесту.

Он ответил:

— Альфред и Мари.

Мари — это сокращенное от Марьям, имя дочери русского императора, а Альфред — имя сына английской королевы Виктории. Вставив эти девять букв в начало девяти бейтов акrostиха, я подал ему.

Месяц благородный, о дочь царя властителя мира,
Волей судьбы благосклонной соединилась с Юпитером.
А пышность свадьбы той и великолепье
Тончайшим разумом нельзя постичь и запечатлеть.
Разноцветье красок высвободилось из засады мрака,
Ароматы вырвались на волю из темницы.
И целый мир прекрасных гурий здесь собрался,
Соперничает каждая красой с сияющей луной.

Северной стороной здание царского дворца примыкает к реке, а с юга от него расположены, соединенные аркой, крылья здания военного ведомства и широкая просторная площадь, на которой могут маршировать и гарцевать на лошадях 50 тысяч солдат*. Неподалеку от ворот дворца воздвигнута высокая колонна из цельного куска цветного гранита, высотой в 50 аршин. Под камнем — восьмигранный бронзовый пьедестал, украшенный барельефами. На вершине колонны* стоит статуя ангела, поднявшего крылья, будто в ожидании пришествия Христа, тоже из сверкающей бронзы. В восточной части дворца, над нижним этажом, — садик, где растут разные цветы и травы*. Тут зелень, проточная вода, сладкоголосые птицы. Высота садика равна высоте здания (под ним помещается царская конюшня), а ширина — 25 газов. Все двери восточной части здания выходят в этот сад. Из реки в фонтан непрерывно поступает вода и снова возвращается в реку. К западу от дворца — большая улица.

Как только мы вошли во дворец, нас повели по лестнице и через лестничную галерею ввели в огромный, отделанный позолотой, сверкающий зал* длиной в 150 газов, шириной в 30 газов и усадили на соответствующее место. В этом зале четыре галереи, расположенные одна против другой и перекрытые потолком. Их поддерживают шестьдесят колонн из полированного блестящего камня. Основания колонн — четырех- и шестиугольные, капители — круглые, с лепными украшениями. Посредине зала с потолка свешивается восемь хрустальных, оправленных в золото люстр. В каждой горит до ста свечей.

Вечером в этом зале в присутствии христианских священников и монахов, военачальников и знати города совершилось бракосочетание с целованием икон Христа и Марии. А ночью зал озарился огнями, даже солнце в полдень не светит так ярко. Он был убран таким множеством разных цветов и зелени в вазах и корзинах, что разум немел. Все колонны до самого потолка были увиты гирляндами цветов и крученых свечей, на полу рядами были расставлены раскрывшиеся и нераспустившиеся цветы, и это было похоже на цветущий луг с разбегающимися во все стороны тропинками, и если присядешь по одну сторону, не увидишь, что происходит на другой, только вдруг несколько женщин или мужчин неожиданно появятся и снова скроются среди зарослей. Под самым потолком, вокруг капителей, на расстоянии ваджаба друг от друга, прикреплены свечи в золоченых подсвечниках. В простенках меж дверьми были большие зеркала в рост человека с тройными светильниками по сторонам. Под зеркалами стояли столы, а на них тоже шестисвечные канделябры с горящими свечами. На полу было расставлено столько корзин с цветами, что казалось, будто это цветущий луг. Между ними оставался проход, чтобы можно было пройти в любой конец зала.

У одной стены зала устроена беседка шириной и длиной в

7 газов, потолок и три стены которой были увиты цветущим плющом. Дощатый пол ее возвышался над полом зала на один газ; одну стену беседки, высотой в 4 газа, образовывала стена зала, ее потолок и перегородки все в цветах и освещены огнями. В ней сидела группа музыкантов, которые все разом играли на арфах, лютнях, литаврах и пели. Третью залы оставалась свободной — там, положив друг другу руки на шею и талию, танцевали, кружились и притоптывали знатные дамы и кавалеры, все очень нарядные, в драгоценностях, в тонких белых, красных, черных и голубых платьях с цветами и с шелковыми кружевами на вороте и вокруг подола. Головы их были убраны яркими надушенными искусственными цветами. В своем плавном движении они были похожи на букеты цветов, усыпанные звездами; в пламени огня золотые, алмазные и жемчужные украшения сверкали, как звезды, а благоухание духов иссушало мозг меланхоликов. Поскольку подолы у них очень широки, то слуги некоторых знатных дам шли следом, поддерживая шлейф платья, чтобы он не зацепился за что-нибудь и не попал под ноги.

Тем временем сам император в сопровождении свиты и родственников взад и вперед прохаживался среди гостей. Вдруг, идя под руку с дочерью, он увидел меня и сказал:

— Я видел акростих, который ты посвятил царевне. Я очень доволен. Он очень глубок по смыслу, но жаль, что мы не знаем языка, чтобы отличить прекрасное от никчемного.

— Слова — это плоть содержания, — ответил я. — Не будет красив язык, не проявится и высокий смысл.

— Мне очень хвалили тебя, — сказал он, — как человека образованного, дважды или трижды бывавшего в этом краю. Почему же ты не выучился нашему языку?

Я ответил:

— Всякий раз, как мне случается приехать в твою страну, меня день и ночь водят по городу, в театры и на заводы. Сердце не дает мне отказаться от прогулок и зрелищ и заняться изучением азбуки (то есть «Алифбó»). Я все думаю: а вдруг мне не удастся больше побывать в этом городе и осмотреть диковинки твоего государства?

Он согласно кивнул головой. После этого всегда, прогуливаясь с дочерью по улицам — вскоре он должен был отправить ее с женихом в Европу, — он, увидев меня, показывал дочери: вот, дескать, тот человек, который сочинил тебе дифирамб. Она, улыбаясь, кланялась мне и кивала головой. Тамошний обычай приветствовать высших при встрече таков: низшие снимают шапку и обнажают голову, а высшие в ответ кивают головой, и это выражает одобрение.

Так танцевали, пели и слушали музыку до 11 часов ночи. Затем гостей пригласили к угощению в другой зал — больше первого. Вдоль зала в три ряда были расставлены столы и стулья.

Столы застелены белыми полотняными скатертями. Через каждые два газа горели золоченые канделябры, а между ними были расставлены сладости, орехи, различные красные, белые и желтые вина в хрустальных графинах, хрустальные бокалы, фарфоровые блюда со всякими фруктами, привезенными из разных краев. Между канделябрами стояли вазы с цветами. А по обе стороны стола друг против друга сидели дамы и мужчины. Каждому были поданы золотой нож, серебряная вилка и ложка и три белые салфетки. Затем слуги стали подавать одно за другим разные яства в серебряных и фарфоровых сосудах. Каждый кладет, что ему хочется, на стоящую перед ним тарелку и вкушает, запиная расставленными на столе винами; одна бутылка их стоит до 25 русских танга. А слуга уже готов унести грязную посуду и, вымыв, поставить обратно.

Сам царь ходит вдоль столов и потчует гостей: «Кушайте на здоровье».

Устав ходить, он присаживается к тем, кто стар, слаб и грустен и беседует с ними, стараясь подбодрить и развеселить их.

Короче, в 12 часов ночи мы освободились и отправились домой.

А еще в дни императорского празднества пригласили из Парижа за сто тысяч русских танга актрису и певицу по имени Патти*, юную, красивую и обладавшую прекрасным голосом. Просто не верилось, что подобный голос может принадлежать человеку, потому европейские ученые-анатомы ждали, когда она умрет,— они хотели вскрыть ее горло, посмотреть и выяснить, по какой причине появился у нее такой хороший голос. В тех увеселительных домах, где она бывала, публика внимала только ее пению, не обращала внимания ни на что другое и преподносила ей корзины с искусственными цветами, которые стоили до ста русских танга.

Вечером она наряжалась так, что разум сомневался в достоверности ее существования,— а может быть, это фея или ангел, явившийся из потустороннего мира? Когда над сценой увеселительного дома поднимался занавес, взгляду открывалось голубое чистое небо, зеленый луг на переднем плане и цветы, как плющом, увившие все вокруг. Из цветов появлялась красавица в белом платье, с сияющим лицом, обнаженными плечами и руками и открытыми до колен ногами, с убранными драгоценностями головкой и шеей. На щеках ее сияли два ясных месяца — сам месяц был невидим за занавесом, только лучи его, отражавшиеся на лице этой розоликой, трепетали в воздухе, освещая ее с головы до ног. Она пела, заливалась, окруженная этим великолепием, а среди зрителей не смолкали рукоплескания, они восторженно кричали и непрерывно хлопали в ладоши. Верхние ноты ее голоса заставляли замолкнуть и соловья и жаворонка, а на нижнем флейтовом регистре он звучал, как карнай*.

В перерыве, когда опускался занавес, чтоб она переоделась

и отдохнула минутку, рукоплескания не прекращались до тех пор, пока она снова не выходила, грациозно кланяясь и улыбаясь, и не исполняла новые вещи.

Через неделю ей вручили семьдесят тысяч русских танга и пригласили в Америку. В хвалу ей я сложил стихи, потому что она прочла в газете мой акrostих цaрeвнe и знала и расспрашивала обо мне.

Патти — парижанка, стройней кипариса, с ликом Венеры,
Улыбаясь, рассыпала устами розы к ногам.
Кудрявый локон, вьющийся над ухом,
Спорил красотой с гиацинтом.
Видеть ее доставляло такое изумительное наслаждение,
Будто она из чаши взгляда наливала вино в ладонь души.
Голос ее так мелодичен, будто в уши влюбленных
Она вливала то пенье жаворонка, то трель соловья.
Когда она уезжала из Петербурга в Америку,
Повсюду раздались стенания.

Одной из диковинок, показанных на празднике, была иллюминация, которую устроили на льду реки, на площади примерно в 6 тысяч шагов. Из льда воздвигли здания и башни с галереями и портиками, украшенными барельефами, на каждом портике и галерее были расставлены горящие свечи в ледяных подсвечниках. Пространство в 20 танaпoв* было превращено в цветник, где все цветы и листья были изо льда. Внутри листьев горели свечи в зеленом хрустале, а в цветах — свечи в желтом, красном и синем хрустале, вставленные в лепестки так, что сами свечи оставались невидимы, но свет их отражался во льду.

Это был целый мир цветов, огромный зеленый цветник — и весь изо льда.

На протяжении трех часов в воздух запускали ракеты и фейерверки, закрывшие собой небо. В небе горело столько красных, желтых, белых, зеленых огней, что на земле была видна мельчайшая пылинка. По этим ледяным цветникам и дворцам гуляла большая толпа мужчин и женщин, а группа людей каталась на льду и забавлялась. Мы сидели на возвышении и наблюдали. Эта новинка, изобретенная русскими учеными, была создана во время восшествия императора на престол, и они очень гордились ею.

А еще приехал из Европы фокусник.

Мы были в зрелищном доме*. Там поставили три стола, на каждом стояли бутылки, наполовину наполненные подкрашенной водой. Он указывал на них руками и палкой, и, несмотря на то что все бутылки были на расстоянии друг от друга, вода сама собой переливалась из одной в другую. И еще, взяв пустой хрустальный графин, он вручил его одному из зрителей и велел крепко зажать горлышко. Сам же, стоя на некотором расстоянии,

показал публике несколько монет в руках, затем, взяв одну, махнул в сторону графина. Исчезнув из руки, монета упала в графин, хотя горлышко его было зажато. Все услышали ее звон. Таким же образом он извлек монету из графина. Все были поражены. Далее он снял с одного шапку и показал ее публике: мол, посмотрите, в ней ничего нет. Распахнув полы костюма и открыв рукава, он показал, что и там нет ничего. Затем, опустив руку в шапку, он вытащил охапку красных перьев, длиною в три ваджаба, какие чиновники и воины носят на голове. Потом, снова показав, что в руках и за пазухой у него ничего нет, он вынул из шапки большую хрустальную чашку, полную воды. Все были поражены.

Далее он свернул из бумаги три трубки, поднес их к свече и зажег. И из них выскочили три птички, вроде горлинок, которые стали летать над головами зрителей. Потом, сняв с кого-то цветастый платок, он сжег его на свечке, а когда владелец потребовал его, он взял другой платок, зажег его и из пламени извлек первый.

Далее. Привели ученую собаку. На подносе были разложены разные буквы. Дрессировщик говорил: «Найди-ка имена Зайда и Амра»*. Собака подходила к подносу, брала в зубы одну за другой буквы и складывала их по порядку так, что можно было прочесть имена Зайда и Амра.

Вслед за тем на доске расстелили флаги разных царей Европы, Рума*, Италии и Неметчины, каждый величиной в два ваджаба. На их развернутых полотнищах были нарисованы гербы. Дрессировщик говорил: «Найди и принеси флаг царя Рума!» Ученая собака подходила к знаменам, внимательно всматривалась и, найдя нужный флаг, зубами стаскивала его с доски. Публика кричала: «Браво!» Так она отыскивала каждый флаг, какой требовал дрессировщик, и выносила его на середину зала.

Еще приехал из Европы наездник. Он скакал на коне по круглой площадке зрелищного дома размером в двадцать газов. На всем скаку он вытягивал ноги от хвоста до ушей коня, не держась притом руками, и так объезжал один-два круга. Или, стоя на коне одной ногою, другою и руками играл так, что мутился разум. Иногда он ехал, выпрямившись во весь рост, держа за руки девушку, а ноги ее укрепив у себя на поясе.

На пути его держали обтянутые бумагой обручи. Он стрелою пролетал сквозь каждый из них и опять выпрямлялся. Прежде чем он успевал встать, подставляли другой обруч. Разорвав и его, он пролетал и снова вставал на коне. Снова подставляли — он снова пролетал, и так несколько раз. На спине коня не было ничего, кроме шелковой попоны.

Еще приехал канатный плясун. С потолка круглого купола шириною в тридцать газов свесили три веревочные петли, размером в два газа. Высота потолка — двадцать газов. Вися в одной из этих петель, он выделял разные забавы. Уцепившись за нее большим пальцем ноги, он опрокидывался вниз головой и пере-

вертывался обратно, повисал на одной руке, качнув веревку, снова бросался вниз головой, как человек, ныряющий в воду. Перевернувшись несколько раз, он ловил вторую петлю и выделял в ней тоже разные забавы, опрокидываясь так бесстрашно, что казалось — вот-вот он распластается на полу.

После нескольких головокружительных прыжков в воздухе он ловил третью петлю, показывал несколько фокусов и переходил на балкончик. Таким же образом он возвращался обратно на первый. Потом он ходил по тонкой проволоке. В руках у него было три шара из латуни, которые он подбрасывал и ловил.

А еще там были дрессированные собаки, гончие и болонки. Принесли лестницу. Собаки поочередно, одна за другой, поднимались по обеим сторонам лестницы и спускались вниз друг другу навстречу. Казалось, будто их привязали к лестнице. Потом поставили наклонно доску длиною в пять газдов, а сверху пустили катиться деревянную бочку. Одна из собак вскочила на нее и, быстро перебирая лапками, побежала по катящейся бочке, пока та не достигла земли. При этом она ни разу не покачнулась и не нарушила равновесия.

Затем привели трех собак, которые были наряжены, как лошади, в попоны, седла и уздечки. Три другие, одетые как чернолицые эфиопы, сели на них верхом. У каждой в передних лапках было по две палочки, которыми они отбивали такт русских и европейских мелодий, да так ловко, что и человеку не суметь.

По окончании каждого номера они кланялись, кивали публике головами и усаживались на свои стулья или, просунув голову в ошейник, прикрепленный тесьмой к стене, ожидали приказа дрессировщика.

А большую белую лошадь научили кружиться на двух ногах и копытами отбивать такт. Она то поднимала переднюю ногу и тремя остальными делала разные движения, то кружилась с поднятой задней ногой.

На этой свадьбе показали еще столько всяких веселых и искусных забав, что удержать их все в памяти было невозможно.

Потом, когда свадьба дочери императора была перенесена в Москву, нас пригласили тоже; сев в поезд, мы проделали путь в девяносто два фарсанга* за четырнадцать часов.

В пути по настоянию переводчика я описал императорское празднество в стихах. Их перевели на русский язык и напечатали в газетах всей Европы...

Из только что приведенного рассказа об образе жизни христиан и их житейских делах некоторые простосердечные могут заключить, что они на редкость радостны и счастливы, не зная горестей и душевных забот и пребывая в вечном довольстве и благополучии. И поэтому кое-кто считает, что уж если человеку суждено попасть в ад, то надо прожить на этом свете в свое удовольствие.

Но это не так...

Я не видел человека, чье сердце не терзалось бы горем и кто не выпускал бы тяжелых вздохов. Я не встретил никого, кто был бы спокоен и беспечален, ни в торговых рядах, ни на базарах, ни в зрелищных домах.

Так, был я на большой улице Петербурга*. Длина ее — фарсанг, а ширина — сорок пять газов. Здесь высятся пяти- и шестиэтажные здания, отделанные позолотой. По обе стороны вдоль стен домов устроены возвышения, выложенные каменными плитами и поднимающиеся на один ваджаб. По ним в обе стороны идут пешеходы. За возвышениями проходит дорога для экипажей шириной в десять газов. Она вымощена шестигранными деревянными торцами, чтобы повозки не так гремели. Середина дороги, предназначенная для солдат и конных, на ширину двух газов выложена мелким булыжником. Через каждые двадцать газов стоит бронзовый столб, украшенный барельефами, с хрустальным фонарем наверху. Благодаря физическому соединению дыма и пара каждую ночь, до самого утра, в нем горит огонь. Все нижние этажи этой улицы занимают лавки и магазины, где продаются разнообразные европейские товары и ткани. В каждой лавке столько дорогих товаров, что, если закупить их на десять тысяч динаров*, все равно останется так много, словно ничего и не брали. Если, например, выберешь и купишь тысячу серебряных табакерок, то выставят десять тысяч других, еще лучше.

С трех часов утра до заката солнца и с вечера до полуночи по этой улице снуют пешеходы, всадники, повозки и экипажи. День и ночь здесь толпы народу, как в праздничный день, когда все идут на молитву.

Эта улица проходит прямо с востока на запад. Пешеходы и всадники, движущиеся с запада, идут по левой стороне улицы, а направляющиеся с востока — по правой стороне. И никто не толкает друг друга — это неприлично. Разговаривают со спутниками негромко, а если у кого-нибудь есть дело к человеку, проходящему по противоположной стороне, то на южной и северной стороне улицы есть постовой, которому они говорят: «Скажи тому-то, чтобы остановился». Постовой идет и подает тому знак. Посреди улицы везде устроены люки, крытые чугунными решетками, куда стекает вода, если идет дождь. Когда выпадает снег, тотчас же приходят арестанты, счищают его и посыпают улицы песком, который впитывает влагу, а потом подметают большими метлами, чтобы было чисто и подола красавиц не пачкались.

Я выходил на эту улицу наблюдения ради, но видел там всех огорченными и опечаленными. Я видел, что жена Зайда сидит с кавалером в экипаже, запряженном шестеркой лошадей, в дорогом наряде и украшениях ценой до десяти тысяч динаров, а экипаж с лошадьми стоит около десяти тысяч русских танга. В это время жена Амра правит экипажем, запряженным только парой

лошадей. На шее и груди ее украшения стоимостью в тысячу танга. Зато у нее красивый возлюбленный, а у жены Зайда нсвзрачный, привлекающий ее силою золота. Жена Амра завидует ее экипажу, коням, наряду, а жена Зайда пылает страстью к ее кавалеру. И ясно, что обе недовольны своей участью. Поэтому всякий раз они стараются так украсить свой наряд и экипаж, что трудно себе представить. А на следующий день они наряжаются так, что вчерашнее убранство кажется ничтожным. При всей пышности и великолепии убранства их мужчины и женщины постоянно желты и бледны, страдая от зависти друг к другу. Даже в увеселительных домах они неотрывно следят за поступками, речами и поведением других, выискивая поводы для порицания и осуждения. И так было со всеми: и малыми и большими той страны...

РАССКАЗ О ХАДЖИ* И О ПОЛЬЗЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Казий* Яхъя, сын Бакахаджа Бухарского, был однажды в путешествии спутником пишущего эти строки. И вот как-то он рассказал со слов одного путешественника:

— Я возвращался из хадджа* и вместе с несколькими товарищами отправился на корабле в Индию через Индийский океан. Мы высадились в Калькутте и отправились в Каннаудж — самый отдаленный край этой страны. Я провел среди индийцев несколько дней. Не зная индийского языка, я испытывал при торговых сделках затруднения и долго пытался найти человека, знающего язык фарси*, но безуспешно.

Однажды меня встретил один пешаверский купец, знавший многие языки Индии, повел к себе домой и сказал:

— Тебе не место здесь. Как только сможешь, отправляйся туда, где ты мог бы понимать язык жителей.

И он дал мне тетрадь, где были записаны индийские слова и выражения, необходимые при общении с людьми и купле-продаже. Я поблагодарил его и попросил указать мне дорогу.

— Тебе сначала следует отправиться в Джалал-абад, — отвечал он, — затем в Пешавер и после этого в Кабул.

Он показал мне рукой направление к этим городам, сделал много подарков и отпустил.

В пути, когда мне нужно было купить хлеба или переночевать где-нибудь, я раскрывал перед булочником или хозяином дома свою тетрадь и, перелистав ее, на услышанные мною слова давал какой-нибудь неподходящий ответ, а люди только смеялись надо мной. Много же брани пришлось мне услышать, да и тумаками

меня не раз награждали, так что даже жизнь мне опостылела. И сколько я ни пытался присоединиться к какому-нибудь каравану, идущему в Кабул или Туркестан*, у меня ничего не получалось из-за незнания языка.

Да, это действительно трудно, когда человек попадает к людям, языка которых он не знает. Это очень тягостное состояние. Поэтому в европейских школах изучают разные языки и считают знание иностранных языков обязательным.

Я сам был однажды в столице Российской империи — Петербурге. Однажды среди ночи меня разбудил шум толпы на улице. Моих товарищей не оказалось на месте. На мой вопрос ответили, что они пошли посмотреть на пожар. Я тоже, спросонья не сообразив, выскочил на улицу. Там стоял свободный извозчик, я жестами велел ему отвезти меня к месту пожара. Он тут же посадил меня в пролетку и отвез туда. Я сошел и знаками попросил извозчика подождать, чтобы доставить меня назад. Он согласился.

Я стал смотреть на горящий дом. Множество людей фонтанами извлекали воду из моря. В руках у каждого был водяной кран, которым он прямо с земли гасил пожар на самом верхнем этаже. Я был увлечен зрелищем, но никого из своих товарищей там не встретил. Переводчика тоже со мной не было. Спустя некоторое время я решил вернуться. Небо заволокли тучи, пошел сильный снег, и народ стал расходиться. Я долго искал своего извозчика, но безуспешно. Наконец я набрел на другого извозчика-юношу. Я сел и показал ему жестом: «Гони». А он, ничего не спросив, пустил вскачь лошадей.

Когда я ехал на пожар, была лунная ночь, и я заприметил расположение звезд. Теперь же небо было затянуто тучами, шел снег и ничего не возможно было разобрать. Но я помнил, что сначала мы ехали на восток, а потом — на юг. Однако юноша вез меня в северном направлении и не понимал моих жестов и знаков. Время от времени останавливал лошадей и начинал говорить со мной по-русски, а я отвечал ему на фарси. Он принимался ругать меня, а я — проклинать его. Он беспрестанно требовал, чтобы я сошел, но я не соглашался, он бранился, и я тоже. Если бы я сошел, то он больше не посадил бы меня, а пешего среди ночи меня задержал бы полицейский. Я пробыл в пролетке пять часов, а за ночь выпало так много снега, что я был покрыт им с головы до ног, словно снежный ком.

В полночь извозчик бросил меня посреди улицы, вошел в какой-то двор и стал стучать, но никто не отвечал ему. А меня охватил страх, мне стало казаться, что если откроют дверь, то меня затащат внутрь, убьют и бросят в яму. А если, мерещилось мне, они заставят меня сойти с пролетки и оставят на улице, то полицейские закуют меня в кандалы.

Дверь не открылась, и отчаявшийся извозчик уселся на козлы, погнав вперед коней, проклиная меня. Я же, не в силах

вымолвить слова, молил бога спасти меня из этой беды и клялся, что впредь не поддамся соблазну чувств.

Не знаю, сам ли извозчик догадался, или бог внушил ему, но он отвез меня к начальнику полиции и стал жаловаться:

— Этот человек сел в мою пролетку. Он не знает языка, и я ничего не могу понять из его слов. Я не знаю, как с ним быть и куда везти, чтобы избавиться от него.

Начальник извлек меня из-под снега и спросил что-то по-русски. Я ответил ему на своем языке:

— Этот юноша не знает дороги к дому, где я остановился. Я не знаю, как мне быть. Если он повезет меня на Большую Морскую, я сам найду дом.

А Большая Морская — это большая, красивая улица, протяженностью в две тысячи шагов с запада на восток. По сторонам ее высятся шестиэтажные дома с позолоченными подъездами.

Начальник полиции понял смысл моих слов, отругал извозчика как следует и добавил:

— Это чужестранец и, наверное, из какого-нибудь посольства. Дома их находятся вблизи императорского дворца на Большой Морской. Зачем ты кружил его по всяким переулкам? Если бы сразу отвез его туда, он пошел бы к себе, так что ты и он не знали бы забот. Немедленно отвези его на Большую Морскую и потом ступай себе домой.

Извозчик ответил: «Сейчас!», погнал пролетку и доставил меня на Большую Морскую.

— Эх ты, осел,— сказал я ему,— наконец-то ты привез меня.

Он подвез меня к самым воротам и высадил. От радости я уплатил ему семь рублей и избавился от мук. Если бы я хоть чуточку знал язык, то не пришлось бы мне терпеть столько неприятностей.

И вот в один прекрасный день,— продолжал Хаджи,— устав от такого общения с людьми, я сел на паршивого осла и двинулся из этих краев в Джалалабад. Я отправился в путь без всяких припасов. Однажды впереди показалась высокая гора. У меня не было ни спутников, ни проводника. Два европейских пистолета и указания того купца — это все, что у меня было. Когда я вышел на равнину, то забыл направление, показанное купцом. Не выяснив себе, в каком направлении идти, я пошел узкой тропой. Пройдя некоторое расстояние, я достиг гор. Здесь текли ручьи, росли цветы, деревья, плоды. Повсюду были родники, на лужайках красовались кипарисы и аргуваны, заливались пением птицы. Этот райский сад своими цветами почти превосходил небо, а воздух в нем своей свежестью и ароматом мог сравниться с воздухом в садах Ирема*.

Воздух в тех горах был упоителен, поляны прелестны.

Повсюду — рай, где текли ручьи.

Как в садах Ирема всюду — драгоценные камни,
Как в раю — разные плоды.

Очутившись в таком прекрасном раю, после пребывания в мерзком аду, я забыл тяготы чужбины и свои разговоры со злыми людьми. Я сделал привал на краю родника и стал прогуливаться по лужайке; поел гранатов, винограда, орехов, наравал много и про запас. Мой бедный осел, для которого соломинка была так же желанна, как новый месяц, попасся на тех райских лугах и набрался сил, как только мог, так что его шаг стал быстрее.

Сев на осла, я ехал по склонам гор до самого вечера, проезжая много вершин и низин, временами из-за травы и цветов я не мог различить тропы, по которой я ехал, из-за ветвей развесистых деревьев я часто не мог определить, куда ехать дальше. Перед заходом солнца я выехал на обширную поляну, покрытую травой и цветами. Повсюду текли серебристые ручьи. Вершины гор поднимались до самых небес. Я поднялся на склон горы и увидел там три валуна неподалеку друг от друга. На них была положена прозрачная каменная плита разных цветов длиной в тридцать газов. Я поднялся на нее, приготовил себе ночлег, пустил осла пастись и стал молиться богу.

После захода солнца, когда ночь опустила над обитателями земли покрывало мрака и мир почернел, словно лица индийцев, я собрал побольше хворосту и разжег костер, так как слышал, что дикие звери не смеют приблизиться к огню. Когда над костром поднялись языки пламени, ночь словно оделась в дневные одеяния. Я, как огнепоклонник, вертелся вокруг костра и подбрасывал сухого хворосту. В это время мой осел под скалой протяжно заревел так, что было слышно повсюду в горах. Горы были близки, и крик его отдавался в ушах стократным эхом. От этого ужасного рева у меня затряслись поджилки. Я подошел к краю каменной плиты, чтобы узнать, в чем дело, и увидел осла, который испуганно метался по сторонам, боясь чего-то. Я посмотрел вокруг и увидел огромного зверя, похожего на буйвола, — с черной шерстью, широкой грудью, большой головой. Передние ноги были как у слона, глаза сверкали, словно солнечный диск. В поясе зверь был тонок, он ревел и бил длинным хвостом по земле. Но он не смел приблизиться из-за огня, а за ним стадами двигались другие звери, но не подходили к нему.

При виде всего этого я словно прирос к земле. Я чуть было не свалился от страха вниз, и мне удалось удержаться лишь с большим трудом. Зверь от ярости и бешенства ослабел, прилег на землю как раз напротив и уставился на нас.

Короче говоря, я провел эту ночь в страхе и в ужасе. Иногда я начинал говорить сладкие слова зверю, упрашивая его не трогать нас. Когда же над горизонтом показалось солнце, зверь оставил меня и осла и скрылся в чаще. Я не стал мешкать, нагру-

зил свои пожитки на осла и хотел пуститься в путь, но, несмотря на все старания, я не смог сдвинуть с места осла. Он опустил голову к ногам и топтался на месте, не смея шагу ступить от пережитого страха. Поневоле я оставил осла и, взвалив груз на плечи, двинулся дальше.

Не прошел я и трети фарсанга, как осел вскачь догнал меня. По-видимому, ему стало страшно одному, и он решил покориться. Я продолжал свой путь по тем горам на осле. Я питался плодами и ягодами, иногда подстреливал из ружья дичь и жарил ее.

В тех местах росло одно дерево с плодами величиной с айву, по форме похожими на кувшинчик, с нежной кожицей и ядром, как пиала. Я употреблял эти плоды взамен напитка. Благостные дары в тех бескрайних горах были неисчислимы, и местность казалась мне вышним раем, привидевшимся во сне. Но я был один, и это нагоняло на меня страх, так как я боялся хищных зверей. Я часто спрашивал себя: «На земле ли находится этот райский уголок, где я скитаюсь наяву?»

И вот однажды я подъехал к склону горы, где били из земли многочисленные родники. Там стояла каменная плита на четырех отполированных ножках. На ней кто-то лежал на боку, завернувшись в шелковое одеяло. Я стал благодарить бога за то, что он даровал мне товарища в моем одиночестве. Подойдя ближе, я произнес приветствие, но не услышал ответа. Я поднялся на плиту и тут увидел изваяние из камня, как живое, высеченное художником, искусным, как Мани*. Я огорчился и побрел своей дорогой. В один прекрасный день я очутился на равнине, окруженной со всех сторон высокими ветвистыми деревьями. Там росли розы, базилики, жасмины, текли ручьи. Посредине стояла высокая каменная суфа, внизу к ней был привязан осел, а рядом лежала поклажа и корзина. Я опять обрадовался, полагая, что обрел товарища, остановился, пустил пастись своего осла и поел то, что было у меня в сумке...

Так я пробыл там три часа, ожидая возвращения владельца поклажи и осла. Но никто не появлялся, кругом не было и следа живого существа. Я предположил, что какой-то хищник растерзал хозяина этих вещей, и открыл сумки, оставшиеся без владельца. Там оказалось сто пятьдесят золотых рупий, два европейских позолоченных пистолета, золотые часы и два мешочка: один с чаем и сахаром, другой с хлебом и вареным мясом. Я счел эти вещи дозволенными для себя*. Тут я заметил, что привязанный осел, сильнее моего, взвалил на него свой груз, сел сам и двинулся в путь. А с поляны вели три узкие дороги. Бросив своего прежнего осла, я отправился по самой широкой из них и проехал немного, но тут меня нагнал с ревом несчастный осел, который, по-видимому, боялся остаться в одиночестве.

Одним словом, я скитался по тем горам семнадцать дней и ночей и не смог найти дороги к человеческому жилью. Я бывал во

многих странах мира, но нигде не видел таких пленительных мест, и мне не раз приходила мысль поселиться в этих горах и перестать скитаться и мучиться. Но страх перед одиночеством и дикими зверьми удерживал меня и лишал решительности. За дни странствий я отгонял диких зверей выстрелами из пистолетов. На восемнадцатый день дорога прервалась, и я оказался на вершине горы, которая поднималась даже выше самых звезд и планет.

Себя я увидел на небе,
Свою голову увидел у Фаркдана*.

У подножия горы с севера на юг протекала река. По ту сторону ее виднелись нивы и поселения, иногда, словно муравьи, показывались земледельцы и пастухи.

Гора же возвышалась прямо, словно крепостная стена. Я сбросил оттуда камень в реку и лишь спустя час услышал шум падения его в воду.

Я двинулся на север и долго скитался по лощинам и взгорьям, пересаживаясь с одного осла на другого, пока не спустился на равнину. Там, на берегу ручья, сидел пастух, а вокруг него пасся скот. Я сделал привал неподалеку и, отдохнув немного, спросил его о Джалалабаде.

— Поселения, которые видны отсюда, — ответил он, — это окрестности Пешавера, Джалалабад же остался позади. А прибыл ты путем, по которому никто не ходит. Там обитают львы и тигры, медведи и кабаны. Всевышний творец предохранил тебя от бед, и ты не повстречал хищников. Если бы ты шел на Пешавер через Джалалабад, то твой путь продолжался бы пятьдесят дней. Ты намного сократил и облегчил путь, избежал много опасных пустынь и гибельных долин.

Я поблагодарил бога, простился с пастухом и направился к Пешаверу. Вблизи города я увидел великолепный высокий дворец. У ворот в европейских одеждах выстроились хаджибы* и сановники. Я погнал своего осла прямо к воротам, намереваясь въехать, но стража остановила меня и спросила:

— Эй, куда идешь?

— У меня важное и срочное дело к владельцу этого дворца.

Я предположил, что владелец дворца какой-нибудь правитель, и хотел подарить ему два пистолета с позолотой, равных которым не было на свете, чтобы он определил мне пропитание и жилище, пока я буду там жить.

— Это дворец английского губернатора и наместника королевы Виктории в Пешавере, — ответили мне.

— Как раз с ним-то мне и надобно повидаться, — сказал я.

Стражники вошли во дворец, доложили и меня повели внутрь. Я увидел обширный двор, высокий помост и стройные здания в позолоте и инкрустациях. Английский губернатор сидел в кресле,

а вокруг выстроились индийские и английские слуги. Из круга вышел переводчик, подвел меня к губернатору и стал расспрашивать, откуда я и чем занимаюсь. Начало речи я украсил словами губернатору, а потом продолжал:

— Я чужеземец, странник из Бухары, возвращающийся из хадджа. Во всех уголках Индии я слышал славу о твоём могуществе и щедрости и прибыл, чтобы повидать тебя и подарить два пистолета. В этом городе я никого не знаю, мне негде остановиться. Надеюсь, что ты укажешь мне место для житья на то время, которое я пробуду здесь.

— Владеешь ли ты каким-нибудь ремеслом? — спросил он.

— Нет, если не говорить о хорошем почерке.

С этими словами я положил перед ним пистолеты. Он взял их, несказанно обрадовался, осмотрел их со всех сторон и похвалил меня, так как пистолеты были редкостные.

— Ты привез хороший и достойный подарок, — заговорил он. — Ты путешественник, повидавший свет. Ты можешь поселиться в любой комнате во дворце, а если захочешь, мы выделим тебе комнату в медресе.

— В медресе лучше, так как там хаджибы и сановники не будут препятствовать свободному входу и выходу.

Он вызвал слугу, отдал ему приказание на своём языке, и тот вывел меня из дворца и отвел в медресе. Там он вызвал муддариса и мутавалли* и велел предоставить мне хорошую комнату. А другие слуги меж тем принесли для меня постель, шелковую одежду, посуду, ковры и сказали мутавалли, чтобы мне без промедления давали за счёт губернатора еду, одежду, питье — все, что понадобится.

Английский губернатор раз в два дня вызывал меня к себе для беседы и оказывал мне всяческие почести. Иногда он приглашал меня на танцы, концерты, вечера, которые трудно описать и на которые сходились жены и дочери английской знати. Он сажал меня с собой и старался развеселить меня.

(Воистину, странствие хотя и есть частица ада, оно иногда приносит пользу.)

Рассказчик продолжал:

— Однажды губернатор вызвал меня и сказал:

— Ты в этом краю — чужеземец. Чтобы не скучать и не грустить, ты должен заняться каким-либо делом.

— По милости сахиба* губернатора я провожу дни и ночи в веселии и наслаждениях.

— Если ты расположен, — продолжал он, — то переписывай для нас, когда у тебя будет свободное время, «Шахнамэ» Фирдоуси.

— Рад стараться, — был мой ответ. — Я сам жажду оказать тебе какую-нибудь услугу на память о себе, но до сих пор не дерзал сказать об этом.

Он приказал приготовить для меня письменные принадлежности, и я в течение шести месяцев переписывал для него «Шахнамэ». После окончания работы губернатор подарил мне три дорогих платья, шестизарядное ружье с позолотой и две тысячи золотых рупий.

Спустя восемь месяцев я соскучился по близким и по родным краям, и все эти милости и благодеяния мне показались ничтожными.

Да, небосвод, если даже исполняет, хотя бы два дня, прихоти человека, то четыре дня хочет устранить его и исполнять прихоти другого. Ведь в слове «давлат» (счастье) — «дав» (беги) и «лат» (удар) — две равные части, два сына одной утробы. Поскольку настала для меня пора вновь пережить бедствия, я в один прекрасный день отправился к губернатору, чтобы попросить разрешения вернуться в Туркестан и Мавераннахр*. Он захотел говорить со мной наедине, позвал во внутреннюю комнату и долго уговаривал меня поселиться в тех краях.

— Если ты захочешь породниться со знатным родом, — говорил он, — то я возьму это дело на себя.

— Пусть сахиб дозволит мне, — отвечал я, — отправиться на родину, уладить там все свои дела, повидать старую мать и вновь вернуться сюда на службу, и я не стану медлить с этим делом.

Он стал расспрашивать меня о доходах и расходах Бухары:

— Сколько в самой Бухаре обрабатываемых и пригодных земель?

— С востока на запад, — отвечал я, — примерно пятнадцать фарсангов, с севера на юг — восемь фарсангов.

— А в Самарканде?

— Треть того.

— В Насафе?

— Половина того, что в Самарканде.

— Сколько войск в Бухаре? — спросил он.

— В мирное время три тысячи, в военное время — около двенадцати тысяч, а если считать войска на окраинах, то двадцать тысяч.

— Каково жалование солдат?

— Двенадцать манов* зерна.

— Откуда берется зерно? — продолжал расспрашивать губернатор.

— Из поступлений ушра* и хараджа*.

— А если не будет дождя и земля не даст урожая?

— От джала*, которым облагают подданных.

— А если подданные обнищают?

— Обеспечивают за счет конфискованного имущества богатей.

После этого он долго смеялся и сказал:

— В таком случае будут обижены и подданные и воины. Если нападет сильный враг, то как отразить его и защитить страну?

— У наших границ нет ни одного сильного врага, мы сильнее всех.

— Предположим, что такой враг появится.

— Действовать, основываясь на предположениях, и пугаться всяких догадок неразумно. «Ты думай сегодня о сегодняшнем, а завтра — о завтрашнем».

— Быть беспечным и непредусмотрительным, — продолжал он, — недостойно правителя при решении государственных дел. Ведь события приходят и не предупреждают заранее, что они ослепят людей или сгонят их в могилу. Они происходят внезапно, тогда, когда не ожидаешь.

Ты посади побег, который приносил бы счастье.

Правление царей, — продолжал он, — зиждется на процветании страны, сытости подданных и обеспеченности воинов. Те порядки, которые ты перечислял, влекут за собой разорение сельского хозяйства, голод подданных, обнищание воинов и являются причиной лихоимства и беззакония чиновников и диванов*. Такая власть не продержится долго, но если даже и продержится, то не перейдет к наследникам и потомкам, а делам государства будет причинен непоправимый ущерб.

Шах, отобравший имущество у подданных,

Взял глину из-под фундамента и ею замазал крышу.

Главу такой страны, — продолжал он, — невозможно называть правителем или царем. Он просто-напросто — владыка нищих и предводитель угнетенных... Сколько от Бухары до Бадахшана? — перешел он снова к вопросам.

— Около восьмидесяти фарсангов.

— Кому он подчиняется?

— Он независим и лишь изредка на словах признает зависимость от Бухары.

— Почему ваши правители не покоряют его?

— Да что там за земля? — ответил я. — Она ничего не родит, кроме камней.

Он рассмеялся, потер одну руку другой и снова заговорил:

— Вы поразительно неразумный народ. Основа государства зиждется на золоте, а вы утвердили ее на спине осла. Разве вы не знаете, что люди — потребители золота, а не поставщики его. Вы ищете золото не там, где его можно взять, а там, где его нужно расходовать. Бадахшан — это страна, на которую взирает блис-

тающее солнце, это сокровищница владыки небес. Там находится четыре россыпи золота, лазури, рубинов и яхонтов. По нашему убеждению, тот, кто завладеет этой страной и ее россыпями, сравняется по богатству с четырьмя державами, а то и превзойдет их. Наши люди побывали там и основательно изучили и исследовали эти россыпи. Вернувшись, они доложили, что узбеки за долгое время непосильного труда почти ничего не добились там и удовлетворились мелкими камнями. В наших исторических книгах написано, что в давние времена в Бадахшане нашли рубин величиной в пять пядей на пять. Он находился в сокровищнице бадахшанского правителя. Китайцы проведали об этом, забросали Бадахшан метательными камнями и подожгли ночью многие селения. Жрецы и заклинатели встретились с одним китайцем и спросили:

«Какова ваша цель? Зачем вы обижаете людей?»

«Наш падишах, — ответил воин, — хочет рубин для своего дворца. Если хотите, чтобы мы оставили вас в покое, то положите ваш большой рубин на вершину той горы, чтобы мы забрали его».

Они так и сделали и тем спаслись. Ведь Индию-то мы завоевали, — продолжал губернатор, — потратив столько сил, именно для того, чтобы открыть путь к Бадахшану. Мы ведем с Россией переговоры об этих россыпях. Теперь нас отделяет от Бадахшана только одна горная цепь и три дня пути.

Сейчас мы ведем подготовку для проведения дороги через эти горы. И вот сейчас, в 1928 году хиджры*, после падения Кабула*, англичане прошли в Бадахшан.

Я взял у губернатора разрешение уехать, попрощался с ним и вышел. Он сделал мне много драгоценных подарков и вручил грамоту, в которой говорилось, что я был его гостем и оказал ему услуги, что правители областей и начальники замков Индии до самого Балха должны оказывать мне почет, а в труднопроходимых и опасных местах должны давать мне проводников. Он приказал оседлать обоих моих ослов и доброго рослого мула. Ослы мои к тому времени стали упитанными, как буйволы. Я продал их в Пешавере за сто шестьдесят рупий, сел на мула и вместе с караваном прибыл в Балх.

На пути по всей Индии правители и начальники областей оказывали мне великие почести, а на прощание каждый из них давал мне сто или пятьдесят рупий.

Когда я прибыл в Туркестан, у меня было около пяти тысяч рупий наличными и товару в виде драгоценных тканей на тысячу рупий.

Перед нашим переходом через Амударью на нас девятерых напали тринадцать грабителей-туркмен. Они даровали нам жизнь, но обобрали до нитки, раздели, словно мы только что вышли из бани. Мы прикрыли свою наготу изорванными лохмотьями

потников и с трудом, стеноя и плача, страдая от голода и жажды, поднимаясь и падая, в состоянии, одна мысль о котором заставляет лишиться сознания, дотащились до Керки* и рассказали обо всем правителю области, которого звали Шадманбék. Он отдал приказ, и вскоре грабителей поймали, а нам принесли все наше добро. Там все было на месте, ни единая иголка не потерялась. Мы обрадовались, все мы признали свои вещи и попросили правителя вернуть каждому свое.

— Потерпите немножко,— сказал правитель,— чтобы я мог разобраться в этом деле.

Он спросил грабителей:

— У них ли вы отобрали это имущество?

— Мы не знаем их. Мы раздели в степи группу людей, но не знаем, что это были за люди.

— Я не могу выдать вам этих вещей без свидетелей и доказательств,— заявил правитель.— Я доложу обо всем бухарскому эмиру, чтобы он принял решение.

— Мы все — свидетели друг друга! — воскликнул я.

— Вы, может статься, даете показания в свою пользу,— был его ответ.

Как мы ни упрашивали и ни умоляли его, ничего не вышло.

Я слышал, что некий великий муж
Спас овцу из лап и пасти волка.
Он ночью приложил нож к горлу,
И овца заплакала тогда:
«Ты спас меня из лап волка,
Но сам ты, в конце концов, оказался волком».

Мы провели в этой злосчастной области несколько дней, надеясь получить свое имущество. Когда мы приходили к правителю, он встречал нас бранью и проклятиями. И мы наконец пришли к заключению, что правитель возглавляет шайку грабителей, которые просто были его верными слугами.

Путем многочисленных просьб и ходатайств мы получили от правителя по пять-шесть дирхемов* на дорогу. В Бухару мы прибыли после долгих бедствий и лишений, голодные и голые, словно нищие.

Мать моя, оказывается, уже умерла и оставила мне в наследство лачужку. Я провел в лишениях целый год и подумал:

«В этой стране испытал я свое счастье,
Надо покинуть эту гибельную пропасть.

Мне надо снова отправиться в Индию и избавить себя от этих тягот и бедствий».

Я тут же продал свой домик, купил на вырученные деньги коня и необходимые в пути предметы и припасы. После долгих лишений и странствий, спустя много месяцев, пройдя не один переход, я пробрался в Индию и, как было обещано, поступил в Пешавере на службу к губернатору... Губернатор предоставил мне место для жилья, назначил жалованье и приказал переписывать книги. В его библиотеке одни каллиграфы переписывали Коран, книги по тафсиру* и хадисам*, другие — исторические сочинения и сборники легенд, третьи переводили эти книги на европейские языки. Я видел там, как много рабочих возили на подводах камни и булыжники и высыпали их в море, отвоевывая у моря газ за газом земли, строили помост и открывали на нем лавку или еще что-нибудь в этом роде. Ежедневно каждый рабочий получал пять рупий. Видя все это, я спрашивал:

— Зачем ради одной лавки вкладывать столько труда? Какой смысл переписывать мусульманские книги на европейский лад?

— Вы, узбеки,— отвечал на это губернатор,— не сможете постичь и понять этого, если я даже стану объяснять. Мы созданы для того, чтобы благоустраивать мир, разрабатывать залежи полезных ископаемых, овладевать тайнами чудес, сокрытых в природе. Мы призваны изучать все народы мира и отличать истину от лжи. Каждый человек доказывает чистоту и истинность своей религии, и это надо исследовать. Когда же будет установлена истина, мы будем следовать ей. Многие народы на свете приобретают богатства, но не пользуются ими, и мир в результате этого пришел в упадок, а жить стало очень трудно. Разве ты не знаешь, что виноградная лоза, если не ухаживать за ней, с каждым годом будет давать все меньше плодов и наконец засохнет? Вы поедаете плоды лозы и ни о чем более не заботитесь, если даже корни той лозы будут съедены червями, а верхушка погибнет от мороза. Поэтому предвечный и пресвятой владыка мира велел нам освободить мир-сад от невежественных садовников и очистить землю от бурьяна, мешающего земледелию, чтобы она могла приносить пользу.

И вот спустя два года мне захотелось странствовать, и я попросил губернатора отпустить меня. Он долго отговаривал меня, но убедился, что напрасно. Поневоле он отпустил меня. Как и в прошлый раз, он выдал мне охранную грамоту, подарил несколько драгоценных вещей на память и простился со мной.

Когда я выезжал, у меня в кошельке было около тысячи рупий. Я выехал из Индии морским путем и очутился в Египте. На этот раз я принял решение вернуться на родину через Россию, чтобы не подвергать себя всяким случайным опасностям...

РАССКАЗ О ПУЧИНЕ ИСКАНДАРА И О ТОМ, КАК РАЗБОГАТЕЛ НЕКИЙ МУЖ ИЗ АДЖАМА *

Рассказывал мне один знакомый, только что вернувшийся из паломничества в Мекку.

— Я видел в Хиндустане одного богатого мужа. Его могущество и влияние были за пределами человеческого воображения; более двухсот рабов и красивых невольниц ревностно прислуживали ему. Он задавал пиры и устраивал приемы, которые были не под силу индийским правителям. Сам он по происхождению был из Аджама, то есть иранец. Мы с ним крепко подружились, и я спросил его, как он разбогател.

— Как ты накопил эти сокровища? — расспрашивал я. — Ведь такое состояние не получают в наследство и не наживают собственным трудом. Да ведь ты и не занимался ни торговлей, ни ремеслом.

Он сделал вид, что не понимает меня, но с тех пор усилилось во мне желание узнать его жизнь, и я все настойчивей продолжал допытываться; однажды он ответил:

— Я пережил много горестных событий. Трудно выслушать рассказ обо всем этом, да, пожалуй, и поверить невозможно.

Я стал умолять в самых красноречивых выражениях, упрасывая его рассказать немного о своих приключениях, чтобы в жизни я мог следовать его примеру, и он уступил.

— В пору моей юности, — начал он, — я покинул Хорасан* и отправился в Париж, чтобы разбогатеть, торгуя и изучить французский и немецкий языки. Я пробыл там года два, изучил как следует торговое дело и стал прекрасно говорить по-французски. Ведь, не зная французского языка, нельзя торговать в Европе и вести дела с ее жителями.

Оттуда я по торговым делам отправился в Лондон, где вращался в аристократических кругах, пользуясь там уважением. Дела мои пошли в гору, и я скупил на полмиллиона больших танга, каждая из которых равна пяти обычным танга, разных тканей и перепродавал их. Время свое я проводил в веселье и наслаждениях, удовлетворяя все свои желания и склонности. Лондон, скажу тебе, это великий город, самый знаменитый в Европе, ее столица. Европейцы говорят, что во всем мире есть только три города: Лондон, Париж и Петербург. Другие же города — словно селения и кишлаки, а их правители — вроде старост и мелких наместников. В Лондоне народу больше, чем во всем Новом Свете и Петербурге, вместе взятых. Говорят, что население Лондона в два раза превышает число населения всей Италии, на две трети — население Парижа, на четверть — всего Китая и в три раза — Греции. Лондон следовало бы называть не городом, а целой страной. Точными подсчетами установлено, что там каждые восемь минут умирает человек

и каждые пять — рождается новый. В течение двадцати лет население Лондона увеличилось на восемьсот тысяч человек, несмотря на то что каждый год оттуда эмигрировало более трехсот тысяч человек. Согласно подсчетам, в Лондоне каждый день потребляют алкогольные напитки, вроде водки, рома и прочих, свыше сорока тысяч человек. Там живет более ста тысяч незамужних женщин, которые проводят свою жизнь в бездельи и разврате. В Лондоне имеется тридцать тысяч воров-карманников и десять тысяч кабаков, где каждый день предается пьянству более полумиллиона человек. На девятьсот человек в Лондоне приходится один умалишенный. Согласно подсчетам, в Лондоне один булочник приходится на тысячу двести шесть, один мясник — на тысячу пятьсот пятьдесят три, один бакалейщик — на тысячу восемьсот, один мухтасиб — на шесть тысяч восемьдесят восемь жителей. Короче говоря, в Лондоне — столице Англии — живет, по подсчетам статистиков в общей сложности 2,5 миллиона человек, простых и знатных, богатых и бедных, старых и юных. — Он продолжал: — В один прекрасный день группа известных купцов и предпринимателей, а среди них и я, отправились в море на парусных кораблях и пароходах. Одни хотели просто совершить морское путешествие, другие везли в Калькутту и другие города Индии большие партии различных товаров. Надо сказать, что Лондон расположен на северо-западе, а Калькутта — на юго-востоке, и между ними лежит расстояние по крайней мере в девяносто градусов, для преодоления которого, при средней скорости и со стоянками, требуется восемнадцать месяцев.

Мы плыли морем иногда по десять — пятнадцать дней, иногда по целому месяцу, сходили в портах, расположенных во владениях европейских стран или Индии, торговали там несколько дней и снова пускались в плавание.

Однажды в океане поднялся попутный ветер, и капитан корабля, слепой европеец, большой знаток своего дела, сказал:

— Надо пересесть на парусный корабль, ибо ветер попутный, а пароходу дать отдохнуть, чтобы он мог служить нам и впредь в нашем плавании.

Каждый час он спрашивал о направлении корабля у своих подручных, которые находились на верхней части палубы. Через определенные промежутки времени он опускал на дно моря канат с прикрепленным на конце куском олова, которое покрывалось илом. Вытащив его, ученый пробовал ил на вкус и таким образом определял, где находится корабль. Двое суток мы плыли так по направлению к Южному полюсу. На третий день корабль стало бросать из стороны в сторону, и моряки пришли в замешательство, ибо ветер дул с разных сторон и в разных направлениях, казалось, какой-то магнит притягивает к себе корабль. Мы быстро пересели на пароход. Как ни пытался капитан повернуть корабль на восток

или север, он все равно двигался только в южном направлении. А капитан в это время пробовал ил с морского дна, но его канат часто не доходил до дна океана, хотя в нем было пятьсот газов длины. Тогда он стал рвать на себе волосы и бить по голове.

— Мы по своей беспечности сильно отклонились от пути! — сказал он.— Мы оказались в местах, где никогда не бывал ни один корабль. Ветер, который мы приняли за попутный, был ничем иным, как ураганом, поразившим племя Ада*. Он ввергнет нас в гибель!

Говоря это, он вздыхал и рвал на себе ворот. От его горестных криков тревога охватила всех на корабле, и мы все словно прилипли к месту. Мы стали умолять капитана:

— Ради бога, объясни вразумительно, куда несет наш корабль, чем это все кончится, как нам быть?

— В книгах написано,— ответил он,— что в океане, близ Южного полюса, на расстоянии пятидесяти градусов от экватора, имеется пучина, которая притягивает к себе корабли с расстояния месячного пути. А вблизи нее находится гора, которая выступает из океана, словно огромный маяк. Их называют Пучиной Искандара и Маяком Искандара, так как никто, кроме него, не достигал тех мест, а если и достигал, то не возвращался. И кто бы из моряков ни оказался в той пучине, он не возвращался назад и погружался в прах водным путем, и никто более не видел его.

От этих слов нас охватил страх и ужас, мы стали громко рыдать и плакать, чуть было не умерли или же от растерянности чуть не попадали в море.

Ученый тоже рыдал и говорил:

— Стенаниями и жалобами судьбы не одолеть, нам осталось только терпеть и уповать на милость бога.

С судьбой невозможно сражаться,

Поэтому невозможно что-либо предпринять.

Пока ты предпримешь что-либо, дела станут еще хуже,— продолжал он,— у вас провианта больше чем на целый год. Расходуйте его с умом и предусмотрительно, не теряйте надежды. Если всевидящий творец захочет, он укажет вам путь к спасению. В противном же случае готовьтесь к смерти, ибо невозможно противостоять судьбе и предначертанного не избежать.

Выслушав эту речь, мы немного успокоились, прикинули, сколько у нас припасов и воды. Капитан был человек мудрый, призвал нас к спокойствию и терпению; он рассказывал удивительные истории о тех, кто попадал в беду и потом спасался. Утешая нас, он говорил:

— Многие мужи, сначала потеряв надежду, потом спасались из когтей диких зверей, из пучины и гибельных пропастей, от разбойников. И быть может, милость всевышнего бога выведет нас

из этой гибельной и опасной пучины и дарует нам жизнь.

Корабль наш тем временем с каждым часом плыл все быстрее, словно выпущенная из лука стрела. А мы от страха за свою жизнь прилипли к мачтам корабля, словно черви. Десять дней и ночей мы барахтались так в ожидании смерти и вдруг увидели на расстоянии одного морского фарсанга огромный, величиной с большой водоем, водоворот, который втягивал в себя все, что попадалось. Так как корабль наш был громадный и к тому же вел на буксире несколько других кораблей, водоворот не мог их втянуть в себя разом. Корабли, и мы вместе с ними, кружились вокруг водоворота, словно циркуль, иногда от силы притяжения углубления, похожего на драконью пасть, мы вплотную подходили к водовороту, ежеминутно готовясь к смерти, страшась оказаться в пасти морских чудовищ и погрузиться водным путем в прах. По бушующим волнам океана, под сильным ветром, мы, как огненный круг от вращающегося факела, кружили вокруг бездонного водоворота, спасаясь от его гибельной пасти. Этот водоворот был чудовищем, способным проглотить целый мир, а его поведение напоминало повадки дракона, который изрыгал проглоченные куски, чтобы лучше измельчить их. Так водоворот и проглотил несколько наших кораблей и лодок, разбив их вдребезги. Остался лишь один наш корабль, который вот-вот готов был разлететься под ударами волн.

Так прошло три дня — да не попадет никто в такое положение, — и наконец поднялся сильный ветер. Хотя он и спас нас, в то время мы восприняли его как смерть и распрощались с надеждой на жизнь. Весь мир вокруг был во мраке от пенящейся воды, и корабль наш уже готов был затонуть, мы же взывали к богу. Когда от нашего корабля оторвались привязанные к нему суда, он стал легче и в какое-то мгновение был, словно плевков, выброшен к подножию горы. Мы возблагодарили бога за то, что на этот раз не утонули и спаслись от смерти. Словно обретя вновь жизнь, мы старательно приготовили пищу и наелись досыта, ибо уже много дней ничего не ели. У подножия той горы было бессчетное множество кораблей, разбитых, истлевших, разнесенных на куски. Из восемнадцати человек наших друзей двенадцать умерли до того дня, и нас осталось всего шесть человек, не считая капитана и моряков. Из них также утонуло несколько человек. Те, кто по жадности расстался с нашим кораблем, вместе со своими товарами отошел в иной мир, так как цепи, которыми были привязаны другие суда к нашему, истерлись и разорвались под ударами бушующих волн.

Поев и отдохнув, мы стали осматривать обломки разбившихся кораблей. Мы заглянули во все уголки, куда только могла ступить нога человека. На одних кораблях люди превратились в груды костей, и мы заплакали, узрев то, что постигло их. В одних ящиках лежали истлевшие драгоценные ткани, а в

других — каменья, золотые и серебрянные монеты, в третьих — упакованные продукты, которые давно уже сгнили. Одним словом, на кораблях лежали груды товаров. То, что было сверху, сохранилось сравнительно неплохо. Среди этих кораблей оказался один малоповрежденный. Мы взошли на него и нашли в одной из кают трех людей. Двое из них были уже мертвы, а один еле дышал. Мы сообщили об этом капитану-европейцу. Он обрадовался, отправился к ним, потрогал у каждого пульс и заявил:

— Да, двое уже скончались.

Для третьего же он велел приготовить кое-что поесть и вливать это ему в рот по каплям. Спустя три часа тот пришел в себя, и вот что он рассказал в ответ на расспросы капитана:

— Нас было несколько человек. Мы отправились морем из Хиндустана по торговым делам. В один прекрасный день встречный ветер занес нас в эти края. Нас было семнадцать человек, провизии у нас было более чем достаточно. Но одни умерли от страха, другие — своей смертью, и осталось нас трое. Мы заболели здесь от губительных испарений, перестали есть, и двое умерли, остался лишь я один.

По его рассказу выходило, что прошло семь лет с начала их путешествия, и мы спросили, чем же они питались.

— У нас были кое-какие продукты, — отвечал он, — а потом, очутившись в этих гибельных местах, рядом с бездонной пучиной, мы подобрали все, что оставалось от других людей. На этих кораблях и сейчас еще можно найти припасов на несколько лет.

Мы расспрашивали дальше, и он продолжал:

— В этих морях ураганы часто сбивают корабли с их пути, и люди проводят на воде годы. Или же волны выбрасывают их на какой-нибудь необитаемый остров, где нечем питаться. Поэтому всякий, кто собирается пересечь океан, берет с собой запасы на несколько лет.

Наш капитан сказал ему:

— Ты уже давно здесь около пучины. Пробовал ли ты спастись и уехать отсюда?

— Эта пучина, — ответил он, — подобна Азраилу*. Разве спасется человек, попавший в лапы к Азраилу? Она — словно вход в могилу, покрытый водой. И может ли человек питать надежду вырваться отсюда?

Сказав это, спасенный заплакал, и мы последовали его примеру. Воистину предвестие смерти страшнее смерти.

Капитан при этом добавил:

— Он говорит правду — отсюда до суши очень далеко.

И он показал нам признаки близости Южного полюса. А вечером он произвел измерения и сказал:

— Южный полюс отстоит от нас приблизительно на шестьдесят градусов. Да, воля и умение человека проявляются там,

куда ступает нога человека и где он бывает. Здесь же можно найти спасение только в смерти, иного пути нет.

Слепой капитан обратился к незнакомцу:

— Когда ты проводил здесь в отчаянии свои дни и ночи, с надеждой взирая по сторонам, видел ли ты какое-нибудь живое существо в воздухе или на воде? Удивили ли тебя какие-либо явления на море?

— Да,— ответил тот,— по ночам я замечал много признаков существования морских животных. То было слышно что-то вроде молитв и песнопений, то море, словно светильник, переливалось огнями от глаз рыб, сверкающих во время их игр при лунном свете. В воздухе же, кроме звезд и светил, ничего не было видно.

— Так бывает во всем океане,— перебил ученый.— Продолжай.

— Раз в году,— продолжал тот свой рассказ,— в пучине появляется огромное чудовище. Оно проводит здесь не больше двух-трех дней и потом уплывает. Когда оно плывет, то морская вода вздымается целыми горами, а когда уплывает, можно видеть морское дно. Большинство этих кораблей потерпело крушение от поднятых им волн. Оно настолько велико, что покрывает, кажется, всю эту пучину, так что пучина успокаивается. Через несколько часов после отплытия этого чудовища пучина снова начинает бурлить, океан же затихает.

Выслушав его, капитан приказал нам:

— Ступайте и принесите все железные предметы — цепи, гвозди, которые найдете на кораблях.

Среди нас и его подчиненных были астроном, кузнец, лекарь и хирург... За три дня мы набрали груды всяких железных предметов, гвоздей, цепей. Тогда капитан спросил того потерпевшего:

— В какое время чудовище приплывает в пучину?

— Когда солнце находится на краю южного знака Зодиака, который стоит здесь в зените. Определите сами, где сейчас находится солнце.

Ученый спросил у астронома и получил ответ:

— Согласно календарю солнце находится в центре знака Весов.

Тогда ученый велел кузнецу выковать цепи длиной от трехсот до пятисот газгов и острые гвозди с кольцами вместо головок длиной в локоть. Словом, до тех пор, пока солнце не перешло в зенит, мы собирали железные предметы, а кузнец изготовлял цепи. Но мы не понимали, для чего все это делается, и говорили друг другу:

— Этот слепец-капитан устроил кузню у самого моря. Может быть, он хочет привязать этими цепями корабль к горе, чтобы остаться здесь навсегда?

Тем временем мы перетасили с других кораблей на свой все съестные припасы, которые еще были годны, и починили хорошенько свой корабль. Настало время появления чудовища. Тут капитан приказал:

— Следите внимательно. Когда чудовище уляжется над пучиной и вода перестанет бушевать, проденьте цепи в гвозди, садитесь в лодки, подплывите к нему и крепко-накрепко вбейте гвозди в его тело. И тогда, быть может, корабль сумеет выбраться отсюда. А когда мы уплывем от водоворота, мы разорвем цепи и пустим корабль в желаемом направлении.

И только тогда мы уразумели его намерение. Цепи ковались такие длинные, чтобы наш корабль не потонул, если чудовище погрузится в морские глубины.

Итак, когда солнце достигло зенита, что соответствует началу зодиакального знака Козерога, море стало бушевать еще больше, и мы привязали свой корабль к другим разбитым кораблям, чтобы он мог устоять против морских бурь.

Наконец мы увидели приметы этого чудовища: волны стали вздыматься, словно горы, грохот моря и шум воды оглушал нас, среди брызг и наступившего мрака не было видно ни зги. Наш корабль трепетал на волнах, словно пена, то подскакивая вверх, то низвергаясь вниз, а мы прилипли к мачтам и парусным канатам. Спустя сутки море утихло, и мы увидели, что из пучины поднимается округлая гора, а чудовище спокойно дышит. С каждым вздохом чудовища уровень моря опускался на высоту целого копья, а после выдоха вновь поднимался. Тут мы поняли, что морская пучина оказалась пленницей пасти чудовища. Мы по указанию капитана взяли гвозди, сели в лодки, подплыли к нему и стали вбивать их, где только могли. Но чудовище и не почувствовало, как мы вколачивали молотами гвозди в его тело.

Спустя три дня чудовище захотело двинуться в обратный путь, и мы отцепили свой корабль от других, привязали к нему еще один и погрузили туда все, что нам было нужно. Мы заклепали и законопатили борта корабля и вручили свои жизни милости истинного творца. Чудовище потащило наш корабль — одним движением оно тянуло нас на расстояние трехдневного пути. Когда чудовище погружалось в море, наш корабль плыл спокойно, а когда оно всплывало на поверхность, нам казалось, что настал всемирный потоп, и мы прощались с жизнью. Под ударом поднятых чудовищем волн наш корабль был подобен человеку, застигнутому ливнем в степи.

Спустя три дня матросы на палубе закричали:

— Земля! Видим высокую гору, а в небе над ней — птицу!

Капитан, услышав эту весть, сказал:

— Если корабль будет приближаться к горе, то не препятствуйте. А если он будет удаляться от горы, то разорвите цепи, чтобы плыть по своему усмотрению.

Чудовище в это самое время плыло по поверхности. Казалось, что оно не может погрузиться в воду из-за малой глубины. А наш корабль бросало из стороны в сторону, он, как буй, то всплывал на гребни волн, то плыл под валами, треща от ударов. А у нас на корабле было не то пять, не то шесть одностестных лодок, запасенных по совету капитана на всякий случай.

Когда мы подплыли к горе вплотную, чудовище переменяло направление. Волны были огромные, море бушевало, и мы не смогли ни сойти с корабля, ни оторвать цепи. Корабль устремился прямо на скалу и разбился вдребезги. Часть остова корабля вместе с цепями уплыла вместе с чудовищем. В страхе перед смертью я ухватился за лодку, потом с большим трудом вынырнул на поверхность, подплыл к основанию горы. Целый час я пролежал там без сознания. Из моих друзей спаслись лишь двое: один уцепился за лодку, другой — за доску. Что же стало с другими, я не знаю.

Мы укрыли свои лодки и пошли осматривать гору. Долго скитались мы по скалам и ущельям, но нигде не было ни травинки, ни живого существа, повсюду были лишь жемчуга и драгоценные камни: рубины, алмазы, хризолиты, изумруды. Склон горы из-за разноцветных камней казался зеленой лужайкой, поросшей цветами, — а он занимал площадь в квадратный фарсанг. Ущелья и пещеры также были наполнены камнями и походили на арки, инкрустированные жемчугами. Вымоины были полны драгоценными камнями. Тут были камни величиной с кувшин, газа два в длину и ширину. Я знал цену камням и набрал их восемь пудов. Друзья же мои не разбирались в этом и, не желая утруждать себя, взяли немного.

Поскольку остров был пустынный, мы поспешно собрались и отправились по морю к северу. Два дня спустя мы достигли какого-то зеленого и цветущего берега. Здесь росли душистые травы со съедобными сладкими кореньями, кусты с ягодами. Мы пополнили свои запасы и поплыли дальше. Спустя пятнадцать дней, повидав на своем пути много чудес, мы прибыли к берегам материка. Отдохнув несколько дней после тяжких скитаний по морю, я продал часть привезенных камней и отправился с товарами в Калькутту. Здесь я и обосновался. А спутники мои отправились по своим домам.

За ту часть камней, которую я продал, я получил девять тысяч золотых рупий и купил на них все эти богатства и имения. Остальные камни так и лежат у меня нетронутыми. Все мои сокровища и могущество происходят от них. Со всех концов Индии ко мне стекаются купцы и, совершив торговые сделки, уходят...

В НАЗИДАНИЕ ДЕТЯМ О ПОЛЬЗЕ РЕМЕСЕЛ И ЗАНЯТИЙ

В этих строках я решил в целях назидания рассказать о том, к каким выводам пришел я за свою пятидесятилетнюю жизнь, чтобы ими можно было воспользоваться как руководством в случае необходимости. А когда наши дети образумятся, то, несомненно, им так и придется поступить.

Но в иные годы, в пору расцвета жизни, подобные обращения — все равно что изображение на воде, которое невозможно запомнить, или же голос при сильном ветре, который не слышно.

Мы свою жизнь провели в неведении,
Так используй же ты эти несколько мгновений.

Бери пример с добрых деяний других людей,
Пока не настанет очередь брать пример с тебя.

Мои дорогие и любезные дети. Абулькарам и Асъад*, да будет вам известно, что теперь, когда вы еще вкушаете материнское молоко или ходите в школу, я решил отправиться в дальнейшее путешествие*. Если оно осуществится, то я, возможно, не вернусь назад, а если даже и вернусь, то, по-видимому, не буду в состоянии заниматься вами. Если же я буду тратить свое время на ваше воспитание до вашего совершеннолетия, то не смогу заниматься своими делами дома и готовиться к путешествию.

Воспитание детей лежит на обязанности родителей. Сначала следует воспитывать словом и примером и уж потом — принуждением и запрещением. Поэтому прежде всего я скажу вам то, что надлежит сказать, препоручу вас творцу и укажу вам похвальный образ жизни, придерживаясь которого вы будете благоденствовать в том и этом мире. Если предвечный владыка будет благосклонен к вам, то вы сможете вести такой образ жизни, а если нет — воля ваша.

Знайτε же, что на вашем жизненном пути возникнут многочисленные препятствия, характер ваш будет меняться, но тайные причины всего этого будут недоступны вам, ибо таков порядок вещей в мире.

Каждый появившийся на свет ребенок, как только начинает ходить, проявляет склонность резвиться и бегать, падая и поднимаясь. Но, видя, что взрослые ведут себя спокойно и степенно, он понемногу меняет свое поведение. Заметив, что мир переполнен разными благами, он проникнется желанием есть, спать, приобретать добро. Убедившись, что для всего этого нужны деньги, человек начинает раздобывать их. И тут, убедившись, что и золото, и серебро нельзя приобрести без ремесла, он старается научиться какому-нибудь ремеслу или профессии и зарабаты-

вать деньги. После приобретения необходимого жизненного достатка у человека появляется желание жениться, наслаждаться, бывать в обществе людей, он начинает строить дом, возделывать землю, общаться с друзьями, встречаться с красивыми женщинами.

Но по истечении какого-то времени ему надоедает эта суета, он уединяется у себя в доме, видится с людьми лишь в случае необходимости. Тут его настигает смерть, он оставляет свои богатства, друзей и недругов, покидая этот мир голый, как родился.

Весь же результат жизни человека — это тяготы и трудности, горести и разочарования. За часом веселья для человека следует три часа печали, за днем наслаждения — три дня горя. Это неизменный закон, и ни один человек не может преступить его, ему остается только согласиться с этим — ведь и цари земные признают себя подвластными этому порядку.

Поскольку настанет время, когда вы, дети мои, должны будете от игр и забав перейти к степенности, когда вы осознаете необходимость есть, одеваться и обзаводиться семьей, то вам, чтобы обеспечить свою жизнь, надлежит избрать себе какое-либо ремесло или занятие.

Не будьте нерадивы в изучении наук и знаний, которые необходимы людям, защищайте интересы общества и семьи. Вы должны искать такого достатка, чтобы не нуждаться ни в чьей помощи и не зависеть от чьего бы то ни было благодеяния.

Ни в коем случае не стремитесь к излишеству, иначе вы до самой смерти не избавитесь от житейской тщеты. Чем больше вы будете стараться избавиться от суеты, тем больше вас будут опутывать ее узы. Так, чем больше двигается увязший в трясине человек, тем больше погружается в болото.

Избирая ремесло, прежде всего подумайте, какие выгоды оно приносит и почему вы остановились именно на нем. Цель при избрании занятия — это не приобретение хлеба насущного, ибо оно придет к вам само собой.

Пусть целью овладения науками для вас будет желание удовлетворить потребности людей. Например, цель продажи карбаса* — одеть нагих, цель продажи хлеба — накормить голодных и проезжих, продажи халвы — доставить удовольствие от сладкого детям и иным желающим. Если же этим благородным целям вы предпочтете приобретение куска хлеба, то вы не обретете этого куска, а если и обретете, то за счет других людей.

Самые почетные ремесла и занятия — это овладение основами шарии и тех знаний, благодаря которым просветляются наш дух и разум. Самые недостойные и презренные — те, которые призваны удовлетворять телесные потребности.

Пусть вашей целью в овладении основ шарии будет не достижение санов и приближение к правителям и эмирам, а удов-

летворение потребностей людей, обучение и воспитание их, наставление их на путь истины. Если же вы овладеете знаниями ради благ и достигнете сана верховного казия или шейх-уль-ислама*, то для аллаха истопник будет ценнее вас.

Насколько это в ваших силах, не стремитесь приблизиться к правителям, не домогайтесь чинов и должностей, если только кто-либо не будет сам стараться за вас. Пусть правители не подозревают о вашем существовании, ибо когда они узнают о ваших достоинствах, то вам не миновать службы.

Каким бы ремеслом вы ни занимались, не переставайте думать о причине вашего сотворения и о том, куда вы уйдете из этого мира.

Вами руководят две волевые силы: повелевающая, которая исходит от бога, и запрещающая — от нашего бренного тела. Каждая из них при любом добром или злом поступке говорит нам «делай» или «не делай». Взвесьте пользу того и другого и потом выбирайте, что предпочтительнее.

Предположим, что вас пригласит в гости друг. Одна сила говорит вам: «Иди, наслаждайся, слушай музыку и пение, смотри на влюбленные пары, выпей вина, забудь про горести, вкуси удовольствий». А другая сила говорит: «Не ходи, не то будешь заниматься празднословием. Ты, наверно, из-за перемены места не сможешь даже заснуть там, а может статься, что не хватит постели, и тебе придется спать на земле, положив под голову свое ухо. Благородные мужи считают своей обязанностью отплатить за угощение. Поэтому, вернувшись домой, тебе придется пригласить всех пировавших с тобой и израсходовать пятьдесят дирхемов взамен съеденных тобой трех кусков. А если же ты останешься дома, то проведешь время безмятежно, спокойно уснешь, а этих пятидесяти дирхемов хватит тебе на пятьдесят дней».

Во всех делах своих советуйтесь с этими двумя силами. Не посоветовавшись с ними, не предпринимайте ничего в таких житейских делах, как еда, сон, гулянье.

Если вы будете соблюдать это правило, то у вас не будет потребности в советах других людей. А коли возникнет такая потребность, то только потому, что вы не в состоянии предпочесть доброе дурному, отличить убедительные доводы от слабых. Происходит это от торопливости, а если человек подумает хорошенько и взвесит все, то сможет отличить истинное от ложного.

Когда вы обратитесь к ремеслу ради жизненного достатка, то вам придется переживать и счастливые и горестные времена, большие радости и многие неприятности.

Надежды и отчаяние человека, бытие и небытие — это
всего лишь пыль воображения.

Не горюй о том, чего нет, откажись от того, что есть.

Будьте довольны, какую бы жизнь вам ни даровал господь, и благодарите его. Вам надлежит всегда доискиваться причины, почему вам даровали горе или радость и почему вновь лишили их, почему вам даровали что-либо без вашей просьбы и почему не даровали, когда вы желали. Когда вы осознаете суть всего этого, то будете меньше страдать и сможете терпеть.

Нередко случается, что прозорливый муж в минуты большой радости охвачен страхом, видя, что не может ступить по верному пути из-за житейской суеты. Тогда он отчаивается и восклицает: «О, если бы мать никогда не родила меня!»

И часто бывает так, что человек, попавший в очень трудное положение, по слепоте своей сильно горюет, проникается отвращением к жизни и проклинает родителей, которые произвели его на свет и тем самым подвергли тяготам. Он и не подозревает, что рожден для продолжения бытия родителей, а конечная причина существования родителей — порождение его самого, что они и жили-то на свете и сносили трудности исключительно ради него.

Это сомнение всю жизнь терзало ум вашего отца. Я размышлял над причинами своего существования и спрашивал себя: «Ради чего произвели тебя на свет? Нет у тебя ни занятия, которое способствовало бы благоустройству мира, ни спокойствия, чтобы украсить им загробную жизнь.

Нет у тебя ничего похожего на правду, ни лучей истины,
Ни имущества у тебя, ни поместья, ни воды, ни земли.
Как у проклятого кафира* — ни этого и ни того мира.
Скажи же сам, что может быть хуже этого?

Если ты сотворен для поклонения богу, то почему тебе не способствуют в этом? Если для строительства дома, то почему у тебя нет стремления к ремеслу? Если для служения царям, то почему тебе не даровали смелость? Если для земледелия, то почему не даровали тебе воду и землю? Если для беззаботной жизни, то почему ты лишен покоя и безопасности? Если для тягот и трудностей, почему тебя наградили терпением?» Но я так и не смог узнать, для чего был создан.

Когда же появились на свет вы, я понял, что меня сотворили ради вас. До тех пор пока вы не появились на свет и не раскрыли глаз, вашего отца не раз спасали из пасти дракона и морской пучины, заставляли бежать по горам и долам. Истина ведь заключается в том, чтобы отцы жаловались на детей, а не дети на отцов. В наше время люди считают, что отец является причиной появления на свет детей, в действительности же — как раз наоборот.

Итак, ваш долг состоит в том, чтобы и в трудном и в благоприятном положении не винить никого ни в добре, ни в зле, а считать, что все это от бога, и прощать своих родителей.

Если вы будете утверждать: «Не женись наш отец, мы не родились бы», то это только от незнания того факта, что вашему отцу навязали жену и принудили жениться. Если бы он был волен, то не явился бы в этот мир, куда явились вы. Что ему было делать, если его, как и вас, помимо его желания произвели на свет и подвергли тяготам, чтобы впоследствии та же участь постигла и вас.

Если вы поразмыслите над причиной вашего появления на свет и узнаете ее, то поступайте согласно этому: мало ешьте, говорите мало, поменьше общайтесь с людьми.

Если вы будете внимательно размышлять над сутью каждого явления, то до самой смерти жизнь ваша будет протекать спокойно, никто — ни родители, ни царь или простолюдин, ни родственник или друг, — никто не обидит и не огорчит вас, и ни от кого вы не будете зависеть.

Идти праведным путем, от которого зависит счастье в обоих мирах, легко тогда, когда вы едите мало. Этого же достичь можно лишь в том случае, если вы познаете суть еды, пользу и вред, приносимые пищей.

Так знайте же: все грехи и проступки происходят от еды и питья.

Чревоугодник много болеет, он вынужден часто обращаться к лекарям. Он не в состоянии ни заняться торговлей, ни пойти во дворец правителя. Все его время поглощено приготовлением пищи, перевариванием ее и освобождением от нее, угощением других и прочими заботами. Таковы пагубные последствия излишней еды.

Если вы ограничитесь скромной пищей, то избавите себя от всех этих последствий. Человек должен установить режим для еды и питья и не нарушать его; например, есть один раз в сутки. Если он не сможет один раз, то пусть ест три раза (утром, в обед и вечером), но так, чтобы желудок его оставался пустым на одну треть; и пища эта должна быть заработана честным трудом. А два раза в неделю пусть ублажает свою плоть мясом и маслом.

Если человек будет вести такой образ жизни, то ему вполне хватит на год двухсот дирхемов, а плотская страсть в нем не будет бушевать. Он всегда будет чувствовать себя бодрым, здоровым, ему не будут страшны ни чума, ни холера, и умрет он естественной смертью, которая наступает, по словам мудреца, через тысячу лет, а по убеждению народа — через сто двадцать.

Я слышал от мудреца: если кто-либо спросит
У мертвецов: «В чем причина смерти?»,
То из ста только один не даст следующего ответа:
«Причина смерти — обжорство».

Я приобрел все эти познания, которых лишена значительная часть людей, не из книг, а в результате долгих размышлений над каждым явлением, путем доискивания причин происхождения этих явлений. Я также размышлял над беготней и суетой людей, стараясь выяснить, ради чего они так поступают и чего, наконец, они добиваются этим.

Вы знаете, что в нашей библиотеке было лишь несколько взятых напрокат книжечек по астрологии, на арабском языке и на фарси, а книг по лексике, искусству и богословию не было. Когда же мне захотелось овладеть официальными науками, которые в наше время состояли из хутбы* и начальных глав других дисциплин, я обратился к частным и вакфным* библиотекам, но не успевал я приступить к повторному чтению книги, как владельцы отбирали ее у меня.

Отдельные мысли и соображения, которые запечатлевались в моем мозгу, я частями записывал в разных местах, так как люди тех дней не были достойны беседы с ними. По своему слабому разумению, в котором их нельзя винить, они считали написанное мной результатом меланхолии в моем характере, посмеивались снисходительно надо мной или же обвиняли в плагиате...

И тем не менее, спустя некоторое время я находил в писаниях великих мужей прошлого тождественное тому, что я записывал, и высказывания, почти дословно соответствовавшие моим записям. Мои мысли совпадали также с явлениями реального мира...

Не исключена возможность, что именно благодаря этому я продолжаю жить после вашего появления на свет... Но это еще не доказано, ибо сеть наша все еще в воде и нам неизвестно, что в ней окажется.

Все, что я изложил до сих пор об истине, в вашем возрасте трудно воспринять, ибо вы еще неразумны, у вас мало знаний, разум ваш мало развит, а в сердце не запечатлелись образы, и вы не сможете взвесить и сопоставить все эти мысли с явлениями жизни, сочтете их бредом, сказками и обманом, да еще скажете при этом: «Все, что он говорил и делал, было следствием слабости и беспомощности. Разве умный человек по собственной воле откажется от масла и халвы? Разве он станет топтать ногой блага, дозволенные богом всем тварям от мошки до птицы Анка*, и проводить время в голоде, впав в апатию?» А ведь обещания, данные только ради пробуждения в вас религиозного чувства, породят в вашем уме благие мысли и душевный покой.

...Относительно этих положений прочтите внимательно там, где я писал о несчастьи мудрецов и счастливой доле глупцов, о значении земных благ, о неповиновении родителям и об их правах. А здесь же я напишу о тех событиях и деяниях, которые мне пришлось пережить и испытать, чтобы вы знали, что я обрел свою долю в этом мире, но пренебрег ею и отвернулся от счастья, когда оно показалось мне.

Я расскажу, как старался овладеть знаниями, а также о тех случаях, когда раскаивался в усердии или нерадивости в изучении наук. Я объясню вам пользу и вред знаний и искусств, распространенных среди людей, пользу и вред разных ремесел и занятий, плоды счастья и злосчастья, чтобы все это послужило вам руководством для действий. И к какому бы делу вы ни приступили, желая овладеть науками, согласуйте свои действия с этим руководством. Сами, своим умом разберитесь, соответствуют ли ваши поступки руководству или нет, прикиньте их пользу и вред и поступайте так, как это соответствует вашей природе, чтобы не посягать на то, что вам абсолютно недоступно.

Прежде чем заняться каким-либо ремеслом, основательно изучите его, чтобы выбор ваш был по собственной воле. И тогда вы не будете никого винить в добре или зле, которые может принести это ремесло. Так, если вы войдете в ворота добра и благоденствия, то обретете милость и расположение аллаха... если же вы ступите на путь порока, то пожнете мучения и наказания со стороны царя и его прислужников; если вы выберете торговлю и ремесло, то обретете блага и благоденствие в жизни, и т. д.

Итак, для отражения бедствий и напастей, для обретения пользы и выгод во всех ремеслах у вас появятся терпение, удовлетворение и благодарность богу; и вы не можете жаловаться на небо и звезды, на отца или мать.

Знайте же, что я рос единственным сыном вашего деда, все остальные дети его, старше и моложе меня, скончались. Перед тем как поступить в школу, я благодаря своим способностям научился дома, вместе с другими детьми*, у своей матери азбуке, чтению и письму и даже рифмовал стихи, хотя в них и не было смысла. Я хорошо помню, как я писал и чертил каламом* или карандашом геометрические фигуры на обмазанных глиной стенах.

Потом я стал читать последние суры* Корана и усвоил четверть, а из книги «Чахар китаб»*, по которой обучали детей, я прочел начальную главу. Но мой ум не довольствовался обычным смыслом аятов* и сур Корана, и я стал искать их сокровенный смысл в тафсире Маулана Якуба*, подбирая к арабским словам понятные мне эквиваленты, как, например, «кала» — «сказал», «якулу» — «говорит», «кул» — «скажи», «ахад» — «один», «самад» — «вечный». Мой разум не мог осилить разницу в значении слов, как, например, «один» и «единый», и это меня очень огорчало. Все это происходило, когда мне было около девяти-десяти лет.

Потом отец, да смилуется над ним аллах, отдал меня в школу, чтобы я выучил наизусть Коран. Но это мне пришлось сильно не по душе, так как я заикался. Мне было трудно заучивать наизусть, я не желал беспрестанно повторять стихи и не испытывал любви к запоминанию их. Своим детским умом я чувствовал, что это бесполезная трата труда. Я видел, что чтец

Корана способен лишь обучать детей, а учитель детей всегда был у меня перед глазами, и я не знал еще, что бывают и хатибы* и имамы*. Я думал: «Зачем меня вынуждают заниматься этим? Ведь конечный результат — только гвалт детей и обязанность колотить их». Иной пользы от заучивания Корана я не видел, и никто другой не говорил мне о ней.

Выйдя из школы, я задерживался на разных собраниях, где рассказывали о прошлом. Я любил слушать жития пророков и святых и узнавать о сражениях и битвах царей за власть над государствами. За это мне частенько приходилось сносить побои отца и учителя, так как, когда я исчезал из дома, меня всегда находили в тех сборищах, где рассказывались истории.

Но в заучивании Корана я был нерадив: еле усвоив одну часть, я переходил к другой. Иногда, не выучив по лености урока, я записывал его на листке бумаги и тайком от учителя читал по шпаргалке. Но как бы там ни было, с моего сердца не удалось снять покров упрямства, лишь с большим трудом я за три года осилил Коран и вскоре забыл то, что выучил. При вторичном чтении Корана я встретился с теми же трудностями, но только еще в большей мере. Мне это опостылело, я стал ленивым, совсем отупел, у меня не осталось и следа от умственных способностей, а память ослабела вконец.

Отец и учитель, убедившись в моей полной неспособности выучить наизусть Коран, стали обучать меня арабскому языку. Позднее, став взрослым, я убедился, что мне не суждено было выучить наизусть Коран, так как я часто общался с порочными людьми из мусульман и иноверцев.

Начав изучать арабский язык с детских лет, еще не достигнув совершеннолетия, я пришел к заключению, что человеку необходимо зарабатывать деньги. По мере общения с приятелями и однокашниками в школе во мне пробудилась тяга и желание обрести жизненный достаток и обстановку для своей комнаты. Содержания, положенного мне отцом, хватало вполне, но я не довольствовался этим и стремился к большему, так как общение с друзьями обязывало к расходам, которых отец не мог обеспечить. В то время я жаждал мирских благ и считал, что человек существует ради того, чтобы есть, проводить время с друзьями и на пирушках, так как видел, что все люди, от мала до велика, подвержены этой пагубной страсти.

Но я жил у отца и был вынужден заниматься изучением арабского языка, и единственным способом зарабатывать деньги была переписка книг. Я начал с переписки дивана Бедиля*, так как к этому времени у меня уже неожиданно обнаружился красивый почерк, хотя я ни у кого не учился этому и не занимался самостоятельно. Я не располагал и не мог обратиться к другому занятию и зарабатывать деньги на базаре или в торговых рядах.

Поэтому я после школы занимался перепиской и переписывал в месяц одну рукопись Бедиля из двадцати четырех—тридцати частей. За такую рукопись платили от двадцати до тридцати танга. Большую часть я откладывал про запас, а меньшую тратил на себя.

В эти годы моим существом овладели алчность и жажда наживы, так что если бы я жил один, то ограничился бы черствым хлебом и водой. Перед красивыми и привлекательными приятелями я заискивал, а некрасивых и неуклюжих гнал от себя. Если бы на мою миску села муха, то облизал бы ее лапку и лишь после этого отпустил бы, а изо рта муравья я готов был вырвать крошку хлеба.

В течение двух лет в моей мошне скопилось около шестисот дирхемов. Я стал отдавать деньги под проценты, заниматься ростовщичеством, сдружился со скрягами и скупцами и стал овладевать искусством стяжания, превратился в подлеца. Я изучал способы накапливать и наживать и мог научить хитрости и лжи даже самого шайтана. А как ловко избегал я розоликих красавиц, которые с жаждой взирают на кошельки влюбленных!

Это было в первые годы после достижения мной совершеннолетия, когда я научился отличать добро и зло, друзей и врагов, правый и неправый путь, остерегаться опасных последствий и быть ловким там, где можно заработать.

Но, к счастью, всевышний творец очень скоро освободил меня от этой мерзкой страсти. Вот как это случилось.

Однажды я отправился в деревню к одному близкому родственнику. На обратном пути меня сопровождал сын моей тети, который решил проводить меня до города. В пути нас застала ночь, и мы остановились в доме другого родственника. Ночью мой двоюродный брат вдруг потерял сознание и спустя два или три часа скончался. Это был плотный, сильный, храбрый юноша. Когда он ударял кетменем* о землю, комья земли взлетали выше домов, на плечо он поднимал целый ман груза и одной рукой взваливал его на спину лошади.

Эта внезапная смерть послужила для меня как бы предостережением, так как сам я был немощен. Я подумал: «Сильного и здорового юношу унесло вихрем смерти, словно соломинку. Зачем ты, такой немощный и худосочный, подвергаешь себя этим тяготам? Ради кого и чего ступил ты на путь стяжательства? Ведь смерть-то, оказывается, наступает легко. Как бы и тебе не пришлось умереть внезапно! Тогда накопленное тобой достанется другим, ты же останешься ни с чем».

После этого я перестал жадничать и не мог более копить. Все, что я зарабатывал переписыванием или службой у эмира, я тратил на угощения и пиры. Деньги, собранные с таким трудом, я употребил вместе с полученными процентами на пользу друзьям и впредь не делал запасов более чем на полгода.

Люди моего положения расходовали в год около четырехсот дирхемов и даже умудрялись откладывать из них на черный день. Я же, зарабатывая две тысячи дирхемов, с трудом сводил концы с концами и часто брал займы. И до сих пор у меня не проходит ни одного года без долгов. Теперь вы и сами убедились в этом, так как житейский разум уже осенил вас своими лучами. Когда же ваши душевные силы окрепнут, вы окончательно удостоверитесь, что я перестал копить по собственной воле. И тогда вы не скажете:

Полу нельзя отряхнуть от пыли, не посеявшей на ней.

После долгих раздумий и жизненного опыта я убедился, что мне нет пользы в накоплении богатств. Серьезные пороки укоренились во мне настолько, что при наличии возможности я самого фараона не взял бы в слуги к себе. Во мне было столько честолюбия и тщеславия, что даже власть над целой страной не смогла бы удовлетворить меня. Но в конечном итоге я перестал скряжничать, отвернулся от подобных деяний и говорил себе:

Если ты захочешь взвалить на себя груз, то ввали бремя красавицы.

С тех пор я старался жить в лишениях и терпении. Честолюбие и тщеславие еще больше овладели мной, когда я стал образованным, совершил в силу обстоятельств несколько путешествий, увидел великие государства и убедился, что правители их покровительствуют наукам и искусствам. Я воочию видел, что люди, намного уступавшие мне по способностям, занимали высокие посты.

В нашей стране образованных людей ненавидят и большие и малые.

Знания наших ученых показались мне ничтожными, я не склонил головы перед теми высотами науки, достигнув которых мои собратья гордились и размышляли так: «Ты будешь горевать, даже обретя власть над всем Туркестаном. Поэтому не довольствуйся этими низкими чинами и не пачкайся, ограничься своими заботами. Уж лучше пусть не скажут мне: «К чему претендовать на царский сан нищему, а плешивому играть локонами красавицы?»

Мое невежество научило меня многим знаниям,—

Каждая увиденная мною вуаль начинала заигрывать.

Воистину, ничей труд никогда не пропадет,

От моих невежественных стараний я стал устатом* в науках,

Из-за мук странствований я исстрадался вконец.

Когда я познал все вокруг себя, то стал радоваться каждому пустяку.

Следовательно, стремление к земным благам препятствует достижению высот знаний. Чем меньше у человека богатств, тем лучше для него и тем больше он развивается.

Бедный муж, придавленный бременем нищеты,
К вратам смерти приходит, несомненно, необремененный
Тому, кто жил в покое, неге, довольстве,
Умереть, вне всякого сомнения, гораздо труднее.

... Адские муки—лишь частица тех тягот и трудностей, которые переносят люди в погоне за земными богатствами. Только сладость халвы и удовольствие, переживаемое при виде золота, заслоняют горечь стяжания. А люди не только не чувствуют этого, но даже полагают, что, накопив какую-то сумму, человек обретает покой и спокойствие. Но, не успев обрести этот покой, он отправляется в ад, оставив здесь свои богатства и деньги.

В утешение вам я приведу яркий пример, который вы сами ежедневно наблюдаете, но не постигаете его смысла. Вы хорошо знаете, что по соседству с вами живет бакалейщик. У него есть земли, скот и много всякого добра, лавка его битком набита халвой и сладостями. При виде его богатства у вас слюнки текут, у меня же, когда я подумаю о его судном часе, навертываются слезы на глаза.

В его лавке — две двери. Он собрал в ней все, что потребно людям, и сидит там среди гранатов и винограда. Он уже стар и немощен, так что богатства с избытком хватит на остаток его жизни, даже если он будет только расходовать без дальнейших поступлений. В его лавке — две двери, зимой в ней холодно из-за сквозняков и заносимого ветром снега, а летом жарко от невыносимого зноя. А он проводит там напролет дни и ночи. В стужу перед ним стоит жаровня с углями. Когда он взвешивает морковь или репу и притрагивается к весам и гирям, руки у него зябнут, и он подносит их к жаровне. Не успеют руки согреться, как приходит новый покупатель и просит чего-нибудь,— он тут же вскакивает, не успеет опять сесть, как приходит еще покупатель. Угли в жаровне остывают, превращаются в золу, и руки его совсем коченеют. Вот из дома ему приносят поесть. Он подносит кусок ко рту, но тут приходит покупатель. Лавочник не успевает проглотить и отнять руку ото рта, как приходит другой, и он, с испачканной рукой и непрожеванным куском, уже снует по лавке, ища чего-то для покупателя.

Но тут настает время намаза, и поскольку он человек верующий, то начинает молиться тут же в лавке, рядом с весами и гирями, прямо на овощах. В начале молитвы приходит один покупатель, до окончания фатихи* — другой, во время коленопреклонения — третий и т. д. Каждому он указывает головой или рукой, что, мол, посиди, пока не окончу намаз.

Иногда он отправляется в мечеть. Все молитвы и моления его сводятся к просьбе, чтобы кошка не стащила мясо из лавки, чтобы детишки не дотронулись до орехов.

Хотя у него и есть загородный сад, летом он не может посидеть там под тенью деревьев, ходит, как лошадь в маслобойне, вокруг своей лавки, раскаленной словно в аду, и ему даже некогда напиться холодной воды. Одежда его истлела от пота, а он стал весь грязный, от него исходит неприятный запах.

Когда кончается бакалейный товар, он отправляется верхом или — чаще — пешком на базар, и, кряхтя, приносит в лавку овощи и зелень.

Подумайте сами, может ли быть худшая мука, чем горячка в этой лавке! И странно то, что иные глупцы завидуют ему и молят аллаха даровать им такой же образ жизни... Если вы будете тысячу раз повторять подобным людям изречения Корана и пророка, порицая алчность и жадность, то вас не послушают и сочтут, что вы говорите из какой-то корысти. Ведь тех, кто не похож на них, они называют заблудшими и глупцами, свой путь считают истинным, а путь других — неверным.

Так же обстоит и с другими ремеслами и занятиями, посредством которых накапливают земные блага. Если перечислить тяготы любого из них, то наберется большая книга.

Ваш отец, убедившись, что жажде приобретать земные блага нет предела, что она растет с каждым разом, поневоле отказался от этой суетной мечты и стал довольствоваться необходимым, не домогаясь ни возвышения, ни падения, чтобы быть свободным от бремени.

Если вы поразмыслите над этим хорошенько, то будете избегать скупости, жадности и алчности и удовольствуетесь малым. И если вы подумаете о внезапной смерти, то вы привяжетесь сердцем к этому миру, не будете слишком полагаться на жизнь, данную вам как бы на подержание, будете жить в мире и дружбе с людьми, будете милосердны к ним и не будете никого обижать.

Когда я освободился от этих мерзких качеств, мне минуло уже двадцать два года. То, что я начал изучать науки и прикладные искусства, а другим не придавал значения (так как не считал их достойными того) или же они мне быстро надоели, хотя и занимался ими, было обусловлено тем, что я, заглядывая в суть каждого ремесла и подсчитывая приносимые им выгоды, убеждался, что все они ограничиваются небольшим числом выгод материального мира, и это не удовлетворяло меня. В пору расцвета юности, пребывания в заблуждении и самообольщении я изучал прикладные науки и тратил время, совершенствуясь в них. Но в пору пробуждения, когда я уже предвидел будущее, я перестал изоощрять свои знания в этих науках, так как не желал этого и довольствовался малым.

Все знания, с избытком приобретенные мною, я в конце концов забыл и с трудом восстанавливал их лишь в случае крайней необходимости, ибо я знал достоверно, что все дела этого мира тщетны, а накопление богатства — дурно. Друзей и приятелей у меня было много, и это не позволяло мне заняться служением богу, ибо когда я оставался один, то закрывал голову одеялом, а пробудившись, начинал горевать. Поневоле я созывал гостей и так проводил время. Когда друзья расходились, я снова укрывался одеялом и засыпал.

А к излишествах стремился я в начале своей жизни вот по какой причине: когда я изучал начатки наук и грамматику, я подружился с одним из однокашников и полюбил его. Он заказал мне переписать сборник газелей*. Я выполнил это с удовольствием и вручил работу ему. Он сказал:

— Этот баяз* надо расчертить и изукрасить заставками.

Я до того не бывал на базарах и улицах и не знал, где живут мастера этого дела. После долгих расспросов и стараний я заказал украсить ту рукопись и, когда она была готова, отдал своему любезному другу. Она ему очень понравилась. Тогда я понял, что это нужное и полезное ремесло, так как и млад и стар, а в особенности красавицы, знать и цари, любят украшать книги.

Потом я начал заниматься этим ремеслом и всеми правдами и неправдами в течение одного года изучил целиком это искусство. Я научился каламом и циркулем выделять все, на что были способны искусные мастера, и даже выработал свои правила и внес новшества в это искусство. Я хорошо чертил поля и заставки, красиво рисовал небо, дома, сады, животных, людей, птиц, рыб, степи и поля, горы и реки в самых различных видах и положениях, умел высекать надписи на стенах домов разными почерками, как то: сулх, райхán, зулф. Цель всех моих стараний сводилась к тому, чтобы превзойти других на тот случай, если бы эмиру захотелось построить медресе или ханаку* и возникла бы необходимость в людях, искусных в названных ремеслах. Или же, в случае, если эмиру захотелось бы заказать разукрашенную рукопись, чтобы исполнителем оказался я и тем самым получил бы свою долю богатства.

Когда я основательно овладел этим искусством, никто не строил дома, чтобы можно было делать надписи, и не заказывал рукописи, чтобы я мог украсить золотом. Тогда я пришел в себя и подумал: «Ну и пустое же ремесло ты избрал, накопил сокровища, которые ни на что не нужны».

А люди тем временем приносили рукописи, чтобы я их расписывал иллюстрациями. Я говорил им:

— Меньше чем за сто дирхемов я не прикоснусь к каламу.

Они принимали меня за сумасшедшего и восклицали:

— Такой-то за два дирхема рисует прекрасные заставки. а он за десять не хочет прикоснуться к каламу!

— Оставьте меня в покое и ступайте к нему.

Я был настолько тверд в своем решении, что меня не соблазнили бы даже десять тысяч динаров. И вот однажды я приготовил шесть кисточек и сказал:

— Если найдется заказчик, то эти кисти принесут шесть тысяч динаров.

Черви съели каламы в каламдане*, а я ничего не рисовал и думал: «Недостойно человеку ради хлеба насущного служить подлецам и низким людям и ожидать даров из рук мерзавцев»

Если ты захочешь взвалить на себя груз,
то взвали бремя красавицы.

Я был достоин того, чтобы меня взяли на службу цари и правители и одарили золотом сверх всякой меры. Я слышал и хорошо помнил истории и рассказы о деяниях царей, о том, как они обходились с людьми искусства и ремесла. Я видел золоченые и украшенные рукописи, переписанные по заказу царей и правителей, знал, какие деньги были уплачены за них. Но тем не менее я пренебрег их заказами и отказался от этого ремесла.

Если вы поразмыслите над этим, то не увлечетесь таким искусством или ремеслом, если только над вами не ~~возоб~~обладает животное чувство, если только ваши помыслы не будут ограничены одной целью — раздобыть хлеб каким бы то ни было путем.

Если же вы хотите, чтобы люди служили вам, а не вы им, то выберите благородные ремесла и искусства, редкие науки, которые питают дух и разум. Если вы овладеете ими, то хорошо. В противном же случае вы сможете довольствоваться тем малым, что у вас будет. Так живут представители всех ремесел, так как они зарабатывают на хлеб, например сапожники, мастера по парче и вышиванию золотом. Все они — поденщики, различающиеся между собой только одеждой.

Знакомство и общение мое с военным сословием произошло также на почве переписывания и рисования, через моего учителя, для описания знаний и добрых деяний которого потребовалась бы целая книга. Ни одно научное решение, в особенности по геометрии, при постройке эмирских зданий не принималось без его одобрения. Он часто бывал у эмира и знал его хорошо.

И вот как-то он назвал мое имя и сказал: «Нет равных ему в искусстве рисования. Его волшебный калам соперничает с кистью Мани и Бехзада*. Он также в совершенстве составляет письма, как официальные, так и неофициальные».

Эмир вызвал меня и велел переписывать простым почерком книги по медицине и истории и определил за каждую рукопись десять дирхемов. Когда мой учитель — да простит его аллах — покинул этот мир, эмир назначил меня на его должность

и установил мне жалованье в тысячу дирхемов. С раннего утра до вечера эмир заставлял меня просиживать во дворце и советовался со мной по вопросам, на которые ему отвечал мой покойный учитель. Зодчие и художники приступали к работам лишь по моим указаниям.

В это время мне приходилось общаться и встречаться с людьми разных сословий, и это пригодилось мне в дальнейшем. Сколько бы я ни приглядывался к стараниям людей, я убеждался, что вся суэта, все ремесла не имеют ни основы, ни результатов, что успех и неудача целиком зависят от рока. Я видел людей, которые попусту тратили время и обращали свои взоры к эмирским вратам. Одни из них обладали официальными науками*, у других был поэтический дар, у третьих — талант в искусствах или ремеслах, четвертые владели оружием и умением верховой езды. Они не находили того, чего домогались, и добивались того, к чему не стремились. Одни гордились малейшим вниманием эмира, а другие не были довольны и большими милостями. Вознаграждения, которые раздавал эмир, колебались от десяти до трех тысяч динаров, а мне эта сумма казалась ничтожной. Но в конце концов я отказался от путей, посредством которых люди добиваются своих желаний и раздобывают насущный хлеб, и удовлетворился тем, что судьба посылала в мою кухню, не стремясь к излишествам, хотя меня и вынуждали к этому.

Занятия же военного сословия следующие: тренировка в обращении с оружием, искусстве верховой езды, стрельбе, борьбе, занятия по знанию правил боя. А занятия ремесленников таковы: ювелирное, кузнечное и столярное дело, ремесло каменщика, мясника, ткачество, прядение, портняжное дело и т. д. А вот обязанности дехкана: сажать сад, засеивать нивы, охранять фрукты и поставлять бакалейные товары. Все эти занятия похвальны, если обеспечивают процветание мира, и достойны порицания, если вредят духу и разуму человека.

Что же касается ремесел, посредством которых люди калама добывают свой хлеб, то это официальные науки: фикх*, религиозные постановления, математика, наука о фетве* и составлении юридических документов, медицина, астрономия, поэтика, переписывание рукописей, каллиграфия, живопись, учительство, писмоводство и др. Они развивают как общественную мысль, так и дух и разум человека. И в том и другом направлении они похвальны, если только конечной целью их не является добывание хлеба. А если в основе их устремлений лежит хлеб, то эти ремесла также порицаемы.

Теперь я вкратце объясню мерзость занятий, которыми гордятся люди калама. Благодаря этому выясняются достоинства всех ремесел, которыми занимаются другие люди. Ведь занятие людей калама выше всех других занятий, так же как сами люди калама благороднее других сословий.

Да будет вам известно, что самое благородное занятие людей калама — программные науки*, обучение людей, если это занятие будет избрано искренне ради бога, если избравший его не ставит целью достижение земных благ и санов, приближение к царям. Если же этот путь будет избран во имя мирских интересов, то избравший заблуждается сам и вводит других в заблуждение. А судить о том, с какой целью муддарис избрал свою профессию, можно по его поведению. Из программных дисциплин я изучил арабский язык в такой степени, чтобы выяснить необходимые научные положения и вникать в смысл хадисов и аятов. Мне не нравилось преподавать, и я не собирал вокруг себя учеников, так как не любил шум. Мне было жаль учителей, у которых я учился, я недоумевал, ради чего они выносили этот гвалт.

Я пытался найти в разных книгах ответ на вопрос, какую пользу они получают от этого в этом и том мире, но убедился, что все противоречит пути, которому следовали ученые, жившие как до пророка, так и после него. Я старался установить, что обещано людям науки согласно изречению: «Знание — почет в этом мире и слава в том»*. Какое знание здесь имеется в виду? Собираются несколько пустых глупцов, поднимают шум по своей невоспитанности. Время от времени насильно взимают с нищих студентов несколько подносов с изюмом и халвой, одежды и деньги и вручают все это учителю, который принимает их с великой радостью. Учитель же этот из-за того, что говорит чересчур много, слишком подавлен и не может ни откусить, ни переварить, так как зубы у него стали слабые, а пищеварение расстроено. По ночам он читает книги, днем надывается от крика. Ему некогда погулять, поесть, побеседовать с людьми; в зной и стужу он сидит, словно в темнице, под просторным куполом. А когда отправляется домой, его сопровождают у стремени двое никчемных слуг из числа учеников, чтобы он не свалился с коня. О каком почете можно говорить в этом и ему подобных случаях? Ведь прислужники царя, например начальник стражи и эшикагабаси*, делят с господином учителем почетное право заставлять бежать глупцов у стремени и даже превосходят его великолепием! Поскольку слово «почет» одновременно означает «редкость»*, то почетом должен пользоваться только один человек.

...Если мне скажут, что программные науки — введение ко всем истинным наукам, что истинные науки зависят от программных, то я отвечу: «Христиане и европейцы-кафиры без механического изучения грамматики и логики, исключительно только посредством перевода самих текстов с арабского языка, толкуют на разных языках хадисы и Коран. Ведь и арабская грамматика основывается на живом языке. А языком, в силу его особенностей, можно выражать мысли в соответствии с его строем, если даже говорящий не осмыслил грамматику. Если говорящий на языке фарси, ничего не подозревая, дойдет до фразы «Зайд ударил»,

то скажет слово «Зайд» в именительном падеже, а в фразе «я ударил Зайда» — в винительном, так как в первом случае по смыслу подходит именительный падеж, во втором — винительный. А если же он начнет сомневаться, то совершит ошибку.

Поэтому изучение грамматики и логики излишне и не приносит пользы, она годится только для самообольщения и внешнего эффекта. Эти мысли в конечном итоге отвлекали меня от книг, и я стал вникать в суть истины. Если религия и вера покоятся на внешней обрядности шариата, спрашивал себя, то почему большинство улемов* не ограничивались этим, а стремились к изучению прикладных наук и написали об этом в книгах в назидание потомкам? Если же религия и вера покоятся на внутреннем содержании шариата, то почему ни один из улемов и шейхов* нашего времени не следует по этому пути? Не может быть, чтобы все люди заблуждались и совершали ошибки! И тогда я пришел к убеждению, что все шейхи и праведники нашего времени находятся на неверном пути, что они сбились на путь лжи и кривды. Ведь я видел воочию все их пороки: шейхи — обманщики, улемы — взяточники. Сам же я не мог найти истинного пути, не мог уразуметь, почему истинный путь сокрыт, а путь ложный открыт широко, не мог понять суть бытия и сущность явлений.

Иные друзья советовали мне быть прилежней в учебе и перечисляли выгоды и преимущества, которые влекут науки и достаются улемам. Они изображали почет, которым окружен преподаватель, перечисляли подносы с изюмом и халвой, говорили о толпах никчемных людей и слуг, которые суеются вокруг него. Они прельщали меня должностью казия, райса*, муддариса, называли имена знакомых, которые стали казиями, райсами, муддарисами в разных местах. Но я в душе не соглашался с ними, так как это был не истинный путь и таких посулов достойны те, кого уже нет в живых. Изюм же и халву можно раздобыть и другим ремеслом. Я никак не мог провести грань между казием и старостой села, между райсом и квартальным слугой, между муддарисом и учителем начальной школы. Напротив, в иных случаях я отдавал последним предпочтение перед первыми. Например, учитель начальной школы стоит выше муддариса тем, что он обучает детей, которые не видят в своем занятии никакой корысти. Муддарис же обучает людей, корысть которых вполне определена. Дети, например, в начальной школе учатся по принуждению и не знают, зачем их заставляют учиться. Возможно, все или некоторые, а может быть, хотя бы один из них, получив образование, не осквернится мирской грязью и пойдет по верному пути.

Если же ты присмотришься к студентам медресе, то обнаружишь, что все они учатся ради чинов, жалований, успеха и почета. Если и найдешь среди них такого, который утверждает, что

учится ради укрепления своего религиозного чувства, то при более внимательном рассмотрении убедишься, что его помыслы совпадают с помыслами муддариса, да иначе и быть не может. Если же проникнуть в мысли муддариса, то он ограничивается тем уровнем преподавания, которого он достиг, а затем застыл без движения. И тебе придется умолкнуть. Следовательно, этот муддарис подобен человеку, который дает меч разбойнику.

Поэтому я не стал муддарисом: я не видел никакой пользы от такого занятия ни в этом, ни в том мире. В этом мире, в нашей стране, муддарису платят триста динаров, на которые я не прельстился, сказав себе: «Ради такой ничтожной суммы не стоит терпеть шум взрослых и детей». Что ожидает муддариса в том мире, хорошо известно: за каждый дирхем, полученный здесь, потребуют два дирхема в том мире.

Другое похвальное занятие, на котором у людей калама зиждется религия и вера,— это должности казия и раиса. Поскольку в наше время очень трудно идти по правому пути и поскольку обладателям этих должностей приходится соприкасаться с делами военных властей, то они творят насилие и обижают людей, лицемерят и благоволят к богачам, конфискуют имущество бедных в эмирскую казну и выносят фетвы, угодные прихоти правителя; они выносят незаконные приговоры об имуществе, принадлежащем сиротам, присваивают имущество, оставшееся без наследников. Можно утверждать, что казий и раис не выносят ни одного законного решения, что все решения их полностью незаконны и сомнительны.

Поскольку эти две должности очень высоки, то их обладатели вынуждены окружать себя слугами и свитой, которые кормятся или из кошелька казия, или из миски народа, не говоря уже об их развратном образе жизни,— ведь за вину слуги ответственность несет хозяин, ибо он содержит его. Если слуги чинят насилие или беззаконие, поступки эти ложатся на совесть раиса, так как слуги обрели дерзость под его покровительством. В силу этого и в городе и в деревне неизбежны жалобы как мусульман, так и кафиров на их мерзкие поступки, из-за разбитых голов, обещанных женщин, оскорблений, поборов, взимаемых ими за оформление разных бумаг у казия, из-за взяток в канцелярии эмира.

Жалованье в этих должностях, начиная от простого казия или раиса и кончая верховным казием, составляет от тысячи до десяти тысяч динаров. Чинимые ради этого жалованья беззакония лишают их воздаяния в том мире, а само жалованье целиком или частично возвращается в казну. Права мусульман попираются часто и по всякому поводу, чтобы пополнить карманы господина казия или раиса, которые за это понесут возмездие на том свете.

Я видел, что те же самые деньги можно нажить ремеслом или

торговлей. У некоторых евреев и купцов доходов побольше, чем у казиев. Поэтому, решил я, благородные знания не должны быть источником грязных доходов, и я ни за что не захотел стать казием или раисом.

Другая должность, к которой стремятся люди калама,— это должность мушрифа* и дабира* в эмирской канцелярии. Это хотя и желанные, но опасные должности. Во-первых, обладатели их часто общаются с правителем, потому всегда находятся как бы в пасти дракона или на краю костра. Мушрифы и дабирь должны претерпевать тяготы дальних поездок, быть в свите эмира, вести книги учета в диване, подсчитать расходы на эмирских слуг и свиту, жалованье носителям разных постов. Хотя эти должности и оплачиваются высоко, но не обеспечивают душевного покоя, так как если мушрифь и дабирь и отдыхают, то не более трех часов в сутки, проведенных в смятении и беспокойстве, с кошмарными сновидениями. Ради приобретения насущного хлеба невозможно сносить все эти тяготы; ведь говорят же, что имущество существует ради покоя, а не жизнь ради накопления богатств.

Люди калама для достижения своих желаний стремятся также овладеть наукой фетвы, правилами составления заявлений об иске и других юридических документов. Будучи еще несведущим, я часто приглядывался к людям этого ремесла и убедился, что глаза их обращены к двери, к приношениям, в надежде, что явится человек с разбитой головой и побитым задом, и они смогут, составив ему купчую крепость или заявление об иске, содрать с него дирхем, научив его хитросплетениям шариата. Я видел, что споры и тяжбы возникают между подлыми и низкими людьми, что благородные никогда не сутяжничают и по мере возможности стараются удовлетворить иск противника, не доводя дела до решения муфтия* и приговора казия. И я не захотел ожидать подачки от низких людей, оказывать им услуги и получать от них плату за свой труд. В конце концов я свернул свитки наставлений и книги по составлению приговоров и купчих крепостей и предоставил заниматься ими тем, кто хочет этого.

Другое занятие, способствующее достижению своей цели,— это медицина. Я убедился, что многие лекари — невежды, не получившие никакого образования, не практиковавшиеся у какого-либо устада, а прописываемые ими лекарства переписаны из разных книг. Они не знают свойств лекарств, не испытывают их в действии и губят много людей. За щепотку лекарства они сдирают целый дирхем. Ни один из них не имеет никакого представления об анатомии, о пульсе, об анализе. Очень часто их зелье оказывается смертельным ядом, их бальзам — губительным напитком. Когда мне бывали нужны какие-либо лекарства, я находил их сам в лучших медицинских рукописях в соответствии с состоянием своего здоровья, но никогда не губил и не убивал людей. А если я и обманывал их иногда, то не мог потом

успокоиться и испытывал отвращение, так как нельзя совершать по отношению к людям насилие ради своего удовольствия.

Другим занятием, которым гордятся люди калама, является наука о звездах, которая делится на многие разделы: астрономию, геометрию, географию, арифметику, космографию. Хотя и благородная наука, она порицаема из-за того, что низкие люди сделали ее средством заработка. Я видел, что большинство представителей этих наук в наше время влачит жалкое существование. Несмотря на это, они были скупы, алчны и скрытны при обучении других людей, хотя сами знали очень мало. За каждый урок они требовали дирхем, но при этом почти ничего не говорили и утаивали то, что знали.

Я занимался этими науками по двум причинам. Во-первых, я хотел изучить их сам и обучить им других. Во-вторых, надеялся узнать что-либо о своем грядущем и хотел действовать в соответствии с этим.

И действительно, взявшись за изучение этих наук, я начал пользоваться рукописями по астрономии, извлек из сундуков разные книги. Я приобрел в этой области большие познания, так что для определения местоположения звезды, где требовалось тридцать линий, мне было достаточно двенадцати. Мне открылась также моя будущность и характер.

Эта наука настолько превосходит другие, что если у астронома ясный ум, он станет могущественным, добрым, терпеливым, сможет заглядывать в суть явлений. Он не будет подобен другим, которые говорят одно, а в сердце своем не веруют в это, тщетно скитаются по разным углам и слепо хватаются за что попало. Он будет действовать не так, как невежественный богослов, который стучится в каждую дверь, прибегает к любым средствам, жалуется, к кому бы ни пришел, что царь не выслушал его жалобы, а эмир не удовлетворил просьбы, проклинает, стелет.

Хотя астрологией, при долгом и постоянном изучении, можно овладеть во всех подробностях, однако человек не в состоянии сделать этого, так как он создан для других дел. В конце концов, познав тайну светил, созвездий и планет, я не стал дальше углубляться и не захотел постичь другие тайны. Люди же, обращавшиеся ко мне со своими презренными дарами и просившие предсказать их будущее, только усугубили мое отвращение к этому занятию.

Другое занятие, которым гордятся люди калама и благодаря которому добиваются успеха и превосходства над другими людьми, — это сочинение стихов с изящной формой и глубоким содержанием. Действительно, способность сочинять стихи — похвальное качество и благородное искусство, если в этих стихах содержатся... добрые мысли и назидания. Если же они состоят из

сквернословия, пустой болтовни и брани, панегириков правителям и богачам, то такие стихи мерзки и их следует осудить, как сказал Абульмаони:

Как часто ясная мысль из-за корыстолюбия поэтов
Находится там, где скачут кони и ослы власть имущих.
Как много рукописей, в которых погоня за наживой,
Панегирики шахам и эмирам навлекают вечный позор
(на автора),
Поэт, жаждущий наживы, за возвышенное содержание
Угодит в яму, если даже попирает ногами небо.
Постигни суть содержания этих тщеславцев,
И ты узнаешь, насколько низка их природа.
Восхваляй людей с чистыми помыслами, ибо, согласно
истинной науке,
Восхвалять таких людей — равно толкованию священного
писания.

Незапятнанная репутация обеспеченности — это красивое одеяние выдержанности, которое пустословием никогда во имя корысти не посыпало праха с дороги богачей на голову чести слова. Чистота жемчужины — это украшение великодушной натуры, оно из-за бушующих волн нужды никогда не роняло честь мудрости под ноги восхваления низким людям. Если содержание стихов не благородно, то их следует отнести к ремеслу шайтана. Если поэт старается достичь совершенства в несправедливых целях, то ему придется жить и умереть в вечном позоре. Воистину, жаль оборота, который, будучи отгаданным, оказывается всего-навсего падалью, жаль мысли, в приятном зеркале которой показывает свое лицо мерзкое намерение.

О ты, восхваляющий царей,
Обучавшийся у самих чертей этому!
Чему обучают черти? Любви к сану.
О ты, чьи учителя — черти, позор тебе!
Ты можешь гордиться лишь панегириком шаху,
Все панегирики твои состоят только из описаний трона и венца.
Ты имеешь право узнать, кто такой шах,
Кто такой этот воспитанник клетки чинов.
На голове его — золотой мрамор,
Нога его на камне, который зовется троном.
Серебряный трон и золотой венец — это два камня,
Сам же шах — словно искорка меж этих двух камней.
Воистину он — огонь, а не шах,
Но не всякий огнепоклонник знает это.
Близость к этому огню губительна для твоей жизни,
Это пламя веры и костер твоей религии.

Если ты хочешь приблизиться к шахским пирам,
То ты, без сомнения, неверный зороастриец.
Почитай, что ты пренебрег законом своей религии,
Ибо огнепоклонник не может быть поклонником аллаха.

Да, поэзия — чудесный пробный камень, который точно определяет искренность и фальшь каждого человека, выявляет благородство и подлость природы человеческой личности.

Покуда муж не скажет слов,
Тайна его сердца не раскрыта.

Большинство людей, в силу самообольщения, не видят подлости своей души и мерзости своих слов, собственные поступки им кажутся прекрасными, они любят выставлять себя мудрецами, хотя в действительности этим они доказывают только свою глупость.

Я видел, что большинство поэтов горды и чванливы. Они считают свои никчемные стихи совершенными, ходят и к благородным и подлым людям с панегириками и касыдами* в надежде получить вознаграждение и не считают достойными внимания людей других профессий. Стихи же их способны возбуждать похоть и проповедовать разврат, поносить кого-либо в непристойных выражениях или писать о чем-либо непотребном. У этих поэтов нет хороших стихов, так как они не способны написать их.

Я не приложил никакого усилия для овладения теорией поэзии, как-то: метром, рифмой, арузом*. Я не видел и даже не слышал, что о поэзии существуют трактаты, что у нее есть определенные правила. То, что срывалось в виде стихов с моих уст, было естественным проявлением духа, я сочинял их по какому-нибудь случаю, а иначе я не занимался поэзией.

Еще одно занятие, которое отличает людей калама от других, — это каллиграфия и живопись, которые необходимы для письма. Если старание в совершенствовании этого искусства продиктовано желанием раздобыть хлеб, то это ставит человека в положение поденщика. Например, если целью при обучении каллиграфии будет достижение звания дабира и служение правителям, то это всего-навсего ремесло, хотя и полезное для общества. Если целью живописи является украшение книг и раскрашивание потолков и стен, то это также ремесло, которым раздобывают хлеб. Если же целью является овладение мастерством лишь для совершенствования красоты своего духа, то и на это не следует тратить время, так как это напрасный труд.

Я по своему внутреннему побуждению досконально овладел этим ремеслом, но не пожелал прислуживать людям. Тому, на что другим понадобились годы, я научился за небольшой промежуток времени. Я умел прекрасно писать всеми почерками, но

впоследствии перестал ими пользоваться, ограничившись самым простым почерком, применяемым при письме, ибо цель в совершенствовании почерка — это или обучение других этому ремеслу или желание стать каллиграфом правителя. И то и другое было противно моей натуре, так как я не желал ссориться с глупцами или за кусок хлеба служить подлецам.

Словно подлецы в этом подлом мире,
Зачем ты усердствуешь ради куска хлеба?

Такова истинная сущность ремесел и искусств, которые питают дух и разум человека. Приблизительно так же обстоит дело с теми ремеслами, которые связаны с физической силой человека.

Не требуется особо доказывать, насколько унижительны эти ремесла, в какой мере они приносят вред занимающимся ими, низводя их с положения человека до степени животного.

...Итак, если вы призадумаетесь над этим, у вас не будет никакого желания овладеть каким-либо ремеслом, и вы не станете прилагать никаких усилий для достижения какого-либо сана. А если по побуждению своих врожденных дарований вы и овладаете этими ремеслами, то не поддадитесь самообольщению и не станете гордиться и кичиться этим перед другими людьми. Напротив, вы будете соблюдать меру в любом деле, поскорей обратитесь к добрым делам и сможете вернуться к своему основному занятию. Вы убедитесь, что конечная цель ваших внутренних стремлений и тех обещаний, которые сулят изучающим светские науки, состоит лишь в том, чтобы побудить людей к овладению знаниями, дабы эти науки вечно развивались на земле.

* * *

Итак, какое бы вы ни избрали ремесло, сначала выясните свои намерения, поставьте благородную и возвышенную цель. Все ремесла возникают в результате общения с людьми, а по мере общения в человеке пробуждается любовь к этим ремеслам.

А теперь я расскажу вам о вредных последствиях общения с людьми, чтобы вы не поддались самообольщению и обману. Так знайте же: если вы будете общаться с царями, то в вашем сознании укоренится мечта о царстве. Если вы будете посещать везира*, то вам захочется занять пост военачальника или начальника артиллерии. Если вы будете знакомы с дабиром, вам захочется сочинять и писать, быть независимым или хотя бы будете мечтать о том, чтобы быть похожим на него. Короче говоря, войско вызовет в вашем воображении лук, стрелы, шлем, кафтан; начальник стражи — пытки и казни; казий — церемонию тяжбы и примирения; раис — надзор и благородные дела; имам — михраб* и чтение молитв; факих* — уроки и преподавание; муфтий — фетву

и вынесение решений; лекарь — человека и колбу; художник — краски и чашу; астроном — небесные просторы и землю; геометр — длину и ширину геометрических фигур; певец — нежные песни; сказитель — звуки бубна и пение; бакалейщик — сушеные фрукты и халву; караванщик — седла и сбрую; псарь — дрессированных собак; погонщик — бег ослов; шейх при мазаре* — паломничество к могилам святых.

С людьми какого бы ремесла вы ни общались, они начнут говорить вам о преимуществе своего занятия, перечислять извлекаемые из него выгоды и утверждать, что люди другого ремесла ниже их и ничтожны.

Вскоре вам захочется овладеть каким-либо из перечисленных мной ремесел, и вы по мере своих сил, возможностей и способностей будете усердствовать до тех пор, пока у вас будет желание. А результат всего этого — насущный хлеб, добытый вами во всей этой житейской суете. Но ведь накопленное добро придется оставить другим!

На пути овладения всякими знаниями вы иногда будете слышать притворное одобрение, а большей частью — проклятия и брань, так как бесталанные по своей природе люди — враги талантливых и потому они клеветуют на них и порицают их. Следовательно, талант для человека — беда и источник горя и печали. Не исключена возможность, что талант обречет человека на вечные муки. Не будучи дальновидным, он, видя успех бесталанных и подлецов в достижении высоких постов, убедившись, что никто не обращает внимания на его мастерство, пребывает в постоянном беспокойстве и тревоге, лишается терпения, начинает стонать и жаловаться, восстает против людей и бога.

Поскольку вы сотворены для благоустройства мира, вас не призовут к себе сразу же, а лишь тогда, когда получат причитающееся с вас. Вы поневоле приходите в соприкосновение с окружающими людьми, учитесь у них и обучаете сами, женитесь, порождаете детей, обрабатываете землю или приводите ее в негодность.

...Поскольку дано вам, хотя в ограниченной мере, право волеизъявления, вы не можете не требовать, по меньшей мере, у вас есть желание требовать. Я назвал вам позолоченные ремесла и показал их оборотную сторону — медь, чтобы вы не поддались обману и обольщению, глядя на их внешний вид. Приступая к какому-либо делу, ни на минуту не забывайте о причине вашего сотворения, то есть о созидании и поклонении богу. Если вы захотите определить свое положение и место, то обратитесь к собственной совести.

...Знайте же, что, хотя целью людей при овладении всеми науками является хлеб, называют это иначе. В богословии целью называют совершенство души, в мусульманском праве — устранение вражды и свершение добрых деяний, в медицине — лечение

болезней, в астрологии — предсказание событий, в поэзии — совершенство, в почерке — красоту, в ремеслах — мастерство и т. д. Истинную же цель скрывают. Причина этого — недовольство человека или его сомнение в предопределенном ему богом насущном хлебе.

Итак, люди убедились, что, не избрав какого-либо ремесла, нельзя набить утробу яствами, так как с неба падал снег или дождь, но ни разу не падал хлеб. И они, наконец, чтобы добыть хлеб, прибегли к разным средствам. Каждый человек назвал свое ремесло каким-нибудь именем, поскольку добывание корма — дело животных, а не людей. Будто бы они стыдятся того, что добывают свой хлеб и прибегают к метафорам и иносказаниям.

Существует много случаев, когда вы и подобные вам спотыкаются на жизненном пути, обуреваемые завистью и влечением к излишеству. Если я объясню вам это без прикрас, возможно, вы будете более терпеливыми и выносливыми. Это происходит от общения с людьми, от суеты на базарах и в ремесленных рядах.

Прежде всего от общения с богачами, как-то: с детьми правителей и сановников, богачей, купцов и ремесленников. Увидев их великолепные одежды или богато убранные комнаты, вы, по крайней мере, подумаете: «Если бы и наш отец был таким, то и мы жили бы в такой роскоши».

Во-вторых, при виде садов богачей и дорогого убранства их домов, при виде посевов зажиточных земледельцев, у которых к тому же есть роскошно обставленные комнаты для гостей, много драгоценной посуды и всякой утвари, разных сладких фруктов, слуг, при виде того, как заискивают перед ними люди и как покорны их слуги. И тогда вы, по крайней мере, подумаете: «Если всевышний бог и нам даровал бы такую роскошную жизнь, то и мы жили бы в такой же неге и покровительствовали бы людям».

В-третьих, общение с воинами и военачальниками в роскошных одеяниях, при виде их коней с драгоценной сбруей и того, как им прислуживают люди. Если же вы побываете в их домах, то увидите много коней и верблюдов, конюхов и погонщиков. Они живут в неге, их оведают опахалами, когда они встают, подают им башмаки, когда они выходят из комнаты, вычищают для них уборные, наливают воду для умывания, держат наготове коней и стремянных для выезда. И по крайней мере, у вас при виде всего этого промелькнет мысль: «Да предоставит бог кому-либо такое великолепие!»

Поскольку такие случаи непредвиденны, то и эти мысли приходят к вам внезапно, так как встречи с подобными людьми

происходят или в доме или на улице. Если вы встречаете их на улице, то вас не тревожит мысль о том, что их ожидает в будущем. Если вы находитесь в их обществе, то ваши помыслы поглощены их вкусными яствами, роскошными одеяниями и убранством, и вам некогда думать об их грядущем. Если же вы находитесь в своем собственном доме, вы погрузитесь в свои мечты и грезы, и ваш ум не будет доискиваться сути ваших желаний, так как человеческая мысль односторонняя и не может одновременно сосредоточиться на двух предметах. Только благодаря тренировке и умственным упражнениям можно научиться представлять в данный миг прошлое и будущее, охватывать мыслью все явления в процессе их развития...

В мысли человека, благодаря ее поискам, постоянно откладывается все то, что существует в земном царстве, что увидено и испытано им. Мысленное представление одного конкретного места не препятствует человеку представить и другие места. Например, в данный момент перед моим мысленным взором предстают дома друзей с обстановкой, необходимые предметы в моем собственном доме и расположение каждого из них, города, виденные во время путешествий, дома, в которых я бывал, люди, с которыми приходилось встречаться, подъемы и спуски дорог, горы и доли, реки. Наличие одних из них в памяти и отсутствие других напоминает того человека, который, чтобы собрать виноград разных сортов, сидит под лозой винограда хусайни* и одновременно точно знает, где находится лоза любого другого сорта. Потом он безошибочно подходит к лозам нужных сортов и собирает виноград.

Я, вызывая в своей памяти представление о дворце российского императора, одновременно представляю дворцы Бухары, Самарканда, Кéша и Нахшаба* со всем их убранством и обстановкой, каждую вещь на своем месте, представляю их в полдень, когда они отбрасывают тень, если даже я видел их в свое время в пасмурный день.

Точно так же я видел людей, которые радовались и гордились занимаемыми ими должностями. Мне было жаль их, так как я одновременно предвидел их отстранение и суетную беготню в попытках обрести благосклонность эмира.

Поэтому такие мечты при общении с подобными людьми всегда будут сопутствовать вам, так что вы будете стремиться к ремеслу или другому занятию. Вы будете стараться достичь этих должностей или овладеть этими ремеслами, но в конечном итоге вы раскаетесь, захотите вернуться к своему первоначальному состоянию, но не сможете. Пока вы не постигнете сути и значения дел в этом мире, вы не освободитесь от помыслов о накоплении, от стремления к должностям, от всяких иных желаний.

...Если высказанные мною здесь мысли утвердятся в вашем сознании, то вы будете знать, что представляют собой люди,

откуда они пришли и куда уйдут, и будете ясно представлять себе разные степени, на которых эти люди стоят. Например, вы будете знать, что обладающий тысячей динаров на тысячу фарсангов удален от того, что называется человеком, обладающий десятью тысячами — на десять тысяч фарсангов. В той же мере близки они к животному, поскольку алчность и жадность — свойство животного, а без алчности невозможно обрести земные сокровища.

Если вас будет прельщать роскошь детей богача, то вспомните, что должности и богатство преходящи, что роскошь досталась им от отцов и поэтому недолговечна.

Поскольку богатого человека преследует или людская зависть, если он нажил свои богатства торговлей, или гнев эмира, если он разбогател на службе, то он неизбежно, рано или поздно, разорится или будет отстранен от должности с конфискацией имущества. Если же, предположим, кара запоздает и его имущество перейдет по наследству к детям, то они вскоре разорятся, унаследованное богатство ненадолго задержится у них, так как они не заработали его и получили случайно. В конце концов дети богатых людей кончают нищенством. Если и сохранится у них богатство, то они проживут его за едой и сном, в тоске и печали, а низменные люди будут липнуть к ним и отвращать от приобретения знаний. Поэтому-то дети богатых не общаются с мудрыми мужами, а те не приходят к ним.

В силу этого среди детей богатых редко, чрезвычайно редко встречаются образованные люди. Если и встретишь в городе одного-двух, то это просто чудо. Большая часть таких людей проводит свои дни среди низких людей и в кабаках. Всегда и повсюду много нищих из потомков царей и бедных из детей богачей, так что нет даже особой надобности приводить примеры.

Однажды в Шаме случилась смута,
Со всех закоулков двинулись люди.
Дети глупого везира
Пошли побираться по миру.
Ученые — дети благочестивых родителей —
Стали везирами падишаха.

Если же вас будут соблазнять богатства купцов и людей ремесла, то знайте, что они достигли их в результате долгих трудов, после суетной беготни по базарам, после тягот дорог и переездов. В качестве примера я уже говорил о бакалейщике, теперь же я перечислю вам эти тяготы подробнее, чтобы вы их хорошо запомнили. Купцы рано поутру должны идти на базар, сидеть в лавках в стужу и зной, выслушивать брань покупателей и оптовых торговцев, возвращаться домой поздно, не пообедав, проводить ночи в размышлениях о завтрашнем дне, спать где попало,

подложив под голову руку или чалму, не обращать внимания на слова знакомых и незнакомых, словно пьяные. В дорогах они подвергаются смертельной опасности от разбойников и хищных зверей, им приходится пить из дорожных водоемов грязную воду, перемешанную с мочой животных, они не совершают религиозных обрядов или откладывают их до прибытия в безопасное место, им приходится лгать и обманывать людей. Остановившись где-нибудь, они позволяют себе недозволенные вещи, полагая, что в дороге это простительно. Они препоручают честь и добродетель своих жен и детей богу, а те, в свою очередь, валят все свои прегрешения на главу семьи. Отправив в какую-либо страну товар, они от страхов и опасений не смыкают глаз до получения вестей о его прибытии. Они постоянно пребывают в тревоге из-за отсутствия известий от своих представителей в Индии, от приказчиков в Туркестане.

Если же богатый человек является землевладельцем, то он должен все время возиться с водой и землей, льстить дуракам и ослам, давать взятки аминам* и иным чиновникам. Не зная покоя, и днем и ночью он ходит вокруг своего урожая, спит на голой земле, подложив под голову кетмень, все время заботится о поденщиках, возит зерно из дому в поле и обратно. Зимой он сам готов сидеть под открытым небом, чтобы отопить амбары. Все сказанное мною — лишь зернышко с огромного гумна страданий, выпадающих на долю землевладельца.

Если вы хорошенько взвесите все, то вам станет жалко этих богачей, вы будете поражены их глупостью, а их роскошь и богатства покажутся вам презренными, вы предпочтете всему этому черствый хлеб и холодную воду, а их халва и виноград покажутся вам горькими на вкус.

Если вы позавидуете великолепию и власти должностных лиц, то не забывайте, что они пребывают в постоянном страхе перед царем, который может отстранить их от должности. Нет у них ни спокойного сна, ни безмятежной жизни. Они всегда как бы в постоянном бреду, слова их бессвязны. Люди думают, что богатство вскружило им голову, что их обуревают гордыня. Как бы не так! Они пребывают в затяжной агонии. Их смех — не что иное, как плач, плач их смешон, разум, душа и чувства находятся в постоянной тревоге, готовясь улететь из материальной оболочки. Но улететь они не могут, подобно человеку, который, видя страшный сон, хочет проснуться, но не может сделать этого и чувствует удушье.

Если на их челе и появляются признаки радости, то только в те минуты, когда они забывают о пытках и наказаниях со стороны царя. Но это длится недолго, и они делаются похожи на детей, которые, как только забывают о затрещинах учителя, начинают возиться в песке. Если бы они не забывали об этом, то они заболели бы и умирали.

Придворные царей и правителей напоминают молодожена, у которого спустя полгода или год после женитьбы голова кругом идет от забот по хозяйству. Он не в состоянии описать это, даже его разум отказывается постичь. Точно так же эти бедняги прельстились драгоценной сбруей и дорогими одеяниями! По своему слабому разумению они постоянно пребывают в суете и беготне, чтобы достичь желанной должности. Добившись же цели, они раскаиваются, а их умственные способности слабеют от чрезмерного увлечения стяжательством, но они не в состоянии осмыслить это и выразить в словах. Однако истинное положение должностных лиц, так же как у молодожена, остается скрытым для посторонних взоров, и только сами они знают это.

Если ты, дитя, спросишь меня: «Почему же должностное лицо, вкусив горечь отстранения, вновь стремится получить какой-либо пост?», то вот ответ: представив себе воображаемый покой, они полагают, что второй раз будет по-другому.

...Таково же положение ремесленников, которые попали в большую беду и не могут описать это, и, погрузившись в тяжкие думы, они не знают, как выпутаться из этой беды, не умеют торговать, заключать сделки и составлять разные бумаги. Иные из богачей постигают истинное значение богатства, каются в своих деяниях, но пользы в этом нет никакой. Каждый из них думает, что, завершив эту последнюю сделку, выполнив какое-то обязательство, продав определенный товар и купив намеченную землю, он займется чем-нибудь более легким, отойдет от дел и удовлетворится малым. Но новые дела вновь поглощают все его существо, он все откладывает выполнение обязательства, пока его не настигает смерть и не швыряет в ад. Точно так же потерпевший кораблекрушение или ограбленный разбойниками купец пытается вторично достичь воображаемого покоя. Иногда он достигает желаемого, но не покоя, а иногда отправляется в ад, так ничего и не достигнув.

...Но глупцы, видя роскошь и богатство, коней и верблюдов, дома и земли богачей, думают, что тем живется легко, безопасно и весело. И они, ослепленные, сами начинают усердствовать, желая достичь таких же санов и богатств. Если они добиваются этого, то попадают в глубокую топь, становятся как бы глухонемыми, как и все подобные им, и безмолвно отдают души. Они слышат слова о радости молодожена, не хотят слушать о тяготах и полагают: «Опасается нашей зависти и скрывает свое благополучие». Они знают только сладость халвы и винограда, но не верят тому, что раздобыть их очень трудно, и заявляют: «Нам просто завидуют».

Если богач — придворный царя и разбогател благодаря близости к нему, то он находится в вечной темнице и постоянном мучении. Он лишен всякой воли, подобен мертвому телу в руках пришедших обмыть его, он как бы постоянно пребывает пред

пастью дракона, пред губительным пламенем. Если к тому же он еще начальник крепости, то по названию он — вождь глупцов и невежд, а на самом деле — их слуга, необходимый, чтобы платить им жалованье и делать подарки. Если он казий, то он всего-навсего вроде квартального старосты, который обязан устранять вражду между тяжущимися, удовлетворять иск и требовать ответ, и ради этого он вынужден выслушивать шум и гвалт сторон. И за все это он получает жалованье. Если богач мухтасиб, то он обязан гнать из мечети людей, не совершивших омовения, наказывать азартных игроков и вылавливать прелюбодеев. Если он муфтий, то должен составлять бумаги для нищих и служить глупцам, так как тяжбы и споры случаются только среди мерзких людей, а благородные не нуждаются в определении муфтия и в решении казия.

Если же человек нажил богатство торговлей или земледелием, то очевидно, что он всю жизнь проработал поденщиком, пожертвовав во имя этого своей религией и верой, о чем я написал в главе «О значении земных благ»*.

Низкие люди, которые толпятся у дверей этих государственных мужей, низко кланяясь им, в сущности являются рабами своего чрева и плоти, так как они получают что-нибудь у правителя и тратят его на потребу своей похоти, отдают свою честь на попечение покровителям и отправляются вместе с ними на тот свет.

Странно! Ведь этим людям из всей той роскоши, из благ нужно лишь столько, чтобы удовлетворить голод. И если они два или три раза съедят лишнего, то заболеют. Пусть нищий набьет свой желудок хлебом и водой в тот час, когда богач поедает вкусные вещи, ведь то и другое утоляет голод в равной мере, и, наевшись, он не сможет определить, халва у него в желудке или хлеб. Когда хочешь наполнить желудок, они одинаковы. Точно так же — будь то во дворце, в саду или где-либо в другом месте — человеку, чтобы сесть, нужно один зар* места, чтобы лечь — два зара, в седле — четверть зара, а все остальное место используют другие люди. Поэтому мудрец не станет трудиться и усердствовать ради такой незначительной еды и пространства.

Твоя еда — соломинка, не более,
Но ты убиваешься ради других.
Для сидения тебе надобно четверть зара,
Ради этого ты горы и рудники прорываешь.

Поскольку вы, дети мои, еще неразумны, я объясню вам суть счастья и покоя, чтобы вы стремились к этому со знанием дела и не поддались обману, чтобы вы могли оценивать счастье других людей этой меркой. Люди ошибочно понимают смысл счастья, они не дали ему точного определения. Одни утверждают: счастье

в том, чтобы хорошо есть, быть в состоянии одарить кого угодно, жить в свое удовольствие. Для этого требуется богатство, и такие люди для накопления богатства готовы сносить любые тяготы, но им неведомо, до коих пор нужно копить. Другие считают счастьем близость к царям и правителям, иные же — земледелие или торговлю, но ни у кого из них нет и в помине помыслов о покое, да они и не понимают этого. Некоторые считают счастьем собирание денег и трудности собирания — покоем.

Одним словом, в течение всей своей жизни я не узнал от богатых о сути счастья, не узнал, ради чего они накапливают богатства, в чем причина собирания денег. Тяготы, которые они терпели из-за этого, даже горы не в состоянии выдержать. Они расстались с жизнью на этом гибельном пути, так и не познав покоя, и свалились в пропасть небытия, так что их накопления не достались их детям, они исчезли, не оставив потомства.

Кто тот, кого не соблазнил этот колдун-чародей?
Кто тот, который не выпил чашку его хитростей?
Тот глупец, кто потратил жизнь на накопление:
Он другому не дал, ни сам не поел, ни с собой не забрал.

Итак, счастье состоит в том, чтобы человек жил в чистом месте в городе или деревне, в доме, соответствующем его складу. Обеспечение его должно лежать на обязанности такого человека, который постоянно снабжал бы его едой, одеждой и всем необходимым. У него должна быть жена, которую он любил бы, как Меджнун Лейли*. У него должен быть слуга, который содержал бы в порядке весь дом. Такой человек может пригласить к себе в гости и достойно встретить любого, кого захочет из мудрых и благородных мужей. Он может позвать к себе, когда пожелает, музыкантов и певцов. Из дома он будет выходить только для совершения молитвы с общиной и по праздникам. Свободное время он будет проводить за изучением книг и хроник. Ему нечего бояться царя или мухтасиба. Он не будет знать, где находится базар или ремесленные ряды, и никто — ни соотечественник, ни чужеземец — не причинит ему беспокойства.

Такова основа счастья и покоя, но ни одному человеку под небом, даже царям, которые завоевывали весь мир, еще не доставалось такого счастья. Некоторые люди, правда, достигали частично счастья, но не всего в целом, ибо в мире не было счастливого человека, у которого не было бы врагов и недругов. И если вы будете точно знать, в чем состоит счастье, то богачи в ваших глазах будут самыми бедными людьми.

Вопрос этот очень труден, и его нелегко разрешить в нескольких словах. Каждый, кто родился на свет, провел жизнь в жалобах на небо и судьбу, не обрел ни покоя в богатстве, ни наслаждения в женитьбе, ни избавления от превратностей судьбы. Если

спросишь об этом человека, который избрал своим уделом мирские суетные наслаждения и удовольствия, то он ответит: «Пока не съешь халвы, не оценишь».

Но бывают и такие личности, которые внимательно изучают людей. Хотя они и не принадлежат к кругу богатых людей, однако своей прозорливостью они постигают жизнь богачей, не завидуют их богатствам и жалеют их.

Однажды мне пришлось по какому-то делу выехать из города вместе со свитой эмира в тот самый час, когда все приближенные и придворные получали из казны по двести дирхемов. Мой коновод сокрушался:

— Если бы ты состоял в свите, то получил бы двести дирхемов.

— Если бы я состоял в свите, — ответил я, — сидел бы в палатке и получил двести дирхемов, то тебе не было бы никакой выгоды, разве что лежать на солнцепеке рядом с конским навозом и терпеть голод и жажду.

Но он жаждал быть в свите, не понял смысла моих слов и замолчал. Я стал объяснять ему:

— Когда мы вернемся в город, я напишу начальнику стражи, чтобы он заточил тебя в темницу, а я буду утром и вечером посылать тебе самые хорошие кушанья. Предпочитаешь ли ты это или же хочешь жить у себя дома, в тени деревьев, довольствуясь лишь самым необходимым?

— Если я буду в темнице, — отвечал он, — зачем мне халва и жирные блюда? Черствый хлеб и холодная вода у себя дома, конечно, лучше.

А я продолжал:

— Приближенные и придворные эмира находятся как бы в темнице. Если им платят ежедневно даже по двести дирхемов, эти деньги для них все равно что дорогие кушанья для заключенных. Надо жалеть их и молиться за них, чтобы они занимались государственными делами, освободив других от этих забот. Если они сбросят со своих шей это ярмо, то в него придется впрячься нам — слабым существам.

Греческие и европейские мудрецы убедились, что в их странах часто происходят перевороты и революции, и стали искать причины этого в исторических книгах. Они пришли к заключению, что это происходит оттого, что цари приближали к себе одних людей и отталкивали других, арестовывали, конфискуя имущество и казня. В результате таких действий цари лишались доверия подданных, которые, подняв восстание и нарушив данную ими присягу о верности, примыкали к противнику царя.

Тогда эти мудрецы, посоветовавшись, решили: все люди должны поровну делить покой и труд, счастье и злосчастье, так как все они — потомки одного отца. Никто не имеет права домогаться исключительности и преимущества в чем-либо без права на то.

Претензии на излишнее богатство и высокое положение в обществе должны соответствовать знаниям и способностям личности. Само же государство нужно представлять в виде живого человека, от которого каждый должен требовать свои права. Степени поощрений и меры наказаний должны быть твердо установлены и записи их следует хранить в специальных помещениях. За каждое достоинство и прегрешение должны быть назначены определенные поощрения и наказания, чтобы никто не мог судить по своему усмотрению. Царь, как и весь народ, должен получать от государства жалованье и не вмешиваться в дела суда и наказания, чтобы защита государства осуществлялась легко.

...Если же вы захотите поступить на военную службу для охраны общественного порядка, вам надлежит поступить, но не по древнему обычаю.

Поскольку вы вынуждены общаться с людьми, выберите близких к вам по характеру, разумных и проницательных, так как разумный человек не пожелает вреда другому. Разумен же тот, чьи добрые деяния превосходят или, по крайней мере, равны дурным. Такие люди встречаются среди улемов и праведных мужей. Изучайте также людей из других сословий, присматривайтесь, побороли ли они дурные свойства своего характера, и только после этого заводите с ними дружбу. Например: у какого-либо человека все свойства характера дурные, но он или не прелюбодействует, или не жаден, или не сквернословит, или никому не завидует, или не говорит о человеке дурного за глаза, но обладает всеми другими отрицательными чертами характера... Если такой человек не совершает насилия по отношению к другим людям, то он не опасен для других, так как его насилие направлено лишь против самого себя. Если вы сможете, то удержите его от дурных поступков, а если нет, то не отворачивайтесь от такого человека, проявите снисхождение, ибо невозможно найти друга без какого-либо недостатка.

С богатыми родственниками и соплеменниками общайтесь в случае крайней необходимости, а бедным родственникам оказывайте благодеяние по мере возможности. Но ни с кем из них не заводите дружбы, так как богатый не будет снисходителен к вам, а бедный будет завидовать вашему богатству, образованию и способностям. Поскольку родственники происходят от одного предка, они будут считать, что ваше богатство и знания достались вам не по заслугам, и будут считать себя более достойными этого. Они будут слепы к вашим стараниям в приобретении этого богатства и образования и будут утверждать: «Он зря потратил свои годы. Он ленив и невежествен». Поскольку порицаемый ими родственник не выбрал их ремесла, они, естественно, сочтут свое ремесло подходящим для себя, а этот родственник — неподходящим для него. Этот человек не будет у них пользоваться уважением. А если он внезапно достигнет высоких постов, они

начинают удивляться: «Как же это случилось? Как он добился всего без всяких забот?» Проклинают небо: «Что за несправедливость? Почему оно покровительствует недостойным? Ему подобает быть истопником, а он сейчас сидит во дворце».

Не общайтесь также с воинами и людьми базара, которые не знают вас и не оценят ваших достоинств. Люди этих двух сословий доставили мне великие неприятности. Из-за одного друга, военного, который, благодаря моему содействию, достиг высоких постов, я голодал в пути ровно пятьдесят дней, хотя у него было много всяких продуктов. Несколько дней я страдал на необъезженном коне, а у него был в запасе прекрасный конь. А один простолюдин, без которого я не садился за обеденный стол, возбуждал против меня иск на три тысячи дирхемов, потащил меня к казнию и отсудил триста дирхемов в свою пользу.

Ни в коем случае не стремитесь быть приближенными или придворными царей и султанов, если даже вас сразу назначат везиром или правителем области, если только вы не принадлежите к правящему сословию, как я уже говорил.

По возможности не женитесь. Но, поскольку женитьба неизбежна, вы все равно женитесь. Жен выбирайте по уже указанным мною приметам, будьте к ним ласковы и внимательны. Все, что я написал о качествах и достоинствах жен, носит приблизительный и предположительный характер. На самом же деле мой разум при определении их природы подобен ослу, увязшему в тине. Я не нашел никаких выражений для описания их характера. Найдя какое-либо определение, я убеждался, что оно противоречит их сути и природе.

Будьте благородны во всяком деле. Если у вас нет благородства, то стремитесь обрести его. Стремление к благородству означает избрание такого ремесла или занятия, благодаря которому вы обретете душевный покой без лишних хлопот. Какое бы ремесло вы ни изучали, думайте о том, как вам обеспечить душевный покой, как и где могут обрести мыслимый вами покой другие люди, которые столько суетятся ради этого. Но вам не обязательно знать, какого именно душевного покоя добиваются другие люди, когда выбирают себе занятие. Изучите лучше свои духовные потребности и суть вашего душевного покоя, и тогда вы будете счастливы и удовлетворены, так как душевный покой у людей различен. Для одних он состоит в том, чтобы лежать на горячей золе у костра, другие находят удовольствие в том, чтобы растянуться у навозной кучи и вдыхать ее запах. Есть и такие люди, которые мечтают о завоевании семи стран мира, в то время как другие закрывают глаза на всю Вселенную и не обращают никакого внимания на низменные бранные явления.

Стремитесь достичь своего душевного покоя. А если не сможете и убедитесь в этом, то терпите молчаливо, так как в этом материальном мире нет покоя, не горюйте понапрасну и довольст-

вуйтесь тем малым, что у вас есть. Благородство и энергия заключается не в том, чтобы раздобыть деньги нечестным путем и истратить их на нужное и ненужное дело. Ведь в этом мире нет ни одного дирхема, который был бы не на своем месте, и вы не имеете права брать его по своему усмотрению и тратить на себя или других... Ваше стремление быть благородным непременно приведет вас на верный путь и сделает терпеливым при трудностях и невзгодах.

Когда я слышал крики стражников «Разойдись!» и видел спешивающихся при въезде эмира во дворец всадников, перед моими глазами возникал весь Туркестан от Хорезма до Кашгара, от Амударьи до Сырдарьи, все горы и доли, суша и море, цветущие и разоренные края, и я думал при этом: «О всеславный аллах! Как много шуму из-за владений султана, которые охватывают всего лишь четверть земной поверхности!»

Не взирайте с завистью на роскошные одеяния, на коней и слуг знати, ибо все это презренно... Когда сплошь одетые в золото и серебро эмир и знать вместе с их свитой совершали намазы в соборной мечети, я представлял их себе голыми и с отвращением отворачивался, так как я воочию видел их такими, как они выглядели в утробе матери и в детстве, и предвидел, что ожидает их после смерти в могиле. Для меня не было никакой разницы между напаянными на них драгоценными одеяниями и теми одеждами, которые висели на гвозде в лавке торговца верхней одеждой. Мне казалось, что эти роскошные одеяния повешены на плохо прибитый гвоздь и потому качаются от дуновения ветра.

Когда вы овладеете в достаточной мере арабским языком, ограничьтесь этим. Затем изберите любое ремесло или занятие, которое будет вам по душе, и ограничьтесь тем, что необходимо для пользы людей, не стремясь к излишеству.

Мерилом достаточного владения арабским языком является умение верно перевести аят или хадис, понять положение, соответствующее тафсиру, или утверждение ученых мужей. После этого сравните свой перевод с прежним, но ни в коем случае не читайте его, пока не переведете сами.

Не тратьте времени в погоне за излишеством, ибо если вы будете домогаться мирских благ, то путей для этого очень много. В особенности же не превращайте науку в средство наживы, ибо это повлечет за собой многие беды.

Вам нет надобности уметь перевести целиком «Мухтасари викая»*, так как многие поднятые автором вопросы не нашли практического применения по сей день и впредь не найдут. Повидимому, они осуществляются только мысленно. Не следует бесполезно тратить время на них, ибо эти вопросы не будут разрешены и в течение вашей жизни. Если вам случайно понадобится разрешить какой-нибудь из этих вопросов, то просто изучите

его сами или спросите у какого-нибудь ученого. Абульмаони говорит: «Если таковы плоды науки, то не разрушай здания невежества, чтобы не раскаяться в конечном итоге. Если такова польза образования, то не разрушай гумна необразованности, чтобы не раскаяться в конце. Каждый раз, когда у тебя возникает какое-либо затруднение, помни: есть казий в судилище, когда тебе нужен совет, то на минбаре* есть проповедник, его не утащили волки. Старайся постигнуть суть явлений и закрой глаза на все остальное. Старайся, чтобы на твоём пути не было пыли вопросов и сомнений, чтобы твой характер был способен признаваться в ошибках. Для слышащего уха существует много сказок, для зрячих глаз существует много зрелищ».

Не поднимайте своего голоса в присутствии улемов и ученых, не пытайтесь вступать в диспуты, а прислушивайтесь к тому, что говорят другие. Если даже они слишком шумят, старайтесь уловить суть, так как мысль и разум при споре не могут высказать накопленных ранее образов, и спорящие, в конце концов, начинают браниться, чтобы заставить умолкнуть противника. Даже негромкий шепот мешает думать, не говоря уже о шумном споре и диспуте с выкриками... Поэтому те, кто во время спора говорит подумав, побеждают в действительности, крикуны же лишь много говорят, и разумные мужи не одобряют их, не верят им, называют их глупыми и педантами, и все их осуждают.

Далее, истинные и мудрые слова, которые пришли вам на ум, говорите всем, а если не сможете высказать, то записывайте их. Если они негодились вам, то, быть может, пригодятся другим после вашей смерти. Если ваши слова соответствуют действительности, то не огорчайтесь, когда люди не соглашались с вами, так как вы заимствовали свои слова из одного источника, а они — из другого, ибо они не способны заимствовать там, где вы. Поэтому, если вы не можете убедить их, то не спорьте с ними и оставьте их в покое.

Когда два человека спорят о чем-либо, то знайте, что один из них говорит со слов учителя, другой — согласно прочитанной им книге.

...Лестница науки бесконечна, ибо невозможно, чтобы точно совпали две мысли, даже если одна из них не противоречит другой. То, что усваивает ученик у учителя, не тождественно мысли учителя, оно или превосходит ее или не достает до нее, хотя ни тот ни другой не ведают об этом и полагают, что им все понятно. Нередко случается, что они не понимают друг друга вопреки желанию понять. Отсюда-то и происходят споры ученых о разветвлениях и основах наук, в этом причина их споров и пререканий.

Далее. Воздерживайтесь порицать религию неверных, христиан и евреев, в их присутствии, не говорите при мудрецах невзвешенных разумом слов, не то вам придется конфузиться.

Если ваши слова обдуманно, но противник не понимает их, то не спорьте с ним, пусть умрет в неведении, вам нечего стараться ради него.

.

Далее. Не страшитесь смерти, не дрожите над своей жизнью, ибо вы не властны над ней.

Далее. Не глазейте вокруг на базаре и ремесленных рядах, так как большинство бед и алчность возникают из-за увиденных благ.

Не хочешь отдать никому сердца? Закрой глаза.

Именно из-за этого в человеке постоянно пробуждается корысть. Самое лучшее в пути — это глядеть себе под ноги. Или же, выходя из дому, займите сердце каким-либо вопросом и всю дорогу думайте над ним.

Со мной часто бывало, что, выйдя из дому с целью навестить друга, я оказывался в трех фарсангах от города, погруженный в какую-либо мысль. Случалось мне и следить за дорогой, чтобы не потерять направление. Иногда я ошибался на целую деревню и оказывался в другой. Нередко на пиршественных собраниях я не слышал музыки и беседы друзей или же слышал словно издали, невнятно. Часто я не узнавал людей на базаре, не приветствовал их или не отвечал на их приветствия. Поэтому те, кто слышал обо мне, но не был знаком, считали меня гордецом. Я чувствовал только суету людей, но ничего более не знал о них. Я ехал куда-нибудь верхом, но мог точно не знать, конь или осел везет меня. Бывало и так, что от нахлынувших на меня мыслей мне казалось, что я заполняю всю улицу, что даже не помещаюсь на всех улицах, что пешие и конные, все подводы проходят под моей полостью, все люди, будь это даже эмир и знать, казались мне презренными и ничтожными. А порой мне казалось, что я не уместаюсь и во всем небе, словно огромная гора, по склону которой проплывает туча. Перед моим взором в такие минуты проходили страны, в которых я побывал, я представлял себе города, в которых не бывал, но знал их долготы и широты, а их жители словно суетились на базаре перед моими глазами.

Если вы поразмыслите, то поймете следующее. Поскольку мысль способна объять так много, то любой человек, посвятивший себя изучению жизненных обстоятельств людей, не сможет легко собраться с мыслями. Он не привязывается сердцем к тому, к чему склонны другие люди.

Далее. Чтобы не осрамиться, не глазейте на те редкостные и изящные вещи, которых у вас нет и секрета которых вы не знаете.

Однажды в дороге мы остановились в одном доме. Я взял у хозяина шестизарядный пистолет, стал осматривать его со всех сторон, пытаюсь найти рукоять и дуло, и переворачивал во все стороны. Один из моих друзей стоял спиной ко мне, а другой как раз рядом со мной стелил постель. Пистолет вдруг выстрелил. От испуга я потерял сознание и выпустил пистолет, а пуля врезалась в стену на целый вершок. Придя в себя, я обнаружил, что если бы пуля прошла на четыре пальца правее, то угодила бы в бровь одного друга, а если бы на четыре пальца левее — в плечо другого друга. Я поблагодарил бога за спасение от такой беды, за то, что не пролил невинную кровь. Я словно тонул в море стыда и попросил извинения у владельца пистолета. Каждый раз, когда я вспоминаю этот случай, меня охватывает дрожь, я лишаюсь покоя часа на два — на три.

Далее. Не беритесь за дело, которого вы не знаете, не беритесь исправить то, что испорчено, ибо если не справитесь, то осрамитесь. Однажды мне случилось быть в пути далеко от Бухары. Какой-то знатный человек дал мне часы, у которых выскочило стекло. Это было в дороге, и я, как ни старался, не смог вставить стекло. Если бы это было не в пути, я потер бы бруском, и дело уладилось бы. Но, не найдя ничего подходящего, я нажал на стекло, и оно раскололось на пять частей. Владелец часов видел это. Бухара была далека, чтобы вставить другое стекло взамен разбитого. И я вернул ему часы с разбитым стеклом. Он не сказал ни слова, я тоже промолчал, но до сих пор я не могу оправиться от пережитого стыда.

Далее. Не алкайте какой-либо вещи, дорогой или дешевой, виденной вами в руках друзей, так как драгоценная вещь идет любому человеку, а дешевые необходимы всем. Если вы захотите вещь друзей, то это повредит вашей дружбе, так как люди не уважают алчность и почитают довольство своей долей. Если же вас будут упрашивать принять такие вещи в дар, не принимайте — разве только из уважения к другу.

Однажды я сидел у своего хорошего друга, когда вошел какой-то христианин и положил перед ним две серебряные позолоченные шкатулочки. Мне они очень понравились изяществом и тонкостью резьбы, но моя внутренняя воля сказала мне: «Не оскверняй себя презренными вещами, будь выше этого». Я не притронулся ни к одной шкатулке и даже отвернулся от них. Когда окончился пир, я встал и вышел. В передней друг догнал меня и сказал:

— Это же тебе. Почему ты не берешь?

— Они более подходят тебе и нужнее, чем мне, — отвечал я.

Но он засунул силой мне за пазуху одну из них, которая была нужна мне, а другую, нужную ему, оставил себе.

Далее. Не обижайте ни одного живого существа, будьте ласковы и любезны со всеми тварями божьими.

Не обижай муравья, который тащит зернышко,
Он живет, а жизнь прекрасна в каждом теле.

...Однажды я сидел на берегу реки, погрузившись в размышления. Вдруг я увидел тонущую осу. Я взял ее и посадил на берег. Она высохла и взлетела. В тот же день я был вознагражден за этот поступок.

Однажды я увидел: муравей запутался в паутине и бьется. Мне стало жаль его, я освободил насекомое от паутины, не причинив ему вреда. За этот поступок я спасся от гибели благодаря помощи одного человека.

Если даже змея или скорпион могут повредить вам, все же не убивайте их сами, а лучше поручите это кому-либо другому.

Вы не знаете, что сотворить комара или мошку очень трудно. Любой самый искусный ткач не сможет сделать даже неживого крыла мошки, не говоря о сотворении души.

...Для вас достаточно этих возвышенных слов и достойных мыслей, если вы вообще намерены внимать им. Поскольку никто не желает видеть другого совершенней себя, кроме своих детей, то я изложил вам суть всех наук. Чтобы овладеть этими науками, вам нужны долгие годы, да и тогда даже можете не постичь их. Благодарите бога, что вам рассказали об этом в самом начале вашей жизни. Когда вы станете разумными, испытайте все это на деле и применяйте в жизни. Если окажется, что мои слова верны, то перепишите их золотом на пергаменте, переплетите в кожу булгари*, положите в сундук, показывайте только мудрым мужам и почитайте эту книгу кладом бесценных жемчугов.

РАССКАЗ О ФАРАМУШХАНЕ

Как-то вечером по благому стечению обстоятельств собралась компания знатных и вельможных людей города, отмеченных редкостной проницательностью и несравненным умом. Все нужное для веселья приготовлено, все необходимое для наслаждения радует глаз. Круговая чаша шла по кругу. Одни захмелели, у других отяжелели головы, музыкант ударял по струнам, красавец юноша возлежал на ложе грации и кокетства.

Хрустальный светильник, белая свеча,
Все уголки озарены ярким светом.
От массы огней собрание подобно цветнику,
Светла, как день, темная ночь.

Тем временем меж собравшимися шел разговор о неустойчивости смутного времени и тяготах снискания хлеба насущного, об

эмирах — пастырях ослов, о духовной знати, торгующей верой. На одном краю зашла речь о чудесах, существующих в мире, — толковали об изобретениях и творениях рук человека.

Хозяин дома, молодой человек, повидавший свет, переживший жару и холод, побывавший в русских и европейских землях и промотавший много денег и родовое наследство, чуть только винные пары разгорячили голову, вздохнул тяжело и молвил:

— Благочестивые последователи пророка, избранные из избранных города, опора просвещения эпохи, все имеют собственное научное мнение и считают себя превыше Абуали* и Платона*, но, увы, они не видели жизни, даже не прикоснулись к ней. И с той самой поры, как вышли из материнского лона и попали в пеленки, они так и пребывают, вытаращив глаза и разинув рты. Они твердо уверовали, что крохотная колыбель — это их дом, а их дом — весь мир.

Покуда отдаешь себя в заклад лавке и дому,
Никогда, о неискушенный, не станешь ты человеком.
Иди в мир, насладись зрелищем его,
Прежде чем настанет день, когда ты покинешь мир.

Знание, что «фи» — это «в», а «ала» — «над»*, они считают наукой, а нелепицу «В Самарканде кошка не ест льда» принимают за искусство и на этом основании попирают народ, питая к нему презрение, а разные болваны следуют им, незыблемо веруя в их ученость и доверчиво внимая их речам. Удивительней же всего, что с подобными знаниями и талантами они претендуют на высокие должности и чины, да еще сетуют на превратность небес, почему те возвращаются помимо их воли.

Птица, не ведающая чистой воды,
Круглый год держит клюв в солончаковой жиже.

В стране солончаков, где не гнездится и зловещий филин, вороны почитают себя павлинами, в краю, где обитают хищники, голос шакала звучит нежным перезвоном колокольчика.

Все присутствующие, охваченные крайним любопытством, сидели, склонив в молчании головы на плечо и телом обратившись в слух. При этих словах они подняли головы, заволновались, вскипела гордыня, поднялся шум и гвалт:

— Ай-ай, что ты такое говоришь, что за нелепицу несешь! Разве есть еще какой-то иной мир за той землей, на которой находимся мы, и иные небеса помимо неба, простирающегося над нами? Что такое Фаранг?* Где Китай? Кто таков татарин и что есть Мекка? Ведь этими словами поэты-суфии* иносказательно обозначают лицо, локон, родинку и пушок на лице красавицы, свидание и соединение влюбленных. Неужели

эти наименования и места существуют вне нас, разве кто-нибудь бывал там и все это видел?! Говорить, будто эти страны существуют на самом деле, все равно что утверждать: «Джабулько и Джабульсо* существуют не только в вас, но и вне вас». Это суждение, разумеется, противоречит действительному положению вещей, потому что никто не бывал за пределами фантазии в этих городах. А тем не менее в устах простолюдыя они пользуются широкой известностью, и народ довольствуется одним названием этих городов, подобных Анка. Ну, допустим даже, что, согласно твоему утверждению, помимо нашего города и кишлаков, есть другие города, куда ты ездил, тогда перечисли-ка, где ты был и что повидал?!

От этих уничижительных и заносчивых речей, от подобных умозаключений присутствовавших хозяин пришел в неопишное волнение, весь хмель вылетел у него из головы, и он проговорил:

— Слова благочестивых, разумеется, небезосновательны, и их отрицания небеспричинны. Но не может быть, чтобы все, что я повидал и где я побывал, было сном или вымыслом, а те места, которые я посетил, лишь плодом болезненной фантазии. Однако же доподлинно допустима вероятность, что я и в самом деле сам отродясь не выезжал из Бухары и нигде не бывал, а все, что приключилось со мной, могло быть вымыслом и иллюзорным видением. При дальности расстояния, ежели я был здесь, то как я мог попасть туда, а если был там, как мог очутиться здесь?

Невольны мы и не ведаем, в чем
Цель прийти, побыть и уйти.

А сведения подобного рода содержатся во многих повествованиях и сообщениях вроде того, как некто якобы вошел в речку и вдруг очутился в степи, в какой-то далекой стране, женился, произвел ребенка, долгие годы прожил там, а потом снова однажды попал в воду и опять оказался на первоначальном месте, и все это произошло в одно короткое мгновение... Возможно, все, что и я видел и познал, тоже происходило в краткий миг. Так как же я могу поведать мои приключения и рассказать о том, что представилось моему потрясенному воображению, коли вы оспариваете каждое мое слово, поражая меня и вводя в изумление при первом же вопросе, какой я хочу задать, чтобы услышать, чем же мне ответят?! А когда меня спросят о чем-то, я изложу свое мнение в соответствии с тем, что сам видел и слышал, а иначе лучше молчать.

Повстречал я в далекой Греции старца
И спросил его: «О, разумный и мудрый,
Скажи, что лучше всего и всегда?» Он молвил.
«Молчанье, молчанье, молчанье, молчанье»

Хозяин дома снова заговорил:

— Благочестивые высказали странное заявление, будто я позабыл, что помнил, и язык мой скован бессилием рассказать, что я повидал. Ну а на чем основывается ваше утверждение, будто помимо сей земли нет иных земель? Кто же такие тогда чужестранцы, которых мы видим у нас на базарах и в торговых рядах — румийцы, франки*, китайцы и другие перелетные птицы? Откуда они? Кого из них ни спроси, каждый называет свой край.

Присутствующие рассмеялись:

— Удивительно глупый и нерассудительный ты человек, разве же тебе известно, есть ли на сей земле и за ее пределами другие люди и существа, кроме тех, что находятся здесь, в этом собрании? Людишкам, коих ты зрил, придает человеческий облик сила испуганного воображения, на самом же деле они не люди, а оборотни, принявшие человечье обличье, и похожие на людей тени, суть которых — мираж. Беседовать с ними — все равно что толковать с самим собою мысленно и вслух: мол, скажу я тому-то вот так, а он скажет то-то, и, ежели он ответит тем-то, я не соглашусь с ним. При этом рядом с этим размышляющим про себя человеком нет никого, а между тем мысленно он спорит и препирается со многими людьми.

Хозяин, поражаясь этим речам, вздыхал, поводил очами и в волнении теребил руки. Похоже было, что вот-вот им овладеет бешенство.

Собеседники заговорили:

— Ну-ка выкладывай свою ложь или правду, расскажи-ка, где ты побывал или что привиделось тебе во сне!

В возмущении хозяин хотел уклониться от настояний друзей и избежать с ними стычки, но они пристали, упрашивая и умолая:

— Мы примем на веру и не станем оспаривать все, что ты ни скажешь.

Волей-неволей он поведал об удивительных творениях и диких изобретениях, распространившихся недавно в Европе, Руме и России: о железной дороге, пароходах и поездах, телеграфе, о новых пушках и ружьях, об устройстве арсенала, о диких представлениях при ночных огнях, об увеселительных домах, о том, как можно проехать путь в сто фарсангов за двадцать часов, о многочисленности их войска и вооружения. Чтобы описать подробно все эти штуки, понадобилось бы много книг. Однако нигде не найдешь полного их описания, потому что в скором времени их можно будет увидеть во всех странах.

Спорщики опровергали каждое слово этого рассказа, выдвигая мощные возражения:

— А может ли быть на земле хоть один солдат, помимо воинства нашего государства? Возможно ли представить какое-то другое сооружение, кроме канатоходного стана или иную беседу — не вокруг ступы?

При всяком присловье хозяин призывал в свидетели пишущего эти строки, дескать, коли не верите и сомневаетесь, спросите этого гостя, он видел, и наслышан, и знает, а я подтверждаю все, что видел и достоверно знал. В конце концов спорщики уступили и стали рьяно твердить: мол, за границей, вероятно, могут быть такие штуки и существование подобных новинок возможно.

Воистину, всякий приезжающий в страну неверных должен неоднократно посмотреть диковинки, которые появились там теперь, иначе он может усомниться и не поверить увиденному — настолько они удивительны. К примеру, в тот раз, когда мне довелось поехать в столицу императора России с посольством, однажды студеным зимним днем нас пригласили на прогулку в царский сад. Мы пошли. Дорога была сплошь покрыта снегом толщиной в три аршина. Пар от дыхания оседал во рту колючими льдинками. Войдя в сад, мы увидели разнообразнейшие цветы, зелень, высокие пышные деревья, ручьи и фонтаны, горы, раскинувшиеся со всех сторон; певчие птицы на все лады прославляли творца. Сверху сад был укрыт стеклом, и в нем сохранялась летняя температура. Я уже не раз бывал там и потому оставался спокоен, но мои товарищи при виде всего этого пришли в неопишемое изумление и не верили своим глазам, думая, будто это видение фантазии и искусные подделки. Они ощупывали руками каждый лепесток, предполагая: либо это небылица, либо штука, сделанная из лоскутов и цветной бумаги, и убеждались, что это настоящие цветы и листья. А я говорил им:

— Такой высоты деревья, такая нежная и сочная зелень не могут быть искусственными, они натуральные.

Мои товарищи продолжали колебаться, потому что впервые видели подобное. Я и сам колебался в первый и во второй раз, говоря себе тогда: «Вероятно, все это колдовские чары». А поскольку эти вещи всякий раз представляли моему взору в первоначальном неизменном виде, мое сомнение сменилось уверенностью.

Потом хозяин стал рассказывать, будто во всей Европе устроены особые дома для избранных, которые называют «домами забвения» — фарамушхана, и все, кто вступает в эти дома, прозываются фарамушани — франкмасонами. Раз или два в неделю там устраиваются собрания, на которых принимают новых членов, а в другое время входить туда не разрешается. Всякого желающего вступить в это общество проводят сначала в канцелярию, где специальные люди, глядя на его обличье, оценивают, достоин ли он быть принятым, а затем вручают ему документ и взимают с него червонец. Вступив в тот дом, человек выходит из него через два-три часа обновленный духовно и нравственно. Лучше же всего, что после того он не говорит неправду и не чинит раздора, а делается великодушным, милосердным, сострадательным, добрым, в особенности к тем, кто хотя бы раз бывал в этой ложе, даже если

он и исповедует иную религию. Все они добросердечны друг с другом, и каждый готов пожертвовать собой ради товарища. Ежели один хочет утаить что-то от другого, тот не утесняет его, а если кто взял у другого денег, тот не требует возврата. Удивительней же всего, что, вовсе не зная друг друга, разве только видясь иногда в той ложе, они при встрече сразу узнают один другого и бросаются друг к другу, словно братья, разговаривают так, что можно подумать, будто они давнишние друзья. И друг для друга не жалеют они ни имущества, ни жизни.

Один из присутствующих в подтверждение этих слов рассказал:

— Когда я был в Калькутте, я видел однажды, как проезжал по улице губернатор-европеец. Он правил многими владениями в Индии и тоже стал франкмасоном. Восседая с величайшей важностью на слоне, в изукрашенном драгоценностями паланкине, он вдруг увидел в конце улицы другого франкмасона. Тот шел, растрепанный и грязный. Губернатор стремглав прыгнул со слона и побежал ему навстречу, поздоровался с ним со всей учтивостью, пожал ему руку, а потом подвел к слону, усадил его рядом с собой и повез в свою резиденцию.

Другой сказал:

— А я знал одного рафизита*. Раньше он был рьяным и упорным в своем сектантстве, а став франкмасоном, отрекся от прежней веры. Когда его спросили — почему, он ответил: «Какое дело живым до умерших, разве что только добрая молитва».

— Еще удивительнее, что всякий, ставший франкмасоном, должен хранить тайну общества. На все расспросы он обязан отвечать: «Вступи сам и посмотри, что надлежит увидеть, послушай, что надлежит услышать». Многие были осуждены на казнь, многим грозили смертью, но, сложив головы, они не выдали тайну. Многим женщинам и мужчинам сулили огромные деньги, чтобы заставить их проникнуть в это общество и сказать об увиденном. Но любой, кто выходил оттуда, не открывал покрова тайны, а деньги возвращал назад противнику.

Поскольку истинная суть этого цеха в самом деле неясна, люди и сами боятся вступать в него. Не всякий может решиться на это, и потому в моменты посвящения иногда является один человек, иногда — два или три, а временами и вовсе некого принимать. Став франкмасоном, человек любой нации подвергается осуждению и проклятиям своих собратьев и сам смотрит на них, как на быдло, не признавая их за людей. Для него человек лишь франкмасон. В судах Индии и Европы, когда свидетелем в тяжбе выступает франкмасон, судьи без опасений принимают его показания, уверенные, что франкмасон не солжет и не посеет раздора. Франкмасон пользуется уважением и почтением в благородном обществе, с немасонами он держится тоже любезно и дружески и умеет хранить молчание.

Когда хозяин дошел до этих слов, друзья спросили:

— А почему ты сам не вступил в тот дом?

Он ответил:

— Я был совсем один и побоялся, что это поколеблет мою веру. Теперь что думаете по этому поводу вы, единственно притязующие на просвещение и совершенство в науках, в чем полагаете вы смысл этого? Что думали, по-вашему, франки, изобретая это нововведение, и какие способы применяли при создании этой магии? Есть ли от него польза стране и государству, какие результаты принесет оно религии и нации? И в чем причина, что все знания и науки стали уделом европейских мыслителей и каков резон, что все наши ученые бестолковы и ленивы? Разве мы, несчастные, не сыны рода человеческого?

Оппоненты не нашлись возразить приведенным доказательствам и потому погрузились в раздумье. Желанная жемчужина истины ускользала из рук, и, не находя достаточно убедительного ответа, они предались отчаянию — может, и в самом деле за нашей страной есть и другие страны, и там есть такие талантливые и ученые люди, да только мы не знаем об этом?

Между тем хозяин, воспользовавшись замешательством друзей, заговорил еще смелее и, закусив удила, стал без оглядки расхваливать богатство и величие России и Европы, расписывать их науку и искусство, слезно сожалея о неустойчивости государственной системы Узбекии* и неосведомленности ученых этой страны, отчего присутствующих прошиб пот смущения и стыда. Тут они обратились к пишущему эти строки:

— Тебе дается постижение истины деяний, и разуму твоему доступно познание сущности всех смыслов. Если каким-нибудь присловьем ты опровергнешь спорщика — превосходно, и каким-нибудь противоположением осадить его — все возрадуются.

И я сказал:

— Вот эдак, не восхваляй при благочестивых отступников от веры, при друзьях не расточай похвал всяким глупцам и невеждам, не превозноси превыше величия ислама многочисленность войска и вооружения неверных, в своей любознательности и поиске разгадок тайн природы не отдавай предпочтения мудрости греков над мусульманами. Незнание неведомого вовсе не есть признак ущербности ума, ибо мудрецы меньше всего занимаются неведомыми областями знания, за исключением только самых необходимых человеческих знаний. И нам не обязательно братья за разгадку тайн премудрости, коей сами не видывали.

— А как они открыли эти премудрости, каким образом довели их до совершенства и сделали общедоступными?

Я ответил:

— Сперва они накопили самые необходимые познания в этих премудростях благодаря унаследованному дару или собственному

усердию, а потом уж сделали их общим достоянием... А кроме того, у каждой страны есть свои особенности и у жителей ее — свои склонности и дарования, а мудрость ее мудрецов связана с природой и климатом местности...

Когда и где была у нас нужда, которую не могла бы удовлетворить наша наука и ради которой мы могли бы приложить наши старания и усердие? К примеру, на наши земли никогда не придут железные дороги и поезда, потому что страна наша невелика и пределы ее ограничены. Надо будет — объедем ее и на коне или верблюде за самое короткое время. Нам нет в том крайней нужды, а если бы и возникла нужда, наши земли сплошь возделаны и засажены, мешает и обилие рек, лесов, гор и возвышенностей. Чтобы построить дорогу, нам пришлось бы погубить много пахотных земель. К тому же у нас нет моря, по которому можно было бы пустить пароход, а через наши реки достаточно перекинуть мосты, а если нужно, нам хватит и наших дырявых лодок и утлых суденышек. Так на что нашим ученым впустую тратить усилия на сооружения путей и дорог и даром расточать силы? В противоположность Руму, Европе и России, чьи земли обширны и моря широки, где было множество войн и сражений и оттого армии велики, где далеки расстояния, а поля пустынные, что побуждало народы этих стран претворить в явь все создания рук и разума человека, скрытые прежде в засаде непознанного, они по крайности прилагали усилия и старания и обрели искомое, а мы не делали этого и не достигли. Мы ищем оправданий своим желаниям и отсутствию желаний, но ведь и простор земли сдерживает желания и стремления, да и дело это добровольное...

Европейцам удалось достичь таких успехов в новейших производствах еще и потому, что они ни на гран не отступают от стремления к цели благоустроить землю... Цель их существования как раз в том и состоит, чтобы благоустроить этот мир, открыть тайны бытия материи. По этой причине они решили: «Зачем умирает человек? Надо придумать такое, чтобы он не умирал! Человек не может летать по воздуху — необходимо такое устройство, чтобы он полетел!» И действительно, усердием и упорством они вернули душу телам умерших и пролетели в воздухе расстояние до шестидесяти фарсангов, с помощью астрономических наблюдений они доказали существование гор, впадин, родников и живых организмов на Луне, Юпитере и Сатурне. А еще они готовятся полететь к звездам и пытаются разгадать тайны земли и морей, ставя опыты во всех областях и проверяя их результаты на практике. Например, в области химии, о которой у нас такое же представление, как о фантастической птице Анка, и, когда кто-то у нас погружается в нее, все равно выходит из ее глубин с пустыми руками, они построили такие установки, куда загружают медь, железо и все, что им угодно, и, подобно еврею-красильщику, извлекающему мотки голубой пряжи из хума*, вынимают оттуда чистое серебро

и червонное золото в таком количестве, что однодневная их добыча равна годовой добыче целого рудника.

В конечном счете бессмертие человека вполне достижимо, и возможность воздушных полетов с помощью специальных аппаратов тоже не исключена. В этом нет ничего сверхъестественного и удивительного, странно другое — что это удивляет умных людей, ведь ученые и призваны открывать все материальные элементы небесного и земного мира, постичь истину, зачем и для чего они сотворены. Ученый должен проникнуть в суть — откуда, из каких морей эти воды, из какого цветника эти розы... Ибо без науки и познания материальный мир не может обрести форму вечного бытия. Мусульманские ученые сочли, что все диковины и творения материального мира подобны рисунку на воде и миражу в безводье... и волей-неволей, закрыв глаза на все сущее в поднебесном мире, предались поискам первопричины бытия... А греческие ученые по слабости духа и под давлением бедственных обстоятельств стали пробиваться к истинам чувственного бытия, растрачивая драгоценную жизнь на раздумья: «Как произошло то-то, и что произойдет из этого, да что получится из того-то», а все это тщета — дело, которым они занимались и заниматься будут впредь...

Хозяин проговорил:

— Ты провел правильное и убедительное сравнение между слабоволием греческих ученых и твердостью духа ученых мусульманского мира. А что ты думаешь о премудрости масонства?

Я ответил:

— Этот цех придуман не безосновательно, подобные диковины запечатлены в сказаниях, так, в «Пятерице» Низами* есть рассказ: «Человек, облаченный в черное, вошел в город и попал в гости к одному горожанину. Хозяин спросил его, почему он носит черную одежду. Тот ответил: «Далеко на краю Фаранга есть город, который зовется городом чернецов. Всякий, оказавшийся в том городе, облачается в черное». Влекомый меланхолией, горожанин через некоторое время попал в тот город. С помощью друга он спрятался в корзину и был поднят на башню. Прилетел орел и унес его в город чудес. Спустя некоторое время он опять очутился на той же башне. Его отнесли вниз, и он облачился в черное».

И хотя этот рассказ приводится в форме сказки, однако ж он не лишен разумного смысла и возможность в нем происходящего за границей не исключена. Это не бесплодная выдумка. Поскольку франки поглощены изучением такого рода странностей, они могли не пожалеть усилий для осуществления этой сказки в действительности, могли воздвигнуть город или здание и собрать там всякие диковинки, постичь которые бессилен разум. К примеру, когда я попал в императорский зимний сад, при выходе оттуда я был намерен описать увиденное, однако разум мой, потрясенный множеством чудес, не в силах был запечатлеть их. Когда я вошел,

сознание схватывало все очертания и подробности, но обилие лужаек и аллей, вьющихся одна за другой, поразило и сковало мою память, и, выходя, я уже не мог запомнить ничего, кроме беспорядочного общего впечатления.

Подобно Платону, пытавшемуся найти способы запечатления жизни, но не сумевшему довести их до совершенства, европейцы приложили величайшие старания к этому делу и усовершенствовали эти способы, однако им не удалось получить позволение властей на их внедрение. Возможно, в масонской ложе европейцы устанавливают особые устройства, с помощью которых можно наблюдать иные миры, словно в зеркале или хрустале. К примеру, скажем, из Бухары они могут видеть Самарканд со всеми его строениями и обитателями. Еще там приготавливают такой напиток — как только вошедший выпьет его, ему открывается все разумное и доброе...

И подобное постижение этих премудростей вовсе не представляется европейцам странным, ибо они овладели всем, что есть в подлунном мире из земных и водных, воздушных и огненных сокровищ, все испытали и опробовали на опыте и практикой.

Вероятно, путь познания бывает двоякого рода: один — это предаться самосозерцанию, другой — приложить руки к орудиям и предметам практического дела. Мусульмане сочли, что, если станут тратить жизнь на предметные знания, они не достигнут исковой цели, и, может статься, жизнь оттого не будет счастливее, а сами они так и останутся далеки от совершенства, потому что первое условие достижения совершенства — это талант, ибо, если перед зеркалом поставишь зеркало, оно отразит тысячи зеркал, оставаясь таким же чистым, а коли перед ним положишь кусок железа, в нем отразится только черное пятно и получится лишь одно отражение — не больше. Ну а путь самосозерцания совершеннее и ближе к истине, нежели путь предметного познания. И волей-неволей они предпочли путь созерцания и религиозного бдения, решительно отказавшись от предметного познания.

Греки же направили свои устремления к предметному познанию, и предметы доставили человеку все, что он хотел, а сверх того давали еще и прибыль; много жизней прадедов их и дедов прошло в занятиях каждой премудростью, результат же спустя столетия достался другим...

А причина скрытности франкмасонов и облаченных в черное таится в том, что разум попавшего к ним человека, обнаруживая нечто таинственное, бессилен воспроизвести и передать увиденное. При зрелище множества диких вещей память утрачивает силу запечатления, а если и может выразить одной какой-то фразой, затрудняется передать подробности. Ведь открытия нужно видеть, но нельзя выразить словами... Поневоле человек, соприкоснувшийся с этой магией, считает, что проще промолчать, а кроме того, разгадка тайны этих явлений влечет преимуществен-

но простаков и недоумков. Ибо, когда возникает угроза какой-то опасности, веление разума сдерживает отвагу и боязнь побеждает, удерживая человека от поступка, таящего возможность дурных последствий; того же, чей разум слаб или маловат, оно ведет к тому, что человек сам неоглядно бросается навстречу опасности. И чаще всего человек, ущербный умом, не зная, как поведать о явлениях умозрительных и непостижимых разуму, по неизбежности предпочитает молчание слову, но и большинство людей тоже оказывается бессильно объяснить истинную суть явлений внешнего мира. К примеру, человек поражается прелести красавиц, зрелищу зелени и цветов или звукам мелодии, а наслаждение, запечатлевшееся в его сознании, не может передать словами. Подобно этому мелодия не производит никакого впечатления, покуда музыкант находится здесь, среди нас, и теребит струны медиатором, а перед нашими глазами мелькают и дерево инструмента, и пальцы, и струны; тогда от мелодии остаются лишь звон и дребезжание. Истинное впечатление — это то, которое абстрагируется от непосредственного восприятия слушателя. И тогда чувственная форма пленительной мелодии нисходит к нам с небес, как серебряная нить или белый сказочный лев, и ярко материализуется меж тонкими пальцами и струною, подобно лезвию солнечного луча, пробившегося сквозь узкое оконце, а отдаленный печальный напев ее звучит отовсюду, охватывая нас со всех сторон. Порою чудится, будто рядом есть кто-то, кто перебирает пальцами струны, но музыканта нет и в помине. А где-то в выси видится другой перебирающий струны, словно бы воплотивший душу самой Венеры. Такое впечатление рождается во многих чутких к изящному сердцах, однако оно не может быть передано и закреплено словами, разве что только человек владеет таким же сверхъестественно чутким пером, способным уловить даже токи Меркурия*.

Ты сотворил — и я стал тонким ювелиром,
Ты сказал — и я заговорил красноречиво.

Однако изменение народа под воздействием красоты доказывает, что жизнь предшественников и современников следует проверять чистотой или порочностью человека, ибо добродетельные люди — это проводники изящества и благоденствия, а творящие зло одержимы мукой жестокости; чуткость к красоте побуждает человека к добрым деяниям, через нее он обретает искреннюю веру и неизбежно делает своим призванием милосердие и сострадание к людям-собратьям. Но дело еще и в том, есть ли в этой премудрости экономическая и государственная польза. Судя по внешним проявлениям, можно предположить, что от нее последует экономический ущерб, ибо, ежели все станут франкмасонами, нарушится экономический порядок, никто не станет работать, все дела придут в упадок и мир постигнет разруха. Все принадлежащие к этому течению свободны от работы и занятий, ни в чем

не нуждаются, а в случае, если возникает необходимость, собравшись делают пожертвования.

Следовало бы воспрепятствовать дурным последствиям этого чудодейства, а от того, что им не воспрепятствовали, вероятно опасность, что, если этот цех получит широкое распространение, народом овладеет полнейшая беспечность. Шахи отрешатся от завоевательных стремлений, бедняки — от снискания хлеба насущного, все освободятся от занятий плотничеством или строительством кораблей, от литья пушек и вождения войск, разве что только по мере необходимости. А поскольку золото и драгоценности уже производятся на поверхности земли, нет никакой потребности копать рудники, разве что ради заработка, да и рудники у них дают добычу ценой самых малых затрат. В этой секте не взирают на власть и имущество, будь то шах или нищий, к обоим относятся как к равным, сочувственно и добросердечно, а разные народы и различные государства не соперничают и не враждуют друг с другом, живя в дружбе и согласии. И всем, что есть у них и что умеют, они щедро делятся и помогают друг другу.

Потому распространение этой премудрости нельзя предотвратить, дабы люди, открывая с помощью ее путь к добру, постигая изменчивость мира и собственное неразумие, могли спокойно прожить эту краткую преходящую жизнь и воздержаться от непотребной суеты, чтобы они были добры и милосердны друг к другу, уважали и ценили друг друга. Об этом европейцы как-то писали в газете, дескать, «сей мир, твердыню всего сущего, творец даровал человеку и его потомкам как временную обитель, дабы все люди жили в равенстве и все наравне пожинали плоды своего труда». После Адама в наследие его потомкам досталась часть земли, где они поселились, пользуясь ею по справедливости и наравне. По прошествии времени сыны рода человеческого перестали довольствоваться тем, что могут возделывать собственными руками, начали посягать на чужие земли, силой захватывая и отнимая их один у другого. Искони Рум принадлежал одним, Китай — другим, Туркестан — третьим, а потом владыками и хозяевами земель там стали и те, и другие, и третьи.

Непременное условие порядка и требование справедливости таковы, что всякий должен довольствоваться собственной землей и сильному надлежит отказаться от захвата земли слабого. Если же кто-нибудь посмеет отбросить эту мысль, народу надобно проявить смелость и благородство, чтобы вместе едиными усилиями воздействовать на него и отстоять право слабого перед сильным. Ведь в праве на отцовское наследство все равны, и потому необходимо искоренить привычку к кровопролитию и распрям, дабы не осталось раздоров и столкновений между царями, дабы все люди жили в мире и спокойствии.

Этот мир не стоит того, чтоб ты разбивал чье-то сердце.

В связи с этим некоторые правительства заявили, что это можно осуществить лишь путем коренного переворота, потому что никто не оставит просто своей земли и не откажется по доброй воле от своего имущества, для установления такого порядка пришлось бы пролить реки крови. И еще не известно, оправдает ли надежды такая форма. По этой причине требование это было отставлено. Если рассматривать положительные стороны франкмасонства, то его учреждение заслуживает поддержки; никогда ни в каких исторических летописях мира не упоминалось такого множества чудес и диковинок, какие появились в наше время на просторах Вселенной и какие я повидал или о которых слышал. Ежели собрать их все вместе, перед ними поблекнут все книги о чудесах земли, написанные когда-либо...

РАССКАЗ О ТЕХ, КТО СПАСАЛСЯ ОТ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ

Как-то один из моих друзей рассказывал мне:

— В Байсуне* встретился я с одним мужем. Это был человек могучего телосложения, но уже довольно старый и немощный. Звали его Мулла́ Хал-Мухамма́д. Весь облик говорил о смелости и отваге. Мы разговорились, и он рассказал мне много историй о своей доблести и подвигах, повергнув меня в крайнее изумление. Он сражался один на один с медведями и кабанами, встречался лицом к лицу со львами и тиграми и неизменно уходил целым и невредимым.

Вот один из его рассказов.

— Однажды с несколькими приятелями я отправился на той к моему другу, жившему неподалеку от наших мест, за горой. Возвращаясь домой, я отстал от друзей, чтобы побродить по склонам гор и поохотиться. Я забрел в какую-то горную долину, настрелял множество куропаток, газелей, занимаясь этим до самого вечера. Вижу, не успею вернуться домой. После долгих поисков я нашел на склоне горы ровную лужайку, поросшую травами и цветами. Там раскинуло свои ветви могучее дерево. Под ним лежал ва-лежник, а чуть поодаль, среди зелени, пробивался живой родник.

Я пустил коня пастись, а сам взобрался на дерево, чтобы выбрать на ночь безопасное место для себя и для него. Опасаясь хищников, я поднял коня на дерево, связав, словно овцу. Конь по своей сообразительности как бы понимал мое намерение и спокойно лежал на ветвях со связанными ногами. Я уже совершил омовение, поднялся на дерево и, положив перед собой ружье, стал совершать намаз, призывая бога предохранить меня от всяких напастей.

(Я не поверил, что один человек, будь даже из стали, сможет поднять таким путем коня на дерево,— верно, это гипербола или фантазия. Но потом я прочитал в «Унсуре» Бедиля*, что Мирза Каландар, его дядя, перенес выбившегося из сил коня через балку в горах. И только тогда я поверил и пришел к заключению, что в каждом веке среди людей рождаются мужи с подобной мощью.)

Ночью, перед тем как уснуть,— продолжает Мулла Хал-Мухаммад,— я услышал грохот падающих камней. Я понял, что это скачет какой-то зверь. Ночь была лунная, и я увидел разъяренного льва, величиной с рослого буйвола. Он бежал по направлению к дереву, его глаза сверкали, словно факелы, из-под лап его скатывались большие камни. Я схватил ружье, зарядил и направил прямо на льва, надеясь, что, увидев, он отступит. Но он, рыча, бесстрашно приближался ко мне подобно урагану. Вижу я, что льва не уложить одной-двумя пулями, что он запросто расправится со мной и конем. Но лужайка была невелика и находилась на склоне, и лев, как ни старался, не смог взобраться на дерево. Тогда он подскочил к дереву и стал рвать лапами корни. Казалось, вот-вот он вырвет дерево из земли, но это ему так и не удалось, хотя оно дрожало и раскачивалось, как от сильного ветра. У коня от страха вместо мочи пошла кровь. Я, стараясь держаться спокойно, приветливо кивал головой и говорил заискивающе:

«Я ведь не злоумышляю против тебя. Я задержался в пути и решил переночевать здесь. Не гневайся на меня!»

Время от времени я отвешивал льву поклон, улыбаясь, чтобы показать ему отсутствие у меня враждебных намерений. Лев, убедившись в моей покорности, перестал реветь и беситься, отступил чуть поодаль. Он перестал кидаться на дерево, лег на живот и стал бить хвостом по земле. Я же стал напевать, как бы призывая льва проявить мягкость и сострадание. До самого утра я жестами пытался внушить зверю, чтобы он отпустил меня домой. Лев же делал знак лапой, выпрямляя ее, но я никак не мог уразуметь, чего он желает. Я стал бросать на землю куски хлеба и вареного мяса, он понюхал, но не притронулся к ним, продолжая делать знаки лапой. И только тогда я понял, что он требует ружье, волею-неволею я сбросил его. Лев поднялся на задние лапы, и, держа в передних ружье, стал изучать и рассматривать курок и магазин. Затем он разбил ружье в щепки и разбросал их по всем сторонам так, что их словно и не было.

Я уже приготовился к смерти, раскаиваясь в том, что сам отдал врагу средство своей защиты. Лев тем временем, высказывая удовлетворение и радость, поднял куски хлеба и мяса и стал делать знаки: слезай, мол, и отправляйся восвояси. Сам он отошел в сторону и улегся. Я спустил коня с дерева и, оседлав и взнуздав, сел на него. Лев побежал передо мной, сделав мне знак скакать. Я осторожно погнал коня за ним и, проехав две или три лошины, спустился с горы на равнину. Тогда лев повернул назад и уселся

на одной вершине, наблюдая за мной, пока я не ускакал от тех мест. Это было проявлением его благородства, он не хотел, чтобы какой-нибудь зверь причинил мне вред. И я благополучно возвратился домой.

РАССКАЗ О ШУКУРБЕКЕ

В другой раз Хал-Мухаммад рассказывал:

— В молодости я поселился в Бухаре и изучал в медресе официальные науки. Я был очень беден и часто проводил голодным и дни, и ночи. Я готовился к занятиям, лежа на циновке и подложив под голову камень. А было мне тогда двадцать три года.

В то время в Бухаре орудовал по ночам разбойник Шукурбек. Горожане из-за него жили в вечном страхе. Сильный, огромный, хитрый, Шукурбек мог ночью сразиться с сотней людей и обратить их в бегство. Камень, брошенный его рукой, ломал большое дерево, а человек от пущенного им булыжника разлетался на куски, словно воробей от пули. Его камни беспрестанно ранили стражников и разбивали их барабаны. Днем никто не видел его, зато ночью он появлялся, как летучая мышь. Многие силачи и храбрецы пытались преградить ему дорогу, но не могли устоять против него и обращались в бегство. При всей своей жестокости и свирепости Шукурбек был великодушен и благороден. Он отбирал имущество у богатых скряг и раздавал бедным и нуждающимся, дарил ученых мужам и студентам медресе.

И вот однажды по соизволению эмира начальник стражи объявил, что поймавший Шукурбека получит сто золотых динаров.

Когда я услышал об этом, — продолжал Хал-Мухаммад, — то жадность овладела моим существом, и нищета вынудила меня пойти на риск. Я решил схватить Шукурбека, связать его, как овцу, и выдать начальнику стражи, чтобы разбогатеть на полученное вознаграждение. Сначала я отправился к муддарису.

— От бедности и нищеты, — начал я, — мне стало не вмоготу, смерть в тысячу раз лучше подобной жизни. Если на то будет ваше разрешение, то я выполню желание начальника стражи и вырвусь из нужды. А если меня убьют, то я опять-таки достигну покоя, ибо спасусь от жизненных неурядиц и попаду в иной мир.

— Не вздумай этого делать, берегись! — сказал муддарис. — Ведь ты лишишься жизни, даже не увидев врага. Разве ты не знаешь, что слон — не добыча для серны и лиса не одолеет льва. Много могучих храбрецов задолго до тебя лишились жизни, задумав то же самое.

Схватившийся с тем, у кого стальные руки,
Только поранит свои серебряные плечи.

— Смелость и отвага,— ответил я,— не сопутствуют постоянно одним и тем же людям, не предохраняют их всегда от бедствий и напастей. Счастье и успех зависит исключительно от судьбы и рока, победа и возвышение даются всемогущим творцом. Рустам*, при всей своей мощи, погиб в яме, вырытой Шагадом*; Исфандияр*, такой храбрый и воинственный, пал во прах, ослепленный.

Охотник не всегда приносит добычу,
Бывает и так, что барс разрывает сго.

Быть может,— продолжал я,— события примут иной оборот, и небо исполнит мои желания и тем самым обеспечит мой жизненный достаток. Если же я в течение долгих лет буду сидеть в четырех стенах этой маленькой кельи, то ведь с ее крыши не посыплются ни хлеб, ни зерно.

Хотя предначертанная доля и достанется обязательно,
Разум повелевает искать ее повсюду.

— Все это правда,— ответил Муддарис,— однако:

Хотя человек и не умрет до назначенного часа,
Ты тем не менее не подходи к пасти дракона.

Вижу по твоему твердому и упрямому решению, что тебя невозможно отговорить. Ступай же, да поможет тебе аллах, ибо решительность способствует удовлетворению земных желаний и достижению райских блаженств. Ведь никто не достигал своей цели без чистых помыслов и благородных намерений.

Получив благословение муддариса, я отправился к начальнику стражи. Он отнесся ко мне как к человеку достойного сословия и спросил:

— По какому делу пожаловали, домулло?*

— Слышал,— отвечал я,— что вы объявили награду тому, кто поймает и доставит Шукурбека. Я хочу получить эту награду взамен того, что нужно вам.

Начальник засмеялся надо мной, так как я был бледен и тщедушен. Он принял мое предложение за шутку и приказал подать мне угощение.

— Не обращайтесь внимания на мой вид,— сказал я ему.— Я голодаю вот уже несколько дней. Накормите меня как следует, а потом уже приказывайте.

Чтобы испытать меня, он приказал сварить до вечера плов из полсеры* риса, четверти сера мяса и осьмушки масла. Я съел весь плов до последней крошки. Когда я покончил с этим, начальник стражи дал мне пятьсот дирхемов с напутствием:

— Если схватишь Шукурбека, то получишь сто динаров. А это тебе вознаграждение сверх того.

Я отправился на поиски с несколькими стражниками и попросил их описать моего противника.

— Никто не знает достоверных примет Шукурбека, — ответили они. — Все слышали только издали шум от брошенного им камня и видели на расстоянии тысячи шагов человека в белом, с палкой и кинжалом, с булыжниками в сумке. Эти камни возвещают о Шукурбеке, как рысь о льве. По грохоту брошенных камней люди узнают о появлении Шукурбека и, услышав, прячутся по разным углам или, если успевают, убегают.

Когда я в сопровождении нескольких стражников прибыл к мазару Хаджи Мухаммада Паррана, на перекрестке городских улиц, то с обувного ряда базара раздался стук брошенного камня. Напуганные стражники перестали бить в барабаны и с криком: «Это Шукурбек!» — скрылись куда-то. А я в своем воинственном пылу не обратил на все это никакого внимания, мужественно пошел навстречу Шукурбеку с палкой в руке, думая при этом: «Он такой же человек, как и я, из мяса и костей». Когда мы подошли друг к другу, Шукурбек спросил:

— Кто ты?

— А вот сейчас узнаешь.

Я до такой степени был опьянен своей смелостью, что не видел неба и не чувствовал под собой земли. Я подумал: «Если ударить его палкой по темени, то вывалится мозг. Уж лучше ударю по ногам, чтобы потом связать и отвести его к начальнику стражи».

Но когда я поднял руку с палкой, этот могучий муж подскочил ко мне и схватил меня за горло. Не успел я пошевелиться, как он бросил меня оземь и сел мне на грудь. У меня помутилось в голове, и я захрипел. Он же приставил мне к горлу кинжал английской стали и сказал:

— Ты не назвал себя. Так ступай же в ад безымянным!

— Я чужестранец и странник, — был мой ответ.

— Что заставило тебя рисковать жизнью и подставлять себя под удар кинжала?

— Бедность, лишения и жажда золота привели меня на этот гибельный путь.

— Откуда ты? — продолжал он спрашивать.

— Из Байсуна.

— Зачем покинул родные места?

— Чтобы получить образование.

— Кто внушил тебе злой умысел против меня?

— Начальник стражи объявил, — отвечал я, — что даст сто динаров тому, кто приведет тебя. И я из-за своих лишений и бедности решил сразиться с тобой, надеясь схватить тебя и обеспечить себе пропитание и учение.

Задыхаясь, я еле выдавливал эти слова, так как он был настолько тяжел, что казалось, будто скала придавила меня. Он сжалился надо мной и сказал:

— Правду говоришь, слышал я об этом объявлении. Ты невинный странник, и это нападение можно простить ради твоей бедности, ибо голодный нападет даже на льва. Я дарю тебе жизнь с условием, что ты ненадолго пойдешь со мной. Ты должен принять мое предложение, а затем, покинув Бухару, утром же вернуться в родные края.

Я, рыдая, стал умолять его и клясться, что выполню любое его желание. Тогда он встал с моей груди и освободил меня. Трепеща от страха, я пошел за ним. Он вошел в медресе Кукальташ*, остановился перед одной кельей и позвал кого-то. Вышел встревоженный студент и пригласил нас внутрь. Мы вошли, сели. Студент зажег светильник, потом принес вино и фрукты. Шукурбек спросил:

— Есть у тебя продукты, чтобы сварить плов?

— Кое-что есть,— был ответ.

— Это мало для нашего гостя,— сказал Шукурбек.— Пойди к мяснику, возьми побольше продуктов и приготовь приличное угощение. Я тоже очень проголодался.

Студент вышел, вскоре вернулся со всем необходимым для плова и принялся готовить. Я же преодолел свой страх и начал приходить в себя. Мы стали беседовать о том и о сем, и каждый из нас рассказывал о своей отваге и доблести. Я рассказывал об охоте, о борьбе, о том, как я поднимал ослов и лошадей, но он не поверил, считая, что я не способен на это, и предложил:

— Если ты говоришь правду, встань, схвати меня поперек спины и попробуй сдвинуть с места.

Я встал, подошел к нему и, обхватив за спину, стал тянуть. Но сколько я ни старался, он не шелохнулся, словно все его члены были из стали и железа. Я выбился из сил, и кровь пошла у меня носом.

— Говорил же я тебе,— сказал он,— что ты говоришь неправду и у тебя нет силы и мощи. Об этом я догадался по тому, как ты шагал, ибо шаги твои не были тяжелы. А у сильного мужа шаг бывает тяжелый.— Потом он взял пригоршню золотых монет и предложил: — Если ты одолеешь мою левую кисть и согнешь руку, то возьмешь это золото себе.

Надеясь получить золото, я стал разжимать его лапу, но это был напрасный труд. Я согнулся в три погибели, а рука его оставалась прямой, словно вбитый в стенку кол. Наконец он схватил мою руку и сжал ее своей.

Мне показалось, что пальцы мои вдавливаются друг в друга и распадаются на куски. Невольно я издал громкий звук с обеих сторон. Он рассмеялся, отпустил мою руку и милостиво сказал:

— С такой силой больше не притязай на доблесть и попусту не преграждай мужам путь, ибо потеряешь зря голову.

Потом он угостил меня по-приятельски и дал пятьсот дирхемов с напутствием:

— Вот тебе на расходы. Забирай их и покинь Бухару. А то тебя могут еще раз околпачить и внушить мысль убить меня, и уж тогда не видать тебе пощады.

Я взял деньги, пошел к начальнику стражи и рассказал ему обо всем. Он подарил мне халат и отпустил. Я же не счел возможным оставаться более в Бухаре и вернулся в родные края. Никогда в жизни я не видел такого силача.

(Смысл этого рассказа таков, что муж, если он даже очень силен, не должен пренебрегать врагом, полагаясь на свою мощь.)

Бог, сотворивший высоты и низины,
Сотворил руку, которая сильнее любой другой руки.

Если в силу своего внутреннего зова человек с сильным характером даже вынужден поступать дурно, например грабить, то цель его не должна ограничиться этим, напротив, он должен делать все это из добрых и благих побуждений, чтобы покровительствовать бедным и страждущим, чтобы этими благородными поступками загладить свои дурные деяния. Например, если он перенесет добро скупого мерзавца в дом благородного с большой семьей, то такой поступок не останется без воздаяния.

ЕЩЕ РАЗ О БЛАГОРОДСТВЕ ХИЩНИКОВ, В ОСОБЕННОСТИ ЛЬВА

Некий молодой хаджи, из рода Хаджй Мухаммада Аскафа, рассказывал:

— Дом мой был расположен на окраине, в южной стороне Бухары. Однажды я отправился в поле за топливом и сложил в разных местах вязанки. Так я оказался вдали от людских жилищ. К вечеру я решил собрать все вязанки, связать вместе и вернуться домой. Вдруг передо мной появился разъяренный лев, от страха перед которым трепетал Лев на небесах*.

Он мчался ко мне, огромный, как буйвол. От страха и ужаса у меня застыла кровь в жилах, а сам я словно прирос к месту.

Я слышал ранее, что лев щадит того, кто при встрече с ним говорит ласковые речи и целиком отдает себя в его власть. В страхе за свою жизнь я упал навзничь на землю и стал говорить заплетавшимся языком:

«Душенька лев, сжался надо мной, не окрапляй своих лап моей кровью, я не злоумышлял против тебя, я здесь только ради своего хлеба насущного».

С этими словами я показал на вязанку дров. Убедившись в моей покорности, лев успокоился, подошел поближе, осмотрел все место вокруг меня и удостоверился, что у меня нет ни ружья, ни стрел, ничего, кроме пилы и большого серпа. Тогда он сел передо мной на задние лапы, начал разглядывать меня сонными глазами, осматриваясь по сторонам и шевеля хвостом. Я догадался, что он расположен ко мне, набрался смелости и рассыпался в любезностях. Тогда лев стал на все четыре ноги и подошел ко мне без опаски с опущенной головой и пал передо мной на землю. Все это он делал для того, чтобы мое сердце не разорвалось от его ужасающего вида. Лев начал рыдать и стонать, делал мне лапой знаки подойти ближе. От ужаса я не понимал его жестов, он положил мне лапу на плечо. Мне показалось, что на меня взвалили мельничный жернов. Лев же потянул мою руку лапой и положил ее на свою заднюю ногу. Я понял, что он страдает от боли и просит меня излечить его. Осмотрев ногу, я увидел, что в нее вонзилась и застряла между когтями веточка, от которой получилось нагноение. Лев знаками просил меня извлечь ее.

Увидев врага в таком состоянии, я перестал чувствовать страх, застывшая кровь моя пришла в движение, покинувшие было меня силы вернулись вновь. Я вытащил из кармана нож и осторожно, внимательно, чтобы не вывести льва из себя, извлек из лапы щепку длиной с палец. Из раны начала сочиться кровь. Лев от боли закрыл глаза и, скрежеща зубами, проливал слезы. Я поспешно высосал рану, выплевывая гной.

Затем, разорвав свою одежду, я обвязал рану куском материи, а потом стал почесывать грудь и спину льва. Лев поднял голову, посмотрел на перевязанную лапу и радостно побежал в том направлении, откуда пришел. Успокоившись и убедившись в своей безопасности, я собрал дрова, взвалил на спину и пошел своей дорогой. Не дойдя до селения, я увидел, что лев стремительно скачет по степи, вздымая клубы пыли, временами закрывающие его. Я испугался, что мне грозит беда, от которой я было избавился, что у льва обнаружилась другая, не замеченная мной рана и что мне до самого утра придется заниматься врачеванием. Хоть бы ночь была лунная!

Лев настиг меня в момент этих раздумий; через его шею была перекинута жирная овца, которая свесила голову и ноги, словно мертвая.

Лев бросил овцу к моим ногам и тут же исчез.

Я посмотрел — овца еще живая, на ней нет даже царапинки, она только чувств лишилась от страха. Я сразу заколол ее, боясь, как бы она не околела дорогой. Тушу я притащил домой и провел в довольстве несколько дней.

Смысл рассказа тот, что, если кто-нибудь станет покорно просить тебя, будь он даже враг, ты не должен отказывать. Если кто-нибудь окажет тебе благодеяния, то тебе следует отблагодарить его тем же или добрым словом, ибо, если ты не будешь выслушивать жалобы тех, кто зависит от тебя, и за добро будешь платить злом, дикие звери будут выше тебя.

Пишущий эти строки говорит:

Правдивый и великодушный муж тот,
Кто великодушен и к старому, и к юному.
Слон не сражается с комаром,
Лев тоже щадит бедняка.



Хачатур Абовян

РАНЫ АРМЕНИИ

(Отрывок из романа)

Была масленица. В тот год навалило много снега, и он лежал и на горах и в ущельях. Ясная морозная ночь так сковала землю, что она под каждым шагом на тысячу ладов трещала, скрипела, хрустела, звенела, издавала тысячу всяких звуков. Дрожь пронимала до костей. С веток каждого дерева, с крыши каждого дома свисали тысячи разнообразных ледяных сосулек, тысячи нагромодившихся друг на друга обледенелых снежных комьев.

Казалось, горы и ущелья только что зацвели или же едва успели отцвести: стоят на пороге смерти и осталось им лишь испустить дух и сказать миру свое последнее «прости».

Птицы, дикие звери, животные, гады — иные окоченели и попадали тут и там, а другие заблаговременно, за месяц вперед, забились в свои норы и там притаились, поедая потихоньку свои запасы, в ожидании возврата весны.

Реки, ручьи задернулись ледяным покровом толщиной в добрый гяз*, выросшим постепенно, пласт на пласт, и так сковавшим уста текучих вод и ключей, что, лишь стоя возле них, можно было расслышать глухой их голос,— он журчал грустно, уныло, то вдруг умолкал понемногу, немел, застывал.

В то утро, едва лишь солнце приподняло голову с ложа сна и взором окинуло мир, лучи его так засияли, засверкали, заблестали над горными вершинами и полями, так заиграли со снегом и льдом, смеясь, переливаясь зеленым и красным цветом, что казалось, алмазы, изумруды, яхонты и еще тысячи самоцветов рассыпаны по маковкам, излогам, склонам лугов и гор.

Холодная вьюга с горных высот, свирепый ветер из ущелий почуяли такую волю, так стали завывать, дуть, мести и взвихривать снежную пыль, что у путника коченели нос и зубы и кожа трескалась. Вьюга и ветер раздирали несчастному лицо, били его без устали по голове, по щекам, забивали ему глаза и рот. Многих сбрасывали в ущелья, где они и погибали. Иных, бездыханных, погребали под снегом, других сгоняли в сторону с дороги, с одеревеневшими ногами и головой, закидывали куда-нибудь в горы или долины и душили там, либо швыряли их умирать на острые камни.

В такой-то лютый зимний день, лишь только свет отделился от тьмы и восток зарделся зарей, канакерцы* проснулись, встали, умылись, пооткрыли ердыки*, перекрестились раза два, пожелали друг другу доброго утра, накрыли чем попало еще спящих детей и отправились каждый по своим делам.

Старики, еще расчесывающие на ходу бороды, старухи с чадрами под мышкой не спеша вышли из домов и, читая «Отче наш» или бормоча под нос «Отрекаемся», либо «Исповедуем», издали друг с другом здороваясь, многие с ковриками или шкурой в руках, чтобы на пол под себя подостлать, тесной гурьбой подошли к церкви и облобызали дверь. Пришли так рано, что и попа еще в храме не было; сказали звонарю, чтоб ударил в колокол, сами же, положив несколько земных поклонов, разостлали друг подле друга свои коврики — мужчины перед алтарем или между колоннами, женщины на задних местах — потом стали на колени и, принаклонясь друг к другу, начали беседовать про свои дела — что на селе, да как дома — справляться взаимно о здоровье, пока, наконец, не пришел поп. Зажгли свечи, лампы, где не было масла — пономарь подлил. Потом он накинул на попа ризу и в ожидании, когда явится второй пономарь и дьячки, тоже положил несколько земных поклонов, стал на колени, пропел псалом, сотворил молитву, оглядел хорошенько всех пришедших, у кого осведомился о здоровье, с кем потолковал о том о сем и стал глаза протирать, пока народу не наберется побольше. Вторым пономарь пришел, прочитали «Отрекаемся», причем головы накрыли шапками, а лицом обратились на запад; потом снова повернулись к востоку: начали «Верую», «Грешен», еще раз ударили в колокол.

Где не было колокола, там звонарь поднялся на крышу, на кизячный стожок, покричал оттуда — и обедня началась.

Поп с дьячком вели службу, народ клал земные поклоны; люди крестились, становились на колени, присаживались, а усердный, расторопный пономарь то подрезал свечной фитиль, то за-теплял лампаду или же, почесывая себе бороду, потирая лысину и позевывая, сновал взад и вперед по храму, либо заправлял ка-дило или хлопал по голове ребят, чтоб смирно стояли, не поднима-ли шума и не перебегали с места на место. Время от времени он доставал из кармана табакерку, встряхивал, сначала нюхал сам, чихал, крестился или же проклинал дьявола, потом, в знак ува-жения, угощал кое-кого из знатных сельчан, степенно отходил и снова становился на свое место, либо же исполнял приказания священника.

Между тем молодые парни, свободные от летних занятий — зимой тебе ни косить, ни молотить, ни сад прокапывать, ни лозу обрезать, ни солому свозить не надо, — потянулись разок-другой, потерли глаза и, еще не совсем стряхнув с себя сон, пошли в хлев задать сена скотине и лошадям, убрать под ними, а потом свести на водопой, почистить коней скребницей да и привести с песнями обратно, привязать и идти в дом.

Стыдливые молодки, подтянув до полнуса золотом расшитый ошмаг*, спустив вуаль и край лечака* ниже глаз, так, что лица их вовсе оказывались невидимыми, надев шелковую или синего хол-ста минтану*, нарядившись в канаусовую* или полотняную со-рочку, вчетверо или впятеро обмотав вокруг талии широкий ку-шак, легко и проворно, словно пташки, слегка попрыскали на лицо водицей, утерлись полою, и одна стала подметать пол, другая убирать двор, а третья уже высекла огонь из кремня, чтобы зато-пить тондырь* и, заготовив, что надо, расставить котлы и приго-товить пищу.

А молодые девушки дома расчесали себе волосы, заплели косы, закинули их за спину, надели остроконечные шапки с крас-ным верхом, накинули на плечи полотенца, положили на них кув-шины с заткнутым горлышком и пошли за водою для дома, потом, наговорившись друг с другом у воды, возвратились каждая к себе, опять-таки друг с другом по дороге беседуя и смеясь.

Солнечный луч проник в дом. Борей свистел, жужжал; выюга шипела, пыхтела, выла, забрасывала снег через окна, через ердык, набивала им глаза и уши.

Дети встали, впросонках расселись рядышком вокруг тондыря и, еще не умытые, топотали ногами о камень, о землю, лезли с ку-лаками на матерей, требуя хлеба.

Черный густой дым кизяка застилал входную дверь и ердык, обращая дом в целое дымное море, — глаз человеческий ничего различить не мог. Плач и хныканье детей выводили из терпения, от них сверлило голову. Тот ревел в колыбели, тот кричал под



одеялом, с глазами и ртом, полными дыма. Иные, не довольствуясь полученным куском, хныкали и клянчили еще — авось дадут, чтоб замолчали!

Бедная хозяйка не знала, чей рот рукой закрывать, чей насыщать жадный глаз, а сама то откроет глаза или рот, то закроет, — совсем из сил выбилась. Сколько она наглotalась дыма, сколько нанюхалась табаку! Чихала и кашляла так, что сердце к самому горлу подкатывало. Столько терла она глаза свои, столько лила горячих слез, что вовсе почти ослепла.

Столько топталась она из угла в угол, сгорбленная, словно в куриной слепоте, что не могла уже спины разогнуть. А тондырь все истовой разгорался. Котлы кипели, клокотали. Она еще разок прошла веником вокруг тондыря, навела чистоту, потом попробовала кушанья, посолила и стала ждать, когда ее домашние придут из церкви.

Но бог смилостивился: дым разошелся, ветер притих, кто по воду пошел — вернулись; и парни собрались, и солнце уже поднялось на добрую сажень, но, пока не пришли из церкви, пока не произнесли приветствия «Господи, помилуй», никто из домашних не смей и кроху малую взять в рот!

Еще восьми не было в то время, о котором я веду речь.

— Эх, то уж не заутреня для нас получается, а, по правде сказать, ослиная свадьба!.. — заговорил Агаси, старшой Оганнэса, сельского старосты, и, раз открыв рот, стал бормотать про себя, ворчать, что оседлал, мол, своего серого, приготовился выехать на сегодняшнюю джигитовку, собирался наскоро закусить чем попало, вскочить на коня и поскакать с такими же парнями, как он сам, погулять с ними, как им по душе. — Чего тянут без толку, будь они неладны, хвост вытягивают? Положил два-три поклона земных, перекрестился разочка два — и готово; облобызай церковную дверь — да и домой, займись каждый своим делом.

И зачем это нужно? Вцепились в церковь, как в конский хвост, не дожدهшься. А ты знай рот открывай да закрывай, пока не скажут тебе: «Будьте благословенны», — тогда и хлеба отведай. Вот тебе крест, эти старики да старухи чем старше становятся, тем у них разума меньше. Хочешь сердись, хочешь — воду студеную пей. Хоть помри, а дожидайся, когда отмолятся, придут, скажут «Господи, помилуй», тогда еще, может, кой-чего перепадет. Не глядели бы глаза, все нутро сохнет. Ведь нынче и жертву не резали, стало быть, и с паперти не раздают. Есть еще смысл там канителиться, ежели б хоть глаз чему-нибудь порадовался, рот бы хоть вкус мясного почуял, нос бы его запах нюхнул.

Попы сегодня что-то больно ретивы — им разве дело, что волк овцу утащил? Меры не знают: хорошо ли, плохо ли — знай мелют, а не то чтобы приподнять рычажок — зерно-то и посыпалось бы, глядишь, поскорей и каждый бы уж дома был.

Им и в голову не приходит, какой нынче день. И кто это уста-

новил такие порядки? Будь помянут добром отец его, а про самого что сказать? Видно, вместо хлеба он сено жевал, вот оно что!..

Животы подвело — вишь как урчит, — а ты все ж таки жди, томись, пока служба отойдет и наступит для брюха рай небесный...

— Да ну тебя совсем! Что с тобой? Лучше потерпел бы немножко да придержал язык! Чего ты с самого утра ему волю даешь? Авось в животе у тебя не пожар, не сгоришь, не испечешься! — сказала мать, сердясь. — Точно все на свете пропало, а ты один остался. А мы, по-твоему, не люди? Нас, по-твоему, не бог создал? Из земли мы, что ли, выросли? Ох-ох-ох-ох!... Нынешние парни вовсе с ума посошли, на привязи держать их надо. Старших не уважают, не ценят ни веры святой, ни могущества церкви божией, ни молитвы. Бог за то на нас и разгневался, оттого и сыплются на нас беспрестанные бедствия. Каждый своего коня погоняет. Еще молоко на губах не обсохло, ходить еще не умеет, а уж ногу закидывает, — нет, не потерпит этого бог. Встал с постели, так перво-наперво бога прославь, осени лицо свое крестным знаменiem, о душе помысли, а потом и делай, что хочешь. Авось с этого не треснешь. Та, та, та... Избави бог от нынешних детей. Позволь им, так они весь мир разрушат. Хорошо еще, бог терпит такое беззаконие. Будь я на его месте, не потерпела бы!..

Агаси был покорным сыном. Матери он ни слова не сказал, смолчал, однако и ее слова пропустил мимо ушей. У него земля под ногами горела. Сердце готово было через рот выскочить.

Агаси был крестьянский мальчик, вырос на селе, в церковь он почти никогда не ходил, молитв не слышал, жил себе на здоровье в лугах да в горах. Один раз на пасху да раз на рождество он, правда, — да ослепнет сатана! — слушал колокол и обедню — но какой с этого прок? Ни сердце, ни душа его на это не отзывались. Для него что церковная служба, что волчья свадьба — всё было равно. Ни слов он не разумел, ни значения молитв, а когда клал земные поклоны или стоял на коленях, так спина болела, и ноги тоже. Подождет если под себя ноги, сядет — устает, а на ногах стоять — никакого терпения не хватает. Нередко поневоле выходил на церковный двор, садился там на плиту надгробную, высыпался всласть и шел обратно в церковь.

А то иной раз придет, когда все уже кончено, возглашают уж «Будьте благословенны». Так ничего: раза два перекрестится, приложится к церковной двери — и домой.

Ну а мы разве не то же самое делаем? Чего же удивляться неотесанному мужику или смеяться над ним? Ведь и попы-то сами в ином месте черного от белого не отличат.

Бывало, при чтении Евангелия поп тысячу раз очки поправит, а то на дьячка либо на пономаря сердится; аналой* к самой груди придвигает; или же потеряет в книге главу или страницу и возьмет в руки свечечку, или же бьет псаломщика по голове, чтоб тот свечку прямо держал.

А частенько к тому же попадалось, откуда ни возмись, какое-нибудь слово такое плохое, неудобоваримое, затруднительное, наимудреннейшее, что сам черт ногу сломит! Оттого ли, что поп больно уж нагибался или свечу чересчур близко держал, книга нередко загоралась, а то и борода.

Однако подобные слова были у них на примете: как только к ним подступят, так либо вовсе обойдут, либо одну букву выговорят, другую проглотят. Случалось, что увидят «свт» а прочтут не «свят», а «сват»; или стоит «гд» — «год», а прочтут «гад». Ну а молящийся либо клянет попа, либо вовсе слушать перестает.

Когда же недоставало какой-нибудь буквы, то — не приведи бог! — и народ, и поп, и дьячок — все голову ломали; из каждого уст свое слово вылетало, — надо в зурну дуть, а они в бубен бьют, чтецу вместо свечи рипиду* или метлу суют. Тут уж кто печатника славословит, кто переплетчика расхваливает. В конечном итоге не столько люди за спасение души своей бога благодарили, сколько за избавление от книг, от святого то есть Евангелия. А уж если в то время случалось присутствовать иеромонаху, то не приведи бог — так и застревал осел в грязи, у чтеца и ноги и руки дрожмя дрожали и язык вовсе отнимался.

Удивляться, впрочем, тут нечего: что им делать, беднягам? Школ в деревнях нет, в городе порядочного учителя не найти, а у многих вдобавок, пошарь в животе, так ни аза не отыщешь. И то уж много, что хоть кое-как черпают воду из посуды, все-таки дело свое делают, справляют церковное богослужение. Все мы хорошо знаем, на ком тут вина, но сейчас не время об этом заговаривать, потом скажу. Разумеющий уразумеет, может, и в затылке почешет, да только с того сыт не станешь. Лучше бы, не откладывая, дело налаживать, не повторять: «Завтра, завтра!..» Завтра такой же день, как и сегодня. Пока будем откладывать, волк всю скотину перетаскает. У кого есть уши, да слышит, а не то, смотри, о камень споткнешься!*

Наш Агаси, чтобы сказать правду, кроме того, три-четыре раза в год причащался, исповедовался, постился, от пищи воздерживался, участвовал в жертвоприношении пасхальном, возжигал ладан и свечи. Все грехи свои, бывало, попу на шею навяжет, а сам рот утрет и руки умоет, да и станет себе в сторонку. Но только, исполнив, что долг требует, ни в чем он не менялся — по курдской поговорке: «Подпасок был — подпасок и есть». Та же вода, та же мельница: и в мозгу не прибавилось, и во рту не сладко. И дорогу в церковь, и ладан, и свечу вовсе, можно сказать, позабывал. Знал только обычай. С тех пор как прозрели глаза, знал, что в кануны великих пяти праздников не следует вкушать мяса, что нужно ходить в храм божий, поститься, причащаться, служить обедни, устраивать трапезы поминальные, святить могилы. Другие делали — и он делал: кормил нищих, нередко приглашал священника и поминал души усопших своих родственников.

Все эти обычаи — прекрасные обычаи, несравненный закон, всё это — святое богопочитание и человеколюбие. Дай бог, чтобы каждый народ обладал теми чертами добродетели, коими отличены избранные среди наших армян, но Агаси часто на то именно и злился, что не растолковывали ему, в чем сила всего того, что, по обычаю, выполнялось.

Выходил он в поле, видел хлеба и плоды, деревья и цветы луговые, видел в небе сияние ясного солнца, месяца, звезд, и часто душа его воспаряла, ум возлетал, нередко очи наполнялись слезами, он останавливался как вкопанный, и казалось ему, что привели его в рай небесный. Он раскрывал объятия свои, обнажал голову, обращал взоры к небу, либо окидывал ими землю, вздыхал, и хотелось ему воскликнуть: «Ах, кто же ты, кто? Слава тебе, господь-создатель, столько благ для нас сотворивший! Ах, зачем ты святого лица своего нам не явишь, чтоб могли мы припасть к ногам твоим, наше сердце и душу в жертву тебе принести! Как могу я сказать, что прекрасна только земля, украшенная тысячью цветов и растений? Как же промолчать мне о небе — не оно ли дарует мне свет дневной, выращивает плоды на полях моих, от глаз моих отгоняет тьму и, возвышаясь над головой моей, подобно шатру, посылает дождь, или солнце, чтоб мог я жить, вскармливать детей, быть полезным миру, — дабы по кончине моей люди могли прийти ко мне на могилу, помянуть простым словом и помолиться за упокой моей души? Ах! Господи, царю небесный! Каждый раз, лишь открою глаза и увижу творение твое, сердце мое превращается в огонь, глаза — в слезное море, уста немолвствуют, я весь пламенею, в жару, но диво: не сгораю в том огне, в воде той не утопаю. Блуждающий взор мой перевожу с куста на куст, с горы на гору. Взгляну ли на корни древесные или на горную маковку, очи мои мутятся, помрачаются. Прошуршат ли древесные листья, пролетит ли птица, журчит ли родник, или соловей поет, дует ли ветер, ложится ли роса на лицо мое, загремит ли гром, польется ли дождь, мнится мне чей-то голос, чья-то рука, чья-то душа незримая, взывающая ко мне, манящая меня, радующаяся обо мне, и будто говорит: «Вкушай все сие, земнородный человек, будь добр, твори добро, познай величие и попечение создателя, плодоноси, как дерево, благоухай, как цветок; порождай ключи, как гора; злаки, как поле; хлеб, как земля; свет, как небо; наслаждайся господними благами, и другому уделай долю; увидишь бедняка — накорми его, насыть; летит ли над тобой птица — покличь ее, дай ей зерна; будь щедр — щедро вознагражден будешь и познаешь на земле счастье».

Ах, все я сделаю. Жизни ли моей пожелают — не пожалею и жизни своей. Но господи боже милостивый, что будет, если эта душа незримая вдруг — хоть раз один — появится мне, чтобы мне не сгореть, не истосковаться, не истомиться от любви к ней? Ежели б хоть в сновидении увидел я однажды образ ее, в сердце моем

не осталось бы горя, и я столько бы не жаждал, столько бы не страдал.

Ежели ты посылаешь ее в мир, о господь мой и создатель, зачем повелеть не хочешь, чтобы она хоть на день, на день лишь один, ах, на минуту, на одно хотя бы мгновение показала мне, чтобы увидел я ее, утолил бы сердце и снова стал бы творить, что она внушает; вынул бы кусок изо рта и дал есть другому, снял бы с себя одежду, покрыл бы чужое тело, дабы отец и мать мои возрадовались сердцем и сказали, что бог дал им хорошего сына, к их наставлениям не забывчивого, следующего по пути добра, поступающего, как они говорят...»

Так думал, выходя в поле, наш простодушный Агаси, и сердце его надрывалось. Возвращаясь из церкви, он благодарил господа бога, что служба скоро кончилась, что пришел он домой, что отдохнет немного и пойдет снова в поля — и там опять раскроется сердце его, опять услышит он тот голос прекрасный и станет делать свое дело.

Нередко приходил он из церкви рассерженным, протягивал ноги в углу или под курсою*, недовольно ворчал, жаловался, что в церкви, на исповеди, его о таких вещах спрашивали, так оскорбляли его сердце, что и во сне не приснится.

«Ты, брат, сперва пособи мне в том, что я наделал, а потом и спрашивай обо всем другом, — частенько говорил он в сердцах. — Сколько ни говори, все-таки битых два часа заставляют на коленях стоять, надоедают: скажи, мол, да скажи... А что мне сказать, коль я ничего такого не сделал? Что? Ты сделай так, чтоб у меня сердце хоть немного освежилось, а лицо согрелось. Какая тебе польза, что я много наговорю? Я и так делаю тебе уважение, виду не показываю. Что же? Так всё и выговаривать, что на язык взбредет? Ты такое спрашиваешь, что во мне сердце трепещет, — камень и то таких слов не выдержит. И как это в святом божьем храме о подобном спрашивать? Об этом и в пустынном поле говорить нельзя — ветер, гляди, подхватит да до чужого уха донесет. И дома нельзя говорить — ни-ни, — стены содрогнутся.

Я своим коротким умом так рассуждаю: человек на исповеди сам должен подумать о мерзости своего прегрешения, о содеянном им зле, посожалеть о нем, раскаяться, попросить у бога даровать ему отпущение, чтобы он больше того не делал, дать силу, чтобы не сбивался он с пути, чтоб был добрый.

А если эдак насиловать, наваливать на человека бремя, наполнять ему слух такими вещами, без отклика в сердце — что ж из этого получится? Ничего! Ну, бейся целых пять дней головой об камни, постись хоть круглый год, да если сердце твое не чисто, какая от этого польза? Сделал ты мне, скажем, что-нибудь плохое, так должен сам сердцем постигнуть, сам раскаянье почувствовать, а от того, что другой тебе подскажет, ты все равно своего желания, намерений своих не оставишь. Коли стал на колени перед попом,

покаялся в грехах, так должен так встать, чтобы совесть твоя была спокойна, чтобы слова его тебе в голову влезли, а коли ты с тяжелым сердцем пошел да с тяжелым и встал — какой от этого прок?

Беда, да и только. Схватят за ворот и не отпускают. Как подходит день исповеди, видит бог, дрожь всего пробирает. Всю посуду, можно сказать, перебиваю, весь свой мозг выжимаю да процеживаю, все хочу высмотреть, что я такого натворил, чтобы самому сказать, не заставляя его спрашивать. Не грабил, не убивал, чужого хлеба не отымал. Богу это известно. Воровства, злодеяния всякого, непотребства и в мыслях нет. Сколько под солнцем, под дождем на коленках наползаешься! Утром уйдешь в поле, вечером придешь, никому дурного не желаешь — какой там грех? А они долбят: скажи да скажи! Сам я знаю, что не человек, а греха мешок, от них от самих отчета потребовать надо. Сами они на нас бремя наваливают, сами нас грешниками делают.

Верно сказано: кто век над книгой корпит, у того мозг в костях жидкий, в голове ума нет, а то еще, пожалуй, обасурманится. Грамотеи мир построили, грамотеи же и развалят. Врагу не пожелаю, чтоб он к ним в руки попал: живьем съедят. Всего от них жди. Евангелие читают, обедню служат, а сами нам говорят: «Поступайте, как мы учим, а на дела наши не смотрите». А как же не посмотреть? Я авось не слепой, слава тебе господи! По какому пути ты идешь, по тому же пути и я должен идти с тобой вместе. Ты иди прямо — и я пойду прямо: силком ведь не заставишь. Сам ты, как рак, вкривь ползешь, а с меня требуешь, чтоб я криво не шел. Ты сперва сам делай, потом меня наставляй. Я тоже знаю, что бог дурного не любит. Уж коли я — прах земной — дурное ненавижу, станет ли его бог терпеть? Есть у тебя что сказать — скажи, а нет, так не тебе и караваны грабить. А то сядут, говорят долго, длинно, вещей поминают тысячу, чудес тысячу порасскажут, а содержание — пустота, семь горошин, ни соли, ни приправы.

Ведает Христос, я у дерева да у поля своего больше поучаюсь, чем у них. Слушай: денег захочешь — дам денег; нет денег — голову продам, тебя поддержу, ты только мне такое скажи, что в моей бы голове уложилось. Если на зов мой поспешишь мне на помощь, тогда, хоть души моей пожелай, не откажу, вот увидишь.

Ну, да об этом — мимо. А вот хоть бы наш священник Маркос: закинет ризу за плечо, подберет штаны и бегаёт с утра до вечера по улицам, шлепая туфлями или кошами* стуча, подергивая плечами, с посохом, четками своими крупными погромыхая, все рыскает, не посчастливится ли где на покойника или на крестины, не пахнет ли пловом с бараниной, ягненком жертвенным, — и уж он тут как тут: чихает, кашляет, хлопает себя по ляжкам, по голове, сокрушается, а смотришь, он уж дверь высадил да и ворвался; стал, как ангел смерти, возле тондыря. Никто не приглашал, сам сел, спросил себе водки, закуски — можно подумать, что половину души умершего самолично взял из греха вытянуть. Еще саван

не сшит, и покойника-то еще не обмыли, а уж он спешит потребовать плату за похороны и что́ ему полагается из вещей скончавшегося. Бог не стерпит! Слушай, ты сперва подойди, возьми меня за руку, отечески меня ободрь, утешь ласковым словом, а потом бери и душу мою: коль не отдам, будь я наказан.

Ежели у кого званый обед, он сам садится во главе стола, ест за пятерых. Как почует запах бурдюка, начинает у него в брюхе урчать. Ну что ты за человек после этого? Не помрешь же ты с голоду, чтоб тебя и так и сяк! До чего себя допускаешь? Ведь брюхо твое не преисподняя, чтобы все на свете поглотить! «Гора да ущелье — брюхо поповское» — правильно сказано. В уста того облобызать, кто эти слова сказал. В Евангелии надо бы их на полях написать, чтоб они читали и разумели. Того гляди, и нас живьем съедят. Ребята наши пастухами заделались, гуляют себе, никто о них не заботится. Хоть бы азбуке, хоть бы каракулям их научили. Нет, только о себе самих думают. Так ведь нельзя...

Правда, я читать-писать не учен. Ослом родился, ослом и вырос. Почем я знаю, какой такой поп, какая такая церковь? Эдакие мудреные вещи в мою толстую голову не лезут. Не лезут, да и только, хоть тысячу лет мне тверди, хоть помри я, тресни, хоть ноги об камни обей! А вина на том, кто не научил меня читать. Но дело не в одной только грамоте. Говорите, что хотите, но я своей неотесанной башкой так сужу: поедать кривдой нажитое добро да спать целый день в праздности, — это нечестно. Человек должен сам работать, чтобы честно хлеб есть».

Кто слушал Агаси, мог бы, пожалуй, подумать, что он какой-нибудь сумасброд, бездушный, безбожник, человек, отрекшийся от своей веры, ежели так побивает камнями, так осуждает жалких наших книжников, забывая о том, что они вкушают животворящее тело и кровь Христову, — да пребуду рабом святой силы их! Они властители душ наших, они очищают и избавляют нас от грехов. Им дарована власть на земли и на небеси, им дано открывать и закрывать перед нами двери рая. Если бы их не было, наши души в аду, в жарком углу огня вечного, мучились бы и мучились и чертям бы достались на долю. Если при переходе через мост волосяной не будут они держать нас за руки, мы сверзнемся в пропасть и каждый кусок тела нашего попадет в когти тысяче чертей. Что хочешь говори, что хочешь делай — некому тебя за руку держать! Каждый сам себе хозяин. Но тому, кто о подобном заговорит, зубы надо выбить, чтоб образумился.

Что поделаешь? Деревенский осел, с толстой головой, с жидким мозгом, грубый, неотесанный, не видал он ни учителя, ни школы. Одна была у него школа: убирать навоз из-под лошади, держать рукоятку у плуга, поле пахать да садовничать, — больше ничего он не знал. Ежели человек ест, не умывшись, месяц за месяцем, день-деньской в поле да в хлеву, что с него спрашивать, что обижаться и обращать внимание на слова его? Что мужик, что

животное дикое — все одно. Ежели человек не знает, как надо креститься — к груди ли сперва приложить руку или ко лбу, справа налево, или слева направо, ежели он за целый год всего раз пять побывает в храме божием, кто на его рыло смотреть станет.

Может быть, причиной всего недовольства Агаси была масленица и то, что служба церковная так сильно затянулась. Может быть, думал он, что его сверстники, другие деревенские парни, уже готовые, на конях и со щитами выехали в поле, а он опоздал. Может быть, именно поэтому так взывал он к справедливости, роптал, разглагольствовал, брал грех на душу — до этого дня ни отец, ни мать голоса его не слышали. Ежели такова была причина, можно и забыть его безумные речи, простить его, но всякому другому, кто говорит такие нелепости и пустословит, надо залепить рот глиной, чтобы знал меру.

Итак, пусть тот, кто слышал Агаси, не гневается и не поднимает руки, чтоб ударить его по губам. У других язык и позлей бывает. Но редко у кого такой добрый нрав, доброе сердце, такая душа, как у Агаси.

Он был уже не мальчик, ему было за двадцать лет, но перед отцом и матерью держал он себя, как невинный ягненок. Не было такого дня, чтобы он в чем-либо их ослушался, чтобы сказал кому-либо неприятное слово. Когда глаза его встречались с их глазами, он тотчас улавливал родительские мысли и из кожи вон лез, чтоб исполнить их волю.

Все односельчане на него радовались, все клялись его головой. Восхищались им, хвалили его, благословляли. Если с кем-нибудь приключалась беда, если кого-нибудь постигало горе, он забывал самого себя, спешил прийти на помощь. Кусок изо рта вынимал и отдавал другому. Не столько охранял свое собственное добро, свое поле, свою скотину, сколько имущество соседей. Будучи сыном старосты, был он другом нищих и малоимущих.

Заходил ли сирота в их дом — он расстилал скатерть, открывал кошелек; если у кого-нибудь не было плуга — он предоставлял свой, не было быка или подпaska — посылал своих. Если у кого-нибудь не доставало денег, чтобы нанять работников обрезать лозы, вскопать, или закопать, или же откопать снова по весне, он сам брал на себя почин, собирал деревенских парней и являлся без зова, без просьбы, делал там дело, и хозяин, придя в свой сад, изумлялся, молил о ниспослании ему счастья в жизни, ибо, если в нашей стране не закопать вовремя виноградные лозы, то они все погибнут. Многие родители завидовали его родителям, видя у них такое доброе дитя.

Где случалось какое-нибудь сборище или расстилалась скатерть, он всегда был впереди всех — веселил и развлекал.

Отменный рост его, черные-расчерные очи, брови, словно пером очерченные, лицо красоты бесподобной, сладкая его речь,

приятный голос, широкие плечи, высокое чело и золотистые кудри всякого сводили с ума; кто посмотрит — изумится, и нет глазам насыщения.

Когда брал он в руки саз*, в тот же миг камни, деревья — всё начинало дышать, одушевляться, говорить.

Правда, от солнца лицо его загорело, утратило свой нежный цвет, но, когда он смеялся, когда раскрывал глаза и подымал брови, казалось, распускается роза; от лица его исходило сияние.

Пуля из его ружья никогда не знала промаха. Сердце у него было столь доброе, что он понапрасну не убил бы птицы, не задавил бы и муравья, но разбойники-враги день и ночь угрожали сельчанам, и если случалось, что они забирались в сад, чтобы убить его или его соседа, тогда, где бы он ни был, хоть на самом небе, являлся в ту же минуту; стоило позвать его с другого конца села, он мгновенно был тут как тут, и если словами не удавалось уладить дело, тогда показывал свое умение владеть шашкой, ружьем и руками, и враг смирялся, как побитая кошка, или же попадал в давяльный чан, где его и хоронили, и концы в воду, ибо тысячу раз было испытано и замечено, что пока вора-неверного не побьешь, он тебе другом не станет.

Такая была у него сила, что он хватал взрослого мужчину за пояс и подымал, как цыпленка, выше головы: повертит, бывало, и вновь опустит. Когда садился на коня, то стоило ему поднять руку, как лев-конь сам сгибался и подставлял спину. Пять человек могли на него напасть, а все не скрутили бы могучих его рук. Одним ударом шашки рассекал он шею буйволу или быку, да так, что кончик лезвия врезался в землю. Часто одной рукоятью шашки отгонял он прочь двадцать разбойников. У них при одном его имени все печенки отрывались. Возникала ли драка, сколь часто при одном звуке его голоса дерущиеся разлетались, как мухи, рассыпались в разные стороны, с глаз долой.

Ему дали прозвище «аслан баласи» (сын льва). Если б пустить его к разбойникам и грабителям, даже связанного по рукам, и то остался бы он цел и невредим.

Но при таких удивительных качествах все же бывал он с детьми — ребенком, со взрослыми — взрослым.

Он так стоял перед ханом или шахом, так держал им ответ, словно рожден был царским сыном. Никогда не исчезали с его лица смех и радость, так чисто было его сердце, так безмятежна совесть, так праведна душа. Каждое слово его было что бесценный алмаз.

Многие матери мечтали взять его в зятя и окружить заботой. Молодые девушки, услышав голос или одно даже имя его, готовы были душу ему отдать. Сплошь да рядом, когда, идя за водою или стоя на крыше, видели они шедшего мимо Агаси, они думали, что это проходит ангел, и замирали, очарованные. Слыша его голос, видя стройный его стан, все загорались, теряли рассудок,

готовы были душу свою вынуть и ему отдать. Когда пели «джан гюлум»*, ворожили или гадали, он один бывал у всех на уме. Его одного видели во сне и просыпались, ахая и охая от любви к нему.

Ежели какой-нибудь из девушек перепало из его рук яблоко или роза, она хранила их за пазухой, если даже они уже гнили или засыхали, — засыпая, клала на подушку, просыпаясь, нюхала, прижимала к груди и к лицу. Когда он бывал где-нибудь в гостях, то с тысячи мест, сквозь щель в стене, с порога, из-за угла, очи девичьи только на него и глядели. Не каждая ли желала тогда, чтобы рука Агаси коснулась ее руки, дыхание его слилось с ее дыханием либо шашка его вонзилась ей в сердце, чтоб поскорей стала она ему жертвой, чтоб Агаси похоронил ее, чтоб сердце Агаси о ней болело, чтоб слезы Агаси над ней проливались. Но увы! Агаси давно уже исполнил свое заветное желание, а их мечтам суждено было при них оставаться. Все село такую пылало к нему любовью, что даже песню о нем сложили — сами пели и детей учили:

Джан*-Агаси, ты наш венец,
Глаз от тебя не отвести.
Свет обойди с конца в конец —
Нигде такого не найти!

Мы рады жизнь тебе отдать,
Тебя лелеять, ангел наш,
Мы будем и в гробах взывать,
Тебе всю душу предавать.

Ты небу свет и блеск даешь,
Цветам — их душу, аромат.
И если мимо ты идешь,
Все горы кланяться спешат.

Твой саз услышав, соловей
И роза плачут, полюбя,
И бьют себя по голове, —
Им горе, если нет тебя.

Пока мы живы, свет ты наш,
Над нами кров всечасно твой,
И мертвым ты покой нам дашь,
К нам на могилу став ногой.

Украсить дом таким сынком
Завидно было б и царям,
И в прах при имени твоём
Свирепый враг сотрется сам.

В лучах лицо твое светло,
Ты солнцу мил, наш дорогой,
И облака, раскрыв крыло,
Твоей любуются красой.

Из дома ли выходишь ты,
Все очарованы кругом,
А если речь заводишь ты,
Все шепчут: «За тебя умрем!»

Пером писалась бровь твоя,
Чинаре твой подобен стан.
Все в восхищенье от тебя,
Сюда, сюда, скорее, джан!

Однако, что бы ни делал Агаси, дома он вел себя как настоящая молодница. Правда, на сей раз малость разошелся, но и то по случаю масленицы.

Ключи от винного погреба, а также и от кладовой были в кармане у матери. А она все упорствовала, все упрямылась: пока не кончится церковная служба, хоть помри, капли воды не даст. Молодая его жена уж и так и эдак старалась, но что могла она поделать? От нее, бедняжки, ничего не зависело.

Неумолимая свекровь ни на кого не смотрела, никого не слушала. Все собственными руками приготовила: водку, вино, курицу, яйца, баранину, но, пока не пришли из церкви, горе тому, кто, проходя мимо, до чего-нибудь пальцем дотронется!

Пировать собирались в теплой оде*, при доме. Навели порядок, разостлали ковер, затопили бухару*, подмели во дворе и в доме: сегодня приглашены были сюда сельские старейшины: каждый по очереди угощал других день за днем всю масленицу — так уж было заведено.

Агаси поставил человека на крышу, и тот давно следил, когда же, наконец, выйдут из церкви. Как только слуга завидел белые чадры женщин, он поспешно вбежал в дом и обрадовал молодого хозяина.

Но мать стояла на своем, поступила-таки по-своему: не дала Агаси даже пошевелинуться, пока бабушка Сарахатун не вернулась домой, не отложила в сторону свой Псалтырь и чадру, не сказала всем вообще «господи помилуй» и не оделила всех просвирой.

— Да не прогневается на вас бог, вы мне всю душу вымотали, замучили вконец, — пробормотал Агаси, положил в рот кусочек просвирки и, не дожидаясь прихода гостей, выскочил из комнаты и исчез за порогом.

Добрый конь, видно, за честь себе почитал держать на спине такого наездника. Не успел Агаси коснуться ногою стремени, как

конь согнулся и начал игриво мотать головой, бить копытами землю, высекать искры подковами, ржать, фыркать — и так сорвался с места, словно крылья у него отросли.

Товарищи Агаси тоже собрались вместе и все приготовили: ждали своего старшего, однако начинать пир не осмеливались, видя, что почтенные старейшины по выходе из церкви все еще стоят посреди села, беседуют, толкуют каждый о своей злобе днёвной.

— Никак-то не уберутся эти старцы беззубые, не дают нам старикашки успокоиться и за свой пир взяться! — сказал один, в сердцах скрежеща зубами. — Сами ишь одряхлели, молодость свою забыли, вот и не хотят того, чтоб и мы пожили в свое удовольствие!..

Но староста Оганнес, человек опытный, искушенный, с бородой и волосами, поседевшими от тысячи всяких злоключений, тысячу раз побывавший во всяких переделках, стоял степенно, гордо и наказывал сельскому рассыльному, что, буде появится какой тюрк, он бы его свел куда-нибудь и угостил, да чтобы за собакой хорошенько присматривал — не укусила бы кого. Потом, забрав с собой попа, все вместе двинулись к его дому.

Как только они удалились, так для наших молодцов и звезда блеснула.



Ованес Туманян

ХОЗЯИН И РАБОТНИК

Жили-были два брата-бедняка. Думали они, думали, как им быть, за что приняться, чем семью прокормить, и порешили: младший дома останется, а старший наймется к богачу в работники и будет заработок домой присылать.

Так тому и быть.

Старший нанялся к богачу. Работать уговорился до весны, до того времени, как закукует кукушка.

Хозяин сказал:

— Коли ты до срока на что-нибудь рассердишься, уплатишь мне тысячу рублей, а если я рассержусь, я заплачу.

— Да у меня нет тысячи рублей, откуда мне их взять?

— Не беда: не уплатишь, так отработаешь даром десять лет.

Парень сначала испугался — очень уговор был странный, но подумал: «А что может случиться? Пусть делает, что ему вздумается, не стану сердиться, и все тут. А если он рассердится, пускай сам и платит по уговору».

— Ладно, — говорит парень. — Согласен.

Договорились, и стал бедняк у хозяина работать.

На другой же день спозаранку поднял хозяин работника и послал его в поле хлеб убирать.

— Ступай,— говорит,— коси, пока светло, а как стемнеет, домой приходи.

Работник косил весь день и вечером воротился усталый.

— Ну нет, так дело не пойдет! Я тебе говорил: коси, пока светло. Хоть солнце-то зашло, зато братец его — месяц — взошел. Разве он хуже светит?

— Как же это так? — удивился работник.

— Гм! Ты уже сердишься? — спрашивает хозяин.

— Нет, я не сержусь. Говорю только, что устал, отдохну маленько... — пробормотал, испугавшись, работник и снова поплелся в поле.

Стал он косить и косил, пока месяц не закатился. Но только месяц закатился, опять показалось солнце. Обессилел работник, с ног валится.

— Провалиться бы твоему полю, и харчам твоим, и жалованью! — начал он ругать хозяина.

А хозяин тут как тут, точно из земли вырос:

— Эге, да ты, никак, сердишься? Коли сердишься, помни наш уговор. Не говори потом, что я с тобой не по закону поступил.

И вот, по уговору, заставляет он работника или уплатить тысячу рублей, или работать на него десять лет совсем даром.

Как тут быть работнику? И тысячи у него нет, чтобы хозяину отдать, и работать у такого человека десять лет тяжело.

Думал он, думал да и выдал расписку на тысячу рублей, а сам, понурый, с пустыми руками, воротился домой.

— Ну, как дела? — спрашивает младший брат.

Тут старший рассказал все, что с ним приключилось.

— Не беда,— говорит младший брат,— не горюй. Теперь ты дома оставайся, а я вместо тебя пойду.

Снарядился он, пошел и нанялся к тому же самому хозяину. Богач опять срок назначает: до первого кукованья кукушки. Если работник рассердится, уплатит ему тысячу рублей или будет работать на него даром десять лет. Если хозяин рассердится, он те же деньги уплатит работнику, и тому вольно будет идти куда захочет.

— Нет, мало мне этого,— говорит парень,— если ты рассердишься, уплатишь мне две тысячи, а я рассержусь, так я тебе две тысячи уплачу или отработаю даром двадцать лет.

— Ладно,— ухмыльнулся хозяин.

На том и договорились.

Вот утро уж занимается, а работник и не думает вставать. Хозяин то войдет, то выйдет, а работник все не шевелится.

— Вставай, паренек, полдень скоро.

— Гм! Ты что — сердишься? — приподымает голову работник.

— Нет, не сержусь! — испуганно отвечает хозяин. — Я только говорю, не пора ли нам в поле.

— Ну, если так — пойдем потихоньку, спешить некуда.

Наконец работник поднялся и стал надевать лапти.

Хозяин входит, опять выходит, а тот все с лаптями возится.

— Пошевеливайся, паренек!

— Гм, да ты, кажется, сердишься?

— И не думаю. Я только хотел сказать, не опоздать бы нам на косовицу.

— Это дело другое, а уговор уговором.

Пока работник лапти обул, пока добрались до поля, уж и за полдень перевалило.

— Время ли теперь косить? — замечает работник. — Видишь, все обедать садятся. Пообедаем и мы, тогда и за дело.

Пообедали. Работник и говорит:

— Люди мы рабочие, надо вздремнуть маленько, сил понабраться, не так ли?

Уткнулся лицом в траву и проспал до вечера.

— Послушай, вставай! Стемнело, все уж косить кончили, одно наше поле не убрано, — говорит хозяин. — Шею сломать бы тому, кто тебя прислал! Стань тебе хлеб поперек горла! Провались твоя работа!.. Ну и попал я в беду! — сердится хозяин.

— Гм! Никак, сердишься? — приподымая голову, спрашивает работник.

— Да нет, не сержусь. Я только к тому, что стемнело, домой пора.

— Это дело другое. Пойдем. Уговор-то помнишь? Беда тому, кто рассердится.

Вернулись домой, а там гости. Послал хозяин работника овцу зарезать.

— Которую?

— Какая попадетсЯ.

Пошел работник.

А вскоре слышит богач, кличут его: беги, дескать, скорее, работник все твоё стадо перерезал. Прибежал хозяин — и впрямь: перерезал работник всех овец. Схватился богач за голову и ну голосить:

— Упади на тебя твой кров, окаянный! Что ты наделал? Разорил ты меня вконец!

— Ты сам говорил: режь, какая попадетсЯ, а они все под руку подвернулись, вот я всех и перерезал, — спокойно отвечает работник. — А ты, я вижу, рассердился.

— Нет, не рассердился, а жалко мне: сколько овец зря зарезал!

— Ладно, коли не сердишься, буду служить.

Тут хозяин начал придумывать, как бы избавиться от такого работника. Уговорились до первой кукушки, а зима только начинается, еще далеко до весенней кукушки.

Думал, думал хозяин и вот что надумал: привел свою жену в лес, посадил ее на дерево и велел куковать. А сам воротился и говорит работнику: пойдем, мол, в лес, на охоту.

Как подошли к лесу, хозяйка и принялась куковать: «Ку-ку! Ку-ку!»

— Ого! Поздравляю тебя! — говорит хозяин. — Кукушка прилетела, срок твой кончился.

Парень сейчас же смекнул, в чем дело.

— Нет, — говорит, — тут что-то не то. Слыхано ли, чтобы посреди зимы кукушка куковала? Надо эту кукушку подстрелить — поглядеть, какая такая она, кукушка!

Сказал да и прицелился.

Хозяин как закричит — и бросился к нему:

— Не стреляй ты, бога ради! Будь проклят день, когда мы встретились! Эку беду я на себя накликал!

— Да ты, никак, сердишься?

— Да, да, братец, будет с меня! Пойдем, уплачу тебе деньги да избавлюсь от тебя. Мой был уговор, я и поплатиться должен. Теперь только я старинную поговорку-то понял: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь».

Так поумнел богач, а меньшой брат разорвал расписку старшего, получил сверх того тысячу рублей и домой воротился.

ГИКОР

1

В доме крестьянина Амбо́ шел спор.

Амбо решил своего сына, двенадцатилетнего Гикора, взять в город, к делу приставить, чтобы человеком сделался, работе какой-нибудь выучился. Жена не соглашалась.

— Ох, не надо, — плакала она, — пожалей мое малое дитя, не бери в тот проклятый мир, не бери!

Но Амбо слушать ее не стал.

Было мирное, печальное утро. Родные и соседи проводили их до околицы, поцеловали Гикора в обе щеки, простились.

Сестренка Зані плакала, Гало́, самый младший, рвался из рук матери, кричал вслед:

— Ты куда уходишь, э-э-эй, Гикор!.. Ты куда идешь?..

Гикор шел рядом с отцом, иногда забежал вперед и то и дело оглядывался. У околицы стояли родные, мать передником утирала слезы. А раз оглянулся — только холм зеленый увидел, село за холмом осталось.

После этого Гикор стал отставать.

— Ну, Гикор... пришли уже, сынок... скоро на месте будем, ну... — подгонял сына Амбо. За плечами у него хурджин, в хурджине несколько хлебов, несколько кругов сыру и табаку одна или две связки.

В сумерки, когда они одолели гору, село в последний раз мелькнуло вдалеке, едва различимое сквозь туман.

— Во-он наш дом, отец, видишь?..

Но дом уже не был виден, и они пошли дальше.

В этот день они ночевали в каком-то селе, у старого знакомого Амбо.

Шипел на краю тахты желтый самовар. Молоденькая девушка звенела посудой — перемывала стаканы, разливала чай. На ней было красивое красное платье. Гикор сразу же задумал про себя: как только заработает в городе денег, купит для Зани в точности такое платье.

После вечерней трапезы хозяин дома и Амбо уселись с чубуками на тахте, повели беседу. Заговорили о Гикоре. Хозяин похвалил Амбо, что сына в люди старается вывести. Потом говорили о войне, о дороговизне хлеба, еще о чем-то, но Гикор уже спал и ничего не слышал.

На следующий день к вечеру Амбо с сыном добрались до города, ночь у старика тавлинца переночевали, а утром, чуть свет, спустились на базар.

— Эй, как тебя, — окликнули Амбо из какой-то лавки, — мальчика своего не на службу ли определяешь?

— Точно так. — Амбо подтолкнул Гикора к лавке.

— Заходите, — позвал лавочник.

Звали лавочника базаз Артем, что означало купец Артем.

2

И отдал Амбо Гикора в услужение — определил слугой в дом купца Артема. Условие было такое: Гикору надлежало убирать в доме, мыть посуду, чистить обувь, обед носить в лавку и разные мелкие дела по дому делать на протяжении года.

Через год Гикора должны были взять в лавку учеником.

— Первые пять лет денег не будет, — сказал купец. — Вообще-то это ты мне еще должен платить за то, что сына твоего обучать берусь, не умеет ведь ничего...

— Откуда же ему, хозяин милый, уметь, — отвечал Амбо, — для того и в город привел его, чтобы выучился...

— Выучится, чего же не выучится... Вон Никол из ваших краев лавку недавно открыл — тоже ведь у меня работал, через меня в люди вышел. Под конец, правда, две чайные ложки унес, еще кой-чего...

— Что ты, что ты, милый хозяин, мой красть не станет. Узнаю про такое — приду, схвачу, своей рукой в Куру брошу.

— Ну, если на руку чист, можешь не сомневаться, станет человеком.

— О том и дума моя, чтоб человеком сделался, разговаривать по-человечески научился, вставать-привечать, читать-писать, в людях бы разбирался, не был безответным, как я. И ребенок ведь он смекалистый, в нашей деревенской школе к грамоте пригляделся — черное от белого сумеет отличить. Только просьба у меня к тебе: прошу-умоляю, чтобы смотрел ты за ним, как за своим, малое дитя как-никак, на чужбине...

Купец заверил Амбо, что все будет хорошо, вышел и громко распорядился:

— Подайте чай этим людям, накормите их.

3

Отец с сыном сидели на кухне у купца Артема.

— Ну, Гикор, родной мой, теперь за тобой дело, посмотрим, что из тебя получится... Веди себя так... так, чтобы... ох да господи, разве же я знаю как!..— Амбо тяжело вздохнул и стал набивать чубук.

А Гикор в это время осматривался кругом.

— Отец, а отец, у них что, бухары нету?

— Нет, у них печь, вон она, печь...

— И гумна у них тоже нету?

— Ведь они горожане, не крестьяне, чтобы на гумне работать.

— А хлеб свой где они берут?

— За деньги покупают. И хлеб за деньги покупают, и молоко, и мацун, и дрова, и воду...

— Ва-а-а...

— Да-а-а... Это тебе Тифлис. Ты будь у меня умником, многое еще узнаешь.

— А церковь у них есть, отец?

— Как же это нету, есть, конечно. Они ведь тоже, как и мы, христианской веры, армяне... Смотри, сынок, на чужое добро не зарься, воровства не допусти. Возможно, чтобы проверить тебя, денег подбросят — не подходи близко. А поднимешь ёжели, отнеси: «Госпожа, скажи, что это за деньги я нашел?» Или же: «Хозяин, вот здесь что-то валялось, я подобрал...» Так и сделаешь, сынок...

— Здесь пристав есть?

— Ну как же... Без толку не бегай, не носись, не суйся всюду... Деньги заведутся — не потратить зря, знаешь ведь, тысяча дыр у нас... За собой смотри хорошенько, ночью не раскрывайся, не застуди себя... Соберется кто в наши края — весточку о себе

пришли... Пиши иногда...— Так Амбо поучал сына, попыхивая чубуком, стараясь не забыть ничего, все сказать.

Гикора в сон клонило.

— ...Хлеб могут дать черствый или же объедки, а часто сами поедят — тебе не дадут; стерпи, сынок, ничего, такая у слуги жизнь... А время быстро пролетит, не заметишь, как дни промчатся...

Отец продолжал наставлять сына, но Гикор уже крепко спал, припав к его плечу.

Столько он за эти два дня видел, столько узнал нового: лавки, ломящиеся от фруктов, разноцветные кипы ситцев, наваленные, как скирды, игрушки в витринах магазинов, школьники, бегущие в школу и из школы, перегоняющие друг дружку извозчики, вереницы верблюдов, груженные зеленью ишаки, кинто* с лотками на головах, — все это, перемешавшись, гудело у него в голове. И он, усталый, спал, припав к отцу.

У купца тем временем шел разговор с женой — ей не понравился новый слуга: неопытный, не умеет ничего и глядит дикарем. А купец был рад, что слугу дарового на несколько лет заполучил.

— Научится, — говорил он жене, — не все же ему дикарем быть.

— Научится, — успокаивала невестку и старуха, мать лавочника, — всему научится, дочь моя, не кручинься.

Но госпожа Натó все равно была недовольна и плакала и кляла свою судьбу.

4

Гикор сидел на кухне.

В натянутой по самые уши хозяйской шапке, в чьих-то старых башмаках, синей блузе, преобразившийся с ног до головы, он сидел один и думал: как же это все получилось, для чего он пришел сюда из своего села, что с ним дальше будет, что ему нужно делать?..

Вошла госпожа.

Гикор как сидел, так и продолжал сидеть.

Госпожа что-то сказала, Гикор не расслышал или же не понял.

— С тобой говорят, обалдуй!

Гикор смешался, хотел было переспросить, да оробел, потупился только, промолчал.

Хозяйка вспыхнула, вышла разгневанная.

— Чтоб тебе подохнуть, деревенщина! Я к нему обращаюсь — он ни с места! Не с ним будто говорят!

«Конец, — пронеслось у Гикора в голове. — Но как быстро все кончилось, как плохо... как же быть теперь... И отца нет...»

Но тут, сама с собою разговаривая, вся в черном, показалась добрая старуха — мать лавочника:

— Когда в комнату входит госпожа, надо вставать, сыночек... Когда о чем-нибудь спрашивают — отвечай, молчать не надо. Как можно молчать, когда спрашивают?..

Старуху все называли дэда*

Дэда учила Гикора, как надо самовар ставить, как чистить ботинки, щетку как держать, посуду мыть...

Кроме старой дэды, все обижали Гикора.

Ученики в лавке дразнили его, окликали насмешливо, дергали за нос, тумачили давали, шапку на глаза вдруг натягивали — забавлялись на все лады.

Но все это еще можно стерпеть.

Невыносимым был голод. С голодом Гикор свикнуться никак не мог. Дома, когда он чувствовал, что проголодался, брал хлеб, из горшка сыр доставал и, прихватив все это, шел в поле играть. А там уже, когда вздумается, когда охота будет, садился где-нибудь под деревом или же возле родника и ел.

Здесь все по-другому. Как бы он ни был голоден, надо было ждать обеденного часа. И только когда все отобедают, только тогда можно садиться за стол ему. А время, проклятое, тянулось так медленно, так долго шло — Гикору совсем невмочь делалось.

Поначалу он крепился, потом начал по углам шарить и что ни находил — сухую горбушку, кость обглоданную, — все тут же в рот тащил. Потом стал лазать в кухонные шкафы, а потом уже и мясо недоваренное наловчился из кастрюли выуживать — прямо с плиты.

Но если бы кто-нибудь увидел это... Какая нехорошая бы получилась история...

Если бы кто-нибудь заметил...

А что же делать?..

Все бросить, убежать?..

И Гикор стал подумывать о бегстве. Но только куда бежать? Дороги он не знает, и знакомых нет никого... А отец? Что он скажет отцу?.. Отец так старался... Говорил: «Время быстро пролетит, не заметишь, как дни промчатся...»

Гикору и сейчас слышится голос отца, хриплый, осипший: «Время быстро пролетит, дни промчатся... промчатся...»

5

Звонили.

Гикор вскочил. Он уже знал: когда звонят, надо пойти посмотреть, кто это и что нужно.

Гикор вышел на балкон, выглянул на улицу и увидел внизу какого-то господина и нескольких дам.

— Эй, вы кто такие? — крикнул он сверху.

Дамы засмеялись, а господин, поправив пенсне, спросил:
— Госпожа дома?

— А зачем она вам? — спросил Гикор.

Внизу засмеялись еще громче.

— Тебя спрашивают: госпожа дома или нет?! — рассердился господин.

— У вас дело к ней?

На шум вышла сама госпожа.

— О, чтоб тебе не жить на этом свете! Иди дверь открой! Быстро! — Госпожа была сердитая, но, как только показались гости, заулыбалась и пошла им навстречу. — Какими судьбами, кого благодарить, что вспомнили нас?.. Проходите, проходите...

— Где вы такое чудо откопали? — Господин оглядел Гикора с ног до головы, дамы смеялись.

— Можете не завидовать — даром отдаем, — отшутилась хозяйка, и гости, весело переговариваясь, прошли в дом.

Госпожа срочно отправила Гикора по делу и вернулась к гостям.

После обязательных в таких случаях расспросов о здоровье и самочувствии гости стали рассказывать, как их принимал Гикор. Получилась довольно пространный история.

— Он меня извел, — жаловалась госпожа Нато. — Я мужу говорю: «Давай прогоним». Но вы знаете Артема, жалеет: «Деревенский, говорит, ребенок, пускай живет, научится еще...» Да, но когда же это будет, сил моих уже нет...

— И не говорите, — подхватили дамы, — с этими слугами одно мучение...

С полчасика разговор вертелся вокруг слуг и городских новостей. Через полчаса влетел запыхавшийся Гикор:

— Госпожа, я фрукты принес!..

— Хорошо, иди.

— Госпожа, хозяин сказал: черешня дорогая, черешню не надо!

Кто-то из гостей фыркнул и закрылся платком, и, чтобы вывести хозяйку из неловкого положения, гости стали наперебой говорить, что черешня действительно очень дорога; кто же ее в такое время покупает? И вообще — к чему все эти фрукты и угощения, не за этим они пришли, и не надо беспокоиться...

Хозяйка, вся красная, пыталась замять разговор:

— Бог знает, что ему сказали, никогда этот дурень толком не поймет ничего!..

— Провалиться тому, кто совет! — побожился Гикор и этим все окончательно испортил.

Госпожа Нато, проводив гостей, убирала со стола и ругала, проклинала Гикора, вспоминала по одному все его проступки и все больше распалялась.

— Неопытен он, дочка, мал еще, научится,— вздыхала старая дэда.— Ах господи, что ж ты забыл про меня, не приберешь мою душу...

— Ты еще куда под горячую руку лезешь! — закричала госпожа Нато.— Что ты там бормочешь!.. Делайте тогда сами за него всю работу! Если мал, если неопытен! Я ведь не раба ваша!

Она кричала так до самого прихода мужа, а заслышав его шаги, заплакала и принялась греметь посудой.

— Я давно говорила, не нужен он мне... Лучше я сама тут за слугу буду, чем так мучиться, сама все делать буду, если денег на приличного слугу жалко.

— Что тут случилось? — спросил купец, встав посреди комнаты.

— Что же еще должно было случиться! Перед людьми меня ославил! Что же еще-то! Спасибо тебе!

Госпожа рассказала мужу историю с черешней.

— Ва! — не поверил купец.

— Ах господи! — Добрая старуха не находила себе места, не знала, как успокоить невестку.— Ах ты боже мой!

Купец кликнул Гикора.

Гикор, громко стуча башмаками, вошел.

— Подойди ко мне! — сказал купец.

Гикор увидел, какое у хозяина лицо, и замер на месте.

— Подойди, сказали тебе!

Гикор потоптался, но с места не двинулся.

— Я тебе говорю: пойдешь госпоже доложишь, а ты приходишь и гостям тут докладываешь, что черешня, мол, дорога, а-а-а?!

— Я — госпоже...— Гикор хотел объяснить, как все было, но пощечина сбила его с ног, в глазах у него потемнело, он ударился головой о стену и упал.

Купец бил его ногами.

— Дорогая, значит,— приговаривал.— Черешня дорогая, значит, дорогая...

Старая дэда бегала кругом, пытаясь оттащить сына от Гикора, что-то кричала госпожа, визжали дети. Купец оставил наконец Гикора, отошел в сторону, тяжело дыша, но все не мог успокоиться, смотрел на Гикора и повторял:

— Дорогая, говоришь, черешня?..

А Гикор лежал в углу, сжавшись в комочек, и, закрыв глаза от боли, стонал:

— Мамочка моя, мама...

Купец увидел, что Гикор в доме не работник, перевел его в лавку.

В лавке Гикор должен был подавать и убирать куски ситца, подметать в помещении, доставлять товар покупателям на дом, а в свободное время стоять перед лавкой и зазывать покупателей.

Вот идет Гикор в лавку. Несет обед. Он бледный и похудевший, большущие ботинки болтаются на ногах. Вот он мост переходит. Вот перегнулся через перила, на реку глянул.

Внизу, ударяясь о высокие стены караван-сараев*, дыбилась, кружилась и пенилась, глухо шумела под мостом Кура. Возле берега крутилась зеленая лодка. Два человека сидели в лодке — один забрасывал невод, другой лодкой правил.

«Сейчас вытянет», — подумал Гикор и подождал.

Невод вытянули пустым.

«Теперь на мое счастье», — загадал он и снова подождал.

Невод опять пустой.

«А сейчас на счастье Зани».

И снова сеть была пустая — и у Зани счастья не было.

«А сейчас... на счастье Гало».

Гало тоже не из счастливых оказался.

«А сейчас...»

Но в это время в воротах ближайшего караван-сарая послышался какой-то шум.

Это был перс с обезьянкой. Перс пел, обезьянка танцевала.

Глянь-ка, тут как тут мартышка,
Гибкая, как прут, мартышка,
То старуха, то девчонка,
Как тебя зовут, мартышка?..

Кругом толпились люди, со всех сторон сбегался народ.

Гикор побежал тоже. Вперед пролезть ему не удалось, и он, став на цыпочки и вытянув шею, пытался увидеть, что же там, в кругу, делается.

— Тебе что тут надо? Пошел своей дорогой! — турнул его какой-то кинто и дал подзатыльник.

Гикор сразу опомнился, затрусил к лавке.

Вечером Гикор, заплаканный, сидел на кухне.

Лицо его еще горело от хозяйских пощечин. Голос госпожи затихал в конце коридора. Открылась дверь, в кухню, посвистывая, вошел ученик купца — Васó. Заметив Гикора, Васó остано-

вился и, придав серьезность своему шутовскому лицу, спросил угрожающе:

— Где был, рассказывай: в клубе дела задержали или с губернатором срочное что-то обсуждал, а?!

Гикор не поднимал головы.

— Ну-ка, ну-ка, расскажи, чтобы и я знал!

Гикор не отвечал.

— Ну что, и сам уже забыл, где был? Забыл, да?.. Так куда это ты отлучался, что меня голодом чуть не уморил, а? А если бы я умер — что тогда?

Он совсем близко подошел к Гикору, постоял немного над ним и вдруг как даст затрещину. Гикор прикрыл обеими руками голову, прижался к стенке и ждал следующего удара. И Васо действительно собирался ударить снова, но тут за дверью послышался голос хозяина.

— Сейчас он с тобою расправится, — пригрозил Васо.

«Убьют меня сейчас», — подумал Гикор.

Но хозяин уже порядком избил его в лавке и теперь ограничился тем, что приказал оставить Гикора без ужина. Чтобы знал, каково быть голодным.

Опасность миновала.

И хоть и слышен был голос госпожи: «Прогони ты его, я давно тебе говорю...» — Гикор совсем успокоился.

9

Гикор лежал тихо на кухне, с головой укрывшись одеялом.

Ночь лунная, давно меня покинул сон,

Говорят все про меня: бездомен он, бездомен он...

Это напевал Васо. Напевал и уплетал ужин. А Гикор из-под одеяла украдкой следил за ним, потом снова закрывал глаза, пытаюсь уснуть. Но сон не шел.

— Что, не спится с голоду? Будешь знать... — Васо протянул Гикору кусок хлеба с сыром. — Ешь скорее, чтобы хозяин не увидел...

Гикор схватил хлеб с сыром, с головой ушел под одеяло и торопливо стал есть.

Он вспоминал, как бегал с товарищами на приволье, хлеба всегда было вдоволь, вспоминал, как мать плакала, не хотела его в город отпускать.

— Ах, мамочка, как верно чужало твое сердце! — вздыхал Гикор под одеялом, жевал сыр с хлебом и прислушивался, как бы хозяин не вошел.

Утром Гикор снова стоял в дверях лавки.

Он стоял в дверях лавки и зазывал покупателей, громким голосом расхваливая хозяйский товар. Иногда замолкал. И тогда из лавки кричали:

— Ты что там, воды в рот набрал?!

— Сюда пожалуйте! — с новой силой надрывался Гикор. — К нам! К нам пожалуйте!

В лавке все покатывались с хохоту.

Его подучили затаскивать покупателя, и он часто хватал за полу кого-нибудь на базаре и грубо и настойчиво тащил к лавке, пока человек не выходил из себя.

В летние душные дни, усталый от долгого ожидания, он иногда засыпал, сидя на сложенных перед лавкой кипах ситца.

Товарищи по лавке или соседские ученики подкрадывались и совали ему под нос нюхательный табак.

Он чихал и вскакивал.

Сомлевшие от жары лавочники веселились. А хозяин, насмеявшись, прикрикивал грозно:

— Не спи, негодный!

— Сюда пожалуйте! К нам! К нам!..

А однажды Гикор стоял в дверях лавки и звал покупателей и вдруг видит — идут два крестьянина из их села. Подбежал Гикор к ним. Обнялись, расцеловались.

— Ишь как изменился, надо же! — Крестьяне оглядывали Гикора.

Потом один сказал другому:

— Баго́, ты бы узнал его?

— Узнал бы. По глазам, — хвастливо ответил товарищ.

Гикора и впрямь не узнать было. Сильно изменился Гикор — осунулся, побледнел, да еще и одежда городская...

— Смотри-ка, человеком сделался, горожанином стал, — любовались односельчане.

— Амбо-то как сына пристроил, наши свиней до сих пор пасут, а этот...

А Гикор спрашивал у них, вопросами засыпал:

— Мой отец как? Наши ребятишки здоровы? Отец почему не пришел? Наша корова отелилась? Кто помер в селе?

— В селе все по-прежнему, приветы тебе все передают, — отвечали крестьяне, — а помер Сукна́нц Гукас да старуха у Пучуренцов, остальные живы-здоровы...

— А отец мой почему не пришел?

— Хотел твой отец, да как — дом весь на нем держится.

— А мне ничего из дому не прислали?

— У самих ведь нет ничего, знаешь небось... Хлеб в этом году плохой уродился, отец твой еле-еле концы с концами сводит. Ты бы сам вот, если возможность имеешь, послал им чего-нибудь с нами... Вон подать уже требуют, платить нечем, у твоего отца ни гроша...

— У нас никто не болеет?

— Все здоровы, только корова ваша Цахик околела, забралась на крышу хлева к Мирзám, свалилась...

— Цахик околела?..

— Матушка твоя очень плакала...

Потом один из крестьян вспомнил — полез за пазуху, достал письмо для Гикора.

— Ну, что хочешь, говори сейчас,— сказал он;— больше не увидимся, ежели хочешь что передать для матери или сестры, давай отнесем.

— Откуда же, денег мне еще не дают... но только...

— Ну?..

— Хочу с вами пойти... домой... соскучился по нашим, по селу соскучился.

— Ай-яй-яй, а мы-то подумали, ты в самом деле человеком стал, ума набрался. Что же это ты такое говоришь? Мы думаем, как бы нам парней своих на такое место пристроить... Да ты на себя погляди: одежда новая, в чистоте живешь, в тепле... Нет, брат, поговорка, знаешь, есть такая: «Посадили свинью на ковер, а она обратно в грязь катится». Словно про тебя это сказано.

Пожурили его так односельчане, надавали советов и ушли.

А Гикор после их ухода забился в угол, стал читать письмо отца.

«Наш любимый сын Гикор...

В город Тифлис.

Мы живы и здоровы, твоего здоровья только желаем, аминь. Очень соскучились по тебе и кланяемся: отец, матушка, Зани, Моси́, Мики́ч, Гало, все. Наш любимый сын Гикор, знай, что нам туго приходится, а подать очень уж строго требуют, и денег взять неоткуда, а матушке и Зани ходить не в чем и очень нам туго приходится. Гикор, сынок, пришли нам денег несколько рублей и письмо о себе пришли. И чтоб ты знал, Цахик наша околела и матушке и Зани ходить не в чем...»

Прочитал письмо отца Гикор, и горько ему сделалось.

«Матушке и Зани ходить не в чем...»

— Ну что, своих увидел и размечтался? Покупателей зови, ну! — кричали уже из лавки.

— Сюда, сюда, к нам пожалуйста... К нам пожалуйста...

Пришла зима.

Холодная вьюга лютует над городом. Свистит, спешит, забирается во все уголки и щели, нищего странника ищет, ребенка сирого, бездомного.

Вот она нашла Гикора.

В тонкой блузе стоит он на пороге лавки, как былиночка, дрожит от холода.

— Сюда, к нам пожалуйста, сюда, к нам...

«Сей-час-с-с...» — злорадно засвистела вьюга и невидимым ножом по Гикору р-раз ударила, пробрала все косточки.

Гикор и без того слаб был.

Слег он.

Гикор лежал больной на кухне у купца.

Старая дэда по несколько раз в день заходила к нему.

— Что сердце хочет, чадо мое, говори...

— Воды...

Дэда приносила воды. Гикор слабой рукой брал стакан, пил и просил другой воды, родниковой.

— От этой не проходит жажда, дэда... Я из нашего родника хочу воды... Я к себе домой хочу... к своей маме...

Купец Артем в беду попал. Он бросился разыскивать односельчан Гикора, нашел кого-то из тех краев и велел передать Амбо, чтобы тот в город шел немедленно. Гикора купец поместил в больницу.

В больнице было много больных, они лежали все в ряд и беспомощно и грустно глядели в потолок.

Гикора положили с ними.

Тут и нашел его отец.

— Что с тобой стряслось, Гикор мой? — Сам не свой от горя, Амбо приблизился к постели Гикора.

У Гикора жар был — не узнал отца.

— Гикор, гляди, ведь это я, твой отец, апи твой...

Больной не слышал его, звал в бреду:

— Микич, Зани, мама, апи...

— Я здесь, Гикор, сынок мой, это я, твой апи! Не узнаешь? Мама меня за тобой прислала... Вот встанешь ты, домой пойдем... Пойдешь со мной домой?.. Микич и Зани на крыше стоят, тебя поджидают, на дорогу глядят... Скажи что-нибудь, Гикор, сыночек...

— Сюда, сюда, к нам пожалуйста, — звал в бреду Гикор. Что-то еще бессвязное говорил, смеялся...

Через несколько дней Амбо возвращался в село. Он нес подмышкой одежду Гикора, чтобы мать могла поплакать над ней. В карманах у Гикора Амбо нашел горстку блестящих пуговиц, лоскутки ситца и несколько булавок. Наверное, для сестренки припрятал, для Зани.

Амбо шел и думал: совсем мало времени прошло с того дня, как этой же дорогой шагали они с Гикором в город.

Вот тут Гикор сказал:

«Отец, ноги притомились».

Вот дерево, под ним они сели передохнуть.

Здесь Гикор сказал:

«Отец, пить хочу».

А из этого родника они напились...

Все на месте, все по-прежнему, только его нет, нет Гикора.

На другой день, когда Амбо одолел гору, показалось село.

У околицы стояли, Гикора поджидали из города — мать, Зани, Микич, Моси. Маленький Гало вырывался из рук матери:

— Э-э-эй, Гикор... — кричал он, — скорей иди, э-э-эй, Гикор!..



Аветик Исаакян

У СОЛНЦА

У ворот богатого дома сидел малыш-сирота, одетый в лохмотья. Он протягивал руку к прохожим.

Весна еще только-только начиналась, но ближние горы уже зазеленели, и доброе весеннее солнце ласково глядело на все вокруг.

Прохожие сновали по тротуару туда и обратно, и никто даже ни разу не посмотрел, не хотел посмотреть на бедного сироту.

Когда солнце стало медленно клониться к вершине зеленой горы, подул холодный ветер, и бедного бездомного мальчонку забила дрожь.

— О красное солнце, доброе солнце, ты одно меня согреваешь, зачем же уходишь, оставляешь меня на этом холоде? Ни матери-то у меня нет, ни дома. Куда мне деваться, к кому пойти? Вернись, возьми меня с собой, доброе солнце!..

Малыш беззвучно плакал, и слезы катились по его изможденному лицу. А люди расходились по домам, и никто не видел и не слышал его. Никто не хотел видеть и слышать...

Солнце скользнуло за гору и больше не показалось.

— Доброе солнце, я знаю, ты ушло к своей маме. Там за горою ваш дом. Я приду, приду к тебе. Скоро, очень скоро приду...

И несчастный малыш, дрожа от холода, хватаясь за стены домов, все шел и шел, пока наконец не вышел из города.

Вот он добрался до ближней горы. Подъем был для него очень трудным — все камни и камни. Ноги разбил до крови, и болели они нестерпимо, но мальчик, не останавливаясь, шел и шел вверх.

Опустилась кромешная тьма и укрыла зеленую гору черным покрывалом. Над вершиной мерцали звезды. А ветер, холодный и сильный, все дул, завывая в ущельях и скалах.

Иногда вдруг проносились чернокрылые филины, промышляя в ночь добычу.

Но малыш уверенно, без страха шел выше и выше.

И вдруг он услышал лай собаки. А спустя мгновение чей-то голос спросил:

— Кто ты? Куда путь держишь?

— Я мальчик. К солнцу иду. Не скажешь ли, добрый человек, где дом солнца? Далеко или близко?

К мальчику подошел человек со светильником в руках и ласково проговорил:

— Ты, наверно, устал? И проголодался? Пойдем-ка ко мне. Как же родители отпустили тебя одного в такой холод и тьму?

— Нет у меня родителей. Я сирота.

— Пойдем, сынок, ко мне, — снова сказал добрый человек и, взяв мальчика за руку, повел в дом.

А дом его — маленькая хижина.

Все домочадцы доброго незнакомца сидели вокруг очага — жена и трое детишек.

В огромном дворе при хижине блеяли овцы. Человек этот был пастухом, пас отару в горах.

— Милые дети, я вам братца привел. Пусть отныне вас будет не трое, а четверо. Там, где кормятся трое, прокормится и четвертый. Любите друг друга. Подойдите, обнимите своего нового брата.

Первой обняла мальчика жена пастуха. Обняла и нежно, как мать, поцеловала. Затем подошли и дети, тоже обняли и поцеловали его, как брата.

А мальчик от счастья плакал.

Но вот все сели за стол, веселые и счастливые. Потом мать постелила постель и всех рядом уложила возле себя. Мальчик за день очень устал и потому тотчас быстро заснул.

Спал и все улыбался во сне. Ему снилось, что он пришел наконец к солнцу, крепко-крепко обнял солнце и вот теперь спит, обнявшись с ним, согретый и обласканный.

От радости мальчик проснулся.

Проснулся и видит: вовсе он не солнце обнимает, а братьев своих и крепко держится за руку матери.

И мальчик вдруг понял, что солнце здесь, в этом доме. И он в объятиях солнца.

САМАЯ НУЖНАЯ ВЕЩЬ

Жил некогда в одной из чудесных стран Востока справедливый и мудрый царь. И было у него три сына.

Но вот царь состарился и решил передать свое царство тому из сыновей, кто окажется самым способным для этого нелегкого дела.

Призвал он сыновей и говорит:

— Дорогие мои сыновья! Вы видите, что отец ваш уже стар и не может больше править страной. Я давно бы отрекся от трона, если бы только исполнилась моя заветная мечта, что никак не дает мне покоя. Вот я и надумал: тот из вас, кто сумеет исполнить мою мечту, станет править царством.

— Пусть здравствует наш дорогой отец, воля его священна для нас! Что же это за мечта, исполнить которую не смог наш мудрый родитель?

— Видите вон то огромное, вместительное хранилище, построенное мною уже давно? Я мечтал заполнить его тем, что самое нужное на свете, что принесло бы счастье всему моему народу. Хранилище пока пусто. И тот из вас, кто заполнит его самой нужной на свете вещью, пусть унаследует трон. Возьмите из моих сокровищ сколько чего пожелаете и отправляйтесь каждый сам по себе из города в город, из страны в страну, отыщите самую нужную вещь и заполните мое хранилище. Даю вам сроку три раза по сорок дней.

Сыновья поцеловали руку отца и пустились в путь.

Три раза по сорок дней ходили и ездили они из города в город, из страны в страну, навидались людей диковинных, насмотрелись обычаев неведомых и в назначенный день явились, предстали перед отцом.

— Добро пожаловать, дорогие мои сыновья! Ну и как, нашли вы и доставили ту самую нужную на свете вещь?

— Да, нашли, дорогой наш отец! — отвечали царю сыновья.

И отец тотчас повел их к двери хранилища. А там уже собрались все придворные и народу видимо-невидимо.

Царь отворил дверь и подозвал старшего сына.

— Чем ты заполнишь это огромное хранилище, дорогой мой сын, какой такой самой нужной на свете вещью?

Старший сын вынул из кармана горсть зерна и, протягивая отцу, сказал:

— Хлебом заполню я это огромное хранилище, дорогой отец! Что в целом мире нужнее, чем хлеб? Кто сможет прожить без хле-

ба? Много я постранствовал, многого навидался, ничего не нашел нужнее, чем хлеб!

И тогда отец подозвал среднего сына.

— Чем ты заполнишь это огромное хранилище, дорогой мой сын, какой такой самой нужной на свете вещью?

Средний сын вынул из кармана горсть земли и, протягивая отцу, сказал:

— Землею заполню я это огромное хранилище, дорогой отец! Что в целом мире нужнее, чем земля? Без земли нет и хлеба! Кто может прожить без земли? Много я постранствовал, многого навидался, ничего не нашел нужнее, чем земля.

Тогда отец подозвал младшего сына.

— Чем ты заполнишь это огромное хранилище, дорогой мой сын, какой такой самой нужной на свете вещью?

Младший сын при этих словах решительно переступил порог хранилища, вынул из кармана свечку и огниво, высек о кремень искру, запалил трут, а от него и свечку.

Все решили, что он хочет при свете свечи получше рассмотреть хранилище, увидеть, как оно велико.

— Ну, говори, сын, чем заполнишь? — с нетерпением в голосе снова спросил отец.

— Светом заполню я это огромное хранилище, мудрый отец, только светом! Много я постранствовал, многого навидался, ничего не нашел нужнее, чем свет. Свет — самое нужное в мире. Без света земля не уродит хлеба. Без света на земле не будет жизни. Много я стран обошел, многое повидал и понял: свет знания — самая нужная вещь. Только светом знания можно править миром.

— Молодец, мой сын! — обрадовался отец. — Ты по праву заслужил и трон и скипетр, потому что хочешь самого прекрасного, хочешь наполнить свое царство и души людей светом и знанием.

— Да здравствует наш молодой светоносный царь! — с воодушевлением воскликнули царицы слуги и весь народ.





Эдуард Вильде

МОИ ПЕРВЫЕ «ПОЛОСАТЫЕ»

Мне было семь лет, когда на мою долю выпала большая честь. Барон и баронесса после долгих обсуждений и внутренней борьбы решились избрать в товарищи по играм своему единственному сыночку — из всех мальчишек мызы* — именно меня, Ээди, сына кладовщика! Надо ли говорить, как это возвысило меня в собственных глазах! Горничная позвала мою мать «наверх» — так у нас назывался господский дом, а когда мама вернулась «вниз» — как называли флигель для прислуги, — она нашла меня за домом в луже и сказала дрожащим от волнения голосом:

— Пойдем, мальчик, я вымою тебя. Ты будешь играть с молодым барином. С молодым барином, слышишь!

Если толком разобраться, я ничего не имел против божьей водицы, когда она омывала нижнюю часть моего тела и даже доходила до самых подмышек. Но мытье лица и шеи, шеи особенно, да еще с мылом, которое всякий раз лезло в глаза, было для меня хуже смерти, я противился этому всем своим существом.

Между мною и матерью — как и каждое утро — завязалась отчаянная борьба, кончившаяся, увы, победой сильнейшего, и сильнейшим оказался отнюдь не я. Вскоре меня, в мыльной пене до ушей, пригнули к самому тазу, и мать принялась усердно скрести и тереть мою голову, будто жбан из-под молока или кувшин для сливок. Мои громогласные протесты остались без внимания, напротив, мне же еще достался один-другой шлепок в подобающее место, так что лишь пыль взметнулась...

Затем последовало торжественное причесывание щеткой, которую смастерил отец; а поскольку волосы, как всегда, свалялись, мои стоны и крики обратились в сплошной рев. Несколько утешило меня то, что мать под конец обрядила меня в мою лучшую праздничную одежду.

Тем временем появился отец, и из разговора родителей я, наконец, уразумел, почему именно меня, Ээди, сына кладовщика, после долгих обсуждений и внутренней борьбы барон и баронесса выбрали в товарищи по играм своему единственному сынку, отдав мне предпочтение перед всеми другими ребятами.

Оказывается, я понравился барыне прежде всего своей опрятностью. В то время как дети садовника, кучера и скотника бегали замарашками — управляющий детей не имел, — у меня рожица и руки будто бы всегда были чистые. (Знала бы баронесса, как я страшился мытья! Оттого ведь я и старался поменьше пачкать лицо и руки.) К тому же нос у меня не как у других детей, а... ну, как бы выразиться по-книжному — мать у меня, к сожалению, говорила попросту, на языке вирумааских мужиков... Одним словом, под носом у меня не было такого, что дало бы повод сравнивать его с сальной свечкой. (Баронесса, видно, никогда не разглядывала моих рукавов!) И в довершение — я, мол, не так глуп, как другие дети, я, дескать, играю большей частью один, а это вроде обнаруживает — как она выразилась? — обнаруживает во мне господский... благородный или черт его ведает какой дух; я о нем понятия не имел и лишь догадывался, что госпожа баронесса в этом вопросе глубоко заблуждается, что вскоре и подтвердилось на деле.

Отец, конечно, точно так же, как и мать, был сильно польщен предположением о «благородном духе» своего сына, и оба они наперебой стали поучать меня, как следует обращаться с молодым барином. В мою голову старались запихать целый катехизис приличий. Но по правде говоря, в одно ухо все это мне влетало, а из другого вылетало. Из всего сказанного я запомнил лишь, что, явившись к барчуку, обязан снять шапку, что не смею кликать его просто Вйлли, но должен звать его «молодой барин» и что обязан исполнять все приказания барчука, сам же приказывать не смею. Я не смею ни ссориться с ним, ни бить, ни толкать его. И вообще всех запретов накопилось так много, что я уж и не знал, что, собственно, мне делать разрешается.

— А если он ударит меня или толкнет? — спросил я у матери.

— А ты стерпи,— ответила она.— Ведь он барин.

Я так и выкатил глаза, и мать поспешила прибавить:

— Господские дети не дерутся и не толкаются, господские дети воспитанные. Будь и ты таким, тогда барыня подарит тебе что-нибудь красивое.

Потом мама взяла меня за руку и повела к ступенькам господского дома и там, в присутствии барона и баронессы, поставила лицом к лицу с маленьким барином.

Это был хорошенький смуглый мальчик примерно моих лет, только повыше и потоньше. Впившись глазами друг в друга, мы стали разглядывать, исследовать, изучать один другого. До сих пор я видел его только издали; теперь же он стоял совсем рядом, так что его теплое дыхание касалось моей щеки. И сейчас еще я хорошо помню, какие мысли проносились тогда в моей голове.

Мне не так понравился сам мальчик, как его одежда. Я взглянул на него, а потом на себя и почувствовал что-то вроде стыда. Я начал снизу: его ноги и мои! У него сверкающие на солнце туфли с блестящими серебряными пряжками, у меня же смазанные дегтем и свиным салом русские сапожки, голенища которых уныло спадали гармошкой. На нем нарядная синяя матроска с золотыми якорями и белоснежным воротником вокруг шеи; на мне же домотканые кубовые* полушерстяные штаны и розовая ситцевая рубаша без воротничка и якорей. У него на голове новехонькая бескозырка с двумя шелковыми лентами, с золотыми буквами спереди, а у меня купленный в Раквере, в лавке Кондивалу, двадцатикопеечный картуз; из помятого козырька сыпались кусочки картона, а первоначальный цвет его я и сам уже забыл.

Это привело меня к еще более печальным раздумьям о самом себе, особенно после того, как мой взгляд упал на целую кучу игрушек, заполнявших площадку перед лестницей. Какие они были красивые, желтые, блестящие, все эти тележки, тачки, лопатки, топоры, пилы, молотки! Там стояла даже игрушечная лошадь на качающейся подставке — с настоящей шкурой, гривой и хвостом, с красным седлом, — прямо садись и поезжай! Я вспомнил о своих игрушках, и жалость к себе снова заполнила мое сердце. Моим достоянием были всего лишь самодельная некрашеная лопатка, маленькая тележка — одни колеса, да и те без спиц, — которую смастерил мальчишка садовника, сломанная ивовая свистулька, подаренная мне пастушонком Юри, и, наконец, самодельная же трубка-насос из стебля дудника...

— Поздоровайся же, наконец, Ээди, с молодым барином и шаркни ножкой! — вдруг пробудил меня от размышления резкий голос баронессы.

Но я не знал, что значит «шаркать ножкой», и предпочел этого

вовсе не делать, а по простоте душевной протянул руку. Я забыл снять картуз, и, так как не понял слов матери, шептавшей мне что-то, она, к стыду моему, сама сняла с меня шапку, которую снова надела лишь после милостивого разрешения баронессы. А маленького барина вовсе не заставляли шаркать ножкой, снимать шапочку и вполне успокоились на том, что он нехотя сунул мне свою маленькую белую ручку.

Я привык без стеснения выражать свои чувства и шепнул матери:

— Гляди, какие у маленького барина красивые игрушки и одежда! — При этом я с ударением произнес «маленький барин», и мать хорошо поняла мой упрек.

— Ну да, — тоже шепотом ответила мать, — ведь это господское дитя.

— А почему мы не господа?

— Глупый мальчик! Потому что мы слуги.

Этот ответ ничего не разъяснил мне, и я хотел было продолжить свои расспросы, но мать приложила руку к моим губам, вытерла уголком передника мой нос и велела играть с барчуком. Затем мы получили от баронессы точные указания, где нам играть и как далеко мы можем отходить от господского дома. К нашему величайшему огорчению, нам было строго-настрого запрещено приближаться к пруду за мызой.

Первый день наших игр миновал довольно счастливо. Чтобы господские дети были так уж воспитанны, чтобы они никого не били и не толкали — этого я, общаясь с барчуком, правда, не заметил. Уже в первые полчаса он принялся швырять мне лопаткой песок в глаза, заехал своей тачкой прямо под коленки, и я растянулся на животе; иногда же он развлекался тем, что таскал меня за волосы. Памятуя о наказе матери и держа в голове «что-нибудь красивое» — ожидаемый подарок баронессы, я молча глотал слезы и смиренно сносил все. Вечером в награду за свои мытарства я получил от барыни тоненький ломтик сдобной булки.

Сами понимаете, я почувствовал себя несколько разочарованным, и дела барчука на следующий день пошли хуже, чем накануне. Когда он кидал мне песок в глаза, я проделывал с ним то же; когда он опять наехал на меня своей тачкой, я лопаткой свалил его с ног, а когда он пытался таскать меня за волосы, я хватал его за уши: его стриженные волосы были для этого слишком коротки, уши же — в самый раз. Бедняжка каждый раз поднимал адский крик, но, к счастью, господ в этот день не было дома, и он не мог на меня нажаловаться.

На третий день случилось нечто такое, что положило внезапный трагический конец моей блестящей карьере товарища по играм молодого барина. Барчука мучило непреодолимое желание пойти к пруду и, как оказалось потом, влезть в самый пруд — вопреки строжайшему запрету. Но молодой барин этого желал,

а я, по приказанию матери, обязан был исполнять его желания, к тому же я и сам был не прочь, так что оснований противиться барчуку у меня не было.

Кроме того, наша прогулка была совершенно безопасна: вода в пруду едва доходила до колен, все же остальное состояло из густой грязи, в которой извивались черные пиявки. Там никто не мог утонуть! Я сам частенько плавал на «корабле» по этой луже вдоль и поперек. Кораблями мы, дети слуг, называли старую, отсыревшую дверь и крышку от чана, которые мы когда-то совместными усилиями затащили в пруд из винокурни. Отталкиваясь шестами, мы совершали на них морские путешествия.

Барчук и я вскоре оказались на «кораблях» — он на двери, я на крышке от бочки. Отталкиваясь шестами, мы плавали в полное свое удовольствие, и, если бы Америка не была уже открыта, мы, наверно, открыли бы ее. Но «океан» для таких героев, как мы, оказался слишком мал — мы избороздили его во всех направлениях и принялись открывать новые увлекательные стороны матросской жизни. Открывателем стал барчук. Он принялся плескать в меня водой, орудуя шестом. Он действовал так ловко, что моя ситцевая рубаша насквозь промокла и покрылась грязными пятнами.

«Ну ладно, коли хочешь морской бой, пусть будет бой!» — подумал я и привел свой корабль в боевую готовность. Затем заговорили пушки.

Моя решимость сначала привела маленького барина в замешательство, потом он принялся взывать о помощи и в конце концов запросил мира. Я согласился. Но барчук тут же вероломно нарушил договор. Он подтолкнул корабль к моему, они стали у самого берега бортом к борту, и, раньше чем я успел разгадать его коварный замысел, он сбил шестом мой картуз в воду и так крепко стукнул меня по голове, что у меня посыпались искры из глаз.

Коварство противника взывало к отмщению! Разъярившись, словно раненый лев, я вырвал оружие из рук вероломного врага, перескочил на его корабль и вступил в рукопашную схватку, ужасы которой не поддаются описанию.

Помню только, твердая почва вдруг ускользнула из-под наших ног, угольно-черные волны сомкнулись над нашими головами и на какое-то время воцарилась глубокая тишина...

Когда у меня в глазах немного прояснилось (потребовалось немало отчаянных усилий, чтобы счистить грязь с лица), я увидел, что у моих ног, в грязи, кто-то барахтается. И как барахтается! Так барахтается существо, попавшее в смертельную беду. И этим существом был мой злополучный товарищ.

У меня забилося сердце: случилось что-то неладное. Я молниеносно схватил барахтавшегося за голову — наверно, за голову — и, собрав все свои богатырские силы, стал вытаскивать его

на берег. Мой несчастный противник был нем как рыба. И не удивительно: рот его был забит липкой тиной.

Мои спасательные работы увенчались успехом. Скоро барчук стоял на берегу на своих собственных ногах. Но — боже мой! — такого рыцаря Печального Образа, я видел впервые в жизни. Этот человечек, который стоял передо мной, согнувшись в три погибели, напоминал не молодого барина, а, скорее, жалкого вороненка, потрепанного собаками и вытащенного из грязи. Его туфли с серебряными пряжками, его нарядный матросский костюмчик с золотыми якорями и белоснежным воротником — все это словно окунули в котел со смолой, а на черной поверхности пруда его бескозырка с золотыми буквами и мой двадцатикопеечный картуз плыли наперегонки в Америку!.. Что и с а м я выглядел не лучше, что моя розовая рубаша и кубовые штанишки отяжелели от воды и грязи, этого я в порыве сострадания к барчуку не приметил.

Теперь началась вторая часть моего самаритянского* подвига. Я принялся очищать нос, глаза и уши маленького воина от набившейся туда грязи. О, зачем я очистил от грязи его р о т! Это-то и стало причиной моей гибели. Едва через его рот маломальски стал проходить воздух, барчук издал вопль, напоминавший тревожную пароходную сирену, возвещающую о бедствии, или трубу, разрушившую стены Иерихона*. Вопли разнеслись по всей мызе и ее окрестностям на три версты вокруг. В имении и в деревне завывали собаки, а люди останавливались и бледнели в испуге.

Вскоре на тихих берегах пруда закипела ж и з н ь. Казалось, будто все имение и полволости сбегались сюда: в отчаянии заломив руки, впереди всех бежали барон и баронесса, за ними — экономка, камердинер, горничная, повар с длинным ножом и поваренок — оба в белых фартуках и колпаках; за ними, беспорядочно сбившись в стаю, управляющий, смотритель маслобойни, садовник, кучер и конюший со своими почтенными супругами и дочерьми, наконец, все конюхи, помощник садовника, птичницы и свинопасы, множество батраков и жителей деревни... Целое войско спешило на помощь несчастному барчуку, и на лицах у всех отражался такой испуг, словно барчуку по меньшей мере в это время отрезали голову тупым ножом.

Мне, вероятно, нет надобности добавлять, что среди людей, бежавших на выручку барчуку, находились и мой отец с матерью, и если я в минуту первого испуга этого не заметил, то они быстро и весьма внушительно напомнили о себе. Барин, барыня и мои родители первыми окружили нас; приглядевшись, обе матери сначала с криком отскочили назад, а затем госпожа баронесса, рыдая, схватила и прижала к груди свое чадо, обратившееся в негритенка. Моя мать хотела последовать ее примеру, но остановилась на полпути, так как барон злобно заревел:

— Ну, конечно, во всем повинен твой сорванец, кладовщик! Надеюсь, ты как следует выпорешь его!

Это повеление отец обещал исполнить в точности.

И вот мы, окруженные толпой, покидаем место катастрофы. Я в роли жалкого пленника едва успеваю за отцом и матерью, а барчука, закутанного в наскоро собранные отовсюду платки и шали, несет на руках камердинер. Позднее я услышал, что молодого барина тотчас же отнесли в горячую ванну, оттуда в постель под теплые одеяла, а кучер тем временем мчался в город за доктором. Меня же ожидало военное судилище, и за суровым судом, который был глух к каким бы то ни было оправданиям, последовало тяжкое, позорное наказание.

До этого меня наказывала одна мать — несильно и изредка, как обычно наказывают первого и единственного ребенка; она еще никогда не била меня по голому телу. Сегодня же я попал в руки к отцу, и у меня волосы встали дыбом от одних только его приготовлений. С улицы принесли внушительный пучок розог и в доме растворили окна, чтобы мои вопли доносились до господского дома, затем с меня сдернули мокрые штаны. Чем все это кончилось, об этом, о читатель, разреши скромно умолчать и довольствуйся тем, что я жалобно шепну тебе на ухо: «От отца мне достались сегодня мои первые «полосатые». Теплые штаны в красную полоску!»



Оскар Лутс

ВЕСНА

(Главы из повести)

I

Когда Арно с отцом вошли в школу, оказалось, что уроки уже начались. Учитель позвал их обоих к себе в комнату, поговорил с ними, велел Арно быть прилежным и аккуратным, затем усадил его в классе за парту, рядом с длинноволосым мальчуганом. Потом учитель дал Арно что-то списывать с книги, и мальчику уже некогда было думать о чем-либо другом. Он вынул свою грифельную доску и стал писать. Но не успел он написать и нескольких строк, как длинноволосый сосед, наклонившись к самому его уху, шепотом спросил:

— Что тебе учитель говорил, когда вы были у него в комнате?

Арно знал, что на уроке разговаривать нельзя, поэтому сначала робко взглянул на учителя и только потом ответил:

— Да так, ничего...

Но соседа это не удовлетворило. Он отложил в сторону свой грифель, высморкался и снова зашептал:

— А учитель не говорил, чтоб не смели в школе читать рассказы про индейцев?

— Нет, не говорил.

— Ой, а мне говорил! У меня их тут была целая куча, они и сейчас еще в шкафу. Ты читал «В лесах Америки»? Вот какой был молодчина — один дрался против целой дюжины краснокожих. Да-а...

— Кто такой?

— Кентукский Лев.

Арно положил грифель и в первый раз внимательно взглянул на соседа. У него было рябое лицо и чуть искривленный вправо нос. Его светлые волосы были основательно растрепаны.

«Ну и трудно же ему, наверно, их расчесывать», — подумал Арно.

Но рассматривать нового товарища долго не пришлось.

Тот с каждой минутой становился все беспокойнее, вертелся во все стороны, словно флюгер, и всем своим видом показывал, что школьные занятия — для него дело второстепенное, да ему сейчас и некогда заниматься.

— Тоотс, что ты там опять вертишься? — спросил учитель. Арно испугался, схватил грифель и стал быстро писать. А Тоотс, который в эту минуту, обернувшись к мальчику, сидевшему позади, обсуждал какой-то головоломный вопрос насчет индейцев, с быстротой молнии вскочил с места.

— Нет, я ничего... Пётерсон спросил меня, как пишется русское «ять».

— Та-ак. И ты ему объяснил?

— Да, я ему объяснил. Он, чудак, совсем неправильно написал.

— Так, так, ясно. Но, может быть, в классе еще кто-нибудь не знает, как писать букву «ять». Тоотс, подойди-ка лучше к доске и напиши, чтобы все видели.

Странная тень пробежала по лицу Тоотса. Видимо, ему совсем не улыбалось идти к доске.

— Ну иди же, иди! — повторил учитель.

Тут бедняга понял, что никакие силы земные его не спасут. В отчаянии он обернулся к Арно, который украдкой следил за происходящим, и торопливо зашептал:

— Покажи скорее! Покажи!

Арно вывел у себя на грифельной доске огромное «ять». Тогда Тоотс с потрясающей самоуверенностью направился к классной доске и написал на ней ту же букву. Затем он вызывающим взглядом обвел весь класс, словно желая сказать: «А вы что думали — я не знаю, как пишется «ять»?»

И в глазах ребят он прочел единодушный ответ: «Да, да, Тоотс, конечно, знаешь!»

И все же в классе нашелся человек, державшийся несколько иного мнения, чем остальные,— это был учитель. Словно какой-то злой дух надоумил его подойти вдруг к Арно и взглянуть на его грифельную доску. На ней была изображена точно такая же закорючка, как и на классной доске. В душу учителя закралось подозрение.

— Послушай-ка,— обратился он к Тоотсу,— может, у тебя есть про запас еще какое-нибудь вранье? Если есть, так уж выкладывай все сразу.

— Какое вранье? — спросил Тоотс.

Лицо у него было сейчас такое невинное, что всякий мало-мальски жалостливый человек, глядя на него, прослезился бы. Но так как учитель был существом совсем бессердечным, он не только не прослезился, но даже, как видно, не собирался положить конец этой пытке.

— Петерсон, ты спрашивал у Тоотса, как пишется буква «ять»? —

Тоотс подмигивал Петерсону, чтобы он ответил «да», но — увы! — это не подействовало.

— Нет.

— Ну да, я так и знал. А что же он тебе говорил?

— Тоотс сказал, он не понимает, как это индейцы умудряются так быстро снимать скальп; когда он сам один раз захотел сдохлой кошки...

Продолжать Петерсон не может, так как весь класс разражается хохотом. Тоотс исподтишка грозит предателю кулаком и в душе клянется жестоко отомстить ему. Тоотса за его вранье ставят в угол до следующего урока.

Арно же больше всего удивился тому, что Тоотс, который так много читал и знал всякие истории про Кентукского Льва, не сумел написать такой простой буквы, как русское «ять». Потом Арно подумал: «А так врать все-таки нельзя. Тоотс этот большой озорник».

II

На перемене в классной комнате все кипело, как в потревоженном муравейнике. Все страшно спешили, все с визгом куда-то неслись, словно боялись опоздать.

Арно робко жался у стены. Он был здесь чужим, и от всей этой двигавшейся перед ним пестрой толпы у него кружилась голова. Он не встретил здесь ни одного знакомого, кроме Тееэ с хутора Рая. Родители этой краснощекой, белокурой девочки и родители Арно были почти соседи, потому-то Арно и знал ее. Он охотно подошел бы сейчас к ней поболтать, но решил, что это не-

удобно. Девочки держались все время вместе, будто овцы, и подойти к ним казалось Арно как-то неловко. Он прислонился к стене и продолжал наблюдать.

Вон там, медленно переминаясь с ноги на ногу, стоял какой-то толстощекий крепыш и ел. В одной руке у него был ломоть хлеба, в другой — кусок жирного мяса. Кто-то, проходя мимо, наступил ему на ногу. Но мальчуган и бровью не повел, только буркнул: «Ну и слепая курица!» — и продолжал жевать.

Другой, рыжеволосый, в смешных ботинках с пуговицами, был центром общего внимания — у него оказалась какая-то новомодная ручка. Он гордо шагал впереди, а за ним тянулась ватага ребят, и все его упрашивали:

— Ну покажи, Кийр, покажи!

Но Кийр любил поважничать, и мало кто удостоивался чести посмотреть его ручку. Группа ребят толпилась у печи. Какой-то мальчишка с лицом хорька и живыми глазками говорил, сопровождая свои слова весьма таинственными жестами:

— Возьми гусиное перо, обмакни его в молоко, напиши на чистом листе бумаги свое имя, а потом проведи по бумаге горячим утюгом, вот тогда и увидишь.

Кто-то из ребят ответил:

— Ох, Кяарик, тебя прямо слушать страшно!

Девочки вели себя гораздо тише. Сбившись в кружок, они о чем-то шептались и хихикали.

Но больше Арно наблюдать не пришлось. Мимо него с шумом промчался сначала один мальчишка, потом другой, и началась бешеная гонка: впереди бежал перепуганный насмерть Петерсон, за ним по пятам с кровожадным выражением на лице гнался Тоотс. Сжав кулаки и угрожая беглецу, он то и дело выкрикивал на ходу: «Я тебе дам! Я тебе покажу! Будешь мне еще ябедничать!» Петерсон, видя, что спасти его могут только быстрые ноги, несея на всех парах. И неистовый бег продолжался — через парты, через головы сидящих за партами, мимо учительской кафедры, в спальню, по кроватям, подушкам, потом опять в класс, и тут круг начинался сызнова. Но долго ли, о смертный, хватит у тебя сил бежать, если за тобой гонится человек, с головы до ног охваченный жаждой мести! Это понял, наконец, и Петерсон; он остановился, тяжело дыша. Видимо, у него мелькнула какая-то новая спасительная мысль.

— Тоотс, я куплю у тебя ножик. Брось, хватит! Ну! Слышишь, я покупаю у тебя ножик со штопором.

Прошло несколько минут, ярость Тоотса все остывала и остывала. Еще секунда — и недавние враги уже торговались не на жизнь, а на смерть из-за ножика со штопором. Тут прозвенел звонок, начался новый урок. Это был урок арифметики. Тоотс, прежде чем отправиться в угол, где ему еще полагалось стоять, успел сказать Арно:

— Все могу, только вот арифметика, дряннь такая, никак в голову не лезет.

Он был прав. Он обладал обширными познаниями — он умел и складывать, и вычитать, и умножать, и делить, но при всем этом был у него один досадный недочет: он ничего не знал как следует. Решая задачу, он пускал в ход все четыре действия сразу, и потом они у него так перепутывались, что все выходило шиворот-навыворот. Учитель в таких случаях говорил ему:

— У тебя, Тоотс, прямо каша какая-то получается.

Но вот к доске вызвали Арно. Тут была совсем другая картина. Он знал все, о чем его спрашивали. Возвращаясь на свое место, он даже чувствовал себя немного смущенным, что так хорошо отвечал. Ему стало вдруг жаль своего соседа Тоотса, который, несмотря на все свои познания, не сумел решить задачу, а ведь Арно считал это таким легким делом.

На следующих уроках и переменах никаких особых происшествий не было, если не считать того, что Тоотс успел порвать какой-то девочке платье, поменаться с кем-то кошельком, разбить окно и развести во дворе школы костер. Присаживаясь у огня, он заявил, что то же самое делал и Кентукский Лев, когда ему приходилось спастись бегством от индейцев.

Все же Арно за это время удалось кое-что узнать о своих новых школьных товарищах. Так, жевавшего мясо толстяка, которому наступили на ногу, звали Тыниссоном. Мальчугана с заплаканным лицом и покрасневшими глазами, у которого одни ребята, смеясь, спрашивали: «Эй, парень, где твой отец?», на что другие тут же отвечали: «Хвост задрал, в лес удрал!» — мальчугана этого звали Визаком.

У рыжеволосого Кийра, обладателя новомодной ручки и ботинок на пуговицах, будто бы имелся дома удивительный музыкальный ящик: заведешь — и он сразу заговорит человеческим голосом и запоеет, как птица.

А о малыше Матсе Рауде рассказывали, что в прошлом году он решил пешком отправиться в город навестить свою тетку; взвалил себе на плечи котомку с едой и сказал: «Ну, я пошел!»

Шагая после уроков домой, Арно все еще думал обо всех этих вещах, таких для него новых и важных. По дороге он догнал Теэле. Сперва оба покраснели и долго шли рядом молча, но под конец разговорились.

III

— Почему ты только сегодня пришел в школу? — начала Теэле. — Мы все уже на прошлой неделе пришли.

— Я болел, не мог раньше прийти.

Они помолчали, потом Теэле спросила:

— А что у тебя было? Скарлатина?

— Нет, не скарлатина. Голова болела, и жар был. Мама сначала думала, что скарлатина, но никакой скарлатины не было.

— А скарлатина — страшная болезнь: кто ею заболит, тому уже не выздороветь.

— Ну, иногда и выздоравливают. У нас батрак был, так тот выздоровел.

— Да ну? У вас батрак болел? А ты не боялся, что болезнь и к тебе пристанет?

— Нет. Мама сказала, если пристанет, так пристанет, ничего не поделаешь. Но бояться не надо, тогда ничего и не будет; а кто уж очень ее боится, к тому обязательно пристанет. А лучше всего можжевелевым дымом комнату окурить, тогда ни за что не пристанет.

— Моя мама тоже так думает.

Потом они снова замолчали; ни один ни другой не знали, о чем говорить. Кроме того, Арно страшно боялся сказать невпопад что-нибудь такое, что Теэле не понравится. Наконец, он спросил, решив, что в этом ничего плохого не будет:

— Ну а как у тебя дела в школе?

— Очень хорошо. Только русский язык трудный.

— Русский язык? Разве русский язык такой уж трудный?

— Мне так кажется страшно трудным.

Такая откровенность поразила Арно. Сам он ни за какие блага не решился бы сказать Теэле, что ему что-нибудь трудно дается. Но сейчас, когда Теэле первая заговорила так откровенно, его священным долгом было признаться, что и у него не все идет гладко. Он все думал, думал, какой бы предмет назвать для себя трудным, но, так и не зная, на чем остановиться, бухнул наугад:

— А у меня с арифметикой не ладится.

— Ну? Ты же сегодня так хорошо все знал.

— Да, но...

Арно понял, что об арифметике говорить не следовало, что вместо нее можно было назвать хотя бы тот же русский язык, но было уже поздно. Уже второй раз становилось ему сегодня совестно, что он так хорошо знает арифметику: первый раз перед Тоотсом, а сейчас вот здесь. Ему хотелось что-то сказать в свое оправдание, но он ничего не смог придумать и пробормотал только:

— Да что там...

Но Теэле не дала себя сбить с толку. Эта девчонка с каждой минутой становилась все смелее, и, когда она снова заговорила, голос ее звучал так уверенно, что Арно даже испугался, не рассердилась ли она.

— Конечно же, ты все хорошо знал, — повторила она. — Ты всегда все хорошо знаешь; все говорят, что ты умница.

— Кто говорит?.. — спросил Арно таким тоном, словно пытался защитить себя от какой-то клеветы.

— Все говорят.

— А, да чего еще...

Они снова чуть помолчали. Потом Теэле спросила:

— А правда, что твой отец хочет послать тебя в город учиться?

Арно прекрасно знал, что у отца есть такое намерение, но мальчик он был по натуре недоверчивый и не так-то легко делился своими мыслями. Во-первых, он боялся, что ребята станут его дразнить, во-вторых, думал, что если и не будут дразнить, то начнут приставать с расспросами, а в-третьих, Арно вообще был не из болтливого десятка. Но на вопрос Теэле нужно было что-то ответить. И сказать надо было правду, потому что Теэле сама была с ним откровенна и прямо призналась, что русский язык для нее страшно труден.

Итак, ему тоже следовало быть откровенным. Ведь с первым своим признанием он уже провалился; Теэле ничуть не поверила, что арифметика ему не дается. Теперь нужно было как-то исправить свою ошибку.

— Не знаю... — ответил он. — Если буду хорошо учиться, может, и пошлет меня в город.

— Пошлет, конечно. Чего тут еще говорить, — уверенным тоном заметила Теэле и через несколько минут задала ему новый вопрос:

— А скажи, кем бы ты хотел стать?

— Ох, не знаю...

— Как это не знаешь? Раз ты поедешь в город учиться, ты же должен знать, кем потом будешь. Скажи, кем?

— Не знаю...

— Вот еще! Как это не знаешь? Ты просто не хочешь сказать. Ну скажи, тогда и я тебе скажу, кем я буду.

— Никем.

— Ишь ты какой! И что ты скрываешь, я ведь все равно узнаю! Не скажешь, так я спрошу у твоей матери.

От расспросов этой девчонки никак было не отделаться. Но и это не могло бы сломить упрямство Арно, если бы не ее заманчивое обещание: «Если скажешь, то и я тебе скажу, кем хочу быть». Теперь, кроме ее настойчивости, его подталкивало и собственное любопытство, и в конце концов он спросил:

— А если я тебе скажу, ты мне тоже скажешь?

— Ну конечно.

— Хорошо, тогда я скажу... Я хочу быть учителем.

Открыв свою сокровенную тайну, Арно покраснел до ушей. Он украдкой взглянул на Теэле — не смеется ли она — и, пытаясь побороть свое смущение, сейчас же сказал:

— А теперь говори, кем ты хочешь быть?

— Я-то? — хитро улыбнулась девочка, показывая свои мелкие мышинные зубки. — Я так и останусь простой деревенской девушкой!

— Ой, врешь! — воскликнул Арно, и ему вдруг стало ясно, что девчонка эта водит его за нос. — Ты тоже поедешь в город учиться. Я знаю. Но скажи, кем ты хочешь стать. Ты же обещала.

— Никуда я не поеду. Так и останусь деревенской девушкой! Честное слово.

— Врешь!

— Нет, не вру. Зачем мне врать?

Как ни старался Арно выведать, кем она хочет быть, девчонка была как камень, она так и не открыла своей тайны. И Арно понял, что девчонки вообще страшно хитрые: чужую тайну ловко умеют выпытать, а сами ничего о себе не говорят. Но все-таки он надеялся, что со временем ему удастся допытаться у Теэле, кем она хочет быть.

Поговорив еще о том о сем, они условились, что по утрам тот, кто раньше выйдет на шоссе, будет дожидаться другого, чтобы вместе идти в школу. Уговор этот очень обрадовал Арно, он считал себя вполне вознагражденным за то, что открыл Теэле свою тайну. Весь день у него было чудесное настроение, а вечером, ложась спать, он все еще думал о том, как утром будет поджидать Теэле на дороге. И при мысли об этом на душе у него становилось весело и радостно.

IV

Прошла неделя. Каждое утро Арно и Теэле вместе шли в школу, после уроков тоже возвращались домой вместе. Друг без друга они никогда теперь в школу не ходили. Но однажды произошло вот какое событие.

Как-то утром Тоотс, увидев, что Арно и Теэле опять вместе явились в школу, начал сновать по классу, словно ткацкий челнок, разнося поразительную новость. Давно всем известно, уверял он, что Арно с хутора Сааре обязательно женится когда-нибудь на раяской Теэле; оба богатеи, а богатый себе всегда богатую ищет. Услышав это, Теэле покраснела до ушей, убежала к девочкам и попыталась перевести разговор на другое. Арно же рассердился и пригрозил, что пожалуется учителю, но в глубине души все же был обрадован этими толками. Теэле, несмотря на все свое лукавство, была славная девчонка, и Арно не мог себе не признаться, что однажды, когда они шли домой, у него мелькнула такая же мысль — когда-нибудь жениться на Теэле. Но, упаси боже, разве можно было говорить об этом вслух! Одним из немногих, кто весьма равнодушно отнесся к тоотсовским слухам, был Тыниссон. Когда Тоотс обегал уже всех ребят и очередь дошла до Тыниссона, тот ответил ему коротко:

— Что ты мелешь!

На молитве, которая проводилась по утрам до начала уроков, «старички», как их потом стал называть учитель, старались

держаться за спинами других. Вожаком их был, разумеется, опять-таки Тоотс. В то же утро, когда он распространял повсюду свою уже известную нам новость, он во время молитвы пытался внушить ребятам, что совсем некрасиво получается, когда христиане, молясь, опускаются на оба колена. Гораздо лучше делать так, как американские поселенцы, — они опускаются на одно лишь левое колено. Тогда, объяснил он, можно ухватиться обеими руками за рукоятку меча — и молись себе сколько влезет.

Когда ребята возразили ему, что не у всех же христиан есть мечи, Тоотс ответил:

— Но мечи ведь можно купить.

И все сошло бы гладко, и ребята до гробовой доски верили бы, что единственно правильным способом молятся только американские поселенцы, если бы строгий взгляд кистера* не проник сквозь ряды молящихся и не вонзился прямо в Тоотса.

Дело кончилось тем, что изобретателя нового, усовершенствованного способа молитвы заставили молиться стоя в углу. При этом кистер решил над ним поиздеваться.

— Послушай-ка, Тоотс, — сказал он. — Еще, наверно, не все видели, как ты учишь молиться, встань-ка сюда, в угол, и покажи! А вместо меча можешь взять кочергу.

И так он стоял там в живописной позе коленопреклоненного американского поселенца, опершись на кочергу, и молился.

«Вот тебе и Кентукский Лев», — промелькнуло в голове у Арно. И он невольно вполголоса повторил свою мысль.

— Кентукский Лев...

Весь класс громко расхохотался, и с тех пор новая кличка пристала к Тоотсу, как смола. Выйдя из своего угла, он сперва немного дулся на Арно, но быстро с ним помирился, как только тот сказал, что у него есть дома какой-то необыкновенный обруч. Правда, когда Тоотс спросил, что это за обруч, Арно не смог ничего ответить: насчет обруча он просто соврал. Он помнил, как Петерсон покупал у Тоотса ножик, и теперь попытался спастись, прибегнув к такой же уловке. Тоотс вначале не проявил даже особого любопытства, он только велел Арно захватить с собой обруч в школу, и дело, казалось, было улажено.

Но Арно ошибался, думая, что тем все и кончится и Тоотс забудет про обруч. Уходя из школы, Тоотс бросил ему ужасающую фразу:

— Смотри, Та́ли, не забудь обруч принести... Не то я сам насчет Теэ́ле спланирую...

Если бы вдруг в реке закипела вода, Арно, наверно, не так испугался бы, как сейчас, услышав эти слова. В первую минуту он застыл на месте, глаза его широко раскрылись, руки беспомощно повисли. Потом он чуть было не заплакал. Ураганом помчался он вслед за Тоотсом и крикнул дрожащим голосом:

— Я принесу тебе обруч, принесу!

— То-то, смотри у меня, принеси, — ответил Тоотс.

Арно хотел еще что-то сказать, но Тоотс уже был далеко. Долго еще стоял Арно, задумчиво глядя вслед удалявшемуся Тоотсу. Потом повернулся и, грустный, поплелся домой. На сердце ему словно навалили тяжелый камень. Возвращаясь домой, он всегда бывал голоден как волк, а сейчас и думать не хотелось о еде. У ворот школы он в раздумье остановился.

Что такое сказал ему этот Тоотс?.. «Спланирую»... «Насчет Теэле спланирую»... Что это значит — «спланирую»? Арно был уверен, что за этими словами кроется нечто страшное, но что именно, он не знал. Может быть, «спланировать», в конце концов, то же самое, что «скальпировать»?

Неужели он, Арно, которому бывало неприятно даже, когда другие разговаривали с Теэле, теперь должен мириться с тем, чтобы ее скальп... нет, чтобы насчет нее спланировали! Это ужасно! Несчастный паренек стоял у ворот и ждал Теэле, чтобы по дороге рассказать ей, какая ее подстерегает опасность. Он хотел предостеречь Теэле от Тоотса, этого жуткого Кентукского Льва.

— Ты что, домой еще не идешь? — услышал он у себя за спиной.

Арно быстро обернулся. Это был Тыниссон. Он стоял в точно такой же позе, в какой Арно впервые его увидел — с ломтем хлеба и куском мяса в руках, и жевал. Арно недоверчиво взглянул на него.

— Пойду, — отозвался он. — Только подожду еще.

— Кого ты ждешь?

Арно не знал, что ответить. Потом, решив, будь что будет, сказал:

— Я жду Теэле.

Он был почти уверен, что Тыниссон, услышав такой ответ, сразу засмеется. Любой из ребят на его месте сделал бы то же самое. Но Арно ошибся. Тыниссон не засмеялся. Он только буркнул: «Ага!» — и собрался уходить. Арно был удивлен. Нет, этот Тыниссон совсем не такой, как другие мальчишки. Во-первых, хотя бы уж то, что он вечно ест и никогда не шалит, а во-вторых, гляди-ка, он и сейчас не рассмеялся. Вот он и ушел уже — идет себе медленно, большими шагами, точь-в-точь как взрослый. У Арно появилось странное чувство. Ему стало так грустно, что он не мог больше оставаться один: ему надо было с кем-нибудь поделиться мыслями, спросить совета — может, тогда сердце не ныло бы так сильно. Он еще раз посмотрел вслед Тыниссону и громко крикнул:

— Тыниссон!

Тот оглянулся и остановился. Арно подбежал к нему и, краснея, начал умоляющим тоном:

— Слушай, Тыниссон, если я тебе что-то скажу, ты никому не расскажешь?

— Никому не расскажу,— ответил Тыниссон, проглатывая последний кусок и вытирая жир с подбородка.

— Слушай, Тоотс этот пригрозил мне...

— Чем пригрозил?

— Что если я не принесу ему обруч, так он...

Арно запнулся. Он никак не мог найти нужные слова. На глаза его невольно навернулись слезы. Наконец он овладел собой и продолжал дрожащим голосом:

— Я обещал Тоотсу принести обруч...

— Какой обруч?

— Да я и сам не знаю какой. Я соврал ему, будто у меня дома есть такой замечательный обруч.

— Ну и что? Что ж из этого?

— Да, но если я не принесу обруч, так он... Так он сам спланирует насчет Теэле.

Тыниссон ответил не сразу. Он был из тех людей, которые в трудных случаях жизни любят хорошенько подумать, прежде чем ответить. Через несколько минут он сказал:

— Ах, Тоотс, значит?..

— Ну да, Тоотс.

— Так это же просто тоотсовская болтовня. Ты его не слушай.

— А если он все-таки...

— Что все-таки?

— Ну, если он насчет Теэле спланирует?

— Да не будет он.

— Ты думаешь?

— Да.

— Ну вот, я тоже думаю, но мне просто захотелось тебя спросить. Ты хороший парень. А скажи, что это значит — спланировать?

— Спланировать?.. А ты разве не знаешь? Спланировать насчет девушки — это значит жениться на ней!

Арно словно ножом резнуло. Он и раньше боялся, что это загадочное слово имеет какой-то страшный смысл, но то, что он узнал сейчас, оказалось ужаснее всех его предчувствий.

— А как ты думаешь, Тыниссон, Теэле выйдет замуж за Тоотса? — спросил он.

— Не выйдет.

— Почему ты думаешь, что не выйдет?

— Да зачем ей за него выходить, если он вечно в долгах? Мой отец вчера как раз говорил: доиграются эти Тоотсы из Заболотья до того, что и хутор с молотка пойдет.

— Что это значит — «с молотка пойдет»?

— А то значит, что возьмут их да в тюрьму посадят, пока долгов не уплатят.

— А если не уплатят, так останутся в тюрьме?

— Ну конечно, останутся. Кто ж их раньше времени выпустит?

— А как это — если отец в долгах и уплатить не может, сына тоже сажают в тюрьму?

— Нет, вот этого я не знаю... А только кто ж его на свободе оставит?

У Арно по всему телу пробежала радостная дрожь. Надежды его проснулись с новой силой. Он уже ясно представлял себе, как Тоотсов ведут в тюрьму и оставляют их там, а он, Арно, потом женится на Теэле.

Когда они с Тыниссоном расставались, дружба их была крепче ячменной лепешки. В порыве радости Арно даже предложил Тыниссону свою старую коробку от грифелей, но тот ответил, как всегда, рассудительно, точно взрослый:

— Не надо! У меня уже такая есть.

Арно помчался домой, и его несла как будто не одна пара ног, а сразу две — таким коротким казался ему путь. Проходя мимо кладбища, он увидел впереди, за поворотом дороги, быстро удалявшуюся фигурку девочки. Он напряг все силы и побежал за ней. Услышав топот ног, Теэле оглянулась и остановилась. Арно же еще издали громко закричал:

— Тоотсы из Заболотья кругом в долгах! Их хутор скоро пойдет с молотка, а их всех в тюрьму посадят!

V

Вечером, засыпая, Арно продолжал думать о злополучном обруче. Даже во сне он видел обруч. Утром проснулся — опять вспомнил про обруч. План действий у него был такой. В том, что семью Тоотсов со всем их скарбом вскоре отправят в тюрьму, сомнений никаких не было. Но дело это могло ведь и затянуться немножко. И именно в течение этого времени, пока они еще на свободе, нужно с ними ладить. Поэтому надо раздобыть юному отпрыску Тоотсов обещанный обруч. И — подумать только! — паренек встает ни свет ни заря, бродит по грязному двору и ищет тот старый обруч от кадушки, который несколько дней назад валялся около амбара. Мальчишка вышел босиком; он натывается на острый осколок бутылки, который, притаившись тут же, возле амбара, только и ждет, чтобы на него наступили босой ногой. Но мальчик не обращает на это внимания: ему нужен обруч! Забавно глядеть, как Арно в это утро отправляется в школу. Обычно он поджидает Теэле там, где проселочная дорога выходит к шоссе, но сегодня он удирает гораздо раньше, чем всегда. Он боится, как бы Теэле не увидела, что он несет обруч. В школу он приходит раньше всех и с замиранием сердца ждет Тоотса. Лишь когда тот, наконец, появляется, Арно вздыхает с облегчением.

Вид у Тоотса был такой же, как всегда: пальто нараспашку, шапка на затылке, в карманах полно всякой дребедени и индейского оружия. Арно побежал ему навстречу с обручем в руках. Но каков же был его испуг, когда Тоотс, взглядом знатока оценив обруч, сказал:

— Вот чудак! Это же обруч от кадки.

— Не знаю. Я думал, тебе такой и нужен,— робко возразил Арно.

— Не валяй дурака! Как будто у меня самого мало этих обручей! Я думал, у тебя какой-нибудь особенный... металлический обруч, как у индейцев на луках.

Арно стоял перед Тоотсом, как перед судьей. Слово «металлический», которого он не понимал, еще больше усложняло дело. Пытаясь скрыть свое смущение, он спросил:

— А что это значит — металлический?

— Металлический? Вот чудак, не знает даже, что такое металлический! Ты не читал «В когтях у краснокожих»?

— Нет.

— Металлический — это значит сделанный из черного дерева. Такое дерево, что даже нож его не берет. Когда индейцы делают себе из него луки, они кладут его в форму, а вокруг жгут паклю. Понимаешь, обжигают; ножом не вырежешь.

Но раз Арно уже начал врать, то и спастись попробовал враньем. Он сделал вид, будто страшно удивлен.

— Да ну? А знаешь, кусок такого дерева у нас дома лежит на шкафу. Бабушка говорит, что это камень, но я теперь знаю — это и есть металл.

Глаза Кентукского Льва стали величиною с плоски.

— Правда? — Он схватил Арно за пуговицу и потянул ее к себе, словно это и был нужный ему металл.— Если ты мне принесешь тот кусок металла, что у вас на шкафу, я тебе дам вот это... смотри сюда!

И перед самым носом Арно появилась злобная картинка, на которой был изображен краснокожий, убивающий какого-то бледнолицего мужчину. По правде говоря, Арно и даром не взял бы этой картинки, но сейчас он должен был с Тоотсом ладить.

— Ты мне ее дашь? — сказал он.— Ну, уж тогда я обязательно принесу. Но скажи, если я принесу, так ты Теэле...

Дьявольская улыбка, какая бывает только у индейцев, скользнула по лицу Кентукского Льва. Он вдруг понял, что Арно теперь весь в его власти, что он, Тоотс, сможет растоптать его в прах, если захочет, и, пытаясь подражать индейцам, с сатанинской усмешкой на губах произнес:

— Н-да. Ясно, если ты мне не принесешь металл, не видать тебе Теэле, как ушей своих.

— А если принесу?

— Ну, тогда... тогда еще посмотрим, как будет.

— Нет, ты скажи: что ты сделаешь, когда я тебе принесу металл?

— Тогда катись в преисподнюю вместе со своей Теэле, бледнолицая собака!

Прозвучал звонок, ребят позвали на молитву. Теэле посмотрела на Арно так, словно хотела спросить: «Почему ты не подождал меня сегодня утром?» Но Арно сейчас некогда было думать о таких вещах. Его мысли кружились только вокруг этого страшного металла. Даже Теэле, казалось, представляла теперь в его глазах меньшую ценность, чем кусочек черного дерева, хотя кусочек этот был всего-навсего средством добиться той же Теэле.

Начался урок катехизиса, Арно пытался собраться с мыслями, чтобы не наделать ошибок: он боялся кистера так же, как и другие. И все сошло бы гладко, если бы за несколько минут до конца урока кистеру не пришла в голову мысль задать ему вопрос.

— Ну так, а теперь, Тали,— сказал он,— как имя того мужа, который жил дольше всех, и до какого возраста он дожил?

— Металл,— звонко прозвучало в ответ.

— Как?

— Мет... Метузала*.

— Вот именно — Метузала! А ты что там напутал?

— Ме... Ме...— Арно покраснел до ушей. Хотя он и знал, что, кроме него и Тоотса, никто не догадывается, почему у него вырвалось это слово, ему стало ужасно стыдно.

— «Ме-э... ме-э»...— передразнил его с кафедры кистер.— Чего ты мемекаешь? Ты же не овца. Учиться надо лучше, а не мемекать! Ленив ты, как капустный червь. Тоотсу как раз под пару, хоть свяжи вас вместе да пусти плыть против течения.

Для Арно это было уже слишком. Он все мог бы вынести, но такое издевательство в присутствии Теэле — нет, это было уже слишком. Он бессильно опустился на скамью, словно его по голове ударили. Учился Арно совсем не плохо, но кистер был сегодня не в духе, вот ему и нужно было излить на кого-нибудь злость. Урок окончился, начался следующий, потом и он кончился — так и шли уроки один за другим, пока не настало время собираться домой. Арно все эти часы просидел за партой, ни с кем не обменявшись ни единым словом. Да и зачем! Ему казалось, что теперь все погибло. Что он теперь значит для Теэле, он, глупый мальчишка, которого обругали перед всем классом? После уроков, когда остальные ребята весело побежали домой, Арно остался в классе. Он решил подождать, пока и Теэле уйдет, чтобы потом идти домой одному. Но дело обернулось по-другому. Вскоре в класс тихонько проскользнула Теэле и, на цыпочках подойдя к Арно, спросила:

— Ты разве не идешь?

Арно оторопел. Об этом он даже и мечтать не смел.

— Да, иду,— растерянно пробормотал он, вскочил, схватил

под мышку узелок с книжками и вместе с Теэле вышел из школы.

Проходя через двор, они увидели, как Тоотс пытается насильно всучить Визаку тот самый обруч, который Арно утром принес в школу. Тоотс уже сбавил цену до крайнего предела — до одной копейки, но, несмотря на это, Визак все еще колебался, делая плаксивую мину. В конце концов Тоотс добавил от себя еще один «алмаз» — так он называл свои камешки, — и сделка состоялась.

— Что ты такое сказал кистеру вместо «Метузала», что он стал ругаться? — спросила по дороге Теэле.

— Кистер? — переспросил Арно. — Кистер этот просто коротышка, его так все и называют — Юри-Коротышка!

— Почему?

— Не знаю. Должно быть, потому, что он короткий, как обрубок.

— А что ты ему сказал? Мет... мет...

— Металл.

— Что такое металл?

— Откуда мне знать? Тоотс говорит, будто это черное дерево, из которого индейцы выжигают себе лук.

— Ой, Тоотс этот прямо страшный человек. Только и знает своих индейцев.

— Конечно, страшный. Да еще такую чушь болтает... — Арно решил, что настал подходящий момент, когда можно укрепить свои позиции. — Да, такую чушь болтает, что уши прямо вянут.

— А что он сказал?

— Что он сказал... Да сказал, будто хочет на тебе жениться.

Теэле вся залилась румянцем. Вначале она не могла вымолвить ни слова, но потом, оправившись от смущения, стала, к великой радости Арно, повсюду поносить Тоотса.

— Подумать только, что этот дурак болтает! Вот возьму да расскажу кистеру, тогда увидит, как ему достанется.

— Да нет, не стоит на него жаловаться, — примирительно сказал Арно. Он боялся, что, если Теэле пойдет жаловаться, Тоотс впутает в это дело и его. — Нет, жаловаться не стоит, это нехорошо. Мы ему и сами всыплем.

— Да кто с таким дикарем справится? — с сомнением в голосе спросила Теэле.

— Справимся. Если еще Тыниссон мне поможет, справимся наверняка.

— Ну, тогда конечно. А если Тоотс пойдет жаловаться и учитель спросит, за что вы его побили, что ты тогда скажешь?

— Тогда...

— Да, то-то и оно...

С какого бы конца ни взялся за это дело, все равно получалось одно и то же. Арно стало ясно, что Тоотса не проймешь ни

огнем, ни водой. Некоторое время они продолжали шагать молча, потом Арно начал снова:

— Скучно было утром идти одной?

— Скучно. Почему ты меня не подождал?

— Я... я думал, что ты больше не захочешь со мной ходить.

— Ну почему же?

— Ты хочешь, чтобы я завтра утром ждал тебя?

— Хочу.

— А если бы вместо меня был Тоотс, ты ходила бы с ним вместе?

— Нет. С этим индейцем я бы и шагу вместе не сделала.

Этого было достаточно. Арно чуть не вскрикнул от радости. Он проводил Теэле до ворот ее хутора и только отсюда повернул вдоль межи и пошел к себе. Хозяйка хутора Рая, которая как раз в это время была во дворе и видела его рыцарский поступок, сказала своим домашним:

— Какой славный паренек этот саареский Арно — провожает нашу Теэле до самых ворот.

VI

Звонарь паунвереской церкви был довольно странный человек. Вечно он что-нибудь продавал; если нечего было продавать, разыгрывал что-нибудь в лотерею; а когда и для лотереи ничего под рукой не оказывалось, он уходил в кабак, напивался и лез в драку. Один глаз ему во время драки уже выбили; другой, правда, был еще цел, но кое-кто говорил: «Долго ли он у Либле удержится? Скоро вылетит и этот. Либле дай хоть сотню глаз, все равно через год ни одного не останется».

Сам Либле на такие издевки отвечал коротко: «Вы лучше помалкивайте, я ваших глаз себе взаймы не беру. Смотрите, чтоб у самих рожи целы остались».

В воскресенье, через несколько дней после того, как Арно проводил Теэле до ворот хутора, этот самый Либле устроил у себя великолепнейшую лотерею. В числе разыгрываемых вещей был даже пистолет.

Как известно, все заправские торгаши уже в воздухе ловят вести о том, где что продается и покупается; так было и с Тоотсом. Он тоже явился на лотерею. Вытянул он всего каких-нибудь два билетика, да и за те уплатил орехами, но именно он и выиграл пистолет. Впоследствии, уже после лотереи, рассказывали, что Тоотс вел себя там совсем как взрослый мужчина: он изрядно выпил, с важным видом курил сигару, танцевал и орал: «Ю-ххей!» Но все это не столь важно. Вернемся в школу.

В понедельник утром слух о том, что Тоотс выиграл пистолет, распространился среди ребят, как огонь по сухой траве. Когда

Тоотс явился в школу, ему была устроена торжественная встреча. Он стал героем дня. Куда бы он ни шел, за ним тянулась огромная ватага мальчишек — всем не терпелось увидеть его замечательное оружие. Сам Тоотс тоже проникся сознанием важности своей персоны; он держался подобающим образом и беспрестанно повторял:

— Да, ребята! Скоро вы меня больше не увидите. Стану я еще здесь торчать! Что мне стоит — поеду и буду краснокожих щелкать!

И вполне естественно — да разве могло быть иначе! — такие речи еще больше поднимали его авторитет. Чтобы увековечить за собой славу непобедимого храбреца, Тоотс пообещал после уроков дать из своего «громобоя» первый выстрел. Всякий, кто желал быть свидетелем этого события, мог остаться; кто не хотел, мог спокойно идти домой. Он никого не принуждал оставаться. Он даже оказался настолько осторожен, что предупредил ребят, которые были потрусливее: выстрел из его «громобоя» оглушителен, как пушечный залп, и отдается на двадцать верст в округности. У кого уши послабее, те могут совсем оглохнуть, а если у кого они совсем слабые, из них гной начнет течь. И вот все с нетерпением стали дожидаться окончания уроков. Когда момент этот, наконец, наступил, никто и не подумал уйти домой: в классе не оказалось ни одного труса. Тоотс уселся на скамью посередине двора, вытащил из-за пазухи свой «громобой» и положил его около себя. А сам заорал на ребят:

— Смотрите мне, черти, чтоб не трогать! — Потом он достал рог (это был кусок газетной бумаги и в ней немного пороха) и разложил все это тут же, рядом.

Ребята следили за каждым его движением, затаив дыхание. Редко кто решался кашлянуть. А Тоотс продолжал священнодействовать. Он раскрыл свой большой перочинный нож, который называл обычно томагавком, и взял его в зубы. Когда ребята спросили, зачем он это делает, он объяснил:

— Дурачье, и что вы только понимаете! В ту минуту, когда я заряжаю пистолет, на меня может сзади наскочить тысяча краснокожих. Томагавк всегда должен быть наготове.

Тыниссон, который в это время как раз собирался приступить к еде и уже поднес было ко рту ломтик хлеба, вдруг спросил:

— А кто же ты сам будешь — бледнолицый или краснокожий? Один раз ты бледнолицый, а в другой раз — краснокожий.

Но Тоотс, не удостоив его ответом, бросил лишь в его сторону презрительный взгляд. Вместо Тоотса ответил трусишка Визак:

— Он Кентукский Лев!

Это вызвало смех. Но смеялись недолго: ни место, ни время к тому не располагали.

— Что ты мелешь, пучеглазый! — прикрикнул на Визака Тоотс. — Иди лучше разыщи своего отца.

Визак расплакался, остальные засмеялись.

Но вот наступил, наконец, самый страшный момент: Тоотс, все существо которого выражало сейчас презрение к смерти, взял в руки пистолет и стал сыпать в дуло порох. Ребята потрусливее попятись назад, а те, кто остался подле Тоотса, вызвали своим бесстрашием общий восторг.

Когда порох был засыпан в дуло, туда вогнали пыж из бумаги. Потом насыпали дробь и снова заткнули дуло бумагой. Оставалось только вложить пистон и выпалить. Все стояли, словно пригвожденные к месту, и пялили глаза на Тоотса, стараясь не пропустить ни одного его движения. Но в самый напряженный момент из толпы вдруг вышел Тыниссон, застегнул пальто и собрался уходить домой.

— Ну что ты дурака валяешь? — сказал он Тоотсу. — Еще глаза себе выбьешь.

— Уходи, коли трусишь, — ответил Тоотс.

— Чего мне трусить, ты же не трусишь. А начнешь тут стрелять — наверняка от кистера нахлобучку получишь.

— Ха-ха, чудак, так я кистера и испугался!

— Ничего, испугаешься!

— Пусть только подойдет, возьму да направлю дуло прямо на него — увидишь, как он мелкой рысцой пустится.

— Чего ты хвастаешься! Ступай на болото, там и стреляй.

— Сам ступай на болото.

Тыниссон не сказал больше ни слова, только чуть ссутулился, как обычно делал это при ходьбе, и ушел.

— Готово! — объявил Тоотс, вставая со скамьи.

— Ой! — слышались в толпе испуганные возгласы.

Тоотс отмерил десять шагов вперед и остановился, держа оружие в вытянутой руке. Прошло еще какое-то мгновение, и, сделав страшное лицо, Тоотс воскликнул:

— Умри, собака!

Многие закрыли уши руками. С минуты на минуту можно было ждать оглушительного залпа.

Так стояли они, столпившись у ограды школьного двора, двадцать пять мальчишек (девочки все ушли домой); а немного подальше, у бани церковной мызы, — Тоотс со своим страшным оружием в руке и еще более страшным выражением лица.

Но выстрела не последовало. Выстрел должен был прозвучать, но его не было.

— Что такое? Не стреляет? — отважился, наконец, спросить кто-то из зрителей.

— Да нет, стреляет, чего ему не стрелять, — ответил Тоотс, оборачиваясь к ребятам, — но черт его знает, пистолет этот не из тамассеровской стали*. Будь это тамассеровская сталь, так выстрелил бы, а этот, чего доброго, на куски разлетится.

— Трусишь.

— Нет, не трушу. Чего мне трусить!

И точно так же, как в свое время он придумал новый способ молитвы, он теперь изобрел новый способ стрельбы. Он привязал пистолет к березе, стоявшей под самым окном баньки, прицепил к курку длинную веревку, сам отошел к ребятам и потянул за веревку. Раздался выстрел. Окно бани со звоном разлетелось на куски. И вскоре в разбитом окне показался огромный кулак. Чей-то голос в бане завопил:

— Чертово отродье! Так и человека убить можно!

Ошеломленные ребята не успели еще прийти в себя от испуга, как перед ними предстал и сам обладатель кулака. Это был арендатор с церковной мызы. Бог знает, что он в это время делал в бане, но как раз в ту минуту, когда в окно грохнул заряд, арендатор оказался там. От злости лицо у него было красное, как жженный кирпич, и даже издали можно было разглядеть на его лбу две вздувшиеся синие жилки.

— Ну скажите на милость, вы, стадо поросычье! — заорал он. — Есть у вас хоть капля ума в голове? Рехнулись вы, что ли? Как вы думаете — а вдруг в меня попало бы? Говорите сейчас же, кто стрелял?

Перепуганные ребята посмотрели на Тоотса. Тот предпочитал держаться от арендатора на почтительном расстоянии.

— Ну да, так я и знал, — продолжал кричать рассвирепевший арендатор, — так я и знал! Кто же, как не Тоотс! Послушай, ты, человеке, ты, видно, так и родился болваном!

Тоотс отступил еще подальше.

— Я сначала думал, что пистолет из тамассеровской стали, — начал он оправдываться.

— Сам ты Тамассер. Я тебе этого самого Тамассера покажу!

Когда гнев арендатора стал уже утихать, на месте происшествия появилась новая личность, которая вновь занялась разбирательством этого дела, потерявшего было свою остроту. Это был кистер. Услышав выстрел, а затем и голоса во дворе, он вышел посмотреть, что здесь происходит.

— Что тут такое? — было его первым вопросом.

— Да так, ничего особенного, — ответил арендатор. — Мальчишка опять набедокурил. Я его уже пробрал как следует.

— Какой мальчишка? Что он сделал? Тут кто-то из них стрелял?

— Да вот, говорят... будто Тоотс стрелял. Да ничего, только вот окно в баньке разбили.

Убийственный взгляд пронзил несчастного Кентукского Льва. Кистер захрипел так, будто у него жаба в горле застряла. В первую минуту он ничего не в состоянии был из себя выдавить, кроме: «Ух... ух...» — и потом только последовала вся фраза целиком: «Ух ты, дьявол!» Мальчишки стали расходиться. Кто должен был идти домой, ушел домой, а те, кто ночевал в школе, забрались

в класс и сидели там тихо, как мышата. А на дворе в это время злым ураганом бушевал кистер, и Тоотс, стоявший перед ним подобно вековому дубу, потерял в тот день множество листьев и сучьев, если только клочья волос можно сравнить с листьями и сучьями.

Под конец в мозгу кистера возник следующий серьезнейший вопрос: стоит ли вообще оставлять Тоотса в школе? Не лучше ли отправить его домой и никогда больше не пускать на порог?

Но на этот раз благодаря заступничеству учителя Тоотса все же оставили в школе.

Он, говорят, потом сам признавался товарищам:

— Ох ты, черт, знал бы я, что кистер заявится, я бы лучше на болото пошел, как Тыниссон советовал.

VII

Арно, все время с увлечением следивший за всей этой кутерьмой, удрал домой, как только грянул гром, то есть когда появился кистер. Вначале Арно был доволен, что Тоотс так отчаянно расхваливает свое смертоносное оружие, — значит, Тоотс занят сейчас невероятно важным и сложным делом, которое должно вытеснить у него из головы всякую мысль о металле.

Арно был твердо уверен, что теперь Тоотс оставит его в покое. Но потом, когда Тоотс, словно сам бог войны, восседал посреди двора и заряжал пистолет и все вокруг восхищались им, Арно решил, что все-таки было бы лучше, если бы Тоотс не обладал этим чудодейственным оружием, ведь благодаря ему Тоотс вызвал в школе общий восторг и уважение, и не только среди мальчишек, но и у девчонок; им восхищались и девочки — а ведь Теэле тоже была девочка! С какой легкостью могла она теперь изменить свое отношение к Тоотсу, снискавшему такой почет и славу!

Во всяком случае, Арно был очень рад, что его противника постигла столь плачевная участь, пришедшая на смену былому величию.

И все-таки на душе у Арно было не совсем спокойно. Домой он шел грустный. На глаза навертывались слезы — он и сам не знал почему. Впервые в жизни он испытывал такую глубокую грусть. Раньше, когда его что-нибудь мучило, он обычно шёл к матери, открывал ей свою душу, мать его утешала, и ему становилось легче. Но что он сейчас мог ей рассказать? Ведь не мог же он так, ни с того ни с сего, подойти к ней и выложить истинную причину своего горя. Значит, надо было просто соврать. И слова утешения, которые мать сказала бы в ответ на эту ложь, никак не могли ему помочь. Тот, кто ищет утешения, обязан честно поведать настоящую причину своей грусти. Иначе и не может быть. И Арно решил молчать и переживать все один.

Свернув с дороги, он очутился в березовой роще, начинавшейся у самой тропинки и простиравшейся почти до хутора Рая. Здесь он присел на березовый пенек и углубился в свои мысли.

Но недаром говорится: чем беда горше, тем помощь ближе. По шоссе шел, приближаясь к Арно, Кристьян Либле, звонарь паунвереской церкви. Он уже «нагрузился, как бомба» — так он сам любил о себе говорить — и сейчас, пошатываясь на своих ослабевших ногах, беспрерывно сражался с невидимыми врагами. Каждое деревцо, каждый кустик он принимал за каких-то разбойников и без устали угрожал им:

— Подожди ты у меня, дьявол, я тебе нос в лепешку расквашу! — Или же: — Уж я тебе покажу!

Поравнявшись с Арно, звонарь увидел, что тот сидит на пне, и с громким криком побежал прямо на него.

— А, вот ты где, разбойник! Ну, теперь ты живым не уйдешь!

Но Арно продолжал спокойно сидеть. Он давно привык к Либле и знал, что на самом деле тот совсем не такой уж грозный. И действительно, Либле вскоре понял, что перед ним не разбойник, за которым нужно гнаться, а всего-навсего Арно, и заговорил, беспрерывно икая:

— Ик... Да-а, так это же... это же молодой хозяин Сааре. Ну да, смотрит, все ли в порядке в лесу, да и вообще... Икк...

— Нет, я шел из школы, — ответил Арно.

— А, из школы? Ну а что, Юри-Коротышка опять сегодня рычал? Икк...

— Рычал, конечно, как всегда.

— Ну да, куда ж он денется? Как начал орать, даже в трактире слышно было... икк... Яан Карпа мне и говорит: «Иди, говорит, набей на него обруч, не то он, дрянь этакая, еще лопнет со злости...» Икк... ик... икк...

Речь звонаря забавляла Арно.

— А ведь не лопнул же, — сказал он.

И Кристьян Либле, этот тридцатилетний полуэстонец-полулатыш, продолжал, сопровождая слова икотой:

— Ну а как же... ик... еще немного — и лопнул бы.

— Ой нет, такой не лопнет, — отозвался Арно.

— Да, пожалуй... икк... так легко и не лопнет, у него, скотины, шкура толстая. Моя мать, покойница, всегда, бывало, говорила — из такой шкуры можно бы веревки для коромысла вить, они бы до самого светопреставления целы были! Ик...

Плохое настроение Арно быстро улетучивалось. При всей своей любви к чарочке и неукротимой страсти к торгашеству Либле был большой шутник. С ним только надо было уметь обойтись по-хорошему. Того, кто его не изводил и старался с ним ладить, Либле умел рассмешить чуть ли не до колик в животе. Водки он ни у кого не кланчил, а покупал ее обычно на свои деньги. Когда их у него не оказывалось, он брал в долг, а когда в долг больше

не давали, закладывал трактирщику свою одежду и готов был идти домой чуть ли не голышом.

Арно и звонарь долго еще сидели и болтали «всухую», как выражался опять-таки сам Либле. Потом он вытащил из кармана бутылку водки, отхлебнул из нее и сказал:

— Приходится иной раз смазывать, не то загорится. Ведь рот у человека — то же самое, что машина.

Он протянул бутылку Арно, предлагая и ему хлебнуть. Арно сначала противился, но звонарь пристал к нему как банный лист, и тогда паренек решил про себя: «А, ладно, попробую!»

И попробовал. Водка была ужасно горькая. Когда он выпил, ему показалось, будто он глотнул огня. Но, боясь обнаружить свою слабость, он стерпел скверное ощущение и даже не сплюнул. Звонарю такая отвага понравилась. Он принялся расхваливать мальчугана и, сунув себе в рот самокрутку, сделал точно такую же и для Арно. Мальчик и на этот раз стал отказываться, но под конец взял ее. Так они и сидели вдвоем в березовой роще — старый и малый... Арно отхлебнул из бутылки еще несколько раз. А когда пришел конец первой самокрутке, была свернута вторая — словом, дела шли совсем как у взрослого. Через полчаса оба заснули. А вокруг шумела березовая роща, убаюкивая их колыбельной песней.

VIII

Когда на хуторе Сааре увидели, что сыночек все не возвращается, мать Арно заволновалась.

— Где он, негодник, может быть? — сказала она своему мужу, отцу Арно.

— А, да где ему быть, верно, в школе ночевать остался, — ответил тот.

— Чего ради он там останется? У него и еды с собой нет. Может, с ним по дороге домой что-нибудь стряслось?

— Что там могло стрястись?.. Подожди, придет.

Но Арно все не было, и мать решила пойти на хутор Рая, узнать, вернулась ли Теэле. Теэле оказалась уже дома. Когда ее стали спрашивать об Арно, она ответила, что, уходя из школы, видела его — он стоял во дворе вместе с другими мальчиками. Больше она ничего не знала. Потом она, правда, добавила, что, как ей кажется, мальчишки сегодня затеяли что-то необычное; они все шушукались между собою во дворе и что-то старательно рассматривали. Хотя Теэле и прошла совсем близко от них, ей так и не удалось подсмотреть, что они там такое замышляют. Мать Арно вернулась домой и стала снова ждать. Но разве успокоится сердце матери, если уж она начала тревожиться о своем ребенке! Не находила себе покоя хозяйка хутора Сааре; она решила пойти

в школу и расспросить о сыне. Ребята, ночевавшие в школе, сказали ей, что Арно давно ушел; больше никто ничего не знал. Визак высказал предположение, что Арно мог попасть в лапы к дурачку Марту. Говорят, дурачок Март в последнее время часто бродит по окрестностям. Услышав это, мать Арно еще больше встревожилась.

Дурачок Март был огромного роста мужик, крепкий, как бревно; вечно он что-то болтал о машинах и винтиках, а однажды, говорят, действительно погнался за какой-то школьницей, возвращавшейся домой. Ей, правда, удалось убежать, но потом она от испуга заболела. Поэтому дети боялись, возвращаясь домой, встретиться с ним, и, когда на дороге показывался какой-нибудь высокий мужчина, они уже издали всматривались, не дурачок ли Март это.

Мать Арно заторопилась домой. По дороге она все повторяла про себя:

«Куда ж он все-таки девался, глупое дитя? Куда же он девался?»

Батрак, подумав, тоже решил, что дело неладно.

— Поди знай, — сказал он, наконец, — может, и впрямь дурачок Март, скотина этакая, напугал парня, а тот со страху удрал бог знает куда. Может, в Па́пиское болото забрел да там и заблудился.

Батрак очень дружил с Арно. Он знал тьму всяких историй о привидениях и домовых, и, когда они вдвоем с Арно уходили в ночное, разговорам их не было ни конца ни края. Засыпали они только на рассвете у гаснущего костра. Арно всегда брал с собой большой отцовский тулуп, и, если становилось холодно, батрак укутывал его в тулуп по самый нос. Когда они укладывались спать, полы тулупа подворачивали Арно под бока, одну на другую, и мальчик сразу становился похож на тюленя. Поэтому перед сном они и говорили: «А сейчас давай играть в тюленей!» Батрак был озабочен исчезновением своего юного друга не меньше, чем его родители. От волнения парень так ожесточенно сосал свою коротенькую трубку, что она прямо пищала; он не мог даже спокойно стоять на месте. Он посоветовал хозяевам сейчас же взяться за поиски Арно. И вот поиски начались. Сначала мальчика искали недалеко от дома, затем все дальше и дальше, расширяя круг. Звали, аукали, в березовой роще откликалось эхо, но никто не отзывался... Стемнело, стал накрапывать мелкий дождик. Волей-неволей пришлось прекратить поиски. Мать Арно заплакала. Но батрак, уже собиравшийся вслед за другими вернуться домой, вдруг заметил приближавшуюся к ним фигуру. То был дурачок Март. Батрак подобрался к нему сзади и набросился на него с криком:

— Говори, сатана, куда ты загнал мальчишку?

— Какого мальчишку? Не знаю я никакого мальчишки.

— Врешь.

— Нет, не вру.

Дело дошло до того, что батрак стукнул Марта. Но Март, хоть и был ростом с Голиафа и отличался огромной физической силой, не любил ввязываться в драку. Так и сегодня: он только провел рукой по ушибленному месту, вытер глаза и заявил, что лучшее средство против опухоли — это квашеное топленое молоко.

Тогда хозяйка попыталась его подкупить. Она обещада отдать ему старый пиджак и брюки хозяина, пусть только скажет правду. Но и это не помогло. Март твердил одно и то же: ничего он не знает.

— Тебя сам черт не поймет, — выругался, наконец, батрак. — Может, ты и впрямь не знаешь. Но тогда пойдем с нами, помоги искать. Пройдемся еще разок вон там, по березняку. Ты иди со стороны Рая, а я зайду со стороны болота. Когда пойдешь, аукай.

— Не пойду, — заупрямился Март.

— Ого-го! Не пойдешь?

— Не пойду.

— Почему?

— Не пойду.

— Пойдем, Март, я тоже пойду со стороны дороги, тогда мы и сделаем круг, — вмешался в разговор хозяин.

— Идите сами, ищите, а я не пойду.

Тут батрак нетерпеливо прикрикнул на него:

— Ты что, хочешь еще раз получить? У тебя совесть не чиста, не то пошел бы. Говори, куда загнал мальчишку?

— Никуда я его не загонял.

— Но ты сегодня его видел?

— Не видал.

— Врешь!

— Нет, не вру. Не верите, так возьмите два стебелька полевицы, обмакните в воду и сожгите, а золу снесите в канаву у дороги. Как подползет змея, так сразу и издохнет. Да, да, правда. Новые плуги тоже самое...

— Брось чепуху молоть!

— Не пойду я, в лесу разбойники.

— Чего ты болтаешь!

— Ей-богу, правда. Шел я через березняк и вдруг вижу — трое или четверо там спят, только храп стоит. У одного огромный нож за поясом...

— Что ты мелешь!

— Пойдите посмотрите.

Хозяйка перепугалась.

— Не верьте вы его болтовне, — сказал хозяин. — Иди покажи нам, где там разбойники.

— Вы туда с голыми руками не ходите, — предупредил

Март.— Будь у вас такая машинка, что пули выбрасывает, когда ее за рукоятку крутишь, тогда бы можно идти. Возьмите с собой эту машинку и идите. Держитесь края болота, поближе к дороге, там сами увидите.

Но у батрака окончательно истощилось терпение.

— Не буду я больше твою болтовню слушать,— сказал он.— Погоди, Март, вот посадим тебя завтра в кутузку, тогда увидишь. Идем, хозяин!

Хозяйка пошла вместе с ними, тихонько утирая слезы передником, а поодаль от них крался Март.

Он все время бормотал одно и то же:

— Да, вот бы такую машинку, с маховиком в восемьдесят футов поперек...

Временами у него наступало просветление, и тогда он был человек как человек, но потом мысли его снова начинали путаться, он принимался что-то вычислять насчет машин и попадал, что называется, в болотную трясину.

* * *

— Ай-ай-ай, ты что же, сынок, никак пить начал? — говорила мать, ведя Арно домой.

— А ты, Кристьян, тоже думай, кому водку давать, кому нет,— заметил хозяин, обращаясь к Либле.

— Ну, ну, что ж тут такого? Поспали немножко, и дело с концом,— отвечал Либле, все еще пьяный.

Шествие их выглядело довольно забавно: впереди, шатаясь и все время жалуясь на тошноту, шагал Арно, рядом, обняв сына за плечи, шла мать, за ними — хозяин и батрак с фонарями в руках; замыкал шествие Либле, не на жизнь, а на смерть сражаясь с камнями и пнями.

Шагах в двадцати позади всех понуро плелся Март.

Вернувшись домой, они застали у себя гостей. Тревожный слух об исчезновении Арно успел за это время дойти до хутора Рая, и хозяйка вместе с Теэле пришли узнать, что же в самом деле случилось.

Когда Арно, сопровождаемый матерью, появился в дверях, Теэле испуганно вскрикнула:

— Глядите, какой он бледный!

Мать Теэле тоже воскликнула:

— Ох, боже мой, что с ним такое?

— Ах, да ничего особенного,— ответила мать Арно; но отец, в эту минуту вошедший в комнату, услышал их разговор и сказал:

— Да просто пьян, чего тут еще. Мальчишка напился. Были вдвоем с Либле в лесу, выпили водки и заснули.

В это время вместе с Мартом в дверь ввалился Либле. Ответ хозяина ему совсем не понравился.

— Ну вот еще! — пробормотал он. — Раздуваете теперь это дело, точно бог весть что стряслось. Солнце, что ли, в обратную сторону завертелось? Ух вы!

— Нечего ухать, Кристьян! Тебя, безобразника, надо бы прежде всего отдубасить, — заметил батрак, вешая фонарь на крюк.

Арно сразу же уложили в постель. Когда он уже лежал под одеялом, к нему в комнату вошли Теэле и ее мать. Теэле, подойдя к кровати, спросила шепотом:

— Арно, что с тобой?

Арно хотелось бы приподняться, но все тело его настолько ослабело, что он не смог и двинуться. Его побелевшие губы прошептали:

— Я болен.

Поодаль от кровати, у стола, сидели и беседовали между собой хозяйки. Словно сквозь дремоту, слышал Арно, как мать его нараспев рассказывала соседке всю эту злосчастную историю.

— Ох ты, господи, и вижу, лежат они оба в березняке...

В первой комнате ужинали. Либле, видимо, тоже сидел за столом — слышно было, как он с набитым ртом без устали о чем-то болтает, не давая остальным и слова вставить.

— Это еще что! А вот когда я был молодой, так бывала такая темень, что и пальца своего не увидишь...

Потом Арно услышал, как Март, чмокая губами, тоже что-то сказал. Что именно, Арно так и не понял; но ему слышались такие слова, как «пар», «рычаг», «шестерня» и тому подобное.

— Ты водку пил? — спросила Теэле.

— Да... немножко.

— Горькая она была?

— Да, очень.

— Зачем же ты ее пил?

— Либле угощал.

— Пусть угощает, а ты не пей.

— А я больше и не буду. Только ты в школе никому не рассказывай, что я пил. А то засмеют еще.

— Да нет, не скажу, зачем мне говорить? Ты завтра пойдешь в школу?

— Пойду, конечно, если выздоровею.

Арно и сам, конечно, понимал, что слово «выздоровею» здесь совсем неуместно, что о выздоровлении могут говорить только действительно больные люди, но сказать иначе он ни за что не решился бы. Несмотря на тошноту и головную боль, ему было стыдно перед Теэле.

— Ты не сердишься на меня, что я пил водку?

— Чего же мне сердиться?

— Ну, я думал... может, ты сердишься.

— Нет, не сержусь.

Оба замолчали. Когда раяские собрались уходить, Арно вытащил из-под одеяла руку и попрощался с ними.

— Выздоровливай и будь умницей, — сказала, уходя, хозяйка хутора Рая.

Арно эти слова будто острым ножом резнули.

«Будь умницей»! Смышленный мальчуган сделал из этих слов довольно правильный вывод. Слова означали: «Выздоровливай да смотри больше не пей». Но этот упрек оказался далеко не последним.

IX

История с Йоозепом Тоотсом кончилась тем, что его все же оставили в школе, но с условием, что он бросит свои проказы, сколько бы их у него ни было в запасе, и будет вести себя по-человечески. Тоотс обещал сделать все, что будет в его силах. На другой день в школе он не смог как следует сидеть на парте. Он вертелся и извивался, словно червяк на крючке, и, когда товарищи стали его расспрашивать, в чем дело, он сказал им, что на зад у него появился большой нарыв. Но тут нашлись злые языки — кое-кто готов был даже поклясться, что этот нарыв не что иное, как узоры, которыми старик Тоотс разукрасил зад своего сына. Как бы там ни было, Тоотс, возможно, слегка пострадал телесно, зато выиграл морально. На уроках он теперь сидел молчаливый, как пень, и задания делал гораздо лучше, чем раньше. Все были поражены. Поведение Тоотса оставалось безупречным уже второй день, и, может быть, так продолжалось бы и до самой его смерти, не вмешайся тут сама судьба. Но она вмешалась, и не в пользу Тоотса.

Однажды утром, когда ребята, ночевавшие в школе, проснулись, рыжеволосый Кийр вдруг обнаружил, что с его замечательными ботинками на пуговичках за ночь произошли существенные изменения: на них не осталось ни одной пуговицы.

Что было делать? Тоотс, первым подоспевший к месту происшествия, посоветовал перевязать ботинки бечевкой и как-нибудь обойтись без пуговиц; во всяком случае, сказал он, плакать нечего и идти жаловаться незачем. Визак, порывшись у себя в карманах, нашел несколько оловянных пуговиц от кальсон и сказал, чтобы Кийр пришел к ботинкам эти пуговицы, пока других нет. Лимаск, сын льноторговца, вытащил у себя из-под изголовья пучок льна и предложил сплести веревку, если Кийр захочет.

Однако рыжий Кийр, тщательно взвесив все три предложения, пришел к выводу, что ни одно из них не подходит. А уж если человек потерял всякую надежду, так скажите на милость, что ему еще может помочь?

И Кийр решил облегчить свои муки горькими слезами.

Как ни старались товарищи его утешить, причем Тоотс дей-

ствовал на этом доприще особенно рьяно, — все было напрасно. Если бы слезы обладали способностью превращаться в пуговицы, потерпевшему хватило бы этих пуговиц на целые десять пар ботинок, но вся беда в том, что плакал-то он слезами, а не пуговицами.

Все столпились вокруг Кийра. Он сидел в спальне на своей кровати, держа в руках ботинки, и ждал кистера, который с минуты на минуту должен был прийти на утреннюю молитву.

Кистер появился. Тогда наш рыжеголовый мужичок в одних чулках зашагал в классную и, глядя на кистера глазами, полными слез, всхлипывая пробормотал:

— Пуговицы пропали.

— Какие пуговицы?

— Пуговицы от ботинок. Вчера вечером еще были, Визак их тоже видел, а сегодня хочу обуться, смотрю — ни одной нет.

— Что это значит?

Словно божья гроза, упал на толпу ребят гневный взгляд кистера.

Воцарилась мертвая тишина.

Наконец неловкое молчание прервал голос Тоотса:

— Может, крысы унесли. Крысы любят блестящие вещи. Дома у нас они однажды сечку унесли, так ее потом и не нашли.

Взгляд кистера устремился на говорившего.

— Ну, если ее не нашли, откуда же вы могли знать, что именно крысы унесли вашу сечку?

— А кто же другой мог унести?

— Сечку?

— Ну да, сечку

— Послушай, крысы ведь сечку и с места сдвинуть не могут, не то что унести. Что ты врешь!

— Их, наверно, было несколько штук!

— Ну тебя с твоими баснями! Это какая-нибудь двуногая крыса унесла вашу сечку, такая же, как та, что сожрала пуговицы Кийра.

— Не знаю, — пожимая плечами, сказал Тоотс.

— А я знаю, — ответил кистер. — Кийр, поди принеси свои ботинки!

Кийр пошел и принес. Кистер с видом знатока осмотрел их.

— Где они у тебя стояли?

Под кроватью.

— Так. А когда ты их утром стал надевать, они оказались там же? Вспомни хорошенько.

— Даа... дааа... Но чуть ближе к изголовью, больше из-под кровати высовывались.

— Ага! А кто спит головой к твоему изголовью?

— Визак, — ответил Тоотс.

Кистер испытующе взглянул на него. Но ни лицо, ни поведение Тоотса не вызывали никаких подозрений.

- Визак... А еще кто?
- Визак, потом Кярд, а дальше Тоотс.
- Да, да, именно потом я,— кашлянув, подтвердил Тоотс.
- Так. А ты не слышал, чтобы ночью кто-нибудь ходил около твоей постели?
- Нет.
- А когда ты утром встал, тебя никто ни о чем не расспрашивал?
- Нет, никто.
- Кто первый спросил, что с тобой или что-нибудь в этом роде?
- Никто не спрашивал.
- Ну, а кто первым подошел к твоей кровати, когда ты сказал, что у тебя пуговицы пропали?
- Тоотс.
- Так. Что же он тебе сказал?
- Он сказал, чтоб я попробовал как-нибудь обойтись без них и чтоб я не плакал и не ходил жаловаться.
- Тоотс, ты ему говорил это?
- Да, говорил. Я сказал: «Стоит ли из-за каждого пустяка плакать?»
- А ты не говорил Кийру, что не стоит ходить жаловаться?
- Да, да, это я тоже говорил.
- Почему ты это ему говорил?
- Да просто так... Я думал, это нехорошо, когда ходят жаловаться.
- Так, так! Ты, значит, считал, что это нехорошо, когда ходят жаловаться.

Кистер бывал очень крут, когда все казалось ясным и известно было, кто виновник. Но тут он имел дело с явно запутанным случаем, тут надо было разобраться с полным хладнокровием, поэтому вначале он старался быть сдержанным. Отложив в сторону молитвенник, он протер свои очки и, обращаясь к мальчикам, сказал:

- Ну-ка, идемте в спальню!
- Мальчишки отправились за ним. Одним из первых наполеоновской поступью шествовал Тоотс, он же Кентукский Лев.
- Скажи-ка, Тоотс,— спросил кистер,— с каких это пор ты спишь здесь и домой не ходишь?
- Я-то... Я сегодня тут первый раз ночевал. Вчера только принесли кровать.
- Ага! А отчего ты стал здесь ночевать?
- Не хочу домой ходить. Далеко очень.
- Да, он остался здесь и еще весь вечер одеждой швырялся, не давал нам спать,— пожаловался Визак.
- Ты слышишь, что Визак говорит? Ты целый вечер швы-

рялся одеждой и не давал другим спать. Ты остался здесь, чтобы безобразничать?

И кистер окинул Тоотса убийственным взглядом.

— Визак врет. Он сам срезал пуговицы, а теперь все на меня валит. Его кровать ближе всех к Кийру.

Тут Визак не вытерпел. Он разревелся и заявил, что пойдет домой и пожалуется матери на Тоотса, который назвал его вором. Но кистер схватил мальчика за полу и велел ему стоять на месте.

— Тоотс, как ты смеешь говорить, что Визак украл? Как ты смеешь называть его вором?

— А кто же другой мог взять? Он и взял. С чего же его мать живет, если не...

— Молчать! Ступай к печке и стой там. Попробуй сказать хоть слово, пока тебя не спросят. Бесстыдник этакий! Где ты слышал такую чепуху?

— Да все об этом говорят.

— Молчать!

Подозрение кистера падало теперь на вполне определенную личность, но так как одно лишь подозрение за руку не схватишь и из школы не выбросишь, то он решил продолжить расследование.

— Кто из вас вчера уснул последним?

— Я уже спал, когда Тоотс швырнул мне сапогом в спину. От боли я и проснулся,— ответил Визак.

— Вранье! — слышалось из-за печки.

— Молчать, Тоотс, или я сейчас же прогоню тебя домой! Ну хорошо, значит, ты уже спал, когда он в тебя бросил сапогом. А после этого ты сразу уснул?

— Да.

— Расплакался сначала, а потом уснул?

— Да.

— Я тоже спал, когда Тоотс крикнул, что на дворе пожар,— сказал Кярд.— Я еще подошел к окну посмотреть, но там ничего не было...

— Кярд врет. Я уже спал и храпел, а он еще посвистывал,— снова слышалось из-за печки.

— Молчать! Допустим, что так. Но раз ты уже спал и храпел, как же ты мог слышать, что он свистит?

— Сквозь сон.

— Ага, вот как, сквозь сон!

— Глядите, пуговицы! — взвизгнул в этот момент кто-то из мальчишек. Все оглянулись, даже Тоотс отошел от печки. Действительно, возле стены под окном чернела маленькая круглая пуговичка. Кийр сразу же узнал в ней одну из своих пуговиц. Начались поиски под кроватями. Около окна нашли еще одну пуговицу, а когда кто-то из ребят нечаянно наступил в углу на прогнившую доску и она чуть отодвинулась, под ней оказалась целая горка пуговиц.

Кража была налицо, но вор еще не был пойман. Во всяком случае, над Тоотсом продолжало тяготеть тяжкое обвинение.

Попадись кистеру хоть какой-нибудь мельчайший факт, подтверждающий его подозрение,— Тоотс кубарем вылетел бы из школы. Но такого факта не нашлось, и Тоотса оставили в школе. Сам Тоотс впоследствии заявлял так:

— Разве я не говорил, что крысы утащили! Какой же человек пойдет красть эти дурацкие пуговицы?

Когда ребята возразили ему, что крыса ведь не может оторвать пуговицу с ботинка, он тут же объяснил: крыса прижимает лапкой ботинок, а потом отрывает пуговицу.

Но сколько он ни старался всех убедить, ребята продолжали на него смотреть такими глазами, словно хотели сказать: «А все-таки ты сам и украл пуговицы».

Х

Каким образом, с помощью каких волшебных сил и конфет удалось Тоотсу убедить девочек пойти к реке поглядеть на первый ледок,— это знал один лишь Тоотс да разве еще святые ангелы господни. Видно, он, помимо всяких вкусных вещей, пустил в ход и ложь, уверяя, что лед нынче ослепительно белый и крепкий, как подошва на сапоге. В изображении Тоотса вообще любая вещь оказывалась «прямой», как бараний рог; ему ничего не стоило сказать, что солнце заходит синее, как василек, а у чесальщика с шерстобитни на носу колбаса выросла. Что же тут удивляться, если и лед у него был такой белый и на редкость прочный?

Девочки пришли к реке. Мальчики явились туда еще раньше, страшно шумели и устраивали тарарам, как они сами называли свою игру. Если бы можно было собрать воедино весь этот гвалт визг, то его хватило бы, чтобы пустить в ход водяное колесо на шерстобитне, и даже если бы Либле удалось повернуть реку вспять, то ему пришлось бы, к великому сожалению, убедиться, что шерстобитня все-таки работает.

В этот обеденный час Тоотс был занят тысячей различных дел. Тысяча первым было то, что он одной ногой провалился в воду и, мокрый, как ряпушка, юркнул в свой «вигвам», чтобы заменить испорченные «мокасины», принадлежавшие Мюту, который жил на дальней окраине прихода и держал для себя в школе запасную одежду. Тоотс снова вернулся к товарищам.

— Гляди, Тоотс шкуру сменил,— сказал какой-то шутник,— другие ее меняют весной, а Тоотс осенью.

— Что ж, одежда мужчину не портит,— ответил Тоотс и тут же подставил Сымеру ножку, так что тот шлепнулся прямо носом в землю. А Тоотс как ни в чем не бывало спросил его: —Сымер, что ты там нашел?

Что наивысшей точки веселье ребят достигло тогда, когда ры-

жеголовый Кийр, прикрутив коньки, на своих тонких, как жерди, ножках заскользил по льду.

Тоотс дал бы, пожалуй, отрезать себе ухо, лишь бы Кийр хоть на минутку одолжил ему свои коньки. Он бегал за ним по пятам, как тень, предлагая ему сплюснутое дуло от ружья, или «пантикристо», как он его называл, а впридачу столовый нож «томагавк», — пусть только Кийр «немножечко-немножечко» даст ему коньки.

Но Кийр возразил, что «немножечко» коньки дать нельзя, их если уж дают, так дают целиком. Сказав это, он, как привидение, помчался дальше вместе с остальными ребятами.

Девочки находились чуть поодаль, они тоже бегали по льду, делая маленькие круги, и щебетали между собой. У того, кто их, собственно говоря, и пригласил сюда, не было теперь времени с ними возиться, им пришлось обходиться без него. А ведь он привел их к реке только затем, чтобы заманить в камыши, туда, где лед был еще темный, а потом с удовольствием понаблюдать, как кто-нибудь из них провалится. В конце концов вышло так, что Кийр Тоотсу коньков не дал, и бедняга вынужден был вернуться к своему первоначальному замыслу.

Он подошел к девочкам и тотчас же начал их просвещать.

— Ну и чего вы, дуры, только лед тут царапаете своими ботинками! — сказал он. — Идите лучше к камышу, там лед прямо как стекло.

— Почему ж ты сам туда не идешь? — спросили у него.

— Я-то? Я тоже пойду, мне просто хотелось сначала вам показать.

— Знаем мы тебя! Опять хочешь какую-нибудь штуку выкинуть. Сам говорил — лед нынче белый, как сахар, а какой же он белый? Ты же так врешь, что прямо дым изо рта валит.

— А разве лед не белый?

— Ну смотри, где ж он белый?

— Ну ладно, пусть будет не белый. А вы все-таки пойдите к камышу.

— Не пойдем, сам иди.

— И пойду. Я и ходил уже. Там до чего занятно смотреть, как раки вокруг плота ползают! Один, черт, здоровенный, как рукавица, всех остальных сожрал. А потом подплыла огромная такая рыба, сом, наверно, с большущими выпученными глазами, и рака этого проглотила. Нет, там таких зверей увидишь, что прямо мороз по коже продирает.

— А плот разве около камышей затонул?

— Ну конечно.

— И разные страшные звери вокруг ползают?

— А как же!

— Ух! Как страшно! А ты не врешь?

— Вот дуры, с какой стати я буду врать? А вы сами разве не

знаете, что на дне водятся разные страшные звери? В прошлом году наш батрак ловил на реке рыбу и вдруг видит — поплавок как нырнет под воду! Он дергает, дергает, наконец вытаскивает... а там огромная змея! Сама черная, как уголь, а на шее белые круги.

— Ох ты, господи! — слышалось среди слушательниц.

— И что ж вы думаете, — продолжал Тоотс, — вытащил он эту страшную змею, а змея хлоп — да и обвилась ему вокруг шеи.

— Ой-ой-ой! Что же дальше было?

— Ну, что дальше было? Батрак знал разные слова — как змей заговаривать, его мать научила, он и сказал:

Змейка, слушайся скорее,
Не дави так больно шею,
В глушь лесную,
В глубь речную
От меня ты уползай!

И змея завертелась в воздухе и сразу же пропала...

— Куда ж она девалась?

— Бог знает куда, только сразу же пропала. Завертелась и пропала.

Среди девочек началось движение. Каждая из них знала какую-нибудь страшную историю про змей, и каждой хотелось, чтобы ее слушали, когда она будет рассказывать.

— Тоотс, какие же это были змеиные слова? Скажи их еще раз.

И Тоотс, сделав таинственное лицо, декламировал:

Змейка, слушайся скорее,
Отпусти ты мою шею,
В куст ольховый
В бор сосновый,
Куда хочешь уползай!

И та девочка, которая его спросила, и другие сразу же стали заучивать наизусть змеиные слова. Зажмурив глаза, они бормотали про себя: «Змейка, слушайся скорее, отпусти ты мою шею...»

— Ну, а идти в камыши плот смотреть так никто и не хочет? — спросил Тоотс, помолчав.

— Нет. Раз вокруг плота такие страшные звери ползают — не пойду.

— Дура, так они через лед на тебя напасть не могут. Ты на льду, а они там, на дне.

— А вдруг этот самый сом... такой страшный, большой...

— Ну, не такой уж он бог знает какой большой. Так...так... ну, чуточку побольше селедки.

— Я пойду посмотрю,— сказала наконец одна из девочек. Все оглянулись — кто там такой смелый нашелся. Велико же было общее изумление, когда из толпы вышла раяская Теэле и направилась к камышу.

— Не ходи! — предостерегающе крикнули ей девочки.

Но Теэле, обернувшись, стала звать с собой остальных:

— Идемте! Идемте посмотрим! А ты, Тоотс, запомни: если ты опять наврал, мы тебя отдуем. Идем с нами, покажешь место, где плот затонул.

— Ступай, ступай, я потом приду,— ответил Тоотс и отошел от девочек подальше, туда, где ребята, держась друг за друга, огромным живым комом с криком и шумом неслись по льду. Здесь он остановился и круглыми, точно у филина, глазами стал смотреть на Теэле.

В нем происходила внутренняя борьба. Было ясно, что Теэле провалится,— лед вокруг камышей был совсем еще тонкий. Чтобы предостеречь ее, следовало сейчас же, немедленно, крикнуть, позвать ее обратно. Она могла вот-вот провалиться. Но Тоотса обуяло любопытство — ему не терпелось посмотреть, как она бухнется в реку и как оттуда выберется. Было мгновение, когда он чуть не окликнул ее, но тут у него мелькнула мысль, что уже поздно, что делу уже ничем не поможешь. Он следил теперь за Теэле с таким волнением, что даже глаза его увлажнились, а сердце громко застучало. Теэле приближалась к камышам: здесь вокруг каждого пучка стеблей чернели ямки, в которых, казалось, еще поблескивала вода.

Арно, углубившись в свои мысли, смотрел в окно. Вдруг он побледнел, и, прежде чем Тыниссон успел что-нибудь сообразить, а тем более сказать, Арно стрелой вылетел из класса с криком:

— Она провалится!

Еще раньше, во время своих прогулок к реке, Арно заметил, что у камышей, где течение сильнее, река еще не совсем затянута льдом; а сейчас он вдруг увидел, что Теэле идет как раз к этому самому месту. Он во весь дух помчался к реке, крича еще издали:

— Теэле, не ходи туда, там вода! Не ходи, Теэле!

Но не успел он пробежать и половины пути, как лед проломился и Теэле упала в воду.

Девочки подняли страшный крик. Мальчики, перепуганные, тоже подбежали поближе. Арно подоспел в это время к берегу. Он был очень бледен и тяжело дышал. Словно в тумане, видел он, как ребята мечутся из стороны в сторону, размахивая руками. Их крики, казалось ему, доносились откуда-то издалека, будто это пастушки перекликались между собой летним днем. А потом он увидел, как Теэле по пояс выбралась из воды, словно ощупью оперлась о кромку льда, как эта кромка обломилась и Теэле снова погрузилась в воду. Он слышал, как Теэле, захлебываясь, громко зовет на помощь.

С минуту Арно стоял неподвижно, как столб, потом побежал прямо к Теэле, присел на корточки у края полыньи и протянул девочке руку.

— Сейчас упадут! Сейчас оба провалятся! — закричали вокруг.

И они действительно оба провалились.

В тот миг, когда Теэле ухватилась за руку Арно и он стал ее вытаскивать, лед под ними снова проломился, и теперь в ледяной воде барахтались уже двое.

Вокруг опять поднялся страшный визг. Ребята вопили так громко, что их слышали в своих комнатах и учитель и кистер. Они сразу поняли, что дело неладно, и выбежали во двор. Увидев, что случилось несчастье, Лаур схватил стоявшую у школьной стены длинную доску и как был, без шапки, в матерчатых домашних туфлях, помчался к реке. За ним, бранясь и размахивая руками, засеменял кистер.

В это время и с другого берега, со стороны хутора Кооли, бросился к реке какой-то человек. Он бежал прямо через вспаханное поле, спотыкался, падал, но тут же поднимался и подоспел к месту происшествия одновременно с Лауром. Это был Либле. В руках у него была связка веревок. Он как раз шел через поле в лес, чтобы набрать прутьев для метелок, и, услышав крик, понял, что кто-то из ребят упал в реку.

Быстро размотав веревку, он остановился поодаль от камыша, где лед еще выдерживал его тяжесть, и бросил конец веревки утопающим.

Арно ухватился за нее.

Тоотс тем временем объяснял товарищам, какое это, собственно, простое дело — спасти сейчас Арно и Теэле. Вот кабы такой мостик, который тянулся бы от берега прямо к ним... Но, увидев, что у Либле дело подвигается довольно успешно, Тоотс немедленно решил помочь ему. Он пробрался мимо камышей на другой берег, ухватился за веревку и тоже стал ее тащить, сопровождая это отчаянными криками и возгласами.

Когда Арно наконец вытянули на берег, а вместе с ним и Теэле, все время судорожно цеплявшуюся за него... то одним из их спасителей оказался, конечно, Тоотс!

Даже кистер, не имевший обыкновения смотреть на Тоотса сквозь розовые очки, теперь, видимо, был тронут его отвагой и самопожертвованием. Тоотс, заметил он, хотя иногда и сильно проказничает, но в общем далеко не плохой малый. Либле кистер не сказал ни единого слова.

Арно быстро отвели в спальню, сняли с него все мокрое и дали ему взамен сухую одежду кистера. То же самое проделали они и с Теэле: ее отправили на квартиру к кистеру и облачили в платье госпожи кистерши.

Так было вначале. Потом, когда дети уже обогрелись у печки,

кистер счел нужным их поставить в угол за то, что они были так неосторожны и провалились в воду.

Когда учитель попробовал намекнуть ему, что их, пожалуй, можно бы и совсем не наказывать, кистер ответил, что такие поступки ни при каких условиях не должны оставаться безнаказанными.

— Не то еще и в другой раз полезут, тогда их и не вытащишь.

И действительно, даже не спросив у Арно и Теэле, как они очутились в воде, он их обоих поставил в угол.

Весь класс покатывался со смеху. И правда, было над чем посмеяться.

Непомерно широкие кистерские штаны и еще более широкий сюртук висели на Арно до самых пят, придавая ему вид настоящего огородного чучела. Руки его не доходили и до половины рукавов. Казалось, в углу стоит сейчас какой-то безрукий. Воротник сюртука кистер поднял, чтобы не только проявить свою строгость, но и потешиться над мальчиком; воротник этот почти закрывал Арно лицо, а мокрые растрепанные волосы падали ему на глаза. И это было очень хорошо — иначе все увидели бы, как слезы одна за другой катятся у него по щекам, исчезая в недрах огромного сюртука. Арно плакал. Он готов был от стыда провалиться сквозь землю. Стоять здесь, в углу, наряженным, как огородное пугало, всем на посмеище — и все это в присутствии Теэле! Лицо его покрылось лихорадочным румянцем, он едва держался на ногах.

Участь, постигшая Теэле, была ничуть не легче. Теэле тоже стояла в углу, в той половине класса, где сидели девочки, и должна была мириться с тем, что над ней хихикают и называют ее снежной бабой.

Неизвестно, долго ли все это продолжалось бы, если б не учитель; тот, расспросив Тыниссона и других ребят, как было дело, подошел к детям и отвел их на место.

Кистер, увидев это, пришел в ярость. Вот, значит, как: один поставил озорников в угол, а другой явился и увел их оттуда!

Но в это время к школе подъехал батрак с хутора Сааре, усадил в повозку хозяйского сына и раяскую хозяйскую дочку, закутал их в одеяло и уехал. Их мокрую одежду ему также отдали.

Оказалось, что Либле успел за это время побывать на хуторе Сааре и сказать, чтобы послали за детьми...



Антон Хансен Таммсааре

НАШ ЛИСЕНОК

Повесть

Была чудесная весна. Уже который день теплый ветер гонял по голубому небу белоснежные облака. Поля и леса высохли, как в летнюю засуху.

Лесник Киреп по несколько раз на день поднимался на ближний пригорок поглядеть, не видно ли где дыма, не загорелся ли где лес. Раза два он даже влезал на старую кряжистую ель, росшую на пригорке, чтобы пошире оглядеть округу. Но до сегодняшнего дня не замечал он ничего подозрительного. Иногда, правда, виделись кое-где дымки, но они были далеко и потому не особенно волновали Кирепа. Он знал, что там вдали и еще дальше (откуда уже никакого дыма не увидишь) есть другие лесники и уж они-то сами присмотрят за своими лесными угодьями.

И надо же было случиться беде как раз в то время, когда Киреп после обеда прилег вздремнуть. Его шестилетний сын Атс ре-

шил, что пора и ему самому сбегать на пригорок. Прямой путь туда вел через мостик, но ходить по нему Атсу запрещалось строгонастроено: года два назад он упал с этого мостика и чуть не утонул. И сколько мальчик ни объяснял этой весной маме — может, тысячу, а может, и не одну тысячу раз, — что тогда он был маленький, а теперь стал большой, запрет все равно оставался в силе и весной, когда вода в ручье стояла глубокая, и летом, в сушь, когда ручей превращался в узенькую проточину, зато мостик висел так высоко, что упасть оттуда на камни, рассыпанные по дну, было так же опасно, как и в глубокую воду.

Из-за этого-то запрета не было у мальчика большего желания, чем ходить тайком по мостику через ручей. Вот и сегодня он перебежал по нему и, очутившись на противоположном берегу, сначала пошел по опушке вдоль ольшаника, а потом повернул на пригорок к старой ели. А раз уж он оказался там, то, конечно, не мог не вскарабкаться на дерево: старые сучья и молодые ветви располагались так удобно, что поднимайся, как по лестнице, хоть до самой макушки, где любят сидеть вороны в одиночку, парами, а то и целой стаей.

Но сегодня долезть до самого верха Атсу не удалось: едва добравшись до середины ели, он заметил большой столб дыма, да так близко, что поднимался он наверняка из их леса. Атс решил, что горит Соонеская роща, там рос густой молодой сосняк, но встречались и молоденькие елочки и разлапистые кусты можжевельника. Соонеская роща стояла на возвышенности, и когда-то там находили лисьи норы.

Увидев дым так близко, Атс мигом скатился с дерева и со всех ног кинулся домой. Впопыхах он чуть не бултыхнулся с мостика в воду, но в последнюю минуту успел ухватиться за шаткие перила.

С сильно бьющимся сердцем он наконец благополучно добежал до дому. Стремглав взлетел по лестнице к лазу на сеновал и заорал во всю глотку:

— Папа! Эй, папа! Из рощи Сооне густой дым идет!

— М-м-м... — промычал отец сквозь сон.

— Папа! Вставай же, лес горит! — снова закричал мальчик, поднявшись еще на одну перекладинку и сунув голову в лаз.

— Что ты сказал? — переспросил на этот раз отец.

— Лес горит, вставай!

Наконец отец сообразил, в чем дело, вскочил на ноги и крикнул сыну, чтобы тот держался подальше от лестницы. Мальчик с проворством белки скатился по перекладинам и кинулся к мостику, отец бежал за ним по пятам. У ручья Атс остановился и пропустил отца вперед. Но когда тот был уже на середине мостика, мальчик пошел за ним, будто наконец-то получил долгожданное разрешение. Как только отец полез на елку, чтобы разглядеть, откуда идет дым, мальчик собрался лезть за ним. Но не успел:

отец проворно спустился с дерева и заспешил обратно к мостику. Атс помчался за ним следом и второй раз перебежал мост, а отец будто ничего и не заметил. И стал этот день в жизни Атса знаменательным днем, потому что из-за лесного пожара его признали большим и умным, а значит, теперь он всегда сможет ходить через мостик — будь то весной или летом.

Вернувшись домой, отец схватил велосипед и уже вскочил на него, чтобы ехать собирать людей на пожар, но тут оказалось, что на одном колесе спустилась шина. Делать нечего, пришлось ее накачивать. Пока отец работал насосом, Атс стоял около него и рассказывал:

— Я просто так пошел. Вдруг гляжу: что это за дым такой, как раз над Соонеской рощей!

— Значит, ты забрался на ель? — спросил отец.

— Совсем невысоко, — ответил мальчик. — Я по-настоящему и забраться-то не успел, сразу дым увидал.

— Смотри, как бы ты оттуда кубарем не скатился, — предостерег отец, но Атс по голосу догадался, что говорится это только для порядка, потому он и ответил, чтобы раз и навсегда все стало ясно:

— Нет, теперь-то я не упаду. Я же совсем маленький был, когда с мостика в воду бултыхнулся, а сейчас за меня бояться нечего. Раньше у меня на мостике голова кружилась, вот я и упал, а теперь совсем не кружится, даже если за перила не держусь.

— За перила надо обязательно держаться, — возразил отец. — Вот и я держусь, а то, чего доброго, сам в воду свалюсь.

— А я не свалюсь, — стоял на своем мальчик.

— Для чего же тогда перила сделаны, если за них никто держаться не будет? — проговорил отец, сел на велосипед и укатил.

Атс смотрел отцу вслед, пока тот не исчез за лесом, а потом вернулся к мостику, чтобы поразмыслить над его словами. В самом деле, для чего же нужны перила, если никто не будет держаться за них рукой? И для чего нужна рука, если ею ни за что не держаться? Рука ведь на то и дана, чтобы ею что-то брать да что-нибудь держать. Атс продолжал думать над этим, когда уже перешел через мостик и дошел до елки, намереваясь взобраться на нее: очень уж хотелось ему посмотреть, клубится ли еще дым или уже пошел на убыль.

* * *

А отец в это время носился на велосипеде от одного хутора к другому и собирал людей на пожар. Но кое-кто уже и сам заметил дым и поспешил к месту происшествия. Там лесник всех и застал, когда приехал на пожар, вспотев до того, что на нем сухой нитки не осталось.

Огонь успел захватить обширное пространство, но, к счастью, ветер дул от леса к болоту, и если бы не удалось перекрыть ему дорогу, то возле сырого болота он и сам бы погас. Вот почему люди взялись прежде всего за ту полосу огня, которая пробивалась против ветра к лесу, а спешащему по ветру пламени никто и препятствовать не стал. И только после того как удалось погасить пожар около леса, люди двинулись навстречу огню к краю болота: ветер мог перекинуть языки пламени через неглубокий ров, окружающий рощу Сооне, и поджечь болото. Случись такое, преградить дорогу огню было бы очень трудно — и тогда уж никто не мог бы сказать, где иссякнет его сокрушительная мощь.

Но с подветренной стороны караулить огонь было не так-то легко, дым накатывал удушающе густой и горький. К тому же он был полон огненных искр и хлопьев сажи. Но с этим считаться не приходилось, и люди ходили по краю болота в клубах дыма, следя, чтобы болото не загорелось. Им удалось отстоять небольшую красивую сосновую рощицу на самой вершине Сооне.

Зато вечером, когда крестьяне стали расходиться по домам, они выглядели страшнее, чем если бы весь день проработали на молотбе. Кое-кто получил ожоги, у многих пострадала одежда.

Лесник Киреп остался на пожарище следить, не тлеет ли где скрытый огонек, который ветер может раздуть в пламя. С еловой веткой в руке ходил он по кромке обгоревшей земли, постегивая ею то здесь, то там или затапывая ногами мох, из которого тянулись тоненькие струйки дыма. А потом побрел по черной, обуглившейся земле, чтобы поближе рассмотреть, что случилось с молодыми деревцами. Киреп помнил, что здесь под деревьями рос высокий мох, густой вереск, зеленые кусты черники и брусники. Теперь перед ним лежала голая земля: огонь поработал в сухих зарослях на совесть. Почернели даже стволы сосен, да так, что вряд ли какая из них выживет, разве только те, что постарше, у которых кора успела уже задубеть.

Для лесника сосны были те же живые существа, вот только ходить они не могли. Большую часть сгоревшего леса сажали под его присмотром, а саженцы вырастил он сам. Они были для него как дети, которые погибли в этот пригожий весенний день в обжигающем пламени. Сколько трудов вложил он в них! Из года в год выращивал саженцы и высаживал их по весне. Мотыгой выгребал в земле глубокую ямку, опускал в нее длинный тонкий и слабенький корешок, потом утрамбовывал землю, чтобы ни ветер, ни палящее солнце не могли повредить корням. И все же некоторые деревца засыхали, и тогда на их место сажали новые, чтобы лес не редел, чтобы в ровных рядах не было просветов.

И вот случилась беда. Все исчезло, все уничтожено за какие-нибудь несколько часов. Наверно, если бы деревья сгорели дотла, ему было бы легче, но нет, они все еще стоят. На тех, что пониже,

хвоя опалена, на высоких — еще зеленая. Но завтра или послезавтра пожелтеет и она, и большие деревья вместе с маленькими будут долго стоять, напоминая Кирепу, каким бессмысленным и бесплодным может стать человеческий труд. И все-таки он знает, что будет снова выращивать саженцы сосен, поливать и окапывать их и сажать вместо деревьев, погибших в огне.

* * *

С такими мыслями бродил Киреп по обгорелой земле между почерневших стволов. Начинало темнеть, но он все никак не мог покинуть пожарище. А когда наконец направился к дому, еще не раз останавливался и оглядывался.

Наконец Киреп вошел в лес, не тронутый огнем, под высокие сосны и вдруг услышал жалобное повизгивание, доносившееся из горелого леса. Что бы это могло быть? Лесник прислушался. Теперь можно было разобрать, что скулит не один, а несколько зверьков.

Киреп пошел на звук. Он шел медленно и осторожно, останавливаясь и прислушиваясь. А когда тихое повизгивание раздалось совсем близко, и вовсе остановился. Леснику показалось, что скулящие зверьки идут ему навстречу, словно надеясь на его сострадание и помощь. И чтобы не испугать их, Киреп замер на месте. Он даже прикрыл глаза, зная, что их живой блеск лесные звери видят прежде всего.

Так прошло минут десять. Наконец Киреп заметил, как по черной, обгоревшей земле движется что-то красновато-коричневое.

«Лисенок! — подумал лесник. — Видно, мать, испугавшись огня, бросила своих щенят. Где-то здесь должна быть лисья нора».

Киреп терпеливо дождался, пока лисенок, тихо скуля, подошел к нему совсем близко, и попытался схватить его. Но зверек был проворнее. Колобком покатился он между сосновых стволов и кочек. Киреп догнал лисенка, но, пока нагибался, тот опять ускользнул. Несколько раз лесник опускался на корточки и даже падал плашмя на землю, испачкался сажей с ног до головы, но сумерки сгущались, а лисенок все еще продолжал бегать на свободе.

Тогда лесник скинул пиджак и попытался набросить его на убегающего зверька. В конце концов это ему удалось, и он направился домой с лисенком в руках. Два других лисенка успели удрать. Киреп утешал себя мыслью, что завтра он возьмет с собой лопату, разыщет лисью нору и откопает весь выводок.

Назавтра он так и сделал, но нора была пуста — ни старых лис, ни лисят в ней не оказалось. Свежие следы на песке говорили о том, что за ночь лисы унесли щенят. Конечно же, они поступили мудро — неразумно было бы оставаться жить здесь, в оголен-

ном лесу, где каждый может следить за всеми твоими явными и тайными делами.

Так в доме лесника появился лисенок. Сперва Киреп посадил его в деревянный ящик, оставив крышку приоткрытой, чтобы туда проникали свет и воздух. Сверху он положил тяжелый камень — так ее нельзя было сдвинуть. Атсу строго-настрого запретили трогать крышку и камень. А если ему захочется поглядеть на лисенка, то может смотреть на него в щелочку.

Атс долго подглядывал за зверьком, ведь никогда раньше он не видел лисы — ни мертвой, ни живой. Ему даже в голову не приходило, что лисенок может быть таким красивым, что у него такие сверкающие глаза, которые глядят на тебя, как человеческие, — словно бы тот, кто так смотрит, может говорить на языке людей или хотя бы понимать его.

— Хорошо тебе здесь? — допытывался Атс у лисенка, прижимаясь губами к щели, чтобы зверек мог его лучше слышать. — Хочешь есть? Чего тебе дать? Скажи, я мигом принесу.

Но лисенок даже не пискнул в ответ. Он сидел не шелохнувшись, и только его горящие глаза все так же пристально смотрели на мальчика.

— Как тебя зовут? — помолчав, спросил мальчик. — Меня зовут Атс, я уже умею ходить через мостик и влезать на дерево. Когда ты вырастешь, ты тоже научишься ходить через мостик, я тебя научу. Это очень просто, только не надо смотреть вниз на воду, а то голова закружится — и тогда бултыхнешься в воду, хоть ты обеими руками изо всех сил держись за перила. Вот какой у нас мостик, и вот как надо по нему ходить.

И Атс опять долго молча глядел на лисенка, глаза которого горели все тем же огнем.

— Почему ты не отвечаешь? — спросил мальчик. — Разве ты не понимаешь меня? А вот Сосса понимает. Она и сама мне отвечает: шевелит ушами, виляет хвостом, визжит, лает. Ты еще маленький и глупый, тебе надо подрасти. И я дам тебе имя, красивое имя. Сосса у меня уже есть, а ты будешь Мосса. Запомни: Мосса, Мосса, Мосса.

Но когда Атс рассказал маме, что назвал лисенка Моссой, мама имя это не одобрила.

— Мосса звучит почти так же, как Сосса, — объяснила она, — так что кличка эта не годится. Ты позовешь лисенка, а собака подумает, что ее зовешь. Станешь звать собаку, лиса решит, что ее. Сосса — Мосса или Мосса — Сосса — для зверя это одно и то же.

— Ну, тогда будем звать собаку так, как раньше звали, — ответил мальчик. — Пусть она будет Пийтсу, а не Сосса.

— Это другое дело, — решила мама. — Разницу между Пийтсу и Моссой любой лисенок поймет.

— А как же быть, если лисенок все-таки не отличит Пийтсу от

Моссы? — спросил мальчик. — Что мы тогда делать будем?
— Значит, нужно будет учить его, пока он не начнет разбираться, — ответила мама. — Ты ведь тоже сначала не отличал «л» от «к» и «о» от «с», а теперь отличаешь, научился не путать.

* * *

Мамины доводы убедили Атса, и он вернулся к лисенку, чтобы растолковать ему разницу между Пийтсу и Моссой. Но скоро ему это наскучило, и он попытался хоть немного приподнять крышку ящика, чтобы щель, в которую он подглядывал, стала чуточку шире. Мальчик даже раздобыл толстую палку, чтобы подсунуть ее под крышку ящика вместо тонкой, которую подложил отец.

Атс несколько раз приподнимал крышку, но подтолкнуть под нее толстую палку никак не удавалось: для этого ему не доставало еще одной руки. Одной рукой он удерживать крышку не мог, поэтому от палки в другой руке не было никакого толку. Но тут его осенило: он взял палку в зубы, обеими руками поднял крышку и наклонил голову, стараясь зубами затолкнуть палку под крышку. Но осуществить эту превосходную идею не сумел. Потому что хоть и приподнимал он крышку достаточно высоко, чтобы толстая палка могла пролезть в щель, но для этого ему приходилось низко наклонять голову, и крышка тут же падала. Атс несколько раз пытался зубами подсунуть палку под крышку, но все напрасно: в руках у него было достаточно силы, чтобы удерживать тяжелую крышку, но стоило приблизить зажатую в зубах палку к щели, крышка падала.

Как будто кто-то заколдовал эту щель!

Атс долго думал, как же помочь делу. И вдруг засмеялся от радости — такая прекрасная мысль осенила его. Он даже удивился, почему такая удачная мысль не пришла ему в голову раньше. Ведь под край крышки можно подставить правое плечо и поднимать ее, упираясь ногами в пол. Тогда левая рука освободится и он сможет подкладывать палку под крышку сколько душе угодно.

Задумано — сделано! Атс взял палку в левую руку, сел перед ящиком на корточки, подсунул правое плечо под передний край крышки и напряг ноги.

Но с ногами творилось что-то странное: Атс мог стоять на согнутых или прямых ногах, оставаться же полусогнутыми под таким тяжелым грузом они никак не желали. Ноги сами собой выпрямились, и крышка ящика поднялась так высоко, что лежащий на ней камень покати́лся и непременно упал бы на землю, не оказавшись на его пути стена. Камень застрял между стеной и задним краем ящика. Если бы ящик хоть самую малость отодвинулся от стенки, камень свалился бы в щель между стеной и ящиком. Атс сразу догадался об этой опасности, тут же опустил крышку

и прижал ящик плечом, чтобы тот под тяжестью камня не отодвинулся от стены.

Так они и стояли: камень своей тяжестью оттеснял ящик от стенки и грозил вот-вот сорваться на землю, мальчик по другую сторону ящика согнулся в три погибели, всеми силами сопротивляясь давлению камня. Отец по головке не погладит, если, вернувшись домой, найдет камень на земле. Лисенок забился в угол ящика, оттуда виднелись его острый нос и настороженно поднятые ушки, а глаза сверлили Атса, как буравчики.

Оба — лиса и мальчик — были в таком состоянии, что не увидели бы друг друга, даже если бы у каждого из них было по десять пар глаз. Мальчик и лисенок перепугались до смерти. Мальчик боялся, что камень упадет с крышки, лисенок не знал толком, чего ему бояться, но ему было страшно, и он то и дело инстинктивно скалил свои мелкие белые и острые зубы.

Оправившись от первого испуга, Атс стал думать, как помочь себе, где найти что-нибудь, чем подпереть ящик так, чтобы камень не сдвинул его с места. Тогда бы он взялся за него обеими руками и перекатил обратно на середину крышки. Мальчик дал себе слово, что, если это ему удастся, он вполне удовольствуется той щелью, которую оставил отец. Уж тогда он ни разу не попытается приподнять крышку, а будет заглядывать в эту узкую щель и учить лисенка понимать, какая разница между кличками Пийтсу и Мосса.

* * *

Первая стоящая штука, которую заметил Атс, была дырка в полу сарая. В нее вполне можно было упереться правой ногой, чтобы увереннее поддерживать ящик плечом. Левая нога, таким образом, освобождалась, и ею можно было еще хоть сто дел переделывать.

Но мысли у Атса были заняты только одним: как освободившейся левой ногой подтянуть к себе деревянную колоду или камни, лежавшие возле стены неподалеку от ящика еще с тех пор, когда в доме квасили капусту, и подпереть ими ящик.

Тяжелая это была работа, но в конце концов Атс справился с ней и очень обрадовался, что смекалка помогла ему одолеть прямо-таки невероятные трудности. Приободрившись, стоял он возле ящика и, любуясь делом своих рук, говорил камню:

— Ты только попробуй оттолкнуть ящик от стены. Ну-ну, попробуй! Думаешь, ты один такой упрямый и хитрый? Ан нет, я похитрее тебя! И не надейся, что я когда-нибудь сам буду держать ящик, как это приходится делать тебе. У меня помощников хоть отбавляй, не то что у тебя. Вот и толкай сам, а я найду, кто за меня потолкает.

Высказав все это в назидание большому камню, Атс присел

около ящика на корточки и стал сквозь щель разглядывать лисенка. И чего это ему вздумалось расширять щель, удивился Атс, лисенка и так прекрасно видно! И разговаривать с ним через эту щель можно вполне свободно. Словно желая еще раз в этом убедиться, он сказал лисенку:

— Не трусь, Мосса, я не дам камню упасть. Но свое имя ты должен запомнить, чтобы понимать, когда я тебя позову. Запомни: если я буду говорить «Пийтсу, Пийтсу!» — значит я зову не тебя, а кого-то другого. Раньше его звали Сосса, а теперь так не зовут, теперь он Пийтсу... И камень я положу обратно на середину крышки, потерпи только немного.

Вот так толковал Атс с лисенком о делах, которые имели к нему отношение или вовсе не имели. Он слышал, как отец читал в газете, что детей в школе обучают вещам, от которых им ни холодно ни жарко, и что это и есть образование. Вот он и рассказывал лисенку о делах, от которых тому было ни холодно ни жарко, чтобы лисенок тоже получил образование. В нынешние времена без образования не обойтись — это Атс знал точно. Папа и мама не раз обсуждали между собой, как бы сделать так, чтобы дать сыну образование, чтобы он научился вещам, от которых ему в жизни будет ни холодно ни жарко.

Позанимавшись с лисенком и решив, что тот немного уже умнел, Атс предоставил зверька самому себе и принялся размышлять, как бы снова положить камень на середину крышки. Если бы ему удалось протиснуться в щель между ящиком и стеной и подставить под камень плечо, грудь или спину, он наверняка сумел бы откатить его на место, но ящик стоял слишком близко к стене, чтобы Атс мог пролезть туда. Видно, не оставалось другого выхода, как взобраться на крышку. Сначала Атс попытался стоя подтянуть камень на середину крышки, но на это у него не хватило сил. Тогда он сел на крышку так, что камень оказался у него между ног, уперся ступнями в стену, ухватился за камень руками и совсем уже собрался тянуть его на себя, но вовремя сообразил, что если он это сделает, то обязательно оттолкнет ящик ногами от стенки. И тогда случится то, чего Атс боялся больше всего: камень упадет на пол. Мальчик слез с ящика и опять стал размышлять, как же ему быть и что делать дальше.

Наконец ему показалось, что он придумал способ, как справиться с камнем. Он встанет перед ящиком, прижмется к нему всем телом и обеими руками потянет камень на себя. Но, увы, руки у него для этого оказались коротковаты. Однако Атс и тут быстро нашел выход. Он придвинул камни, лежащие на полу, поближе к ящику, встал на них. Теперь он дотянется и ухватится пальцами за камень. Стоит ему потянуть камень на себя, и тяжестью своего тела он сдвинет ящик к стене.

Но камень был слишком тяжел. Атс много раз снова и снова принимался за дело, прежде чем ему удалось, напрягши все силы,

откатить камень на середину крышки, туда, куда положил его отец. Когда дело было сделано, Атса охватило глубокое чувство удовлетворения. На миг он забыл даже про лисенка и сел на крышку, чтобы отдохнуть от усталости, которая внезапно налила тяжестью все его тело.

Вернувшись домой, отец первым делом пошел посмотреть, что делает лисенок. А лисенок ничего не делал: он сидел, забившись в угол ящика, и смотрел горящими глазами на каждого, кто пытался разглядеть его в щель. Отец подумал, что все в порядке, вот только камень лежит почему-то сбоку, а не посередине крышки и его надо немножко передвинуть. Он сделал это с такой легкостью, что Атс пожалел себя, вспомнив, сколько сил потратил на этот камень. И подумал: когда же сам он станет таким же большим и сильным, как папа? И станет ли вообще? И все-таки Атс был ужасно рад тому, что хотя у него и меньше сил, чем у отца, но и он справился с этим тяжелым камнем, потому что там, где не хватало сил, помогла смекалка.

— Почему щелочка между ящиком и крышкой такая узенькая? — спросил Атс у отца.

— Если сделать ее шире, лисенок выскочит из ящика, — ответил отец.

— А если совсем немножко пошире — тогда тоже выскочит? — не отставал мальчик. — Чуть-чуть пошире?

— Если совсем чуть-чуть, не выскочит, — предположил отец.

— А если подсунуть вот такую палку, как эта, не выскочит? — продолжал допытываться Атс и показал отцу ту самую палку, которую недавно пытался подсунуть под крышку.

— Пожалуй, не выскочит, — проговорил отец.

— Ну так подложи ее, — клянчил Атс. — Подложи, папа, тогда я смогу лучше видеть лисенка, а лисенок увидит меня.

— Пусть уж останется эта палка, — решил отец.

— Нет, папа, положи мою, — упрашивал Атс. — Я ее сам нашел, она куда красивее той, другой. Ведь лисенок красивый, пусть и палка будет красивой. Приподними немного крышку, я сам ее подсуну. Пусть лисенок увидит, что я сам подложил под крышку эту красивую палку.

Некогда мне сейчас с тобой возиться, — возразил отец и, уходя, добавил: — Как-нибудь в другой раз, а теперь пускай останется как есть.

Конец разговора слышала мать, и теперь Атс спросил ее, сможет ли она приподнять крышку. Мать ответила, что ей поднять такой большой камень явно не под силу. Слова ее показались Атсу такими невероятными, что он неожиданно для самого себя признался:

— А я могу!

— Как же так? — удивилась мама. — Неужели ты сдвигал

такой большой камень? Не вздумай этого делать, не то, чего доброго, он упадет тебе на ногу.

— А вот и не упал,— ответил Атс.

— Значит, ты уже тягался с ним? — допытывалась мама.

— Совсем немножко,— признался Атс.— Я ведь его не поднимал, только откатил чуть-чуть.

— Попадет тебе, если отец об этом узнает,— сказала мама.— Этак ты, чего доброго, отцовского лисенка из ящика выпустишь.

— Да не выпущу я лисенка, не выпущу,— уверял Атс.— Если бы камень упал, я бы сам на крышку сел.

— Значит, он у тебя чуть не упал? — продолжала выпрашивать мама, и Атсу пришлось рассказать ей всю историю о палке, щели и камне.

И он стал доказывать маме, что его палка куда красивее той, которую подсунул под крышку отец, вот почему ее непременно надо заменить. Пусть мама только подойдет и сравнит эти две палки, сама увидит, прав Атс или нет. Один только разик подойдет к ящику, это ведь вовсе не значит, что она сразу должна будет поднять крышку.

Атс канючил до тех пор, пока мама не пошла вместе с ним в сарай. Там он сразу же спросил:

— Неужели ты и взаправду не можешь поднять крышку ящика так, чтобы я мог просунуть эту красивую палку в щель?

— Ну, мне на это сил не хватит,— ответила мама.— Вот придет отец, он и поднимет.

— Так он же не идет,— уговаривал Атс.— Мне так скучно его ждать. Ну попробуй разок! Только просунь пальцы под крышку, поднимать ее не надо, я посмотрю, пролезут ли они туда.

Но стоило маме сунуть пальцы в щель, как Атс тут же стал упрашивать ее:

— Ну что тебе сделается, если ты попробуешь хоть немножечко приподнять крышку, только для того, чтобы ты поняла, какой он тяжелый, этот камень.

Тут мама приподняла крышку ящика, и Атс торопливо подсунул под нее свою красивую ольховую палку. Даже лисенок, глядевший на все это горящими глазами, увидел, что подложил под крышку эту красивую палку Атс, именно Атс, а не мама.

— Вот и готово! — радостно воскликнул мальчик.

— Какой же ты у меня шустрый! — удивилась мама.

— Вот видишь, мама, сил у тебя хватило, просто ты боялась попробовать,— говорил Атс.— Как хорошо, что я посоветовал тебе это сделать.

— Что и говорить, ты у меня уже настоящий помощник,— ответила мама.

Лисенок оставался в этом ящике недели две, и каждый день Атс смотрел на него в щелочку и вел с ним долгие беседы. Он рас-

сказывал лисенку о мостике над ручьем, о молодом ольшанике по ту сторону ручья, о пригорке, с которого видны все лесные дымы, особенно если залезть на ветвистую ель, которая там растет. Атс пообещал, что покажет Моссе эту елку, пусть он только сначала подрастет и поумнеет, чтобы понять, что такое елка, а что такое ветка. Теперь же его главное дело — научиться отличать «Моссу» от «Пийтсу». А когда он это поймет, Атс станет учить его куда более сложным вещам.

Как-то однажды Атс сказал матери:

— Глаза у лисенка теперь уже не горят, как раньше, и шерстка у него стала не такая красивая.

— Это потому, что ты слишком много смотришь на него, — объяснила мама. — Лисенку не нравится, что за ним все время подглядывают.

— Почему не нравится? — удивился Атс.

— Ему хочется побыть одному, — сказала мама. — Котенок и тот облезет, если его все время тормошить.

— А если на котенка слишком часто смотреть, он тоже облезет? — спросил Атс.

— Котенок-то не облезет, а вот лисенок, сам видишь, облез, — проговорила мама.

Атс задумался: принимать ли ему мамины слова всерьез или она пошутила? Но, не успев еще прийти к какому-либо выводу, услышал, как мама говорит отцу:

— Подыскал бы ты своей лисе местечко получше, чтобы больше воздуха и солнца, а то она совсем облезла, даже есть не хочет, только воду лакает. Парнишка и тот заметил, что глаза у лисенка больше не горят и шерсть свалялась.

— Поначалу он перепугался — думал, невесть что с ним сделают, потому глаза у него и горели, — пояснил отец. — Но можно его и в другое место перевести. Я сделаю ему ошейник и посажу на цепь.

Теперь Атс стал с нетерпением ждать, когда же отец займется ошейником. Но день шел за днем, а отец как будто совсем забыл про свое обещание. Наконец терпение Атса лопнуло, и он спросил у мамы, почему папа не делает лисенку ошейник.

— У папы нет дома подходящего ремешка, — ответила мама. — И красивой медной пряжки тоже нет.

— А железная пряжка не годится? — спросил Атс.

— Нет, железная не годится. Медная красивее, — объяснила мама.

— А где папа возьмет медную пряжку? — допытывался Атс.

— В лавке, где же еще, — ответила мама.

— А когда папа пойдет в лавку?

— В воскресенье, конечно, — сказала мама. — Где в будни время взять?

— А какой сегодня день?

— Сегодня пятница,— ответила мама.

— Значит, завтра суббота, а потом воскресенье,— заключил Атс.

— Да, послезавтра воскресенье, вот тогда папа пойдет в лавку и купит красивую золотистую пряжку и хороший кусок кожи.

Теперь Атс, по крайней мере, знал, сколько времени ему придется ждать, пока папа начнет делать ошейник для лисенка: надо ждать весь сегодняшний день, сегодняшний вечер, сегодняшнюю ночь, потом завтрашний день, завтрашний вечер, завтрашнюю ночь, послезавтрашнее утро — это будет уже воскресное утро, и послезавтрашний день, потому что папа вернется из лавки только к вечеру. Время это казалось Атсу ужасно долгим, таким долгим, что хоть плачь. Но вышло так, что это нестерпимо долгое время промелькнуло, как один коротенький миг. Получилось это из-за живой вороны, которую отец принес из лесу и бросил в ящик к лисенку.

— Как ты ее поймал? — спросил Атс у отца.

— Прострелил ей крыло, вот она и не смогла больше летать,— рассказал отец.— Плюхнулась на землю, как старая шишка с елки.

— Зачем ты посадил ее в ящик к лисенку? — допытывался Атс.

— Хочу посмотреть, кто сильнее — лиса или ворона, ответил отец.

И Атсу это было так интересно, что время, которое поначалу представлялось ему ужасно долгим, обернулось одним коротким мигом. Со жгучим любопытством подглядывал он в щель за тем, что делают лиса и ворона в ящике. Сначала они ничего не делали, сидели неподвижно да глядели друг на друга, но Атс заметил, что глаза у лисенка опять горят так же ярко, как в первые дни.

— Почему у лисенка глаза горят, когда он смотрит на ворону? — спросил Атс у мамы.

— Ворона — злая птица, наверное, поэтому,— ответила мама.— Она опустошает гнезда маленьких певчих птиц и уносит даже цыплят. А если найдет гнездо тетерева или белой куропатки, лакомится их яйцами. Даже когда тетерка сидит на яйцах, она иной раз изловчится выкатить яйца из-под нее и пьет их. Вот такая злая птица ворона.

— Почему же тетерка позволяет вороне красть свои яйца, раз она сама сидит в гнезде? — спросил Атс.

— Тетерке с вороной не справиться, у вороны большой, сильный и острый клюв,— пояснила мама.

— А лиса может справиться с вороной? — спросил Атс.

— Старая лиса вполне справится, но у нас ведь лисенок,— проговорила мама.— Посмотрим, что он будет делать с этой разбойницей.

Атс снова побежал к ящику посмотреть, что делают лисенок и ворона. Но они все еще ничего не делали, каждый сидел в своем углу и разглядывал другого. А Атсу непременно надо было, чтобы они что-нибудь делали. Он нашел подходящую палку, просунул ее в щель и стал тыкать ею ворону. Та широко раскрыла клюв, каркнула что-то сиплым голосом и ухватила за конец палки. Но смотрела она при этом не на мальчика и не на палку — она не отводила глаз от лисы, как будто лиса была важнее всего.

После долгих усилий Атсу удалось подтолкнуть ворону к лисенку. Тогда лисенок осмелел и кинулся на нее. Но тут ворона ухватила его своим большим клювом за шерсть между глаз. Лисенок пискнул и в свою очередь схватил ворону лапами за голову, как будто хотел погладить ее. Однако птице это совсем не понравилось. Она отпустила лису, и каждый отскочил обратно в свой угол.

Атс опять стал подталкивать лисенка к вороне, но лисенок шариком откатывался от палки или хватал ее своими белыми острыми зубами, так что вся она покрылась щербинками. Тогда Атс снова принялся за ворону и еще раз подтолкнул ее к лисенку. Но когда лисенок опять попытался схватить ворону за голову, та неожиданно опрокинулась на спину и так больно ударила его своим сильным клювом и черными когтями, что он сразу забился в свой угол. Ворона еще немного полежала на спине, словно ожидая нового нападения, но, когда увидела, что лисенок не шевелится, вскочила и отступила в самый дальний угол ящика.

Весь день тыкал Атс палкой то лису, то ворону, и те не раз вступали друг с другом в жестокий бой, но понять, кто же кого одолеет, было трудно. Вечером их покормили, и в воскресенье Атс намеревался продолжать свою забаву. Но когда, проснувшись рано утром, он подбежал к ящику, то, к своему огромному удивлению и разочарованию, увидел, что лисенок сидит в углу, а прямо перед его носом лежит воронья голова с большим черным острым клювом, туловище же как-то странно распростерлось посреди ящика — черные окоченевшие лапки выставлены вперед, пальцы с загнутыми когтями скрючены. По всему ящику валялись вороньи перья.

Атс взглянул на все это, и ему стало ужасно жалко ворону. А ведь еще вчера он желал победы лисенку и даже готов был прийти ему на помощь, если в этом будет нужда. Почему же теперь он расстроился из-за этой победы? Этого он и сам не знал. Но бездыханная ворона в ящике вызывала у него сочувствие. Он чуть не плакал, когда бежал к маме с криком:

— Ворона лежит без головы!

— Ну, это лисьи проделки, чьи же еще, — сказала мама. — Наверняка она с ней ночью разделалась, в темноте, когда ворона уснула.

— Ах, в темноте! — удивился мальчик, как будто в этих словах таилось какое-то утешение.

— Конечно, в темноте. Лиса любит темные ночи, а ворона засыпает, как только стемнеет, — пояснила мама.

— Значит, вороне нельзя было спать, — сделал вывод Атс.

— А как же, ведь лиса не дремлет, — согласилась мама.

— Потому-то она и осталась без головы.

— Потому и осталась, — подтвердила мама.

— Сама виновата, нечего было спать, — рассудил Атс и, почти успокоившись, подошел к ящику. Но тут ему опять стало жалко ворону, и он горько расплакался.

Теперь у Атса пропало всякое желание подсматривать в щель. Он оставил лису с мертвой вороной в покое и вернулся к маме. Но прежде чем уйти, он тронул ворону палкой и немного потормошил ее, словно желая убедиться, что она на самом деле околела.

К маме Атс побежал неспроста. Внезапно он вспомнил о том, о чем, занятый возней с вороной, совсем позабыл. Ведь сегодня папа собирался пойти в лавку покупать лисе ошейник и красивую медную пряжку. Живая ворона была куда интереснее всех этих предметов, но, раз она теперь лежит мертвая, ремешок и пряжка снова обрели значение, как будто они были живее вороны, оставшейся без головы.

— Папа пойдет сегодня в лавку? — спросил Атс у мамы.

— Зачем? — спросила в свою очередь мать, за каждодневными хлопотами забывшая об ошейнике и пряжке еще крепче, чем Атс, занятый возней с живой вороной.

— А где же он возьмет лисе ошейник? — сказал Атс маме, словно упрекая ее за то, что она не помнит о таком важном деле.

— Конечно, конечно, — согласилась мама с сыном, — за ошейником он непременно пойдет, без ошейника не обойтись.

— Почему же он тогда спит? — спросил Атс. — Он же может опоздать. Пойди разбуди его!

— Пускай поспит, устал ведь он. Зато потом будет шагать быстрее, так что все равно вовремя успеет.

— Будет делать вот такие шаги, — сказал Атс и показал, какими большими шагами пойдет отец, когда соберется наконец в лавку, чтобы принести лисе ошейник и золотистую пряжку.

Атс снова и снова показывал маме, как будет шагать отец, с каждым разом все шире расставляя свои коротенькие ножки, а потом даже поскакал: ему все казалось, что шаги у него недостаточно большие. Прыгнув изо всех сил, так что дальше уже не получалось, он спросил у мамы:

— Неужели папа и вправду так побежит в лавку?

— Ну, так-то он навряд ли сумеет, — рассудила мама, — папа ведь у нас не молодой, а ты прыгун что надо.

— А как же папа пойдет? — спросил Атс.

— Пойдет, как старые люди ходят: шарк-шарк. А ты шага-

ешь — топ-топ-топ, а если бежишь, то — бух-бух-бух, так что земля гудит!

Теперь Атс принялся показывать маме, как ходят старые люди и как ходят дети: он то сгибал колени и волочил ноги по земле, то быстро-быстро шлепал по траве и по тропинке, ведущей к колодцу, то бежал, изо всех сил топая ногами, чтобы было слышнее.

— Ты слышишь, как я бегу? — спросил Атс у мамы.

— Бежишь так, что земля дрожит. Чего доброго, перепугаешь кротов в их норах и дождевых червей, и они спрячутся глубоко-глубоко. А если папа вдруг соберется на рыбалку, начнет искать червей и ни одного не найдет, что мы тогда будем делать? Кроты — дело другое. Это хорошо, если ты отгонишь их подальше, а то вечно они подкапываются под капустную рассаду и брюкву. Да и луг за домом весь в кочках из-за кротовых нор, только коса о них тупится.

Так мама объясняла Атсу, к чему может привести его беготня, а он бежал все быстрее и шумел все громче. Это продолжалось бы, наверное, еще долго, но тут с Атсом приключилась беда: он ударился босой ногой об острый камень, прятанный в траве. Атсу было очень больно, а когда из пальца пошла кровь, стало еще больней. Единственным средством от боли были слезы. И он громко и жалобно заплакал и не умолкал до тех пор, пока мама не принесла чистую тряпочку и не перевязала окровавленный палец. Потом она разыскала в траве злополучный камень, положила его на ладонь, показала Атсу и сказала:

— Посмотри, это тот самый камень, который ты несколько дней назад кинул в траву. Помнишь, я наказывала тебе: не бросай камень в траву, сам же о него споткнешься. Так оно и вышло. Камни надо бросать у забора, там, где никто не ходит.

Мама хотела кинуть камень в крапиву, но мальчик попросил отдать ему. Мама отдала, но, вместо того чтобы бросить камень в крапиву, Атс через забор швырнул его на луг.

— Там ты еще раз поранишься, — сказала мама.

Но мальчик ничего не ответил. Словно и не слыша маминых слов, он, прихрамывая, отправился к сараю поглядеть, что делают лиса и мертвая ворона. Атс долго подглядывал за ними в щель и время от времени толкал обеих палкой, пока не услышал голос отца. Теперь мальчику больше некогда было сидеть возле ящика. Атс побежал взглянуть, собирается ли отец в лавку или он так же, как мама, забыл обо всем.

* * *

Нет, отец не забыл про ремень и пряжку, но говорил он о них таким голосом и с таким видом, будто ему было все равно, пойдет он за ними сегодня, завтра, на следующей неделе или

через год. Атс никак не мог понять, отчего взрослые могут равнодушно относиться к таким важным вещам, как ошейник с медной пряжкой для лисы. Когда Атс вырастет, он ни за что не станет таким безучастным и равнодушным. Никогда не станет. Важные дела для него всегда останутся важными, каким бы старым он ни стал. Размышляя об этом, мальчик тенью ходил за отцом и продолжал твердить о лисенке, о мертвой вороне, об ошейнике и о золотистой пряжке. Отец обувался — мальчик был рядом; отец умывался — мальчик стоял так близко, что брызги летели ему в лицо; отец повязывал платком шею — мальчик тянул его за штанину; отец завтракал — мальчик глядел ему в рот, а у самого и кусок в горло не шел. Когда отец встал из-за стола, мальчик, путаясь у него в ногах и не сводя с него глаз, спросил:

— Папа, теперь-то ты пойдешь?

— Ты сегодня, как муха, надоедливый! — сказал отец. — Оставь меня хоть ненадолго в покое.

Но мальчик никак не мог оставить его в покое, ведь ему и самому покоя не было. Он вертелся около отца и снова и снова заводил разговор все об одном и том же. Он даже не заметил, как потерял тряпочку, которой был завязан пораненный палец, но вдруг почувствовал, что трава цепляется за ранку и палец совсем разболелся. Атс пошел к маме, чтобы она еще раз перевязала ему палец, а то, чего доброго, опять пойдет кровь. Крови Атс боялся пуще всего, потому что отец однажды сказал: коли кровь пошла, значит, скоро кишки вылезут. А это уж не дай бог, тогда ведь и смерть не за горами. Умер же тот пестрый теленок, которому старая Крйймик распорола своими острыми рогами брюхо. Теленок жил еще два дня, но не пил, не ел, только все хворал, а наутро помер. И хотя Атс уже знал, что ни на ноге, ни на руке кишки все равно не покажутся, ужас охватывал его сердце, когда он видел свою кровь.

— Если ты будешь так часто терять повязки, — выговаривала мама сыну, — я их не напасусь на тебя. Одну свою старую рубашку я уже разорвала на тряпки, другая в запасе, а там мне уже и брать будет неоткуда.

— А у папы разве нет старых рубашек? — спросил мальчик.

— Сейчас нет, — ответила мама.

— И у меня тоже нет? — не отставал мальчик.

— Ты свои изнашиваешь до ниточки, нечем даже палец обвязать, — сказала мама.

— Так ты лучше сразу и порви их на повязки, — посоветовал ей сын.

— А что же ты будешь носить? — спросила мама.

Этого Атс не знал, и на том разговор кончился. Но когда палец снова был забинтован, а конец даже обмотан вокруг ло-

дыжки, чтобы бинт не сползал с пальца, первой заботой мальчика было поскорее выяснить, где отец. А тот как в воду канул. Атс забежал в сарай, заглянул в амбар, зашел в хлев, забрался по стремянке к лазу, ведущему на сеновал, будто отец в своей воскресной одежде мог залезть туда, потом поспешил обратно в комнату, обежал двор и, нигде не найдя его, выбежал за ворота на дорогу. Но и там не нашел отца. Атс вернулся к маме, чтобы спросить у нее, куда же девался отец. Но мама знала не больше его. Она предположила, что он, наверно, уже пошел в лавку, раз его нигде нет. Но ответ ее Атса не успокоил. Ему нужны были точные доказательства. Поэтому он снова выскочил за ворота и побежал по дороге в сторону лавки, пока не вышел из леса в поле, откуда было видно далеко-далеко, до самого горизонта. Но отца на дороге не было. Шли разные другие люди, но отца среди них он не видел. Грустный повернул Атс домой. Он плелся опустив голову и глядя в землю, как вдруг услышал голос отца:

— Ты как сюда попал?

— Просто так, на опушку ходил,— ответил Атс. Ему вовсе не хотелось признаваться отцу, что он понапрасну гонялся за ним; но когда отец закрыл за собой калитку и теперь уже в самом деле зашагал к лавке, Атс не удержался и сказал: Я провожу тебя.

— Нельзя тебе далеко ходить, мама будет искать,— возразил отец.

— А я далеко не пойду, только до опушки,— сказал мальчик.

Отец промолчал, и Атс решил, что до опушки может идти вместе с ним. Но когда они подошли к полям, отец проговорил:

— А теперь поворачивай назад, не то уйдешь слишком далеко.

Атс сделал вид, будто возвращается обратно, но на самом деле свернул с дороги и спрятался за густым кустом орешника, откуда хорошо было видно, как отец в своих тяжелых сапогах шагал по пыльному большаку. Атс мог бы простоять за кустом хоть до тех пор, пока тот не вернется из лавки, но скоро услышал голос мамы, звавшей его домой. Ничего не поделаешь, пришлось возвращаться, и он пошел прихрамывая, потому что вдруг почувствовал, как болит и жарко горит пораненный палец, хотя до того Атс и думать забыл про этот палец. Он был убежден, что, если бы ему позволили идти вместе с отцом до самой лавки, палец так и не заболел бы. Теперь же идти было очень трудно, ведь приходилось наступать только на пятку.

— Где ты так долго был? — выговаривала ему мама. Я уж боялась, не увязался ли ты за отцом.

— Я ведь не могу бегать, у меня палец болит,— объяснил Атс.— Я проводил папу до поля, а обратно идти не мог.

— Зачем же ты ходишь со своей больной ногой так далеко? — сказала мама.— Сидел бы лучше дома.

— Но нога ведь болит не так сильно, чтоб я совсем ходить не мог,— возразил Атс.

— Значит, как домой, так нога болит, а как из дому — она здорова,— сказала мама.

Мальчик ничего не ответил на это, и они молча вошли в ворота. Во дворе Атс первым делом поспешил к лисенку, прижался лицом к щели и стал рассказывать ему:

— Папа уже пошел в лавку! Вот увидишь, он вернется и принесет тебе ошейник с пряжкой. Вороне не принесет, а тебе принесет. Это потому, что ты живой. Если бы ворона была живая, папа бы и ей принес ремешок с пряжкой, а теперь не принесет, какой в этом толк. А тебя скоро выпустят из ящика. Я еще не знаю, где папа тебе место сыщет, но ты не сомневайся, местечко он выберет такое, что и ты обрадуешься. Папа всегда говорит маме: «Радуйся, пока душа в теле, зароят в могилу, будет время грустить». Запомни это!

* * *

Но скоро эти умные речи и самому Атсу наскучили, а отец все не шел и не шел. Солнце уже повернуло к лесу и стало склоняться к макушкам деревьев, а об отце не было ни слуху ни духу. Два раза Атс украдкой выскальзывал за ворота и добегал до опушки леса, глянуть, не покажется ли он вдали, но всякий раз возвращался расстроенный: отца не было видно. И каждый раз с больным пальцем повторялась одна и та же история: по дороге из дома он не болел, как будто его и не было вовсе, зато на обратном пути мальчику приходилось ступать на пятку. Наконец терпение Атса лопнуло. Он подошел к маме и, уже сердясь, сказал ей:

— Похоже, сегодня папа домой вообще не вернется!

— Вернется,— успокоила его мама,— солнце еще только-только начинает садиться.

— Вот увидишь, не вернется,— упрямо настаивал на своем Атс.— Если бы он хотел вернуться, давно бы уже был здесь.

И как раз скрипнула калитка, и, когда Атс подбежал к окну, он увидел, что во двор входит отец.

— Папа идет, папа идет! — закричал Атс и стремглав выбежал во двор, как будто у него никогда не болел ни один палец.— Ты достал ошейник и пряжку? — выпалил он.

Отец довольно равнодушно ответил:

— А как же иначе! За деньги все можно достать.

— Покажи,— стал упрашивать мальчик, ухватив отца за полу пиджака.

Но отец не хотел показывать и, отстранив сына, сказал:

— Да потерпи ты немножко. Вот поем, тогда и посмотрим, что из всего этого получится.

Для Атса слова отца прозвучали как гром с ясного неба. Ему страшно было подумать, что придется еще ждать, пока папа стянет с ног сапоги, сменит воскресную одежду на будничную и сядет за стол обедать. Любое испытание он перенес бы легче, чем такое долгое ожидание. Лучше уж бегать с окровавленными пальцами, чем сидеть и смотреть, как папа спокойно, даже равнодушно занимается своими делами. И уж совсем невтерпеж стало ему, когда отец вынул из кармана какой-то сверток в желтой бумаге и положил его на подоконник. В свертке, несомненно, было все то, чего так ждал Атс. Он подкрался к нему, потрогал его пальцем, чтобы почувствовать, что же там лежит, но бумага зашуршала, кажется, только от одного его взгляда, и отец, не оборачиваясь, сказал:

— Атс, оставь сверток в покое!

Атс так и сделал и вышел из комнаты.

— Куда ты? — закричала мама ему вслед. — Иди есть, не то остынет!

Но Атс сделал вид, будто ничего не слышит или как будто у него такие неотложные дела, что он обязательно должен выйти из комнаты. У него были свои планы. Сверток лежал на подоконнике, окно было открыто. И Атс подумал: «Развернуть попку на подоконнике я не смогу, папа услышит, как шуршит бумага. А вот если бы мне удалось через открытое окно схватить сверток и убежать с ним за угол дома, я смог бы открыть его и все хорошенько рассмотреть, ведь оттуда-то папа не услышит шуршания. А потом можно будет все снова завернуть в бумагу и через открытое окно положить на подоконник. Потом я вернусь в дом и сяду за стол, на душе у меня будет спокойно, и я с аппетитом поем».

Оттого-то Атс оглох, когда мама звала его обедать. План его, как выяснилось, был рассчитан что надо и удался на славу: Атс схватил с подоконника сверток, унес его за угол дома, развернул и обследовал содержимое. Но, к великому удивлению, обнаружил в нем множество вещей, не имевших никакого отношения к ошейнику: какие-то медные гвозди и шурупчики, пара крючков и скобок. Была еще полоска кожи, свернутая в трубочку, а ошейника не было. Не было и золотистой медной пряжки. У Атса даже сердце екнуло: неужели папа забыл об ошейнике или не нашел в лавке ничего подходящего? Ну конечно, в лавке не было ничего такого, из чего можно сделать лисенку ошейник. Да и в самом деле, с какой стати торговать такими вещами, раз ни у кого нет лисенка. Ни у кого! Только у них, да и то лишь потому, что сгорел молодой сосняк. Папа очень жалеет лес, каждый день горюет о нем, но зато теперь у них есть лисенок. Из лисьей шкуры когда-нибудь получится хорошая теплая шапка или воротник на шубу, говорит папа. У других лес не горел, вот у них и нет лисенка.

Так рассуждал Атс сам с собой, направляясь в комнату, потому что мама опять позвала его обедать. Но когда мальчик садился за стол, на сердце у него было тяжелее прежнего. Раньше он сгорал от любопытства и ожидания, теперь же чувствовал одно только разочарование: ведь в свертке не было ни ошейника, ни пряжки, только какие-то бесполезные медяшки, от которых Атсу было ни холодно ни жарко.

Но после обеда дело обернулось и того хуже. Теперь папа, в свою очередь, взял сверток и развернул его. Почему-то он первым делом стал пересчитывать свои гвоздики и винтики и выяснил, что двух не хватает. Он снова пересчитал их, но чего не было, того не было.

— Что за чепуха, — бормотал он себе под нос, — ведь я сам пересчитывал винтики и собственными руками завернул в бумагу, чтобы они не затерялись, а теперь двух не хватает.

Он встал со стула, подошел к своей одежде и проверил карманы. Но в карманах их тоже не оказалось. Тогда он внимательно осмотрел пол, сдвигая с места стулья, но и на полу ничего не нашел.

— Прямо наваждение какое-то! — воскликнул отец. — Чудеса, да и только! Сам считал, сам завернул в бумагу, бумага цела, карманы целы, бумагу не разворачивал, из кармана не вынимал, а винтики исчезли, как будто их корова слизнула.

— Что ты там ищешь? — спросила мама из кухни.

— Два медных винтика потерял, нигде найти не могу, — ответил отец.

— Может, ты забыл и купил меньше, чем думаешь, — сказала мама.

— Да нет, я на обертке записал, сколько взял, — проговорил отец.

— Куда же они девались в таком случае? — удивилась теперь и мама, входя из кухни в комнату.

Но уже на пороге ей бросилось в глаза странное обстоятельство: дверь во вторую комнату была слегка приотворена и в узкую щель выглядывал чей-то испуганный глаз. Заметив мамин взгляд, глаз тотчас исчез. Все это показалось маме подозрительным.

— Послушай, Атс, ты не лазил в отцовский сверток? — воскликнула она.

— Нет, не лазил, — ответил мальчик каким-то странным голосом и как бы в подтверждение своих слов добавил: — Ведь я и не мог, я до обеда во дворе был.

Вот эти-то слова и навели маму на верную мысль: не для того ли Атс и вышел во двор, чтобы стащить сверток через открытое окно? Она спросила у отца:

— А ты не заметил, винтики твои в том же порядке лежали, как ты их в лавке упаковал?

Отец недоуменно взглянул на маму и сказал:

— В самом деле, бумага была свернута иначе, чем я ее складывал. Кто же это мог сделать?..— Отец подумал и позвал: — Атс, поди-ка сюда!

Но Атса и след простыл. Отец снова позвал его, на этот раз громче, но и теперь никто не отозвался. Мама пошла во вторую комнату за сыном, но, входя, увидела, что мальчик успел вылезть в окно и бежит в лес — его фигурка мелькала на опушке между деревьями! Мама подбежала к открытому окну и закричала во весь голос:

— Атс! Атс! Куда бежишь, тебя отец зовет!

Услышав свое имя, мальчик остановился как вкопанный.

— Возвращайся сейчас же! — велела мать и, когда мальчик подошел к окну, спросила: — Это ты трогал папин сверток? Ну вот, а теперь у папы пропали два винтика. Куда ты их подевал? Что с ними сделал?

— Ничего я с ними не делал, — отпирался Атс.

— Так куда же они подевались? — допытывалась мать.

— Не знаю, — стоял на своем мальчик.

— Ты должен знать, — настаивала мама. — Признайся лучше, куда ты их подевал, не то это добром не кончится.

— Не брал я их вовсе, я только посмотрел на них, а потом снова завернул в бумагу, — признался наконец Атс.

— Если бы ты положил их обратно, они так бы в бумаге и лежали, а папа говорит, что их там нет.

— Не брал я их, — упорствовал Атс.

— Приведи-ка сына сюда, я погляжу, найдутся винтики или нет! — крикнул отец маме, и Атсу пришлось лезть обратно в окно, чтобы предстать перед отцом; он и до того уже чуть не плакал, а теперь слезы сами полились из глаз.

— Что ты ревешь? — сказал папа сердито. — Взял винтики, потерял их, да еще и ревешь! Реветь нужно мне, потому что пропали мои винтики, а мне они позарез нужны. Но одно я тебе скажу: если ты их не вернешь, со мной шутки плохи. Во-первых, я не сделаю ошейника, во-вторых, выпущу лисенка из ящика, пускай бежит в лес. Я его принес для тебя, но, раз ты проказничаешь, таскаешь тайком мои винтики, я у тебя своего лисенка отберу!

— Не брал я винтики! — заплакал мальчик во весь голос, и крупные слезы побежали по его щекам, оставляя блестящие полосы.

— Ты уж лучше не ври, — сказал отец. — Они лежали в бумаге, сверток никто, кроме тебя, не трогал, значит, ты должен знать, где они.

— Не знаю я.

— Вот пойду сейчас и выпущу лисенка из ящика, если ты не скажешь, куда ты девал винтики! — пригрозил отец.

— Папочка, дорогой, не выпускай лисенка, я не знаю, где винтики! — умолял Атс, делая шаг к отцу.

— А что ты делал с этим свертком? Куда ты с ним ходил? Может, ты просто потерял винтики, вот и вся недолга, — сказала мать.

* * *

И Атсу волей-неволей пришлось признаться во всем и рассказать про свой так хитро задуманный план и про то, как он привел его в исполнение. Пришлось рассказать, как он вышел во двор, как подкрался к открытому окну, где на подоконнике лежала покупка в шуршащей бумаге, как ждал, подстерегая момент, когда мама и папа не смогут заметить, что он схватил с подоконника сверток, как присел под окном на корточки и, согнувшись в три погибели, пробрался за угол, сел там, развернул сверток, порылся в нем, потом завернул все обратно, снова прокрался к открытому окну, где, выбрав подходящую минуту, когда папа и мама были заняты своими делами, положил сверток на прежнее место.

Вот так Атсу пришлось все рассказать и ответить на все вопросы, и это оказалось страшно трудно. Но еще страшнее была мысль о том, что если он чистосердечно во всем не сознается, то папа может прямо на его глазах встать со стула, выйти на крыльцо, пересечь двор, подойти к сараю и выпустить лисенка из ящика. А ведь за эти несколько дней Атс успел так полюбить этого маленького остроухого звереныша! Будь что будет, только бы лисенок остался с ним. Пускай отец сделает щель между крышкой и ящиком еще уже, чем сейчас, пусть сделает ее совсем узенькой, только бы не выпускал лисенка, думал Атс и потому рассказал обо всем так откровенно и подробно, как только умел.

А потом сам стал в угол и плакал там громко и безутешно, как будто ужасно жалел, что тайный его план провалился. Теперь даже мама стала его утешать:

— И чего ты так реवेशь? Лучше покажи, где ты раскрывал сверток; может, винтики просто выпали из него, и мы их там найдем.

Атс пошел вместе с мамой во двор и повел ее за угол дома, где он прятался с шуршащим свертком. Мама обеими руками стала осторожно ощупывать траву, а Атс сидел возле нее на корточках и глядел во все глаза. Вдруг он закричал, будто испугавшись чего-то:

— Смотри, вон один блестит! — И поспешно схватил винтик.

— Где же другой? — сказала мама. — Он тоже должен быть где-нибудь здесь.

Скоро они нашли и второй винтик. Радость Атса была так велика, что у него не хватило терпения бежать в комнату, и он крикнул отцу в открытое окно:

— Оба винтика нашлись! Теперь ты не выпустишь лисенка?

— Не выпущу, если получу обратно все винтики, — ответил отец.

— А ошейник ты ему сделаешь? — снова осмелев, спросил мальчик.

— А как же иначе, — ответил отец.

— Но ведь у тебя нет медной пряжки, я ее в свертке не видел, — сказал Атс.

— В лавке не было такой, как нам надо, — объяснил отец, — я пришью железную пряжку, она лежит у меня в ящике для гвоздей. Она, конечно, не такая красивая, как медная, но ничего, сойдет и так.

— А что ты сделаешь с тем кольцом, которое у тебя в свертке? — спросил мальчик.

— Прикреплю к ошейнику, — ответил отец, — на кольцо повешу цепь, а на цепь посадим лису.

С этими словами отец встал со стула и принес из кладовки ящик с сапожным инструментом, который стоял там на верхней полке. В ящике вперемешку валялись обрезки кожи разных размеров, немного сапожного вара, завернутого в клочок кожи, кусок пчелиного воска, моток дратвы, скрученной из самого лучшего льна, пучок щетины, обрывки проволоки, всевозможные шила — прямые и кривые, — молоток, ножницы, клещи, деревянные шпильки в бумажном пакетике, гвозди и бесчисленное количество всяких других вещей, назначения которых не знал даже сам отец, не говоря уже про Атса. Однако все это заботливо сохранялось: считалось, что если не нужно сегодня, то может пригодиться завтра. Поэтому Атсу и не разрешалось рыться в ящике одному: у него была дурная привычка все растаскивать и терять. Другое дело, когда он копался в нем на глазах у отца, правда, отец все время повторял:

— Парень, оставь ящик в покое! Можно подумать, что у тебя руки чешутся.

— Я же ничего не делаю, я просто рассматриваю, — отвечал Атс, продолжая рыться в ящике, как будто и не понял отцовских слов. А чтобы это занятие выглядело совсем уж невинным, брал в руки то какой-нибудь инструмент, то кусочек кожи, совал его отцу под нос и спрашивал:

— Папа, а это что такое?

— У тебя у самого глаза есть, вот сам и смотри, — отвечал отец.

Но Атса это не смущало. Через некоторое время он опять приставал к отцу с вопросами. Так продолжалось до тех пор, пока отцу не надоедало и он, уже сердясь, говорил:

— Я же тебе сказал, оставь мои вещи в покое, они могут мне понадобиться!

Суровый голос отца чуть-чуть пугал мальчика: он вспоминал, как бывает, когда отцу что-нибудь потребуется, а найти то, что нужно, он не может. В таких случаях он всегда приносит сапожный ящик или коробку с гвоздями, а бывает, то и другое вместе, и, громыхая, копается в них. Иногда ящик и коробку он опрокидывает на стол или пол, и все содержимое оказывается на виду. И когда наконец отец находит необходимую вещь, все с облегчением благодарят бога за то, что он дал им сапожный ящик и коробку с гвоздями. Но даже если нужная вещь и в этом случае не находится, все успокаиваются, потому что твердо знают: раз нет в ящиках, значит, нет и во всем доме. А Атс, тот вообще считает, что, если нет в ящике с сапожными принадлежностями или в коробке с гвоздями, значит, и вообще на свете нет. Вот почему каждый раз, услышав о каком-нибудь необычном предмете, он думает, что просто надо хорошенько перетряхнуть оба ящика — и тогда все станет ясно.

Сегодня отец быстро нашел все необходимое и, не теряя времени, сел за работу. Атс, стоя ногами на краю фундамента и опираясь грудью на подоконник, решил поглядеть, как под руками отца из куска кожи получится ошейник для лисенка. Если когда-нибудь ему самому придется мастерить такой же, уже не надо будет ломать голову — только работай руками. Но одно обстоятельство мешало Атсу сосредоточиться: он хотел устроиться поближе к отцу, чтобы лучше все видеть, но для этого надо было или залезть в комнату через окно, что строго-настрого запрещалось, или же спрыгнуть с фундамента и бежать в комнату через дверь. На это Атс решиться не мог, потому что, пока он будет бежать, отец уже успеет что-нибудь смастерить, а Атс хотел непременно видеть своими глазами всю работу от начала до конца. Так он и остался лежать грудью на подоконнике, не только вытянув шею, но и подтянувшись всем телом, чтобы видеть лучше.

Но оставаться в такой позе становилось все труднее. Тогда Атс уперся босыми пальцами ног в пазы между бревнами и встал повыше, как будто собираясь залезть в окно. Он трижды подтягивался, чтобы посмотреть, заметит ли отец его маневр и скажет ли что-нибудь или промолчит. Но отец не вымолвил ни слова и даже не поднял глаз от работы. Так что Атс раз от разу становился все смелее и даже встал коленками на подоконник. Отец ничего не сказал и на это, и тогда Атс соскочил с подоконника в комнату.

Но тут с Атсом произошло нечто очень странное. Такое бывало с ним и раньше, только он никогда не обращал внимания на то, что это странно. Стоило ему очутиться возле сапожного ящика, и он тут же забывал обо всем на свете. На этот раз он

забыл даже о том, что отец мастерит лисенку ошейник. Он думал только о том, что хранилось в ящике. Сама собой забралась в ящик сначала одна рука, за ней другая, и они стали перебирать и вынимать вещи, каждую из которых было так интересно рассматривать и показывать отцу, то и дело обращаясь к нему за разъяснениями.

Потом Атс принялся строить из обрезков кожи и разной мелочи загон и хлев для скота, а когда они были готовы, оставшиеся обрезки и разные штучки превратились во всевозможных животных, которые мычали, блеяли и чего только не вытворяли! Особенно необходимыми оказались предметы, которые отец вынул из ящика для работы. Вот Атсу и пришлось взять их: моток дратвы у него превратился в курчавого барана, клещи — в ревущего быка, а тот, в свою очередь, обернулся хряком с разинутой пастью, из которой хлопьями падала белая пена. Этой пены не видели ни отец, ни мать, не увидел бы и никто другой, но Атс видел ее совершенно отчетливо; он видел, как боров-клещи клацают челюстью и мечется, как рычащий лев. Но вот курчавый баран и рычащий хряк уставились друг на друга. Хряк оказался сильнее, и баран, упав со стола, покатился по полу под шкаф, откуда его и вытащить было трудно. И вот тут-то отец стал искать дратву. Атс сказал, что баран убежал под шкаф: он испугался борова. Но его ответ рассердил отца, и дело кончилось бы плохо, не найди Атс вовремя палку, с помощью которой выгнал барана из-под шкафа, ухватил его за рога и отвел к отцу, где баран снова превратился в обыкновенный моток дратвы.

* * *

Атс долго возился со своими баранами, хряками, быками, лошадьми и гусем, которым обернулось кривое шило, как две капли воды похожее на гуся. А когда все это ему порядком надоело и он вспомнил — как же он мог забыть об этом! — что папа мастерит лисенку ошейник, тот был уже совсем готов, даже пряжка пришита, оставалось только проткнуть в нем дырочки. Вот и все, что увидел Атс из того, как отец шил лисенку ошейник. Теперь он крепко пожалел, что не остался смотреть с подоконника, тогда сапожный ящик не стал бы искушать его. Но что сделано, то сделано, не станет же отец из-за Атса второй раз шить тот же самый ошейник.

Зато Атс не отходил от отца ни на шаг, когда тот стал надевать ошейник на лисенка; своими глазами он видел, какая это морока. Отцу никак не удавалось проткнуть дырки в нужном месте, пряжка все время оказывалась то слишком далеко, то слишком близко, ошейник душил лисенка или соскальзывал у него с головы. К тому же лисенок ни минуты не стоял на месте, чтобы можно бы-

ло спокойно примерить ремешок и отметить на нем нужное расстояние,— он метался, извивался, стараясь цапнуть отца своими острыми белыми зубами.

Наконец ошейник охватил шею лисенка так, что тот мог свободно дышать, но головы высвободить из него не мог. Отец с помощью защелки прикрепил цепь к кольцу ошейника и вытащил лисенка из ящика. Лисенок хотел тут же бежать в лес, но, поняв, что никуда ему с цепи не уйти, прижался к земле и замер. Отец почти волоком протащил его до угла дома, где вбил в бревно надежную скобу и проволокой привязал к ней цепь. Это место и стало новым пристанищем для лисенка. Здесь ему предстояло вырасти и нагулять мех, годный для хорошей ушанки.

Неподалеку от дома росла большая, ветвистая ель, при сильном ветре она так шумела, что было слышно в комнате. Даже Атс слышал ее шум по вечерам, а иной раз и в полночь, если он почему-либо просыпался в своей кровати. С одной стороны ствола был навален хворост, с другой высилась поленница, они-то и не давали лисице бегать на цепи вокруг елки.

К стене дома придвинули сколоченную из досок конуру, в нее можно было влезть через небольшое отверстие. Здесь лисенок мог бы славно спать на мягкой соломе, здесь же мог укрываться от непогоды. Но лисенку это уютное жилье не понравилось, он выбрал себе местечко под елью среди вязанок хвороста и устроил там норку. Атс не хотел, чтобы лисенок спал на голой земле, и принес ему соломы, но лисенок тут же выгреб солому из своей норы. Тогда Атс принес из лесу сухого мха. С этим зверек примирился.

— Почему лисенок не хочет спать на соломе? — спросил Атс у матери.

— Потому что она дымом пахнет,— объяснила мама.

— Потому что солома пахнет человеком,— поправил отец.

— Значит, лисенку не нравится человеческий запах? — спросил Атс.

— Видно, не нравится, раз он не хочет спать на соломе,— ответил отец.

— Но ведь мы хорошо к нему относимся,— сказал мальчик.— Ты сшил ему красивый ошейник, мама дает парное молоко.

— Лисенку ошейник ни к чему. Он хочет обратно в лес, больше ему ничего не надо,— объяснил отец.

— Разве в лесу лучше? — допытывался Атс.

— А ты как думаешь? — в свою очередь спросил отец.

Вопрос заставил мальчика призадуматься. Значит, он прав, когда рвется вместе с отцом в лес. Но отец не берет его с собой, и Атсу приходится оставаться с мамой дома. Его, как этого лисенка, держат возле дома, вот только ошейник пока на него не надели и на цепь не посадили.

Придя к такому выводу, Атс начал было жалеть лисенка,

но не успел, потому что в разговор вступила мама, словно она прочла мысли мальчика:

— В лесу у него мать, отец, вот он и рвется туда. Он ведь тоже любит своих родителей, как и ребенок своих.

— А разве отец и мать не любят его? — спросил Атс.

— Конечно, любят, как же иначе.

— Почему же тогда они не придут сюда, раз они его любят? — допытывался мальчик.

— Потому что мы тут, — сказал отец. — Лесные звери не любят людей.

— Потому что им не нравится человеческий запах, — дополнил мальчик объяснение отца.

— Вот именно, не нравится наш запах, — согласился отец.

Атс пошел под большую ель, присел рядом с лисенком на корточки и долго разглядывал его. Потом он встал и спросил у мамы, выходявшей из дома во двор:

— А разве бык с мызы — знаешь, тот большой, красно-пестрый, — ревет на людей тоже потому, что чувствует их запах?

— Как так? — удивленно спросила мама, уставившись на Атса.

— Папа сказал, что лиса не любит человека, потому что чувствует его плохой запах, — объяснил мальчик. — Значит, бык ревет тоже поэтому?

— Бык свирепый, потому и ревет, — возразила мама.

— Лиса тоже свирепая, — сказал мальчик.

— Конечно, — согласилась мать, — ты же видел, что она сделала с бедной вороной.

— Это случилось потому, что ворона уснула, — объяснил Атс. — А я возле лисы не усну; а если усну, то только по ту сторону елки, за кучей хвороста и поленницей дров, туда лисенку на своей цепи не дотянуться.

— Что правда, то правда, туда ей не дотянуться, — согласилась мать. — Если уснешь, то спи только по ту сторону елки.

* * *

Так что теперь отношения Атса с лисенком определились: Атс мог примоститься около него на корточки и сидеть так хоть день напролет, нельзя было только подходить к нему слишком близко: Мосса немедленно показывал свои белоснежные, острые, как иголки, мелкие зубы. Если бы Атс осмелился дотронуться до него рукой, Мосса, наверно, вцепился бы ему в руку и стал грызть ее так же, как грыз палку, которую Атс подсунул ему под нос. Чтобы задобрить лисенка, мальчик пробовал сам кормить его, но на первых порах из этого ничего не вышло: зверек привык брать пищу из рук матери и не так-то легко было отучить его от этой привычки.

Пийтсу тоже поначалу растерялась, не понимая, как ей вести себя с Моссой. Едва лисенка посадили на цепь, она тут же, сгорая от любопытства, прибежала посмотреть на него и поприветствовать: наострила уши, состроила умильную рожицу, повизжала и повиляла хвостом. Но стоило ей сунуться слишком близко к лисе, и она тут же узнала, какие у той острые зубы. Но Пийтсу это только раззадорило. Сначала она отскочила от лисы подальше, но тут же снова потянулась к ней мордой, чтобы Мосса смогла опять схватить ее за нос. Теперь Пийтсу поняла, что делать: она стала радостно бегать вокруг Моссы, то припадая на брюхо, то вскакивая, то лая, то взвизгивая. Сначала лиса съежилась, замерла и только время от времени скалила зубы, но скоро она начала с любопытством приглядываться к Пийтсу; наверное, сообразила, что, несмотря на длинную черную взлохмаченную шерсть, собака не ахти какой опасный противник. Позабавив Моссу, Пийтсу попыталась снова приблизиться к ней. Теперь Мосса уже не старалась цапнуть ее за нос, только зубы скалила. Но и этого Пийтсу было вполне достаточно: она покорно отступила. Поразмыслив немного, она улеглась на траве, вытянула передние лапы, прижалась к ним мордой и закрыла глаза, как будто собиралась отдыхать. Но сон, как видно, не шел к ней, время от времени она чуть-чуть приоткрывала глаза и посматривала на лисенка, словно подсматривая, что же он делает. А лисенок ничего не делал, он лежал неподвижно, не сводя с Пийтсу глаз.

С небольшими изменениями так продолжалось несколько дней; сколько именно, никто не заметил, даже Атс, хотя его это касалось больше всех. Но однажды утром, выйдя, как обычно, поглядеть на лисенка, он тут же бегом вернулся в комнату и закричал:

— Мосса играет с Пийтсу! Мама, иди посмотри, они вдвоем играют!

Но удивление и радость Атса сменились разочарованием, потому что мама спокойно ответила:

— А разве ты только сейчас это увидел? Они уже вчера вместе играли.

— Почему ты мне ничего не сказала? — воскликнул Атс.

— Я думала, ты сам знаешь, — ответила мама.

— Нет, я не знал, — сказал Атс, и ему стало ужасно жалко, что не он первым увидел, как Мосса играет с Пийтсу, а мама, которой это событие показалось настолько неважным, что она даже не рассказала сразу об этом ему.

— Кто утром встает раньше всех, тот все видит и слышит раньше других, — объяснила мама, желая утешить Атса.

— Теперь я тоже буду рано вставать, даже раньше тебя! — решил Атс.

— Но тогда ты и спать должен укладываться пораньше, не то у тебя сил не хватит, — сказала мама. — Вечером дети

должны ложиться вместе с курами, утром же вставать вместе со свиньями, а старикам надо ложиться, когда свиньи засыпают, а вставать вместе с курами, вот так-то будет правильно.

Эта практическая мудрость не очень интересовала Атса. Его беспокоило другое, и он спросил:

— А кто меня разбудит, если я захочу встать раньше тебя?

— Поговори с петухом, он разбудит, — улыбнулась мама.

Атс тоже заулыбался. Он понял, что мама шутит, и сам пошутил:

— Ладно-ладно, договорюсь с петухом, вот он и разбудит меня своей песней.

* * *

Но разговора с петухом у Атса не получилось, потому что особой дружбы между ними никогда не было, и началось это давным-давно. Отец нынешнего пестрого петуха — а был он такой же пестрый, как и его сын, только, пожалуй, чуть-чуть потемнее — стал жертвой этой вражды. А случилось это вот как.

Испокон веков в наших краях петухи унаследовали такой обычай: когда один поет, то уж никакой другой не имеет права вмешиваться, конечно, если он не рвется в драку. Когда же пестрый петух лесничего, на радость курам, вытягивал шею и широко раскрывал клюв, чтобы голос свободно лился наружу, Атс, спрятавшись за кустом или за забором, делал то же самое: вытягивал шею, широко раскрывал рот и вбирал в себя воздух, так что из его горла выходил какой-то безобразный не то хрип, не то сип, отдаленно напоминавший красивый и звонкий голос пестрого петуха.

Поначалу это вызывало у петуха недоумение, и он только удивленно кричал «Кок-кок-кок-кок!», но мало-помалу стал хмуриться и внимательно глядеть по сторонам. В конце концов в нем вспыхнула ярость, разгоравшаяся с каждым днем все сильнее. Петух пел все громче и задорнее, мальчик вторил ему, и, полный гнева и ярости, петух впадал в самое настоящее бешенство. В один из дней он несколько раз своими острыми шпорами вцепился в куст, за которым сидел на корточках дразнивший его Атс. Но длилось это недолго: скоро петух понял, что его враг скрывается не в кусте, а за кустом. И однажды он принялся лупить своими острыми когтями уже не куст, а мальчика, стараясь попасть ему по голове и по глазам.

Раза два петух даже расцарапал Атсу лицо в кровь. Но скоро тот придумал, как ему обороняться. У отца был поношенный черный пиджак, который он надевал только в сильный дождь. В хорошую погоду пиджак висел в комнате на вешалке, валялся на столярном верстаке или еще где-нибудь. В иные дни про него

совсем забывали, и только по субботам, когда мама вынимала хлеба из печи и если она их, по ее словам, передержала, на помощь приходил черный отцовский пиджак. Атса посылали разыскать его и принести маме. Мама накрывала хлеба сначала белым платком, а сверху укутывала их черным пиджаком. Так, мол, они становились такими, как надо.

Вот этот-то черный пиджак, сладко пахнувший свежим хлебом, Атс и брал себе в помощники, когда шел дразнить пестрого петуха. Каждый раз, когда петух подскакивал, чтобы нанести Атсу удар, тот набрасывал его себе на голову, и острые когти петуха поражали не мальчика, а всего-навсего пиджак. Его петух мог колошматить хоть до полного изнеможения. А Атс только смеялся и дразнил петуха пуще прежнего. В конце концов петух так возненавидел этот черный пиджак, что стоило ему увидеть его, как он тут же лез в драку. Хуже того, он вступал в яростную борьбу со всем, что было черного цвета, и сражался пылко и храбро, приходя в полное неистовство. Пийтсу на себе испытала, какое это несчастье — иметь черную шубу: петух не упускал случая наброситься на нее. И даже черному мерину и черному быку кукарекающий петух не давал пощады; всякий раз он старался так изловчиться, чтобы ударить их сзади по ногам, а потом орал во всю глотку, как бы оповещая мир о своей великой победе. Мерин обычно не обращал на петуха никакого внимания, но однажды почему-то ударил храбреца и попал так неудачно, что тот долго лежал без движения, распластавшись на земле. Атс уже подумал, что петух испустил дух, и громким криком оповестил об этом мать, но мама, подойдя к петуху и внимательно на него посмотрев, проговорила:

— Погляди-ка, глазами-то он двигает, значит, не помер.

Теперь и Атс увидел, что глаза у петуха, обведенные красным кольцом, действительно шевелятся, и спросил у мамы:

— А если глаза шевелятся, это значит, что он не умрет?

— Ну, значит, он и сам скоро начнет двигаться, вот увидишь,— объяснила мама и добавила: — Ну и глупый же он: лезет бить лошадь по ногам, будто это что-то даст. Он, верно, считает, что черный мерин и бык тоже из петушиного рода, как и ты с твоим черным сюртуком.

— Почему же это я больше похож на петуха, чем мерин? — спросил Атс.

— Так ведь у тебя две ноги, и ростом ты не больше петуха,— ответила мама.

— Нет, я больше его, намного больше,— возразил мальчик.

— Это в отцовском пиджаке ты кажешься таким большим, без него ты куда меньше,— объяснила мама.

Пока мама и Атс спорили над распростертым петухом, тот стал ворочать головой и оглядываться по сторонам. Потом он повернулся на бок и вскочил на ноги. Но его сильно пошатывало,

а когда он вытянул шею и хотел запеть, голос у него сорвался, и он плюхнулся рядом с кустом прямо на свой поникший красивый хвост, как будто решил посидеть на свежей травке. Но длилось это всего какой-то миг, он тотчас вскочил и зашагал так же гордо и самоуверенно, как и раньше.

Так пестрый петух избежал гибели от копыт черного мерина, однако смерти от черного пиджака, с которым он вел самую ожесточенную борьбу, избежать ему не удалось. В тот день шел дождь, и лесник натянул пиджак на плечи. Петуху было все равно, кто надел его, он должен был напасть на него! Даже если бы пиджак повесили на шест и он слегка колыхался бы на ветру, петух тотчас оказался бы рядом и стал наносить удар за ударом — такой храбрый и глупый был этот петух. Вот и на этот раз: не успел лесник выйти во двор, как петух накинулся на него — раз, и два, и три, и еще много раз, потому что при ходьбе полы черного пиджака колыхались и раззадоривали драчуна. Лесник остановился посмотреть, в чем дело, и, когда понял, что петух осмелился напасть на него, горячая волна ярости обожгла его: он считал, что петуху, ненавидящему черный цвет, можно драться с Пийтсу, с меринком, с быком, но уж во всяком случае не с ним.

— Ах ты бесстыдник, на своего хозяина и кормильца кидаешься! — произнес лесник почти таким же голосом, каким по воскресеньям читал вслух Библию, и хватил петуха можжевельниковой палкой один раз, а потом еще и другой.

Этого оказалось достаточно. Петух остался лежать, как тогда, когда мерин ударил его копытом. Атс, наблюдавший за расправой, поспешил к нему, чтобы посмотреть, шевелятся ли у него глаза или не шевелятся. Он долго стоял возле него, но и глаза петуха и сам петух оставались неподвижными. И еще Атс заметил: из клюва петуха на зеленую траву капала кровь. Отец тоже увидел это и сказал:

— По голове поганцу попало, потому и кровь.

И, не говоря больше ни слова, принес из овина лопату, сдвинул с места широкий обломок плитняка, лежащий у порога, вырыл на этом месте яму, бросил в неедохлого петуха, засыпал землей, плотно утрамбовал ее ногами и положил камень обратно.

— Что это тебе в голову взбрело? — спросила мама, которая подошла посмотреть, чем занимается отец.

— Петуха хороню, — ответил он.

— Зачем же ты его хоронишь, из него можно было бы сварить вкусный суп, — сказала мама.

— Не буду я есть петуха, который посмел напасть на меня, — ответил отец. — Злого быка я бы продал, а что делать сдохлым петухом? Кто его купит? Я потому и закопал его у порога, чтобы он каждый день, пока я жив, чувствовал тяжесть моих сапог.

Услышав эти слова, мама весело рассмеялась — так, по крайней мере, показалось Атсу.

— Что смешного нашла ты в моих словах? — спросил отец.

— Как же мне не смеяться? — проговорила мама. — Ты запываешь бедного петуха у себя под ногами, но ведь он прибежал драться не с тобой, а с твоим черным пиджаком, которым я укутываю хлебы, чтобы у них корочка стала мягче.

— Мне все равно, дерется он со мной или с пиджаком, который у меня на плечах, — буркнул отец, укладывая камень на место.

Мама ничего на это не сказала, как бы соглашаясь со словами отца. А Атс до слез пожалел бедного петуха, особенно потому, что именно он, Атс, заставил петуха так яростно возненавидеть черный пиджак, что и привело его к гибели.

— А если бы у петуха из клюва не пошла кровь, он бы все равно умер? — спросил он у мамы.

— Нет, тогда бы не умер, петухи живучие, — сказала мама.

— Надо же было крови пойти! — вздохнул Атс немного погодя.

И долго-долго, входя в дом и выходя из него, он старался не ступать ногой на широкий камень, под которым покоился храбрый петух, так упрямо боровшийся против всех и вся, окрашенных в черный цвет. Больше того! Когда Атс видел или слышал, как отец с размаху ставит на камень свой подкованный каблук, он чувствовал в ушах и груди какую-то щемящую боль. А мама, словно догадываясь о чувствах Атса, с этих пор часто стелила перед порогом свежие еловые ветки, которые меняла каждые два-три дня. Она объяснила, что так не заносится песок в дом, но Атсу казалось, будто она говорит, что так бедный петух меньше чувствует кованые каблуки отца.

Вот такая история приключилась с пестрым петухом, сын которого распевает теперь, на радость курам. Атс дразнит петуха так же, как дразнил его отца, погибшего, когда его сын был еще в яйце, которое высиживала курица. Но черный пиджак Атс уже больше никогда не трогал — он боялся, что, если молодой петух научится ненавидеть все черное, как ненавидел старый, он может умереть такой же ужасной смертью, как его предшественник, и его тоже похоронят где-нибудь под порогом в назидание будущим петухам.

* * *

Вот почему Атс не очень надеялся на то, что петух станет своим пением вовремя будить его, если он захочет просыпаться по утрам раньше мамы. Пусть уж лучше все останется по-прежнему: мама будет подниматься спозаранку, иногда вместе с солнцем, иначе ей не справиться с делами, а Атс — только тогда, когда солнце уже стоит высоко над лесом. Теперь ведь ему и терять

нечего: что особенного могло случиться рано поутру, если Мосса и Пийтсу уже выяснили свои отношения?

И в самом деле, все теперь пошло как по проторенной дорожке: каждый день Мосса и Пийтсу играли вместе ранним утром, поздно вечером или в полдень, это зависело от случая и от их настроения, а еще от того, было ли у Пийтсу время повозиться с лисенком. Потому что игра с Моссой была далеко не единственным ее занятием. Кроме нее, у Пийтсу была еще куча всяких дел: она рыскала по деревне, все обнюхивая, на свой страх и риск выслеживала зайцев и птиц, хотя это было ей строго-настрого запрещено, сидела или лежала на обочине дороги, наблюдая за всеми, кто проходил или проезжал мимо. Пешеходы ее не особенно интересовали, зато, когда мимо с грохотом проезжала какая-нибудь телега, для Пийтсу не было большей радости, чем прыгать и лаять под самым носом у лошади, помня, однако, о том, чтобы не попасть ей под ноги. Лошадь может больно ударить — это Пийтсу знала с давних пор. Года два назад такая беда с ней уже случилась. К счастью, дело было зимой и землю покрывал мягкий снег, не то Пийтсу, чего доброго, погибла бы раньше срока, как пестрый петух, которого лесник ударил палкой по голове. Пийтсу знала, что лаять и бегать за телегой или за санями не следует, особенно опасно слишком приближаться к ним, потому что тогда кончик кнута с завязанными на нем узлами может так хлестнуть по носу, что искры из глаз посыплются.

Но самым большим удовольствием для Пийтсу было ходить с лесником в лес. Это было запретное удовольствие, и Пийтсу редко удавалось насладиться им. В лесу было много интересных зверей и вообще всякой всячины, много сладких и острых запахов. В лесу были зайцы, белки, разные птицы, большие и маленькие, а кроме того, ежи, мыши, лягушки, кузнечики и даже змеи. Они поднимали голову и шипели, как только Пийтсу подбегала к ним. От всего этого собака приходила в неистовство и носилась как ошалелая среди кустов и деревьев, так что лесник, который боялся потерять ее из виду, то и дело свистел и подзывал ее.

Из лесного похода Пийтсу возвращалась домой мокрая и грязная, с высунутым от усталости языком. В таком виде она являлась к Моссе и укладывалась под елкой или где-нибудь поблизости. Мосса бросалась к ней навстречу и с любопытством обнюхивала ее, как будто хотела по запахам определить, где побывала Пийтсу. Лесные запахи очень волновали Моссу, лисенок приходил в сильное возбуждение, начинал беспокойно бегать на цепи, как будто и он хотел туда, откуда Пийтсу принесла с собой все эти чудесные запахи, которые он учуял в ее длинной взъерошенной шерсти и вокруг тяжело дышащей пасти. Иногда Мосса, обнюхав Пийтсу со всех сторон, садилась возле нее и принималась тихонько скулить. Однажды Атс услышал ее и спросил:

— Почему ты скулишь? Что с тобой?

Но Мосса продолжала повизгивать, не обращая на него никакого внимания.

— Разве Пийтсу не хочет сегодня с тобой играть? — не отставал от лисенка Атс и тут же пояснял: — Пийтсу устала, Пийтсу хочет спать, она ходила далеко в лес. Но ты не грусти, славная моя Мосса. Если папа и Пийтсу еще когда-нибудь отправятся в лес, мы с тобой тоже туда пойдем. Вот только как же я сниму твою цепь со стены?

Дело это было немаловажное: как снять цепь со скобы, вбитой в бревно? Атс долго ломал над этим голову. А сам стал приучать лису ходить на цепочке. Но Моссе не нравилось, что Атс держится за ее цепь. Она любила сама перебегать с места на место, так что цепочка звенела на весь двор.

Однажды отец увидел, как Атс возится с цепью, и, рассердившись, сказал ему:

— Оставь цепочку в покое, парень!

— Так я же ничего плохого не делаю, я только хочу научить Моссу ходить на цепи, — оправдывался Атс.

Видно, ответ попал в точку, потому что отец больше не стал выговаривать Атсу, он подошел к нему и спросил:

— Значит, ты думаешь, что лисенок будет ходить на цепи, как собака?

— Я хотел его научить, но, видишь, он не ходит, упирается, — проворчал Атс и подергал за цепочку.

— Так ты делаешь ему больно, — сказал отец. — Давай-ка цепь сюда, я сам попробую.

Теперь отец сам стал возиться с Моссой. Однако и у него дело не пошло. Наконец и мама подошла посмотреть, что мужики — так она их называла — делают с бедным лисенком. И сразу поняла, что не мужики что-то с ним делают, а он с ними: чего они только не придумывали, чтобы заставить его сдвинуться с места! Пийтсу тоже, конечно, прибежала мужикам на помощь, прыгала и визжала, как будто вся эта история невесть как смешила и радовала ее. Забавой казалось это всем, кроме лисы, она оставалась хмурой и даже начинала сердиться — того и гляди, вцепится в руку каждому, кто посмеет дотронуться до нее. Даже своего закадычного друга Пийтсу она сейчас ненавидела и скалила свои белые зубы.

— Так из этого ничего не получится, — промолвила наконец мама. — Предоставьте дело мне, я попробую сама ее научить, когда принесу ей поесть.

Лисенка оставили в покое. Но Атса по-прежнему мучил все тот же вопрос, и он спросил у отца:

— Если мама научит лисенка ходить на цепи, ты возьмешь его в лес?

— Там видно будет, — ответил отец.

— А как ты снимешь цепь со стены? — продолжал допытываться мальчик, потому что это и было самое главное.

— Ну уж как-нибудь справлюсь, — неопределенно ответил отец.

— Наверно, вытащишь скобу из стены? — спросил Атс.

— Зачем же сразу скобу вытаскивать? — в свою очередь спросил отец.

— Значит, разобьешь одно звено в цепочке? — расспрашивал мальчик.

— Незачем его сразу разбивать, — ответил отец уклончиво.

— Что же ты тогда сделаешь? — не отставал мальчик.

— Видно будет, когда до дела дойдет, — проговорил отец. — Чего нам раньше времени голову ломать, может, лиса и не захочет ходить на цепи, значит и все разговоры ни к чему.

— Она непременно захочет, — уверял мальчик и опять стал приставать к отцу, чтобы тот сказал, как он будет снимать цепь со стены.

Но отец будто замок на рот повесил, и Атс так и не узнал его тайны. Наверно, поэтому ночью ему приснился странный сон: лиса послушно ходила на цепи, но никто не умел снять цепь со стены — ни мама, ни папа, ни он сам. Тут подошли какие-то чужие люди, поглядели, посоветовались и, качая головами, ушли. Последним пришел маленький старичок — с длинной черной бородой, весь лохматый и даже немного похожий на Пийтсу. Он тоже разглядывал цепь, придумывал разные способы, как снять ее со стены, и наконец сказал отцу так четко и ясно, что даже Атс услышал: «Придется сломать дом».

Отцу это предложение, очевидно, показалось вполне разумным и естественным. Он подозвал маму и сказал ей так же четко и ясно: «Придется сломать дом».

Мама повторила эти слова Атсу, и мальчик очень обрадовался тому, что дом будут ломать: по крайней мере, он увидит тогда, как он сделан. И они все сообща принялись ломать дом. Но тут сон стал каким-то бессвязным, все смешалось, и так продолжалось до тех пор, пока дом или что-то другое с грохотом не обвалилось. Атсу стало страшно, и он проснулся. Еще в полусне он услышал слова мамы:

— Ты что, плохой сон видел? То-то во сне говорил и руками размахивал.

— Придется сломать дом, — пробормотал Атс сквозь сон.

— Что это ты говоришь? — переспросила в недоумении мама. — Какой это еще дом нужно ломать?

Теперь Атс совсем проснулся и хотел пересказать свой сон маме, но оказалось, что он уже все позабыл. Перед ним маячили какие-то темные, расплывчатые фигуры, слышались чьи-то неясные голоса, но скоро и они исчезли.

Понадобилось много времени, прежде чем мама добила, чтобы лисенок позволил водить себя на поводке.

— Ходит совсем как собака, — сказала мама наконец.

— Что же папа теперь будет делать? — спросил Атс. — Снимет цепь со стены или не снимет?

— Снимет, конечно, — успокоила его мама.

— А как он это сделает?

— Вот этого я не знаю, справится как-нибудь, — проговорила мама.

Отец и в самом деле справился с этим, да к тому же очень легко и просто. Атс подумал, что он и сам мог сделать это, если бы только знал как. Конечно, если бы знал.

А все дело было в том, что длинная цепь, на которой сидел лисенок, состояла из двух кусков, и соединялись они кольцом. Отец сделал это кольцо продолговатым и подогнал его под другие звенья. Теперь концы этого кольца он чуть-чуть раздвинул и отделил один кусок цепи от другой. Часть цепи он надставил веревкой, чтобы было удобнее держать ее в руках и можно было бы немного ослабить, если лисе захочется побегать.

Всей семьей пошли они смотреть, как поведет себя Мосса, когда ее приведут на поводке в лес. Пийтсу отправилась вместе с ними. Но она-то и оказалась для Моссы самым большим искушением: Пийтсу была свободна и бежала, куда ей заблагорассудится, а Мосса могла идти только туда, куда ее вел отец и куда доставала цепь.

— Пийтсу следовало бы сегодня тоже взять на поводок, — сказала мама, — тогда лисенку не было бы так обидно.

И чтобы утешить Моссу, мама взяла у отца веревку и сошла с тропинки в заросли. Но Мосса скоро так запутала цепь, что мама не могла шагнуть ни взад ни вперед и ей пришлось звать отца на помощь.

— Только не отпускай веревку, — предостерег ее отец, — не то лисы и след простынет.

— Она юркая и прыткая, как вьюн, — сказала мама о Моссе.

— Зверь — он и есть зверь, — заключил отец.

Наконец вдвоем они вытащили лисенка из зарослей и снова вывели на тропинку. Теперь и Атс захотел подержать поводок. Но отец не разрешил: побоялся, что лиса изловчится и вырвется из рук мальчика. Но Атс продолжал кланяться, и, чтобы всех успокоить, мама посоветовала обвязать веревку вокруг пояса мальчика, чтобы он, забывшись, не выпустил ее из рук. С этим отец согласился, и Атс наконец повел Моссу. Это были счастливейшие минуты в его жизни, он мог бы хоть целый век ходить так: один конец веревки повязан вокруг пояса, за другой тянет неутомимая Мосса.

Когда вернулись домой, Атс попросил:

— Можно, я еще немножко похожу с ней? Я далеко не уйду.

Но отец ни за что не соглашался, он хотел сразу соединить оба конца цепи. И только когда мама поддержала просьбу мальчика, отец согласился подождать еще немного. Родители на минутку вошли в дом, а когда спохватились и стали звать Атса, того и след простыл. Звали они довольно долго, прежде чем он появился со стороны шоссейной дороги.

— Ты же обещал гулять с Моссой во дворе и не отходить от дома,— упрекнул его отец.

— Так я же совсем недалеко ушел,— ответил Атс.

— Как же недалеко,— возразил отец,— я зову, зову, а тебя не видно и не слышно.

— Я хотел показать Моссе дорогу и ямы, из которых берут щебенку,— объяснил Атс.— Она очень хотела побывать там, все тянула и тянула меня.

— Видишь, какой ты упрямый,— проговорил отец,— обещаешь не уходить со двора, а сам идешь к карьерам. В другой раз я не разрешу тебе одному гулять с Моссой.

Но долго противиться просьбам Атса отец не смог. Стоял чудесный осенний день. Солнце светило совсем по-летнему, ветра как будто и не бывало. На пожне, если смотреть на нее против солнца, сверкали тысячи паутинок. Птицам было так хорошо, что кой-кому из них даже петь захотелось. Жаворонки, казалось, пробовали вспомнить свою весеннюю трель.

С полей собирали последний урожай и складывали в скирды. Родителям Атса тоже надо было идти в поле убирать овес. С собой они взяли Моссу, а Пийтсу, как существо свободное, сама плелась за хозяевами. В поле Моссу хотели сначала привязать так, чтобы она была на виду, но потом решили обвязать веревку вокруг пояса Атса: пусть и у него будет занятие — пасти лису. Эту радость ему доставили при одном условии: чтобы он ни на шаг не уходил с поля и не исчезал в лесу, не то лисенка у него отберут.

Небольшое поле лесника граничило с помещичьими полями, и Атс, конечно же, сразу направился в ту сторону. Не успели отец с матерью оглянуться, как мальчик исчез. Им пришлось долго звать его, прежде чем он снова появился. На этот раз ему показали несколько скирд, дальше которых ему запрещалось уходить. Но так как издалика родители не очень-то различали установленные ими границы, Атс время от времени нарушал их. Для Атса и для лисенка не было места интереснее, чем то, куда им запрещалось ходить.

Так шел час за часом; мать и отец жали овес, Атс возился с Моссой. Поначалу Пийтсу держалась около них, но скоро ей это надоело: лиса не очень интересовалась собакой, да и Атс без конца отгонял ее, ему хотелось одному побыть с Моссой. Уже вечерело, когда отец с матерью заметили, что Атс и Мосса опять

исчезли. Родители стали звать их, но ответа не было. Пришлось отцу идти искать мальчика. Он направился в ту сторону, где видел его последний раз. Но там Атса не оказалось. Отец пошел наугад дальше, все время окликая сына. Потом остановился, прислушался и огляделся вокруг. Далеко в стороне, у дальней скирды, мелькнул какой-то зверек. «Может, это и есть лисенок?» — подумал отец и направился туда. Добравшись до скирды, он увидел, что был прав: это действительно был лисенок. Где же Атс? Ну конечно, он тоже здесь: спит у скирды, перевязанный веревкой вокруг пояса. Мосса возилась возле него, беспрестанно изо всех сил дергая поводок, но мальчик этого не чувствовал. Только когда отец несколько раз потряс его за плечо, Атс открыл глаза и проснулся.

— Почему ты ушел так далеко, да еще и уснул к тому же? — спросил отец.

— Лисенку сюда очень хотелось, — ответил Атс. — Да это не так уж и далеко. Смотри, отсюда хорошо виден наш дом.

Отец развязал веревку и сердито сказал:

— Я тебя зову, зову, чуть голос не сорвал, а ты спишь как сурок, ничего не видишь, не слышишь!

Мама, узнав, что случилось с Атсом, сказала:

— Ты же обещал, что никогда не уснешь возле лисенка, а если уснешь, то только по другую сторону елки, куда ему не дотянуться. А сам спишь прямо у него под носом. Разве ты не помнишь, что стало с вороной, когда она уснула в клетке у лисенка?

— Я же не ворона, чтобы Мосса могла оторвать мне голову! Если она нападет на меня, я это сразу почувствую, — сказал Атс.

— Кто знает... Может, и не почувствуешь, раз ты так устал, что уснул рядом с лисенком, — усомнилась мама.

— Да, толку с тебя пока еще немного, — согласился с ней отец. — Тебя послали лису пасти, а ты взял да уснул, на весь лес храпел.

— Солнышко у скирды припекало, вот я и задремал, — оправдывался Атс. — Если бы не солнце, я бы ни за что не уснул.

— Лисенка солнце тоже припекало, а ведь он не спал, — сказал отец и с тех пор никогда больше не обвязывал Атса лисьим поводком и не оставлял Моссу на его попечении.

Атс очень жалел об этом, но было уже поздно. Лису по-прежнему водили гулять в лес, но Атсу ее надолго не доверяли: неизвестно, что он опять натворит. Когда отец сам прогуливал Моссу, ему быстро надоедало каждую минуту дергать ее за поводок, и он привязывал веревку себе к поясу. Это очень сместило Атса, как-то он даже сказал отцу:

— Ты теперь как я: тоже у лисы на поводке.

— Только я не засну рядом с лисой, как это случилось с тобой, — ответил отец.

Дни проходили без особых происшествий, пока не наступила поздняя осень. С утра до вечера и с вечера до утра Мосса кружила на цепи, так что Атсу никак не удавалось подкараулить время, когда она спит. Лишь изредка, наигравшись с Пийтсу, отчего собака, по-видимому, уставала до смерти, Мосса клала свою голову на шею спящей собаки и время от времени ненадолго прикрывала глаза. Но разве это сон? Нет, Атс считал, что на сон это совсем не похоже.

Как-то, когда Мосса, вытянув нос и наострив уши, опять прилегла около Пийтсу, Атс уселся неподалеку на корточках, не сводя с них глаз. И вдруг ему вспомнилось, что, когда Моссу принесли из лесу, она выглядела как-то иначе, чем теперь. Атс не заметил, когда Мосса успела измениться, но он совершенно отчетливо увидел, что лисенок стал не похож на себя прежнего. Раньше он был толще и короче, теперь стал тоньше и длиннее, будто кто-то вытягивал его постепенно или вытянул за один раз. С ним, казалось, произошло то же самое, что со шкуркой выдры, когда отец растянул ее на доске, чтобы она стала побольше. Особенно изменилась голова Моссы, по голове-то Атс раньше всего и заметил, что с Моссой произошла какая-то перемена. Прежде голова была странно большая, на ней топорщились коричневатые шерстинки, из этих шерстинок едва выглядывали ушки, казавшиеся совсем тупыми. Теперь голова лисенка словно уменьшилась в размере, шерсть на ней разгладилась и порыжела, уши заострились и стали длиннее, нос вытянулся. Вместе с туловищем и носом вырос и хвост, как будто для того, чтобы не нарушались пропорции между частями тела. Хвост становился все пушистее, словно голова уступала ему свой прежний покров.

Вместе с внешним видом лисенка изменился, по-видимому, и его характер. Атс не заметил, когда это началось, да, наверное, и сама Мосса ничего не понимала, но теперь она вдруг стала интересоваться курами, гулявшими по двору. Особенно волновала ее песня пестрого петуха. Слушая ее, Мосса тихо повизгивала. Она не раз бросалась на кур, когда они забредали к ней под елку, но пока еще не поймала ни одной. Вот только петух как-то раз чуть-чуть не лишился жизни, но отделался несколькими перьями из хвоста. Произошло это не случайно и не по нерадивости петуха, а по его собственной вине: петух сам напал на Моссу. Дело в том, что молодой петух ненавидел красный цвет так же яростно, как его отец ненавидел черный, из-за чего он и погиб. И повинен в этом тоже был Атс. Его очень смешило, когда петух в бешенстве кидался на него. Вот он дразнил и подзадоривал его, а чтобы защитить лицо от петушиных когтей, накрывал голову, но теперь уже не старым черным пиджаком, а красным одеялом. Правда, ему не очень-то разрешали трогать это одеяло, но ничего более

подходящего не находилось. А черный пиджак он брать не хотел: боялся, что в какой-нибудь дождливый день петух опять бросится на отца и непременно погибнет. Этого Атс очень боялся: он любил петуха, с которым так давно состязался в пении.

Но скоро Атс убедился, что причиной смерти петуха может стать любой цвет. Казалось бы, красный цвет был вполне безобидным, одежды такого цвета не было ни у Атса, ни у отца с матерью. Правда, неподалеку от них жил мальчик, гораздо меньше самого Атса, и у того была длинная красная рубаха. Но петух никогда мальчика не видел, а если бы и увидел и напал на него, это вряд ли могло бы стать причиной петушиной гибели.

Но благоразумный и осторожный Атс совсем упустил из виду, что у них есть лиса и что она тоже красная. Правда, когда Атс первый раз накинул на голову красное одеяло и пошел передразнивать петуха, Мосса была еще не рыжая, а, скорее, коричневая. Но в последнее время цвет ее изменился и она стала намного рыжее. Впрочем, и сейчас она была далеко не такой красной, как одеяло, и Атс никак не мог понять, что за глаза у пестрого петуха, если он кидается на нее.

Но вот однажды Мосса вцепилась петуху в хвост, и он на первый раз лишился не жизни, а всего лишь нескольких перьев из хвоста. Мосса осталась стоять с петушиными перьями в зубах, глядя на петуха, который в смертельном ужасе взлетел на большую ель и орал там во всю глотку. Тут как раз появился Атс и никак не мог понять, что случилось, почему петух кукарекает на ветке, а лиса смотрит на него из-под елки. Атс решил, что петух просто вздумал подразнить лису, и стал искать подходящие палки, которыми можно было бы запустить в него. Пийтсу тоже прибрехала, чтобы поближе посмотреть на все происходящее, и принялась звонко лаять на петуха, потому что и она впервые видела его сидящим на елке. Петуху не понравилось, что Атс кидается в него палками, а Пийтсу лает, и, вместо того чтобы спуститься с ветки, он взлетел еще выше, почти что на макушку ели. Там он широко раскрыл клюв и запел во всю мочь так, что у лисы из пасти закапала слюна, а из глаз потекли слезы. Петуха наверху не страшили ни лай Пийтсу, ни палки Атса — ни одна из них до него не долетала.

И Атс, утомившись, наконец, от бессмысленных трудов, пошел в комнату, чтобы сказать маме:

— Наш петух сидит на макушке большой елки и кукарекает там.

— Ну конечно, это ты, наверно, так долго гонялся за ним с собакой, что у него, бедняги, не осталось другого выхода, как взлететь на елку, — ответила мама.

— Да нет, я не гонялся, — возразил Атс. — Я даже не видел, когда он туда залетел.

— Что же ему тогда в голову взбрело? — проговорила мама и

вышла во двор посмотреть. Там она сразу все поняла и сказала: — Петух побывал в зубах у лисы. Видишь, перья на земле валяются... Погляди, он остался без своих красивых блестящих хвостовых перьев, их лиса грызет.

Только одного мама не могла понять: как это петух оказался таким неосмотрительным, что попал в зубы к лисе? Но на этот вопрос ей помог ответить Атс: он сразу подумал, что если старый петух из-за черного пиджака мог напасть на черную собаку, то молодой петух вполне мог из-за красного одеяла кинуться на рыжую лису. Мама сразу согласилась с ним и сказала:

— Вот видишь, что ты делаешь! Старого петуха до смерти довел, а теперь чуть не лишил нас и молодого.

— Как же это я его до смерти довел? — возразил Атс маме. — Я дразнил петухов черным пиджаком и красным одеялом, а они кидаются на папу и на лису.

— Потому что один из них черный, а другая — рыжая, — сказала мама. — Не дразни петухов черным и красным, они и не погибнут.

— Почему же они такие глупые, что не понимают разницы между черным пиджаком и человеком, между красным одеялом и лисой?

— Ну, ты слишком много требуешь от петуха, хочешь, чтобы он не только красиво пел, но еще и всякие премудрости знал. Довольно и того, что пестрый петух умеет петь, ты и этого не умеешь.

— Зато я знаю разницу между черным пиджаком и человеком, между красным одеялом и лисой! — защищаясь, возразил Атс.

— Ладно-ладно, — согласилась мама, — зато ты не умеешь петь, так что вы с пестрым петухом один другого стоите. Ты даже глупее петуха, потому что он умеет летать, а ты не умеешь, так что нечего хвалиться своим умом и храбростью, лучше подумай как следует, прежде чем сказать.

— Зато я умею стоять на голове, — твердил свое Атс, — а петух не умеет!

— Что-то мне не очень верится, что ты это умеешь, — усомнилась мама.

Хочешь, покажу? — воскликнул Атс. — Вот, смотри!

И, крепко ухватившись руками за траву, мальчик попытался встать на голову. Но сделать это ему никак не удавалось, ноги падали то вперед, то назад.

Мама понаблюдала за его возней и сказала:

— Ну вот видишь: петух не умеет стоять на голове и ты тоже не умеешь.

— Но я могу научиться, — пришлось уступить Атсу.

— Конечно, можешь, — согласилась мама. — Но ты можешь научиться не только этому. Ты можешь научиться и тому, что

нельзя дразнить петуха, быка или барана: они начинают сердиться, становятся злыми и причиняют людям всякие неприятности.

— А я не боюсь злого барана! — закричал Атс вслед маме, которая уже направилась к дому. — Вот улягусь на земле, пусть попробует тогда меня забодать!

Но мама его и слушать не стала. Атс подождал немного, ответа не последовало, и он снова пошел под большую ель размышлять о том, как снять петуха с елки. Он бы охотно сам полез за ним, но ветки на елке начинались высоко, а ствол был слишком толстый, чтобы Атс мог обхватить его ногами и вскарабкаться по нему вверх. В полной растерянности пошел он в комнату к маме. Но мама сказала ему просто:

— Оставь его в покое. Когда ему надоест там сидеть и захочется есть, сам спустится.

— Я хочу, чтобы он сразу спустился, — сказал Атс.

— Может, ты еще чего-нибудь хочешь? — спросила мама. — Иди во двор и захоти, чтобы солнце сошло с неба и зашагало по нашему двору.

— А разве солнце и месяц умеют шагать? — заинтересовался Атс, сразу забыв про петуха.

И у них с мамой начался долгий разговор о солнце, луне и звездах, о дне и ночи, о вечере и утре, о лете и зиме, о весне и осени. Когда Атс снова вспомнил про петуха, тот давно уже расхаживал по земле вместе с курами, да так спокойно и важно, как будто никогда и не забирался кукарекать на елку. И только в хвосте у него не было больше красивых, блестящих, выгнутых дугой перьев.

* * *

Поздней осенью, когда зарядили дожди и установилась холодная пасмурная погода, лесника стало тревожить, что лиса не желает спать в приготовленной для нее конуре, где она могла бы укрыться от дождя и ветра. Он даже перенес конуру от стены поближе к куче хвороста и повернул лазом к тому месту, где спала лиса, устроившись под колючими прутьями хвороста. Но лиса и теперь не захотела залезать в конуру, а продолжала спать на старом месте. В конуру охотно полезла бы Пийтсу, чтобы быть поближе к Моссе, но она не могла протиснуться в отверстие: его нарочно сделали поменьше, как раз по размеру лисы. Так Пийтсу волей-неволей пришлось убраться из-под елки, чтобы в другом месте поискать себе укрытие от осенних ливней.

Как-то утром Атс вышел посмотреть на Моссу, но тут же вернулся обратно с громким криком, что лиса исчезла.

— Что за чушь ты несешь! — удивилась мама. — Кто ее мог унести? Может, у нее цепочка порвалась?

— Цепь лежит на земле, а Моссы нет, — стоял на своем Атс.

— Не может такого быть,— сказала мама.— Наверное, ты плохо смотрел. Иди и поищи хорошенько, она где-нибудь там.

Атс снова пошел искать свою Моссу. На этот раз он обратил внимание, что перед тем местом, где обычно спала лиса, появилась небольшая кучка земли и через нее протянулась цепь. За горкой земли виднелась маленькая дыра, уходящая под кучу хвороста. Атс взялся за цепь и подергал ее. Из дыры под хворостом показалась голова Моссы. Атс снова кинулся в комнату, еще быстрее, чем раньше, крича во все горло:

— Мама, послушай, мама! У лисы под хворостом гнездо, туда дырка ведет. Я дернул за цепочку, и Мосса высунула голову. Иди погляди, ну иди же! Какое красивое гнездо!

Но маму крики Атса несколько не взволновали. Довольно спокойно она сказала:

— Где это видано, чтобы звери и птицы осенью гнезда строили.

— Но Мосса в самом деле приготовила себе гнездо, иди же, посмотри! — упрашивал мальчик.

— Мосса приготовила себе к зиме нору, вот и все,— высказала предположение мама,— ей совсем не хочется спать на снегу.

— А почему Пийтсу не делает себе нору? — спросил Атс.— Разве она не умеет?

— Пийтсу нет в этом надобности. Когда ударят морозы, она будет жить у нас в доме,— объяснила мама.

Лесник, увидав, что лиса и в самом деле роет под хворостом нору, расширил вход в конуру, чтобы в нее могла пролезть Пийтсу. Так собака стала ночевать в конуре, а лиса в норе. Атс натаскал к норе соломы, сена и мха, чтобы Мосса могла устлать ими свое жилище и сделать его поуютнее. Кто знает, воспользовалась ли лиса строительным материалом, принесенным мальчиком, чтобы в норе спалось помягче, но он-то, во всяком случае, с радостью думал о том, что оказал лисе великую услугу.

Атс охотно сам залез бы в лисью нору, чтобы посмотреть, как она выглядит изнутри. Он подвязал цепь так, чтобы лиса не смогла помешать ему, когда он начнет свои исследования. Мальчик даже попытался просунуть голову в нору, но все его попытки оказались тщетными: отверстие было слишком мало. Можно было только дивиться, как лиса сама пролезает в него. Но даже если бы Атсу удалось просунуть голову в лаз, толку от этого не было бы никакого: ведь в норе было так темно, что человеческий глаз ничего бы в ней не разглядел.

То ли по примеру Атса, то ли из собственного любопытства Пийтсу тоже попыталась навестить лису в норе, но и ей сделать этого не удалось: роя вход, лиса учитывала только свои потребности и совсем не думала о размерах своей лучшей подруги Пийтсу. К тому же Мосса уже на пороге весьма враждебно встретила Пийтсу, оскалив свои белые, острые зубы. Когда же собака попы-

талась расширить отверстие, Мосса так рассердилась, как будто они никогда и не были друзьями.

Всерьез их возней интересовался только Атс. С покрасневшим от холодного ветра носом и с посиневшими губами топтался он под елкой и не отрывая глаз наблюдал за хлопотами Моссы и Пийтсу, за их ссорами и раздорами. Он никак не мог понять, почему Мосса не разрешает Пийтсу заглянуть к ней в нору, раз собаке так этого хочется. Он спросил об этом у мамы.

— Ведь Мосса выкопала эту нору для себя, Пийтсу нечего туда соваться,— пояснила мама.

— Ну и что с того, что Мосса ее выкопала? — удивился Атс.— А если мы построим себе дом, мы тоже никого туда не пустим?

— Пустим, конечно, но ведь лиса не человек,— сказала мама.— У зверей все по-другому. Если кто хочет иметь гнездо, он сам должен его свить. У них ведь нет плотников.

— Ну, не совсем так,— вмешался в разговор отец, слышавший мамины объяснения.— Дупло в дереве долбит дятел, а гнездо в дупле строит скворец или еще кто-нибудь. Кукушка никогда себе гнезда не вьет, она кладет яйцо в чужое гнездо, чтобы самой птенцов не кормить. А про лису говорят, что она иной раз заберется в барсучью нору, да так там нагадит, что хозяин от этого запаха из собственного дома бежит.

— А разве барсук не может справиться с лисой? — спросил Атс.

— Значит, не может, раз лиса выгоняет его из норы, которую он своими десятью когтями выкопал,— проговорил отец.— Лиса ведь мошенница и обманщица, такие всегда за чужой счет живут.

— Мосса вовсе не мошенница и не обманщица, она сама выкопала себе нору под кучей хвороста,— вступился за лисенка Атс.

— На цепи и мошенник — честный человек,— сказал отец, но Атс так и не понял, что отец имел в виду, и разговор на этом кончился.

Однако, подумав немного, Атс снова спросил:

— А Пийтсу — мошенница и обманщица?

— Почему ты так думаешь? — в свою очередь спросил отец.

— А почему она живет в конуре, которую ты сколотил? — ответил Атс.

— Ну, это совсем другое дело,— пояснил отец.— Пийтсу служит нам и за это получает еду и жилье.

— А разве я тоже вам служу, ведь у меня есть еда и квартира?

— А как же иначе,— ответил отец.— Ты присматриваешь за Моссой, бегаешь по двору, спишь, дразнишь петуха — это и есть твоя работа.

Атс внимательно поглядел отцу в лицо, как будто хотел понять, говорит он всерьез или шутит. Но прежде чем он пришел к какому-либо выводу, мама сказала:

— Только красное одеяло ты не должен больше надевать на голову, не то петух опять кинется на лису и она оторвет ему голову, второй раз он перьями из хвоста не отделается.

— А без головы никакой петух петь не будет,— поддержал отец маму.

— Если у петуха нет головы, значит, он мертвый,— сказал Атс,— а мертвые петухи не поют.

— Что правда, то правда, мертвые петухи не поют,— согласился отец.

* * *

Когда землю покрыл снег и ударили морозы, Атса стал мучить вопрос, возьмет ли отец лису с собой в лес или всю долгую зиму ей придется спать в норе да сидеть на привязи под елкой. Сначала Атс приставал с этим к маме, потом стал надоедать отцу, хотя у того было столько хлопот с вывозом дров и бревен из леса, что ни о чем другом он и слышать не хотел.

— С какой это стати мне брать ее с собой, куда я ее там дену! — почти сердито отмахнулся он от мальчика.

— Конечно,— согласилась мама,— куда папе девать лису, у него же по горло дел с лесорубами.

— Давайте я пойду ее сторожить,— предложил Атс.

— Тоже мне сторож нашелся! — ответил отец.— Чего доброго, уснешь в сугробе, как уснул осенью в скирде на помещичьем поле, хоть целую волость сзывай тебя да лису разыскивать.

— В снегу я не засну, в снегу холодно, и солнца тоже нет,— возразил мальчик.

— От сильного мороза детей клонит в сон так же, как от жаркого солнца,— проговорила мама.

— Папа разожжет костер, вот и не будет холодно,— сказал Атс.

— Кто же тогда станет лису пасти, если ты будешь сидеть у огня? — спросила мама.

— Лиса тоже будет сидеть у костра,— ответил Атс.

— Лиса не человек, чтобы у костра сидеть,— сказала мама.— Лисе побегать хочется. Ей ведь не холодно, у нее теплая шубка.

Но все эти разъяснения ни к чему не приводили. Атс кланчал и кланчал, чтобы отец отвел лису в лес и показал ей, как там красиво зимой, когда много снега, и чтобы он взял с собой его, Атса, который будет сторожить лису. Похоже было, что Атс заботится не столько о Моссе, сколько о себе самом и что ему очень хочется пойти в лес вместе с отцом и возчиками, отправляв-

шимися туда длинной вереницей на скрипучих дровнях, с запряженными в них пофыркивающими лошадьми. На белом снегу, покрывшем землю и деревья, люди и лошади казались черными, как уголь, а голоса их будто падали к ногам в мягкие сугробы.

Лес стоял безмолвный и тихий. Почему-то именно таким он особенно нравился Атсу. Нравилось ему и то, что снег был весь покрыт следами. По следам можно было догадаться, какой зверь ходил по лесу и что у него было на уме — то ли он просто бродил, то ли убегал в страхе от сильного противника. Когда прошлой зимой отец несколько раз брал Атса с собой в лес, он то и дело показывал ему следы и объяснял:

— Гляди-ка, здесь заяц скакал — вишь, прыжки какие длинные! Ну, ясное дело, собака за ним гналась, вот и ее следы. Только когда снег глубокий, собака зайцу не страшна: заяц по снегу бежит, а собака проваливается, вязнет в нем, как в мучном ларе.

В одном месте отец спросил Атса:

— Гляди-ка, это что за следы? Узнаешь?

Атс таких следов никогда не видал.

— Что ж ты за мужчина, если не можешь узнать следов косули? — проговорил отец. — Видишь, как она здесь прыгала? Все время на одном месте, для нее глубокий снег — сущая беда, ни назад ни вперед двинуться не может, только вверх да вниз скачет, вверх да вниз. А собакам праздник — могут козлятиной полакомиться.

Было это в прошлом году, тогда Атс еще не знал, как выглядят следы косули. Приведись ему теперь их хоть бы один разок увидеть, сразу узнает. А еще он знает, как выглядят на снегу следы белки или мыши, ни за что не спутает.

— Я уже все следы знаю! — похвастался он отцу.

— Ничегошеньки ты еще не знаешь, — возразил отец.

— А вот знаю! — возразил Атс. — Ты только возьми меня с собой в лес, сам увидишь, что я все следы знаю.

— Ну-ка скажи, какие следы оставляет лиса? — спросил отец.

— Круглые, в один ряд, — ответил Атс.

— Это же кошкины следы, — вмешалась в разговор мама.

— А вот и нет, у лисы следы тоже в ряд идут, — заспорил мальчик, — ровно-ровно, как у кошки, только побольше. И ведь кошка зимой в лес не ходит, так что если встретишь в лесу следы цепочкой — это лисьи. Папа сказал: если хочешь, чтобы лиса попала в капкан, надо ставить его как раз на цепочку ее следов, да так, чтобы один след пришелся на капкан. А знаешь, как это делается? Надо выстругать деревяшку, похожую на лисью лапу, и выдавить деревяшкой след на капкане, спрятанном в снегу. Когда это сделаешь, надо идти наперерез лисьим следам так, чтобы твои следы пересекли след лисы. Лиса всегда возвращается по старым следам. Она увидит твой след и подумает: «Ага! Здесь

человек прошел» — и побоится идти дальше. Но и обратно ей не хочется, идти-то ей надо вперед. Вот она и стоит, раздумывает про себя, потом поворачивает, хочет твои следы обойти, но конца найти не может, возвращается, переходит цепочку своих следов, хочет твои следы с другого конца обойти. Но второго конца тоже нет, и она опять возвращается к своим следам, пока не наберется храбрости и не начнет медленно идти по ним, осторожно, след в след ступает. Вот какая она хитрая! А глупая все-таки тоже. Думает, будто все следы сама продолжила, а нет — тот, на капкане, деревянной лапой сделан. Как только она свою лапу в этот след поставит, капкан щелк! Вот и попалась, плутовка, никуда теперь не уйдет... Видите, я и вправду все про лисьи следы знаю, — хвастливо закончил Атс свой рассказ.

— А как выглядит лисий капкан, ты знаешь? — спросил отец.

Этого Атс не знал.

— Зато ты знаешь, как ловить им лису! — засмеялась мама.

— Ну что ж, отлично, — сказал отец, — лису ты ловить умеешь, капкана только не хватает. А теперь еще один, совсем маленький вопрос: скажи, как ты установишь капкан — просто поставишь или привяжешь к чему-нибудь?

— Просто поставлю, — уверенно ответил Атс, потому что рассказ отца про то, как ловить лису капканом, запомнился ему навски.

— Почему же? — допытывался отец.

— Потому что, если капкан закрепить, лиса отгрызет себе лапу и уйдет на трех ногах своей дорогой, — объяснил Атс. И глаза его странно заблестели, как будто на них набежали слезы, а губы чуть заметно задрожали.

— Правильно! — похвалил его отец. — Вот какой непокорный зверь лиса. За то, что ты так хорошо все запомнил, я возьму тебя и Моссу в лес, пускай только потеплеет немного.

Но Атс словно бы и не слышал этих таких важных для него слов, он думал про лису, которая для спасения жизни готова отгрызть себе лапу.

— А разве ей не больно, когда она лапу грызет? — спросил он у отца.

— А ты как думаешь? — спросил в свою очередь отец. — Конечно, больно. Страшно больно! Но она не считается с этим, терпит.

— А человек тоже вытерпит такую боль, если попадет в капкан? — спросил Атс.

— Так ведь никто же капканов на людей не ставит, — ответила мама.

— А если бы кто-нибудь поставил? — твердил свое мальчик.

— Кто ж это может сделать такое? — удивилась мама.

Атс не знал, кто может поставить капкан на человека, раз человек ставит на лису. Да это не очень-то его и интересовало. Ему только было очень важно знать: кто может больше вытерпеть — человек или лиса и кто из них храбрее.

* * *

В тот день, когда Атс и Мосса отправились с отцом в лес, снег падал мягкими пушистыми хлопьями. В открытом поле, наверное, задувал сильный ветер: порой лес начинал шуметь и с деревьев сыпался снег. Но в лесу было совсем тихо.

Мосса никак не хотела примириться с тем, что должна ходить по дороге, тогда как Пийтсу, проваливаясь глубоко в снег, бегают по лесу, гоняясь по следам то одного, то другого зверя. На вырубке, где возчики грузили бревна на дровни, отец обвязал Атса веревкой и ушел заниматься своими делами — выдавать предназначенный для вывоза материал. Атс слонялся по вырубке среди пней, между поленницами дров и грудями бревен, благо рабочие со своими лошадьми и дровнями проложили дороги во все стороны. Атс даже не побоялся свернуть с дороги, хотя и проваливался в снег по пояс, а кое-где еще глубже. Дома ему не разрешалось возиться в глубоком снегу: мама боялась, что он промочит одежду. Теперь наконец он мог без помех проверить, окажется ли где-нибудь снег выше его макушки или нет. Но таким глубоким снег нигде не был, это Атс скоро понял. Даже когда он встал на четвереньки, голова его все равно торчала из снега. В этом он убедился около штабеля бревен, под который забралась лиса, да так там запуталась, что не могла двинуться ни взад ни вперед. Атс и лиса дергали за цепочку то вместе, то порознь, но ничто не помогало — хоть цепь рви. Атс совсем было собрался звать на помощь отца, но подумал, что отец ведь не сможет залезть под бревна, очень уж он большой. Если кто туда и пролезет, так это он, Атс, да и то только потому, что нижние бревна лежали на высоких кочках. И Атс, ни слова не сказав отцу о своей беде, сам полез под бревна распутывать лисий поводок. Его прямо смех разобрал, когда он увидел, как все просто: лиса раза два-три обмотала цепь вокруг тоненького пенька, а раскрутить, конечно, не могла.

— Какая же ты глупая, — сказал Атс Моссе, сидя рядом с ней на корточках, весь в снегу. Заячья ушанка сползла ему на глаза, и он едва различал предметы вокруг себя. — Лапу себе отгрызть — это ты можешь, а вот выбраться самой из-под груды бревен не умеешь, приходится тебе помогать. Думаешь, легко это?

Но Мосса ничего не думала, она только все сильнее и сильнее натягивала цепочку, рвалась вперед, только вперед: ей казалось, наверное, чем дальше — тем лучше.

Эта прогулка в лес была для Атса и Моссы не последней. Отец даже раза два вставал на лыжи, чтобы поспевать за Моссой через сугробы и канавы, через леса и болота, где снег лежит по пояс, а местами и по грудь.

Однажды, когда Атс с Моссой вволю нагулялись по мягкому снегу на старых вырубках, откуда вывозили дрова, хворост, бревна и колоды, отец повел их через лес на новую лесосеку, где лесорубы валили деревья. Здесь уютно горел костер, в который дровосеки подкидывали ветки и щепу. Отец усадил Атса у огня, а сам пошел поговорить с лесорубами.

Пийтсу сначала побежала было за отцом, но скоро вернулась обратно к костру погреться. Атс попытался объяснить лисе, как приятно сидеть в зимнюю стужу у костра, когда ветер то и дело бросает в глаза едкий дым. В конце концов Мосса пристроилась рядом с Пийтсу, и у Атса появилась возможность поковырять в костре. Долго ли он этим занимался, он и сам не знал, как вдруг заметил, что лисица удаляется от костра — она была гораздо дальше, чем это позволяла ей цепь, хотя привязанная к цепи веревка по-прежнему охватывала его тело. Атс схватился рукой за веревку и дернул ее. И сразу все понял: каким-то образом веревка отвязалась от цепи. Атс вскрикнул и бросился вдогонку за Моссой, но в пушистом снегу лиса была куда проворнее его. И Атс заревел на весь лес. Это улышал отец, услышали и лесорубы.

— Что стряслось? — закричал отец.

— Мосса убежала, смотри, вон она уходит! — орал Атс во все горло.

Мужики побросали свои пилы и топоры и вместе с лесником кинулись к ревущему мальчику.

— Вон она, смотрите! — крикнул лесник лесорубам.

— Попробуем взять ее в кольцо! — закричали лесорубы и бросились врассыпную.

Но все попытки окружить лису не имели успеха. Каждый раз, еще до того как они успевали замкнуть кольцо, лиса ускользала из него. Один раз они уже совсем окружили ее, но она все-таки прошмыгнула между ловцами, хотя двое из них разом бросились в снег, чтобы схватить цепь, которая волочилась за ней. Часа полтора потратили люди на то, чтобы поймать лису. Но в конце концов махнули рукой: бессмысленно было тратить на нее драгоценное рабочее время. Лесник страшно рассердился. Его новая ушанка убежала в лес, сказал он. Сгоряча он сдернул с плеча ружье, собираясь подстрелить лису, но Атс, увидав это, расплакался так громко и жалобно, что отец закинул ружье обратно за спину.

— Ах, мерзавка, — бранился отец, — я ее полгода кормил, обхаживал, а она возьми да и дай стрекача!

— Зверь — он и есть зверь, — промолвил кто-то из лесору-

бов.— Ты его хоть на печь посади, все равно в лес смотрит.

— Как же это она у тебя вырвалась? — спросил отец Атса.

— Не знаю, — ответил Атс. — Взяла вдруг и побежала.

— Иди-ка сюда, покажи веревку, — велел отец Атсу.

Продолжая безутешно плакать, Атс подошел к отцу. Ему было ужасно жаль лисенка. Ведь отец говорил ему: пока лиса живет у них, она принадлежит Атсу, а лисья шкура пойдет на шапку отцу. И вот теперь Атс лишился лисенка, своего самого большого сокровища. Еще не успев показать отцу веревку, Атс, всхлипывая, спросил его:

— А Мосса не вернется назад?

— Откуда же мне знать, вернется она или нет? — ответил отец.

— А вдруг вернется! — блеснула в глазах мальчика надежда, и губы его чуть не растянулись в улыбке.

— Может, и вернется, — проговорил отец, желая хоть немного утешить сына. Но, едва взглянув на конец веревки, висевшей на поясе, отец громко захохотал и сказал: — Ты же пережег веревку! Сам сунул ее в огонь, лисе ничего не стоило убежать!

Услышав смех лесника, лесорубы поинтересовались, чего это он так громко хохочет. А когда лесник рассказал, они тоже захохотали, да так, что в зимнем лесу гул стоял.

Атс не мог понять, почему отец смеется и почему с таким удовольствием хохочут лесорубы. Ну что тут смешного, что такой красивый зверь, как их Мосса, из-за глупой случайности убежал в лес! И из глаз Атса снова потекли слезы, как будто именно хохот лесорубов заставил его заплакать.

— Ну вот, отблагодарила нас твоя лиса за то, что мы о ней заботились, — сказал отец, когда они вдвоем с Атсом шагали к дому. — Что мы теперь скажем маме и что она скажет нам? Двое здоровенных мужиков пасли одного маленького лисенка, да и того проворонили.

Атс даже представить себе не мог, что скажет мама, когда узнает о случившемся. Но то, что должен он сам сказать или сделать, стало ясно, как только он увидел маму: он громко заплакал и крикнул:

— Мосса убежала в лес!

— Как это в лес? — с недоумением спросила мама.

— Так вот, в лес, — ответил Атс. — Мы с папой и лесорубы гонялись за ней, но без толку, она все равно убежала.

— А как же цепь? — спросила мама.

— Она ее с собой уволокла, — плакал мальчик.

— Кто же ее отпустил? — продолжала расспрашивать мама.

— Никто не отпускал, — объяснил Атс. — Я ковырял палкой в костре, Мосса и Пийтсу грелись у огня, а потом Мосса стала уходить и ушла совсем.

— А разве веревку не завязали вокруг твоего пояса? — спросила мама.

— Завязали, — сказал Атс. — Папа говорит, что я пережег веревку, потому Мосса и сбежала.

Мама какое-то время испытующе глядела на Атса, потом громко засмеялась, как будто все это было просто глупой шуткой.

— Ты такая же, как папа и лесорубы, — упрекнул Атс маму и снова заплакал: — Разве тебе не жалко Моссу?

— Глупенький, — сказала мама. — Конечно, жалко, но неужели ты сам не понимаешь, как это нелепо, что ты сам у костра пережег веревку, упустил лисенка, а теперь распустил нюни. Будь мужчиной и терпи, раз сам сплеховал.

— Но мне так жалко ее... — всхлипывал Атс.

— А ты думаешь, лисе не жалко своей лапы, когда она ее отгрызает, как ты мне сам рассказывал? — спросила мама.

Ее слова заткнули мальчику рот, как затычкой. Атс задумчиво уставился на маму.

— Ну так как, жалко лисе свою лапу или не жалко? — повторила мама свой вопрос.

— Жалко, — ответил Атс, — она ведь останется с тремя лапами.

— Но лиса все вынесет, правда ведь? — сказала мама. — Так неужели же ты слабее ее, что так плачешь? Сам пережег веревку, вот и изволь теперь мириться с тем, что у тебя больше нет лисы.

— Папа сказал, может, она сама вернется, — проговорил Атс.

— Конечно, вернется, — согласилась мама. — Куда ей деваться в такой снег и мороз?

Но она, как и отец, говорила это только для того, чтобы успокоить и утешить мальчика.

Однако дело обернулось так, как никто себе и представить не мог. На следующее утро, когда еще затемно отец вышел во двор, какой-то зверек, повизгивая, метнулся по свежему снегу к его ногам. Отец изумленно уставился на него. Но уже в следующее мгновение все понял. Он увидел цепь и схватил ее, словно боясь, что лиса, которая сама вернулась из леса, опять убежит. Только теперь он дал волю радости и стал громко звать домашних. На его голос из дома выбежала мама. Узнав, в чем дело, обрадовалась и она и, не удержавшись, сразу стала будить Атса, чтобы поделиться с ним этой радостью. Атс бормотал что-то сквозь сон, но, едва понял, зачем его будят в такую рань, вскочил с кровати, и не успела мама оглянуться, как он, босиком, в одной рубашке, оказался на снегу.

Атс хотел увидеть Моссу собственными глазами — лишь тогда мог он обрадоваться по-настоящему. Но странно: то ли потому,

что снег был холодный, то ли из-за чего другого, только, когда все стало на свое место, радость его вдруг словно бы уменьшилась наполовину. Даже мама заметила, что Атс совсем не так счастлив, как должен был бы быть, и сказала:

— Ну и ну, не очень-то ты рад своей Моссе.

— А чего тут особенно радоваться? — ответил Атс. — Ты же сама вчера сказала, что она скоро вернется. Вот она и вернулась.

* * *

Когда отец увидел, что лиса привыкла к своей новой жизни, как бы примирилась с ней, он стал время от времени предоставлять ей больше свободы. Во всяком случае, зимой, пока было холодно и лежал глубокий снег. Иногда он просто отпускал Моссу побегать, считая, что, если она в первый раз сама вернулась домой, значит, вернется и в следующий. Но каждый раз, когда Мосса наслаждалась свободой, у всех в доме сердце сжималось от тайного страха, что, может быть, наступит день, когда Мосса исчезнет. Но Мосса осталась верна своему новому дому и новой жизни, как будто она и впрямь любила ее больше, чем вольную волю, где ей самой пришлось бы заботиться о своем пропитании.

И все-таки в марте, когда снег начал таять и лес зашумел еще призывнее, они перестали выпускать Моссу на волю. Боялись, что весна может изменить настроение лесного зверька и своим очарованием увлечь его в лес навсегда. Вместо того чтобы отпустить Моссу в лес, отец как-то днем принес лисенка в дом, чтобы посмотреть, как он себя там поведет. Сначала он боялся, что Мосса может вскочить на окно и разбить стекло, но скоро убедился, что она достаточно умна и такой глупости не сделает. Раза два, опираясь передними лапами на подоконник, она вставала на задние и, вытянув свой острый длинный нос, прижималась к стеклу, но, по-видимому, скоро во всем разобралась: окна ее уже больше не занимали, зато очень интересовало все, что находилось в доме. Она без устали шныряла из одной комнаты в другую, из комнаты в кухню, из кухни снова в комнату, там — под стол, из-под стола под кровать, из-под кровати к шкафу, который стоял на полу так, что лиса не могла забраться под него, но она несколько раз принималась шарить под ним лапой. Не было ни одного угла, ни одной щели, куда бы она не сунула свой длинный нос и где бы не царапнула лапой. Не осталось ни одной вещи, которую бы она не перевернула несколько раз, не оглядела со всех сторон и не обнюхала. В каждую тапочку, в каждый ботинок и сапог она совала свою мордочку и фыркала, как будто запахи, таившиеся там, заставляли ее чихать. Больше всего занимали ее отцовские сапоги с длинными и широкими голенищами. Очевидно, она решила во что бы то ни стало просунуть мордочку в самый

носок. Для этого ей пришлось почти целиком влезать в сапог. Забравшись туда в первый раз, она никак не могла выбраться обратно и стала кувыраться по полу вместе с сапогом. Атсу это показалось очень смешным, и он хохотал до слез. Пийтсу тоже развеселилась и принялась скакать вокруг Моссы, катавшейся по полу. Когда Мосса наконец выбралась из сапога, Пийтсу, в свою очередь, тоже сунулась в голенище, но ничего особенного там не нашла и никак не могла понять, зачем Мосса лезет своим носом так глубоко.

Вообще Мосса делала много такого, чего Пийтсу никак не могла взять в толк. Сначала она вместе с лисенком бегала по комнатам, но скоро отказалась от этого: эта неугомонная возня казалась ей совершенно бессмысленной. Что за смысл гоняться за тараканами, живущими у плиты! Тараканы живут сами по себе, Мосса сама по себе, Пийтсу тоже сама по себе. Другое дело мухи, с ними Пийтсу приходилось сталкиваться, особенно летом в жару. А тараканы! Пийтсу считала, что это самое неинтересное существо на белом свете. Конечно, его можно съесть, если он попадет в еду, а можно и не есть. Однако Моссу интересовали и тараканы. Увидев в первый раз бегущего по стене таракана, она смахнула его лапой на пол и тут же проглотила. Сделала она это так естественно, как будто иначе и быть не могло, да к тому же так проворно и в то же время словно бы между прочим, что это не помешало ей заниматься одновременно другими, более важными делами.

Скоро Мосса заметила, что тараканы, эти рыжие существа, прячутся от нее в щелях и по углам, как будто живут они в подполье, боясь дневного света. Но Мосса и тут нашлась. Она просовывала свой длинный коготь в щель и быстро проводила им по стене книзу. И после этого на полу иной раз оказывался чуть ли не десяток тараканов, знай только успевай хватать! Это занятие очень заинтересовало Пийтсу. Она выходила из угла, где лежала, и шла смотреть, как тараканы — большие и маленькие, черные и рыжие — разбегаются в разные стороны.

Изучив в доме все, что попало ей на глаза, Мосса заинтересовалась плитой. Конечно, когда плита была горячая, удовлетворить свое любопытство ей не удавалось, а чаще всего плита как раз и бывала горячей. Но как-то Мосса подобралась к плите, когда та была холодной, да к тому же еще и заслонка была открыта. Не мешкая ни секунды, лиса проворно юркнула в топку и тут же скрылась с глаз Пийтсу. Зайдя на кухню, Атс увидел, что Мосса исчезла, а Пийтсу стоит перед топкой и визжит.

Этого Атсу было вполне достаточно. Он заглянул в топку, увидел на золе следы Моссы и побежал к маме, крича изо всех сил:

— Мосса улизнула через трубу!

— Не говори глупостей,— сказала мама.

— Пойди сама посмотри, если не веришь! — продолжал кричать Атс так же громко.

Мама отложила рубашку, к которой пришивала пуговики, встала со стула и вышла на кухню. И надо же было, чтобы как раз в это мгновение Мосса выскочила из плиты, взметнув золу.

— Закрой скорее дверь в комнату, чтобы Мосса туда не забралась! — приказала мама. — Как же она вся вывозилась в золе! Ее надо сейчас же вынести во двор, пускай почистится в снегу.

Но прежде чем они успели что-либо предпринять, Мосса снова прыгнула в топку и исчезла там, так что пыль коромыслом.

— Чего доброго, придется ее через трубу выкуривать, — сказала мама.

Эта мысль очень понравилась Атсу. Он радостно запрыгал вокруг мамы, крича во все горло:

— Давай, давай выкурим ее! Посмотрим, как она будет фыркать и захочет ли лезть в трубу...

Но мама оказалась не такой расторопной, как хотелось бы Атсу, и Мосса успела выбраться из плиты раньше, чем мама развела огонь. Мама поспешно захлопнула дверцу, чтобы Мосса снова не сунулась в печь, после чего они быстренько поймали лису и вынесли во двор.

— Поваляйся теперь в снегу, почистись хорошенько, — сказал Атс Моссе и приготовился смотреть, как она станет это делать.

Но Мосса не спешила чистить свою взъерошенную шерстку. Не только через несколько дней — даже через несколько недель на ее шубке можно было увидеть следы пребывания в печке. Они сохранялись почти до тех пор, пока она снова не измазалась, и теперь уж куда основательнее, чем в первый раз. Но это уже другая история, и разговор о ней пойдет дальше.

* * *

По-видимому, весна была для Моссы самым трудным временем. Лиса была постоянно возбуждена, ей не хотелось ни спать, ни есть. Мама, носившая ей еду, тревожилась, не заболела ли Мосса. С чего бы ей иначе так маяться!

— Птицы поют — вот это и отбивает у нее аппетит, — сказал отец.

— А может, и правда! — удивленно воскликнула мама. — Лиса, верно, как человек, весной солнцем да теплым ветром живет.

— Но я и весной хочу есть, — сказал Атс.

— Ты-то, конечно, хочешь, но ведь ты еще ребенок, — проговорила мама. — Какими бы теплыми ни были солнце и ветер, ребячий желудок ими не насытится.

— Почему не насытится? — спросил Атс.

— Потому что на теплом ветру да под горячим солнцем ребенок много бегает, и оттого ему еще больше есть хочется,— объяснила мама.— А Мосса бегать не может, она сидит на цепи. Поиграет иногда с Пийтсу, да много ли, ведь Пийтсу уже начинает стареть — видишь, морда у нее совсем седая. Пийтсу седеет, как все старые люди.

— А Мосса тоже поседеет, когда состарится? — спросил Атс.

Этого мама не знала, она никогда не видела седой от старости лисы.

— Пусть Мосса живет у нас до тех пор, пока совсем не поседеет,— предложил Атс.

Мама согласилась с ним, и отец тоже не возражал. Но если бы спросили у самой Моссы, она, наверно, ответила бы так: «Делайте что хотите, только выпустите меня разок побегать по лесу. Я готова хоть три дня не есть, только бы очутиться в лесу».

Но у Моссы никто ничего не спрашивал, и никому не приходило в голову отпускать ее в лес. Только Атс, заметив, что Мосса все время смотрит в сторону леса и жалобно повизгивает, сказал ей:

— Слышишь, птицы поют. Мама говорит, скоро кукушка кукует. Иногда она прилетает сюда на большую елку, тогда и ты ее увидишь. Трясогузка совет гнездо здесь, в куче хвороста, смотри не слопай ее... А знаешь, кого я вчера видел? Зайца! Скакал себе по помещицъему полю — помнишь, мы ходили туда с тобой прошлой осенью, я еще там уснул? Ты была тогда совсем маленькая...

Но Мосса как будто и не слышала, что ей говорит Атс, или не понимала его языка. Атс считал, что она просто притворяется. Ведь если Пийтсу понимает, что ей говорят, значит, Мосса тоже должна понимать, она же не глупее Пийтсу, в самом деле.

Особенно грустила Мосса по вечерам, когда птицы пели свои последние песни и из леса слышались голоса, непонятные Атсу, но, наверно, много значащие для Моссы. Тогда Мосса шла в сторону леса так далеко, сколько позволяла цепь, садилась на землю, пристально смотрела на лес и, наклонив голову, прислушивалась то одним, то другим ухом, а иногда даже раскрывала пасть, как будто вот-вот закричит во весь голос. Если Пийтсу оказывалась поблизости, Мосса иногда бежала к ней и так широко разевала свои челюсти, что голова собаки вместе с ушами целиком умещалась между ними. Со стороны можно было подумать, будто она хочет загрызть Пийтсу или даже проглотить ее всю целиком. Когда Атс впервые увидел это, он даже испугался за Пийтсу. Но скоро понял, что Мосса просто шутит и что это ее весенняя шутка, ведь зимой она ничего подобного не делала. Атс удивлялся, что Мосса вообще могла так широко раскрывать челюсти. К тому же он не понимал, что за удовольствие для Моссы держать голову Пийтсу зубами. Еще более непонятным

было поведение Пийтсу, которая неведомо почему спокойно разрешала Моссе проделывать все это. Другое дело, если бы собака поступала бы так же с Моссой. Но нет: Пийтсу никогда не брала голову лисы своими зубами, то ли потому, что у нее пасть не раскрывалась так широко, то ли потому, что Мосса не разрешила бы ей этого.

Но чем бы Мосса ни занималась, все равно она не находила себе покоя. Печально смотрела она в сторону леса и жалобно скулила. А однажды чудесным вечером, когда солнце уже село за лесом и только его лучи длинными красными иглами пробились сквозь деревья навстречу тому, кто на него смотрел, Атс заметил, что из глаз лисенка текли слезы. По-видимому, и Пийтсу заметила это: собака подошла к своему другу и, словно утешая его, стала лизать ему морду то с одной, то с другой стороны. Но Мосса даже не обратила внимания на эту ласку, она думала только о том, как бы попасть в лес. Пийтсу прижалась своим носом к носу Моссы, и они долго стояли так. Но из глаз Моссы текли и текли слезы.

— Мама, послушай, мама! — кричал Атс, торопливо вбегая в комнату. — Мосса плачет! Мосса уже давно плачет. Пийтсу сидит около нее, а Мосса все равно плачет. Иди же, посмотри, как она плачет!

И Атс не оставлял маму в покое до тех пор, пока и она не увидела, как Мосса не отрываясь смотрит в лес, а слезы текут и текут у нее из глаз.

— Почему она плачет? — спросил Атс.

— Наверное, вспоминает, что прошлой весной была еще на свободе, — сказала мама.

— Разве она так сильно любит свободу? — удивился Атс.

— А разве ты сам не любишь свободу? Все ее любят, — объяснила мама. — Хотела бы я посмотреть, что бы ты стал делать, если бы я хоть на один день заперла тебя в комнате.

— Но ведь Моссу никто в комнате не запирает, она бежит на цепи по двору, — сказал Атс.

— Ну ладно, хочешь, я тебя тоже на цепь посажу? — спросила мама.

— Я сразу же убегу, я ведь не лиса, — сказал Атс.

— Ну, тебя тоже можно так приковать, чтобы ты не смог освободиться, — проговорила мама.

— Нет, нельзя, — заспорил мальчик. — У меня есть руки.

— А если тебе свяжут руки и ты ими даже пошевеливать не сможешь? — спросила мама.

Теперь Атс призадумался и через некоторое время сказал:

— Тогда я буду как Мосса.

— Вот то-то и оно, что как Мосса, — согласилась мама, — будешь сидеть, а из глаз потекут слезы, когда увидишь, что все

свободны, каждый идет, куда ему вздумается, делает, что в голову взбредет.

На следующий день Атс услышал, как отец сказал маме:

— Ночью лиса так скрутила цепь, что, если бы у нее хватило сил дернуть хоть чуточку посильнее, цепь, пожалуй, лопнула бы.

— Неужели ты и в самом деле думаешь, что лиса может разорвать цепь? — недоверчиво спросила мама.

— Кто этого зверя знает... — ответил отец. — К тому же цепь сильно проржавела. Не мешало бы укрепить ее.

Эти слова крепко засели у Атса в голове, наверно, потому, что он все время помнил о том, что мама говорила о свободе и о том, как все ее любят. Теперь Атс стал еще внимательнее наблюдать за Моссой, ему хотелось хоть разок увидеть, как выглядит лисья цепь, когда она запутается так, как рассказал отец.

Но цепь чаще всего запутывалась ночью, а так как папа и мама вставали утром раньше Атса, то они и раскручивали ее. Мальчику никак не удавалось увидеть ее скрученной. Даже петух видел, куры видели, а Атс ни разу не видал, как попадала в беду лиса со своей запутавшейся цепью. Петух и куры могли теперь свободно гулять под большой елкой, могли даже заглянуть в лисью нору: лисе было не дотянуться до них.

Петух, видно, догадывался о том, что лиса боится его, и подходил к ней совсем близко, гордо вытянув шею, широко раскрыв клюв и кукарекая во всю глотку. Пение его раздражало Моссу, и она начинала изо всех сил прыгать на своей запутавшейся цепи. Тогда петух выпячивал грудь и, угрожая, кричал: «Кок-кок-кок-кок!» — ему казалось, что это самое грозное слово на свете.

* * *

Случилось так, что увидеть разорванную цепь Атсу помогла беда, и он на собственном опыте убедился, что бывают и удачные беды. Как-то раз мама сварила щи из квашеной капусты. Для Атса это была самая любимая еда, особенно если щи можно было есть со свиным шпигом. Атс вечером и наелся до отвала, хотя мама и предупреждала его, что нельзя так много есть на ночь. К тому же капуста немного прогоркла, так что кто знает, как она подействует.

Но Атс не послушался. Он ел, как всегда, не веря, что то, что вкусно для рта, может быть плохо для живота. Теперь он на себе испытал, что бывает и такое. Ночью он проснулся от сильной боли в желудке. Пришлось ему бежать во двор. Атсу очень не хотелось идти одному, и он позвал маму, но она отказалась с ним идти, сказав:

— Ну чего это я с тобой пойду, во дворе уже совсем светло. Да и Мосса с Пийтсу составят тебе компанию.

Мамины слова все и решили. Атс не стал больше звать ее с собой. Теперь, даже если бы она захотела пойти с ним, Атс стал бы возражать: ему вдруг пришло в голову, что он, чего доброго, наконец увидит скрученную цепь Моссы и попробует, сможет ли ее разорвать, если всерьез захочет. Эта мысль подействовала на него так, что боль в животе сразу как рукой сняло. Атс даже усомнился, а болел ли у него живот. Может быть, он почувствовал боль только потому, что ему хотелось увидеть запутавшуюся цепь Моссы?

Мосса, как это уже не раз бывало, скрутила цепь в такой тугой узел, что стояла, вплотную прижавшись к стене дома. Атс подошел к ней, схватил цепь и дернул. Цепь затрещала, подавалась немного, но не разорвалась.

— Папа ошибся,— пробормотал Атс про себя,— думает, будто Мосса может разорвать свою цепь, а это даже мне не под силу.

Для верности Атс дернул еще раз, потом еще, собрав все свои силы. И на тебе. Цепь поддавалась все больше и больше, и — лопнула. Это тем больше удивило Атса, что он почти уже и не надеялся справиться с цепью. К тому же ему так хотелось, чтобы хоть разок ошибся отец, а не только он, Атс. Но теперь оказалось, что прав опять был отец: скрученная цепь действительно разорвалась.

Атс даже остоленел от удивления и оторопело уставился на цепь. Но вдруг его снова пронзила боль, да куда сильнее прежней. Он бросил цепь на землю, совсем позабыв, что разорвал ее. Когда Мосса кинулась бежать и конец цепи со звоном потянулся следом за ней, Атс понял, что он наделал, но было уже поздно. Что сделано, то сделано. Единственным утешением оставалась надежда, что Мосса вернется, как она вернулась зимой в снег и мороз, хотя мама и папа и не верили в это. Но теперь и сам Атс не слишком был уверен и потому грустно поплелся домой.

— Что ты там делал так долго? — спросила мама у мальчика.

— У лисы цепь опять запуталась, и я хотел ее распутать,— пробормотал Атс.

— Вечно ты с Моссой возишься, и днем и ночью, стоит тебе только нос за порог высунуть. Этак и простудиться недолго, ведь вон как похолодало. Папа утром сам ее распутает.

Сказав это, мама снова легла. Но Атсу не спалось. Он долго метался в кровати: сердце у него ныло из-за Моссы. И еще он ломал голову над тем, поймет ли отец утром, кто помог Моссе разорвать цепь. Но ведь даже если папа ничего не заметит, проступок все-таки останется на его, Атса, совести. Ночью он солгал матери, а утром ему придется врать еще и отцу, во всяком случае, скрывать от него, что он натворил ночью.

Но утром все произошло совсем не так, как рассчитывал Атс. Точно так же, как ночью, когда у него схватило живот, он совсем

забыл, что разорвал цепь и дал лисе убежать в лес, так и утром он со сна не вспомнил, что никто, кроме него, не знает о том, что он натворил, и о том, что решил скрыть это. Утром мама разбудила его и, чтобы поднять поскорее, сообщила, что ночью Мосса разорвала цепь и убежала в лес.

На это Атс сказал:

— Я знаю.

Для мамы его слова прозвучали как гром с ясного неба. Она с изумлением уставилась на Атса и только через секунду спросила:

— Откуда ты это знаешь?

Атс понял, что сам себя выдал, и, стараясь выпутаться, сказал:

— Видел во сне.

Но мама, конечно, не поверила ни в какой сон: Атс так просто и естественно сказал о побеге Моссы, за этим должно было скрываться что-то гораздо более реальное, чем сон. И она спросила:

— А сам ты ночью не трогал цепь? Ты слишком долго задержался во дворе.

Сначала Атс пытался все отрицать, но скоро понял, что с каждым новым вопросом мама все ближе подбирается к правде. И решил, что лучше самому все рассказать, чем оставаться под подозрением. Свое признание он начал такими словами:

— Ты же сама говорила: лиса плачет потому, что хочет на свободу.

— Ты тоже, бывает, плачешь, когда тебя не пускают туда, куда тебе хочется, да разве с этим можно всегда считаться? Ты плачешь по глупости,— объясняла мама.

— Значит, лиса тоже плачет по глупости?

— А ты как думаешь? — ответила мама.— До сегодняшнего дня я ее кормила, если ее теперь отпустить, она не сумеет добывать себе пищу.

— Но она очень хорошо умеет ловить в комнате тараканов,— возразил Атс.

— Разве лиса тараканами наестся? — сказала мама.— Да в лесу их и нет.

— В лесу водятся лесные тараканы и лесные клопы,— проговорил Атс уверенно.

— Значит, по-твоему, Мосса отправилась в лес ловить тараканов? — насмешливо спросила мама.

— В лесу есть еще птицы, зайцы и мыши,— продолжал Атс.

— Ну конечно, так Мосса и поймает их, громяя своей цепью,— сказала мама.

Только теперь Атс понял, какое это несчастье — обрывок цепи, который тянется за Моссой всюду, куда бы она ни пошла.

— Как бы эта цепь не зацепилась за что-нибудь, тогда наша Мосса там и умрет,— сказала мама, словно предвидя несчастье.

У Атса от этих слов сжалось сердце.

— Я слышал, как папа сказал, что Мосса может разорвать запутавшуюся цепь, вот я и захотел попробовать, можно ли ее разорвать,— объяснял Атс, будто он хотел этим оправдаться в маминых глазах.

— Какой же ты упрямый! — сказала мама.— Что при тебе ни скажи, все непременно повернешь по-своему. Папа говорит, что лиса может разорвать цепь, а ты вместо Моссы сам начинаешь ее рвать. Хочешь помочь Моссе! Скажи-ка лучше, уж не были ли твои колики в животе такой же глупостью, как все остальное? Ничего у тебя не болело, про живот ты все выдумал, чтобы выйти ночью во двор.

Атс растерялся. Неужели мама не верит даже в то, что у него болел живот? А ведь он потому и выпустил из рук цепь! Он же вовсе не собирался отпускать лису на волю, он только хотел попробовать, хватит ли у него сил разорвать цепь. О воле он вспомнил уже потом, когда лиса убежала. О воле он подумал, чтобы немножко утешиться.

Атсу долго пришлось убеждать маму, прежде чем она поверила, что ночью у него и правда болел живот. А поверив, мама заволновалась, как объяснить все отцу, чтобы тот не рассердился: мама не хотела, чтобы она одна знала, как все случилось на самом деле. Но мамины страхи оказались напрасными. Когда она рассказала обо всем отцу, он только засмеялся и сказал:

— Что посеешь, то и пожнешь. Отпустил лису, вот и остался без нее. Свои розги всегда больней секут.

Отец сказал это во дворе, но так громко, что через открытое окно Атс все слышал — и слова и смех. И странно, только теперь он ощутил в груди такую же щемящую боль, как зимой, когда отец и лесорубы смеялись над пережженной веревкой.

— Зимой лиса вернулась, потому что ее донимали мороз и голод,— продолжал отец.— Теперь в лесу тепло и еды вдоволь, вряд ли он ее дождется.

— А может быть, она все-таки вернется,— проговорила мама.

— Ну, если парню повезет, может, и вернется,— равнодушно ответил отец, и именно это равнодушие больше всего заставило страдать Атса: папа вел себя так, будто все это касалось одного только его, Атса. Как будто Мосса принадлежала только ему — и вот он сам отпустил ее.

Но, видно, Атс и впрямь был везучий, как сказал отец утром. Поздно вечером, когда он вернулся из лесу, во дворе в кустах мелькнул какой-то зверь. Отец сорвал ружье с плеча и, держа его наперевес, бегом направился туда, где в темноте скрылся зверь. Вдруг он услышал, как что-то звенит, ударяясь о камни. Он остановился и позвал:

— Мосса, Мосса, Мосса!

Цепь снова зазвенела, лиса подползла к его ногам, легла на спину и протянула к нему передние лапы, как будто просила прощения.

— Ах ты старая плутовка! — сказал отец, расплываясь в счастливой улыбке. — Опять, значит, вернулась. Видно, полюбились мы тебе.

— С кем это ты разговариваешь? — спросила мама, которая как раз вышла во двор и по голосу узнала отца.

— С Моссой, конечно, с кем же еще! — ответил отец. — Я ее чуть было не застрелил, да вовремя услышал, что цепь звенит.

Мама обрадовалась, поставила ведро с пойлом для свиньи на землю и пошла поглядеть: неужели и вправду Мосса вернулась домой живой и здоровой?

Увидев ее, мама сказала:

— В самом деле Мосса! Она и есть. Видно, и лесной зверь умеет ценить, если с ним по-хорошему обращаются. Помнит и возвращается, хотя его снова посадят на цепь.

— А где же сын? — спросил отец.

— Некогда было даже поглядеть, куда он запропастился, — ответила мама. — Небось спит уже где-нибудь.

Так оно и было: Атс присел в уголок у печи передохнуть и уснул. Там он теперь и лежал, свернувшись калачиком. Маме пришлось немало повозиться, прежде чем она растолкала его и он смог сесть за стол ужинать. Но в этот вечер ему не сказали ни слова о возвращении Моссы, чтобы он не разволновался на ночь глядя.

* * *

Утром Атсу тоже не сразу сообщили о возвращении Моссы. Мальчик очень переживал всю эту историю и несколько раз сам пытался заговорить с мамой о лисе, но мама отвечала односложно. Наконец, словно нарочно дразня его, она сказала:

— Ты ведь сам хотел выпустить Моссу на свободу, чего же ты теперь ее ждешь и расспрашиваешь о ней?

— Мне так жалко, что ее нет, — сказал Атс. — Если бы она еще раз вернулась, я никогда больше не отпустил бы ее.

— А может, она уже и вернулась, — подразнила его мама. — Спит в своей норе или играет с Пийтсу. Ты ведь туда еще не заглядывал.

— Нет, не заглядывал, — ответил Атс.

— Чего же ты мешкаешь! — воскликнула мама. — Мне сегодня тоже было недосуг пойти посмотреть под большой елкой. Может, папа заглядывал перед тем, как отправиться утром в лес.

Окрыленный надеждой, Атс сразу помчался к елке, от мами-

ных слов у него почему-то сильно забилося сердце. А когда он увидел лису на цепи на прежнем месте, его захлестнула такая радость, что он почувствовал, как что-то сдавило горло, а на глаза навернулись слезы. Атс готов был обнять свою Моссу, взять ее на руки, но стоило ему приблизиться к ней, как она оскалила зубы, будто очень сердилась на него. Атс опешил, и его радостное волнение сильно померкло. Но все-таки он побежал обратно в дом и крикнул маме:

— Мосса вернулась! Папа посадил ее на цепь! — Поразмыслив немного, Атс спросил маму: — Почему же Мосса вернулась? Разве она не любит свободу?

— Может, и не любит, раз сама вернулась, — сказала мама. — Видно, у нас ей нравится больше, чем на свободе в лесу.

— Почему же?

— Потому что мы к ней ласковы, — пояснила мама.

— Теперь я буду обращаться с ней еще лучше, чем раньше, чтобы она полюбила нас еще сильнее, — сказал Атс.

Но когда он стал придумывать, что бы такое сделать, чтобы лиса его полюбила, он совсем растерялся. Моссе явно ничто не нравилось из того, что Атс старался для нее сделать. Она хотела только одного: чтобы Атс оставил ее в покое; но это было единственное, чего не хотел Атс. Он никак не мог смириться с тем, что заслужить любовь Моссы может, только держась от нее подальше, это было для него труднее чего бы то ни было. Атс ужасно жалел, что он еще не такой большой, как папа, который ходит по лесу с ружьем и, бывает, подстреливает там ворон, которых приносит Моссе поиграть. Это бывало для Моссы самым большим праздником. Но игры всегда кончались тем, что Мосса убивала ворону, как это сделала в тот самый первый раз. Разница была только в том, что тогда Мосса была еще маленькая и на самом деле боялась вороны, а теперь только притворялась, будто боится ее, это Атс сразу понял. Не из страха же Мосса так долго мучила и дразнила ворону, потом вдруг хватала ее за шею, будто хотела тут же задушить или перекусить ей горло, но ничего подобного не делала, а только пугала до смерти, так что ворона начинала громко каркать и хватать лису когтями за нос, будто собиралась выцарапать ей глаза. Но вороньи когти, должно быть, только веселили лису. Она крепко жмурилась и спокойно ждала, словно хотела узнать, сильно ли ворона может царапнуть ее.

Теперь, когда Мосса опять вернулась домой, отцу удалось принести ей вместо вороны большого ястреба. Он был коричне-вый с черным отливом, а размах его крыльев — больше четырех футов. Заряд угодил ему в правое крыло и в грудь. Но раны не были смертельными. Еще в лесу, когда отец нагнулся, чтобы поднять упавшего ястреба, тот так хватил его по руке своим кривым клювом, что рана долго не заживала. От негодования отец едва не пристрелил ястреба на месте, но вспомнил про Моссу, и это

спасло птице жизнь. Отцу стоило больших трудов принести его живым домой и кинуть под елку Моссе. Увидев лису, ястреб рассвирепел и сразу кинулся на нее. Похоже было, что на этот раз Мосса всерьез испугалась. Атса это обрадовало. И он сказал ей:

— Так тебе и надо, нечего было обижать ворон! Попробуй-ка теперь сама, как это приятно! Ну-ну, подставь-ка ястребу свой нос, пусть он тебя за него цапнет!

Чтобы ястреб не мог уйти от лисы далеко, отец привязал его под большой елкой. И два врага были вынуждены жить на виду друг у друга. Но Мосса могла не особенно бояться ястреба, тот был ранен довольно тяжело. Он неподвижно лежал на земле и ничего не ел. Но глаз не закрывал, а все время следил за лисой. Каждый раз, когда лиса пыталась к нему приблизиться, он, как умирающий богатырь, с трудом поднимался на ноги, чтобы вступить в бой с врагом, жаждущим его смерти. Стоило ему пригрозить лисе своим кривым клювом или когтями, и лиса сразу отступала.

— А ястреб не уснет, как та первая ворона, которой Мосса оторвала голову? — спросил Атс маму.

— Ястреб не уснет, — ответила мама, — он бережет свою шкуру.

— Разве он никогда не спит? — удивился Атс.

— Он спит, только когда спит Мосса, — объяснила мама.

Так это продолжалось дня два. Потом ястреб умер. Он лежал, распластавшись на земле, голова с кривым клювом была прижата к груди, лапы с загнутыми когтями вытянуты. Мосса словно в почетном карауле задумчиво сидела возле него. Иногда она тянулась своим длинным носом к ястребиным когтям и клюву, будто желая проверить, схватят ли они ее. Но нет, они уже не были опасны Моссе, и она могла по-прежнему спокойно сидеть рядом с ястребом.

Пийтсу тоже подошла понюхатьдохлую птицу. Но Моссе это не понравилось, и она чуть не вцепилась в собаку. Пийтсу никак не могла понять почему. В ответ она оскалила зубы и, отойдя в сторонку, легла отдохнуть. Пийтсу считала, чтодохлый ястреб не стоит того, чтобы из-за него драться.

— Ястреб все равно умер, — сказал Атс маме, — не помогло ему то, что он не спал.

— Но голова у него, как видишь, целехонька.

Это заставило Атса задуматься. Что же лучше для мертвого ястреба — остаться с головой или без головы? Когда отец пришел домой, Атс понял, что оставаться мертвым с головой все-таки лучше, чем без нее, потому что, отобравдохлого ястреба у лисы, отец стал снимать с него шкуру.

— Что ты будешь с ней делать? — спросил Атс с любопытством.

— Набью чем-нибудь, чего же еще,— ответил отец.
— Зачем же ты ее будешь набивать? — спросил мальчик с еще большим любопытством.
— Чтобы ястреб был как живой,— объяснил отец.
— И глаза у него тоже будут?
— И глаза будут,— подтвердил отец.
— А если бы Мосса оторвала ястребу голову, ты мог бы набить шкуру? — спросил Атс.
— Тогда не смог бы,— ответил отец.— Какой же это ястреб без головы. Голова и кривой клюв у него главное украшение.
— А когти? — спросил Атс.
— Когти тоже, конечно,— ответил отец.
Атс подумал немного и сказал:
— Повезло ястребу, что лиса не оторвала ему голову, теперь из него сделают чучело!
— Да, Мосса оказала мертвому ястребу большую услугу, оставив ему голову,— согласился отец и, смахнув со лба крупные капли пота, добавил: — Ну и тяжелая это работа — снимать кожу с ястреба. Если бы не твоя помощь, я вряд ли справился бы с ней.

* * *

Сняв наконец с ястреба шкуру, отец сразу стал набивать ее. Для этого ему понадобилась солома. Дело это оказалось таким интересным, что Атс никак не мог от него оторваться. Смотреть, как кожа, которую только что снял отец, превращается в почти живого ястреба, только что не летает,— ничего увлекательнее этого Атс вообще никогда не видел. Его так захватило это занятие, что он тут же решил: когда вырастет, тоже будет снимать с ястребов шкуры и набивать их соломой. Но он не осмелился прямо сказать об этом отцу, а только спросил осторожно:

— А я мог бы снять с ястреба шкуру?

— Почему же нет, научись — сумеешь,— ответил отец.

Слова его не очень понравились Атсу. Ответы отца Атсу вообще не нравились. Он всегда поучал сына, только поучал. Атсу больше нравилось беседовать с мамой, ее ответы были гораздо интереснее. Вот и на этот раз Атс пошел к маме и задал ей тот же вопрос, что и отцу.

— Вот вырастешь большим, тогда и будешь сдирать с ястребов шкуры и набивать их соломой,— сказала мама, а это был уже совсем другой разговор: просто надо вырасти, ничего больше; вот только на это уйдет время, так что придется немного подождать.

— Я хотел бы поскорее стать большим,— сказал Атс.

— Для этого ты должен хорошо кушать и много спать, тогда и вырастешь,— объяснила мама.

— Разве это помогает? — допытывался Атс.

— А как же иначе! — сказала мама. — Что же еще помогает, если не сон и еда.

Атс вернулся к отцу и спросил:

— Когда я вырасту, я сумею набить ястребиную шкуру?

— Ну, возраст тут не всегда помогает, — ответил отец. — Разве мало людей старше меня, которые не умеют снять шкуру с птицы и набить ее соломой. Ты должен вырасти и выучиться, вот тогда сумеешь. Так уж устроена жизнь. Обязательно учись, если хочешь уметь делать что-то.

— А лиса тоже должна учиться? — спросил Атс.

— А как же, лисе без науки тоже не обойтись, — ответил отец. — Наша Мосса сидела на цепи, потому смолоду ничему и не научилась, ничего теперь не умеет; вот и возвращается всякий раз обратно на цепь. Все должны учиться. Птицы и те петь учатся. Старые поют, а молодые за ними повторяют.

Теперь Атс вконец расстроился. Выходит, значит, расти не расти, учиться все равно надо. Утешало еще одно: если все должны учиться, придется и ему не отставать. Что он, хуже Моссы на цепи или трясогузки на гребне крыши? Впрочем, на этот раз Атс довольно быстро забыл про свои огорчения, связанные с необходимостью учиться, потому что отец закончил работу и отправился в сарай, чтобы подвесить там ястреба; сарай хорошо продувало ветром, который должен был высушить чучело ястреба, чтобы оно не испортилось.

— Он так и будет всегда здесь висеть? — спросил Атс отца.

— Когда чучело высохнет, мы поставим ястреба в комнату на шкаф, пускай сидит себе там, раскинув крылья.

Ответ Атса вполне устроил. Спросил-то он неспроста: ему очень хотелось узнать, как поведет себя Мосса, если поставить перед ней чучело ястреба. Здесь, в сарае, Атс никогда не дотянулся бы до него, для этого пришлось бы подставлять тяжелую стремянку, поднять которую ему было не под силу. Снять же ястреба со шкафа — с этим он вполне мог справиться. Но его интересовала еще одна вещь, и, чтобы выяснить ее, он сказал отцу:

— Ну и тяжелый он, наверно.

Отец, когда услышал вопрос Атса, уже поднялся на несколько ступенек по стремянке. Он спустился на землю, протянул мальчику ястреба, висящего на веревке, и сказал:

— На, возьми его, попробуй, сможешь ли удержать.

Атс попробовал подержать птицу одной рукой и сказал:

— Нет, не смогу.

— Возьми двумя руками, — посоветовал отец. — Что ты за мужчина, если тебе даже чучело не удержать.

Атс взялся за веревку двумя руками, и — надо же! — ястреб показался ему теперь совсем не таким уж тяжелым. Он вполне мог держать его.

— Пусть высохнет, — сказал отец, — тогда станет еще легче...

И в самом деле, чучело стало гораздо легче. Когда отец недели через две снял его, чтобы отнести в комнату и поставить на шкаф, он дал его опять поддержать Атсу.

— Ой, какой легкий! — радостно воскликнул мальчик. А про себя подумал: «Вот теперь я смогу снять его со шкафа и показать Моссе». Атс еще не забыл про свой план.

Теперь ему не давала покоя другая забота: когда выбрать время, чтобы осуществить свой план? Ждать пришлось долго. Иногда ему делалось совсем невтерпеж, и тогда в голову приходили совсем уж невероятные идеи: встать в полночь с постели так тихо, чтобы мама и папа не услышали, забраться на стул, со стула на стол, дотянуться до ястреба, снять его со шкафа и неслышно выскользнуть за дверь.

Но такие мысли приходили ему в голову лишь на короткое мгновение. Он тут же понимал, что все это невыполнимо: у мамы сон чуткий. Стоит ему, Атсу, только пошевелиться в своей постели, как она открывает глаза и спрашивает, что случилось. Конечно, другое дело, если бы мама поддержала его план, но она ни за что не согласится, в этом Атс был твердо уверен. Так что придется ему одному попробовать выполнить свое намерение.

В конце концов на помощь Атсу пришел случай: как-то лису опять пустили в комнату.

— Пускай половит тараканов, — сказала мама. — Только чтобы заслонка у плиты была закрыта, не то Мосса опять вся в саже вымажется.

Пока Мосса сновала по комнатам и кухне, мама занималась своими делами, наказав Атсу присмотреть за лисой, чтобы она не прыгнула в окно или еще чего-нибудь не натворила.

— Хватай ее за цепь, иначе тебе с ней не справиться, — наказывала мальчику мама, выходя во двор. Но скоро она услышала отчаянные вопли о помощи, несущиеся из комнаты. Мама бегом кинулась к дому.

— Мосса! Мосса! Оставь его сейчас же! Слышишь, Мосса! — кричал Атс, заливаясь слезами, когда мама переступала порог дома.

Она вбежала в комнату и с размаху захлопнула за собой дверь. Сначала она никак не могла понять, что здесь происходит: по комнате летели пух и перья, Мосса забилась под кровать, а Атс стоял возле нее и орал во всю мочь. Но скоро мама обо всем догадалась: чучело ястреба попало в лапы лисе, и она треплет его. Мама только не могла взять в толк, как все это могло произойти. Да и думать ей было некогда, она тут же представила себе, что скажет отец, если лиса разорвет чучело птицы. И, схватив у плиты кочергу, она кинулась к кровати. Без лишних разговоров она так стукнула Моссу, что та сразу выпустила ястреба и выско-

чила из-под кровати. Мама взяла чучело в руки, чтобы разглядеть его поближе.

— Смотри, как она ему шею разодрала,— показала она Атсу.— Что теперь папа скажет!

Атс тоже подумал об этом и громко заплакал.

— Как же это лиса достала ястреба со шкафа? — дивилась мама.

— Я только хотел посмотреть, что она будет делать, когда увидит чучело,— плакал Атс,— а она как вырвет его у меня из рук — и шаст с ним под кровать. Я ей и запрещал, и кричал на нее, а она ничего не слушает, только рычит!

— Хорошо хоть, что ты закричал и я прибежала к тебе на помощь,— сказала мама.— Но порку ты все-таки заслужил. Папа очень дорожит этим ястребом, он всем о нем рассказывает и всем показывает. Помещик и тот приходил смотреть, когда ястреб еще в сарае висел. Кто-то даже хотел купить его, но папа не продал, так он ему нравится. И вот на тебе! Ты снимаешь его со шкафа и отдаешь Моссе.

— Не говори папе, что я это сделал,— попросил Атс.

— Это не поможет,— ответила мама,— папа все равно узнает, что ястреб побывал в чьих-то руках: у него же шея разодрана — посмотри, вон солома торчит. Или ты думаешь, что я буду из-за твоих проделок обманывать отца?

— Ты только скажи ему, что это ты сняла ястреба, хотела его почистить или потому что он тебе мешал, а лиса и набросилась на него,— упрашивал Атс.

— Ну нет,— отказалась мама,— ты виноват, ты и отвечай, а то в другой раз что-нибудь еще похуже натворишь.

Теперь Атс залился такими горючими слезами, что он и сам не помнил, когда так ревел. Но мама даже не стала его успокаивать, она продолжала бранить его, а сама тем временем нашла иглу, продела в ушко черную нитку и стала зашивать ястребу шею. Атс все ревел, не замечая, что шея ястреба уже починена. Увидел он это, только когда все уже было готово. И тут он ничего не мог с собой поделать: вместо плача на него напал смех. В глазах еще стояли слезы, но плакать совсем уже не хотелось.

— Теперь никто и не догадается, что ястреб побывал в когтях у лисы,— твердил Атс, разглядывая дело маминых рук.

— Ну, папа-то догадается, стоит ему только посмотреть,— сказала мама.

— Но ты ведь ему ничего не скажешь?

— Я-то не скажу, а вот ты должен сказать,— ответила мама.

— Зачем же я стану ему говорить, если ястреб опять целехонек? — удивился Атс.

— А затем, чтобы ты запомнил, что можно, а чего нельзя,— твердо сказала мама и настояла на своем.

Когда отец вернулся домой, мама завела речь о том, что Атс хочет признаться в одном своем проступке. Сердце мальчика забилося сильнее. Он надеялся выбрать подходящий момент, а теперь приходилось говорить без всякой подготовки. И он не успел еще рта раскрыть, как слезы сами потекли из глаз; так, плача, он и подошел к отцу.

Прошло немало времени, пока отец понял, что произошло. Он подошел к шкафу, снял с него своего ястреба, чтобы посмотреть, насколько лиса повредила чучело.

— Теперь уже ничего не видно, мама зашила, — бормотал Атс, плетясь следом за отцом к шкафу.

Отец долго разглядывал чучело. И наконец сказал:

— Только потому, что мама так хорошо его починила, я тебя на этот раз прощу. Но запомни: это уже последний раз. Если ты еще что-нибудь натворишь, пеняй сам на себя.

Такие слова Атс слышал от отца не впервые. Поэтому он и не придавал им особенного значения. Важно было, что он сегодня избежал наказания.

* * *

С тех пор как Мосса, благодаря тому что у Атса заболел живот, освободилась от цепи впервые, ей это удавалось сделать еще два раза, теперь уже собственными силами. Можно подумать, будто Атс подал ей дурной пример. Мама так и сказала однажды:

— Вот что ты наделал — научил Моссу рвать цепь.

Но отец считал, что ржавчина все больше разъедает звенья цепи, оттого Мосса так легко и рвет ее. Отец давно уже обещал принести новую цепочку, но все не хватало времени.

Новая цепь была тем более необходима, что последний раз Мосса воспользовалась своей свободой, чтобы совершить преступление: она загрызгла соседскую курицу, самую лучшую во всем курятнике, как утверждал сосед. Курица была якобы чистейшей итальянской породы, купленная у самого помещика, она неслась круглый год и на яйца садиться не рвалась.

Пришлось леснику заплатить за курицу. Покупка новой цепи обошлась бы дешевле. И все домашние стали приглядывать за лисой, чтобы она опять не запутала цепь и не порвала бы ее. Прошло много времени, и лисе уже ни разу не удалось вырваться на свободу.

Но как-то в воскресенье леснику Кирепу вместе со всей семьей пришлось уехать из дому на целый день. Знакомая старуха обещала подоить коров и накормить свиней, но с лисой возиться отказалась. Да и то, подумали хозяева, мало ли кто может прийти во время их отсутствия и выпустить лису или унести ее. И они стали совещаться, куда ее девать, чтобы не надо было тревожиться. Наконец все сошлись на том, что лучше всего посадить

лису на чердаке. Отнесли ей туда еду и воду, а ее привязали к стропилам. Сделать все это было тем более просто и удобно, что лестница на чердак вела прямо из кухни. Так Мосса получила на время новое пристанище, которое, как казалось, очень заинтересовало ее. Лиса сразу же заметила, что пол на чердаке покрыт толстым слоем песка, и она немедленно попробовала поскрести его.

— Пусть себе пылит, коли ей это нравится, — сказал лесник. — Главное, сюда к ней никто не проберется, да и она сама тоже никуда не денется.

— А не выберется ли она как-нибудь из-под стрехи на крышу, если ей удастся разорвать цепь? — заволновалась мама.

— Не выберется. Чего-чего, а этого бояться не стоит, — сказал папа.

И со спокойной душой они уехали из дома, и за весь день никто даже не вспомнил о Моссе. Как же все удивились, когда, подъехав к воротам, Атс испуганно закричал, указывая рукой куда-то вверх:

— Мама, смотри, где Мосса! Смотри, вон она откуда выглядывает!

Онемев от изумления, открыв рты и вытаращив глаза, отец и мать уставились на дом. Они глазам своим не верили: голова Моссы высывалась сквозь покрытую дранкой крышу, да к тому же на такой высоте, что невозможно было понять, как могла она туда забраться. Может, уселась на перекладине между стропилами? Но нет, тогда голова ее была бы еще выше. На чем же тогда? Ведь там, куда могла добраться на своей цепи лиса, сидеть было решительно не на чем.

— Видно, тут нечистая сила руку приложила, — проговорил наконец лесник, так и не найдя никакого объяснения.

Он послал Атса открыть ворота, подъехал на лошади к крыльцу и пошел за ключом, лежавшим в тайнике, чтобы посмотреть, куда забралась лиса, что голова ее так высоко торчит над крышей. Поднявшись по лестнице на чердак, он даже присвистнул от удивления.

— Идите посмотрите, что Мосса тут натворила! — позвал он.

Впрочем, он мог их и не звать, Атсу с мамой самим не терпелось увидеть, что случилось. Они уже стояли на лестнице и в следующее мгновение были на чердаке.

— Ну и ну, вот так куча! — изумился Атс.

— Вот так чудеса! — дивилась мама. — Она же весь песок сгребла в кучу.

Так оно и было: весь песок, покрывавший пол чердака, Мосса собрала в одну кучу и восседала на ее вершине, обозревая сквозь дыру в крыше всю округу. Услышав голоса, она втянула голову на чердак, посмотрела, что там происходит, потом просунула голову обратно и продолжала спокойно сидеть в прежней позе.

— Скажи пожалуйста, что ей по вкусу пришлось! — проговорил отец.

— Отсюда далеко видно, — сказал Атс и добавил: — Почти так же далеко, как с елки на том берегу реки.

— Ну, едва ли так далеко, — заметила мама.

— Но дальше, чем из-под большой елки, — сказал Атс.

— Это уж точно, — подтвердил отец. — Ну ладно, пойдем, пусть сидит себе и смотрит. Я распрягу лошадь, поставлю телегу в сарай, а там уж надумаю, что с ней делать.

Папа, мама и Атс один за другим спустились с чердака, а Мосса осталась сидеть на куче песка, высунув голову сквозь крышу.

Пока отец хозяйничал во дворе, мама занялась на кухне приготовлением еды; уже в дороге все стали жаловаться, что проголодались. Прежде всего она начала растапливать плиту. Но странное дело: труба не тянула, весь дым шел обратно в кухню.

— Старые люди говорят: когда солнце светит на трубу, она не тянет; но ведь солнце давно за лес зашло. Что за напасть такая? — бранилась мама со слезящимися от дыма глазами, открывая настежь двери и окна.

Отец, увидев, как из окон и дверей валом валит дым, подумал, не случилось ли несчастье, бросил лошадь и пришел взглянуть, что тут происходит.

— Что за костер ты развела? — спросил он маму.

— Труба совсем не тянет, весь дым обратно идет, — ответила она.

— Что ж с ней стряслось? — удивился отец. — Утром тянула.

— Утром тянула, — подтвердила мама.

— У тебя обе вьюшки открыты? — спросил отец.

— Обе и до упора, — ответила мама.

Но папа, как видно, не очень поверил ее словам: переступив порог, он вошел в кухню, чтобы самому проверить, в чем там дело. Но и он нашел, что все в порядке, а дым валил по-прежнему. Тогда он вышел во двор посмотреть на трубу: над ней не вилось ни единой струйки.

— Чем дальше, тем хуже, — пробормотал отец в недоумении. — погоди немного, вот управлюсь с делами, посмотрим, что там стряслось.

Мама вышла во двор, потому что дым щипал ей глаза. Атс же утверждал, что дым ему нипочем, только чуть-чуть в носу щекочет, и как челнок сновал с кухни во двор и со двора снова на кухню — так ему понравилось бегать в густом дыму. Он не помнил другого такого замечательного дня: сначала голова лисы, торчащая сквозь крышу, а теперь дым на кухне, да такой густой, что от одной стенки до другой ничего не видно. Атс снял пиджачок и стал им размахивать.

— Что ты делаешь? — спросила мама.

— Выгоняю дым из кухни, что ему там делать,— ответил Атс.
— Перестань, дым и сам уйдет,— сказала мама.

Но Атс считал, что дым сам не уйдет, и продолжал размахивать пиджаком с таким усердием, будто делал невесть какое необходимое дело. Но тут мама спросила:

— Каким это ты пиджаком размахиваешь — старым или новым?

Атс сделал вид, будто не слышал вопроса: мама уже давно велела ему переодеться, но он тотчас забыл об этом.

— Ах ты плутишка! — воскликнула мама, не дождавшись ответа. — Ты так извоишь в дыму и саже свое новое платье, что оно станет хуже старого! Марш в комнату и закрой за собой дверь.

Делать нечего, пришлось Атсу перестать гонять дым, но он так спешил снять воскресную одежду, что у него не хватило времени сложить вещи на стул, не говоря уже о том, чтобы повесить их на вешалку и убрать в шкаф, и позднее мама нашла его новые брюки на полу.

Но спешил он напрасно. Когда он вернулся на кухню, чтобы разгонять дым теперь уже старым пиджаком, оказалось, что дым почти весь уже сам вышел через открытые двери и окна. А нового не прибавлялось: мама залила огонь водой, чтобы наконец освободиться от дыма.

* * *

У отца, пока он распрягал лошадь и отводил ее пастись на край поля, было достаточно времени все хорошенько обдумать. Вернувшись домой, он еще раз спросил, тянет ли труба, а услышав, что мама погасила огонь, сказал ей:

— Я думаю, что погода тут ни при чем. Пойдем-ка наверх, поглядим, что это там лиса набедокурила.

И они снова все втроем поднялись на чердак. Атсу тоже хотелось увидеть, что натворила Мосса и как теперь с ней поступят.

Но Мосса по-прежнему ничего не делала, а все еще сидела на куче песка и обзирала окрестность сквозь дыру в крыше, будто кто-то пригвоздил ее к этому месту.

— Ты только подумай, что зверю может понравиться! — сказал отец. — Помнишь, все над помещиком смеялись, когда он на своем доме стал башню возводить, а оказывается, даже лисе по душе смотреть сверху вниз.

— А она глядит вовсе не вниз, а вдаль,— сказала мама. — Помещик тоже хотел глядеть вдаль, а не себе под ноги.

— Мы ведь тоже забираемся на елку, когда хотим посмотреть, где лес горит,— сказал Атс.

— Ну, ты сразу со своим лесным пожаром,— проговорила мама. — Часто ли лес горит-то. Да и Мосса не лесник.

Но отец, внимательно рассматривавший, что натворила лиса, прервав их разговор, задумчиво произнес:

— Чудно! Как же она могла собрать в кучу песок со всего чердака, если она на цепи. Я еще нарочно цепочку укоротил.

С этими словами отец подошел к лисе, дернул за цепь. И сразу оторопело воскликнул:

— Цепь-то разорвана! Лиса на свободе!

Поставив ногу на песчаный холмик, на верхушке которого все еще сидела Мосса, он дотянулся до обрывка цепи.

— Ну-ка иди сюда, плутовка! — сказал отец и стянул лису с кучи песка. — Хватит тебе глазеть, пора ответ держать.

Но у лисы на уме был только лаз, который она проделала в кровле. Она изо всех сил рванулась обратно. Но никогда больше не удалось ей просунуть голову в эту дыру — ни в тот день, ни потом. Никогда больше не смогла она глянуть вниз и вдаль, чтобы полюбоваться, как бродят по траве петух и куры, как летают и поют в лесу птицы и движутся по проселочной дороге лошади, телеги, собаки и люди, совсем незнакомые ей. Никогда больше не удалось ей увидеть кроваво-красное мерцание солнца, спускающегося за лес.

Пока отец отводил Моссу под елку, к норе, мама и Атс ходили по чердаку, дивясь тому, что она там натворила. Не успела мама оглянуться, как Атс уже был на верхушке песчаного холмика, где раньше сидела лиса, и так же, как она, высунул голову сквозь дыру в крыше. Мама вдруг услышала, как кто-то кричит будто бы издалека:

— До чего же отсюда все красиво!

Только тут увидела она, куда забрался Атс, и стала звать его. Но мальчик ни за что не хотел спускаться с кучи песка, словно бы и ему, как лисе, очень понравилось сидеть там. А когда он наконец собрался втянуть голову обратно на чердак, шапка соскользнула у него с головы и куда-то исчезла. Он и сам не знал куда.

Но то, что случилось потом, было еще хуже.

Просунуть голову вместе с шапкой сквозь дыру в крыше ему ничего не стоило, выбраться же обратно оказалось куда сложнее: сухие, острые, как иглы, дранки впивались в подбородок и шею, царапали нос и уши. Раза два Атс попробовал втянуть голову обратно, но каждый раз ему приходилось отказываться от этого намерения — так больно они кололи его. Когда же мама, вконец рассердившись, сурово потребовала, чтобы Атс немедленно спустился вниз, он разревелся во весь голос.

— Я не могу вытащить голову! — кричал он.

Мама с трудом разбирала его слова: кричал-то он с крыши, а она была на чердаке. Зато их слышал отец, возвращавшийся с выгона. Он поднял глаза, увидел над крышей голову мальчика, и ему на мгновение померещилось, что перед ним опять лиса. Он

стоял как вкопанный и ошарашенно глядел на крышу. Но продолжалось это всего лишь один миг, он быстро понял, и чья это голова, и кто там ревет.

Когда мама увидела, что Атс попал в ловушку, она тоже вскарабкалась на кучу песка, так что можно было подумать, будто вся их семья решила последовать примеру лисы. Мама обломала острые края дранок, дыра в крыше стала больше, и Атс мог наконец высвободить голову.

— А ну-ка покажись,— сказала мама Атсу. И, внимательно оглядев его, сочувственно проговорила: — Вот беда, за ушами ссадин не счесть! Придется смазать их йодом.

Но Атс вовсе не желал, чтобы его мазали йодом. За ушами, считал он, и так заживет, если их несколько дней не мыть.

— Ну конечно, главное — только бы не мыть уши,— сказала мама.

Тут на чердак поднялся отец и сказал:

— Слушай, может, плита из-за лисы дымит? Мне это во дворе в голову пришло.

— При чем же тут лиса? — удивилась мама.— Лиса ведь была на чердаке, как она могла очутиться возле плиты?

— А почему бы и нет,— ответил отец.— Когда мы вернулись домой, дверь на чердак была приотворена. Значит, лиса прекрасно могла побывать на кухне. Интересно, когда ты стала разводить огонь, заслонка плиты была открыта или закрыта?

— Открыта,— сказала мама, и Атс это подтвердил.

— Ну, тогда, пожалуй, все легко объясняется,— сказал отец и стал спускаться с чердака, за ним последовали и мама с Атсом.

Отец засучил рукава рубашки и стал снимать чугунные кольца с задней конфорки. Справившись с ними, он нагнулся, пытаясь заглянуть в трубу.

— Вон ее следы! — сказал он и добавил: — А пепел она сгребла в дымоход. Сейчас я попробую, может, без особых трудов удастся сделать так, чтобы труба опять задымила.

Он просунул руку в отверстие для конфорки и стал пальцами разгребать пепел. И тут ему в руки попался какой-то продолговатый предмет; когда он его вытащил, это оказался кусок мыла.

— А это что? — спросил отец и положил на конфорку кусок мыла.

— И откуда только она его сюда приволокла! — воскликнула мама удивленно.

Но не успела она договорить, как отец вытащил второй кусок, потом третий, четвертый... седьмой, восьмой.

— И что это за чудеса такие! — продолжала удивляться мама.

Она поднялась по лестнице на чердак, где у нее был подвешен к перекладине мешок с мылом. Мешок висел на прежнем месте, но он потощал и обвис. При ближайшем рассмотрении на дне

мешка оказалась дырка, и тогда стало ясно, что куски мыла выпали из мешка через эту дырку и лиса перетащила их вниз на кухню.

— А сколько кусков лежало у тебя в мешке? — спросил отец.

Мама не помнила, сколько их там было, но была убеждена, что их было больше, чем те восемь кусков, которые отец извлек из трубы.

— Значит, они остались в трубе или лиса их еще где-нибудь схоронила, — предположил отец и снова принялся копать в трубе, сначала рукой, а когда это не дало никаких результатов, взял на помощь кочергу и выудил ею еще три куска.

— Прямо хоть плиту ломай! — ворчал он.

К счастью, ломать ее не понадобилось; когда они теперь зажгли в плите пучок соломы, труба с воем втянула дым. Удовольствовавшись тем мылом, которое уже было найдено, они развели в плите огонь. Когда на следующий день отец стал раскидывать по чердаку песок, который лиса сгребла в одну кучу, там оказалось еще несколько кусков. Вся семья очень обрадовалась этому: накануне они решили, что выудили из трубы все мыло. Непонятно было только, каким образом мешок вдруг прохудился, так что все мыло из него выпало. Мосса сама продырявить мешок не могла: он висел слишком высоко.

— А если бы она подпрыгнула, разве она не могла бы схватить мешок зубами? — предположил наконец отец.

Это не пришло в голову ни маме, ни Атсу. Подпрыгнув, она, конечно, могла разорвать мешок, так что мыло посыпалось вниз.

— А как же мыло не свалилось ей на голову? — испугался вдруг Атс. — Если бы какой-нибудь большой кусок упал ей на нос, это могло для нее плохо кончиться.

— Лисе везет, — сказала мама, — мыло не упало ей ни на голову, ни на нос. А вот если бы ты разодрал мешок, нос у тебя был бы весь в крови, как сейчас за ушами.

— Значит, лисе везет больше, чем человеку? — спросил Атс.

— А ты как думаешь? — в свою очередь спросила мама.

На том и кончилась очередная лисья проделка. Но никто на лису особенно не сердился, напротив, все с нетерпением ждали, что она выкинет в следующий удобный момент. Долго ждать не пришлось, но эта история кончилась для всех ее участников куда печальнее, чем они того хотели или могли бы предположить.

* * *

Так как Мосса каждый раз, оказываясь на воле, рано или поздно возвращалась домой, к ней постепенно стали относиться с большим доверием. Скоро все в доме так уверились в ее привязанности, что уже не держали ее за цепь, когда она вместе со всеми отправлялась в лес. Конец цепи, позвякивая, волочился за

лисой по пятам, словно бы оповещающая всех, где она находится в ту или иную минуту. Атс хотел, чтобы отец надел Моссе на шею маленький бубенчик, но отец предпочел цепь; если появится необходимость, он может схватить ее и вести лису рядом с собой. Позднее он пришел к выводу, что следовало прислушаться к словам сына, но когда он это понял, было уже поздно. Так часто бывает с хорошими намерениями.

Дни, когда Мосса бегала по лесу, были для нее большим праздником. То, что за ней, позвякивая, волочится цепь, мешая ей лазить и пробираться в чаще, для нее было в порядке вещей, она ведь не знала, что бывает иначе. Если бы кто-нибудь сказал ей об этом, она, наверно, с неудовольствием ответила бы: «Что это за лиса, за которой не тянется цепь!»

То, что Пийтсу бегала без ошейника и без поводка, Моссу нисколько не интересовало. Если она это и замечала, то, наверно, считала Пийтсу несчастным зверем, у которого нет красиво позванивающей цепочки; будь у нее цепь, может быть, Пийтсу стала бы такой же проворной, как Мосса. Теперь же собака и думать не могла о том, чтобы угнаться за лисой. Кроме того, она не поймала в траве ни одной птицы, ни одного мышонка, несолоно хлебавши бежала она рядом с хозяином. Причиной всему этому Мосса считала только одно: за собакой не волочилась позвякивающая цепь.

В лесу, как и в доме, Мосса была нетерпеливой, неугомонной и любопытной. Поначалу Пийтсу пыталась бегать вместе с ней, но скоро ей это надоело. Суетливость Моссы казалась Пийтсу бессмысленной. Ну хорошо, можно повилять хвостом, напав на след тетерева, белой куропатки, серой куропатки или зайца или учуяв рябчика, сидящего где-нибудь на высоком дереве. Но какой смысл бегать за каждой лягушкой, чтобы придавить ее лапой или просто сожрать? Какой смысл обращать внимание на каждого кузнечика, на каждую даже самую крохотную бабочку, которая дразнит тебя своими пестрыми крылышками?

Зато Моссу в лесу интересовало все, что там жило и копошилось. Каждая самая маленькая певчая птичка заставляла дрожать от возбуждения ее нижнюю челюсть, как будто лису внезапно охватывал озноб. Она могла неотрывно смотреть на каркающую на дереве ворону, слушать ее так, будто из ее черного клюва льется божественная музыка.

Охваченная возбуждением, она все дальше убегала от людей, и ее то и дело приходилось подзывать обратно свистом. Бывало, Мосса исчезала в лесу и возвращалась домой только ночью. В этом не видели ничего страшного, хотя никогда нельзя было точно знать, убежала ли она или зацепилась за что-нибудь цепью. Поэтому отец и Атс всегда внимательно осматривали место, где она потерялась. Всего каких-нибудь две недели назад она запуталась между корней березы. Там она, наверно, и по-

дохла бы, если бы Атс, помогавший отцу в поисках, не нашел ее.

Через несколько дней после переполоха с кусками мыла, которые Мосса спрятала в дымоходе и в куче песка, ее опять взяли с собой в лес. И хотя отец не спускал с нее глаз и, как только стихало бречание цепочки, начинал свистеть и звать ее, все-таки Мосса исчезла и на этот раз. Ее долго искали, но безрезультатно. Отец уже несколько раз хотел махнуть рукой, но по просьбе Атса снова и снова принимался за поиски. Однако это ни к чему не привело. Когда они наконец перестали ее звать и двинулись к дому, Атсу все время казалось, что Мосса запуталась где-нибудь среди высоких дуплистых стволов ольхи и непременно погибнет, так что он никогда уже не увидит ее — ни живой, ни мертвой. Отец думал иначе.

— Да брось ты тревожиться. Она, как всегда, сама домой вернется, — успокаивал он сына.

Но Атса это не утешало. С тяжелым сердцем плелся он за отцом, время от времени упрашивая его посвистеть и позвать Моссу; иногда ему чудился звон цепи, доносившийся сквозь шум леса. Но Мосса как в воду канула.

Уже вечерело. Возвращаясь домой и выбирая путь покороче, они проходили мимо лесных хуторов, как вдруг услышали громкое кудахтанье и звонкий женский голос:

— Лиса на кур напала! Кя́рмас! Где ружье?!

Мужчина, показавшийся в открытых воротах овина, с досадой произнес:

— Да не заряжено оно.

И, схватив с земли какую-то палку, бросился со всех ног к выгону, откуда доносилось громкое кудахтанье. Женщина бежала за ним, крича:

— Смотри, вот она где! И кура у нее в зубах! Дай! Дай ей как следует! Бей!..

И мужчина ударил. Похоже было, что подоспел он вовремя. Лесник Киреп с сыном Атсом спокойно смотрели на всю эту возню, стоя в нескольких десятках шагов на тропинке, вьющейся среди полей. Они ясно слышали, как мужчина сказал:

— Готова!

Но еще яснее донесся до них его удивленный возглас:

— Что за чудеса?! У лисы ошейник, да еще с цепью!

Этого было достаточно. Отец и сын со всех ног кинулись к месту происшествия.

— Я сразу подумал, что это наша Мосса! — тяжело дыша, кричал Атс, стараясь не отставать от отца, и его нижняя губа горестно изогнулась подковкой.

Но было уже поздно, теперь и молодой хозяин соседнего хутора, стоявший над мертвым зверем с ольховой дубинкой в руках, понял, что убил ручную лису лесника Кирепа. Когда лесник подошел к нему, он сказал:

— Глядите-ка, что я натворил! Честное слово, я не видел ни ошейника, ни цепочки, пока не пристукнул ее. Глядел только на эту породистую курицу, которую принес с мызы, ничего, кроме нее, не замечал. А тут еще молодуха кричит: «Дай ей! Дай!» — ну, вот я и дал.

— Попал ты, парень, точно — с одного удара насмерть, — проговорил лесник.

— Что правда, то правда, — согласился хозяин хутора, — она ничего и почувствовать не успела. Лучшей смерти я и себе не пожелаю.

Пока мужчины беседовали, стоя по обе стороны забора, Атс перелез через него и присел на корточки возле лисы; из носа у нее сочилось что-то красное. Увидев это, Атс уже не мог сдерживать слез.

— Папа! Слышишь, папа! У Моссы из носа идет кровь! — кричал он.

Теперь глаза всех обратились к струйке крови, сочившейся из носа лисы, будто ничего важнее этого и на свете не было. Во всяком случае, так казалось Атсу. И струйка эта осталась у него в памяти на долгие годы, почти на всю жизнь.

Потом он видел в жизни немало крови, но никогда это не врезалось ему так глубоко в сердце, как сейчас эти две тоненькие струйки, сочившиеся из носа лисенка. Глядя на них, он плакал так горько, что молодая хозяйка сама едва не заплакала. Она перелезла через забор и всячески старалась утешить его. Но старания ее ни к чему не приводили, напротив, они подливали масла в огонь. Наконец отцу пришла в голову хорошая мысль, и он сказал:

— Знаешь, Атс, что мы сделаем? Снимем с Моссы шкуру и сделаем из нее чучело, помнишь, как сделали из ястреба. Как думаешь?

Его слова заинтересовали Атса.

— И знаешь, куда мы его поставим? — продолжал отец.

— На шкаф рядом с ястребом, — ответил Атс, утирая слезы.

— Правильно, на шкаф, рядом с ястребом, так, чтобы они оба всегда были у нас перед глазами, — подтвердил отец.

И они принялись сдирать с Моссы шкуру, а потом набили ее соломой, так что, когда вечером они возвращались домой, чучело Моссы было уже у отца под мышкой. Атс тоже хотел нести его, но не смог, пришлось вернуть чучело отцу.

Когда они подходили к дому, Атс побежал во всю прыть: он хотел первым сообщить новость маме. Увидев маму во дворе, он уже издали закричал ей:

— Мы набили Моссу соломой, мы набили Моссу соломой!

Мама никак не могла взять в толк, что же произошло. И Атс собрался объяснить ей, но в голову приходили только слова:

— У Моссы из носу пошла кровь...

Нижняя губа мальчика опять скривилась и, спрятав голову маме в подол, он горько заплакал. Только теперь она догадалась о том, что случилось.

Мама сняла с головы Атса шапку, пригладила его взъерошенные волосы и стала утешать:

— Не горюй, папа принесет тебе новую лису.

Но Атс заплакал еще безутешнее.

* * *

Прошли годы, много лет. Атс вырос, стал взрослым. Он повидал много лис, но не было среди них ни одной такой, как его Мосса. И с годами она казалась ему все удивительнее.

Чучело Моссы истлело, и его выбросили, но живая Мосса продолжала жить в воспоминаниях Атса. Он и в старости называл Моссу «нашим лисенком» и рассказывал о ней тем, кто никогда не видел ее.

У КОММЕНТАРИИ

В том включены повести, отрывки из повестей и рассказы писателей народов нашей страны, созданные в досоветский период (XIX — начало XX века) для детей или вошедшие в круг детского чтения.

Произведения публикуются в основном по специальным изданиям для детей и в соответствии с традицией таких изданий.

В комментариях даются сведения о времени написания и первоначальной публикации, краткая историко-биографическая справка. В ряде случаев характеризуются некоторые особенности работы писателей, важные для понимания данного произведения и в целом творчества его автора.

Предложено объяснение малоупотребительных, местных слов и понятий, а также некоторых трудных для понимания подробностей.

ФАТИХ АМИРХАН

(1886—1926)

Настоящее имя — Амирханов Фатих Зарифович.

Родился в Казани, в семье муллы. В 1905 году активно участвовал в движении шакирдов за коренные реформы в школе, за что был исключен из медресе. В 1906—1919 годах жил в Петербурге и в Москве. В Москве, начиная с 1907 года, издавал детский журнал на татарском языке «Воспитание детей».

Первый рассказ — «Сон накануне праздника» — был опубликован в 1907 году. Как писатель Амирхан выступал против пережитков феодализма в быту, показывал стремление татарской молодежи к новой жизни, к русской культуре. В момент наивысшего подъема его литературной, общественной и журналистской деятельности Амирхана постигло несчастье — он был парализован. После безуспешного лечения писатель на всю жизнь остался прикованным к креслу-коляске.

Амирхан много сил отдал развитию татарской литературной критики: вел борьбу за ее принципиальность, за реалистичность искусства. После Великой Октябрьской социалистической революции выступал как журналист, призывая татарскую интеллигенцию служить Советской власти.

МОЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Рассказ написан в 1911 году. Впервые опубликован в 1911—1912 годах. Здесь печатается по изданию: Ф а т и х А м и р х а н. Хаят. Казань, Татарское книжное издательство, 1968.

Этот рассказ — не обычная автобиография Амирхана; он написал ее, применяясь к стилю своей повести «Преосвященный Фатхулла́». В остроумной сатирической форме писатель обрисовал общественные условия, в которых формировались такие типы, как мулла Фатхулла. Амирхан напечатал «Мою автобиографию» в приложении к первому изданию повести «Преосвященный Фатхулла».

Стр. 14. Э ф ё н д и — господин.

Стр. 15. Н а м а́ э — молитва у мусульман.

М а х д у́ м — обращение к сыну муллы.

«Х а м з а́» и «Г а ё́ н» — названия букв арабского алфавита.

Стр. 17. М е д р е с ё́ — духовная школа у мусульман.

К у м г а́ н — кувшин для омовения.

Х а л ь ф а́ — помощник учителя.

Стр. 18. М у д а р и́ с — преподаватель медресе.

Т э я м м и́ м — замена ритуала омовения другими действиями.

Стр. 19. Ш а р и а́ т — свод мусульманских религиозных и гражданских законов, основанных на Коране.

С э т р э́ — обязанность женщины закрывать лицо перед мужчинами.

«Х э к а е к ы́ э ш ь я́» — книга о природе, о материи.

Стр. 20. Т а ш м у х а м м ё́ д — один из псевдонимов Ф. Амирхана.

ТАТАРКА

Рассказ написан в 1909 году. Впервые опубликован на русском языке в 1959 году.

Здесь печатается по изданию: Ф а т и х А м и р х а н. Хаят. Казань, Татарское книжное издательство, 1968.

Стр. 26. М е х ё́ р — выкуп за невесту.

ГАЛИМДЖАН ИБРАГИМОВ (1887—1938)

Родился в деревне Султанмуратово Стерлитамакского уезда (ныне Аургазинский район Башкирской АССР) в семье муллы, снявшего с себя духовный сан и до конца дней занимавшегося хлебопашеством. До одиннадцати лет мальчик учился в сельской школе, потом семь лет в медресе в Оренбурге. За свободомыслие и решительную защиту новых идей был исключен из медресе. Вскоре уехал в Уфу и поступил в медресе «Галия́», известное своим либеральным направлением. В 1906 году за участие в революционном движении был арестован и исключен из медресе. Несмотря на крайнюю бедность и лишения, много и упорно занимался самообразованием, изучал русский язык и литературу.

Литературно-творческая деятельность Г. Ибрагимова началась в 1907 году. Его первый рассказ — «Изгнание из медресе шакирда Закия́» — был опубликован в газете «Эльисла́х». В ранних произведениях Ибрагимов выступал как

реалист-бытописатель. Он создал галерею неповторимых, своеобразных по индивидуальности типов бедных крестьян, пастухов, батраков, рабочих, шакирдов, обличая пороки имущего класса, осуждая социальную несправедливость.

Великую Октябрьскую социалистическую революцию Ибрагимов встретил с большим энтузиазмом. Весь свой талант он отдал активной пропаганде революционных идей. Он работал редактором журналов на татарском языке «Наш путь» и «Просвещение». На III Всероссийском съезде Советов в 1918 году был избран членом ВЦИК.

Произведения Ибрагимова переведены на многие языки народов СССР и оказали благотворное влияние на развитие художественной прозы башкир, казахов, туркмен, узбеков.

СТАРЫЙ БАТРАК

Рассказ написан в 1912 году. На русском языке впервые опубликован в 1957 году. Здесь печатается по изданию: Г. Ибрагимов. Чубарый. М., «Детская литература», 1971.

Стр. 31. Муэддзин — служитель мечети, созывающий мусульман на молитву.

Стр. 37. Уразá — пост у мусульман.

Стр. 42. Минарёт — башня на мечети, с которой муэддзин созывает мусульман на молитвы.

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

(1859—1916)

Настоящее имя — Шолом Но́хумович Рабинович.

Родился на Украине, в Переяславле. Детские годы провел в местечке Воронково, куда переехали родители. В тринадцать лет остался без матери и жил в большой разоренной семье. Первым его «произведением» был список проклятий, расточаемых мачехой, составленный в алфавитном порядке.

Мальчик учился в хедёре — религиозной начальной школе, — затем с отличием закончил Переяславское уездное училище. Юноша скитается по маленьким городам и местечкам, дает частные уроки и терпит бесконечные унижения. В 1877 году он поступил домашним учителем к богачу Лоеву, где встретился со своей будущей женой Ольгой Лоевой.

Печататься Шолом-Алейхем начал в 1879 году. Под первым рассказом подписался псевдонимом Шолом-Алейхем. Это еврейское приветствие, которым обмениваются при встрече простые люди; дословный перевод на русский язык: «Мир вам!»

Творчество писателя охватывает период от 70—80-х годов прошлого века до середины 1916 года. В его произведениях нашла отражение трагедия народных еврейских масс, скученных в нескольких губерниях бывшей Российской империи, в так называемой «черте оседлости». Персонажи Шолом-Алейхема ведут упорную борьбу за существование и не перестают мечтать о лучшей жизни. А если им пока плохо, они находят утешение в остром словечке, в шутке.

«Рассказы для детей» — подлинная поэзия, бьющая из чистейшего источника. Рассказ о детях под названием «Ножик» (1886) был первым произведением

писателя, обратившим на себя внимание критики. И всю дальнейшую жизнь писатель выступал как неутомимый защитник детей бедноты. Ребенок в его произведениях часто выглядит старше своих лет. Детские образы особенно оттеняют неприглядную жизнь взрослых. Рядом с ребенком Шолом-Алейхем часто ставит в своих произведениях музыканта, бродячего актера, народного комедианта.

Став после смерти тестя опекуном богатого наследства, Шолом-Алейхем переехал в Киев, занялся коммерческой деятельностью и по неопытности обанкротился. Он уехал за границу, побывал во Франции, Австро-Венгрии. Вернувшись на родину в 1891 году, поселился в Одессе. Революция 1905 года вызвала у Шолом-Алейхема самый горячий отклик. Он устанавливает контакты с Л. Толстым, А. Чеховым, М. Горьким, В. Короленко, А. Kupриным, Л. Андреевым. В октябре 1905 года Шолом-Алейхем пережил ужасы еврейского погрома в Киеве. Он уехал в Америку, а в 1907 году переехал в Женеву. В 1908 году вернулся в Россию, где был тепло встречен читателями. В начале 1913 года писатель тяжело заболел, и жил под наблюдением врачей в Германии, Швейцарии, Австрии, Италии. Весной 1914 года вновь приехал в Россию, где его вновь ожидал восторженный прием. Первая мировая война застала писателя в Германии, он был направлен германскими властями в нейтральную Данию, оттуда в Нью-Йорк. Чувство одиночества в чужой стране, усугубленное известием о гибели старшего сына, ускорило развитие болезни. Умер Шолом-Алейхем в Нью-Йорке.

Произведения Шолом-Алейхема переведены на многие языки.

СКРИПКА

Впервые опубликован в 1902 году в еврейском ежемесячном журнале «Ди юдише фамилие» («Еврейская семья») (Варшава). Здесь печатается по изданию: Шолом Алейхем. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 5, М., «Художественная литература», 1959.

Стр. 45. Реб — господин.

Стр. 47. Пе́йсы — бакенбарды.

Стр. 48. Тува́л - Каи́н, Ма́фусаи́л — библейские персонажи. Согласно библейской мифологии, первым человеком, игравшим на музыкальном инструменте, был Иувал. Безбородько спутал этот мифологический образ с другими персонажами.

Ца́рь Да́вид — библейский царь; по преданию, играл на музыкальном инструменте.

Стр. 50. К о р о б о ч н ы й с б о р — сбор в общину за позволение торговать вразноску, ходить с коробкой.

Стр. 51. Со́лила мя́со. — Законом еврейской религии запрещено есть мясо, из которого не удалена кровь, поэтому всякое мясо до варки должно быть как следует вымочено и просолено.

«Пе́снь пе́сней» — раздел Ветхого Завета в Библии.

Стр. 52. Ге́рр келермейстер! У те́бя на́иле́пший у́нгервейн! Не́ма та́ки ви́нэ·и́н Будапешт! — Господин виноторговец! У тебя наилучшее венгерское! Такого вина нет в Будапеште! (Смесь украинских, немецких и польских слов).

Стр. 53. Вши́стко е́дно, га́нц э́галь — все равно (польск., нем.).

Стр. 54. Ге́рбаты х́цешь? — Чаю хочешь? (польск.)

Стр. 55. Трѣфное — недозволенная религиозным законом пища.

Курю в субботу... — то есть нарушаю религиозный закон.

Стр. 56. Талмуд — собрание догматических, религиозно-этических правовых положений иудаизма.

МАРКО ВОВЧОК

(1833—1907)

Настоящее имя — Мария Александровна Вилинская-Маркович.

Родилась в селе Екатериновка, Елецкого уезда, Орловской губернии, в семье мелкопоместного русского дворянина. В 1845—1848 годах воспитывалась в частном пансионе в Харькове, потом жила в Орле. В 1851 году вышла замуж за Марковича, украинского фольклориста и этнографа, и уехала на Украину. Вместе с ним собирала произведения народного творчества, изучала быт крестьянства. В начале 1859 года жила в Петербурге, дружила с Шевченко, Чернышевским и их окружением. С 1859 до 1867 года жила за границей (в Германии, Швейцарии, Италии и главным образом во Франции), где встречалась с Герценом, Тургеневым, Ж. Верном, Флобером.

В конце 60-х, в 70-х и 90-х годах опубликовала большое количество переводов научных трудов и художественных произведений. В соавторстве с Писаревым перевела на русский язык «Жизнь животных» Брема и «Происхождение человека» Дарвина. Перевела также сказки Андерсена, пятнадцать романов Ж. Верна.

В 1878 году вынуждена была оставить Петербург и, по ее словам, скиталась по глухим углам провинции, следуя по местам службы своего второго мужа. В эти годы она издала собрание своих сочинений в семи томах (Саратов, 1896—1899).

В конце 80-х годов восстановила связь с Чернышевским, высоко ценившим ее талант. С глубоким сочувствием встретила революцию 1905 года. В 1906 году она поселилась на хуторе Долинском, близ Нальчика. Здесь прошли последние дни ее жизни.

ИНСТИТУТКА

Повесть написана в 1858 году. На русском языке опубликована в 1859 году в сборнике «Украинские народные рассказы»; на титульном листе этого издания указано, что перевод выполнен И. С. Тургеневым. Он же предпослал книге следующее предисловие:

«От переводчика.

Малороссийская читающая публика давно уже познакомилась с «Народными рассказами» Марка Вовчка, и имя его стало дорогим, домашним для всех его соотечественников. Чувствовалась потребность сделать его таким же и для великорусской публики, которая не могла быть вполне довольна появившимися переводами, носившими слишком явный отпечаток малороссийской речи. Взявшись удовлетворить этой потребности, пишуший эти строки поставил себе задачей — соблюсти в своем переводе чистоту и правильность родного языка и в то же время сохранить, по возможности, ту особую, наивную прелесть и поэтическую грацию, которою исполнены «Народные рассказы». Насколько удалась ему эта задача — в особенности ее вторая, труднейшая часть, — остается судить благосклонному читателю.

И. Т.

Март, 1859».

В дальнейшем в сочинениях Марко Вовчка повесть «Институтка» печаталась по тексту «Отечественных записок» (том 128-й, 1860), с восстановлением мест, вычеркнутых цензурой в главах XXXIV, XLI, XLIII. Здесь печатается по изданию: Марко Вовчок. Народные рассказы и сказки. М., Детгиз, 1954.

Стр. 59. Па́нна, па́нночка — барышня.

Стр. 63. До́брый — сударь, благодетель.

Па́ныч — молодой барин, барчонок.

Стр. 65. Па́щина — барщина.

Стр. 78. Бо́жничок (божница) — полка или киот с иконами.

Ко́жух — овчинный тулуп.

Гу́рт — здесь: общество, компания.

Стр. 79. О́ченьок — головной убор замужней женщины.

Стр. 81. Не б'є, не лає, та нічим не дбає — не бранится, не дерется и ни о чем не печется.

Стр. 85. Ма́ндрівочка — рідна тіточка — бродяжничество — что тетка родная.

Та все па́ні, та все ду́ки — и все паны, и все богачи.

Стр. 91. Крепа́к — крепостной.

Біс біду перебуде: одна мине, десять буде — бес горе переждет: одно минет — десять придет.

Стр. 94. Ка́нтоніст — солдатский сын, с рождения определенный к военной службе.

ИВАН ФРАНКО

(1856—1916)

Родился в семье кузнеца в селе Нагуевичи, ныне село Ивано-Франково, Дрогобычского района, Львовской области. В 1875 году поступил на философский факультет Львовского университета, принимал участие в работе студенческого «Академического кружка» и его журнала «Друг». В 1877 году был обвинен в принадлежности к тайной организации социалистов и подвергся по суду девятимесячному тюремному заключению. В 1878 году в содружестве с М. Павликом начал издавать журнал «Друг общества». Первые два номера сразу после выхода были конфискованы. Преследуемый властями, лишенный средств к существованию, Франко весной 1880 года выехал в провинцию, где был вторично арестован по обвинению в социалистической агитации среди крестьян. После предварительного тюремного заключения был отправлен по этапу в село Нагуевичи под надзор полиции.

В августе 1889 года арестован в третий раз. По выходе из тюрьмы занялся напряженной литературной, научной и общественно-политической работой. Завершив в 1891 году университетское образование, Франко работал в Вене над докторской диссертацией, которую блестяще защитил в 1893 году. Коллегия профессоров Львовского университета приняла единогласное решение о назначении Франко доцентом кафедры украинской литературы и этнографии. Но реакционные круги не допустили его к преподавательской деятельности. Во время выборов 1895, 1897 и 1898 годов в австрийский парламент и галицийский сейм

Франко выступал как крестьянский депутат. Но «мужицкий посол» не был допущен в органы власти.

В 1908 году состояние здоровья писателя резко ухудшилось, но он работал до последнего дня.

МАЛЕНЬКИЙ МИРОН

Рассказ написан в 1879 году. Опубликован в одном из наиболее полных прижизненных сборников рассказов И. Франко «В поте лица, картинки из жизни рабочих» (Львов, 1890). Здесь печатается по изданию: И в а н Ф р а н к о. Борислав смеется. Рассказы. М., «Художественная литература», БВЛ, серия вторая, т. 121.

По поводу рассказа «Маленький Мирон» и других своих рассказов о детях И. Франко писал впоследствии: «Они показывают в общих чертах ход воспитания крестьянского мальчика... начиная с первых проблесков собственного мышления и кончая старшими классами средней школы. Материалом послужили всюду мои личные воспоминания...» (Предисловие к сборнику «Маленький Мирон и другие рассказы», 1903). Франко, однако, тут же отмечал, что в этих рассказах, «кроме автобиографического элемента, имеются также определенные художественные задачи», и предостерегал от некритического использования их как источника для его биографии.

БОРИС ГРИНЧЕНКО

(1863—1910)

Псевдонимы: Васыль Чапченко, Ив. Перекати-поле и др.

Родился на хуторе Вильховий Яр на Харьковщине в семье мелкого помещика. Учился в Харьковском реальном училище, из которого был исключен в 1880 году за чтение нелегальной литературы. В 1884 году экстерном сдал экзамены на звание народного учителя и учительствовал в школах Змиевского и Сумского уездов. С 1894 года служил в Черниговском губернском земстве. Одновременно занимался литературной и издательской деятельностью. Гринченко был редактором словаря украинского языка в четырех томах, вышедшего в 1907—1909 годах в Киеве.

В рассказах и повестях Гринченко изображал тяжелую жизнь крестьянства, острую классовую борьбу в деревне, невыносимые условия работы на шахтах. Писатель отстаивал дружбу украинского и русского народов, гневно осудил кровавую расправу царизма над безоружными рабочими 9 января 1905 года. Умер он в Италии, его останки перевезены и погребены в Киеве.

ОТЕЦ И ДОЧЬ

Рассказ написан в 1893 году. Опубликован в Собрании сочинений (Киев, 1903—1905). Здесь печатается по изданию: Б о р и с Г р и н ч е н к о. Без хлеба. М., Детгиз, 1960.

Стр. 121. Ш т ё й г е р — мастер, ведающий рудничными работами.

СТЕПАН ВАСИЛЬЧЕНКО

(1879—1932)

Настоящее имя — Панасё́нко Степан Васильевич.

Родился в семье деревенского сапожника в местечке Ичня на Черниговщине. В 1898 году окончил Коростышевскую учительскую семинарию. Был учителем в селе Потоки на Киевщине. Подвергался преследованиям за выступления против местных властей. В 1904 году поступил в Глуховский учительский институт, но оставил его и поехал учительствовать в Донбасс. За революционную агитацию среди крестьян в 1906 году был арестован. После выхода из тюрьмы в 1908 году жил частными уроками, литературной работой. В годы первой мировой войны был на фронте. Писать начал в 1910 году. Основные образы и темы Васильченко брал из жизни крестьян и сельской интеллигенции. После Великой Октябрьской социалистической революции Васильченко учительствовал в Киеве.

СВЕКОР

Рассказ написан в 1911 году. Впервые опубликован в 1915 году в сборнике С. Васильченко «Рассказы» (Киев, издательство «Вік»). Здесь печатается по изданию: Степан Васильченко. Над Росью. М., «Художественная литература», 1979.

В советское время автор инсценировал рассказ «Свекор» для школьного драматического кружка, которым он руководил.

ТЕТКА

(1876—1916)

Настоящее имя — Элоиза Степановна Пашкевич.

Родилась в крестьянской семье в деревне Пещина бывшего Лидского уезда Виленской губернии. В 1902 году закончила неполную гимназию, затем общеобразовательные курсы Лесгафта в Петербурге. В 1905 году переехала в Вильно и участвовала в революционных событиях. Ее первые стихи печатались как листовки и прокламации. Спасаясь от репрессий, в конце 1905 года уехала в Галицию. Летом 1906 года вернулась в Вильно и снова включилась в революционную работу. Принимала участие в издании первой легальной белорусской газеты «Наша доля». В № 1 напечатано ее первое прозаическое произведение «Клятва над кровавыми межами». В конце 1906 года Тетка снова эмигрировала в Галицию. Четыре года занималась в Львовском университете. В 1911 году вернулась в Вильно, где издавала журнал для молодежи «Лучинка», сотрудничала в газете «Наша ніва». В годы первой мировой войны была сестрой милосердия.

НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО

Рассказ написан в 1907—1908 годах. Впервые опубликован в 1914 году в журнале для молодежи «Лучинка». Здесь печатается по изданию: Тетка. Избранное. М., «Художественная литература», 1976.

Стр. 126. Коля́ды — рождественское обрядовое гулянье с песнями.

Монопо́лька — винная лавка.

МИХАСЬКА

Рассказ написан в 1914 году. Впервые опубликован в 1914 году в журнале для молодежи «Лучинка». Здесь печатается по изданию: Т е т к а. Избранное. М., «Художественная литература», 1976.

ЯКУБ КОЛАС

(1882—1956)

Настоящее имя — Константин Михайлович Мицкевич.

Родился на хуторе Акчинцы, Ново-Свержанской волости, Минской губернии, в семье лесника. В 1894 году окончил народную школу, в 1902-м — Несвижскую учительскую семинарию. Работал учителем на Пинщине, где его застала революция 1905 года. За революционную работу среди крестьян и участие в нелегальном учительском съезде Виленская судебная палата приговорила Якуба Коласа к заключению, которое он отбывал в Минской тюрьме с 1908 по 1911 год. В 1912—1914 годах был учителем приходской школы в Пинске. В 1915 эвакуировался с семьей в Московскую губернию и стал учителем в Дмитровском уезде. В том же году был мобилизован в армию. В 1918-м — демобилизовался, снова работал учителем, затем школьным инспектором в городе Обоянь Курской губернии. В мае 1921 года переехал в Минск, включился в культурную жизнь республики, сочетая литературную работу с большой общественной, государственной и научно-педагогической деятельностью.

БУНТ

Рассказ написан в 1907 году. Опубликован в сборнике «Рассказы» (1912). Здесь печатается по изданию: Я к у б К о л а с. На широкий простор. М., Детгиз, 1960.

Стр. 134. М о р г — мера земли, около гектара.

ВАСИЛЬ ЧУРИЛА

Рассказ написан в 1907 году. Опубликован в сборнике «Рассказы» (1912). Здесь печатается по изданию: Я к у б К о л а с. На широкий простор. М., Детгиз, 1960.

ДАР НЕМАНА

Рассказ написан в 1912 году. Опубликован в сборнике «Родные образы» (1914). Здесь печатается по изданию: Я к у б К о л а с. На широкий простор. М., Детгиз, 1960.

Стр. 150. «Р о с а́» — традиционное весеннее гулянье крестьянских девушек в старой Белоруссии.

Стр. 192. К о п ц ы́ — межевые знаки: столбы, вкопанные в землю.

СИРОТА ЮРКА

Рассказ написан в 1914 году, опубликован в сборнике «Родные образы» (1914). Здесь печатается по изданию: Я к у б К о л а с. На широкий простор. М., Детгиз, 1960.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Рассказ написан в 1915 году, когда Колас эвакуировался в Московскую губернию. Здесь печатается по изданию: Я к у б К о л а с. На широкий простор. М., Детгиз, 1960.

ЗМИТРОК БЯДУЛЯ

(1886—1941)

Настоящее имя — Самуил Плавник. Псевдоним в стихах — Ясака́р. Бядуля в переводе с белорусского — бедняк горемыка.

Родился в местечке Посадец, Виленского уезда, Виленской губернии, в еврейской семье. Дед его — ремесленник-котельщик, отец — мелкий лесопромышленник. Детство и отрочество прошло в мертвящей атмосфере еврейской духовной школы, откуда он бежал пятнадцати лет и вскоре поступил на лесоразработки. Здесь, на лоне природы, в почти одинаковых условиях с белорусскими крестьянами-лесорубами, он провел свою юность. Начал писать уже на тринадцатом году жизни, преимущественно на библейские темы. Под влиянием белорусской народной стихии, окружавшей его, он в дальнейшем творчестве обращается исключительно к белорусскому языку, резко меняет тематику, стиль. В 1910 году в газете «Наша ніва» напечатано первое произведение Бядули.

НА РОЖДЕСТВО К СЫНУ

Рассказ написан в 1913 году. Впервые опубликован в сборнике «Калядная пісанка» в 1913 году. Здесь печатается по изданию: З м и т р о к Б я д у л я. В дремучих лесах. М., «Художественная литература», 1975.

Стр. 171. Ф у р м а́ н к а — повозка, малая фура.

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА

Рассказ написан в 1914 году. Впервые опубликован 15 и 16 апреля 1920 года в № 78 и 79 газеты «Беларусь». Здесь печатается по изданию: З м и т р о к Б я д у л я. В дремучих лесах. М., «Художественная литература», 1975.

Стр. 173. Т р у ш а́ н к а — сено, смешанное с соломой.

Стр. 174. С т а в о́ к — пруд, запруда.

Стр. 176. Ф о л ь в а́ р к — небольшая усадьба.

Стр. 177. В о л о ч о́ б н и к — пасхальный поздравитель.

ЛЕТОПИСЦЫ

Рассказ написан в 1914 году. Первая редакция опубликована 25 сентября и 2 октября 1914 года в № 38 и 39 газеты «Наша ніва». Вторая редакция опубликована в сборнике «На пройдзеных сцежках». Здесь печатается по изданию: З м и т р о к Б я д у л я. В дремучих лесах. М., «Художественная литература», 1975.

Стр. 178. П у́ н я — сарай для хранения соломы.

ИБРАЙ (ИБРАГИМ) АЛТЫНСАРИН

(1841—1889)

Родился в Затобольском районе Кустанайской области. Трех лет лишился отца и находился на попечении деда — бия Балхожи Жанбуршина, служившего в то время войсковым старшиной в Оренбургской пограничной комиссии. Успешно закончив русскую школу в Оренбурге, он около трех лет — с 1857 по 1860 год — работал сначала писарем у своего деда, а затем в Оренбургском областном управлении в качестве младшего толмача (переводчика). В это время Алтынсарин упорно занимается самообразованием, читает русскую и зарубежную литературу, дружит с известным востоковедом профессором В. В. Григорьевым. В 1860 году областное управление поручило ему открыть начальную школу для казахских детей в Оренбургском укреплении (Тургай). В учебную программу школы были включены русский язык, чистописание, арифметика, татарский язык, мусульманское вероучение и составление деловых бумаг на русском языке. Алтынсарин был назначен учителем русского языка этой школы.

С 1879 года и до конца жизни Алтынсарин служил инспектором казахских школ Тургайской губернии. Его усилиями было открыто семь начальных волостных школ и четыре двухклассных училища для казахов, в том числе первые школы для девочек с преподаванием на казахском языке, а в 1883 году в Орске при его участии была открыта казахская учительская школа.

Убежденный сторонник содружества русского и казахского народов, Алтынсарин пропагандировал демократическую русскую литературу, используя педагогический опыт К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Н. А. Корфа. Много внимания он уделял составлению учебников. Основной его труд — «Киргизская хрестоматия» (составлена по образцу «Детского мира» К. Д. Ушинского и учебных пособий других классиков русской педагогики) — издан на казахском языке и с новым казахским алфавитом на основе русской графики. На разработку казахского алфавита И. Алтынсарин потратил около трех лет. По «Киргизской хрестоматии» Алтынсарина учились почти все казахи, получившие образование до революции. Сочиненные Алтынсариным стихи и рассказы положили начало развитию детской литературы.

Рассказы, публикуемые в настоящем томе, впервые напечатаны в «Киргизской хрестоматии». Здесь печатаются по изданию: И. А л т ы н с а р и н. Избранные произведения. Алма-Ата. Издательство Академии наук Казахской ССР, 1957.

СЫН БАЯ И СЫН БЕДНЯКА

ПИСЬМА УЧЕНИКОВ К РОДНЫМ

ПАРШИВЫЙ МАЛЬЧИК

Рассказы написаны в 1877 и 1878 годах для учащихся русско-киргизских школ.

Стр. 186. Ч а п а́ н — халат.

Стр. 188. С у ю н ш и́ — подарок за радостную весть.

Стр. 190. Паршивый мальчик — герой народных сказок, обыкновенно забитый мальчик, часто сирота.

Стр. 191. Мясо с берцовой кости. — Берцовую кость давали усыновляемому на празднике в честь усыновления.

Стр. 192. Чумбур (чембур) — повод уздечки.

Стр. 193. Шырэк — деревянный круг, прикрывающий отверстие в верхней части юрты.

ЖИРЕНШЕ ШЕШЕН

МУДРЕЦ ЛУКБАН

Сюжетная основа этих рассказов взята Алтынсариным из устного народного творчества. Рассказы написаны между 1870 и 1878 годами.

Стр. 193. Шешен — красноречивый.

Шанаш — кожаный мешочек для сухих продуктов.

Стр. 194. Коже — похлебка из пшеницы, ячменя или проса.

Ханым (ханум) — женщина, госпожа. Здесь: жена хана.

Стр. 195. Бий — титул приближенных эмирского двора.

Кошма — войлок из овечьей шерсти.

Стр. 196. Лукбан (Лукман) — легендарный арабский врач и мудрец.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

МУДРЫЙ СУДЬЯ

УПОТРЕБЛЕНИЕ БОГАТСТВА НА ПОЛЬЗУ

Сюжеты этих рассказов восходят к сказаниям многих европейских и восточных народов. Алтынсариным они взяты из четырех русских книг для чтения Л. Н. Толстого. Учитывая особенность психологии казахских детей, автор творчески переработал и передал содержание рассказов простым и доходчивым казахским литературным языком, понятным начинающему читателю, в первую очередь учащимся русско-киргизских школ. Алтынсарин создавал свои дидактические детские рассказы, заимствуя лишь сюжетные основы для них у русских классиков. В этом отношении характерен рассказ «Употребление богатства на пользу». Сюжетная основа его заимствована из рассказа Л. Н. Толстого «Петр I и мужик», опубликованного в «Азбуке».

Стр. 198. Казы — судья.

ОТЕЦ И СЫН

Один из серии дидактических рассказов, заимствованных Алтынсариным из учебника прогрессивного русского педагога XIX века И. И. Паульсона «Книга для чтения и практических упражнений в русском языке».

ЧИСТЫЙ РОДНИК

Сюжет этого рассказа, как и ряда других, взят Алтынсариным из различных книг русских народных сказок и былин.

И Л Ь Я Ч А В Ч А В А Д З Е

(1837—1907)

Родился в княжеской семье в селении Кваре́ли. До 1847 года жил в деревне, воспитывался у сельского дьячка, затем два года учился в частном пансионе в Тифлисе, в 1849—1857 годах — в гимназии. В 1857 году поступил в Петербургский университет. В 1861 году Чавчавадзе, принимавший участие в студенческих выступлениях против установленных правительством в университете порядков, вынужден был уехать на родину, где возглавил революционно-демократическое направление грузинской литературы. С 1864 года он сочетает литературную деятельность со службой в государственных и общественных учреждениях. Он состоял членом комиссии, которая занималась урегулированием отношений между дворянством и крестьянством в связи с реформой 1861 года, служил мировым судьей. С 1874 по 1905 годы стоял во главе дворянского банка в Тбилиси. Многие годы Чавчавадзе был председателем общества по распространению грамотности среди грузин. В 1906 году был избран членом Государственного совета, некоторое время жил в Петербурге. В 1877 году под редакцией Чавчавадзе начали выходить сначала журнал, а потом газета «Иверия». Чавчавадзе постоянно находился под надзором полиции. Многие его произведения были запрещены цензурой. Он выступал как прозаик и поэт; обогатил грузинский литературный язык народными речениями и образами.

Убит наемниками царской охраны.

РАССКАЗ НИЩЕГО

Первый, неоконченный вариант повести написан в 1859 году. В 1862 году автор доработал первую часть (I—IV главы) повести и опубликовал в журнале «Сакартвелос Моамбе», 1863, № 1. Вторая часть дописана значительно позже, в декабре — январе 1872—1873 годов. Целиком произведение впервые опубликовано в журнале «Кребули», 1873, № 1—3. Здесь печатается по изданию: И л ь я Ч а в ч а в а д з е. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1950.

Стр. 203. На́рды — восточная игра. Игроки кидают кости и согласно выпавшему числу очков передвигают шашки на особой доске.

Ша́ши — шесть, наиболее выигрышное число очков.

Стр. 205. Сама́нник — плетеный сарай, хранилище самана — мякины и соломы.

Ше́ни чи́рме — ласковое обращение, дословно: «Твои беды мне».

Стр. 208. Ба́тоно — господин, сударь.

Стр. 210. ...Реши́л отпра́виться в го́род... — Го́род — употребляется в Грузии как имя собственное города Тбилиси.

Га́брушки — ласкательное от Габри́ел.

Стр. 211. Тума́н — десять рублей.

Стр. 212. Ра́чийнец — то есть уроженец Рачи. Ра́ча — горный район Западной Грузии в верховьях реки Рион.

Ага́ — господин.

Стр. 213. ...То́гда бы и соба́ка на мою судьбу не зала́яла. — Смысл выражения: «Был бы я счастлив, все было бы мне нипочем».

Стр. 216. Кац ó (от «ка́ци» — человек) — распространенное в Грузии обращение — «человече».

Шéни к в нé с а м е — ласковое обращение; дословно: «Твой стон мне».

Стр. 217. ...О т к у д а д а к у д а, с в я т о й С а б а — присловие, употребляемое в разговоре, когда хотят показать невозможность добиться чего-либо или добраться куда-нибудь; указание на несоизмеримость желаемого и возможного.

Стр. 219. Б и ч ó — мальчик, малый.

Стр. 220. В о т т е б е м а й д а н, в о т и м я ч. — В Грузии издавна распространена игра в мяч. Играют на поляне или площади (майдане). Смысл приведенной поговорки: «Все в твоей власти».

Стр. 224. Т а м а́ р — царица Грузии, царствовала с 1189 по 1213 год.

И с т а л а с т о л п о м н а ш е й о т ч и з н ы. — В оригинале: «деда-ка́ци» — «женщина»; «дедабóдзи» — «столп»; игра слов, построенная на смысловой и звуковой общности первых слогов («деда́» — «мать»).

Стр. 226. М у т а́ к а — мягкий диванный валик.

Стр. 233. А в т а и д í л, Ш е р м а д í н — герои поэмы Руставели.

Ш а п к о ю т е б е н е б о, а з е м л я т е б е к а л а м а н и. — К а л а м а́ н и — крестьянская обувь; смысл выражения: «Когда ты свободен».

Стр. 240. З е л е н а я в е т в ь — символ доброй вести. Имеется в виду оливковая ветвь. По библейской легенде, во время потопа Ной выпустил из ковчега голубя, чтобы узнать, ушла ли вода. Голубь возвратился в ковчег с оливковой веткой.

Стр. 242. Ч ó х а — мужская одежда, вид черкески со стоячим воротником и рукавами до локтя; подпоясывается кушаком.

Стр. 243. Д ` е р е п а́ н и — крытая веранда по всему фасаду одноэтажного здания.

Стр. 251. Д и а н б é г и — становой пристав.

Ф р и д ó н — один из героев поэмы Руставели, друг Автандила и Тариэла.

Стр. 256. П е ш к é ш — подарок.

Стр. 257. «О т ы м а е ш ь у б о г а т о г о, о т д а е ш ь б е д н я к у — г о с п о д ь в р я д л и о с у д и т т е б я» — слова из народной «Песни об Арсене» — Арсене Одзелашвили, знаменитом предводителе карталинских крестьян, выступивших против угнетателей в первой половине XIX века.

Стр. 259. Д у х а́ н — харчевня.

М е д у́ к н е — хозяин духана, лавки.

Стр. 260. А в л а б а́ р — старая часть Тбилиси на левом берегу Куры. До революции Авлабар был известен своими духанами и притонами.

Д Ж А Л И Л М А М Е Д К У Л И З А Д Е

(1866—1932)

Печатался и под псевдонимом Молла Насреддин.

Родился в одном из древнейших городов Азербайджана — Нахичевани-на-Араксе. В детстве изучал персидский и арабский языки, Коран. Поступил в городское училище, где преподавание велось на русском языке. Впоследствии учился в Закавказской горийской учительской семинарии. После ее окончания около десяти лет (1887—1897) преподавал в учебных заведениях Эриванской

губернии, а также в селении Нёгра близ Нахичевани. В эти же годы начал писать рассказы.

В начале века Мамедкулизаде переехал в Тифлис, где познакомился с передовыми деятелями культуры, стал сотрудником газеты «Русский Восток». Большую часть жизни посвятил журналу «Молла Насреддин»; вел большую работу по внедрению нового латинизированного алфавита, принятого взамен арабского, редактировал первую газету на этом алфавите («Новый путь»).

Мамедкулизаде развил многие лучшие традиции родной литературы, а также русской классики. Рассказ «Курбанали-бек», в котором использована фабула гоголевской «Коляски», — замечательный пример творческого воздействия Гоголя на азербайджанскую литературу. Исследователи называют Мамедкулизаде «первым в азербайджанской литературе крестьянским писателем, выразителем надежд и чаяний крестьянских масс».

КУРБАНАЛИ-БЕК

Рассказ написан в 1907 году. В том же году он впервые опубликован — вышел отдельной книжкой. Здесь печатается по изданию: Д ж. М а м е д к у л и з а д е. Почтовый ящик. М., «Детская литература», 1966.

Стр. 267. П а л а́с — безворсовый тканый ковер.

Б е к — дворянин.

К а п а з л ы́ — вымышленное название деревни, означает «подавленный», «забитый».

Стр. 268. К е р б е л а́й — почетный титул человека, посетившего паломником город Кербелу в Иране, где похоронены чтимые мусульманами святые — имамы.

Стр. 269. П р и м и т е в д а р.— В ответ на похвалу начальника Курбанали-бек, по старому обычаю, предлагает принять от него в дар понравившегося коня.

Я с б р е ю с в о и у с ы.— Сбритые усы — признак бесчестья.

Стр. 270. З у р н а́ — народный духовой инструмент, напоминающий гобой.

К а й м а́к — густая сметана.

Стр. 271. У з у н д а р а́ — танец.

Стр. 278. Б о з б а́ш — азербайджанское блюдо из баранины.

ЛЕД

Здесь печатается по изданию: Д ж. М а м е д к у л и з а д е. Почтовый ящик. М., «Детская литература», 1966.

СУЛЕЙМАН САНИ АХУНДОВ

(1875—1939)

Родился в городе Шуша. Окончил Горийскую учительскую семинарию, до конца жизни вел педагогическую работу. Один из первых советских драматургов Азербайджана. Автор пьес, учебников, рассказов, он принес в азербайджанскую литературу, особенно драматургию, новые революционные темы и образы, критиковал ложные воззрения, призывал к борьбе против эксплуататорских классов. Основная тема рассказов — обличение буржуазно-помещичьего строя, революционный подъем крестьянства. Известен и как автор сказок.

ЧЕРНУШКА

Повесть написана в 1908 году, опубликована в 1913 году в журнале «Мектеб» (издавался в Баку). В этом же журнале был впервые напечатан весь цикл «Страшные рассказы». Цикл был восторженно встречен юными читателями. Доктор филологических наук Мамед Ариф Дадашзаде, вспоминая впечатление, произведенное на него в детстве «Страшными рассказами», пишет: «Помню хорошо 1912—1913 годы. Мы с величайшим трепетом и нетерпением ожидали каждый номер журнала «Мектеб»... Для нас, школьников, только что научившихся читать и писать, он был настоящим источником духовной пищи. Печатавшиеся в журнале по частям под общим заголовком «Страшные рассказы» «Чернушка» и «Нуреддин» завоевали горячую любовь всех школьников».

Здесь повесть «Чернушка» печатается по изданию: С. С. Ахундов. Страшные рассказы. Баку, Детюниздат, 1958.

ЖЕМАЙТЕ

(1845—1921)

Настоящее имя — Юлия Бенюшявичюте — Жимантене.

Родилась в северо-западной части Литвы — Жемайтии — в обедневшей дворянской семье. Грамоте училась у своей родственницы — помещицы, у которой несколько лет жила и работала. В 1865 году против воли родителей вышла замуж за бывшего крепостного, участника восстания 1863 года Л. Жимантаса. Вместе с мужем занималась сельским хозяйством, арендуя землю. Семья испытывала постоянную горькую нужду угнетаемого царизмом и капитализмом литовского крестьянина. Писать Жемайте начала поздно. Ее первый рассказ был напечатан в литовском календаре за 1894 год. За несколько лет она написала свои лучшие рассказы, занявшие выдающееся место в литовской литературе. После переезда в 1911 году в Вильнюс активно участвовала в общественной жизни. В 1916 году, во время первой мировой войны, Жемайте поехала в Соединенные Штаты Америки собирать средства у литовцев-эмигрантов для оказания помощи жертвам войны. Вернулась в Литву в начале 1921 года.

Творчество Жемайте глубоко патриотично. Рассказы ее написаны живым, богатым народным языком, сохранившим особенности жемайтйского наречия.

ЛЕНТЯЙКА

Рассказ написан в 1902 году. Опубликован в сочинениях Жемайте в 1914 году (Каунас). На русском языке впервые опубликован в журнале «Современник» в 1913 году. Здесь печатается по изданию: Жемайте. Избранные сочинения. М., Гослитиздат, 1952.

Стр. 315. О р д и н а́ р и я — оплата натурой работы батрака на помещика.
К л у́ м п ы — деревянные башмаки.

НЕСЧАСТНЫЕ ДЕТИ

Рассказ написан в 1903 году. Опубликован в сочинениях Жемайте в 1914 году (Каунас). На русском языке впервые напечатан в 1913 году в журнале «Совре-

менник». Здесь печатается по изданию: *Жемайте. Сноха*. Вильнюс, «Вага», 1966.

Стр. 319. *Пу́ра* — мера объема сыпучих тел (около 20 литров).

ИЗ-ЗА ПОКУПОК

Рассказ написан в 1909 году. Опубликован в сочинениях Жемайте в 1913 году (Каунас). На русском языке впервые опубликован в 1913 году в журнале «Современник». Здесь печатается по изданию: *Жемайте. Избранные сочинения*. М., Гослитиздат, 1952.

Стр. 324. *Черка́с* — верхняя одежда из домотканой шерсти, сукна.

Са́рпінка — полосатая и клетчатая хлопчатобумажная ткань; изготовлялась в Сарепте Саратовской губернии, расположенном на реке Са́рпа (отсюда и название ткани).

ПЯТРАС ЦВИРКА

(1909—1947)

Родился в крестьянской семье в деревне Кля́нгяй, ныне Юрба́ркского района Литовской ССР. В 1926 году окончил Вилькийскую прогимназию, до 1930 года учился в Каунасском художественном училище. В 1931—1932 годах в Париже изучал литературу и искусство. В 1930—1931 годах активно сотрудничал в антифашистском литературном журнале «Тря́чяс Фро́нтас» («Третий фронт»). После свержения буржуазного режима в Литве в 1940 году был избран депутатом Народного сейма. В 1941 году эвакуировался в глубь страны. Жил в Москве, Алма-Ате.

Печататься начал в 1924 году. Цвирка известен не только как романист, но и как автор рассказов для детей и юношества, нескольких сборников сказок. Писал также очерки, юмористические рассказы, памфлеты, статьи о литературе. Прекрасный стилист, знаток родного языка, он сделал один из решающих вкладов в становление литовской советской литературы.

САХАРНЫЕ БАРАШКИ

Рассказ написан в 1935 году. Впервые в том же году опубликован в сборнике «Сахарные барашки». Здесь печатается по изданию: *Пятрас Цвирка. Сахарные барашки*. М., «Детская литература», 1969.

Стр. 338. *Этих птиц называют скворцами*. — По-литовски, «скворец» («шнеку́тис») значит также «говорун», «болтун».

ЙОНАС БИЛЮНАС

(1879—1907)

Родился в деревне Нью́роняй (ныне Аникшчяйский район Литовской ССР) в семье крестьянина. Учился в городе Ли́епая и в Дерптском университете, откуда был исключен за революционную деятельность. В 1903 году уехал за границу, учился в Лейпциге, Цюрихе. Впервые выступил в печати в 1898 году. Первым в литовской литературе начал изображать рабочих, рост их классового сознания. Рассказы Билюнаса отличаются тонким, воссозданием внутренней жизни человека, лиризмом.

Умер Билюнас в Закопане (Польша). Его прах в 1953 году был перевезен в Литву.

БЕГЛЕЦ

Рассказ написан в 1904 году. Опубликован в книге рассказов писателя в 1913 году. Здесь печатается по изданию: Йонас Билюнас. Рассказы. М., «Художественная литература», 1979.

КОНЕЦ БРИСЮСА

Рассказ написан в 1906 году. Интенсивная работа и постоянная борьба с нуждой рано подорвали слабое от рождения здоровье Билюнаса. Сознание приближающейся смерти и вновь вспыхивающая надежда — этими настроениями проникнуты некоторые его миниатюры, в том числе «Конец Брисюса». Здесь рассказ печатается по изданию: Йонас Билюнас. Светоч счастья. Вильнюс. «Вага», 1964.

Стр. 357. Кострик — отходы после обработки льна и конопли.

ЙОН КРЯНГЭ

(1837—1889)

Родился в крестьянской семье в селе Хумулэшти Нямецкого уезда. В 1855 году поступил в духовную семинарию в Яссах. Был посвящен в сан дьякона. В 1865 году окончил педагогические курсы, был народным учителем. Вопреки предписаниям церковного устава Крянгэ посещал театр, выступал на политических собраниях сторонников социалистического направления. Вследствие острых конфликтов с церковными властями в 1872 году был лишен сана, удален из школы (восстановлен в 1874 году). После знакомства в 1875 году с поэтом М. Эминеску Крянгэ стал посещать литературное общество «Молодежь» и по совету поэта начал писать. В том же году опубликовал первую сказку. В дальнейшем увлекся этим видом литературы. В своих сказках Крянгэ непринужденно и весело высмеивает грубую силу угнетателей, лицемерие церковников, народные суеверия. Его стиль, богатый народными идиомами, юмористическими контрастными сопоставлениями, критики иногда сравнивали со стилем Рабле.

С 1867 года несколько лет Крянгэ преподавал в начальной школе. Примерно в это же время возникает авторский коллектив, который начинает создавать учебники для начальной школы. Душой этого коллектива был Крянгэ. Он редактирует большинство книг.

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

Повесть написана в 1880—1883 годах. Часть первая впервые опубликована в журнале «Конворбиль литераре», XIV, 10, 1 января 1881 года; вторая — XV, 1, 1 апреля 1881 года; часть третья — в «Конворбиль литераре», XV, 12, 1 марта 1882 года; часть четвертая впервые напечатана в Ясском издании (1892, том III). Здесь публикуется с сокращениями (без части III) по изданию: Йон Крянгэ. Избранное. Кишинев, «Литература артистикэ», 1977.

Первые три главы «Воспоминаний...» Крянгэ пишет в сравнительно короткий срок и только четвертую не успевает подготовить к печати из-за ухудшения состоя-

ния здоровья. Видимо, ему хотелось еще раз вернуться к ней, внести кое-какие поправки и дополнения. Но в общих чертах она имеет, по всей вероятности, ту форму, которую хотел ей придать автор.

Стр. 361. Ч а с о с л о в — церковно-богослужебная книга.

Стр. 364. П л а ч и н т а — молдавский пирог с различной начинкой.

А л е к с а н д р и я — народное сказание об Александре Македонском.

Л о г о ф е т — учитель, преподаватель.

Стр. 366. С о р к о в е ц — мелкая монета, имевшая хождение в Молдавии.

Стр. 368. З а в е р а — восстание греков против турецкого ига в 1821 году.

Стр. 370. М а м а л ы г а — кукурузная каша.

Стр. 377. Х о д и т ь с п л у г о м — молдавский старинный обычай.

С д е л а т ь «б ы к а». — «Б ы к» — в данном случае бочонок с натянутой на нем воловьей шкурой. Использовался во время колядок для имитации бычьего рева.

К у к о л ь — небольшая копна.

Стр. 380. И ц а́ р ы — крестьянские узкие брюки.

Стр. 381. П р э ж и́ н а — устаревшая мера длины (около 6 метров).

Стр. 383. П а́ п к а — небольшая мотыга.

Стр. 392. М е ч д у х о в н ы й — имеется в виду монашеский посох.

П и ч о́ р у л Р э́ у — злая нога.

К э р а́ р я А ф у р и с и́ т э — проклятая тропинка.

Э Д Ж У С С У Д Р А Б У

(1860—1941)

Настоящее имя — Эдуард Эйлбер.

Родился на хуторе Сили́ни в окрестностях Эргли Меньгёльской волости в семье сельского учителя. Учился в Мадлиёнской приходской, Адерка́шской православной приходской школах, в Прибалтийской учительской семинарии в Риге. Долгие годы работал учителем в Латвии. Спасаясь от карательной экспедиции, Э. Судрабу, как участник революции 1905 года, вынужден был покинуть родину и учительствовал в Уфе, Нижнем Тагиле, в Прибайкалье, на Кавказе. Одиннадцать лет работал учителем в Баку. С 1924 года жил в Москве. Литературную деятельность начал в 1880 году переводами из М. Лермонтова; в 90-е годы много переводил из Л. Толстого, Н. Гоголя, В. Гаршина, А. Чехова.

Судрабу был одним из пионеров латышской детской и юношеской литературы.

ИНГА

Рассказ написан примерно в 1900 году. Впервые опубликован на русском языке в 1948 году. Здесь печатается по изданию: Э д ж у с С у д р а б у. Шальной Даука. М.-Л., Детгиз, 1948.

Стр. 404. П у́ т р а — жидкая каша из ячневой крупы.

Э. Б И Р З Н И Е К - У П И Т

(1871—1960)

Настоящее имя — Эрнест Бирзние́к.

Родился на хуторе Бисни́еки под Ту́кумсом в семье крестьянина-арендатора.

В детстве лишился отца, рано познал трудовую жизнь. Учился в Дзирццёмской волостной школе, в Тукумской городской школе. В качестве домашнего учителя уехал в Закавказье (Дагестан и Азербайджан), где прожил более двадцати лет. Был также библиотекарем, заведовал школой. В 1921 году возвратился в Латвию. Работал в библиотеках Риги, сотрудничал с известным прогрессивным издателем детской литературы А. Ессеном. Писать начал в 80-е годы под влиянием латышского фольклора. В 1891 году опубликовал первый рассказ — это и стало началом его литературного творчества.

СКАЙДРИТЕ И ДЕДУШКА

Рассказ написан в 1926 году. В том же году опубликован впервые на латышском языке. На русском впервые напечатан в 1952 году. Здесь печатается по изданию: Э. Б и р з н и е к - У п и т. Избранные рассказы. М., Детгиз, 1952.

Стр. 428. Д у б ы — бумажные деньги сторублевого достоинства с изображением дуба, имевшие крайне низкую покупательную ценность.

Л а т — равняется приблизительно рублю.

АХМАД ДОНИШ

(Приблизительно 1826—29—1897)

Настоящее имя — Дони́ш Ахма́д-махдúм ибн Носи́р.

Родился в Бухаре в семье бедного муллы. Его родители были образованными людьми, но материально им жилось трудно. Еще ребенком Ахмад Дониш от матери научился грамоте и рано пристрастился к книгам. Девяти лет отец отдал мальчика в школу, чтобы он выучил Коран и получил звание корí — чтеца Корана. «Своим детским умом,— писал позднее Дониш,— я чувствовал, что это бесполезная трата труда. Я видел, что чтец Корана способен лишь обучать детей... Я думал: «Зачем меня вынуждают заниматься этим? Ведь конечный результат — только гвалт детей и обязанность колотить их». По совету отца Дониш поступил в медресе. Тишина и покой келий медресе дали ему возможность самостоятельно изучить историю, литературу, астрономию, геометрию, изобразительное искусство, музыку по трудам восточных ученых и философов.

С детства Ахмад Дониш увлекался каллиграфией и рисованием. В годы учения в медресе эти занятия стали для него основными источниками пропитания.

Незаурядные способности молодого Дониша не могли остаться незамеченными. Дониш был рекомендован на придворную службу. Это было в начале 50-х годов, когда ему было не более 24—25 лет. Поначалу, как пишет сам Дониш, он выполнял при дворе обязанности каллиграфа и художника. Однако вскоре в придворном кругу стало известно о больших способностях Ахмада и в других науках, что принесло ему еще большее уважение.

В политической жизни Бухарского ханства этот период ознаменовался дальнейшим расширением благоприятных и дружественных отношений с царской Россией. В 1857 году эмир Насрулло́ направил в Петербург делегацию, имевшую полномочия посольства. Ахмад Дониш был включен в состав делегации в качестве секретаря. Помимо этого ему было поручено изучить жизнь и государственное устройство России. Бухарские послы прибыли в Петербург 9 января 1857 года и оставались там до 11—12 января 1858 года.

После подписания мирного договора 1868 года новый эмир — Музаффар — направляет в Петербург свое посольство, в состав которого снова включен Дониш. Прибыв в Петербург 2—3 ноября 1869 года, делегация оставалась там до 10 декабря. В этот раз Дониш продолжал знакомиться с политической, экономической и культурной жизнью России.

В 1873 году, в связи с победой, одержанной царским правительством в Хивинской кампании, и свадебным торжеством по поводу бракосочетания дочери Александра II, бухарский эмир отправляет в Петербург делегацию посланников. Первым заместителем посла в этой поездке был назначен Ахмад Дониш. Посланники прибыли в Петербург 6 января 1874 года и оставались там около полутора месяцев.

По возвращении Дониша в Бухару эмир предложил ему занять ответственный пост в государственном аппарате. Дониш писал: «Когда меня пригласили на службу, я написал, что служить так, как это делают другие, я не могу. Если эмир хочет, чтобы я оставил свои научные занятия и поступил на службу в государственный аппарат, необходимо ввести в государственное управление определенную систему, как в других государствах...» Эмир на предложение Дониша ответил молчанием. Смелость его крайне разгневала правителя Бухары. Начиная с этого момента, эмир старается удалить его из придворного круга, даже из самой Бухары. В конце 70-х годов он посылает его духовным судьей в отдаленные провинции Бухарского ханства. В последние годы жизни Ахмад Дониш был прикован болезнью к постели.

Садриддин Айни, переживший под влиянием идей Ахмада Дониша подлинную духовную революцию, назвал его «лучезарной звездой на мрачном небе Бухарского эмирата».

ИЗ КНИГИ «РЕДКОСТНЫЕ СОБЫТИЯ»

Впервые опубликована на русском языке в 1960 г. (г. Сталинабад). Текст подготовлен доктором филологических наук Р. Хади-заде по трем спискам, хранящимся в книгохранилищах Ленинграда и Душанбе. Здесь печатается по книге: А х м а д Д о н и ш. «Путешествие из Бухары в Петербург». Душанбе, издательство «Ирфон», 1976.

Примечания подготовлены Р. Хади-заде.

«Редкостные события», написанные в течение почти десяти лет, — произведение многоплановое, научно-философское и художественное. В первой редакции, представленной автографом самого Дониша, оно состоит из 23 глав. Первые 15 глав как бы отвечают на главный вопрос всей жизни и творчества Дониша: какую цель должен преследовать человек после того, как он рождается, и, получив соответствующее воспитание, начинает сознательную жизнь в обществе.

РАССКАЗ О ПУТЕШЕСТВИИ АБУЛЬКАСИМ-БИЯ В РОССИЮ

Стр. 433. Т у р а́ — почетная приставка к имени знатного лица.

Стр. 434. ...Т а м у с т р о е н ы т а к ж е х р а н и л и щ а р а з н о г о р о д а в е щ е й... — Речь идет, видимо, о Кунсткамере — музее, учрежденном Петром I.

«С о б р а н и е» — Дворянское собрание, помещалось в нынешнем здании Ленинградской государственной филармонии.

Стр. 435. Д и в — чудовище, персонаж народных сказок.

П е р ь — прекрасная неземная дева, мифическое существо.

Б е й т — двустишие.

Т у р к е с т а н с к а я с т е п ь (Русский Туркестан) — прежнее наименование обширной территории, простирающейся от Каспийского моря на западе до границ с Китаем на востоке и от Арало-Иртышского водораздела на севере до границы с Ираном и Афганистаном на юге. На этой территории находились Бухарское и Хивинское ханства и Туркестанское генерал-губернаторство, преобразованное в 1886 г. в Туркестанский край.

В а д ж а б — пядь; здесь речь идет о театральной сцене.

С а м т у р — автор имеет в виду фортепьяно, видимо, он принял клавиатуру рояля за отдельный инструмент, положенный на стол.

Стр. 436. ...когда женщина садится или встает...— Речь идет, видимо, о роброне — женском платье с фижмами и о кринолине — юбке на китовом усе или стальных обручах.

Стр. 437. Т а н г а — денежная единица в Бухарском эмирате.

О ПОСОЛЬСТВЕ АБДУЛЬКАДЫРА И ОПИСАНИЕ ДИКОВИНОК РУССКОГО ПРАЗДНЕСТВА

Стр. 437. Д о д х о — один из высших титулов приближенных эмирского двора.

Стр. 439. М и с к а л ь — мера веса, близкая к пяти граммам.

Б о л ь ш а я р е к а — Нева.

В е л и к и й о к е а н — Тихий океан. Автор ошибочно предполагает, что Нева берет свое начало из Тихого океана.

М а к а р ь е в с к а я я р м а р к а — торговая ярмарка, ежегодно устраивалась в Нижнем Новгороде.

Стр. 440. ...широкая... площадь, на которой могут маршировать 50 тысяч солдат.— Автор описывает Дворцовую площадь.

...на вершине колонны...— Речь идет об Александрийской колонне на Дворцовой площади.

...садик, где растут разные цветы и травы...— Имеется в виду Зимний сад в Эрмитаже.

...огромный, отделанный сверкающий зал...— Георгиевский зал Зимнего дворца.

Стр. 442. П а т т и — Аделина Патти (1843—1909), известная итальянская певица; выступала на сценах России и Америки.

Стр. 443. К а р н а й — музыкальный инструмент, длинная боевая труба.

Т а н а п — земельная мера, различная в разных районах, от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ гектара.

М ы б ы л и в з р е л и щ н о м д о м е.— Автор пишет о представлениях петербургского цирка.

Стр. 444. З а й д и А м р — арабские имена, приводимые автором условно.

Р у м — Запад (Греция, Византия).

Стр. 445. Ф а р с а н г — расстояние, равное примерно 8 км.

Стр. 446. Н а б о л ь ш о й у л и ц е П е т е р б у р г а.— Имеется в виду Невский проспект.

Д и н а р — золотая монета.

РАССКАЗ О ХАДЖИ И О ПОЛЬЗЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Стр. 447. Х а д ж и́ — человек, совершивший паломничество в священный для мусульман город Мёкку.

К а́ з и й — духовный судья, действовавший по законам шариата. Судьи в Бухарском эмирате не выбирались, а назначались административным путем.

Х а д д ж — паломничество в город Мекку (Саудовская Аравия), где находится главная святыня ислама — храм Кааба́.

Ф а р с и́ — язык фарси-дари является старой формой современных персидского и таджикского языков.

Стр. 448. И д у щ е м у в К а б у л и л и Т у р к е с т а н.— К а б у́ л — в начале XVI века столица государства Великих Моголов, затем столица Дурранийской державы — раннефеодального афганского государства (1747—1818). Ныне Кабул — столица Демократической Республики Афганистан. Т у р к е с т а́ н (древний Хазрет, позднее Яссы) — ныне город в Чимкентской области Казахской ССР. В древности был важным ремесленным и торговым центром Средней Азии.

Стр. 449. С а д И р ё м а — мифический сад, подобие рая.

Стр. 451. М а н и́ — основатель манихейской религии и, по преданию, знаменитый художник (жил в III в. н. э.).

С у ф а́ — небольшое возвышение у стены дома или во дворе.

...д о з в о л е н н ы м и д л я с е б я.— Согласно шариату, найденные вещи, если не обнаружен их владелец, считается дозволенным присвоить.

Стр. 452. Х а д ж и́ б — дворцовый привратник.

Стр. 453. М у т а в а л л и́ — лицо, ведающее имуществом медресе.

С а х и́ б — господин.

Стр. 454. М а в е р а н н а́ х р — буквально: «по ту сторону», арабское название междуречья Амударьи и Сырдарьи.

М а н — мера веса, равная приблизительно 150 кг.

У ш р — буквально: «одна десятая», налог, взимаемый с урожая земледельца.

Х а р а́ д ж — налог, взимаемый с завоеванных владений.

Д ж а л — незаконный, принудительный налог.

Стр. 455. Д и в а́ н — 1) государственное собрание, высшее судилище; 2) собрание стихов.

Стр. 456. Х и д ж р а (Хиджра́т) — начало мусульманского летосчисления (622 г. н. э.), год бегства пророка Мухаммада из Мекки в Медину.

П о с л е п а д е н и я К а б у л а...— Речь идет о войне 1878—1880 г., когда Афганистан подпал под эгиду английских империалистов. В результате войны сильно пострадал город Кабул.

Стр. 457. Д и р х ё м — мелкая серебряная монета.

Стр. 458. Т а ф с и́ р — комментарий к Корану.

Х а д и́ с — изречение, приписываемое пророку Мухаммаду.

РАССКАЗ О ПУЧИНЕ ИСКАНДАРА И О ТОМ, КАК РАЗБОГАТЕЛ НЕКИЙ МУЖ ИЗ АДЖАМА

Стр. 459. А д ж а́ м (аджа́мцы) — буквально: «не араб» — так называли жителей Ирана.

Х о р а с а́ н — область на северо-востоке Ирана.

Стр. 461. П л е м я А д а́ — мифическое племя великанов, упоминающееся в Коране, уничтоженное богом за непокорность.

Стр. 463. А з р а и́ л — ангел смерти.

В НАЗИДАНИЕ ДЕТЯМ О ПОЛЬЗЕ РЕМЕСЕЛ И ЗАНЯТИЙ

Стр. 467. А б у л ь к а р а́ м и А с ь а́ д — имена детей Дониша.

...Я решил отправиться в дальнее путешествие...— Глава написана в конце 70-х годов. До третьей поездки автора в Россию он безвыездно жил в Бухаре. Возможно, в этот период ему предлагали выехать в какую-либо страну Востока по государственному заданию.

Стр. 468. К а р б а́ с — грубая хлопчатобумажная ткань кустарной выделки.

Стр. 469. Ш е й х-у л ь-и с л а м — верховный глава мусульманской религии.

Стр. 470. К а ф и́ р — немусульманин, неверный.

Стр. 472. В а к ф н ы е б и б л и о т е к и — библиотеки богатых людей, оставленные по завещанию в дар (вакф) учебным заведениям.

Х у т б а́ — молитва, читаемая в пятницу.

П т и ц а А н к а́ — огромная мифическая птица.

Стр. 473. ...вместе с другими детьми...— Видимо, мать Дониша, как некоторые грамотные женщины того времени, учила у себя на дому маленьких детей письму и чтению.

К а л а́ м — кисть художника или ручка для письма, сделанная из камыша.

С у р а́ — глава из Корана.

Ч а х а́ р к и т а́ б — дословно: «Четыре книги». Религиозно-дидактическая книга в стихах и прозе, предназначенная для начальной школы.

А я т — стих Корана.

М а у л а н а́ Я к у́ б — известный богослов, ученый (умер в 1447 г.).

Стр. 474. Х а т и́ б — проповедник среднего сана.

И м а́ м — духовный наставник, руководящий молитвой.

Б е д и́ л ь — Мирза́ Абдулкади́р (1644—1771) — индийский поэт и мыслитель, писавший на фарси.

Стр. 475. К е т м е́ н ь — ручное сельскохозяйственное орудие типа мотыг

Стр. 476. У с т а́ д — учитель, преподаватель.

Стр. 477. Ф а т и х а́ — начальная сура (глава) Корана.

Стр. 479. Г а з е́ л ь — лирическое стихотворение.

Б а я́ з — сборник стихотворений различных поэтов.

Х а н а к а́ (хонако́) — молельня, помещение при мечети.

Стр. 480. К а л а м д а́ н — пенал для хранения каламов.

Б е х з а́ д — знамениты́й художник-миниатюрист конца XV — начала XVI века.

Стр. 481 О ф и ц и а л ь н ы е н а у к и — предметы, предусмотренные учебной программой медресе: мусульманское право, догматы ислама, формальная логика и др.

Ф и к х — наука о мусульманском праве.

Н а у к а о ф е́ т в е.— Ф е т в — решение, заключение. Наука, изучающая религиозные законы, действующие при решении спорных вопросов.

Стр. 482. П р о г р а м м н ы е н а у к и.— См. Комментарий к стр. 643 «Официальные науки».

Знание — почет в этом мире и слава в том... — изречение (хадис), приписываемое пророку Мухаммаду.

Эшй-кагабасй — девятый по старшинству чин в Бухарском ханстве.

Слово «почет» одновременно означает «редкость». — Игра слов: «иззат» означает «почет», «редкость», «исключительность».

Стр. 483. Улём (уламо) — должностное духовное лицо (теолог, законовед, преподаватель медресе и др.).

Шейх — почетное звание, присваиваемое высшим представителям мусульманского духовенства.

Раис — лицо, карающее за преступления, глава местной администрации в Бухарском ханстве.

Стр. 485. Мушриф — секретарь для ведения личной корреспонденции эмира.

Дабир — секретарь двора.

Муфтий — толкователь вопросов мусульманского права, законовед.

Стр. 488. Касыда — стихотворение, восхваляющее какое-либо влиятельное лицо.

Аруз — учение о правилах стихосложения в арабском и других восточных языках.

Стр. 489. Везир — министр.

Михраб — ниша в передней части внутренней залы мечети, где во время моления стоит имам. Обращена к востоку.

Факих — мусульманский правовед.

Мазар — место погребения святого.

Стр. 492. Виноград Хусайни — сорт винограда.

Нахшаб — старое название города Карши.

Стр. 494. Амйн — должностное лицо, наблюдавшее за порядком на базарах.

Стр. 496. «О значении земных благ» — название главы «Редкостные события».

Зар — мера длины, равная примерно одному метру.

Стр. 497. ...как Меджну́н Лейли́. — Имеется в виду сказание о Лейли и Меджнуне, послужившее сюжетной основой многих произведений.

Стр. 501. «Мухтасарй викая» — книга по мусульманскому праву, которая является одним из основных учебных пособий в медресе.

Стр. 502. Минбар — кафедра, трибуна в мечети.

РАССКАЗ О ФАРАМУШХАНЕ

Эта глава, по всей вероятности, написана позднее некоторых других частей «Редкостных событий» (не ранее 1873 г.).

Ахмад Дониш, судя по всему, был довольно основательно знаком с масонством, с его организационными принципами и нравственно-философской программой. Об этом свидетельствует не только достаточно подробное описание масонских, или, как чаще называли их в России, франкмасонских, лож, но и семантическое многообразие и точность словарных обозначений, которые подбирает автор для

масонства в зависимости от контекста, раскрывая различные стороны этого течения. В самом названии франкмасонской ложи — фарамушханá (буквально — «дом забвения») можно уловить определенное созвучие русскому слову «фармазоны», связанному с этим понятием. Своеобразная, просветительски нацеленная трактовка масонства служит автору поводом для изложения собственной идейной программы.

Стр. 505. К о ж а б у л г а р ь — русская кожа фабричного производства, своим высоким качеством отличалась от кожи кустарной выделки бухарских ремесленников.

Стр. 506. А б у а л ь (980—1037) — Абу Али ибн Сина, выдающийся таджикский мыслитель и философ.

П л а т ó н (428 или 427 г. до н. э.— 348 или 347 г. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.

«Ф и» и «а л а» — предлоги в арабском языке.

Ф а р а́ н г — название древнего города в Туркестане.

С у́ ф и й — последователь с у ф и з м а — мистико-аскетического направления в исламе.

Стр. 507. Д ж а б у л ь к о́ и Д ж а б у л ь с о́ — сказочные города, лежащие якобы один на крайнем западе, другой — на крайнем востоке Земли.

Стр. 508. Ф р а́ н к и — здесь: европейцы.

Стр. 510. Р а ф и з и́ т — еретик, раскольник, безбожник.

Стр. 511. Г о с у д а р с т в е н н а я с и с т е м а У з б е к и и.— Подразумевается не только система правления мангитской династии (1753—1920 гг.), но и вообще средневековое мусульманское государственное устройство.

Стр. 512. Х у м — большой глиняный сосуд различного назначения.

Стр. 513. «П я т е р и ц а» Н и з а м и́ («пять поэм») — основное сочинение Низами Гянджеви́ (ок. 1141 — ок. 1209 гг.) — азербайджанского поэта и мыслителя, чье творчество оказало сильное влияние на литературы Ближнего и Среднего Востока.

Стр. 515. М е р к у́ р и й — по понятиям древней астрологии Меркурий покровительствовал ученым и поэтам.

РАССКАЗ О ТЕХ, КТО СПАСАЛСЯ ОТ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ

Стр. 517. Б а й с у́ н — бекство Бухарского эмирата. Ныне — районный центр на юге Узбекской ССР.

Стр. 518. «У н с у́ р» Б е д и л я — «Ч а х а́ р у н с у р» («Четыре элемента») — философское произведение Бедия.

РАССКАЗ О ШУКУРБЕКЕ

Стр. 520. Р у с т а́ м и Ш а г а́ д — герои эпической поэмы Фирдоуси «Шахнаме».

И с ф а н д и́ я р — имя легендарного героя Древнего Ирана.

Д о м у л л о́ — учитель старой начальной школы; часто употреблялось как обращение к грамотным и почитаемым людям.

С е р — мера веса, равная примерно 3,5 кг.

Стр. 522. М е д р е с е К у к а л ь т а́ ш — медресе в Бухаре, построенное в конце XVI века и сохранившееся поныне.

ЕЩЕ РАЗ О БЛАГОРОДСТВЕ ХИЩНИКОВ,
В ОСОБЕННОСТИ ЛЬВА

Стр. 523. Л е в н а н е б е с а х — имеется в виду зодиакальное созвездие Льва.

Х А Ч А Т У Р А Б О В Я Н

(1805—1848)

Родился в селении Канакёр близ Еревана в знатной, но разорившейся семье. Учился в Эчмиадзине, затем в Тифлисе, в гимназии Нерсесян. Вспыхнувшая в 1826 году русско-иранская война помешала ему продолжить учение. Абовяну удалось получить образование благодаря присоединению в 1827 году Восточной Армении к России. В 1830 году он отправляется в Дерпт, где учится в университете до 1836 года. Вернувшись на родину, Абовян хотел посвятить себя педагогической деятельности, но встретил враждебное отношение со стороны армянского реакционного духовенства и царского чиновничества, так как выступал против формализма и догматизма в школьном обучении. В 1837 году занял должность смотрителя Тифлисского уездного училища, в 1843 году перевелся на такую же должность в Ереван, где продолжал работать до своего трагического исчезновения: 2 (14) апреля 1848 года Абовян ушел из дома и пропал без вести.

Абовян оставил богатое литературное наследство: романы, рассказы, очерки, пьесы, научно-художественные сочинения, стихи, басни. Он был первым детским армянским писателем.

РАНЫ АРМЕНИИ

Исторический роман. Написан в 1840 году. Роман охватывает период войны России с Персией (1826—1829). Герой романа Агаси открывает галерею образов того «идеального гражданина и патриота», воспроизведением которого занималось последующее поколение писателей Армении. Это произведение завоевало право гражданства в литературе новому армянскому языку (до этого пользовались древнеармянским, так называемым грабáром). Впервые роман опубликован в 1858 году, через десять лет после смерти автора, со значительными цензурными сокращениями. В 1897 году вошел в однотомник Абовяна, изданный в Москве без цензурных сокращений, за исключением небольшого отрывка. Впервые на русский язык был переведен отрывок из первой главы и напечатан в сборнике «Армянские беллетристы» в 1893 году. Здесь отрывок из романа печатается по полному переводу: Х а ч а т у р А б о в я н. Раны Армении. Ереван — Москва, Арменгиз, 1948.

Стр. 527. Г я з (газ) — мера длины, равная приблизительно одному метру.

К а н а к ё р ц ы — т. е. жители Канакёра — селения, находящегося в пяти верстах к северу от Еревана.

Е р д ы к — дымовое отверстие в доме или хлеве.

Стр. 528. О ш м á г — накладка типа шарфа.

Л е ч á к — головной платок, косынка.

М и н т а н á — широкое, свободное платье.

К а н á у с о в ы й — сделанный из канáуса — шелковой недорогой ткани.

Т о н д ы р — печь для выпечки хлеба.

Стр. 530. А н а л ó й — возвышение в церкви, столик с покатым верхом, которым держат иконы или книги.

Стр. 531. Р и п í д а — опахало с изображением ангела, принадлежность богослужения.

...С м о т р и, о к а м е н ь с п о т к н е ш ь с я... — Абовян намекает на безразличие армянской интеллигенции к делу народного просвещения. На многих страницах первой главы романа Абовян неоднократно возвращается к вопросу об отсталости армянского народа, объясняя ее неспособностью и беспечностью армянской интеллигенции и духовенства. Он говорит об этом с особой горечью, так как исходит из собственного опыта. Как известно, вернувшись из Дерпта, Абовян хотел основать в Эчмиадзине школу для подготовки сельских учителей и священников, но встретил запрет со стороны главы армянской православной церкви. Говоря в романе о ранах армянского народа, Абовян имел в виду не только внешнее политическое угнетение армян, но и уязвимые стороны их внутренней жизни.

Стр. 533. К у р с á (курсі) — очаг посреди комнаты.

Стр. 534. К о ш — обувь с загнутыми носками.

Стр. 537. С а з — музыкальный инструмент.

Стр. 538. «Д ж а н г ю л ú м» («Голубка») — народная песня.

Д ж а н — буквально «душа» — ласковое обращение.

Стр. 539. О д á — комната или спальня, расположенная при хлеве.

Б у х а р á — печь в доме.

О В А Н Е С Т У М А Н Я Н

(1869—1923)

Родился в семье сельского священника в селе Дсех Лóрийского уезда, ныне Туманяновского района Армянской ССР. С 1879 по 1883 год учился в приходской школе Джалалоглы (ныне город Степанакан). В 1883 году переехал в Тифлис, где до 1887 года учился в армянской гимназии Нерсисян. Не закончив ее из-за трудных материальных условий, поступил на работу в армянскую духовную консисторию в Тифлисе, а затем в канцелярию армянского издательского общества, где служил до 1893 года, после чего полностью посвятил себя литературе и общественной деятельности.

В печати впервые выступил в 1887 году; в 1890 году опубликовал легенду «Солнце и луна» в детском журнале «Ахбю́р» («Родник»). В 1899 году под руководством Туманяна в Тифлисе был организован литературный кружок «Верна-тúн» («Мансарда»), куда вошли видные армянские писатели. В 900-е годы Туманян много сил отдал детской литературе. В 1905 году основал детский журнал «Аскéр» («Колосья»). С 1907 года принимал участие в составлении букваря, школьного учебника «Лусабéр» («Утренняя звезда») для армянских школ и хрестоматии «Армянские писатели» (т. 1—2, 1909).

Дважды (в 1908 и 1911 годах) его арестовывали.

ХОЗЯИН И РАБОТНИК

Рассказ написан и опубликован в 1908 году. Здесь печатается по изданию: О в а н е с Т у м а н я н. На рассвете. М., «Детская литература», 1969.

ГИКОР

Рассказ написан в 1894 году. Впервые опубликован в 1907 году. Здесь печатается по изданию: О в а н е с Т у м а н я н. На рассвете. М., «Детская литература», 1969.

Стр. 547. К и н т о — уличный торговец.

Стр. 548. Д э д а — матушка, мама.

Стр. 551. К а р а в а н - с а р а й — постоянный двор.

А В Е Т И К И С А А К Я Н

(1875—1957)

Родился в деревне Казарапат близ города Александрополя (ныне Ленинан). Учился в родном городе, затем, в 1889—1892 годах, в Эчмиадзинской духовной семинарии «Геворкян». Печататься начал в 1892 году. В 1893 году уехал в Германию, был вольнослушателем Лейпцигского университета, где изучал литературу, историю, философию. Путешествовал по Италии, Греции. В 1895 году вернулся на родину. Через год был арестован за деятельность, направленную против царизма. Преследуемый царской охранкой, Исаакян в 1911 году эмигрировал за границу. Жил в Константинополе, Женеве, Берлине, Париже. В 1926 году он приехал в Советскую Армению. С 1930 по 1936 год вновь находился за границей, выступал там как друг Советского Союза. Написал ряд статей о социалистическом возрождении армянского народа, о достижениях армянской советской литературы. В 1936 году навсегда вернулся из Парижа на родину, вел здесь большую культурно-общественную работу. Был членом Комитета защиты мира, председателем Союза писателей Армении. Творчество Исаакяна глубоко связано с историей и культурой армянского народа, с лучшими традициями русской и мировой литературы.

У СОЛНЦА

Сказка написана в 1905 году. Здесь печатается по изданию: А в е т и к И с а а к я н. У солнца. М., «Детская литература», 1977.

САМАЯ НУЖНАЯ ВЕЩЬ

Сказка написана в 1905 году. Здесь печатается по изданию: А в е т и к И с а а к я н. У солнца. М., «Детская литература», 1977.

Э Д У А Р Д В И Л Ь Д Е

(1865—1933)

Родился в Северной Эстонии, в В́ирумаском уезде, в семье служащего барской усадьбы. С 1875 по 1882 год учился в школе. Литературную деятельность начал в 1882 году, когда впервые выступил как журналист в газете «В́ирулане». Первые рассказы писателя были детективно-приключенческими. Как в свое время Чехову, Вильде на первых порах приходилось писать быстро и много, писать бук-

важно ради куска хлеба. Работая в газете, он много ездил по России, бывал и за границей. В 1896 году Вильде в течение года живет в Москве. Здесь он знакомится с творчеством Тургенева, Толстого, Чехова. Особенно глубокое впечатление произвели на Вильде рассказы Горького. В 1896 году вышел роман Вильде «В суровый край» — первое произведение эстонского критического реализма.

С 1906 по 1917 год Вильде скитался в эмиграции (Германия, Дания), в 1911 году побывал в Америке. Свои впечатления он передал в ряде очерков и рассказов. В разоблачении американского образа жизни школой для эстонского писателя стали произведения русской литературы, в частности повесть Короленко «Без языка», памфлеты и статьи Горького.

Книги Э. Вильде переведены на многие иностранные языки.

МОИ ПЕРВЫЕ «ПОЛОСАТЫЕ»

Рассказ печатается по изданию: Э д у а р д В и л ь д е. Мои первые «полосатые». Таллин, «Ээсти Раамат», 1974.

Стр. 561. М ы з а — небольшая усадьба, поместье.

Стр. 563. К у б о в ы е — ярко-синие.

Стр. 566. С а м а р и т я н с к и й — бескорыстный, самоотверженный. Имеется в виду библейское предание о добром самаритянине.

С т е н ы И е р и х о н а.— По библейской легенде, неприступные стены города Иерихона разрушились при звуках трубы.

ОСКАР ЛУТС

(1887—1953)

Родился в Тартуском уезде в семье сапожника. Вскоре семья переехала в поселок Паламүзе, где прошли годы раннего детства будущего писателя. В 1895—1899 годах учился в приходском училище в Паламузе, а затем, до 1902 года,— в реальном училище в Тарту. Работал учеником аптекаря и помощником провизора в аптеках Тарту, Таллина, Петербурга. В Петербурге же Лутс отбывал воинскую повинность. В 1911 году он поступил на фармацевтический факультет Тартуского университета. В 1914 году Лутса призывают в армию. Он служит в Пскове, Вильно, Варшаве, Витебске. В 1919—1921 годах работает в университетской библиотеке в Тарту, а затем становится профессиональным литератором.

Тяга к писательскому труду появилась у Лутса рано. Его первые литературные опыты относятся еще к школьным годам. Первая книга вышла в 1912 году.

За сорок лет писательской деятельности Лутс создал около шестидесяти произведений — повестей, рассказов для юношества, фельетонов, юморесок, мемуаров. В последний период своей жизни О. Лутс, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал выступать в печати с фельетонами и статьями. Умер писатель в Тарту.

ВЕСНА

Это первое и самое известное произведение О. Лутса. Его первая часть написана в 1912 году. Продолжением «Весны» является повесть «Лето» (1918—1919). Дальнейшая судьба героев этих произведений изображена в по-

вестях «Свадьба Тоотса» (1921), «Будни» (1924) и «Осень» (1938). Но по своим художественным качествам эти произведения уступают «Весне».

Впервые на русском языке опубликована в 1954 году. Здесь печатается по изданию: О с к а р Л у т с. Весна. Л., Детгиз, 1955.

Стр. 576. К ѳ с т е р — помощник пастора в лютеранской церкви.

Стр. 581. М ё т у з а л а — так по-эстонски звучит М а ф у с а й л — имя библейского патриарха, прославившегося своим долголетием.

Стр. 585. Т а м а с с е р о в с к а я с т а л ь. — Тоотс имеет в виду дамасскую сталь.

АНТОН ХАНСЕН ТАММСААРЕ (1878—1940)

Настоящая фамилия — Хáнзен.

Родился в крестьянской семье в волости Альбу ныне Пайдеского района Эстонской ССР. В 1898—1903 годах учился в частной гимназии в Тарту, занимался журналистикой. В 1907—1911 годах учился на юридическом факультете Тартуского университета. Заболев туберкулезом, в 1912—1913 годах жил и лечился на Кавказе. После выздоровления вернулся в Таллин (1919), посвятил себя литературной деятельности. Таммсааре серьезно интересовался естественными науками и психологией, что нашло отражение в его творчестве. Первые произведения опубликовал в 1900 году. Изображение жизни эстонского крестьянства стало одной из основных тем творчества писателя. Его перу принадлежат романы, миниатюры, повести, он известен как публицист.

НАШ ЛИСЕНОК

Повесть написана в 1932 году. Здесь публикуется с незначительным сокращением по изданию: А н т о н Х. Т а м м с а а р е . Знаменательный день. М., «Детская литература», 1979.

Владимир Александров

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Александров. Литература — память народа</i>	3
---	---

ФАТИХ АМИРХАН

Перевод с татарского Г. Хантемировой

Моя автобиография	13
Татарка	21

ГАЛИМДЖАН ИБРАГИМОВ ,

Старый батрак. <i>Перевод с татарского Г. Каримовой</i>	28
---	----

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Скрипка. <i>Перевод с еврейского С. Юдкевича</i>	44
--	----

МАРКО ВОВЧОК

Институтка. <i>Перевод с украинского И. С. Тургенева</i>	58
--	----

ИВАН ФРАНКО

Маленький Мирон. <i>Перевод с украинского В. Д. Бонч-Бруевича</i>	97
---	----

БОРИС ГРИНЧЕНКО

Отец и дочь. <i>Перевод с украинского К. Трофимова</i>	103
--	-----

СТЕПАН ВАСИЛЬЧЕНКО

Свекор. <i>Перевод с украинского Ал. Дейча</i>	121
--	-----

ТЕТКА

Перевод с белорусского В. Щепотева

Новогоднее письмо	125
Михаська	126

ЯКУБ КОЛАС

Перевод с белорусского Е. Мозолькова

Бунт	133
Василь Чурила	137
Дар Немана	140

Сирота Юрка	153
На железной дороге	162

ЗМИТРОК БЯДУЛЯ

Перевод с белорусского Б. Яковлева

На рождество к сыну	168
Пасхальные яйца	172
Летописцы	178

ИБРАЙ АЛТЫНСАРИН

Перевод с казахского А. Кальменева

Сын бая и сын бедняка	185
Письма учеников к родным	189
Паршивый мальчик	190
Жиренше Шешен	193
Мудрец Лукбан	196
Счастливый человек	197
Мудрый судья	198
Употребление богатства на пользу	200
Отец и сын	201
Чистый родник	—

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ

Рассказ нищего. <i>Перевод с грузинского Е. Гогоберидзе под редакцией В. Гольцева</i>	203
---	-----

ДЖАЛИЛ МАМЕДКУЛИЗАДЕ

Перевод с азербайджанского А. Шарифа

Курбанали-бек	266
Лед	281

СУЛЕЙМАН САНИ АХУНДОВ

Чернушка. <i>Перевод с азербайджанского А. Шарифа</i>	286
---	-----

ЖЕМАЙТЕ

Перевод с литовского Ф. Шуравина

Лентяйка	313
Несчастные дети	318
Из-за покупок	323

ПЯТРАС ЦВИРКА

Сахарные барашки. <i>Перевод с литовского А. Баужи</i>	332
--	-----

ЙОНАС БИЛЮНАС

Беглец. Перевод с литовского Б. Залесской	344
Конец Брисюса. Перевод с литовского О. Йоделене	357

ИОН КРЯНГЭ

Воспоминания детства (Г л а в ы и з п о в е с т и). Перевод с молдавского З. Шишовой	359
---	-----

ЭДЖУС СУДРАБУ

Инга. Перевод с латышского Л. Блюмфельд	396
---	-----

Э. БИРЗНИЕК-УПИТ

Скайдрите и дедушка. Перевод с латышского Р. Трофимова	423
--	-----

АХМАТ ДОНИШ

Из книги «Редкостные события». Перевод с таджикского Л. Демидчик и Н. Османова	433
---	-----

ХАЧАТУР АБОВЯН

Раны Армениц (О т р ы в о к и з р о м а н а). Перевод с армянского С. Шервинского	526
--	-----

ОВАНЕС ТУМАНЯН

Хозяин и работник. Перевод с армянского Я. Хачатрянц	541
Гикор. Перевод с армянского А. Баяндур	544

АВЕТИК ИСААКЯН

Пересказ с армянского Р. Кафриэлянц

У солнца	557
Самая нужная вещь	559

ЭДУАРД ВИЛЬДЕ

Мои первые «полосатые». Перевод с эстонского Л. Тоома	561
---	-----

ОСКАР ЛУТС

Весна (Г л а в ы и з п о в е с т и). Перевод с эстонского Б. Лийвака	568
--	-----

АНТОН ХАНСЕН ТАММСААРЕ

Наш лисенок. П о в е с т ь. Перевод с эстонского В. Рубер	604
---	-----

КОММЕНТАРИИ	685
-----------------------	-----

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(т о м 17)

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
ПИСАТЕЛЕЙ-КЛАССИКОВ
НАРОДОВ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

*

ИБ № 7456

Ответственные редакторы
С. И. Г у б а р е в а и Г. И. М о с к о в с к а я

Художественный редактор
М. Д. С у х о в ц е в а

Технический редактор
Т. Д. Ю р х а н о в а

Корректоры
В. В. Б о р и с о в а и Л. И. Д м и т р ю к

*

Сдано в набор 19.03.84. Подписано к печати 11.09.84. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академич. Печать высок. Усл. печ. л. 46,13. Усл. кр.-отт. 49,37. Уч.-изд. л. 49,5+9 вкл.=50,06. Тираж 407 000 (1-й завод 1—200 000) экз. Заказ № 5008. Цена 2 р. 50 к.

Орденів Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

П42 Повести и рассказы писателей-классиков народов дореволюционной России (XIX—начало XX века)/ Сост., предисл. и коммент. В. П. Александрова; Оформл. и ил. А. Г. Тамбовкина.— М.: Дет. лит., 1984.— 718 с., ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей. т. 17).

В пер.: 2 р. 50 к.

Том знакомит читателей с выдающимися произведениями писателей-классиков народов дореволюционной России.

П 4803010200—484 Подп. изд.
М101(03)84

С62



2р. 50к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»